

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

1

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В
ПЯТИ ТОМАХ

1

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ

1

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

ЧУДАКИ
РОМАН

СКАЗКИ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

**ББК 84Р
Т52**

**Внешнее оформление
художника Ю. БАЖАНОВА
Иллюстрации художника
М. ПЕТРОВА**

Толстой А. Н.
Т52 **Собрание сочинений: В 5 т. Т 1/ Вступит. ст. Ю. Осклянского. — М.: ТЕРРА, 1995. — 784 с.: ил.**

**ISBN 5-300-00202-X (т. 1)
ISBN 5-300-00191-0**

В первый том Собрания сочинений вошли краткая автобиография писателя, повести и рассказы, роман «Чудаки», сказки и рассказы для детей, русские народные сказки, пересказанные Алексеем Толстым.

Т 4702010000-244 Подписное
А30(03)-95

**ISBN 5-300-00202-X (т. 1)
ISBN 5-300-00191-0**

ББК 84Р

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

«АЛЕКСЕЙ — С ГОР ВОДА!»

Пожалуй, ни за кем из крупных русских писателей первой половины XX века ни тянулся такой длинный хвост легенд, анекдотов, сплетен и небывальщин, как за Алексеем Николаевичем Толстым (1882—1945).

По одной легенде, пережившей уже и сам объект пересудов, утверждалось, что никакой он не граф, а самозванец, внебрачный сын мелкого земского служащего. Другая расхожая байка, напротив, гласила, что якобы в ленинградский период жизни (до середины 30-х годов), когда Толстому кто-то звонил, а его не оказывалось дома, камердинер (не секретарь, а именно камердинер) обычно со старорежимным проносом отвечал: «Его сиятельство уехали в обком!»

Будто бы строгая хранительница литературной морали Анна Ахматова, кстати, нередкая посетительница вечеров и посиделок на кронверкской квартире Толстых в Ленинграде, что называется, пропечатала сущность А.Толстого в летучем афоризме: «обаятельный негодяй».

Передавался слышанный якобы из самых верных уст эпизод, как однажды Ал. Толстой обольстил не кого-нибудь, а самого Сталина.

Дескать, происходило это вскоре после возвращения Толстого из эмиграции, в начале 1924 года. Сталин далеко еще не был тогда единоличным диктатором. Но Толстой с присущей ему интуицией угадал восходящего владыку и нашел ловкий способ не просто к нему подластиться, а навсегда покорить его сердце (если, конечно, такое вообще имелось).

Было это якобы на первой «исторической» встрече генсека РКП(б) с писателями. Затееяна она была нарочито в полуофициальной обстановке и протекала по большей части в дружеском застолье, устроенном с чисто кавказской широтой и гостеприимством, то есть с постоянными сменами блюд и вин, бесшумно скользкой обслугой, белоснежным крахмалом скатертей и салфеток, хрусталем и пр.

Толстой, сидевший неподалеку от Сталина, был в ударе. Первоклассный и неистощимый рассказчик, на сей раз он превзошел сам себя. Сыпал остроумными историями, фонтанировал искрометными тостами. И все это — в кон, в лад, кстати. Притом напоказ много пил, как, дескать, и надлежит исконно русскому человеку.

Сталин, который был лишь на три года старше Толстого, тоже охотно опоражнивал бокалы. Однако же сохранял подобающую серьезность. Все наблюдали за этим невольным состязанием двух натур, двух застольных манер. Крепнувшего партийного вождя и художника.

Вдруг, во время очередного спича, Толстой пошатнулся, забормотал бессвязицу и рухнул под стол. Обнаружилось, что он мертвецки пьян.

Сталин, наслаждаясь своей застольной победой, по-отечески распорядился, чтобы Толстого бережно перенесли в кремлевскую машину и доставили домой.

Но, едва Толстой очутился на машинном сидении, он якобы тотчас совершенно протрезвел, а сопровождавшему его другу торжествуя изрек: «Теперь он мой!»

Во всякого рода подобном литературном фольклоре важна даже не достоверность самих по себе событий или фактов (тем более, что отдельные из них мы уже

бессильно доказать или опровергнуть), а то, что называется, — психология среды и «героя».

Воспоминатели, ближе других знавшие Толстого, отмечали присущий писателю в повседневном поведении талант лицедейства. Это была как бы хорошо усвоенная роль, а иногда и защитная маска, которую он носил. На этом сходятся, к примеру, Юрий Олеша, Илья Эренбург и композитор Дмитрий Толстой — сын писателя. Как не упускает случая подчеркнуть в мемуарах «Люди, годы, жизнь» И.Эренбург, в повседневности Толстой «очень часто играл (нужно признаться — замечательно!) самого Алексея Николаевича — образ, созданный художником» (М., 1990, т.1, с. 148).

Что это был за образ? Одной гранью он схвачен, например, на известном полотне П.П.Кончаловского, красочно изобразившем писателя сидящим за столом, ломящимся от яств, и обеими руками как быдвигающем избобильную скатерть-самобранку в свое по-фальстафовски мощное и ненасытное чрево. Толстой, так сказать, в апогее плотского священнодействия!

Помню, как долго создавался первый сборник «Воспоминания об А.Н.Толстом». Рукопись давно была готова, но ее никак не решались печатать. Несмотря на блистательный подбор мемуаристов, «герой», за изъятием нескольких очерков, почти во всех остальных вел себя крайне однообразно. Он охотился по городу за антикварами и краснодеревщиками, из литераторов ловил на перекрестках и затаскивал на обед в свой гостеприимный дом первого встречного-поперечного, за столом много, со вкусом ел, с удовольствием пил, смачно рассказывал анекдоты, изредка вспоминал о своих общественных обязанностях и почти ничего не говорил о главном деле своей жизни — о творчестве.

Все было одновременно и правдой, и кривдой в этих ненамеренных повторах. Толстой, и в самом деле, редко обсуждал свои творческие дела в дружеском кругу, не любил, как он выражался «литературознания». Мудрствовать без надобности о том, что касается тебя одного, он считал столь же неуместным, как посвящать посторонних в свои отношения с женой. Это был, если угодно, особый род нравственной деликатности, уважения к собственному дару, к его непредсказуемости, верность высшей любви земного своего назначения.

Но все это, разумеется, никак не означало, что перед нами был безмысленный талант или тем более — бездушный Фальстаф. Хотя для того, чтобы возникли и утвердились в головах такие легенды, как уже видели, немало потрудились именно сам А.Н.Толстой.

Обе легендарные версии подчас с весьма плотной реальной начинкой, — о, мягко говоря, легкомысленно щедро одаренном художнике, своего рода «Моцарте — гуляке праздном», по нравственным же качествам — цинике и приспособленце, якобы не имевшем за душой ни одной дорогой для себя идеи, и составляют тот гла в н ы й м и ф , который объемом и содержанием покрывает все остальные, названные и неназванные легенды, сплетни и небывальщины о выдающемся писателе. Причем миф этот исповедуют не только литературные недруги А.Н.Толстого (обычно как раз по этим причинам и отвергающие его), но иногда и те, кто чтит художника, неплохо его чувствует, и по собственным словам, получает наслаждение от его книг.

В конце февраля 1995 года мне довелось слушать в повторах большую проблемную радиопередачу из Нью-Йорка, посвященную 50-летию со дня смерти А.Н.Толстого. Ее подготовил и вел известный культуролог и публицист Борис Парамонов, чьи выступления отмечены обычно остротой и свежестью мысли.

Немало интересных соображений было там и на сей раз. Б.Парамонов, например, по справедливости замечал, что пора перестать высокомерно третиловать Алексея Толстого за то, что он был искушенным беллетристом и не стеснялся выступать в том числе как «коммерческий писатель», то есть высокий профессионал, пользующийся спросом на рынке. Ведь никому же не взбрет в голову корить за то же самое Сомерсета Мозма или Грэма Грина, хотя они откровенно участвовали в литературной «индустрии развлечения» и написали много всякого, часто далеко не поднимавшегося до уровня таких лучших своих созданий, как, скажем, романы «Луна и грош» или «Суть дела».

Вместе с тем, — рассуждал Б.Парамонов, — А.Толстой благодаря крупному своему таланту даже в некоторых откровенно авантюрно-развлекательных сочинениях угадывал и предвосхищал главнейшие тенденции развития литературы. Его «Гиперболоид инженера Гарина», по словам Б.Парамонова, «вещь в том же направлении, что и «Мастер и Маргарита» М.Булгакова», написанного однако же много

лет спустя. Не в меньшей степени, можно было бы добавить, нащупыванием тех же путей отмечена фантастическая сатира «Похождения Невзорова, или Ибикус».

Отрицательные по сути главные герои обоих произведений А.Толстого (продолжу мысль Б.Парамонова) потому и вызывают сочувствие и некоторую даже симпатию, что по-своему утверждают права человеческой личности в фантастическом «мире сатаны», то есть ведут поединок с тем же Воландом.

Подобные наблюдения, хотя подчас и спорны, но оригинальны, свежи, интересны. И читатель, когда он будет держать в руках Том второй настоящего Собрания, в который вошли авантюрные повести и романы, научная фантастика, возможно, найдет в таких рассуждениях дополнительную пищу для размышлений.

Всегда рщзет, однако, главная мысль, то есть цель. А Борис Парамонов в итоговых своих обобщениях, по его словам, имел целью «оправдать А.Толстого». Задача, на мой взгляд, несколько странная. Поскольку полное отпущение грехов даровано человеку разве на небесах. В нашей же земной юдоли пусть каждый сполна получит то, что заслужил. Профессиональное дело исследователя — лишь предложить руку опоры менее искусственным, помочь составить и вынести справедливое суждение об интересующем их предмете.

Никаких апологий не оправдывает даже и то, что за последние годы вокруг Ал.Толстого, наряду с вполне заслуженной и неизбежной критикой, были наворожены и горы навоза и мусора. Один миф (парадно-официозный) нельзя сокрушить посредством водурения на его месте другого.

Хотя аргументация Б.Парамонова подчас вроде бы нова (он обнаруживает, например, прямое воздействие на Ал.Толстого тезиса Ницше: «Жизнь выше морали»), общая конструкция, которая при этом возводится, до удивления ветхозаветна. По существу она сводится ко все той же концепции (а точнее — к мифу) о «безмысленном таланте».

Дескать, сила Толстого как художника была в стихии лицедейства, актерства и шутовства, в способности перевоплощаться воображением и расточать себя на множество героев, безразборчиво раздавая себя различным персонажам и книгам. Но за всем этим, как заявляет автор, нет никакой общности, нет связующей нити, нет единства. Талант этот был без мысли, «он был глуповат». Если бы возможно было убрать из сочинений А.Толстого этот «исполнительский» талант, то в них попросту бы ничего не осталось. Лишь гладкое, пустое место. Как на лице у коллежского assessора Ковалева, когда у него сбежал нос. Вот так, ни больше, ни меньше.

Возразить на подобные рассуждения не составляет труда. Тем более, что они не свободны и от прямой путаницы понятий.

Раздел «Статьи об искусстве», завершающий Том пятый нынешнего Собрания, показывает А.Н.Толстого именно как мыслителя художника, у которого рано сложилась самостоятельно выработанная и отвечающая характеру его таланта система общественно-эстетических представлений, понятий и взглядов. В материалах, помещенных в этом разделе, читатель не только найдет свидетельства из первых уст, как возникали и создавались центральные произведения А.Толстого — от дореволюционных рассказов, повестей и романов цикла «Заволжье» — о мире разоряющегося дворянства, романа «Петр Первый», повести «Детство Никиты» до трилогии «Хождение по мукам» и др. Он получит возможность воочию увидеть, как эволюционировала, сочетая развитие и преемственность, обладавшая упругой внутренней логикой система его воззрений на российскую историю и государственность, на бытие и характер народа, на русский язык, отечественную классику, фольклор и т.д.

Почти шестьсот печатных страниц текстов, фоблзующих сборник «А.Н. Толстой о литературе и искусстве» (М., 1984), откуда почерпнуты основные материалы раздела, обнаруживают широту кругозора и эрудицию академика, звание которого писатель носил по праву. Гальванизировать после этого миф о «безмысленном таланте» — занятие, по меньшей мере, неблагоприятное.

Но если даже допустить невозможное и предположить, что писатель не оставил бы после себя столь весомого литературно-теоретического наследия, то и тогда пришлось бы указать еще один просчет подобного рода попыток отсеечения таланта от мысли. «Слово есть мышление» — озаглавил А. Толстой одну из концептуальных своих бесед (см. Том пятый наст. изд.) и тем самым как бы впрямую обозначил и затвердил собственную позицию на этот счет. Но если «слово есть мышление», то что же такое талант? Наверное, не надо долго ломать голову, чтобы понять, что это и есть главный орган художественного мышления.

Талант — это данная человеку свыше особенность творческих реакций на мир, которую он волен развивать, совершенствовать, но которую в корне переменить не в его власти, как не дано ему изменить собственную природу. Именно талант и определяет то единство личности художника, которое при всех переживаемых за творческую судьбу, иногда, казалось бы, невероятных метаморфозах, обеспечивает больше всего общность, единство и даже некую «узнаваемость» его текстов, можно сказать, от первой до последней строки.

Вот почему, вовсе не претендуя на новизну, скажу, что талант вместе с тем и есть та чувственная концепция мира и человека, которую развивает и утверждает художник.

Только к таланту подверстывается и только на него наслаивается все остальное. И знания, и жизненный опыт, и алгебра, и мудрость старых книг.

В том числе — например, и работоспособность. Редко можно было сыскать более отчаянного работника, чем А.Толстой. Даже после самой злейшей поздней вечеринки Толстой вставал к своей рабочей конторке, как к станку (последнее десятилетие писатель работал стоя). За три недели он мог написать пьесу, за три месяца роман. От такого порядка и темпа, заведенных еще в молодости, не отступал и в пожилом возрасте.

Около четырех десятилетий А.Толстой неутомимо работал почти во всех жанрах литературы. Он писал стихи, рассказы, романы, пьесы, киносценарии, статьи, очерки, перелagal русские народные сказки, выступал как автор книг для детей и юношества. Только одних пьес им написано более сорока. Пятнадцать томов так называемого Полного собрания сочинений (1946—1953) реально не объедают, может быть, и половины вышедшего из-под его пера. Среди современников А.Толстого немного других примеров столь многожанровой и интенсивной работы! Причем, если и не все, то многое переливалось блеском его таланта.

Так что, повторюсь, талант — это глобальное чувство и мысль о жизни. А если он к тому же крупный и оригинальный, то таковой уже по самому определению не может быть «безмысленным».

Вот почему, если мы хотим знать, что за художник перед нами, вопрос может быть поставлен и несколько иначе: а каков был его талант?

* * *

Каждый крупный художник — загадка. Творчеством своим он открывает для нас новую сторону окружающего мира, не уловенное прежде или не сознававшееся с такой четкостью состояние человеческого духа. Сколько людей, поколение за поколением, смотрели, а словно бы не замечали. А вот он посмотрел — и увидел. Только как это ему удалось?

Ограничусь общепризнанными примерами. Об одном из художников-импрессионистов говорили, что он впервые открыл лондонские туманы. Точно так же живописец Шишкин первым воплотил с такой полной богатырской мощью русской природы. Его сосны-исполины, высящиеся в дозоре на опушке, освещенные солнцем или выступающие из сумрака девственных могучих лесов, чем-то сродни былинным богатырям на полотнах Васнецова. Левитан первым показал нам задумчивую грусть русских просторов. А мечтательный Куинджи виртуозно передал фантастически причудливую игру состояний, неуловимых мерцаний и переходов света и красок, на которые сказочно изощряется вечно подвижная и живая отечественная природа... Этот перечень нескончаем, как многообразие окружающей жизни и духовного мира человека.

Точно сызмальства ошупан и пережит, будто искони знаком и вместе с тем похож только на одного себя художественный мир лучших книг А.Н.Толстого.

Есть секрет, хорошо известный писателям. Какими бы простыми и случайными ни представлялись позже первые фразы произведения, они исполнены особого смысла. В них — настрой, мотив, предвосхищение, проблески затеваемой вещи. Оттого-то и при письме нередко первые фразы бывают самыми трудными. Во всяком случае не лишен интереса и такой эксперимент.

Перечитайте одно за другим художественные запови тех произведений, что наиболее органичны, естественны и покоряющи в творчестве писателя. В калейдоскопе случайных отрывков не заприметятся ли тогда не только черты содержания и строя отдельных произведений, но и некоторые общие особенности и признаки всего художественного мира автора?

«Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, вскочили в темные сени

вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.

Чада прыгали с ноги на ногу — все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка...» Такovy начальные строки романа «Петр Первый».

«Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного перулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.

Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами уютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих — озабоченные и бледные с глазами, как городская муть, — видя и вникая всему этому, сторонний наблюдатель — благонамеренный — прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдрызг это застывшее очарование». Таков зачин трилогии «Хождение по мукам» (роман «Сестры»).

«Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор — обрывки военных приказов, театральные афиш, воззваний «к совести и патриотизму» русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползали вместе со снежными змеями поземки.

Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы... Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года». Таков нервно-стремительный мотив и первые строки романа «Восемнадцатый год».

«Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце. Свет в комнате был нежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене». Это — зачин «Детства Никиты».

«Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере». Так затевается короткий рассказ о том, как приходил на побывку неузнаваемо изуродованный на войне танкист Егор Дремов, для которого посещение родных мест стало не меньшим испытанием, чем недавнее участие в боях на Курской дуге («Русский характер»).

«За эти месяцы тяжелой борьбы, решающей нашу судьбу, мы глубже познаем кровную связь с тобой и все мучительней любим тебя, родина» — это первые строки из публицистической лирики тех дней, когда немецко-фашистские войска стояли уже под Москвой (статья «Родина»).

Что начинает различать глаз, вычленять рассудок, когда отодвинуты в сторону книги и, сделав мысленное усилие, постепенно отрешаясь от пестрого перелива красок, хороводов персонажей, игры сюжетных ходов, сверкания языка, жанрового разнообразия, которым отмечено творчество художника? Что общего между такими, казалось бы, совершенно непохожими произведениями, как «Петр Первый», «Хождение по мукам», «Детство Никиты», «Русский характер», «Родина»? А сверх того — между повестями и рассказами дореволюционного «заволжского цикла», тогдашними же «Сорочьи сказками», последующей сатирой «Ибикус», дерзкой фантастикой «Гиперболода инженера Гарина», необычайной историей «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и публицистикой Великой Отечественной войны, которая умела сказать главное миллионом людей в окопах и в тылу такими статьями, как «Родина»? Всего не назовешь, что создало ярко талантливое и далеко не всегда ровное перо этого крупного художника и неутомимого труженика литературы, — но какие же общие черты роднят и объединяют это вроде бы столь разное и обширное творческое наследие?

Телесная, плотская вещественность ощущений, чувственное, почти языческое обожание жизни, преобладание жизнелюбивых тонов даже в мрачных картинах, исполненное энергии и надежды погружение в стихию русского характера, обращение к земле «оттич и дедич», отчизне на решающих поворотах и переломах ее

судьбы — вот, пожалуй, первые различимые признаки художественного мира, и который ведет нас писатель.

Такой мир впоен широтой и многообразием восприятия действительности. Он не может возникнуть вне острого чувства родной природы, родного языка, без чуткого ощущения изменчивой и текучей подвижности форм народного бытия, социально-классовых движений, видоизменений и превращений жизнеустройства, психологии, самосознания и культуры нации и ее государственности в потоке лет, в движении истории. Такое искусство невозможно без глубоких связей с народной жизнью.

Чтобы иметь органический настрой на восприятие этих процессов, чутко подмечать и улавливать их, нужен талант особого свойства, такой художественный историзм, когда патриотическое чувство образует одну из самых отзывчивых струн в душевных состояниях и мирозерцании художника. Чувство родины при этом составляет как бы самую особенность писательского таланта. Без этого не обойтись.

И другое, что тоже скоро различает и схватывает глаз в мелькающих картинах. Мир А.Толстого ясен, отчетлив, своеобразен. Но он не существует особняком, на отшибе, а сам вырастает из преемственности, живой связи с родной словесностью — от богатств фольклора до близких писателю созданий русской классики.

В движениях кисти этого мастера, всегда красочно изобильной и масляно густой, рисует ли она бытовые картинки зимнего утра в крестьянской курной избе петровского времени или счастье зимнего же пробуждения от сна в детской светелке благополучной усадьбы, создает ли панорамы призрачного, изжившего себя Петербурга кануна первой мировой войны или же разворошенной вымерзающей невоской столицы конца революционного 1917 года, представляет ли нам героическую военную бывальщину о «русском характере» или же стремительно выписывает призывный лирический плакат о «родине-матери», который ударит по сердцу в решающий час битвы с фашистскими захватчиками у стен Москвы, — в движениях этой щедрой и изобильной кисти присутствует еще, хочется сказать, как бы сверхиндивидуальная, эпическая сила. Мощь этой кисти удвоена хорошо освоенным опытом предшественников.

Это талант, который не боится ступежаться и утратить толику своеобразия емким впитыванием традиций великой отечественной классики. В словесном искусстве, как и во всем, А.Толстой не изображает «Ивана, не помнящего родства». Писать так о быте крестьянской избы, о счастливом пробуждении и детстве десятилетнего мальчика, о бредовых видениях Петербурга, как мы только что читали, может лишь мастер, не забывающий о нравственно-эстетических высотах, которых достигли на этом пути Лев Толстой, Гоголь, Гончаров, а также Достоевский, Пушкин и Александр Блок... Опыт реалистического изображения народного быта у Гоголя и Гончарова, мира детской души — у Льва Толстого, облика северной столицы — у автора «Медного всадника», в петербургской прозе Достоевского и в поэзии Александра Блока не мешает, а помогает А.Толстому произнести собственное оригинальное слово.

Можно сказать, что А.Толстой — один из последних крупных наследников русской классики, испытывавший сложные духовные «хождения по мукам» в пору резких разломов и крутых перемен начальных десятилетий XX века. Художник, дерзнувший перенять эту высокую эстафету и в целом нашедший свою стезю среди волчьих ям и капканов эпохи.

Более двух десятилетий творческой биографии А.Толстого (август 1923 — февраль 1945 г.) приходится при этом на советский период, когда в обществе набирала силу и крепла атмосфера духовного тоталитаризма. В первый период после возвращения из эмиграции, выдерживая дистанцию в отношениях с властями, Толстой почти целиком сосредоточен на заботах своего искусства. Это годы расцвета его творчества. Он пишет сатирическую повесть «Ибикус», «Гадюка», «Голубые города», две книги романа «Петр Первый», две части «Хождения по мукам», «Приключения Зуратони» и многое другое.

Но круговорот политических страстей чем дальше, тем сильнее затмевает писателя. Бывали моменты и даже целые полосы (особенно во второй половине 30-х годов), когда художник, улавливая назначенные ему роли и насилуя собственный талант, оказывался пособником и трубадуром режима.

До раблепных тонов доходит местами повесть «Хлеб» (1937), где в качестве персонажей выведены Сталин и «первый маршал» Ворошилов. А в самом сочинении увековечивается тогдашняя официозная легенда, будто оборона Царицына под их водительством явилась переломом в гражданской войне.

После сухой и «несъедобной» повести «Хлеб» острые перья эмигрантской критики приюзили едкий диагноз: на глазах бледнеет и чахнет «краснощёкий талант» Толстой. Имелись к тому и другие основания. Отчасти поблекла изобразительная сила и в романе «Хмурое утро» (последняя часть «Хождения по мукам»).

Забегая вперед, скажу, что политические ухищрения не гарантировали А. Толстого даже личной безопасности. Ныне, с публикацией новых литературных источников, трудно даже подсчитать и классифицировать, какой фантастический «компромат» на А.Н. Толстого (как, впрочем, почти на любого крупного деятеля культуры), добывался легионом следователей НКВД на конвейере массовых арестов.

Из-под спуда появляются, впрочем, и сведения далеко ведущей нацеленности. Они содержатся в мемуарной публикации Корнелия Зелинского, одного из близких друзей лиц к генеральному секретарю Союза писателей А.А.Фадееву. Серию расправ над творческой интеллигенцией, которыми, как известно, сталинское руководство сбивало среди прочего общественное воодушевление от победоносной войны, вгоняя жизнь в прежнюю колею, планировалось, возможно, начать с крупнейшей политической провокации. С «дела» о шпионском писательском центре.

Среди главных обвиняемых по нему проходили бы А.Н.Толстой и И.Г.Эренбург. Во всяком случае в начале зимы 1944—1945 годов Сталин специально вызвал к себе генсека Союза писателей А.А. Фадеева и, правда, в довольно странной форме, предупредил, что его «окружают крупные международные шпионы». Причем «международным шпионом является Илья Эренбург», а Алексей Толстой — «английский шпион». «Вы сами должны знать, что вам следует делать», — многозначительно завершил этот разговор вождь («Вопросы литературы», 1989, № 6, с. 172—173).

В такой обстановке приходилось жить и исполнять долг художника.

Высвобождение из затяжного кризиса, как иногда бывает, принесла беда. Фашистское нашествие, поставившее под угрозу существование народа и государства, затронуло то, что составляло главную струну и нерв натуры и мирозерцания — чувство Родины, убеждения патриота. Вызвало взрыв энергии и страсти писателя, востал талант. Чего стоит один только первородный сочный русский язык военной публицистики Толстого, печатавшейся тогда во всех газетах!

Показательно, что в годы войны Толстой уже тяготился повестью «Хлеб», во всяком случае публично признавал ее худосочность. Так, на обсуждении трилогии «Хождение по мукам» в Союзе писателей 12 мая 1943 года он на свой лад пытался объяснить, как «возникла сухая и слабая повесть «Хлеб». Здесь была дана чисто историческая эпоха».

Это не означает, разумеется, что последующие произведения полностью свободны от следов прежних «кризисных» явлений (драматическая диалогия «Иван Грозный», некоторые главы третьей книги романа «Петр Первый»). Однако же при всех своих грехопадениях, даже оступившийся и жалкий, А.Толстой оставался одним из крупнейших мастеров русской прозы XX века.

Жизнелюбивый настрой таланта А.Толстого, его «русскость», национально-патриотическая устремленность, увлеченность историей русского характера, восприимчивость к нравственно-эстетическим токам отечественной классики, трансформация и развитие этих традиций в новых условиях — столь неотъемлемые и броские черты творческого облика художника, что они не однажды вызывали емкие обобщения у современников.

Даже самый завистливый и ревнивый из ценителей А.Толстого Иван Бунин, который не хотел простить бывшему приятелю «тушинского перелета» к Советам, в мемуарном памфлете «Третий Толстой» (1949 г.) отмечал, что А.Толстой «владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие». А в июле 1935 года, прочитав только что вышедшее отдельным изданием две книги романа «Петр Первый», Бунин отправил автору восторженную, продиктованную чувством открытку: «Алешка, хотя ты и сволочь, мать твою... но талантливый писатель. Продолжай в том же духе. Ив.Бунин».

Можно было бы куда более нарядными и пышными букетами разложить далее высказывания о таланте А.Толстого крупных писателей и знатоков литературы, солидарных с его общественной позицией, — от М.Горького и М.Шолохова до Ю.Тынянова. И мы бы увидели, что на сочувственном понимании главнейших черт этого таланта сходились даже люди, во всем остальном между собой противоположные.

В свое время я был в деревне Винновке, у знаменитого гончаровского обрыва. На захватывающей дух крутизне волжского берега стоит архитектурный памятник литературным героям А.И.Гончарова. Он очень прост. Это — круглая белокаменная беседка с лепными карнизами и легкими колоннами. Но выполнена она так, что чудится присутствие где-то рядом изящной утонченной Верочки, которая, по преданию, прибегала к этому месту на свидания с «нигилистом» Марком Волоховым. Беседка вся из эпохи романа, вся в девятнадцатом веке. А под гончаровским обрывом теперь играет волной безбрежное Куйбышевское море.

Возможно, кроме места действия, автор «Обрыва» все остальное «придумал» — и Верочку, и нигилиста Марка, и беседку их встреч. Но придумал так, что для людей стало необходимым, чтобы «беседка» существовала. И земляки — поклонники А.И.Гончарова — воздвигли ее на собственные средства, по подписке.

Поистине удивительна эта привязанность к героям любимых книг, которая есть в каждом народе. В США известны памятники Тому Сойеру и Гекку Финну, в Испании и Мексике — Рыцарю Печального Образа Дон-Кихоту и его верному оруженосцу Санчо. В парке небольшого итальянского городка высится на пьедестале фигура веселого деревянного человечка Пиноккио, которому под именем Буратино дал вторую жизнь Алексей Толстой в своей талантливой переделке повести К.Коллоди. На памятнике надпись: «Бессмертному Пиноккио — благодарные читатели в возрасте от четырех до семидесяти лет». На берегу Женевского озера сооружен монумент герою старинного народного предания и драмы Шиллера — вольному стрелку Вильгельму Теллю. А в Лондоне посетители почтительно осматривают «экспонаты» в музее вымышленного Шерлока Холмса...

Придуманные писателями герои существуют для нас как живые. С тем только, пожалуй, различием, что они не подвержены общему для всего живого закону. Даже «погибнув» в романе, они не умирают. Они не старятся, незаметно меняясь вместе с нами, остаются такими, какими мы их встретили впервые. В этом одно из чудесных свойств Книги, достигаемое силой художественного обобщения.

Но сила эта бывает лукавой. Мастерский вымысел рождает иллюзию доподлинности описанного. А когда в основу произведения положены в той или иной мере действительные события, да еще происходившие как будто на глазах современников, гипнозу художественного вымысла поддаются порой даже специалисты-исследователи.

За примерами незачем ходить далеко. Стоит только подумать о детстве А.Н.Толстого — и перед глазами сами собой возникают картины «Детства Никиты». Иной раз сталкиваясь и в прямой форме с легендой, будто знаменитая повесть — это близкое к действительности изображение подлинного детства писателя. Такие представления внедрились даже в серьезное литературоведение (Ю.А.Крестинский и др.).

А.Толстой по праву считал «Детство Никиты» лучшим из всего, что им было написано до тех пор. Но это было не только высшее художническое достижение, сверкание красок таланта, наиболее гармоничное, цельное и естественное из созданий его пера. В известной мере повесть «Детство Никиты» можно считать переломной в идейно-творческом развитии А.Толстого.

В этом произведении, по-видимому столь далеко от суровой русской реальности 1919—1920 годов, когда создавалась повесть, впервые с такой стихийной полнотой выразили себя духовные силы, которые подготовили затем возвращение писателя из эмиграции на родину. Очень важное свидетельство самого А.Н.Толстого на этот счет приводит Франтишек Кубка в своей книге «Голоса с Востока» (Прага, 1960). В конце 1935 года, находясь с группой советских писателей в Чехословакии, А.Толстой так рассказывал об истории создания повести:

«Блуждал по Западной Европе, по Франции и Германии и, поскольку сильно тосковал по России и русскому языку, написал «Детство Никиты...» За эту книгу отдам все свои предыдущие романы и пьесы! Русская книга и написана русским языком...

Это русский язык, на котором говорят в самарской деревне. Русский язык манил меня домой к большевикам. Политически я был далек от них. Но был исполнен огромным желанием работать с ними... А.Толстой был из тех художников, кто органически не способен жить вне России. Говорится это, понятно, ничуть не в упрек другим. Но таков был этот человек, этот талант. Существование на чужбине угнетало его, вселяло «безнадежное уныние бессмыслицы». «...Заперта дверь, и выключен телефон с жизнью», — передавал свои ощущения А.Толстой, в одном из тогдашних писем (К.И.Чуковскому, 20 января 1922 года).

Если верить уже упомянутому мемуарному памфлету И. Бунина, то в самый нищесточения гражданской войны А. Толстой якобы «печатно призывал загонять финляндикам иглы под ногти». В антиреволюционном духе была написана им в эмиграции и первая редакция романа «Сестры» (1919—1921), зачина трилогии «Хождение по мукам». А уже к осени 1921 года, как и многие интеллигенты, разделив платформу «сменовеховства», Толстой склоняется к выводу, что художник должен быть там, где народ, где отчизна, хотя бы это и влекло личную трагедию. Он порывает с твердокаменным большинством русской эмиграции во Франции, включая Бунина, и переезжает в Берлин, оплот «сменовеховства». А в августе 1923 года вместе с семьей возвращается на родину, чтобы «хоть гвоздик свой собственный вбить в истрепанный бурями русский корабль».

(Отзвуком сложных процессов, проходивших в душе художника, тоской по родине, мечтою о ней и вызвана среди многих других произведений того времени повесть «Детство Никиты».

Писатель вовсе не случайно ставил на первых изданиях название — «Повесть о многих превосходных вещах». Чуть ли не на каждой странице произведения происходит такое, чего никогда не было и не могло быть в ранней биографии А. Н. Толстого, да и вообще ни в какой реальной действительности.

«Детство Никиты» — это мир, который могла создать только фантазия художника. Весь он — снопы солнечного света, звующего счастья и радости. Тени почти нет. Вспомните-ка: «Никита проснулся от счастья»; «Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе». И даже кукушка, чье дело подсчитывать кому-то остатний срок жизни, кукует здесь о другом: «Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, ку-ку...»

А мог ли быть в реальной обстановке детских лет писателя такой исключительный подбор взрослых? Это люди с разными характерами, но связанные духовным родством. Все они добры, немного забавны, каждый со своей «чудинкой». И если дети в повести нередко ведут себя как взрослые, то взрослые тут — это большие дети. Таковы и фантастический неудачник отец Василий Никитич, и тучная Анна Аполлосовна Бабкина, разговаривающая басом, и дворовые мужики, играющие в «носики», и т. д.

В «Детстве Никиты» — произведении в равной мере для взрослых — много едва уловимой сказочности. Все тут полно манящей таинственности. Сны сбываются наяву, и сама действительность является продолжением счастливых снов и исполнением задуманных желаний. Недаром о долгожданной перемене погоды еще прежде барометра сообщает обитателям Сосновки скворец Желтухин. Птицы и животные здесь такие же действующие персонажи, как и люди, — они думают, рассуждают. И это воспринимается как нечто естественное в этом волшебном царстве счастливого детства. Ни одна мрачная черточка не чернит светлого фона. Все здесь кончается благополучно. Даже бедняк Артема сажают в клоповку не вразравду, это как бы игра, которую ведут взрослые: сажают и выпускают. И даже заволжский суховей в решающую минуту словно передумывает — и дождь вдосталь поливает иссохшуюся землю.

Почему же все эти «невероятности» кажутся настолько правдоподобными, что гипнозу художественного вымысла поддаются даже иные специалисты-исследователи и видят в произведении чуть ли не «документальное описание» событий, происходивших какое-то количество лет назад на заволжском хуторе Сосновка? Потому что все эти факты и события подчинены скрытым от глаз читателя художественным законам. И главный «законодатель» этой страны безоблачного детства — маленький Никита. Каковы же эти «законы»?

Случалось ли вам наблюдать, как полторагодовалый ребенок впервые оказывается летом на зеленой лужайке? Трава, которую привычно топчут взрослые, представляется ему чем-то вроде джунглей. Он смотрит на нее опасно, ступает несмело. Он впервые в жизни открывает для себя траву... Любимый ребенок по самой своей природе — первооткрыватель. Он открывает заново все — землю, огонь, деревья, воду, времена года, рождение, смерть. В каком-то возрасте этот процесс происходит наиболее интенсивно, но в целом он длится многие и многие годы, до тех пор, покада в человеке сохраняется одна из важнейших способностей поэзии — видеть новыми, изумленными глазами первоосновы жизни.

Художественная находка Алексея Толстого в «Детстве Никиты» состояла в том, что общее для всех детей психологическое свойство он сгустил, сконцентрировал, заставив своего десятилетнего героя на протяжении какой-нибудь сотни страниц, а

хронологически — за неполный год сделать столько крохотно-огромных открытий, которых всякому другому ребенку с избытком хватило бы на долгие годы.

Уже в этом, конечно, есть большая мера условности, без которой не обходится подлинное искусство. Но «Детство Никиты» — не только произведение о начинающейся жизни, о ребенке и русской природе. Это — поэма А.Толстого о счастье непрерывного открывания мира. И именно безотчетный настрой на эти «условия», когда мы властью писательского таланта оказываемся в волшебной стране счастливого детства, и заставляет нас забыть о мелких будничных мерках и воспринимать «невероятное» как вполне естественное.

* * *

Талант, если вспомнить сказанное поэтами, способен увидеть «на блюде студия косые скулы океана», а найдя в ноже карманном «пылинку дальних стран», — ощутить, как «мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман».

В новых обителях и землях, которые творила фантазия писателя, ее полет часто устремлялся при этом на воссоздание «связи времен» и родословной явлений, к тому, что именуется художественным историзмом. Кто-то из современников очень верно заметил, что, разглядывая песчинку на коктейльском пляже, А.Толстой думал об истории древнего Рима.

Из пяти томов нынешнего Собрания добрую половину составляет историческая проза. Причем сочинения этого жанра порой, внешне, кажется, весьма отстранены друг от друга. Крайними полюсами таких жанровых разновидностей можно считать трилогию «Хождение по мукам» и роман «Петр Первый». С продолжением «вальтерскоттовской» традиции преимущественного повествования о судьбах вымышленных лиц и воссоздания прежде всего через них «образа времени» и, напротив, — художественного исследования и портрета реальной выдающейся фигуры в центре сюжета. Резко выступающие в таком случае черты обличья главного персонажа и представляют собой вместе с тем как бы искомый образ эпохи.

При органичной склонности А.Толстого к историзму художественного мышления естественны, вероятно, колебания в отнесении отдельных произведений к разделу «Исторические повести и рассказы», впервые особо обозначенному в настоящем издании (Том четвертый). Ведь историзм взгляда никогда не покидал Толстого, даже при написании вещей о современности по самым горячим следам событий. Художественный репортер и историк эпохи жили в нем рядом, взаимодействуя и дополняя друг друга. Настоящее издание лишь стремится выпукло представить важнейшую грань таланта художника — историзм мышления — столь притягательную в наши дни глобальных сопоставлений и раздумий об ушедшем и предстоящем.

Трудно не согласиться вместе с тем, что такие шедевры прозы А.Толстого, как повести «Простая душа», «Гадюка» или «Голубые города» (равно как и несущие близкий заряд рассказы и повести «Обыкновенный человек», «Буря», «Милосердия!», «Маша», «В снегах», «Древний путь» и др.) своим содержанием и строем примыкают к трилогии «Хождение по мукам». Одни из них явно предвосхищали романы трилогии, другие столь же явно от нее отпочковались, по логике внутреннего развития мотивов «дочерпывая» и «досказывая» ее содержание.

«Образ времени» в этих и подобных им сочинениях, как и в самих романах трилогии, не менее важный предмет авторского интереса, а иногда даже и не менее активное «действующее лицо», чем сами персонажи, индивидуальные истории которых разветвляются в повествовании.

Конечно, перед нами не «этюды» или преднамеренные «эпизоды» к судьбам иных социально-исторических характеров, выведенных в романах трилогии. Нет, это стихийно вылившиеся самостоятельные произведения, причем уровнем художественного исполнения нередко превосходящие иные страницы и главы самой трилогии. К тому же всякое сравнение хромает. И все же представить подобные сочинения совершенно отдельно, а не рядом с «Хождением по мукам» столь же невозможно, как не поместить в одном или соседнем с картинами зале разнообразных этюдов В.Сурикова к трудам его жизни — монументальным полотнам «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Переход через Альпы» и др.

Только вместе и рядом эти романы, повести и рассказы создают куда более живую и сложную панораму первой мировой войны, революции и последующего лихолетья гражданского кровопролития и общенациональных потрясений в России,

чем та, которую в отдельности и сама по себе изображает трилогия «Хождение по мукам».

Охотно обращался Толстой и к «портретной» исторической прозе, вершиной которой стал роман «Петр Первый». Таковы рассказы «Наваждение», «День Петра» — начальные подступы автора к петровской теме (датируются 1918-м годом), «Повесть смутных лет», «Граф Калиостро», «Гобелен Марии-Антуанетты»... Легко владел Толстой и другими приемами исторического рассказа включая обработку народных легенд и преданий (ср. рассказы «Егорий — волчий пастырь», «Эшер» и др.).

Почти тридцать лет прожил Толстой в атмосфере Петровской эпохи. Его библиотека документов, книжных раритетов, записок и мемуаров очевидцев, переплетенных подшивков старинных периодических изданий, разнообразных научных исследований по петровскому и допетровскому времени, безусловно, была одной из самых уникальных в мире. Музей отчасти напоминал и весь обширный рабочий кабинет А.Н.Толстого. На его письменном столе громоздился медный морской компас с корабля петровской флотилии, порасставлены были старинные табакерки искусной работы, замысловатые эмальевые с глазурью безделушки и т.п. А за спиной хозяйина, на стене, как символ и напоминание о вечном, висела белая гипсовая маска, посмертно снятая с Петра Первого... «Смотрите, — достав ее с гвоздика и держа перед взором собеседника, — говаривал Толстой, — в лице этого гиганта было что-то кошачье!»

В своем романе при всей самобытности художественного изображения А.Толстой в некоторых решающих моментах держался той концепции личности царя-преобразователя и Петровской эпохи, которую условно можно назвать пушкинско-соловьевской (имею в виду историка государственной школы С.М.Соловьева, автора многотомного труда «История России с древнейших времен» и «Публичных чтений о Петре Великом»). Отдавая себе полный отчет в самодержавной тирании и жестокостях Петра, когда, по слову Пушкина, «все состояния... были равны перед его дубинкою», а многие его указы «писаны кнутом» и «вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика», концепция эта, однако же, признает правоту и величие исторического дела Петра.

Интерес к переломной эпохе минувшего и своеобразной фигуре капитана отечественного корабля явился к писателю тоже на крутом историческом повороте и был продолжением главной линии всего художнического развития Толстого. «С первых же месяцев Февральской революции, — пояснял автор будущего романа, — я обратился к теме Петра Великого. Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, и искал в этой теме разгадки русского характера и русской государственности».

В Петровской эпохе по мере того, как он глубже в нее вникал, Толстого «увлекло ощущение полноты «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер». Писателя занимали коренные узлы отечественной истории — именно такие «трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер»... Народ — государственность — русский характер — такова триада, интересовавшая романиста.

Как видим, все это очень сильно перекликается с представлениями и ощущениями, которые развивал Пушкин: «Была та грозная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра» и когда «северный исполин, который «всеобъемлющей душой на троне вечный был работник», «в Европу прорубил окно».

Приведенные выше признания взяты из «Краткой автобиографии», которой открывается в настоящем издании корпус произведений А.Н.Толстого. В ней, а также в некоторых публикациях раздела «Статьи об искусстве» (т.5) (См., напр., «Стенограмму беседы с коллективом редакции журнала «Смена») писатель передает и многие любопытные штрихи, сопровождавшие освоение петровской темы, начиная с чтения пытных записей тайных застенков XVII-XVIII веков, так называемых дел «Слово и Дело»...

«Краткая автобиография» — наиболее полная из имеющихся — составлялась Толстым в последние годы жизни (1942 — 1944). В ней обозначены жизненные и творческие рубежи, в последовательности расставлены хронологические вехи пройденного пути, которые нет нужды повторять. Но без смысловых пояснений здесь, как и в нескольких других случаях, не обойтись.

Путь к тому чувственному образу главного героя и его эпохи (а только он и имеет значение для художника), который запечатлен в романе «Петр Первый», был мучительным и сложным. Первая книга романа напечатана лишь в 1929—1930 годах, а публикация второй книги завершилась весной 1934 года.

«На Петра я нацеливался давно, — оглядывался назад Толстой уже в 1933 . — Я видел все пятна на его камзоле, я слышал его голос, но Петр оставался меня загадкой в историческом тумане».

К собственным сокровенным представлениям, которые становились реальностью шей, чем сама жизнь, писатель рвался, пробиваясь сквозь плотные залежи иенелостей культурных слоев. Дули и шквальные ветры окружающей действительности. Причем тут и там, как всегда, были и свои подлинники Сциллы и Хавы, лишь ждавшие положенной им добычи.

С одной стороны, это были антипетровские концепции, решительно возобла- гие в начале XX века в близкой для А.Толстого среде. С другой — соблазны царственной мифологии, неумоимо плодившей свой исторический ширпотреб оду толпе и для улагодворения очередных тиранов и держателей власти.

В течение долгого времени А.Толстой не находил внутреннего противовеса тем ным картинам Петровской эпохи, которые с философской концептуальной строи- ью обрисовал в своих произведениях писатель и религиозный мыслитель Д.Ме- ковский. Художественный гипноз действовал независимо от того, что многие вные исходные идеи Д.Мережковского А.Толстой не разделял и противился им. юсофской стройности надо было противопоставить только такую же законченную ептуальную стройность. А ее не было. Без этого возникали лишь неорганичные, жательные вещи. О большом историческом полотне нечего было и думать. Навы именно такого влияния Д.Мережковского несут на себе первоначальные «пет- кие» произведения А.Толстого — от рассказа «День Петра» до пьесы «На дыбе».

Д.С.Мережковский выдвинул новую антипетровскую концепцию, гораздо более разимую, чем те, которые издавна развивали стародавние противники Петра — рики и публицисты славянофильской и «почвеннической» ориентации. Хотя в ем итоге — отрицании «чужебесия» — сходились все.

Согласно этим представлениям реформаторские усилия Петра не могут быть вданы, так как главным их результатом был непоправимый урон для России. зносы из Западной Европы на отечественную почву механический сколок чуж- ных порядков, достижений, нравов и методов управления, беспощадно поры- с собственными национальными традициями и преданиями, «царь — немец» и ихрист» (как нарекла его глухая народная молва) нарушил естественное посту- льное развитие страны. Стараясь вопреки желанию почти всех «общественных ояний» облагодетельствовать подданных и в кратчайшие сроки вырвать страну редневековой отсталости, Петр насилывал историю. И внес в национальный низм те болезнетворные недуги, от которых тот не избавился и поныне.

Именно за насилие над историческим процессом М.Волошин в одной из поэм ал Петра I «первым большевиком в русской истории».

Аморализм и бесовщину многих реформаторских деяний Петра и показал Д.Ме- ковский в романе «Антихрист (Петр и Алексей)» (1905 г.). Чудовищное полити- ое дело о широком «государственном заговоре», которое логикой своего поведения траивает и, употребляя современное выражение, собственноручно «шьет» Петр овольному спившемуся сыну, с отцовским же участием насмерть засекаемому за- на дыбе, — лишь эпизод в длинной череде таких антихристовых поступков.

Противоречивая коллизия между правами личности и жестокой государственной ходимостью, выраженная в «Медном всаднике» Пушкина бунтарской угрозой шавшегося Евгения: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..» — у Ме- ковского или Волошина знает лишь единственное разрешение. Для таких хри- нских религиозных мыслителей, как они, самоценная человеческая личность е всякой «государственной необходимости».

Фигура державного сыноубийцы в романе «Антихрист» освещена трагическим ом. Но не он, а запутавшийся безвинный страдалец, сумевший в момент рася на дыбе простить отца, по мысли Д.Мережковского, является носителем нрав- ной истины; на какие-то мгновения в него как бы вселяется сам Христос.

А.Толстой не верил в Бога. Его верой был не Христос, а народ, отчизна, русская дарственность, гуманизм, а затем и мечта о строе «всеобщего благоденствия» — ант царства Божьего на земле, — за создание и утверждение которого под нем социализма с невиданным замахом и рвением упрямлись большевики. Ме- новоявленной «революции сверху» были страшными и жестокими, это Толстой, чно, так или иначе видел. Но разве мягко действовал Петр, когда «уздой же-

«мной Россию поднял на дыбы»? Теперешняя цель выглядела кардинальной, она выходила за пределы очередной «модернизации страны».

Примерно так соотносились в сознании романиста интерес к Петровской эпохе с тем, что во второй половине 20-х годов (пора окончательного формирования замысла) как будто бы совершалось перед глазами. Получалось, что удары петровской дубинки стоили входного билета в «страну счастья», если даже самому искомому счастью еще не скоро суждено обосноваться в России. В общем между идеальными устремлениями далеких эпох брезжила некая преемственная творческая связь.

Государственнические воззрения А.Толстого и прежде склонялись к признанию приоритета народных интересов над частными, государства — над личностью. Сам акт изъятия из эмиграции на родину в 1923 году выражал готовность подчинить общественную личность «государственной необходимости».

С нарастанием веры в социализм, в чем А.Толстой тогда никак не составлял исключения, извечная дисгармония стала вроде бы обращаться в гармонию. Служение чуждому великой государственной идее казалось тем самым и службой самому себе.

Теперь-то для нас очевидно, где тут были отсветы и блики рухнувших позе утний. Хотя в первую пору Советской власти иллюзорные миражи и совпадали со святой верой многих выдающихся умов в нашей стране и за рубежом. Но разве же жизнь человеческая не состоит из смены разнообразных иллюзий?

Истина, можно сказать, библейская. Для романиста, однако, крепнувшая надежда сыграла роль кристалла, падающего в перенасыщенный раствор. Он ощутил некую целесообразность в «связи времен», такты «эпического состояния мира». Потускнел и выдохся прежний гипноз Л.Мережковского. Петровская эпоха ожила. На свое место встали подпорки и скрепы пушкинско-соловьевской концепции. С конца 20-х годов роман сам стал проситься на бумагу.

Но кроме коварной Сциллы литературной несамостоятельности и давления прежних культурных слоев, была еще зубастая идеологическая Харибда — государственной мифологии. Эта всегда была на чеку.

* * *

Государственная мифология — одна из принадлежностей государства и как таковая явление повсеместное. Достаточно вспомнить миф о прусском короле Фридрихе Великом — в Германии, миф о Наполеоне Бонапарте — во Франции, об «отцах-основателях» американской Конституции — в Соединенных Штатах и т.д. Причем особенно падки на государственную мифологию, конечно, деспотические и тоталитарные режимы. Всячески облагораживая свою внешность, они посылно мобилизуют все музы, чтобы обрядиться в подходящие исторические костюмы.

Тут можно было бы подробно рассказать, как тщательнее раздувал культ Петра Великого и прятался за образ «пращура» Николай I. При нем над созданием государственного мифа о первом российском императоре трудилась целая плеяда вторжортных беллетристов — Н.Кукольник, Е.Аладин, А.Корнилович, К. Масальский, П.Фурман и др. На заре царствования неосторожный аванс позволил себе даже Пушкин: «Семейным сходством будь же горд, // Во всем будь пращуру подобен...» («Стансы»). Впрочем, иллюзия была мимолетной, в дневнике Пушкин записал: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого».

А.Толстой, как свидетельствует серия его высказываний, отдавал себе ясный отчет, какие опасности при работе над избранной темой угрожают ему со стороны государственной мифологии. «Мы далеки от мысли возродить тривиальный хрестоматийный образ «венеценосного плотника», — заявлял он. — Но мы не хотим... умалить значение личности человека, возвысившегося над эпохой». Или — в «Краткую автобиографию»: «Что привело меня к эпопее «Петр I»? Неверно, что я избрал эту эпоху для проекции современности». (Далее следуют объяснения побудительных мотивов, нам уже знакомых.)

Означает ли это, что автору «Петра» удалось целиком благополучно и без потерь прочесть мимо зубастой Харибды?

Вольные или невольные уступки государственной мифологии можно обнаружить на этом изобильном и красочном полотне. Они-то в самоуверенно толпащихся вокруг Петра фигурах купцов и промышленников, как бы иллюстрирующих марксистские схемы о нарастающей роли торгово-промышленного капитала в Петровскую эпоху; то в ловко шныряющем по роману прошельге-старце Нектарии, чуть ли не про-

фессиональном строителе «красной смерти» — старообрядческих самосожжений, чем явно шаржируется трагедия старообрядчества; то в отеческом обходе царем землянок строительных рабочих Петербурга, когда в живом и своенравном облике Петра начинают возникать вдруг лубочные черточки «народного заботника» (в главах третьей книги)... И т.п.

Но все это недуги и изъяны живого организма. Далекого от аллегорического примитива, каким изображает роман «Петр Первый» некоторые современные георостраты, готовые ради того, чтобы обратить на себя внимание, кромсать ножом или плескать кислотой на живописные полотна.

Один такой новоявленный джек-потрошитель культуры, расправляясь на журнальных страницах с романом А.Толстого, даже утверждал, что «И Петр, и его окружение — сплошной исторический антураж». Историей в романе, дескать, и не пахнет, «в нем изображена не петровская, а именно сталинская эпоха», вообще все в этом произведении «сплошной маскарад», «сплошные аллюзии» («Вопросы литературы», 1988, № 8, с.63, 65). Коротче говоря, Петр — это советский генералиссимус разве лишь двухметрового роста.

Непонятно, правда, как подобная книга могла обаять такого беспощадного ценителя, как Бунин. Да и многих других — от Ромена Роллана до академика Петра Капицы, которые наслаждались романом.

Время было тяжелым. Но автор «Петра Первого» инстинктом художника противился слоняющимся подле и вокруг призракам и фантомам государственной мифологии. У него хватило решимости и такта в кризисную для себя вторую половину 30-х годов не продолжать роман. За десять лет после отдельного издания первой и второй книг было написано лишь шесть глав третьей книги. Да и то уже в обстановке духовного подъема, вызванного близящейся военной победой...

Если читать параллельно «Петр Первый» А.Толстого и «Антихрист (Петр и Алексей)» Д.Мережковского, первое из этих произведений — концептуально — может показаться, пожалуй, чуть старомодно тяжеловесным, как отцовский пиджак, неким откатом назад, в XIX век, к повторам заветов классики. Но это будет чисто внешнее впечатление. По мере того, как глубже входишь в текст, видишь, что оба сочинения живые и каждое хорошо по-своему.

Хотя «Антихрист» Д.Мережковского написан много раньше, он способен сильнее ударить по болезненно напряженным нервам современного человека, живущего в эпоху тоталитарных режимов. Роман полон ужасных прозрений и предчувствий, к сожалению, оправдавшихся.

У романа А.Толстого могло бы быть другое название — «Молодость Петра». Жизнь героя прослежена от детства до 1703 года, когда Петру 31 год и фортуна только поворачивается к нему лицом (первые победы над шведами и основание С.Петербурга). Книга, несмотря на все ужасы изображаемой действительности, полна солнца, свежего бриза, энергии и оптимизма. Читая ее, веришь, что при всех уродствах и кошмарах отечественной истории народ переживет несчастья, а Россия не погибнет и выстоит.

«Петр» Д.Мережковского — это муки бездольных скитаний по путанице жизни, «Петр» А.Толстого — радость отдохновения у родительского очага.

Книга оставляет впечатление, будто воочию увидел жизнь предков, поговорил с этими дикими, страшными, но умными и сильными людьми, получив от них заряд бодрости, чтобы дальше владеть собственной судьбой по нынешним дорогам.

По словесным мазкам «Петр Первый» — фламандски сочная, живописная и красочная проза, тоже так сильно разнящаяся от суховатого, точного и нервного стиля Д.Мережковского.

В отличии от науки произведения искусства не отменяют друг друга. Даже когда одно как будто противоречит другому. Роман «Антихрист» Д. Мережковского или философичные поэмы М.Волошина, разумеется, ни в коей степени не умаляют и не зачеркивают пушкинского «Арапа Петра Великого», «Полтаву» или «Медного всадника». То и другое, схватывая разные грани жизненных явлений, существует для нас рядом. Самое видное и почетное место в этой живописной «петровской галерее» занимает и роман А.Толстого.

А от Бунина после зимней открытки 1935 года о «Петре» А.Толстой получил еще одну почтовую весть.

Эта краткая история, которая многое могла бы переменить на литературной сцене, заслуживает отдельного рассказа. Речь вновь пойдет о такой призрачной сущности, без которой, однако, не может осуществиться ни один талант, — о личности художника.

В конце мая или начале июня 1941 года Толстой неожиданно для себя получил открытку от И.А.Бунина, который жил в неоккупированной немцами части Франции с женой В.Н.Муромцевой. Перед этим была последняя случайная встреча в парижском кафе осенью 1936 года. Было полное взаимное отчуждение, похожее на окончательный разрыв. Были последующие залихватские интервью Толстого в советских газетах: «Я был удручен глубоким и безнадежным падением этого мастера. (И) Бунин остался только оболочка прежнего мастерства (речь, в частности, о романе «Жизнь Арсеньева». — Ю.О.)... Судьба Бунина — наглядный и страшный пример, как писатель, оторванный от своей родины...» И т.д.

До автора романа «Жизнь Арсеньева» дошли эти оценки. Была раздраженная вычеркивающая реакция Бунина, который не остался в долгу.

И вдруг это письмо. Гордый и желчный Бунин не любил обнаруживать перед интронными своих слабостей. Но тут был крик отчаяния.

«Алексей Николаевич, — так начиналось письмо, — я в таком ужасном положении, в каком еще никогда не был, — стал совершенно нищ (не по своей вине) и погибаю к голоду вместе с больной Верой Николаевной.

У вас издавали немало моих книг — помощи, пожалуйста, — не лично, конечно, может быть, Ваши государственные и прочие издательства, издававшие меня, заплатят мне за мои книги что-нибудь? Обратись к ним, если сочтешь возможным сделать что-нибудь для человека, все-таки сделавшего кое-что в русской литературе. При всей разности наших политических воззрений, я все-таки всегда был беспристрастен в оценке современных русских писателей... 2 мая 1941 г. *Ив. Бунин*».

Неделю спустя открытку из неоккупированной Франции получил также писатель Н.Д.Телешов, близкий приятель Бунина еще по литературным «средам» начала 1900-х годов, не прекращавший с ним переписки. Во второй открытке говорилось прямо: «Хочу домой», о чем также стало известно Толстому.

Что должен был делать и как поступить Толстой? Ведь кто был для него Бунин? Или не литературный враг, то противник и уж, по крайней мере, всегдашний бескомпромиссный оппонент, с которым после всего происходившего полного замирения и нормальных отношений быть не могло (что, кстати, доказал впоследствии и сам Иван Алексеевич громкой загробной пощечиной — мемуарным памфлетом «Третий Толстой» 1949 года). К тому же в случае возвращения Бунина на родину это был привлекаемый на свою голову реальный литературный конкурент и соперник, который бы сразу потеснил Толстого с первых мест на здешнем писательском Олимпе. Ведь это был не спившийся хворый Куприн, который в 1937 году вернулся умереть на родине, а еще полный сил лауреат Нобелевской премии (тогда единственный среди русских писателей!), живой классик, творческий авторитет которого для многих в профессиональной среде мог быть более несомненен, чем авторитет А.Толстого.

Главное же — и сам Бунин ведь и просил-то Толстого всего лишь о литературном посредничестве. О том, чтобы помочь выколотить из издательств, пусть даже из государственной казны не полученный им многолетний гонорар за напечатанные книги, деньги, столь необходимые ему теперь в его бедственных обстоятельствах.

Как должен был отреагировать на это Толстой? Да как угодно! Сто один вариант, которые прытко измыслил бы всякий литературный собрат из типовой породы приспособленцев.

Толстой выбирает вариант единственный из возможных. Он отбрасывает все мелочное, конъюнктурное, суетное. Уколы самолюбия, застарелые обиды, прежние интервью, ревность соперничества, бухгалтерию возможных будущих потерь или прибытков. Даже страх неизвестности, когда вступаешься за писателя-эмигранта перед своенравным владыкой в накаленной обстановке висящего на волоске мира. (Он думает только об интересах русской культуры, о судьбе выдающегося мастера, и движет им только одно — совесть художника.

Он бьет во все колокола, пишет письмо Сталину. Изложив содержание полученного от Бунина письма с добавлением фразы из открытки Телешову: «Хочу домой», Толстой выносит оценку: «Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример — как нужно обращаться с русским языком, как нужно

видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму».

«Мы учимся у него...» — многие ли в положении А.Толстого даже внутренне, про себя, отважились бы изречь такое?!

«Бунину сейчас около семидесяти лет, — продолжает А.Толстой, — он еще полон сил, написал новую книгу рассказов. Насколько мне известно, в эмиграции он не занимался активной антисоветской политикой. Он держался особняком, в особенности после того, как получил Нобелевскую премию... Обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, — мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?»

Если такую надежду подать ему будет нельзя, то не могло бы Советское правительство через наше посольство оказать ему материальную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались Гослитиздатом».

Письмо датировано 17 июня 1941 года и в тот же день передано в кремлевскую экспедицию. Но через пять дней началась война, перечеркнувшая все.

А ведь такое поворотное было письмо. Во всяком случае, для многолетней дружбы-вражды двух художников. Но Бунин никакого отклика из Москвы не получил. Не повезло письму и впоследствии. Оно долго лежало под спудом. И не влияет даже на уточнение репутации А.Толстого в нынешнее жесткое переоценочное время. В последние два десятилетия, правда, письмо публиковалось в специальных научных изданиях, в том числе и автором этих строк. Но до широкого читателя, по существу, не дошло. Как уже сказано, не узнал о нем и И.А.Бунин. Иначе тон его мемуаров 1949 года наверное бы сильно переменялся.

* * *

Художник весенней жизнерадостности, по меткому определению современника, почти языческого обожания жизни, исторического склада мышления, мастер, для которого патриотический настрой и увлеченность были одними из главнейших свойств дарования, редкий по отзывчивости и широте притяжений восприимчив заветов и традиций отечественной классики... Какие еще мотивы пронизывали творчество этого писателя?

Портрет зиял бы обрывом без органичной черты, присущей А.Толстому. Это — вера в любовь. «Я был уверен в одном, — писал А.Толстой в первой «Автобиографии» 1913 года, — что есть любовь. Теперь я уверен, что в любви рождаются вторично. Любовь есть начало человеческого пути...»

Для А.Толстого это было не просто житейское убеждение или нравственный вывод, но эстетический принцип и идеал, который он пронес через все творчество. «Сила этой любви предназначенной, — доказывал он в своих сочинениях, — настолько могущественна, что перерождает самую сущность человека».

Тягой к такой любви наэлектризованы, можно сказать, уже ранние произведения А.Толстого, принадлежащие к «заволжскому циклу». С высоты чувства, в котором расцветает и обновляется человек, писатель обрушивался на свинеющих и заживо гниющих в своих усадьбах последней феодалного быта, вроде Мишуки Нальмова, и приходящих им на смену рыцарей чистогана (повесть «Мишука Нальмов», первоначальное название — «Заволжье», вещь давшая расхожее имя сборнику, с которого начал цикл).

Даже уездный монстр Мишука Нальмов, услаждающий себя групповыми забавами в домашнем гареме, по-своему одержим томлением по этому возвышенному и неуловимому призраку. Здесь, как и впоследствии, идеал любви давал дополнительные светлые и жизнеутверждающие краски таланту писателя, в какие бы темные стороны действительности он ни погружался.

Рассказы, повести и романы «заволжского цикла» — это не только произведения о фантастических чудачках и «эпигонах дворянского быта», как именовал их сам А.Толстой. Но это и книги о любви или, по крайней мере, — о стремлении к ней. И недаром на переднем плане повествования так часто оказываются способные на такое чувство женщины, изображение которых у А.Толстого окрашено, чтобы не сказать озарено, продолжением тургеневской традиции в русской литературе.

В основе этой традиции лежит поэтизация женщины, представление о ней, как существе духовно более тонком и возвышенном в сравнении с персонажами-мужчинами. Резко выделяются на окружающем их фоне и Вера Ходанская («Мишука

Ильмов»), и Сонечка Репьева (роман «Чудаки»), и Катя Волкова (роман «Хромой барин»).

(Однако же в отличии от «тургеневских девушек» при всех своих высоких нравственных качествах это натуры пассивные, созерцательные, склонные подчиняться миру обстоятельств. Всю в белом, одиноко и задумчиво сидящей на скамеечке у пруда, — в такой позе, пожалуй, легче всего представить себе молодую женщину из произведений «заволжского цикла».

Вместе с тем в этих благородных, но пока, увы, сплошь неудачливых мечтательницах, привлекающих свежестью и чистотой чувства, а также в героинях ряда других предреволюционных произведений (см., напр., рассказ «Любовь»), уже намечены некоторые черты, видны как бы подступы Толстого к самым масштабным и его созданий в галерее женских характеров — к образам двух сестер Даши и Кати из трилогии «Хождение по мукам».

Ведь и сама трилогия — повествование не только о понсках истины и справедливости среди социальных бурь эпохи, но и опять-таки — книга о любви. И еще не известно, что труднее далось (и уж, безусловно, верней оказалось!) для двух пар, вкусивших все муки обретения «любви предназначенной», для главных этих лиц трилогии. Во всяком случае, с неожиданной современностью перестановка приоритетов звучит в словах, обращенных Роциным к Кате: «... пройдут годы, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только — кроткое, нежное, любимое сердце ваше».

Можно было бы подробно рассказать далее и о другом полюсе женских характеров в прозе А.Толстого. Это — безлюбые женщины, которые в угоду вырости и внешней мишуре более или менее успешно вытравливают в себе женское естество.

(Особенно щедро представлены авантюристки, карьеристки, расфуфыренные куклы и т.п., конечно, в эпопее о власти и народе «Петр Первый». Ведь и читая этот роман, не меньше, чем за державными деяниями царя-преобразователя, следим за его бездольной и расхристанной частной жизнью — сначала с традиционно назначенной ему супругой Евдокией Лопухиной и сметливой неверной мешаночкой из Немецкой слободы Анной Монс (реальное историческое лицо), а затем за начавшимся долгим и, как известно, сомнительным романом с пленной войсковой портомойкой Мартой Скворонской (будущая императрица Екатерина I)...

Наблюдаясь, с каким иногда зеркальным подобием пытаются разрешить свои государственные затруднения холодный шведский ратник Карл XII и салонный сердцеед саксонско-польский монарх Август, засылая почти прямо с королевского ложа в спальню противника очаровательных и изворотливых вельможных прелестниц... Вообще, надо сказать, женщины авантюрного от природы склада занимают важное место в сочинениях А.Толстого — от подсадной наемницы шпионских служб Людмилы Степановны (рассказ «Прекрасная дама») до несостоявшейся повелительницы мира Зои Ламоль («Гиперболоид инженера Гарина»). И этот перекликающийся тип авантюрной женщины (а с ним и авантурных хитросплетений сюжета) неожиданно роднит «серьезную» прозу писателя с «коммерческой» струей его литературной продукции.

Скажу так: для истинного художника любовь всегда не менее главная сфера, чем социология и политика. Иногда, может, даже и более главная. Потому что в ней удастся глубже углядеть «вечное», те самые загадки и извивы человеческой природы, которые и составляют предмет искусства.

Сами по себе социально-политические концепции нередко подобны лишь роли ракеты, выводящей летательный аппарат на постоянную космическую орбиту, если снисходительно отнестись к этому промельку расхожей телевизионной картинки. Долговечность произведения искусства обеспечивает совсем другое. И чем дальше отделен от нас временной ружей их создания, тем это становится очевидней.

Ну, подумайте лишь в самом деле, к примеру, — какое дело нынешнему читателю, за кого был Гомер — за ахейцев или защитников Трои? Смешно говорить. В «Иллиаде» и «Одиссее» он ведь разговаривал с богами о человеческой природе. И не пресловутыми идеологическими «трактовыми», которыми наперебой кормили нас до недавних пор подручные тоталитарной пропаганды — учебники и официальная критика, а глубинной проникновения в природу человека всегда только и мерилась подлинная литература, только тут и проходит водораздел между истинным искусством и не-искусством.

Сказанное относится не только к гражданским войнам древнегреческих полисов, но и к событиям нашего недавнего прошлого. Высокая степень художественной правды делает одинаково интересными для современного читателя «Тихий Дон» М.Шолохова и романы донского атамана П.Краснова, повести участника белогвардейского «ледового похода» Р.Гуля и конармейца И.Бабеля. Среди лучших книг в этом ряду находится и трилогия «Хождение по мукам» А.Толстого, и другие произведения писателя при всех пережитых им идеологических поворотах.

«Алексей — с гор вода!» — статья названа мной по первой строке одного из стихотворений Н.В.Крандиевской, адресованных А.Н.Толстому или так или иначе с ним связанных. Клич звучит вместе с тем и меткой кличкой.

Наталья Васильевна Крандиевская (1888 — 1963) была третьей женой А.Н.Толстого. Жен у Толстого было четыре. Но с Н.В. Крандиевской писатель прожил более двадцати лет, имел двух детей. Глубокий след Н.В.Крандиевская оставила и в его творчестве.

Красивая, душевно одаренная женщина, Наталья Крандиевская была значительным и самобытным поэтом. Уже первые ее шаги в литературе отметили два классика — Бальмонт и Бунин. Но впоследствии, как бывает, Крандиевская посвятила себя семье, в досовietское время вразброс и в неблагоприятных обстоятельствах выпустила лишь три книжки, а после возвращения из эмиграции и вовсе почти не выходила к читателю.

Об Н.Крандиевской в автобиографии 1922—1923 годов Толстой написал: «Моя жена дала мне знание РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ». Неслучайно она одна (такое случается не часто!) послужила прототипом сразу двух сестер — Кати и Даши — в «Хождении по мукам».

Н.В.Крандиевская хорошо понимала натуру Толстого, чувствовала особенности его дарования. И она не ошиблась в главной характеристике — в кличке. Талант А.Толстого, хотя, конечно, безмысленным и не был, но был естественным и обильным, как вода с гор.

«Если академик через десять лет после смерти еще помнят, он — классик науки», — говорил один из друзей А.Н.Толстого физик лауреат Нобелевской премии Петр Леонидович Капица. У искусства свои тягбы с вечностью. Но если книги писателя, несмотря на все общественные бури и перевороты в головах, продолжают читать через пятьдесят лет после смерти, а о нем самом не затухают споры, будто он живой, то такой писатель тоже, вероятно, заслуживает высокого наименования.

И секрет этой привлекательности для сменяющихся поколений один. Все тот же, который уже применительно к нашим дням определил поэт:

«Смягчается времен суровость,
Теряют новизну слова.
Талант — единственная новость,
Которая всегда нова.»

Б.Пастернак

И еще. Алексей Толстой — это легкий талант, как бывают люди легкие в общении. В этом еще одна из загадок его универсальности и общинтересности. В сочинениях А.Толстого чтение для себя так или иначе найдет человек буквально любого возраста, образования и социального слоя. И дети, и взрослые, и любители сказок и исторических романов, и остросоциальной прозы, и авантюрных похождений, и научной фантастики.

Есть и над чем поразмыслить и забыть. Да и просто насладиться красочным и живописным слогом. Похотеть над анекдотом и почесать в затылке. Запросто входит этот писатель и в узкий и в широкий семейный круг.

Юрий Оклянский

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Я вырос на степном хуторе верстах в девяносто от Самары. Мой отец Николай Александрович Толстой — самарский помещик. Мать моя, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка Николая Ивановича Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною. Ее второй муж, мой вотчим, Алексей Аполлонович Бостром, был в то время членом земской управы в г. Николаевске (ныне Пугачевск).

Моя мать, уходя, оставила троих маленьких детей — Александра, Мстислава и дочь Елизавету. Уходила она на тяжелую жизнь, — приходилось порывать все связи не только в том дворянском обществе, которое ее окружало, но и семейные. Уход от мужа был преступлением, падением, она из порядочной женщины становилась в глазах общества — женщиной неприличного поведения. Так на это смотрели все, включая ее отца Леонтия Борисовича Тургенева и мать Екатерину Александровну.

Не только большое чувство к А. А. Бострому заставило ее решиться на такой трудный шаг в жизни, моя мать была образованным для того времени человеком и писательницей. (Роман «Неугомонное сердце» и повести «Захолустье». Впоследствии ряд детских книг, из которых наиболее популярная «Подружка».) Самарское общество восьмидесятых годов — до того времени, когда в Самаре появились сосланные марксисты, — представляло одну из самых угнетающих картин человеческого свинства. Богатые купцы-мукомолы, купцы — скупщики дворянских имений, изнывающие от безделья и скуки разоряющиеся помещики-«степняки», — общий фон, — мещане, так ярко и с такой ненавистью изображенные Горьким...

Люди спивались и свинели в этом страшном, пыльном, некрасивом городе, окруженном мещанскими слободами... Когда там появился мелкопоместный помещик — Алексей Аполлонович Бостром, молодой красавец, либерал, читатель книг, человек с «запросами», — изред моей матерью встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой, духовной и чистой жизни. И она ушла к новому мужу, к новой жизни — в Николаевск. Там моей матерью были написаны две повести «Захолустье».

Алексей Аполлонович, либерал и «наследник шестидесятников» (это понятие «шестидесятники» у нас в доме всегда произносилось, как священное, как самое высшее), не мог ужиться со степными помещиками в Николаевске, не был переизбран в управу и вернулся с моей мамой и мною (двухлетним ребенком) на свой хутор Сосновку.

Там прошло мое детство. Сад. Пруды, окруженные ветлами и заросшие камышом. Степная речонка Чагра. Товарищи — деревенские ребята. Верховые лошади. Ковыльные степи, где лишь курганы нарушали однообразную линию горизонта... Смены времен года, как огромные и всегда новые события. Все это и в особенности то, что я рос один, развивало мою мечтательность.

Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался волчий вой. Когда ветер заводил песни в печных трубах, в столовой, бедно обставленной, штукатуренной комнате, зажигалась висючая лампа над круглым столом, и вотчим обычно читал вслух Некрасова, Льва Толстого, Тургенева или что-нибудь из свежей книжки «Вестника Европы»...

Моя мать, слушая, вязала чулок. Я рисовал или раскрашивал... Никакие случайности не могли потревожить тишину этих вечеров в старом деревянном доме, где пахло жаром штукатуренных печей, топившихся кизяком или соломой, и где по темным комнатам нужно было идти со свечой...

Детских книг я почти не читал, должно быть у меня их и не было. Любимым писателем был Тургенев. Я начал его слушать в зимние вечера лет с семи. Потом — Лев Толстой, Некрасов, Пушкин. (К Достоевскому у нас относились с некоторым страхом, как «жестокому» писателю.)

Вотчим был воинствующим атеистом и материалистом. Он читал Бокля, Спенсера, Огюста Конта и более всего на свете любил принципиальные споры. Это не мешало ему держать рабочих в полуразвалившейся людской с гнилым полом и таким множеством тараканов, что стены в ней шевелились, и кормить «людей» тухлой солониной.

Позднее, когда в Самару были сосланы марксисты, вотчим переназнакомился с ними и вел горячие дебаты, но «Капитала» не осилил и остался, в общем, при Канте и английских экономистах.

Матушка была тоже атеисткой, но, мне кажется, больше из принципиальности, чем по существу. Матушка боялась смерти, любила помечтать и много писала. Но вотчим слишком жестоко гнул ее в сторону «идейности», и в ее пьесах, которые никогда не увидели сцены, учителя, деревенские акушерки и земские деятели произносили уж слишком «программные» монологи.

Лет с десяти я начал много читать — все тех же классиков. А года через три, когда меня с трудом (так как на вступительных экзаменах я получил почти круглую двойку) поместили в Сызранское реальное училище, я добрался в городской библиотеке до Жюль Верна, Фенимора Купера, Майн-Рида и глотал их с упоением, хотя матушка и вотчим неодобрительно называли эти книжки дребеденью.

До поступления в Сызранское реальное училище я учился дома: отчим из Самары привез учителя, семинариста Аркадия Ивановича Словоохотова, рябого, рыжего, как огонь, отличного человека, с которым мы жили душа в душу, но науками занимались без перегрузки. Словоохотова сменил один из высланных марксистов. Он прожил у нас зиму, скучал, занимаясь со мною алгеброй, глядел тоской, как вертится жестяной вентилятор в окне, на принципиальные споры с вотчимом не слишком поддавался и весной уехал...

В одну из зим, — мне было лет десять, — матушка посоветовала мне написать рассказ. Она очень хотела, чтобы я стал писателем. Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Степки... Я ничего не помню из этого рассказа, кроме фразы, что снег под луной блеснул, как бриллиантовый. Бриллиантов я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Степку вышел, очевидно, неудачным, — матушка меня больше не принуждала к творчеству.

До тринадцати лет, до поступления в реальное училище, я жил созерцательно-мечтательной жизнью. Конечно, это не мешало мне целыми днями пропадать на сенокосе, на жнивье, на молотыбе, на ржке с деревенскими мальчишками, зимою ходить к знакомым крестьянам слушать сказки, побасенки, песни, играть в карты: в носки, в короли, в свои козыри, играть в бабки, на сугробах драться стенка на стенку, наряжаться на святках, скакать на необъезженных лошадях без узды и седла и т. д.

Глубокое впечатление, живущее во мне и по сей день, оставили три голодных года, с 1891 по 1893. Земля тогда лежала растрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля стояли желтыми, сожженными. На горизонте лежал тусклый вал мглы, сжигавшей все.

В деревнях крыши изб были оголены, солому с них скормили скотине, уцелевший истощенный скот подвязывался подпругами к перскладинам (к поветам)... В эти годы имение вотчима едва уцелело... И все же через несколько лет ему пришлось его продать... Вся Самарская губерния отходила к земельному магнату Шехобалову, скупившему все дворянские земли и бравшему с крестьян цены за годовую аренду, какие ему заблагорассуживалось.

В 1897 году мы навсегда покинули Сосновку, купленную «почтарем» — кулаком, знаменитым тем, что он начал свое кулацкое благосостояние, ловко ограбив почту и спрятав на десять лет (до срока давности) ограбленные деньги. Мы переехали в Самару, в собственный дом на Саратовской улице, купленный вотчимом на остатки от уплаты долгов по закладным и векселям.

В 1901 году я окончил реальное училище в Самаре и поехал в Петербург, чтобы готовиться к конкурсным экзаменам. Я поступил в подготовительную школу к С. Войтинскому (в Териоках). Сдал конкурсный экзамен в Технологический институт и поступил на механическое отделение.

Первые литературные опыты я отношу к шестнадцатилетнему возрасту, — это были стихи, — беспомощное подражание Некра-

сову и Надсону. Не могу вспомнить, что меня побуждало к их писанию — должно быть, беспредметная мечтательность, не находившая формы. Стишки были серые, и я бросил корпеть над ними.

Но все же меня снова и снова тянуло к какому-то неоформленному еще процессу созидания. Я любил тетради, чернила, перья... Уже будучи студентом, неоднократно возвращался к опытам писания, но это было начала чего-то, не могущего ни оформиться, ни завершиться...

Я рано женился, — девятнадцати лет, — на студентке-медичке, и мы прожили вместе обычной студенческой рабочей жизнью до конца 1906 года. Как все, я участвовал в студенческих волнениях и забастовках, состоял в социал-демократической фракции и в столовой комиссии Технологического института. В 1903 году у Казанского собора во время демонстрации едва не был убит брошенным булыжником, — меня спасла книга, засунутая на груди за шинель.

Когда были закрыты высшие учебные заведения, в 1905 году, я уехал в Дрезден, где в Политехникуме пробыл один год. Там снова начал писать стихи, — это были и революционные (какие писал тогда Тан-Богораз и даже молодой Бальмонт) и лирические опыты. Летом 1906 года, вернувшись в Самару, я показал их моей матери. Она с грустью сказала, что все это очень серо. Тетради этой не сохранилось.

Каждой эпохе соответствует своя форма, в которую укладываются думы, ощущения и страсти. Этой новой формы у меня не было, создать ее я еще не умел.

Летом 1906 года умерла от менингита моя мать, Александра Леонтьевна. Я уехал в Петербург, чтобы продолжать ученье в Технологическом институте.

Начиналась эпоха реакции, и с нею вместе на сцену к огням рампы выходят символисты...

С их творчеством — Вячеслав Иванов, Бальмонт, Белый — впервые меня познакомил чиновник министерства путей сообщения и яхтсмен Константин Петрович Фан дер Флит, — чудака и фантазер. По ночам у себя в мансарде на Васильевском острове, при свете керосиновой лампы, он читал мне стихи символистов и говорил о них с неподражаемым жаром фантазии.

Тогда же, — весною 1907 года, — я написал первую книжку «декадентских» стихов. Это была подражательная, наивная и плохая книжка. Но ею для самого себя я проложил путь к осознанию современной формы поэзии. Уже через год была написана вторая книжка стихов — «За синими реками». От нее я не отказываюсь и по сей день. «За синими реками» — это результат моего первого знакомства с русским фольклором, русским народным творчеством. В этом мне помогли А. Ремизов, М. Волошин, Вячеслав Иванов.

Тогда же я начал свои первые опыты прозы: «Сорочьи сказки». В них я пытался в сказочной форме выразить свои детские впечатления. Но более совершенно это удалось мне сделать много лет спустя в повести «Детство Никиты».

Близостью к поэту и переводчику М. Волошину я обязан началом моей новеллистической работы. Летом 1909 года я слушал,

Вик Волошин читал свои переводы из Анри де Ренье. Меня поразили чеканка образов. Символисты с их исканием формы и такие мастера, как Ренье, дали мне начатки того, чего у меня тогда не было и без чего невозможно творчество: формы и техники.

Осенью 1909 года я написал первую повесть «Неделя в Турене» — одну из тех, которые впоследствии вошли в книгу «Заволжье», а еще позднее — в расширенный том «Под старыми липами» — книгу об эпизодах дворянского быта той части помещиков, которые перемещались новыми земельными магнатами — Шехобаловыми. Крепко сидящее на земле дворянство, перешедшее к интенсивным формам хозяйства, — в моей книжке не затронуто, я не знал его.

Затем следуют два романа: «Хромой барин» и «Чудаки», и на этом оканчивается мой первый период повествовательного искусства, связанный с той средой, которая окружала меня в юности.

Я исчерпал тему воспоминаний и вплотную подошел к современности. И тут я потерпел крах. Повести и рассказы о современности были неудачны, нетипичны. Теперь я понимаю причину этого. Я продолжал жить в кругу символистов, реакционное искусство которых не принимало современности, бурно и грозно закинувшей навстречу революции.

Символисты уходили в абстракцию, в мистику, рассаживались по «башням из слоновой кости», где намеревались переждать то, что надвигалось.

Я любил жизнь, всем своим темпераментом противился абстракции, идеалистическим мировоззрениям. То, что мне было полезно в 1910 году, вредило и тормозило в 1913.

Я отлично понимал, что так быть дальше нельзя. Я всегда много работал, теперь работал еще упорнее, но результаты были плачевны: я не видел подлинной жизни страны и народа.

Началась война. Как военный корреспондент («Русские ведомости»), я был на фронтах, был в Англии и Франции (1916 год). Книжку очерков о войне я давно уже не переиздаю: царская цензура не позволила мне во всю силу сказать то, что я увидел и переживал. Лишь несколько рассказов того времени вошло в собрание моих сочинений.

Но я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие, содрал с себя застегнутый наглухо черный сюртук символистов. Я увидел русский народ.

С первых же месяцев Февральской революции я обратился к теме Петра Великого. Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности. В новой работе мне много помог покойный историк В. В. Каллаш. Он познакомил меня с архивами, с актами Тайной канцелярии и Преображенского приказа, так называемыми делами «Слова и Дела». Передо мной во всем блеске, во всей гениальной силе раскрылось сокровище русского языка. Я, наконец, понял тайну построения художественной фразы: ее форма обусловлена внутренним состоянием рассказчика, повествователя,

за которым следует движение, жест и, наконец, — глагол, речь, где выбор слов и расстановка их адекватны жесту.

К первым дням войны я отношу начало моей театральной работы как драматурга. До этого — в 1913 году — я написал и поставил в Московском Малом театре комедию «Насильники»... Она вызвала страстную реакцию части зрителей и вскоре была запрещена директором императорских театров.

С четырнадцатого по семнадцатый год я написал и поставил пять пьес: «Выстрел», «Нечистая сила», «Касатка», «Ракета» и «Горький цвет».

С Октябрьской революции я снова возвращаюсь к прозе и осуществляю первый набросок «День Петра», пишу повесть «Милосердия!», являющуюся первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете октябрьского зарева.

Осенью восемнадцатого года я с семьей уезжаю на Украину, зимую в Одессе, где пишу комедию «Любовь — книга золотая» и повесть «Калиостро». Из Одессы уезжаю вместе с семьей в Париж. И там, в июле 1919 года, начинаю эпопею «Хождение по мукам».

Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, не нужным никому ни при каких обстоятельствах.

Я с жаром писал роман «Хождение по мукам» (первая часть «Сестры»), повесть «Детство Никиты», «Приключения Никиты Рощина» и начал большую работу, затянувшуюся на несколько лет: переработку заново всего ценного, что было мной до сих пор написано...

Осенью 1921 года я перекочевал в Берлин и вошел в сменовеховскую группу «Накануне». Этим сразу же порвались все связи с писателями-эмигрантами. Бывшие друзья «надели по мне траур». В 1922 году весной в Берлин приехал из Советской России Алексей Максимович Пешков, и между нами установились дружеские отношения.

За берлинский период были написаны: роман «Аэлита», повести «Черная пятница», «Убийство Антуана Риво» и «Рукопись, найденная под кроватью» — наиболее из всех этих вещей значительная по тематике. Там же я окончательно доработал повесть «Детство Никиты» и «Хождение по мукам».

Весной 1922 года в ответ на проклятия, сыпавшиеся из Парижа, я опубликовал «Письмо Чайковскому» (перепечатанное в «Известиях») и уехал с семьей в Советскую Россию.

Началом работы по возвращении на родину были две вещи: повесть «Ибикус» и небольшая повесть «Голубые города», написанная после поездки на Украину (не считая нескольких менее значительных рассказов).

«Письмо Чайковскому», продиктованное любовью к родине и желанием отдать свои силы родине и ее строительству, было моим паспортом, неприемлемым для троцкистов, для леваческих групп, примыкающих к ним, и впоследствии для многих из руководителей РАППа.

С 1924 года я возвращаюсь к театру: комедия «Изгнание блудного сына», пьесы «Заговор императрицы» и «Азеф», комедия «Чудеса в решете», «Возвращенная молодость» и театральные переработки: «Бунт машин», «Анна Кристи» и «Делец» (по Газенклеверу).

Рапповское давление на меня усиливалось с каждым годом и, наконец, приняло такие формы, что я вынужден был на несколько лет оставить работу драматурга.

В 1926 году я написал роман «Гиперболоид инженера Гарина» и через год начал вторую часть «Хождения по мукам» — роман «18-й год».

В то же время я не прекращал переделку и переработку всего ранее написанного мною.

В 1929 году я вернулся к теме Петра в пьесе «На дыбе», где не совсем освободился от некоторых «традиционных» тенденций в описании эпохи. В 1934 году пьеса была мною коренным образом переработана (постановка Александринского театра) и в 1937 году — в третий раз, уже окончательно (новая постановка Александринского театра).

Постановка первого варианта «Петра» во 2-м МХАТе была встречена РАППом в штыки, и ее спас товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 году, давший правильную историческую установку петровской эпохе.

В 1930 году я написал первую часть романа «Петр I». Через полтора года — роман-памфлет «Черное золото», который в 1938 году был переработан мной и опубликован под названием «Эмигранты». Вторую часть «Петра» я закончил в 1934 году.

Обе опубликованные части «Петра» — лишь вступление к третьему роману, к работе над которым я уже приступил (осень 1943 года).

Что привело меня к эпохе «Петр I»? Наверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности. Меня увлекло ощущение полноты «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с необъяснимой яркостью раскрывался русский характер.

Четыре эпохи влекут меня к изображению по тем же причинам: эпоха Ивана Грозного, Петра, гражданской войны 1918—1920 годов и наша — сегодняшняя — небывалая по размаху и значительности. Но о ней — дело впереди. Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер.

Две или три попытки вернуться в тридцатых годах к театру были встречены решительным отпором троцкистствующей части печати и РАППа. Только после роспуска РАППа, после очищения нашей общественной жизни от троцкистов и троцкистствующих, от всего, что ненавидело нашу родину и вредило ей, — я почувствовал, как расступилось вокруг меня враждебное окружение. Я смог отдать все силы, помимо литературной, также и общественной деятельности. Я выступал пять раз за границей на антифашистских конгрессах. Был избран членом Ленсовета, затем депутатом Верховного Совета СССР, затем действительным членом Академии наук СССР.

В 1935 году я начал повесть «Хлеб», которая является необходимым переходом между романами «18-й год» и задуманным в то время романом «Хмурое утро». «Хлеб» был закончен осенью 1937 года. Я слышал много упреков по поводу этой повести: в основном они сводились к тому, что она суха и «деловита». В оправдание могу сказать одно: «Хлеб» был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится. Я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно относиться с уважением, — без дерзаний нет искусства. Любопытно, что «Хлеб», так же как и «Петр», может быть, даже в большем количестве, переведен почти на все языки мира.

Весной 1938 года я написал пьесу «Путь к победе» и осенью того же года — политический антифашистский памфлет «Чертов мост».

Параллельно с этими литературными работами я готовлю для Детиздата пять томов русского фольклора. Я отказываюсь от переделки или переработки сказок. Сохраняя девственность изустного рассказа, я свою вариацию сказочного сюжета к одному сюжету — с сохранением всех особенностей народной речи, с очищением сюжета от тех деталей и наносов, которые произошли либо от механического добавления рассказчиком деталей из других сказок, либо из несовершенства рассказчика, либо от местных и нехарактерных особенностей речи.

В день начала войны — 22 июня 1941 года — я окончил роман «Хмурое утро». Готовя к печати всю трилогию, проредактировал первые две части этой эпопеи. Трилогия писалась на протяжении двадцати двух лет. Ее тема — возвращение домой, путь на родину. И то, что последние строки, последние страницы «Хмурого утра» дописывались в день, когда наша родина была в огне, убеждает меня в том, что путь этого романа — верный.

Оглядываясь сейчас на два страшных и опустошительных года войны и вижу, что только вера в неиссякаемые силы нашего народа, вера в правильность нашего исторического пути, тяжелого и трудного, справедливого и человеческого пути к великой жизни, только любовь к родине, жаркая боль к ее страданиям, ненависть к врагу — дали силы для борьбы и для победы. Я верил в нашу победу даже в самые трудные дни октября — ноября 1941 года. И тогда в Зименках (недалеко от г. Горького, на берегу Волги) начал драматическую повесть «Иван Грозный». Она была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою родину. Я вызвал из небытия к жизни великую страстную русскую душу — Ивана Грозного, чтобы вооружить свою «рассвирепевшую совесть». Работая над пьесой, я продолжал публиковать статьи; из них наибольший резонанс получили: «Что мы защищаем», «Родина», «Кровь народа». Статьи, опубликованные в газетах за время войны, собраны в два сборника. Первую часть «Грозного», «Орел и Орлица», я закончил в феврале сорок второго года, вторую — «Трудные годы» — в апреле сорок третьего года. Помимо этого, были написаны «Рассказы Ивана Сударева» и другие...

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

1908—1944



СТАРАЯ БАШНЯ

1

Гости, положив руки на круглый стол, внимательно слушали хозяина дома — инженера Бубнова, седая борода которого казалась изюмовой от красного абажура висячей лампы.

— Завод наш, милые мои, — рассказывал Бубнов, — самый старейший на Урале: при Петре Первом построен главный корпус и домна, которую еще тогда окрестили Матреной.

Владельцы, князя Пышковы, жили в правом крыле корпуса и, как и в те времена никто не мог считать себя безопасным от набегов диких башкир, построили посреди озера на острове сторожевую башню в два этажа с подвалами для пороха и казематами и впоследствии только надстроили третий этаж, утвердив на нем часы, белый циферблат которых вы видите до сих пор в ясную погоду.

Привольно и богато жилось князьям, и ежегодно устраивали они рабочим и простому народу пир; зажигали тогда по окнам плашки, на дворе разбивали столы с мясом, хлебом и пивом, и всю ночь горели кругом бочки, налитые смолой.

Молодежь пела песни и плясала под музыку, а после ужина сам князь выходил в круг отхватить «русскую» с фабричной краской.

В один страшный для России год, как раз во время пира, подул с озера сильный ветер, и все услышали, как часто и гулко звонили часы... Князь, который только что собирался присесть, чтобы выкинуть невиданное колено, остановился. Замотал головой и упал на лицо, мертвый. Полил сильный дождь, переполнил бочки, и смола, треща огнем, поплыла поверх воды, поджигая деревья и службы... Озеро с ревом хлестало через плотину черные волны. В этот час пришла на завод чума и косила людей не переставая, а часы звонили всю ночь. Погиб народ, перемерли все владельцы, иные здесь, иные в столицах, где даже царских чертогов не побоялась черная смерть. Завод отошел к опеке.

Часы с тех пор бросили заводить, боялись даже подъезжать к башне, и, странная вещь, перед несчастьем каждый раз звонит

часовой колокол ровно три раза. Таково предание. Вы всматривались когда-нибудь с циферблат — стрелки показывают три?

Учительница Лялина вздрогнула и посмотрела в окно, отчего и без того большие глаза ее стали круглые и темные. К ней наклонился молодой инженер Труба, спрашивая тихо:

— Вы боитесь?

— Не знаю ответила учительница, покраснела и сморщила губы.

Инженер Труба недавно приехал из Петербурга и был совсем новый, не похожий на заводского техника, например — Петрова, у которого нос, как у писаря, курносый, пахнет табаком и зеленые щелки — глаза, или на лесопромышленника Лаптева.

Лесопромышленник Лаптев всегда молчит, а когда ехал однажды на пароходе по Белой и увидел свои собственные плоты, притворился, будто не видит, чьи они, и принялся кричать в рупор:

— Эй, слуша-а-ай, чьи плоты-те...

Ему ответили, что — «Лаптева плоты-те», тогда он обернулся к пассажирам, глазевшим на берега, показал сам на себя большим пальцем и сказал степенно:

— Мои плоты-те.

С тех пор его повсюду зовут: «Плоты-те», и он на это обижается.

Бубнов, довольный, что развлек гостей, посматривал ласковыми своими из-под седых бровей глазами, а Труба встал на стул и, раскачиваясь, молвил:

— Дон, дон, дон, звонит привидение на башне: я отправляюсь туда и говорю: «Милостивый государь мой, вы не имеете права пугать добрых людей, не угодно ли вам пройти со мной к почтенному нашему патрону Иерониму Ивановичу Бубнову, там вас научат, как вести себя, и угостят доброй облепихой...»

Труба один громко захохотал, взъерошив светлые усы, остальные гости молчали, глядя на него с неодобрением... Труба добавил, прыгивая со стула:

— Честное слово, пойду туда, я не шучу.

— Побойтесь, — сказал техник злобно, а лесопромышленник Лаптев, сделав в воздухе пальцами жест, крикнул и ничего не сказал.

— Эх вы, господа, трусы, — весело молвил Труба, открыл крышку рояля и заиграл стоя...

— Спойте, — попросил он учительницу, но она так испуганно отказалась, что он запел сам дребезжащим тенорком романс; Лялина аккомпанировала, а Труба закидывал голову, высовывая кадык из разреза воротника, и ерошил пушистые усы...

С ненавистью глядел техник Петров на этот кадык и уже про себя называл Трубу — петербургской штучкой.

Ненавидел техник потому, что знал — не будет больше учительница играть с ним в крокет в школьном саду и вечером, сидя на крыльчке, слушать игру его на гитаре.

Неделю назад все было хорошо, Лялина знала, что он, Петров, влюблен, не противилась этому, а гуляла с ним под руку по полю, где пахла полынь. А теперь она сидит у рояля, чужая, но еще была привлекательная; голые до локтей ее руки отражаются в лакированном дереве; голова качается в такт, и спина, выпрямляясь, выпячивает грудь — выставляется учительница перед заезжей шуткой. Эх!

Так думал техник, кусая губы: «Нашла в кого влюбиться, разбитник какой-то. Вот взять бы его да головой об рояль».

Прекратив пение, инженер Труба принялся рассказывать анекдоты, над которыми Лаптев смеялся до слез, вытирая глаза красным фуляром, а Лялина краснела, повторяя: «что это, право»; потом описывал студенческую жизнь в Петербурге... Глядя расквашенно в рот, представляла Лялина свой фабричный двор, сырой и ржавый, с керосиновым фонарем посередине, у которого по ночам стоит в тулупе сторож, колотя спросонок в колотушку. От сопоставления всего этого с Петербургом становилось еще веселее и возбужденнее; а техник молчал и курил, зло пошмыгивая носом.

Около полуночи хозяин Бубнов задремал в кресле, улыбаясь во сне какому-то последнему слову, сказанному Трубой, или своим воспоминаниям, и гости тихо разошлись.

Труба пошел провожать учительницу; на крыльце мимо них, махая тросточкой, проскользнул техник, говоря:

— Желаю приятно прогуляться, да по сторонам оглядываться, и то у нас, того гляди, и камнем по башке закатят.

— Дурак! — тихо сказал Труба и, крепко прижав к себе локоть учительницы, зашагал с ней в ногу, в темноте нащупывая палкой дорогу.

— Вы верите в башню? — спросил он тихо и нежно, будто говорил о другом.

— Не знаю, — отвечала Лялина, — но иногда, когда хожу вечером одна, мне страшно.

Быстро сойдя под горку, они вступили на плотину, о которую сонно плескалась вода, а по черной ее поверхности зыбился багрово-красный столб — отсвет горящего под домной огня; вокруг же было сыро и тихо.

Лялина остановилась и, касаясь плечом своего спутника, молвила боязливо:

— Башня вон там, на острове, посреди пруда.

— А вдруг зазвонит, — сказал Труба весело. Девушка вздрогнула и глубже просунула свою руку под руку Трубы.

— Не говорите так...

В темноте глаза ее чуть светились, и, все ниже склоняясь, заглянул в них Труба и, умилясь, нежно поцеловал девушку в губы.

Лялина молча вырвала руку и пошла было, но в это время их догнал какой-то человек и остановился, вглядываясь.

— Кто идет? — громко и грубо спросил Труба, подходя к учительнице.

Человек не ответил, продолжая стоять недвижимо; Труба вынул револьвер и щелкнул курком; человек повернулся и пошел обратно, стуча палкой по кустам ивы, посаженной вдоль воды...

— Кто бы это мог быть? — сказал Труба, идя немного позади учительницы; она молчала, ускоряя шаг.

Подойдя к окнам школы, сквозь ставню которой падал теплый свет, должно быть лампы, на сухую землю, снял Труба фуражку, сказал:

— Не сердитесь на меня, милая...

Лялина, наклонив голову, чертила зонтиком по песку.

— Вы... вы... не уважаете... — вдруг молвила она и убежала, обернув в калитке не то заплаканное, не то радостное свое лицо — во мраке трудно было разобрать...

Труба, не надевая фуражки, вздохнул полной грудью и быстро пошел вниз к плотине, весело напевая.

2

Утром надвинулись с гор свинцово-синие тучи; по лугам, через дороги, рябя воду пруда, бежали тени, а над заводом еще стояло раскаленное солнце, томя неподвижным зноем.

Труба бродил по мастерским, где пахло железом, маслом, под стеклянным потолком висела мутная гарь; резцы пронзительно скрежетали на станках, шлепали ремни, и гулко в соседней кузнице стучал молот, словно вгоняя стержень в пуп земли.

Только немногие станки работали; испачканные копотью и железом, в бездействии стояли кучками рабочие, угрюмо опуская глаза, когда проходил инженер.

— Жарко, — сказал Труба, останавливаясь подле мастера, — вон и рабочие руки сложили... Неудобно это...

Мастер поправил картуз на мокрых, косичками от поту, волосах, вздохнул и молвил неодобрительно:

— Не ждать добра, господин инженер.

— Что так?

— Добра не ждать, говорю; часы сегодня ночью на башне били.

Труба уронил папиросу, воскликнул от неожиданности, потом рассердился на себя и, притворно смеясь, молвил:

— Ну, уж вы пугайте детей вашими глупостями, а не меня.

— Не глупости, господин инженер, помяните меня — будет беда; с утра народ на работу не стал, сговариваются...

Труба поглядел на рабочих, на мутное стекло широкого окна, закурил папироску и, чувствуя, как разбалывается голова от дуроты и бездействия, вышел на волю.

Лениво бредя вдоль ветхих изб поселка, он видел баб, заправших ставни, мужиков, которые отворачивались от него, не кланяясь, и, когда он проходил, негромко и скверно бранились.

Дойдя до плотины, Труба усмехнулся, подумав: «Милая, нежная, как полевой цветочек, и влюблена совсем».

Воспоминания вчерашней ночи были благоуханны и немного гримозны; Труба ускорил шаг к дому учительницы.

Лялина, когда он вошел, стояла посреди комнаты, держа в руках серого котенка. Она ахнула и, прижимая к груди, словно защитника своего, котенка, заморгала испуганно глазами...

Труба снял картуз и поспешно, жалея застенчивость девушки, скинул, похлопывая себя палкой по сапогу:

— Знаете, сегодня ночью часы звонили.

Лялина сморщила губы, еще быстрее заморгала и, будто ее ударили, подняла ладонь, положив ее на темя.

— Неправда, — сказала она тихо.

— Честное слово, мне мастер сказал, поэтому рабочие забастовали: ждем с минуты на минуту, станет завод... Вы не пугайтесь, прямо, мне жалко, что я вас испугал...

Труба подошел к ней, взяв за руку.

— Рабочие же вас не тронут...

— Я боюсь, будет несчастье, я всю ночь чувствовала, что будет, — молвила девушка в отчаянии.

— Душенька моя, — сказал вдруг Труба радостно и нежно, — мы совсем маленькая...

Он взял руку девушки и поцеловал; рука не отдернулась, только задрожали пальцы...

В это время быстро в комнату вошел техник Петров, перепачканный известкой, паутиной, с лицом осунувшимся и желтым...

— Домну потушили, — сказал он, глядя в угол, — вас управляющий зовет.

И, повернувшись, вышел...

Кивнув головой и поймав влюбленными глазами умоляющий взор Лялиной, вышел и Труба.

Тучи надвинулись над самым заводом; по улице крутился вихрь, поднимая солому, бумажки, трепля испуганным курам хвосты; баба, держа мальчика за ручку, бежала, гоня хворостиной поросенка; налетал холодный ветер, и становилось темно.

В заводской конторе горела свеча на конторке; в кресле, опустив глаза, сидел Бубнов; управляющий ходил из угла в угол; по временам останавливаясь, он ударял рукой по столу, говоря:

— Поймите, меня бесит их дурость; потушить домну из-за того, что какая-то полоумная баба что-то там слышала.

Управляющий убежал в угол, фыркал и продолжал:

— Я знаю, в чем дело; у них это новая мода пошла — забастовочки... Только шалишь, я им покажу прибавку.

Управляющий показал в окно фигу, а Бубнов молвил:

— Я говорил с мастером, он берется поддерживать легкий огонь в домне, угля завалено много. Мастера я запру на ключ, и рабочие его не тронут.

— Черт, — сказал управляющий, — сделайте это; а то из Петербурга, знаете, неприятности... А вот и вы, Труба. Ну?

— Ну? — спросил Труба, оживленный и радостный входя в контору. — Отчего стал завод, неужели эти глупости...

— А вы чему радуетесь, — огрызнулся управляющий.

— Не глупости, — молвил Бубнов, — народ верит...

— Что звонит. Чудно. Я сейчас съезжу и привезу с башни колокол, мы его повесим на заводском дворе... Прощайте...

— Не ездите, — сказал Бубнов, — рабочие вам не дадут лодок. Народ возбужден.

— Хорошо, я поеду ночью...

Управляющего вызвали; Бубнов и Труба молча глядели в окно, за которым темнел день и деревья опустили вялые листья.

— Вся наша жизнь построена на случайностях, — молвил Бубнов, — и они имеют свои законы и логику. Может быть, для нас это случайности, так как мы ограничены в чувствах и можем воспринимать только обрывки явлений, а есть мир, которого мы составляем часть со всем, что видим, мир, где все ясно, закономерно и навеки предопределено... Там нет любви, ненависти, сожаления; там правит один закон — мудрая справедливость...

Инженеры вышли из конторы и пошли к Бубнову, где в прихожей их встретила Лялина, с тревогой спрашивая новости...

— А он сегодня ночью за колоколом едет, — молвил Бубнов, обняв Трубу за плечи, — ну, дай Бог...

В этот день дождь так и не пошел. Насыщенная грозою, кровь стучала в виски. Губы пересыхали. Не хотелось зажигать света, и, сидя в темноте, говорил Бубнов:

— Мы изучили природу пара и электричества, овладели четырьмя стихиями, пробили шахты к сердцу земли, летаем по воздуху, а в душе нашей, как и прежде, растут дремучие леса. Мы знаем только то, что ощупываем, и заблуждаемся, думая, что это все сущее. Но есть люди, перед глазами которых опускается туман на видимые предметы, выявляя невидимые, открывая связи между случайностями. Каждый из нас бывал таким человеком, каждый видел сны.

В это время издалека в открытое окно влетел угрюмый удар колокола. За ним второй, такой же тяжелый, и долго спустя третий.

Труба, стоя у окна, почувствовал, как подкатился клубок к горлу, затошнило слегка и закружилась голова; оглянувшись, он увидел, что Лялина и Бубнов сидели бледные, глядя на него.

— Ну, хорошо, — сказал Труба, — я иду...

Он взял со стола свечу и спички и вышел, хотя ноги его слегка дрожали.

3

У лодки пришлось оторвать замок и грести доской, так как не было весел. Сдвинув фуражку, всматривался Труба в темноту, где смутно виден был только нос лодки; булькала вода, и радостная дрожь пробегала по спине, когда Труба представлял, как привезет

колокол своим друзьям... Колокол представлялся ржавый, тяжелый, со старинной чеканкой. «А вдруг я его и не сдвину, — подумал Труба, — тогда отломаю что-нибудь от часов. Но где же башня? Прогнали я проехал?»

Труба перестал грести и обернулся. Лодку тихо покачивало, а вокруг был ровный и теплый мрак.

— Фу ты, — сказал Труба и, помолчав, крикнул: — Эй! эй!

— Эй, эй! — отозвалось невдалеке эхо.

Труба хотел закурить папироску, но портсигара не оказалось; он зажег спичку и дождался, когда она обожгла пальцы, горя ровно и ярко. От огня стало еще темнее... Труба решил кричать, чтобы слыть по направлению эха.

— Башня! — крикнул Труба.

— Ня... ня... — отозвалось эхо.

— Где ты! — крикнул Труба и услышал ясно:

— Здесь...

Не сразу сообразив, что случилось, уронил Труба доску, которой греб; щекотная дрожь побежала от спины к волосам, и в это время над головой полыхнуло небо синеватым огнем, и, расходясь вширь и вглубь, не переставая извивалась молния. Направо на каменной глыбе, саженях в тридцати от лодки, выросла, чеканясь над побелевшей водой красноватыми своими стенами, узкая трехъярусная башня с острой крышей и флюгером в виде стрелы.

Башня исчезла, и, обрушившись, прокатился с резким грохотом разрывающий сердце гром.

Труба опрокинулся на дно лодки, ослепленный, и лежал, пока днище не зашуршало о прибрежный песок...

Тогда он встал, мотая головой, втянул лодку на берег, расставил руки, ничего не видя, пошел, потом пополз по камням вверх, обдирая колени. Тронув стену, он поднялся по ней, зажег огарок и, обходя четырехугольное основание, отыскал полукруглую дверь, которая вела в первую комнату, где на полу лежали кучи вынутой глины, мусор и у стены ветхая лестница вела наверх.

Труба ступил на скрипящие ступени и, высоко подняв свечу, с трудом стал подниматься, всматриваясь в черное отверстие над головой.

Со второго этажа, где у окна стояла на лафете чугунная пушка, лестница шла винтом, обшитая извне досками, в виде колодца.

— Сейчас часы, — сказал Труба и, приложив ладонь к сильно бьющемуся сердцу, закрыл глаза... Отчетливо представилась комната Бубнова; он и Лялина сидят у стола, подняв головы; Труба сделал усилие и встретился взором с Лялиной... Ее глаза были расширены от страха...

Это продолжалось одно мгновение, потом Труба услышал мерный и сухой стук маятника часов...

«Кто их завел?» — подумал Труба, быстро взбежал наверх и оглянулся, прикрывая свечу ладонью.

Меж двух узких опущенных до полу окон был протянут вал, над ним на массивном столе высился сложный механизм, еще ниже

качался вправо и влево маятник, а к валу был привинчен колокол, какие вешают на небольших звонарях, и молоток.

Труба поставил свечу на стол и французским ключом стал отвинчивать болты. Внезапный порыв ветра задул огонь.

— Так я и знал, — сказал Труба, — надо бы фонарь, — и стал чиркать спички, но ветер гасил их, и, думая, что сейчас снова ударит гром, Труба стал пятиться к стенке.

В это время крепкие руки схватили его сзади под грудь и прижали к решетке. Труба хрипло закричал и ногами вошел в холодные чьи-то руки, стараясь их отодрать; одна рука освободилась и ударила его резко в висок, Труба рванулся вперед, решетка в амбразуре хрустнула, и тело его, сорвавшись, тяжело упало вниз на камни.

До утра сидели Бубнов и Лялина у стола, прислушиваясь к желанным шагам. На рассвете пошел дождь, и Лялина заплакала.

— Он не придет, — сказала она.

А Бубнов, насупясь, погладил бороду.

— Такова справедливость судьбы, — молвил он, важно и медленно крестясь.

АРХИП

1

Над белой скатертью, растопырив лохматые ноги, висит паук, у ибжура легко кружится зеленокрылая мошкара, карамора обжег длинную лапу и волочит ее по столу... Шелестит плющ у балкона, и мозится сонная птица в кустах.

Александра Аполлоновна Чембулатова разламывает бисквит, кажим черной наколкой, которая на седых ее волосах похожа на легучую мышь.

— Сад охраняет Володя, — говорит Александра Аполлоновна и ласково взглядывает на собеседника своего, молодого помещика и соседа, Собакина, — я подарила ему пистолет.

Собакин улыбается, раздвигая розовые и полные щеки.

— Я вас уверяю, что нет никакого Оськи-конокрада. Увели у меня тройку, и по уезду полетели слухи — пришел, мол, Оська, и Оська просто собирательное имя, — народная фантазия одарила его таинственной силой и удальством.

Старушка покачала головой.

— Нет, все это верно; украл лошадей он вечером, а наутро видсли его уже за триста верст...

— Разве видели?..

— В том-то и дело; говорят, он необыкновенно низкого роста, лыс, силен и с большой, до пояса, черной бородой...

Собакин чуть-чуть улыбнулся и пожал плечами.

— Появлялся он в уезде два раза, — продолжала старушка, — и наводил такой страх, что помещики приковывали лошадей, а конюхам давали ружья заряженные... И все-таки умудрялся.

— Если его знают в лицо, почему не поймают?

— Мужики никогда не выдадут, боятся, что палить будет, как сжег он вашу Хомяковку года за три до вашего сюда приезда.

— Право, Александра Аполлоновна, я начинаю бояться.

— Вам-то особенно надо позаботиться; имея такого жеребца, я бы ночи не спала, все караулила...

— Да, Волшебник — чудо что за лошадь; увидите, на Рождестве поведу его на бега.

— Да, нехорошо, нехорошо; тем более что ваш Архип...

— Нет, Архип мрачный, но очень надежный; мужик косматый, глаза волчьи, но верный...

— Ох... ох... — сказала старушка.

Из сада на балкон вышел гимназист, положил пистолет на перила и застонал:

— Бабушка, чаю.

— Осторожнее с пистолетом, смотри, куда кладешь, — заволновалась Александра Аполлоновна.

— Он, бабушка, не заряжен.

— Все равно. — И бабушка, шурша широким платьем, поднялась и загородила пистолет салфеткой.

— Что, Володя, как твои разбойники? — спросил Собакин.

— Ничего, — набивая рот ватрушками, говорит Володя.

— Убил кого-нибудь?

— На плотине за ветлами кто-то, кажется, стоит, только на плотину ходить страшно.

— У пруда ночью сыро, — сказала Александра Аполлоновна. Гимназист лукаво прищурился.

— А у меня, бабушка, порох есть...

— Откуда ты взял! Отдай сию минуту... Володя, не смей убежать. Пожалуйста, Собакин, догоните его, отнимите у него порох.

Улыбаясь, Собакин сошел в сад и скоро пробежал уже мимо балкона, размахивая руками, потеряв всю солидность, а Володя, приседая, визжал, не давался в руки.

«Дети, дети», — подумала Александра Аполлоновна и стала считать, как в столовой часы били одиннадцать.

— Володя, где ты? — позвала она. — Иди спать, — одиннадцать часов...

В это время мимо изгороди проскакал верховой, встал у крыльца, и чей-то чужой голос позвал:

— Барин Собакин здесь?

— Кто спрашивает? — по-хозяйски сухо ответила Александра Аполлоновна.

— Работник их, Михайло.

На балкон, обняв за плечи гимназиста, вошел, отпыхиваясь, Собакин.

— Кто меня спрашивает? Это ты, Михайло? Что случилось?

— Несчастье у нас, барин, — сказал из-за плетня невидимый работник, — увели Волшебника.

Когда Собакин, во весь опор скакавший по темному полю, влетел, пыльный, на вспененном коне во двор, у растворенной конюшни, размахивая фонарем, галдели мужики.

— Что, Волшебника увели? — крикнул Собакин.

— Беда-то какая, не доглядели...

Собакин побежал в конюшню. Болт у стойла был сорван, и под наружной стеной у пола сквозила дыра, в которую, должно быть, и пролезли воры...

— А где Архип? — спросил Собакин.

— Будили мы его, спит, пьяный.

На вороху сена, закинув бледное в черной шапке волос лицо, лежал Архип.

— Жив, ничего, не тронули, пьяный очень, — успокаивали работники.

— Облейте его водой, вот мерзавец.

Принесли конское ведро, подняли Архипу голову и полили.

— Лейте, лейте все ведро.

Когда голова, рубаха и порты намокли, Архип приподнялся, слез и повел налитыми кровью глазами.

— А? — спросил он.

— Архип, где Волшебник?

Сутулый Архип поднялся и долго осматривал болт и обрывок недоуздки, в дыру даже заглянул и так же спокойно ответил:

— Увели, барин. Не досмотрел...

— Легли это мы спать, — шумели работники, — а Михайло и говорит: пойду-ка я посмотрю лошадей, а потом прибежал и кричит: увели, увели...

— Что же вы не догнали, черти окаянные!.. — наскакивал на них Собакин.

Работники вежливо посмеялись.

— Где ж догнать, разве мыслимо? Он это.

— Кто он?

— Да Оська.

— Ерунда, никакого Оськи нет...

— Очень есть, его это работа, вы, барин, не сомневайтесь.

— Ерунда, — кричал Собакин, — сию минуту на лошадей!..

Догнать!..

Работники помялись, но с места не тронулся ни единый.

— Нет, нельзя нам.

— Где его догнать...

— Он теперь за двести верст махает.

Собакин побежал к дому и оттуда крикнул:

— Седлайте сию минуту верхового! Да зайти ко мне хоть ты, Дмитрий, за письмом к уряднику, живо!

...Утром на вопросы урядника Архип отвечал, что был вчера выпивши, ничего не слышал и помнит только, как пал ему кто-то на грудь и скрутил руки, а были то двое или один и какие из себя — не помнит.

Так ничего и не добились от угрюмого, косолапого Архипа и отвели его в холодную, а урядник, выпив поднесенную на тарелочке рюмку водки и крепко на прощанье пожав Собакину руку, сказал:

— Архип в сем деле причиной, с него и взыщем, — и уехал.

Затих под горой колокольчик, Собакин вышел на балкон, по-свистал и, спустившись в сад, зашагал по липовой аллее.

«Следствие, — думал Собакин, — суд будет, а Волшебника не видать мне, как ушей своих. Черти, ах черти, какую лошадь увели».

Собакину с досады хотелось сейчас же куда-нибудь поехать, вообще суетиться.

— Ну нет, я разыщу лошадь, под землей достану, — бормотал он и прислушался.

Близко, словно вынырнув из-за акации, зазвякали сборные бенцы, промелькнула за кустами и остановилась у дома коляска Чембулатовой.

— Как я вам благодарен, Александра Аполлоновна, — говорил Собакин, идя навстречу старушке, — поверите ли, увели Волшебника и следа не оставили...

— Я предупреждала вас, не верили, а вышло помоему, — торжествующе говорила старушка, — всему причиной ваш Архип, вот у моего братца так было...

Оба они, заложив руки, заходили по аллее. Александра Аполлоновна объясняла:

— Сейчас в Уральске конская ярмарка. Поезжайте туда как можно скорее, нигде как там ваш Волшебник...

— В Уральск?..

— Поедете верхом — это и скорее и удобнее для дела: братец мой тоже верхом ездил, у него увели Вадима от нашей Звезды и воейковского Черта.

— Ну и что же?

— Нашел, конечно, нашел мужика, который увел Вадима, — его арестовали, а жеребца отдали братцу.

— Я еду, Александра Аполлоновна, с вашего благословения...

— Помогите вам Бог, — и старушка поцеловала в лоб приложившегося к ее руке Собакина...

Долго еще ходили они по липовой аллее, Александра Аполлоновна в шелковом колоколе платье, Собакин в куцем пиджачке из чесучи, и старушка давала подробнейшие наставления — куда ехать и как сохранить лошадь, чтоб прошла чetyреста верст в четверо суток, и где остановиться...

— С казаками будьте осторожнее, — хитрые они...

2

Тепла темная степь, светят на дорогу звезды, и дорога, чуть серая, глушит частые удары копыт, и кричит коростель в колдобине; где-то, значит, близко степной хутор...

Безлесные, безводные, как дождевики, растут хутора на гладкой, человечими курганами усеянной степи, вековечной дороге кочевников. Потянуло сыростью и дымом. Собакин привстал на

стремснах, взгляделся и, увидев огонек, свернул напрямик по полю. Сначала, услышав его топот, залаяли негромко, но все дружнее и звонче собаки, забил в колотушку ночной сторож, и перед Собакиным выдвинулись из темноты амбары и хлева, крытые соломой, и под самую морду лошади, сзади и с боков, запрыгали охрипшие от ирости хуторские псы.

Подошел сторож, свистнул на собак и запахнулся в глубокий чшпан...

— Здравствуй, дядя, — сказал Собакин, стараясь рассмотреть в темноте его лицо. — Чей это хутор?

— Казака Ивана Ивановича Заворыкина будет...

— А до села далече?

Сторож помолчал и тихо, в сторону, ответил:

— Далече, — словно не знал, какие тут села бывают, одна степь.

— А нельзя ли переночевать у вас? Спроси хозяина, чай, не легли еще?

— Легли, — уныло ответил сторож, — давно легли.

— Так как же?

— Спрошу, ты погоди тут. — И он ушел.

А немного спустя зажегся свет в трех окнах, и подошедший сторож взял лошадь под уздцы, промолвив:

— Просят заехать.

Собакин прошел через сени, мимо сундуков, крытых коврами, и горницу, где пахло шалфеем, полынью — домашнее средство от блох — и кожей.

По стенам висели седла, уздечки, нагайки, и в красном углу стоял темный большой образ.

«Неловко, — подумал Собакин, — затесался ночью».

Из боковушки, глядя бороду, вышел высокий и костлявый старик — Заворыкин. Синий чекмень его перетянут был узким ремнем, ворот ситцевой рубахи расстегнут.

Собакин назвал себя.

— Милости просим, — густым басом приветствовал Заворыкин, — гостю всегда рады.

В свете лампы лицо его, обтянутое желтой кожей, узкий и прямой нос и темные глаза представлялись такими, какие писали на раскольничьих образах.

— Прошу садиться, куда путь держите? В Уральск... Так... — пробасил Заворыкин, кивнул и провел ладонью вниз и вверх по лицу. — На ярмарку много коней нагнали сегодня, не в пример прочим годам.

Босая девка внесла самовар, закуску и водку.

Стесняясь и все еще не зная, как держаться, выпил Собакин водки и, должно быть с усталости, сразу захмелел и рассказал, лицом едет в Уральск — всю историю до конца.

— Из-под земли, а достану Волшебника, — разгорячась, окончил он.

Заворыкин слушал, не поднимая глаз, нахмурясь, а когда Собакин окончил, постучал пальцами и сказал:

— Я так полагаю, — ехать вам туда незачем.

— Почему?

— Убьют.

— То есть как убьют?

— Мой совет — вернуться домой, жеребца наживете еще, а жизни из-за скотины лишаться не стоит.

— Поймите, мне не жеребец дорог, а добиться своего.

— Понимаю. Молоды вы, господин Собакин, хороший барин, а разума в вас настоящего нет. Приехали вы ко мне, меня не знаете и рассказываете всю эту историю, а жеребец-то ваш, может быть, у меня. А? Для примера я говорю. Ну, вот после этого я себя позорить не дам. У нас в степи законы не писаны, колодцы глубокие, — бросил туда человека, землицей засыпал, и пропал человек. Да вы не пугайтесь, для примера говорю, бывали такие случаи, бывали. У нас в степи казак на сорока тысячах десятинах — царь, не только в чем другом, в жизни людской волен.

У Собакина от духоты, от речей Заворыкина кружилась голова, и казалось — похож старик хозяин на древнее черное лицо образа, что глядело строго и упорно из красного угла, — те же рыжеватые усы над тонкой губой, и вытянутые щеки, и осуждающие глаза.

Казалось, две пары этих глаз глядят неотступно, и те, облеченные в потемневшие ризы, страшнее...

«Бог это их, — подумал Собакин, — степной».

— Чудно вам слушать, господин Собакин, — у вас в городе по-иному: тело вы бережете, а душу ввергаете в мерзости. А здесь душа вольна у каждого, как птица. Душа немудрая, нечем запятнать ее, степь — чистая... В степи Бог ходит. Здесь нас за грехи и судить будет. Много грехов на нас, а многое и простится.

Собакин поднялся.

— Душно у вас...

И было ему страшно, хотелось уйти от стариковских глаз...

— Марья! — крикнул босую девку Заворыкин. — Принеси баярину студеной водицы да отведи в сени на кровать.

Плыли, качались сундуки, крытые коврами, в сенях, и все еще гудел, казалось, голос: «Бог здесь ходит, Бог...»

«Страшный у них Бог, — думал Собакин, лежа на сундуке, — травяной...»

Наутро он, чтобы не обидеть хозяина, поехал будто бы домой, но, когда в сизой дали утонули соломенные кровли хутора и шести с бараньими рогами, пошел к полудню широким проездом, радостный от солнца, и душистого ветра, и веселой игры горячего иноходца.

На крепком пырейном выгоне, в наскоро связанных калдах, стоят полудикие табуны злых сибирских лошадей.

Положив большие морды на спины друг другу, обмахиваются кони хвостами и жмурятся на белое солнце.

Кругом желтая степь, ни холма на ней, ни дерева, а позади гудит ярмарка и дымят железные трубы пекарен.

Вот не вытерпел рыжий конек, махнул через изгородь и частым топотом, раскинув гриву, поскакал в степь, заржав навстречу ветру.

Затараторили конюхи-башкиры, в линялых халатах, в ушастых шапках, пали на верховых, поскакали в угон. Один впереди всех размахивает арканом. Двое скачут наперерез...

Куда ни взглянет рыжий конек, мчатся на него ушастые башкиры: метнулся направо, налево, и тут захлестнул ему горло аркан, изкрутили хвост, стегают нагайкой, заворачивают башкиры к табуну... Захрапел, взвился и упал рыжий конек; тогда ослабили на шее его аркан, отвели в калду.

— Что, не убежит больше? — спрашивает башкирина Собакин.

Башкирин ослабил белые на морщинистом лице зубы и забормотал:

— Не, не, умный стал, купи, господин...

— Нет, такого мне не надо, вот если бы вороной полукровный был, вершков четырех...

Подошли мужики, все в новых рубахах. Облокотясь на жердь калды, слушали, и веяло от их выцветших глаз покоем тепла и отдыха.

Подслеповатый мужичок протиснулся туда же, в рваном полубубке, заморгал собачьими глазами:

— Покупаете, барин, лошадку? Извольте посмотреть, — и заропился, побежал было и вновь вернулся...

— Какой у тебя?

— Сивонькой.

— Нет, не надо, я вороного ищу.

— Вороного продать не умеешь, — заговорил вдруг круглолицый толстый парень, — вот я продам жеребца. Или я продал. А? — И он уставился, как баран, даже рот разинул.

Мужики засмеялись.

Парень громко икнул и, подняв мозолистую ладонь, запел:

Когда я, мальчик, был свободный...

— Скрутили малого, — смеялись мужики.

— Пути нет.

Собакин улыбался, парень был пьян, лез грудью и под носом михал желтым ногтем, говоря:

— Шут его знает, хотел тебе продать, ан продал, жеребца, вороного, в чулках...

— Здорово же ты выпил, — сказал Собакин, — с чего гуляешь?

Парень замолчал, и белые глаза его наливались и багровели... Собакин сжался.

— Гуляю... — сказал парень, придвигаясь.

Подслеповатый мужичок хлопотал:

— Брось, милый, барину интересно, а ты ответь и отойди в сторонку, — и потянул парня за рукав.

— Не хватай! — заревел парень, и все жилистое тело его развернулось для удара; но сзади, поперек живота, ухватила его цепкая волосатая рука, увлекла из мужичьего круга.

— Иди, иди, разбушевался, — говорил лысый мужик, смешно маленького роста, на солнце лоснилась черная борода его и бегали глаза, как две мыши.

— Брось,пусти! — кричал парень и вырывался, взмахивая руками, но все дальше к возам увлекал его товарищ.

— Кто это? — быстро спросил Собакин. — Вон тот, лысый?

Мужики переглянулись, один-двое отошли, а старик, в расстегнутой на черной шее посконной рубахе, сказал:

— Кто — Оська, — и прищурился.

Осипа взяли очень быстро. Собакин с понятиями нагнал его у чайной и окликнул. Осип обернулся и словно паук заворочался в костяных, навалившихся на него руках понятых, но веревкой скрутили его плечи, повели в холодную.

А позади, набегая, гудела толпа. Многим, должно быть, досадили Осип, и боялись его сильно, а теперь улюлюкали вслед, ругали, или вывернется кто, присядет, да в глаза: «Что, вор, взял?» — и ударит.

Понятые насилу сдерживали народ, да бравый урядник, в рыжих подусниках, вырос как из-под земли и крикнул: «Разойдись!»

До вечера гудела и волновалась ярмарка. Осип сел в темную избу, за железную решетку, и на допросе отрекся:

— Осип я — это верно, а лошадей никаких не крал, понапрасну только меня томите.

Собакин решил сам выпытать, где лошадь; напугать, если можно, посулить заступиться, и, поздно вечером, один, вошел в камеру, где сидел Осип.

Остановясь посредине избы и в темноте различая только дыхание, сказал Собакин кротко и, как ему показалось, вкрадчиво:

— Осип, все знают, что ты угонял лошадей, грехов за тобой много, сознайся лучше, я за тебя похлопочу.

Осип молчал.

— Ты пойми, не дорога мне лошадь, а дорого, что выходил ее на руках, как родная она мне.

— Это верно, — сказал Осип спокойно.

— Ну видишь, ты сам понимаешь, зачем же хочешь доставить мне еще огорчение...

— Огорчать зачем.

— А ты огорчаешь. Я за четыреста верст верхом приехал, измучился и вдруг из-за твоего упрямства лишаюсь лошади. Осип, а Осип.

И, тронутый словами, двинулся Собакин поближе.

— Не подходи, барин, — глухо сказал Осип.

Собакин остановился и от щекотного холодка вздрогнул.

— Осип? — спросил он тихо, после молчания, повторил: — Осип, где же ты?

Что-то больно толкнуло Собакина в колено, распахнулась дверь, и Осип, нагнув, как бык, голову, побежал по избе, оттолкнул сонного десятского, упавшего, как мешок, и выскочил на волю.

Защмыгали торопливые голоса: «Держи, держи!» В темноте заступились понятия.

А вдали, как огонь, вспыхивали крики: «Держи, держи!»

Зистегивая сюртук, прибежал урядник, крикнул:

— Убежал... Кто?

— Осип-конокрад, — сказал Собакин, — я сам виновен...

И скоро загудела невидимая ярмарка, низко у земли закачались железные фонари, голосила баба, лаяли собаки. Бежали, неизвестно куда и зачем, мужики, крича: «Лошадь отвязал... Да кто? Да чья?» Спроси его, кто... На ней и убежал... Верховых давайте, верховных!»

Над толпой, словно поднятые на руках, появились верховые и, шмыгая народ, поскакали к городу, к реке, в степь...

Собакин наскоро сам оседлал иноходца и поскакал мимо возов на чьи-то удаляющиеся голоса и топот.

Коротко и мерно ударяли копыта его коня, гудел в ушах теплый ветер, и возникли и таяли невидимые крики... Наперерез промчался кто-то, крича: «Поймаем, не снести ему головы».

Впереди топот стал как будто тише и громче голоса...

Перепрыгивая через водомоины, похрапывая, неся иноходец и вдруг резким прыжком стал на краю кручи, недалеко от верховых. Послышались голоса:

— Река, братцы, поворачивай назад.

— Переедем.

— Круча, голову ломаешь.

А вдали, направо, опять возникли крики и топот.

Собакин поворотил и скоро нагнал вторых кричавших, спросил:

— Что, поймали?

Мужики в ответ захохотали.

— Теленка, милый барин, загнали, дышит сердешный, испугался, уши мокрые.

— Ну, вы и охотники.

— Ушел, больно уж ловкач, — отвечали мужики с уважением.

Иноходец тяжело поводит боками, и Собакин, отделившись от мужиков, ехал шагом вдоль реки.

Потянул теплый, смешанный с болотными цветами ветер, и издали долетел протяжный звериный крик и стих.

— Что это? — невольно крикнул Собакин, чутко слушая: крик не повторялся, и сердце сжалось тоскливо.

Собакин уже спал, утомленный всеми событиями, когда кто-то, громко постучав в спальню, сказал:

— Ваше благородие, Оську привезли.

Собакин спросонок вскочил, старался понять, что говорят...

— Оську привезли, — странным голосом повторил десятский...

— Сейчас иду, подожди, или нет, иди...

И, уже выйдя на воздух, понял Собакин, что случилось несчастье. В земской избе пахло крепким и кислым, у печи на полу покрытое рогожей, лежало тело.

Десятский, присев у тела, жалостливо говорил:

— Побили его мужики наши, вон как дышит... Ах, грехи!

Собакин откинул рогожу. На боку, поджав к животу голые и содранные колени, лежал Осип, часто дыша, и глаза его сквозистые полуоткрытые веки были точно стеклянные.

— Что с ним? — дрожа мелкой дрожью, спросил Собакин, боясь догадаться...

Белый зад Осипа был запачкан землей и кровью, оттуда на вершок торчал кусок дерева.

— Что это? — визгливо закричал Собакин.

Еще дальше откинул Осип серое лицо свое и запекшиеся губы быстро облизнул языком...

Плетью лежала сломанная рука его; другая, застыв, вцепилась в ягодицу и посинела.

Собакин, придерживаясь за стену, вышел в сени, дурнота подступала к горлу, и везде слышался этот кислый и крепкий запах, и вспоминался убитый на охоте тетерев, когда дробью ему вынесло весь живот...

Урядник, теребя жесткие усы, говорил:

— Вот как они расправляются по-турецки, неприятно... Осип-то признался, просил кучера вашего освободить, будто бы он в краже не замешан, и, лошадь, сказал, где находится...

— Бог с ней, с лошадыю, ах, зачем я все это затеял, — сказал Собакин.

— Вы, что же, ни при чем, мужики давно случая ждали. Поверите ли, мы даже боялись Осипа... А лошадка ваша в степи у казака Заворыкина.

Старик Заворыкин долго не выходил. Собакин, измученный дневным перегонном и волнениями прошлого дня, ходил, покачиваясь, по душной горнице, и звенело у него в ушах, и тошнило его от набившейся в горло и в нос дорожной пыли.

— Расскажу попросту всю историю, конечно, старик отдаст лошадь, — бормотал Собакин.

Над столом, засиженная мухами, пованивала лампа.

«О, черт, еще угоришь; что же старик не идет? А вдруг возьмет и расствирепеет, самодур; конечно, насчет колодцев он прихвастнул, но надо бы политичнее подойти к делу, исподволь. О, черт, как лампа воняет...»

— Здравствуй, барин, — басом, громко и вдруг сказал Заворыкин, — стоял он в дверях и похлопывал себя по голенищу плетью. — За конем приехал?

Нет, я не требую, совсем не требую, — засеменял Собакин, — вы уже знаете, какая история вышла смешная.

— История смешная, а не знай, кто смеяться будет, — сказал Заворыкин.

Молча, не сводя глаз, подошел, положил на плечо Собакину ладонь свою руку и вдруг крикнул:

— Щенок!

И высоко поднял плеть.

— Не позволю, — пискнул было Собакин, запахло тошной пылью и кислым, зеленые круги пошли перед глазами, похолодело горло и лечь потянуло, прижаться по-ребячьи к прохладному полу...

Очнулся Собакин в постели, в снях, и первое, что он увидел, — склоненный профиль Заворыкина, худой и резкий под сдвинутыми бровями... Собакин застонал и отодвинулся в глубь кровати.

А старик, наклонясь, зашептал:

— Очнулся... Нехорошее дело вышло, попутал меня бес, думал, приехал ты срамить меня, а ты, видишь, простой, как малое дитя. Ах, бирин, прости меня, гордый я, разгорелось с обиды сердце, убить ведь могу тебя, и никто не узнает... А ты, — видишь, — прости.

Старик качал головой, и ласково глядели потемневшие его глаза.

Собакин протянул руку.

— Я не сержусь.

Заворыкин погладил его по волосам:

— Христос на нас смотрит да радуется. Вот как бы жить надо, и мы не так живем, нет...

Долго говорил Заворыкин, — туманно, сурово, истово...

— Ну ладно, спи, барин. Домой-то завтра попозже поедешь; ко времени и жеребца твоего из табуна пригонят. Избави Бог, не возьму с тебя денег; да иноходец-то твой устал, ты моего возьми, сам не часто на нем выезжаю...

3

Александра Аполлоновна разрезывает толстый журнал; в зале, где уже топили сегодня, пахнет кофеем, и старые кресла заманивают развалистыми своими спинками на осенний покой.

Гимназист сидит на окошке, болтает ногами. Тусклый сад совсем беспомощен под долгим дождем.

— Расскажите еще про ваши приключения, — приставал он к Собакину.

— Я все рассказал, что ж еще...

— Володя, не приставай, — строго молвила бабушка, взглянув поверх очков на Собакина, который на чистом листе разбирал зерна пшеницы.

— Щуплое зерно, — сказал Собакин. — Что же вам рассказать?

— Ну, хоть про кучера, которого связали тогда, — он ужасно стинственный.

— Архип-то... — засмеялся Собакин, — таинственный.

— В самом деле, что с ним, выпустили его? — спросила Александра Аполлоновна.

— Кажется, да, — я ездил, хлопотал, мне сказали, что бедоуха не отпустят, а суд, кажется, был на днях...

— Не любила я вашего Архипа, злой он, и глаз у него черный, придет и все по конюшне ходит, все чего-то высматривает, и непременно что-нибудь после случится...

— У Беячка, — помнишь, бабушка? — мокрецы на щетках сели, — подсказал гимназист...

— У Беячка мокрецы; нет, нет, не люблю я таких, и пусть бы сидел в тюрьме. Да невинный ли он? — Старушка сняла очки. — Еще до вашего приезда в деревню он избил моего объездчика за то, что тот не позволил ехать в телеге по хлебу, — представляете, нарочно едет в телеге по хлебу...

— Я помню, — сказал гимназист, — объездчика привезли, вот страшно-то: голова болтается, и по лицу мухи ползают.

— Странно, — протянул Собакин. — Архип никогда не дрался, исполнительный всегда, тихий... Хотя был странный случай... Вот, помните, в прошлом году я ехал от вас вечером, когда еще отец Иван индюка изображал; не знаю почему, взяли мы не обычной дорогой, а напрямик по выгону, а там за межевым столбом — глубокая водомоина; я говорю Архипу: ночь темна, помни круча налево. А он прикрикнул на лошадей. Тихе, говорю, Архип, и знаю, сейчас круча, а он словно тройку не сдержит...

— Ужасно, — вздрогнула Чембулатова, — ну и что же?..

— Лошади сами круто повернули. Я кричу: «Что ты делаешь?» — а он обернулся и глухо так говорит: «Бог спас, барин, беду отвел».

— Вот-вот, я говорила, завтра же велю загородить это место...

Я думаю все-таки, что это случайность; чем ему помешали я и мои лошади? Наконец он сам мог убиться.

— Такие, как Архип, безземельные, бессемейные мужики на все способны, в них бес сидит. Служит он у вас, все ничего, — только угрюм да молчит, а потом возьмет да вас и сожжет...

— Бабушка, смотри, проясняет, — крикнул Володя и, не успела бабушка ахнуть, распахнул балконную дверь, и сырой, пахнувший землею и листьями, осенний ветер ворвался, растрепал книгу, брызнул капелью, и солнце в прорыве между туч блеснуло на каплях, на стеклах, на желтой листве...

А дверь уже закрыли, и в столовой застучали посудой.

— Бог с ними, с Архипами, — сказала, проплывая в столовую, Александра Аполлоновна, — только расстроишься, а причина всему, конечно, что нет настоящей опеки над крестьянами. Мужик обращается в первобытное состояние...

Собакину вспомнился фельетон, месяц назад читанный в случайно залетевшей петербургской левой газете, но думать об этом не хотелось, — так было уютно и тепло.

К вечеру ветер стих, и низкое солнце залило багровым светом долины у земли тучи и, протянув бледные, словно прощальные крылья в глубь желтой и мокрой степи, закатилось.

Но четко еще виднелись репы на темных курганах, лужи на глинистой дороге лиловели, тускнели.

Почмокивая, вертелись колеса, ударили в лицо свежей грязью, пачкали вожжи и руки.

Собакин, расстегнув кожан, потряхивался на сиденье и думал:

«Так вот они — степные дали, неезженные дороги, забытые курганы. Нет конца им, и селения такие же серые, забытые, и люди в них, как травы, молчаливые, живут Бог знает зачем, из века в век одни и те же как дикая рожь».

Ходит с дороги на дорогу, с кургана на курган, по пашням, по оврагам и поет унылые песни — тоска, сестра осеннему ветру...

Дребезжала железка на колесе, и топали, скользя под горку, копыта...

Одноколка скатилась, тряхнула на водомоине, и, поскользнувшись, лошадь упала на колени.

«Трудно некованой взобраться на гору», — подумал Собакин и ударил вожжами...

А сзади затопали частые шаги, как будто молча кто-то догонял...

Собакин обернулся: плохо видный в полумраке лощины, бежал к нему мужик, размахивая левой рукой.

«Странно!» — подумал Собакин и, еще не понимая того, что было уже ясно, сильно ударил лошадь кнутом.

Человек настигал, по траве бежать ему было легче, не так скользко...

«Черт знает, гонка какая-то, что ему нужно?» — подумал Собакин и еще раз, привстав, хлестнул кнутом. Лошадь прыгала в хомуте, поскользнулась и, вздыбившись, вынесла одноколку на ровное место.

— Эх! — резко крикнул мужик и откинулся...

— Архип — ты?..

— Эх! — опять крикнул Архип, на бегу остановился, поднял руку и кинул блеснувший топор, и наклонился весь, ожидая... Топор тяжело ударил в переднюю доску козел, упал в ноги...

— Ты что это! — закричал Собакин и сдержал лошадь. Архип устало шел вслед... — Ты с ума сошел?..

— Теперь что хочешь со мной делай, — сказал Архип и смотрел на багровую полосу заката, — поседевший, весь обвеянный ветром.

— За что ты меня, Архип? Архип, я же не виноват...

— Сына моего убил.

— Какого сына?

— Осипа...

Темнела закатная полоса, суживаясь, закрыла багровое веко.

Собакин ехал шагом, Архип шел сбоку и немного сзади...

— Архип, я ничего никому не скажу, поклянись, что это более не повторится. Послушай, Архип. Осипа убили мужики, я бы никогда не допустил до этого.

Тогда Архип негромко засмеялся, словно конь дикий поржал, и белые зубы его впервые увидел Собакин.

4

Прошло более года. Опаляя землю, пронесло золотые свои ризы новое лето, пожали хлеб, и на гумнах запахло свежей соломой; каждый день до заката гудела молотилка; на заре опускался иней и взлетал, увидев солнце; только в темном саду да на лугу, где падала тень от дома, серебрил он мелкий гусиный шавель.

Утром к Собакину опять приходили мужики жаловаться на Архипа.

Все лето Архип передохнуть не давал: то скотину загонит, то вывалит из телеги траву, что мужик на барском поле под сиденье себе накопил, и кушак с мужика снимет или шапку — приходи, мол, жаловаться, неси штрафные.

А испольного хлеба, пока деньги за него до полушки в контору не внесены, не даст свезти ни снопа. Такой уж Архип ретивый приказчик, откуда только злоба взялась.

Мужики бить его хотели, а он либо увертывался, либо на барина валил: не моя в том воля. Мужики таили злобу, а осенью, когда на барском поле пшеница родилась сам-десять, а на мужицком не сняли и самтрех, решили, каждый про себя, барина спалить.

Так уже стариками заведено.

К тому же на село пришла золотая грамота, читать ее не читали и не видели, пожалуй, но всякий знал, что в ней прописано: грамота старинная, давно по земле ходит.

А вслед за грамотой подкинули листки; их прочли и волновались глухо, как подземный ключ.

— Ну что, Архип, как мужики? — отдав на завтра распоряжение и позевывая, спрашивал Собакин.

Архип повел плечом:

— Что же, дурачье...

— Утром опять приходили на тебя жаловаться, нельзя так, Архип, ты портишь мои отношения с народом.

— С мужиком по-другому нельзя, — притесни, он тебе что хочешь сделает, а с доброго слова сядет на шею.

— Я слышал, палить собираются.

— Кто их знает.

— Вон у Чембулатовой спалили же гумно.

— То озорство, барыня в город уехала, они и озорничают.

— Ну, иди, Архип. Завтра позаботься, чтобы лошади с утра готовы были.

— А вы разве куда едете?

— В город.

Архип ушел, а Собакин лег и перед сном раскрыл каталог садовых цветов и овощей; но скоро цветы стали походить на дам и

мг на одну и ту же, со вздернутым носиком; кочан капусты, отпихиваясь, надел очки и стал старушкой Чембулатовой.

Собакин улыбался в полусне, думая, как ему хорошо, что он, вот такой здоровый и молодой, скоро опять увидит лукавые глаза, вздернутый носик, русые волосы...

Разбудил Собакина громкий шепот:

— Барин, барин, вставайте.

Собакин вскинул на пол голые ноги и, не понимая, глядел на стоящего перед ним со свечой возбужденного Архипа.

— Ты что?

— Мужики идут.

— Какие мужики, куда?

— Сюда, к вам. Как я побежал, они уже на плотине шумели...

Собакин прислушался и беспомощно взглянул на крепкого, угрюмого Архипа.

— Архип, что же делать?

— Двери, барин, я запер, а вы достаньте-ка ружья, поугаты придется.

— А окна, ставней же нет.

Трясущимися пальцами, спеша, всовывал Собакин патроны в охотничьи ружья, сдернув их со стены над кроватью.

— Я бекасинником заряжаю, Архип, еще убьешь кого.

— Заряжайте картечью, не будет повадно...

— Господи, какой ужас!

В темноте стал явственнее гул голосов и крики, слышны были даже отдельные возгласы, и вдруг все стихло и стало тягостно ожидать...

— Что они?.. — прошептал Собакин.

Со звоном разбилось стекло, и камень, упав на письменный стол, опрокинул вазу с ковылем, и в разбитое звено влетели крики:

— Бей окна, пусть выходит.

— Эй, барин, выходи, говорить хотим.

— Архипа нам давай...

Архип, ловкий и гибкий, отпрыгнул к стене и с глаз отбросил густые волосы, повелительно сказал:

— Свет, барин, туши.

Собакин дунул на свечу, и стало невыносимо страшно, и яростнее закричали мужики:

— Выходи!..

Несколько стекол со звоном вылетели, и Архип дико вскрикнул...

Прижимаясь к пахнувшей потом его спине, шептал Собакин:

— Что же это будет?.. Боже мой.

— Не выйдешь, сами достанем, — кричали мужики, и несколько голов в шапках появилось в окне.

— Лезь, братцы, нечего глядеть...

Архип выстрелил... Сразу все стихло... И часто и пронзительно злились под окном.

Мужики отступили, совещались, заспорили все громче...

— Неси, сена неси, соломы, — закричали голоса.

— Подпалим.

— Выкурим голубчика.

— Лови!.. Лови его!.. — разгорелись крики.

Визг, топот, глухие удары.

— Работников наших бьют, — прошептал Архип. — Теперь нам не иначе, как в сад бежать, палить сейчас будут...

— Балконная дверь замазана наглухо.

Архип помолчал, потом приложился и выстрелил. Осветилась стена, поваленное кресло и Собакин без штанов, в ночной рубашке...

Архип, не целясь, выстрелил еще, и едкий дым наполнил комнату. Собакин тоже выстрелил, сильно отдало в плечо и щеку.

Вдруг под окнами осветилось красное пламя и бойко затрещало.

Стало яснеть, мужики с радостными криками отбежали, камень ударил Собакина в лицо... Пошла кровь, и Собакин стиснул зубы, застонал. Архип, пригнув его к полу, пополз в коридор. Сквозь распахнутые двери изо всех комнат лился алый свет...

— Вот что, барин, — сказал Архип, — давно я хотел тебя поблагодарить... — И, толкнув Собакина, он сел ему на грудь и засмеялся.

— Архип, что ты, Архип... — шептал Собакин, стараясь высвободиться, разорвал на Архипе рубашку, царапнул по телу, и Архип словно опьянел и весь налился злобой.

Надавив коленом горло, вынул он складной с костяной рукояткой нож, зубами открыл его и, глядя прямо в белые, обезумевшие глаза Собакина, занес и опустил.

Дом пылал. Молча стояли озаренные светом его мужики, серьезно глядели, как дикий огонь пожирал сухие стены, дымя, выливался из-под крыши... Носились розовые голуби...

Кто-то крикнул:

— Гляди-ка, у конюшни Архип...

Поспешно выводил Архип за повод Волшебника и, когда, крича, подбежали мужики, кинулся животом на конскую спину и погнал, прильнув к холке, залитый алым, в степь...

Только его и видели...

СМЕРТЬ НАЛЫМОВЫХ

Старый камердинер Глебушка сидит в кожаном кресле и сквозь обмотанные ниткой очки смотрит на псалтырь, долго муся негнущийся палец, чтобы перевернуть ветхую страницу, а огонь свечи колеблется направо и налево.

Льнут снаружи к стеклам мокрые ветви, и, слушая шорох их, думает Глебушка:

«Птица прошлою осенью так же в окно билась, подумал, подумал, а не пустил — неизвестно, какова она птица в такую ночь».

Вздрагивает налымовский дом; оторванная ветром, хлопает железная крыша; не видно служб; цепляясь за шумливые кусты, волочутся тучи; далеко в лугах, разрываясь и слепя, ложатся круглые молнии и стелется сплошными завесами дождь.

— Темень, — говорит Глебушка, — нехорошо! — и переворачивает страницу, где с боков стоят три надписи рукой Семена Налымова; первая надпись чернилами такая: «Женившись, не преступаю ли законы природы»; затем через много псалмов опять пометка: «Господь, дай силы» и еще: «Наконец-то счастлив с моей жenuшкой, любезной Анфисой».

Качает Глебушка старой головой и глядит в окно, а далеко из пустых верхних комнат доносится протяжный крик.

Поджав губы, слушает Глебушка, а когда крик повторяется, встает и, прикрыв ладонью свечу, идет по винтовой лестнице наверх в войлочных туфлях своих и в безрукавке.

Паркет залы скрипит, на мгновение теплится золотом рама, и кресла в чехлах стоят так, будто сидел на них только что покойный Налымов, куря трубку, и смотрел в окно.

Глебушка отворяет дверь спальни, и с красного полога над кроватью срывается и улетает на бесшумных крыльях в раскрытое окно белая сова.

— Нехорошо, — говорит Глебушка и, прилепив у пыльного зеркала свечу, прислушивается; в отдалении кричит птица, несясь над травой, и с подветренной стороны доносится звон колокольца.

— Куда человек едет? — говорит Глебушка сердито и, с трудом замкнув окно, идет обратно вниз.

Зайдя в опустелую кухню, где с плиты сняты чугунные доски и обвалился кирпич, а на шестке греется горшочек со щами, закрывает вьюшки, крестит углы, затканые паутиной, и плотнее затыкает тряпкой разбитое стекло, говоря: «Видишь, наплюхало как». Но колокольчик прозвенел совсем близко, и слышно, как подъехали к крыльцу...

— Проезжайте, проезжайте, — говорит Глебушка на стук в дверь кнутовищем, — никто здесь не живет!..

Отвори, пожалуйста, говорю — барин приехал.

— Барин?

— Налымов, слышь, — озябнув и подпрыгивая, кричит ящик, — молодой барин...

Через порог, нагибаясь, ступает Налымов в мокром чапане, поверх шапки его обмотан оренбургский платок, бритые щеки втянуты, и на глазах словно тень.

Глебушка, тряся головой и торопясь, снимает чапан, развязывает платок и, глядя на худого, в черном сюртуке барина, целует руку его.

— Ах, зачем ты! — Налымов опускается в кресло и, скрестив пальцы, говорит, закрывая глаза: — Не ждал меня, наверно; вот и увиделись; не узнал?

— Батюшка, как узнать, маленьким вас откуда увезли.

— А вот и приехал, навсегда... Одни мы теперь с тобой, Глебушка, больше нет в живых никого.

Старый камердинер, заложив руки назад, стоит у притолки.

— Нельзя вам здесь оставаться, — говорит он, в село уезжайте. Не живут здесь Налымовы, помирают нехорошей смертью.

Тонкие губы Налымова улыбаются, а лицо остается печальным.

— Мне все равно, недолго проживу, — отвечает он.

На скулах у него выступают розовые пятна, и, сдерживаясь, он глухо кашляет, без сил опуская руки.

— Нет, уезжайте, нельзя здесь сегодня ночевать. Вам, может быть, неизвестно, а мне великий грех, если случится что, — повторяет Глебушка.

— О чем ты говоришь?

— О бабке вашей, Анфисе, ее сегодня ждем.

Налымов быстро открыл глаза, пытливо и со страхом взглядываясь в старика.

— Расскажи, я ничего о ней не слышал такого.

Глебушка пожевал, оглянулся в темный коридор и притворил дверь.

— Раз дедушка ваш, Семен Семенович, позвал меня и говорит: «Затопи, Глебка, камин, скучно мне!» — а сам все прислушивается.

Я лучинки ломаю, громыхаю вьюшками, а он мне: «Постой, постой, не стучи!» И с лица белый. «Это, — говорю я ему, — батюшка барин, птица кричит ночная». А он: «Дурак, молчи», да как закричит: «Отгони ее от окна!»

Соломы я в камин подкинул, вышел потихоньку, прикорнул за диваном, а сам трясусь. Вдруг барин, слышу, говорить начал: «Не виноват, не виноват, отпусти меня... Уйди...» Да все громче да чище... И замолчал; да как заревет и грохнулся... Побежал я в людские, взбаламутил народ. Вошли мы в спальню, — на кровати барин лежит — мертвый. Окно раскрыто, дождик в него так и клещет... А в саду сова кричит — вот тут-то мы и ахнули... Со мной-то на человеческий голос кричала...

— Не понимаю я, Глебушка, к чему все говоришь; ну, помер, и мы умрем с тобой.

Глебушка переступил с ноги на ногу и продолжал рассказ:

— Дедушка ваш, Семен Семенович, женились пожилых лет и взяли первую в губернии красавицу — Анфису. Думали, от этого в дому у нас веселее станет; а вышло по-иному. Стал Семен Семеныч сомневаться — не выйдет ли душе его через такую молодую жену ильIANA. Бывало, вечером сядет в библиотеке и глядит в божественную книгу, я у двери со щипцами дремлю; крикнет — подойду, сниму свечильню. Жалко мне его тогда было — ну что он в книге прочтет, пусть только расстроится. А стукнет полночь, поднимет он голову, глаза красные. «Что, говорит, Глеб, поздно?» «Поздно, говорю, пожалуйста спать, барыня давно легли». Он и пойдет по зале к Анфисиной спальне. Станет у двери, лицо ладонью сожмет и, будто оторвали его с мясом, уйдет в кабинет. «Господи, говорит, видишь — борюсь я с соблазном». А барыне Анфисе спать одной тоже очень скучно.

— Что ты говоришь, Глебушка, у Анфисы дети были, она мне родная бабка.

— Нет, у брата Михайлы Семеновича дети были, а Анфиса как девица жила... — Прошло таким-то порядком немало времени; барин уж на человека не похож, высох весь и, как услышит — жсна идет, так весь я затрясется. А матушка Анфиса все песни пела вечером на окошке.

Приехал раз под осень племянник, — гусар, Александр Налымов; Боже мой, шум какой поднялся. Мундир у него красный, на голове повязка (ранен был где-то); ходит, усы крутит, и, как на женщину поглядит, так глаза у него и выкатятся. Семен Семеныч сразу же задумался: очень уж Анфиса стала и хороша и весела. Весь день, весь день, то в саду, то на клавикордах, а гусар к ней как пришился. Увидит Семена Семеныча, по плечу ударит: «Ну что, говорит, дядюшка, новоязем еще». Недели не прошло — Семен Семеныч вечером и говорит мне: «Идем в сад». Пошли. Пробрались к Анфисиному окну, он опять говорит: «Лезь на дерево, смотри». Взобрался я на осину, ветки раздвинул, гляжу — перед зеркалом сидит гусар; мундир у него растегнут, волосы взлохмачены, а матушка Анфиса в рубашке одной стоит перед ним как во сне. Схватил он ее, притянул к себе, лицо она руками закрыла... Тут у меня в глазах помутилось, скользнул на траву, а барин спрашивает: «Там они, там?..» Вдруг гусар выглянул в окно, и свет в комнате потух... Мы побежали, и когда в залу вошли, под люстрой стоял гусар, подбоченясь, как черт.

Семен Семеныч кинулся на него, а он отстранился и громко сказал: «Отстаньте, дяденька, я пришел сказать, что ваша жена распутница... Сейчас, пригласив меня, как родственника, в свои покои, хотела надругаться над вашей сединой, предлагая гнусное сожительство. Вот!»

Тут он повернулся на каблуках и вышел, звеня шпорами. Семен Семенович схватился за голову, побежал к женинской спальне, дернул дверь, и увидели мы, как Анфиса вскочила на окно, оглянулась на мужа и прыгнула вниз. «Лови ее! Держи ее!» — кричал Семен Семенович. Побежали мы за Анфисой... Думали — убилась. Глядим — она уже к пруду летит... Не успели! И так ее в пруду не нашли. Глубоко там очень, омута...

Голос Глебушки сорвался; Налымов слушал, как хлестали ветви и выло в трубе.

— Неспокойная ее душа, — окончил Глебушка, — всех Налымовых увела за собой; то птицей прикинется, то мышью, а то приходит в своем виде. И вы приметьте — случилось это в нынешнюю ночь.

— Может быть, все это и правда, — сказал Налымов. — А ты видел ее, Глебушка?

— Да, сегодня перед вами кричала.

Налымов, улыбаясь, поднялся с трудом и, глядя старика по волосам, прижал, сколько было силы, к груди и поцеловал.

— Я все-таки не поеду отсюда, на что ей такого, все равно скоро умру; устал я очень, уступи мне постель на сегодня, милый Глебушка! — И, ослабев, он снял сюртук и лег, тяжело дыша.

Глебушка зажег лампы перед киотом, прилепил свечу и стал, опускаясь на колени, молиться, касаясь лицом пола. «Спаси его и помилуй, лучше мне умереть, коли нужно, — с радостью предаю мой дух; и ее злое сердце успокой, отведи руку». Потом Глебушка лег у двери на кошме.

Налымов знал, что за стеной уже давно стоит Анфиса. Снаружи по стеклу провела она костяной рукой, и, словно изваянное, лицо ее вглядывалось сквозь закрытые веки.

«Вот ты и пришла, — подумал Налымов, — не мучай меня, войди!»

С трудом хотят разомкнуться губы ее, и мокрая ветвь ударяет по лицу, отчего стекают капли по щеке, как слезы. Лежа на спине, со сложенными руками, холодеет Налымов, просит ее войти, думая, что она успокоит.

И вот Анфиса уже по эту сторону стекла, подхватывает платье, ложится, неспешно овладевая его телом. Твердая рука ее на его шее, и Налымов говорит: «Простишь ли, милая, я последний?»

Медленно наклоняясь над ним, открывает Анфиса глаза, и их прозрачную глубину видит Налымов, отделяясь от ненужной постели, чувствуя радость прощенья и любви.

Порывом ветер разбивает стекло, мокрый и темный проносится по комнате, гася лампы, и Глебушка, со стоном приподнявшись, зовет:

— Барин, батюшка, отгони ее!..

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Перед пылающим камином сидел в нижнем белье, подняв острые колени, Иван Балясный и для развлечения глядел на кончик утиного своего носа то правым глазом, закрыв левый, то наоборот.

«А вот бы суметь расставить так глаза, — подумал он, — чтобы можно видеть то, что направо, и то, что налево, сразу. Во было бы забавно...»

Вспомнив, что он не один в комнате, он нахмурил лоб и спросил сурово:

— Что ж ты молчишь, рассказывай...

У двери стоял старый мельник, держа шапку у живота. Огонь камина, когда обрушивалось полено, освещал всю седую его бороду, глубокие морщины на лице и выцветшие глаза, умильно обращенные на барина.

— Да я уж сказывал, — ответил мельник.

— Еще раз; да смотри, не ври. В эту ночь ты, стало быть, на мельнице был?

— Так и есть, — сказал мельник. — Марина, внучка моя, изпод венца ко мне забегала, больно уж плакала; а я спать лег.

Голова у старика затряслась, и долго он не мог ее сдержать.

— Не к добру сон приснился: входит будто старый барин — дядюшка ваш, и говорит: «Дай мне, мельник, мучки...». — «Как же я вам, говорю, кормилец, дам — мука у меня мужицкая...» А он наклонился над сусеком и вздыхает: «Мучки мне, мучки!» — да как завоет, и кафтан на нем землей pokrылся. Проснулся я и думаю: «К чему сон?» И так-то вышел на волю и слушаю. Не к добру, думаю, ветер в полыни свищет; поглядел я, а у мельницы крылья завертелись, завертелись, милый барин, сами собой... Вот в это время из темени на меня и налетел конь; я его отпрукал, и он на дыбки, да мимо меня и прыснул, и пропал.

Мельник переступил с ноги на ногу и развел руками.

— Только его и видел... А барин хороший был, душевный барин, мы разве что...

— К чему же ты коня приплел? — воскликнул Иван Балясный.

— А как же; к его хвосту барин наш за шею был привязан; очень я тогда усомнился...

— Ты смотри, старый черт, — сказал Балясный, — я знаю, что ты главный убийца.

— Мы не убийцы, — ответил мельник, — этим не занимаемся...

— Ну, ладно, позови Прова.

Ушедший мельник шептался за дверью. Иван Балясный подумал:

«Хотя и великий негодяй был мой почтенный дядюшка, но все-таки — так не годится... А таинственно, черт возьми, пропал старый плут...»

Вошел толстый и высокий мужик — Пров, в чулках. На щеках росла у него рыжая борода, за которую и дразнили его:

Рыжий красного спросил:
Где ты бороду красил?
Я ни краской, ни замазкой,
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.

— Ты кучер? — спросил Иван Балясный сурово.

Пров поморгал веками и неожиданно тонким голосом ответил:

— Кучер я, с покойным бариним ездил.

— А ты почему знаешь, что он — покойный?.. — быстро повернувшись, спросил Балясный. Но Пров только моргал. — Я тебя спрашиваю, негодяй, — почему ты уверен, что дядюшка умер, а?.. А где племенной жеребец, а?.. Это опять твое дело — знать... Где жеребец?

— Виноват, — сказал Пров, — кто ее знает... И барин, царство ему небесное, пропал, и лошадь пропала...

— А вот я тебя высеку...

— Это — как ваша милость будет...

— Мошенник ты, Пров, — сказал Балясный, — и мельник мошенник. Он, говорят, каждую ночь дядюшку видит во сне... Ну, а ты когда последний раз видел дядюшку?..

Пров тоскливо поглядел барину на утиный нос и стал рассказывать.

По ночам всегда посылал дядюшка Балясный за Провом, чтобы он играл песни; сам барин в это время сидел на кровати, слушал, пригорюнившись, и пил вино. «Голос у тебя очень жалобный», — говаривал барин и, наслушавшись и напившись, посылал Прова узнать, нет ли на деревне молодухи.

Так было заведено, что крестьянских девушек после венца отводили на первую ночь к барину, который любил, чтобы от чистого их девичьего тела пахло еще и церковным ладаном.

— Ага, это очень приятно, дядюшка был не глуп, — прервал рассказ Иван Балясный и, щелкнув языком, поглядел налево в угол, где над кроватью висел портрет, изображавший старичка небольшого роста, молитвенно поднявшего мутные глаза, лицо было сухое и постное, с реденькой бородой.

— Марина, мельникова внучка, барину приглянулась, — продолжал Пров. — Замучил он меня — духовные стихи петь; я пою, а он усмехается: скорее бы, говорит, Пров, пост прошел, просватасм телочку. И просватали. А как от венца привез я ее ночью, она на пол упала, не хочу, кричит, старого, лучше умереть, и все на себе изорвала, ну просто ужась... А барин, как селезень, около нее ходит. Ну, Марина поголосила, да куда же податься? Тут с ней и порешили.

Пров не кончил и повалился в ноги...

— Отпустите меня, батюшка, мочи нет...

— А ты тут при чем?

— Муж я, Маринин-то...

— Муж! — удивился Иван Балясный. — Видишь ты... Ну, а куда же лошадь делась?..

— Не знаю; должно быть, барин ночью сами ее взяли; а у нас болота кругом, долго ли до греха.

— Тебе завтра покажут болото, — сказал Иван Балясный, — завтра суд приедет. Пошел вон!

Оставшись один перед огнем, он глядел на угли, развлекаясь тем, что припоминал разные истории... Так, вспомнилось ему, что в прошлом году в Тамбове один офицер побился об заклад, что, не выходя из номера, выпьет бочонок рому... И что же, на третий день услышали его рыканье и крики; по всей гостинице пошел смрад, а когда вбежали к нему — от офицера не осталось ни зерна, только в стену воткнута была шпора, которой отлягивался он от змия... Много тогда дивились. Очевидно, что-то вроде этого случилось и с дядюшкой Балясным...

Поднявшись, Иван Балясный подошел к постели, провел рукой по простыням, горячим от близости очага, и, посучив несколько ногами, крикнул:

— Эй, послать сюда девку! — И, когда скрипнула дверь, прибавил: — Раздень меня и почешу спину.

Но вошедшая девка остановилась, не двигаясь. Иван Балясный даже раскрыл рот, так она была красива.

Бедра у нее были широкие, на высокой груди складками разбегалась рубаха, голые до локтей руки придерживали шелковую косынку, накиннутую на плечи.

А лицо! Глядя на него, пуще засучил он ногами: не лицо это было, — весенняя поляна в цветах, только глаза потуплены, и в углах губ горькая складка.

— Как тебя зовут, девка?

— Марина, — ответила она тихо, — что прикажете делать?

— Так это ты дядюшку извела? — спросил он весело и ущипнул Марину.

— Оставьте, — сказала она тихо.

— Ну, нет, не отстану, — и, охватив ее за круглые плечи, посадил на постель, — все про тебя знаю, подлая; вот завтра придет суд, засудят вас с Провом да с мельником; ноздри вырвут и

на щечку каленое клеймо прижгут. Пойдете по Владимирке столбы считать... Нравится?

Марина низко опустила голову.

— Невинна я.

— Все улики на тебя, не отвертись.

— Что вам от меня нужно? — спросила Марина.

Она метнулась, в ужасе поглядев на барина; щеки ее покрылись белизной, губы открылись.

— Нельзя, барин, нехорошо здесь, — ответила она.

Но он, крепко обхватив Марину, стал целовать ее в рот.

Марина вскрикнула и, склоняясь на подушку, схоронила голову.

— Маринушка, Маринушка, — горячо зашептал он, и безусые губы его, желтые от табаку, вытягивались, как у утки. — Я тебе, Маринушка, два рубля подарю, а утром со мной чай будешь пить, и обедать тебя позову.

И казалось ему — умирает Марина от страсти и страха, не в силах противиться.

В это время стукнули в стекло, и, вскрикнув, вырвалась от него Марина, встала посреди комнаты, — вся дрожала...

— Кто там? — закричала она не своим голосом, глядя в темное стекло...

Иван Балясный с головой залез под одеяло; но, услышав за окном кучеров голос, расхрабрился, даже вылез из постели и раскрыл раму, так что влетели ветер и дождь, и затопал ногами:

— Пошел на конюшню, Пров, прочь пошел, дурак... Не видишь — я занят...

Мокрый и сутулый Пров медленно повернулся и, отойдя несколько шагов, с воем упал в грязь. Балясный захлопнул окно...

— Долго ты будешь у меня кобениться, — крикнул он и шлепнул Марину по щеке.

Девушка только опустила глаза, легла, закрыла лицо косыночкой и больше не противилась...

Долго еще тлели угли в камине, свет от них скользил по штукатуренным стенам. Глядя с тоскою перед собою, слушала Марина вой ветра. Рядом на подушке лежало спящее лицо молодого барина с утиным носом... И, думая, Марина, должно быть, проговорила вслух:

— Вот и тот так же лежал, ненавистный, хоть старый, а похжий... Одна порода, один конец...

И вот глаза Ивана Балясного раскрылись, были они полны страха, потому что он прочел судьбу свою в ее взоре... Тогда она с пронзительным криком кинулась грудью ему на лицо, руками сжала его горло, всем телом легла на его тело и так лежала, застыв, пока в тощем теле под ней не кончились последние судороги, покуда не окостенели пальцы Ивана Балясного, впившиеся ей в бока...

ПЕТУШОК

Неделя в Туреневе

1

У тетушки Анны Михайловны, чтобы мыши не ели мыло, всегда под рукомойником стояла тарелка с крошками хлеба, и тетушка ни под каким видом не позволяла заводить в доме ловушек, говоря про мышь:

— Что же, она ведь тоже живая, а ты ее в мышеловку, а она еще поперек живота прихлопнется.

Кроме рукомойника, в спальне у тетушки стояли шифоньерки по углам, на одной из них — подчасник с прадедовскими часами, над кроватью — коврик, изображающий двух борзых собак, и на ночном столике — баулка с папиросами.

Тетушка курила табак дешевый и крепкий, — не вредный для здоровья. Любила она, выйдя на крыльцо, покурить, поглядеть на сизые осокори за прудом, на синие думы села.

Дверь спальни отворялась в широкий и низкий коридор, куда выходили бывшие лакейские; в конце его витая лестница вела наверх, в девять барских комнат; туда никто теперь не ходил, и деревянная решетка в зале, когда-то обвитая плющом, и огромные очаги, похожие на пещеры, высокие шкафы в библиотеке, столы и кресла, сваленные в углу друг на дружку, — все это было покрыто густой пылью, потому что во всех комнатах на пол-аршина лежала пшеница и хозяйничали мыши.

Иногда по ночам от тяжести хлеба трещали поперечные балки, и тетушка, в нижней юбке, с узелочком волос на маковке, шла со свечой посмотреть — где треснуло.

Но к стукам в доме привыкли. Болезненная Дарьюшка-ключница спросонок только крестилась на кухне, веруя, что стучит это, бродя по дому, прадед барынин, Петр Петрович, который изображен на портрете в пестром халате, на костылях и со сросшимися бровями, — как коршун.

Пожалуй, и не один Петр Петрович шагал осенними ночами по колону в пшенице, — много их огорчалось запустением шумливой когда-то туреневской усадьбы, но некого больше было пугать, некому жаловаться...

Все вымерли, унеся с собою в сырую землю веселье, богатство и несбывшиеся мечты, и тетушка Анна Михайловна одна-одинешенька осталась в просторном туреневском доме. Каждый вечер выходила она глядеть, как с поемных лугов, из Заволжья, поднимается туман, кутает сад, беседку с колоннами, обрывок веревки на качелях и ползет до крыльца.

Заложив руки в карманчики серой прямой кофты, тетушка ходит все по одной и той же аллее. Папироска ее давно потухла. Вот уже совсем и не видать деревьев. Пора и на покой.

В спальне, накрошив мышам хлеба и помолившись, тетушка ложится в кровать и долго не может заснуть — все думает: о прошлом, — перед ней встают любимые ушедшие лица, — о грехах, которые она натворила за истекший день, о несчастном, единственном своем племяннике Николушке, — что-то с ним сейчас? Или думает, — голову ломает, — как бы ей обернуться с plateжами. Это обертывание было главным ее занятием с юности.

Сегодня, — не успела Анна Михайловна лечь, — вдруг слышит — едут с колокольчиком. Тетушка прислушалась и подумала: «Кому бы это приехать так поздно? Неужто Африкан Ильич? А кому же кроме?»

Накинув старенькую юбку — другой у нее не было, потому что по воскресеньям всякий мог просить у тетушки все, что угодно, и деревенские бабы еще за неделю нацеливались на какую-нибудь юбку поновее, — вышла Анна Михайловна в кухню, но, к удивлению, ни одной из девчонок, без дела живших при доме, не оказалось, а в дверь уже влезал высокий и сутулый человек в коричневом армяке. Влез и принялся трясти с себя пыль, которая по всему Поволжью такая густая и обильная, что при виде приехавшего не знаешь — арап это или просто черт?

Вытерев лицо, вошедший действительно оказался Африканом Ильичом, от природы темно-коричневым. Подойдя к тетушке, к ручке, он сказал весело:

— Вот и я, ваше превосходительство.

Анна Михайловна поцеловала его в коротко стриженную круглую голову, которой Африкан Ильич гордился, говоря: «Вот это голова, не то что у теперешней молодежи», — и, боясь высказать радость, неуместную усталому с дороги человеку, проговорила только:

— Вот как хорошо, что вы приехали, Африкан Ильич, сейчас и самоварчик поставим. Только беда у меня с девчонками — разбегаются по ночам.

— Недурно — самоварчик, — скрипучим голосом сказал Африкан Ильич и прошел в столовую, где с удовольствием оглядел и необыкновенный буфет в виде ковчега, и спящих мух на стене, и недопитый на окне стакан с теплым квасом. Все было по-старому.

Тетушка вносила тарелки с едой, открывала и закрывала створки буфета и суежилась немного бестолково, — даже задыхнулась, — откуда Африкан Ильич не прикрикнул:

— Да сядьте вы, ваше превосходительство! На кухне четыре дуры сидят, а вы тыркаетесь...

Тетушка сейчас же села, ласково улыбаясь, отчего овальное и морщинистое лицо ее стало милым. Африкан Ильич сказал:

— Новость привез. Расскажу, как поем.

Налив из рюмки половину водки на ладони, он вытер руки о салфетку, ставшую сейчас же черной, другую же половину рюмочки выпил и, крикнув, закусил маринованным грибом. Отличные у тетушки были грибки.

— Какая же новость? — спросила тетушка. — Уж не про Ни-колушку ли?

Но Африкан Ильич принялся рассказывать вычитанный им недлино из одной газеты прелюбопытный анекдот, причем ел и пил между словами, растягивая их на пол-аршина, а тетушка терпеливо слушала, глядела ему в лицо, улыбалась задумчиво и все думала — про кого же это новость? Когда Африкан Ильич, покончив с анекдотом, начал описывать земский съезд в Мелекесе, — как там пи-ли, — тетушка спросила осторожно:

— Друг мой, а когда же о том расскажете?

Африкан Ильич сморщился до невозможности, насупился:

— Завтра Николай с Настасьей приезжают. Вот вам новость.

— Господи Иисусе! — тетушка перекрестилась.

— Со мной на лошадях ехать не пожелали. Приедут по же-лезной дороге, по первому классу. Экипаж надо выслать...

— Как же они согласились? — воскликнула тетушка. — Ведь не хотели же, сколько я ни писала.

— Не хотели! — Африкан Ильич фыркнул носом и налил еще рюмочку. — Не хотели! А с голоду подыхать — хочется? Настасья все брильянты заложила — две недели отыгрывалась в карты, а Ни-колушка в буфете шампанское в это время распивал. Все спу-стили до нитки.

— Как же вам удалось их уговорить, Африкан Ильич?

— Билеты железнодорожные купил, — очень просто, ваше пре-восходительство. Денег у них осталось рублей двадцать пять, не больше, и всюду долги — в гостинице, у портных, в ресторанах. (Тетушка часто начала крестить душку.) Я им сказал, — счет из гостиницы беру с собой, как сядете в вагон, так и заплачу. Они говорят, — мы тетушку стесним, и притом неудобно, что Настасья, мол, не жена, а так вроде чего-то. Я Николаю говорю, — тетушка тебе сто раз, дураку, писала, что если тебя эта самая Настасья любит и от прежней жизни отказывается, то будет она тетушке дочь, а тебе жена. Надоели они мне до смерти, я вперед уехал... Вчера — явились, прямо в гостиницу Краснова... Одним словом, ваше превосходительство, хоть и устроилось, как вы пожелали, но считаю всю эту затею ерундой...

— Друг мой, это не ерунда, — поспешно перебила тетушка. — Ни-колушка — честная натура. (Африкан Ильич, не возражая, сильно почесал ногтями стриженный затылок.) А у Настеньки сердце

не к шумной жизни лежит, — это ясно, если она решилась бросить Москву да ехать с ним к какой-то заваливающей тетке. Вот я как понимаю... Одного боюсь, что им скучновато будет здесь после столицы... Ну, да уж я как-нибудь постараюсь...

— Что постараетесь? Я просил бы не стараться! — прикрикнул Африкан Ильич. — Довольно с них, что хлеб дадите...

Тетушка опустила глаза и покраснела.

— Не сердитесь на меня, дружок, позвольте уж послужить им, — сказала она мягко, но решительно.

Африкан Ильич, взяв пухлую, в морщинах, тетушкину руку, поднес ее к щетинистым губам и поцеловал:

— Вот вы какая у нас, ваше превосходительство, — бойкая.

2

Тетушка проснулась, по обычаю, до света, зажгла свечу и, осторожно ходя по комнате, где некрашенные половицы, такие еще прочные днем, теперь скрипели на все голоса, сокрушалась, что перебудит весь дом полоумной своей беготней.

Чтобы занять время до чая, она вытирала пыль на ризах старинных икон, с детства еще побаиваясь глядеть на фамильный образ Нерукотворного Спаса, темный, с непреклонными глазами, в кованой с камнями ризе. Перебрала в шкатулке бумажки с волосами милых ушедших. Припрятала подальше, вдруг вспомнив тяжелое, костяной футлярчик для зубочистки. Разыскивала и все не могла найти рамочку какую-то.

Все эти старые вещицы разговаривали на задумчивом языке своем с тетушкой Анной Михайловной, самой молодой среди них и последней. Изо всех вещей она любила, пожалуй, больше всего широкое красное кресло, обитое штофом, с торчащей из мочалы пружиной. На нем была выкормлена тетушка и все девять ее покойных сестер.

«Вот и пришло испытание, — думала Анна Михайловна, садясь в кресло, — хватит ли сил направить на путь истинный таких ветрогонов? Настенька, та, чай, попроще, — жила в темноте, полюбила, и раскрылась душа. Богатых поклонников побросала, продала имущество, значит полюбила. А вот Николенька — это козырь. Денег ни гроша, а шампанское в буфет — пить. Попробуй-ка такого приучить к работе. Скажет, — не хочу, подай птичьего молока. С нашим батюшкой нужно его свести, пусть побеседуют. Большая сила у отца Ивана. И не откладывать, а, как приедут, — сразу же и позвать отца Ивана».

Волнуясь, тетушка не могла усидеть на месте и вышла в коридор, где было прохладнее.

Там под потолком горела привернутая лампа в железном круге. Из полуотворенной двери слышен был храп Африкана Ильича, такой густой, точно в носу спящего сидел шмель. На сундуке, уронив

вудскую руку, спала, оголив колени, любимица тетушки — темногоглазая Машутка.

— Ишь разметалась как, — прошептала тетушка, наклоняясь над смуглым ее личиком, и поправила сползшее одеяло из лоскутков. На щеки девушки легла тень от ресниц, детский рот ее был полуоткрыт. — Красавица-то какая, Господь с тобой... — Тетушка задумалась. И вдруг ноги ее подогнулись от страха. «Ну нет, — подумала она и потрясла головой в темноту коридора, — в обиду не дам...»

Наверху по пшенице бегали мыши. Хотелось чайку. А рассвет еще только брезжил. Тетушка вернулась к себе и закурила папирусочку, все думая, часто моргая глазами.

Настал тяжелый день. Посланная для наблюдения на крышу, Машутка кричала оттуда, что — «никовошеньки не едет, кроме ледушки Федора, и пегая корова сзади привязана».

К полднику Африкан Ильич пришел заспанный и злой; прихлебывая чай, вздыхал и курил вертуны, сидя боком на стуле.

— Дарья! — позвал он наконец...

— Дарьюшка в погребнице, я сама пойду распоряджусь.

— Насчет чего распорядитесь? Ведь вы не знаете, насчет чего распорядитесь, ваше превосходительство.

— Лошадей... — тихо сказала тетушка. — Вы, друг мой, устали и кашляете. Позвольте, я уж сама съезжу на станцию. Право, мне даже полезно освежиться, — сижу здесь, сижу, совсем засиделась.

Африкан Ильич, выставив челюсть, медвежьими глазками уставился на тихую, но не робкую тетушку, и неизвестно, чем бы кончился спор их, но в это время неожиданно к дому подъехал экипаж.

Все обитатели поспешили на крыльцо. Африкан Ильич, с папиросой, сощурив один глаз, стоял — руки в карманы; за спиной его шушукались четыре простоволосые девчонки в красных кофтах; и тетушка, пожимая, точно от холода, узенькими плечами, добренько улыбалась, — глаза ее совсем сморщились.

Из тележки, ухватясь рукой в лайковой перчатке за козла, тяжело вылез Никулушка, в верблюьем армяке, и, расставляя по-кавалерийски ноги, поспешил в тетушкино объятие.

На высоких подушках сидела Настя, худая красивая женщина, с маленьким бледным лицом и серыми, как серое стекло, удивленными глазами. Тетушка подошла к плетушке, протянула руку молодой женщине:

— Ну вот, привел Бог увидеться. Милости прошу.

Тогда Настя, поспешно одернув платье, выпрыгнула на лужок.

— А уж мы заждались, — говорила тетушка, ведя приехавших в приготовленные им комнаты, откуда испуганно выскочила Машутка с двумя ведрами.

Африкан Ильич шел сзади и хрипел:

— А мы-то ждали, — и к завтраку и к обеду. И обед был хороший, и весь его съели...

Николушка ходил по комнате тяжелой кавалерийской походкой, разводил руками и поднимал плечи. Розовое, с полным ртом и изломанными бровями, лицо его было бы красиво, если бы не легкая одутловатость щек и не беспокойство в глазах, больших и серых. Говорил он много и красноречиво.

— Моя душа опустошена, жизнь исковеркана и разбита. На моих плечах — существо, которое я люблю, существо беспомощное и усталое. Мы погибли, тетушка. Вы протянули нам руку. Теперь, среди этих дедовских стен, я чувствую прилив энергии. Я верю в будущее.

Взволнованная тетушка сидела в кресле. Позади нее сильно дымил папиросой Африкан Ильич... Настенька приютилась в тени, за кроватью.

— Тетушка, научите меня жить, научите работать, и вы спасете и меня и эту бедную женщину.

Тогда Анна Михайловна взяла Николушку за руку, посадила рядом с собою и некоторое время молчала.

— Николай, — сказала она наконец, — знаешь ты, что такое земля?

Николушка удивленно взглянул на нее и покусал губы.

— Вот то-то, что не знаешь. У вас в городе по земле-то, чай, никогда и не ходят, все по камням. А вот деды твои, Николушка, с земли-то никогда не съезжали. Бывало, в город Симбирск съездят, — комиссия: раз или два в год, не более того, и ездили, — на выборы или насчет закладной, или продажи... А о скуке или безделье — и думать-то было стыдно. Земля — твоя колыбель, — из нее вышел, к ней и вернись...

Николушка, глубоко вздохнув, опустил голову. Сидеть ему около тетушки было неловко, и, кроме того, подкуривал сбоку Африкан Ильич крепким табаком.

— Ты не смотри, что именье у нас разоренное, — все дела поправим. Об этом заботится Африкан Ильич не покладая рук, и большое ему от всего нашего туреневского рода спасибо. А вот ты покуда примись за дела небольшие, побочные. Можно раков ловить и делать из них консервы, пойдут в столицы, — дело верное. Или грибы можно сажать — дорогие сорта. Или разводить зайцев: мясо употреблять в пищу, а шкуру — за границу, там, говорят, русский заяц в большой цене, — из него горностаи выделывают; правду я говорю, Африкан Ильич?

— Истинную правду, ваше превосходительство.

— Дела найдешь много, была бы охота. А лет через двадцать подрастет наш лесок — станем тогда на ноги. Примись, примись за дело, друг мой, — и именье спасешь и сам человеком станешь. Вот Соловьев — философ так же, как и ты, в молодости неверующий был, а потрудился и в Бога уверовал...

Тут тетушка, сильно взволновавшись, поднялась с кресла:

— В Бога уверуешь! Теперь такая мода, что никто в Бога не верит. А я говорю — есть Бог!

При этих словах Анна Михайловна сильно стукнула ладонью по комоду. Африкан Ильич закутался дымом.

Некоторое время все молчали. Затем, без стука, дверь отворилась, и в комнату вошел длинный, как жердь, поп Иван, в парусиновом грязном подряснике, не спеша оглядел новоприехавших и ухмыльнулся большим ртом; при этом у него под редкими усами открылись желтые, как у старой лошади, зубы. Да и лицо его все походило на кобылье — с тяжелой челюстью и длинной верхней губой. Только темные глаза были прекрасны, но он нарочно придал им сатирическое выражение, что происходило скорее от смущения, чем от насмешливости.

— Однако, — сказал поп Иван, — накурено! — И вслед за этими словами в комнату словно влетела, как розовая бабочка, его племянница Раиса, в розовом платье, вся в мелких светлых кудряшках.

— Ай да девица! — сказал Африкан Ильич и густо закашлялся. Гости поздоровались, — поп Иван подавал руку лопатой, Раиса — кончики пальцев. Затем сели. Тетушка проговорила:

— Вот, батюшка, и прилетели птенцы назад в гнездо. Николушка с женой к нам — на всю зиму.

— Одобряю, — сказал поп Иван. — Позвольте узнать все-таки, какие причины побудили вас на такой необыкновенный шаг?

— Ну и язва, поп, — захохотал Африкан Ильич.

Николушка, скромно опустив глаза, ответил, что приехал сюда учиться труду — работать.

— Полезно, — сказал поп Иван, шурясь и показывая лошадиные зубы.

— Исполняя волю Анны Михайловны, я сделаю попытку еще раз подняться. Вот, — Николушка протянул руки, — я смогу пойти за сохой. Но в душе моей останется вечная ночь. Я слишком знаю жизнь, чтобы еще чему-нибудь радоваться.

При этих словах Раиса открыла ротик и глядела на Николушку, как зачарованная птица. Наступило молчание, и вдруг в тени за кроватью громко засмеялась Настя. Поп Иван удивленно повернул к ней лошадиную голову, у тетушки затряслась папироска у рта. Николушка воскликнул сердито:

— Тебе нечему смеяться. Глупо!

Тогда поп Иван, кашлянув, заговорил:

— Уважаемая Анна Михайловна не раз в беседах высказывала мнение, что человек, трудясь, естественно доходит до понимания Божественного промысла, то есть начинает верить в Бога. Согласен, но отчасти. На прошлой неделе шел я по земскому шоссе, близ того места, где поденные рабочие бьют камень. И слышу, — сидят камешники на камнях и сквернословят, понося не только подрядчика, но и Господа Бога. Поэтому, соглашаясь с Анной Михайловной о пользе труда, принужден добавить — не всякого.

— Ну и философ! — воскликнул Африкан Ильич, крутя папиросу и откашливаясь до того, что весь побагровел.

Из-за двери тоненький голос Машутки позвал:

— Анна Михайловна, кушать подано.

4

После ужина Николушка вышел в сад, глубокий и сырой под ясным месяцем, настроившим меланхолично томные голоса древесных лягушек. Резко и нахально врываясь в их хор, кричала квакуша, охваченная любовной тоской. На поляне, уходящей вниз, к реке, путался в траве туман.

Николушка вошел в полусгнившую беседку над заводью, куда каждую весну подходила Волга, и, чиркнув спичкой, спугнул бестолково завозившихся под крышей голубей.

Отсюда видны были поемные луга с клубами тумана над болотами, черная груда ветел у мельничной запруды и далеко, на самом горизонте, высокая, сияющая местами, как чешуя, длинная полоса Волги.

Вдыхая ночной запах травы, земли и болотных цветов, Николушка вспоминал давнишнее. И то, что было, и то, что, быть может, видел он во сне — ребенком, — сплеталось неразрывно в грустные и прозрачные воспоминания.

Вспомнилось, как в этой беседке сидела его мать, в темном платье, пахнушем старинными, каких теперь не бывает, теплыми духами. Николушка так ясно это припомнил, что сквозь болотный запах лютиков, казалось, шел к нему этот забытый аромат. Мать обняла его за плечи, глядела, как играет вдали под лунным светом серебряная чешуя реки. Николушка спрашивал шепотом: «Мама, правда, мальчишки мне говорили, будто у нас в саду живет маленький-малюсенький старичок и продает ученых лягушек — по копейке за лягушку?»

«Не знаю — может быть, и живет такой старичок», — отвечала матушка, и на щеку Николушки падала слеза горячей каплей.

«Мама, ты плачешь?»

«Не знаю, кажется».

И в эту минуту маленький Николушка увидел под крышей беседки, на перекладине, не то птицу, не то маленького старичка, который, нагнув вниз птичью головку, смотрел на него.

Николушка невольно поднял голову к крыше беседки... Да, да, вот и перекладина, где он в далеко ушедшем тумане детства видел странную птицу. Николушка вздохнул и, облокотясь о балюстраду, продолжал глядеть на туманные очертания деревьев, на сияющую полосу вдали. И вспомнил опять... Вот, уже в городе, он сидит с ногами на диване перед горящим камином и смотрит, как, легко потрескивая, пляшут желто-красные язычки. Вдруг — звонок, и через едва освещенную камином гостиную проходит дама, шурша

широким шелковым платьем. В дверях кабинета стоит отец, высокий, худой, с орлиным носом и глубоко запавшими глазами.

— Как вы добры, — говорит он вошедшей даме странным, враждебным Николушке голосом, — как вы добры! — И он и дама скрываются за дверью. У Николушки от сладкого ужаса бьется сердце, его гонит к той двери. Он слышит шаги отца, его глухие, отрывистые слова и торопливый шепот дамы... Что-то падает на пол. Наступает молчание, затем — задушенный вздох и звук поцелуя.

Николушка стискивает горло руками, хочет закричать, убежать, зарыться с головой... Но из другой двери ему кивает мать, вся в черном, как монашка, покинутая, бледная, ужасная. Ее внезапно так делается жалко, — Николушка бросается к ней, обхватывает ее ноги...

— Иди, иди отсюда, нельзя слушать, — говорит мать и увлекает Николушку в спальню...

Там, перед образницей во всю стену, зажжено несколько восковых свечей, стоит низкий стул с высокой спинкой для положения лба, — здесь на коленях долгие часы молится мать. Под платьем у нее, — если потихоньку тронуть пальцем, — железные прутья — вериги.

— Никогда, слышишь ты, никогда не смей подслушивать, — порывисто шепчет мать, — твой отец — страстной, огромной души человек, не тебе его судить!

Мать ставит Николушку рядом с собой на колени, и он смотрит, как идут пушистые, длинные, желтые лучики от свечей. Здесь пахнет воском, лекарствами, тепло, томно и скучно...

Так растет Николушка между образницей и кабинетом, куда убегает потихоньку со страхом и жадностью посмотреть на портрет прекрасной дамы в красного дерева раме, потрогать необыкновенные вещицы на письменном столе, понюхать, как остро и удивительно пахнет окурки сигары.

Однажды Николушка поднял с ковра женскую перчатку, от непонятного волнения поцеловал ее и спрятал под курточку.

И часто, часто видел во сне какую-то узкую пустынную улицу, залитую мертвенным светом, и вдаль — фигуру прекрасной женщины... Он бежит за ней, подпрыгивает и, быстро перебирая ногами, летит над тротуаром. Сердце тянется, заходится, но фигура ускользает все дальше — не догнать.

Николушка шумно вздохнул. Голубь, задев за ветки, вылетел из-под крыши. Невдалеке послышались негромкие голоса тетушки, Насти и Раисы.

5

— Меня ужасно поразило, как он говорит, — услышал Николушка тоненький голос Раисы. — Ах, Анна Михайловна, я ведь очень мало что видела, и мне сделалось так интересно... так интересно... Особенно, когда сказал: «Я все испытал в жизни, в душе моей вечная ночь», — у меня что-то в сердце оборвалось.

Николушка видел, как женщины подошли к скамейке, тетушка и Настя сели, а тоненькая Раиса осталась стоять, оглядываясь на далекий свет окна.

— За последнее время у меня сердце стало постоянно биться, — продолжала она говорить, — по правде сказать, дядя Ваня стал очень сердитый. Поночам читает, ходит, стучит... Или примется говорить так страшно громко, — слушаю, слушаю, да и заплачу. Плохо живем.

Тетушка засмеялась, притянула к себе Раису, поцеловала ее и посадила рядом.

— Вы все такие хорошие, Анна Михайловна... И всех жальче мне Николая Михайловича стало сегодня...

— Смотрите, не влюбитесь, — с усмешкой сказала Настя.

И сейчас же тетушка проговорила деловито:

— Идемте-ка, Настенька, спать, — вот вы и чихаете. И вы тоже, Раечка, марш, марш — спать.

— Анна Михайловна, я бы еще посидела, уж очень здесь приятно. Дядя Ваня позовет меня, когда домой идти. Можно?

Тетушка, опять засмеявшись, поцеловала ее и ушла, увела Настю.

Тогда Николушка усталым шагом вышел из беседки. Раиса увидела его, ахнула, поднялась было со скамейки и опять села.

— Любуетесь ночью? — сказал Николушка, опускаясь рядом с девушкой, и подпер подбородок тростью. — Дай Бог вам никогда не знать горя. Да, я завидую такой юности. Сколько прекрасных мечтаний впереди. Завидуешь красивой жизни и страшишься — неужели и она разобьется, упадет в грязь. — И он незаметно покосился на Раису. Она сидела, закусив березовый листик, опустив глаза...

— Расскажите вашу жизнь, — едва слышно прошептала Раиса.

— Рассказывать мою жизнь?.. Всю грязь, в которой я утопал, все пороки, унесшие мою молодость!.. Нет, вы не должны этого слышать. Мне бы хотелось теперь участия светлой, чистой женщины, — спасти, быть может, сохранить остаток живой души.

— Господи, что вы говорите!

— Да, этот лунный свет, вся эта красота не для меня. Мне двадцать восемь лет, но жизнь — кончена...

Он опустил голову. От дома позвал Настин голос: «Николай, иди спать...»

Николушка поднял голову и горько засмеялся.

— Вот он — мой жернов на шее. Что мне ждать, — ну, конечно — вниз головой на дно. Прощайте.

Он взял Раисину холодную маленькую ручку, стиснул ее, безнадежно кивнул головой — и зашагал к дому по дорожке, пятнистой от лунного света.

Сейчас же позвали и Раису. Поп Иван повел ее через ограду старой церкви по полю, прямой дорогой; шел, размахивая руками и опустив голову, фыркал носом, затем спросил:

- О чем говорила с этим, как его?..
- Николай Михайлович такой несчастный.
- Ага! Ты плакала, кажется?
- Ничуть не плакала. Стыдно вам, дядя Ваня, смеяться. Учили, что людей любить нужно, а сами о них так отзываетесь.
- Как отзываетесь? Я тебе ни слова о нем не сказал.
- И без того понятно...
- Ничего тебе не понятно, — сказал поп Иван, отворяя калитку своего палисадника, сплошь заросшего левкоями. — И ничего тебе не понятно... — И он замолчал, глядя туда, где между огромными спящими тополями были видны дымные луга, и зыбь месяца на воде, и редкие ночные облака, как барашки, набегавшие на небо перед рассветом. — И ничего тебе, Раиса, не понятно.

Тетушка Анна Михайловна, морщась от папиросного дыма, стояла в комнате, приготовленной для молодых, перед двумя большими кожаными сундуками — остатками Николушкина благополучия, и раздумывала, что хорошо бы все это сжечь.

«На какие деньги куплено! Тряпки, притирания — грязь одна, — заживешь тут по-новому...»

— Ну, вот, нашли шатуна, — сказала она Насте, вошедшей вместе с Николушкой из сада. — А ночи-то, ночи какие у нас — чудные. Особенно в разлив — до свету не уйдешь с балкона.

Тетушка простилась, поцеловала обоих, покрестила и, уже совсем собираясь уходить, спросила вдруг деловито:

— В сундуках-то что?

— В этом платья вечерние и визитные, а в том — обувь, шляпы и Колины вещи.

— К чему вам это все теперь? — спросила тетушка. — Разве здесь станете наряжаться? Пожгли бы эти вещи, право, а? Тебе, Николушка, отличный дедовский сюртук приспособим, а вам, Настенька, можно перешить платья шелковые, старинные, — у меня их поискать — так много найдется. А, ну-ну, ладно, спите, потом поговорим...

И тетушка, виновато улыбаясь, ушла. Замкнув за нею дверь, Настенька, привычным движением — руки в бока, подошла к Николушке и проговорила:

— Ты что же это, — девчонке выдумал голову морочить? Думаешь — не знаю, как ты плакался перед ней? Все подлые слова твои знаю, — она ткнула его в лоб пальцем. — Этого, милый дружок, я не допущу в порядочном доме.

— Не смей меня тыкать в лоб, — сказал Николушка мрачно.

— А хочешь — сейчас все лицо твое паршивое расцарапаю...

Николушка зашел за кровать и, посматривая, как надвигается на него Настя, вдруг крикнул громко:

— Слушай, если ты сейчас не отстанешь — я тетку позову.

Сидя на высоком стуле перед конторкой, тетушка сводила счета по объемистым книгам, заведенным еще лет пятнадцать тому назад покойным братом Агтеем.

Брат Агтей был необыкновенно ленив и обычно целые дни проводил здесь около конторки, лежа на клеенчатом диване, и либо ничего не делал, либо читал роман Дюма-отца «Виконт де Бражелон», причем, когда доходил до конца, то начало как будто забывалось, и он опять читал книгу сызнова. А если во время этого занятия в окошечко, проделанное из конторы, стучал ногтем кто-нибудь, пришедший по делу, Агтей говорил, грузно поворачиваясь и скрипя пружинами:

— Ну, что тебе нужно, послушай? Пошел бы ты к приказчику, видишь — я занят...

Сегодня, против обыкновения, тетушка считала невнимательно — ошибалась.

— Сто двадцать три рубля шестнадцать копеек, — держа перо в зубах, щелкала она счетами, — шестнадцать копеек. Ах, Боже мой, что-то будет, что-то будет?

В контору в это время вошли, стуча сапогами и снимая шапки, мужики, пять человек, старинные приятели тетушки. Она отложила перо и приветливо поздоровалась.

— Ну, что, мужики, хорошего скажете?

— Да вот, — сказал один из мужиков, лысый и пухлый, — мы к вам, Анна Михайловна, — и покряхтел, оглядываясь на своих.

— Если насчет лугов, мужички, цену последнюю я сказала. Уступить ничего не могу, разве рубля три, как хотите...

— Нет, мы не насчет лугов, — опять сказал первый, — с лугами — как порешили, значит, так и стоим, обижать вас не будем... Нет, мы насчет вот этого...

Он замолчал, помялся; помялись и остальные.

— Да вы о чем говорите-то, я не пойму? — спросила тетушка.

— Ребята наши озоруют, Анна Михайловна, спалить собираются.

— Кого спалить?

— Да вас, Анна Михайловна. Зачем же мы и пришли к вашей милости. Вы уж не обижайтесь, — на этой неделе и спалим.

— Это верно, — сказали мужики, — так и порешили — в пятницу или в субботу Анну Михайловну жечь.

Тетушка облокотилась о конторку и задумалась. Мужики кряхтели. Один, ступив вперед и отворив полу сермяжного кафтана, вытер ею нос.

— Гумна палить или дом? — спросила, наконец, тетушка.

— Зачем дом, оборони Бог, — гумна.

Самый старый из мужиков, дед Спиридон, облокотился на высокую палку и, слезясь воспаленными веками, глядел на тетушку, весь белый, с тонкой шеей, обмотанной раз десять шерстяным шарфом.

С батюшкой вашим, Михайлом Петровичем, на охоту я ходил, — проговорил он натужным, тонким голосом, — волка тогда убил батюшка ваш. Бывало, скажет: «Приведи, Спиридон, мне коня, самого резвого...» Вскочит на него, и — пошел... Да, я все помню, — он пожевал лиловыми губами, — и дедушку вашего, Петра Михайловича, помню... Все помню...

— Чайку приходи ко мне попить, Спиридон, — сказала тетушка ласково, — давно мы с тобой по душам не толковали...

— А я приду, приду, Анна Михайловна... Вот Михайлу Михайловича, прадеда, того не помню...

— За что же вы, мужики, такую мне неприятность хотите сделать, — вздохнув, проговорила тетушка и карандашом провела вдоль разгиба книги, — чем я провинилась перед вами?

— Да мы разве сами-то по себе стали бы озорничать, — заговорили мужики, — на прошлой неделе в деревню листки какие-то принесли, ребята листки читали, ну — и обижаются... Так, говорят, и в листках написано, чтобы беспреренно господ — жечь.

После этого поговорили о лугах, о сенокосе, о запашке на будущий год, и мужики, простившись, вышли, оставив в комнате крепкий дух овчины и махорки. Тетушка сидела пригорюнься. Когда вошел Африкан Ильич, заспанный и в расстегнутом жилете, она не спеша рассказала ему, по какому делу приходили мужики.

— А пускай их жгут — гумна застрахованы, — широко зевая, ответил Африкан Ильич.

— Мне не то горько, друг мой, а отношение.

— Добротой, ваше превосходительство, добротой до этого мужиков довели. Станет на него Анна Михайловна жаловаться, — жги се во все корки. А я вот сейчас к становому поеду.

— Нет, вы не ездите, Африкан Ильич.

— Нет, уж вы извините, я поеду.

— Я бы очень просила вас не ездить.

Тогда Африкан Ильич расставил ноги и стал орать на ее превосходительство. Но все-таки не уехал. И тетушка, сказав напоследок: «Так-то, ради гнилой соломы нельзя живого человека губить», — попросила его позвать в контору Машутку.

Маша прибежала и стала близ тетушки, положив загорелую руку на конторку.

— Звали, тетинька?

— Вот что, — погладив ее, сказала Анна Михайловна, — ты помнишь, что Бог всегда знает, кто правду говорит, кто лжет, и за неправду наказывает?

— Помню, — весело ответила Машутка.

— Ну, так вот, — знаешь, а как ты поступаешь?

— Разве я врала чего, тетинька?

— Нет, не врала, конечно. А вот что... О чем ты с молодым бириним нынче утром говорила? А?

Машутка опустила глаза и ногтем зацарапала конторку.

— Николай Михайлович спросил — сколько мне лет.

— Что же ты ему ответила?

— Шашнадцать...

— Еще что?

— А еще спросил — есть ли у меня полушалка шелковая...

— А на это что ты ему ответила?

— Сказала, что полушалки нету.

— Ну, вот что, — проговорила тетушка строго, — молодой барин с тобой все шутит... А ты ему не надоедай, часто на глаза не попадайся. Поняла?

И Анна Михайловна, закрыв конторские книги и отпустив Машутку, долго еще, покачивая головой, глядела, как за окном в сирени возятся и пищат серые воробьи. «Ох, трудно мне будет, трудно с ними со всеми», — думала она

Когда Анна Михайловна выходила из конторы, в дверях с ней столкнулся Николушка и голосом выздоравливающего человека проговорил:

— Тетя, дайте же мне работу, ради Бога...

— Какую тебе, батюшка, дать работу? Отдохни сперва, отъешься...

— Я видел, у вас наверху — библиотека... Вот ее бы взять и привести в порядок.

— Удружишь, друг мой, вперед говорю — спасибо. Еще дед твой покойный все собирался разобрать книги... Сейчас народ к тебе сгоню, — обрадованная тетушка поспешила распорядиться насчет людей.

7

В библиотеке было навалено на пол-аршина пшеницы; пыль густо покрывала шкафы, стекла, карнизы; на поверхности столов расходились следы мышиных лапок.

Матвей-кучер и девчонки лопатами погнали пшеницу из библиотеки в залу. Поднялось густое облако пыли; лица у всех стали серыми; бегали по пахучему зерну потревоженные мыши; в открытых гнездах шевелились розовые мышата; испуганный голубь летал под потолком, задевая крыльями поломанную хрустальную люстру.

— Довольно, — сказал Николушка, вытирая потное лицо, — подметите теперь и ступайте...

В библиотеке открыли окна, и влился в заплесневелую комнату травянистый воздух вечера. Николушка, стоя на лестнице, открыл узкую дверцу первого шкафа, — оттуда легко посыпалась труха съеденных мышами книг.

— Ай! — крикнула, отряхиваясь, Машутка.

Николушка обернулся, девушка стояла под лестницей, поглядывая исподлобья на молодого барина.

— Ты зачем тут? — сказал Николушка и, захватив обеими руками труху, бросил ее в Машутку. — А это видела?

— Только подмели, барин, а вы сорите, — сказала Машутка, махнула косенкой.

— Дай-ка я тебя отряхну.

Сойдя на несколько ступеней, нагнулся он и, растрепав Машутке волосы, легонько ущипнул ее за шейку под круглым подбородком.

— Вот барыне пожалуюсь, — шепотом сказала Машутка, но не отошла.

Николушка рассмеялся и, открыв второй шкаф, где не хозяйничали мыши, с трудом вынул из плотной кипы книгу в желтой коже с золотом.

— Что с книжками-то сделаете? — спросила Машутка.

— Читать, глупая, буду. Вот слушай: сочинение Еккартгаузена — «Семь таинств природы». А вот «Путешествие Анахарсиса Младшего». Поняла? А вот, — Николушка сошел с лестницы и сел на нижнюю ступень, читая: — «Неонила, или Распутная дочь».

— Чего это?

— Слушай... «...погубивши в своем жестоком распутстве благородного кавалера виконта де Зарно, тщеславная продолжала гнусные козни, противные столь же людям, сколь и Творцу, создавшему сию мерзкую тварь...»

Машутка, рассматривая картинку, изображающую Неонилу, без рубашки, в постели, лицом вниз, и камеристку около, приготовляющую аппарат для облегчения желудка, и в дверях кавалера де Зарно, придвинулась и дышала Николушке на щеку...

— «...но обладала распутная, — продолжал читать Николушка, — столь совершенной красотой, что не было земнородного, кой мог бы противопоставить оному соблазну...»

Машутка дышала так близко и коса ее касалась лица так нежно, что Николушка, взглянув в простенькие глаза девочки, привлек ее и поцеловал в полуоткрытые холодноватые губы.

Случилось так, что тетушка, желая освежить пыльную залу, открыла балконную дверь и, войдя, увидела Машутку, перекинутую напад, с руками, упирающимися в плечо Николушки, и его, охмелевшего и поцелуе; кругом же — брошенные книги. Тетушка вскрикнула... Машутка, ахнув, убежала. Николушка же принялся сильно тереть нос.

— Николай! — в волнении ходя по библиотеке, говорила тетушка, — Маша взята мною на полную ответственность, ей шестнадцать лет. Ты понимаешь?.. Я знаю, человек ты молодой, кровь у тебя кипит, Машутка красавица... Да что в самом деле, мало тебе одной бабы! Да как ты догадался только так устроиться... Поклянись сию минуту перед крестом, — тетушка вынула из-под кофточки связку образков и крестиков, — на кресте поклянись не трогать Машутку. Не выпущу, пока не дашь честного слова.

Испуганный Николушка поклялся, и тетушка отвернулась к окну, где в зелени берез, скромный и старенький, горел в закате крест туреневской церкви. В саду гуляли Настя и Раечка.

Охватив Раису углом пуховой шали за плечи, Настя говорила, близко наклоняясь к девушке:

— Вы ему ни словечку не верьте, миленькая... Он мастер чудеса плести: таким несчастеньким представится, — послушаешь его, послушаешь и заревешь, как дура... Я ведь его весь характер, как стеклышко, знаю... без разговоров — никак не может, такая у него природа. Для этого мы ведь и сюда приехали, чтобы разговаривать...

— Нет, я про то говорю, что несчастный, — сказала Раиса.

— Это он-то несчастный?.. Ах вы, милая, совершенный ребенок... Какой же он несчастный, когда бабы кругом него так и вертятся. — Настя при этом фыркнула носом. — Когда я-то его подобрала, — в него старая женщина, понимаете, влюбилась, и он ее всю обобрал и выгнал, милая, выкинул из дому...

Раиса отвернула лицо и некоторое время шла молча. Настя искоса поглядывала на нее, потом быстро расстегнула рукав на кофточке, открыла руку до локтя:

— Вот, полюбитесь, как он со мной поступает... Вы видите — шрам ужасный, через всю руку. — Она, почти со слезами, прижалась ртом к розовой полоске у локтя, пососала ее и сердито одернула рукав. — Этого шрама ему до смерти не прощу... озверев, ему — что человек, что собака... По нему каторга давно плачет... Я на него когда-нибудь в суд подам...

— Господи, — вскрикнула Раечка, — что вы мне говорите...

— А вам-то что? Жалко его?

— Не знаю... Неправда все, что вы говорите... Я знаю, что вы нарочно мне говорите...

— Так вы, значит, влюбились... Вот что! Так бы вы мне сразу и сказали... Значит, у нас теперь другой разговор начнется...

Настя уже давно оставила Раисино плечо и теперь уперла руки в бока, сощурилась, но продолжать разговора ей не пришлось. Раиса быстро села на лавочку, нагнулась к коленям, закрыла лицо ладонями и молча вздрагивала плечами...

Настя глядела на нее, морща нос: плечики у Раисы были худенькие, и вся она, как цыпленок... Настя закурила папироску, глубоко затянулась несколько раз, швырнула ее в траву и, стремительно сев около девушки, обхватила ее за плечи:

— Слушайте... Не ревите вы из-за этого черта... Я вам все равно его не отдам, это вы сами знаете... А отдала бы — так вы все глаза через него проревете. Ладно вам в самом деле...

8

Николушку отправили в лес — проветриться. Узнав о том, что мужики собираются тетушку сжечь, он раскричался, вооружился дробовым ружьем, наведя этим великого страху на всех девчонок на кухне, и тетушке стоило больших трудов его уговорить — отказать от расправы с мужиками. Ружье она отобрала и сказала:

— Вот бы в самом деле съездил, друг мой, осмотрел наши владения. Лес посмотри: Африкан Ильич уверяет, что через пять-шест лет этот лес будет золотым дном.

Николушке подали к крыльцу тележку, дребезжащую так, будто она была и кузницей в то же время. Тетушка проводила его до ворот:

— Ступай, ступай, батюшка, просвежись...

Околица оказалась закрытой. Николушка долго кричал, чтобы ему отворили. Наконец из соломенного шалаша вышел согнутый и гнеткий старичок, снял шапку и глядел на проезжего.

— Эй, дед, отворяй! — сердито закричал Николушка.

— Сейчас, сейчас отворю, — старичок неторопливо снял лыковую петлю и отворил заскрипевшую на разные голоса околицу. — Откудова ты, милый?..

Николушка, не ответив, ударил вожжами и покатил под горку, и долго вслед ему глядел старичок, — плохо видел, а слышать — давно уже не слышал...

Лес, про который говорил Африкан Ильич, действительно был когда-то, при дедах Туреневых, могучим, матчовым бором. С осени отборные матчи перекручивались у комля проволокой, чтобы дерево набухало смолой, делалось крепкое, как железо, — янтарное, и в январе их рубили. Но теперь Николушка, поминутно вывертывая вожжу из-под репицы ленивой лошаденки, мотающей головой на слепней, увидал лишь тощую сосновую поросль да чахлый, вдоль овражка, орешник, общипанный крестьянскими лошадьми, которые при виде едущего запрыгали на спутанных ногах подальше от дороги.

— Эй, молодой человек, где здесь турневский лес? — спросил Николушка у подпaska — мальчика, сидевшего, подпершись на плече...

— Чего?

— Лес, я у тебя спрашиваю, где, дурак... Наш лес...

— А вот он лес, — сказал мальчик, сдвигая шапку на нос.

Николушка дернул плечами, доехал до того места, где лесок был погуще, замотал вожжи за облучок и, с трудом вылезши из тележки, пошел по мягкой похрустывающей хвое — лесному ковру. Кругом были пни, да корявые стволы, да поросль, шумел печально ветер над головой, по синему небу плыли облака. Николушка в тоске перелез через овраг, заросший папоротником, и лег на пригорке, закинув под затылок руки...

Ах, навсегда ушли хорошие времена — бессонные ночи, огни проспектов, снег, запах духов и меха, наслаждение тончайшего белья и скользкой шелком черной одежды... Настежь распахнутые привычно испуганным швейцаром хрустальные двери в ресторанный зал, где сразу все нервы натягивает музыка и играет на них пьяными пальцами... Огни люстр, сверкающие камни, теплая прелесть женских плеч... Запотевшее ведро и золотое горлышко, покрытое снежной салфеткой... Пьянящий гул голосов... И в дымной

мгле исписанного алмазами зеркала — красные фраки, летящие Smyчки, цветы и темные, как мрак души, встревоженной музыкой, черным кофе и сумасшедшим желанием, — глаза женщины...

Николушка зажмурился, замотал головой — и сел в траве; кругом — пни, чахлые елочки, шумит хвоя над головой... Уныл был туреневский лес... Господи, господа, и здесь — коротать дни!..

Николушка перевернулся на живот и грыз травинку. Скверная вещь уединение, да еще — в лесу, в жаркий полдень... Воспоминания прошлого лезли Николушке в голову, — вспоминались минуточки, от которых вся кровь закипала... Взять бы такую минуточку и туда, — в сумасшедшие зрачки глаз, в шорох шелковых юбок, в темноту женского благоухания, — вниз головой, навек... Перед самым лицом Николушки в траву упала с дерева шишка... Он раскусил травинку и усмехнулся: «Тетушка Анна Михайловна в бумазейной кофте, со своими мышами и религиозными вопросами... Африкан Ильич, храпящий на весь дом после обеда... Комнаты, заваленные пшеницей, книги, съеденные мышами... Настенька, знакомая до последнего родимого пятнышка... Бррр!.. Будни... Поди воспрянь, работай!.. Ни один человек не воспрянет в такой обстаночке... Болото!..»

Совсем близко, за елью, хрустнул сучок. Николушка поспешно обернулся и сквозь ветки увидел розовое платье Раечки... Край этой ситцевой юбочки словно махнул ему из безнадежной мглы... Николушка вскочил, одернул поддевку и подошел к Раисе, — она спиной к нему, нагнувшись, шарила рукой во мху. Он тихо позвал ее. Она выпрямилась, взглянула, ахнула и уронила из рук гриб...

— Вот, приехал посмотреть на наше запустение, — сказал Николушка, — а вы что делаете?..

— Грибы ищу, — ответила Раечка, словно с перепугу, тяжело дыша, — вот набрала грибов, все белые, боровики...

— Хорошие грибы... Значит, вы любите грибы?..

— Еще бы...

— А я городской житель... Не умею их собирать, наберу еще поганок...

Раечка вспыхнула, залилась румянцем и засмеялась, немного закинув голову, открыв ровные зубки... Николушка едва мог отвести взгляд от ее нежного горла.

— Пойдемте уж вместе, — сказал он, — как-нибудь помогу вам...

— Ах нет, Николай Михайлович, это для вас совсем не подходящее занятие.

— Почему же для вас подходящее, а для меня вдруг не подходящее?..

— Ну, вы такой — столичный, — сказала Раечка, перекинула с груди на спину косу и пошла...

Николушка шел рядом с ней, нахмурясь, горько сжав рот...

— Ах, Раиса, вы напомнили мне о самом больном, — сказал он после некоторого молчания, — лучше не будем говорить обо

миг... Эх, все равно, туда и дорога, — он на ходу сломал сухую ветку, разломал ее и отшвырнул, — моя жизнь кончена...

Раиса быстро нагнулась, взяла грибок и сунула его в корзиночку под кленовые листья...

— Люди слишком много мне нанесли зла, — растоптали в моей душе все святое... Что ж — буду жить здесь, забытый, никому не нужный... И жить-то мне осталось недолго с моей печенью... Пусть!.. Да иногда — гляжу вот так — и жалко, — почему я не крестьянин, здоровый, беззаботный, с топором в руках, — рублю огромные сосны, летят щепки...

— Перестаньте, Николай Михайлович, — чуть слышно проговорила Раечка, и он увидел, что глаза ее зажмурены и ресницы — мокрые...

— Раиса, Рая, девушка моя, — крикнул он пылким, самого его удивившим голосом, — вам жаль меня?.. Сердце мое родное!.. — И схватил ее за дрожавшие, холодные, маленькие руки. — Да? Да?.. О, помогите мне...

— Чем же я могу помочь, я такая глупая, Николай Михайлович...

— Любите меня!

Эти слова вырвались у Николушки в неудержимом порыве, сами собой. Раиса до того растерялась, что бросила лукошко с грибами, раскрыла ротик, слезы на ее синих глазах сразу высохли...

— Любите меня, — повторил Николушка и, опустившись на колени, обхватил Раису, поднял к ней взволнованное лицо. — Вы можете спасти меня... Вы спасете меня... С первой минуты, как только вы вошли — светлая, невинная, вся розовая, — я понял — сойду с ума... Или — вы, или — смерть...

Часа два спустя Николушка бегал по темному коридору и, расгорая двери, кричал в пустые комнаты:

— Тетя... Тетя же... Анна Михайловна, где вы?..

— Кто тебя, батюшка, укусил? — проговорила, наконец, тетягушка, высовываясь из дверей угловой, сундучной комнаты...

— Мне необходимо с вами говорить...

— Господи, помилуй... Да на тебе лица нет!

Решительным шагом Николушка вошел в сундучную, полутемную комнату, где пахло мехом, нафталином и мышами, не снимая шапки, сел на сундук и ненавидящими глазами уставился на Настю, которая стояла у окна, у кресла, где они разговаривали с тетяшкой...

— Уйди, Настя, — проговорил Николушка и вдруг бешено топнул ногой, — уходи, тебе говорят...

— Ты белены, что ли, объелся, дружок? — спросила Настенька, внимательно следя за его взглядом.

Николушка вскочил, но сел опять. Анна Михайловна с недоумением поворачивала голову то к Николушке, то к Насте.

— Если эта женщина не уйдет, я за себя не ручаюсь, — сказал он, глотая слюну.

Настя поджала губы, спрятала руки под косынку и вышла...

— Анна Михайловна, — заговорил Николушка, обхватив руками голову, — тетушка... Вы хотите, чтобы я стал человеком... Вы хотите, чтобы я стал молод, здоров, честно зарабатывал деньги... Но, куда около меня эта женщина, я — труп... Она тащит меня в бездну... Она, она виновата в моем позоре...

— Подожди, Николай, — перебила тетушка дрогнувшим от страха голосом, — говори по-человечески... у меня голова кружится... Что случилось?

— Тетушка, я женюсь на Раисе!..

9

В тетушкиной спальне пахло валерьяной. Анна Михайловна сидела в кресле, повесив нос, голова ее была обмотана компрессом. Около нее — Африкан Ильич, помалкивая, вздыхал и курил. Изредка вздыхала и тетушка.

Было после обеда, то время, когда по усадьбам и деревням дремлют куры и собаки, похрапывают люди в тени забора, в сараях, в каретниках; мальчуган какой-нибудь сидит на куче золы, в завязанной узлом на спине рубашонке, и сладко зевает, держа в грязном кулаке заморенного воробья; а где-нибудь в избе молодая, на сносях, поет однообразно, — перед ней чашка с теплым квасом, по столу ходят мухи, тошно пахнет луком, сквозь засиженное окно виден все тот же амбар и желтый выгон... Сосет под сердцем у молодой, негромко растягивает она слова песни, под окном слушает ее свинья, отмахивая искусанным ухом надоедливых мух. Так вот и сейчас на черном крыльце пела Василиса-стряпка такую же песню. Африкан Ильич слушал, молчал и, наконец, сказал с шумным вздохом:

— Ох, баба как воет, проклятая...

Не открывая глаз, тетушка кивнула.

Нелегко досталась ей вчерашняя история: Настя, подслушав у дверей Николушкино заявление, ворвалась, как зверь, в сундучную комнату. Николушка при виде ее блестящих глаз потерял присутствие духа и вдруг, обернувшись к тетушке, всхлипнул:

— Вот видите!

Тогда Настя ударила его кулаком по лицу и вцепилась в волосы. Николушка плюнул на нее, махал руками, тетушка самоотверженно проникла между враждующими — и ей попало; прибежавший Африкан Ильич оторвал Настю от Николушки и унес, и она кричала: «Я твоей шлюхе прическу поправлю». Николушка, мотаясь головой то на тетушкином плече, то на жилете Африкана Ильича, снова рассказал историю своей пропащей жизни... Его отпоили водкой. Далеко за полночь слышны были в старом доме всхлипывания, порой дикие вскрики и монотонный голос отчитывающей тетушки. В тот же вечер Машутка, несмотря на страх

в привидениям, бегала под поповское окно и рассказывала потом на кухне, что поп Иван без подрясника, в подштанниках, ходил, как журавль, по горнице и все чего-то бубнил, а Раечка горько плакала, спрятав лицо в подушку.

Рано поутру тетушка пошла к попу Ивану, но он уже усаживал Раису в старенький тарантас и, холодно объяснив Анне Михайловне безнравственность ее племянника, зачмокал на мерина и уехал, как флюгером, оторваннойполой шляпы.

Тетушка побрела домой, оглядываясь на уезжающих, и вдруг заметила, как навстречу им из-под плотины вылез Николушка и вынимал картузом. Поп Иван, привстав, хлестал лошадь. Раечка выткнулась было из тележки, но, прижатая поповской рукой, закрылась платочком. От всех этих переживаний у тетушки сделалась мигрень.

Сдвигая с глаз компресс, Анна Михайловна проговорила слабым голосом:

— Грех ждать награды от людей, друг мой, но все-таки обидно, — уж очень он неблагодарный...

— Н-да, — сказал Африкан Ильич, — племянничек ваш действительно — пенкосниматель...

— Подумайте — во всем обвиняет меня... И Настя на меня сердится, будто я его с Раисой сводила...

— Отодрать их обоих, — вот как я это понимаю...

— Ох, нет, только не это, Африкан Ильич.

— А если не драть, так что же?

— Ума не приложу... Вот как вернется батюшка, — пойдите к нему, друг мой, и скажите, что я хочу исповедоваться и в воскресенье, если допустит, приму святое причастие.

Африкан Ильич крикнул, так как был безбожником, но из уважения к тетушке не высказывал своих убеждений. Анна Михайловна опять принялась клеветать носом. На черном крыльце пела Висилиса все одну и ту же песню. И лучше бы не было этой песни на крещеной Руси.

10

Прошло два дня. В туреневском доме было спокойно, но молчаливо. За столом не засиживались, — быстро расходились по комнатам. Анна Михайловна в доброте своей думала, что Николушкин страстный порыв миновал: действительно, Николушка ходил исбритый, угрюмый, опустившийся, и только по внимательным взглядам Настеньки, по кривым ее усмешечкам можно было догадываться, что с Николушкой не все обстоит благополучно...

Так и вышло. К вечеру Николушка надвинул до ушей мягкую фуражку, закурил папироску и вышел из дому. Тетушка спросила — «ты куда?» Он пожал плечами — «так, никуда» — и пошел через плотину на мельницу. Африкан Ильич в это время еще опо-

чивал в сундучной комнате, и тетушку некому было вразумить, что значит — «никуда»; она не приняла даже во внимание, что не более получаса тому назад сама услала Машутку на мельницу за раками, которых мельников брат и дьячок Константин Палыч ловили бреднем в пруду.

В конце плотины, из оврага, поднималась двускатная, покрытая лишаями крыша водяной мельницы. За нею, на лугу, в тени огромных и коряжистых осокорей стояли распряженные воза. Еще подалее — вдоль низкого берега медленно двигались, по колено в воде, дьячок с рыжими развевающимися волосами и — в воде по грудь — мельников брат; тащили бредень и кричали: «Куда же глыбже-то?» — «Лезь, тебе говорят!» — «Да куда же глыбже-то?» — «Лезь, тебе говорят, антихрист»...

Николушка не спеша дошел до мельницы, спустился вниз к водосливу, где по скользким, шелковым от плесени доскам тонким слоем бежала вода; где тяжело и нехотя, все мокрое и почерневшее, в зеленых волосах, скрипя, вертелось водяное колесо; где в зеленоватой полутьме пахло сыростью и дегтем и, сотрясая весь ветхий остов мельницы, скрипели, стучали, крутились деревянные шестерни; где не раз деревенские мальчики, лавливая лягушек на тряпочку, видели сквозь щели мостков, внизу, в омуте, водяного, который сидел на самом дне, ухватив перепончатыми лапами зеленые сваи...

Николушке торопиться было некуда. Он бросил окурок в пену, под колесо, поднялся по шаткой сквозной лесенке наверх, где в луче света крутилась мучная пыль, легко порхали тяжелые жернова, сыпалась пахучая ржаная мука в сусеки, — захватил щепоть муки, растер ее между пальцами и вышел за ворота.

Здесь, на лужку, — кто в траве, кто на разбитом жернове, — сидели мужики, до света еще приехавшие с возами, с помолом. Николушка, сделав строгие глаза, приветствовал их баском: «Здорово, ребята!» Из мужиков кое-кто снял шапку; мельник Пров, старый солдат, сказал приветливо: «Садитесь, баринок», — и подвинулся, уступив на жернове место Николушке...

— Так-то оно было, — продолжал рассказывать Пров, прижимая черным пальцем золу в трубочке, — нельзя счесть — сколько он погубил нашего народу... Вышлет генерал Бярятинский войско, и все это войско Шамиль погубит... Сколько наших косточек на этом Кавказе легло, — и-их, братцы мои... Шамиль упорен, а генерал Бярятинский еще упорнее: нельзя, говорит, этого допустить, чтобы русский император отступился перед Шамилем.

— Досадно это ему, конечно, сделалось, — сказал один из мужиков, нагнув голову и трогая носок лаптя.

— Ну да, вроде как досадно. Собрал генерал Бярятинский огромное войско, обложил Шамиля со всех сторон, — ни ему воды, ни ему пищи: забрался он на самый верх, на гору, с черкесами, и оттуда стреляет, не сдается... Наши поставили лестницы и полезли, и полезли, братцы мои, — одних убьют, другие лезут...

Генерал Барятинский стоит внизу, бороду вот таким манером на обе стороны утюжит, ревет: «Не могу допустить русскому оружию позора...»

— Бывают такие задорные, — сказал тот же мужик.

— Долго ли, коротко ли, — вышли у черкесов все снаряды. Тут наши их и осилили. Взoshли на гору и видят — стоят черкесы кругом, а посреди их — Шамиль сидит на камне и Коран читает. Наши кричат: «Сдавайся!» И что же, брат мой, думаешь — черкесы эти садятся на коней, — сядет, завернется в бурку и прыгает в море. А с той горы ему до моря лететь восемнадцать верст... Ну, тут наши солдатики подоспели, наскочили на Шамиля, скрутили ему руки...

— Все-таки генерал своего добился, — опять сказал тот же мужик.

Николушка сидел на жернове и курил, часто моргая. Дело в том, что он давно уже заметил неподалеку, около воез — Машутку. Она стояла у телеги, подняв колено и упираясь пяткой в спицу колеса, и весело посматривала в сторону Николушки. На ней была прямая черная кофта с желтой оторочкой, — мода сельца Туренева, — желтый платочек и красная юбочка.

— Н-да-с, — деловито нахмурившись, проговорил Николушка, — ну, прощайте, мужички. — Он лениво поднялся и пошел к воезам, расставляя по-кавалерийски ноги.

Машутка глядела на него смеющимися глазами. Он, — будто только что ее увидел, — остановился, покачиваясь:

— А, ты здесь?.. Ты что тут делаешь?..

У Машутки задвигались тоненькие, точно чиркнутые угольком, брови, она приняла босую ногу с колеса и усмехнулась:

— Тетинька за раками послала, а эти черти только кричат, ни одного не поймали. — Она сейчас же затрясла головой и звонко засмеялась, махнула локтем в сторону пруда: — Дьячок не хочет в воду лезть, говорит — я лицо духовное.

Николушка обернулся в сторону широкого, синеватого к вечеру пруда. На истоптанном копытами низком берегу дьячок и мельников брат, низенький мужик, все еще ссорились, вырывая друг у друга бредень. Особенной причины для смеха в этой глупой сцене, конечно, не было. Николушка презрительно поморщился.

— А ты вот тут сидишь, — сказал он с расстановкой, — смотри — тетушка тебе задаст. Кого дожидаясь?

Смеющееся Машуткино лицо вдруг стало серьезным, рот сжался. Тенистыми от ресниц глазами она внимательно, почти сурово, взглянула на Николушку, дернула на лоб платок и пошла, осторожно ступая босыми ногами, и еще раз быстро взглянула на Николушку...

— Ах, черт возьми, — пробормотал он, втягивая особенно ставший почему-то пахучим воздух сквозь ноздри, — ах, черт!

Знакомой томительной болью завалило грудь... Стало отчетливо ясно — какая-то сила подняла его сегодня спозаранку с постели,

толкала из комнаты в комнату, в коридор, на кухню, в сад и привела на мельницу...

Ноги его стали легкими, глаза — зоркими, все силы его, наливаясь сладостью и огнем, устремились к уходившей по берегу пруда девушке, — ветер отдувал ее красную юбочку, желтый платок... Давеча, когда она стояла у колеса, ее поднятое колено помutilo голову Николушке, — сейчас желто-зеленая на закате трава стегала ее колени.

«Плевать на Настю, на тетку», — с божественной легкостью подумал он и пошел, — сами ноги погнались по лугу за девушкой. Она обернулась, ее черноебровое личико испуганно задрожало, она пошла быстрее, он побежал. Около гумна, у омета прошлогодней соломы, запыхавшись, он догнал ее и схватил за руку:

— Куда ты бежишь?

— Пустите, Николай Михайлович, — проговорила Машутка быстрым шепотом и выдергивала руку, но силы у нее не было.

— Слушай, Маша, я с тобой хотел поговорить, — вот о чем...

— Барин, миленький, не говорите...

— Дело в следующем... Я больше так не могу... Они меня сгноили... Я сегодня всю ночь не спал... Я на тебе женюсь, честное слово...

— Барин, миленький, увидят...

— Ничего не увидят... Ты смотри, как темно... Садись вот сюда, в солому... Какая ты прелесть... Когда ты шла по траве — ты ноги не исцарапала, а?.. Какой у тебя рот... Чего на меня уставилась, Маша, Машенька...

Совсем темными, косившими от волнения, невидящими глазами Машутка глядела на страшное, красивое, улыбающееся, оскаленное лицо Николушки, — будто издали слышала его бормотание. Чтобы не дрожал подбородок, она закусилa нижнюю губу. И глядя, — все откидывалась, отстранялась.

Когда Николушка по берегу пруда бежал за Машуткой, мужики, сидевшие у мельницы, глядели им вслед и говорили:

— Ай, баринок-то в нашу кашу мешается.

— А женатый.

— Ну что же, что женатый... Еще хуже женатый: к сладкому привыкает.

— Испортит он девчонку.

— Чья такая?

— Василисина, — сирота.

— Хорошая девчонка...

— Ишь ты, как за ней подрал.

— Ест сытно, спит крепко — чего же ему не гонять.

— Прошлым летом у нас одному такому артисту ноги переломали.

— Да и этому не мешало бы...

— К гумну заворачивает... смекалистый... Там ее, в соломе, и кончит.

Зря все это, нехорошо...

— Да уж это совсем зря...

Двое туреневских парней, лежавшие здесь же, в траве, поднялись и, переглянувшись, побежали через плотину на деревню. Глядя им вслед, мужики говорили:

— Побьют они его...

— Ну, что же, и побьют — ничего...

— Дорого баринок за сладкое-то заплатит!..

11

Настя сумерничала, сидя у тусклого окна, в спальне. Узкой холодной рукой она придерживала у ворота пуховый коричневый платок — подарок тетушки, любившей все коричневое, добротное и скромное. Насте и хотелось и не хотелось спать, на душе было так же тускло, как в этом пыльном окне с едва видными очертаниями кустов, унылых строений, прикрытых покосившимися соломенными крышами, и мутно белевшего в сумерках белья на веревке.

Вошла тетушка, различимая по огоньку папиросы, села у стены на сундук и проговорила негромко:

— Огня-то не зажигаешь?

— Нет... так что-то...

— Ну, ну. — Было слышно, как тетушка сдержала зевоту. — Одна сидишь, Настя?

— Да, одна...

— То-то я смотрю — Николушки все нет и нет. Ушел, — а я думала — вернулся.

— Придет.

Снаружи к окну поднялся на лапах серый кот, внимательно поглядел через стекло в комнату, убрал одну лапу и другую и скрылся. Настя зашевелилась в кресле.

— Не люблю, когда коты в окно заглядывают... У меня подруга была кокотка, до такой степени боялась кошек, — падала в обморок...

— И Машутка еще куда-то провалилась, — быстро сказала тетушка

— Я раньше очень хорошо жила, — после молчания проговорила Настя, — своя квартира: мебель — голубой атлас, две шубы: одна — вся в соболях, другая — норка, сверху — горностай. Бриллианты какие были. Все, подлец, пропил...

— Ах, Настенька...

— Конечно — подлец, самый последний...

— Ах, Настенька!..

— Что, Анна Михайловна?

— Думаю я, Настенька, простить бы вам ему надо...

— Ах, будто я ему не прощала... А сюда зачем приехала?.. Знаете — какие у меня поклонники были?.. Один граф на коленях

круг меня ползал, дом на Сергиевской хотел подарить, купчую принес, — я его с купчей вместе за дверь выкинула, потому что он мне противный был... Прощать!.. У меня до сих пор на теле раны не заживают от его побоев, — простила... А когда он последнее мое кольцо в ломбард потащил, — знала я, что ни копейки этих денег не увижу... Колье заложил и деньги мои пропил с Сонькой Еврионом, с кокоткой, моей подругой... Я ему всю морду расцарапала, — простила... Я бы на каторгу за ним пошла, только бы он меня одну любил...

Настенька оборвала, шмыгнула, стала шарить под собою в кресле носовой платок.

— Лучше вы с ним об этом-то прощении потолкуйте, Анна Михайловна... Он только о том и думает теперь, как бы мне мстить, зачем я его от девчонки, от этой Раисы, оторвала... Я теперь знаю, что у него на уме: к вашей Машутке подбирается...

— Бог знает, что вы говорите! — воскликнула тетушка и встала с сундука. — Извините меня, Настенька, но у вас разнузданное воображение... Я давно к вам приглядываюсь... Трудно, трудно с вами...

Настя всхлипнула, откинулась в глубь огромного кресла. И, странно, — лицо ее словно стало светлее, розовее. На коричневых цветках старой обивки все яснее выступал ее тонкий профиль, причудливый свет золотил ее волосы, и вот выступила вся освещенная ее голова с закрытыми глазами...

— Что это? — воскликнула тетушка. — Свет какой!

Настя открыла глаза и ахнула: на штукатуренной стене лежал багровый четырехугольник окна.

— Огонь! — крикнула она, срываясь с кресла.

Тетушка молча подняла руки к голове. В доме уже хлопали дверями, слышался топот ног, испуганные голоса звали тетушку. Дверь с треском раскрылась, дуло сквозняком, вошел Африкан Ильич.

— Пожар, — сказал он густым голосом, — гумна жгут. — Остановился у окна и глядел на зарево, заложив руки за спину, сутулый и багровый.

Настя легла на кровать, вниз лицом, в подушки.

Тетушка звала в коридоре:

— Ни́колушка? Где Ни́колушка? Девки, девчонки, бегите, ищите молодого барина.

Зарево разгоралось. На дворе осветились бревенчатые стены служб. От кустов легли густые мерцающие тени, у ворот черными силуэтами стояли любопытные... Послышались испуганные голоса:

— Идет, идет...

В дом заскочила одна из девчонок, громко шепча на весь коридор:

— Матушка барыня, пришел.

Тетушка поспешила навстречу и вдруг надрывающимся голосом вскрикнула:

— Господи, Боже мой!..

Африкан Ильич повернулся от окна. Настя подняла голову с подушек. Вошел Николушка, без шапки, всклоченный, с бегущей под мышкой из-под разодранного кафтана рубашкой. Рот его был черный, — разбитый, глаз запух, щека вздута... Он локтем оттолкнул семенившую сбоку его тетушку и повалился на стул...

— Всех под суд!.. Перестрелять! — с воплем выкрикнул он и, быстро нагнувшись, стал выплевывать кровь...

Тетушка была уже около него с полотенцем и кувшином воды. Настя сидела на кровати, прямая, с вытянутой шеей, и пронзительно глядела страшными глазами на Николушку.

— Успокойся, успокойся, друг мой, — бормотала тетушка, прикладывая мокрое полотенце к Николушкиному лицу, — надо же, в самом деле, случиться такому несчастью... Кто это тебе?..

— Я одному так закатил, — в зубы!

— Ну, ну, хорошо, хорошо, успокойся, батюшка. Африкан Ильич, расставив ноги, заложив руки в карманы, разглядывал Николушку.

— Где же все-таки вас так отделали? — спросил он. — На гумне, что ли, вы были, у вас — солома в голове... — И, нагнувшись к нему, он спросил тихо и строго: — Машу видели?

— Убежала, — ответил Николушка, — вырвалась...

Африкан Ильич быстро взглянул на тетушку, она сердито замотала щеками и подбородком. Настя, странно улыбаясь, соскочила с кровати, присела перед Николушкой и вкрадчиво, словно даже весело, сказала ему:

— Расскажи, Кока, расскажи, как же ты с ней?..

Гумна еще пылали, когда Африкан Ильич вышел в сад. Тонкий дым стлался над влажной травой, багровели стволы берез, поблескивала кое-где влажная листва, черно-красные тени чертили луг, сухая вершина тополя четко рисовалась в небе.

Старый дом, глядя в дымные луга багровыми окнами, словно поднялся по пояс из темных кущ, оживший, угрюмо нарядный, торжественный, с облупленными шестью колоннами, с полуобвалившимся фронтоном, над которым кружились в свету зарева ролувые голуби.

Во втором этаже, в одном из окон, Африкан Ильич заметил прильнувшее на одну только минуту и затем отшатнувшееся бледное личико. Африкан Ильич поспешно взошел на балкон, взялся за дверь, — она была приоткрыта, — вошел в залу, где на пустых штукатуренных стенах лежали, едва шевелясь, китайскими тенями очертания листьев и ветвей, прислушался и пошел, увязая по колесо в пшенице, из комнаты в комнату.

В библиотеке, где валялись у лестницы старые книги, поблескивали стеклянные дверцы и медные уголки, за черным шкафом, в углу, он увидел Машутку, — она была простоволосая, стояла,

втянув голову, глядела, как прижатая крыса. Африкан Ильич взял ее за руку. Она закричала слабо и рванулась. Он взял ее крепче и повел вниз, к тетушке.

12

Когда Анна Михайловна, у себя в спальне, увидела Машутку, растерзанную, с опущенной низко головой, — у нее начало дрожать лицо, закатились глаза, она села на пол и часто, часто застонала: с ней сделался сердечный припадок. К утру припадок повторился, послали за земским врачом. В доме все присмирели. Африкан Ильич ходил в одних носках, черный, как туча. Машутка, избитая за волосы Василисой, пряталась по темным пыльным чуланам, которых много было в туреневском доме. Николушка лежал, не вставая с постели, закрывшись с головой, — не принимал ни питья, ни пищи. Настя бродила, не находя себе места, осунулась, нос у нее заострился, будто все в ней горело, жгло ее огнем...

На третий день тетушке стало легче, к ней пришел поп Иван, и она провела с ним несколько часов в беседе, никому не ставшей известной. К вечеру Африкан Ильич зашел к Николушке, выдержал минуту молчания, во время которой скручивал папироску и не спеша закуривал ее, затем сказал:

— Потрудитесь немедленно встать, привести себя в порядок и пройти к Анне Михайловне в спальню.

Николушка слабо застонал под одеялом, но все же встал, оделся и, еле волоча ноги, придерживаясь за стены, явился к тетушке и, когда ему знаком разрешили сесть, — опустился у двери на стул, уронил голову, страдальчески закрыл глаза, окруженные лиловыми кровоподтеками. Африкан Ильич сидел на тетушкиной кровати и курил, щурясь на струйку дыма, тетушка сидела в кресле, сутулая, сморщенная, едва живая...

— Во-первых, — сказала она едва слышным от слабости, но твердым голосом, — потрудись мне все рассказать... Во-первых, ты должен признаться чистосердечно...

Николушка начал раскачиваться на стуле и долго не мог произнести ничего, кроме мычания, затем, найдя линию, стал говорить о том, что вся его жизнь — сплошная борьба и трагедия: он мечтает о самосовершенстве, о честном и суровом труде, а всевозможные случайности снова и снова толкают его в бездну. Его кровь, застывает, душа дремлет в отчаянии, и он жадно тянется к светлomu, чистому огоньку, который зажег бы его кровь, пробудил бы его к деятельности... Но каждый раз этот чистый огонек оказывается бесовским наваждением... Третьего дня, например, он пошел к возам, чтобы прогнать Машутку домой, чтобы не болталась зря... А эта девчонка, вместо того чтобы послушаться, принялась так на него смотреть лукаво, так задирала коленку на колесо, что перед ним мгновенно раскрылась бездна...

— Тетушка, — ударив себя в грудь и падая на колени, воскликнул Николушка, — неужели не понимаете, до какого падения довели меня люди... Протяните же мне руку, поднимите меня из этой бездны...

Анна Михайловна слушала, опустив нос, закрыв глаза, из-под морщинистых ее век текли редкие, должно быть, горькие слезы...

Африкан Ильич иногда покашливал, подбадривая этим тетушку. Справившись со своим волнением и горем, она сказала Николушке:

— Ступай к себе.

Он поклонился, сделав даже ручкой, и так как был еще весь в запале разговаривать, то постучался к Насте и говорил с ней до рассвета. Всю ночь скрипели половицы под его шагами, слышался его глухой, бархатистый голос в затихшем туреневском доме. Всю ночь наверху, где лежала пшеница, пищали и бегали мыши. Всю ночь сквозь кусты горело окошко в комнате у Анны Михайловны: стоя на коленях перед Нерукотворным Спасом, она молилась о том, чтобы Господь сошел своим светом в унылую темноту этого востого, развалившегося, грешного дома.

Наутро к чаю Николушка вышел просветленным, — все малы души были очищены и выметены за эту ночь. Настя пришла грустная, усталая и тихая. Африкан Ильич, взглянув на них, крикнул и, повернувшись спиной, продолжал пить чай с блюдца. Николушка попросил у него табачку. Африкан Ильич двинул ему табачницу локтем. Настя, разливавшая чай, усмехнулась. Николушка сказал:

— Куренье — дорогая и нездоровая привычка, думаю бросить курить.

В это время в столовую вошла тетушка, в черной, чепчиком слежавшейся шляпке с лентами под подбородком, и, глядя в угол, сказала:

— Николай, собирайся, мы едем...

У Николушки задрожало блюдце и пролился чай.

— Куда, тетенька?..

— В монастырь, — твердо ответила тетушка и, взяв Африкана Ильича за рукав, отвела в сторону для секрета.

Настя сидела, раскрыв серые глаза, молчала. Николушка водил пальцем по мокрой клеенке...

— Возьми с собой самое необходимое, в дороге мы поговорим, — сказала тетушка и присела к столу — выпить чашечку перед дорогой.

Час спустя тетушка и Николушка сели в тарантас на вышитые крестиками подушки. Николушка, в криво надетом картузе, жалбно улыбаясь, помахал Насте рукой в последний раз:

— Прощай, миленький.

Настя стояла на крыльце, закрыв до половины рот пуховым платком, не то плача, не то смеясь. Тетушка сказала:

— С Богом.

Лошади тронули. Из-под тарантаса выбежал пес. Закудахтала, бросаясь в сторону, испуганная курица. Уехали.

Настенька сошла и села на ступени крыльца, облокотясь под платком о колени, подперев подбородок. В синем, синем небе, — над туреневской усадьбой, над дорогой, на которой на завороте еще раз показался тарантас, над погибающими родовыми лесами, — плыли белые, равнодушные облака.

Африкан Ильич, прислонясь к столбику крыльца, курил, вздыхая. Вдруг один глаз у него, отвислый, как у собаки, подмигнул: — Ай, ай, укатили петушка.

МЕЧТАТЕЛЬ

(Аггей Коровин)

Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой —
Мне снишься ты, мне снится наслажденье.
Обман исчез, нет счастья, и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

Баратынский

1

Весеннее солнце, обогнув положенный путь, садилось в голую степь за длинными холмами, золотя края неба, и пыль от стада, и большие окна коровинского дома, обращенные на закат. Сходясь под карнизом двумя пологими дугами, окна, вверху из цветного стекла, опускались почти до пола, так что Аггею Коровину, сидевшему в кресле, не нужно было приподниматься, чтобы видеть поляну сада, где широко разрослись одичавшие розы, и два полукруга аллей, и старые яблони, и куртины сирени, окаймленные пустунями, ромашками, резедой.

Подперев ладонью крупное лицо, в русой бородке, с небольшими татарскими усиками вниз, подолгу молчал Аггей, держа в руке книгу, наудачу взятую из шкафов.

Торопиться было не к чему и некуда, и мысли скользили от воспоминаний к предметам, без любопытства останавливаясь, когда краснощекая скотница в подоткнутом сарафане проходила садом, громко крича:

— Сидор, а Сидор, что же ты, рыжий шут, не идешь?

Глядя на толстую бабу, Аггей думал: «Кричи, кричи, а Сидор ни деревню ушел».

Потом на темнеющую поляну прибежал охотничий пес — сеттер: нюхая кусты, останавливался и кусал какую-то траву, и Аггей тоже знал, для чего сеттер ест траву, — вчера его погрызли овчарки.

Края неба зеленели, тускнели, и вечерняя звезда загорелась над последней оранжевой полосой.

Аггей вздохнул и, заложив книгу в щель кресла, подперся, поворочался и сел удобнее.

Десятый год доживал он одиноко в богатой усадьбе. И только раз, после кончины матери, пришел в душевное смятение, не выдержал тоски и сказал приказчику:

— Ильич, я бы за границу съездил...

— Воля ваша, — ответил на это Ильич.

— Так как же, Ильич, надо собираться, денег достать, да паспорт, да повидать родных...

И, так говоря, Агтей угасал, поездка казалась невероятной: жизни не хватит переделать все дела перед дальним отъездом.

«Шумно там, — думал он, — суета».

Но сегодня Агтей чувствовал небольшое беспокойство: нарочный поутру привез письмо, и до вечера Агтей держал его в кармане, не распечатывая, и улыбался иногда, думая, что если захочет — прочтет новость.

— Может быть, незнакомая девушка, — мечтал Агтей, — одинокая, как и я, хочет приехать, и мы будем сидеть вдвоем у окна...

Зажмурив глаза, старался Агтей представить лицо девушки; оно всегда было одно и то же, где-то виденное давно; но как только он начинал всматриваться, улавливать эти черты — они расплывались, и память глохла, а потом и голова разбалчивалась от таких дум.

«Скоро темно станет, не прочтешь», — подумал Агтей и, сделав усилие, достал и вскрыл серый толстый конверт.

Письмо было от Степана Людмилаина — товарища детства, который извещал, что вместе с сестрой заедет проездом дня через четыре.

— Людмилиин, — повторил Агтей и представил худенького гимназиста, в очках, с полукрытым ртом, в широкополой фуражке; у фуражки был выломан герб, потому что даже самые тихие мальчишки мочили картузы водой, клали на ночь под тюфяк и выламывали буквы из герба...

«Ах, как хорошо, — думал Агтей, — вот он войдет, близорукый, ища меня глазами, и поцелует... И мы, как прежде: он внимательно станет слушать, а я расскажу всю свою жизнь, смерть мамы и одиночество, и о том, что всегда хотел полюбить; мы обнимемся и пойдем в сад. Я скажу: оставайся со мной, милый. Конечно, он согласится. А если хочет, пусть занимается хозяйством... Маленький гимназист в куртке с ремнем... По вечерам будем пить чай на веранде».

Потом Агтей вспомнил, что Людмилиин приедет не один.

— Ну зачем с сестрой: наверно, она взрослая и суетливая, будет всюду ходить, ей надо все показывать; еще, пожалуй, заведет моду — гулять...

И Агтей третий раз повернулся в кресле, шумно вздохнул...

«Через четыре дня, — подумал он, — а письмо было послано четыре дня назад».

Он, торопясь, раскрыл хрустящий листок и прочел: «Понедельник...»

«Так и есть, сегодня пятница, поезд приходит в шесть, сейчас они должны подъехать...»

Сильно взволнованный, потирая затекшее колено, вышел Агтей на балкон.

Ночь закрыла полосу заката. Возникли звуки, всегда таинственные, как будто сама темнота шевелилась в кустах, ломала ветку и меланхолично ухала вдруг далеко за прудом, где, сидя на плавающих листьях, пели, надув брюшко, маленькие лягушки.

(Облокотясь о балюстраду, Агтей прислушивался. Вспомнил один день, когда на мгновение упали все звуки.

Тогда посреди поляны стоял он — маленький, синеглазый мальчик — и сквозь закопченное стекло глядел на солнце.

Не было теней, красноватая темнота будто пеплом осыпала траву и деревья; на солнце надвигался черный круг. Когда остался тонкий серп, все замолкло. Колонны дома поднялись, стали серыми, и Агтей думал, что сейчас расколется беззвучно солнце...

Агтей вспоминал, слушал звуки, а когда за садом на плотине лилсл ямской колокольчик, тихо засмеялся...

Агтей поставил свечу на комод в прихожей и раскрыл парадные двери, взглядываясь в темноту прохладной лестницы.

Там, внизу, вносили, должно быть, чемоданы, шаркали ногами, и слышались негромкие голоса:

— Узнаешь, Надя, эту лестницу; она мне казалась гораздо больше... А вон и Агтей... Здравствуй, Агтей...

— Степан, иди же, — кричал Агтей, — я не могу осветить, свечу задувает сквозняком...

— Узнаю голос, — проговорил Степан, появляясь в крылатке, в золотом пенсне, — здравствуй. — Мягкие губы его коснулись Агтея. — А вот Надя, сестра, ты помнишь?

— Помню, помню, — торопливо бормотал Агтей и тряс им обоим руки, — пойдемте, пойдемте. И этот чемодан унеси, кучер.

— Ты все такой же торопыга, — спокойно улыбаясь, говорил Степан, и углы его губ приподнимались полукругом. — Дай нам вымыться, мы все в пыли.

Худой и маленький, он пошел по коридору, подняв голову, словно мог видеть только из-под пенсне.

Агтей крикнул вдогонку: «Вон направо твоя комната», — и, улыбаясь, стоял около Нади, распутывавшей вуалевый шарф...

— Я тоже буду мыться, — сказала она, — ужасная пыль.

— Господи, что же я думаю, а ужин! — воскликнул Агтей. — Впрочем, я сию минуту. — И он пошел в столовую.

«А он все такой же, — думал Агтей, стоя под висячей лампой. — Я уже вижу, что обрадовался; а она ничего, — кажется, мешать нам не будет».

К столу, уставленному домашними яствами, проплыла и неслышно села за самовар Марья Ивановна — экономка.

— Марья Ивановна, — сказал Агтей, — хорош ли ужин сегодня?

— Не знаю, батюшка, так это все сразу да кувырком распорядились; что выйдет — не пеняйте, а завтра постараемся.

— Что они как долго моются?

— А барышня настоящая красавица, и сундук с платьями, вот бы... Эх... да что и говорить... Не то что уездные наши...

— Перестаньте, Марья Ивановна, всегда вы скажете глупость...

Надя вошла под руку с братом. На ней было синее платье. Оглядываясь, она сказала:

— У вас здесь все чудесное, старинное. Наверно, мебель так же стояла сто лет назад...

— Да, все старое, — сказал Агтей и, притянув вымытого оделоном Степана, трогал волосы его и плечи, — я так рад, я совсем один живу. Нам нужно о многом переговорить...

— Ты очень гостеприимен, — говорил Степан, слегка запрокинув лицо в большой бороде каштанового цвета, — мы в Петербурге отвыкли от деревенских обычаев... И если глубже рассмотреть, то деревенская жизнь более значительна, чем городская.

— Да, да, — говорил Агтей, придвигая им блюда с едой, — ешьте же...

— Тем смешнее, что я — агроном по профессии — никогда не вижу деревни. — И, самому себе улыбаясь, Степан глядел повыше головы собеседника.

— Какой у вас костюм? — спросила Надя. — Очень вам идет...

Агтей, оглядывая огромное свое тело в расстегнутом на груди кафтане, из-под которого была видна белая рубаха, смутился, запахнувшись.

— Мне кажется, что я толстый такой, неловкий.

Надя засмеялась, так же как и брат, закидывая голову на высокой шее, морща подбородок, прикрывая глаза длинными ресницами, и Агтей подумал, с тоской вглядываясь: «Где я видел ее?»

— Нам по дороге попался пьяный мужик, — говорила Надя, — большой и косматый, у пояса привязана целая куча уток; брат его спрашивает: «Как ты из такого ружья столько настрелял?» А он тряхнул головой и говорит: «Когда я, чудесный барин, выпью, что угодно могу сделать...» И попросил гривенничек за знакомство.

Надя, рассказывая, подняла руки, и, глядя на них, Агтей подумал: «Какая она театральная все-таки».

Степан сдержал зевок.

— Вот теперь я чувствую, что устал, иду спать.

«Милый он, — слегка волнуясь, думал Агтей, ведя друга в спальню, — сейчас ему все расскажу».

Но Степан раздевался и говорил, сладко зевая:

— Завтра возьму почву для исследования: не знаю, как у тебя, но крестьянские земли совершенно лишены фосфатов. Их нужно сдобривать жжеными костями или американским гуано. Ты бы сделал опыт.

— Хорошо, — сказал Агтей уныло, — попробую. — И сел на кровать, устало опустив руки.

— Степан, ты знаешь, я десять лет прожил один. Тяжело.

— Как же, знаю. — Степан отстегнул помочи и погладил впающую грудь. — Гуано, конечно, дороговато, но крестьяне могут пользоваться суперфосфатом. Я усиленно провожу в земстве раздачу томасова шлака.

И он залез в постель, глядя поверх головы собеседника на свои какие-то суперфосфаты, а Агтей сидел около, освещенный сбоку свечой, так что блестел кончик его крупного носа и один тоскливый глаз...

— Слушай, — сказал Агтей, — я десять лет все один и один... Но у Степана уже закатывались глаза.

— Убийственны эти дороги ваши... Задувай свечу и не буди меня шутру.

Агтей посидел немного в темноте и пошел по коридору, опустив плечо. В конце коридора была наглухо закрытая дверь в зимние сады... Остановясь перед дверью, обитой кошмой, Агтей глядел на медные гвоздики.

Ну, конечно, он устал, а я пристаю с глупыми речами. Все-таки раньше Степан был добрее. Или уж я одичал очень и смешон.

Тронув шляпку гвоздя, он подумал: «Вот эти гвозди зимой покрываются инеем и делаются белые, как грибы...»

Вдруг тень его на стене переместилась направо. Оглянувшись, Агтей увидел улыбающуюся Надю, со свечой в руке.

— С кем вы разговариваете? — спросила она.

— Я ни с кем, — ответил Агтей, подойдя и краснея. — Вы не спите?

— Я хотела потихоньку обойти весь дом. Здесь можно заплутаться, проблуждать всю ночь. Мне все кажется: в комнатах пахнет плесенью и старой пачулей. — Она села на подоконник открытого в сад окна. — Какой вы счастливый, Агтей Петрович.

Она вздохнула и, откинувшись, положила ногу на ногу, охватила колено...

— Резедой пахнет, слышите? Сыростью и резедой.

Агтей, глядя на ее колено и голые до локтей руки, не замечал улыбки, растягивавшей полный его рот...

— Я вспоминаю, — продолжала Надя, — у вас в комнате стояла игрушечная изба с печкой и лавками, как настоящая, туда можно было заходить...

— Да, отец велел ее построить на елку...

— Мы ехали к вам на елку в возке. Я все время почему-то боялась огнедышащих гор, — начиталась, или Степан меня напугал: они представлялись вроде кучи песку, но очень страшными. Я помню комнату, где проснулась: на стене висело оружие и меч в три раза больше меня, а в углу стоял человек, одетый в латы; я все думала, что он поднимет руку и кивнет мне пальцем.

— Хотите, я покажу эту комнату, — сказал Агтей, глядя в глаза, — она наверху; но все покрыто пылью и паутиной...

Надя тоже молча и внимательно глядела ему в глаза. Агтей больше не улыбался. Надя сказала:

— Я иду спать. Устала. Покойной ночи, — и, прощаясь, пожала руку спокойно и крепко маленькой своей рукой.

Войдя к себе в спальню, Агтей лег не раздеваясь на постель и платком стал вытирать нос и сморкаться.

— Как глупо, — сказал он, — и не с чего; просто не нужно было им приезжать.

2

Утром Агтей долго ждал пробуждения гостей и, не дождавшись, побрел на речку. На тропинке попался садовник Сидор. Агтей сказал ему:

— Идем купаться.

Сидор ухмыльнулся в ярко-рыжую бороду и пошел за барином, немного отставая. Вялым голосом Агтей говорил:

— Надо бы купальню построить вон у той ветлы, я давно тебе толкую, Сидор.

— Отчего же, можно построить, — отвечал Сидор с полной готовностью, хотя такой разговор начинался каждую весну.

— Построим ее в виде портика и окрасим в белое... Вот ко мне гости приехали и купались бы...

Раздевшись, Агтей долго сидел на траве, глядя, как около корней ивы плавают пиявки.

Сидор мылил лицо и бороду, приговаривая:

— С мыльцем-то чище.

Агтей представлял белую купальню, отраженную в воде, себя в этой купальне, сидящего на скамейке, и Надю: она будто бы пальцами пробовала воду и, улыбаясь, вся залитая солнцем, начала снимать башмачки.

— Ах, Боже мой, как же это так! — испуганно воскликнул Агтей. Подошел к берегу и плюхнулся в воду и, почувствовав свежесть, поплыл, громко фыркая. Из камыша выбежал гуськом выводок домашних утят, утка, крикая, вытягивала шею, пугала Агтея, и он вдруг обрадовался и солнцу, и реке, и свежести.

— Чай, гости мои давно встали, — говорил Агтей, одеваясь. — Сидор, ты возьми простыню, а я побегу.

На веранде за чайным столом сидел Степан в белом пиджаке; когда Агтей подошел, он сказал, шурясь:

— От тебя рекой пахнет... Знаешь, Надя и сейчас бы спала, если бы я не разбудил...

Агтей от неизвестной причины засмеялся, покраснел и вдруг, к удивлению экономки, потрепал ее за чепец:

— Сегодня вы, Марья Ивановна, просто красавица.

Марья Ивановна только ахнула. Степан, не спеша намазывая масло, сказал:

— Этим липам, должно быть, больше ста лет. Вообще — сад хорош.

— Я на тебя обиделся вчера, — ответил Агтей весело, — хотел поговорить откровенно, а ты заснул...

И он радостно вздрогнул: из дому донеслись быстрые шаги и голос Нади.

Она вошла в холщовом платье, коротком и ловком, каштановые волосы ее были причесаны просто и тоже так ловко, что Агтею показалась точно чем-то священным эта ловкость, и захотелось вытннуться самому в кресле, стать вдвое худее.

Надя вдруг спросила:

— Как вы спали, Агтей Петрович?

Он даже открыл немного рот. Она спросила просто, из учтивости, и продолжала пить чай маленькими глотками и забыла, конечно, про вопрос, но Агтей видел, что угол глаза у нее был лукавый.

С боков веранды по натянутым бечевкам вились темно-зеленые ипомеи, цветущие утром, пока их лиловых колокольчиков не коснется солнце. Агтей оторвал плетъ и подал с поклоном Наде, чтобы она украсила ею платье.

— Так на портрете моя бабушка, когда была девицей, — проговорил он, густо краснея.

Надя посмотрела внимательно, взяла цветы, взглянула на брати, поднялась и плечом задела ветку акаций, осыпавшую ее крупными каплями росы.

— Мы идем гулять, — сказала она, — покажите мне сад и речку. Степан, иди же!

Они пошли по поляне. Агтей шагал рядом с Надей, глядя под ноги.

— Почему бы вам не остаться у меня подольше, — вдруг сказал он и отвернулся, — неужели уж так скучно здесь?

— Я не могу больше, — охнул Степан и лег в траву. — Знаешь, почву исследовать пойду завтра.

Он закрыл глаза, защитив их от солнца ладонью.

Надя села рядом, поджав ноги; нежная кожа плеч ее и рук была видна сквозь кружева платья, и чувствовал Агтей ее запах, сладкий, нежный, женский.

— Сегодня я точно выздоровел после болезни, — сказал Агтей, тряхнув плечами. — Я ведь очень сильный, только не приходилось никогда применять.

Надя сказала, кусая травку:

— Сломайте дерево.

И, обняв колено, запрокинула голову и глядела на облака, ея шея казалась прозрачной.

Агтей подошел к березке и стал трясти.

— Ну, ну, — проговорил он, — ломайся, — и, крепко упершись ногой в корневище, выгнул березку, напряжился, присел и сломал; дерево хрустнуло и, медленно клонясь вершиной, легло с печальным шумом на траву.

— Bravo! — воскликнула Надя, захлопав в ладоши, а Степан сказал лениво:

— Зачем сломал, росла она, росла...

— Я еще могу, — сказал Агтей, застенчиво улыбаясь.

— Нет, — ответила Надя, — сядьте.

Агтей послушался, сел около.

— Теперь лягте и смотрите вверх, что вы видите?

— Небо, — сказал Агтей тихо, — голубое. Коршун чуть виден...

— А ну, прищурьтесь, видите: небо уходит вглубь, и повсюду золотая пыль, а облако похоже на чашу.

— Перестань, Надька, — сказал Степан.

— Не на чашу, — сказал Агтей, — а на вас.

Надя засмеялась. Степан сказал:

— Фу, господи, я иду купаться. — Он не спеша поднялся и пошел, на ходу срывая листья.

Агтею стало страшно с Надей один на один.

— Расскажите, как вы живете в таком раю? — спросила она ласково, вдохнула и легла рядом с ним, заложив ладони под затылок. — Вы любили когда-нибудь, Агтей Петрович?

Агтей закрыл глаза и не ответил ей на это.

Прошел Степан с полотенцем на голове, что-то пробормотал неразборчивое. Надя неизвестно над чем стала смеяться. Потом приподнялась, опустила обе руки и, рванув траву, осыпала ею лицо Агтея.

— С вами что-то нужно сделать особенное, — сказала она, — ах, Агтей Петрович, какой вы... — она приостановилась и протянула: — глу-у-пый!

Надя в этот день восхищалась всем, что видела: канавой, поросшей мягкими лопухами, зарослями вишенника, мостками через речку, шлепающими по воде.

Агтей объяснил, что на мостках этих рано поутру, пока не встало солнце и над водой туман, мальчишки ловят рыбу удочками, плюют на червяка; слюны будто бы червяк не любит и долго корчится на крючке.

Из сада по выгону пошли к глиняным оврагам, где стояла часовня над помершим когда-то странником без рода и племени. От часовни по дороге спустились домой через деревню.

Агтей, всю дорогу объяснявший Наде деревенские подробности, теперь замолчал, глядя, как приплюснутое солнце садилось в степь за холмами.

Оранжевый свет оттуда тоскливо бежал по голому выгону, по колючей траве.

Агтею показалось, что он, как больной, снова глядит на надешшие обои у кровати. Хрустнув пальцами, он сказал:

— Вы спросили, любил ли я когда-нибудь? Нет, не пришлось.

— А я, Агтей Петрович, не помню, когда не была влюблена. Весь мир другой, когда любишь, — все для меня: и солнце закатывается для меня и поля бегут...

Взойдя на пригорок, откуда видна усадьба, Надя запыхалась немного и положила руку на высокую грудь и мгновенно вырисовалась, четкая и тонкая, на красной полосе заката.

Таким представлялся Агтею ускользящий образ девушки, о которой он мечтал по вечерам. Оттого, что сейчас можно было видеть ее въявь, закружилась голова, и, стоя внизу пригорка, Агтей ржскрыл рот.

— Что вы увидели? — воскликнула Надя. — Привидение?

Затворив за собою дверь кабинета, Агтей остановился около письменного стола, зажег свечу и долго глядел на тихое ее пламя...

Чернила в чернильнице давно высохли, единственный конверт был захожен мухами, и Агтей, отыскав карандаш, сел на низенький диванчик.

— Надя, — сказал он и слегка похолодел, услышав свой голос, — неужели возможно...

Поднеся к лицу ладонь, едва пахнущую ее духами, он подумал: «Я целую ей руку... Вот так...»

Закрыв глаза, Агтей стал морщить подбородок так, как делает это Надя, когда смеется. Поднял пальцы к голове, тоже как делает Надя, поправляя волосы, и, весь выпрямившись, не в силах сдерживать удары сердца, сказал:

— Люблю... — и, похолодев, открыл глаза и увидел в темном зеркале себя — толстого, с руками, неестественно растопыренными.

Агтей замотал головой, присел к столу, долго молчал, — охватив лицо руками, потом решительно, крупным, неровным почерком, стал писать.

«Простите, но вы спросили — люблю ли я? Поэтому я осмеливаюсь писать. Вас я люблю так, как никто и никогда не любил. Вы не такая, как все женщины; вы особенная, вы прекраснее всех, и Бог привел меня к вам... Я молюсь вам и прошу — сделайте моей женой, то есть я прошу вашей руки! Я несчастный...»

Много еще написал Агтей такого и, запечатав конверт, пошел к Марье Ивановне.

Старая экономка, сидя на сундуке, гладила большую ногу. На стене, около жестяной лампы, шуршали тараканы...

Громче прежнего ахнула Марья Ивановна при виде барина:

— Что это, батюшка, не спите, или живот болит?

— Запомните, Марья Ивановна, — сказал Агтей поспешно, — это письмо отдадите барышне поутру, смотрите только, не будите сс. Поняли?

Наутро Агтей встал рано и пошел в конюшню, где кучер мыл щеткой каракового жеребца, который косил белым глазом, топал ногой.

Рассеянно Агтей обнял морду коня, поцеловал его в серую губу и велел оседлать верхового. Затем потер ладонью свои покрасневшие за ночь глаза и потянулся, запах конюшни был мил ему; подходя к решеткам конских стойл, он гладил рыжие, сивые и черные морды, ласково губами ловившие его пальцы, и думал:

«Проснулась? А вдруг — проснулась? Прочла...» Он вышел на стук выводимого из каретника верхового.

— Шибко Ваську не бейте, барин, — сказал кучер, — не любит.

Рыжий Васька покосился на Агтея и присел, когда плотно усе-лось на нем восьмипудовое тело.

От быстрой езды Агтея приободрился, и неотступные мысли его просветлели.

«Нет, еще спит, — думал он, повертывая к лесу, — ручку положила под щеку, спит».

Ветви задевали лицо не просохшими от росы листьями, и, глядя на грибные тропки, бегущие от дороги в чащу, крикнул Агтей, приподнимаясь на седле:

— Нет, Надя проснулась и читает письмо... Милая, милая...

Хлестнул коня плетью и поскакал, придерживая шляпу.

Дорога сбегала круто вниз; там шумела хвоя и желтел песок. Чтобы не утомить лошадь, Агтей повернул вдоль косогора и скоро выехал на поляну, где курилась обложенная дерном куча и у шалаша на пне сидел в полушубке согбенный старичок, держа в руках кисет... Реденькая борода у старичка так и не поседела, хотя курил он деготь на этой поляне пятьдесят лет, и сколько прожил до того — не помнит. Заезжал к нему иногда барин и давал двугривенный; старичок за это кланялся ему в ноги. Увидев Агтея, он встал и снял шапку.

— Здравствуй, дед, — сказал Агтей, тяжело спрыгивая на землю, — ну что, все еще живешь?

— Не дает Господь Бог смерти, — заговорил старичок торопливо и многословно, словно боялся, что его перестанут слушать. — Летом я с молитвой ему служу — за пчелкой ли присмотришь, солнце встанет — перекрещу ее, а ночью врага колотушкой от ульев гоню... Господу это угодно; он от грехов-то и ослобонит... А за зиму лежишь на печке — такое надумаешь — тьфу! — все лето пойдет насмарку: опять грехов полон рот... Оттого и зажился. И еще комар, прости Господи...

— Донимает?

— Лют, дыму не боится; вот ужей тоже много, ох, много ужей завелось, Бог с ними.

Агтей сел на обрубок и, оглядываясь кругом, прислушивался, как часто бьется сердце. А старичок все говорил, и прыгали воробьи на шалаше.

— Я у тебя до полудня посижу, — сказал Агтей, — разнуздай-ка лошадь.

И, когда старик, охлопотав коня, принес из шалаша дикого меду в бурачке и кувшин ключевой воды, Агтей сказал, краснея:

— Знаешь, дед, я женюсь.

Старик перекрестился:

— Вот и слава Богу, а то я все думаю — нет и нет у нашего барина хозяйства.

— Увидишь скоро ее: мы кататься поедем, а ты забеги на дорогу и посмотри; такой красавицы не только ты — я не видал. Ты что это — меду мне принес. Дикий? А смотри, в нем пчела.

— Утопла; за добро своей жизни лишилась.

И старик стал смотреть, как Агтей ест мед...

— Всегда по лицу видно, что человеку Бог пошлет, — сказал он, — вот у тебя, гляди-ко, глаза белые, будто со страху.

Агтей потянулся и, отойдя, лег на траву, где легкий ветер отдушил мух; возбуждение улеглось, и сладкая дремота закрыла веки; поплыла земля, и, положив руку на грудь, Агтей улыбался, слушал шорох листьев, говор старика.

— Кормят тебя, рыжий, овсом, — говорил старик, подсев к Письке, — а сено ты жрешь от жадности. Вот и видно, что Бог скотине душу не дал, одну утробу... Ну, что ногами топаешь, я, брат, истину тебе говорю...

...С легким криком Агтей проснулся и сел, осматриваясь.

— Дедушка, — окрикнул он старика. — Где ты? Скорей, скорей лошадь...

Ударяя плетью, Агтей скакал, потеряв шляпу, и сучья хлестали по бледному его лицу.

«Поздно, поздно», — думал он, тоскливо глядя на солнце, взшедшее уже к полудню.

Обозлившийся Васька летел напрямиком, но на плотине удалось Агтею задержать ход, и, чем ближе к дому, тем страшней становилось, а на самом дворе поворотил было Агтей коня обратно и, став, крепко сжал руки.

— Все равно, — сказал он. Быстро перекрестился несколько раз и прыгнул у крыльца.

В доме было тихо; подойдя к кабинету, Агтей осмотрелся, не видит ли кто, и отворил дверь.

На диванчике, с книгой в руках, сидела Надя. Она повернула строгое лицо к вошедшему... Агтей ахнул, взялся за косяк. Надя, встав, сказала:

— Я давно жду вас, Агтей Петрович; я получила письмо.

Глядя, как она опустила глаза, Агтей возликовал, но сейчас же лицо его покрылось смертельной тоской.

— Агтей Петрович, — сказала Надя тихо, — я замужем...

Она тряхнула головой и, вынув из книги, подала Агтею его письмо.

— Милый, не огорчайтесь, я вас очень люблю...

Потом, легко коснувшись губами лба Агтея, подобрала синее дорожное платье и вышла, не обернувшись в дверях — не спеша, удаляясь, стукали ее каблучки по коридору.

Письмо дрожало в руке Агтея, когда он подошел к пыльному окну; на дворе, выкатив, смазывали людмилинскую коляску.

— Вот и конец, — сказал Агтей, и ноги его задрожали, став бессильными, как после испуга.

— Что же, я возьму и лягу... Должно быть, меду съел натошак: тошнит...

Мотая головой, он лег на спину, скользя пальцами по гладкой коже дивана.

Дурно мне... — сказал Агтей. Пот крупными каплями выступил на лбу, и тело холодело. Агтей прижался к холодной спинке дивана; не в силах привстать, глядел на клочок мочалы, торчащей из-за обивки, и, жалея себя, начал глотать соленую слюну.

Приходил Людмилин, сконфуженно объяснил, что должны они уже уехать, иначе опоздают на агрономический съезд, и что непременно ждут Агтея в Петербург, где сейчас белые ночи...

Агтей приподнялся, взял Степана за руку и, глядя в сторону, сказал:

— Хорошо, я постараюсь приехать.

И сел опять, комкая носовой платок. Степан вышел, ударившись плечом о косяк.

В коридоре разговаривали; топая ногами, пронес кучер, должно быть, чемодан. Нежный, изумительный голос Нади у самых дверей произнес:

— Он спит, не тревожьте его...

Тогда Агтей вышел на крыльцо и, стараясь улыбнуться, помахал отъезжающим рукой.

Когда же тройка выкатила за ворота и Надин лиловый шарф еще раз мелькнул сквозь зелень, Агтей, пожавшись, словно от холода, пошел в залу и сел против окна на любимое кресло.

Не было видно — закатилось ли солнце, или нет: сизая туча клубами поднялась из-за холмов; порыв ветра нагнул ветви, поднимая выше окон обрывок бумаги; на террасе с силой хлопнуло окно...

Несколько капель ударило в стекла, потекли струйками; брызнуло сильнее, и зашумел по листьям крупный дождь.

Звуки в просторных комнатах утикли, запахло травой, сыростью, и стало совсем темно...

Агтея звали ужинать, а он все смотрел в окно и думал несвязное.

3

Три дня ливнем лил дождь. Агтей ходил по залу, где шум дождя был слышен всего сильнее, становился спиной к изразцовой печи и щурил глаза.

Ровно и глухо барабанил дождь по крыше и листьям, стремительно бежали вниз потоки, и напрасно, приотворив дверь, шепотом звала Марья Ивановна к столу.

Агтей глядел на нее, не видя, и экономка бормотала, бредя обратно в столовую:

— Вот беда-то... Наехали, намутили и след хвостом замели, — тоже гости.

Постояв у печки, Агтей уходил в библиотеку. Отворив один из темных шкафов, где пахло затхлыми книгами, он поднимал руку, чтобы взять волюм, но рука так и оставалась поднятой, а глаза

видели сквозь полупрозрачное от струй дождя стекло сизую лужайку со сломанной березкой, склоненной к земле вершиной, и много примятую траву.

«Дождик все следы прибил», — думал Агтей и шел обратно в кабинет...

Но в кабинете стоял тот низенький диван, обитый коричневой кожей, тошный и раскоряченный, — свидетель всех неприятностей; взгляды на него с ненавистью, Агтей думал:

«Как глупо, для чего мне нужно вообще шататься по этому дому... Будто бы я обязан видеть всю эту гадость...»

И, вдруг страшно рассердившись, он выдвинул ящик стола; дрожа от легкого озноба, перевернул бумаги и вынул тяжелый кобур. С любопытством рассматривая револьвер, Агтей взвел курок, направил дуло на себя и легко нажал гашетку.

Рука его вдруг отдернулась, и он проговорил глухо:

— Нет, это страшно...

Часто дыша, он положил револьвер и отошел к окну...

Было сумеречно и безнадежно сыро там, на воле, где висели мокрые ветви; Агтей отворил раму, холодные капли упали на руки и лицо, и он опять побрел к столу.

— Куда деться! — сказал Агтей. И снова взял револьвер. Начал пощипывать холодный барабан.

«Он будто приказывает, — подумал Агтей, — тупой какой-то, с дыркой. Ах, нет, только не сюда...»

Собрав всю волю, вытянул Агтей руку от себя, зажмурился... Глушительно грохнуло, дернуло руку, защекотал в носу пороховой дым.

И сейчас же в доме все затихло, будто все присели в страхе... Агтей облегченно вздохнул и повалился в кресло.

А в коридоре уже слышались испуганные голоса и хлопанье дверей...

«Они думают, я в себя выпалил, беспокоятся, милые...» — томно думал Агтей и, желая сделать этим людям приятное, застонал и убежавшим в кабинет приказчику и Марье Ивановне проговорил слабым голосом:

— Промахнулся...

В тот же вечер нарочный привез письмо, распечатывая которое Агтей волновался и долго не мог понять, что написано.

«Милый Агтей, — писал Людмилиин, — мне очень жалко, что вышло смешное недоразумение. Я благодарю за честь, оказанную моей сестре, и надеюсь, что ты не будешь сердиться на эту курьезную историю. Я и Надя ждем тебя в Петербурге посмотреть белые ночи и освежиться от твоего коровинского сиденья. Надя очень просит тебе кланяться; она говорит, что провела у тебя самые очаровательные дни в жизни. Так приезжай, смотри, и не сердись... Твой Степан... Ваша Надя...»

— Ваша Надя, — повторил несколько раз Агтей, как во сне, и охнул, держась рукой за грудь.

Радость его была велика. Все нежные слова, сказанные Надей, все ее движения припомнились, словно вырвались, как птицы на волю из темного гнезда.

— Ваша Надя... Ваша Надя... — повторял Агтей, — да я просто дурень, ничего не понял, ну что же, что замужем... а — ваша — Надя... — И он, поспешно вынув из бокового кармана красненький платочек, оброненный ею и тайно им похищенный, со всей силой принялся вдыхать его аромат, говоря:

— Милая, нежная, благодарю тебя за все...

Потом потянулся, выпрямил грудь, хрустнул пальцами и засмеялся.

— Как хорошо!

Позванная Марья Ивановна немало была удивлена, видя барина, который уже решился на отчаянность, а теперь стоял посреди комнаты, напевая в нос:

Три девицы шли гулять,
Шли гулять, да...

— Марья Ивановна, — закричал Агтей, — милый друг, укладывайте скорее чемодан да крикните — лошадей закладывать; сейчас еду в Петербург...

В темноте по кочкам трясся тарантас, закидывая закутанного в чапан Агтея грязью и водой...

Ничего не замечая, глядел он вперед, думая только, когда же станция выглянет из этой хлюпкой, ночной степи.

Казалось, с приездом на станцию изменится вся жизнь: впереди ожидался город и счастье, а сзади оставалась вот эта глушь... Агтей закрывал глаза, и казалось — отовсюду тянутся обозы, скрипя и скользя по грязи, летает воронье...

Боже мой, боже мой, как медленно ехать! Когда была утрачена последняя надежда, кучер сказал:

— Вон и станция.

Агтей вскинулся. Кучер продолжал, тыкая кнутом в темноту:

— А вот и машина подходит, — как бы не опоздать.

Лошади помчались, тарантас кидало в стороны, Агтей стоял, держась за козлы, глядел на три приближающихся из темноты фонаря, и в немигающие его глаза бросало грязью и водой... Немного не доезжая станции, грузно упал коренник, пристяжные взвились, спутало сбрую. Агтей же принялся трясти кучера за плечи, повторяя:

— Что ты, что ты!

Потом, захватив чемодан, побежал, путаясь в длинном чапане, к подошедшему поезду и, когда ударил третий звонок, впрыгнул в вагон, тяжело дыша.

В вагоне было душно. Свеча, прикрытая шторой, едва освещала спавших на койках пассажиров и чьи-то мешавшие проходить огромные ноги в шерстяных чулках.

Агтей, сняв мокрую одежду, бросил ее вместе с чемоданом в спинку и этим движением задел несносные ноги. Тогда зарычало нисерху, ноги подобрались, и, кашляя, свесилась взлохмаченная голова.

— А вы поосторожнее, — сказала голова.

— Извините, — ответил Агтей, — я очень торопился, я едва либсжал, представьте, какое счастье.

Наверху чиркнули спичкой, и можно было увидеть, что у голонны одутловатые щеки, бородка клином и посреди спутанных волос плешь, исцарапанная ногтями...

— Ну, что нового? — сказала голова, и, спустив ноги, сел на ливку человек в измятом пиджаке, довольно толстый и сонный. Человек вывернулся, зевая, и продолжал: — Спать не могу. Вы в Петербург едете? Попутчики значит... Кто вы такой?..

— Коровин, — ответил Агтей с готовностью: он уже любил этого человека, едущего в Петербург...

— Помещик?

— Да, у меня пять тысяч десятин.

— А я Синицын, — сказал человек, помолчав, — разночинец, но-вашему — хам.

— Что вы, что вы... Разве так можно...

— Так вы либерал?... А вас жгли?..

— Нет. Еще ни разу. Господи, как поезд идет медленно.

Агтей откинулся на спинку койки, с тоскою слушая удары колес о рельсы и шум дождя...

— Вы в Петербург зачем едете? — спросил Синицын, закурив шширосу и смотря прямо в глаза, не мигая.

— Я — так... меня ждут, не по делу, а... почти...

— Понимаю, — сказал Синицын, усмехаясь, — насчет баб, — оксвежиться.

— Нет, что вы говорите... Я к моим знакомым еду.

— Предположим. Ну, а знаете, ваша физиомордия мне понравилась, я побегаю с вами по городу: без опытного человека нарветесь, знаете ли, на такого бабца...

— Вы напрасно думаете...

Но Синицын перебил:

— К вам в имение тоже заверну как-нибудь.

— Пожалуйста, очень буду рад...

— Ну, рады не будете... Стойте, сейчас буфет. Идем пить водку...

И когда поезд остановился, сколько ни сопротивлялся Агтей, увлек его Синицын к буфету, заставил выпить водки с перцем и еще какой-то черной настойки и, захватив бутербродов и пирожков, притащил в вагон.

— Вы, конечно, считаете меня за последнюю собаку, — говорил Синицын. — Вполне вас понимаю. Шутка сказать, за пять лет я дня не имел, чтобы прожить спокойно... Весь вот так ходуном и хожу: пью и грублю своим меценатам. Я, знаете ли, живу по

современной системе: найду мецената, отдою его до последней копейки и жду другого. Мысли безумные, поступки каторжные. Ницше меня погубил... Это вам понятно. Вы земляной человек, а я современная плесень, — ницшеанец.

Синицын самодовольно усмехнулся, посмотрел в глаза и добавил:

— Все-таки я — человек, а вы ерунда на постном масле.

— Чем вы занимаетесь? — поспешно спросил Агтей.

— Чем? Продавал резиновые изделия, потрошил животы в Кишиневе, потом сделался революционером: надоели дисциплина и нравственность. К тому же мне на людей наплевать. Теперь занимаюсь литературным маклачеством, сводничеством и мелким репортажем.

— Вы клеветеете на себя.

Но Синицын, сильно подмигнув, завалился на койку, сказал: «До завтра» — и захрапел скоро на весь вагон.

Отогнув штору окна, Агтей увидел сырое утро и бегущие навстречу неясные поля.

«Что это, — думал Агтей, — все нерадостно», — и, поймав себя на невеселых мыслях, постарался поскорее уснуть...

Проснулся он поздно, когда солнце клонилось к закату, и долго лежал на спине. Потом пришел откуда-то Синицын; лицо у него было желтое и мрачное, а разговор сдержанный, как будто он стыдился вчерашних слов.

— Меня мучит одна мысль, — сказал Агтей приняв спокойный вид, — мой лучший друг едет сейчас в Петербург, чтоб увидеться с одной дамой. Он ее любит; так вот мне хочется знать, обрадуется ли она его приезду...

— Несомненно, — сказал Синицын, — пусть смело едет...

— Вот как! Я потому вам говорю, что вы были откровенны со мной... Отношения у них престранные...

И Агтей, блаженно улыбаясь, стал рассказывать про Надю...

— Любопытно, — молвил, наконец, Синицын, — вашему другу весь свет бабьей юбкой закрыт; только я бы советовал ему посмотреть хорошенько, может получше сюжет найдется.

— Нет, — сказал Агтей, — мой друг не так смотрит...

Не dokonчив, он стал брезгливо морщиться, откинувшись в глубину койки.

В вагоне темнело. Скоро мимо окон стали пролетать фонари, освещая на мгновение лицо соседа.

От Синицына пахло перегаром; он лез с разговорами, дымил папироской в глаза; Агтею казалось — случилось большое несчастье: нарушен тихий восторг, и чем дальше уносился поезд, чем больше уплывало станций и однообразных телеграфных столбов и за окном вытягивалось проволока, опускающихся, чтобы мерно опять вознестись до белых чашек, — тем глубже удалялся в неясное образ Нади.

Пересадки и новая ночь в купе, где, кроме Синицына, разговаривали еще двое пассажиров дорожными голосами, от которых

тошнит и кружится голова, измучили непривычного к дороге Агтея, и инутро, когда он взглянул на тощие сосны и желтые будки среди ржавых болот, стало ясно, что незачем было ехать и нечего ждать впереди.

Петербург стал виден справа, огромный, окутанный мглою и колючею множества труб.

Быстро миновали кирпичные заводы, прудки с вербами, площадку, на которой унылый гимназист ждал дачного поезда, кладбище. Прогрели стыки и стрелки подъездных путей, и поезд выскочил под холодный вокзал, где, заглядывая в окно, побежали вслед носильщики в белых фартуках.

Синицын посоветовал Агтею остановиться на Пушкинской и то-рпливо убежал, крикнув на ходу:

— Смотрите же, на Пушкинской!

Агтей, вслед за носильщиком, вышел на площадь, вдыхая влаж-ный воздух петербургского утра.

Агтей надел серый костюм с большими клетками и сел на крас-ный диванчик у стола; на захватанной скатерти только что отпи-нул самовар.

«Какой маленький самоварчик», — подумал Агтей и обернулся к окну.

Оттуда слышался стук ножей, голос старьевщика и удары пал-кой по ковру. В желтом колодце двора было много окон, на не-которых спущены шторы, из некоторых выглядывали лица с усами и без усов.

«Сколько окон», — подумал Агтей и поглядел налево.

На вешалке висели его пальто и шляпа; рожа нарисована была кирандашом на обоях, и за дверью все время разговаривали, зве-нела посуда, и все звуки покрывал грохот едущих телег.

Агтей лег, положив руку под голову. От дороги все еще стучали рельсы в ушах, покачивая — тошнило. В номере пахло кислым. Глядя на потолок, Агтей подумал:

«Сколько здесь людей; все живут по-своему и хотят делать свое. Почему же именно я должен сказать: Надя, брось мужа и люби меня. Я такой же, как все».

Закрыв глаза, он представил большие соты, полные пчел, и себя внизу, в этой комнате с треснувшими обоями, маленьким червяком.

«Полежу здесь до завтра, — думал Агтей, — поеду домой. А дома темно, идет дождь, и дыра от пули в шкафу... Нет, нельзя туда ехать. Куда бы нибудь на светлую поляну попасть, где стена монастырская и зеленые купола. Поглядеть бы на них и на речку. (Отдохнуть».

Агтей хотел задремать, но не смог. Бессильная вялость томила, и в глубине сердца точно посасывал червячок.

Затем шумно ворвался в дверь Синицын и воскликнул:

— Вот вы где! Хорошо тоже, — разлегся, думает — каша ему сама в рот ползет.

— Оставьте, — сказал Агтей с гримасой, — какая там каша? Я утомлен.

— А мы подкрепимся коньячком. Я позвоню.

Синицын развалился на стуле, не мытый еще с дороги, в захламленном пиджаке, и стал курить и рассказывать, что успел натворить за это утро.

«А глаза у него злые», — подумал Агтей и добавил слабо:

— Нет, право, оставили бы меня...

Синицын не обратил на это никакого внимания.

Коньяк сначала обжег горло, потом Агтею стало тепло, слегка зашумело в голове, и шум этот заглушил городские звуки...

— Теперь идем завтракать! — воскликнул Синицын, подхватил Агтея под руку и, нахлобучив ему шляпу на глаза, увлек на улицу.

На улице солнце, припекая, не жгло, и приятно было идти в тени домов мимо сквера, где играли дети, где маленький бронзовый Пушкин упрямо глядел на крышу...

Первое, что бросилось в глаза Агтею при повороте на Невский, — длинный ряд дураков в зеленых шапках и кафтанах; они шли один за другим, неся на спине доски с нарисованным голым человеком, скрестившим руки... Потом Агтею дали какую-то бумажку, и он прочел: «Цыпкин — портной»... При переходе через улицу на Агтея налетел рысак, и велосипедист затрещал над ухом. Агтей неловко побежал.

— Не разевайте рот! — крикнул Синицын.

На тротуаре тотчас же принялись толкаться прохожие, и, так как Агтей был выше всех головой, сверху ему представлялось, будто копошились одни черные котелки, шляпы и фуражки.

— Ох, — сказал он, вытирая пот, — что они так толкаются, отойдем в сторону.

И он отошел к окну гастрономического магазина. Хотел что-то сказать Синицыну и вдруг сильно побледнел: за окном толстый приказчик, стоявший, заложив руки и подняв бровь, быстро поосторонился, мимо него в дверь прошла дама со сверточком в узкой руке.

Это была не Надя, но совершенно подобная ей, с детским лицом, бледным и нежным, в черной шляпе, с рукою, затянутой в белую перчатку.

Проходя мимо Агтея, она повернула голову и посмотрела внимательно, даже чуть-чуть приоткрылся под вуалью ровный ряд ее зубов. Она была необыкновенно прекрасна.

— Видал? — сказал Синицын и, кашляя, засмеялся. — Хороша! А хотите, познакомлю...

— Кто она? — спросил Агтей.

— Кто она? Вот чудачина. Это же и есть Машка Кудлашка. — Синицын, надув щеки, хлопнул себя по бокам: — Ах вы, деревенская душа! Машку Кудлашку не знает.

— Синицын, — сказал Агтей, — я бы пошел к себе, мне не-
хорошо.

Но Синицын повел его завтракать и, под модную песенку ор-
кестра, стуча в такт по тарелке, уверял, что, если Агтею хочется
попить с Машенькой, не так это трудно...

— Оставьте, не люблю я этого, — бормотал Агтей, избегая его
взгляда, — пустите меня.

Не dokonчив еду, вдруг ставшую противной, Агтей поднялся,
оттолкнул стол и, дав Синицыну обещание приехать вечером, сел
на извозчика. Дома, экипажи и прохожие поплыли перед глазами.
Агтей чувствовал себя грузным, словно налитым кровью...

— Невозможно, невозможно, — бормотал он, придя в номер, —
подойти и тронуть ее... — Он повалился на диван, чувствуя, как
жар сушит горло и все тело знобит. — Зачем она доступна? — с
отчаянием, вслух проговорил он и, помолчав, скрипнул зубами...

4

Начиналась не то лихорадка, не то какая-то ерунда — знобило
так, что вся кожа покрылась пупырышками. Натянув до подбородка
пальто, сунув кулак под щеку, Агтей лежал, едва уместаясь на
улыском диване. В мыслях были отрывки слов, видений, выхва-
щенные из далекого прошлого, словно горячие пятна воспоминаний,
и среди этой волнующей путаницы появлялась время от времени
Мишсенька, в перчатках, со сверточком, в суконном, ловком
платье... под ним, — это было самое страшное, — Агтей чувство-
вил то, что было покрыто, скрыто, невозможно, немисливо. И все
же, стоило только подойти, протянуть руку... Нет! Нет! Грузно,
скрипя пружинами, он поворачивался к диванной спинке. Силился
представить поляну, березку, сияющее золотой пылью небо — всю
свою не повинную ни в чем влюбленность... Вот Наденька поправ-
ляет прядку волос и, опустив руки в траву, склоняется над лежа-
щим Агтеем; грызя стебелек, вглядывается ему в глаза... Ее уши
прозрачные и розовые, а лицо в тени... Но лицо не ее, а этой...
И под легким белым платьем — эта... эта...

«Лихорадка... сил нет... Черт, зачем я сюда заехал», — с тоскою
думал Агтей. И вдруг из заповедной глубины памяти появилось
поле, поросшее густой полынью; вдалеке идут две бабы и мужик —
бабьомольцы. Шли, шли и сели у канавы... Посидели и легли, сме-
ются. У Агтея стучит сердце, он спрятался за кустиком полыни и
видит, как две бабы, в красных чулках, ноги поднялись над тра-
вой... А вот Агтей идет с лопаткой мимо скотного двора; заскрипели
ворота, с мычаньем выходит стадо, и посреди него верхом на ком-
то — рогатый, головастый бык с багровыми глазами... Агтей глядит
и чувствует, что это-то, — страшное. Бросает лопатку и по глу-
бокому снегу идет в поле, где, занесенный сугробом, стоит плу-
тский домик на колесах. Агтей становится в домике на колени

и молит Бога — дать силы пережить виденный ужас, касается горящим лицом снега. И Бог дает ему силы. А весной он опять, присев, рассматривает двух жучков, прильнувших друг к другу, палочкой перевертывает их на спины и вдруг, с застывшей улыбкой, гневно топчет их ногами.

До сумерек Агтей томился, то забываясь, то бормоча чепуху. Когда же снизу, со двора, проник зеленоватый свет фонаря и лег на потолок тошным до дурноты переплетом — стало невыносимо. Агтей поправил на шее большой мягкий галстук, надвинул шляпу на глаза и вышел, тяжело ступая и видя только тени, призраки людей; шел он по левой стороне Невского, к Адмиралтейству.

Там, где в перспективе сходились дома, трамвайные столбы и проволоки, за медным шпилем башни угасал закат, и выше небо зеленело, как морские воды. А направо, среди потемневших домов, один дом, будто приподнявшись, плыл багровыми окнами, точно полон был огня, не разрушавшего мрамор и бронзовые переплеты.

— Вот и ресторан этот, — сказал Агтей и, войдя, тотчас же увидел Синицына.

— Минута в минуту пришел, вот что значит дворянское слово, — подняв салфетку и нож, воскликнул Синицын. — Ну-с, ваше превосходительство, что намерены предпринять?

— Делайте, что хотите, — сказал Агтей, стоя перед ним. — Ну, давайте кутить.

— Вот это ответ, — воскликнул Синицын, давно бы так. Значит, идем в сад и Машеньку поищем...

Когда извозчик повез их по Фонтанке, Синицын обнял Агтея за спину, добродушно уверяя:

— Вы мне сразу понравились — породистый помещик и очень симпатичный...

Агтею стало стыдно, и он сказал:

— Вы тоже очень симпатичны.

В саду, промозглом и прокуренном, Агтей, слегка задыхаясь, стал протискиваться сквозь шумную толпу гуляющих. Здесь все было фальшивое: и цветы, и гроты, и песок, — крашеное и захватанное, и даже листья на деревьях, как из жести.

— Тише, чего прете! — кричали вдогонку.

Синицын, посмеиваясь, шел сзади. На открытой площадке Агтей шумно вздохнул и оглянулся на полутемный навес, где в глубине, ярко освещенная красным, танцевала испанка.

— Машенька, должно быть, у столиков, — сказал Синицын, — да вон и она с двумя кавалерами.

Агтей сейчас же увидел сидящую в профиль к нему Машеньку, с милой улыбкой, положившую ногу на ногу, и двух ухаживателей в котелках. Он резко отвернулся и пошел в глубь сада.

— Полно вам дурить! — крикнул, догоняя его, Синицын. — Это коты с ней сидят, мы сейчас ее приведем. — И убежал рысцой.

— Боже мой, — шептал Агтей, садясь на скамью, — неужели она со всеми... они целуют ее лицо, делают, что хотят, она же...

Стиснув зубы, он положил руки на колени и сидел красный и гучный. В оркестре одна труба, издающая всего два звука, ревела сама по себе низким басом все громче и ближе, наполняя всю голову тупым уханьем.

Мимо шли, с неестественными улыбками, наряженные девушки, прошмыгнув, оглянувшись, завитой франт в котелке; проплыл, хрустя песком, толстяк с окурком сигары в бритых губах.

«Уйти надо, лечь», — подумал Агтей и сейчас же, увидев подищих Машеньку и Синицына, стал жалобно улыбаться. И вдруг, чувствуя, что гибнет, вскочил со скамейки и, спотыкаясь, зашагал в выходу через газон.

— Агтей Петрович! — закричал Синицын так злобно, что многие оглянулись.

Агтей остановился, шепча про себя:

— Трус, трус...

Машенька ничего не говорила, только, чертя зонтиком по песку, скидывала прекрасные свои глаза на проходящих. Агтей же не смел на нее взглянуть, боясь, как бы не прочла она в его взгляде вождения, и церемонно молчал, склоня голову набок.

— Долго мы будем здесь торчать? — спросил Синицын.

Машенька сказала, растягивая слова:

— Поедемте кататься, — и улыбнулась Агтею, — у нас по ночам светло...

— Угадала, что ты провинциал, — захихикал Синицын. — Это, Машенька, закадычный мой друг, Петрович...

— Да, да, — сказал Агтей.

Они вышли из резкого света на белый сумрак к реке, где за решеткой спокойно отражались дома с темными окнами.

Ступив на узкий тротуар набережной, Синицын заложил руки в карманы куцега пиджака, сдвинул шляпу и пошел вперед, а Машенька просунула руку свою под руку Агтея и, обернув к нему бледное лицо с синеватыми под глазами кругами, улыбкой открыла ряд ровных зубов.

— Ну что, — сказал Агтей, точно во сне нагибаясь к ее раздвинутым губам, — душенька моя...

Когда он так сказал, Машенька охватила его шею и, закрыв глаза, поцеловала холодными губами.

— Вот и поцеловались, — со вздохом сказала она.

— Bravo! — ответил Синицын, не оборачиваясь...

Агтей поглядел на небо, оно светилось мягким светом, белым и ровным.

— Это лучше, чем все, о чем я думал, и более странно...

В нанятой Синицыным коляске они втроем поехали через мост, где у перил стоял человек с поднятым воротником и глядел на воду.

— Чего он смотрит? — оборачиваясь, с неодобрением проговорила Машенька. — Ничего в воде не увидишь, нехорошо, — и повернула лицо вместе с носиком в мех.

У колонны Исаакиевского собора сидела оборванная старушонка, подперев кулаками подбородок. По набережной летел рысак, увозя даму и офицера... Дама закинула голову, держа руки в муфте, офицер целовал ее.

— Поцелуйте и меня, — сказала Машенька, придвигаясь.

Агтей откинулся в угол коляски. Перед ним текла Нева — свинцовая, студеная, словно выпуклая. На той стороне лежали два сфинкса. Все это было как сон.

Машенька привлекла Агтея за руку и, погладив по щеке, шепнула:

— Поедем ко мне, у меня отдохнете. Хорошо?

Тогда Агтей опять почувствовал тупую тяжесть и озноб и, закусив губу, чтобы сдержать дрожь, увидел на открытой Машенькиной шее родимое пятнышко. От этого вся девушка стала родной и сладкой. Разжав рот, Агтей кашлянул хрипло и вдруг страшно покраснел.

Синицын, не поднимая век, сонным голосом крикнул кучеру адрес.

Агтей со всей силой сжимал руки, пока Машенька отворяла на темной лестнице дверь. В прихожей, где пахло духами и калошами, он прислонился к стене, не в силах снять пальто.

— Я в столовой на стульчике посижу, — сказал заискивающе Синицын, — куда мне идти, тут я и подожду Петровича.

Машенька покачала головой:

— Ну, уж сиди, только не стащи чего-нибудь...

— Ну, это я-то стащу! — ответил Синицын и, увидев в столовой бутылки, начал прыгать, поднимая пиджак, так что видна была пряжка засаленных его панталон.

— Жалко мне его все-таки, — сказала Машенька, — хоть он и свинья. Женатый ведь и детей любит. Пойдемте в спальню.

Взяв Агтея за руку, она прошла через две двери в комнату, устланную желтым ковром, с деревянной кроватью посредине и белым чистеньким туалетом из трех зеркал.

Сев перед ним на шелковый пуфчик, она провела пальцем по бровям, расстегнула кофточку и слегка откинулась, обнажая плечи и тонкие руки с двумя оспинами. Потом взглянула на Агтея и потрясла головой, наморщив носик, вытянув губы. Но, видимо, ей все же очень хотелось спать, — устала.

Агтей, до того стоявший у окна, осторожно опустился перед ней на колени, охватил руками, спрятал лицо в ее ногах. Челюсти у него были сжаты, он не мог сказать слова.

Машенька запустила пальцы в его волосы:

— Нехорошо на коленях стоять, сядьте...

И, когда он послушался, аккуратно сняла платье, стряхнув, повесила его за простыню, зевнула и села Агтею на колени, покачивая, точно баюкая.

— Хорошо тебе со мной? — сказала она. — И спать не хочется. А на улице светло, светло.

Одним глазом Агтей взглянул в окно. Там за перистыми облаками, над лиловой тучей, разгоралась золотая полоса. Он разжал зубы и проговорил:

— Маша, Машенька!

Глаза его расширились, сознание словно бродило по осунувшемуся лицу, и когда Машенька проговорила, приподнимая шелковую юбку: «Смотри, какие у меня чулочки ажурные», — Агтей коротко выдохнул, поднялся, прошел несколько шагов, держа на руках прижимшуюся к нему девушку, и, вдыхая ее запах, повалился на ковер.

Потом Машенька поднялась с ковра, озабоченная походила по комнате, накинула на плечи теплую шаль, нагнулась над Агтеем и сказала участливо:

— Встань, миленький, запылишься на ковре...

Но Агтей не отвечал, лежа с откинутой рукой. Бледное лицо его было спокойно, как у спящего.

— Встань же, — повторила Машенька и, присев, потрепала Агтя по волосам.

Он открыл глаза. Щеки его порозовели, приподнявшись, он схватил Машеньку за руку, словно боясь, что она убежит...

— Ты любишь меня? — спросил он важным голосом.

— А как же, — смеясь, ответила Машенька. — А ты ночевать у меня останешься или домой поедешь?

— Домой, — сказал Агтей медленно и сел на стул, — куда я пойду?

Машенька, достав из стеклянной коробки папироску, закурила, нерскинула угол шали через плечо.

— У всякого человека есть дом, дружок. А со мной все равно жить ведь не будешь...

— Зачем ты куришь? Дым из носу у тебя идет, — проговорил Агтей тоскливо. — Ты мне ведь раньше являлась, я тебя давно любил! А теперь разговариваешь, как обыкновенная...

— Какая же я должна быть? Вот уж ненавижу, когда начинают говорить непонятное...

— Молчи, молчи, — сказал Агтей.

Машенька поджала губы.

— Пошел бы ты спать в самом деле. А завтра приходи... а то разговаривать — я ни за что не стану. Так ты и знай. Засну сейчас как мертвая.

— Уйду, уйду, — сказал Агтей торопливо, — только молчи...

Он надвинул шляпу и взялся за ручку двери. Машенька спросила тихо, будто удивляясь:

— А деньги?..

Тогда Агтей быстро обернулся, глаза сузились, стали зелеными. Не глядя, подал он ей одну бумажку, другую бросил на пол и, покраснев так, что надулись жилы на лбу, кинул весь бумажник Машеньке под ноги.

— Мерзость, — медленно проговорил Агтей, — мерзость.

Машенька отбежала за постель и оттуда крикнула испуганно:
— Вы с ума сошли!

— Да, — говорил Агтей, наступая, — с ума сошел! — Он поднял кулак, но, встретив большие, полные слез глаза Машеньки, прижавшейся в теплой шали в углу, неуклюже отвернулся, подумал: «Как у собаки глаза, когда бьют». И, морщась, побрел к двери. Когда же распахнул ее — против замочной скважины на стуле спал, уронив голову, Синицын, с угла раскрытого его рта текла слюна.

Агтей постоял мгновенье, размахнувшись, грузно ударил по лицу Синицына и вышел.

Спускаясь по сырой лестнице, он задышался от отвращения. На улице была все та же белая ночь, томительная, непонятная, нечистая...

Только перистые облачка стали жестче. Неподалеку дремал извозчик, почти свалившись с козел, да в мелочной лавке открывали ставню...

— Ничего больше нет, — сказал Агтей. Помолчав, поглядел под ноги. — Тоже — любовь!

И, сунув руки в карманы, пошел, сутулясь, к мосту, который держали в зубах четыре чугунных льва. Здесь, в похолодевшей воде, отражались с обоих концов канала тусклая вечерняя и оранжевая утренняя зори. Агтей смотрел на дома, на небо, на отражение зорь. Ноги его стали вялыми. Он сел на гранитную плиту, опустил голову.

— Никогда, никогда теперь ее не увидеть...

МИШУКА НАЛЫМОВ

(Заволжье)

1

По низовому берегу Заволжья, — в тени сырых садов, с прудами, купальнями и широкими дворами, заросшими травой, с крытыми соломой службами, — издавна стояли помещичьи усадьбы дворян Ставропольского уезда.

Проезжему человеку, сидящему на подушке, вышитой по углам петушками, в тарантасе, запряженном парой облепленных слепнями почтовых лошадей, не на что было смотреть сквозь сонные веки: жара, пыль, пыльная, чуть вьющаяся дорога по степи, жаворонки над хлебами, далеко — соломенные крыши да журавли колодцев... Лишь изредка из-за горки поднимались вершины ветел, и тарантас катил мимо плоского пруда с рябым от отпечатков конных берегом, мимо канавы, поросшей акацией, мимо белеющих сквозь тополевую зелень колонн налымовского дома.

Хотя в этом случае знающий уездные порядки непременно сворачивал лошадей с дороги и ехал не через усадебный двор, а задом, особенно если у окна сидит в халате сам Мишука, — Михал Михалыч Налымов, — с отвислыми усами, с воловьим, в три складки затылком, и поглядывает, насупясь, на проезжающий тарантас.

Бог знает, что взбредет в голову Мишуке: велит догнать проезжего и звать в гости, — лошадей отпрячь и — в табун, тарантас — в пруд, чтобы не разохся. Или — не понравится ему проезжий — перегнется за окошко и закричит: «Спускай собак, — моя земля, кто разрешил мимо дома ездить, черти окаянные!..» А налымовских собак лучше и во сне не видеть. Или в зимнее время прикажет остановить проезжего и дать ему метлу — замести за собою след через двор. Хочешь не хочешь вылезай из саней, мети. А около сидят собаки с обмерзшими усами.

Так знающий уездные порядки далеко огибал по степи налымовскую усадьбу. Редко заезжали в нее и гости, но уже по другой причине.

После полудня Мишука сидел, как обычно, у раскрытого окна. На другом конце зеленого двора, в каретнике, ворота были раскрыты, ходили конюхи. Вот они расступились, и из каретника,

разом отпущенная, вылетела караковая тройка, запряженная в венскую коляску, — описала по двору полукруг и стала у крыльца так, что, разом осаженные, пристяжные сели на хвосты, коренник задрал голову, вошел копытами в рыхлую землю. Кучер, в черной безрукавке, с малиновыми рукавами, снял осыпанную мелом перчатку и, приставив большой палец к ноздре, высморкался. Подбежавший прямоком от каретника конюх взял коренника под уздцы.

Мишука, перегнувшись за окно, смотрел на лошадей, — хороша тройка — львы. Наглядевшись, он поднялся с кресла, пошел в соседнюю комнату и крикнул: «Ванюшка!» Вошел толстомордый мальчик, называвшийся еще по старине — казачком. Мишука присел на деревянную кровать и протянул казачку одну за другою толстые ноги, на которые Ванюшка натянул просторные панталоны, вместо халата Мишука надел парусиновую поддевку, взял в руки белый картуз с красным околышем, короткий арапник, выпятил полную грудь и, тяжело ступая по половицам дома, вышел на крыльцо.

Коренник, завидев Мишуку, обернулся и коротко, нежно заржал. Подошел приказчик — Петр Ильич, в долгополом зеленом сюртуке, и стал докладывать почтительно:

— Барышня Марья, да барышня Дуня, ваше превосходительство, да барышня Телипатра лошадей требовали утрася, — я не дал.

Мишука сошел с крыльца, раскидывая ноги, и стал глядеть на окна мезонина, где были спущены занавески. Глядел долго, погрозил туда арапником, расправил усы.

— Без моего разрешения никаких лошадей никому не давать, черти окаянные, — сказал он и шагнул к коляске.

— Слушаюсь... И еще садовник приходил в контору — жаловался, что барышня Фимка да барышня Бронька малину порвали, всю ободрали...

— Ах, черт, — сказал Мишука и побагровел, — вот я им задам...

Он подумал и ступил в коляску, которую сейчас же перекосило, грузно опустился на пружинное сиденье и двинул большой козырек фуражки на глаза. Кучер подобрал вожжи, обернул голову.

— В Репьевку, — сказал Мишука и, когда лошади тронули, крикнул: — Стой! Эй, Петр Ильич, позови их сюда. Живо!

Приказчик побежал в дом. Скоро на крыльце показались, запахивая шали и капоты, девушки: высокая и худая Клеопатра, испуганная Марья — неряха, растрепанная, в башмаках на босу ногу, позади них прислонилась к колонне красавица Дуня, — равнодушно глядела на небо, в дверях жались Фимка и Бронька, деревенские девчонки, — глядели на Мишуку, наморщив носы...

— Вы, — сказал Мишука, поводя рыжими усами, — смотрите, я на три дня уезжаю, так вы у меня, — он хлестнул арапником по голенищу, — смотрите, чтобы ни одна у меня... того...

— Очень нам нужно, — сказала Клеопатра, скривила рот. Красавица Дуня лениво повела плечами.

— Привезите сладкого, — сказала она, глядя на небо.

Мишука насупился, засопел, хотел сказать что-то еще, но раздумал, только крикнул кучеру: «Пшел!» — и уехал.

Дорогой, глядя по сторонам на ржаные до самого горизонта и пшеничные поля, Мишука вытирал время от времени багровое лицо платком и особенно ни о чем не думал. Навстречу проехал мелкопоместный дворянчик на дрожках. Мишука приложил два пальца к козырьку и строго, выпученными светлыми глазами, посмотрел на кланяющегося ему дворянчика.

Проехали овраг, где в колдобине едва не сели рессоры, окатило грязью, и пристяжные, взмылясь, вынесли на горку, — дорога пошла покосами, продувал ветерок.

— Репьевские, — сказал кучер, показывая кнутовищем вперед, ни межу, по которой катила запряженная парой длинная линейка. И сей над белыми рубахами сидящих покачивался красный зонт. Когда тройка поравнялась с линейкой, оттуда закричали: «Дядя Миша, к нам, к нам!» Между молодыми Репьевыми, братьями Никитой и Сергеем, сидела молодая рослая, светловолосая девушка. В руке она держала красный зонтик, соломенная шляпа ее откинута на спину, на ленте, светлые глаза, смеясь, встретились с выпученным взглядом Мишуки. Он снял картуз и поклонился. Тройка далеко ушла вперед, а Мишука все еще думал:

«Кто такая? Кому бы это быть? — и перебирал в медленной памяти всех родственников. — Не иначе, как это — Вера Ходанская, — она».

Так он раздумывал и поглядывал по сторонам, покуда за горкой не показался большой репьевский сад и вдалеке играющая, как чешуя под солнцем, Волга.

2

На террасе, обращенной к саду и к прудам и тенистой от зарослей сирени, сидели на креслицах брат и сестра — старшие Репьевы.

Ольга Леонтьевна, в кружевной наколке и в круглых очках, поджав губы, вышивала шерстью дорожку для чайного стола, а Петр Леонтьевич, одетый, как всегда, в черную безрукавку, помалкивал, прищуря один, глаз, другим же лукаво поглядывал на сестрицу и топал носком сапога, голенище которого из моржовой кожи любил он, бывало, подтянуть, говоря: «Ведь вот, двадцать лет ношу, и нет износа». На голове у него была надета бархатная скуфейка. Ветерок веял на седую его бороду, на белые рукава рубахи.

— Не понимаю, — сказала Ольга Леонтьевна, — чем это все кончится?

— А что, Оленька?

Ольга Леонтьевна взглянула поверх очков:

— Прекрасно знаешь, о чем я думаю.

— О Верочке? Да, да. Я тоже о Верочке думаю. — Петр Леонтьевич, опершись о кресло, привстал и сел удобнее. — Да, да, это вопрос — серьезный.

— Перестань стучать ногой, — сказала ему Ольга Леонтьевна. Брат стукнул еще раза три и сощурил оба глаза.

— Сереже, по-моему, надо бы на время уехать, — сказал он и подтянул голенище.

— Ах, Петр, и без тебя давно это знаю... Но дело гораздо, гораздо сложнее, чем ты думаешь... Помяни мое слово...

— Вот как?

— Да нет же, нет, как тебе не стыдно, Петр... Но — гораздо, гораздо сложнее, чем это кажется...

Брат и сестра замолкли. Пели птицы в саду. Шелестели листья... Старичкам было тепло, покойно сидеть на балконе. Издалека доносился звон колокольчика.

— Чей бы это мог быть колокольчик? — спросил Петр Леонтьевич.

Ольга Леонтьевна сняла очки, вслушалась:

— Нальмовский колокольчик. Неужели Мишука? Какой его ветер занес?

Мишука, взойдя со стороны сада на балкон, подошел к ручке Ольги Леонтьевны и поцеловался с Петром Леонтьевичем, подумав при этом: «Целуется старый, а именье протряс, — либерал».

Мишука сел, снял фуражку, вытер платком лицо и череп. Петр Леонтьевич, улыбаясь, потрепал его по коленке. Ольга Леонтьевна, продолжая вышивать, сказала не совсем одобрительно:

— Давненько, Мишенька, не был.

— Занят, — земские выборы.

— Ну, что, она мельком взглянула на брата, — мужичков, видно, опять прокатали?

— Да, мужиков мы прокатали, — Мишука хмуро отвернулся к саду, — не то теперь время, крамольные времена пошли...

— Давно я хочу тебя побранить, — после молчания заговорила опять Ольга Леонтьевна, — недостойно, Мишенька, дворянину выкидывать такие штуки, какие ты выкидываешь.

— Какие штуки?

— А вот, как недавно: зазвал в Симбирске какого-то купчика в гостиницу, напоил, обыграл и выбросил его из номера, да еще — головой его сквозь дверь, и дверь сломал.

— А! Это когда я этого, как его, — Ваську Севрюгина...

— Ах, батюшки, что же из того, что Ваську Севрюгина... а того три дня в чувство приводили... Гадко, Мишенька, недостойно...

— Севрюгин под утро в уборную пошел, — сказал Мишука, — в коридоре увидел лакея без фрака, — тот окошко моет... «Как, — говорит он ему, — ты смеешь при мне без фрака!» И принялся его колотить. А лакей — Евдоким — у моего еще отца в казачках был, всех нас помнит, — почтенный. Севрюгин вернулся из уборной в мой номер и рассказывает, как он бил Евдокима... «Пони-

мигте, говорит, я суконный фабрикант». А я ему говорю: «Ты — нам, тебя на ситцевого переворочу...» Он обиделся, я его толкнул и — угодил в дверь... Только и всего.

Мишука после столь длинной речи долго вытирался платком, а Ольга Леонтьевна, опустив вязанье, не выдержала — засмеялась, накрылась морщинками, вся тряслась — по-старушечьи.

Из сада на балкон вбежала Вера, за ней — Сергей, прыгавший через три ступеньки, позади шел Никита, улыбавшийся застенчиво и добро. Вера протянула Мишуке обе руки, весело взглянула на него серыми быстрыми глазами:

— Познакомимся, дядя Миша. Помните, как вы меня катали на качелях?

Да, да, вспоминаю, кажется, — Мишука поднялся с трудом, — ну, как же, — Верочка... Да, да, качал; вспоминаю совершенно ггенсь...

Он нагнул к плечу голову. Его медвежьи глазки округлились. Вера взглянула в них и вдруг покраснела. Лицо ее стало милым и растерянным. Но так было только с минуту, она приподняла платье и присела важно:

— Поздравьте, — завтра мне девятнадцать лет...

Петр Леонтьевич, глядевший с радостной улыбкой на Веру, засмеялся, толкнул локтем сестру. Никита приложил ладонь к уху:

— А? Что она сказала?

— Сказала, что завтра я старая дева. По этому случаю у нас — шкоти, будем кататься на лодках...

— Да, да, конечно, будем кататься на лодках, — подтвердил Никита и закивал головой.

Вера села на балюстраду, обняла белую колонку, прислонилась к ней виском, Сергей, черный, горбоносый, с веселыми и недобрыми глазами, стоял рядом с Верой, заложив руку за ременный поясик. Никита то подходил на шаг, то отходил и, наконец, уронил пенсне. Мишука, глядя на молодых людей, начал хохотать. Ольга Леонтьевна, быстро поднявшись с креслица, сказала:

— Вот что — идемте-ка пить чай.

Никита замедлился на балконе. Стоя у колонки, протирал он пенсис и все еще смущенно улыбался, затем лицо его стало печальным, — и весь он был немного нелепый — в чесучовом пиджачке, клетчатых панталонах, тщательно вымытый, рассеянный, неловкий.

Вера, обернувшись в дверях, глядела на него, потом вернулась и стала рядом.

— Никита, мне грустно, — не знаешь, почему?

— Что ты сказала?

— Я говорю — грустно. — Она взяла его за верхнюю пуговицу жилета.

Он вдруг покраснел и улыбнулся жалобно.

— Нет, Верочка, не знаю, почему...

— Ты что покраснел?

— Нет, я не покраснел, тебе показалось.

Вера подняла ясные глаза, глядела на облако, ее лицо было нежное, тоненькое, на горле, внизу, дышала ямочка.

— Ну, показалось, — проговорила она нараспев.

Минуту спустя Никита спросил:

— Верочка, ты очень любишь Сергея?

— Конечно. Я и тебя люблю.

Никита слабо пожал ее руку, но губы его дрожали, он не смел взглянуть на Веру. В дверях появился Сергей, жуя ватрушку.

— А, сентиментальное объяснение! — Он хохотнул. — Приказано вас звать к столу...

3

Вдоль камышей, под ветлами, плыли лодки. В передней сидели Вера, Сергей и Мишука, который греб, глубоко запуская весла, тяжелые от путавшихся водорослей. Поглядывая из-под мокрых бровей на Веру, Мишука сопел и думал, что вот — гребет, унижается из-за девчонки.

— Жарко, — сказал он, вытирая усы.

— Дядя Миша, пустите меня на весла, — Вера поднялась, лодка качнулась, с задней лодки закричали: «Вера, Вера, упадешь!»

В камышах тревожно закричала утка.

— Нет, я начал грести, я и буду грести, — сказал Мишука. Ему очень нравились ноги Веры в кружевных чулках, кружево ее подобранных юбок. «Ах, черт, девчонка какая, — думал он, — ах ты, черт. Приемьш, отца-матери нет, норовит замуж выскочить... Ах, черт!..»

Сергей сидел, поджав ногу, наклонив горбоносое лицо к плечу, — играл на мандолине. Черные его, хитрые глаза весело блестели, шурились на воду и, словно нарочно, избегали взглянуть на Веру. Солнце уходило на покой, но было жарко. Летел пух от деревьев, садился на зеркальную воду. Над головой Мишуки некоторое время трещали два сцепленных коромысла. Далеко в беседке, отраженной шестью колонками в воде, сидел Никита.

— Ника, — звонко по пруду закричала Вера, — чай готов? — но сейчас же под взглядом Мишуки покраснела, как и вчера, слегка сдвинула брови.

Сергей сказал, перебирая мандолину:

— У тебя голос очень красивый, Вера, право, право, — очень красивый голос...

Вера еще гуще покраснела, закусил губы. Мишука ухмылялся.

Лодку их перегнала другая, где на руле сидела тетка Осоргина, та, которая не могла ездить на рессорах, — ломались. Она была одета в лиловое просторное платье, в наколке и в перчатках и

строю из-под густых бровей глядела на Нуну, Шушу и Бебе — трех своих дочерей, сидевших на веслах.

Нуну, маленькая и полная, украдкой всплакнула, не в силах вытиснуть из водорослей тяжелые весла. Шушу была зла от привычки, — худа, с длинным красным носом. Бебе — младшая, с распущенными волосами, хотя ей уже было за двадцать, — гребла неумело и капризно, зная, что она миленькая, — в семье ее считали красавицей и звали «капризуля».

Проплывая мимо, тетка Осоргина сказала грудным басом:

— Что же, новорожденная, пора нам пить и есть.

Лодки подъехали к беседке, где, подперев щеку, сидел Никита у накрытого снежной скатертью и синим фарфором чайного стола.

С писком и вскриками, подбирая платья, вылезли барышни Осоргины, степенно вышла тетка, выскочили Вера и Сергей, треща ступенями, грузно поднялся в беседку Мишука.

Вера села за самовар. Ее красивые, голые до локтя, руки, на которые не отрываясь глядел Мишука, казались свежими и душистыми, как разливаемый ею чай. Тетка Осоргина, посадив дочерей по возрасту сбоку себя, приказала басом:

— По две чашки с молоком, кусок хлеба и масло.

— Прелестный пруд, такая поэзия, — сказала Бебе и откинула кожу с плеча на спину.

Шушу сказала:

— Наш пруд лучше здешнего пруда, только что лодки нет. И сад лучше.

Нуну молча, с грустными глазами, уписывала хлеб с маслом, откуда мать не сказала ей:

— Воздержись.

Никита сидел в стороне, молча поправляя пенсне, улыбался в чашку. Сергей опять взялся за мандолину. Вера, подавая ему блюдо с малиной, шепнула:

— Ты обидел меня на лодке, проси прощения.

— Губы так близко — сейчас поцелую, — так же быстро, шепотом, ответил Сергей, не глядя.

Мишука вдруг всполошился:

— Или шептаться, или не шептаться... Тогда уже все давайте исптаться...

Барышни Осоргины захихикали. Вера залилась румянцем, блеснула влажными глазами.

Из-за потемневших лип поднялся красный шнур ракеты и рассыпался звездами. Бух, — ахнуло в высоте, завозились на ветлах в гнездах грачи.

— Прекрасная иллюминация, пойдемте ее посмотрим хорошенько, — сказала тетка Осоргина и первая сошла по хлопающим мосткам на берег.

Беседка опустела. Круглая ее крыша и шесть облупленных колонок неясно теперь отражались в темном с оранжевыми отблесками пруду. Там, в воде, она казалась лучше и прекраснее, — совсем

такая, какую ее задумал построить прадед Репьев в память рано умершей супруги. Галицкие плотники срубили ее из любимых покойницей деревьев, поштукатурили и расписали греческим узором. Посредине ее был поставлен купидон из гипса, — в одной руке опущенный факел, другою закрыты плачущие глаза. Над входом сделана надпись, теперь уже стершаяся:

Подруга милая, увя, —
Все в жизни нашей быстротечно...
Я ухожу туда, где вы
Живете мирно и беспечно...

Прадед Репьев каждый вечер сживал в этой беседке один, думал, вспоминал и шептал имя ушедшей подруги. Осенью, когда пруд был покрыт падающими листьями, камыши застилало туманом и в тусклую полосу заката улетали утки, — прадед Репьев исчез. Его нашли баграми на дне пруда, среди водорослей.

В аллее, в сырой листве лип, догорали разноцветные фонарики. Сквозь ветви была видна низкая над садом, желтоватая луна. Кучкой между стволами стояли деревенские девушки. Только что они отпели, по просьбе Ольги Леонтьевны, старинную песню и грызли подсолнухи, отмахиваясь локтями от парней.

Сидя на земле, играл на скрипке скрипач-татарин печальную степную, дикуую песню, покачивал бритой головой в тюбетейке. На стульях, слушая, как играет татарин, сидели Ольга Леонтьевна, Петр Леонтьевич, Осоргина и Шушу. Остальные ушли костюмироваться. Ко всеобщему удивлению, с ними увязался и Мишука.

— Ох, не нравится мне сегодня Мишука, — шептала Ольга Леонтьевна брату.

В кустах посыпались искры, зашипела ракета, провела в ночном небе шнур и лопнула высоко... Девушки, татарин, переставший пиликать, гости — все следили за ней, подняв головы. Когда ракета ухнула, Ольга Леонтьевна сказала со вздохом:

— Как это было красиво.

Наконец появились ряженные: Вера в турецкой шали, в старинном чепце — турчанка, Бебе — рыбачкой — в сетке на волосах, с веслом в руке, Нуну — в длинной черной вуали — «ночь», Никита, все время поправлявший пенсне, — оделся кучером. Мишука был в накинутой на голову простыне...

— Ну, уж это я не знаю, что это за маска, — сказала, указывая на него, Ольга Леонтьевна.

Тетка Осоргина вынула из сумки лорнет, посмотрела и сказала: — Маска — привидение...

Татарин заиграл полечку. Вера закружилась с Никитой, Нуну с Бебе, Мишука потаптывал ногами один, как гусь. В ветвях загорелся фонарик и упал.

Вдруг из кустов на деревенских девушек выскочил черт, в овчине, весь измазанный сажей. Подпрыгнул, именно как черт, схва-

или отчаянно завизжавшую красавицу Васенку и стал вертеть ее, прилясывая...

Вера оставила Никиту и, часто обмахиваясь веером, пристально, с улыбкой, глядела на прыгавшего чертом Сергея, на Васенку. Мишука придвинулся к Вере, загудел на ухо:

— По-моему, это слишком: ничего смешного и непристойно...

Вера, не слушая его, подошла к запыхавшейся, поправлявшей шпигую полушалку Васенке, взяла ее за лицо, заглянула в глаза и поцеловала их, поцеловала в щеку:

— Какая ты красавица, Васена.

Васенка вырвалась, со смехом убежала, схоронилась за девушек.

Осоргина неодобрительно закачала головой. Барышни Осоргины шишукуали, как осиное гнездо. Ольга Леонтьевна поднялась и предложила гостям идти в дом — ужинать.

Вера вдруг сказала Мишуке:

— Идемте, дядя Миша.

Взяла его под руку, повела по влажной серебристо-сизой от лунного света поляне, дошла до скамейки и села:

— Душно под липами...

— Душно, да, — сказал Мишука.

Вера прислонилась головой к его плечу:

— Ах, дядя Миша...

— Что?

— Нет, я говорю только — ах...

Мишука сдержанно засопел:

— Вера?

— Что, дядя Миша?

Он стал глядеть на ее тоненький, бледный в лунном свете профиль, придвинулся ближе, сопнул:

— Какое твое отношение ко мне?

— Люблю, дядя Миша...

Тогда Мишука молча, медведем схватил Веру, страшно вытянул губы и зарылся губами и усами ей в шею, под ухо...

— Поедем ко мне. Ну их всех к черту! Обвенчаемся. Слушай, глсм.

Молча, глядя ему в лицо, Вера боролась, царапалась, ломая ногти, вырвалась, накинув шаль и чепец, побежала по траве до середины луга. Мишука побежал за ней. Она, сжав руками грудь, крикнула:

— Вы с ума сошли!

Из-за сиреневой куртины, из тени выступил Никита. Мишука остановился, круто повернул и пошел назад, в гущу сада. Вера подбежала к Никите:

— Пожалуйста, доведи меня до комнаты. Голова закружилась, не знаю отчего.

Никита взял Веру под руку и, пройдя несколько шагов, сказал шепотом, заикаясь:

— Я видел, Вера...

Ее рука сразу стала тяжелой. Вера обернулась, потом подняла к нему лицо. Он увидел, — в лунном свете, — по щекам ее текли слезы.

4

Сад опустел, только несколько девушек осталось в липовой аллее: сели тесно друг к дружке на траву, шушукались, сдержанно посмеивались. Три китайских фонарика горели еще между ветвей. Один вспыхнул и упал, задевая за ветви. Луна стояла высоко. Сергей, положив измазанную сажей голову на колени красавице Васенке, рассказывал страшные истории. Девки толкали друг друга, охали со страху, хихикали...

— Вот, значит, сидит ночью дед Репьев в беседке, — вполголоса говорил Сергей, — рука Васенки лежала у него на голове, то поглаживая волосы, то перебирая их, — ну, хорошо, — сидит он, сидит, вдруг видит — кто-то идет к нему по воде...

— Ох!

— Васен, это ты толкнула?..

— Кто это трогает?..

— Тише, девки!

— Идет она, идет к нему по воде, — деда взял страх. Прижался он в беседке, в углу, не шевелится... А ночь была лунная, как сейчас... Это — белое — идет, идет по воде. Остановилось у беседки. И дедушка видит, что это покойная бабушка к нему пришла...

— Ой, боюсь!..

— Да кто это меня трогает, в самом деле?

— Будет вам, девки...

— Ну, хорошо. Надо бы ему тогда не глядеть, зажмуриться. А он — взгляни. Бабушка засмеялась и указала ему пальцем на глаза. Дед встал со скамейки и пошел... Сошел с лесенки в воду. А бабушка смеется, манит его, летит по воде... Дед уже по пояс зашел — она манит. Деду вода уже по горло — идет... А впереди — омут. Дед — поплыл, хочет ее схватить. А бабушка наклонилась к нему и ушла с ним под воду, в бучило, где сомы с усищами...

Девушки полегли друг на дружку...

— Сергей! — крикнул вдруг в кустах чей-то голос. Девушки тихо застонали от страха. Сергей поднял голову.

— Что тебе, Никита?

— Пожалуйста, — мне тебя нужно.

— Я после приду.

— Понимаешь, случилась неприятная история.

— Опять история.

Сергей с неохотой поднялся, перепрыгнул через ноги девушек и пошел за Никитой к пруду.

— Ай да Налымов, — засмеявшись, сказал Сергей, узнав обо всем. — Ай да Мишука. Надо его проучить. Где он сейчас?

— Кажется, сидит в беседке. Он ходил к Верочкину окну и кричал ей, чтобы вышла — разговаривать. Он уверен, что она придет.

Никита слегка задыхался, поспевая за широко шагающим по мокрой траве Сергеем. Зablестели лунные отблески черного пруда. В беседке белела поддевка Налымова.

Мишука, сидя в беседке, думал, что стариков Репьевых ни капли не боится, но все же ему было скверновато на душе.

«Завелись около два кобеля, — думал он, — хвостом завертели... Царапаться... Я сам царапну... Приемыш, — моли Бога, — жениться посулил... А Сережку с Никитой вот этим угошу...»

Мишука мрачно осмотрел волосатый кулак. В это время послышались голоса, раздвинулись кусты, на поляне перед беседкой заблел пиджачок Никиты, рядом с ним, шибко, дерзко шагал вымазанный, как черт, Сергей...

Мишука в уме быстро сосчитал до десяти, загадав, что если Сергей в это время не успеет дойти до мостков, то — хорошо. Сергей дошел. Мишука засопел. Сергей, встав перед ним, спросил нихально:

— Я бы хотел знать — что это все значит?

— То есть как это — что значит?

— Я спрашиваю: как понять твою наглость по отношению Веры?

Никита сочувственно закивал: так, так...

— Убирайся, послушай, к чертям, — сказал Мишука.

— С удовольствием. Предварительно нам только придется с тобой стреляться.

— Что? — Мишука привстал.

Но Сергей сейчас же ударил его по щеке. Мишука опять сел, страшно сопя, — начал расправлять локти, но соображение у него работало туго.

— Ну, ну, — только сказал он.

Братья Репьевы озабоченно ушли.

Мишука, все свирепея, сидел на лавке, пот лился по его вискам и носу из-под фуражки... Наконец он замахнулся и со всей силы ударил по столу — доска треснула.

Взяв дуэльный ящик, братья бегом вернулись к пруду, но беседка была пуста. Сергей крикнул:

— Налымов, Мишка, Мишука!

В ответ лишь завозилась грачиха в гнезде в темных ветлах.

— Вот тебе раз, — сказал Сергей, — удрал. Ну, погоди!

Он зарядил пистолеты и выстрелил два раза в воздух... Круглое эхо покатилося по пруду. Закричали грачи спросонок. Братья, смеясь, пошли к дому. В узком месте тропинки из акаций вышла навстречу Вера. Губы ее дрожали, пальцы на груди перебирали шаль.

— Простите меня, Никита, Сережа, — проговорила она, сдерживая короткие вздохи...

— Господь с тобой, Верочка, вот ерунда, иди спать, — проговорил Сергей и увидел ее огромные глаза, полные слез, и, чувствуя, что сейчас произойдет то, что не совсем было нужно, чтобы происходило, слегка, но твердо отстранил Веру, кивнул ей, блестя глазами, и ушел, посвистывая.

Никита задержался около Веры. Она медленно подняла на груди шаль и прикрыла ею низ лица и рот.

Никита сказал:

— Он, кажется, умываться пошел, — весь ведь в саже.

Вера глядела на месяц, — глаза ее были печальные, такие чудесные, — будь Никита не так робок, попросил бы позволения умереть сию минуту — такие любимые были глаза.

— Верочка, ты не думай, — Сережа тебя очень, очень любит, — проговорил он, запинаясь.

— Ну, хорошо... Пойдем домой, Никита, милый.

Мишука, ломая кусты, вылез из гущи сада и шел теперь по огородам и цветникам, перелезая через канавы и чертыхаясь.

Когда гроыхнували вдаль два выстрела, он сразу присел, бормоча: — Афронт, афронт, — ух, пронеси, пресвятая Богородица.

Но выстрелы не повторялись, погони не было слышно, и Мишука осмелел — опять начал ругаться, ломал по пути ветки молодых яблонь. Наконец, выбравшись из чертовых канав, зашагал по травянистой поляне вдоль пруда. Здесь у воды паслась, позвякивая железными путами, сивая лошадь.

— Ага, ты вот чья, сволочь вонючая, — сказал Мишука, выставляя челюсть. Подскочил к лошади, закрутил ей хвост и со всей силой пихнул ее с берега в воду.

Лошадь, фыркая и щеря зубы, поплыла к тростнику. У Мишуки немного отлегло сердце, мысли прояснились, и вдруг, потеряв нос, он сказал:

— Отниму лес. Довольно я вам спускал, Выдумали, — межа через Червивую балку, врешь — межа через Ореховый лог. Вот вам и репьевский лес — кукиш.

5

— Три раза в прошлый год в Москву ездили: есть у нас там такая Софья Ивановна, — говорил налымовский кучер, лежа в траве около конюшни и грызя соломинку. — Барышень нам поставляет. Намедни всучила Селипатру — худущую девку, — зла, как дьявол, но барину угодила. Привезли ее на усадьбу, сию же минуту устроила скандал: весь бутор, платьишки, сундучишки других-то барышень из окошка как начала кидать... Барышни — ах, ах! — бегают по двору в одних рубашонках. Мы с барином животы надорвали.

— Татарин, прости Господи, твой барин, — проговорила, сидя на траве около садовника, умильная скотница.

— Это он с жиру, — сказал садовник, — с жиру завсегда человек бесится по бабьей части. Я знал одного человека — с шестью бабами жил, и хороший был человек.

Скотница вздохнула, поправила платок на голове. На конюшне топтали лошади, хрустели сеном.

Налымовский кучер рассказывал:

— На прошлые именины гостей у нас два дня поили, которых поплоче — носили на ледник опамятоваться. Что же барин наш выдумал: повел гостей к барышням. Гости, конечно, рассолодели, а барин шепчет мне: «Поди принеси с пасеки колоду с пчелами». Принесли колоду, просунули ее в окно. Пчелы, известно, греха не любят и принялись гостей в голые места чкалить, а гости все до одного голые. Вот мы с барином животы и надорвали.

Скотница плюнула.

Садовник сказал:

— Да. Наши господа — это господа: аккуратные, правильные, не безобразничают.

— Мелкопоместные.

— Ну что ж из того! А ты бы лучше молчал, чем барина своего срамить, — холоп.

Налымовский кучер собрался ответить садовнику, но в это время к сидящим подошел Мишука.

— Запрягать! — крикнул он и уставился выпученными глазами на садовника и умильную скотницу. — Чего расселись, не видите, кто перед вами стоит?

Скотница поднялась. Садовник, сидя, свертывал папироску, закурил, осветил сернячком черную бороду.

— Я что тебе сказал, встать! — крикнул Мишука.

— Полегче, барин. Не на своем дворе.

Мишука фыркнул носом и повернулся к скотнице:

— Баба, ты кто такова?

— Мы скотницы, барин.

— Вот тебе, дура, три рубля. Отрежь у коров сиськи. Я завтра тебе еще три рубля подарю. Поняла?

— Что вы, батюшка, у коров сиськи резать!

— Я говорю — режь. Вот тебе еще полтинник.

— Натя ваши деньги... Грех, прости Господи.

Лошадей подали. Мишука влез в коляску, плюнул на репьевскую землю и уехал — залился малиновым налымовским колокольцем.

В репьевском доме все уже легли спать, только у Петра Леонтьевича еще теплился свет в окошке.

Каждый вечер, перед тем как помолиться на сон грядущий, Петр Леонтьевич заходил к сестре. Ольга Леонтьевна в это время

либо сидела за приходо-расходными книгами, либо читала листок отрывного календаря, придумывая: что бы такое заказать на завтра вкусное?

Поцеловав руку сестре и дав ей свою руку для поцелуя, Петр Леонтьевич говорил неизменно:

— Не забудь, душа моя, помолиться.

Так было и сегодня. Петр Леонтьевич сказал Ольге Леонтьевне, поцеловав ей руку: «Не забудь, душа моя, помолиться» — и не спеша пошел в свою комнату, осторожно притворил дверь и вдруг увидел на белой печке таракана.

Петр Леонтьевич снял сапоги, осторожно и побряхтывая влез на лежанку и стал читать заговор. Таракан пошевелил, пошевелил усами и упал. Петр Леонтьевич сказал:

— Так-то.

И полез с лежанки. В это время вдалеке раздались два выстрела. Петр Леонтьевич открыл окно и стал слушать.

Долго после выстрела была тишина в саду, затем приблизились голоса — мужской и женский.

— Милый, голубчик, что мне делать? Я не могу.

— Конечно, конечно, Верочка, ты права, ты совершенно права...

— Не сердись на меня, Никита...

— Я повторяю — ты совершенно права, иначе ты и не могла мне ответить.

— Покойной ночи, Никита.

— Спи спокойно, Верочка.

Хлопнула балконная дверь. Петр Леонтьевич некоторое время подмигивал в темное окошко. Затем за стеной послышались шаги, скрипнула кровать. Это вошла Вера и начала плакать, сначала неслышно, потом все громче. Сморкалась. Петр Леонтьевич накинул безрукавку и постучался в дверь к Верочке.

— Ну вот, ты и плачешь, — сказал он, садясь против нее и топя ногой.

— Дядя, уйдите.

— Уйти-то я уйду, а ты все-таки расскажи, отчего ты плачешь, — голова, что ли, болит?

— Да, болит.

— Кто стрелял-то?

— Сережа.

— В кого?

— В грачей.

— Ну-ну, Верочка, — Петр Леонтьевич положил ей руку на голову, — дитя милое?

— Что, дядя? — Вера сразу еще громче заплакала, легла лицом в подушку.

— Сережу очень любишь?

— Да.

— Это я все устрою, — сказал Петр Леонтьевич задумчиво. — Ты, знаешь что? — ты ложись-ка спать, а я пойду к себе, да и

подумаю. А утром пойдем с тобой гулять в рощу. Сядем на травку, ты поплачешь немножко, мы поговорим, и все устроится.

Петр Леонтьевич поцеловал Веру и, вернувшись к себе, стал перед иконом, где горели лампы и восковые свечи, и долго не мог собраться с мыслями — начать молиться; все улыбался в бороду.

6

Приехав с подвязанным колокольчиком на восходе солнца к себе на усадьбу, Мишука оставил лошадей у конюшни и пошел по черной лестнице в мезонин к барышням, предполагая, что врасплох откроем девиц за блудом.

«Ну, уж накрою, ну, уж я накрою», — думал он, распаяя сам себя. Ступени скрипели. Он ударил ногой в дверь и вошел в девичью, дико озираясь.

В душевой девичьей, сумеречной от розовых штор, было тихо и сонно. Фимка и Бронька подняли взлохмаченные головы с подушки, — спали они в одной постели, — увидели грозного барина и спрятались под одеяло.

— Вставать! — крикнул Мишука.

Марья, зачмокав спросонок, потянулась так, что вся выворотилась, зевая оглянулась на барина и прихлопнула рот ладонью. Дуня повернулась голым боком. Клеопатра неподвижно лежала на спине, прикрыв остро торчащим локтем глаза.

— Водки, — сказал Мишука появившемуся в дверях непроспанному Ванюшке, — закуски. Живо!.. — И, подойдя к Клеопатре, потянул ее за локоть. — Продери глаза, грачиха.

Девушкам он приказал, не одеваясь, оставаться в рубашках. Снял кафтан, сел на диванчик за стол и довольно свирепо поглядывал, посапывал, покуда Ванюшка не принес на большом серебряном подносе разнообразную закуску, графин с водкой и прадедовскую круглую чарку.

Тогда Мишука, расставив локти, принялся за еду. Наливал чарку, сыпал в нее перец, страшно сморщившись, медленно выпивал, — дул из себя дух, затем приноравливался вилкой к грибку поидрнее.

Марья, раскрыв глаза, следила за тем, как во рту Мишуки исчезают куски балыка, ветчины, целые огурцы, пирожки, помазанные икрой. Фимка и Бронька переминались у печки и тоже пускали слюни. Клеопатра, положив ногу на ногу, спустив с плеча рубашку, шибко и сердито курила. Дуня прибирала большие волосы. Вдруг Мишука поперхнулся, фыркнул и принялся хохотать, трясая животом стол.

Дуня сейчас же подбежала к нему, села на колени, ластилась:

— Что это мне спать хотелось, а увидела тебя — весь сон прошел. Чему смеешься-то?

— Подлиза, — проговорила Клеопатра, пустив дым через нос.

Мишука, захлебываясь, сказал:

— Как я мерина-то, мерина — в воду... А мерин-то — их любимый: старый, на покое, а я его — в воду...

Фимка и Бронька засмеялись, сделав куриные рты, и вытерлись. Мишука встал из-за стола, потянулся, все еще улыбаясь. Дуня заглянула ему в глаза:

— На мою постельку ляжете?

Мишука, не отвечая, подошел к Фимке и Броньке, взял их за загривки и стукнул друг о дружку. Девчонки визгнули, присели. А он подошел к Марье и хватил ее ладонью по жирной спине. Марья ахнула:

— Ах, батюшки!

— Ничего, — сказал Мишука, — для этого тебя и держу, корова.

Затем начались возня и всевозможные игры. Мишука барахтался, хохоча под навалившимися на него кучей девушками, стаскивая их за ноги, за головы, катался, ухал. Половицы ходили ходуном, и внизу, в полутемном, всегда запертом зале с портретами дам и кавалеров в напудренных париках, с золоченой мебелью, изъеденной мышами, печально звенела подвесками хрустальная люстра... Навозившись и взмокнув, утешенный и веселый, Мишука ушел по внутренней лесенке вниз, в кабинет, и лег спать.

К вечеру надвинулась большая гроза, было душно, — погромывало. Пошел дождь — мелкий, отвесный, теплый, слабо шумел в сумерках в листве. Изредка озарялись окна далеким синеватым светом.

Мишука сидел на диване, подложив руку под острую морду борзой суки, любимицы, — Снежки, и слушал сонный, однообразный в сумерках, шум дождя за открытым окном.

Снежка взглядывала выпуклыми глазами на хозяина и снова опускала сонные веки. При раскатах грома она оборачивалась к окну и рычала. Мишука поглаживал ее голову и думал о происшествиях вчерашнего дня.

Только теперь, в эти дождливые сумерки, додумался он до того, что вчера произошел с ним жестокий афронт, что над ним насмеялись, потом его отвергли, потом его побили, потом напугали, — грозили застрелить.

Мишука даже зарычал, все это ясно себе представив:

— Не уважать меня, Налымова... Меня бить по щеке... Меня, Михала Михалыча Налымова, — оскорбить... Захочу — губернию переверну... А меня — они... Меня — эти.

Он спихнул собаку с колен. Снежка слабо визгнула, полезла под диван и там стала вылизываться, щелкать зубами блох. Мишука сидел, раздвинув ноги, глядя перед собою на неясные пятна портретов. Необходимо было что-то сделать: гнев подпирал под самую душу. Мишука стал было думать, как изорвет платье на Вере, как измочалит нагайкой Сережку, — но эти представления не облегчили его...

Он тяжело поднялся с дивана и зашагая по кабинету. «Ага, пренебрегаете, ну, хорошо... — Он взял пресс-папье и расшиб его о паркет. — Ну и пренебрегайте». Гулкий стук прокатился по пустынному

дому. Мишука стоял и слушал, — все было тихо. Он взял со стола испорченную за пять лет сельскохозяйственную газету, — волюм пуди в два весом, — и тоже швырнул его на пол. Опять прокатился стук по дому, и — снова тихо, — никто не отозвался.

«Мерзавцы, никому дела нет до барина... Только бы воровать. Только деньги с барина тащить», — подумал Мишука и вдруг с омерзением вспомнил давешнюю возню в мезонине.

— Твари, — уже совсем зарычал он, — я вам покажу, как на меня верхом садиться!.. Ванюшка!

Мишука пошел по темной комнате к лакейской и закричал:

— Ванюшка, беги на конюшню, скажи — барин приказал запрячь две телеги, живо... Да позови мне приказчика... Живо, сукин сын!..

Дождь хлестал в нарочно настежь раскрытые окна мезонина, где дгушки, растрепанные и растерзанные, всхлипывая, завязывали в уалы платишки, бельишко, разные грошове подарки. Дуня уже сидела внизу, на телеге под попоной, со зла — молчала. Промокшие рабочиe ходили с фонарями, посмеивались. Дождь шибко шумел в тонких, наплюхал большие лужи. Сбежала с крыльца Марья, вспушенная от слез, — поскользнулась, и узел ее шлепнулся в лужу, — иржали рабочие, Марья завыла и полезла на телегу. В доме на мезонинной лестнице Мишука кричал, щелкая арапником по голенищу:

— Вон, грязные девки, вон!

Кубарем, с вытаращенными глазами, скатились вниз Фимка и Бронька, — Мишука для смеха подстегнул их по задам.

— Батюшки! Убивают! — заорали Фимка и Бронька и заметили по лужам между телегами. Их посадили, прикрыли рогожей. Мишука кричал:

— Коленкой ее, коленкой поддавай ворону!

Приказчик и Ванюшка вывели, наконец, Клеопатру.

Она отбивалась, кусала руки, выворачивалась, дикая, как ведьма.

— Врешь, — хрипло сказала она Мишуке и ощерилась, — не прогонишь, не уйду, я тебе не собака...

Наконец Клеопатру усадили. Вozy тронулись. Рабочие, громко смеясь, раскачивая над травой фонари, ушли к людской, пропали за отвесной завесой дождя. Мишука, удовлетворенный, наконец, за эти два дня, отомщенный за все обиды, ушел в дом.

Никто, даже конюх, сидевший на переднем возу, не видел, как на повороте сплошь залитой водою дороги Клеопатра соскочила с лидней телеги и скрылась за кустами в саду.

Петр Леонтьевич вошел в комнату мальчиков, которая называлась так по старой памяти. Комната была как и все комнаты в репьевском доме, — высокая, штукатуренная, со старой попорчен-

ной мышами и молью мебелью. На одной стене, над диваном, висели распластанные крылья уток, стрепетов, кобчиков, грачей, давным уже давно насквозь пропыленные. Когда сюда входили со свечой, то казалось, будто по стене ползают безголовые чудища. Трофеи эти принадлежали Сергею, не позволявшему к ним притрагиваться. Лет двенадцать тому назад, когда ему подарили первое ружье, он с утра до ночи бухал по саду, на пруду, в лугах и до того провонял падалью и сад и дом, что Ольга Леонтьевна решила не выходить из своей спальни.

С улыбкой, глядя на стену, покрытую вороньими крыльями, вспоминал Петр Леонтьевич прошлое время. Хорошее было время. Многие, многие милые люди были еще живы. Сережа и Никита, славные мальчишки, подавали большие надежды. Жива была дорогая Машенька, всегда в белом, всегда приветливая, всегда озабоченная, — как бы получше накормить гостей, или поженить кого-нибудь из близких родных, или уладить какую-нибудь неприятность.

Каждый день в столовой или на балконе шумели гости, приезжал дядя, старый Налымов, большой шутник, — любил, бывало, на удивление всем, откусывать ломоть дыни с нюхательным табаком. Приезжала с прогулки Ольга, красивая, веселая и загадочная, в бархатной амазонке. Снимая высокую перчатку, давала целовать руку... Многие, многие были в то время влюблены в Ольгу Леонтьевну... Ушло все, как туман, ушли хорошие дни...

Петр Леонтьевич в то же время пытался поправить свои сильно запутанные дела: построил суконную фабрику, но не застраховал, считая, что страховка — величайший из грехов. Человек должен быть открыт перед Богом, как Иов, но не перестраховывать свое счастье. Фабрика сгорела. Петр Леонтьевич придумал построить раковый консервный завод. В реке Чермашне водилось непостижимое количество матерого рака, — рвались бредни, и деревенские мальчишки, купаясь, бывали не раз ими щипаны за животы и другие места.

Раковый завод построили, даже заказали в Москве две майоликовые скульптуры, чтобы поставить у входа. Приготовлено было десять тысяч расписных горшочков, в которых предполагалось посылать прямо в столицы консервный биск. Но внезапно на раков в реке Чермашне напала чума, и рак полез подышать на берега и весь вымер. Это было почти разорением.

Тогда Петр Леонтьевич стал придумывать что-нибудь более подходящее к современному веку пара и электричества и построил конный утюг для расчистки снежных дорог и заносов.

Издали съехались помещики и мужики глядеть, как в облаках пара и дыма двинулся сквозь сугробы огромный железный утюг, растапливая снег раскаленными боками. Шесть пар лошадей протаскивали его более чем с версту. День был морозный. Петр Леонтьевич вылетел на беговых санках на расчищенную дорогу, но раскатился, упал и вывихнул ногу.

Утюг он приказал поставить в сарай и с тех пор не изобретал более уже ничего, так как имение его, Соломино — Трианон

тож, — пошло с торгов, и пришлось с мальчиками навсегда перебраться к сестре в Репьевку, — доживать тихие дни.

Так, вспоминая, вертя в пальцах тавлинку с нюхательным табачком, Петр Леонтьевич не заметил, как в комнату вошел Сергей.

— Ты ко мне, папа?

— Да, да, к тебе, дружок. Притвори-ка дверь.

Сергей усмехнулся, затворил дверь и, став перед отцом, глядел в глаза с той же усмешкой. Петр Леонтьевич взял сына повыше локтя, сморщил нос:

— Сережа, скажи мне по чистой совести, — ты любить способен?

— Да, папа, способен.

— Видишь ли, дело вот в чем. Ах, Сережа, если бы ты знал — какой это удивительный человек. Ты прямо недостоин ее любви... У тебя, знаешь, в глазах что-то такое новое для меня, что-то легкомысленное...

— Ты хочешь меня спросить — люблю ли я Веру? — насмешливо, почти зло, спросил Сергей.

— Подожди, подожди, ах, как ты всегда забегаешь... Я говорю, — у тебя что-то легкомысленное... Вера — удивительная девушка, такое сокровище, такая милая, прелестная душа. Но опасно ее спугнуть. Спугнуть, и она на всю жизнь затаится, — ты понял?... Нужно страшно деликатно с ней... Я, видишь ли, являюсь сватом, друг мой...

Сергей, нагнув голову, заходил по комнате. Петр Леонтьевич обращившись к нему, как подсолнечник, мигал все испуганнее. Сергей остановился перед отцом и, не глядя на него, сказал твердо:

— Прости, но на Верочке я жениться не могу.

— Не можешь, Сережа?

— Я очень уважаю и люблю Веру. Да. Но — не жениться. На что мы будем жить? Зависеть от тети Оли? Поступить в земство статистиком? Народить двенадцать человек детей? Я — нищий.

Петр Леонтьевич, жалко улыбаясь, глядел себе под ноги. Сергей опять заходил.

— Я уезжаю в Африку, — сказал он.

— Так, так.

— В Трансвааль. Во-первых, — там меня еще не видели, — это раз. Во-вторых, — там есть алмазы и золото. А Вера... — он опять остановился, черные глаза его блеснули, — пусть Вера выходит за Никиту. Во всех отношениях это хорошо, честно, да.

8

Вера перебирала клавиши рояля. Ольга Леонтьевна, опустив на колени вязанье, глядела на спустившиеся за окном сумерки. Никита сидел у стены, опершись локтями о колени, и тоже молчал.

Утихали птицы в саду. Вера брала теперь одну только ноту — ми, все тише, тише, потом осторожно, без стука закрыла крышку рояля. Помолчав, она сказала:

— Поеду в Петербург, поступлю на курсы, обрежу волосы, стану носить английские кофты из бумазеи.

— Вера, перестань, — тихо сказала Ольга Леонтьевна.

— Ну, никуда не поеду, волосы не обрежу, не буду носить английские кофты.

Никита осторожно поднялся со стула, постоял, плохо различаемый в сумерках, и на цыпочках вышел. Вера прижала голову к холодному роялю.

— Ох, — шумно вздохнула Ольга Леонтьевна, — какие все глупые.

— Я тоже, тетя?

— Ну, уж об этом сама суди.

— Тетя Оля, — сказала Вера, не поднимая головы, — я очень дурная?

— Знаешь, я вот сейчас уйду к себе и запрусь от всех вас на ключ.

— Мне, тетя Оля, Никиту жалко... Он такой — печальный. Все бы, кажется, сделала, чтобы не был такой.

Ольга Леонтьевна насторожилась:

— Верочка, ты серьезно это говоришь?

Вера молчала; не было видно, какое у нее лицо. Ольга Леонтьевна тихо подошла, остановилась за ее спиной.

— Я сама знаю, как тяжело быть отвергнутой, — даже самой красивой женщине это всегда грозит: не оценят сокровища, и все тут. — Ольга Леонтьевна помолчала. — Только иное сокровище должна ты охранять, Вера. Душа должна быть ясна. Все минет — и любовь, и счастье, и обиды, а душа, верная чистоте, выйдет из всех испытаний... Теперь твои страдания очищают душу. — Ольга Леонтьевна даже подняла палец, голос ее окреп. — Посланы тебе твои страдания...

— Тетя Оля, не понимаю — о чем вы говорите, — какие страдания?

Ольга Леонтьевна помолчала. Осторожно взяла голову Веры, прижала к себе, поцеловала долгим поцелуем в волосы.

— Ты думаешь, — у нас, стариков, радостей было много? Ох, как тяжело в молодости вздыхалось.

Вера вытянулась, медленно сняла с плеча руку Ольги Леонтьевны:

— Хорошо, я останусь с вами. Навсегда. Замуж мне не хочется — я пошутила.

— Ах, не то говоришь. — Ольга Леонтьевна с отчаянием даже толкнула ее. — Не жертва мне от тебя нужна. Не в монастырь же я тебя уговариваю.

— Что же вам от меня нужно?

Ольга Леонтьевна даже сделалась как будто ниже ростом. Вера опять опустила голову. В доме — ни шороха. Зашелести ветер

листами за окном — Вера, может быть, и не сказала бы того, чего так добивалась тетка. Но в саду — та же ночная тишина. Все затихло. И Вера сказала едва слышно:

— Хорошо. Я выйду замуж за Никиту.

Ольга Леонтьевна молча всплеснула руками. Затем пошла на цыпочках. Но за дверью шаги ее застучали весело, бойко — так и полетели.

Пришел Никита. Стал у печки. Вера, все так же, не поднимая головы, сказала:

— Знаешь?

— Да, знаю, Вера.

— Ну вот, Никита.

Она поднялась с рояльного стульчика. Взяла голову Никиты в руки, губами коснулась его лба.

— Покойной ночи.

— Покойной ночи, Верочка.

— Что-нибудь почитать принеси мне.

— Хочешь новый журнал?

— Все равно.

Никита долго еще смотрел на едва видную в сумерках дверь, из которой скрылось, легко шуруша, милое платье Веры. Потом сел на рояльный стульчик и молча затрясся.

С открытой книгой, но не читая, Вера лежала на низеньком диванчике, обитом ситчиком. За бумажным экраном с черными человечками колебалась свеча. Брови Веры были сдвинуты, сухие глаза раскрыты. Она приподнималась на локте, прислушиваясь.

Уже несколько раз из кустов голос Сергея шепотом звал: «Вера, Вера». Она не отвечала, не оборачивалась, но чувствовала — он стоит у окна.

Затем стремительно она поднялась. Сергей стоял с той стороны окна, положив локти на подоконник. Глядел блестящими глазами и усмехался.

— Что тебе нужно? — Вера затрясла головой. — Уйди, уйди от меня.

Сергей легко вспрыгнул на подоконник, протянул руки. Вера глядела на его короткие сильные пальцы. Он взял ее за локоть, обвил ее спину. Вера присела на подоконник. Закрыла глаза. Молчала. Только по лицу ее словно скользил темный огонь.

— Люблю, милая, — сказал он сквозь зубы, — не гони. Не будь упрямая.

Вера коротко вздохнула, опустила голову на плечо Сергею. Он наклонился, но губы его скользнули по ее щеке.

— Не надо, Сережа, не надо.

Она слышала, как страшно бьется его сердце. Теперь она чувствовала эти удары — грудью, своим сердцем. Сергей схватил ее плечи. Стал целовать шею.

— Можно к тебе, Вера, можно?

— Нет. — Она откинула голову, взглянула ему в лицо, в красные глаза. — Не трогай меня, Сережа, я ослабею.

Он прильнул к ее рту. Она чувствовала — его пальцы расстегивают крючочки платы. Тогда она медленно, с трудом оторвалась от него. Он упал ей головой в колени, дышал жарко. А рука все продолжала расстегивать крючочки.

— Сережа, — сказала она, — оставь меня. Сегодня я дала слово Никите. Я его невеста.

— Вера, Вера, это хорошо... это хорошо... Я же не могу на тебе жениться... Тем лучше... Выходи, выходи, все равно — ты моя...

Сережа, что ты говоришь?

— Глупенькая, пойми, — ты его не любишь, и не он будет...

— Что? Что.

— Он ничего не узнает. Пойми — он будет счастлив от самой скупой твоей милости... Но я, Вера... с ума схожу... Так все делают...

Сергей прыгнул в комнату, дунул на свечу и опять плотно взял Веру. Но вся она была как каменная. Он бормотал ей в ухо, искал ее губ, но ее локти упрямо и остро упирались ему в грудь. Вера освободилась и сказала, отходя:

— Поздно уже. Я хочу спать. Покойной ночи.

Сергей шепотом помянул черта и исчез в окошке. Вера, не зажигая свечи, легла опять на ситцевый диванчик — лицом в подушку, прикрыла голову другой подушечкой и так заплакала, как никогда не плакала в жизни.

9

В доме появилась портниха, с треском рвала коленкор, стучала машинкой, поджав сухой ротик, совещалась с Ольгой Леонтьевной.

Никита несколько раз ездил в Симбирск, в Опекунский совет, в Дворянский банк. Дом чистился. В каретнике обивали новым сукном коляску.

Вера жила эти дни тихо. Редко выходила из своей комнаты. Сидела с книгой у окна и глядела, глядела на синюю воду пруда, на желтые, зеленые полосы хлебов на холмах. Слушала, как древней печалью поют птицы в саду.

Сергей пропадал на охоте, возвращался поздно с полным ягдташем, пахнул лесом, болотом, пухом птиц. На Веру поглядывал с недоброй усмешкой, много, жадно ел за ужином.

Петр Леонтьевич совсем притих, понюхивал табачок.

Однажды Сергей забрел с ружьем и собакой в налымовский лес, в топкую глушь. Пойнтер бодро колотил хвостом папоротники, шарил, время от времени поворачивая к хозяину умную, возбужденную морду. Сергей шел, задираясь ногами за валежник, проваливаясь в мочажники, — перед глазами мотался собачий хвост. Сергей неотступно, угрюмо думал о Вере.

Сколько десятков верст исколесил он за эти дни, только чтобы угодить, погасить в себе свирепое желание! Все было напрасно.

«Фррр»... Вылетел тетерев. Сергей, не глядя, выстрелил. Сорвал несколько листьев. Собака унеслась вперед скачками, высматривая — взмахивала ушами из папоротника.

Почти сейчас же, неподалеку, гулко затрубил рог. Затрещали сучья. Зычный голос заревел в чаще:

— Кто стреляет в моем лесу, тудыть в вашу душу! Кто смеет шитаться по моему лесу!

Сергей быстро оглянулся. На поляне стоял вековой дуб, упоминавшийся во всех налымовских и репьевских хрониках, — дуплистый, ветвистый, корявый, подобный геральдическому дереву.

В ту же минуту с другой стороны поляны, валя кусты, выскочил на рыжей кобыле Мишука. Размахивая над головой медным рогом, орал:

— Ату его, сукины дети, ату!

Две пары налымовских зверей — краснопегих гончих — неслись напрямик на лягаша. Сергей подхватил заскулившую у ног его собаку, посадил в дупло, подпрыгнул, подтянулся к ветви и живо влез на вершину дуба...

— Ату его, сукины дети! Улюлю! — наливаясь кровью, вопил Мишука. Подскакал к дубу, закрутился, поднимаясь на стремянах, клестал арапником по листьям:

— Слезь, сию минуту слезь с моего дуба.

— Дядя Миша, не волнуйтесь, — хихикнул Сергей, забираясь выше, — желудок расстроите, вам вредно волноваться. — И он бржжл желудем, — угодил в живот.

Мишука заревел:

— Убью! Запорю! Слезь, тебе говорю!..

— Все равно, дядя Миша, не достанете, только соскучитесь, и есть захочется.

— Дерево велю срубить.

— Дуб заветный.

— Слезь, я тебе приказываю, — я предводитель дворянства.

— Я вас не выбирал, дядя Миша, я на выборы неезжу.

— Крамольник!.. Стражникам прикажу тебя стащить. Высеку!

— Дядя Миша, лопнете. — Сергей опять бросил желудем, пошел в картуз.

Гончие подпрыгивали, визжали от ярости. Лягаш скулил, высовывая нос из дупла, щелкал зубами. Мишука и Сергей долго ругались, покуда не надоело. Наконец Сергей сказал примиряющим тоном:

— Охота вам, в самом деле, сердиться, дядя Миша. Я ведь тоже с носом остался. Вера-то за Никиту выходит.

— Врешь? — удивился Мишука.

— Чем матерно ругаться, поехали бы мы на лесной хутор. Там выпить можно.

— Вино есть?

— Две четверти водки.

— Гм, — сказал Мишука, — все-таки это как-то так. Ты все-таки подлец.

— Вот это верно, дядя Миша.

Мишуке, видимо, очень хотелось, после всех волнений, поехать на хутор и выпить. Сергей спустился ниже, подмигнул и сделал всем понятный жест:

— И то найдется.

Задрав голову, Мишука заржал, — уцепился даже за седельную лужку. Затем ударил кобылу арапником и ускакал на хутор.

Через час Мишука и Сергей сидели в жарко натопленной избе, — Мишка расстегнулся, пил водку стаканами, вспотел, тряс животом сосновый стол.

— Ха-ха... Смел ты, что пришел, Сережа.

— Нам делить с вами нечего, дядя Миша, я вас люблю...

— Рассказывай, ха-ха...

— Люблю, дядя Миша, в вас богатство, не то что — теперешние дворяне, — сволочь, мелкота...

— Мелкота, говоришь, ха-ха...

— Вы, дядя Миша, все равно как князь в старые времена... Силища...

— Богатырь, говоришь? Князь? Ха-ха...

— Едемте, дядя Миш, вместе в Африку. Вот бы мы начудили...

— В Африку, ха-ха!..

— Эх, денег у меня нет, дядя Миша, вот бы я развернулся...

— Подлец ты, Сережа... Денег я тебе дам, но побью, ха-ха...

В избу вошла ядреная молодая баба, румянец во все лицо, — лукавая, сероглазая. Смело села рядом с Мишукой на лавку, толкнула его локтем. Мишука только ухнул. И начался пир. Изба ходуном заходила.

10

Ольга Леонтьевна и Никита с утра ходили по Симбирску из магазина в магазин, — сзади ехала коляска, полная покупок. Лошади осовели, кучер каким-то чудом успел напиться, не слезая с козел. Никита в тоске бродил за теткой из двери в дверь. Ничего этого не было нужно — ни суеты, ни вещей. Хоть скупи весь Симбирск, хоть ударься сейчас о камни, — разбей голову, — Вера не станет счастливее, не вернется к ней прежняя легкость, блеск глаз, веселый смех: не любит, не любит...

— Ну, уж, батюшка мой, ты — совсем мокрая курица, осовел, жених, — говорила ему Ольга Леонтьевна, — минутки без невесты не может — нос на квинту... Сейчас, сейчас мы поедем.

Тетка летела через улицу к башмачнику, нечесаная голова которого моталась в окошке, тоже пьяная... Лошади и Никита томилась на горячей мостовой. Кучер время от времени громко икал, — каждый раз погугливо оглядывался:

— Вот притча-то, ах, Господи.

К вечеру, наконец, Ольга Леонтьевна уgomонилась, влезла в коляску, много раз пересчитала вещи, махнув рукой:

— На паром, Иван. Смотри только — под гору держи лошадей, — ты совсем пьяный.

— Господи, — отвечал кучер, — напиться-то не с чего, весь день у вас на глазах, — и на всю улицу икнул: — Вот притча-то.

Поехали вниз, к Волге, к парому.

Рска темнела. Зажигались огни на бакенах, на мачтах. Вдали шлепал по воде пароход. Тусклый закат догорал на луговой стороне, над Заволжьем. На берегу уютно осветились прилавки с калачами, лимонадные лавки, лотки, где бабы продавали жареное, соленое, вареное. Пахло хлебом, дегтем, сеном, рекой. Вдалеке, с горы — с Венца — уже слышна была духовая музыка, — в горюдском саду начиналось гулянье. Играли не то вальс, не то что-то ужасно печальное, улетающее в вечернее небо.

По реке, огибая остров, приближался паром, полный, как мурмисейник, голов, дуг, телег, мешков, поклажи.

Вот заскрипели связки прутьев у борта, конторку качнуло, зашумели голоса, затопали подковы по дереву, — теснясь, ругаясь, стали съезжать на берег возы.

Между телег, прижимаясь к оглоблям, фыркая тревожно, прогормела вороная горячая пара, запряженная в плетушку. Выскочили на песок, — мягко зашуршали колеса. В ту же минуту Ольга Леонтьевна метнулась к плетушке и крикнула диким голосом:

— Вера!

Закутанная темная фигура в плетушке поспешно обернулась. Кучер осадил вороных.

— Что с тобой? Лица на тебе нет. Что случилось? — спрашивала Ольга Леонтьевна, толкая народ, протискиваясь к Вере.

— Ничего не случилось, — ответила Вера холодно, голос ее дрожжал, — я не за вами, я прокатиться. До свидания.

Тогда Ольга Леонтьевна молча ухватила коренника за узду, повернула лошадей назад, на паром, велела Никите идти к коляске, чтобы покупки не растащили, и сама села в плетушку рядом с Верой.

— Зонтик где? — сказала она и раскрыла зонт. — Не к чему, — закрыла зонт и сунула под козлы. — Ну, мать моя, спасибо, удружила.

Вера только низко наклонила голову и медленно закуталась по шмыс глаза в пуховую шаль.

11

За три дня до свадьбы большая родня Репьевых съехалась в Симбирск, в гостиницу Краснова.

День и ночь буйные крики вылетали из номеров, где резались и карты полураздетые помещики.

Выпито было необыкновенное количество вина, — в особенности пили коньяк. Бутылки складывались здесь же, кучами, в номере, для удивления вновь приходящих.

Очумелые половые без памяти бегали по коридору, сизому от дыма. На площади перед окнами торчали зеваки, привлеченные шумом и светом, и говорили, дивясь:

— Заволжье гуляет.

Никто из дам не решался заходить на мужскую половину в гостинице, потому что в коридорах устраивались кавалерийские атаки.

Молодежь — корнеты, поручики, вольноопределяющиеся гвардейских полков, — все в ночном белье, селились верхом на стулья и скакали, размахивая саблями. Командиром был Мстислав Ходанский, двоюродный брат Веры, павлоградский гусар. Кавалерия налетала на проходящих по коридору, отбивала женщин, брала штурмом коньячные батареи.

Помешики, отсидев за картами зады, ходили — как были — в неглиже — под утро освежаться в городской сад, — выворачивали скамейки, боролись, качали деревья. Жутко было простым жителям, спросонку кидаясь к окошкам, глядеть на эти игры.

На четвертые сутки весь Симбирск поплыл в винном чаду. Полицейстера пришлось увезти за Волгу в сосновый лес, чтобы пришел в себя. Помещик Окоемов видел черта на печке, в круглом отдушнике. Зеваки на площади божились, что слышали, как в гостинице ржут пожеребьячи.

Но вот, наконец, приехал жених, а за ним и Ольга Леонтьевна с невестой и с братом. Много нужно было ушатов студеной воды — освежить хмельные головы. К двум часам вся родня собралась в собор.

Сергей и Мстислав Ходанский держали венцы. Невеста была бледна и грустна, — неопишимо хороша собой. Жених озабоченно прикладывал ладонь к уху, переспрашивая священника. Ольга Леонтьевна строго поглядывала на родственников: иные из них грузно стояли, выпучив глаза на плавающие огоньки свечей, иные начинали отпускать словечки.

Из церкви молодые проехали прямо на пароход. Там вся родня выпила шампанского, бокалы бросали в воду. Пароход заревел и отчалил, Вера вынула платочек и, взмахнув им, прижала к глазам. Никита рассеянно улыбался, — видимо, совсем ничего не понимал, не видел.

С парохода родня поехала в гостиницу пировать. В большом зале с двух концов на хорах одновременно заиграли два оркестра. После первого тоста об улетевших ласточках Ольга Леонтьевна заплакала. В это как раз время в залу важно вошел Мишука. Он был в черной поддевке, наглухо застегнут. Лицо его было желтое, отечное, под глазами собачьи мешки.

Мутным взором он обвел длинный стол. Все встали. У Ольги Леонтьевны затряслись руки. Мишука подошел к ее руке, затем поцеловал Петра Леонтьевича, не успевшего вытереть усов, и сел, больше не глядя ни на кого, — налил себе большой стакан водки...

Грянули было польку оркестры на хорах, но Балдрясов, чиновник особых поручений, распорядитель пира, зашипел, страдальчески выпучась на музыкантов, вытянулся на цыпочках, — тише!

Мишука съел половину судака, затем немалый кусок гуся, поморщился, отпихнул тарелку.

— Хотя племянница обидела меня, — хрипло и весьма громко сказал он и поднялся во весь огромный рост, — хотя я сказал, что на свадьбе мне не быть, — вот приехал. Пью здоровье молодой. Ура! За молодого не пью — сам за себя выпьет. А сам я скоро помру, вот как.

Он грузно сел... Балдрясов залихватным тенором крикнул: «Ура!» Грянули музыканты с хор, понесли спьяна такой туш, — даже Мишука оглянулся на них: «Ну и хамы».

Пировали до заката. По просьбе дам отодвинули столы, и начались танцы, для чего пригнали из училища юнкеров. Раскинули карточные столы. Молодежь ломила буфет. Мишука бродил среди ихней скучной, грузной, брезгливо морщился. Развеселило его только небольшое происшествие, — случилось оно за полночь.

Около буфета, в дыму и толкотне, Сергей подошел к Мстиславу Ходанскому, взял его за шнуры гусарки и, качаясь, выговорил мокрыми губами:

— Стива, твоя сестра весьма умно поступила, а?

Мстислав Ходанский сразу вскинул голову, — был он высок, мускулист, с черными кудрями, бледный от вина.

— Стива, — опять сказал Сергей, — Вера умная женщина, ты понимаешь? — Он пальцем поводил у носа Ходанского. — Она хитрая, у нее тело горячее и хитрое.

— Поди выпись, — сказал Ходанский.

— Стива, понимаешь, — если бы я пальцем поманил, она бы с парохода убежала...

У Мстислава Ходанского дрогнули ноздри. В это время Мишука, подойдя к нему, ткнул волосатой рукой в Сергея:

— Плюнь ему в морду, он — хам.

— Я это вижу, — сказал Ходанский, показав ровные белые зубы.

Сергей засмеялся невесело. Затем толкнул Ходанского. Тогда Мстислав Ходанский взял его за живот и швырнул на буфет, на тарелки. Посыпалось стекло. Мишука громко захохотал.

— Скандал, скандал! — заговорили в надвинувшейся толпе.

Кто-то помог Сергею слезть с буфета. Балдрясов старательно отирал его носовым платком. Сергей, криво усмехаясь, глядел блестящими глазами на Ходанского:

— Хорошо, ты мне ответишь.

— Ага, дуэль, вот это дело, — захохотал Мишука.

Спустя некоторое время в номер, занятый Мишукой, собрались секунданты обеих сторон. Шибко пили коньяк, обсуждали условия предстоящей сатисфакции, — несли чепуху и разногласицу.

— Ерунда, — сказал Мишука, — пусть стреляются у меня в номере.

Секунданты осели. Выпили. Придерживая друг друга за лацканы фраков, стали совещаться и решили:

— Место для дуэли действительно подходящее.

Один из секундантов даже заржал неестественно и повалился под стол. Принесли ящик с пистолетами, позвали противников.

Сергей вошел бледный, озираясь. Мишука толкнул его к столу:

— Выпей коньяку перед смертью.

Мишука сам зарядил пистолеты. Противников поставили в двух углах комнаты. Мстислав стал, расстегнув гусарку, раздвинув ноги, откинул великолепную голову. Сергей сторбился, втянул шею, глядел колючими глазами.

— Господа дворяне, — сказал Мишука, высоко держа перед собой пистолеты, — мириться вы не желаете, надеюсь? Нет? И не надо. Стрелять по команде — раз, два, три, — с места.

Он подал пистолеты, — сначала Мстиславу Ходанскому, затем Сергею. Отошел в угол и разинул рот, очень довольный.

Два канделябра, поставленные на пол, освещали противников.

Секунданты присели, зажали уши, один, схватившись за голову, лег ничком на оттоманку.

— Раз, два, — сказал Мишука.

В это время четвертый секундант, помещик Храповалов, красавец в черных бакенбардах, во фраке и в болотных сапогах, крикнул:

— Подождите.

Взял с карточного стола мел, твердыми шагами подошел к Ходанскому и начертил ему на груди крест, пошел к Сергею и ему начертил крест.

— Теперь стреляться.

Храповалов отошел к стене и скрестил руки. Мишука командовал:

— Три!

Враз грохнули два выстрела, дым застлал комнату. Секундант, лежавший на диване, молча заболтал ногами.

Мишука сказал с удивлением:

— Живы.

Взял мел, повернул Мстислава Ходанского лицом к стене и на заду ему начертил крест:

— Стрелять сюда.

Сергею он тоже поставил крест поперек фалд фрака. Противники вытянули позади себя руки с пистолетами. Мишука стал командовать:

— Раз, два...

Сергей покачнулся и, бормоча несвязное, повалился на ковер.

— Готов, — крикнул Мишука, — суд Божий!

Ходанский отошел от стены и выстрелил в горлышко бутылки — вдовы Клико. Сизый дым струей потянулся к Мишуке, — он чихнул, замотал губами:

— Шампанского. Лошадей. К девкам... Сережку отлить водой и ко мне в коляску.

Под утро шесть троек с гиком и свистом понеслись по мирным улицам Симбирска. Обыватели подымали головы и говорили зашпанным своим женам:

— Заволжье гуляет, — Налымов.

12

Жарко натопленные печи, легкий запах вымытых полов, зимний свет сквозь морозные стекла покоят увядающие дни Ольги Леонтьевны. Тихо улетает время за письмами, разговорами вполголоса, за неспешным ожиданием вестей.

В чистой и белой, наполненной снежным светом комнате трещат дрова в изразцовой печи. Ольга Леонтьевна сидит близ окна за коньским столиком и пишет острым, мелким почерком длинные письма. Повернет хрустящий листочек и пишет поперек строк:

«...Я понимаю эту постоянную грусть — ты проверь хорошенько, непременно сходи к доктору. Мне кажется, что ты — в ожидании. Дай Бог, дай Бог.

Родишь, смотри — не пеленай ребенка, англичане давно это бржили, а уж я — скажу тебе по секрету — второй месяц шью рубашечки и подгузнички. Ты молода, смеешься над старой теткой, а тетка-то и пригодится...

...Пишешь — Никита утомляется на службе, плохо спит, молчалив. Это ничего, Верочка, — обойдется. Трудновато ему, но человек он корюший. Ходите почаще в театр, говорят, Александринский театр очень интересный. Познакомьтесь с хорошими людьми, сдружитесь. Нельзя же, никого не видя, сычами сидеть на Васильевском острове да слушать, как ветер воеет, — этого и у нас с Петром Леонтьевичем в Ржевке хоть отбавляй... ..А мы с Петром поскрипываем. Только я беспокоюсь — брат по ночам стал свет какой-то видеть. Поутру встает жмторженный. Работает — выпиливает и точит — по-прежнему. Недавно придумал очень полезное изобретение — машинку от комаров, — в виде пищалки. Эту пищалку нужно поставить в саду, она станет пищать, и комары все сядут на листья — не смогут летать и умрут от голоду. Жалко, что проверить нельзя — на дворе зима, комаров нет. И смех и грех... А ты, Верочка, поласковее будь с Никитой, — любит он тебя, любит и предан по гроб... Мороженных куриц и масло, что я тебе послала, — ешьте: к Рождеству пошлю еще партию».

Гаснет зимний день. Лиловые студёные тени ложатся на снег, резко выступают следы от валенок. В столовой Ольга Леонтьевна и Петр Леонтьевич, сидя в конце длинного стола, пьют чай и помалкивают. Тонким уютным голоском поет самовар, — прижилась к дому. Большие окна столовой запушены снегом.

— Сегодня опять письмо от Сережи получила, — говорит Ольга Леонтьевна, — прочесть?

— Прочти, Оленька.

Ольга Леонтьевна вполголоса читает:

«Вчера вернулся в Каир. Видел старичка сфинкса, лазил на пирамиды. (Петр Леонтьевич начал постукивать ногой, Ольга Леонтьевна взглянула на него, — он перестал стучать.) Пришла мне в голову блестящая идея, милая тетя: решил я здесь купить мумию, дешевка, рублей за пятнадцать. На спине где-нибудь у нее выпилю кусочек и спрячу его. Мумию запакую и — в Россию. В нашем лесу, — помнишь, в том месте, где, говорят, был скит, — закопаю этого фараона, посыплю сверху фосфором. Пущу слух: что, мол, в скиту могила по ночам светится. Народ — валом. Монаха туда нужно какого-нибудь заманить оборотистого. — Копайте. Раскопают — мощи. Пожалуйте, — продаю место с могилами, с мощами, с подъездной дорогой. Купят. Гостиницу построят. Государю императору пошлют телеграмму. А тут-то я кусочек и представлю: извините, это мой собственный фараон, вот кусочек из спины, — счетик из магазина. Стами тысячами не отделаются от меня монахи. Вот, милая тетя, что значит — африканское небо, — боюсь, что стану финансовым гением или женюсь на негритянке. Одновременно с этим пишу дяде Мише, — деньги у меня на исходе».

— Нехорошо, — после молчания сказал Петр Леонтьевич, — плохо и егозливо. Всегда он был безбожником, а теперь и кошунствует. Напиши ему, чтобы он больше нам не писал про фараонов.

Однажды в сумерки в Репьевку приехал нарочный, налымовский работник, привез Ольге Леонтьевне странное письмо. Каракулями в нем было нацарапано: «Приезжайте, Михайле Михайловичу совсем плохо, хочет вас видеть».

Налымовский работник сказал, что действительно барин — плох, письмо же это писала Клеопатра, девка, — никакими силами барин ее выгнать из усадьбы не мог, потом привык, ныне она за ним ходит.

Ольга Леонтьевна немедленно собралась и в крытом возке поехала в Налымово по большим снегам, по мертвой равнине, озаренной ледяной и тусклой, в трех радужных кольцах, луной.

В полночь возок остановился у налымовского крыльца. Окна в столовой были слабо освещены. Брехали собаки

В сенях Ольгу Леонтьевну встретила высокая тощая женщина в черной шали, поклонилась по-бабьи. Из дверей зарычала белая борзая сука

— Что с ним? Плох? — спросила Ольга Леонтьевна, выпутываясь из трех шуб. — А вы кто такая? Клеопатра что ли? Ведите меня к нему.

Клеопатра пошла впереди, отворяя и придерживая двери. Сука рычала из темноты. У дверей в столовую Клеопатра сказала шепотом:

— Сюда пожалуйста, они ждут.

У круглого стола, покрытого залитой пятнами, смятой скатертью, под висячей лампой увидела Ольга Леонтьевна Мишуку. Он

был страшен, — распух до нечеловеческого вида. Облезлый череп был исцарапан, желтые, словно налитые маслом, щеки закрыли глаза, еле видны сопящие ноздри.

Под локтями и сзади, придерживая затылок, привинчены были в креслу деревянные бруски, — на них, опустив опухшие кисти рук, висел он огромной тушей. Дышал тяжело, с хрипом.

Из студенистых щек устремились на Ольгу Леонтьевну зеленые глазки. Она в великом страхе подбежала:

— Мишенька! Что с тобой? До чего ты себя довел!

— Сестрица, — с трудом проговорил Мишука, — спасибо, — и стал глотать воздух. — Все сижу, лежать не могу, водянка.

— Гниет у них в груди, — сказала Клеопатра. — А едят беспрестанно, — не успеваем подавать.

Действительно, на нечистой скатерти стояли тарелки с едой. Усы Мишуки, щетинистые, тройной подбородок были замазаны жиром. Озираясь, Ольга Леонтьевна увидела там же на столе большую банку с водой и в ней раскоряченную белопузую ящерицу.

— Крокодил, — проговорил Мишука. — Сережка из Африки прислал в благодарность живого. Сегодня подох, значит и я...

В ужасе Ольга Леонтьевна всплеснула руками:

— Доктора-то звали?

— Доктор сегодня был, — ответила Клеопатра, стоявшая, поджав губы, у буфета, — доктор сказал, что они сегодня помрут, в крайнем случае — завтра.

— Зав... зав... зав... — пробормотал Мишука, с усилием поднимая вылезшие брови.

Ольга Леонтьевна спросила:

— Что он говорит? Завтра? Ох, трудно ему помирать...

— Завещание спрашивают...

Клеопатра достала из буфетного ящика сложенный лист бумаги, подошла к лампе:

— Для этого вас и вызвали, для свидетельства.

И она стала читать:

«Пахотную землю всю, — луга, леса, пустоши, усадьбу и прочее, — жертвую, помимо ближайших родственников, троюродной племяннице моей Вере Ходанской, по мужу Репьевой, во исполнение чего внесено мною в симбирский суд векселей на миллион пятьдесят тысяч. Деньгами пятнадцать тысяч дать девке Марье Шитиковой, по прозванию Клеопатре, за верность ее и за мое над ней надругательство. Ближайшим родственникам, буде таковые найдутся, дарю мое благословение, деньгами же и землями — шиш».

Строго поджав губы, слушала Ольга Леонтьевна странное это извещание. Когда чтение окончилось и Мишука, кряхтя и морщась, сложил действительно из трех пальцев непомерной величины шиш, — который предназначался ближайшим родственникам, — Ольга Леонтьевна всполохнулась:

— Спасибо, Мишенька, что не обидел сироту, но скажи — почему ей такая честь?..

— Обесчестить ее хотел, — проговорил Мишука, — Веру-то, за это ей и дарю.

— Через нее всех нас выгнали из дому, как собак, — сказала Клеопатра.

Тогда Ольга Леонтьевна стала совать в ридикюль очки и носовой платок и решительно подступила к Мишуке:

— Да как ты посмел! Вотчинами хочешь откупиться, пакостник. Ногой в гробу стоит, кукиши показывает, а на уме — озорство. За могилой обесчестить женщину норовит... Дай сюда завещание.

Она вырвала у Клеопатры бумагу и, скомкав, бросила ее Мишуке в лицо:

— Прощай!

Мишука, глядя, как немощная собака, задышал часто, закатил глаза, захрипел. Клеопатра полезла под стул, куда откатилось скомканное завещание. Ольга Леонтьевна рысцой дошла уже до дверей, но обернулась и ахнула:

— Батюшки, да он кончается!

Багровея, пучась, Мишука стал приподниматься. Затрещали и сломались, посыпались на пол бруски, державшие его в кресле. Вдруг завыла диким голосом под столом белая сука. Клеопатра, вытянув жилистую шею, вытянув нос, глядела колюче на отходящего.

Мишука, разинув рот, вывалил язык, будто собираясь заглотить черную девку.

— По... по... по... — выдавил он из чрева. И рухнул в кресло, в заскрипевшие пружины. Повалилась голова на грудь. Из рта хлынула сукровица...

Ольга Леонтьевна только мелко, мелко крестилась:

— Упокой, Господи, душу раба твоего...

Клеопатра не торопясь подошла и прикрыла Мишуке лицо чистой салфеткой.

АКТРИСА

Все, о чем здесь идет речь, случилось в нашем уездном городишке, который в давние времена, быть может, и назывался городом, но теперь, когда в нем живет не более двух тысяч захудалых обывателей, кличется, по непонятной игре русского языка, — городищем, что более подходило бы, конечно, какой-нибудь столице. Тинная речка, Лягушка, не спеша, пологим изгибом, течет по городу. Кое-где, наклонившись над ней, стоят ивы. Кое-где далеко в зеленую воду выдвинуты мостики, и, белея на них ядреными микрами, бьют бабы белье, — звонко по речке стучат вальками. На жаркой воде под июльским солнцем вдруг загогочет гусь и, приподнимаясь, замахает белыми крыльями. В лопухах, в крапиве на берегу рожутся свиньи. На сгнивших сваях вихрастые мальчишки, привязав к веревке копченую рыбку голову, ловят раков. Бредет по площади красная поповская корова, заходит в речку по брюхо и пьет и, напившись, думает, пуская слюни.

Площадь посреди города большая и пыльная. Посреди нее круглый колодезь стоит лужа, откуда недавно вытащили бывшего помещика Дмитрия Дмитриевича Теплова в нетрезвом виде, — попал туда нечаянно.

На площади — три примечательные постройки: кирпичная, накрытая ярко-зеленой крышей лавка Ильи Ильича Бабина, напротив нее — церковный дом с палисадником, куда под вечер выходят Иван с попадьей — садятся на лавочку и благодушествуют, и у самой реки, подпертая с заднего фасада сваями, стоит деревянная, в два этажа, облупленная гостиница «Ставрополь», видная издали при въезде в город. Под вечер в гостинице, во втором этаже, в номере с окном на площадь, сидят обычно бывший помещик Дмитрий Дмитриевич Теплов и напротив него, на диване, — его друг Языков, тоже бывший помещик, и пьют водочку. Денег у обоих давно уж нет, и дела тоже нет никакого.

Языков поднимает дрожащей рукой рюмку, медленно выпивает ее и, вздохнув, смотрит на пыльное окошко. У него длинное, грустное, пыльное лицо и подстриженные усики. Он покусывает их и молчит. Говорить не о чем, — все давным-давно переговорено.

Теплов, наваливаясь большим, в пестром жилете, животом на ветхий овальный столик, пытается вызвать друга на разговор. Иногда это удается, иногда Языков так и промолчит весь вечер. Но у Теплова раз и навсегда припасен ядовитый разговорчик, на который друг его никак уж не может промолчать.

Теплов выпивает, — хлопает пташку, — затем, вытянув губы, выдыхает из себя спиртную крепость, закусывает кусочком давно остывшего шнельклопса, разваливается, закинув руку за спинку кресла, и на лице его, полном, с висячим подбородком, с горбатым носом, как у попугая, с выпученными, мешкастыми, серыми глазами, изображается недоумение.

— Скажи, пожалуйста, Коленька, — говорит он гнусая, — все-таки, в конце концов, как ты — женат или не женат?

Языков отвечает через некоторое время басом:

— Женат.

— Вот как? А скажи, пожалуйста, все-таки, в конце концов, где у тебя жена?

— В Москве.

— В каком она театре-то играет, я опять забыл?

— У Корша.

— А как ты думаешь, Коля, прости меня, пожалуйста, ведь она тебе изменяет?

— Вероятно

Теплов ударяет себя по коленкам и крутит головой:

— Эх, жизнь проклятая... Слушай, Коля, — выпьем.

— Выпьем.

В коридоре половой чистит ершиком стекло, зажигает лампу, и желтоватый свет ее ложится в щель приоткрытой двери. Из коридора тянет жареным. Теплов грузно поворачивается к двери.

— Дай срок, — говорит он, — я этому подлецу буфетчику покажу кузькину мать. Эй, Алешка!

По коридору расторопно шаркают вихлястые шаги, и в дверях, весь криво-накосо, появляется половой с подносом под мышкой, в красной рубахе и в разодранном фраке поверх. Теплов тяжело смотрит на него:

— Поди к буфетчику, прикажи подать еще порцию шнельклопса.

— Обойдетесь, — отчетливо говорит Алешка, захватывает грязную тарелку и, уходя, ловко — ногой — прикрывает за собой дверь.

Теплов некоторое время ругает буфетчика и Алешку. Водка выпита. Языков молчит. Теплов начинает врать о том, что он на будущей неделе перепродает наумовского жеребца Ильюшке Бабиной и заработает двести целковых.

— Не веришь? Эх ты, размазня несчастная. Лоботряс, бездельник. Зачем именье прожил?

— Да ведь и ты прожил, — говорит Языков.

— Нет, я не прожил; меня кредиторы съели. А ты чигири какие-то строил. Зачем тебе чигирь понадобился? Вот из-за этого-то

тсби и жена бросила. Как ты смеешь мне не верить, что я жеребца продам!

Он грузно поднимается и идет к двери. Алешка! Ну, что — поговорил буфетчику? Тьфу!

И с шумом захлопывает дверь.

— Давай спать ложиться.

В один из таких вечеров неожиданно было получено письмо от жены Языкова, Ольги, со штемпелем из Кременчуга: «Вот уже пять лет, как мы ничего не слышим друг о друге, и я не получаю от тебя, Николай, ни денег, ни писем. Не знаю, кто в этом виноват. Но мы уже не молоды, нужно научиться прощать друг друга. Напиши — как ты живешь, продолжаешь ли сам хозяйничать, что твой фруктовый сад? За эти годы он стал, наверное, тенистый и чудесный. Я почему-то все вспоминаю мою бывшую комнату, из нее был такой милый вид. Сейчас я играю в Кременчуге».

После этого слова стояла клякса, и все письмо было написано гнутыми вниз рыжими строчками.

Письмо прочли вслух. Языков закрыл ладонью лицо и сидел не двигаясь.

— Ну, как же ты теперь намерен поступить, друг мой? — поговорил Теплов, и тройной подбородок его задрожал. — Пиши: виноват, дорогая, в настоящее время нет у меня больше прелестного сада, и принужден, к сожалению, протягивать руку за милостыней. Так?

— Я не могу ей написать правды, — глухим, страшным голосом ответил Языков, — пусть думает, что я жесток, ревнив, злодей, но не это... Нет, нет! Митя, я тебе никогда не говорил: я продолжаю любить Олю... Ах, Боже мой, Боже мой!

Языков ответил жене сухим письмом, где сослался на чрезвычайную обремененность занятиями по хозяйству и земству, и при письме перевел в Кременчуг пять сот рублей, все, что у него осталось от продажи имения. По совету друга он написал также уездному предводителю, Наумову, предлагая себя в управляющие, но Наумов ему не ответил. Тогда Языков впал в совершенную молчаливость и целыми днями теперь лежал на кровати в номере и думал.

Прошло недели две. Теплов за это время отлучился, — взял с собой шкатулку с картами и уехал, полный надежд, на пароходе в Саратов, и вернулся с заплавленными сизо-лиловыми глазами и без денег, — уверял, что вышло квипрокво. И вот однажды, ночью, когда друзья уже спали, в «Ставрополь» принесли телеграмму:

«Выехала почтовым, целую, Ольга».

Это было как удар в голову. Языков сейчас же оделся и стоял у темного окна. Теплов в ночной рубашке, на кровати, со свечой в руке, перечитывал телеграмму.

— Батюшки мои, — громко прошептал он, — завтра в три часа приезжает. Что же будем делать, а?

Друг его только низко опустил голову.

— Отвечай, идиот несчастный! — заорал Теплов. — Где ты будешь жену принимать — в нашем свинюшнике, да? Греться к тебе после Кременчуга приехала. Лгун бессовестный!

— Не кричи на меня, Митя, — неожиданно твердо проговорил Языков, — я все решил. Ты жену мою завтра встретить и привези ее в гостиницу, в лучший номер. Корми ее, пои и не отходи ни на шаг. Пусть она проживет здесь три дня, отдохнет после Кременчуга. Ты ей деньги достань, Митя, откуда хочешь.

Он повернулся от окна и стиснул руки.

— Ты ее проводи на вокзал с цветами, — она актриса, слышишь...

— Ну, а ты?

— А я, Митя, уйду. Я даже сейчас уйду. Про меня ты скажи ей, что я в уезд уехал по делам, в неизвестном направлении. Митя, не отнимай у меня последнего достоинства.

Он взял картуз и пошел к двери. Теплов кинулся за ним из постели, но запутался в простыне и уронил свечку.

— Остановись! Вернись, тебе говорят!.. Сумасшедший!

В вагоне второго класса, в купе, сидел медно-красный человек в поддевке, с жесткой бородкой, оскаленными от смеха белыми зубами, Илья Бабин. Он был весь мокрый от жары, опирался согнутым указательным пальцем о крутое колено и похохатывал.

Напротив него, на койке, лежала слегка поблекшая, но еще красивая женщина с соломенно-светлыми, высоко взбитыми волосами, в шелковом, персикового цвета, плаще, со множеством видных отовсюду кружев. Пухленькими пальцами, на которых постукивали огромные перстни, она играла цепью от лорнета, вытягивая капризно губы, и говорила:

— Ах, эти вечные проводы, вечные встречи! В Кременчуге меня принимали, молодежь хотела выпрячь лошадей, но один местный богач отбил меня у них и умчал в автомобиле.

Илья Бабин слушал и похохатывал. Дама ему нравилась, но очень была смешна: носик вздернутый, на щеках наведен, точно на яблоке, круглый румянец, глазами она такое выделявала, что — не приведи Бог, и все у нее не настоящее, — перстней хотя и много, но грош им цена: все медные, со стекляшками, лорнетка без стекол, кружева — как на кукольных юбках.

— Огни сцены, цветы, поклонники, ужины — надоело. Устала, еду к мужу, — говорила она, охорашиваясь, то одергивала юбку, то плащ тянула на плечо. — Какие вы все странные: «Актриса, актриса!» — но я тоже человек, уверяю вас. Я обожаю природу, ах, — пробежаться по росе босиком — вот мечта. У нас с мужем были странные отношения, он меня ревновал, как мавр. Боже, я не святая! Мы пять лет не видались. Скажите, вы его знаете? Ну? Какой он стал за эти годы?

Илья Бабин еще веселее рассмеялся.

— Фу, какой вы противный! А как его дела? Нет, я серьезно спрашиваю.

— Дела — как сажа бела...

«Пускай, пускай разлетится к муженьку, — весело думал Бабин, — досыта нахохочемся».

И сказал, вытирая ребром руки мокрые глаза:

— Погостите у муженька, потом к нам на хутор пожалуйста, у меня тройки и шампанское, чего душа просит.

Ольга Языкова покачала головой, задумалась, потом, улыбаясь иронично, сказала:

— Голова кругом идет, как подумаешь: визиты приемы, праздники; у мужа моего — весь уезд родня. Ах, и не говорите мне о светской жизни. А соскучусь приеду к вам на хутор.

Закрыв рот, она засмеялась тихим, грудным смехом, подбородок ее задрожал. Бабин внимательно посмотрел на нее, и ноздри его андрожали.

Огромное ржаное поле перед железнодорожной станцией, измятое ветром, ходило желто-зелеными волнами, шуршало колосом, веяло горчичью повилики и медовым запахом на межах мотающейся желтой пыли. Над полем, невидимо, точно комочки солнечного света, залились жаворонки жаркими голосами. В палисаднике станции шумели висячими ветвями большая береза, и ветром отдувало куций ирусиновый пиджачок Дмитрия Дмитриевича Теплова, неподвижно стоящего на перроне. Он глядел, щурясь на плавно изгибающуюся в ржаных полях красноватую ленту пути, и поправлял на голове дворникскую фуражку. Позади, на лавочке, на солнцепеке, сидел сонный начальник станции с таким животом, что на нем не застегивалась фирменная тужурка. Вглядываясь, Теплов, наконец, чихнул.

— Господи, прости, — пробормотал он, еще раз чихая, — спичку в нос. А что же поезд?

— Придет, — сладко, с хрипом зевая, сказал начальник станции.

И действительно, далеко у горизонта, где волнами ходил жар, появилось облачко дыма. Долетел протяжный свист.

Теплов, обернувшись, крикнул буфетчику:

— Бутылку донского, живо!

И вот, все увеличиваясь и свистя, напирая горячей грудью воздух, появился голенастый локомотив, замелькали окна вагонов, ударили в колокол.

Ольга Языкова, сходя с площадки вагона, выдернула руку свою из руки Бабина.

— Пустите, я на вас рассержусь наконец, — прошептала она горлопыто, прыгнула на перрон и ахнула.

Шаркая со всей силой ногами по асфальту, налетел на нее Теплов с отнесенной в сторону фуражкой. Позади него делал какие-то неопределенные жесты, широко улыбался начальник стан-

ции. Подбежал буфетный мальчишка со звенящими на подносе бокалами.

— Это так неожиданно... Я так тронута... Я не знала, что моя скромная известность докатилась до ваших мест, — говорила Ольга Языкова, беря бокал рукою в перчатке.

— Господа, еще раз — уррра! — захлебываясь, завопил Теплов и закрутил над головой фуражкой.

Когда затем, посаженная в тарантас, Ольга Языкова спохватилась и спросила про мужа, Теплов ответил, прямо глядя ей в глаза выкаченными, остекленевшими от подагры глазами:

— Николай уехал в уезд до получения от вас известия, и в неизвестном направлении.

В «Ставрополе» Языковой был отведен лучший номер внизу, окнами на площадь. Теплов позаботился и об угощении: на столике перед плюшевым диваном кипел самовар, стояли тарелки с едой и бутылка донского шампанского. Но Языкова, бросив шляпу с вуалью на подзеркальник, с видимым неудовольствием оглядывала лопнувшие обои, кумачовые ширмочки, помятый вонючий умывальник, бумажную розу, воткнутую сверху в ламповое стекло. Теплов вертелся около, стараясь обратить внимание актрисы на еду.

— А это что за ужас?! — спросила, наконец, Языкова, останавливаясь у окна.

Теплов деликатно коротким мизинчиком стал указывать на достопримечательности:

— Вот то — лавка местного богача Бабина. Это домик батюшки. А вот торчит — пожарная каланча.

— Нет, я спрашиваю — это что? — сквозь зубы спросила Языкова, кивая на лужу, где рылись свиньи.

— Озерцо. Городское хозяйство предполагает обсадить его деревьями и зимой устроить каток. Вы, может быть, присядете, Ольга Семеновна, откушаете?

Ольга Языкова села на диванчик, откушала чашечку чаю и опять задумалась. Зато Теплов приналег на еду и на вино и развеселился.

— Вспомните слова поэта, — воскликнул он, прижимая к груди руку с вилкой, — лови момент. Оставьте задумчивость, выпейте винца. Ей-богу, жить на свете недурно.

— Где мой муж, я хочу знать? — мрачно спросила Языкова.

— Солнышко, да любит, любит он вас... Ей-богу в уезд уехал. Я уж за ним и верховых разослал. Найдется, прилетит... Ах, милая вы наша... Вы луч, можно сказать, упавший в болото... Ведь мы в грязи живем, как поросята... Ну... Пью за искусство, за мечту.

— Я желаю знать, почему вы привезли меня в эту мерзкую гостиницу, а не прямо на усадьбу, в наш дом?

— Да ведь дом-то сторел, Богом клянусь... Николай думает строить новый. Моя, говорит, жена артистка, ей нужен дом с ко-

линиями, храм. Через всю, говорит, спальню пушу трельяж с ползучими розами. Так, бывало, размечтаемся с Коленькой, — и все мы, наша красота, в мечтах... Ольга Семеновна, не побрезгуйте, поживите с нами денька три, потом мы вас с цветами в Москву проводим.

— То есть — почему это только три дня? — с тревогой спросила Языкова. — Я не намерена отсюда уезжать: я бросила сцену и приехала к мужу навсегда.

Теплов глядел на актрису выкаченными глазами, у него даже щеки вдруг отвисли.

— Это невозможно, — хрипло сказал он.

Языкова быстро поднялась с дивана и крикнула отчаянным голосом:

— Я знала, что вы от меня что-то скрываете. Николай всю жизнь отвратительно поступал со мной. За два года прислал пятьсот рублей! Актриса, актриса. А вы знаете, что такое актриса? Прошлым летом я в Козьмодемьянске привидение играла и, когда в люк проваливалась, так треснулась головой, что я Николаю этого люка никогда не забуду. А рожать в холодной гостинице вы пробовали? А вы знаете — сколько стоит пара панталон для офицерского фарса? Николай должен меня кормить, я устала. Вот, полюбуйтесь, — дрожащими руками она раскрыла сумочку и вышмырнула на стол из нее несколько серебряных монет, — вот все, что осталось, считайте...

Ольга Семеновна опять упала на диван, закрылась руками и зарыдала глухо, как дети плачут в чулане. Теплов отер со лба холодный пот. Что угодно, но слез он боялся пуще всего.

— Мы это как-нибудь устроим, ради Бога, — пробормотал он, пятась на цыпочках к двери.

Из гостиницы Теплов пошел прямо к Бабину через площадь. Были сумерки. Около каланчи зажгли керосиновый фонарь, и свет его отражался в луже. У батюшки, сквозь герань на окнах, было видно, как собирали ужинать. За городом в огромных тучах догорал тусклый закат. Ухали, ахали многие миллионы лягушек по всей реке. У Теплова сжалось сердце: «Вот глушь. Вот тоска».

— Что, брат, нос повесил? — позвал его насмешливый голос Бабина. Он стоял у ворот, в расстегнутой поддевке, в бобровой, небскрень, шапке, руки заложил за шнур, высоко перепоясанный по шелковой рубахе.

— Вот я насчет чего, Илья Ильич, — Колина жена, актриса, удивительный талант, театры ее прямо на части рвут, и представь — кипрокво: собираясь в дорогу, деньги и драгоценности положила в багаж, а его взяли да и отправили на Харьков, — дня через три придет. А пока одолжи рублей четырехста, — в самом деле...

Бабин громко рассмеялся:

— Ну и штукар! А куда же ты мужа-то ее спрятал?

— Ну, на речке, на мосту сидит. Мы решили наше положение скрыть. Дай деньги, пожалуйста

Но дать деньги Бабин отказался наотрез. Видимо, он собирался идти в гостиницу, но, узнав, что актриса плачет, сказал, что явится завтра, после обедни, двинул шапку на брови и шагнул в калитку, за которой зазвенели цепями, захрипели от ярости знаменитые бабинские кобели.

Теплов постоял у ворот, плюнул и пошел через площадь. Внизу, у реки, темными очертаниями стояли осокори, под ногами чмокала грязь, пахло крапивой, болотной гнилью и мокрыми досками. Лягушки ухали теперь во весь голос, квакали, булькали, стонали. Кое-где за рекой невыразимо тоскливо желтел свет в окошечках. На мосту, у перил, стояла согнутая фигура Языкова, — казалось, он внимательно слушал лягушье пение.

— Иди к ней сам, вались в ноги, объясняй, как хочешь. Ну вас всех к черту! — подходя, с раздражением проговорил Теплов и, вглядываясь в бледное, как полотно, лицо друга, увидел, что оно все в слезах.

— Ну, как же ты встретил Оленьку? — спросил Языков, вытирая глаза. — А меня, знаешь, лягушки очень расстроили.

В сумерки Ольга Семеновна опустила шторы, зажгла свечу, разделась и, присев на постель и поглаживая бока, уставшие от корсета, вдруг изнемогла, уронила голову.

Она получила в Кременчуге пятьсот рублей от мужа и за все эти двенадцать лет на одну минуточку тогда задумалась внимательно — и вдруг со злорадным отчаянием поняла, что она скверная и пошлая актриса, что ей тридцать пять лет, что больше надеяться не на что. В тот день она рассказала своим товарищам по сцене, что муж ее, богатый помещик, вот уже пять лет зовет ее вернуться к обязанностям жены и светской женщины.

Актеры и она сама поверили этому. Ольга Семеновна заплатила неустойку антрепренеру, продала туалеты, — часть денег сейчас же взяли у нее взаймы, остальные куда-то делись, — устроила прощальный ужин, расплакалась, прощаясь навсегда с театром, и уехала, и вот она сидит на железной жесткой постели в затхлом номерке, мигает свеча в позеленевшем подсвечнике, за обоями шуршат тараканы. Сидит одна, мужа нет, и весь сегодняшний день — непонятный, тревожный, зловещий...

Ольга Семеновна поежилась от холодка, влезла под одеяло и поджала ноги. Несмотря на природное легкомыслие, заснуть все-таки она не могла. Вдруг за окном раздались сдавленные торопливые голоса: «Не пушу!..» — «Пусти руки!..» — «Не пушу!..» — «Убью, пусти руки!..»

Ольга Семеновна села на постели. С отчаянно бьющимся сердцем она различала, что — один голос был Бабина, другой чей-то страшно знакомый.

В это время рванули ставню, и мимо окна прокатились два человека. Минуту спустя послышался скрип половиц в коридоре. Шаги приблизились. Несколько раз, осторожно, повернул кто-то лифтную ручку. Ольга Семеновна сидела не двигаясь, в ужасе.

Дверь приоткрылась, и в ней появился Николай Языков. Он был в драповом пальто с поднятым воротником и без шапки. Рот — черный, глаза побелевшие, безумные. Ольга Семеновна поднесла ладони к щекам и втянула голову в плечи.

— Николай, это вы? — стуча зубами, прошептала она.

Языков хотел что-то сказать, но только облизнул запекшиеся губы, отделился от двери, подошел, — от него как от утопленника, нахло болотом, — и опустил, наконец, зажмурил нестерпимо горящие глаза.

— Оля, — проговорил он, едва ворочая языком, — я на минутку, притихнуть... Ухожу. — Ледяными пальцами он взял ее руку, лицо его все сморщилось, затряслось. Он опустил ее руку, отвернулся и вышел. И только тогда, когда шаги его затихли и хлопнула наружная дверь Ольга Семеновна начала кричать, затыкая рот подушкой. Потом соскочила с кровати и заперла дверь на ключ.

Теплов в это время бежал за реку к старухе закладчице, прикинулся сжечь ее живьем вместе с лавчонкой, но вернулся без денег. Языкова он не нашел ни в гостинице, ни на мосту, покричал было его, но слишком уж все получилось скверно, и решил просто — лечь спать.

Из-за осокорей поднялся тускло-оранжевый шар луны, и отблеск ее лег на черную воду. Было душно и сыро. Теплов повернул с моста напрямик через лопухи и у дощатой высокой стены гостиницы, на которую падал лунный свет, между сваями, подпирающими задний фасад, увидел Николая Языкова. Он сидел, положив на поднятые колени локоть и уткнув в него лицо.

— Что, Коля, говорил с женой? — спросил Теплов, взбираясь по откосу. — Что она?.. Ну, ну, не стони, не буду, не буду. — Выдохнув, он сел рядом с ним. — Какая она милая, красивая, прелестная женщина... Знаешь, Коленька, пойдем домой, водочки выпьем, а то — простудишься на сырой траве. Завтра мы непременно что-нибудь придумаем. Можно тебе, например, сделаться кемским начальником. Честное слово, — замечательная идея. Три тысячи жалованья, казенная квартира, свое маленькое хозяйство... А я вас такие научу селянки делать — язык проглотишь. Слушай, — по вечерам твоя жена будет нам что-нибудь декламировать. Лампа горит, тепло, уютно... А тут как раз тетка какая-нибудь умрет, получишь огромное наследство.

— Живот болит, — сквозь стиснутые зубы проговорил Языков.

Теплов заботливо наклонился к нему:

— Ты не ел, что ли? Коля, что с тобой? Николай, отвечай... Что это у тебя? Отдай!.. — Теплов вытащил из стиснутой и по-

холодевшей руки друга старый дуэльный пистолет. Он был весь липкий. Языков, часто, часто вздыхая, как собака во сне, повалился набок и поджал колени к самому подбородку. Теплов отполз от него, поднялся и, уже не помня себя, закричал: — Спасите!

Но на его крик в темном спящем городке только брехнула где-то собака да за рекой сонно и успокоительно застучал в деревянную колотушку ночной сторож.

Илья Бабин сидел у себя, в горнице, на жестком диване и пил донское шампанское. Брови у него перекосило, после давешней драки на щеке осталась багровая царапина. Постукивая пальцами по столу, он мутно глядел на фотографический портрет тятеньки, висевший на стене: «Ну и скука!»

Вдруг в ворота раздался отчаянный стук. Рванулись на цепях, завyli кобели. Бабин кинулся к окну, но ночь была темна. Он надел шапку и пошел отворять.

Через минуту в горницу, впереди Бабина, вбежала Ольга Языкова. Она была в рубашке, завернута вверх в клетчатое одеяло, и на растерзанных ее волосах была надвинута вчерашняя ярко-красная шляпа с черными страусовыми перьями. Ольга Семеновна остановилась, стуча зубами, повернулась к Бабину, подняла голову, сложила под одеялом руки.

— Он застрелился, спасите меня, ради Бога, — сквозь дробь зубов прошептала она, — я погибаю, у меня ничего нет, я боюсь!..
Делайте со мной все, что угодно.

Бабин провел большой ладонью по лицу своему, решительно подошел к столику, взял бутылку и стакан, вышвырнул то и другое в раскрытое окошко и оправил вязаную скатереточку.

— Здесь вам будет чисто, располагайтесь, живите, сколько душе угодно... Мы не звери, — сдвинув брови, сурово проговорил он, — мой дом — ваш дом. Сейчас бабу вам позову.

Он вышел и крикнул за стеной:

— Матрена, продери глаза-то, иди в горницу, там барыня плачет. Да самовар поставишь. На — ключи.

Затем Ольга Семеновна видела, как Бабин с фонарем зашагал через площадь к гостинице.

Ольга Семеновна уронила голову. Страусовое перо повисло у нее перед лицом. Тогда с омерзением она содрала с себя шляпу и швырнула ее на пол, под диван. Вошла молодая круглолицая баба, жалостливо улыбаясь.

СВАТОВСТВО

1

Лизавета Ивановна сидела у окна за рабочим столиком с вязаньем в руках и, постукивая костяными спицами, говорила ровным своим, надоедным голосом:

— Вот хотя бы Шабалова, хорошая женщина — сказать нечего, и и не могу ее терпеть. Все-то у нее куры да индюшки на уме, нет другого разговора... «А сколько у вас, Лизавета Ивановна, матушка, гусей родилось?» «Двадцать»... Что ж из того, двадцать — так двадцать, а она молчит полчаса. «У меня ныне тридцать один гусь», — скажет и вздохнет, будто сама тридцать одного гуся снесла. Нет, друг мой Миша, — вынув спицу и мельком взглянув на сына, продолжала Лизавета Ивановна, — небольшие мы с тобой помещики, а дворяне... Как-то... Я не говорю, чтобы зазнаваться нужно — для этого купилوک нет, а так на ночь, помолившись Богу, и шепни в подушку: слава тебе, Создатель, что родил меня дворянином. Что же ты, Миша, молчишь, понять меня не можешь, — голова у тебя дурацкая?

Действительно, голова у Миши, или Михайлы Михайловича Камышина, была в виде огурца — кверху уже. Брови — белые, ресницы и жидкие волосы, как лен, зато толстые щеки и губы, которые Лизавета Ивановна звала не иначе как шлепанцы, краснели от здоровья...

Миша глядел на тарелку с бумажкой, где мерли мухи, слушал недосыдные слова маменьки и молчал, обиженно поджав рот...

— Дуралей ты, дуралей, — продолжала Лизавета Ивановна, — третий раз тебе говорю — поди посмотри свинью, — всех поросят сожрет.

— Меня, маменька, тошнит, когда свинья поросится, — ответил Миша мяукающим голосом, — у меня так голова болит...

Лизавета Ивановна обеими руками гневно ударила вязанье о рабочий стол и, раскрыв круглые глаза, которые были светло-голубые, как у галки, угрожающе протянула:

— Миша!..

Миша встал и, повернувшись к маменьке спиной, замечательной тем, что внизу была она мясистая, как у женщины, ушел...

«В кого у него зад такой, — думала Лизавета Ивановна, — у дедушки Павла был громадный живот, должно быть, перепуталось».

Миша зажег железный фонарь и вышел на крыльцо. От оттаявшей в конце апреля земли шел густой и душистый запах. Позади дома глухо шумели ветлы; далеко гудела внешняя вода в овраге. В синих сумерках еле видны были строения, крытые соломой, шест колодца и перевернутая телега. Мычала корова, хотела пить. Шлепая по грязи, подошел к Мише пес, ткнул холодным носом в руку.

Миша поднял фонарь и, осторожно обходя лужи, освещенные желтым кругом свечи, пошел к закуске.

«Тепло, — думал Миша, — мороза не будет. Маменька небось в кресле сидит, а я по грязи шлепай; все панталоны замажешь; что это за жизнь такая! Дворянский сын! Я бы показал, как живет дворянский сын».

Миша вдруг остановился в волнении. Всю зиму ему хотелось жениться, а с весною стало невмочь.

«Извела меня маменька своими разговорами, не могу больше так жить...»

И, вздохнув громко, отчего шедший сзади пес зарычал, Миша отворил дверь хлева.

В теплой закутке лежала на боку белая толстая свинья; увидав свет, она сердито подняла морду и взвизгнула. Миша присел около и в лукошко, на солому, положил двух только что рожденных поросят... Ухо свиньи начало двигаться, по телу пробежали судороги; она опять опоросилась.

Свинья была молодая, и Лизавета Ивановна боялась, как бы она не сожрала приплод, и велела Мише ударять свинью кнутиком, если вздумает трогать поросяточек.

Миша, сидя на корточках с кнутом в руке, брезгливо морщился, моргал светлыми ресницами, думал:

«Мамаша нарочно меня унижает, какой мне интерес на свинью смотреть... Вот пойти бы да сказать маменьке — идите сами в хлев, а я лучше в кресле тихо посижу».

Миша немного утешился, представив себе Лизавету Ивановну с кнутиком, на корточках, и, взяв на руки поросенка, сосавшего палец, умилился...

«Свинье уютно, — у нее дети, у всякой скотины дети, а мне одному холодно, не к кому прижаться...»

Миша любил меланхолию и теперь, чувствуя в горле слезы, радовался своей чувствительности. Положив всех поросят в лукошко, он вытер руки о шерсть свиньи и пошел в дом, обиженно опустив губы.

В столовой кипел самовар, горела висячая лампа. Лизавета Ивановна на углу стола раскладывала пасьянс.

— Ну? — спросила она, не поднимая головы.

Миша вздохнул:

— Десять. Эх, маменька...

Что, дуралей?

— Какой я дуралей? — воскликнул Миша сердито, но под взглядом матери смирился. — Была бы у меня жена... не звала бы дуралеем, — добавил он тихо.

Лизавета Ивановна положила колоду и, облокотясь, стала глядеть на сына. Миша пил чай и ел, сопя носом. Самовар пел тоненько.

— Гостей зазывает! — молвила Лизавета Ивановна, оканчивая нить своих мыслей, взяла колоду и разложила «большого слона».

С этого вечера Миша все время думал о женитьбе, воображая себя отцом маленьких, многочисленных детей. Матери он начал грубить.

Однажды Лизавета Ивановна сказала:

— Поросята подросли, отвези-ка пару Павала-Шимковскому, он любит йоркшир. Да не растряси дорогой... Вот ведь, хороший, выжется, человек Павала, а детей распустил, срамота. Я всегда помню, не давай детям воли.

Миша приоделся, сам выбрал двух лучших поросят, посадил их в мешок, положил его под козлы в тележку и на гнедом мерине поехал в село Марьевку, где земским начальником служил Павала Шимковский, живя с дочкой Катенькой и сыном Алексеем.

2

В крытых, вдоль дворовой стены, сенях и на крыльце стояли мужики, — здешние и из дальних деревень, — и с утра ожидали прихода земского начальника. Мужики пришли насчет податей и шумели. Иных вызывали по повесткам для судебного разбирательства, стояли они в сенях без шапок. Мальчик в синей рубашке, с оловянным крестиком на толстом шнурке и в новых валенках, ходил то в дом, то к мужикам, отбирая повестки. Его спрашивали: «Что барин-то — все спит?» — «Спит, он я тебе сто раз говорил — спит», — отвечал мальчишка.

— Ох, Господи, — вздыхает рябой мужик, — мы, пестравские, с утра не евши.

— Все спит, — отвечает ему статный крестьянин с курчавой бородой, с серьгой в ухе, — все спит. Давеча я приходил, — что барин? Спит еще, говорят. Теперь прихожу, — он, говорят, опять спит... Ну, ну.

— Теперь спать не полагается, — громко заговорил, протискиваясь к ним, черный и злой крестьянин, Назар, — теперь закон — свобода.

— Это правильно, — ответил лысый мужик, — наш барин околицу стал затворять на замок, — ездят, говорит, кругом. Хорошо. Мы ему говорим: теперь околицу запирать не полагается, теперь свобода. А он по морде бить. Околицу мы поломали. Мы разве бунтуем, мы насчет дороги... Нам без дороги нельзя.

— В одно слово, — говорил красивый мужик с серьгой, — ленив к нам худощавый человек приходил, все яйца ел сырые, попилит и съест. Собрал сход и говорит: «Помещик вами пользуется,

жиреет, а вы без земли». Хорошо так рассказывал, только все прибавлял: «благодаря тому» да «благодаря тому», так и не поняли, за что благодарит...

В сенях мужики задвигались и замолкли; вышел Алексей и тихим голосом, заикаясь и вытягивая жилистую шею, проговорил:
— Подождать придется, мужички, до вечера, — папа спит...

Мужички разглядывали его молча, как диковину. Без усов и бороды, зеленое, обтянутое лицо Алексея было все в морщинах, словно истомленное тайным недугом, страдальческие глаза глядели жалобно, как у больного щенка.

Алексей нырнул шеей и, с усилием вытянув губы, добавил:

— Так вы подождите.

Мужики, насмотревшись и решив, что раз это барский сын, то может быть чудачком каким угодно, сразу зашумели:

— Нам ждать нельзя, у нас лошади не кормлены, сами есть хотим. Что за порядки — деньги принесли, а он не берет... Разбудить его. Потом отоспится... Будить его, ребята, будить...

— Как хотите, — говорил Алексей ближайшим к нему мужикам, — я бы сам, конечно...

— Идем, ребята, — покрывая все голоса, закричал Назар, — разбудим его. Что стали, напирай!

Мужики все сразу заговорили и двинулись к сеням, тесня Алексея; Назар, протискиваясь, взялся за скобу двери, но дверь распахнулась сама, и на пороге появилась полная девушка небольшого роста, красивая русской красотой, насмешливой и ленивой...

— Молчать! — сказала она. — Это что еще такое!

Узкие брови ее сдвинулись. На круглой белой щеке чернела маленькая мушка.

Мужики сняли шапки, девушка спросила сурово:

— Что вам надо? Деньги принесли?

— Мы к его милости — нельзя ли доложить? Тяжело нам, рабочее время...

— Отец примет ночью, а я, если хотите, сейчас. Эй, Степка, — крикнула девушка, — вызывай очередных...

Она закрыла дверь, и мальчик в валенках закричал тонким голоском:

— Петр Терентьев Карнаушкин Сизов!

— Здесь, — торопливо ответил красивый мужик с серьгой и, встряхнув блестящими от коровьего масла волосами, вошел в дом.

Тем временем Михайла Михайлович Камышин, потряхиваясь в дребезжащей тележке по горбатым доскам моста через глинистую реку Марью, въехал в село и, завидя зеленый купол церкви, перекрестился, не теряя достоинства, то есть помахал пальцами между подбородком и животом.

Всю дорогу представлял себе Миша, как лихо проедет по селу и все скажут: «Вон камышинский помещик». Но больше всего хо-

елось ему, чтобы так воскликнула дочь земского начальника: о ней Миша много думал, лежа в постели, хотя видал ее не часто.

Миша нахлестал мерина и, распугивая кур, сопровождаемый лаяющей собакой, подкатил по площади к крыльцу Павала-Шимковского и скосил глаза на окно с кисейной занавеской.

Маленькая ручка приподняла занавеску. К стеклу придвинулась женская голова...

«Она, — подумал Миша и поскорее отвернулся, — а я, Господи, в пыли, нос, наверное, не чист...»

Ворота otvorил мальчик в валенках, и, бросив ему вожжи, Миша взшел на крыльцо, где, склонив головы в круг, что-то рассматривали крестьяне.

— Пропусти-ка, милейший, — важно сказал Миша, указательным пальцем нажав плечо загораживавшему дорогу мужику.

Мужик оглянулся, посторонился и сказал:

— Да ты прочти, Сизов...

— Я неграмотный; я отдал ей платежных шестнадцать рублей, млучил фитанец.

— Вот, барин, прочитайте, мы тут не разберем, — обратился к Мише тот же мужик.

— Сомневаемся мы, — сказал Назар громко.

Миша брезгливо, так же как тогда в хлеву, улыбнулся и поднес к близоруким глазам клочок бумаги.

— «Получила от Петра Терентьева Карнаушкина Сизова долг шестнадцать рублей, Екатерина», — прочел он.

— Правильно, — кивая радостно головой и улыбаясь, сказал Сизов, — это я самый...

Степка выкрикнул следующего недоимщика, а Миша, отерев лицо, вошел в дом за мальчиком, который сказал:

— Не сюда, направо, в гостиную пожалуйста.

3

Войдя в длинную, с лопнувшими коричневыми обоями комнату, где вдоль одной стены стояли венские стулья, у другой — ломберный стол и лампа, накрытая вязаным колпачком, где засиженные окна были полны мух, Миша обернулся и поклонился сидящему в высоком кресле у стола сутулому старику.

На старике был надет серый капот, продранный на локтях, на шее красный платок. Когда он обернул к вошедшему узкое, давно не бритое, с крючковатым носом лицо, Миша еще раз поклонился, отбегав от пристальных, устремленных на него, зеленых глаз.

— Что надо? — спросил старик шепотом.

— Мамаша прислала вам пару поросят... Лизавета Ивановна...

— Поросят, — прошептал старик Павала, и глупая улыбка растянула присохшие к беззубым деснам его губы, — Лизавета Ивановна, помню, помню и люблю вашу мамашу, садитесь, молодой человек.

Тощей рукой Павала запахнул халат и указал Мише на стул...
— А я кашку ем, — продолжал он, еще раз запахиваясь, — устаю от дел...

Придав глазам строгое выражение, Павала пододвинул к себе синюю кастрюльку и стал ложкой размешивать манную кашку.

— Хитрая штука хорошо сварить кашку, — продолжал он, — одна Катенька моя только и умеет. Нужно, чтобы кашка была не слишком густа и не слишком жидкая, молоко нужно сначала хорошенько истопить, да чтоб оно не подгорело, а изюм мочить всю ночь в мадере...

Павала положил в рот ложку каши и, закрыв глаза, начал часто пережевывать ее беззубым ртом, причем конец сухого его носа тоже двигался.

Миша так засмотрелся на Павалу, что из угла губы пустил слюну, подхлебнул, покраснев, а старик открыл глаза и проговорил:

— Вашей матушки дело у меня есть, тяжба с мужиками... разберем, разберем... Я, молодой человек, старого закала, я мужика знаю, он всегда виноват. Вор он, пьяница, в церковь не ходит, жалуется, что попы плохи... А сами друг у дружки снопы воруют. А помещицу Чембулатову сожгли и лошадям ее ноги перебили.

Павала, не в силах громко говорить, захрипел и, выкатив глаза, стал дергать шейный платок.

— Папаша, нельзя волноваться! — проговорила, входя, Катенька и улыбнулась Мише.

Он поднялся. Девушка протянула ему пухлую маленькую руку:

— Я вас в окно увидала... Давно у нас не были.

Нагнувшись к Мишиному уху, словно близко знакомая, она шепнула, повела выпуклыми своими, блестящими глазами на отца:

— Не волнуйте его...

— Лизаветы Ивановны сынок, — сказал Павала-Шимковский, — как вас зовут-то?

— Миша, — подсказал Миша и тотчас добавил: — Михаил-с.

За стеной в это время послышались голоса, и Катенька поспешно подошла к двери, прихрамывая. От этого еще милее показалась она Мише. Павала же, повернувшись на шум, заорал, к изумлению Миши, басом:

— Гони их к черту, Катя! Алешка!

Голоса за дверью усиливались, и слышно было, как кричал Назар:

— Разве это порядки! Мы деньги платим, а она нам фитанец не выдает... Разве это фитанец? Цигарку свернуть...

— Дурак, — сказала Катенька тихо. — Куда же это старшина провалился?

Внезапно шум затих, и густой, спокойный голос вразумительно произнес:

— Чего шумите... шумите-то с чего? Какой фитанец, покажи?... Самый истинный... А зачем тебе печать? Да ты за грудь не хватай! Эй! десятники!..

Возня и шум усиливались. Затем мужики затопали ногами, расходясь, — громко бранились.

В комнату вошел, без шапки, кланяясь, коренастый мужик с черной бородой, в синем кафтане, с глазами чистыми, как цветным, — старшина Евдоким Лаптев.

— Здравия желаем, — сказал старшина, провел широкой рукой по бороде и усам, словно прогоняя улыбку, и крепко стал на кожистых ногах.

— Бунтует общество... — сказал он, не в силах, наконец, сдержать улыбки.

Павала, подняв голову, прищурился; Евдоким продолжал:

— По ихнему расчету, приходится податей по девяти рублей, да недоимок три, а начальник, мол, требует шестнадцать. Что с ними поделаешь... Я говорил, что начальство лучше их знает... Да еще в фитанцах сомневаются...

— Бунт... — прошептал Павала, багровея так, что на лбу налились жилы. — Бунтовать!.. За стражниками послать...

Он подпрыгнул в кресле, протянул над столом костлявые руки. Потом вдруг сел, успокоился и посмотрел на кашку.

Евдоким вздохнул.

— Слушаю-с...

Катенька, прихрамывая, подошла к Мише, тронула его за руку и улыбнулась опять, еще слаще:

— Пройдемте в сад, папа о делах будет говорить.

То, что Катенька называла садом, был огород, где рос крыжовник и малина и около плетня раскинула плакучие ветви старая ветла.

Миша, глядя на Катенькину округлую спину, потряхивающуюся на ходу и припадающую чуть-чуть, в розовом с бантиками платье, краснел и бледнел от волнения, вытирал украдкой пот с лица. Проходя мимо своей тележки, он вытряхнул из мешка завизжавших поросят. Катенька обернулась с улыбкой. Наклонила набок плечу, сказала «тегсі» и отворила калитку в огород.

— У нас много будет крыжовника этим летом, — сказала она, пристально глядя на ветлу, — а у вас есть крыжовник? — И, гисно стиснув брови, топнула ногой.

— Да, маменька любит крыжовник, — ответил Миша, с изумлением глядя туда же, куда глядела девушка.

Под ветлой, лицом к плетню и голому выгону, сидел, подперев обе щеки кулаками, Алексей; грудь его вздрагивала и по впалым щекам текли слезы.

— Алеша, — позвала Катенька, — ты опять?

Алексей вздрогнул, но не обернулся; обтерев ладонями глаза и щеки, он сказал тонким голосом:

— Скучно мне очень, надоело...

Катенька усмехнулась. Поправляя на полной груди низко вырезанный ворот, объяснила Мише:

— Больной он, пить ему ни капли нельзя давать. Вот и плачет от скуки...

— Поле какое голое, — продолжал Алексей, — ничего нет интересного.

— Поди насчет чая похлопочи, — перебила его Катенька и, взяв Мишу за руку, повела в глубь огорода, где в густой лебедь стояла скамья.

— У нас в Марьевке огород да поле, — зашебетала девушка, близко сядя около Миши, — а весело только во время ярмарки... Вот вы счастливый, у вас все есть, к соседям можно ездить, а нас никто не приглашает...

— Приезжайте к нам... Непременно... Ну, пожалуйста, — сказал Миша, покраснел и, вспомнив о Лизавете Ивановне, решил: «Пусть ругается, что же, не могу я, в самом деле, гостей угощать?»

— А я приеду, — близко наклонясь и глядя в глаза, протянула Катенька. — Вы рады будете?

— Я-то... конечно...

Катенька заморгала ресницами и, грустно склонив голову, коснулась ею Мишиного плеча.

— Любить как хочется, Михайло Михайлович.

Миша тотчас же вспотел, с ужасом и восторгом глядя на близкую от его губ белую щеку с мушкой... Грудь девушки часто поднималась. От нее пахло теплой прелестью.

«Вот оно, — подумал Миша, словно проваливаясь, — дождался...»

Катенька медленно подняла веки затуманенных своих серых глаз, полураскрыла рот, придвинулась и, внезапно оттолкнув Мишу, проговорила глухим голосом:

— Что я делаю, вы Бог знает за кого меня примете...

А Миша только растерянно улыбался и мял Катенькину руку в потных ладонях...

— Довольно! — Катенька встала, поправляя волосы, оглянулась на калитку и, вдруг взяв Мишу за плечи, с невыразимой нежностью сказала: — Милый мой! — громко поцеловала в щеку, оттолкнула его и побежала...

— Послушайте! послушайте! — завопил Миша, ослепнув и хватая ускользящую со смехом Катеньку...

Он прикладывал руки к груди, и толстое лицо его расплылось, как у поросенка, нащупавшего, наконец, губами родимую грудь.

4

Катенька как будто рассердилась на высказанные Мише чувства и стояла, обрывая цветок; рябая девка отворила калитку огорода, почесала волосы под платком и сказала:

— Идите чай хлебать!

Катенька обернулась, сорвала ягоду крыжовника, воскликнула: «Ах, какое гнездышко в крыжовнике», раздвинула ветки и, оцарапав палец, поднесла его ко рту.

Миша взял ее за этот палец, потянул, что-то бормоча; она ударила его веткой, и он, блаженно улыбаясь, пошел за нею в дом. Сели за чайный стол.

Поцелуй был, как солнце, сразу осветивший все вокруг, и, как солнце, была сама Катенька, розовая и нежная. Она предлагала чай, то варенье... Усмехалась. А родинка, родинка!..

Всечером Миша уехал и долго оглядывался на милый дом Павлы-Шимковского и на крыльцо, где махала Катенька носовым платком.

В поле, среди зеленых хлебов, Мишу застала звездная ночь и крики невидимых перепелов.

Не шибко, похрапывая, бежала лошадь; Миша, запрокинувшись, глядел на небо. Радость кружила голову, он шептал:

— Господи, как хорошо!

Катенька со всеми своими бантиками, полными ручками, с мушкой на щеке, представлялась как сон, и только выпуклые глаза ее глядели отовсюду — между звезд, из темных зеленей, из-под покачивающейся над горизонтом дуги бегущего коня.

— Катенька, Катенька... — шептал Миша и вдруг запел диким голосом на всю степь какие-то несурзные слова.

И так пел, улыбался и плакал, пока лошадь не завезла тележку и овраг.

— Только бы не отказала, — говорил Миша, вытаскивая из грязи задние колеса, — согласилась бы выйти за меня замуж.

«Спать пора!» — закричал перепел на горке.

«Трк... — ответил коростель из сырой лощины. — Трк...»

Миша выпрямил спину, сдвинул картуз на затылок и громко смеялся.

— Я вас! — крикнул он птицам. — Что вы кричите?..

И тотчас же, должно быть по тону голоса, вспомнил маменьку — Лизавету Ивановну. Вспомнив маменьку, Миша перестал петь и смеяться и стал думать, что бы такое предпринять, чтобы Лизавета Ивановна оставила его в покое и разрешила жениться.

Но, несмотря на смелость таких мыслей, приближаясь к дому, чище вздыхал Миша, вертелся на сиденье и хотел даже повернуть обратно в степь, где так славно кричали перепела, но лошадь внезапно быстро побежала, остановилась у крыльца, и вот из окна, высунувшись, проговорила Лизавета Ивановна охальным своим голосом:

— Опять заблудился, дуралей... отпусти тебя одного...

— Маменька, — превозмогая себя, сказал Миша и вошел в комнату, — маменька, я в последний раз вам повторяю...

Тут он остановился, взглянул на круглую, маленькую маменьку, в ночной кофте и белом на голове чепце, концы которого, торча в виде рогов, покачивались на стене огромной тенью, и пошел несколько к двери.

— Маменька, — повторил он в третий раз, махнул рукой и ушел в спальню.

Катенька, проводив Мишу, убирала со стола, швыряла чайными ложками.

— Идите-ка спать, будет вам глаза пялить, — сказала она отцу, — надоели.

Павала робко снял руки со стола и прошептал:

— Я уйду, Катенька, зачем же сердиться...

Глаза его, потеряв с уходом Миши всю строгость, робко помаргивали.

— А затем, — крикнула Катенька, — что мешаете! Вон под столом нагадили... рот у вас оглоблей, есть — и то разучились.

— Уйду, сейчас уйду... — Павала встал, опираясь на палку и горбясь. — А где, Катенька, поросеночки, что этот милый молодой человек привез?

Катенька только фыркнула и понесла чашки в буфет.

Павала поплелся к себе, но дочь у двери схватила его за руку и дернула так, что он едва не упал....

— Не сюда! — крикнула Катенька. — Мученье с вами... В Алешкину комнату идите спать, у меня гости сегодня...

Павала, улыбаясь, закивал головой; делая вид, что все понял и одобряет. Затворяя за собой дверь, он обернулся и, заметив, что Катенька его не видит, показал ей язык.

Катенька поправляла волосы перед зеркалом. Этот розовый Миша, свежий, как огурец, взволновал с трудом сдерживаемые ею чувства. Каждый месяц (особенно сильно это было весной) Катенька бунтовала и искала удовлетворения, насколько это было возможно в деревенской глуши. Потом наступал упадок, раскаяние, и с тупой злобой мучила девушка отца и брата...

— Глупый поросенок, — прошептала Катенька, самой себе улыбаясь в зеркало, — туда же с любовью полез. Погоди у меня, оберну тебя вокруг пальца, буду камышинская...

Катенька дернула выбившийся локон, посмотрела на мушку, на алые губы, на вырез платья и позвала сначала не громко, потом гневно:

— Алеша, Алексей.

Алексей вошел с коробкой гильз, которые набивал, затыкая бумажкой от обертки...

— Сбегай, Алеша, за вином и за этим, — быстро проговорила Катенька, замаялась и, рассердившись совсем, добавила: — Ну, знаешь за кем, — старшиной. Сил больше нет моих... Скорее...

Она села на стул у стены, странным взором потемневших глаз глядя на Алексея, губы которого скривились с одного бока не то усмешкой, не то болью.

— Ты же обещала, Катя, что больше не будет этого, — сказал он, не в силах сдержать трясушуюся в руках коробку с папиросами, — помнишь обещание?

— Ах, — ответила Катенька, быстро охватив колено, — разве я что могу... Все же Евдоким лучше, чем никто...

Она сказала это шепотом и усмехнулась бесстыдно и жадно, словно грубостью желая прикрыть, не тревожить больного места.

Щеки Алексея вспыхнули, но сестра гневно топнула:

— Иди же, что стоишь!

Чтобы не видно было с улицы, ставни затворили и зажгли одну лампадку, скудно освещавшую стол. На нем стояла водка, пиво, шурцы и конфеты в бумажках.

Евдоким Лаптев сидел без поддевки, подливал себе пиво в стакан, потряхивал кудрями, усмехался, скаля белые зубы.

Алексей тихо играл на гитаре, сидя в отдалении, и пил, ничем не закусывая, водку из чайной чашки. Катенька, положив на коленях Евдокиму ноги, смеялась плачущим смехом каждому слову бардатого мужика...

— Ах ты, барышня, — говорил Евдоким, — большой я до тебя, барышня, любитель...

— Еще бы, губа не дура.

— А чем я хуже других? Играй, Алеша...

Евдоким Лаптев, хотя и понимал, что не к добру ведут эти пирушки, и мужицким своим умом осуждал их и прежде всего Катеньку, но, обязанный по долгу службы, притворялся более пьяным, чем был, и разгульным.

— Платье расстегни, Катя, — заплетаясь, говорил Евдоким, — желаю вас посмотреть.

— Чего захотел, сам расстегни!.. Ай, облапил, разорвешь...

Евдоким разрывал петли на кофточке. Катенька отбивалась и линула. Алексей изо всей силы дергал струны гитары...

— У тебя нога деревянная, — бормотал Евдоким, — обман! Или что мне деревянная нога?

— Молчи, — крикнула Катенька, — она не деревянная, дурак, что ты понимаешь.

Евдоким, схватив девушку в охапку, целовал ее в горло, зарывался бородой.

— А по мне хоть деревянная.

— Уйди, Алеша, — вдруг, почти задыхаясь, проговорила Катенька...

Алексей бросил гитару на диван и, повернувшись к стене, судорожно всхлипнул.

В это время громко ударили в ставню, за окном загудели голоса. Никлышались шаги в сенях...

Евдоким вскочил, ища поддевку. Катенька, придерживая кофту, побежала к двери... Грубым голосом крикнула:

— Кто здесь?..

Вместо ответа дверь дернули, крючок соскочил, и из темноты соней просунулась лохматая, злая голова Назара...

— Здесь они, — сказал Назар...

За ним, возбужденные, тесня друг друга, двинулись в комнату мужики...

Миша, войдя в свою комнату, поставил свечу и, подперев щеку ладонью, сел на диванчик, на котором обычно спал под шубой даже в летнее время.

В узкой комнате, с единственным окном в сад, пели комары. На подсвечнике тонко жужжала муха, опалив крылья об огонь.

Миша стал жалеть себя и громко вздыхал, стараясь поддерживать возникшие при встрече с маменькой черные мысли.

— Пусть, пусть, — повторял он, теперь уже позабыв, что «пусть», а в голову лезли сладкие воспоминания.

Припоминался весь сегодняшний день, и образ Катеньки, еще более прекрасный и туманный, выглянул из темного угла.

— Катя, Катюрочка, — проговорил Миша громко и до слез умилился, лег на диван, прикрывшись тулупом.

Продолжая думать о сладком, вспомнил Миша одну ночь, когда не мог заснуть на этом диванчике, зная, что на дворе, в угольном сарае, спит девушка (имени ее он теперь не помнил) с голубыми глазами. Миша ворочался тогда под шубой, глядел на серый квадрат окна и распалялся, хоть не живи. Сознательно в первый раз решил он тогда обмануть маменьку — утаить, что хочет сделать, и вылез в окно. Девушку он увидал сразу — спала она между двух баб, слегка всхрапывая во сне. Нагнувшись, Миша различил тоненькую ее руку, положенную на грудь, и вытянутую ногу в шерстяном чулке и лапте... Еще раз преодолевая стыд, приподнял Миша платье и хотел поцеловать белую ногу выше мочалки, подвязанной под коленом, но локтем задел соседнюю бабу. Баба заворочалась. Девушка вздохнула и подобрала ноги... Миша в страхе прижался к земляному полу.

— Кто тут? — спросила баба громко. — Ах ты бесстыдник, вот маменьке пожалуюсь...

Миша выполз на волю и долго кружил около каретника, забредая в канавку и все думая о мочалке...

Потом, на следующий день, сорвал дыню и понес той девушке на работу.

Увидав рядом с ней вчерашнюю бабу, сел поодаль и, глядя в сторону, стал дыню есть. Тогда явился конюх Василий и сказал, что за эту самую дыню покажет Мише фокус — протащит сквозь щеку иглу с ниткой. Миша не поверил. Конюх Василий вынул из картуза иглу с черной ниткой и начал изнутри прокалывать щеку. Игла шла туго, и Миша морщился, потом Василий все-таки проткнул и, захватив конец пальцами, протащил иглу и нитку. На щеке осталось черное пятнышко. Съев дыню, Василий стал рассказывать такие штуки про девушку с мочалкой, что Миша убежал, расплакался.

— Трус, — теперь ругал себя Миша, — постоянно упустил случай. Когда Катенька меня поцеловала — нужно было решительно поступить. Эх!

Это было настолько очевидно, что Миша приподнялся, замычав боки. Потом опять повернулся, лег на спину, продолжал думать. Мысли бежали, бежали, бежали, но, добежав до маменьки Лизаветы Ивановны, спутались, и получилась каша — черт знает что...

— Маменька, маменька! — повторил Миша. — Вот поеду завтра в Марьевку и сделаю предложение. Хочу жениться — и все тут... Я в расцвете лет.

Миша не помнил — долго ли пролежал так, думая и вздыхая. Приснул он в восемь часов и глядел на обои, пока не вошла Лизавета Ивановна и сразу дребезжащим голосом проговорила:

— Спишь все, лентяй... и так тебя низ перетягивает.

— Какой там низ, маменька! — сказал Миша отчаянным голосом. — Ничего такого нет... я не позволю!

— Что?

— Мамаша, — продолжал Миша, натягивая на себя шубу и все более утверждаясь в самостоятельности, — мамаша, я жениться хочу!

И, не давая маменьке опомниться, окончил:

— Все равно — убегу, женюсь.

— На ком же, дурень, женишься? — удивясь, с любопытством спросила Лизавета Ивановна.

— На Катерине Павала-Шимковской. Вчера я предложение сделал.

— На потаскушке!.. Да ты с ума сошел! — Лизавета Ивановна всплеснула короткими ручками и вдруг засмеялась, трепыхаясь всем телом. — Одурил, одурил! Пойду в кухню, расскажу...

— Индюшка! — прошептал Миша. — Ах, Катенька, душа моя, если бы ты знала!

Он проворно выскочил из-под шубы, надел покойного папеньки куртку, розовый галстук, часы и, обернув шляпу платком, чтобы не запылдилась, пошел, топая ногами, на конюшню.

По пути он слышал из кухни захлебывающийся голос маменьки и визгливый смех кухарки Марфы. Но Миша не обратил на это внимания: мысли его были далеко, белые брови решительно сдвинуты, — страсть закалила сердце за эту ночь.

Гнедой мерин, добежав до косогора, откуда стали видны соломенные крыши Марьевки, колодцы, деревья на огородах и белый корабль церкви, пошел шагом, поводил боками.

От села в унылую степь шли тощие телеграфные столбы с подпорками, — словно от усталости выставили подпорки. У перекрестки дорог, в ямах, росли кусты шиповника

Рассказывали, что здесь стояла когда-то усадьба, но помещика убил его же кучер. Привязал к конскому хвосту и пустил в степь...

Проезжая мимо ям, Миша остановил коня: навстречу ему, раздвигая ветки шиповника, поднялся человек.

Поднявшийся взмахнул руками и присел, словно от безмерного отчаяния. Миша по шляпе и рубахе узнал Алексея.

— Остановитесь, — дребезжаще закричал Алексей, — туда нельзя ехать. Боже мой, боже мой, что-то будет...

Он схватился за голову. Миша испуганно спросил:

— Что случилось?

— Я убежал... Сестру и старшину Евдокима связали, посадили в мирской амбар. Живы ли, не знаю... Что с папашей — тоже не знаю.

Миша похолодел, затем ударило его в пот. Алексей вдруг опять замахал руками и полез в кусты.

По дороге от Марьевки поднималась телега с двумя мужиками. Миша сейчас же поворотил лошадь, стал хлестать ее. Колеса запрыгали по целине. Но телега с мужиками удалялась спокойно. Мише стало совестно.

«Что делать? Как ее спасти? Что сделаю один? — в волнении думал Миша. — Трус трус, — тотчас же повторял он, — а еще жениться хочешь...»

Незаметно натягивая правую вожжу, описал Миша большой круг по целине, и испугался и обрадовался, увидав себя на прежней дороге, лицом к селу. Привстал в тележке. Село казалось мирным. Белела церковь.

— Э! — воскликнул Миша. — Спасу!

Ударил лошадь кнутом и быстро покотил под горку.

Не доезжая церковной площади, у мирского амбара увидел он сильно шумевших мужиков. Мальчишки, чтобы лучше видеть, полезали на крыши и ворота.

Мужики стояли кругом, мешая проезду. Миша крепко сжал в руке кнут, сказал: «Эй, борода, посторонись-ка!» — но голос его потонул в общем шуме, а близстоящий крестьянин поставил ногу на подножку тележки и, глядя в глаза веселыми, подвыпившими глазами, проговорил:

— Нет, барин, прошла ваша воля, теперь наша воля настала.

У Миши задрожали губы.

— Пусты проехать... — сказал он.

— Что же, я тебя не держу. Да ты не к земскому ли? То-то я тебя вчера видал. Эй, ребята, — обернулся мужик к толпе, — барин-то к земскому чай кушать приехал!..

Стоящие около тележки громко засмеялись, а веселый мужик продолжал:

— С земским мы, милый, пошабашили, ищи другого... А дочка его с милым другом в амбаре спит...

Опять захохотали мужики. Миша, выдернув вожжи, закричал пронзительно: «Пустите меня!» Голос его был визгливый и отчаянный, внушивший добродушно смеявшимся мужикам злое желание. Многие лица нахмурились. Из тесного круга послышался охрипший голос Назара:

— Теперь, ребята, друг за дружку стоять твердо.

— Что ж, — раздались кругом голоса, — разве мы зря.

— Разве это закон — баба с нас деньги берет! А на что жрет-то? На сладкое. С Евдокимом водку жрет. Веревку ей на шею да в воду — расправа короткая. Погуляла на мужицкие деньги...

Назар опять начал говорить, но в это время закричал кто-то испуганно и задыхаясь:

— Дядя Назар, дядя Назар, сейчас тятка из Утевки приехал, говорит — стражники оттуда едут...

Толпа сразу замолкла. Расталкивая локтями, продрался из круга Назар; увидев Мишу в тележке, спросил злобно:

— Тебе что здесь надо?

Миша, притихший было во время шума, жалобно улыбался. Теперь же вдруг покраснел от злости и, хлестнув кнутовищем по полам, закричал:

— Бунтовщики, сию минуту пропусти... Знаешь, кто я?

— Полегче, — тихо сказал Назар.

— Сию минуту освободить барышню. Иначе... стражники... стражниками тебя...

Мотая головой и губами, захлебнулся Миша слюной. Назар выгнулся и крикнул так, что все слышали:

— Ребята, камышинский барин за стражниками послал, этот самый, — и указал на Мишу...

Толпа вздохнула. Возвышаясь над всеми головами, вчерашний красавец Сизов налег плечом на мужиков, подошел к тележке и левой рукой взял Мишу за грудь... Мокрые волосы падали Сизову на медно-красное лицо, из открытого рта пахло вином. Миша забился, затих ненадолго, тонко закричал, как заяц, и ногтями стал оттирать руку Сизова. Закинув голову, закусил губы... Мужики, выткнув шеи, молча глядели. Назар, взявшись за железо тележки, насупившись, смотрел Мише в лицо. Сизов, как бы примериваясь, встряхнул Мишу на левой руке, отвел правую, долго стискивая мозолистые, черные пальцы. Вскрикнув вдруг не своим голосом, резко ударил Мишу в переносье.

Миша мотнул головой, лошадь дернула, и множество рук потянулось, вытащило из тележки и смяло тело.

— Девку, девку давай сюда! — закричал народ...

Пихаясь, хлынула толпа к амбару, открыла дверь. На мгновение поднялась и канула вниз оттуда черная, с разинутым ртом, голова Евдокима Лаптева...

Согнув в розовой рубашке спину, первым вскочил в амбар Сизов. В узкой и темной двери теснились мужики... Покрывая все голоса, вылетел из амбара долгий, острый женский визг.

Старуха, гонявшая ребят хворостиной, перекрестилась:

— Задавили рабу Божью.

По площади к толпе, подобрав полы капота, бежал без шляпы, примасничал и спотыкался старый седой Павала...

Лизавета Ивановна похоронила Мишу в саду и до зимы лежала больная. Земский врач к ноябрю поставил ее на ноги, и кухарка Марфа по вечерам опять ходила спрашивать: «Каки каклеты варить на завтра?»

Лизавета Ивановна, подперев щеку ладонью, по целым дням сидела у окна за рабочим столиком. На вопросы Марфы отвечала:

— Да все равно, Марфуша, готовь что-нибудь... — Ведь... ведь...

Губы Лизаветы Ивановны начинали дергаться, слезы повисали на ресницах, и Марфуша, громко вздыхая, уходила на кухню, чтобы отвести душу в заунывной песне, слов которой она не понимала.

Однажды вечером залаяли собаки. В сенях послышался топот промерзших валенок и голоса.

Лизавета Ивановна, как в лихорадке, задрожала всем телом. Марфа побежала отворять. В коридор вошел запорошенный снегом Алексей, поддерживая под руки отца. Голова Павалы была обвязана пуховым платком...

Увидев гостей, Лизавета Ивановна громко зарыдала, замахала руками.

— Мы с папашей обогреться хотели, — сказал Алексей, — папашу со службы уволили, мы на родину едем, а лошадка у нас одна...

Тогда Лизавета Ивановна обняла старика Павалу, прижала Алексея к своей груди и повела в столовую, где кипел самовар, а за окнами выла вьюга, и старый дом дрожал под ветром.

— Покушайте, покушайте, — говорила Лизавета Ивановна, — вы бездомные, а мне жить незачем... Оскудели мы...

Павала голодными глазами глядел на масло. Алеша молча сидел в тени, щеки его совсем вытянулись и глаза стали огромны. Лизавета Ивановна проговорила трясущимися губами:

— Вот как мы с вами сосватали дочку вашу с моим... дурале-ем...

Павала перевел глаза с масла на чайное полотенце, которым Лизавета Ивановна вытирала глаза, и сказал вдруг, беззубо улыбуясь:

— А помните, как он мне поросеночка привез?

РОДНЫЕ МЕСТА

1

В винной лавке за стойкою Коля Шавердов грыз каленые подсолнухи и тоскливо слушал, как Сашка, сидя против него на табуретке, докладывал, в третий раз сегодня, наблюдения свои над дьяком Матвеем Паисычем, бегавшим, по словам Сашки, в «страчном» виде по огороду.

У Сашки было круглое и белое, с лисьим подбородком лицо, темные глаза и гнилые зубы. Был он вдовой попадьи Марьи сыном.

Но, несмотря на такое отличие от серого народа, все на селе звали его просто Сашкой, потому что, выгнанный из духовного училища, вернулся он лодырем в село раз и навсегда и был бит попадьей Марьей при помощи уполовной ложки на смех соседям, смотревшим в окно.

А спустя недельку побили его и парни за двухорловый пятак в орляночной игре и наказали близко не подходить к девкам, до которых Сашка был великий охотник. Шавердов же, как старинный друг, не то что любил Сашку, а просто выдавал ему из бакильской их — шавердовской — лавочки десяток папирос в день и терпеливо слушал вранье.

— Я тебе говорю, — рассказывал Сашка, — непременно он выиграл по билету, мне почтмейстер к нему из Петербурга письмо показывал; попусту так не стал бы летать по огороду; знаешь, так и кидается, бормочет: «Эх, говорит, окаянные, очки завалились — и бы всем это письмо прочел: выкусь-ка, говорит, получи такое письмо. Ах, говорит, что мне огород, потопчу его весь, — мне все равно...» Потом присел, да как захохочет и рыжими сапожищами пошел капусту топтать... Я, знаешь, за плетнем стою и говорю ему: «Здравствуйте, Матвей Паисыч. Что вы, говорю, так летаете, или в церковных суммах какой недочет вышел?» Подпустил, знаешь, ему шпильку, а он ко мне кинулся, плетень ухватил, трясет: «Я, говорит, в горнице сидеть не могу, у меня от радости одышка нутро завалила». И вижу я, лезет целоваться; я, знаешь, плюнул в него и ушел. Противный такой...

— Ну, впрочем, ты не плюнул, — сказал Коля Шавердов.

— Ей-богу, плюнул. Что же ты мне не веришь? Вот друг.

— Я тебе не друг, — грызя подсолнухи, равнодушно ответил Шавердов, — а это ты ко мне лезешь, мои папиросы куришь; только мне не жалко, кури...

— Ах, милый, — молвил Сашка, скривив голову и сложив губы бантом, — а не помнишь разве наше детство? Вот было веселье: я тебе тогда в альбомчик стишки написал:

Ты капризна, мила и ленива,
И твой чудный локон...
Видишь, какой я тебе друг.

— Это стихотворение подходяще к женщине, а не к мужчине, — ответил Шавердов и поглядел на вошедшего с улицы мужика.

Мужик, медленно притворив стеклянную дверь, снял меховую шапку и стал шарить глазами образ, чтобы перекреститься. Не найдя, он подвинулся и положил на прилавок пригоршню меди, сказав натужным голосом:

— Вина три полбутылки.

Все, как и голос, было у него натужное и натруженное, словно самим этим мужиком пахали землю и лицо оттого стало землистое и корявое, сивые волосы стояли бугром, а сваленная рыжая борода росла повсюду, где только можно.

Шавердов, схватив с полки полбутылки, стукнул их о прилавок. Но мужик не ушел, а залез внутрь коричневых портов и вынул оттуда пустую посуду.

— Получить, — сказал он.

Шавердов швырнул бутылки под лавку и отсчитал деньги. Мужик долго их пересчитывал на ладони, потом сказал:

— Запомятовал я... — и из-за пазухи вынул еще несколько бутылок, потом из карманов армяка и еще черт знает откуда. Все это было перемазано, затертое и теплое.

Шавердов сказал:

— Что, или загулял, Митрофан?

И, когда мужик, надвинув шапку на глаза, вышел, Шавердов обратился к Сашке:

— Так зачем же ты опять к дьяку бегал?

Сашка хитро усмехнулся.

— Прибегаю я опять, а он уже ставни красит, честное слово, зелеными птичками пускает... Я ему говорю...

Но тут Сашка вдруг искривился на табурете, поднял палец и хихикнул, так как в лавку, трепаный и красный, вбежал сам дьяк, Матвей Паисыч Перегноев.

Матвей Паисыч, как только вбежал, ухватил Шавердова за локоть и потянул к себе, ища облобызаться, но, видя со стороны Коли равнодушие, отскочил и беззвучно принялся смеяться, крив-

чистишь всем тощим своим телом в пегом подряснике; на Сашку он не обратил внимания.

— Многие теперь с ума сходят от дурусти, — сказал Шавердов.

— Дурусть, — сейчас же согласился дьяк, — глупость. А что интупать мне иначе нельзя. Выкусил...

Дьяк присел и, слегка раскрыв рот, поглядел на собеседника.

— Почему дьяк Матвей по огороду бегаёт? — проговорил он скороговоркой. — Почему дьяк ставни красит? А я не только ставни, и крылечко выкрашу, я на полу половички расстелю, — от покойной дьяконицы у меня остались. Как это понять? Вот этот вот юнкер (дьяк ткнул пальцем в Сашку) весь день у меня на полетне висел, любопытство одолело. А я не сержусь: всякому человеку знать интересно, почему у Матвея Паисыча третий день голова нечесана. А я не желаю голову чесать и об этом объявляю публично.

При этом дьяк поднялся на цыпочки и широко развел руками.

— Не желаю и не желаю, пока...

Дьяк присел и щелкнул языком:

— Что пока? Ах вы шельмецы! Что это такое за «пока»? Дьяк священство получил? Дьяк капитал в банке выиграл? Суета, юнкер... Вам бы все деньги. У меня корова есть — раз, яиц лукошко на Пасху, да десять мешков хлеба к Рождеству — два. Гречиху я емл или нет — три... А молебствие о дожде?... А народ православный жениться, помирать должен? Я по двенадцатым — коровьим маслом власы мажу. Так что за причина, почему дьяк обезумел?

В эти слова Матвея Паисыча Шавердов вслушивался внимательно, и костлявое, с пушком на щеках, худое лицо его стало необычайно серьезно. Сашка же безмерно ржал, сидя на табуретке.

— Восемь ведь лет птицей пролетели, — продолжал дьяк, — как дал я тогда дочери моей Аннушке две сотни рублей и в столицу отправил. Пустяки сказать — столица. Не то что наша Утевка... Утевка, — презрительно сказал дьяк, — тысяча двести дворов и один храм Божий. Лаптем щи хлебают... Здесь дочь моя нежное свое воспитание получила, да не с вами ей жить пришлось: не к тому рождена, душа у ней высокая... В столице ее, как дочь родную, встретили. У самого Мейергольда училась...

— У кого? — переспросил Сашка.

— Мейергольд — полный генерал... Поутру его государь император призывает: «Развесели, говорит, генерал, столицу и весь русский народ». — «Слушаюсь, ваше величество», — отвечает генерал, — кинется в сани — и марш по театрам. А в театре как есть представляют — Бову королевича, пожар Москвы... Вот что за человек. Аннушке моей бумагу выдал — во всех городах играть — и фамилию переменял: теперь Аннушка не Перегноева, значит, а — Волгина-Мирова... Поняли? Эх, юнкера!..

Тут дьяк, вынув красный платок, вытер глаза:

— Восемь ведь лет не видел дочку... А бывало, гладишь светлые ее волосики, а она глазки поднимет, спросит: «Вы что, папенька,

или о маменьке вспомнили?» Ручки на коленях сложит, аккуратенькая такая, чистый ангел.

Дьяк не смог продолжать и полез за прилавок к Шавердову, который спросил тихо:

— Что же, Матвей Паисыч, замуж они, что ли, выходят.

— Нет же, — завопил дьяк, — в том-то и дело, что не выходит. А такая штука, что я, как Давид, скакать должен и петь. А я плачу потому, что как же я со своим образом ей на глаза покажусь?

Образ у дьяка был действительно несуразный: серая его бороденка косицами росла на впалых щеках, бугром поднимались красные скулы, из-за которых выглядывали мигалки, нос же был морщинистый, как коровья сиська.

— Так они сюда приезжают? — спросил Шавердов и, оглянувшись на Сашку, нахмурился.

— Я ничего не говорил, ничего не говорил, — забормотал дьяк испуганно и вдруг, увидев Сашку на табуретке, нагнулся к нему. Сашка забегал глазами и усмехнулся, ощерив гнилые зубы.

— Смотри ты у меня, — сказал дьяк, едва не колотя попадьина сына по носу пальцем, — ты меня не знаешь, Сашка, я тебе голову сверну, гад навозный.

— Нашелся один такой, — сказал Сашка весело. У дьяка задрожали колени.

— Ты за ним пригляди, — обернулся он к Шавердову, — как же можно его Аннушке на глаза показать. Ах, Боже мой, что за люди... Ведь у ней душа нежная. А я вдруг ее и ввергну в этакую пакость.

— Да, — сказал Сашка, — они теперь барышня, от нас нос воротят, а когда-то вместе купались.

— Сашка, — визгливо закричал дьяк и стукнул кулаком по прилавку, — я тебе сам в руки дался... Аннушка моя завтра приезжает... Дьяк, дьяк, заткнись... Забудь это, Сашка. Что за язык мой окаянный... Все я наврал... Никто не приезжает, и дочери у меня никакой нет... Она да — в Утевку... Вот ваша Утевка... тьфу.

В безмерном волнении дьяк заметался и, бормоча, поспешно вышел на улицу, где ветер подхватил сивые его волосы и бросил на глаза.

3

Как только вышел дьяк, Сашка перегнулся через прилавок и прошептал:

— Друг, я слышал, что она конфетка. Ах, друг, вот радость... актеры, знаешь, такие добрые, а во-вторых, я ей вроде начальства: она — дьякова дочь, а у меня дядя благочинный.

Шавердов молча поглядел на Сашку, замкнул кассу и пошел к внутренней дверце, ведущей в дом. Сашка проворно последовал было за ним, но в дверях Шавердов, обернувшись, толкнул его кулаком в грудь и затворился.

— Что ты, друг, — жалобно вскрикнул Сашка и побрел на улицу, куда, пройдя домом, выходил Шавердов, чтобы замкнуть и фанкелейную лавку.

Отойдя шагов на десять, исподлобья наблюдал Сашка, как Шавердов спокойно навесил замок, попробовал его рукой и, не оглядываясь, ушел опять в дом.

Худая его, костлявая фигура в нагольных сапогах и пиджачке, надетом на косоворотку, делала все движения размеренно и спокойно, потому что Коля Шавердов по матери был из саратовских немцев и лицо сохранил, Бог знает, сколько поколений, тевтонское — большое и угловатое.

Отец его, волостной писарь, потом винный сиделец, отморозил себе в овраге руки и ноги и помер, оставив после себя восемь человек детей, бакалейную лавку и Каролину Ивановну — супругу, у которой в изобилии росли борода и усы; но, несмотря на все это, Каролина Ивановна нежно любила свой приплод и весь день хлопотала и кудахтала по дому, только под вечер выходя посидеть на скамеечке в огород над речкой.

Глядя на степную зарю, которая тоскливо отражается в воде и ивой, слезилась Каролина Ивановна:

— Васенька, Васенька, зачем ты не сидишь рядом со мной со своим добрым лицом, — хотя у покойного Шавердова лицо вовсе не было доброе и сидеть с женой в огороде над речкой он не сживал.

Погрустив, Каролина Ивановна спохватывалась и спешила домой, зовя громким голосом:

— Ванька, Васька, Федька, Лешка, noch ein mal Лешка. Кошенька, идите есть, паршивцы...

Услышав в обычный час маменькин голос, Коля Шавердов вошел в большую кухню и сел за чисто выскобленный стол. Тотчас изо всех дверей налетели братишки и уселись по лавкам, болтая ногами; два Лешки — забияка и нытик — все время щипались, пока Коля не ударил их ложкой по головам. Каролина Ивановна поставила щи и придвинула к себе единственную тарелку с вилкой; остальные ели ложками, окуная куски солонины в чашку с горчицей.

Братишки чавкали, как поросята, маменька, ощерив зубы, морщилась от черного хлеба с горчицей, который очень любила, Коля сегодня есть не мог.

— Дьякова дочь приезжает, Анна Матвеевна, — сказал он, бросив ложку.

Каролина Ивановна усмехнулась:

— Говорят, она с офицером живет... Дьяк-то не знает?

— Это, маменька, не вашего ума дело, — воскликнул Коля. — Ели бы лучше да молчали, — и он встал из-за стола, захватив с окна книжку. — Рады язык почесать... Противно.

Каролина Ивановна промолчала, но, когда Коля вышел, нашла по щекам Лешу-забияку и Лешку-нытика, и те долго ревели.

А Коля прошел к лошадям, завалил сена, закрыл ворота, посидел на цепь собаку и полез по лесенке на крышу сарая, где из

веток и соломы сделана у него была вышка-шалаш. В шалаше лежали донельзя засаленные красная перина, две розовые подушки, и в медном тазу стоял огарок, который Коля сейчас же и зажег.

Здесь, в уединении, лежа под тулупом, Коля мог смотреть на звезды и читать приложения к «Свету». Но сегодня не занимали его ни похождения игрока в «большом свете», ни «развратная графиня Кармоньяк». Глядя на пламя свечи, над которым толкалась мошкара, думал Коля:

«У самого Мейергольда училась, имеет бумагу, поди-ка, высокая теперь стала, взрослая... А как уезжала, говорила: «Не забывай меня, Коленька...»

Коля оперся на локоть, лицо его стало детским и задумчивым.

«Я-то не забыл, а меня, конечно, давно забыли. У нее все переменялось, а здесь всех перемен и есть, что пройдет зима — лето настанет, и я в шалаше живу. А все-таки, — Коля вздохнул, — никто ее так не любит, как я... Следочки бы ее целовал... Она взяла бы аршин мой, например, я бы это место, где она держала, отрезал пилой и закопал бы в огороде у плетня, чтобы никто, кроме меня, не дотрагивался... С офицером живет. Эх, маменька. Вдруг же люди без совести, без понятия. Людям до всего дело. Только я всем покажу, как языки чесать, первому пащенку Сашке язык оторву. Ах, дрянь...»

Коля сбросил тулуп и сел в сильном волнении.

«Он непременно под нее подкопается, он, я знаю, чего придумал».

И Коля стал поспешно одеваться, путаясь, бормоча и сердясь все сильнее.

Потом, задув огарок, сбежал по приставной лесенке вниз и вышел на улицу. Из-за крыши поднялась луна, и длинные от нее густые тени легли на свежую дорогу; отсвечивали неровные окна изб, за речкой пьяный человек кричал истошным голосом.

4

Сашка, раздумывая над Колиным невежеством, постоял у лавки, потом щелкнул пальцами и побежал по огородам к дьячкову дому. У самых ворот нагнал он Матвея Паисыча и, забежав вперед, засматривал дьяку в глаза.

— Неужели вы, Матвей Паисыч, шуток не понимаете? — сказал он слащавым голосом. — Я, например, ужасно уважаю Анну Матвеевну и всегда готов ей услужить...

Дьяк остановился и, не поднимая головы, наострил ухо.

— Я чувствую, кто они и кто я, — продолжал Сашка, — я неуч и лодырь, а они — образованность, приятность в обращении, рафинад.

— Верно, — сказал дьяк и вместе с Сашкой нехотя взошел на крыльцо.

— Я на тот предмет говорю, Матвей Паисыч, — у Сашки даже конюх стал томный, — что если они прокатиться пожелают, у вас коней, Матвей Паисыч, лошади даже нет, а у маменьки два жеребца, так и всегда, только крикните, прибегу и доставлю...

— Это хорошо ты насчет жеребца, — сказал дьяк и вдруг схватил Сашку за руку. — Не знаю я, парень, что у тебя на душе... Ах, Сашка, не верю я тебе... Растревожил ты меня...

— Матвей Паисыч, отец вы мой родной, Анна Матвеевна как сестра мне, вместе ведь выросли. — Сашка вдруг оглянулся и зашептал, близко наклонясь: — А Шавердов-то, как вы ушли, говорит: «Лопни мои глаза, если я ей салазки не загну...»

— Врешь, — сказал дьяк басом и оттолкнул Сашку, — Шавердов не скажет...

Сашка вытащил даже крест из-за пазухи, чтобы побожиться, и вместе с дьяком вошел в дом. Расстроенный Матвей Паисыч прошел в залу, где стояли сундуки, покрытые кошмою, на окне висел в клетке воробей и повсюду были постланы чистые половички...

— Пол-то ножищами не топчи, — сказал дьяк отчаянно и, кивая за голову, сел на табурет. Напротив него поместился Сашкин и, трогая дьяка за колено, продолжал:

Мне маменька сегодня говорит: «Вот, хоть бы душенька наша, Аннушка, приехала, хочу глазком на нее поглядеть».

— Ну, так и сказала? — спросил дьяк.

Сашка опять принялся божиться.

— Я, чай, — маменька говорит, — выросла Аннушка-то. А что ж у вас, Матвей Паисыч, карточки ни одной ее нет?

— Есть, — сказал дьяк и вдруг весело подмигнул, — в заветном месте запрятаны, боюсь, украдут, тебя боюсь... А показать?..

Сашка, зная дьяка, смолчал; тогда у дьяка даже руки вспотели — до того хотелось ему показать, — и, наконец, едва не плача и говоря: «Позднее время, Сашка, иди спать, уходи», вытащил из сундука шкапчик с карточками и, вздув лампу, еще раз сказал: «Уйди».

Снята была Аннушка множество раз, сначала в простеньком платьице, с косой и удивленными глазами, потом коса исчезла, появилось драповое пальто, даже пенсне на одной фотографии. «Ученность», — прошептал на это дьяк. Далее платья улучшились, из снома отросших волос завилась прическа, и на последней, наконец, фотографии снялась Аннушка в бальном туалете с открытой грудью и руками, — такая прекрасная, с едва начинающейся нежной полнотой, что дьяк, закрыв ладонью дочку, в волнении прошептал:

— Пошел прочь, Сашка, недостоин...

Тогда произошло очень странное: Сашка так сильно оперся о край круглого столика, что он хрустнул, и все фотографии, кроме одной, посыпались на пол; дьяк взмахнул руками и тотчас присел, подбирая, а Сашка, быстро схватив карточку Аннушки в бальном платьице, сунул в карман...

— Показывай тебе, растяпа, — ругал его дьяк.

Сашка же, повертевшись еще с минутку, надел картузик набекрень и, нащупывая в кармане карточку, побежал домой.

План у Сашки возник внезапно, и он знал теперь, что дьякова дочь не откажет ни в чем, потому что очень хитро и ядовито было придумано одно дело.

Круглая и рыхлая попадья Марья тоскливо ела лапшу, сидя в столовой, когда вошел Сашка.

Мебель у попадья стояла в парусиновых чехлах, над столом висел увеличенный портрет попа, и в шкафчике аккуратно были расставлены золоченые чашки; но, несмотря на всю эту роскошь, на кружевные занавески и пальму в углу, тосковала попадья по двум причинам: во-первых, сегодня свистнули у нее из кухни два ржаных хлеба, а во-вторых, ей было вообще скучно. Кругом жили одни воры да ругатели и ругательницы — Шавердова, новая попадья, писарша и весь народ; не с кем поговорить по-человечески; покойный поп «Ниву» хоть выписывал и был балагур, а Сашка неизвестно в кого уродился, дурак дураком.

На вошедшего сына попадья не поглядела и сказала:

— Садись, жри.

Сашка немедля сообщил:

— Дьякова дочь приезжает, актерка.

— Ну, — всполохнулась попадья. — Такая дрянь смеет являться... Она с офицером живет.

— Дайте-ка мне, мамаша, папашину фотографическую камеру, я шутку подстрою...

— Что у тебя в голове? — спросила попадья уныло. — Свиной ты огрызок.

И попадья Марья долго бранила Сашку, потом всех людей, зевнула, наконец, перекрестив рот, и окончила:

— Что за жизнь — тоска, хоть бы поколеть скорей.

— Живите, маменька, — подмигнул Сашка, хлебая лапшу, — я вас развеселю.

И он рассказал свой план. Попадья сначала не слушала, потом положила толстые локти на стол и усмехнулась.

— Так ей, потаскушке, и надо, — сказала она, — подстрой, пожалуйста, Сашка, это, — мы поржем...

— Не беспокойтесь, мамаша, я ее перед всеми оголю, я мастер...

И оба они, наклоняясь друг к другу, принялись хихикать, показывая гнилые зубы, поводя масляными глазами, схожие, как два блина.

5

Тем временем Коля Шавердов, подойдя к дьякову дому, поглядел через окно и удивился: на полу около лампы сидел Матвей Паисыч, в одних кальсонах, и рылся в карточках, кидая их в стоящую около шкатулку. В комнате валялись кошмы с сундуков, и вся мебель была перевернута.

Коля стукнул пальцем в окно, дьяк, вскочив, подбежал, взгляделся и закричал:

— Убирайся, разбойник; рано еще салазки загибать, не приехала.

— Какие салазки? — спросил Коля. — Поди-ка сюда, Матвей Паисыч, дело есть.

Дьяк поднял оконце и, высунув голову так, что живот его уперся в подоконник, схватил Колю за плечо и притянул к лицу своему, шепча в остервенении:

— Приятель твой, гад навозный, карточку самую прекрасную подтибрил... И ты за этим пришел?.. Я вас обоих в храме опозорю, и донесу...

Дьяк ощерился, показав единственный нижний зуб, а Коля в испуге взял дьяка за обе руки:

— Матвей Паисыч, милый мой, не вините меня, это он все подстраивает, а я за Анну Матвеевну жизнь готов положить. Вы знаете, зачем он карточку украл? Он давно мне хвалился, что может у какой угодно карточки голову отрезать и к голой девке, — снится у него такая, — приставить и всем показать.

— Что ты? — испугался дьяк, и оба они, замолчав, глядели друг на друга. Наконец Матвей Паисыч жалобно воскликнул: — Что же это, в самом деле, за беда такая с людьми... Ведь жить нельзя...

— Нельзя, — подтвердил Коля.

— К отцу родному приедет, а тут мальчишки голыми карточками осрамят. Этак и затравят, а?

— Не затравят, — решительно сказал Коля и вдруг, потянувшись, поцеловал дьяка в губы.

— Прощайте, Матвей Паисыч. Я все устрою, а если что выйдет — моя вина... Анне Матвеевне скажите, что есть один человек на свете, который... ну, да что там...

И он быстро зашагал на длинных ногах, освещенный луною, словно догонял свою же тень...

— Юнкер, юнкер, вернись, — звал перепуганный дьяк.

Коля торопился, потому что было уже половина десятого. Вступив на мост, он остановился перевести дух. Направо речка разлилась в большой пруд, заслоненный за темными ветлами. Налево два раза из-за изб выбегала ясная, чуть дымная, та же река.

— Аннушка, Аннушка, — проговорил Коля, — помнишь ли?..

И, вздохнув от защемившего сердца, он побежал быстрее в конец села, к мазанке без крыши и ворот, где жил Митрофан.

6

Митрофан стоял посреди избы, держась за низкую перекладину столбчатой, и говорил троим своим рыжим, бородатым сыновьям, сидевшим у стола на одной лавке:

— Я вас родил, я вас женил, я вас вином пою, чтите?

— Чтим, — сказали сыновья и отпили из чайной чашки.

— А теперь я скажу, что есть крестьянин? значит, ваш отец? корень видели, корень я и есть. Читите?..

В это время в избу зашел Коля, всем поклонился, сел на лавку и сказал:

— Я к вам, мужички, с поклоном....

— Это ты правильно, — сказал Митрофан...

— Ведром кланяюсь, — продолжал Коля взволнованно, — уважьте, мужички...

— Можно, — отвечали все сразу, — мы всегда, сам знаешь...

— Сашку, попадьи сына, знаете?

— Как не знать...

— Поучить нужно...

Рыжие парни быстро переглянулись, а Митрофан сказал уклончиво:

— Мы хлебопашеством занимаемся.

— Я знаю, — вскочив, заговорил Коля и прошелся по избе. — Ведь не до смерти... а только, если его не поучить, житья нам не будет...

К девкам очень пристает, — сказали рыжие парни, — мы и сами по себе насчет этого думали.

— Отчего не поучить, — прохрипел Митрофан, — от этого человек завсегда в разум входит.

Так они и порешили. Коля пообещал накинуть еще полведра и, уговорившись о времени, ушел.

Не доходя моста, он повернул к пруду. Темный и тихий лежал пруд в окаймлявших его густых ветлах, с того края до этого прорезала его ясная полоса лунной зыби, двигаясь к белой купальне в кустах.

Коля зашел на березовый полуостровок и сел в корнях у воды... Все еще думая о том, как будут бить Сашку, он понемногу отходил, и сердце его наполнилось воспоминаниями этих мест.

Когда полоса света дошла до купальни, он вспомнил Аннушку, еще девочкой, стоящую по колено в воде, брызгая на него, друга своего, ладошками. Над прудом тогда горело солнце, и в каплях воды, когда они взлетали, изгибалась радуга.

Коля тогда, смеясь, длинной камышиной, с метелкой на конце, щекотал Аннушке щеки и плечи, а она, прижав острые локти, закинув голову, подставляла шею, хохоча на весь пруд.

«Неужели в самом деле это было?» — думал Коля, глубоко затягиваясь папироской, и вздрогнул, когда над водой низко, со свистом, пролетели утки, садясь в камыш.

Это повернуло его мысли; он закурил новую папироску и лег на спину.

Аннушка представилась ему взрослой. То воспоминание о ней — купающейся — связалось с новым представлением, и от этого Коля почти чувствовал шелест ее платья и тот запах, какой издают девушки, когда разгорятся на солнце...

Коля не смел, но думал все дальше, пока не повернулся ниц и закрыл горящее лицо руками...

— Господи, да она дня здесь не останется, — сказал он, — не будет же она у меня в лавке подсолнухи грызть, с попадшей пить чай. А я слова ей не сумею сказать. Поживет денек и уедет навсегда. А я что буду делать? Опять вино продавать. Сашку слушать? У мамыши есть хлеб с горчицей?.. Да ведь я не могу больше всего этого делать... Поймите.

В отчаянии Коля застыл. Понемногу голова его, подвернутая в руки, заболела, и, приподняв ее, он стал вглядываться в то место около купальни, где был яр; клочок прозрачного тумана заколебался над яром. Был ли то туман, Коля не знал хорошо, но сердце его задрожало радостью, как никогда. Это белое отделилось и, тихо летя по лунной зыби, приближалось к березовому полуостровку, и на неясной тени отделились две легкие руки...

«Русалка», — подумал Коля, и сладкая любовь разлилась по всему его телу. Захотелось положить голову в руки той, кто была и русалкой и Аннушкой вместе.

«Подойди поближе, — думал Коля, — я тебя люблю». А лягушки квакали, и звук их летел сквозь тело призрака...

Высокая луна побледнела в утренней заре. Колина одежда и волосы были мокры от росы, и голову ломило; он несколько раз вздохнул, помотал головой и, не оглядываясь на пруд, пошел в село, где уже мычали на дворах коровы и просыпались воробьи.

Подойдя к дьячкову дому, Коля увидел, что на крыше сидит мерком Матвей Паисыч, в новом подряснике и шляпе.

Коля прижался к забору; светало быстро, дьяк наверху вытянул шею, силясь высмотреть что-то вдаль. Когда же солнце поднялось алым бугром над полями, увидел Коля пыль на дороге, уходящей черной лентой в росистую степь.

Матвей Паисыч заслонился от света ладонью, и скоро утренний метер донес ясный звон колокольца... Тогда дьячок привстал, поднял обе руки, и преобразилось радостное, красное лицо его, все в слезах.

7

Рано утром Каролина Ивановна, доя посреди двора корову, увидела сынка Коленьку, входящего в ворота, и воскликнула, повернувшись на скамеечке, но не отрывая рук от сосков:

— Напился... С кем же это ты насандалился так, паршивец?

Коля блаженно вдруг засмеялся и полез в хибарку свою на крыше, откуда крикнул:

— Аннушка приехала.

— Скажите, радость какая, — проворчала Каролина Ивановна; корова в это время ступила в блестящую дойницу, что и привело Шивердову в дурное настроение, продолжавшееся до самого вечера.

Хотя Каролина Ивановна и делала вид, что нет в приезде Аннушки никакой радости, но, убрав скотину, вымыла она в горнице пол, постлала на стол вязаные скатерточки и к обоям приколола бумажную розу.

Потом испекла пирог с зеленым луком и яйцами, надела зеленое шелковое платье и вышла на крыльцо, так как сегодня было воскресенье.

По площади мимо лавки проходили благообразные мужики, в новых рубашках, перепоясанных под грудями, в новых картузах; все они кланялись Каролине Ивановне; она грызла подсолнухи так быстро, что изо рта у нее шла шелуха, застревая на подбородке, и, глядя на мужиков, думала: «Постой, обедня пройдет, нальете зенки».

Все время в церкви звонил колокол; миловидная баба с младенцем у груди подошла, поклонилась Каролине Ивановне, сказала:

— Утром к дьяку барышня приехала, нарядная, как ягодка.

Каролина Ивановна попросила бабу сесть рядом и стала спрашивать, потом, поджав губы, сказала:

— А мой-то старшенький с утра напился; непременно с этой актеркой, ну, да я ее вытравлю отсюда.

Вдовая попадья Марья тоже с нетерпением ожидала прихода Аннушки, но не готовилась, как Шавердова, а нарочно перебуторила все в комнате и напустила из кухни чаду, чтобы показать приезжей зазнайке, как порядочные женщины могут думать о «девице, которая путается со всяким и в театре за деньги голые груди показывает».

Сашка, запершись в чулане, все утро мастерил свою штуку и прибежал несколько раз к мамаше показать; разглядывая штуку, попадья уныло радовалась, сердилась, что актерка не идет. Наконец, в нетерпении, послала стряпку к дьяку за сметаной, наказав узнать, как там и что.

Но стряпка скоро вернулась, сообщив, что у дьяка кругом заперто и ставни заложены, а на стук никто не отвечает. Тогда попадья пошла сама на огород и, подобрав вязаные юбки, долго глядела на дьяков дом, ничего особенного не заметила и, возвращаясь, столкнулась с Каролиной Ивановной, которая тотчас сообщила, что бегала к дьяку за капустой, но у него уж очень тихо, и надо бы доложить об этом попу.

Попадья Марья, брезгливо поджав губы, оглянула Каролину Ивановну, сказала со злобой:

— Вот что, вы уж сынка вашего к нам не пускайте, больно лезет. Сашка и так жалуется. Вот что...

— Как, — завопила Каролина Ивановна, — это ваш паршивый сынок...

Но попадья уже ушла за плетень, довольная, что обидела немку, а Шавердова долго еще грозила ей, выкрикивая неприятности...

Так прошло время до обеда. Аннушка не выходила из дома. В селе только и было разговора, что о ней.

Наконец на пыльной и знойной площади перед лавкой появился Сашка, в ярко-пунцовой рубашке, в гороховом пиджаке, с часами и в картузе набекрень. Сашка прошелся мимо шавердовского крыльца, стуча сапогами, дождался, пока бородатая Каролина Ивановна появилась в окне, выплескивая из полоскательницы, и тогда подскочил.

— Убирайся от нашего дома, — крикнула Каролина Ивановна.

Сашка заржал, вынул из кармана карточку, поднес ее к самому носу Каролины Ивановны и спрятал тотчас же обратно:

— Дьякову дочь видели?

Каролина Ивановна успела только рассмотреть голую девку верком на стуле; любопытство одолело ее до того, что, забыв обиду, вышла она в окно, ухмыляясь во весь широчайший рот. Сашка, отступив, сказал:

— Колька-то на ней жениться хочет. А мамаша к вам запретила ходить, говорят, вы казенное вино водой добавляете...

Захочет, он убежал показывать карточку писарше. Каролина Ивановна кинулась на двор к сыну, разбудила его, кидая палки в шилаш, и рассказала все.

Спавший, не раздеваясь Коля молча слез, хмуро выслушал магниськин доклад и тотчас же пошел в винный погреб, крикнул Фритишек — Лешку-забияку и Лешку-нытика.

Вместе они вынесли шесть четвертей и понесли вино к Митрофину.

Коля по дороге был растрепан и молчалив. До самой ночи его никто более не видел.

8

Дьяк Матвей Паисыч, наврав дочке, что любит подремать перед обедом, и этим заставив ее отдохнуть после утомительного пути, лежал на сундуке в сенях.

Рукой он осторожно отгонял мух от потного лица своего и думал об Аннушкиных двух чемоданах.

Чемоданы эти, из желтой кожи, поразили его воображение; ему казалось, что дочка была очень важная и богатая особа. Точно такие же два чемодана он видел однажды у графа. Это было очень давно, когда он, еще учеником духовного училища, проходил мимо «центральной гостиницы» губернского города. У подъезда стоял извозчик, на которого швейцар, с галунами на картузе, положил кожаные чемоданы и низко поклонился графу, полному и высокому мужчине с проседью. Граф сказал: «Пшол на вокзал», — и Матвей Паисыч с благоговением снял фуражку...

Не представляя иначе аристократа, как летящего с чемоданами на вокзал, думал теперь Матвей Паисыч:

«Ведь моя дочка — Перегноева, а до какой высоты дошла, так что я ей не отец прихожусь, а только родитель. Платьев шелковых вывезла, и даже кошелечек есть — маленький, кожаный. И не

горда, а как прежде: «Папаша, милый, позвольте квасу попить»; а я не то что квасу, а сам живьем расшибусь. Вот Господь, — дьяк медленно перекрестился, — несмотря на грехи мои и пакости, послал счастье. Что мне нужно? Ничего. Теперь я могу с радостью умереть. Посмотришь, у людей — лодыри дети, пьяницы, сквернословы, прямо черту на рога лезут, а Аннушка моя беленькая, все улыбается, песенки поет, утешает старика».

Дьяк не мог далее думать, — по щекам его в бороду текли слезы. Из комнаты позвал звонкий голос:

— Папаша, вы все еще спите?..

Дьяк, испуганно вскочив, плюнул на ладони, пригладил ими волосы и, с порога еще приседая, вошел к Аннушке.

Анна Матвеевна, в нижней юбке и батистовом с цветочками лифчике, сидела перед зеркальцем; когда вошел отец, она обернула лицо, с маленьким ртом и большими синими глазами, и сказала, дуя на пуховку:

— А я так и не спала, очень хочется пойти — на всех посмотреть. А вы зачем гримасничаете?

И Аннушка, засмеявшись, поднялась и обняла отца прохладными голыми руками; дьяк обомлел и отодвинулся, стараясь не замарать нарядную дочку.

— Не ходила бы ты к ним, — сказал Матвей Паисыч, — вот невидаль; попадья как попадья, Сашка у нее сын, ну там Шавердова... Они и слова с тобой не сумеют сказать...

— Так они же забавные, папаша, поймите, таких днем с огнем не сыщешь. Умру со смеха, глядя на них.

Дьяк, потупившись, угрюмо молчал.

Через час они под руку подходили к дому вдовой попадьи.

— Дом ничуть не изменился; и скворечня та же! — воскликнула Аннушка, подняв кружевной зонтик.

Тогда к окнам изнутри придвинулись два толстые лица, испуганно отшатнулись, заколебался тюль, и спустились занавески...

— Уйдем, уйдем, — заторопился дьяк, поняв, в чем дело, но Аннушка отворила дверь крыльца и столкнулась с попадьиной стряпкой, которая сразу же забормотала ерунду:

— Барыня, мол, приказали не ходить, потому что, мол, карточки подметывают...

— Васенка! — удивленно воскликнула Аннушка, и стряпка тотчас расплылась, засунув руки под передник.

Аннушка, смеясь, поцеловала стряпку и отворила дверь в комнаты, где и наступила на попадью, которая подсматривала в щелку.

— Марья Николаевна, — заговорила было Аннушка, протягивая ей руки, но попадья, с каменным лицом открыв рот, стала отступать и захлопнулась в спальне...

Тогда другая дверь приотворилась, выглянули быстрые глаза Сашки и скрылись. Потом стало очень тихо. Дьяк увлек на улицу Аннушку и все время держал за руку. Аннушка оглянулась на дом попадьи, странно улыбнулась и пожала плечами.

Дьяк вел ее через знакомые места — где те же стояли амбарушки, с четырехугольной дырой в двери для пролаза кошек, те же бревна у забора, колодец с колесом, милые когда-то канавы, выросшие лопухами. Понемногу морщины на лбу Аннушки разгладились, она сказала весело: «Вот чудачки» — и захотела, несмотря на отговоры дьяка, пойти к Шавердовой и посмотреть старинного своего приятеля Коло.

В зальце шавердовского дома никого не было, но за стеной слышались шепот и возня. Аннушка потрогала бумажную розу на стене, посмотрела на клетку с больным скворцом и нетерпеливо обернулась к дверям. За стеной, отделяющей кухню, хихикали все громче, Аннушка, подняв голову, увидела в узком и длинном окне над потолком семь веселых рож, с прижатыми к стеклу носами... Аннушка громко засмеялась, высунула шавердовским мальчишкам язык, мальчишки завyli от веселья.

— Это что за мода... Оставить моих сыновей! — злобно крикнула вошедшая в это время Каролина Ивановна.

Аннушка двинулась было к ней, но немка затрясла головой и губами:

— Бесстыдство в доме у себя не потерплю, не позволю моим сыновьям язык казать, голые карточки подметывать.

— Что вы, Каролина Ивановна, какие карточки... что она говорит? — жалобно воскликнула Аннушка, и глаза ее наполнились слезами.

Но в это время, крикнув в ладонь, выступил дьяк и сказал:

— Дочь моя сделала вам честь, она дама и особа, а вы, Каролина Ивановна, как есть баба деревенская и должны перед ней стоять по швам, а насчет карточек, так это сынок ваш и Сашка подстроили, потому что я на всех вас плюю...

Дьяк действительно плюнул в лицо Каролине Ивановне и, захватив дочку, вышел; Шавердова, нарочно не вытираясь, догнала дятлей в сенях и толкнула со всей силой в спину Аннушку так, что та ударилась о косяк, Матвея Паисыча дотянула за косу до полу, завyla и, выбежав на площадь, стала кричать всенародно, что ее избил дьяк.

— Папаша, папаша, за что они меня? — спотыкаясь, повторила Аннушка, задыхалась и хватала дьяка за рукав, а дьяк тянул дочку с площади в огороды, говоря:

— Идем, идем, потом поплачем, на улице люди осмеют.

Аннушке давно хотелось съездить в родное село, показаться, чтобы все, видевшие ее простой девчонкой, сказали: «Наша-то Анютка, кто бы подумал, актриса, в газетах про нее пишут...» Надевая первое бальное платье, мечтала она о том, как удивятся старые друзья, если она, такая красивая и нарядная, вернется в

родные места погостить. Но собраться и поехать было дорого и склочно. Постепенно воспоминания стирались в памяти, и Аннушка только в часы грусти вздыхала потихоньку о невозвратном.

Но нынешним летом, получив ангажемент в Самару, села она на волжский пароход, увидела зеленые берега с белыми монастырями, вылинявшее от грусти небо Заволжья, дымный простор воды, баржи и караваны плотов и, взволнованная, послала телеграмму отцу, что едет.

День за днем, приближаясь к родным местам, волновалась она все более и радовалась; увидев же на рассвете крыши Утевки и единственный в степи дубок, на корне которого еще осталось (или это показалось только?) вырезанное слово «Анюта», заплакала Аннушка и вся в слезах подъехала к дому отца.

Но сегодняшний прием у попадьи и Шавердовой напомнил ей, что не милые люди жили в этом пыльном селе, а злые и угрюмые мещане, обижавшие когда-то девочку Анютку, бегавшую в ситцевом платьишке, с тоненькой косицей.

Аннушка долго рыдала на огороде и отмахивалась от дьячка, думая, что как же ей жить, когда близкие так грубо оттолкнули.

Назавтра она решила ехать в Самару и поспешно стала укладывать вещи. Дьяк пошел к вечерне, поклявшись, что если в храм явится попадья или немка — показать им при всем народе кузькину мать.

Уложившись, Аннушка села на крыльчке и долго вздыхала, глядя, как солнце клонится к скучным полям. Грачи полетели в гнезда спать, воробьи на пыльном кусту чирикали, утомленные дневной вознею. Мимо крыльца пролегалая мягкая от пыли дорога, луг весь зарос гусиным шавелем, который вдалеке щипали белые гуси.

Аннушке очень себя стало жалко, и она раскачивалась, подперев рукою щеку... Неужели даже следов от ее ног не осталось на этом лужке, а сколько раз с Колей вперегонки бегала она к заброшенному погосту, чтобы ловить там кузнечиков, среди камней и зеленых бугорков... А с погоста виден пруд...

— Пруд, — сказала Аннушка, — как я забыла к нему сходить. — И она пошла, огибая село по выгону, к тому березовому полуостровку, где вчера спал и бредил Коля Шавердов. Сев над водой, Аннушка сняла шляпу и прищурилась, вспоминая далекое. Под березками было темно и влажно. Аннушка с веселой улыбкой расстегнула кофточку, развязала шнурки юбок и, освободившись от всего этого, стала разуваться.

Оранжевое солнце склонялось у того края пруда за деревья. Аннушка, смеясь, схватилась рукой за ветку, опустила ногу в пруд... В это время хрустнуло позади, Аннушка быстро обернулась и увидела за березой Сашку, делавшего ей знаки рукой.

— Уйдите, — воскликнула Аннушка, прикрываясь рубашкой, — видите, я раздета.

Сашка вылез из-за дерева и, помахивая карточкой, проговорил бичиво:

— Ты не фыркай, у меня документик есть... Будешь добрая — жарю, а не то в газете пропечатаю.

Сашка задыхался немного; от волнения рука, державшая карточку, дрожала и прыгали щеки...

— Убирайся, дрянной мальчишка! Какой документик? Я стану кричать... — путаясь в платье, громко шептала Аннушка и глядела круглые глаза Сашке. Он медленно подходил.

Так, пятась, Аннушка оступилась. Сашка схватил ее за голые плечи и зашептал у самых губ:

— Аннушка, сдайся, я ласковый...

И, захватив ее руки, стал ломать, наваливаясь грудью. Аннушка молчала, чувствуя, как слабеют и разгибаются мускулы, застилает глаза...

— Не надо, пожалейте меня, — тихо сказала она.

Сашка тогда, высоко сигнув, навалился и ударил Аннушку коленкой, но в это время громко заговорили совсем близко грубые голоса и на волосы девушки наступил сапог. Сашка рванулся, отделился от ее тела, поднялся на воздух и протяжно, как заяц, которому пускают в нос соломинку, закричал.

Аннушка, слыша только этот крик, оперлась руками о землю и побежала между деревьев. Один раз взглянула она на рыжего мужика, державшего под мышки Сашку, двое других, тоже рыжих, били кулаками в Сашкин открытый и окровавленный рот.

— Оставьте, — закричала Аннушка; все надрывалось в ней от сильного воя... Мужики уже отпустили Сашку и, наклонившись, поносились, тяжело дыша. В это время дорогу ей преградил Коля Шавердов.

— Аннушка, — сказал он, заломив руки...

Не останавливаясь, хлестнула его Аннушка по щеке и побежала на косогор. Коля присел, вынул платок и стал сморкаться.

В ту ночь на площади перед лавкой две бабы и отставной солдат слушали вопли и крики, глядя в окна шавердовского дома, где, таская друг друга за волосы, бранились Каролина Ивановна и вдовая попадьа...

Да еще по узкой дороге между хлебов и ковыля потряхивалась, дребезжа, плетушка, на козлах сидел дьяк Матвей Паисыч, позади него, лежа калачиком на сене, горько плакала Аннушка, уткнув лицо в ситцевую подушку...

Месяц светил и летел навстречу обрывкам ночных облаков; по той же дороге шел Коля Шавердов. Прицепив к поясу узелок и стуча палкой, думал он, что никогда уж больше не вернется в проклятое село... А что делать будет — не все ли равно, лишь бы жить в городе, где Аннушка...

Заглянул месяц в попадьин дом, сквозь щель ставни, за которой, свесив с кровати голову, стонал и отплевывался Сашка, кля-

нясь завтра же поджечь Шавердовых со всеми потрохами... Но это ему не удалось...

Месяц закатился за родными местами и, когда нужно, снова взошел и светил, и летом и зимою, много годов на село, на степь, на приволжский город, где на крутом берегу, невдалеке от паровой конторки, торговал Коля Шавердов в своей лавочке лимонадом, арбузами и воблой...

Однажды Коля, подвешивая связку ядерных баранок на дверь, увидел извозчика, взбиравшегося от конторки в гору; на пролетке лежали чемоданы и желтые сундучки, а среди них, закутанная в зеленую вуаль, сидела Аннушка, усталая и постаревшая, придерживая рукой крошечную собачонку... Коля снял картуз, низко поклонился и сказал:

— Здравствуйте, Анна Матвеевна, с приездом... — Но Аннушка не обернулась, должно быть не слыша за грохотом колес...

Все тот же месяц выглянул однажды сквозь снеговые облака, побежал вдоль холодной стали рельсов; между ними по занесенной снегом насыпи шел Сашка, пробираясь после долгих, тяжелых лет в родные места, где, должно быть, все уже умерли...

Сунув обмерзшие руки в рваные рукава, подставляя плечо вьюжному ветру, спотыкался Сашка и все брел, не оглядываясь, в страхе, что догонит его стражник или повалит буран... Только в отчаянии может помыслить человек — пробраться за десятки верст сквозь снеговую степь, где живой только он один и то ненадолго.

В ЛЕСУ

1

В начале апреля ночь была темная, а земля такая топкая, что лошаденка, дергаясь в хомуте, насилу выворачивала из колдобин тяжелую телегу, в которой, вцепясь в нахлестки, сидели мужики.

Место было глухое и перекопанное ямами по всей долине, между озерами Кундрава и Лебяжьим на юго-восточном склоне Урала. Нилсо, невидимый, глухо шумел бор, а в лицо сырой ветер гнал острый и гниловатый запах вскрывшегося озера.

— Смотри, Лекся, не выверни под кручу; держи левее, — скалил один из мужиков тому, кто правил. Правящий нагнулся и, сились разглядеть колеи, натянул вожжи; лошаденка стала. Тогда внезапно послышался плеск воды, мягкий звон и шелест льдин, которые в темноте высывались на берег, осыпались, и между ними бурлило студеное озеро.

Мужики прислушались — не настагает ли конский топот, не брешут ли собаки. Позади телеги фыркнул, а потом громко заржал рыданный конь.

— Замолчи ты, махан, — сказал тот же голос, а другой, с низальцем, произнес:

— По дому скучает...

— Дымком потянуло, — должно, попова заимка.

— Она и есть. Барин спит, по видимости. А не попытать ли сейчас, братцы?

Крякнув, один из мужиков тяжело соскочил наземь, за ним другой и третий; отойдя, они пригнулись, вглядываясь, а Лекся шворчал:

— Ловкачи, только барин половчее, он вас угостит...

В это время совсем близко твякнула собака, другая, и, залившись, принялись бегать псы неподалеку вдоль невидимых сейчас ворот заимки. Мужики сели в телегу, и первый сказал:

— Эдак не ухватишься, мы ловчее подстроим; у него, Наташка скизывала, деньги в земле зарыты. Айда к рыбаку...

Вскоре телега завернула в лес, и собаки с поповой заимки хоть и выбегали, подняв ухо, на поляну и скулили, но уже так — со

старого перепугу, и не было слышно более ни стука колес, ни плеска по грязи копыт.

Но струхнули собаки недаром, потому что в станице и кругом лежащих заимках не было казака, который бы ночью в поле, услышав позади себя грохот телеги, не погнался бы коня, оглядываясь в страхе и думая: «Наверно, это Назарка Черный с товарищами едет на дубовой телеге».

2

Иван Семенович проснулся на поповой заимке, как всегда, в семь часов, сощурился от луча сквозь ставню, сбросил ноги с жесткой кровати, покрытой кошмой, а под ней полынью от блох, и потянулся, распахнув окно. Свежий ветер, пахнущий озерной водой, зелеными почками и навозцем, поднял волосы на голове Ивана Семеновича и омыл заспанные его глаза, зашелестев на столе письмом.

— Хорошо, — сказал Иван Семенович, — ух, как славно, — и высунулся в окно по пояс.

Синее небо было еще прохладно, и по нем плотные, как снег, шли облака, отражаясь в большом озере, то ясном, то, местами, тронутом зыбью. На дальнем берегу, опрокинутая серыми крышами и двумя белыми церквями воде, лежала станица Кундрава; направо от нее бежали красноватые поля вплоть до едва видных лиловатых гор, а налево берег круто поднимался, кое-где поросший деревьями и перелесками, отступившими от темного бора. Древний этот бор покрывал всю долину за озером, окаймлял непроходимой чащей Лебязье, взбирался на хребты, спускался вновь к долинам и залегал вплоть до севера, прорезанный железными путями, вырубаемый у Шайтанских, Тагильских заводов, палимый пожарами, но все еще дикий и темный. Водилось в нем много зверья: и лосей, и коз, и бурых медведей, а на вершинах сосен сидели, прижав уши, желтые рыси, карауля путника, чтобы с мяуканьем кинуться ему на грудь и перегрызть горло.

Для этого-то зверя и заехал сюда Иван Семенович вместе со слугой Кучерищем и не заметил, как подкатила Пасха. Да не все ли равно, где было жить Ивану Семеновичу: на Уральском ли озере, в лесах Кавказа, или на севере, у поморов. Повсюду, где, не совсем еще выбитое, кричало на заре зверье, пели птицы, токовали тетерева, появлялся Иван Семенович с двуствольным ружьем за плечами, ко всему приглядываясь серыми и спокойными глазами, в страхе за одно только — потерять мир бродячей своей души.

— А травка-то ползет, — сказал Иван Семенович, поглядывая на чистую от снега, едва начинающую зеленеть поляну между озером и ветхой заимкой, у завалины которой было уже совсем сухо и пестрая курица на солнцепеке, опустив от удовольствия

«рыля, караулила пеструю мушку на стене... — то-то, больно уж прижмет меня зеленая травка. Совсем весна.

В это время вошел Кучерище, неся самовар; Кучерище — было призвище, данное, не знаю почему, слуге, который был худ от рождения, долгонос и белобрыс, а выражаться любил высоким слогом. Ставя на стол самовар, он сказал:

— Ночью Назарка Черный мимо проезжал. Надо бы его угостить соответственно ихнему душегубству. Что за подлый народ...

— Какой там Назарка, чего ты мелешь?

— Извольте на колени посмотреть, — вон как близко проехал; а тому же я, как от моего организма за ворота выбегал, все и слышал...

Иван Семенович усмехнулся и пошел за перегородку, где Кучерище ковшом принялся поливать ключевую воду на волосатые руки барина, на обветренное от снегов лицо его, улыбка которого была скрыта за каштановыми усами и курчавой бородой.

— А ведь завтра разговенье, Кучерище, — сказал Иван Семенович, фыркая, — приготовь патроны.

3

В апреле вековой лес шумит по-особенному. Нет в нем скрипов и тресков зимней стужи, когда в морозной тишине пробирается по рыхлому снегу лось, нет жалобного свиста мокрых осенних ветвей, не шелестит он медвяно, как в летнее утро, и не рвет его и не клонит с тяжелым шумом гроза.

Весною, когда, ухая по ночам, тают в лесных оврагах снега и белые ключи поблескивают под желтой травой, когда ветер то угонит за край земли белые облака, то налетит на талые ветви, лес шумит медленно, словно колдует, зазывая вешние воды.

Иван Семенович, неслышно погружая в мох тяжелые, выше колен, сапоги, медленно шел к Лебяжьему озеру, поглядывая и усмехаясь, как все охотники, стыдливые перед лицом земли. В ложинах и ямах лежал еще серый снег, а на бугорках цвели желтые цветы, раздвигая прошлогодние листья; стволы сосен были красноватые, а дубы покрыты зеленым мхом.

Иван Семенович чувствовал в это утро преувеличенную легкость в ногах, поэтому и шел так тихо, не понимая, отчего ему беспокойно; как будто грудь раздвинулась, влетел туда душистый ветер, и сердцу стало пусто; вокруг же набухали почки, все допынно напивалось солнцем, горело лицо, и руки жег вороненый ствол ружья.

Когда сквозь голый тальник и орешню стала видна ясная гладь Лебяжьего озера, Иван Семенович остановился, подумав: «Так вот куда меня ноги несут».

Сейчас же сделал сердитое лицо, перешел дорогу, на которой чернели две свежие колени, и повернул было назад, но, втянув через раз-

дутые ноздри запах травы, прелых листьев, смолы сосновой, открыл рот, словно задыхаясь, и сердце сжалось нежно и больно.

— Что за глупости, — громко сказал Иван Семенович, — странно только, почему я зимой даже и не думал о Наташе, а теперь третий день...

Иван Семенович опустил ружье, положил на него обе руки и, зажмурясь, ясно припомнил занесенную снегом на берегу озера, под горкой, избу рыбака Игната, куда, несмотря на дурную славу старика, Иван Семенович завертывал частенько, возвращаясь на лыжах. Под потолком низкой избы на жердях был растянут невод и свешивались гончарные грузила; у закоптелой печи при свете коптилки, в зимние вечера, плел Игнат широкие сети, а если был собеседник, строго выговаривал, не поднимая от бечевы белобородого, иконописного лица своего:

— Пущего нет греха, как теперь пошли безбожники; ты можешь человека, к слову говорю, порешить, и, если имеешь веру, тебе, как разбойнику, все простится, — потому что, убивая, ты знал, значит, на какую себя муку обрекаешь, а муки там зачитаются пуще всего. А вот Наташка — как есть коза, нет в ней души, а грех мой: мало порол.

Наташа, кровать которой по другую сторону печи была задернута кумачовой занавеской, сживала у обледенелого окошка, глядела через надыханную дырку на большие звезды, а днем — на белые снега озера и мурлыкала песни, не слушая дедовых слов. Стан у Наташи был крепкий, лицо маленькое, нахмуренное, и на нем зеленые глаза. А в избе пахло дымком, рыбьей чешуей, веревками и еще тем опасным, отчего сейчас раздувались у Ивана Семеновича ноздри и прилиwała к щекам кровь.

— Этого еще не хватало, — медленно проговорил Иван Семенович, — застрять в лесу из-за девчонки... А сейчас она расцвела, наверно, как почка... две недели ее не видал.

Не заметив, как сами завернули ноги, Иван Семенович быстро стал огибать озеро и, ломая ветки, старался поскорее увидеть каменистую сопку, по ту сторону которой прилепилась Игнатова изба.

— Вот и горка, и Наташа, кажется, на камне стоит, — сказал Иван Семенович, на миг остановясь и опуская глаза.

На высоком и каменистом пригорке, поросшем между серыми плитами корявой сосной, стояла, упираясь крепкими руками в бока, Наташа и глядела вниз.

На девушке поверх красной и широкой юбки надет был синий кафтан, расстегнутый на высокой груди, а волосы повязаны оранжевым платком, концы которого торчали на затылке двумя ушами.

— Что-то давненько не захаживал, — сказала Наташа низким, срывающимся на смех голосом, — лезь ко мне, я руку протяну.

— Здравствуй, Наташа, — проговорил Иван Семенович, становясь рядом с девушкой на камень. — Пошел было к разговенью козочку подстрелить, да, видишь, к тебе ноги занесли. Ты что-то уж очень красивая сегодня.

Наташа обернула высоко поставленную голову, прищурилась, итирные щеки ее залил румянец, маленький подбородок и рот идрожали, и она засмеялась, толкнув Ивана Семеновича в плечо.

— Петух, право петух, ах ты, сударь мой.

— Чего смеешься... Конечно, красивая...

— Красивая, да не для тебя...

— Сядем-ка сюда, я тебе вот что скажу...

Иван Семенович тронул Наташино плечо, прося сесть, а она идруг, нахмурясь, отчего брови ее сошлись, взяла ружье и сказала:

— Как тебе не грешно в страстную субботу из ружья пыхать; лий-ка я от греха его к дедушке унесу...

И Наташа быстро побежала прочь, унося ружье; а на краю иррыва обернулась; ветер раздул ее юбку, хлестнул полой кафтана, и она, усмехнувшись, сбежала вниз.

— Наташа, — сказал Иван Семенович, — глупая! — и, поти-юньку смеясь, дергал себя за бороду.

Наташа вернулась через минуту.

4

— Дедушка не увидит нас? — говорил Иван Семенович, по-ложив одурманенную голову на колени Наташи.

— Дедушка на эдакую кручу и не влезет, — отвечала девушка, медленно глядя волосы Ивана Семеновича; лицо у нее было блед-ное, а глаза, будто не видя, блуждали по вершинам сосен, по белым облакам, видимым далече с высокой сопки, — да он ведь к иутрени пошел спозаранку; дедушка у нас — богомольный.

— Наташа, почему ты на меня не смотришь, о чем ты все думаешь?

— Как тебе не совестно? — отвечала Наташа. — Я же глупая, и ты меня тревожишь в эдакий день.

Теплые ее ладони, скользнув по волосам, крепко сжали щеки Ивана Семеновича, и, быстро нагнувшись, поглядела она сердито ему в глаза; когда же Иван Семенович потянулся к ней, — мед-ленно отстранилась.

— Я совсем как пьяный, Наташа, дай я поцелую в щеку.

— Нельзя.

— Когда же можно?

— Не знаю сама когда...

Наташа вдруг усмехнулась, словно расцвела, углы ее рта при-поднялись, осветились глаза, и, наклонившись так, что грудь кос-нулась Ивана Семеновича, протянула она вдоль тела его руки и, покачивая головой, молвила:

— Может быть, я тебя и полюблю, очень ты желанный.

Иван Семенович взял ее руки и обвил ими свою шею: глядел на небо, и казалось ему, что белый камень, вместе с пригорком и оснами, медленно плывет под облаками, и в легком этом движении

словно уносился Иван Семенович, обнимая Наташу, к облакам, в простор, и сердце падало, сжимаясь. Вдруг со стороны кручи скрипнула дверь, и грубый голос позвал;

— Наталья, подь-ка сюда...

Наташа выпрямилась, сбросила голову Ивана Семеновича с колен, побежала было, но, вернувшись, легко присела, оперлась ладонями в мох, поцеловала в лоб и скрылась.

5

Солнце медленно падало в лиловое облако и, золотя его края, одевало сумерками низины, по полянам протянуло тени деревьев и выпустило на волю ветер, зарябивший синее озеро, и вершины глухо зашумели вечерним шумом.

Иван Семенович, голодный и продрогший, все еще ждал Наташу, сидя на камне. Несколько раз подходил он к обрыву, глядя вниз на трубу и земляную крышу избы, на перевернутые сани, обрубок с воткнутым топором и пару продранных лаптей на шесте; все было тихо. Он спускался вниз, трогал запертую дверь и заглядывал в оконце, негромко зовя: «Наташа». Один раз (но это показалось, наверно) всхлипнули в избе или засмеялись...

— Что за безобразие, — то обхватив колени и раскачиваясь, то прилегая на локте, бормотал Иван Семенович, — почему она не приходит? Случилось, что ли, недоброе или дурит? Право, сейчас встану и уйду; ружья нет. Фу, как нехорошо.

Но Иван Семенович, конечно, не уходил, прикованный чарами девушки к холодеющему камню, и вздрагивал, когда хрустела ветка вблизи.

А над лесом, издалека, летел теперь медленный звон: то звали к великой заутрени, ударяя в большой колокол, в станице Кундрава.

Слушая дальние эти звуки, затосковал Иван Семенович один в лесу и подумал, не ушла ли Наташа в церковь.

А солнце закатилось; туча окровавилась и погасла, заливая озерную гладь тусклым светом; внизу, между кустов, вился легкий туман, и казалось, к подножью сопки подходила вода; в оранжевом закате открылась зеленая звезда; ветер упал, и морозец стал пощипывать концы пальцев и нос. Налево свистнул тетерев спозаранку, ему откликнулся другой, и, ломая по берегу валежник, просунул к воде ветвистую голову лось; глотая хрустальную воду, бил копытом и, отступив, закричал раскатисто на все озеро.

— Иван Семенович вытянулся, набрав холоду полную грудь, и позвал:

— Наташа!

И, словно в ответ ему, затопали под кручей тяжелые шаги: то несколько человек взбирались на сопку. Иван Семенович быстро обернулся: из-под кручи поднялась чернобородая голова и другая, опухшая и рыжая...

— Вовремя поспел, — сказал черный, — дожидается. Вяжи

Иван Семенович, отступая, повернулся, чтобы бежать, но с пологого спуска преградил ему путь высокий парень. Иван Семенович, подскочив, вытянутой рукой ударил его, и парень, ахнув, упал, цепляясь за ноги. Двое первых надели на плечи; Иван Семенович стиснул зубы, вытянулся, но руки его уже опутала ременная петля.

6

В Игнатовой избе, наклонясь у стола над коптилкой, трое мужиков потрошили бумажник Ивана Семеновича. Сам Иван Семенович, связанный по рукам и ногам, лежал навзничь на нарах и ободранным языком старался выпихнуть изо рта кляп. За кумачовой перегородкой ворочалась Наташа, а у порога щепал лучины юный парень, Лекся, Наташин брат.

— Сто целковых и еще два, — сказал черный мужик, разгибая спину, — маловато, надо попытать — в каком месте у него остальные.

Мужики подошли к нарам, и парень, захватив вместе с волоками, выдернул у Ивана Семеновича кляп изо рта.

— Где деньги? — спросил черный, наклонясь к самому лицу, и обдал Ивана Семеновича горячим духом водки, лука и крепкого перца.

— Пытать будем, — тоскливо сказал парень.

— Разве это порядки? — молвил рыжий, шепелявя. — Честью наркшим; тебе деньги на что? — пропыхиваешь их из ружьишка, а мы народ рабочий.

— Денег у меня больше нет, все в бумажнике, — ответил Иван Семенович, облизывая губы.

Мужики отошли к окошку, совещаясь. Иван Семенович внимательно следил за каждым их движением. Когда же Лекся, нащепав лучину, разжег самовар — в тоске завертелся, напрягая ногу, чтобы порвать ремень. Прошло немного времени. Тогда, легонько отодвинув занавеску, выглянула Наташа, ища глазами, полными слез и страха, глаза Ивана Семеновича. Он отвернулся и негромко застонал. Наташа в отчаянии приложила кулачки к вискам, вытянула шею, шевеля губами, потом закрестилась, показывая на мужиков и трясая головой. Наконец черный спросил громко:

— Самовар готов?

— Готов, — поспешно ответил Лекся тонким голосом и сейчас же вышел.

Мужики опять подошли; парень, сняв с себя ременную пояс, обкалится и стал со всего плеча хлестать Ивана Семеновича по ногам. Иван Семенович закричал сначала, потом закусил губу, зажмурил глаза.

— Ладно уж тебе, — сказал рыжий тихо, — чай, это не лошадь. Барин, скажи, Христа ради.

— Нет у меня денег. Что, себя мне, что ли, не жалко! Стал бы я скрывать.

— Давай кипяток, — сказал черный, глядя исподлобья.

Наташа в это время вскрикнула, выбежала из-за занавески, опрокинула ногой самовар и заговорила:

— Не позволю шпарить, ах вы душегубы. Деньги бери, а его не трогай! Хочешь — меня шпary! Все равно через вас, проклятых, себя погубила... Я знаю, нет у него дома денег, он сам сказал.

Наташа наступала, размахивая руками, словно отбиваясь, зубы у нее открылись от страха и злобы.

— Молчи, сука, — сказал парень.

Рыжий мужик весело ударил себя по бокам, воскликнув:

— Ну и девка! Атаман! — и засмеялся, краснея с натуги.

А черный подошел к Наташе. Но девушка увернулась, подбежала к нарам, откинулась, загораживая Ивана Семеновича, и со всей силы толкнула черного в грудь.

— Не шали, Наталья, — сказал он сурово; подошедшего парня она ударила в лицо, все не сводя глаз с черного, который, не торопясь, усмехнулся невесело, уверенный, приземистый и крепкий.

— Ружье под нарами, заряжено, Наташа, — тихо сказал Иван Семенович.

Наташа быстро нагнулась, но черный отшвырнул ее, поднял ружье, взвел курки и сказал:

— Нет, уж ты нам не помощница...

Наташа закрыла голову, но рыжий мужик, отведя стволы, сказал степенно:

— Не годится нынче кровь проливать. Ты, милый, как хочешь меня зови, а этого тебе не позволю.

Глаза у черного налились, он засопел, и быть бы большой беде, если бы снаружи не застучали конские копыта; послышались неспешные голоса, и в скрипнувшую дверь вошел крепкий широкогрудый старик, держа пестрый узелок за уголки перед собой.

Старик медленно положил узелок на лавку, снял шапку с намазанных маслом белых волос своих, поклонился всем, подошел к нарам, из кармана вынул складной ножик, разрезал ремни на руках и ногах Ивана Семеновича, поклонился ему, сел у стола, положив перед собою кулак, и сказал мужикам:

— Вот так-то, братцы, с праздником...

— Этак, Игнат, мне не нравится, — начал было черный, но старик перебил его, постучав:

— Нынче, Назар, я на клиросе пел, да и подумал: сегодня всякому малому зверью прощенье выходит. А вы вот как распорядились... Прости нас, барин, ступай с Богом да держи язык за зубами.

На полпути к поповой заимке, в редком березняке, догнала Ивана Семеновича Наташа, высокая и бледная в свете больших звезд.

Запыхавшись, обняла она его, запрокинув залитое слезами лицо, глядела, не отрываясь, огромными, теперь темными глазами, в которых отразились две синие звезды.

Иван Семенович поспешно стал гладить волосы ее и щеки. Наташа, продолжая сжимать его, легонько вскрикивала, как раненая лисья коза. От взглядов ее, от звездных зрачков, от белого лица стало казаться все сном Ивану Семеновичу, и он медленно улыбнулся.

— Нет, нет, не надо, — зашептала Наташа и, оторвавшись, свитилась за концы платка у шеи; постояла, медленно отвернулась, подняла плечи и побежала к темной стене сосен.

Иван Семенович долго вглядывался в деревья, за которыми скрылась Наташа, потом оглянул широкую поляну. По ней, легко влубясь, ходил туман, и березки, казалось, росли из его облаков, нигде поблескивая, недвижные и легкие. А в небе, выкатившись из-за леса семью огромными звездами, стояла Большая Медведица. Иван Семенович закинул руки за шею и сказал:

— Весна.

ПРОГУЛКА

1

Каждый вечер, поглазев на пассажирский поезд Яков Иванович шел, прогуливаясь, мимо деревянного трактира с облезлой вывеской, мимо оврага, полного навоза и разной дряни, мимо обгорелого, с незапамятных времен, кирпичного дома, у которого прилепилась кузница Голубева и в станке упрямая лошадь, не даваясь ковать, тянула к себе, а присевший кузнец к себе, мимо телеграфных столбов — вниз по спуску, на Песочную улицу.

На спуске Яков Иванович приостанавливался, поправлял на голове картуз акцизного ведомства, из секретного портсигара доставал папироску, пускал дым сквозь рыжеватые усы, оглядывался налево, где за унылым полем угасал закат, смотрел вниз на Песочную, на низенькие дома, плетни и сады за ними, видел как зажигались керосиновые фонари, сплевывал через плечо в овраг и, покручивая тросточкой и свистя, сходил вниз, хорошо зная, что на Песочной горит в крайнем окне свет и Маша Голубева играет с дымчатым котенком.

Опершись на трость, среди пустынной улицы, подолгу глядел Яков Иванович через окно на красивое, чернобровое лицо Маши. Маша положила на стол локти — и ни скуки, ни веселья нельзя прочесть на ее лице, освещенном лампой.

— Обо мне думает, — решил Яков Иванович.

Брови у Маши слегка сдвигались, верхняя губа приоткрывала ровные зубы; усмехаясь думам, она перевортывала на спину дымчатого котенка и щекотала ему белую грудь; котенок кусался, отбиваясь задними лапами.

«Вот ведь характер, — думал Яков Иванович, — вчера говорила: «Приходите, может быть вечером за воротами постою», — и осторожно царапал по стеклу. Маша взглядывала сердито в окошко, поднималась, схватывала котенка, сажала на плечо и, махнув косой, уходила за перегородку.

Но постучать громко или войти он не смел, потому что за перегородкой спал Машин папаша, Голубев, кузнец, а его Яков Иванович боялся, как огня.

— Ты у меня доиграешься, я тебя растревожу, — ворчал Яков Иванович и, досадливо поковыряв палкою песок, брел по Песочной или Сокольничью, где жила старинная приятельница — Вера Шавердова, — душевный друг.

2

Так было и нынче. На Сокольничьей, у керосинового фонаря, Яков Иванович поднял трость и резко постучал в перекошенную дверь ветхого домика. Зашлепали туфли, загремел тяжелый кряк, и в щель просунулось испуганное, помятое лицо.

— Это я, Верка, — сказал Яков Иванович; тогда его впустили в сени и в низкую комнату. Осторожно сняв картуз, Яков Иванович положил его вместе с палкой на комод, расстегнул китель, сел, протянул ноги в узких брюках со штрипками и вздохнул. Вошла Верка, успевшая попудриться. На ней было всегдашнее красное платье и пуховый платок; завернувшись в него, она обычно, скуки ради, спала на диване. Присев напротив Якова Ивановича, у овального столика, Верка припустила огонь в лампе, прикрыла рот, сдерживая зевоту, запахла платок и сказала:

— Не знаю, холодно, что ли, мне или чай пить хочу.

— Машка одна сидит, с котенком играет, — сказал Яков Иванович, — очень много о себе думает.

— Подлец ты, Яша, — проговорила Верка негромко.

— Чем же я подлец, когда я влюбился!

Яков Иванович оглянул надоевшую комнатешку с кисейными занавесками, канарейкой, лампадой в углу, скатерточками и половичками, закурил и окончил:

— Она молоденькая, не то что ваша милость.

— Хочешь, в дураки сыграем, — уныло, после молчания, сказала Верка и поползла рукой по столу за колодой.

Яков Иванович надул щеки, придвинулся и взял коробленные карты. Но масти он не видел и ходил наугад: такая брала его досада, — всю весну ухаживал он за Машей, похвалясь однажды, что трех дней не пройдет, как начнет она бегать к нему на огород. Но девушка вертела им, как хотела; принимала мелкие подарки и посмеивалась или гнала, когда он очень приставал; такая уж рождалась своевольная и ни разу не оставалась с глазу на глаз надолго, говоря, что отец не велит, хотя и намекала, что, пожалуй, на лодочке покатается. А в акцизе сослуживцы спрашивали: «Ну, как, не угостил еще тебя кузнец?» Терпеть больше не хотелось, и в голове копошился план.

И так и так размышлял над ним Яков Иванович, а Верка терзала пальцами рот; толстый нос у нее лоснился; в лампе пищал керосин.

— Знаешь что, — положив карты, сказала Верка, — дура я была, что с тобой связалась.

— А что?

— Так. Нехорошо. Думается.

Яков Иванович усмехнулся, придвинулся, охватил Верку и томно опустил голову ей на плечо:

— Ты, Верушка, любишь меня, так устрой завтра штуку... я буду помнить.

— Какую штуку?

— Уговори Машу на лодке кататься, а я, будто невзначай, пристану к вам, или как там уж выйдет; она с тобой поедет.

— Ты мне это говоришь? — воскликнула Верка, отталкивая Якова Ивановича. — Нет, дружок, не дождешься.

Яков Иванович заходил по комнате, уговаривал, приставал, грозил даже, пока Верка, уставясь припухлыми глазами на лампу, не сдалась:

— Ладно уж, отвяжись, все равно.

3

На следующий день кузнец Голубев постукивал по наковальне молоточком, отбивая такт молотобойцу — высокому парню Лаврушке, который, засучив рукава выше локтей, описывал тридцатифунтовым молотом круг и, подаваясь вперед, с аханьем бил в раскаленный лемех.

«Еще поддай, еще поддай», — выговаривал молоточек; у Лаврушки на рябом носу выступил пот, как горох; искры из горна летели в колпак, освещая белые волосы Голубева, сивую его бороду, суровое лицо в круглых очках, перетянутый фартуком согнутый стан, земляные стены кузни и круглую голову подмастерья, раздувающего мехи.

Голубев, постукивая, пел духовный стих:

Ты в саду его носила —
Сына — Бога твоего...

Следя за ударами молота, легко сочинял он стихи; ухватив клещами лемех, совал его в угли, думая: «Вот так и душа неправедного скочевряжится».

Лаврушка вытирал пот широкой ладонью. На хозяина он смотрел с почтеньем и не посмел бы слова молвить, но сейчас, заикаясь, сказал:

— За водой я, хозяин, бегал; у окошка опять Яков Иванович стоит, сговаривается с нашей Машей...

Голубев поглядел поверх очков и ничего не ответил, только молоточек его заходил не в лад.

— Хозяин, он нашу Машу уговаривает на остров в лодке ехать, говорит: «Я в кузню к тятеньке добегу, спрошу».

— Молчи, — сказал Голубев.

Долго они работали молча. В кузницу, приподняв картуз, вошел Яков Иванович.

— Здравствуйте, почтеннейший, как работаете? — сказал он иронично и принялся вертеться около наковальни, помахивая тропичкой. — Удивительно, железо не согнешь, а вы что угодно сделаете из него.

— Железо — оно железо и есть, — сказал на это Голубев, — а вы что, Яков Иванович, за делом пришли?

— Подковать себя хочу, ей-богу, чтобы резвее бегать, — хихикнул Яков Иванович и беспокойно покосился. — Вы, кажется, Голубев, баптист? Говорят, большие гонения сейчас на вашего брата?

Голубев оставил молоток, поднял очки, подошел к Якову Ивановичу и спросил, когда стало в кузнице совсем тихо:

— Ты к чему подбираешься-то?

Но Яков Иванович уже попятился за дверь и, очутившись на лужке, поправил картуз.

— Поосторожнее бы надо с чиновниками, Голубев, — и, не дожидаясь ответа, зашагал под горку.

Кузнец долго глядел в землю.

— Лаврушка, поди позови Марью, — сказал он опуская очки.

Лаврушка побежал, скоро вернулся и сообщил, что не нашел ни Маши, ни Якова Ивановича, должно быть, чиновник успел уже обманным путем девушку и увез ее на остров.

Голубев не спеша вымыл руки, снял очки и фартук и, кликнув Лаврушку, вышел из кузницы, по пути достойно кланяясь тем, кого он уважал.

4

От кузницы Яков Иванович поспешил под горку, минуя Песочную, на лужок, где в ожидании прогуливались под руку Маша и Вера. «Позволил, позволил», — закричал Яков Иванович еще издали; забежал вперед и, вертясь, старался прельщать дам шутками и прыжками.

Маша ленивой походкой в козловых башмаках ступала по лужку, ветер, плеща широким ее ситцевым платьем, обрисовывал полный, сильный стан. Зеленую полушалку она придерживала на плечах, отвертываясь от Якова Ивановича с усмешкой, в ушах у нее позванивали серебряные серьги.

— Настоящая гусыня, — шепнул ей Яков Иванович, указывая пальцем на впереди идущую Верку, — будто с яйцом идет.

Маша громко засмеялась и стала еще лучше.

— Я ее всегда зову: гусыня да гусыня, страшная дура, — продолжал довольный Яков Иванович. Маша из-под ресниц повела на него серыми глазами; Яков Иванович заликовал; по пути нагнали они гусей, щипавших щавель; Маша опять засмеялась, а Яков Иванович ухитрился даже поддать Верке подножку, и Вера, красная от злости, обернулась:

— Нечего на других выезжать, сам хорош, стрелок, вот ты кто. Маша нахмурилась. Яков Иванович постарался замять неприятность. Они подошли к реке. В зарослях тальника краснела корма лодки, которую Яков Иванович тотчас сдвинул в воду. Маша, подобрав юбки, влезла первая. Вера сердито шлепнулась на скамью, зачерпнув башмаком; Яков Иванович, стоя на нос, уперся веслом, и лодка, мягко осев, скользнула, покачиваясь, по речке, залитой солнцем.

Яков Иванович сильно выгребал против течения, стараясь пристать по ту сторону к зеленому острову. Прищурясь, взглядывал он на Машу. Верка, рядом с нею, казалась уродливой и старой.

«Вот увязалась, чучело, — думал он, — нет, чтобы довести до лодки, а самой остаться». Лодка въехала в полосу водорослей, оставляя след; Яков Иванович, поднимая отяжелевшие весла, брызнул водой, Верка вскрикнула; Маша рассеянно оглядывала березовый тенистый островок.

Яков Иванович помог вылезти девицам, и они одни побежали в лес — поискать будто бы грибов, а он уселся на бережку, покручивая усики. Над водой низко пролетели тяжелые утки; ворковал в березняке дикий голубь; от воды играли зайчики. Вдруг он вздрогнул, услышав за деревьями плеск воды и женский визг. «Купаются», — подумал он и побежал через лесок.

Вера сидела в реке по горло, Маша плавала, болтыхаясь ногами, и просвечивала под водой.

Яков Иванович, сидя за кустом, отстранял от лица ветку и глядел, как вышла на берег сначала Вера, очень просто, словно из бани, и, стыдясь, прикрываясь, выбежала красавица — вся белая — Маша, присев, быстро накинула платье. «Мучительница», — пробормотал он.

5

Яков Иванович, видя, что Верка, несмотря на подмигивания, не отходит от девушки, придумал играть в горелки; сам завязал себе коричневым фуляром глаза, обе женщины стали позади, проговорили боязливой скороговоркой: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло», дернули его за рукава и побежали. Яков Иванович, сорвав платок, пустился догонять, тут-то Вера и поняла, что ее перехитрили: на коротких ножках не могла она поспеть за легкой Машей, которая, протянув руки, неслась, едва касаясь травы, сзади летели косынка и ее темная, еще влажная коса. Яков Иванович, нарочно пугая криками, далеко загнал Машу в лес, где девушка, запыхавшись, положила руки на грудь, со смехом увернулась и стала кружиться у дерева. Когда Яков Иванович совсем было ухватил Машу за платье, она понеслась далее, отдохнув и весело смеясь.

Яков Иванович обозлился даже; по пути сучок разорвал ему ботинок. «Эх, жалко, плакали денежки», — подумал он мимохо-

ним. Маша обертывалась, глаза ее пылали смехом, — чудно, как была хороша.

И островок врезывался узкий заливчик; Яков Иванович загнул назад и, подогнав к воде, ухватил Машу за бока. Она сильно обринулась и вытянутыми руками уперлась ему в грудь.

Маша, что ты, не бойся, — сказал Яков Иванович.

— Пусти, пусти, — зашептала Маша. Яков Иванович ослабел от волнения.

И это время из-за кустов, окаймляющих берег, поднялись Голубев и Лаврушка. Маша ахнула и попятилась.

Яков Иванович нахмурился, хотя ноги его сделались ваточными, и отчего-то защемило в животе.

— С дочкой играешь? — сказал Голубев, быстро подходя.

— Ну, ты не особенно кричи, — воскликнул Яков Иванович, пугаясь. Кузнец словил его за воротник, нагнул и толкнул лицом в грудь; Лаврушка сел на ноги; кузнец, упираясь коленкой в плечи, запустил руку, отстегнул пряжку его штанов, обрывая пуговицы, оголил тощий зад у Якова Ивановича и, сняв с себя ремесленный пояс, начал хлестать. Яков Иванович от страха молчал сначала, потом принялся кричать, даже выть, вертяться и царапать землю. Верка скрылась, а Маша, присев у дерева, закрылась ладонями, не то плача, не то без удержу смеясь.

Когда, наконец, отпустили, Яков Иванович медленно сел на близкое место, схватился за него. Голубев уводил за руку дочь. Лаврушка шел сзади них и, оглядываясь, скалился, как эфиоп.

6

Пока Яков Иванович отлеживался — прошло дней десять. В городе говорили разное: что кузнец, мол, застав у себя дочь с чиновником, вернул Якову Ивановичу кольцо, как медведю, только в другое место; иные уверяли, что Голубев вешал на острове Якова Ивановича, да тот сорвался.

Когда же он явился, наконец, на службу, товарищи окружили его, пришивая наперебой, что случилось на острове. На все вопросы он отвечал, поджав губы: «Хворал-с пищеварением». Так ничего и не добились от него, хотя заметили, что он уже не прежний — скучен.

В тот же день Яков Иванович посетил и вокзал; но не крутил, как бывало, тросточкой, прохаживаясь по асфальту, а скромно стоял у колонны, глядя, как из подкатившего поезда вылезали студенты с чайниками, толстяк помещик в поддевке и разный шумлупочтенный люд.

Помещик пил водку в буфете, студент оглядывал жандарма, и никому не было дела до Якова Ивановича; у каждого было впереди что-нибудь интересное. У Якова же Ивановича впереди была унылая комнатешка, где потренькает он на гитаре, ляжет на кровать, покурит папироску, и делать больше ему нечего.

После звонка помещика подсаживал кондуктор, студент, окончив уничтожать взглядом жандарма, бойко вскочил на площадку, подбежали люди с кипятком, влезли, поезд тронулся, и на месте его открылись грязные пути, штабели дров, голое поле. Уныние.

Ушел и Яков Иванович, не глядя вокруг на опостылевшее; на спуске он вдруг остановился и поправил съехавший картуз: у дома Голубева к трем телегам были привязаны лошади, во всех окнах горел свет. Яков Иванович подошел медленно и взгляделся. В дому, у длинного стола сидели благообразные мужики, положив руки на скатерть, уставленную угощениями; в конце сидел припомаженный Лаврушка, в синем кафтане, и рядом с ним Машенька, в новом розовом платье. Рядом с ней Голубев читал книгу, и все его важно слушали. Потом все раскрыли рты и запели. Лаврушка утерся рукавом; Маша сидела бледная и серьезная.

«Пропили девушку», — подумал Яков Иванович тоскливо и побрел на Сокольничью; у ворот босые мальчишки, припрыгивая, принялись дразнить: «Кольцо в спине, кольцо в спине». Яков Иванович поспешил пройти, но в спину ему запустили песком; он обернулся и поднял трость, мальчишки разбежались.

Дойдя до Веркина дома, он жалобно скосоротился и повернул назад; но Вера высунулась по пояс в окошко и позвала отчаянно: — Войдите, Яков Иванович. У меня самовар горячий.

Яков Иванович подумал. Зашел, подал холодную руку и сел у лампы. Вертя колоду карт, искал он нужное слово, а оно не подвертывалось; рассмотрев трефового короля, он сказал: «В дураки, хочешь, сыграем?» — и чуть поднял глаза, боясь увидеть улыбку на толстом лице подруги, но Вера, подойдя сзади, тихо провела по волосам Якова Ивановича. Он быстро обернулся, охватил Верку и прижался к ней лицом.

— Женился бы на мне, Яков Иванович, — сказала Верка серьезно, — что так-то — измаешься...

— Очень тошно, — ответил он, — ах, Вера, Вера. Все-таки — скучно здесь, тошно.

САМОРОДОК

1

Лопыгин повернулся на спину и, прищутив глаза, отчего звезды лучиками потянулись в темном небе сказал негромко:

— Так-то было оно, Ваня; шли-шли два брательника без пути, без дороги; хлеб весь вышел, и видят приходится им или воротиться, или умереть.

Один и говорит другому: «Давай воротимся». А тот ему: «Ты иди, а я вон в долочек забегу, копну, — может, там и найдем кмото».

Назад пошел один брат, а другой забежал в долок и копнул. И хрустнуло под лопатой. «Песок!» — подумал брат; насыпал песочек в ковш, помыл в ключевой воде, и в ковше загорелось золото, как жар.

Тут оба брата пали на землю, в которой река золотая лежала, и заплакали с радости, а наплакавшись, поставили веху и пошли по первой деревни купить инструментов и коня.

Долго шли они лесом, и горами, и быстрыми речками; путь шкали — днем по солнцу, а ночью по ясным звездам.

А как пришли, голодные, в первую деревню, закупили все, что нужно, и на коне повернули к заветному месту в тот же день.

А лес все один, куда ни поезжай: на полдень ли, или на закат, и ржки похожи одна на другую, и все те же горы.

Проколесили так-то два брата тридцать дней, коня у них комары заели, и не нашли золотого долочка, где ставили веху.

До глубокой ночи пешком они шли и молчали, друг друга боились.

А ночью отвязали кушаки и повесились на сосне.

Лопыгин повернул скуластое свое лицо и, глядя на Ваньку, разинувшего рот, добавил:

— А сосна стояла на краю того долочка.

— А правда это? — спросил Ванька.

Лопыгин промолчал, а потом негромко молвил:

— Если бы достать мне тысячу рублей, — пошел бы искать я то место; да вот руки связаны.

— Деньги, — протянул Ванька, — да, отлично.

И он натянул полушубок, так как на огороде, где лежали они, вился легкий туман.

— Или бы самородочек найти, — продолжал Лопыгин, — фунта на полтора; хозяин мой глупый; ни за что не отдам.

— Василий Иванович, а ты Василису знаешь? — вдруг спросил Ванька. — Вот она бы тебе рассказала. Слышь-ка, ей-богу, сбегай отнеси ей полбутылки да три пятака... Так-то Парфен в прошлом году ворожил, лошадь у него увели; и сказала Василиса то самое место, где найти коня; и нашел.

— А ты не врешь? — спросил Лопыгин, приподнявшись, и сел на корточки.

— Вот, с чего мне врать; я, чай, крещеный, — и Ванька закрылся с головой, бормоча перед сном несвязное.

Лопыгин долго глядел на звезды, думая все об одной мечте своей заветной — золотой реке; а потом неслышно встал, свернул полушубок и, перепрыгнув через забор, пошел по светлой дороге к выселкам, стуча подковками.

Над озером встала из-за темного леса красная луна, и дорога от нее, расширяясь, как меч, протянулась до крытых соломою хат у самой воды.

Подойдя к крайней мазанке с одним окном, прикрытым ставней, сотворил Лопыгин крестное знамение и стукнул в дверь кольцом.

— Кто там? — ответили на стук так поспешно, что Лопыгин отступил в испуге, но в дверь уже просунулась женская голова, вглядываясь.

— Вот, — сказал Лопыгин, показав полуштоф, и потряс пятками, — гадать пришел, сделай милость.

— Входи, — ответила голова и скрылась.

Лопыгин вошел, нагнувшись на пороге, в хату. По стенам и на потолке висели пучки трав и ладанки; посреди пола лежала кошма, и на подушке спал рыжий кот.

«Отлично, — подумал Лопыгин, — все в порядке», — и повернулся к Василисе.

На лавке перед ним сидела молодая баба, полногрудая и краснощекая, заплетая распутившуюся во сне косу.

— Ишь ты, — сказал Лопыгин, но Василиса словно кольнула его злыми глазами.

— Потерял, что ли, что, или нашел не вовремя, — сказала она, — не ври только, все равно насквозь тебя вижу и под тобой в земле на сажень вижу.

— Но, но, — молвил Лопыгин и, поставив полуштоф на лавку, пяточки прикрыл ладонью, — ищу я, Василиса, одну вещь.

— Золото ищешь?

— Что золото? В земле много, ни крови на нем, ни пота, — чистое, бери только.

Василиса налила водку в стакан и, выпив, вытерла рот рукой.

— А ты не забоишься?

— Чего бояться-то, — сказал Лопыгин, но попятился к двери. Василиса из-под лавки взяла ведро, коптилку поставила около и, наклоняясь, стала шептать:

— Вода ключевая, дождевая, болотная, беги, точи белый камень на камне сундук, в сундуке кочет, в кочету лежит, что найти кочу. Кочеток воспет, лес зашумит, земля расступится; направо не вижу, налево не гляжу, а гляжу под собой на аршин; вода в земле гудет; золото глаза сосет.

Косы Василисы упали, пальцами вцепилась она Лопыгину в руку и забилась:

— Беги, мужик, торопись! — и, закричав не своим голосом, опрокинулась на лавку.

Сколько ни тряс ее за рукав Лопыгин, — ничего не добился от ошалелой бабы, а когда вышел на волю, дверь с силой за ним хлопнулась и звякнул затвор.

— А ведь она про мой забой рассказала! — воскликнул Лопыгин, став посреди дороги. — Налево я бил, — ничего не нашел, и направо тоже, а бить мне нужно под собой на аршин.

И Лопыгин, щелкнув языком, пустился бежать к огороду, где спал Ванька.

2

Когда Лопыгин, став в петлю каната, опустился в шурф — неширокий колодец, кое-как укрепленный досками, Ванька кричал сверху:

— Осторожнее, Василий, как бы обвала не было, вода очень напирает! Хозяин приезжал, ругался.

Лопыгин поглядел вверх, где птичьим свистом звенело утро, потрогал доски сруба и, перекрестясь, ударил киркой.

Забой за ночь затянуло красноватым илом, и пришлось долго откапывать отверстие, куда, согнувшись, можно залезть, работая лступом с короткой ручкой.

Подпорки распатало, и сквозь щели выпирал грунт, как тесто.

— На аршин под собой, — бормотал Лопыгин и, напирая грудью на черенок, выбрасывал почву назад между ног.

— Все ил да ил, — говорил Лопыгин, — где тут золоту быть, — и, сняв рукавицу, чтобы вытереть пот, заметил, что стойки ползли вместе с илом в глубь вырываемой ямы.

«Беда», — подумал Лопыгин.

Минуту можно еще пробыть в забое, но затем рухнула бы земля, засыпая человека и золото.

Понял это Лопыгин и, стиснув зубы, нажал спиной и боком на подпорки:

— Господи, благослови!

Со всей силой ударил лопатой, еще и еще раз; хрустнула галька; гнулись подпорки, и, захватив руками обнажившегося песку со

дна ямы, выскочил Лопыгин задом из забоя, и с гулом рухнули за ним земля, ломая крепи.

А между сложенных ладоней Василия, тяжелый и матовый, лежал самородок.

— Василий, — кричал сверху Ванька, — жив ты, эй, эй!

Лопыгин дернул за канат и, когда, скрипя, поднял его ворот из холода и сырой темноты на теплую траву поляны, ахнул Ванька, ударив ладонями по бокам.

По бородатому лицу, спине и рукам Лопыгина, запекаясь, текла кровь, колени тряслись, и, опустясь на землю, сказал он чуть слышно:

— Водицы.

Но самородок, веский и холодный, лежал в кармане, воплощая далекое странствие на север Урала и отыскание заветного долочка, где залегла несметной цены золотая река.

Оправившись, Лопыгин сказал Ваньке, что работать больше у хозяина, через которого чуть жизни не лишился, не станет; умылся на озере, переменял рубаху и к вечеру пошел в выселки, сам думая: зачем пошел?

— Первым делом вина выпить, — сказал Лопыгин, — а потом смекнем.

Проходя мимо Василисиной мазанки, Лопыгин обернулся, — так и есть: подняв раму, глядела на него румяная Василиса, не мигая, зелеными глазами.

— Гуляю, — сказал ей Лопыгин, — видишь ты, какая толстая, — и он вошел в хату.

— Плачу за все.

Василиса молча накрыла пестрой ширинкою стол принесла еду, вино и села рядом, сложив голые до локтей руки под грудями.

Что ты глядишь, — сказал Лопыгин, — как корова на новые ворота; деньги есть, — и гуляю.

— Нашел? — спросила Василиса тихо.

— Мало ли чего я находил, да тебе не докладывал; на, выпей.

Василиса выпила, вздохнула и, прижавшись к Лопыгину, закрыла глаза.

От горячего чая и водки, от Василисиных белых плечей захмелел Лопыгин и, бахвалясь, вынул самородок, стукнув им по столу.

— Это видела! Значит, — я сам себе хозяин и «завтра народ найму и всех увезу на машине. И тебя возьму — мне портки зашивать, — очень я лютой до работы. А вернусь, — куплю всю Расею.

Лопыгин, сунув самородок в карман, поднял ногу и запел дурным голосом:

...Эх, да мальчишка...

— Спать идем, — шепнула Василиса на ухо, — смотри.

И, расстегнув кофту, показала Василию белые груди...

...Накинув шаль, вышла Василиса на дворик, поглядела, как звезды горят, и слушала тьяканье вдалеке собаки.

— Спит, чай, — сказала Василиса и, поведя от холода плечами, стукнула в забор, позвав: — Федя!

На оклик заворчал кто-то, почесался, и через забор перелез высокий мужик, в армяке и сутулый.

— Федя, — зашептала Василиса, — слиток у Васьки фунта на два, поутру нашел.

Молча Федька пошел к хате, а Василиса повисла на его руке.

— Не убей, смотри; не шибко бей.

Федор стряхнул Василису и открыл дверь.

Лопыгин спал у окна на кошме, закинув голову и подняв колено, рукой же в кармане крепко сжимал самородок.

А когда скрипнула дверь, сразу проснулся и, — увидав черное перед собой лицо Федьки-кота, ткнул в него сапогом и, вывернувшись из-под облапивших рук, выпрыгнул в окно.

— Режут! — закричал он и, сжав зубы, пустился рысью, звонко стуча по крепкой дороге, к лесу.

А за ним на длинных нога бежал Федя и позади Василиса.

Перепрыгнув через плетень, сосчитал Лопыгин шагов полтора-два до лесу и понадал, но вдруг встал, тяжело дыша, на краю убогого болота, соединяющего озеро с мельничным прудом.

— Пропал, — сказал Лопыгин и прыгнул на кочку, на другую и погрузился по грудь в холодную грязь.

Подбежавший Федя схватил его за волосы и потянул.

— Не бей, — тихо сказал Лопыгин и, подняв руку с золотом, далеко отбросил самородок в плеснувшую воду: — Держи, Федя, ни тебе, ни мне.

Василиса заголосила:

— Батюшки, добро утопил!

А Федя отошел, сказавши:

— Что же, вылезай, Василий Иванович!

НОЧЬ В СТЕПИ

1

Плетушка — хотя и прочный, но очень скверный экипаж: куда в нем ни привались — железка какая-нибудь так и вопьется в спину или бок; а если, глядя на большие звезды над степью, задремлешь, успокоенный далеким посвистом перепела, натрешь себе затылок и онемеют ноги, согнутые подозлами, где лежит сундучок.

Лошади ровно бегут, ямщик согнулся да изредка скажет протяжно: «Но, милые», и поднимет руку, а за плетушкой вьется невидимая пыль, оседая на серую под звездами траву.

Скучно было ехать в такую ночь Алексею Петровичу, да еще по неудобному делу, хотя рядом и дремал, будто кивая кому-то козырьком, попутчик, землемер. И, глядя слипающимися глазами на длинный нос землемера, сунутый в густые усы, на поблескивающие пуговицы воротника, слыша ровное дыхание, думал Алексей Петрович Видиняпин:

«Развалился, черт, а ты трись об его сундуки. Хорош попутчик».

— А вон и село горит, — сказал вдруг ямщик, показав рукой в ночную даль, где, медленно мигая, раскинулось дымное зарево красным хвостом.

Ходят по ровному раздолью багровые эти пожарища, освещая небо и землю, и мало, кажется, дневного зноя, чтобы выжечь хлеба, высушить пруды и реки, послать мор на людей, — полыхает еще над деревнями по ночам и багровый огонь.

Долго рассматривал зарево Алексей Петрович, потом сказал:

— А ты не спи, ямщик, потрагивай.

Проснулся и землемер, насупился, сел повыше и молвил:

— Горит в сорока верстах от села Тараканова, куда едете.

— В гости к барину жалуете? — спросил ямщик.

— Такому гостю не обрадуется, — ответил Видиняпин. — Вот глупость, — живо обратился он к землемеру, — поверил ему быков под простую расписку, а теперь поди взыскивай.

— Взыскать с таракановского барина трудно, — усмехнулся ямщик, — а насчет быков мы стороной слышали: некоторые еще живы, только тощи очень.

Ямщик совсем повернулся и продолжал:

— По-вашему, надо рабочему человеку платить или нет? Зять мой из Тараканова и рассказывал: барин их, вместо денег, ярлыками платит. «Это, говорит, все равно: мы друг с дружкой на веру, а деньги осенью». Так третью осень и ждут. Барин кругом огорчился: ни скотину прогнать, ни проехать; а за луга или другое что шмыков назад не берет... Такой дошлый.

— Тараканов большой оригинал, — молвил, наконец, землемер. — Разве вы ничего не знаете?

— Откуда же знать, когда я недавно в уезде.

— Любопытно, — усмехнувшись, продолжал землемер, — рассказывают про него многое...

2

...Однажды Тараканова, Вадима Андреевича, выбрали предводителем, и почувствовал он на себе такую большую ответственность, что сейчас же поехал в Париж.

В Париже надел мундир и думает: кому бы это визит сделать? Подумал и прямо явился к маршалу Мак-Магону. Маршала не застал и оставил карточку: — Wadim, мол, Tarakanoff, maréchal de Noblesse.

Удивлялся Мак-Магон — никогда про такого маршала не слышал, и, на всякий случай прицепив ордена, поехал отдавать визит.

А Вадим Андреевич, поджидая гостя, икры накупил, шампанского, и когда Мак-Магон вошел, опять-таки на всякий случай сделал вежливые глаза, бросился к нему Вадим Андреевич, схватил за руки, говорит: «Вот обрадовал», — сунул Магона в кресло, сам напротив сел и руки потирает. Француз, конечно, спрашивает: «Чем заслужил такую честь и для чего русский маршал сюда пожаловал?» Ничего не понял по-французски Вадим Андреевич, но, чтобы отвязаться от разговора и скорее к выпивке перейти, где все языки равны, припомнил кое-что и говорит: «Пуркуа, мол, пердю Седан». А впоследствии сам рассказывал, что французы прямо невежи.

Приехав из Парижа к себе в уезд, решил Тараканов завести порядки и для начала везде понаставил околиц, наказав спрашивать проезжающих — кто и куда.

И такие развел строгости, что сам, однажды возвращаясь в колеске с фонарями из гостей, ввел своего же сторожа в большое беспокойство: окликнуть — обидится: не узнаешь, мол, своего же бирина, а не окликнуть — почему, скажет, приказа не исполняешь, и тоже обидится. Вот сторож и кричит на тонкий голос:

— Вадим Андреич, кто едет?

— Тараканов, — ответил Вадим Андреевич басом и дал сторожу на чай.

Дворяне были им довольны: четыре раза в году устраивал Тараканов обед, а потом каждый звал всех к себе, извиняясь по

средствам. В уезде жили очень весело: дарили друг другу собак и коней, осенью съезжались на конскую ярмарку и, конечно, Бог знает что вытворяли: женились все друг на дружке, и было будто одно теплое гнездо.

Но пришли тяжелые года: земля стала уплывать из-под дворянских ног, да так живо, что остался в уезде один Вадим Андреевич, да и у того были отхвачены немалые куски.

Кругом в имениях засели новые люди, повыврубили сады, перекрасили дома, с мужиками повели иные порядки. Один кудрявый купчик сунулся было к Вадиму Андреевичу на поклон: может быть, за дочку его Зою думал посвататься (про дочку его Бог знает что плетут, говорят: городская она совсем — в городе воспитание получила, худая, как вермишель, стихи пишет и коньяк пьет); но Тараканов собственноручно скovyрнул купчика с крыльца, заперся и объявил: «Покуда, мол, всю сволочь из уезда не выгонят — ноги не вынесу за околицу». И слово свое сдержал...

3

Много всякой всячины и ерунды рассказывал землемер, а Видиняпин уже давно дремал, навалясь на его плечо. Вдруг Алексей Петрович, подкинувшись, сел: то кони стали у околицы...

— Приехали, — сказал землемер, странно улыбаясь, а ямщик, спрыгнув с козел, постучал по околице кнутом.

Спустя время из темноты послышался голос:

— Проехать, что ли, надо? Вот народ беспокойный все едет, все едет, — и со скрипом отворилась околица. Ямщик прикрикнул на коней, и понесли они вдоль деревни, где направо и налево стояли темные, словно присевшие избы, с шестом у ворот, скворешней и засохшей веткой на ней.

Переехав шагом, под старыми ветлами, плотину, по обеим сторонам которой залегали звездные сейчас пруды, взобрались кони, испуганные громким уханьем жаб, на изволок и стали у второй заставы, где, колотя в колотушку, ходил мужик с фонарем. Мужик, подойдя, посветил в прищуренное, с козлиной бородкой, лицо ямщика, оглянул седоков, вздохнул, запахнувшись в чапан, и отошел.

— Что же ты не отворяешь? — крикнул Алексей Петрович. — Эй, поди-ка сюда, подожди, — и, выскочив из плетушки, схватил мужика за полу.

— Пропускать не велено в эдакую пору, — сказал мужик сонно, — а ты меня не хватай, я тебя не обидел.

Видиняпин, взяв мужика за плечи, стал трясти; голова у мужика болталась, и он, говоря: «Какой же ты неуютный», пропустил Алексея Петровича через калитку в дубовую аллею, откуда Видиняпин крикнул землемеру:

— Подождите меня часика два на селе, покормитесь, я живо оборочусь.

Дубовая аллея окончилась поляной, наверху полной звезд; из-за кустов углом вышел сюда белый барский дом, с плещом по стене и пятнами облупившейся штукатурки; около стены, брехая, бегали черные собаки на очень высоких ногах. На брех и на оклик Видиняпина показался свет в окне, потом на крыльцо вышел бритый старичок в длиннополом сюртуке.

— Здравствуйте, батюшка, — сказал старичок, — с приездом, пожалуйста, — и, заслоня свечу, лукаво улыбнулся, отчего крошечное лицо его собралось в морщины, словно сразу высохло.

«Ох, как бы не попасть в историю, — думал Видиняпин, идя след старичку по коридору, — не заплатит он, еще отколотить нелит. Не надо бы мне одному являться».

Старичок постучался в широкую дверь и прошептал:

— Вы непривычный здесь, батюшка, так не обижайтесь, если увидит чего: озорник он у нас, а хороший барин.

Алексей Петрович вошел и в изумлении стал на пороге.

В глубине залы, освещенной одной свечой, поставленной перед трюмо, сидел в кресле за столиком Вадим Тараканов; на голых и растопыренных ногах его лежал живот, прикрытый ночной рубашкой, расстегнутой на груди; в руке держал он стакан, а на круглом, татарской черной бородкой, лице его, под изломанными бровями прыгали свирепые глазки.

— Не подходи, — сказал Вадим Андреевич шепотом, подался вперед и крикнул: — Вон!

Старичок подхватил Видиняпина и, вытащив в коридор, объяснил:

— Это пугнули вас на всякий случай, а теперь он смеется; идемте, я вас пока наверх отведу; ничего, батюшка, не бойся.

4

Фыркая от обиды и ничего не понимая, поднялся Алексей Петрович по винтовой лесенке в низкую антресолю, сел на кровать и, ударив себя по коленям, крикнул:

— Каков нахал! Нет, сию же минуту подай мне деньги, а? — при этом наморщил лоб и потер его. А дверь напротив в это время приотворилась, просунулась женская голова с распущенными волосами, спросила: «Можно войти?» — и в комнату подпрыгивающей походкой вошла худая девушка в белом и узком платье и села на стул у окна.

Алексей Петрович встал, насупился и поклонился боком. Девушка длинными пальцами расправила платье на коленях и, сказав: «Вас удивляет мое появление», — подняла на Видиняпина великолепные, неправильно поставленные глаза и усмехнулась большим ртом, причем углы его поднялись, словно у клоуна, кверху.

— Мне сказали, что приехал гость, а я уж давно никого не видела, — продолжала девушка. — Мы живем только ночью, по-

тому что мужики хотят меня и папу убить. Я вам нравлюсь? — вдруг спросила она просто и серьезно.

— Простите, — перебил Алексей Петрович, — но ваш папа выгнал меня, и мое положение здесь очень странное.

— Ах, вы не поняли, — воскликнула девушка с досадой, — он был пьян и сам напугался... А вы любите пить? Ведь счастье только во сне и в забвении.

Девушка полузакрыла глаза, мечтательно улыбнулась и охватила колено.

— Чего вы молчите? Вы боитесь? Я не провинциалка. Я семь лет жила в Петербурге. Вы не поэт? Неправда. Я тоже пишу стихи. Хотите, прочту?

Она вдруг вытянула длинную шею; Видиняпину стало неловко. А девушка хрустнула пальцами и сказала:

Я б тебя затомила;
Я б убила любя,
Женская темная сила
Страшна для тебя.
Целуя бы, я укусила
Твой алый, твой алый рот.
Знает ли кто наперед,
Какая у девушки сила?

«Что за чепуха», — подумал Видиняпин в страхе.

А девушка чуть покосилась на Алексея Петровича, потом громко засмеялась, прыгнула на подоконник, протянула руки и молвила:

— Подойдите сюда; правда, плохие стихи? Ах, вы — трезвый человек. А стоит ли жить трезво? — Скучно. Поглядите на звезды; это я их рассыпала. Хотите их собрать? А любить вам хочется?

Алексей Петрович сильно провел по глазам ладонью: стыдно ему было — хоть плачь, и, главное, путано и от стихов и от неприличных вопросов, которые, как осы, кололи со всех сторон.

— Я стихов не читаю, человек некрасивый и дикий, а приехал насчет быков, — сказал он, глянул на девушку и добавил поспешно: — Хотя ничего, я побаловаться не прочь.

Тогда она ударила кулачками по подоконнику, засмеялась невесело, взяла Алексея Петровича за рукав, потянула к своему лицу и стала глядеть в глаза скошенными глазами. Видиняпин вспотел и хотел вернуться, а она, гневно мотнув головой, сказала:

— Что же вы не «балуетсяь»... Страшно?

И Алексей Петрович, задев маленькую и твердую ее грудь, почувствовал необыкновенное волнение, охватил девушку за бока и стал тащить с подоконника, подумав: «Черт с ними, с деньгами».

Но девушка ловко увернулась и сказала насмешливо:

— Так только мужики делают, дамский вы кавалер!

— Все равно, все равно, — бормотал Алексей Петрович, — я кавалер, ей-богу, — и тянулся, даже на ко лени встал, но девушка, подобрав платье, обошла его, толкнула раму окна, перегнулась к деревьям сада и молвила равнодушно:

— Вы или глупы, или наивны.

Но в это время постучали в двери, и голос старичка произнес:

— Барин извиняются и сойти вниз просят.

Видиняпин покраснел и вышел на лестницу, не понимая: что же теперь делать ему после всего?

5

Вадим Андреевич при виде гостя приподнялся на своем месте, протянул руки и обнял Алексея Петровича, прижав его к жирной груди.

— А ведь я не узнал тебя, не узнал, Алексей Петрович... Напугал, наверно? Прости, душа... Погостить приехал? А у меня, брат, такая скучища — мы с дочкой Зоей совсем раскукусились. Чьбыли все старика, никому он не нужен. Да ты чего стоишь, плюнь на меня, садись, бери стакан, не стесняйся, душа; этот коньячок мне приятель из гвардии присылает. А твои дела — сам вижу: похорошел, возмужал.

И Вадим Андреевич принялся пребольно похлопывать Видиняпина, отчего тот морщился, проливая вино на колени; а когда коньячком обожгло ему все нутро, подумал: «А ведь в самом деле — стирик славный, не отложить ли должок?» — и поглядел на дверь, из которой прошумело платье Зои.

— А я, брат, совсем профершпилился, — продолжал Вадим Андреевич, — продал последний лесок, а деньги, как птички — только хвостики показали. Да, Алексей Петрович, конец нашему уезду, крих. Двадцать лет назад — да мы царями сидели. Выкатишь, бывало, в коляске — все шапки долой, кругом хутора дворянские, рудня, благородство имен: Собакины, Репьевы, шесть сыновей Осовина, Теплов старик и я — Тараканов, столпы. А теперь сволочь какая-то сидит, сволочь к тебе и в дом лезет.

— Вадим Андреевич, не обижайте, — сказал Видиняпин.

— Да я не про тебя — про остальных, не хорохорься. Ты вот думаешь, что я старый дурак и спился. А я, быть может, обдумываю план. Испугался? А как затрещит уезд со всех концов, да встанет дворянство за свои коренные права... У меня, быть может, тайный комитет составлен и адресок кое-кому припасен. Показать? Подождешь. А в подвале, вот здесь под тобой, бомбы-с. А в уезде дворянство начеку, а в Петербурге двенадцать тысяч молодых дворян моего слова ждут. Как объявлю — сейчас купца Шихобалова на березу, Синицына на березу, и пошла писать губерния. А я в Петербург с адреском. Помилуйте, принуждены. Ага! А ты думал — и пьяного дурака валяю. Сознайся: думал, что я дурака валяю? Ну скажи: пьяный дурак!

Вадим Андреевич поднялся во весь рост и, упершись в бока, расплялся гневом, а Видиняпин, задрал в страхе голову, сидел перед ним, шепча: «Ей-богу, не думал, Вадим Андреевич, ей-богу, нет».

— Врешь. Я знаю — ты, мерзавец, за деньгами приехал. Черт с тобой, бери мои деньги. Не это обидно, а что мое дело рухнет... Так, значит, ты против дворянства идешь?

— Господи, да какие там деньги, Вадим Андреевич, конечно, я за вас.

— Вот что, — воскликнул Тараканов, топнув босой ногой, — мы будем на дуэли драться. Побьешь меня — твои деньги, или быков назад бери. Тут, брат, дело верное.

И Вадим Андреевич вытащил из ломберного стола кремневой пистолет, бормоча: «По очереди, брат, по очереди, на узелки».

Видиняпин, ухватясь за кресло, глядел на пистолет выкатив глаза. В комнату в это время быстро вошла Зоя, взяла пистолет из рук отца и сказала: «Батюшка сядь, довольны», — потом налила себе в рюмочку вина, отпила и присела у трюмо, в синей глубине которого отразилась маленькая ее голова с тенью под глазами.

— Ты думаешь, я шутики шучу, — потише продолжал Вадим Андреевич, валясь в кресло, — вот Зоя только спасла тебя, подстрелил бы, как муху.

— Его нужно хорошенько проучить, папа, — молвила Зоя, — он наверху бросился на меня.

— Господи, — завопил, наконец Видиняпин, — да чем же я виноват! Ничего у вас не пойму, вертится в голове, чепуха какая-то лезет... Простите меня...

И, стоя посреди залы, подгибал Видиняпин колени; складывал руки у лица, до того перепуганный и пьяный, что Тараканов вдруг захохотал, а Зоя подошла к Видиняпину, взяла его за руки и стала кружить. Видиняпин уперся было сначала, потом поплыли перед глазами его три окна, комод, часы, трюмо, диванный угол, столик с бутылками, Вадим Андреевич Тараканов, оленьи рога над дверью, потом опять окна, все быстрее и быстрее... И, блаженно улыбаясь, чувствовал Алексей Петрович нежные, тоненькие и теплые ладони девушки, тянулся к ее закинутаю лицу, а Зоя медленно усмехалась клоунским ртом. Вдруг она отпустила руки, подошла к дивану и легла в тени; а Видиняпина неудержимо потянуло прижаться к полу, что он и сделал... И сквозь дремоту казалось ему, что заиграли на рояли и ужасно стали топтать ногами. А спустя время, когда Видиняпин открыл глаза, в зале никого не было и в окно лился голубой лунный свет.

Алексей Петрович, не чувствуя головы, будто ее и не было, с трудом поднялся на ноги и, пробираясь вдоль стены, чтобы не кинуло в сторону, отворил дверь в коридор. Там, одетый, в картузе, засунув руки в широченные штаны, стоял Тараканов.

— Поди-ка, поди-ка сюда, — сказал он.

— Вадим Андреевич, шутики в сторону, — удивляясь своей смелости, проговорил Видиняпин, — отдайте мне быков, если платить не можете.

— Я тебе покажу быков, — сказал Тараканов, — у меня уж и дрожки заложены.

Сидя на дрожках позади просторной спины Тараканова, вздрагивал Алексей Петрович — до того его развезло, а репы, в которых нарочно заехал Вадим Андреевич, пребольно хлестали по ногам, и на кочках так потряхивало, что зубы щелкали и отбилося нутро.

Обогнув старый сад, Тараканов въехал на плотину, откуда был виден летавший над прудом туман, грузно повернулся, указал на лесную опушку, на которой лежал скот, и сказал:

— Вот твои быки; у них еще и приплод есть.

— Какой же у них приплод, Вадим Андреевич, когда они быки, да еще холощенные?

— Значит, ты мне не веришь, я вру?

— Верю, Вадим Андреевич, мои быки были красные, а это негие и представляются коровами, мне бы поближе посмотреть.

— Ближе не могу: глаза дальнороркие, режет, когда близко гляжу.

Алексей Петрович вздохнул и попросил:

— А вы бы зажмурились.

Тогда Вадим Андреевич вплоть придвинулся к лицу Видиняпина и крикнул:

— Пошел с моих дрожек прочь, — и, когда Видиняпин слез, принялся Тараканов махать невидимым пастухам, крича пронзительно:

— Вот я вас, негодяи! Зачем скотину на луг выпустили? Гоните в лес, я вас...

— Это уж Бог знает что, — воскликнул Видиняпин, — да вы меня прямо надуть хотите.

Тогда Вадим Андреевич схватил Видиняпина за грудки, подтащил к себе, потряс, плюнул в Алексея Петровича и пихнул под плотину вниз, где росли крапива и лопух. От падения и страха обморочился Видиняпин и долго лежал, а когда очнулся, просидел еще немного в густой чилиге и ползком выбрался из-под плотины.

Разбитый, приплелся он обходом в деревню, разыскал коней и землемера, лег в свою плетушку, сказал: «Все к черту пошло, увозите меня скорей» — и тут же заснул.

Когда он проснулся, лошади нешибко бежали по серой дороге; наверху были звезды, и месяц встал над степью; ящик согнулся на козлах, а землемер кивал козырьком, словно здоровался.

— А что, долго я спал? — спросил Видиняпин.

Землемер вскинул голову, потянулся и ответил:

— Да, порядком.

— Слава Богу, — пробормотал Видиняпин, — постой, постой, мы вперед, что ли, едем или уж обратно?..

ХАРИТОНОВСКОЕ ЗОЛОТО

В крещенские лунные ночи по снежному тракту от Екатеринбургa до Исетского завода катаются кошевники на взмыленной тройке, запряженной в легкую кошеву...

В кошеве лежат друг на дружке пять человек, в собачьих дохах, подвязанных кушаками.

Ямщик правит стоя, закутанный в башлык. От коней валит пар, и за кошевой на санном следу играет свет месяца.

Нехорошо повстречаться с такою тройкой, не скроешься от нее в снежной равнине — горы далеко, перелески редки, гони что есть дух, и то нагонят... И хотя нет на кошевников управы, а под нынешний крещенский Сочельник и на них нагнали страх.

Выехали они из Екатеринбургa все пьяные и доскакали вплоть до холмов, за которыми лежит Исетский завод... На раскатах кошеву стало трепать, ударяя отводом о сугробы, и хотели было воры повернуть коней назад, как показался впереди задок саней, запряженных в одиночку.

В санях спал человек, и лошадь шла шагом...

Ямщик в кошеве сразу осадил тройку; двое кошевников поднялись: один держал аркан, другой плеть; ямщик спросил: «Готово?», свистнул по-разбойничьи, гикнул и хлестнул по коням.

Пронеслась тройка мимо саней, спящего в них седока захлестнул аркан и вынес на дорогу, а санки опрокинулись, и лошадь шарахнулась в сугроб.

Выкинутый седок волокся на длинном аркане за кошевой; петля захлестнула ему под мышки, и он, растопырясь, как черепаха, кричал низким басом: «Караул». Все это видел присевший неподалеку за кустом заводской конторщик — шатался он ночью по зайчикам — и рассказал потом всем на удивление, как проволокли кошевники седока, чтобы обеспамятел, сажень сто до поворота, где стоял столб... У столба тройка замедлила, и волокущийся человек, налетев на столб, схватился за него, влип, аркан, привязанный к задку кошевы, натянулся, и тройка стала...

Ямщик в башлыке обернулся и вдруг закричал не своим голосом:

— Руби, руби веревку, это Ванька Ергин.

Но неужто из-за одной Ванькиной силы струсили кошеvníки — народ отчаянный? Была, значит, иная причина? Причина действительно была.

Рассказывают, что от Харитоновского дома в Екатеринбурге до озера в городском саду (на озере по зимам каток) проделан еще в древнее время подземный ход.

Начинается он в подвале Харитоновского дома и завален дровами. Если дрова раскидать, откроется люк с кольцом, за которым двадцать ступеней ведут под землю к длинному коридору с наклоном и поворотом под озеро.

Коридор выложен кирпичами, покрытыми плесенью. Вдоль стен чугунные держала для факелов, и в конце железная с двумя замками дверь.

За дверью же в подземелье сто лет назад жили, прикованные цепью, люди, чеканя для Харитонова золотую монету из собственных боярина рудников.

Неизвестно, кто осмеливался проникать туда, и, пожалуй, врут в городе, рассказывая, что в подземелье висит шкелетина на ржавых цепях, сторожа хозяйское золото. Кто ее видел?

Но в том-то и дело, что Ванька Ергин видел и через эту шкелетину нагнал великий страх на кошеvníков, поймавших Ергина в прошлом году точно так же на том же Исетском тракту.

Иван Ергин, занимаясь по мучной части при своем отце, от скуки гулял в трактире каждый вечер с субботы на воскресенье исключительно в компании с приятелем своим Володей Кротовым, служившим в палатке мер и весов.

А как закрывали трактир, шел Ергин на отцовский двор, запрягал мерина в санки и ехал пьяный Бог знает куда, для того чтобы никто к нему с противной рожей не лез и не придирался, и на воле только снег да месяц, и попеть можно и подремать.

Однажды его в таком душевном расстройстве и накрыли кошеvníки (столба по дороге не было, чтобы ухватиться), проволокли вкостерст пять, измаяли, раздели и пустили с Богом...

«Не быть им живу», — сказал на такую маету Ергин. По прибытии пешком в Екатеринбург явился к приятелю Володе Кротову, и рассказал и просил совета, как ему кошеvníков изжить...

Володя Кротов был старичок с бритым подбородком, прокуреными усами, щуплый, пьяный всегда и великий выдумщик.

Ергина он выслушал, перебирая гитару, зажмурил глаз для хитрости и сказал:

— Умен ты, брат, а не догадлив, — знаешь что?..

Прятели на этом порешили, Володя взял денег у Ергина и попал в трактир «Миллион».

Трактир «Миллион» стоит на Телегином переулке; с боков его заборы, напротив засыпанные снегом избенки, а сам трактир на двенадцать окон, одноэтажный и с крыльцом, в котором бухаст дверь с колокольчиком.

Воздух в трактире стоял теплый и глухой; под потолком горели керосиновые шары, шипя, как электрические.

Близ двери пило чай мелкое купечество до великого пота, а в дальнем конце кишмя кишело веселым народом.

Пил там и буйствовал и мужик в нагольном полушубке, и казак, и старатель, и оборванец, и отставной поручик, и заезжий итальянец в лисьем салопе.

Все они работали кулаками и били посуду, поздравляя с удачей и золотом Игната Лопыгина, в тот день и еще с неделю гремевшего на весь Екатеринбург.

Сам же Игнат Лопыгин, до этого дня просто Игнашка — вор, пьяница, искатель приключений и золота, сегодня расплачивался, вместо монеты, золотым песком.

Одежду он не успел сменить, надел только поверх отрепья богатую шубу и прел в ней, требуя несуразного и больше всего гордясь, что величают его Игнатом Давыдычем.

Хозяин же трактира стоял за прилавком, бренча на крутом животе цепочкой, и весело посматривал на буйную компанию, зная доподлинно участь Игната Давыдыча.

Много прошло перед трактирщиком таких Давыдычей, и у всех был один конец — почесывая в затылке, идти в горы, откуда пришли.

Вот к этой-то компании и подсел Володя Кротов, присматривая — нет ли кошевников: он знал их в лицо... Да кто их, прости Господи, и не знал?

Кошевники оказались тут, все пять, гуляли на ергинские деньги и на лопыгинские и шумели пуще всех.

Володя хлебнул вина и, притворяясь навеселе, завел с близстоящими такой разговор.

— Угага, — сказал он и показал пальцем на Игната Давыдыча, красное лицо которого то и дело поднималось над гостями, крича: «Пейте, мошенники, народ православный».

— Посмотрите — как есть свинья, а удачлив, — говорил Володя, — а ведь дальше трактира не уйдет, оберут его здесь начисто, постараются. Действительно мошенник, а не народ.

Говоря это, Володя посмотрел на кошевника, который возразил: — А ты полегче.

Сам-то ты из каких? — спросил другой кошевник. Остальные захохотали.

— Нет, я не к тому, — продолжал Володя, — я человек маленький, никого не обижаю, а только, глядя на вас, обидно — ведь какие деньги даром лежат, прямо под носом, а никому не-

идомек. Смелости нет, народ измельчал, вам бы только по карманам шарить — вот что...

— Ты про какие деньги? — спросил первый кошеvníк.

— Будто не знаете? Под Харитоновым прудом в землянке зарыты, где при покойнике Харитонове тайная плавильня была. Харитонов с самой государыней Екатериной, удостоясь играть в карты, своей монетой платил. Государыня Екатерина, все это зная, как-то подмигнула и говорит: «Старый ты, Харитон, а плут, ну, виданное ли дело своей же государыне воровской чеканки монетой платить». Харитонов на это огорчился и, не доезжая из Петербурга до города Верхотурья, отдал Богу душу. А золото и рабы-печатники, никаких распоряжений не получив, до сих пор в подвале под прудом лежат.

— Дивно, — сказали кошеvníки, — а ты все это откуда знаешь?

— В палатке мер и весов служу.

— А если знаешь, почему сам в подвал не проник?

— В том-то и дело, что заячья у меня душа, через нее принужден жить невежей. Харитонова боюсь, ты не смотри, что он мертвый, он свое добро стережет, братцы, у него замашки боярские: как поймает тебя в подвале да начнет учить, ой-ой!..

Кошеvníки при этих словах подсели к Володиному столу, и Володя все рассказал, и про озеро и про вход, заваленный дровами, и многое и прилыгнул. Потом посмотрел на всех косо и принялся крестить себя и отплеываться, уверяя, что наврал спьяну, и хотел уйти.

Тут уже кошеvníки совсем вверились в Володю и, выйдя из триктира, прижали Володю к забору в сугроб, где, грозясь, приказали не медля вести их в Харитонов подвал.

Кошеvníки бросили через ворота Харитонova дома кусок волчьего мяса, пес, на цепи, мясо слотнул и тут же подох, а кошеvníки, захватив под локти Володю, перемахнули через забор, прокрались по снегу вдоль каретников, подломали у сарая замок, и Володя указал на дрова.

В Харитоновом доме в это время не жили, а сторож играл на кухне в дураки со сторожихой, поэтому никто не потревожился, пока раскидывали кошеvníки дрова и, найдя вход, спустились в него, неся фонарь.

Володю же захватили с собой и, сколько он ни просился на волю, не отпустили, отчего Володя сильно перетрусил, сам будучи не рад, что затеял всю эту ерунду.

Подземный ход оказался таков, как рассказывали, только потвалились местами кирпич, было тяжело дышать, и шаги звякали, как в бочке.

Вдруг передний кошеvníк стал, низко опустив фонарь, и воскликнул: «Золото!»

Все нагнулись; действительно, на кирпичном полу, открытый им пыли ударом подошвы, лежал, ярко блестя, золотой.

Кошеvníки, весело крича, поволокли Кротова дальше. Коридор повернул направо и окончился ржавой дверью на замках.

Ударами лома сбили замки, дверь подалась, застонала, как больная, и оттуда, из темного подземелья, дунуло могильным духом.

Светя фонарем, кошеvníки осторожно вошли, оглядываясь. Подземелье было сводчатое и низкое, с четырехгранными колоннами.

Вдруг один из кошеvníков, отойдя за колонны, закричал и кинулся назад к товарищам, схватясь за шапку. Все шарахнулись к двери, потом, друг друга подталкивая, стали заходить. Фонарь дрожал в руке переднего, и желтые блики, ползая по закопченным стенам, осветили горн у одной из колонн, около каменный стол с таврами для чеканки, истлевший сапог на полу, осколок глиняного горшка и у дальней стены, на которую падала густая тень колонны, мраморную на ступенчатом подстоле вазу, как будто полную верхом пыли... «Вот оно, вот оно», — забормотали, подступая, кошеvníки и не заметили, что вазу стерегут.

Под пальцами легкая пыль улетела, и свет фонаря загорелся на золоте, которым доверху полна была ваза.

Кошеvníки хватали звонкие имперьялы, Володю сбили с ног, и, отброшенный к стене, он ухватился за чьи-то сухие ноги, и от стены на вазу между присевших кошеvníков упал иссохший труп.

Коричневый, с обрывками одежды и волос, он словно прикрыл собою вазу, которую охранял сто лет.

Руки его, со скрюченными пальцами, повисли вдоль вазы, спина хрустнула, сквозь пыльную кожу в изломе вылезли белые позвонки, голова же покачалась, оторвалась от шеи и, покатавшись по ступеням, легла около фонаря.

Кошеvníки, наконец, толкаясь, побежали к двери; фонарь остался у вазы, и тени от убегающих метались по стенам, пуще того пугая...

Но первый, достигнувший выхода, воскликнул вдруг отчаянно: «Дверь заперта».

Кошеvníки сначала искали выхода из глухого подземелья, обходя с закрытыми глазами вазу и труп. Потом принялись допрашивать Володю и побили его. На это Володя ответил, что и сам пропал, и сознался, как сговорились они с Ергиным заманить сюда кошеvníков, как Ергин караулил за углом Харитонова дома, чтобы, пропустив кошеvníков, сойти в подземелье и запереть за ними дверь, и как, наконец, Ергин не заметил, промахнулся и обрек своего же друга на голодную смерть.

При таких словах кошеvníки притихли, двое же из них громко плакали, сидя на полу.

Прошло много времени, и стала мучить жажда. Фонарь догорал, а когда настанет темнота, придет и смерть...

Иногда кто-нибудь из пятерых вставал и, ругаясь, тормозил Володю, который скрючился в старой шубейке у двери.

Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и на пороге стал сам Харитонов, умерший сто лет назад.

На нем была волчья шуба мехом вверх, лицо же черное, как сажа, и в руке арапник.

— Так вы вот как? — грозно закричал Харитонов, отшвыривая Володю ногой за дверь. — Мое золото красть, моего верного слугу илечить...

Засучив рукава, шагнул Харитонов в подвал и принялся стегать арапником и без того ошалелых кошевников...

Крича не своими голосами, метались кошевники по подвалу, потом один за другим выскакивали в дверь и неслись из подземелья вон...

А Харитонов ругался над ними, покуда всех не выгнал.

Так вот что рассказывают в Екатеринбурге досужие люди, и не верить этому нельзя.

В одном сомнение — будто не Харитонов учил кошевников в подвале, а говорят, сам Ергин, увидев, что промахнулся и Володю ни мучение обрек, устроил такой маскарад.

Действительно — откуда вдруг у Ваньки Ергина появились большие деньги и почему кошевники, как завидят его, прочь бегут, — в нем была, значит, причина...

Харитонов, пожалуй, действительно ни при чем — виданное ли дело боярину, хотя бы и мертвому, так шибко за ворами бегать.

А все остальное истинная правда.

ТЕРЕНТИЙ ГЕНЕРАЛОВ

Наш городок завалился за крутой горой у синей реки.

Гора высокая и наверху поросла лесом; а все дома и домишки обращены окнами на реку, что бежит Бог знает откуда, погибает пологой дугой у горы и уходит на юго-запад в леса.

За лесом солнце каждый день садится на покой, и тогда окна в городе загораются, как пожар, и путнику, бредущему издалече по кочкам и тропам заречной луговины, радостно смотреть на яблоки церквей и кресты, и под ногами его в лужах и перетоках играют красные отблески.

Теперь от города в луга бежит песчаная насыпь с двумя полосами рельс, пропадая в лесах, откуда два раза в день вылетает белый дым и свистит машина.

Теперь летом и зимой можно подъехать к нашему городку, где на главной улице в праздничный день гуляют и начальник станции, и телеграфист, и заезжие жулики.

Теперь горожанин запирает на ночь окна и двери; Павел Иванович, например, живет за восемью железными крюками; а Кузьму Кузьмича недавно нашли связанным — во рту кляп, горница студеная; спасибо, кот спас, лег на живот и предохранил от простуды.

Теперь и мехов меньше и мясо дороже, а гарнизонные инвалиды только слава, что со штыками ходят (раньше стояли у нас калмыки в ужасных шапках, с луками и стрелами — как черти), и в церкви служат не так уж уютно, — все старое вывела железная дорога за пятнадцать лет...

Не изменился только звон литых колоколов, да, пожалуй, сапожник Терентий — человек необыкновенный.

В дни, одному Терентию понятные, одолевал его злой запой; когда же все это кончалось — летом или зимой, — уходил Терентий на речку, неся удочки, а впереди бежала белая его собачка, держа во рту ведро с червями.

Завидя Терентия, увязывались и мальчишки за ним на реку — глядеть, как сапожник будет есть рыбу.

— Пескарь — тонкая рыба, — говаривал Терентий вытянув пескаря, — надо его умеючи кушать, — и, хлебнув из пузырька мидочки, ел пескаря живьем.

Мальчишки, толкая друг друга, показывали пальцами Терентию в рот, собачка глядела на поплавок, наставя уши, а Терентий, подмигнув, продолжал:

— Ох, боюсь я, как бы из-под коряги опять водяной не вылез: не любит, когда на берегу кричат...

Мальчишки, зная Терентьеву славу, разбегались в страхе; Терентий же, очень довольный, досиживал до темноты, когда в речной воде на опрокинутом лесом разливался и погасал багровый закат. Тогда, в сумерках, опускал Терентий волосатую голову на ладонь и принимался петь жалобные песни — не то звал кого-то, не то жалел.

Слыша отчаянные эти песни, городские кумушки, стоя у открытых калиток, говорили друг другу:

— Терентий опять воет. Что и за человек!

— Женить, что ли, его, ведь как мается...

— Кто за такого пойдет; разве не знаете, милые, что с Терентием было?

— Слыхала я что-то краем.

— Если бы не ночь, рассказала бы, милые...

— Неужто деньги делал?

— Нет, не деньги... Слышите, как воет: вот оно что...

Неизвестно, выделявал Терентий деньги или нет, но часы, например чинил отлично; вытравлял клопов и мышей; и не только эти дрянь — черви в лошадях слушались Терентия: заговорит он и на три зори, черви клубком свернутся под лошадиной шкурой и вывалятся на навоз.

Но кумушки у отворенных калиток не знали и половины необъясненной истории, которая произошла с Терентием, когда еще железная дорога не пересекала от леса топкую равнину; когда к любому городу можно было пройти только через опасные тропы или по снегу на лыжах; когда на реке и в узких переулках да в ригах творились дела... Но их на ночь и не вспоминать лучше.

Терентий пришел в наш город босым парнишкой, с мешком за спиной, и назвался генеральским сыном — «папенька, мол, пролил кровь через турок, а я принужден добывать пропитание в невежестве».

В то давнее время у нас враждовали и бились Кулычевы с Капустиными. Старики Кулычевы и Капустины жили на краях города в скатных избах, имея каждый по шести сыновей, много скота и урочищ.

Старики гневались друг на друга, хорошо не зная, из-за чего говорят, полсотни годов назад подрались Кулычева с Капустиной из-за куриного яйца). Окончив за день жнивье, или на покосе вечером, непременно садились каждый с шестью сыновьями на коней и скакали по мокрой траве до брюха друг к дружке с разных сторон, сильно бранясь.

А потом брали дубинки и сшибали друг друга дубинками с верха, обещаясь друг дружку искоренить.

А осенью на свадьбах озорничали без разума. И трудно было соседям звать их, и отказать нельзя.

Но однажды старого Кулычева свалил хмель посреди улицы. Прибежали Капустины ребята, схватили старика и сунули в студеную речку... А мороз был сильный, и пока сыновья отыскивали отца, примерзли отцовские сапоги ко льду, отчего пришлось в реке их так и оставить.

Тут вот и подвернулся Терентий и в два дня сшил Кулычеву первые свои сапоги с двойным скрипом за восемь гривен, на хозяйской коже. Увидала сапоги сваха Акилина, побежала к старику Капустину и говорит, что Кулычеву, мол, генеральский сын сапоги шьет.

Досадно стало Капустину, приказал он сыновьям изловить на кулычевском огороде генеральского сына, запереть в бане и предоставить шило и шкур — пусть шьет на всю семью сапоги с кисточками, а наградят без обиды.

В бане Терентий и прожил всю зиму, а по весне кулычевские ребята баню подожгли, Терентия похитили и увезли на покос. Терентий ничему этому не препятствовал, переходил не споря, а деньги брал не стыдясь.

А года через три открыл в переулке близ улицы свою лавочку, развесив на двери сапоги, козловые коты для девушек и простые бахилы.

Потом сшил синий кафтан и присватался к вдовушке. Вдова была не прочь пойти за генеральского сына, но вдруг, неизвестно почему, заперся Терентий в своем домишке, заказы не удовлетворял, а когда за нуждой и появлялся на улице, — смотрел сентябрем. Пошли догадки, и вспомнили только, что до этого Терентий повадился на реке рыбу ловить.

Но через рыбную ловлю отчаяться человеку нельзя, и была, стало быть, иная причина.

Шли года. Прошло немало времени, Терентий не менялся, — все такой же был хмурый, запойный временами и нелюдим, только открылся в нем талант — заговаривать гада и есть живых пескарей.

Горожане к нему хотя и с опаской, но привыкли. И вдруг все разъяснилось сразу и очень необыкновенно.

До сих пор еще проезжие, шатаясь по городу (идет человек и на дома смотрит — стало быть, жулик или проезжий), много дивятся, стоя перед лавкой Терентия, где над дверью на синей доске написано вохрой: «Терентий Генералов», слева нарисован генеральский сапог со шпорой, а направо — голая с рыбьим хвостом девка.

Кажется, чтобы нарисовать сапожнику на вывеске по своему ремеслу: шило, например, и молоток или теленка, с которого шкуру на шевро дерут, ну, себя нарисуй в очках и с ремешком на лбу... При чем же девка?

Но выходило, что очень при чем: в этой девке и была причина терентьевского характера и вся его история, которая открылась

через Игната Давыдовича Чмокина — исправника, царствие ему небесное.

Игнат Давыдович был мужчина великой тучности и двадцать лет пил вино, а потом сразу перешел на чай, сидя весь день около самовара, и до того опился, что в грудях у него появилось молоко — подавишь и выльется. От этого и помер.

До чайной этой полосы одолевали Игната Давыдовича лютые черти. Несмотря на чин исправника и медали, черти глумились над ним по-своему. Игнат Давыдович пробовал против чертей и мундир надевать и ногами на них топал, считая, что черти как жители подземные — под какой землей живут, той власти и должины повиноваться: русские — русской, английские — англиканской, — ничего не помогало.

Как вечер — лезет из-под лавки кукиш или хвост, схватишь, — вот ничего; или в темных сенях чхнет в лицо, как кот, или вонь испустит по всему дому.

На всякие штуки пускались черти, но во всем своем виде на глаза показываться ни один еще не смел; а Игнат Давыдович и этого ждал.

Обращался он к бабам и колдуну, но советы их не помогали.

Намекали ему и на Терентия. Прохудился одно время сапог у Игната Давыдовича, — послал он десятского с бляхой за сапожником. Привел десятский Терентия. Игнат Давыдович снял сапог, затосковавшую ногу в шерстяном чулке потрогал, десятскому глазом показал выйти вон и говорит Терентию:

— Вот тут у меня сапог прохудился; усовершенствовать можешь?

— Все могу, — ответил Терентий смело, потому что у него тоже был запой.

Начинал его Терентий с того, что нанимал коня и в кашемировой рубашке катался взад и вперед по улице, пел и плакал.

Потом остервенялся и с топором кидался на всякого, кто останавливал Терентия в переулке или по делу стучал в окно.

А после всего желал Терентий душевно разговаривать, но это ему не удавалось: то щека его начинала прыгать сама по себе и все потешались, или в середине разговора валился Терентий куда ни попало бормоча: «У меня же все-таки душа человеческая, не могу больше так жить». Слов этих никто не понимал. Терентия это еще хуже растравляло.

В таком именно расстройстве сидел он на полу перед Игнатом Давыдычем, держа в руке сапог с дыркой.

— Неужто все умеешь? — спросил Игнат Давыдыч и тоскливо поглядел за окно.

Стояла на дворе зима, и в снегу трещали крещенские морозы.

Под вечер народ гулял, катаясь вдоль улицы на ковровых санях, с лентами на конской гриве и пестрой дуге.

Подгулявшие бабенки, в крытых шубах и желтых платках, пели веселые песни, вповалку лежа в санях, и махали бутылками.

Молодцы задирали девушек, толкая в сугробы; под окнами ходили старики, хрустя снегом; у всех щеки краснели, как клюква, и уже скрипели ворота, принимая пригнанных с речки коров; солнце село. И, видя все это, Игнат Давыдович тяжело вздохнул.

— Народ гуляет, а я принужден маяться... Надоело очень, — сказал он и застегнул на костяные пуговицы парусиновый с медалями халат, в который можно было поместить трех десятников и писаря.

— Помочь можно, — ответил Терентий и, скосив глаза, спросил: — Угарно?

— Страсть; так все и ползет перед глазами.

— Я сам понимаю.

— Сделай милость, Терентий, истреби их словом, каким, ты, говорят, мастер...

— Мастер, мастер, а сам который год маюсь.

— Что ты?

— Вот вам — что! Сам себе их навязал и не через вино, а через воду.

— Как через воду?

Но тут Терентий, сообразив, что проговорился, закрутил головой и смолк. Игнат Давыдыч даже ногами на него затопал, потом повел носом, встал, упершись о сиденье, и сказал:

— Пирог принесли. Ну ладно, Терентий, окажу я тебе уважение, ведь ты все-таки генеральский сын, идем со мной пирог есть!

Голова у Терентия пошла кругом — виданное ли дело: у самого исправника пирог есть!

Вскочил он тотчас на ноги, отказался до трех раз и пошел вслед Игнату Давыдычу из канцелярии, где они сапог примеряли, в столовую. А в столовой от пирога шел такой приятный чад, что, кроме пирога, ничего не было видно.

Исправник сел, расправил усы, показал Терентию на стол, отрезал угол у пирога и сказал:

— Ну-с.

— Эх, — молвил Терентий, — зарок дал, а вам скажу... С русалкой я живу девять лет, как с бабой...

Игнат Давыдыч только что раскрыл рот, поднеся к нему на вилке немалый кусок, но при этих словах поперхнулся, отодвинул стул и спросил, выкатив глаза:

— Что ты?!

Потом раскрыл пошире, зажмурился и принялся смеяться так громко, что Терентий даже обиделся.

— Смешно вам, Игнат Давыдыч, — сказал он, — а я принужден после, как помру, в реке жить... Это мне неудобно.

Исправник отсмеялся, наконец, перекрестил себе сосцы, присосанился и воскликнул:

— Ах ты мошенник, как же ты без дозволения начальства с гадом столько лет живешь? Почему раньше не доложил?

— Совестно, Игнат Давыдыч, разве бы я пил, если бы не со-
вестно.

- Где же ты ее поймал?
- Конечно, в реке, где оне и водятся. Около плешивого камня, в яру, там их плавают видимо-невидимо.
- Слово на них знаешь?
- Какое слово, сама навязалась...
- Все-таки баба, значит?

Да. Рыбу ловить я большой охотник. Закинешь крючок с наживой в реку и жди, вода как пустая, а глядь — и тащится со мной живая рыбина, даже руки трясутся. Так вот, плыву это я раз вечером на лодке, гребу и пою, а позади леса тянется; мастер я был тогда романсы петь — дворянское, знаете, занятие, а к невестству я еще не совсем привык. Вдруг дернуло за лесу — и лодка стала. «Не может быть, думаю, чтобы это рыба, — крючок за сорягу задел». Стал я на корму, лесу вокруг руки обмотал, тяну и гляжу на дно. И вижу — на дне вот эдакая рыбина хвостом повела, повернулась и показала белое пузо. Обмер я. Левою рукой взял весло и стал к берегу подгребаться. А она видит, что хитрят, как потянула — я за лесой в воду и бухнулся. Вынырнул; а лодку отнесло. Поплыл я стоя к берегу, а лесу крепко держу; боюсь только, чтобы рыба ноги не отъела. И совсем за куст ухватился и уж коленку задрал, — как принялась она меня под микитки да под мышки пальцами щекотать. Я за куст держусь, а сам хи-хи, смеюсь, ха-ха, на всю реку, даже слезы проступили, и страшно, — понимаю, кто щекочет. Оглянулся и вижу: пальчики проворные по мне бегают; вот-вот под воду уйду, сил нет... Козел меня выручил — покойной бабушки Лукерьи, — любопытное было животное; видит — человек барахтается и не своим голосом кричит, подбежал, стал над водой, рога опустил да как топнет копытами... Русалка тут же и притихла: боится она козлиного духа. Вылез я как-как, со страху лесу за собой тяну; иду, тяну, оглянулся, а над водой уж голова показалась, — такая красивая: брови подняла, рот, как у младенца... потом и по грудь вышла, и на берег лезет (крючок у нее в волосах запутался), и зовет тихонько: «Не беги, Терентий, возьми меня к себе»: А мне куда бежать! Как дурак, стою перед ней; белая она, волосы, как пепел, от колен рыбы ноги, а за ушками — красные жаберки, вроде сережек. «Уходи, — говорю ей, — ну, что тебе нужно, я не подводный житель». — «Очень ты мне понравился, — отвечает и руки сложила, — возьми меня к себе, как жену. Я буду покорна». Тут у меня, конечно, в глазах помутнение пошло; поднял я камень, кинул в козла, чтобы перестал пугать; сам кафтан скинул, русалку обхватил, прикрыл кафтаном; она присунулась, будто кошка тихонькая, и в глаза глядит... И побежал я с ней по задкам к себе...

Игнат Давыдыч со страхом слушал Терентия. На дворе давно настали потемки, молодежь разбежалась по домам, а в такой час, оборотни Бог, притащится кто-нибудь под окно из речки с рыбьими ногами...

— Ну, как же ты вообще? — спросил Игнат Давыдыч и перед носом помахал пальцами.

— Вообще она женщина, — ответил Терентий, — добрая и тихая и жалует меня нестерпимо. Только насчет пищи — сырую рыбу ест и меня к этому приучила. Жили мы очень хорошо. Раз я ей и говорю: «Что же, Мавочка, на тебе креста нет?» — «Нет и нет, отвечает, не нужен он мне; а будешь приставать — заплачу». А я опять про свос. «У тебя, говорю, ноги чертовы. Ну, виданное ли дело на рыбий хвост башмаки приладить». Она смеется. Пошел я и напился. И понял всю свою низость. Пришел пьяный домой, думаю — ушибу ее, брошу в реку, душу свою освобожу... А Мавочка мне и говорит: «Ты ведь меня убить пришел... Меня убить нельзя, ты лучше разгляди меня». И показывается — бровки поднимает, повернется, то волосами вся прикроется, то примется за усы меня дергать и щекотать пальцем. Сел я на лавку и заплакал. Тут она мудрости меня начала учить. Да что мне в мудрости... Православный народ в царствие Божие пойдет, а я в речку, ихним царем сидеть. У них такой обычай: состарится ихний царь, посылают они русалку покрасивее к людям — выбрать нового царя. У них цари из людей, не кое-как, да!

— Ты, значит, о превышении власти толкуешь; ах, шельма, — сказал на это Игнат Давыдович, — вот я тебя. А паспорт у твоей животины есть?

— Паспорта у нее действительно нет, не полагается, Игнат Давыдыч.

— Теперь понимаю, отчего ко мне черти лезут, — продолжал исправник, — раз в моем участке такое безобразие развелось. Конечно, всякий поверит, что с моего согласия эта гадость. Ах ты, Терентий, а еще я тебя пирогом накормил.

Терентий принялся благодарить и кланяться.

Игнат же Давыдович раздумывал: оставить ему это дело (не хотелось трепыхаться после пирога) или нет, — как вдруг под столом в потемках вильнул ошипанный хвост.

Игнат Давыдович быстро его схватил, посмотрел в ладонь — нет ничего, поднялся и приказал во весь голос:

— Веди меня к ней, властью приказываю!

Повинуясь власти, повел Терентий Игната Давыдовича к себе по снегу вдоль улицы, над которой всходила ущербная луна.

На синеватый снег из окошек лился теплый свет, и когда одурелая чья-нибудь голова, подняв запотелую раму, высывалась, клубом вылетал из окошка пар и веселый смех и топот танцующих девушек с кавалерами.

— Ах, шельмы распутные, погоди — пресеку это безобразие, — говорил Игнат Давыдович, держась за кушак Терентия, чтобы не свалиться, — а ну как, избави Бог, ревизия нагрянет, что стаиу отвечать? — в городе содом и бесовское действо.

Терентий же завернул в переулок и, став у занесенной сугробом двери, вынул ключик, отомкнул замок и сказал со вздохом:

— Пожалуйте, убедитесь...

Игнат Давыдович, постучав оснеженными валенками, нагнул под низким косяком голову, вошел в избу и тотчас в смущении

шел у дверей на стульчик... Посреди пола на белой кошме лежала, подперев кулачком румяную щеку, русалка; в другом кулачке она держала мышь. Длинная спина русалки светилась, как раковина, под светом лампы в круге у потолка, темные волосы, в четыре косы, лежали на круглых плечах и кошме, а рыбы зеленые ступни похлопывали.

Русалка подняла на исправника чернобровое лицо и, открыв губы, засмеялась, отчего красные жаберки у нее за ушами оттопырились.

— Совестно, ушла бы за перегородку одеться, — сказал Терентий, стоя у печки с шапкой в руке.

Русалка медленно поднялась, не стыдясь подошла, переступая на лапках, к Игнату Давыдовичу и засмеялась в круглое его с красными усами лицо.

Игнат Давыдович сам ухмыльнулся, и бросило его в жар: а ну, как защекочет?

— Не дозволяется, — сказал он, — и вообще не указано начет жительство...

Бормоча так, Игнат Давыдович вынул из варежки руку и пальцем потрогал русалкину грудь.

Русалка придвинулась и быстро пощекотала у него под бритым подбородком.

Губы у Игната Давыдовича размякли, и он сложил их в трубку, морвя чмокнуть. На заплывшие глаза поползли веселые морщины, и он уже до половины сполз со стула, стараясь ухватить ловкую пивчонку, как вдруг ударил его Терентий по рукам и, заслонив русалку, красный и злой, воскликнул:

— Не смей, не твое! Пожалуйте на улицу...

— Ты это меня ударил? — спросил Игнат Давыдыч.

Русалка же опечалилась, глядя исподлобья.

Игнат Давыдович попятился к двери; Терентий напирал, сопя и косясь на топор. Тогда русалка схватила Терентия за руки и хотела покружить по избе...

Но Терентий крикнул:

— Не мешай, не я, так он со свету сживет. — Толкнул русалку и нагнулся за топором.

Русалка отлетела, покрутилась и вцепилась в халат Игнату Давыдовичу.

А Игнат Давыдович пхнул ногой дверь и, подхватив русалку, с криком выбежал на улицу.

За ними выскочил и Терентий с топором, но от злости запутался в сенях, а когда, опрокидывая горшки и кадки, завернул, наконец, скрипя зубами, за угол на улицу, — вдалеке вдоль домов по снегу, залитому лунным светом, голубая, как тень, неслась русалка; за ней поспешал исправник, стреляя из пистолета и крича:

— Держи, держи!

Слыша выстрелы и крики, кинулся веселый народ к окнам, увидел завертывающего к реке исправника и Терентия с топором,

и, так как в городе подобного никогда не случалось, повалил народ из теплых изб на мороз и на речку тесной толпой.

Когда же прибежали на речку, все увидели на льду около проруби исправника, который, раскинув шубу, глядел в черную воду, а напротив сидел Терентий, крутил головой и навзрыд плакал, не вытираясь.

Оба до того были пьяны, что их взяли под руки и развели по домам.

Исправник спал полторы сутки, крича во сне и колотя вокруг себя кулаками, а когда проснулся, вышел на площадь и всенародно объявил, что видел черта в образе бабы и гнал ее до реки, а баба нырнула смело в прорубь, и оттуда был голос:

— Не пей!

Так Игнат Давыдович закаялся и, заказав молебен, велел лавочнику доставить к себе на дом трехведерный самовар, чаю цыбик и голову сахару, а постом — изюм.

Что из этого вышло — уже сказано.

А Терентий долго не показывался на улице; соседи слышали по ночам, как он выл, словно пес в опустелом доме, и тосковал до тех пор, пока душу не отвел, написав синюю вывеску с русалкой и сапогом.

Так вот что случилось в нашем городке в давнее время.

Жители верят этой истории. И как же не верить, когда каждый день проходит с ведром и удочками на реку Терентий, темный, как туча, и, сидя на берегу, поет не своим голосом — сердце надрывает.

А заезжие смеются нашему рассказу. Ну, да теперь надо всем смеются: веры ни у кого нет.

КЛЯКСА

1

Над столом, покрытым синей бумагой в чернильных пятнах, горела привешенная к потолку небольшая лампа, освещающая ворох писем и две худые, проворные руки, левая выхватывала письмо из кучи, подносила к плоскому, с красной бородавкой носу в пенсне и перебрасывала правой, а правая совала в ящики шкафа близ стола.

Работа эта, ежедневная и однообразная, не обременяла мыслей почтового чиновника Крымзина; но мыслям некуда было деться, и они дремали, шибко бегали только бесцветные глаза. На углу стола миппел самоварчик.

Сонно было в почтовой конторе, и в двух залах небольшой станции, и вокруг на много верст, и ничто не могло потревожить работы Крымзина.

Но вдруг левая рука его, схватив голубой конверт и едва не перебросив правой, задрожала и остановилась. Крымзин сдернул пенсне и, раздвинув локти, прочел адрес на конверте:

«Именье Сосенки, Александру Петровичу Тименкову».

Пятнами разлился румянец по впалым щекам Крымзина, тонкие губы, обросшие мочальными усиками, приподнялись улыбкой. Он встал, подошел к самовару и пробормотал:

— Соскучилась Лизанька. Вся, чай, изныла без милого друга... Ну, что ты там нацарапала, душенька моя...

Дрожащей, грязной от чернил рукой в заусеницах подержал Крымзин конверт над паром самовара, осторожно раскрыл и, понюхав хрустящий листок письма, стал читать под лампой:

«Милый мой, золотой Саша, я больше не могу жить в разлуке... Ичера муж нашел твое письмо у меня на туалете. Я испугалась ужасно и за тебя и за себя. Он спросил: «От кого это?» Я ответила: «От подруги»... И он подозрительно покосился, знаешь — как. Я боюсь его, Саша. Как он смеет меня подозревать? Разве я изменяю ему с тобой? Ведь я же люблю тебя, красавца милого. В субботу мы встретимся в вагоне. Я не дожусь субботы. Какое счастье, что и К. живет его тетка... Я ее терпеть не могу, а муж очень доволен, что я хочу навестить тетку... До субботы. Лиза».

Прочтя письмо, Крымзин усмехнулся, поглядел на лампу и подмигнул.

— Правильно, — сказал он, — старого учить надо: думает, за деньги жена тебя и любить будет... Многого захотел. Не раба. Саша молодчина, в вагоне устраивается... Изобретатели... Значит, в субботу ее и увижу, конечно увижу. Вот так штука!

Крымзин задумался, сказал: «так-с», заклеил конверт и, улыбаясь, продолжал работу, согнувшись на своем стуле — худой, сутулый и потертый.

Когда ворох писем был разобран, Крымзин потянулся, налил чаю в стакан и, куря и мешая ложечкой, продолжал думать о Лизе, причем глядел не отрываясь на чернильное пятно на стене.

Клякса эта, неправильная, с брызгами вокруг и отеком вниз, находилась поверх коричневого цветка на обоях, и Крымзин, думая, всегда глядел на кляксу и ненавидел ее до тошноты и головной боли.

Кляксу поставил почтовый чиновник, который служил лет двадцать на этой станции и помер от запоя. На место покойника поступил Крымзин, исключенный за слишком медленное прохождение курса из реального училища. Родных у него не было, товарищи скоро забыли его, и он, сев на станции, посреди степи, где ближайшее село было в тридцати верстах, стал ежедневно видеть одно и то же: начальника станции, стрелочника, телеграфиста, кур в палисаднике, а вокруг степные дороги, путь и столбы.

Раз в сутки, минуты на две, останавливался почтовый поезд, полный народа; засидевшийся пассажир спрыгивал с площадки и прохаживался мимо вагона, откуда в окна глядели незнакомые люди. Вначале Крымзин хотел подружиться с начальником и телеграфистом, но у телеграфиста пахло изо рта, да и какой прок из его дружбы, а у начальника постоянно хворали дети, и вообще он был угрюм. Надумал Крымзин пить, но от вина делалась такая грусть, что однажды вынули его из петли в дровяном сарае. Тогда попробовал он распечатывать письма, и это занятие понравилось.

Засиживаясь с каждой почтой за полночь, Крымзин читал чужие тайны и стал понимать, как живут люди, на какие пускаются хитрости и дела.

И уже не обижался больше, глядя на подкативший поезд, а хитро ему подмигивал, думая: «От меня не скроетесь, господа, все про вас знаю». И скоро выучился отличать по надписи на конверте любовные письма от деловых, просительские от писем начальников.

На просительских звание и титул были прописаны всеми буквами, адрес подробен, не подчеркнут, и старательно завернуты закорючки на буквах. Начальники подчеркивали город и фамилию, перед которой стояло просто «Е. В. Б.»¹. В деловых почерк был тороплив и разборчив. А любовные — их все прочитывал Крымзин, наслаждаясь разнообразием и подробностями содержимого, — у од-

¹ Сокращенно: «Его Высокоблагородию». (Прим. редакции.)

них почерк был трудно читаем, словно женщина трусила, боясь писать, другие царапали каракулями, ставили кляксы, вкладывали перья, а иногда торопливое перо, вонзаясь в бумагу, брызгало; местами вместо слов ставились точки, над которыми много смеялся Крымзин, сняв запотевшее пенсне.

Крымзин радовался удачам любовников, досадовал на препятствия, ответы ждал с нетерпением, а иные письма переписывал в тетрадь, где значилось: «Пикантная переписка некоторых особ».

За несколько лет он до того привык думать и чувствовать чужими думами и чувствами, что не представлял, как можно было жить, как раньше, в одиночестве от жизни, как в свинцовом ящике.

Недавно он распечатал письмо в голубом конверте: «Саша, как солнце светит, так и я тебя люблю. Ты говоришь, что я красивая и нежная, у меня маленькие ручки и ножки, но все это твое, пойми»... и дальше в том же роде... все про любовь. Было подписано: «Лиза», и Крымзин долго думал — чем это письмо замечательно, словно случилось что-то серьезное. Потом письма в голубых конвертах полетели каждый день... В них описывались и мелочи жизни, и такие женские подробности, при чтении которых надувал Крымзин дряблые щеки и говорил: «Да-с», и стихи, и цветы, и нежные слова на целой странице — все, чем ворожит молодая женщина, и, наконец, Крымзин получил фотографию, которую долго рассматривал и хотел срисовать, но ничего не вышло. Потом увидел Лизу во сне; затосковал, на другой день напился было, но стало хуже, и, не зная, что теперь делать, достал у жандарма порошу, ножом на руке вырезал: «Лиза», под именем — сердце и стрелу — и все это затер порохом, чтобы почернело навсегда.

Ответы Александра Петровича Тименкова Крымзин перестал открывать, чтобы казалось, будто Лиза пишет ему — Крымзину, и однажды наедине он назвал себя: Саша, Александр Петрович, — даже колкий холодок восторга пробежал по спине.

В свободное от разборки писем время, то есть весь день, Крымзин мечтал о крушении поезда. Он, Крымзин, бросается под обломки горящего вагона и выносит с опасностью жизни Лизу на руках. Лиза говорит ему: «Спаситель, будьте моим другом», — и целует его...

Мечтая, Крымзин вытирал платком лицо, чтобы не было оно, ни всякий случай, мокрое, в чае полоскал усы, от которых пахло табачным перегаром; глаза же его глядели на обои, и вот поверх коричневой розы он опять видел все ту же кляксу, поставленную от пьяной тоски... И клякса напоминала, что жизни у него нет.

2

Последнее письмо с назначенным Александру Петровичу свиданием было в четверг, и два дня до субботнего вечера Крымзин жил сам не свой, — наконец, наконец он увидит Лизу.

Не зная, куда деться, он забрел за пути в полынь, росшую по ровному полю, и глядел на запад, откуда, за телеграфными столбами, вечером покажется поезд. Из-под ног вылетел перепел; суслик свистел на кургане, стоя колышком, — выцветшее небо, солнце, полынь...

Взглянув на солнце, он думал о том, что теперь Лиза обедает и говорит мужу невинно: «А я хочу съездить к тетушке». Муж молчит, прикрывшись газетой, — грубое животное; лицо у Лизы испуганное и лукавое... А вдруг откажет? «Поезжай, — говорит муж, — мне какое дело». Долго ждать до поезда. Все сердце изныло... Она пошла в комнату и надевает белье с кружевами — все для него.

Крымзин жмурился и, помотав головой, шел в палисадник, сбивая сапогами с польни горькую пыль.

У коричневой, обшитой тесом стены Крымзин сел; около ног его заходил голенастый петух, тряся гребешком; две курицы лежали в пыльных ямках; листья на чахлах тополях были давно сожжены. Во втором этаже, в квартире начальника, плакал ребенок.

«Эх, — подумал Крымзин, — хоть бы речка была — искупаться, здесь и воды-то нет; как только здесь люди живут...»

Вопли начальника ребенка надоели, наконец, нестерпимо; Крымзин, морща лоб, побрел в первый класс, где был холодок. Но в зале те же, что и десять лет назад, висели сбоку изразцовый печи рекламы пароходов и гильз «Катыка», напротив них заклеванное мухами расписание поездов и давнишняя надпись на нем карандашом: «Маня, если бы ты знала!! Виктор Стрижев... На круглом столике — графин с желтой водой, которую никто не пил... Вот и все...

Крымзин заглянул в графин. Послушал, как мухи жужжат на окнах, и ушел в багажное...

В багажном, против выхода, на обитой железом стойке спал служащий; заскорузлая рука его лежала на животе; вокруг открытого рта, обросшего неопределенного цвета бородой, ползали мухи.

— Эй, ты, будет тебе спать-то, — сказал Крымзин. Но тот не проснулся. Он тоскливо постоял и вышел на мощеный двор. Службы, покрытые дерном, были заперты, у коновязи хлопотали воробьи. За казненным забором, за пыльной дорогой была все та же степь, далеко в ней прыгала стреноженная лошадь.

— Мука ведь это, мука, мука, не могу так жить, — сказал Крымзин, — хоть бы поезд скорее прошел.

Степной закат долго тускнел, линия и заливаясь ночью; выпали редкие звезды; на станции зажгли огни, семафор вдалеке опустил зеленое крыло, и однообразно звонил колокол на столбе, показывая, что откуда-то идет поезд. Крымзин сидел на лавочке у дверей, на перроне, глядя налево, в степь. Легкий озноб тряс его тощее тело в короткой тужурке, и в голове стоял туман, — слишком долго он дождался...

В степи налево горела точка, должно быть костер, зажженный дуэганями. Но точка становилась ясней, потом разошлась в три стороны, и оттуда долетел дальний свист; это подходил поезд.

Крымзин вскочил со скамейки, оправляя фуражку; сердце стучало. Вслед за свистом с противоположной стороны залился колокольчик, все ближе и ближе, словно едущий, тоже увидя поезд, стегал по коням, стоя в тарантасе. Когда же огни паровоза, ширясь и золотом заливая рельсы, настигли семафор — на двор станции метела, гремя о камни, запыленная тройка.

«Это он», — расширяя глаза, в волнении подумал Крымзин.

Пылающие фонари, погнав тень от начальника станции, подлетели, паровоз обдал гарью и паром, замелькали окна вагонов, все медленнее, — и против Крымзина остановился первый класс, ярко освещенный. Сейчас же на перрон через дворик пробежал высокий человек в крылатке и с пышными усами. Крымзин, приветив на цыпочки, стал глядеть через вагонное окно в купе, обитое красным бархатом...

В сетке купе лежала соломенная шляпа с цветами и ягодами, на крючке висело шелковое пальто... «Лизино это», — пробормотал Крымзин и с головы до ног задрожал и обернулся... С площадки вагона раздался звонкий, торопливый женский голос:

— Сюда, сюда. Александр Петрович, Саша...

Человек в крылатке с разбегу остановился, поднял руку, приветствуя, и вспрыгнул на площадку. Он заслонил ее всю, на шее его очутились две женские руки...

«Поцеловались, — сказал Крымзин, — в губы...» — И увидел, как дверь в купе распахнулась и вошли, сначала она — радостно бросая глазами и смеясь, потом — он, очень бодро...

Зайдя в купе, Лиза опять обняла Александра Петровича... Они сейчас же стремительно сели на красную койку и опять — целовались, зажмурясь, отрывались, чтобы вздохнуть, и — опять...

Крымзин, глядя на них, тихо затосковал на голос, даже и не замечив этого; не слышал он, как ударил третий звонок, звякнули буфера...

Вдруг окно поплыло, — Крымзин побежал за вагоном...

Лиза и друг ее с великолепными усами оторвались друг от друга. Он держал ее за руки... Оба смеялись, невыразимо счастливые...

Перрон вдруг окончился, Крымзин споткнулся, едва не упал, и поезд уже унесся, показывая на хвосте два красных огня... Все...

Долго Крымзин смотрел вслед поезду. Вернулся в контору, засунул руки в карманы и сложил губы розаном... Так постоял, пока и этот отраженный свет любви не угас на лице его... Потом он вынул ключ, отомкнул на почтовом мешке замок, понатужась, вывалил письма на закапанный стол, присел, и привычно заходили его руки... Но глаза вместо всей этой дряни снова видели прозрачное окно и на красном бархате две целующиеся головы.

— Довольно же, — сказал он, тяжело дыша, — поцеловались и довольно...

Но — мало этого — они взялись за руки и принялись смеяться... На румяной щеке у нее показалась ямочка, и наморщился маленький нос.

— Милые мои, еще поцелуйтесь, — сказал Крымзин, встав и опираясь о стол...

Но профили чудесных двух лиц не сблизились; между ними появился обойный розан, и сбоку его — чернильная клякса...

Крымзин раскрыл рот и, дрожа, глухо вскрикнул: «Пропади!» И головы исчезли... Тогда он схватил чернильницу и швырнул ее, перегнувшись через стол, в кляксу. Чернильница разбилась, и чернила расплеснулись по стене пятном величиной с баранью шкуру

— Заполонило! — закричал Крымзин. — Врешь! А не хочешь ли этого, этого?..

Комкая и разрывая письма, он стал кидать их в чернильное пятно, плевал в него через стол, запустил печаткой и сургучом.

Начальник станции, зайдя за почтой и все это увидев, повалил Крымзина, позвал на помощь, велел его связать, а наутро отправил в уездный город, в больницу.

ФАВН

Неожиданно, среди бабьего лета, из гавани двинулся туман мощною стеною на Петербург. Морские птицы появились на улицах. Над Исакием пролетело стадо лебедей, протяжно крича. Туман, густой и желтый, перевалил через крыши, пополз вдоль улиц и накрыл город.

В полдень зажгли электрические фонари, и они засветились, как фосфорические яйца. С перекрестков не было видно домов, прохожие блуждали, как в пустыне, окруженные облаками. Из пустоты звякали подковы, осторожно проползали невидимые трамваи, все время звеня.

Странное время для мечтателей: как будто город опустился на дно и между людей замешались иные существа.

По восемнадцатой линии быстро шла девушка. Ее звали Маруся Молина. На ней была бархатная ловкая одежда, шляпа с красным бантом, надвинутая на один глаз, мохнатой муфтой она помахивала вдоль бедра и думала о приятных вещах. Приятно было то, что завтра на Невском в фотографической витрине появится ее портрет, и то, что вчера два гвардейца громко сказали ей вслед комплимент, обозвав чертенком, и многое другое еще не испытанное, наверное вплоть до газетной заметки о ее красоте. О клубах тумана, разрываемого ее плечами, о желтоватом, призрачном свете не думала она совсем. Добежав до угла, она остановилась, — ничего не было видно, одни облака, ползущие по камням. Подняв юбку, она уже опустила маленькую ногу с панели, но тотчас приняла, — перед ней в тумане смутно обозначился человек, нагнувшийся голову.

Так они встретились. Маруся нахмурилась на случай, прикрыла муфтой подбородок и быстро прошла. Немного спустя она услышала фырканье за спиной, догоняющие шаги и подумала: «Готово, пристал!» На широком месте тротуара преследующий проскочил вперед, круто повернулся и, весь еще живой от ходьбы, стал, поднял брови, раскрыв синие веселые глаза, раздвинув большой рот. Глова у него была удивительная — крепкая, с выпуклым лбом

(цилиндр торчал на макушке), щеки розовые, борода венником, кудрявая и русая, и весь он был коренастый, короткий, ловкий под клетчатым пальто.

Маша струсила немного и нахмурилась. На лице незнакомца, как в зеркале, отразились ее чувства, но в перевернутом виде: чем сильнее сдвигала она подведенные бровки, тем шире он ухмылялся. Словно солнце разорвало облако и тонким лучом оттуда скользнуло по его лицу улыбками и усмешками. Маша двинулась направо, он направо, она — налево, он растопырил руки и прыгнул влево, тогда она вскрикнула, повернулась и побежала назад. Вдоль панели ехал извозчик. Маша вскочила на него, погнала, ударяя муфтой и в страхе оборачиваясь. Сверху, с боков, отовсюду летел туман. Никто не гнался... Маша засмеялась и сказала извозчику адрес. Она уже больше, чем на час опаздывала на свидание... И думая о том, кто в волнении дожидался ее так долго, брезгливо вытянула нижнюю губку и пожала плечами: эта последняя ее связь была совсем не шикарна.

Вдруг на щеке почувствовала Маша горячее дыхание, в испуге отстранилась — сзади, уцепясь за кузов, висел рыжий незнакомец, весело оскалась, щеки его горели, как яблоки. Маша хотела закричать, а он зарылся губами в ее раскрытом рту, потом оторвался от кузова и пропал в тумане.

Маша не была коварна... Она все-таки зашла к тому, с кем связь ее не была шикарной. Он кинулся на нее еще в прихожей. Он был очень высок, в люстриновом, с форменными пуговицами, пиджаке, унылый и с большими усами. Схватив ее руки в холодные ладони, он стал жаловаться, как будто ожидание возлюбленной девушки, хотя и долгое, одно уже не было счастьем. Маша не сняла шляпы; войдя в коричневую столовую, она наклонилась над столом, где были сласти, фрукты и вино. Разбираясь в шоколадной коробке обтянутым лайкой пальцем, она объяснила, что не может остаться сегодня, очень испуганная нападением на улице. Она положила в рот виноградину и весело поглядела на чиновника: руки его были сложены у подбородка, ноги подгибались, и он стал умолять ее глухим, как из бочки, басом, причем кадык его двигался в разрезе воротника.

Потом он растворил дверь, указывая на мало соблазнительную спальную, и под конец стал на коленки, стукнув ими о паркет. Тогда Маша принялась смеяться, все громче и обиднее. Ей представилось — в какое бы пришел отчаяние чиновник, если бы веселый, здоровенный незнакомец при нем ее поцеловал. И она объяснила, что смеется над сегодняшней встречей. Чиновник же с негодованием рассказал, что этот рыжий незнакомец третий день смущает весь Петербург. Его встречали в центре и на окраинах, многие дамы жаловались в полицию, — говорят, что отдан приказ поймать его непременно, но он переезжает с квартиры на квартиру и неуловим. Совсем бы чиновнику не нужно было это рассказывать. Маша до слез теперь жалела, что упустила редкий и заманчивой

лучай познакомиться с таким опасным человеком. Она рассердилась, выбросила из муфты коробку конфет, сказала несколько неприятностей и ушла.

Взобравшись к себе на седьмой этаж, Маша сняла жакет и юбку, накинула фланелевый капот, зажгла в углу высокую лампу, освещенная через красный абажур, легла на диванчик, облокотилась на голую руку. «Или человек замечательный, или никто», — подумала она, заканчивая этим досадливые мысли, вздохнула и раскрыла книгу декадентских стихов.

В это время в прихожей затрещал звонок, кто-то засмеялся отрывисто и хлопнул дверью. Потом в комнату вошла Машина мать, тяжело уселась и сказала, усмехаясь: «Новый жилец вернулся, — ну и скипидар, старуху не пропустит». Мамаша Молина обдвала комнаты жильцам, выбирала преимущественно холостых и одиноких, сама «билась из последнего», но дочь «наряжала, как куклу»; дочка же, ничего этого не ценя, «гнула свою линию», непонятную, путаную, «злодейскую». «Злодейка», — думала она, глядя, как дочь, выставив из-под раздвинутого капота голую коленку, читает стихи. И потом спросила, куда она таскалась, у какого хахла обивала юбки? Маша ответила на это, спокойно перевернув страницу, что не знает, откуда мать выкапывает такие мощанские выражения, что подобными выражениями она только портит ее карьеру и что другая бы дочь давно лежала на дне реки; она же вместо этого пойдет сейчас, вызовет к телефону какого-нибудь знаменитого поэта — вот этого, кого сейчас читает — и попросит сегодня же вечером увезти ее в Финляндию, в лес. Мамаша принялась обидно смеяться. А из соседней комнаты в замочную скважину глядел на Машу синий любопытный глаз. То новый жилец, переехавший нынче, пододвинул кресло и слушал весь разговор. Не стерпев ядовитого смеха, Маша вскочила проворно, выбежала в прихожую, отыскала по книжке номер знаменитого поэта и позвонила в телефон.

Произошел такой разговор: «Алло, — сказала Маша, — пожалуйста, к телефону Юрия Бледного (так звали поэта). — Это вы? Зачем вам мое имя? Я читаю вашу книгу; какой вы грустный! Наши слова падают, как увядающие лепестки. Что? Красиво? Мерси. Нет, я сама это представила. Что? Моя наружность? Зачем? Да, я красивая. Тонкая. Глаза? Глаза большие, полузакрытые. Нос? Тоже красивый, с раздувающимися ноздрями. Что? Я лежу... на шелковой софе в подушках. Толстые ковры глушат шаги. Везде бархатные портьеры. У ног стоят белые туберозы, они опьяняюще пахнут. На губах таинственная улыбка... Да, да, я одна... Зачем? Нет... Я совсем раздета, в комнате полумрак, на мне ничего нет, только на груди жемчуг... Да, грудь нежная, маленькая. Только рыжие косы раскинулись... Приезжайте, я жду вас... Хотите, поедем в Финляндию...»

Но мамаша не могла далее слушать; распахнув дверь, она крикнула на всю прихожую: «Шельма», — и дочь, едва успев шепнуть

адрес, положила трубку, подобрала капот и, проскользнув мимо матери, заперлась у себя.

Походив в волнении по комнате, Маша легла с ногами на диван, запахнулась поглубже и начала трусить. Мать колотила сначала в дверь, потом ушла на кухню, и оттуда слышно было, как она всхлипывала, жалуясь кухарке. «Конечно, не придет, и бояться нечего. А вдруг придет», — думала Маша. И, прислушиваясь, различила за боковой дверью негромкое пение. От него забилося у Маши сердце:

Тепел, темен лес густой,
В нем бегут потоки,
Хочешь спи, а хочешь пой
Песенки далеки.
Ляг в траву, гляди в родник
Иль в певучий дуй тростник,
Пой — приди, тоскую.
Нимфа белою рукой
Расплескает над тобой
Воду ключевую...

Чем дальше слушала Маша, тем непокорнее вздрагивало сердце и сжималось так, словно сочилось медом. Замолк за стеною голос, мамаша ушла спать, а она все еще представляла, как летают пчелы, шумят деревья над ключом, под ногой мнется мокрая трава. Подобного ничего не видала она в жизни, но тем чудеснее нравилось ей это представлять. Вдруг дверь отворилась и в комнату вошел человек. Он был в цилиндре, с русой бородой, суровый, застегнутый наглухо, тень падала ему на все лицо. «Вы меня звали, — сказал он, — я поэт». Маша не могла глядеть от стыда. «Я читала ваши стихи, и мне показалось на самом деле все это, о чем я вам говорила в телефон», — проговорила она.

Он повертел серебряной палкой, потрогал в петлице гвоздику. «Что же, едем в Финляндию», — сказал он насмешливо. Маша, виновясь, как во сне, зашла за раскрытую дверь шкафа, поспешно надела юбку, шляпу и жакет, взяла сумочку с пудрой и, нагнув голову, проговорила: «Хорошо, поедемте. Только не шумите в прихожей».

Они осторожно вышли, сбежали с седьмого этажа, сели в огромный автомобиль, и он довез их к последнему поезду. Они вскочили в купе. Поезд отошел, и Маша в первый раз, в страхе и сомнении, взглянула на спутника.

Перед ней, сняв цилиндр, сидел давешний рыжий незнакомец и ухмылялся, показывая белые зубы. Маша вскрикнула, но осталась сидеть в углу у окна, глядя исподлобья. Незнакомец дотронулся до ее колена пальцем, затопал ногами и громко захохотал. Поезд несся в тумане через леса, свистел диким свистом, мимо окна проносились огни. Маша молчала от страха и чудесного волнения. Она все еще думала, что перед ней поэт. Незнакомец между смехом рассказывал о проведенных днях в Петербурге, куда любил приезжать со своей дачи в туманные дни. В окутанном облаками городе он искал приключений и каждый раз уезжал не один.

Проехали границу, поезд подошел к Келомякам. Незнакомец взял Мишу за руку и вывел из вагона. Все небо было усыпано яркими холодными звездами; светился, как серебро, Млечный Путь. Лес стоял темной стеной, и земля пахла опавшими листьями. Незнакомец подталкал Машу на финского извозчика, и они поехали между деревьями. Финн посвистывал. Незнакомец бородой касался Машиной щеки. Выехали в бор, нельзя было различить руки. Финн сказал «тпру», остановился, и когда седоки сошли, поплелся обратно, хрустя в темноте ногом. Незнакомец повернул на тропинку...

Скоро под ногами стал подаваться упругий торф. Незнакомец взял Машу на руки. Она закрыла глаза и, чувствуя его теплоту, прижалась, охватила руками за шею. Когда же он сказал: «Ну вот», она увидела на островке посреди болота освещенный звездами миленький дом. На крыльчке сидела человеческая фигура. Подойдя, Маша увидела, что сидящий совсем раздет, покрыт густою шерстью и с козлиными ногами. «Не бойся, он не тронет», — сказал незнакомец и толкнул сидевшего в плечо, тот заржал и кинулся в кусты. «Я хочу домой», — сказала Маша, закрыв глаза. Но незнакомец, подталкивая за плечи, ввел ее в домик и проговорил строго: «Не жмурься, погляди». Маша увидела небольшую синюю комнату, на потолке и стенах в разных местах висело множество золотых тарелочек... Две свечи горели на окошке, но оно было фальшивое — вместо стекол вставлены зеркала. Пол гладкий, эмалевый, на нем нарисованы цветы и бабочки, в углу был брошен ковер, который Маша приняла за кучу сухих и пестрых листьев. «Милая Маша, — сказал незнакомец, — ты не должна ничего бояться. Я не поэт Юрий Бледный, я царь фавнов. Если не веришь, посмотри». Он живо сбросил с себя одежду и показался первый раз в своем виде — весь покрытый рыжей курчавой шерстью, с лакированными копытами и золотыми рогами. «Ты мне очень понравилась, — продолжал он, — я сделаю тебя моей женой. В третьем часу взойдет луна, мы побежим на озеро. Ты тоже думала, как и все, что нас больше нет. Но мы хитрее людей, мы живем между вас, обманываем, увлекаем, и те, кто не хотят подчиниться нам, погибают. Сними одежду, причеши волосы покрасивее, побудь одна, я скоро вернусь... О чем бы ты ни подумала, чего бы ни захотела — все это можешь увидеть, глядя в золотые тарелочки... Но, помни, не подходи к окну, не глядись в зеркало...» Погрозив пальцем, он ушел... Маша в отчаянии всплеснула руками... Она слышала, как в темноте, за стеной, бегали по кустам незнакомцы, фыркали или вдруг стучали копытами по крыльцу... «Я погибла, — подумала Маша, — не нужны мне ваши тарелочки, ни о чем не хочу мечтать, я боюсь... И в зеркало погляжу непременно...» На цыпочках она вошла в свет двух свечей и взглянула... В зеркале увидела она себя, свою комнату, убогую и дешевую лампу, раскрытую книгу на кушетке; дверь... Но дверь вдруг стала приоткрываться... Пролез в нее давешний незнакомец, нахмуренный и злой, подошел и вдруг ладонями закрыл Маше глаза... Она, не противясь,

запрокинула голову, ахнула и крепко сжала рот... Потом она услышала голос: «На этот раз я тебя пожалею, отпущу домой. Приходи». А дальше Маша не могла ничего припомнить. Когда она открыла глаза — в комнате было светло. Снизу, с улицы, громыхали ломовые. В прихожей мамаша Молина бранила нового жильца, который, не предупредив, исчез вместе с чемоданом рано поутру.

Маша так и не поняла — сон ли она видела, и если сон, то где он начинался? И всего больше удивлялась она тому, что во сне случилось с нею не бывающее в снах... И что случилось это — она была уверена, удивлялась и покачивала головой. Когда же настал опять туманный день, Маша заперлась на ключ, стала слушать шорохи, надеялась и трусила, как мышь.

БАРОН

1

Ветер разгулялся над Киевом; мокрые облака неслись по крышам, цеплялись за шумящие хлесткими ветвями тополя и, разорванные, скатывались с гор в мутный Днепр.

По взбаламученной реке гнало жгутами пену, у берега качались баржи, и с той стороны красный пароходик, пересекая течение, ширял и дымил, словно из последних сил.

И по всему Заднепровью — над полями, лесными кущами и тихими озерами — шли низкие облака, сваливаясь у края земли в тяжкие серые вороха.

Всего сильнее дул ветер на ротонду городского сада, сбивал с ног редких прохожих, лепил одежду, гнул шляпы, подхваченные рукой, раскачивал на высоких столбах фонари, а гимназисту, глянувшему в бинокль, врезал в щеки резинку от картуза и, залетев в рукава, надул пальто горбом.

— Исторический ландшафт, сказал гимназист и, спрятав бинокль, вынул из футляра фотографический аппарат и стал наводить.

В это время между его прищуренными глазами и ландшафтом прошел худой и высокий человек, одетый странно.

Длинные ноги его были обернуты онучами и обуты в поршни, зеленые штаны по коленям заплатаны; верблюжья короткая куртка сидела коробом, до того была стара; на впалой груди перекрещивались ремни, держа за спиной ягдташ, патронную сумку, ружье и мешок; тонкие руки засунуты в карманы; плечи покатые, а на длинной шее сидела необычайно красивая голова — римская и спокойная, хотя на ней и был надет рыжий котелок с петушиным пером на затылке.

— Ах, чтоб тебя, — проворчал гимназист и, продолжая нажимать грушу, испортил исторический ландшафт, сняв на нем странную фигуру охотника, который, переваливаясь через балюстраду, принялся спускаться по косягу вниз к реке.

Затем гимназист повернулся спиной к ветру и пошел из сада и в тот же день поехал далее.

Пленку же с изображением забавного человека проявил только через месяц, отпечатал и наклеил в альбом.

Ничего нет нуднее в деревне, как последний час перед ужином.. Хозяйка, прислушиваясь к звону тарелок, вдруг перестает понимать гостя и, пробормотав что-то, уходит, вдалеке хлопнув дверью, откуда доносится кухонный запах. Гость не знает, что ожидает его, когда скажут «пожалуйста», и у него сосет... Ламп еще не зажигали; хозяйин, сидя на стуле, спиной к окну, пробует и так и этак облегчить ожидание, выхваляя новую сеялку; собака под хозяйским стулом чешется; другой гость — помоложе, облокотясь о пианино, глядит на хозяйскую дочку, которая нажимает пальцем все одну клавишу; третий гость ходит вдоль стенки, — он уже и наговорился, и накурился, и теперь, переставляя ноги, думает: «Сеялки-то сеялками, а это что же, братец, ужинать не дают?» И, наконец, наступает молчание, которое должна использовать хозяйка, раскрыв двери и говоря: «Пожалуйста, чем Бог послал...»

«Знаем мы, чем Бог тебя посылает», — подумает каждый из гостей и, хлопнув себя по коленкам, встанет и войдет в столовую...

Упусти эту минуту хозяйка, дай гостям переголодать — пропал и ужин и разговор за ним. Но в этот вечер вовремя были открыты двери, и гости, потеснясь, вовремя обсели стол.

Хозяин, Викентий Андреевич Бабычев — отец того гимназиста, — поместился в конце; два гостя с боков его, третий — помоложе, трогая усы, сел около хозяйской дочки, и остался седьмой пустой прибор, взглянув на который хозяйка приказала горничной: «Поди позови паныча». Так, с легким потиранием рук, начался ужин; пошли кругом соусники, судки и графинчики; от яркого света лампы белый стол словно ожил и все стало вкуснее, и, наконец, явился гимназист, сунул под себя альбом с фотографиями и поморщился на свет...

— Ну что, окончил наклеивать? — спросила его сестра. — Фу, хоть бы ты вымыл руки.

— Окончил, да не покажу, — ответил гимназист, — это гид-рохинон, не отмывается...

— Он у нас отлично учится, — молвила хозяйка.

— И, знаете, прекрасный фотограф! — воскликнул хозяин.

Гости подивились; гимназист, не обращая внимания, продолжал есть, сидя на альбоме, и ужин сделался еще более приятным оттого, что за спиной хозяина запылали дрова в очаге, осветив штукатуренные стены и потолок...

От еды, вина и тепла гости в конце ужина сидели уже боком — время для рассказывания занимательных историй; но все знали друг друга наизусть, и хозяйская дочка чувствовала уже некоторое свинство, поэтому, бросив катышком в брата, она сказала:

— Покажи альбом, не съедим же мы его, право.

— Вот, вот, — воскликнул Бабычев, — давай, давай его сюда, поросенок!

И альбом с фотографиями пошел по рукам...

Один гость говорил:

— Приятно, знаете ли, потом будет посмотреть.

Другой только удерживал зевоту; а Бабычев надел очки и, хва-
ми все подряд, вдруг отнес альбом на вытянутой руке, взгляделся
и, ударив по столу, воскликнул:

— Что за черт! Господа, ведь это барон, честное слово, — что,
и слепой? Каким же он чертом сюда попал?.. Ведь я думал, его и
и живых-то нет!..

И Бабычев, радуясь случаю, отодвинул стул и принялся рас-
и извывать.

3

— Извольте посмотреть на фигуру — длинный, как жердь, в
и удущий, а курточку эту на нем я знаю уж пятнадцать лет; в
и ей пять карманов: два для дробы, один для пыжей, четвертый
и для пистонов, а в этом записная книжка, — что в ней написано,
и никто не читал, но, должно быть, очень интересное... Появилась
и фигура эта в наших местах давно, и сразу прозвали его «баро-
и ном», потому что происхождения был немецкого, но из каких
и мест — неизвестно.

Встретились мы в первый раз поздней осенью на облаве у деда
и моего в лесу. Вижу, сидит на пеньке — и улыбается. Спрашиваю:
и «Кто таков?» Да так, говорят, ничего себе, но беден, околачивается
и по помещикам; должно быть, вроде шута горохового, хотя к бла-
и родной охоте имеет страсть.

И действительно, в тот же день он себя и проявил. Позвал дед
и мой всех после облавы на ужин (а дед был нрава тяжкого, на руку
и цепкий и озорник великий). И не успели гости перепиться хоро-
и шенько, дед подмигнул кое-кому и кричит через стол барону:

— Ваше сиятельство, хотя вы иностранец, а русских обычаев
и не знать стыдно.

Барон как сидел — жердью на конце стола, так и вытянулся, —
и покраснел. А дед опять свое:

— Становись, становись к стене, мы тебя потчевать хотим.

Барон вскочил, извинился и стал к стенке. Дед налил бокал
и крепкой перцовки, пригубил и подносит со словами: не обессудь,
и мол, пей до дна, да, смотри, не обойди кого — обидишь... Барон
и с готовностью выпил, — и дышать не может, а гости каждый к
и нему со своим стаканом.

— Хорошо, хорошо, — говорит барон, — у всех выпью, поста-
и влюсь, мне очень нравится русское гостеприимство.

И только улыбается. Потом его замертво унесли в контору.

Всем эта забава понравилась, и стали барона приглашать на-
и жисхват... Барон ни от чего не отказывался, — а штуки удумыва-
и лись над ним зверские; не видел он, что ли, что над ним смеются,
и или из подлости, уж не знаю, — как блаженный — все терпел.

Однажды я ему удружил — побился, что не съест он корыто раков...

— Может быть, вам не особенно хочется спорить? — спросил он только.

— Что вы, — говорю, — я на это и гостей позвал.

Усадили мы его в дверях, на сквозняке, принесли ломоть хлеба с горчицей и перцем и полное корыто раков, — и действительно, я вам доложу, посмеялись. Хотя потом в больнице его на свой счет лечил.

С дамами он особенно стеснялся — и роста своего и куртки, — сидит, бывало, одну ногу об другую закрутит и обе под стул, руки вытянет на коленку, голову склонит и, что бы дамы наши ни сказали, со всем согласится, — только не сразу, чтобы не было очень заметно.

И выдумали дамы его женить. Барон, конечно: «Сам, говорит, давно хотел бы, только нельзя ли невесту до свадьбы посмотреть».

Привели ему девицу из деревни, уroda невероятного, в перья какие-то одели; за животы прямо все хватаются. А барон вот тут как раз стоял у камина, красный весь, а кланяется и улыбается и девке этой руку поцеловал. А потом исчез и провалился, как в колодезь.

Нашли его только осенью у лесных сторожей. Обрадовались все страшно и по-настоящему даже надругиваться не захотели, — а барон прощенья у всех просит, чуть не плачет, говорит: «Ночи не спал, все думал — какой я неблагодарный».

В то время гостил у меня двоюродный брат — Володя, человек с оригинальными понятиями и ненавистник всяких инородцев.

Привели мы к нему барона, смеемся, вспоминаем про потешные выдумки; барон сам даже наклепал на себя, чтобы смешнее показаться; и смотрю, Володя мой хмурится... Потом отвел меня и говорит:

— Как вам не стыдно шутловством заниматься; этот господинчик дрянь природная, он еще вам покажет, гони его в шею.

Удивился я, неприятно стало, а все-таки начал за бароном приглядывать... Подошла зима, и прогнать его было никак невозможно... Барон, должно быть, заметил косые взгляды и стал с Володей особенно вежлив. Ружье ему чистил, собаку научил умирать и лаять, когда скажут: «волк», а больше грустил, сидя у себя в комнатешке под лестницей.

И вскоре — действительно — проявил себя, — удивил всех невероятно.

Собрались, как обычно, к деду моему по первой пороше на облаву помещики... И, разумеется, еще до леса не доехали — все уж были с мухой; барону достался номер соседний с братом; зверь пошел густо; стрелки разгорячились и палили и в пеньки и в облазчиков; один барон стрелял не торопясь и без промаха, а когда прямо на его номер вымахнула черно-бурая, бросил в нее шапкой, чтобы она к брату повернула, на что Володя, пропуская, обозлился ужасно.

Надо вам сказать, что с боков охотничьей линии протягивают веревку с цветными флажками, — зверь никогда не побежит через флаг. Вот перед третьим загонем, когда мы прилегли на снегу, испуганная шипучка, барон встал и говорит:

— Извините меня, господа, пожалуйста, я бы имел нескромность посоветовать протянуть еще линию флажков позади охотничьего, потому что в третьем загоне у нас черно-бурая лиса.

Дед мой как захохочет и на Володю пальцем указал, а брат изогнулся, вижу, и сощурил глаза...

— Ах, барон, барон, — говорит дед, — недаром ты обезьяну придумал, иди протягивай флажки.

Барон живо отошел, и, когда был уже на сорока шагах, Володя кричал ему:

— Эй вы, немец, повернитесь, я в вас стрелять буду... Терпеть не могу вашего племени.

Барон, как на шарнире, повернулся, отвечает:

— Хорошо, стреляйте, — и наморщил нос.

И не успели мы рта раскрыть, брат лег и с локтя выстрелил из обоих стволов ему по ногам. Барона как ветром отдуло. Но устоял на ногах, подошел, взял свое ружье, взвел курки (челюсть трясется, а глаза спокойные, только будто замороженные) и спрашивает:

— Вы это нарочно сделали или нечаянно?

— Нарочно, разумеется, — отвечает брат...

— Вы честный человек, иначе я бы в вас стрелял, — сказал барон, сел у дерева и руками снег схватил. Брат в тот же день ушел, а я дал барону денег и отправил в Киев, с глаз долой... С тех пор он и скрылся.

Прошло три года; сижу я как-то в городском саду в Киеве, от скуки в газете объявления просматриваю, вдруг читаю: «Сливочное масло по нормальным ценам; купивший три фунта получает в премию дикую утку или пару чирков. Продажа с воза».

«Что, — думаю, — за ерунда, — дикие утки, уж не барон ли это». Взял извозчика, еду на Подол, вижу на базаре воз, на возу барон торчит, а кругом народу видимо-невидимо, и все смеются.

Ужасно я обрадовался, протолкался; барон увидел меня, поморщился и снял шляпу, а я его обнял...

— Ты это что? — спрашиваю...

А он мне:

— Представьте, какая жалость, — масла не хватило, а уток еще целый воз.

— Пускай, — говорю, — уток по пятаку.

— Извините, — отвечает, — я не барышник. — Встал на теньгу и кричит: — Господа, берите уток так, а через неделю придете за маслом.

Сейчас же птицу у него расхватили. Завезли мы воза в подворье и пешком пошли неподалеку к барону...

Снимал он в деревянном домике три комнатки. В первой охотничий кабинет, вторая пустая — для приезжих, а в третьей на цепи сидела обезьяна.

— Это, — спрашиваю, — зачем тебе?

— Она мой друг, — отвечает барон, — она одинокая, и я тоже, вот и живем, — и протянул обезьяне руку...

— Хорош, — говорю, — друг.

— Она малокультурная, игры у нее злые, а любит меня страшно...

— Однако пойдем, — говорю, — воняет.

Сели мы в кабинете, и барон рассказал, что получил из Германии в наследство шесть тысяч рублей. Прожить их просто — неловко, они трудом добыты, вот он и придумал торговать с премией. Неделю охотится в болотах, а по воскресеньям торгует... очень хорошо, хотя прибыли еще не получал.

— А зимой как? — спрашиваю.

— Зимой зайцев буду в премию давать...

Подивился я и говорю:

— Что же, приедешь к нам?

Забегал барон глазами:

— Вот-вот, непременно приехать надо. Только мне кажется, что я не всем приятен... Меня жалели, но не особенно любили. Я хочу немного один пожить... За эти три года было трудно, пришлось ружье продать.

Барон огорчился, вспомнив про ружье, и я растрогался.

— И не думай, — говорю, — рассержусь, если не приедешь. Да скажи-ка мне вот что — откуда ты, зачем к нам попал?

Заходил барон, как журавль, остановился у окна и головой мотает.

— Не нужно, — говорит, — об этом спрашивать, лучше я подарю вам что-нибудь на память — хотите обезьяну...

С тех пор я барона больше не встречал, десять лет прошло. Плохого мы от него не видали, хоть и шут он, правда, и покушать любит на чужой счет...

Тут Бабычев, увидя, что сказал лишнее, остановился.

— В том смысле я говорю, — поправился он, — что другой на его месте за работу какую взялся бы, а не жил, как птица... А ты возьми побарабань марш какой или попурри. Сама знаешь. А мы покурим.

Слова эти относились к дочке, которая мило улыбнулась, не сразу поняв. А гимназист вдруг сказал басом:

— Папа, я не знал, что это барон: утром какой-то человек пришел по дождю и попросился на сеновал, я отвел его... Может, сбежать позвать?

— Вот так сюрприз, не может быть, — воскликнул Бабычев, оглядывая гостей, — смотри, поросенок, если ты выдумал; господа, что если он, вот посмеемся...

Бабычев вернулся почти тотчас... На вопросы: «Ну что?» — не ответил, взял со стола салфетку, завязал ее узлом, сунул в карман, долго глядел себе под ноги и сказал, наконец, пересохшим голосом:

— Господа, барон-то ведь помер; пока мы тут того.. он и помер.

Гости присмирели; когда же хозяйка, встав, громко ахнула, все расустились и пошли через мокрый двор по осеннему дождю к сеновалу...

У лестницы, переговариваясь, уже собралась дворня. Бабычев, обругав всех дурнями, полез первый, размахивая фонарем...

— Да где же он тут? — крикнул он сверху.

Под двускатной крышей, на перекладинах, пробудились голуби... Мышь пробежала у ног Бабычева, и, поведя фонарем, он увидел у вороха сена поднятые острые коленки... Подошли и гости и двое рабочих и, опустив железные фонари, наклонились над бароном. Левая рука его, согнутая в локте, лежала на глазах, словно свет его ослепил и он закрылся. Ноги разуты и в грязи, и правый чулак, с пучком зажатого сена, торчал кверху, неестественно и нехорошо...

— Обирал себя, катался, как помереть, — сказал рабочий, — то то мы слышим в конюшне — скулит и скулит...

— Ладно тебе, — тонким голосом воскликнул Бабычев, — не смотрите его вниз, да осторожнее...

И когда барона снесли вниз, рабочий подал Бабычеву записную книжку, выкатившуюся из баронского кармана.

Схваченная накрест двумя резинками, записная книжка, несмотря на то, что барон таскал ее пятнадцать лет, оказалась совсем пустой. Только на первой странице была свежая надпись:

«Боже мой, долго ли ты будешь испытывать меня; жизнь вот уже прошла, а я все один... Ты дал любовь, укажи к ней путь... Ты дал мне жену, а я убил ее, любя безрассудно. Неужто до конца мне быть странником в чужой земле?»

ОВРАЖКИ

1

На степном хуторе, за семью оврагами, сидит помещик Давыд Давыдыч Завалишин.

Глубокие овраги между хутором и селом налились водой и набухли, на трухлявом льду сдвинулись зимние дороги, оголились невысокие курганы по сторонам; поднялись на них прошлогодние косматые репейники, и ветер, студеный еще на полях, зашумел голыми ветлами.

Все ждали — вот-вот тронутся воды: хуторяне вскакивали среди ночи, с фонарем бежали на плотину глядеть — не прорвало ли; на постоянных дворах третий день томились проезжие, поглядывая из окна на опасное половодье; не ходила почта; не скакали по местным делам власти. И только Давыду Давыдычу было все равно.

Он успел уже и попоудничать и попить чаю и сейчас, распустив поясок на чесучовой рубашке, лежит на кожаном диване, против окна.

В соседней комнате выставлена рама; слышно, как стонет курица на солнцепеке и вот-вот налаживается стонать, но подходит петух, и она вскрикивает не своим голосом. Потом звонко ржет жеребенок на калде. Вдоль двора несутся голоса стряпухи и веселого кучера, и когда смолкают, сонный пес принимается колотить хвостом о собачью будку. Прыгают, чирикают, возятся, как пьяные, воробьи; закрыв глаза, урчат медовыми голосами голуби; и Давыд Давыдыч прикрыл подушечкой ухо, норовя заснуть...

Но заснуть ему было трудно и даже невозможно: и грело солнце, лежащее на скобленном полу, и пахли смолой новые стены, и в свету, между полом и окном, звеня, крутилась муха, и, главное, все, что происходило в комнате и на воле, было само по себе, и он был сам по себе. Муха села ему на нос. Давыд Давыдыч сморщился, дунул на нее, обиделся и ловко поймал муху, зажужжавшую в кулаке.

— Вот я тебя курице отдам, — сказал Давыд Давыдыч, нехоти слез с дивана, прошел в соседнюю комнату и, перегнувшись в открытое окно, позвал курицу. Степенно на зов подошла белая

Гримапутра, любимица, и, наклонив головку, поглядела красным глазом.

— Вот, клюнь, — сказал Давыд Давыдыч, поднося мушку, но мурица отдернула голову, и муха улетела. На солнцепеке было совсем тепло и пахло землей. Но, отступя три шага, еще лежал гнилой коркой снег, и чем дальше, тем был он белее, и, поднимая глаза, увидел Давыд Давыдыч свой, еще под снегом, пар, курганы репейниками, лиловую полосу дубравы и за ней скромную белую церковь со светлым крестом.

Давыд Давыдыч так и остался лежать животом на окошке, наморщив лоб, сдвинув концы приподнятых бровей. Крупный прямой нос его покраснел немного, курчавая светлая борода и небольшие усы прикрывали рот, сжатый в скорбную гримасу.

2

Три эти дня перед половодьем, когда на развалинах недавно еще крепкой зимы все, встряхиваясь, напрягло земляные силы, чтобы раскрыться, зашуметь, заголосить, — были для Давыда Давыдыча тяжким бременем.

Ему шел тридцатый год. В этом январе он разошелся с женой и, после многих лет, вернулся опять в небольшое свое родовое имение, где сад был порублен, старый дом сгорел и все, что он помнил и любил, даже то, чем он мог, не задумываясь, жить, оказалось словно вырубленным и сожженным.

Сгоревший дом, где родился Завалишин, был очень большой и такой путаный, что можно было постоянно открывать в нем новые комнаты и закоулки.

Сложным, темным и таинственным был и сад, где яблони жались только около балкона, отодвинутые отовсюду зарослями акаций, черемухи, сирени и черной ольхи, под горой, у пруда, день и ночь шумели вековые осокори, по их дуплам жили белки и совы, и множество птиц куковало, пело и посвистывало в листве, а по ночам летали мыши и верещали жабы. На полянах же и дальних аллеях росла высокая, густая трава.

Когда Давыду Давыдычу не хватало еще до аршина росту, все помыслы его были заняты этой буйно растущей травой. Тюльпаны, чернобыльник, белая и желтая кашка, метелки и пупочки, могучие репейники и дудки, обвитые повиликой, качались и цвели повыше его головы; над ней же толклись неуловимые мошки и бабочки и гудели зловещие насекомые. Живя и вырастая с травой, Давыд Давыдыч научился многим ухваткам — подкрадываться и ловить, уклоняться от нападения, прятаться или бежать, нагнувшись, в зеленой глубине.

Когда же он стал опытнее и повыше, трава оказалась травой, и в ней никто, кроме жуков и ежей, и не жил. К этому времени открыл он длинную и полутемную комнату, уставленную черными

шкафами. Здесь были книги, мыши и запах мудрой плесени. Давыд Давыдыч садился в глубь дивана и читал приключения. Он полкбил веселый нрав зверей, птиц и всей живой твари, траву же стил считать враждебной и сражался с ней деревянным мечом. Лазил на осокори, обшаривал гнезда, стрелял из лука и бил головастиков гарпуном.

Но с каждым летом Давыд Давыдыч все больше убеждался, что в саду нет ничего необыкновенного, сколько ни открывай и ни обшаривай темных углов. И почувствовал скуку, словно впереди ожидались таинственные события, а сейчас только было томитель-но, некуда себя ткнуть.

Впоследствии все чаще стало повторяться у него такое ожидание необыкновенного и таинственного, и каждый раз он думал, что настоящая жизнь тосклива, испытана и понятна. Тогда же это ожи-дание совпало с семейным несчастьем. Отец Давыда Давыдыча ча-сто уезжал (матушка тогда бывала особенно грустной), когда же возвращался, то ходил мрачный, и Давыд Давыдыч иногда среди ночи просыпался от гневного его крика снизу, из спальни, и, про-снувшись, плакал в своей постели. Но наутро матушка была, как всегда, бледная и печальная; отец же, едва сдерживая гневный блеск черных глаз, привлекал сына и рассеянно гладил его по голове до тех пор, пока Давыду Давыдычу не становилось скучно и больно. Иногда матушка стремительно прибегала в сад и, словно сын ее спасся от несчастья, прижимала и целовала его, но Давыд Давыдыч не понимал и этих ласк.

Однажды отец вернулся из города вместе с маленькой черной и надушенной дамой, и матушка стала вдруг необыкновенно ожив-ленна — смеялась, ездила верхом, пела и гуляла с приезжей. Но вскоре Давыд Давыдыч набежал в саду на отца, который стоял за толстым деревом, втянув голову в плечи и держа в руке револьвер; издалека же по аллее неспешно шла матушка в белой шали. Давыд Давыдыч тронул отца за локоть, отец выронил револьвер, закрыл глаза и страшно закричал... В ту же ночь матушка разбудила Да-выда Давыдыча, вывела на черный двор, посадила в тарантас, и они ехали до рассвета, пока на краю степи, за осенним туманом, не увидели главы церквей, водопроводную башню и дома губерн-ского города.

Всю зиму Давыд Давыдыч, утруждаемый грамматиками и За-коном Божиим, читал Тургенева, потом Гоголя. Весною сдал эк-замены на круглое два, но зато понял, какие еще таинственные встречи ждут его в старом доме и в саду.

На Фоминой в номер, где они жили, вошел отец, очень поху-девший, но ласковый, поговорил с матушкой, посидел на диване, закрыв лицо рукой, и увез сына в деревню. Черная маленькая дама там больше не жила.

Но недолго веселился Давыд Давыдыч. Сад и дом опять опутали его новыми чарами. Пробираясь в темные кущи за прудом, загля-дывая за необхватные осокори, раздвигая кусты куртин, где гнили

камейки и столы на одной ноге, поднимаясь вверх, в нежилые и пыльные комнаты, рассматривая сквозь цветные стекла дверей колонны заколоченной залы, — повсюду боялся он встретить кого-то и бродил и томился, ожидая встречи. Он похудел и вытянулся; на узком лице легли круги под глазами, он прятался, слышав голос отца; на вопрос — о ком скучает — краснел, и сад уже казался ему совсем волшебным, потому что в нем жило и пряталось оно. Оно могло оказаться девушкой, как у Тургенева, и загорелой хохлушкой в маковом венке; и ведьмой с голыми ногами, и даже русалкой.

Сидя на выгнутой коленом над водой березе, подолгу глядел Давыд Давыдыч в пруд, на листья купавы, на отраженные камыши, на глубокую зеленую тихую воду, и ждал, когда же из глубины, словно поводя руками, выплывет под самые березовые корни опасная русалка.

Оно появилось после полудня, в июне, в малиннике. Оно оказалось худенькой девочкой в синей кофте, босой, простоволосой, со смешным лицом и большими глазами. Давыд Давыдыч огорчился, увидев, что оно такое смешное, но подошел все-таки, поглядел и подлобья и спросил:

— Что ты тут делаешь?

Девочка усмехнулась, посмотрела и быстро убежала, махнув черной косой.

Давыд Давыдыч стал приходить каждый день в малинник и опять встретил ее, уже с кошевочкой. Он сам нарвал ей малины, они сели в траву, и он спросил — как ее зовут. Девочка покачала головой и подняла к небу синие глаза, в них сейчас же отразились два облака.

— Ты, может быть, в пруду живешь?

— Нет, — ответила девочка, — я живу у моей маменьки, вдвоем попадьи, зовут меня Оленька.

Когда кончилась малина, Давыд Давыдыч показал девочке весь сад, потом повел в библиотеку, где вслух принялся читать любимые новости.

Девочка сначала только смеялась, потом начала понимать и внимательно слушала и однажды даже заплакала горько над трогательным описанием малютки, заблудившейся в снежную ночь.

Давыд Давыдыч, увидев слезы, тут же поклялся, что сам никогда не доведет ее до подобного горя.

— Поцелуй крест, — сказала девочка и расстегнула фарфоровую пуговку, высвободив на худенькой груди медный крестик...

Давыд Давыдыч поцеловал его, поглядел на серьезную девочку, она тоже поглядела, оба они покраснели, и Давыд Давыдыч сказал:

— Что ты красная какая, как кучер...

Девочка после этого не приходила, и он, поджидая ее, залез на дерево, откуда видна поросшая гусиным щавелем дорога, дубрава вдаль и церковь за ней. На дереве он сочинил свои первые стихи, которые начинались так:

Вот по дороге, с сумой и клюкой,
Шел нищий убогий, хромой и слепой.
Навстречу природа попалась ему,
И нищий молил, поднимая суму...

Неожиданно отец вернулся из города с матушкой, и они, смиренные, ходили по аллеям, заложив руки, и сидели на балконе в сумерках.

— Ну, что же, не удалась жизнь — начнем другую, — негромко повторял отец.

Давыд Давыдыч очень обрадовался матери и тому, что больше ему не ласкали, как пропащего, но по ночам стали донимать его сны, полные стуков, шорохов и беготни, которую, просыпаясь, он слышал и наяву, думая, что не затевает ли какой беды старая крыса.

В доме издавна жила седая крыса величиной с кошку; ее не могли ни убить, ни извести ядом — до того была умна и зла. По вечерам влезала она на стул, глядя, как едят, когда подходили — свистела и прыгала высоко и недавно укусила за голову пьяного повара.

Вскоре матушка велела затопить с зимы еще не чищенный камин и села с отцом около огня, в креслах...

Отец глядел на матушку, и поднятые брови его сдвигались; из-под ресниц матушки капали слезы.

Вдруг с треском разлетелись головешки, и из огня, вся в пламени, выскочила крыса и пропала в дальнем углу.

Отец бегал с каминными щипцами по дому, а матушка, схватившая сына, долго не могла успокоиться.

Наконец Давыда Давыдыча увели наверх, раздели, долго крестили и велели спать. Но не успел он, казалось, закрыть глаз, как в комнату вбежала горящая крыса, покрутилась на паркете и принялась подскакивать все выше и выше — до потолка. И вдруг, доскочив, забежала по потолку кругами, обскакала стены и наконец, жалобно запищав, стала отряхивать с себя угольки и язычки пламени, которые наполнили комнату розовым светом.

«Горим», — наконец проговорили, точно издалека. Давыд Давыдыч сел на кровати и позвал мать. В доме было тихо и темно. Только где-то похрустывало и потрескивало.

Давыд Давыдыч закутался с головой и накрылся подушкой, а снизу опять, точно не по-человечески, закричали пронзительно: «Горим!» Тогда Давыд Давыдыч соскочил и распахнул дверь. Яркий, красный, радостный огонь кинулся на него зыбкими язычками, бушуя по винтовой лестнице, как в трубе.

Давыд Давыдыч захлопнул дверь и стал слушать, и среди треска и шума различил голоса отца и матери: «Давыд, Давыд...» Тогда он побежал к окну, уцепился за ветку липы, выполз и вместе с хрустнувшими сучьями упал в траву.

— Спасибо, трава, я тебе этого не забуду, — сам не зная за чем, проговорил он и стал глядеть, как из нижних и наполовину верхних окон льется свет; в комнатах не зажжены ни лампы, ни

иски, но ясно в них от света, портьеры шевелятся, и по обоям пробегают язычки...

«Это крыса там бегаёт». — подумал Давыд Давыдыч и побежал по мокрой траве, пока не остановился у пруда... Из-за вершин деревьев, заслоняющих дом, шел теперь густой, черный, словно с кровью, дым; потом он посветлел, и запрыгала, затанцевала над вершинами огненная корона.

«Это крысиный царь поднимается», — подумал Давыд Давыдыч. А языки на короне взмахивали все выше и слились в один, завернутый наверху, откуда посыпались искры. Черные, как смола, тени легли на траву, до самого пруда; вода стала живой и зыбкой, и стволы берез с одной стороны покраснели. Сверху же, с высоты, маленькие птички, сложив крылья, падали в огонь.

Утром стало обыкновенно в саду, только по кустам и над травой лежала грязь. Осторожно раздвинув ветви, появилась невдалеке Оленька, подбежала к Давыду Давыдычу, взяла за руку, сказала:

— Я говорила им, что ты здесь, — и увела из сада на двор. У конюшни, покрытые занавеской, лежали на траве две фигуры. — Стань на колени, помолись за папу и маму, — сказала Оленька.

Давыда Давыдыча взяла к себе петербургская тетка. Он проворал у нее почти всю зиму, к весне же вытянулся, заговорил истушинным голосом и, казалось, совсем забыл и отца, и мать, и Оленьку, и свои клятвы. Затем пошли долгие годы учения: они выспили при помощи установленных средств обыкновенного, установленного образца, молодого человека и выпустили жить.

Окончив юристом, Давыд Давыдыч принялся думать, куда себя приурочить, и, ничего не удумав и не разрешив, уехал в родной город: все-таки это был город знакомый.

Здесь он заметил, что точно так же, не думая и ничего не решая, живут почти все, предаваясь по мере сил всевозможным удовольствиям.

Давыда Давыдыча приняли как своего и очень легко, прямо в лоно удовольствий. Он устроился при суде; снял квартиру, соблазнил жену следователя и решил, что сам он милый, приятный и опасный для мужей человек. Весною он съездил в Завалишино. Богатое когда-то имение было разорено опекой. Рядом с пепелищем стоял новый флигель; на заросшем дворе гулял древний мерин, свидетель прошлого, весь в укусах и шишках; опустели хозяйственные постройки, разрушались медленно, сад поредел, и Давыд Давыдыч от забытых, смутных, таинственных воспоминаний поспешил уехать обратно, не взяв даже отчета у приказчика.

На следующую зиму его уговорили жениться на Анне Ивановне — богатейшей купчихе. Дворяне в уезде обезземелили, и в предводители никто не шел. Анна Ивановна была воспитана в Париже, имела обстановку в стиле ампир и желала заказать приданое дворянским гербом. Вообще не было причин не жениться. Перед свадьбой Давыду Давыдычу посоветовали привести в порядок бумаги, и он опять поехал в Завалишино.

Стояла весна. Пело множество птиц, и от земли шел густой запах. Увидев издалека осокори на своем пруду, Давыд Давыдыч велел поворотить, не проезжая хутора, прямо к селу и остановился у церковной ограды. Сквозная ограда, выложенная так, что между кирпичами образовались кресты, была выкрашена в белое. За ней росла, перекидывая ветви наружу, белая сирень. Проходя влажной дорожкой, Давыд Давыдыч увидел под сиренью на скамье девушку в белом платье, которая глядела на подходящего странно и пристально. Давыд Давыдыч поклонился, спросив, где можно найти священника. Девушка встала, оправдала юбку и молвила:

— Старый батюшка умер, а новый приедет из города завтра, я его невеста...

— Вот досада, — сказал Давыд Давыдыч и объяснил, что приехал выправить метрику, и назвал себя.

— Я знаю, я вас узнала, — сказала девушка, — а вы не узнали; я — Ольга, вдовой попадьи дочь...

— Не может быть, позвольте вы — та самая... помните...

— Да, помню, — ответила Оленька. — А вы зайдите к псаломщику, у него церковные книги, — и она, быстро ступая, прямая и легкая, прошла впереди Давыда Давыдыча в церковь и, пока он рылся в книгах, стояла в стороне; он оглядывался, улыбаясь, она не отвечала на улыбку, и когда, уходя, он взял ее за руку и сказал: «Вот опять встретились, как странно...» — она высвободила из его ладони пальцы и так посмотрела, синие глаза ее так гневно потемнели, что Давыд Давыдыч разговора не продолжал.

Переночевав на въезжей, он наутро опять пошел в церковь и расспросил дьячка об Оленьке.

Оказалось, что она училась в гимназии и после смерти попадьи осталась в селе учительницей. Ее много сватали, даже земский доктор, но она отказывала всем и только прошлой осенью (как раз когда Давыд Давыдыч заезжал на день в усадьбу) согласилась выйти за поповского сына, который ждал смерти больного отца, чтобы самому вместо него принять священство.

Из церкви Завалишин пошел к речке, где у обрыва увидел ветхий, кривобокий, прислоненный к старой ветле домик вдовой попадьи. У окна сидела Оленька. Она посмотрела на подходящего, и опять в глазах ее появилось вчерашнее выражение, точно страх и гнев. Давыд Давыдыч, улыбаясь, стал кланяться; Оленькина красота взволновала его странным чувством.

— О чем вы задумались? — спросил он и опять понял, что не то сказал. Подошел к окну, под которым цвел шиповник, и увидел, что Оленька на ладони держит медный крестик.

— Замуж я выхожу, — сказала Оленька и вдруг наклонила голову и стала глядеть на Давыда Давыдыча исподлобья; он видел, как глаза ее заволочло слезами; она сердито тряхнула головой и отвернулась.

— И я женюсь, вот как это все вышло, — ответил он, и тупая, безнадежная скука наполнила его после этих слов, и все показалось

давно известным, ненужным, бездольным... — Надо как-нибудь жить, — окончил он.

Оленька помолчала. Потом сказала поспешно:

— Отойдите от окна, неудобно, люди увидят... Так-то, милый мой друг...

Она быстро поднялась и отошла в глубину комнаты.

Накануне петровского поста Завалишин обвенчался, и Анна Ивановна увезла его на море, потом в Париж. Вернувшись, он пошел в уездные предводители, освободил родовое Завалишино от долгов, завел первый в городе по объединению и веселью дом и рыбак, кучу друзей, а потом и любовницу.

Когда же все, бывшее в кругу полусонных его желаний испыталось, Давыд Давыдыч увидел, что Анна Ивановна — противное, лос и сладострастное существо, а сам он несчастен и нечист.

Вернувшись однажды ночью в дурном настроении, он прошел на половину жены и, услышав за дверью спальни голоса — ее и чей-то мужской, вынул револьвер и выстрелил в дверь, даже не пошла, а черт знает за чем — для гадости.

Анна Ивановна обиделась и уехала в Берлин. Давыд же Давыдыч, написав ей короткое и ясное письмо на обрывке модного журнала, засел в родовом своем Завалишине навсегда.

3

Не повесть эту припоминал Давыд Давыдыч, лежа в окне, не бесплодно растроченных силах думал он, а о том смутном и волнующем ожидании *чего-то* (события, катастрофы), *чего-то* — огромной важности; и хотя до сих пор ожидание обманывало, все же каждый раз казалось ему, что именно теперь приходит самое важное; так и сейчас он старался заглянуть в глубь себя, потому что, казалось ему, событие, хотя и придет извне, всю силу и важность получит, только утвердившись в нем, в Давыде Давыдыче.

Из конюшни в это время, стуча копытами, вылетел молодой араковый жеребец, волоча кучера на поводе. Вылетев, стал посреди двора, махнул хвостом, заржал, прыгнул на дыбки, потом он и кучер рысью пробежали на задворки.

— Красавец, — сказал Давыд Давыдыч, — вот силища, — и когда оттопыренный конский хвост скрылся за углом, он медленно, с опущенной головой, с заложенными назад руками, отошел от окна. «Жеребец ржет и прыгает на дыбки, значит пришла весна, и никому нет дела до того, что когда-нибудь перестанешь прыгать, ляжешь и околеешь. Почему же мне одному не все равно? — думал Давыд Давыдыч, шляясь по кабинету. — А оттого мне не все равно, что это — самое главное, чего я сейчас ожидаю, и будет моя смерть; вот и все».

Закрыв ладонью глаза, он представил свои похороны: вышло дуло и не трогательно, главное — по обыкновенному, и Давыд

Давыдыч даже сделал подобающее грустное лицо, какое было не давно у всех на похоронах председателя суда... Тогда он вообразил самую смерть — себя, умирающим в кровати, и замотал головой — фу ты черт!

— Нет, нет, событие будет другим, не смертью!.. — воскликнул он торопливо. — В сущности отчего я несчастен? Все люди такие же, с изъяном. Не знаю ни одной счастливой семьи. Отчего же я должен быть другой, а не такой, как все?.. — Он хрустнул пальцами и с отчаянием сказал: — Ах, нет, все, должно быть, верю во что-нибудь или просто живут не думая, а я верю только в одно, что умру и что умирать не хочу...

В это время осторожно отворилась дверь, и в ней показался небольшого роста худощавый мужичок, в нагольном заерзанном полупшубке, с красным, много раз обернутым вокруг худой шеи, вязаным шарфом. Шапку он держал в руке и, подмигивая на барина, спросил:

— Чего ты, ась?

— Я не тебе... Ты зачем?.. — спросил Завалишин, немного смутясь.

— К тебе я, здравствуй, — ответил мужик и подал руку.

Пожимая ее, Давыд Давыдыч почувствовал все его жесткие ногти и мозоли. «Вот этот мучиться не станет», — подумал он, сел к столу, отодвинул локтем поднос с водкой и колбасой и сказал:

— Садись. По какому делу? Как зовут?

— Андрей, Андреем зовут, — ответил мужик и присел на краешек стула, умильно покаясь на водку. — Едва до тебя добрался, воды — прямо сила: овражки обязательно нонче пройдут, как у меня пробрался только... — По красному тощему лицу его пошли веселые морщины, он совсем зажмурил свои щелочки и решительно сказал, тряхнув бородашкой: — Промокли мы как есть.

Давыд Давыдыч налил ему водки в стаканчик и себе в рюмку. Андрей изобразил на лице уважение, боясь раздавить, взял стакан и выпил все до капли, крикнув очень громко, чтобы показать, как это действует.

— Ешь, угощайся, — сказал Давыд Давыдыч, пододвигая поднос.

— Чего ее — пищу зря перегонять, — ответил Андрей, — вино ей только портить. В еде этой сытности я не понимаю. Хоть бы кашу молочную — ешь, ешь, надоест, бросишь ложку, а ну ее...

Завалишин налил ему еще стакан, и после третьего Андрей размотал шарф и сказал:

— Под Хвалынским дачу мы строили; барин очень остался доволен и поставил нам угощение, всего наварил. Ели мы, ели, вот прямо надоело. Иван Косой пильщик, мужик завистливый, мне и говорит: «Что же, Андрей, за бутылку съешь сейчас горшочек каши?» Я тут же говорю: «Ладно» — и кашу съел; ему жалко, он опять: «Каравашек ситного съешь еще за бутылку?» — «Ну да». Каравашек этот я съел, и еще так на четверть ему и наел. Надо мной смеяться. А уж я разошелся. На бахчах арбузов нарвал, дынь,

шурцов и наелся, и вот с этого сырья меня разобрало... Так что в наземке после меня восемь цыпленков утонуло. Баловство. А пользы никакой нет от большой еды.

— Ну, видно, выпить я могу много больше тебя, — сказал Давыд Давыдыч.

— Это верно.

Помолчали. Завалишин мотнул головой, вздохнул окончательно и спросил:

— Так по какому же делу, Андрей?

— Беда у нас случилась, Давыд Давыдыч.

— У кого — у нас?

— Вот я давно вижу, что ты меня не признаешь. А я и папеньку твоего и маменьку, покойничков, как живых вижу. У попадьи я служу, у вдовой попадьи в работниках...

Рука Давыда Давыдыча, лежащая на столе, так сильно задрожала, что он ее принял и спросил, не поднимая глаз:

— У какой попадьи? Ольги Петровны?

— Ну да. Теперь она считается у нас вдовая. Поп у нее утонул, ровно тому год. Она мне наказывала: «Хоть плыви, говорит, а дойди до Давыда Давыдыча, передай письмо». — Андрей залез за пазуху, пошарил и подал теплое помятое письмо.

Завалишин быстро встал, повернулся к окну и прочел:

«Я не хотела и не должна, но больше не могу... Скоро, может быть сейчас, опять начнется... Сознание мое такое убогое и короткое... Я тороплюсь... приезжайте... может быть, поможет... все равно... очень хочется увидеть вас...»

— Я не пойму, — перечтя кое-как нацарапанное письмецо, сказал Давыд Давыдыч, — она больна?

— Совсем плоха попадьа, — подтвердил Андрей, — проваливается; обомрет, как провалится, и начинает ее корчить, и вопли. Иначе совсем, думали, отходит. Я и помянул, как маменька ваша, покойница, крестьян пользовала каплями, — говорю это попадье, она как всполыхнется, за карандаш ухватилась. «Неси, говорит, записку, носи ему, скажи, мол, все равно, мол». Плохо я разобрал, чего она набормотала... Вы уж дай те, пожалуйста, капель каких, Давыд Давыдыч, успею до ночи добежать, чай...

— Капель, — сказал Завалишин, — нет... — и не кончил.

Андрей тоже раскрыл рот и повернулся к окошку. За разговором они не заметили, как возрос и стоял теперь в сумерках глухой сильный шум: словно по всей степи поднялись древние леса и зашумели.

— Тронулись, — сказал Андрей, — вот беда, в село теперь не попасть, а я и скотину не убрал.

Но не гул вешних вод слышал Давыд Давыдыч в поднявшемся шуме, а голоса всех ушедших и милых, все шорохи, топоты прошедших лет, и свой голос будто услышал он, и все это восстало в одно мгновение, и потому странный шум был так властен, громок и торжественен...

— Поди, поди, прикажи заложить санки, — проговорил Давыд Давыдыч отрывисто, — я сам поеду, надо спешить, беги, прикажи скорее...

4

Караковый поводил синими глазами и рыл яму копытом, припряженный в ковровые санки. Давыд Давыдыч быстро сошел с крыльца, застегивая романовский полушубок, взял вожжи и сам рядом сейчас же примостился Андрей.

— Ты зачем? Оставайся, я один поеду, — сказал Завалишин.

— Нет уж, как уж, неудобно, — ответил Андрей.

Давыд Давыдыч ударил вожжами, караковый сразу весело и резво понес, кидая грязь и снег в передок саней.

Когда миновали плотину, Андрей сказал серьезно:

— Правее, барин, забирай, целиной, — овражки вверх надматывать.

Солнце к этому времени село в лиловую тучу, заслонившую закат. Ее края, как овечья волна, опушились золотом, и оттуда шли лучи. Когда они совсем удлинились, растаяли и погасли, золотая волна покраснела, стала густо-малиновой. Небо над закатом разлилось, как вода, а выше синева становилась непрозрачной, в ней открылась первая холодная звезда, и потом медленно все небо стало осыпаться созвездиями. На ровную пустую степь в унылых проталинах легла тень; снег, еще лиловый, похрустывал, и по нему, похрапывая, бодро и ровно бежал караковый.

— Послушай, Андрей, правду говорят, она не любила мужа? — спросил вдруг Давыд Давыдыч.

Андрей ответил не сразу; придерживаясь за барский кушак, он всматривался, видимо не одобряя выбранного пути.

— А за что его любить: жадный да противный, — сказал он. — Придешь в храм, с души воротит, одни старухи к нему и ходили. Как утоп, мы, конечно, пошумели, и она неудовольствие показала, — все-таки нехорошо тонуть так-то зря; а ей теперь много легче. Одно — обмирает она; да это, говорят, он ей не даст покоя — мертвый... А вы правее забирайте...

Но Давыд Давыдыч больше уж не мог забирать в верховья овражков. Со стороны, противоположной закату, появился тонкий свет, и поднялся над краем степи серп месяца. Завалишин, горяча вожжами и причмокивая, нес жеребца прямоком на овражки. Наконец впереди на снегу обозначилась темная полоса. Андрей положил руку на вожжи и сказал:

— Глина — это на том берегу; видишь, как снег осел, полечче, барин.

Давыд Давыдыч осадил; жеребец перебил ногами и стал, радуя бока. Андрей побежал вперед и оттуда крикнул:

— Осело на аршин, а давеча я тут проходил совсем свободно. И санях не проедем, надо распрячь!

Жеребца распрягли: сняли хомут и седелку и тронулись... Ближний берег был покатым, на нем, между снегом степи и овражка, открылась талая земля, покрытая мятой травой. Андрей поскользнулся, побежал вперед и увяз.

— Не держит, — сказал он, — ну, да здесь мелко, с Богом, — и скоро выбрался на тот берег.

Давыд Давыдыч был тяжелее и увязал глубже; кариковый, у него в поводу, подвигался скачками, уходя по живот, на другой берег он вымахнул сразу и, вырвав узду, стал, отряхиваясь.

Они двинулись напрямик, различая впереди колокольню. Между овражками, на горбчатых гривках, в хрустящей прошлогодней траве, лежали овальные лужи. Месяц взошел высоко, положил тени от путников и коня и кое-где засверкал в лужах.

Овражков было семь, и средний из них — самый глубокий и опасный. По шуму воды издали было понятно, что он идет шибко, размывая снег и глину.

Но уже задолго до него пришлось вымокнуть выше пояса в ключей, со снегом смешанной воде. Когда же дошли, наконец, до среднего, Андрей сказал:

— Навряд переберемся, студено очень.

Борода у него тряслась, шурша сосульками по полушубку. Он весь вымок и не знал, куда сунуть окоченевшие пальцы, то елозя ими около обледенелых карманов, то согревая у рта. Давыд Давыдыч глядел на колокольню. Теперь она была видна вся до ограды, залитая лунным светом. И ему не было странно, что самое важное сейчас в жизни — это добраться поскорей до колокольни, а что трудно это и опасно — только хорошо.

— Возьми лошадь, вернись на хутор, я все-таки пойду, — сказал он негромко.

Андрей крикнул от холода и ответил, точно не расслышав:

— Ты за гриву-то ему цепись, если что — конь добрый, вынесет; главная вещь — нам до чистой воды добраться, она у того берега вплоть, видишь...

Действительно, за широкой пятнистой полосой снега виднелась, под глинистым обрывом, свинцовая зыбь воды; лунный свет тронул на ней текучие струи и ребра льдин. Овраг этот пошел первый и смал воды в пруды по ту сторону села, и опаснейшим в нем местом была снеговая зыбкая каша близ этой водяной полосы... В студеной густой каше из снега не на что упереться, нет дна, нельзя ни прыгнуть, ни ползти.

Давыд Давыдыч резко дернул за повод присмирившего жеребца и пошел по желтым пятнам снега... Андрей зашагал рядом, потом, повторив: «Смотри, коня нипочем не бросай!» — побежал вперед на цыпочках и вдруг провалился по пояс.

— Дна нет, — крикнул он, побарахтался, на животе прополз еще, поднялся, шагнул и ушел по грудь, неподалеку от воды. —

Шабаш, — сказал Андрей и, раскинув руки, перестал двигаться, над снегом торчала лишь голова его в шапке.

— Держись, голубчик, пожалуйста, держись, сейчас я, сейчас, — еле выговаривая, забормотал Давыд Давыдыч, бросил повод и ползком задвигался к торчащей голове. Широко растопыривая ноги, запуская руки в налитый водою снег, наминал он его под себя с боков и, вертясь и упираясь, продвигался. Холода же больше не чувствовал, лицо и охваченный полушубком корпус горели; только ресницы смерзались, мешая глядеть; Андрей был уже совсем близко; повернув задранную к месяцу голову, он повел белками и принялся открывать и закрывать рот... Снег совсем стал жидким. Давыд Давыдыч запустил под себя руки и, застонав от боли, расстегнул пряжки на полушубке, чтобы освободиться. Но сзади в это время громко заржал караковый, завозился и плюхнулся несколько раз.

— Узда, узда, — выговорил, наконец, Андрей.

Завалишин оглянулся. Жеребец, очевидно зацепив копытом повод, глубоко опустил морду, выпучил блестящий глаз и задыхался.

— Узду, узду скинь, — проговорил Андрей.

Давыд Давыдыч понял, что не сможет этого сделать и что ему нужно это — пусть погибает караковый, но все же, приподнявшись, дернулся, дополз, схватил узду и сорвал; караковый вскинул морду, фыркнул и, поддав задом, сигнул; передние его копыта упали на полу распахнутой шубы, и Давыд Давыдыч, хватаясь окоченевшими пальцами, ушел с головой под снег, в талую воду.

Может быть, прошла минута или мгновение, пока он опускался в зеленовато-черную глубину, сдавившую дыхание, с незабываемым запахом снеговой влаги. Но времени будто не стало. Он подумал: «Конец!» Потом: «Ну и слава Богу!» И, отрешаясь от жизни, тотчас увидел, спокойно и ясно, все свои дни и себя — и мальчиком, и юношей, и взрослым. Все это появилось перед сомкнутыми его глазами одновременно и в странной перспективе, словно он — смотрящий — был не в стороне и не в центре, а вокруг всего. Будто он стал так велик и необъятен, что включил в себя и землю, и солнце, и звезды, и все... И спокойно знал, что злое, что доброе, когда он был дурным, когда хорошим, а дурным он увидел себя, живущим без любви, — слепым. И тотчас в этой вселенной пронеслась строфа глупых стихов, сочиненных им на дереве... И за ней, быстрее, чем молния, возник ровный свет, он заслонил, как будто сжег, все призраки воспоминаний и был живой, и требовательный, и радостный... Давыд Давыдыч понял, что жив и хочет жить. Сердце глухо боролось. Вода проникала в рот и ноздри. Он рванулся; полушубок, как шкура, соскользнул с плеч, и Давыд Давыдыч, ударив ногами в ледяное дно, появился на поверхности, жадно дыша колким, живым холодом.

Караковый лежал впереди, и над снегом торчала его голова и грива, в которую вцепилась рука Андрея. И конь и мужик медленно отделялись от снега, поворачивались в чистой воде, быстрый поток подхватывал их, подхватил, закружил и понес вдоль крутого берега. И за ними отделился большой остров снега, открыв Давыда

Давыдыча, который, освобождаясь от каши, тоже поплыл, сносимый течением, и долго хватался и царапался о глиняную кручу. Наконец на низком месте он уцепился за чилиговый куст, грудью лег на берег, потом подтянулся, вылез и, шатаясь, пошел.

Месяц, чистый и острый, стоял над головой. В овальных лужах, на каждой, отражалось все небо со звездами и месяцем; проходя мимо, Давыд Давыдыч раздроблял сапогом тонкие зеркала этих луж. Потом он с трудом повернулся и стал вглядываться. Невдалеке у берега прибились Андрей и караковый.

Через силу стащил Давыд Давыдыч сапоги и побежал к селу. Стальные овражки были по пояс. На краю последнего, у мирского мшара, в лунном свете, сидел неподвижно седой караульщик.

— За народом беги, тонут! — сказал Завалишин, тыча пальцем в сторону, откуда пришел, и когда караульщик, поняв наконец, испугался, он двинулся дальше, к белой колокольне, за которой между двух лип стоял Оленькин дом.

5

Оленька сидела на покрытом кошмою сундуке, обхватив худыми руками голову. Синее полотняное платье на ней измялось; на левой ноге спущен черный чулок, на кончике висела туфля.

Свеча на ломберном столе, между двух запертых на ставни окон, отражалась в пыльном зеркале; на его поверхности проведено много запутанных линий: должно быть, смотрелась в него, думая о другом, и водила пальцем. Комната была низкая, штукатуренная, мебель в беспорядке. У глухой стены стояла двуспальная помятая кровать.

Закрыв глаза, Оленька устало покачивалась, боясь взглянуть даже на эту неубранную постель. Недавно кончился припадок — невыносимый кошмар, изнуравший ее вот уже год. Оленька отдыхала; в больном ее мозгу не было мыслей. Согнутое после борьбы, измученное тело покачивалось, как маятник, один в тишине тикавший, вздвигая и вперед скользя между цветков на обоях. Звук часов был единственным звуком в этой комнате; молчал даже сверчок — запечный житель, добрый собеседник в долгие вечера. На огонь налетела муха, — наконец и она, опалив крылья, покружилась и затихла.

Один раз только Оленька остановилась и так вздрогнула, что слетела туфля и руки, охватившие голову, упали на колени. Но это уже вышло неволью, как запоздалая молния после грозы...

На памяти ее, на всем сознании, лежал сейчас тяжелый туман, и только едва живая, как искра в этой темноте, надежда на ответное письмо, на то, что, может быть, еще увидит она того, кого любила всегда, и заставляла ее покачиваться, цепляясь за невыносимую больше жизнь.

В сенях резко затрещали ступени, кто-то вошел и тяжело упал на доски. Медленно похолодела Оленька, — словно игла, прошел через нее страх, она широко раскрыла огромные глаза, оттененные

пепельными кругами, сорвалась с сундука, схватила свечу и ямбежала в сени, придерживавшись за косяк.

В дощатых сенях ничком лежал Давыд Давыдыч, подвернув себе руки. Пиджак его обледенел и торчал коробом; пятки, в порванных чулках, были окровавлены.

Оленька положила руку на горло и, держа в другой танцующую свечу, закричала. Из кухонной двери, оправляя платок, боком выскочила стряпуха. Оленька присела над телом и обеими руками схватила голову Давыда Давыдыча, стараясь приподнять и взглянуть ему в глаза.

— Пришел, вспомнил, — сказала Оленька, оборотясь, — дышит, дышит...

— Батюшки, к соседям побегу, одним разве втащить! — замолпила кухарка и кинулась на улицу.

Давыд Давыдыч начал стонать и силился подняться сам: Оленька помогала ему, ухватясь за плечи. Наконец он выговорил:

— Оленька!

— Что, милый? Что, родной мой? Не слажу я. Сейчас придут...

— Оленька, слава Богу... — И, не окончив, он опять лег, подышал и вдруг, приподнявшись, сел к стене.

Глаза его были мутные, обледенелые волосы торчали во все стороны. Он долго глядел на свечу, потом уронил голову. Оленька негромко ахнула.

Вошли, топая, соседи-мужики, три брата, поклонились, сказали друг дружке деловито:

— За голову, за ноги берись, да не стукни, — легко поднял Завалишина, внесли в избу и посадили на сундук. — Одежду снять с него надо и водки влить ему две чайных чашки с солью, — сказали мужики.

Кухарка кинулась, принесла водку и чашку, и Давыд Давыдыч, давясь, выпил и громко, словно отлегло уже самое тяжелое, принялся охать, не открывая глаз.

— Вино действие оказывает! — сказали мужики, и только вышли, как опять вбежала кухарка, крича:

— Где водка-то? Батюшки, Андрея нашего ведут...

— Вот и слава Богу, — проговорил Давыд Давыдыч и осел...

Оленька одной рукой охватила его, другой принялась расстегивать и снимать мокрую одежду, все время заглядывая в лицо и жалобно улыбаясь его стонам...

6

Закрытый одеялом, Давыд Давыдыч лежал в постели навзничь. Глаза его теперь блестели; лицо было красное и сухое. Оленька быстро и настойчиво ходила по половику. Завалишин говорил:

— Помните, как я поклялся, вот и пришел. Мне хорошо! Только Оленька, отчего холодно?.. Точно бы лед под боком лежит. Такое было

беспокойство эти дни; думаю: что же это должно случиться? Неужто — смерть? Не хотелось умирать!.. Уж никак не мог догадаться, что же это нужно сделать такое. Страшно было одну минуту, когда уходил под воду... Очень было страшно, а потом хорошо. Какой свет я видел, Оленька!.. Начался он в таких пространствах. И, знаешь, мне показалось, что свет этот был все же во мне...

Оленька подошла, постояла близко и опять заходила.

— Я не понял твоего письма, — продолжал он, — от кого тебя власти? Кто тебя мучит? Ведь муж твой умер.

— Молчи, молчи, — торопливо перебила Оленька и быстро присела рядом к нему на кровать.

Он закрыл глаза. Она же глядела не в лицо ему, а мимо, на край постели, словно у стены кто-то был. Глядела она долго; в потемневших ее глазах появился ужас. Она соскользнула на пол, шепотом заходила, потом села на сундук, как давеча.

— Я знаю, это воображение или еще что-нибудь, — тихо и с отчаянием выговорила она, — но ведь все равно, это ужасно: он приходит каждую ночь! Теперь даже и днем приходит. Ложится, требует, грозит. И темнота здесь, — Оленька тронула темя, — мыслей уж нет, одни обрывки. И воли нет. Боюсь, боюсь. А теперь и сил больше нет. — Она помолчала, слезла с сундука и зашептала: — Ведь не сам он умер, я его извела. Никогда его женой не была. За то же он и бил меня по ночам. На колени станет, ноги целует, до утра молит. Потом сдернет на пол... Все тебя поминал. До того дошел — смерти стал испытывать и грозить этим. Я говорю: «Что же, вышла за тебя со зла и не люблю тебя, как женой твоей буду? Умирай, если терпеть не можешь». А когда нашли его в реке, принесли мертвого, поняла, что он от меня не отстанет. Каждый день, каждый день еще хуже, чем живой, приходит и мучит, И сейчас он здесь...

Щеки у Давыда Давыдыча разгорелись. Подняв под шубой колени, он пересилил себя, шумно вздохнул, улыбнулся и, высвободив руку, взял Оленькину ладонь.

— Не думай, — сказал он, — поди ляг.

Оленька стремительно охватила его голову, прижалась и жалобно воскликнула:

— Ах, он все еще здесь, посмотри.

Давыд Давыдыч повернул голову. Действительно, сбоку от него, у стены, на постели лежал неприятный незнакомец; тощий, темный, с длинным скверным лицом. Тело его, в сером и узком платье, было вытянуто, голова круто повернута, опухшие веки сощурены, прикрывая Бог знает какие глаза...

Давыд Давыдыч криво усмехнулся и сказал:

— Вот он какой! Ну, что же, за нами пришел? Уводи... А я другое видел нынче. Я видел, как шел свет и поднимался обратно. И видел Мировое Дыхание. Я не хочу идти с тобой. Выгнать бы тебя. Вытолкать. Ах, какой мерзкий!

Давыд Давыдыч хотел поднять руку и не мог. Тогда он закрыл глаза. Волна жара докатилась до его головы, застлала глаза и рас-

палила... Он заговорил чаще и непонятнее. А из-за незнакомца, из стены, поплыли животные, прошли под одеялом, опустились на пол, заползли под кровать, приподняли ее и заколыхали.

«Отчего так мучат?» — пронеслось в сознании у Давыда Давыдыча... И он, вцепясь в простыню, стал поспешно думать — отчего. Но из-под низу животные щетинами прободали тюфяк и принялись колотить спину... «А в чем же, перед кем я виноват?» — опять огнем пронеслось в сознании... Он собрал со всею силою память и совсем уже понял, что незнакомец начал скатываться с него одеяло, потом навалился и стал совать одеялом в рот...

Задыхаясь, рванулся Давыд Давыдыч с постели и опрокинул свечку. И, в темноте, разводя руками, громко закричал Оленьку.

Нежные ее ладони сейчас же обхватили его, спрятали лицо в платце, на груди, и далекий родной голос проговорил:

— Не бойся, голубчик мой, я здесь, я не уйду.

— Оленька, Оленька, — говорил Давыд Давыдыч, — прости меня... Я понял, я ужасно виноват... Я люблю тебя, я постараюсь заслужить тебя... Нам нельзя расставаться, нельзя умирать. Пусть зовут и мучат, а мы сядем вот так, обнимемся, родная моя. Одна на всем свете. Какая наша любовь! Какой свет!

7

Овражки прошли, и последний холод ночных заморозков истаял под возносящимся солнцем. Давно уже разъехались по своим местам проезжие; помещики и хлебопашцы налаживали сев; по-прежнему скакали с колокольчиками власти; успели уже подсохнуть дороги, и трава вылезла на вершок, выпустив под самое солнце невидимых жаворонков, — а только в апреле Давыд Давыдыч в первый раз пришел в сознание и спросил — который час.

За все время Оленька не отходила от его постели, слушала бред и молилась, чтобы милый друг не умер; с каждым днем все глубже и нежнее любила она Давыда Давыдыча. Любовь ее заняла все прежние чувства, и между любовью уже не стоял никто.

Один раз только, перед вечером, когда Давыд Давыдыч спал, положив исхудалые руки на грудь, Оленька стояла у окна; в синем небе, невысоко, плыло единственное и странное облако. Через улицу переходил Андрей, таща на веревке теленка; черноглазая стриженная девочка, бегая с куском черного хлеба в руке, загоняла овец — черную, белую и барана; овцы ее боялись и не шли, а баран, опустив рога, глядел на хлеб; наискосок, на завалинке, дремал сивый старик; из двух изб, высунувшись в окошки, бранились две бабы — и никто не смотрел на странное облако. Оно же несло прямо на окно. Оленька провела по глазам, но в это время пошевелился Давыд Давыдыч и застонал, и она, вздрогнув, словно разорвала паутину, подбежала к нему, стала на колени и, всей жизнью своей, каждой капелькой крови любя и нежно жалея, спр-

сила: не болит ли что, легче ли?.. Давыд Давыдыч открыл спокойно глаза, улыбнулся долгой улыбкой и спросил:

— Душенька, который час?..

И когда он опять задремал, теперь уже наверно выздоравливающий, она вернулась снова к окну. Облако поднялось выше над домом, — лиловое внизу, оно было белым и розоватым, плотными дубами; словно плыл воздушный остров, с церквями, куполами и нежными деревьями.

«Это наша земля, — подумала Оленька. — Как хорошо, ни поминаний, ни злобы».

8

Давыд Давыдыч сидел под липой на скамейке, одетый в парусинный халат, с накинутым еще на плечи пуховым платком. Под ногами, на кустах и по всей старой липе, рассыпались бледные листья, сквозь них небо казалось синее... За плетнем, на улице, было тихо, народ ушел в поля. У калитки, ведущей на двор, приходясь, стоял приказчик...

— Хорошо, хорошо, делай, как думаешь, а я, видишь, слабое, через неделю, может быть, приеду, посмотрю. Ступай, голубчик, — говорил ему Давыд Давыдыч.

Приказчик вздохнул почтительно и ушел, и уже за плетнем весело простучали его каблуки. Давыду Давыдычу было все равно — посеять ли пшеницу, или овес, или ничего не посеять. Он следил только, когда за ветвями, со стороны огорода, опять покажется белое платье Оленьки.

А прошлого он и не вспоминал, да и трудно было это сделать, потому что весенняя сила, убирающая зеленую землю, отгородила в нем прошлое от нынешнего дня туманной стеной... И он чувствовал только, что когда-то был за этой смутной завесой, но туда упал луч, коснулся его сердца и вывел его в нынешний день.

Платье Оленьки показалось сквозь кусты. Давыд Давыдыч покашлял. Можно было бы и позвать, но ему казалось приятнее, чтобы она пришла сама, с серьезным лицом, спрашивая глазами, отчего он кашляет...

Оленька услышала и, нагнувшись под ветками, подошла и села на скамью. Худое лицо ее подернулось золотом солнца; синие глаза немного снизу вверх глядели на Давыда Давыдыча, на белом платье лежала темная коса, и руки испачканы землей...

— Что ты делала? — спросил он.

Губы ее, тоже в золотом пушке, задрожали, она улыбнулась и не ответила, еще глубже заглянув в глаза. Давыд Давыдыч не успел ее рассмотреть хорошенько, так быстро она подошла, а хотелось поглядеть еще, как она ходит, поднимает руки, обертывая голову. Он попросил:

— Кажется, платок вот куда-то подевал... принеси...

Оленька легко встала и, легко ступая по дорожке, пошла к дому, белое платье ее разлеталось внизу; в дверях повернула голову (он понял — так легко ей ходить и обертываться, а вот сейчас отмахнется от мухи, — и отмахнулась).

«Милая», — подумал он и сказал:

— Нет, вот он, платок; Оленька, посиди со мной, что ты делаешь в огороде копаешься!..

— Репу пересаживаем, — сказала она; села рядом, вздохнула и, немного сторбившись, положила руку свою в его ладонь.

Давыд Давыдыч взял ее руку и поцеловал и, не глядя на Оленьку, стал думать, как бы лучше и понятнее выразить ей давно уже придуманную мысль. Она была такова:

«Мы вышли точно из огня и сейчас, как первые люди — влюбленные, чистые и мудрые. Но нам надо жить, и очень долго. Как же сделать так, чтобы мы могли жить и остались такими, как сейчас?» Сказать все это было мудро, и, конечно, Оленька спросила бы: «А зачем нам становиться другими?» На это бы ответить он не смог. Кроме того, всякий раз умно придуманная фраза казалась ему не такой уже умной, когда садилась Оленька около него на скамью.

«Мы должны стать мужем и женой, — подумал он, — вот это ей и скажу», — и, поглядев на смирную Оленьку, он обнял ее за плечо, и другой руке расправил испачканные землей ее пальцы и сказал:

— Оленька, я тебя очень люблю.

Она кивнула головой, подтвердила и сидела все так же тихо.

— Подумай, — продолжал он, — все силы уйдут на то, чтобы думать все об одном, а если мужем и женой — какая жизнь прекрасная, — любить тебя и все любить, потом, кажется, весь мир любить...

Оленька отстранила от лица прядь волос, внимательные, серьезные глаза ее так понимали, что Давыд Давыдыч замолчал. Она положила его руку себе на колени, и румянец, едва заметный, все сильнее стал заливать ее лицо. Она раскрыла рот, вздохнула громко и сказала:

— О чем ты говоришь? Люби меня, как хочешь. Как нужно... А я уж не только люблю, живу этим...

В сумерках они вошли в дом и, не зажигая огня, продолжали говорить о том, что лучше любви ничего нет, о том, что можно любить один только раз, о том, что они нравятся друг другу ужасно, и о том, что небо раскрывается только перед смертным часом, хотя об этом они говорили меньше всего...

Наутро Оленька дрожащей рукой ударила в раму, окно раскрылось, и комната наполнилась запахом земли и трав, криками воробьев, голосами и дальним топотом шагов... Сквозь расцветающие кусты синело небо, чистое, лазоревое, теплое. Оленька подумала: «Ведь это небо, оно мое, оно прозрачно; оно покрыло всю землю», — и, оборотясь, она сказала нежно:

— Полно тебе спать.

Давыд Давыдыч раскрыл глаза и, глядя на тоненький силуэт молодой женщины в окне, подумал: «Оленька, небо, весна, радость — вот о чем всегда тосковал».

ДЕВУШКИ

1

Чего только ни рассказывали в уезде про усадьбу Липки. Говорили, что у красавиц сестер Вари и Анюты был какой-то роман, конченный плачевно, после чего тетка их, Анна Матвеевна, принуждена держать племянниц взаперти. Что сестры в уединении занимаются Бог знает чем; или будто после смерти отца они тайно постриглись; передавались и такие вещи, о которых написать нельзя; словом, соседи на досуге судачили: отчего это сестры Перовы вот уже третий год никуда не показываются и никого не принимают у себя?

В то время в губернию назначен был из Петербурга новый чиновник, поручик в отставке, Иван Васильевич Кремер.

Оказался он холост, нрава легкого и по приезде до того принялся ухаживать за нашими дамами, что тотчас ему приписали все опасные качества бретера и смельчака.

Между прочими сплетнями рассказали и о липкинских сестрах, — обозвав их на этот раз женщинами нечеловеческой красоты. Иван Васильевич загорелся. На именинах у предводителя подогрел себя еще невероятным пари и вскоре, придумав деловой предлог, поехал в Липки.

2

Дорога, в сторону от тракта, вела по узким межам и, заворачивая постоянно, пропадала в хлебах. Ровной степи было ни сорок верст — на четыре часа неторопливых размышлений. Но Иван Васильевич, надвинув на голову парусиновый капюшон, лжмал, облокотясь на подушки. Действительно, если слушать, как крутится, захлебываясь, железное кольцо колокольчика, глядеть на ровную, зеленую, желтую, вдали вспаханную степь, выглядываться в зыбкие волны пара на горизонте и думать — ей-богу, не стоит: заведут такого созерцателя подобные мысли в трудные места.

Встряхнулся Иван Васильевич и потянул носом, когда солнце, уходя во мглу перед началом заката, пожелтело и лошади медленными шли на крутую гору...

— Доехали? — спросил он; ямщик не ответил; а с горы уже открылись зеленые бока оврагов, глиняные водомоины, прудки, на склонах скот, отраженный в воде, и вдалеке темный кудрявый смя и в нем купол беседки.

«Черт возьми, а вдруг они — рожи!» — подумал Иван Васильевич, вертя головой, когда сбоку замелькал забор... Ветви деревьев над мостиком хлестнули по дуге, и в глубине лужайки встал створый, как ящик, обветренный от непогоды дом.

3

Балкон, куда прошел Иван Васильевич, был пуст, но на круглом столе кипел самовар; перекинутый через балюстраду, висел турецкий шарф, чуть колыхаясь, и у порога лежала белая туфелька. Осмотревшись, Иван Васильевич поднял туфлю и засмеялся.

«Прямо разбежались, башмаки растеряли!» — подумал он и, вслушиваясь, прислонился к штукатуренной колонке, но только пчелы гудели, садясь на варенье, да из сада тянуло сухим запахом полевых цветов и влажным — с круглых клумб...

«Точно девушка прошла повсюду, и сад запах цветами, — опять подумал Иван Васильевич. — Совсем девичий монастырь; какие они на самом деле? Туфля маленькая, с высоким подъемом, значит нога стройная и полная. Носок заширкан от беготни по траве... а внутри следы краски... от красного чулка...» И, размышляя над туфлей, он представлял себе ее обладательницу. В это время скрипнуло позади. Он живо обернулся; из двери испуганно выглядывала сморщенная старуха в наколке... Иван Васильевич сунул туфлю в карман и поклонился.

— Вам что угодно? Мы не принимаем, — спросила старуха, держась за косяк; брови у нее поднялись, и смиренные глаза глядели с новым страхом на черные подусники гостя...

Иван Васильевич поспешил показать бумагу и объяснить, по какому делу приехал... Старуха перестала бояться и с неожиданной живостью, вытащив очки, прочла документ, усадила гостя и, до трагиваясь до его колена, принялась пространно рассказывать о тягбе своей с крестьянами... Потом спохватилась, угостила чаем и с умилением глядела, как Иван Васильевич ест лепешки. Запах цветов усилился, угомонились птицы в кустах, и только на осине неподалеку дрожали листья; но ей и Бог велел дрожать; остальное же все отходило на вечерний покой...

— Весной землемер приезжал, пустила ночевать, так он дело не делал, а и на кухню, и в сад, и по комнатам — всюду нос свой принялся совать, а нос длинный у него, такой проныра, — сказала тетушка...

— Вот действительно проныра, — ответил Иван Васильевич, — вы бы его щелкнули по носу, а, кстати, что это не видно наших племянниц?

Тетушка смолчала, Иван Васильевич покосился, на глазах у нее стояли слезы, и старушечьи губы опустились углами вниз.

— В угловой, батюшка, ляжете, а закуску на ночь с бабой пришло, — сказала она и повела гостя в комнату для приезжих, сама вздула огонь и, вздохнув, притворила за собой дверь.

Иван Васильевич живо подбежал к окну, просунулся в сад и стал слушать, раздумывая, как бы увидеть девиц.

Немного погодя вошла высокая и простоволосая баба с подносом, на котором стоял холодный ужин...

— Послушай, красавица, — сказал ей Иван Васильевич, — отчего у вас все прячутся, я ведь не волк.

— А кто прячется? Мы никого не боимся, все на виду, — нараспев ответила баба, поведя глазами.

— А где же ваши барышни?..

— Барышни спать пошли... У нас ложатся спозаранку; как стану пригонят, молочка парного попьют и лягут...

— И никто у вас не бывает, ни с кем не знакомы?

— Зачем, наши барышни очень себя соблюдают...

— Ох, баба лукавая, сама-то ты себя соблюдаешь ли?

Баба сейчас же удивилась и подняла черные брови...

— А вы откуда знаете?..

— Все знаю, на аршин под тобой вижу; знаю, например, что барышни ваши наверху живут.

— Ох, батюшки.

— И комната их направо по коридору...

— Вот и неправда — налево.

— Ты от сада считаешь?

— Ну да.

— А я от крыльца. Как тебя зовут?

— Анисья.

— Щекотки боишься?

Тут баба совсем растерялась; Иван Васильевич, пощекотав ее для вида, выпросил между смехом все, что надо, и на прощанье шлепнул по спине; баба убежала. А он задул свечи и, посмотрев, не бегают ли собаки, выпрыгнул в сад.

Все окна были темны, кроме последнего наверху, завешенного шторой. Напротив росла осина, дерево ненадежное, но Иван Васильевич все-таки рискнул: подпрыгнув, ухватился за ветку и полез наверх, выбирая крепкие сучки: в уровень раскрытого окна пригнулся и в щель не совсем задвинутой занавески увидел угол ковра, на нем туфельку, пару той, что лежала в кармане, и край тяжелого пресла, должно быть у кровати. Вслед за этим услышал он ровный голос. Это сестра сестре читала вслух «Обрыв».

«Вот черт, хоть бы ветер подул, — подумал Иван Васильевич, — или веткой, что ли, отогнуть занавеску...»

— Ах, ну что же из этого, — вдруг перебил чтение тоненький взволнованный голос, — ты сама видишь — писатель вывел самых лучших девушек, и все-таки одна не выдержала...

— Сегодня, право, Анюта, не узнаю тебя, — ответил голос читавшей, — ты взволнована... Неужто тебе нужна вся эта грубость...

— Все-таки любопытно... Ты говоришь, мы должны жить, как чистые ангелы... Какие мы ангелы... вот роман читаем: сама же ты рассказывала — на прошлой неделе всю ночь офицер тебе снился...

— И я тоже страдаю, потому что мы земнородные... Пойми — каждая девушка хранит небесный огонь. А мужчина смертный — его дело похитить огонь, а наше хранить. Вот почему к нам лезут со всех сторон...

— Почему же его и не отдать, если им так уж нужно, — помолчав, негромко возразила Анюта; Иван Васильевич завозился в листе...

— Какая ты ничтожная, как хочется тебе всей этой будничной гадости... Неужто ты не в силах сломить желание; ужасно, у каждой из нас словно жернов привешен... Будь сильной, Анюта; ведь если в лесу с тобой повстречаются волки, ты не захочешь, чтобы съели тебя.

На это Анюта ничего не ответила, вздохнула только и попросила:

— Варя, погадай мне.

Иван Васильевич, сощуря глаз, вытянул шею и увидел: на ковер вступила босая нога и прорутел за нею белый подол юбки...

Варя принесла карты и, раскладывая их, заговорила:

— Ну что гадать — только расстраиваться... Конечно, и для нас придет день, как и для всякой девушки, так уж лучше не думать о нем, не ждать, оттягивать. Из умных станем мы обыкновенными, из прозорливых — слепыми... Узнаем и роды и смерть... Но что это — смотри, как легли карты! Тебе грозит опасность. На сердце красный валет. Ты что-то скрыла, Анюта, будто вблизи нас злая воля. Враг... Туз. Постой, я разложу еще...

Стало вдруг очень тихо. И за окном и в комнате. Шелестели только листья... Вдруг Варя воскликнула с испугом:

— Смотри, опять те же карты! Рукой моей кто-то водит...

— Покажи, покажи...

— Нельзя... Я чувствую, кто-то у нас за окном...

Вслед за этим слышно было, как на ковер прыгнули девичьи ноги; занавес, отогнутый пальцами, распахнулся, выпустив свет в густую листву, и через подоконник перегнулась Варя; две косы со упали наперед, шея вытянулась. Она вскрикнула и взялась за раму: из листвы глядело на нее усатое лицо с блестящими глазами.

4

Если бы Иван Васильевич был на земле или невысоко над ней, он спрыгнул бы и удрал конечно. Но сейчас он вцепился только крепче в ветви и молчал...

- Кто вы? — спросила Варя...
- Ай! — крикнула изнутри Анюта...
- Я случайно сюда попал, — ответил, наконец, Кремер, — хотел передать туфельку — вы потеряли ее...
- Это — моя, дайте сюда! — воскликнула Анюта и появилась в комнате рядом с сестрой. Обе они были в ночных кофточках и белых юбках... У Анюты золотые волосы были окружены вокруг головы, щеку и ухо заливал свет лампы, худощавое лицо Вари осталось в тени.
- Дайте туфлю и убирайтесь, — сказала Варя, — иначе я позову на помощь...
- Что ты, все услышат, стыд какой! — перебила Анюта. — А вы не свалитесь? Ведь это вы приехали сегодня на тройке?.. Господи, какой смешной, полез на дерево...
- И, хлопнув ладошами, она принялась смеяться... Кремер поглядел вниз: под деревом, ворча, уже сидели собаки...
- Ну, уж я теперь ни за что не слезу, — сказал он, — извините, я подслушал ваш разговор...
- Какая гадость, — воскликнула Варя...
- Нет, отчего же, я бы на вашем месте пригласил советчика... Вопрос очень сложный...
- Он еще рассуждает, — перебила Анюта, — а вам удобно сидеть?
- Превосходно... Мне кажется, что ваша сестра немного ошибается: я никогда не понимал отшельников; по-моему, они — эгоисты и все; если у вас есть сокровище — отдайте его поскорее нам грешным. Что бы стало, если бы все девушки заперлись в терему..
- Вот слово в слово весь вечер ей толковала, — сказала Анюта...
- Молчи, молчи, — прикрикнула Варя, но сестра уже села на подоконник, охватив колено, и продолжала: — Как папа умер, Варя принялась ходить в церковь, служить обедни и решила, что мы не должны быть такими, как все... А я — самая обыкновенная, вроде нашей Анисьи.
- Боже мой, что ты говоришь, — опять перебила Варя, приклонясь с другой стороны к окну, — послушайте, сударь, если вы только человек, убирайтесь; это неприлично, это неслыханно, этого не бывает...
- К несчастью, убраться могу только через вашу комнату....
- Давайте руки! — сейчас же воскликнула Анюта; Иван Васильевич почувствовал в своей руке и вокруг кисти горячие ладони, смолчал и с ветки прыгнул на подоконник и в комнату. Анюта смеялась этому, тряся пальцами. Варя же, гневная, с пылающими глазами, раскрыла дверь, повторяя:
- Уходите, уходите, не оглядывайтесь...
- Иван Васильевич все-таки оглянулся. Комната была белая, с двумя кроватями и кружевным туалетом; на ковре валялись распавшиеся карты.
- Хотите, я вам погадаю, — сказал он, мигнув от такой наглости.

— Убирайтесь, — топнув ногой, повторила Варя.

— Нет уж, если он действительно так нахально поступил с нами, пусть останется в круглые дураки играть, — ответила Анята, соскальзывая с окошка.

Варя сейчас же повернулась, взяла соль, понюхала и сказала:

— Все равно я отсюда не уйду...

А Кремер спросил:

— Если я проиграю, то что?

— То вы останетесь у нас до тех пор, пока мне не надоест! — воскликнула Анята, присев над рассыпанными картами.

Когда неслышно подошла по коридору тетушка, взволнованная необычайной возней наверху, и отворила дверь, брови у нее поехали вверх, глаза замигали и задрожал дрожью старушечий подбородок. У стены, заложив руки, стояла Варя, как всегда, но кривила тонкие губы усмешкой. Анята же, повалившись на кресло, охала и топала ногами, а посередине комнаты на ковре сидел Иван Васильевич в ночном чепце...

— В дураках, в дураках, ни разу не выиграл, — проговорила Анята, вскочила, поцеловала тетушку и прошептала громко: — Почему вы раньше не говорили, что на свете такие смешные люди живут? Знаете, на что мы с ним играли?.. Если я выиграю...

— Да, я действительно проиграл, — ответил Кремер.

Тетка перевела глаза на Варю, которая пожала плечами и отворнулась, как бы утверждая: «Я всегда от нее ожидала этой нистости».

— Дураки дураками, а стыд какой, ночью по окошкам лазить, идите спать, сударь, — твердо проговорила тетушка и, выведя в темный коридор гостя, стала строго на него смотреть.

— Удивительная, знаете, эта игра в круглые дураки, — начал Кремер шепотом.

— Нет, уж сама вижу, что дело нешуточное... Спасибо вам, батюшка, ведь к нашим-то дурам только смехом и можно было пробраться, — перебила тетушка, — все ведь девушки своенравные, а наши пуще того... Ну а теперь, слава Богу, женитесь, батюшка, на здоровье...

— То есть вы как это, ого... — начал Иван Васильевич; подумал минуту и, взяв тетку под локоть, окончил деловито, — пожалуй, вы правы... Сейчас соображу...

ТРАГИК

*А. В. Кандауровой и К. В. Кандаурову
в знак дружбы.*

Заблудился я потому, что ямщик, старый солдат, служил когда-то в Ташкенте и ходил на Аму-Дарью. Всю дорогу, повернув ко мне прикрытое чапаном костлявое равнодушное лицо, пытался рассказать про давнишнее. Но из всего припомнил только, что на песках растет куст саксаул, такой твердый — ногу напорешь.

Должно быть, ему и самому было обидно, что забыл он про чудесную страну, разезжая на облучке в февральские вьюги, и на мои вопросы отвечал со вздохом: «Запамятовал, барин, а видел много всего».

Когда же вокруг стемнело и я сказал: «Послушай, мы, кажется, без дороги едем», — ямщик долго молчал, потом ответил: «Темнота; где ее тут разберешь, дорогу». И уже долго спустя, когда появился впереди нас красноватый огонек, ямщик сказал еще:

— Выбились, а я полагал — замерзнем.

Завязив лошадей и перепрокинув сани, мы подъехали, наконец, к балкону с колоннами и двумя полукруглыми окошками наверху, откуда шел заманивший нас свет.

— Ах, пропасть! Это, барин. — Чувашки. Доведется нам гнать до села! — проворчал ямщик, слезая с облучка.

— А здесь разве нельзя переждать?

— Можно, отчего нельзя.

Я вылез в снег, а ямщик, сняв рукавицы, захватил из саней сена, отнес на балкон, отпряг коренного, ввел его по ступенькам и за колоннами привязал к дверной ручке.

— Он у меня зябкий: пристяжных у саней можно оставить, а коренной очень обидчивый, — сказал ямщик..

— Как ты так распорядился, веди лошадей на конюшню.

— Нет, — ответил он, — не поведу; в усадьбе один конь, и того в доме держат — конюшни провалились. Да вы не сомневайтесь, заходите, погреемся.

И он повел меня между высоким сугробом и облупленной стеной к небольшому крылечку, через которое мы зашли внутрь, в темноту. Я передвинул кнопку электрического фонарика, и белый,

овальным конусом, свет открыл передо мной длинный штукатурный коридор и в глубине ударился в стеклянную дверь, вскопав ее.

— Идите прямо, — сказал ящик, — за дверь там у нас лестница устроена. Прямо к Ивану Степанычу попадете, а я около коней покружусь, — и, уходя, он добавил: — Разве мыслимо этот дом натопить? И так половину сада спалили...

За стеклянной дверью нашел я винтовую лестницу и, тремя мраморными ступеньками, поднялся наверх в круглую залу с мозаичным из мусоренным полом, полуколоннами, подпирающими шатровый потолок, и хрустальной люстрой, задрожавшей от моих шагов.

Освещенные фонариком, появились между колонн шкафы, полные книг; дверцы одного были раскрыты, и на полу валялись не сколько томов: должно быть, их вытаскивали охапкой и они падали по пути. Пока я оглядывался, в глубине левой анфилады комнаты хлопнула дверь, раздался гулкий голос, навстречу мне понеслись мягкие поспешные шаги, и я разглядел человека небольшого роста, без шапки и в пальто; ладонью он заслонял на бегу свечку, и, когда остановился неподалеку, свет озарил бритое его оплывшее лицо и черные круглые глаза.

— Вот обрадовал! — воскликнул он необыкновенно душным голосом, назвал мою фамилию и принялся трясти свободной рукой за руку. — Скучища невероятная, и все печи развалились, — ючусь в угловой, топлю книжками; представьте, бегу сюда, и вдруг встреча. Пожалуйста, дорогой мой...

Я извинился, объяснил, как попал сюда, и попросил ночлега. Взяв под руку, незнакомец повел меня через парадные комнаты, иногда останавливаясь и поднимая свечу...

— Стиль Людовика, — говорил он, все время обрывая нервный смешок, — как вы думаете? А впрочем, наплевать, — все это сгнило, плесень... И, знаете ли, сова даже завелась. Я мышью наловлю в мышеловку и даю совушке. Вот она, смотрите, — прошептал он, приседая, и указал на верх изразцовой печи, где сидела сова. А с боков печи на облезлых стенах висели портреты, запущенные инеем.

— Предки-с! — радостно воскликнул он. — Часто беседую с ними от скуки. Этот вот генерал — петербургская штука, поглядите...

Он быстро потер ладонью по полотну; из-под нее выступили красная грудь мундира, перехваченного лентой ордена, потом бритый подбородок и губы, тонкие и кривые, как у незнакомца.

— Андреевская лента, честное слово... Генерал Кривичев. Предок... Глаза удивительные; я их бумажками заклеиваю... до того неприятны... И похожи на мои. Я ведь — тоже Кривичев... Иван Степаныч... — Он помолчал. — Слыхали, наверно, — актер. У нас теперь тяжба с Бабичевыми, — он ткнул пальцем на другой портрет, — вот с этими. Не можем имения разделить. От Кривичевых сижу я доверенным лицом, не допускаю. А от Бабичевых, — он втянул голову и хрипло прошептал: — ведьму прислали, сле-

нить за мной... Я ее гвоздем к стене приколочу... Шуток над собой не допущу. Пусть она помнит, кто я... — Он вдруг посмотрел на меня, улыбнулся добродушно и потащил через залу в коридорчик, где шепнул: — Тише, не стучите, не разговаривайте... — И, уже толкаясь, пробежал к дверце, проскользнул вместе со мной внутрь, шалкнул ключом и, ставя свечу на комод, воскликнул радостно: — Проскочили!

В комнате было жарко. Я снял с себя тяжелую одежду и огляделся. Комната была низкая и длинная, с двумя полукруглыми окнами в конце; на подоконниках стояли ведерные бутылки с наливкой. К потолку была подвешена простая лампа, освещающая рваные ковры на одной стене; напротив — большой стол, заваленный пестрой, странного вида рухлядью: банками, париками, цветной обувью, медными шлемами, рукоятками мечей; и тут же лежали книги (Иван Степанович, очевидно, жег их все-таки с разбором); в дальнем же углу стоял помост и висела черная, с цветочками, занавеска...

— Рабочий кабинет, — потирая руки, сказал Иван Степанович и указал на стену, где один над другим висели пестрые костюмы, плащи и плащи... И, видя, что я все еще недоумеваю, он повторил: — Вспомните-ка, — Иван Кривичев — вместе на пароходе скали из Рыбинска.

И тотчас я вспомнил деревянный театр, полуоткрытый сзади, у тусклой рампы, перед намалеванными кустами, — коротенькую фигуру короля, в картонной короне, в шелковых отрепьях, с пучком соломы в руке. И как вслед за свистом плохо сделанной бури раздался откуда-то сверху уверенный и наглый свист... И как Лир приподнял брови и кивнул головой, словно говоря «Ну да, пожалуйста, дайте уж кончу...»

— Так вот как! Вы, значит, Кривичев, трагик, сказал я. — Как же сюда попали? Странно.

— Странного ничего нет, ответил Иван Степанович, подошел к окну, нагнул бутылку, налил два стакана; один предложил мне, другой сейчас же выпил, не вытирая губ. — Во-первых, милостивый государь, я люблю уединение. И потом я не желаю расточать себя на грязных подмостках. Чего они стоят? Четыре часа безумия, когда сердце готово лопнуть, — и за это платят деньги. Нет, я — артист, а не актер. Прошу различать. Актеру — венки и пошлые рукоплескания, а мне — лишь потрясение души. К чему зритель? Я давно покинул толпу. Играю для себя... Вот здесь!..

Он отдернул ситцевую занавеску. За ней, на двух сходящихся стенах, было написано: извергающийся вулкан, два дерева с фонтаном и луна...

— Между страстью и меланхолией лежит весь миллион переживаний, — сказал Иван Степанович. — Вот мой театр. Играю один классический репертуар... Располагайтесь удобнее... Кажется, вам еще не надоел.

Иван Степанович мимоходом выпил еще наливки, сбросил пальто, сел, застенчиво улыбнулся и принялся стаскивать панталоны.

— Только не обращайтесь внимания, — сказал он. — У меня — небольшой подъем сейчас... А я люблю, признаться, эти минуты.

Он поспешно натянул трико, ботфорты, накинул поверх коричневой своей фуфайки бархатный плащ...

— Ни одного бурана не проходит, чтобы кого-нибудь не занесло... Иначе совсем капут... Ведьма заела... Вы еще ее не знаете, — он вдруг оборвал, подкрался к двери и прислушался. — Молчит... боится... Я ее сегодня отбрил... — прошептал он и уставился на меня со страхом. — Вы что подумали? Бритвой отбрил? Пожалуй, черт знает что еще подумаете...

Он закрыл глаза, вздрогнул, словно от озноба.

— Внизу стряпуха живет, на ночь запирается, такой на нее нападает страх... Очень у нас нехорошо. Никакого нет порядку. Я говорил братьям: «За какие такие грехи отдуваться я должен у вас в пустом доме? За то, что неудавшийся актер, что ли? За это жалеть надо...» А они разочарованного, без участия, без ласки, заперли на смех... Какова человеческая жестокость!.. Да ведь промотался я для искусства... Двадцать два года играл... А знаете, почему оставил сцену? Я трагических любовников играю, а на самом деле не любил ни разу... Вот и решился сначала полюбить, а потом изображать любовь... Я братьям написал: двадцать два года, мол, ошибался, теперь я нашел себя, могу играть... Я пробовал... На этих подмостках до обморока сам себя доводил... Пусть только денег пришлют на выезд.

Иван Степанович надвинул шляпу с пером на глаза, оперся на эфес шпаги, локтем откинул красный плащ и сердито поглядел на меня.

— Думаете: вот влюбился старый дурак, заперли его с ведьмой, так он и в ведьму влюбился. Я бы вас посадил на денек с этой женщиной. Глаз с меня не спускает. Я — слово, я — шаг, — она все в журнал записывает. Исключительно для надругательства. У нее ничего человеческого нет, — провались она пропадом. Через нее и пью! Пропита! Прожита! Опоганена вся душа!..

При этих словах Иван Степанович швырнул шляпу, взъерошил полуседые волосы и ступил к подмосткам. Я молчал. Все это вышло у него плохо — неестественно. Он и сам это заметил. Покачал головой, усмехнулся.

— Наигрываю. Сорвался с тона. А?.. — сказал он. — Я лучше из Шекспира что-нибудь...

Он взошел на помост, задумался, схватив подбородок, и потом проговорил странным, иным голосом, от которого у меня сразу закололо по спине:

— Офелия, иди в монастырь! Иди в монастырь. Не отпирай дверей... — Он страшно поднял брови и зашептал: — А если он, со зверской лаской, ворвется в девичью обитель, ты шаль свяжи на девственной груди и тайно в узел спрячь иглу.

Иван Степанович вдруг надул щеки, выпустил воздух, сел на гупеньку, уронил голову на руки и заплакал.

— Забыл... Все перепутал, — проговорил он. — Какая досада!

Вдруг постучались. Иван Степанович сорвался с помоста и, навалившись на дверь, едва проговорил:

— Кто здесь?

— А я это, — ответил ямщик, — промерз.

Иван Степанович впустил его, совсем уже обсусоленного и занушенного снегом.

— Погреться хотел в кухне, а прислуга не отпирает, боится, что ли, — проговорил он, переминаясь.

— Так пей же, пей, пей! — воскликнул Иван Степанович, суя бутылкой в ямщика.

Тот степенно посторонился и попросил стаканчик и хлеба. Подали все это, Кривичев вытолкал ямщика и глядел в дверь, пока тот не скрылся совсем.

— Я думал, это полиция, — сказал он наконец, подойдя к мис. — Случилась небольшая неприятность. Впрочем, не стоит. О чем бишь я начал? Да. Хотите на коньках покататься? Внизу в яме я отличный каток устроил. Сам воду носил — поливал паркет; покатаешься, потом из окошка прямо в сад и на речку. Очень удобно. Впрочем, сейчас снегу нанесло. Снег — как саван, — заметет, засыплет, и следов нет. Например, человека положить с вечера под пригорком, а утром занесет его ровненько, и так до весны никто не узнает. Я давно об этом все думаю. Так вам не понравился Гамлет? Впрочем, я не играл. О Господи!

Иван Степанович взялся за голову, словно неотступная какая-то мысль гнала его, отпустила на минуту и накидывалась с новой силой.

— Она совсем не ведьма, — сказал он неожиданно, — она хорошая. Я все вам наврал. Ее сюда из Петербурга прислали. Во избежание скандала. Понимаете ли, из дому ушла с одним актером. С имплецом. Вроде меня. Родила в больнице. Вернулась в Петербург, но домой не пошла, а прямо на улицу. Захватил ночной обход. Личность выяснять принялись. Оказывается, родитель-то ее на самых верхих. Вот с урядником и прислали сюда. И пятьдесят рублей каждое иерное число выдают. Какая девушка! Какая жизнь разбита!.. Ох, попилился бы мне этот актеришка. Знаете что? Пойдемте лучше к ней.

Иван Степанович схватил меня за руку, и в глазах его появился как будто ужас. Мне стало неприятно, а он тащил меня со стула, и мы, отворив осторожно дверь, высунулись в коридор. Наискосок была другая двустворчатая дубовая дверца; в щель у пола оттуда шло желтоватый свет; указав на него, Иван Степанович прошептал, тиская мою руку:

— Видели... Я так и не потушил... Пусть горит...

— Что с вами? Что вы тут наделали? — закричал я, вырывая руку, но он вцепился, повис на мне, прилип, приговаривая:

— Не кричите... Не уходите... Не догадывайтесь... Все равно не выпущу... Вы доносить поспешите... Какое вам дело?... Мы прежде между себя разобрались... Я все объясню... Она меня видеть не могла... Один мой вид ее в истерику приводил... И над искусством издевалась... Я читаю, — она же у двери висит — покатывается... Мне потрясения нужны... Величайшие трагедии души... Надо на самом деле увидеть, как под ножом содрогнется... обожаемое существо. Иначе искусства нет... Кабы не ее злоба... я бы никогда не решился... А теперь я — артист... Я — гений... Я пешком в Петербург пойду... Я им покажу, как играет Иван Кривичев...

Я вырвался наконец, отбежал, помня, что надо захватить шубу, но Иван Степанович ничего не заметил: потный, красный, маленький, в волочащемся плаще и шляпе, огромная тень от пера которой прыгала по стене, он размахивал кулаком, ходил вправо и влево и выкрикивал уже совсем бессвязное...

Наконец блуждающие глаза его остановились на дубовой двери... Он присел, подкрался и, сделав трагический жест, налег на ручку; ветхие половинки, треснув, разъединились, и раскрылась дверь... Я отвернулся. Но вдруг из глубины послышался усталый, раздраженный голос:

— Полно тебе, Иван Степанович, вот дверь сломал... Хоть бы чужого постеснялся...

И на пороге появилась девушка, высокая, очень худая, с длинным измученным лицом; покатые плечи ее были закутаны в орнбургский платок; волосы на затылке завязаны просто, и только пепельные круги под глазами и длинные, еще не нагладевшие на свет глаза ее были прекрасны...

Иван Степанович сморщился, засопел и стал придвигаться к своей двери... Девушка мне сказала:

— Вот так каждый день... Напьется, и у него идея такая, что он меня зарезал... И дождусь когда-нибудь. Неудачник он — вот все и виноваты... А когда трезвый — хороший, застенчивый...

Девушка улыбнулась невесело и сказала Ивану Степановичу:

— Ну, уж иди ко мне чай пить... И вы пожалуйста. Я до утра не ложусь.

— Машенька, — проговорил Иван Степанович, — ты пойми... как я мог удержаться... Вот свежий человек, — и он обратился ко мне: — она у меня милая, несчастная...

— Иван Степанович! — перебила Машенька строго.

— Да, да, да... Замолчал, замолчал... — Иван Степанович притих совсем. Последовал за нами в Машенькину комнату — белую, чистую, строгую, с хорошим запахом сухих трав. На столе стояли свечи и самовар. Иван Степанович, сгорбясь, сел в тень и скоро заснул. Машенька с улыбкой взглянула на него из-за самовара.

— Не может отвыкнуть; очень любит свое актерство, — сказала она, — уж чего он только ни выкидывал. Пусть поспит. Не будите его.

В это время вошел ямщик и сказал, что буран полегчал и кони приближились... Я простился, поблагодарил Машеньку и закачался снова в маленьких санках по ухабам и неверному снегу. В открывшихся ущельях стояла круглая луна. Впереди лошадей долго бежал заяц.

— А я маленько соврал, — сказал ямщик, оборотясь, — в кухне-то достучался... кухарка щами угостила и кашей. Рассказывала: ошибко она боится у них жить... Вчера, говорит, барин за барышней ножом по всему дому бегал... Барин, говорит, у них раньше человеком был, а теперь трагик...

МИССИОНЕР

Холодный дождь восьмью сутками заливал Париж. Гнилое небо иногда темнело совсем, ветер срывал остатки листьев, хлестал по лосатым парусинами, и уже не дождем, а прямо ушатами низвергалась низкая туча на аспидные крыши и асфальт. Фиакры и автомобили, с забрызганными стеклами, катились во множестве, останавливались на перекрестках, воняли бензиновой гарью; по мордам лошадей и мимо сетчатых радиаторов, дрожащих от напряжения автобусов, сновали двухколесные тачки и велосипеды с ящиками впереди... Все вожатые, кучера и шоферы одеты в резиновые плащи; случайные прохожие перебежали улицу, прикрываясь зонтами; вдоль тротуаров пенились потоки, с шумом уходя в подzemелья... Такого дождя давно не помнил Париж...

И все это — и фонари, и голые деревья, и дома, и небо — отражалось в асфальте, как тень города, вызванная ноябрьской непогодой.

Я сидел в café у окна, недалеко от шумных бульваров. За цинковым прилавком хозяин, похожий на циркового борца, с усами, разговаривал с двумя рабочими, повесившими, как и я, мокрые одежды на стенку. На той стороне улицы в лавках уже зажигали мутный газ... Торопиться было некуда; из разговора за прилавком я узнал, что случилось сегодня в Париже и за границей. Отхлебнув из стакана, я опять принялся глядеть через окно на отражения.

В это время солнце, садясь где-то страшно далеко, нашло прорыв между туч, залило багровым светом глухую стену напротив, и дождь, прозрачный и крупный, вдруг стал падать сквозь этот свет. Я так загляделся, что, вздрогнув, уронил папироску, когда рядом воскликнули по-русски: «Ах ты шельма!»

Слова эти относились к игральной машинке, в таинственное и сложное нутро которой, недоумеваю, глядел только что вошедший, небольшого роста человек в меховой шапке и с мокрым зонтом, зацепленным за карман. Игральные эти машинки, расписанные яркими картинками, стоят в каждом небольшом café. Опустив два су, можно при удаче выиграть пригоршню жетонов и на них тут же хорошо поесть и выпить...

— Что же теперь делать? — сказал незнакомец, поворачиваясь мне. Круглое лицо его было иззябшее, помятое, с хитрым прищуренным глазом и рыжими мокрыми усами, закрывавшими рот.

Хозяин и рабочие оглянулись насмешливо... Я тоже улыбнулся, и незнакомец продолжал, глядя в глаза:

— Не то обидно, что последний грош в эту прорву суешь, а почему здесь русскому человеку погибать приходится?... Грабительские машинки поставили, а сами как черти богатые...

— Присаживайтесь, — перебил я. — Прозябли?..

— Так точно! — поспешно воскликнул он, прикладывая пальцы к шапке. — Ефрейтор Гродненского полка Назар Иванов. Дозволите присесть? Сразу видно по обхождению — соотечественник.

Он сейчас же сел, вздохнул и покосился на мой стакан.

— Абсент ихний очень я пить приспособился, — много здоровья нашего вина. А в этакую, знаете ли, погоду никак нельзя без пиджоголя... С семи часов по дождю бегаю... Вы что же, проездом? Ну, это ничего: а жить здесь не советую, — неприятный город.

Он сразу выпил абсент, покосился, я заказал еще, и Назар Иванов снял пальто, все время не переставая говорить, — должно быть, боялся, что я соскучусь и уйду.

Сначала он предлагал мне поглядеть одно заведение с голыми девочками; потом — паноптикум; Эйфелеву башню; морг; человека, который с завязанными за спиной руками, голый по пояс, входит в клетку с крысами и грызет их зубами, — зрелище, по его словам, аристократическое; наконец намекнул, не желаю ли посмотреть, как он сам будет есть горящую газету. И когда я все это отклонил, спросил с беспокойством, по какой же я буду части.

— А вы расскажите-ка лучше, как сюда попали? — спросил я.

— Пострадал, — ответил он, — и, как говорится: «ем-игрант». Про бунт в нашем полку слышали? В девятьсот пятом году... У меня кум — пограничник; как усмирять нас приехали, он и говорит: «Кому Сибирь, а тебе, Назар, на веревку, — валяй через границу...» Я и перебежал... Прямо к немцам... А они нашего брата торпеть не могут. Не то что пить-есть вынести, а норовит каждый тебя в участок... И все штраф: на траву лег — штраф, перелез через забор — штраф... Я и ухитрился: ночью иду, а днем сплю в саду на лавочке... Когда невтерпеж стало, поехал по четвертому классу, и деньжонки мои сразу выскочили. Стал я по ночам морковью дергать, а поутру пил молоко; народ у них глупый: на заре молочница проедет по городу и у каждой двери оставит цинковую посудину с молоком; очень эти сосудины мне подсобили. Наконец слышу — подругому залопотали, и народ стал легче. Раздумался я: Бог ее знает, как ихняя земля заворачивает, может от начальства нашего совсем недалеко. Пойду, думаю, до моря. И в городе Брюсселе встретил земляка — живописец, хороший человек, только очень охальный; поместил меня у себя; утром раздел до исподнего, поставил на ящик. «Ты, говорит, в коллекции, стой, не вертись», и принялся зарисовывать. А потом женщину привел и со

мною поставил, тоже в натуральном виде. Стал я тогда просить дальше, — порядки, мол, ваши тяжелы. «Хорошо, говорит, я сам тоже уезжаю в Париж, там тебе будет всего спокойнее». Купили билет, приехали. С тех пор здесь и околачиваюсь. Кабы понашему народ здешний говорил, совсем жить ничего.

— На что же вы здесь существуете? — спросил я, заказав еще абсенту.

— Жил я одно время очень хорошо. Жену, хозяйство завел все как полагается. Сейчас действительно туго, но ведь и купец — когда торгует, а когда и в кулак свищет. Сначала живописец при способил меня по голому делу. А я галицкий, — мы все — ка менщики. Прохожу раз мимо постройки, вижу — народ лениво работает; сейчас пиджак долой, рукава засучил, полез на леса; на меня кричат. Я молчу, работаю. Меня бить, я тоже — ничего, — так и взяли. Подрядчик остался даже доволен. Получил я в субботу деньги, прихожу к живописцу и говорю: «Ищите себе другого голого, а я больше не хочу». Ну, а он меня понял и еще старую платье подарил, дай Бог ему здоровья.

Платили мне хорошо, а денег уходило еще больше. Стал я думать: неужто весь век на лесах висеть? Надо жениться. И при- смотрел на базаре одну бабу, здоровеннейшая, полнокровная, только глаза одного не хватает; торговка, Маркета по имени, — теперешняя моя супруга. Походил я дня три на базар, вижу — не может француз понять такую толстую бабу, сидит одна, без внимания. Я к ней и подкатился, подкашлянул, говорю: «Банжур, мадам, коман са ва» — и такое прочее, и ткнул ее в бочок. Все поняла окаянная: «Кошон, кошон», — залопотала; сама смеется да меня локтем, а я ее в другой бок поздоровее, потом ногами затопал и на голову себе корзинку надел, чтобы чуднее было: женщина иностранная, с ними обхождение нужно веселое, не то что с нашей бабой. Так она до того разгрохоталась со смеху — унять не могли...

А вскорости и ночевать к ней стал ходить; парень я был такой видный, и стала моя Маркета сомневаться, — приду на базар, она на женщин единственным глазом как зверь глядит. И принялась она мне чего-то все повторять, а сама плачет. Я, конечно, не понимаю, только подмигиваю — согласен, мол: «ком ву вуле, алон куше» и такое прочее... И повела она меня к ихнему попу. Обвенчались по всей форме. А тут Маркетин отец помер, оставил нам деньжонок. Сняли мы кабачок на рабочей улице; стали жить хорошо. Удержаться русскому человеку от алкоголя трудно, а тут все свое; начал я понемногу зашибать и работу на постройке бросил. И вино это больше пил я от душевного расстройства. Утром моя Маркета натошак как начнет тебе трещать по-ихнему: тара, бара, тара, бара — голова разболится от скуки, ничего не понимаю и расстраиваюсь...

Ничего у них просто не делается, — все с хитростью... Придет в кабак пьяный, усядется, рубаха у него без пояса, сапоги деревянные, ладонью по столу ударит — подать ему абсенту; он и

начнет разговор, и никак не разберешь — ругается, обиделся на тебя или так, голос грубый... А выпьет всего за вечер одну-две рюмки. Другой разоидется, думаю: слава Богу, душа заиграла; глядишь, а он ничего не поломал и вполне приличный, — ах, скука!.. Для только стачка у них была, животы подвело сильно, — а когда француз голодный, ему на все наплевать; много тогда бушевали, били городских и выкинули флаг... Да разве еще испанца одного расстреляли совершенно напрасно, — тогда у нас улицу стали заливаться чем попало, фонари повывергали, газ зажгли; проедет извозчик — и извозчика туда же в кучу; крик подняли, а наутро как встрепанные... Только подмигивают: как, мол, вчера-то... Французу только наестся, напиться, девчонку подхватить, сейчас начнет он мамашу свою вспоминать, и не как-нибудь по-нашему — матерно, а со слезой; расстроится и доволен. И любят они еще — бегать смотреть, как головы рубят, и хоть не увидит ничего, а только понюхает, где кровью пахнет.

Вот, когда Маркета моя родила, я было обрадовался, что все это у нее произошло обыкновенно, по-женскому. Только, смотрю, — она это не крестит. Как можно: мальчик помереть может... Значит, весь народ у них некрещеный. Решил я все это ей растолковать. Принес табак, налил воды, зажег свечку, походил кругом, побормотал, выговорил: «Господи, помилуй», и мальчика взял на руки, показать, как у нас макают вниз головой, — все для примера... И всполохнулась же моя Маркета... Мальчишку выхватила, да кинулась с ним на улицу, да на весь квартал истошным голосом как закричит... И одолела меня совесть: что я делаю, с кем живу? Пошел к живописцу, а по пути свернул в кабак. Гляжу — за бильярдом ходят двое: один — высокий, как чердь, другой — коротенький, борода венником... Вот высокий и говорит короткому: «Режьте, батюшка, красного в лоб и от трех углов». А короткий отвечает: «Не учи меня, псаломщик». Тут я к батюшке подскочил, ручку облобызал, говорю: «Батюшка, помогите, душа пропадает». А псаломщик мне: «Иди проспись. Если по церковным делам, приходи завтра в сторожку, а сейчас убирайся прочь, батюшка прохлаждается».

Обиделся я на псаломщика, ударил себя в грудь и надрывающим криком рассказал всю свою жизнь, даже и то — за какие дела сюда попал.

— Много на тебе грехов: и государственных и личных, — скачал мне батюшка, — уж не знаю, как с тобой и быть... Разве уж для церкви постарайся.

Тут псаломщик отвел меня в сторону

— Батюшка, — говорит, — вот на что тебе намекнул: ты постарайся — тащи к нам некрещеных детей и католиков, — за каждого тебе по десяти франков будем платить, мальчишку твоего крестим даром; получишь прощение от правительства и благодарность. Понял?

— Как же их приведешь, когда они сами не хотят? — спрашиваю.

— Ну, уж ты исхитрись, за то и деньги платим.

Задал мне псаломщик загадку. Думал я, думал, весь затылок ногтями продрал. Пошел к живописцу, говорю: так и так, пиши мне по-французски одну записку: «Ничего не бойся», и другую: «Сего человека покарал Бог за грехи; кто не желает, чтобы с ним случилось то же, пусть идет за несчастным и, кроме того, получит пять су». А кругом этого листа, по моей же просьбе, живописец намалевал отвратительных чертей. Взял я лист, прибил его веревкой одним концом к небольшой палочке, накрутил на нее, а с нижнего конца привязал две гайки, чтобы она сразу раскручивалась; оделся как можно хуже — босиком, шапку вывернул — и пошел, как солнце встало, на главный рынок. Народу там — видимо-невидимо, по кабакам пьяные франты ночь догуливают; жулики шарят по карманам, и подумать страшно, что всю эту прорву — капусту, морковь, тыквы, убоину, птицу, — все гора горой, — все в один день сожрут. Купил я здоровенный кочан капусты, выбрал местечко повиднее, сел, головой затряс, зарычал и начал капусту эту рвать зубами... Гляжу — народ собирается, а я стараюсь.

Когда сгрудился народ, я палочку обеими руками... поднял и развернул бумагу. Поднялся смех. Трое мальчишек подошли ко мне, спрашивают: «Каждому платишь по пяти су, не обманешь?» — «Нет...» — «Тогда веди крестить»... Привел их к священнику. Там удивились. Получил я за это дело тридцать франков. Некоторое время прошло, я — опять на рынок, тем же порядком — притворяюсь, народ сбежался, и вывел я в тот день пятнадцать душ — мальчишек, отборных сукиных детей... Батюшка меня и благодарить не знает как. Окрестили и этих, выдали мне деньги... Я опять за работу... А тут мальчишки на базаре хитрость мою пронюхали и устроили стачку, потребовали по пяти франков за крещение... Я — к псаломщику: «За десять франков мне расчета нет работать... Девчонка может пойти по десяти, а с мальчишки меньше как по двадцати взять не могу». Псаломщик как даст мне в зубы — прогнал. И тут я опомнился: что делаю! Куда себя готовлю! Седьмой день минутки трезвой не было. Это ли усердие!

Поутру однажды стучится ко мне бритый мужчина; входит и говорит по-русски: «Я — поп католический, а ты что делаешь, заблудшая душа? Не один ли Бог? Не одна ли у нас вера?.. Малых отрывает от церкви, они на деньги лишь польстились и теперь не ваши и не наши». Много тут он мне наговорил с горечью и посулил двадцать пять франков за мальчишку, если перегоню из православной к ним. Словом, растерзал меня окончательно. И я думаю: если уж я такой подлец, доведу себя до конца. Нашел знакомого мальчишку, выдал пять франков и перегнал к католикам. Вижу — удалось... И что же вы думаете? Я их всех из православной обратно к католикам перегнал... Маркета моя только дивится — откуда у меня столько денег...

И начала меня уважать... А уж этого стерпеть никак невозможно. Лучше бы уж били. А французы, проклятые, кланяются мне всем кварталом...

Словом, как говорится, самый я злосчастный в Париже человек. Жить бы ровненько: помещением, пищей доволен. Нет. Вот я с вами говорю, а у меня свербит — нельзя ли и вас к католикам перегнуть... Вот как я на человека стал смотреть... В прошлый месяц с приезжими русскими путался; для души — никакого от них удовольствия, только что почудней покажи. И до того они мне надоели, спойл я одного — старичок такой, жеребчик, — и начал уговаривать: «Что вы, говорю, двух головах? От вас землей пахнет!.. За неделю-то вы чего натворили!» Старичок мой навзрыд... А я его, пьяного, в экипаж и к католикам: «Нате, говорю, обрабатывайте...»

Перед Назаром Ивановым стояла теперь высокая стопочка фарфоровых блюдецек-подставок — по числу выпитых стаканов абсента... Глаза его казались такими же мутными, как зеленый свет фонаря за пелериной дождя на той стороне улицы...

— Вот и вся моя история, — проговорил Назар Иванов, — если что соврал — извините.

Было уже поздно. Я расплатился, простился с ним, вышел, раскрыв зонт, и, не найдя экипажа, пробирался кое-как по лужам... Искоре меня нагнал Назар Иванов и пошел рядом, шлепая куда попало... Когда мы завернули в узкую глухую улочку, он вдруг резко остановился:

— Дайте сто франков.

— Что? — переспросил я.

— Сто франков, — говорю, — не глухие...

...Я пожал плечами и двинулся, но он схватил меня за плечо...

— Это вы что же делаете?.. Даром слушали?.. Это я вам даром клинок-то трепал?.. Извините, здесь даром только глазами хлопают.. Давайте сотню...

В глазах его разгоралось бешенство... Мне стало жутко. Улица была пуста...

— Нет у меня ста франков, оставь меня в покое....

— Ах ты сволочь, — сказал Назар, — я тебе покажу парижское удовольствие! — Он поспешно сунул руку в карман, отскочил на шаг, вынул, раскрыл нож, матово злоеший при свете фонаря, прямой клинок...

Спасли меня только звуки шагов: из-за угла появились две темные пелерины полицейских, — покачиваясь, не спеша, приближались два усатых сержанта. Назар Иванов сунул нож в карман... Рот его вдруг наплылся, он сорвал мокрую кепку: «До свиданья, благодарю за угощение... Если случится, только кликните — я всегда в том кабаке... Могу показать в Париже любопытные вещи, господин...»

Не дожидаясь, когда поравняются полицейские, он повернулся, притопнув, быстро перешел улицу и скрылся в дождливом тумане...

А я свернул к бульварам, и долго еще блеск ножа мерещился мне в отблесках луж на черном асфальте.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕГИНА

1

В одной рубашке, шлепая босыми ногами, Растегин ворвался в кабинет. На огромном столе трещал телефон, соединенный с биржевым маклером. Александр Демьянович сорвал трубку и стал слушать. Низкий лоб его покрылся большими каплями, на скулач появились пятна, растрепанная борода, усы и все крупное красное лицо пришли в величайшее возбуждение. «Продавать!» — крикнул он и повалился в кожаное кресло.

Сейчас каждая минута приносила ему пятьдесят тысяч. Ошибки быть не могло, но все же Александр Демьянович грыз ноготь, курил папиросы одну за другой, и весь дубовый кабинет застилало, как сумерками, дымом.

Левая рука была занята телефонной трубкой, правая хватала то папиросы, то карандаш, то зажигательницу, пепел сыпался на голубую шелковую рубашку и прожег ее; волосатые ноги Александра Демьяновича ерзали в меху белого медведя. Бритый лакей принес кофе; Александр Демьянович гаркнул на него — «пошел» — и снова схватил телефонную трубку. На бирже начиналась паника... Растегин влез в кресло с ногами, закрыл глаза, стиснул зубы. В левое ухо его с треском неслись цифры с четырьмя, с пятью, потом с шестью нулями. Растегин тяжело дышал.

Вдруг дверь кабинета распахнулась от резкого толчка, и вошел молодой человек, небольшого роста, со злым и бледным лицом.

— Что это за фасон? Иди одевайся, — проговорил он деревянным голосом.

Растегин замахал рукой, зашептал:

— Молчи, молчи!

Художник Опахалов сел на угол стола, закурил папироску и, дожидаясь, пока кончат наживать шестой миллион, принялся оглядывать стены, вещи и самое рыже-голубое чудовище — Растегина.

— Обстановочка у тебя, как в парикмахерской, — сказал он отчетливо, — ты бы еще свадебную карету себе завел, ландо гербами, урод!

Растегин швырнул трубку в аппарат и, почесывая волосатую бороду, растопырив голые ноги, закричал:

— Шабаш, довольно! Теперь желаю жить в свое удовольствие. Одних картин твоих, брат, на пятьдесят тысяч куплю.

Опахалов зажег сигару и, болтая ногой, сказал:

— Я в этот хлев ни одной картины тебе не продам. Что это у тебя за стиль? Для моих вещей требуется полный антураж, да и бороду сбрей, пожалуйста.

— Чтобы я для твоей картины бороду сбрил?

— Дело твое. И купишь еще красное дерево и карельскую березу, чтобы все было у тебя в стиле. Жить надо стильно, тогда и картины покупай.

Такие разговоры происходили у них часто. На этот раз Александр Демьянович поддался.

— Послушай, ты, как это говорится, берешься меня обработать на осень? Под двадцатые года? — спросил он после некоторого молчания. — К стилю я давно охоту имею. Некогда все было, сам знаешь. А уж за стиль взяться, тут дело не маленькое. Александра Ивановича знаешь, на Маросейке торгует, так он до того дошел, — шепт, говорят, в неестественной позе, по Сомову. За ночь так нащипывается, едва живой. А ничего не поделаешь. Валяй, брат, вези меня брить!

Обработка Александра Демьяновича под стиль началась немедленно. Растегин проявил в этом такую же настойчивость и сметку, как и во всех делах своих. Был куплен старинный особняк на Пречистенке. И все антиквары, брик-а-брак и поставщики мебели сумели разыскать подлинную двадцатых годов обстановку. Решено было весь распорядок дома, до ночных туфель, до чайных ложек, пустить в подлинный стиль.

До середины июля Растегин и Опахалов ремонтировали и обставили дом, собирали предков и старинную библиотеку. Александр Демьянович из некоторых книг вытверживал места наизусть, чтобы разговор его не выпирал из всего стиля уродски. Для окончания реставрации решено было съездить куда-нибудь в уезд, посмотреть на местах остатки старинного дворянского быта. Опахалов остался в Москве заканчивать панно и натюрморты для столовой, Растегин же выехал в Н-ский уезд одной из волжских губерний.

2

Высокая белесая рожь уходила во все стороны за холмы. Над раскаленной пылью дороги, куда мягко опускались копыта лошадей, висели большие мухи. Пыль, выбиваясь из-под конских ног, под колес, неслась клубом за тарантасом, садилась на кумачовую спину ямщика, на шляпу из дорогой соломы и подбитое шелком пальто Александра Демьяновича. Он уже давно бросил отряхиваться и вытирать лицо; по бритым щекам его полз пот,

оставляя дорожки. Проселок впереди все время загибал, пропадал во ржи, — не было ему конца.

Александр Демьянович слез с парохода нынче в шесть утра и сейчас уже перестал представлять себе низенькие дома с колоннами, задумчивых обитателей, дороги из усадьбы в усадьбу чертенястые парки, за зеленью сирени — тургеневский профиль незнакомки. Рожь, пыль, мухи, зной пришибли воображение. Тележка, попадая в рытвины, встряхивалась точно со злостью; ямщик иногда привставал на козлах, кнутом промахивался по слепню и пристяжной и говорил с досадой:

— Слепень совсем лошадей заел!

Дорога поднималась на холмы, опускалась, опять поднималась, вдалеке вставало из-за земли облако и таяло.

— Когда же ты, черт, доедешь, — стонал Александр Демьянович.

— А вон тебе и барыня Тимофеева, — ответил ямщик, указывая кнутом на верхушки деревьев.

Лошади свернули на межу. Из лощины поднимались огромные осокори и ветла; появилась красная крыша. Рожь по сторонам становилась все выше и выше и кончилась. Лошади въехали на пустой, поросший кудрявою травой дворик.

В глубине его между деревьев стоял ветхий дом. Окна с частыми переплетами обращены на желтоватую стену ржи. Дверь на крыльце была отворена; около, на травке, стояла худая женщина в коричневом платке на плечах; изо всей силы она тянула за веревку, привязанную к ошейнику большой собаки; унылая собака тянула в свою сторону, в дом. Когда лошади выехали из ржи на дворик, женщина бросила веревку и обернулась; собака тотчас ушла в комнаты.

— Сама барыня, — сказал ямщик, лихо сдерживая лошадей, которые немедленно же и остановились.

Александр Демьянович, приподняв шляпу, выскочил из тарантаса, шаркнул ногой по траве и сказал:

— Растегин, заранее извиняюсь, я к вам по небольшому делу.

— А по делу, так в комнаты пожалуйста, — проговорила барыня тоненьким голосом и прошла вперед в темную прихожую. — Пыльное вы снимите здесь и сядьте в гостиной, к окошечку. Вот ведь у меня какая собака непослушная, тянешь ее, а она упирается.

Барыня Тимофеева, говоря это, отходила к стене и пропала в небольшой дверке. Растегин вошел в гостиную.

Здесь было головато и пусто. Засиженные мухами обои треснули кое-где и отклеились; более темные места указывали, что когда-то здесь висели портреты; ситцевый диванчик и кресла едва стояли на гнилых ногах; только у окна было придвинуто крепкое садовое кресло, на него-то и сел Растегин, оглядываясь и думая:

«Странно; совсем что-то не то, хотя действительно запишем (он посмотрел в блокнот) — дворянка Тимофеева, последний отпрыск Тимофеевых, были в Боярской думе, при Борисе жаловань вотчины в Смоленской, в Казанской и прочее».

Размышляя об этом, он слушал, как за стеной повизгивала собака и слышался голос барыни: «Будешь ты у меня в комнаты вляться? Как тебе не стыдно? А еще умный. Иди к себе в будку. Мотри, рассержусь». После этих слов собака за стеной зарычала; барыня притихла. Растегин долго слушал, как жужжала муха между двух стекол, затем принялся покашливать, постукивать каблуком, от нетерпения и досады двинул кресло.

— Марья, поди посмотри, что это приезжий возится, — скажи за стенкой.

В гостиную осторожно заглянула толстая простоволосая баба.

— Баба, долго я буду тут дожидаться! — закричал на нее Растегин.

Баба ахнула и скрылась. Тотчас за стеной начали шептаться. Наконец барыня Тимофеева явилась к сердитому гостю, села на креслице, сложила на коленях руки и принялась молчать.

Лицо у нее, спокойно-наклонное к плечу, было узкое и в морщинах, волосы гладко зачесанные, с шевырюшкой на маковке; под имплатанной юбкой прятала она ноги в мужицких сапогах.

«О чем с такой чучелой разговаривать?» — подумал Растегин и сказал довольно сердито:

— Я путешествую для ознакомления с бытом помещиков, у меня есть рекомендательные письма, разрешите предложить несколько вопросов.

При этих словах барыня Тимофеева испугалась:

— Я дворянские внесла, и опекунские внесла, и земские. Это есть другая Тимофеева. Она действительно никогда ничего не платит.

Растегин сейчас же выяснил, что он — частное лицо и лишь просит продать ему что-либо из старины.

— Продать? Что же вам продать еще? — все еще растерянно сказала барыня. — А уж я струхнула, думала — какой-нибудь тайный агент. Коли надо вам, возьмите вот диванчик этот или кресла. Их действительно давно нужно продать.

— Нет ли у вас чего-либо постарее, более стильного?

— Ведь это тоже очень старое, — робко ответила барыня и, подумав, все же повела гостя в столовую. Здесь посреди комнаты стоял черепок с молоком да несколько стульев у стены, старое дамское седло на подставке.

— Вот седло разве, — проговорила она задумчиво.

Из столовой прошли в залу. Здесь уже ничего не стояло. Окна были зашиты досками; в глубине полуотворена дверь в небольшую комнату, залитую сейчас солнцем. На звук шагов оттуда послышалось рычание.

— Так и знала, что она туда забралась, мало ей во всем доме места. Неслух, вот я тебя плеткой! — воскликнула барыня и тронула Александра Демьяновича за рукав. — Сударь, помогите мне с ней справиться, пожалуйста.

Растегин вошел в освещенную комнату и поднял трость. С динна в дверь с жалобным воем кинулась все та же собака.

— Вот что значит мужская рука в доме. А я что скажу — иди об стену горох, — молвила барыня и потянула было Растегина из комнаты. Он же воскликнул удивленно:

— Послушайте, да ведь у вас тут целое сокровище запрятано. Та-та-та, покупаю весь кабинет.

Действительно, в небольшой комнате с темно-зелеными обоями стояли два тяжелых дивана с бронзой и резьбой, шкафы, полные старинных книг, столы — овальные и бобочком, конторка на витых ножках, в углу — горка с трубками. Сбоку непомерного кресла — пюпитр, на нем — развернутая книга, листы ее покрыты густой пылью; на всех вещах, на мелочах письменного стола, на пятачке у окна, на корзинке с шерстью — серая пыль; казалось, вещи здесь никогда не сдвигались со своих мест; только там, где лежала собака, можно было различить тусклый узор на штофе дивана.

— Ах, нет, я бы не хотела ни с чем этим расставаться, — после молчания прошептала барыня Тимофеева, и в испуганных глазах ее появились слезы.

Растегин потрепал ее по плечу и сказал:

— Если бы вы имели дело со скупщиком, тогда, конечно, барыня моя, но я, как говорится, по натуре — артист-реставратор. Я восстанавливаю не только внешний вид старины, но, так сказать, самый ее дух. За ценой не стою. Берите за все пять тысяч, ударим по рукам.

Барыня ахнула: пять тысяч!

— Вы сумасшедший, — прошептала она, отвернувшись к окну, вынула платочек и, тихонько покачивая головой, долго стояла молча. — Знаете, мне самой ничего не нужно, но мои старики больше всего любили эту комнату. Я уже так ее и сохранила. Конечно, деньги требуются очень, но, боюсь, старики мои огорчатся; кабы я могла знать? Но нам разве дано знать о подобных вещах!

Растегин с удивлением оглядел ее сутулую спину, дрожащий кукиш волос на затылке, мужицкие сапоги. «Ого, барыня-то, как жется, того», — подумал он и проговорил:

— А не напоите ли вы меня чаем? С утра, знаете ли, подвело.

На террасе накрыли чистенькой скатертью стол, толстая баба принесла измятый самовар, глиняный горшок с молоком, черные лепешки. Барыня, облокотясь на стол, помешивала ложечкой, глядела на зеленый дворик, на стену ржи, обогнувшей ветхую ограду, за которой стояла береза и небольшая часовня; глаза у барыни все еще были печальные. Посмотрев на нее, на всю ветхость вокруг, на измятый самовар, Александр Демьянович подумал: «Вот так двадцатые годы! — довольно скучно».

Он опять заговорил о кабинете, накинул две тысячи, просил хорошенько подумать до вечера и, докурив папиросу, бросил окурком в воробьев, которые пищали и прыгали на полу террасы.

— Они под часовней лежат. Гробы закрыты, но не заколочены, хотите посмотреть? — спросила барыня Тимофеева.

— Нет, благодарю вас, — ответил Растегин и подумал: «Шалишь, я за твоих покойников двугривенного не дам».

— Летом дни длинные, к ночи очень устаешь, а зимой дни короткие, — опять сказала она.

— Да, зимой день будет покороче.

— Сидишь одна по вечерам, раздумываешься, раздумываешься, пойдешь в кабинет, смотришь: а батюшка — в кресле, голову вот так опустит, будто смотрит себе на колени, а матушка на меня глядит, сидит и глядит. Они в один день умерли, совсем уже были старенькие. Конечно, вам тяжело отказывать себе, если так уж нравится кабинет. Но как же быть!

Она не спеша встала, предложила еще чаю, постучала по крышке с молоком пальцами, затем попросила обождать и пошла через дворик вдоль ржи, едва волнующейся колосьями выше ее головы, и скрылась за часовней.

Солнце тем временем село. Настал час, когда особенно кусаются комары. Растегин щелкал себя по шее, по щеке, принимался чесать ноги между башмаками и концами брюк. Опустилась роса, и комары, попищав, скрылись. В закате засияла звезда; темнело медленно. В дверях появилась унылая собака, понюхала и скрылась. Растегин поднес к носу часы. Было уже девять. По росе босиком подошла баба, взяла самовар, прижала его к толстой груди.

— Баба, куда барыня провалилась? — спросил Растегин злым голосом.

— Барыня давно спать легли. Летом наша барыня в часовне спит, а зимой в дому. Мы весь дом зимой топим, батюшка. — Баба вздохнула и пошла.

— Эй, ты, вели сию минуту лошадей подавать! — крикнул ей вдогонку Растегин и, глядя на обсыпавшие все небо звезды, на белеющую под ними рожь, на силуэт часовни с высокой березой, думал, куда ему теперь из этой чертовой дыры ехать и где заночевать.

3

Повороты с проселочных дорог всегда надо разыскивать от межевой ямы; в ночную пору если ямщик и нашел яму, опрокинувшись в нее вместе с лошадьми и тарантасом, то около оказываются уже не одна дорога, а сразу три, и, поехав по средней, попадешь на пашню или в овраг.

Так и Александр Демьянович, отъехав от барыни Тимофеевой, вчуждом попал, наконец, среди поля; небо заволокло, звезды пропали, и едва видна была дуга на кореннике. Без шума катились колеса прямо по траве, и вдруг тарантас принялся подскакивать, крениться направо и налево; Александр Демьянович вцепился в железки, стиснул зубы.

Ямщик сказал спокойно:

— По пашне едем.

— Свороти на дорогу! — закричал Растегин.

— Сейчас выедем. Но, милые! Фу ты! Стой, стой! Ну что, сани в овраг угодим? Чистое наказание, темень какую наворотило!

После этого долго стояли где-то, поворотив лошадей по ветру; ямщик, слезши с козел, оглядывался, топал ногой по пашне, кричал.

— Некуда ей и деваться, обязательно должна быть дорога; мы ведь ехали, ехали и заехали! — Наконец он, захватив кнут, сказал: — Вы тут подождите да крикните, когда я голос подам, а то и вас потеряешь, — и пропал в темноте.

Александр же Демьянович сидел, спрятавшись в воротник, и слушал, как негромко пел ветер в гривах, в плетеном кузове тарантаса; на нос и щеки падали иногда капли дождя; Растегину казалось, что с левой стороны черное место — овраг и колеса на краю обрыва; он боялся пошевелиться — вдруг дернут лошади.

— Триста лет, черт бы их задрал, помещики живут, и хоть бы дороги устроили; ну что стоит поставить фонарь... Темень проклятая! — бормотал Растегин. — Двадцатые года! Тысячу раз дурень этот ездит и каждый раз плуствует, наверное.

Он, ворча и досадуя, начал зябнуть, зафыркал носом, завертелся.

— Василий! — закричал вдруг Растегин, высунувшись из воротника, — где ты?

Лошади сейчас же дернули и пошли; он кинулся к вожжам и, не найдя их, принялся взвизгивать не своим голосом; испуганные лошади побежали рысью, увозя тарантас прямо к черту. Вдруг коренник захрапел, ударился обо что-то, пристяжка запуталась, и лошади стали. Александр Демьянович с размаха налетел на козлы и различил впереди себя огромный крест.

Дрожь пробрала Растегина; не смея пошевелиться, вспомнил он, что подобные кресты ставят на местах, где находят путника, погибшего не своею смертью. Стало казаться, что повсюду из черной пашни торчат подобные кресты. И какие же люди должны жить в этом бездолье, бездорожье и темноте?

— Вот он и крест. Вот и дорога, — громко проговорил ямщик, вдруг появившись около тарантаса. — Видишь ты, куда заехали! К самому то есть мосту. — Он живо влез на козлы, присвистнул и поворотил направо.

Но направо моста не оказалось; повернули налево, и тоже не было моста. Ямщик поехал напрямик, но сейчас же осадил коней и сказал с испугом:

— Ну, барин, нас Бог спас, гляди — совсем в овраг въехали.

— Нет, уж пожалуйста, я дальше не поеду, — стуча зубами, пробормотал Растегин и выскочил из тарантаса. — Какой ты ямщик! Дурак ты, а не ямщик!

— Земля, она — земля, разве ее поймешь? — ответил ямщик.

Светать еще не начинало, но понемногу небо зазеленело у краев, стали различимы и лошади, опустившие морды, и кузов тарантаса, и согнувшийся на козлах ямщик в картузе; а еще спуска

много проступила и трава и борозды пашен; издалека, едва слышно, донесся крик петуха.

— Кочета поют. Это ивановские петухи, — прошептал ямщик, вытянув ухо, — вот какого мы крюка дали.

— Почему это непременно ивановские петухи?

— По голосам слышно, голоса тонкие. У нас в Утевке у петуха голос грубый.

— Эх ты рожа, — с ненавистью сказал Растегин, ему так и чешась стукнуть глупого ямщика, — куда ты меня спать повезешь?

— Куда ехали, туда и привезу. Разве мы зря завезем. Мы здесь с малолетства на этом деле, слава Богу, сколько годов ездим. Рядились к барину Чувашеву на усадьбу, вот тебе за Ивановкой тут и усадьба.

Скоро совсем прояснило. Александр Демьянович влез в тарантас и замолчал. Ямщик, выбравшись из буераков, живо покотился по светлеющей дороге на крик петухов. Скоро забрехали собаки, вправо показались ометы соломы, избы, утонувшие в соломе, ветхие плетни, за которыми пели на тонкие голоса знаменитые ивановские кочета, влево же синела куща сада...

Ямщик, нахлестав, прокатил березовую подъездную аллею, закрутился на просторном дворе и стал около нового небольшого дома.

В одном окне горел свет. Растегин вылез из тарантаса, прижался к стеклу и увидел бревенчатую комнату, у одной стены — большой красный ящик на козлах, напротив — стол, на нем горящая свеча, две голых до локтя руки, в них растрепанная голова спящего человека, и от его локтя по всему краю стола лежащие окурки. По широкému усу Александр Демьянович признал в спящем старого своего приятеля, Семена Семеновича Чувашева. Он был известен в свое время за кутилу и бешеного игрока; и вот уже Александр Демьянович не помнил хорошо: Чувашева ли побили, Чувашев ли побил, или никто никого не бил, но какая-то дама вообще не вовремя родила, — словом, был скандал, и Чувашев пропал из Москвы.

Удивленный сейчас необычайным его видом, Растегин громко постучал в стекло. Чувашев испуганно вскинул голову, кинулся к ямщику, открыл его, что-то понюхал, захлопнул и только тогда повернулся к окну.

— Семен Семенович, это я, не узнаете? — закричал Растегин.

Семен Семенович исчез и тотчас же появился на крыльце, подергивая клетчатые панталоны и недовольно шурясь.

— Ба-ба-ба, — проговорил он, — как не узнать. А за каким делом занесло вас в эту дыру? — И, не дожидаясь ответа, выпучил покрасневшие глаза на ямщика: — Ты что это у меня по клумбам сидишь! Молчать! — закричал он, хотя ямщик и не отвечал ничего, с видимым сожалением оглядывая помятые клумбы.

Александр Демьянович кое-как уладил дело, — дал завопившему внезапно ямщику на чай и вслед за хозяином вошел в дом. Уселись они за тем же столом, напротив красного ящика.

— Вы по какой, по пуговичной или по канительной части, уж и забыл, — спросил Чувашев.

— У нас арматурный завод, окна и двери обделываем, да ни в этом сила, на бирже немного подыграл, миллиончиков шесть, — ответил Александр Демьянович.

— Сколько? Так! А к нам зачем?

— За стилем.

Семен Семенович сейчас же вскочил и в волнении пробежал по комнате. Гость подробно объяснил ему цель и значение своей поездки. Чувашев остановился перед самым носом Александра Демьяновича, поддернул штаны и только крикнул, ничего не сказав и опять принялся бегать.

— Скажите, вы на ощупь чувствуете эти шесть миллионов? — спросил он наконец. — Ну и чувствуйте, черт с вами. Вот что я скажу: не туда заехали. Стиль этот я к себе на пистолетный выстрел не подпущу! Прадед, бабка и отец из-за стиля меня без штанов на белый свет выпустили. Досталось мне от батюшки вот сколько... А было... Эх! Зато теперь — шалишь, я в себе амери канскую складку нашел... Надо дело делать, надо деньги ковать, вот вам мой стиль.

— Так-то так, а только на земле много не наживете, спекулировать на ней — туда-сюда, а то рожь да рожь — противное занятие.

— Ну знаете, я не так глуп. Именьишко это дала мне одна добродетельная тетка в пожизненное пользование. Я спросил себя только: «Способен?» И — конец. Никаких размышлений. Вот мой принцип: каждую минуту я должен заработать минимум одну копейку: итого в сутки четырнадцать рублей сорок копеек, минимум, — Чувашев повернулся на каблуках и вдруг схватился за свой длинный нос, точно в испуге. — Тсс, — прошептал он, — вы ничего не слышали? Как будто пискнуло.

— Да, действительно кто-то пищит, — прошептал Растегин.

Семен Семенович живо подскочил к ящику, распахнул в бок его дверки и залез туда с головой.

— Вот это яйца, вот это я понимаю, ни одного болтуна, — проговорил он оттуда и вылез обратно, держа в руках пятерых только что вылупленных цыплят, — вот, не угодно ли, — пять паровых цыплят, а к осени будут у меня из них, на худой конец, пять петухов. Дело золотое, хотя беспокойное, — наладились, подлецы, выводиться по ночам; черт их знает — думаю, какая-то ошибка в инкубаторе; при этом паровой цыпленок — прирожденный хам, — ничего не боится, так и лезет под воронье. На! В каждом деле не без урону. Эх! Обратный бы мне капитал, я бы всю Европу курятиной накормил. Теперь вот что — идем купаться и завтракать.

— Мало я расположен купаться, — возразил Растегин, но все же поплелся вслед за хозяином в дом. Бревенчатые комнаты были уставлены универсальной американской мебелью, везде висели карты, картограммы, чертежи, на столах и подоконниках стояли ме-

анизмы для ловли мышей, для переплета книг, для вязанья носков и кальсон, из одной машины торчал недошитый башмак и прочее и прочее.

Чувашев указал рукой на все это и сказал:

— В этом доме каждая минута превращается в мелкую монету: я шью, сам вяжу, сам тачаю, сам продаю, мышеловка выдумана мной, патентована, принцип чисто психологически-вкусовой, мышь исчезает в нее в невероятном количестве. Покупайте патент.

— Нет, я, знаете, лучше что-нибудь из старой мебели.

— А я говорю — такой мышеловки вы нигде не найдете.

— Нет, я патентом не интересуюсь.

— Купите одну модель. Поглядите, какая работа.

— Работа действительно хорошая.

— Берите, берите, по старой дружбе уступлю за пятьдесят рублей.

Александр Демьянович пожал плечами, все же вынул деньги, и мышеловку, не зная куда девать, положил в карман.

После этого приятели вышли на балкон, спустились в парк, сухой и туманный, прошли мимо клумб, разбитых еще в старину, и теперь засаженных капустой и салатами, обогнули дом, и Чувашев велел гостю подняться по лестнице на крышу. Здесь на высоких козлах стоял жестяной бак.

— Это мое второе изобретение, — сказал Чувашев, — я одновременно обливаюсь водой на свежем воздухе, не теряю времени шляться на речку, и уже использованная вода идет затем по желобам на поливку овощей. Не угодно ли под бак?

На крыше дул ветер, было сыро и холодно. Растегин понимал, что наверняка простудится, но хозяин так уговаривал, что пришлось все-таки раздеться и стать под бак, который тотчас сам и опрокинулся, обдав Растегина ледяной водой. Александр Демьянович молча схватил одежду, слез вниз и, трясаясь и шепча ругательства, слушал, как наверху фыркает и возится американец.

После купанья завтракали на террасе. Александру Демьяновичу хотелось спать, но Чувашев повел его смотреть птичник, утиный садок, небольшой консервный завод, причем тут же продал впрок триста жестянок утиной печенки и еще кое-какого месива, вывел за ограду парка и указал на кучу земли, смешанной с навозом и порошком, его, Семен Семеновича, патентованным удобрением; но от покупки этого Александр Демьянович отказался наотрез. Больше смотреть было нечего. Приятели медленно возвращались по старой аллее в дом.

— Дорого бы я дал посмотреть, как живут настоящие помещики, — сказал Растегин, — вот одна такая аллея может облагодетельствовать человека.

Чувашев сейчас же остановился, ударил себя по лбу и воскликнул:

— Бац! О чем же я думаю! Сегодня везу вас на именины к Ражавитинову. Там увидите весь уезд. И уж такие двадцатые го-

да — стул не передвинут. Меня по крайней мере всегда при-
тошнит в этом доме. Согласны? Вы мне дадите за это сто целковых
— Да, знаете, вы действительно американец. Ну да ладно, ма-
ша сила. Везите меня на именины, — сказал Растегин.

4

У больших окон ражавитинского дома беседовали дамы, глядя
на подъезжающих гостей.

У каждого свой обычай подъезжать. Иной, надвинув картуз и
подбоченясь, чертом вылетает на своих серых из тучи пыли или
самое крыльцо; другой и клячонку выберет похуже и упряжь ве-
ревочную, и сам подмигивает на то, как дамы в окнах потешаются
его видом; иной едет степенно и с важностью, как гусь, всходит
на крыльцо; а иной спешит поскорее укрыться в дому, боясь пуши
всего на свете — показаться смешным.

В одном окне стояли две барышни Петуховы, обе премило оде-
тые в голубое, и рассказывали молодой вдове Сарафановой вполне
дозволенные вещи.

Молодая же вдова внимательно слушала, как в следующем окне
прокуренная табаком помещица Демонова ругала ее на все корки.

В третьем окне стояла хозяйка дома, всегда имеющая почему-то
вид беременной, и с унынием глядела на толстую, высокую, крас-
ную, косую помещицу Тараканову, которая говорила восторжен-
ным басом: «Дорогая, я вас жалею от всего сердца, ваш муж просто
воробей. Посмотрите: вот мой Петя — это идеал человека».

Идеал человека, без малого пудов на десять, находился тут же,
одетый в табачный жакет и белые панталоны; он прятал одну руку
за спину и слушал с милой улыбкой на круглом лице, похожем
на овощ, иногда приговаривая шлепающими губами: «Ну, котик,
ты уж слишком!»

Мимо окон спокойно прохаживалась девица Рубакина, рябая, в
очках и в мужской поддевке. В уезде ее называли — «ефрейтор».
Папаша Рубакин, со своими почками, сидел неподалеку в кресле
и с любовью и страхом глядел на дочь, ожидая от нее всего. Она
славилась как лихой наездник, стрелок и как большая умница с
великими причудами. Прошлым летом были кавалерийские манев-
ры, и «ефрейтор» участвовала в них, не слезая с седла: сама ходила
с офицерами в атаки и на разведку, переплывала реку и хлопала
водку, как сам эскадронный. Папаше Рубакину, при своих почках,
пришлось трястись за ней недели две, старика это чуть не зарезало.
Но все же ни один из офицеров так на ней и не женился.

В глубине белой, с колоннами и портретами, низкой залы сто-
яли, дымя табаком, два брата Сомовы, в чесуче и с такими склад-
ками на шеях, будто они их перевязали веревочкой. Здесь же
вертелся Дыркин, Петр Петрович, в полосатеньком пиджачке, ко-
торый он при всяком случае называл петанлером.

О травосеянии как средстве удержать в помещичьих руках уплывающую землю беседовал с братьями Сомовыми националист Борода-Капустин. Другой, просто Капустин, держал за пуговицу своего дядю — маленького, усатого, взъерошенного либерала Долгова — и говорил:

— Если тебя приспичила совесть — возьми и поплачь, а мушкетеров не порти, не трогай.

— Все-таки, того-этого, ты меня лучше за пуговицу не держи, — отвечал Долгов.

Сам хозяин, Егор Егорыч, с виду совсем англичанин, хотя чрезмерно тучный, духом — коренной русак, характером же воробей, как выразилась Тараканова, все чаще пропадал за дверь, где звенели ножи, стучал фарфор, и оттуда долетал его веселый голос; появляясь в гостиной, он говорил:

— Господа, немного еще подождать умоляю, вот-вот Семочка Окоемов подъедет, без него, право же, нет аппетита.

Наконец одна из барышень, Петухова, воскликнула:

— Едет, едет!

Гости подошли к окнам, глядя, как через клеверное поле ехали два экипажа. В переднем сидел один, без кучера, Семочка Окоемов, в заднем — Чувашев и какой-то посторонний.

— Кто бы это мог быть? — задумчиво спросил папаша Рубинин. — Какой-то бритый, кажется симпатичный.

— Странная рожа, — сказал Сомов.

— Да, рожа скверная, — промычал младший Сомов.

— Еврей какой-то, — сказал Капустин.

— А надавай ему в шею, — проворчал Борода-Капустин.

Дыркин ничего не сказал; он внимательно вглядывался, точно признавал Растегина; старое, сморщенное лицо его изобразило почти испуг, верхняя губа приподнялась, и появились из-под седых усов желтые зубы.

Экипажи тем временем подъехали; Семочка Окоемов сидел прямо на дне тарантаса, в сене; он замотал вожжи на облучке и высунул огромную босую ногу, но, поглядев в окна, тотчас принялся обувать сапоги, которые снимал, чтобы не тосковали ноги.

Александр Демьянович вошел в залу и слегка даже оробел, увидев такое многочисленное общество. «Дворяне, вот они какие», — подумал он и, еще не зная, как себя повести, на случай несколько раз нырнул головой, как бы кланяясь. Никто на это не ответил. Чувашев подвел его к хозяйке и представил:

— Старинный приятель, приехал по весьма щекотливому делу.

— Насчет мебели, — сказал Растегин. Чувашев же пошел шептаться по гостям: «Биржевой воротила, Рокфеллер, приехал деньги швырять».

— А мы встречались, хорошо вас и помню, за картишками... Дыркин, здешний помещик, вот радость нечаянная, — заговорил Петр Петрович, когда до него дошла очередь здороваться, и затряс

Растегина за руку, — сядем-ка рядом за обедом, очень, ужасно рад...

Тем временем гости пошли к водке, в изобилии стоявшей на отдельном столе, среди закусок таких аппетитных, что про какую-нибудь можно было смело сказать — под такую выпьешь море.

Помещики налегли на водку; у братьев Сомовых с каждой рюмкой оказывалось уже не две, а по шести складок на шее; Рубакин, держась за почки, наклонился над закусками, говорил: «Эх, старость не радость!» — и пил под луковый соус; Борода-Капустин наливал себе зелье прямо в стакан, выпивал духом, говорил: «Ух!» — и нюхал крошечку; Капустин приналег на коньяк; один Дыркин больше вертел и да расковыривал вилкой паштеты, за что получил от Сомова замечание: «Что ты, брат, все нюхаешь? Ты ешь, а не нюхай». Тараканов, как человек идеальный, к столу не подходил, хотя и смотрел на него издали, с видимым сожалением шевеля короткими пальцами.

С Растегиним происходило странное: едва он выпивал рюмку, она вновь сейчас же наполнялась, но, когда он нацеливался на какой-нибудь пирожок, снедь исчезала и отправлялась за спиной его в чей-то рот; все это проделывала одна и та же рука, грязная и большая, как лопата. «Съесть бы чего-нибудь, не выдержу ни тощак», — думал он, и опять его подталкивали под локоть, и голод Семочки Окоемова ревел над ухом: «Ну-ка, последнюю, это вам не Москва, передергивать у нас не в обычае».

Хозяин, Егор Егорович, кое-кого уже оттаскивал за руку от водочного стола, говоря: «Шалишь, брат, ты мне все дело испортишь», и понемногу помещики, вытирая рты, уселись к столу.

Растегин поместился напротив Окоемова, между Рубакиным и Дыркиным. В голове у него стоял гул, и он с ужасом заметил, что число сидящих удвоилось.

Предварительная закладка развеселила всех, увеличила аппетита; уже старший Сомов грохотал, тряся животом стол; уже Семочка Окоемов потребовал восьмую тарелку ухи, а Дыркин пустился рассказывать вслух такую историю, что помещица Демоннова уронила в суп с носа пенсне, повторяя: «Ой, умру!»

Барышни Петуховы мало занимались едой, они делали глазами следующее: глядели ими на кончик носа, закатывали вверх, затем вскидывали их на Растегина.

— Как вам нравится моя дочь? Большая оригиналка, это у нас в роду, — точно сквозь туман и гул голосов услышал Растегин голос Рубакина.

— Страшно нравится, — ответил он, замечая, что у вдовы Сарафановой необыкновенно расширяются зрачки.

— Осторожнее, она вас живо обработает, — шепнул сбоку Дыркин.

— У моей дочери мужской характер; если приглядеться, то она привлекательна, — продолжал Рубакин, печально жуя огурец.

— Послушайте, Александр Демьянович, меня вот Капустин спрашивает, вы не покупаете лошадей? У него есть преотличная

рука, — спросил через стол Тараканов, но, дернутый за рукав женой, сейчас же прибавил: — Извините, это я так!

— Видите, как вам навязываются, — шептал Дыркин, — я никого не уважаю. Вот, видите, Сомов, — у него в кабинете нашли младенца в спирту, насилиу замяли дело; а этот, черный, худощавый, Борода-Капустин, жену заморил, честное слово, голодом и живет с цыганкой; вы что — опять на Сарафанову смотрите? На нее в прошлом году церковное покаяние хотели наложить за распущенность. А знаете, почему за барышень Петуковых никто не сватается? У их отца жил араб из Индии в камердинерах, оказался больной проказой; смотрите, как у них щеки напудрены. По старой дружбе говорю, вам тут всего станут предлагать — и лошадей, и землю, и мебель, и девицу в жены, — отказывайтесь напротрез. Верьте моему честному слову, все дрянь, а вот как свалит жар, к вечеру едем ко мне, я вас познакомлю с моей домоправительницей, вот это — женщина, настоящая загадка, прямо Будда или сфинкс.

— Ага, вот они когда! — внезапно закричал Семочка Окоемов басом; перед ним лакей поставил полную миску раков; Семочка крикнул и принялся их грызть, выковыривая, и прихлебывая, и смуря глаза, причем трудно было рассмотреть, когда он кончал и когда начинал следующего рака; по рукам его и по безбородым щекам текли грязь и сок.

— Дыркин, замолчи сию минуту, иначе об тебя руку оботру, — кричал он вдруг, и на мгновение его мокрая и непомерная рука повисла в воздухе, затем он опять продолжал прежнее занятие.

Дыркин, только что пустившийся в описание красот домоправительницы, сейчас же замолк и съежился.

— Вот этого черта больше всего надо опасаться, — шепнул он; и Растегину действительно стало казаться, что в этой глуши и его могут слопать, как вареного рака.

Дыркин продолжал:

— Смотрите, это нарочно он раками вымазывается, его заставляют на Рубакиной жениться, так он для отвращения вымазывается. А у самого на уме совсем другое.

Обед кончился. Разговаривать хорошо натошак, а после еды приятно взять подушку, да и завалиться куда-нибудь в траву. Так почти все и сделали. Хозяйка дома, никому уже теперь не нужная, куда-то ушла; Егор Егорович, огорченный, что вот уже и конец обеда, еще подходил то к одному гостю, то к другому, пробуя говорить, но гость только тарачил на него слипающиеся глаза и во всем соглашался. Тараканов, отпущенный супругой, подошел к Егору Егоровичу и проговорил:

— Пойдем, того, в траву.

Либерал Долгов сел на лошадей и уехал; в доме стало тихо, только где-нибудь раздавался густой храп во все носовые заворотки.

Растегин брел по аллее, покачиваясь иногда, и придерживался на березовые стволы; из травы кое-где торчал угол подушки или

задранный коленка; Александру Демьяновичу было смутно и тяжело и в теле и на душе; за поворотом он увидел на скамейке Дыркина и Чувашева: они о чем-то точно совещались, хихикали и хлопали друг друга по коленкам. Повалившись рядом с ними, Растегин сказал:

— А я представлял помещицью жизнь стильной, как говорится, поэтичной. Вот тебе и Борис Мусатов! Раков жрут. Что это за разговор за столом, через каждое слово — кобыла, овес, рядовая сеялка. Неужто все погибло? Я — эстет, мне тяжело, господа.

— Слушай, Саша, — проговорил Чувашев, оглядываясь, — ты прости, пожалуйста, ведь мы с тобой, кажется, на «ты» выпили, так вот что — едем, — делать здесь больше нечего, вышла не приятная история, я тебе по дороге расскажу.

— Я бегу, у меня уже парочка заложена, а вы через полчаса выезжайте, прямо ко мне, Александр Демьянович, милочка моя, доставлю вам великое удовольствие, — сказал Дыркин и долго три вялую руку Растегина, который, ничего не понимая, тяжело сидел на скамье.

5

— Семен Окоемов самый из них все-таки свежий человек, у него все в избытке — и рост, и брюхо, и страсти; он даже в университете учился, пока тетка не отказала именье, не большое, не малое, а ровно такое, чтобы есть, спать, напиваться и прочее — вволю. А затем появилась у соседа, у Дыркина, домоправительница эта Раиса, женщина плотоядная, чудовищная, с грозowymi эффектами. На Семочку Окоемова подействовала она, как землетрясение, он сразу похудел, затем выкрал ее у Дыркина, но она тотчас же сбежала. Теперь он держится такой политики — не допускать и Раисе никого, и в средствах действительно не стесняется. Видишь, брат Саша, не увези я тебя вовремя с именин, костей бы не собрал, ей-богу. Одного я не могу понять, что такое Дыркин накрутил с этой Раисой? Должно быть, очень хитрое; позвал он тебя ясно для чего: ему деньги нужны до зарезу; у Раисы свои деньги есть, да она их зарывает в саду, в кубышках, в разных местах. Дыркин при мне сколько раз начинал клянуть: «Раиса, Раечка, пожалей своего старикашечку!» — «Ей-богу, дедулинька, не помню, куда кубышку зарыла». — «А ты возьми и вспомни, подумай», — и он уж тут от умиления весь даже застывает. «Да где мне вспомнить, а может, злодей какой пришел да выкопал». — «А кто же этот злодей, душа моя? Имечко-то его скажешь?» К этому весь разговор и ведется; злодей оказывается молодым соседом, которого увидела Раиса с балкона и пожелала. Дыркин надевает пиджачок и едет за гостем, а на следующий день Раиса выходит в сад со своим старикашечкой под ручку искать заветную кубышечку. Это одна комбинация. А другая будет посложнее, да ты сам увидишь.

Идешь уж кубышечка ни при чем, да и денег, я думаю, у Раисы маловато осталось.

Все это говорил Чувашев Александру Демьяновичу. По ровной степи они подъезжали к плоскому дождевому озеру; по краям его стояли убогие избы, росла большая ветла, на бугорке торчали две мельницы, напротив из-за кущей сада поднимались два синенькие купола. В мелком озере плавали гуси; солнце садилось за соломенными крышами. И представлялось, что избы, плетни, журавли голодцев и две эти ветрянки долго блуждали по безводной степи, не находя прохлады, и, устав, присели здесь у дождевого озера как-как, словно утомленные птицы.

Должно быть, потому село называлось — Птичищи. Никто его не любил. Народ в нем жил унылый. Однажды был приказ: с противопожарными целями вокруг каждой избы насажать палисадник. Но птичищинские мужики по этому поводу сказали: «Бог-ат сам ищет, где расти дереву, где не расти», и подали прошение, не разрешит ли его благородие вместо палисадников отсидеть им всем миром в клоповке.

Тележка промелькнула спицами по береговому песку, отразилась в воде. Чувашев сказал: «Я тебя здесь подброшу, а мне нужно по делам; завтра увидимся», — и приятели въехали в барский двор, расположенный посреди села; здесь все заросло травой и кустами, постройки прогнили и покосились, кое-где крыша, крытая соломой, походила на сломанную спину; с крыш, со старых деревьев поднялось множество галок; Чувашев взглянул на часы, наскоро пожал руку и тронул лошадей обратно; Александр Демьянович вошел в дом.

Встретила его в прихожей, низкой и затхлой комнате, горничная; она была одета в оборочки и кружевца и казалась очень грязной; высокая прическа на ней была растрепана, а на болезненным, невымытым лице — печальные, совершенно развратные глаза; снимая пальто с Александра Демьяновича, она к нему прижалась; он посмотрел удивленно, она сказала: «Господа давно ожидают в столовой», — и заковыляла вперед на хроменькой ножке, показывая дорогу. Проходя темную гостиную, Растегин увидел у боковых дверей фигуру не то в белом, не то в белье. Она, вскрикнув, скрылась; после нее остался запах острых духов.

— Наша барыня все спрашивала: скоро ли вы приедете, — сказала горничная вкрадчиво и отворила дверь в освещенную столовую.

На столе, среди вазочек, тарелочек и чашечек, кипел самовар. Около него сидел Дыркин, словно пригорюнясь. Он не поднялся при появлении Растегина, а только странно посмотрел на него с кривой усмешкой и проговорил:

— Приехали? Раису видели? Чаю хотите?

Александр Демьянович, предупрежденный Чувашевым, повел себя просто, хотя и удивился такому приему: пододвинул стул, завалился и, закурив, зевнул.

— Устал, как черт, — сказал он, — не спал ни крошки. Им уж меня и ночевать оставьте.

— А вы не хамите, — проговорил Дыркин спокойным голосом

— Что-с?

Растегин сказал это, сдвинув брови, и сразу, точно проснувшись, Дыркин захихикал:

— Ой-ой-ой, какой порох! Мы люди свои, обижаться не стоим! Эх-хе-хех! Давайте-ка начистоту да на откровенность. Стариковское дело, как говорится, — табачок: плохое житье старичкам, хочется, да не можетя, и обидно и терпишь, а если и скажу колкое, кто же осудит, кто обидится, эх вы, красота моя!

Растегин даже рот раскрыл, слушая Дыркина, который весь ленился и походил каким-то дивным образом на большого, старичка, лысого паука. С приговорочками и гримасами он описывал свое житье помещика средней руки. Кругом в долгах, в постоянном беспокойстве о векселях и деньгах.

— Не для себя, ей-богу, нет, а лишь для моей Раисы. А и уж сам в таких годах, что вот-вот и осенит меня, и не благодать, конечно, а как бы некое озорство над собой: уйду в монастырь. Вот только Раиса, а то бы сейчас удалился. И знаете, для чего? Люблю, когда сердце сосет: сладко и тошно, точно женщина тебе гладит. Поймете меня когда-нибудь, красавец! А сейчас у меня хвост трубой, мне и завидно. Что же: ваша взяла! Эх, Раиса, Раиса!

— А так, говоря начистоту, сожительницу мне свою, что ли, предлагаете? В этих вещах я никогда не прочь, только надобно ее посмотреть, — сказал Растегин.

Узловатые от ревматизма пальцы Дыркина, который наливал чай, поспешно задрожали. Он живо наклонил голову, и мясистые уши его стали красными.

— Вам крепкого или среднего? — спросил он. — Я крепкого налью, все равно лимон съест.

В дверях в это время появилась высокая и статная женщина в ярко-зеленом платье. Держа обнаженными руками концы красного шарфа, перекинутого через спину, она видом своим изображала бы серну, если бы не была так дородна. Светлые и выпуклые глаза ее холодно разглядывали Растегина.

— Раиса, друг мой, подходи, не бойся, — вкрадчивым голосом забормотал Дыркин и засуетился, подавая стул. — Она у нас беда какая робкая... Святая душа, невинница... Ей-богу, честное слово, душа бы лишь была невинна, а ведь я ее из монастыря украл. Помнишь, Раиса, как по восьми часов службы простаивал! Английским пластырем ссадины на лбу заклеивал... Она же стоит и взглядом не удостоит, лишь в личике бледность... А внутри, может быть, адский огонь ее в это время глодал. А я вижу, чем ее взять, не красотой же своей! Стал ей письмеца подсылать с разными описаниями чувств, а также иллюстрации туда вкладывал. Оглянулась она раз на меня и покраснела. Помнишь, Раиса?

Дыркин вдруг выпрямился — сухонький, маленький, жилистый, — закатил желтоватые белки больших оттянутых глаз:

— Ах, Раиса, простишь ли ты меня? Развратил я тебя, моя кошечка, но ведь сама же ты к этому всему ужасно способная. А есть ли у тебя душа, вот и не знаю! Честное слово, мучаюсь давно: есть душа? нет ли души? Верить хочу, верить! Тогда бы днем и ночью мы наслаждались, а во время сна отлетали бы, устраивались на облачке и ласкались там с небесным излишеством. Ведь у души моей нет вставных зубов и лысины нет никакой, ведь душой я, быть может, на древнего грека похож!

— Помолчал бы ты, дед, — сказала Раиса нараспев, — при постороннем, а похабничаешь, — она взяла в рот варенье, измазала им и без того красные губы. Русые ее волосы собраны были сзади тяжелым узлом, который точно все время клонил маленькую голову.

В первую минуту Александру Демьяновичу она даже не понравилась, но он смотрел не отрываясь на ее выпуклые, холодные, как драгоценные камни, глаза. Дыркин, притихший после окрика, сидел, пригрюнься, над стаканом, Раиса ела варенье. Под столом, смистя шелком платье, двигались ее колени, словно что-то волновало ее, лицо же оставалось матовым и спокойным, ему не передавалось никакое волнение. Растегина прошиб, наконец, пот. Вдруг Дыркин придвинулся к его уху и зашептал:

— Одним чудовищным воображением ее при себе держу, честное слово! Только чуть порозовеет, вот и все. Замечательно! Потребовала риз, чтобы ей карету синим бархатом обил. Надел я на нее красное платье, красную шляпу, в руки ей — красный зонтик, и так въехали в город. Все рты разинули. В театре ложу тем же бархатом велел околотить, — гляди, мол, какой зверь сидит! Весь театр у нее перебивал; жсны взвыли! А ночью велела себя по всем заведеньям возить. Впереди на извозчике еврейчика достал со скрипкой, за ним Раиса в карете с цимбалистом-румыном, а затем — я, помещики и гимназисты какие-то увязались... Так всю ночь по городу и колесили. А утром вытащили из ее кареты румына, совсем голого. — Дыркин захихикал, вскочил и, проговорив, что идет распорядиться насчет постели для гостя, выбежал мелким шагом.

Растегин остался вдвоем с Раисой. Она перестала есть варенье, даже ложечка ее застыла на полпути до рта, — это была круглая ложечка с витой ручкой, держали ее два пухленьких пальца, а нитый, мизинец с блестящим ноготком, согнулся и разогнулся и вдруг затрепетал. Тогда Александр Демьянович посмотрел ей в лицо: оно было мрачное теперь; «батюшки, людоедка», — подумал он; ее серые глаза точно опутывали паутиной, в них не было ни жалости, ни нежности. Наконец ему стало не по себе и тесно, — он криво усмехнулся.

— Чего смеетесь? — спросила Раиса громко и просто.

— Так, — ответил он.

— А зачем бреетесь?

— Так, бреюсь.

— Мужчина усы и бороду должен себе отрастить, — на что вы похожи?

— Отпустить, конечно, недолго.

Тогда она медленно усмехнулась так, что ему стало сразу и неприлично и свободно.

— За каким делом приехали, — проговорила она, — хорошо!

Он живо пододвинулся со своим стулом к Раисе и захватил ее рукой за талию, шепнув: «Чего нам время терять!» — Тогда ее глаза стали дикими.

— Это что еще? — прошептала она, отодвигаясь. — У нас ведь работников шесть человек, кликнуть недолго. Дедуля, — обратилась она к двери (Александр Демьянович живо обернулся и увидел внимательно высовывающегося из соседней комнаты Дыркина), — кого ты ко мне привез? — И она подобрала платье и вышла.

Дыркин появился из-за двери и после довольно едкого молчания проговорил:

— Собственно, за кого вы меня принимаете?

— Помилуйте, вы сами давали намеки.

— Намек? На что я вам намекал? Не помню. Вы где? В публичном доме? Эх вы, молодой кобелек!

Растегин стоял, опустив голову; он был сбит с толку, растерзан сердечно, и уже левая рука его так и тянулась в карман пиджака за бумажником — естественным другом и спасителем во все времена. Дыркин сердито сопел.

— Идите спать, — проговорил он, — и помните: только игрой воображения и чувств можно добиться и себе местечка в женском сердце...

Александр Демьянович сидел в низенькой ветхой комнате у светлеющего окна. Дом спал. Тикали часы. По двору, поросшему подорожником, шли на озеро белые гуси. Впереди них гусак взмахнул крыльями и загоготал. У полуразрушенных ворот сидела сосредоточенная собака с усами; при виде гусей она поднялась и отошла в сторону. За изгородью над соломенной крышей поднимался дымок. Понемногу засвистали птицы в саду. Налетел ветер, зашумел листьями, посыпалась с них роса. Осветились верхинки лип, и в окошко, гудя, ударились пчела.

Все это было ужасно далеко от того времени, когда Александр Демьянович, отменно одетый, летал в стальном, кожаном и хрустальном автомобиле по улицам Москвы. Если встречался обоз или досадное препятствие, он его просто огибал или опрокидывал. Ничто не могло его обидеть, затронуть или огорчить. Там он был королем, а здесь Александра Демьяновича могли просто выдернуть, как редьку, выбросить в канаву, не посмотрев ни на что. Здесь ему ставили на вид прежде всего породу, а порода была таким особым ощущением, когда породистый человек, просто ли сидя, или занимаясь делом, пускай даже мошенническим, сознает, что от его низа в землю идут корни и что выдернуть его и выкинуть, как редьку, — нельзя.

Конечно, можно было взять лошадей и уехать в Москву, но в том-то и дело, что сделать это было трудно.

«Боже мой, эта женщина слопает и меня и шесть миллионов, — думал в отчаянье Растегин, — нарядить ее в горностай, в бриллианты, в райские перья — вся Москва сбегится смотреть: на Красной площади показывай! И живет она с этой отвратительной жужей, черт знает что такое! Тоже выдумал, поехал покупать старую рухлядь, комоды, драные диваны, — сидеть на них, что ли, легче? А вот такая женщина без толку пропадает! Как ухватить? Хлопнуть ее ста тысячами, вот и все. Ведь не пойдет, нет! Ох, жуже ты мой, что за женщина!»

Растегин прислонился лбом к подоконнику и так просидел некоторое время; вдруг за стеной раздался обиженный женский крик. Александр Демьянович вскочил, прислушиваясь, на цыпочках подбежал к стене и различил голоса Дыркина и Раисы.

— Ты чего не спишь? Ты все думаешь, ведьма! — шептал Дыркин.

— Да сплю же я, не щиплись!

— Нет, ты врешь, ты думаешь.

— Вот! Была забота! Привез какого-то бритого, он и посмеяться не может.

— Я тебе скоро офицера привезу, Раиса, в сажень ростом.

— Ох, привези, дедуля!

— Какая же ты все-таки дрянь, и ничему я тебе не верю. Я лучше от денег откажусь, а тебя на весь день запру в спальней, гмирь постельная! А его ужо, после завтрака, за ушко да на солнышко, поезжай куда хочешь. Да, так и сделаю.

— Дедушка, а в пятницу по трем вексялям платить.

— В саду кубышку поищем.

— Нет, дедушка, искать я не буду.

— Чего же ты от меня хочешь? — взвизгнул Дыркин. — Да ты ему совсем и не понравилась. Разве это мужчина? Износился весь, как старый хомут. Он мне сам сказал: «Мне, говорит, на женщин смотреть противно, а Раиса, говорит, ваша — пучеглазая и дура». Так и сказал.

Но Растегин уже не мог далее слушать. Он ударил кулаком по стене и закричал: «Врет, врет, врет, врет!» Сразу голоса притихли, Александр Демьянович постоял еще и со стоном повалился на постель.

— У меня с Раисой условие подписано, что держу я ее до тех пор, пока сам не изменю с другой женщиной. Да-с. А ночное приключение — не что иное, как блажь. Завтра же она сама руки мне целовать будет. Чересчур полна стала, особенно в груди, вот эти идеи разные и одолевают. Сударь мой, мы, старики, вас насквозь видим: сегодня блажь, а завтра слезы. А я к Раисе моей привык и на новые приключения больше не способен. На любовь же смот-

рю широко и без предрассудков. И вам искренно желаю успешно только условие одно, по-китайски, — пообедать и все там прочее оставил у хозяина, с собой ничего не унес, поняли? Погостите у меня недельку, и хорошенького понемножку. А Раису я не отпускаю ни с кем.

Дыркин и Растегин сидели на лавочке в купальне, оба голые. Над гладкой водой, треща крыльями, стояла большая стрекоза, порой она уносилась вбок и вновь останавливалась, переливаясь золотой пылью вытарашенных глаз... «Ах, Раиса, Раиса», — пробормотал Дыркин. Утреннее солнце припекало, пахло досками и тиной. Растегин, совсем разомлев, глядел на стрекозу. Она для него была гораздо понятнее, чем все разговоры Дыркина, да он и не слушал и поэтому невпопад спросил, потягиваясь:

— На какую сумму вам по вексялям-то завтра надо платить?

Дыркин сильно потер себе волосатые ляжки, опустил на грудь седую голову.

— Тысяч на двадцать пять, — сказал он и, надув желтые сморщенные щеки, выпустил из них воздух.

Тогда Растегин начал торговаться. Дыркин отвечал:

— Нет, не могу, ей-богу не могу меньше. — И вдруг из-под морщинистых век его поползли две слезы. — О чем торгуемся, — сказал он, — я лишь займы прошу у вас. Я бедный и хилый старик. А вы Бог знает как понимаете мои слова. Я лишь люблю глядеть на чужое счастье, посмотреть в щелочку да послушать, как вздыхают два любовника. А деньги тут ни при чем, нет, ни при чем.

«Фу ты, какой скользкий старикашка, — подумал Растегин, — нет того, чтобы начистоту», — и ударил себя по голым коленкам. Надо бы лезть в воду. Александр Демьянович поднялся первый и стал на краю мостков. Вдруг позади его крикнуло, холодные руки ударили в спину, он полетел в воду, и сейчас же на голову ему свалился Дыркин, визжа, смеясь и захлебываясь. Отбиваясь от него, Растегин крикнул:

— Пустите, вы меня потопите!

Но Дыркин, приговаривая: «Нет, я еще сильный, я еще сильный», — старался засунуть его голову под воду.

— Тону! — закричал Растегин и, уже задыхаясь, стащил с себя старикашку, добрался до мостков и поспешно вылез. Дыркин же барахтался и плавал по воде, как паук.

— Это шутки, это все шутки, — повторял он, — какой вы сердитый! У нас всегда так балуются во время купанья. Вот на медни на меня Окоемов наскочил, — потом откачивали.

Все еще сердясь на зверские эти шутки, Александр Демьянович поспешно оделся и пошел через парк.

В аллее, где над липовым цветом неумолчно гудели пчелы, Александр Демьянович встретил Раису, она лениво шла, задевая рукой за кашки, обрывая листья; ее глаза, теперь зеленоватые, полуприкрыты были веками; батистовый капот был до того прозрачен, что у Растегина захватило дух.

С минуту постояв у дерева, он подскочил, обнял Раису, прижал к себе и стал искать губами ее рта.

— Пустите же, — проговорила она медленно и точно с досадой; мигкий ее рот так и остался полураскрытым.

— Пожалуйста, пожалуйста, я схожу с ума, — повторял Растегин.

— А мне какое дело. Ах, да пустите же!

Шепотом, кое-как, он объяснил, что с векселями покончено, что ему разрешено здесь остаться, что времени терять нельзя, что он и все шесть миллионов к ее услугам, что глаза Раисы (хотя и на вершок от его глаз, но все такие же спокойные) не глаза, а бриллианты, бериллы, изумруды и прочее, что у нее не рот, а «безумный цветок», орхидея и прочее, что он, Растегин, убит наповал, погиб, он раб, сошел с ума и прочее и прочее.

Раиса, наконец, освободилась.

— Вы мало папашку знаете, — сказала она, — в том-то и дело, что он меня ревнует, не дай Бог; ничего хорошего ждать от него нельзя.

— Раиса, я готов умереть сейчас, вот здесь у ног.

— Это все говорят, миленький, а что-то мне видеть не приходилось, лучше уж и не божитесь, а вот мне большая охота отсюда уехать, богато пожить захотелось. Бога гневить нечего — лучше много житья здесь нет, всего вволю, и жить просторно, и никто меня за дуру неученую не считает. А у вас в Москве, чай, скажут: «Нют вывез бабу», — так бабой и прозовут. А здесь — я барыня. И еще воздух люблю свежий и легкий. Вот какое дело. А лежала и ночью и думала: охота мне мотором в Москве народ подавить. Уж не знаю, как и быть-то с вами.

— Раиса, что хотите, что хотите, — требуйте.

— Вот чего я хочу, — начала было Раиса, но вдруг оглянулась, вырвала руку свою из горячих ладоней Растегина и отошла.

По дорожке подбегал Дыркин, засунув большие пальцы в карманы чесучового жилета, рот его был перекошен и плотно сжат. Отстав перед Растегиним, он закричал визгливым голосом:

— Не доверяю, не верю. Чек, чек на руки сию минуту пожалуйста, и не на двадцать пять, а на пятьдесят, иначе милости прошу искать себе других развлечений.

Здесь же на садовом столике Александр Демьянович подписал чек. Дыркин повертел его, понюхал, поглядел на свет и убежал все так же бодро, заложив в жилет пальцы.

— Дедушка! — закричала было ему вслед Раиса, но он не обернулся. Она задумалась, потом пошла, сопровождаемая одуревшим Александром Демьяновичем, в конец сада и стала на плетень.

— Знаете что, — он к этому черту Окоемову поехал. Ах, мучитель, ах, тиран безжалостный! Уеду я от него, назло. Что за наказание! — с досадой сказала она, слезла с забора и, дойдя до скамейки, уткнулась лицом в руки, затем вынула платочек из-за шелкового чулка. — Хотела было я над вами только посмеяться,

теперь сама вижу — вы очень милый, — она положила руку на затылок Александра Демьяновича и поцеловала его в губы.

Раиса была совершенно непонятная женщина. Растегин ей не нравился, и она решила, что недурно бы за такого выйти замуж, когда же подумала о своем старикашке, то пожалела и его и Растегина: одного за то, что бросает, другого за то, что не любит, обманет непременно и доведет, Бог знает, до гробовой доски. Не представилось, что хорошо бы прокатиться по Москве на розовом автомобиле, украшенном страусовыми перьями, и чтобы за шофера сидел седой полковник, обезумевший от любви. Она даже видела ясно, как из-под мотора вытаскивают толстую перееханную бараню с покупками. «А не лезь», — думала Раиса. Затем ей захотелось такого, чего нельзя было себе даже и представить.

Но все же покинуть старый домик и сад, гусей и кладовые, и все свое хозяйство Раисе, женщине деревенской, дочери писаря и соседнего села, представлялось невозможным.

Дыркин испортил дело. Он внезапно приревновал и обидел Раису несколько раз, обид же она сносить не умела; при этом он уж слишком поспешно выманил деньги у Растегина и, ясно, хотел устроить дебош при помощи Окоемова, которого Раиса боялась и терпеть не могла.

Когда Александр Демьянович опять в том же саду пристал к ней за окончательным ответом, она поглядела ему на рубиновую булавку в галстук, вытащила ее и стала полегоньку колоть Растегина в нос; он блаженно улыбался.

— Несчастный, — сказала она, — ну чего же вы ползаете по траве на коленках. Идите на конюшню, скажите лошадей заклидывать; скорей бегите, а то раздумаю.

Растегин убежал. Раиса приколола булавку на грудь и пошла в дом, где собрала кое-что из своих вещей. Затем села на крыльце, пригорюнясь, — ей было страшно, как бы не расхотелось уезжать.

Внезапно Растегин появился из-за угла дома.

— Мерзавец кучер не дает лошадей, — сказал он взволнованно.

— И не даст, это папашкины штуки, — ответила Раиса и стукнула сердито по чемодану.

— Что же делать?

— А я почем знаю. Вот-вот налетят с этим уродом, как соколы. Такие озорники, страсть!

Все же Раиса очень разгневалась. Она ушла бы теперь хоть пешком из дому. Пока они пререкались на крыльце и спорили, послышался колокольчик и топот бешено летящей тройки.

Раиса струсила, бросила было чемоданы в кусты, но в раскрытые ворота влетели не ожидаемые озорники, а Чувашев, стоя в коляске.

— Скорее, скорей, — закричал он, выпрыгивая и хватая Раису за руку, — ты ведь тоже едешь? Молодец баба! Я их версты на три обогнал. Едем прямо к дядюшке моему, Долгову. Туда они не сунутся.

Растегин подсадил Раису и прыгнул в коляску сам. Чувашевсел на переднюю скамеечку, и взмыленные лошади вынесли заюрота, мимо изб, прямо в степь.

Небо заволоклось, погромыхивал гром вдалеке. Молча сидела Раиса, опустив голову, завернувшись в турецкую шаль. Растегин привставал и оглядывался. Позади, над пригорком, появилась пыль.

— Гони, гони, — закричал не своим голосом Растегин, хватая вчучера за воротник.

6

В темноте, в березовой старой аллее, медленно шли Щепкин и Долгов. Щепкин обнимал друга за плечи; он был сед, стар и сутул. Как осторожно ступали по мягкой дорожке, то беседуя, то замолчав, когда вверху громыхал гром и вспыхивала молния. Щепкин глядел, как свет ее, проникая под лиственные своды, заливал мгновенно пегие стволы берез и лицо Долгова; оно было тоже сморщенное, с длинными усами, со спутанной бородой и прищуренным от неожиданности глазом. Все это появлялось и вдруг исчезало, и гром носился раскатами над притихшим парком. И снова молния вылетела из нагроможденных туч; а вот три огненных столба быстро опустились до земли; вот с севера раздвинулось, раскрылось полнеба; но не было ни ветра, ни капли дождя.

— Представь себе, ведь я очень стар, — говорил Щепкин, — должно быть, я по рассеянности позабыл помереть, да так и остался. Но все же во мне живет привязанность ко всей этой суете. Посмотри, — он поднял палец, и в ту же минуту в небе возникли, взорвались, брызнули огнем и загрохотали два огромных шара, — все это лишь пустой эффект, но очень возвышает душу.

— Трахнет вот такой эффект в соломенную крышу — беды не оберешься, — сказал Долгов.

— Иногда есть у меня даже потребность поужинать с друзьями, выпить вина, но, конечно, если я имею право на это. Но я никогда не мог оправдать ничего из своей жизни, не хватало дерзости. Ясно тебе? Для меня это ясно. Нынче минуло пятьдесят лет, как я ушел от Веры Ивановны. Странно, у меня до сих пор сомнение — хорошо ли я поступил тогда, пожертвовав моим и ее чувством? Я не жалею, а раздумываю, нужно ли было все-таки так пренебречь всем или оставить что-нибудь и для себя, доставить себе простое удовольствие, раз все пошло прахом. Нехорошо дожить до восьмидесяти пяти лет. Возвращаешься опять в младенческое состояние, предаешь забвению и жалости все самое высокое. Ты пойми, вникни: у Веры Ивановны были красота и талант, а я был только владетель семисот человеческих душ. Я не мог увезти и заточить ее в деревне, лишитъ театра и города, я не имел права для своих удовольствий заставить работать семьсот человек, — каждый из них был такой же, как я. Ах, ты еще молод слишком, я тебя

уверяю. В то время дворянство сознавало свои обязанности. Оно понимало, какую вину должно было искупить перед народом. Ни одного движения мы не имели права сделать для себя. Все для народа. А если и делали что-либо по слабости, то очень раскисывались. Мы во всем каялись. Я сказал Вере Ивановне, что мой отъезд в деревню пусть будет первой уплатой долга; я думал, что она будет наезжать ко мне, а пройдет лет десять, и совсем переедет. Она очень плакала тогда... Какая странная и милая женщина! Но все же она была у меня только два раза. Город ее соблазнил, в нем слишком быстро сгорают; а я, как старый хрящ, живу и живу, никому уже больше не нужный. А все — это гроза. Нам же было раздуматься! Посмотри, там тоже вечная борьба, и мучения, и грохот. Мне представляются там темные и белые всадники, они поражают, топчут друг друга, гремят щиты о щиты, падают копыта, — и нет победы никогда, ни на чьей стороне.

— Да, третьего дня плюхало, и вчера плюхало, и сейчас дождик припустится, уж это я знаю. Ах ты, Господи, весь помор прогнил, — сказал на это Долгов, — ты прости, что я отвлекся, я слушал тебя внимательно. Я очень высоко ставлю тебя. Во-первых, ты отдал мужикам землю, больше того — пятьдесят лет работал на них. И пускай они с тобой же теперь сутяжничают... А черт, кадку-то я не перевернул...

Последнее восклицание относилось к дождевой кадучке. Ему нужно было перевернуть и поставить под водосточную трубу. Чертыхнувшись еще раз, Долгов освободил плечи от руки друга и пропал между деревьями в темноте. Щепкин прислонился к березе и поднял голову.

Узкое, с горбатым носом и большими глазами бритое лицо снова появлялось в свете молний, точно каменное изваяние, то исчезало; начавший налетать ветер приподнимал седые волосы над высоким лбом.

«Нет, нет успокоения, — думал Щепкин, — быть может, так до конца и нужно быть смятенным. Но, Господи, нужно мне, хочешь ничтожной оплаты, хотя бы минуты высокой радости».

Тяжело ему было нынче еще и оттого, что на днях состоялись торги на последние оставшиеся семь десятин земли и полуразвалившуюся усадьбу; неизвестно было, где теперь доживать дни, — никто ведь не возьмется кормить старого, негодного мерина Урагана да еще более древнюю дворовую собаку Жука.

Неподалеку завозился и несколько раз шепотом чертыхнулся Долгов; Щепкин опустил голову и улыбнулся; он очень любил своего друга, хотя и полагал, что у него чего-то не хватает, — крепости ли нет, или мало веры, или слишком он издерган и вместо главного занимается часто пустяками.

Действительно, идет ли, например, Долгов в контору к мужикам, — на середине двора остановится и побежит в клеточники своих брючках на конюшню, но, не дойдя до конюшни, уже лезет через забор и, глядишь, изо всей силы тащит репейник из цветоч-

...клумбы. И все это делает, негодуя на себя, угрызаясь. Поэтому...
...душевным состоянием его было «самоедство». В кабинете
...на столе, между ворохом книг, счетов, записных книжек,
...штучков, ручек, карандашей и прочей мелочи, стоял хрусталь-
...стаканчик, и в нем — дедовское гусиное перо. Этим пером
...сводил счета — копейка в копейку, ничего не забывая.

Каждый раз, глядя на это перо или гусей, что прохаживаются
...кудрявой мураве, чертыхался Долгов, понимая, что сельское
...хозяйство возможно только при отлично оборудованной бухгалте-
...рии.

Но едва он, надев очки, принимался за приходо-расходные кни-
...и счета, как от ничтожной причины — например, при чтении
...писи: «Хомутов отдано в ремонт шесть штук рабочих» — мысль
...незаметно перескакивала на иной предмет, и Долгов силился
...помнить, по какой линии столбовые дворяне Хомутовы с ним в
...идне.

А спустя час он уже заставлял себя за чтением мемуаров; и
...новь с пушшим угрызением приходилось повторять, что без пра-
...ильно поставленной бухгалтерии сельское хозяйство продолжать
...нельзя. Мылся ли он в уборной, копался ли в бельевом шкафу,
...или тщетно старался поздно ночью раздеться и лечь спать — все
...равно приходилось чертыхаться, понимая, что на пустяки времени
...входит уйма, а на нужное и должное его нет.

До сорока семи лет он так и не собрался жениться, хотя в этой
...власти были у него самые жестокие конфликты; девица Рубакина
...в прошлом году приехала к нему сама и потребовала брака. Долгов,
...очень этим смущенный и озабоченный, принялся ее благодарить
...они гуляли в саду), но на середине одного плохо связанного пред-
...ложения заметил, что клумба с петуниями не полита, и убежал
...лейкой; на полпути он уже отвлекся другой идеей — о выпу-
...щенных в огород телятах, побежал на огород, и далее — пошло
...цепляться одно к одному, как обычно; он вернулся в сад только
...вечеру; девица Рубакина, глубоко уязвленная, давно уже и на-
...всегда покинула его усадьбу.

— Прости, пожалуйста... Я продолжаю тебя слушать внима-
...тельно... Эта проклятая кадушка куда-то закатилась, — проговорил
...Долгов, появляясь из темноты, — у меня в каретнике течет... Нет,
...не то хотел сказать. Понимаешь — Ивановка горит. Надо бы по-
...ехать туда машину... Пойдем, пойдем...

На заднем крыльце стояли бабы и рабочие, на крыше торчали
...мальчишки, все глядели в сторону, где, за плетнем и гумнами,
...над землей танцевали красные языки пламени; не было видно ни
...дыма, ни зарева, казалось, что здесь, в ста шагах за ригой, по-
...вилось это бесшумное пламя.

Вдруг пошел сильный дождь. Мальчишки закричали на крыше,
...бабы заохали. Долгов влез на кадушку и повторял: «Ай, ай, ай,
...от они, соломенные крыши»; затем он соскочил и убежал делать
...распоряжения, крича, бранясь и путая имена рабочих.

Дождь пошел сильнее; за его летящей сеткой огонь казался более красным, и вдруг появилось сияние. Замолкшая было гроза снова полыхнула над пожарищем, загрохотала, и вот из огня поднялся высоко широкий язык и рассыпался искрами. Повалил бурый дым; появились тени на траве. Бабы начали голодать. Вдалеке на дворе бранился Долгов, сидя на бочке.

Щепкин отвернулся и пошел в дом: горело его село, на котором он положил всю свою жизнь; кончался последний акт комедии, догорали карточные домики, и опускался на них дождевой занавес. Щепкин прошел в летнюю, маложилиую гостиную, сел на кожаный заплесневелый диван, прислонился щекой к нему и в темноте и тишине натужно, с болью, заплакал.

В то же время Долгов скакал на бочке во весь дух по размокшей дороге к пожарищу. Оно открылось с первого же пригорка: догорела изба, светясь обнаженными переплетами крыш. Занималась одна изба — крайняя, и на ярко освещенной с одного бока деревянной колокольне били в набат.

Бочка скакала по сплошной багровой воде вдоль плетней. Вдурно неподалеку послышался отчаянный крик о помощи. Долгов соскочил в грязь, приказал работнику гнать на пожар, сам же побежал по воде к повороту дороги. Здесь росли две ветлы, место было перекопано канавами, дождем наплюхало целое озеро. В неясном сумраке Долгов различил силуэты понурых лошадей и перевернувшийся экипаж; около него возился человек в чапане, другой стоял и кричал: «Помогите!» На кочке, в воде, сидела женщина.

— Что такое, что такое? Кто вас просил по канавам ездить? Вон где дорога. Черт знает, что такое! — прокричал Долгов, шмыгая.

Человек, кричавший о помощи, подошел к Долгову и, не упавая зуб на зуб, проговорил:

— Я — Растегин, Александр Демьянович, дама вот моя ни за что не хочет из лужи вылезать и очень сердится; с нами Чувашев был, да куда-то убежал. Помогите, пожалуйста.

Долгов наклонился над женщиной, сидящей в воде, и воскликнул:

— Э, да это Раиса. Опять приключение? Вылезай, вылезай, нечего кобениться. Отправляйтесь-ка все ко мне на усадьбу, кучеру дорогу знает...

Раиса от злости продолжала молчать. Ее вытащили из воды, посадили в экипаж и поехали шагом вдоль горящего села в Долговку.

Долгов остался на пожаре; Растегин и Раиса только за полночь добрались до его усадьбы. Чувашев же пришел еще позже, пешком, страшно злой, упрекал и кричал на Александра Демьяновича, потом забрался в мезонин, разделся и тотчас заснул.

Щепкин провел грязных и мокрых гостей в кухню, куда прислали горячей воды и сухое белье. Раиса, никого не стесняясь, усадила и принялась мыться. Растегин, при виде ее прелестей, забыл все несчастья и скверные слова, которыми его не переставая ругала подруга, и лез то с медным тазом, то норовил поцеловать ее в шею, за что получил по щеке.

Щепкин от соблазна удалил всю прислугу из кухни и сеней, сам поставил самовар и сел в столовой, думая: «Вот странные люди, даже вода не охладила у них пылу».

Пить чай явился один Растегин в ватном долговском пальто и валеных калошах; Раиса прошла прямо в дядюшкину спальню, легла на его постель и сказала, что не вылезет из нее, пока ей не сошьют нового платья.

— Что вы, мой ангел, — сказал ей Растегин, — откуда я вам достану здесь платье, нам бы только до Москвы добраться.

— А мне какое дело, доставайте, где хотите, только модное, — ответила Раиса со злостью, и когда было он полез ласкаться, стукнула его коленкой, сказала: — Не встану — год здесь пролежу, и эту рухлядь Долгова еще полюбовником своим сделаю, — затем расшвыркала подушки и легла к стене лицом.

Все это Александр Демьянович объяснил Щепкину за стаканом чая; рассказал также историю похищения Раисы, вплоть до того места, когда настала темнота, полил дождь, и лошади, испуганные грозой, понесли без дороги; они скакали по степи, пока земля не осветилась заревом пожара; около каких-то деревьев экипаж въехал в воду и перевернулся, все полетели в грязь; Чувашев побежал за народом, но застрял, должно быть, на пожаре.

— Одного я боюсь, что Дыркин и Окоемов явятся сюда, приймают меня и увезут Раису; я всего жду от здешних людей, — сказал Растегин, боязливо оглядываясь на окно, за которым в темноте шумел дождь по листьям.

— Вы, конечно, имеете резон опасаться некоторых из помещиков, — ответил Щепкин, — современные условия, к несчастью, начинают создавать два типа помещиков — крупных простых кулаков и мелких, если хотите, жуликоватых дельцов, а есть такие, что принуждены продавать своих любовниц, чтобы свести концы с концами; раньше помещик был более идеально настроенный, попадались мечтатели, но они осуждены на вымирание. Ваше замечание хотя и поспешно, но не лишено основания.

Щепкин говорил это, потирая руки, прохаживаясь от стены к столу; если бы не поздний час, не потрясения этой ночи, он бы никогда не стал говорить так дерзко.

Александр Демьянович ответил ему, зевая:

— Все это верно: теперь купец пошел — большая сила... Но не в том забота! Ах! Женщины, женщины, знаете! Ну откуда я Раисе платье возьму?

В это время в столовую вошел Долгов в одном полотняном белье, только что смененном; расправив усы, он сел перед налитой чашкой, хлебнул из нее, сказал:

— Сторело двенадцать дворов; ах, черт, пятый пожар с апреля месяца. — Затем принялся осматривать Растегина, повернулся на стуле и внимательно оглядел своего друга, спросив: — Поссорились, что ли?

— Я приустал немного, что-то у меня с сердцем, я, знаешь, пойду, — ответил Щепкин и вышел, сильно сутулясь.

— Смешной старик, — сказал Растегин.

— Нет, не смешной, — ответил Долгов, — а вот вы смешной.

— Я просто в преглупом положении: заехал с женщиной в незнакомый дом, едва не потонул, не сломал шею, какие-то дикие люди за мной гоняются; а вы знаете, во сколько мне уже влетела эта поездочка? Чего считать! На деньгах стоим; а только здешние порядки у нас, по-московскому, разбоем называются. Где я — в лесу? Что я привезу в Москву? С чем приеду? Эх, господи помещики!

— Скажите, пожалуйста, вы в этом роде беседовали со Щепкиным? — спросил Долгов.

— Да, разговор у нас был жалкий, верно.

— Я думаю, что вам как можно скорее нужно уезжать отсюда, — сказал Долгов, опять залезая в огромную чашку с чаем, мы вряд ли пойдем друг друга; я стар, Щепкин еще старше; лучше мы уж погибнем при своем негодном, а вы живите... Что вам нужно — самое необходимое?

— Платье Раисе нужно да лошадей до вокзала, чего же еще.

— Ах да, платье... К несчастью, от моей покойной матушки остались одни ситцевые капоты... А вот у Щепкина я видел сундук с прабабушкиными робронами; я думаю — не разберет Раиса, были бы шелковое.

— Боже мой, да это все, чего я искал! — закричал Растегин

8

Утро было ясное, рожь уже просохла, но на листьях опутавшей ее повилки еще горели большие капли. Поваленная пшеница поднималась, а на мелком подорожнике, затененном стеной хлеба, оставались сизые полосы от шагов.

По мокрой траве, часу в восьмом утра, Щепкин шел пешечком из долговской усадьбы в свою.

На нем была люстриновая разлетайка и помятый картуз, из-под которого до плеч висели седые волосы. Наклонив худое и горбоносое лицо, он поглядывал на лужи под ногами, на опрокинутые в них облако, на полосы хлебов, на зеленые конопли вдалеке и за ними — соломенные крыши Ивановки.

Много лет видел он все это и каждый раз с новым очарованием поднимал глаза, и в него словно вливалась вся эта красота вечным и разумным покоем.

И каждый раз казалось, что вот еще мгновение — и вдруг исчезнет последняя преграда, и, хлынув в него потоком, солнце, небо и влажный свет земли растворят его старое, ненужное тело. Между ним и этими полями осталась последняя тонкая преграда. Она еще мешала радости последнего покоя, будто земной путь не совсем был пройден, осталось совершить какой-то последний утомительный долг.

«Вот что значит провести бессонную ночь, — думал Щепкин, входя в конопли, — что это за последний долг? Какие у нас долги? От излишней гордости думаем, что должны кому-то; упал дождик, и просок, был день, и нет его, так и я...»

Он улыбнулся, сорвал метелку конопли, растер в ладонях зерна, нюхал и поглядел налево, где за колокольней начиналась куща бирского сада. Здесь прожил он семьдесят лет, и за все эти годы так же стояли конопли, за ними крыши, колокольня и зеленый сад. И ему представилось, будто его жизнь пронеслась над этими местами, как вчерашняя гроза, — прогремела и ушла; земля же, конопли и крыши остались теми же.

«Все-таки народ сильно изменился, — думал Щепкин, — теперь мужичкам наших чувств не нужно, без них обойдутся, умные стали сами и скрытные; деревня — как маховик: только поверни ее, потом не остановишь».

Он вышел к плетням и повернул на широкую, пустую сейчас, улицу, к церковной ограде. По свежей грязи бежали мальчишки, ржали и брыкались. «Старый тетерев, старый тетерев!» — закричали они.

«Действительно, я похож на старого тетерева», — подумал Щепкин и поклонился Антипычу, рыжему мужику в розовой рубихе, занявшему плечами и головой все окошко в избе.

— Здравствуй, батюшка барин, — сказал Антип, почесал бороду и перебеднился весь в окошке, — а мы погорели малость, беда такая, уж я до твоей милости — в саду лесину одну присмотрел, срубить бы ее, а то зря пропадает.

Антип был мужик богатый и первый кляузник на селе; он постоянно клянчил всякую малость у Щепкина, а когда не клянчил, то судился, и он же был главный виновник теперешних торгов. От пожара Антип не пострадал ничуть и клянчил сейчас лесину — так, потому только, что увидел барина...

— Стыдно тебе, Антип, вот что, — проговорил Щепкин, затряс головой и постукал тростью. — Подожди, скоро все твое будет...

Он быстро пошел вдоль изб и в переулке увидел пожарище; ему не было ни досадно, ни больно, как вчера.

— Мужик прав, ему нужна лесина, а мне не нужна, — повторил он, по обычной своей привычке, вслух; но все же давешний покой пропал, и была потребность хоть немного посетовать.

Через калитку в каменной изгороди Щепкин прошел через аллею на круглый двор. Посредине его, обнесенные чугунной решеткой, поднимались старые пихты и ели; между стволами просвечивало кое-где стекло разрушенных оранжерей.

Вдалеке полукругом стояли ветхие службы, а направо — деревянный некрашеный дом в два этажа. Окна были неровные, одно выше другого, только три внизу и два вверху были раскрыты, остальные защищены досками, замкнуты ставнями. Парадная дверь открывалась прямо в бурьян, в нем была протоптана узенькая тропинка.

Около двери, обшитой рваным войлоком, стояли Ураган — карий в шишках, старый мерин, и каштановая собака. Оба они глядели на дверь, из которой каждое утро выходил хозяин, вынося сахар и хлеб. Увидев же Щепкина подошедшим с улицы, мерин и собака удивлялись. Ураган замотал головой. Жучка широко зевнула.

— Вы уж меня, дружки, извините, — сказал Щепкин, — задержался я по случаю грозы.

Он вынул из кармана сахар и хлеб, отдал их собаке и мерину. Затем еще раз извинился и вошел в дом.

Комнаты здесь были огромные и заглохшие, затянутые паутиной. Иногда приходила баба, подметала пол, пекла хлеб и ставила самовар; остальное время Щепкин пил холодный чай, находя это необременительным и даже полезным. От мяса же отвык давно. Бывая у Долгова и не желая обидеть, он ужинал иногда, но каждый раз после этого страдал. Одно его заботило — зимние холода, и каждый раз в октябре он продавал что-нибудь из вещей и покупал омет кизяку на эти деньги. Отдав большую часть земли крестьянам, а другую уступив им же задешево и раздарив деньги тем, кто нуждался или просил, он всегда с сожалением расставался с прекрасными вещами, хотя на картины никогда не смотрел, а фарфор стоял в пыльных глухих шкафах, ключи от которых были потеряны. Ценил же он и любил душевно только книги.

Пройдя сейчас в библиотеку с окнами в сад, он опустился в кресло, вытянул уставшие ноги и положил руку на кипу журналов, заваливших круглый столик.

Здесь были — «Современник», «Сын отечества», «Москвитянин», «Вестник Европы», «Неделя», Герцен, Спенсер, Бокль, Милль, Адам Смит и прочие и прочие хорошие, идейные, верные книги; в них было видно, как за несколько десятков лет бурлящий в идеальной и романтической пустоте дух человеческий осел, наконец, в виде практического и трезвого смысла... Щепкину казалось, что вся его жизнь — мечты, отречения и труд — запечатлены в этих кипах пыльных книг. Он сам пережил и осуществил мечты сороковых годов, и горячую очистительную работу шестидесятых, и тусклое, бездеятельное томление восьмидесятых, и новое, как откровение, ясное, как кирпич в руке, — учение Карла Маркса... Он два раза беседовал с Герценом и портрет Михайловского всегда держал на столе. Трогая и перелистывая старые книги, он точно оглядывался на себя, будто весь долгий путь его

на земле был всегда с ним в этой круглой, уставленной высокими шкапами, покрытой пылью комнате, освещенной солнцем сквозь темные ветви лип.

Увлечение Марксом окончилось у него неожиданно жестокой болезнью. Щепкин считал это слабостью и старчеством. Однажды, сидя за чаем, глядя на перекошенное лицо свое в самоваре, почувствовал, что нельзя просто лечь в землю, забыть все, покончить со всем: слишком много было прожито, чтобы все это отдать червякам. Какая-то часть его погибнуть не может. В сущности, живя для других, он жил для какой-то высшей цели, и вот то, что находится в этой цели, — больше всех общественных идеалов, больше, чем сама земля, и это не хочет и не может умереть.

Возмутился Щепкин подобным мыслям, но стало ему таинственно и сладко. Все окружающее его, вся жизнь приобрели особое значение. Он принялся читать те статьи, которые пропускал раньше, и все настойчивее стал ожидать нового часа, когда спадет с глаз еще одна пелена.

Сейчас, поглядывая то в окно на запущенный и еще мокрый сад, то на милые книги, то на желтую и костлявую руку свою, лежащую на «Сыне отечества», он думал, что все это придется оставить и почти перед концом приняться за утомительные заботы о желудке, о мерине и о Жуке. «Вот оно, барство, и сказалось, — думал он, — как его ни вытравай — всегда подгадит. Всем хочется отдохнуть, да не всякому отдых нужен, мне же он, пожалуй, и вреден. Вот я все думал — что мне нужно сделать последнее; теперь знаю — принять это изгнание отсюда с радостью. Трудиться ради идеи всякому приятно, а вот безо всякой идеи поступлю на двенадцать рублей жалованья, вот это так! В пастухи могу наняться, тогда и Жук и Ураган будут пристроены...»

Но все же ему было обидно, хоть и сдерживался он и попрекал себя, сколько мог...

На дворе в это время залаяла собака и послышался хруст колес по аллее. «Кому бы это быть?» — подумал Щепкин.

Он очень любил гостей: в каждом новом человеке видел единственные, неповторяемые качества, искривления души, новую, всегда бесконечно привлекательную форму. Поэтому он бывал благодарен заехавшему к нему, старался сделать приятное, подарить что-нибудь из вещей и каждый раз, извиняясь за невозможность угостить, трогал холодный самовар и говорил: «Ах, вот досада».

Жук перестал лаять, хлопнула вдалеке дверь. Щепкин вышел в залу и увидел Долгова и Растегина, который, удивленно оглядываясь, имел вид человека, сильно потрепанного и еще не совсем просохшего.

— Где у тебя кованный сундук на трех замках стоит, вот мы почему приехали, — проговорил Долгов, — я видел его лет десять назад; иди, иди, показывай!

Щепкин стал извиняться за беспорядок, припоминать, где может стоять сундук...

Вдруг Растегин воскликнул вне себя:

— Послушайте, у вас — музей, вы ничего не понимаете!

— Да, это еще крепостные работали, — ответил Щепкин, — вот это Федор, а то сделано Степаном, о нем предание даже сохранилось, будто он сначала видел во сне кресла и диваны, а потом уж их мастерил. Я все никак не соберусь убрать это старье куда-нибудь; труда на него положено много, пользы — никакой.

— Варварство! — завопил Растегин. — Целая культура у него в доме гниет, а он говорит о пользе, да я все освобождение крестьян за одно вот это кресло отдам!

Щепкин испуганно поглядел на Растегина.

— Как, это кресло вам дороже освобождения крестьян? — приговорил он и потер, точно согревая, ладони.

— Фарфор, черт меня возьми, екатерининский; Гарднер, старый Кузнецов, императорский завод! — уже вне себя вопил Растегин. — Слушайте, я все покупаю, давайте цену... Поскорее показывайте платья, фарфор, бронзу, кружева, плачу за все. Возьмой, это павловский стиль, смотрите, чистая Елизавета...

Его повели в чулан, где он со стоном схватился за голову: открыли крышку сундука, и оттуда пахнуло старыми духами. Он перебирал платья, платки, кружева, истлевшие туфельки; вскрикивая, взглядывая на вышивку, выворачивал глаза, нюхал ее, обонявал Щепкина телятиной и еще чем-то, — завернулся в персидскую шаль.

— Сколько вы хотите? Только не грабьте, говорите цену десять тысяч, пятнадцать, только — чтобы расписка была, чтобы видели, а то, знаете, у нас в Москве ничему не верят...

— В сущности говоря, эти вещи не продажные, это все моей матушки вещи, — заикнулся было Щепкин.

— Двадцать тысяч! — воскликнул Растегин, вытаскивая чехол вую книжку; при этом он так наступал на хозяина, что тот пришептал, испугавшись:

— Ну, хорошо, хорошо.

Долгов и Растегин, взяв пока кое-что из платья, уехали. Щепкин остался стоять посреди темной залы, затянутой паутиной; чехол на двадцать тысяч дрожал у него в руке.

«Фу ты, как все это скоро, — подумал он, — что же мне теперь делать с этими деньгами?»

Он подошел к пыльным шкафам, где стоял фарфор; с удивлением, точно первый раз, поглядел на мебель; в раздумье остановился у окна, за которым было видно пожарище, и вдруг ему стало стыдно и неловко.

«Ну, конечно, все это Долгов подстроил, — подумал он, — ну зачем же столько было дарить, мне достаточно было и тысячи рублей».

Думая, как теперь устроиться, выкупить ли вновь усадьбу, или нанять простую избу, или сесть на хлеб к Долгову, он внезапно представил себе длинный ряд старческих сонных лет, чахлое и

мудное угасание, словно уже видел себя попивающим на балконе чашек за чтением «Крестового календаря».

— Да, жить можно в свое удовольствие, — проговорил он, — еще лет десять, пожалуй, отмахаю! Благодетелем буду, благотворителем. Придет мужичок, дам ему полсотни на семена, а дети малые ручку будут у дедушки целовать. Где бишь я об этом читал? Именно вот про такого старичка приятного, — всю жизнь он трущился и не роптал, а на склоне лет получил от Господа Бога милость и благоденствие на радость себе, на добрый пример всем людям. А вот взять сейчас и отдать сей чек погорельцам! И то, отдам! Что-то уж очень противно.

Стараясь не улыбнуться, сдерживая бьющееся сердце, боясь, как бы от внезапной радости не подкосились ноги, Щепкин поспешно спустился с лестницы и, подмигнув Урагану, отправился к пожарищу. День казался ему особенно ясным, как никогда, и птицы — иволги и дикие голуби — пели в саду райскими голосами.

9

Александр Демьянович, сидя подле Раисы в просторном тарантасе, нагруженном ящиками с фарфором, платьями и старинными вещами, — скакал во весь дух к железнодорожной станции.

Подводы с мебелью и громоздкие сундуки должны были тронуться на днях, он поручил это сделать Чувашеву, сам же спешил поскорее от греха выбраться из уезда.

Солнце закатилось, и в мокрых ржах кричали перепела. Растегин вертелся на подушках, вне себя от нетерпения и радости. Поездка удалась, как он и не думал; сердце у Раисы прошло, она была даже приветлива, только иногда глаза ее неподвижно останавливались на спине кучера, но Растегин большого значения этому не придавал. Обнимая ее за плечи, наклонясь к маленькому уху, он спрашивал:

— Скажи, моя великолепная, чего тебе еще хочется?

— А я сама не знаю, — отвечала Раиса.

— Ты моя мечта, ты мой эксцесс, — шептал он ей в губы.

— А мне так не нравится, как вы меня называете, — отвечала она, отворачиваясь, — зовите лучше Раисой!

— Когда ты будешь моей?

— Ишь как торопитесь! Когда захочу, тогда и буду.

— Я не доживу до этого дня.

— Жили до сих пор, ну и доживете. Чево-то, как комары кусаются.

Комары действительно кусались; самые сильные из них и смелые поспедали за тарантасом, впивались в щеки и лоб, пищали под самым носом, на морщинистой шее у ямщика сидело их восемь штук.

В острых разговорах, в допытывании взаимности незаметно пролетела дорога. Закат потускнел, позеленело небо; точно вымытые

вчерашним дождем, появились на нем звезды. Невдалеке, в темном поле, показались желтые и белые огни станции. Тарантас загрохотал по булыжнику, мимо крытых дерном погребов, и остановился у заднего крыльца вокзала, где торчал железнодорожный юноша, изо всей силы зевая.

— Бери вещи, живо! — крикнул ему Растегин, высаживая Раису.

Железнодорожный юноша посмотрел и ушел, ничего не сказав. Александр Демьянович покричал сторожа, возмутился, но все же ему самому вместе с ящиком пришлось перетаскать ящики и тележки в залу I-II класса.

Здесь между двух открытых окон стоял дубовый диванчик, перед ним круглый стол, покрытый черной клеенкой. На нем горела лампа с круглым матовым колпаком: валялась шелуха от вобли, семечек и крошки хлеба. В глубине, на прилавке, спал какой-то мужик, завернувшись с головой в полушубок. Раиса прилегла на диванчик, Александр Демьянович сел напротив нее к столу. В открытые окна влетало и улетало такое множество комаров, что воздух звенел от их писка. Раиса медленно натянула на лицо белый платок и, должно быть, заплакала, потому что плечи ее стали подергиваться. Растегин принялся было утешать, но она ответила: «Оставьте меня, пожалуйста», — и он вернулся на место, но сейчас же вскочил: комары пропихивали голодные носы сквозь пиджак, и ноги горели, как обожженные.

Разыскивая начальника станции, Александр Демьянович попал в небольшую комнату, где тикал телеграф и стояли два красных аппарата вроде турецких памятников, у каждого из середины торчала небольшая трубка с раструбом.

— Эй, где тут начальник станции? — громко спросил Растегин, — он стоял посреди комнаты и прислушивался. Вдруг одна трубка заревела басом: «У-у-у-у-у», а другая заквакала, как лягушка. И в пустой степи какие-то трубки; Растегину стало не по себе. — Эй, сдохли бы вы все, что ли! — закричал он злым голосом. Наконец из маленькой двери вылез толстый, небольшого роста молодой человек в голубой расстегнутой рубашке; сильно почесывая волосы и щурясь на свет, он подошел к аппаратам; красные щеки его, губы, подбородок и живот были такие толстые, точно их нарочно оттягивали от нечего делать. Растегин спросил, когда же будет, наконец, поезд.

— Поезд? — переспросил молодой человек. — Поезд, значит, опоздал. Значит, это, как его... — Он покряхтел, затем обиделся и сказал: — Что вы хотите? Сюда посторонним лицам вход вообще не разрешается. На семь часов опоздал. Ах ты, пропасти на них нет, — и он опять ушел в маленькую дверку.

Растегин в отчаянии вернулся к Раисе.

— Так ты за этим меня сюда привез? Комаров кормить? — сказала она ему из-под платка. — Ах ты бессовестный!

В тоске Александр Демьянович то вертелся на стуле, стараясь добиться хоть одного слова от обозлившейся Раисы, то выходил на

перрон. Здесь было еще гаже, — темно, сыро, далеко до рассвета, и небе торчали все те же звезды, на земле блестили две пары рельсов. Не было ни лошадей, чтобы ехать отсюда, ни буфета, никакой рожи, хоть бы накричать на нее со злости.

Часу во втором утра послышался звон колокольчика. Растегин в это время, раскупорив один из ящиков, просматривал старый альбом с незнакомыми фотографиями давно умерших людей. Услышав колокольчик, он сказал:

— Раиса, голубушка, приободришься немного. Вот еще кто-то идет. Все вместе и переждем. Нельзя же так падать духом.

Неожиданно Раиса не только приободрилась, но, словно с большим волнением, приподнялась на диванчике, прислушиваясь. Припухшие губы ее медленно усмехнулись, а светлые глаза уставились на Растегина так странно, что он смутился и спросил поспешно:

— Что такое?

Раиса опять закрылась платком, вся вздрагивая, но, должно быть, не от слез на этот раз, а от смеха. Колокольчик прозвенел близко, бешено зазвякали подковы, затрещали колеса. Растегин двинулся было к двери, но в ней уже появился Семочка Окоемов, засучивая полотняные рукава, а из-за бока его выглядывал Дыркин.

— Папашка, — закричала Раиса со смехом, — я здесь, ей-богу! — Она сидела на диване, упершись руками в коленки и смеясь во весь рот.

Растегин отступил, ноги его стали как перешибленные, и заболел низ живота. Окоемов, сильно дыша, подошел к нему, взял за ворот, встряхнул один раз, спросил:

— Ты будешь к нам ездить? — потрянул другой раз, повторил: — Будешь к нам шататься, чучело бритое? — потрянул в третий и, ничего более не прибавив, повернул его к двери и, дав сильного леща, пустил лететь через порог до самого перрона...

Александр Демьянович упал, ахнул, но сейчас же приподнялся и увидел, как в одном освещенном окне обнимались то Дыркин с Раисой, то Окоемов обнимал Раису, а в другом окне, высунувшись, хохотал до слез, тряс косматой головой толстый начальник станции в голубой рубашке.

Затем через окно к ногам Александра Демьяновича полетели все шесть ящиков с фарфором и старинными вещами. После этого зазвенел колокольчик, протопали лошади, прогремели колеса, и топот и звон понемногу затихли. Небо засерело у краев и зазеленело. Александр Демьянович, опустив голову, сидел на ящике, ожидая поезда.

«Попадись теперь мне Опахалов, мазила несчастный, — думал он, — я ему покажу двадцатые года! Тоже — стиль выдумали, бездельники проклятые!»

Издали за лесом за клубился белый дымок, и долетел протяжный свист поезда.

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Глава первая

Только к полуночи заглох закат, отцвело у краев земли небо и во всю силу осыпалось созвездиями, а на церковные купола, крыши домов и деревья опустилась роса.

Николай Николаевич лежал на кровати, упираясь локтем в подушку, и глядел в небо.

Не шевелясь и не мигая, глядел он на звезды, словно омытые росой. И казалось, что не из сада, куда открывалось окно мастерской, а от запаха этих звезд в темную спальню идет запах влажной, сладкой резины.

Аромат резины всегда был связан у него с очень странным представлением: казалось, что если сесть на подоконник и наклониться вниз, то не увидишь земли, а только темное небо, осыпанное звездами. Как будто дом его и он, на окне, в ночной рубашке, прилепились на краю земли, на последнем мысу, и только узкий подоконник отделяет его от падения в темное, покрытое синими искрами пространство, глубоко уходящее вниз.

Этот край, узкий мыс земли, неверный и зыбкий, как шпори, как нос корабля, несется навстречу созвездиям. Их огни опутывают тонкой паутиной, не хочется ни думать, ни двинуться, ни закрыть глаз, — «покой и полет, и не жизнь!»

Где-то далеко, на бульваре должно быть, покотился железным ходом трамвай. Внизу чей-то голос проговорил: «Что ты, Вася, как тебе не стыдно!» — и простучали шаги. Струя теплого воздуха донесла в окно запах улицы.

Николай Николаевич закрыл глаза, и сейчас же понеслись все впечатления прошедшего дня: встречи, разговоры, лица и рожи, и, затеняя все, появилось под конец одно лицо — господина Ворони на, перекошенное испугом, удивлением и гневом.

Лицо это было до того неприятно, что Николай Николаевич сморщился, пошевелился на кровати, потом протянул руку, достал из стаканчика папироску и, повертев между пальцами бензиновую зажигалку, открыл ее. Вспыхнул огонек, осветил длинные, прищуренные от света глаза Николая Николаевича, сухой его горбатый

ни, подстриженные усы, четко вырезанный чистый рот и струю глубокого дыма. Затем огонь потух. Но спокойствие не вернулось, будто огонек совсем спалил паутину звездных лучей, всколыхнутых природскими шумами.

Николай Николаевич был человек веселый и удачливый. Но за последнее время произошел незаметный почти сдвиг, так — пуски, точно лопнула жилка, не крупнее той, что разрывается в близу. Но от этой неясной, ничтожной причины многое изменилось. Теперь каждый вечер, отворив американским ключиком дверь хозяйской своей квартиры, оставлял он по ту сторону город, людей и суету; день уходил, как отлив, от его порога. И каждый раз выясалось, что прожитый день был словно людной площадью, которую он перебежал, никого не коснувшись, и никто не задел его ни словом, ни чувством, ни рукой, будто он один и был живой во всем городе, а все остальное призраки, тени на экране.

Все это началось с пустого, быть может, но довольно необычного случая и, усиливаясь, опустошало, сковывало волю. Николай Николаевич понимал, что только решительным поступком можно отвязаться от этой болезни, но в себе он не нашел ни силы, ни желания поступать решительно. Он только постарался освободить себя от всех обязанностей, чтобы остаться одному и налегке. На днях отказался от выгодной постройке, передав ее приятелю. Понемногу разрывал деловые и дружеские связи; послал несколько важных писем; ответы же на них, не читая, запер в ящике стола. А на днях выдвинул ящик за ящиком и все содержимое сжег в камине, словно это было очищением перед коренной переменой, катастрофой, смертью... Он не знал... Но и не страшился.

Сейчас Николаю Николаевичу было жаль отлетевшего оцепенения. Впечатления дня и встреча с господином Ворониным бесконечно повторялись в его памяти, он чувствовал все сильнейшее отвращение и беспокойство. Положив докуренную папироску, он повертелся еще, приподнялся на локте и нажал звонок.

И тотчас вслед за звонком слышно было, как в кухне девушка (теща спрыгнула на пол и по коридору застучали ее быстрые шаги.

Николай Николаевич покачал головой.

— Войдите, Стеша, — сказал он спокойно; в полуотворенную дверь проскользнула девушка и остановилась. — Не зажигайте свет, подойдите ближе, сядьте, — продолжал Николай Николаевич.

Девушка подумала, быстро двинулась и, держась прямо, присела в ногах. Ему был виден тонкий ее силуэт с опущенными плечами, в темном платье; за ее головой в окне теплились звезды.

— Вы опять не спали, — проговорил Николай Николаевич. — Послушайте, милая Стеша, сегодня вы опять сказали: «у вас на пальце запачкано».

Стеша чуть кивнула головой на это.

— На пальто, — проговорила она негромко.

— А потом вы сказали: «таперича все чисто».

Николай Николаевич засмеялся, потом высвободил руку и гнул палец.

— Я лежал и думал о вас. Во-первых, вы очень умная и, когда меня нет дома, читаете Пушкина; во-вторых, если не считать «на пальте» и «таперича», — очень изящны; в-третьих, вы единственный человек, который меня любит; затем, вы самая красивая вещь у меня в квартире, а я слишком люблю красивые вещи, чтобы их разбивать.

Стеша быстро поднялась, он поймал ее за черный фартук, перехватил за маленькую холодную руку и посадил опять в конце постели.

— Стеша, когда я вас позвал, вы прыгнули с сундука и стояли целую минуту без сознания — не то бежать на улицу, не то в подушки зарыться, не то покориться тому, что сильнее вас... Каждый раз, когда я зову, вы думаете об этом. Нет, нет, для этого я вас не позову никогда. Мне нужно, чтобы здесь у меня был тайный уголок, где все чисто, как в церковном окне.

Николай Николаевич помолчал, рот его передернуло гримасой. Стеша не двигалась, опустила голову.

— И вам действительно опасно приходиться, когда позову, — продолжал он, — уцепиться мне теперь уж не за что; вот мне разве погубить, да на этом и покаяться? Для самого тонкого удовольствия разрушить последнюю прекрасную вещь. Слушайте, Стеша: был один царь, настало ему время умирать, а не хочется, тогда велел он привести девственницу и положил ее с собой, чтобы она свои силы отдала ему.

— Бог знает, что вы говорите, Николай Николаевич, — откликнулась Стеша серьезным голосом. — Стыда у вас нет...

— Стыда у меня нет, — проговорил он задумчиво, — у меня и жалости нет, ничего у меня нет, пустое место. А живу одним так устраиваю, чтобы поменьше было неприятностей и навязчивых мыслей и побольше удовольствия: прохожу между камушков. Как в сахарной патоке сижу от всех неприятностей: и противно, и тепло, и сладко... А вы слушаете мою чепуху, и когда истерзали вас непонятными словами, ожиданием, насмешкой (ведь я смеюсь над вами все время, всегда), вы будете реветь потом весь день, а я успокоюсь. Стеша, хотите спасти меня?

Николай Николаевич приподнялся, взял девушку за локти и повернул к себе. Она не сопротивлялась. Лицо ее было совсем бледное, и раскрытые глаза, как темные пятна, без блеска. Николай Николаевич старался заметить волнение, страх, гибель в них, но Стеша почти не дышала, почти не видела; ничего не поняв, она простила заранее, покорилась, предалась; и на что ей нужны были тоненькое восемнадцатилетнее тело и девичья душа, как не отдать их поскорее и без возврата тому, кто мил до смерти.

Он бородой коснулся ее щеки. Стеша усмехнулась и легко вздохнула: в первый раз он был так близко от нее. Она медленно закрыла глаза, но он отпустил ее локти, отодвинулся и сказал:

— Теперь я могу рассказать одну историю; расскажу и покончу с ней, а вы дайте совет. Помните, на Масленицу приезжал профессор Воронин? У него очень хорошенькая жена, так вот она прислала его ко мне, чтобы пригласить на вечер. Он просидел часа тридцать, наконец пересилил себя и пригласил. Я поехал. Профессорше, Стеша, тридцать пять лет, у нее светлые волосы, теплая кожа и нежный голос. Должно быть, ее сильно огорчили в этот вечер, она проговорила со мной весь вечер и с такой злобой и отчаянием отозвалась о муже, что мне захотелось ее утешить. Представьте женщину, не связанную ни чувством, ни правилами, потому что у нее ничего этого нет, и не грешила ни разу. Странно. Это измучило, и муж надоел ужасно, и почему-то все время ее мысли были обо мне. Я не мог не согласиться, раз женщина ждала тридцать пять лет, счел своим долгом. Она, конечно, перепугалась, и стал настаивать; она принялась лгать, будто все это пока еще в теории. Тогда я объяснил, что у меня слишком много обязанностей перед другими и нет времени на отвлеченные занятия. Она, должно быть, немножко сошла с ума в этот вечер. А через день сама открыла мне парадную дверь. Муж спал в кабинете. Сначала меня забавляло опасное приключение, потом закружилась голова: я никогда не видал такой радости, страха и отчаяния от греха, которому предалась профессорша. Вдруг в доме поднялась беготня. Я быстро очнулся и подошел к запертой двери. На весь дом закричали: «Пожар!» Другого не было выхода, кроме этой двери; к ней подбежал господин профессор и стал звать: «Катя, Катя, проснись, на дворе пожар!» Он не отходил, вертел ручку и стучал. Она дергала меня за пиджак и повторяла отчаянно: «Уходите». Я поправил галстук, вымучился, отворил дверь и не спеша прошел мимо *него* к прихожей. Он мельком взглянул на меня, ничего не понял и вбежал к жене. После этого я постарался не встречаться с ними. Квартира их действительно обгорела, они перебрались на другую. Профессорша пожелала было возобновить наши отношения, но я отказался. Ну, а многоуважаемый профессор, оказывается, ни разу не упомянул жене про таинственную встречу со мной в дверях спальни. И этой встрече ужасно много было нестерпимого, чего нельзя вспоминать. И вот, Стеша, сегодня вечером я ужинал в ресторане, и вдруг за соседний столик садятся они. В углу горит камин. Я поклонился и стал глядеть на огонь, и мне казалось, что время от времени в затылок впускают иглу. Я оглянулся. Профессорша, очень грустная, глядела на горящие дрова, и то на них, то на меня взглядывал профессор. Он совсем лысый, с толстыми щеками, и рот его стало серое, как у мертвого, опустилось, усы раздвинулись, и рот, измазанный красным соусом, застыл, открылся... Фу, гадость! Он только в эту минуту, глядя на огонь и на меня, вспомнил нас, вспомнил встречу в дверях и — не в силах сдерживать логики воспоминаний — догадался. Когда я расплатился и хотел уйти, он быстро подошел ко мне и попросил принять его завтра утром. Он глядел под ноги, а руки держал в карманах. И вдруг

рот его перекосялся, уши и лысина побагровели. Невнятно, как в бочку, глухо, он торопливо пробормотал: «Я тебя убью». И отвернулся. Черт его знает, может быть мне все это показалось. Он придет, Стеша, и мне нечего ему сказать завтра, я не выжму из себя ни слова. Я и сейчас вижу два его оловянных глаза, и помимо — дырка револьвера. Вот что. Значит, погибнуть глупо и бессмысленно? Уйти к черту в потемки? Не хочу. Не могу. Не хочется...

Николай Николаевич вдруг оборвал. Повернувшись на бок, он подsunул ладонь под щеку.

— Ну вот, теперь и засну, пожалуй. Стеша, закройте окно, — проговорил он.

Давешние непримиримые мысли словно примирились сами собой и стали таять, как туман, как ночные призраки. Небо в окне побледнело, звезды позеленели, те, что помельче, пропали совсем, и далеко за городом протянулась нежно-розовая полоса рассвета.

Стеша, словно очнувшись, соскользнула с постели, подошла к подоконнику, оперлась о него коленом, приподнялась, протянула руки и, взявшись ими за раму, захлопнула окно; затем, отойдя от двери, спросила:

— Вам кофе утром или шоколад?

Николай Николаевич не ответил. И ей показалось, что теперь, когда он передал ей самое тяжелое (она плохо поняла, но чувствовала, как он мучился и тосковал), не грешно же будет подойти и поцеловать его в щеку, но она тряхнула головой и, тихонько притворив дверь, ушла на цыпочках.

Утром, за минуту до пробуждения, Николай Николаевич увидел во сне Тверской бульвар; свет на нем был красноватый, густой, тягучий; впереди медленно волочилось по земле пыльное облако. Сзади неустанно нагоняли чьи-то шаги. Бульвар пуст; деревья без листьев; красноватые улицы каменные и глухие; и все же повсюду было множество людей; они ловко увертывались от взгляда, стремительно шарахались, проходили сквозь дома... Ловкачи были страшные. Дразнили или боялись — непонятно... А сзади догоняли шаги... Должно быть, этого все и боялись... Наконец тот, кто догонял, — появился; на нем было широкое пальто и американская шапка. Он закрутился, как собачонка, но стал — и оказался сутулым, небольшим и с тросточкой. Он вынул папироску и стал курить, затягиваясь. Дым пошел из его рта розовый. Тогда появились его глаза — ласковые, свинные, тошнотные... Николай Николаевич не мог уже пошевелиться, понял, что пропал: не надо было ловить этого взгляда. А тот опустил тросточку и побежал за ней вокруг Николая Николаевича, растягиваясь, отставая от тросточки, делаясь тоньше, длиннее, как макарона, как паутина, как ничто, и на песок лег желтоватый круг... Весь бульвар наполнился людьми, у которых все было преувеличено до тошноты, особенно у женщин. «Сейчас увижу себя, я уж знаю, — подумал он, — сейчас, как собачонка, стану крутиться в кругу... Какая мерзость... Каждую ночь одно и то же...» Не в силах сдержаться, он стреми-

ельно полетел над толпой к тому месту, где в кругу под наклонившимися шапками, шляпами, перьями крутился, как жилистый юбелек, он сам...

— Фу, пакость какая! — пробормотал Николай Николаевич, вставая на кровати, и не успел договорить, как уже забыл про сон.

Солнце поднялось над крышей, свет его лежал на желтом паркетe. Шум и шелканье, голоса, грохот, гудки и звяканье слышны были через закрытое окно, над головой дрожала хрусталиками люстра.

Николай Николаевич с трудом овладевал рассеянными мыслями; ему нужно было ответить на несколько писем, побывать в десяти местах и выбрать, куда он с большим удовольствием поедет вбдатель.

Одетый и вымытый, он вышел в кабинет и позвонил Стешу; она внесла кофейник и пачку писем; поверх черного платья на ней был белый передник. Спокойная, серьезная, с опущенными глазами, она подошла к столу, согнув колени, чтобы наклониться, поставила поднос и, заложив руки в карманы передника, сказала:

— Недавно господин Воронин заходил, я сказала, что вы спите... обещались зайти еще... Как прикажете им ответить?

Николай Николаевич выронил письмо и поглядел на девушку; в углах сжатых ее губ появилась и пропала усмешка.

— Скажите, что очень прошу и жду и буду ждать весь день... Идите! — проговорил он поспешно.

Стеша ушла. Он продолжал распечатывать письма, хмурясь и поднимая плечи.

«С чего начнет? Спросит, конечно: такого-то числа я видел вас в спальне моей жены? Не лгать же мне, в самом деле! Он будет стрелять или захочет драться?.. Какая чепуха! Взять его и вытолкать или прямо не пустить! Нет, буду ждать и оскорбление приму, только бы жить, еще пожить немного... Я боюсь, трушу?.. Ах, конечно! Конечно, я болен, просто болен, болен».

Николай Николаевич ждал звонка и торопился додумать до конца. И выпущенные на свободу мысли понеслись к верному, вчера еще задуманному концу. И чтобы хоть немного оправдаться, он повторял, что болен и болен... Он отодвинул пачку писем, облокотился, потом принялся ходить по толстому ковру кабинета, потом выскочил в коридор, позвал Стешу и приказал укладывать чемодан. Сам же суетился, ища бритву, гребешки, галстуки; не зная, где лежит паспорт, вдруг останавливался и соображал, что, если сейчас позвонит Воронин, нужно выскочить через черный ход на двор и в переулок. Наконец, одетый в дорожное пальто и с чемоданом в руке, он подошел к парадной двери; за ней был вольный берег, и все опасности оставались позади. Стеша, просунув вперед него руку, искала пуговку американского замка.

— Ну, Стеша, прощайте, — сказал он, — когда вернусь — не знаю, а все, что забыл и что понадобится, пришлите мне, когда напишу...

Он заметил, что пальцы Стеши дрожат и не могут схватить пуговицы замка, и обернулся. Стеша стояла у правого его плеча, подняв лицо; из глаз ее текли слезы.

Он быстро схватил девушку за плечи, поцеловал в губы, отстранил и вышел.

Николай Николаевич Стабесов, архитектор-строитель, не был один на свете. Мать и отец его жили в Энске, поволжском губернском городе, выезжая по летам в деревню. В Москве было много родных и пропасть знакомых, из которых никто не смотрел на него как на пустое место: одним он казался очаровательным, другим опасным, третьи его ненавидели. Местный остряк сочинил про него стишок:

Чтоб покончить счёты с жизнью,
Архитектором я стал.
Я черчу, черчу, черчу,
Все сердечки я черчу.

Несколько семейств хотело заполучить его на лето в деревню. Две дамы предлагали свободный брак для заграничного путешествия. А Николаю Николаевичу казалось, и с каждым днем все яснее, что все — даже самые острые — удовольствия подобны пуговицам на жилете: каждый день их нужно застегивать и расстегивать, и от этого не прибавляется ничего.

Поэтому он отклонил все летние предложения; двум дамам, желавшим вступить в свободный брак, ответил, что находится в тяжком настроении и это испортило бы только прелесть поездки, и внезапно решил поехать к отцу под Энск, в имение Варвары Ивановны Томилиной, где Стабесовы проводили каждое лето. Там по крайней мере можно было не думать ни о чем и спокойно скучать. А это очень важно.

Поезд в Нижний отходил только вечером. Николай Николаевич, приехав в третьем часу на вокзал, позавтракал и пообедал, сидя у залитого солнцем огромного окна. Когда же солнце перестало печь затылок и прошла сопливость, он вырвал из книжки три листика и принялся быстро писать:

«Милые папа и мама, сижу на вокзале, хотя поезд отходит только через три часа, и если бы через тридцать часов, все равно я бы не вернулся в город. Все, что там делается, — болезнь, бред, смертельная тоска... Сегодня ко мне должен был заехать человек, чтобы убить меня. Бороться и охранять себя больше не могу, не хочу. Мне очень хочется, чтобы эта поездка принесла много неожиданного и нового. Не знаю, что мне нужно, но больше не могу вертеться в кругу; я верчусь в нем бессмысленно и устал до смерти. Так вот, я очень прошу вас обоих не говорить мне ни о каких причинах моего теперешнего состояния. Я мог бы двадцать раз сильнее устать, и все равно это было бы не то, не та пустота. Все ваши рассуждения — чепуха. Наплевать мне на все эти физические, химические, психологические, наследственные, социальные и

«прочие причины моей усталости, когда я знаю, что все равно умру. Ичера вечером я бы еще мог умереть, но — не сейчас; к смерти надо подойти полным, пресыщенным, богатым. Я ставлю одно условие: проживу у вас все лето, и вы не будете меня утешать и не должны хвастаться, будто в один прекрасный день поняли — все на свете есть род водорода, а после смерти на могилке вырастет лопух. Об этом лопухе прошу не упоминать... У меня уж, кажется, из ушей растут лопухи».

Николай Николаевич перечел, поморщился, потом приписал: «Обнимаю вас и крепко целую, не сердитесь», запечатал письмо, сунул в карман и вышел на платформу.

Под грязным, прокопченным куполом из железа и стекла стояли пыльные поезда, ходили служащие в грязных кафтанах из парусины; вдалеке, по залитым мокрой копотью и нефтью путям, ездил, громко свистя, паровоз. Два перемазанных сажей сцепщика шли за буферами вагона; они скрылись из виду, но вскоре появились опять, уже подталкиваемые тем же вагоном; напротив Николая Николаевича вагон глухо ударился в товарный поезд, сцепщики надели цепи и, вылезая из-под буферов, стали угощать друг друга табачком.

Сцепщик, что стоял поближе, белобрысый и рябой, вдруг замесялся тонким, бабьим голосом; другой, низенький и прокопченный насквозь, рассказывал:

— Ведь жена она ему, трактирщику-то, жена, а надела мужеское платье, ну чистый мужик... подходит к стойке и мужу своему, мужу, понимаешь, говорит: «Целовальник, дай-ка мне пивка!» Мы все тут сидим, глядим — мужик как есть, и усы, и все... А целовальник рукой вот этак и груди ей потрогал: «Что это у тебя, говорит, мужик, груди-то женские?» Глядим, все у нее мужеское, а груди — женские. Тут мы померли со смеху... Вот какая веселая трактирщица, нарядилась...

Сцепщики покурили табачок и ушли. А Николай Николаевич продолжал стоять; ему в первый раз представилось, что в жизни этих сцепщиков он не участвует никак и им ни до него, ни до его настроений нет дела. Должно быть, каждый, сколько людей ни есть, представляет себя единственным и настоящим, все же остальное — только касающимся себя, по поводу себя, и это остальное может и не существовать.

Зажгли огни — зеленые, красные, желтые; за раскрытую аркой стеклянной крыши разлилась багровая заря; кресты, купола и верхи высоких домов чернели на ней, как нарисованные тушью. Тряпками вытирали вагоны. Появился начальник станции, носильщики и лишние люди. Подали нижегородский поезд. Николай Николаевич залез в купе, заперся и лег; и когда поезд отошел и, свистя, понесся в темном пространстве, Николай Николаевич точно ощутил присутствие миллионов людей, копошащихся по всей земле, себя же представил маленьким, измученным лягушонком.

В Нижнем звонили во все колокола; вились флаги на набережной, кучами ходил народ, носился пыльный ветер между пестрых

лавок, балаганов и вывесок на столбах, между куч из мешков, покрытых брезентами. На горах, за старинными стенами клонились деревья. За желтой Окой, над ярмаркой, стояла пыльная туча. На синей Волге пенились валы; а на дальнем берегу озера, луга, деревни, дремучие леса уходили за край неба, за древний Светлояр.

Был праздник и царский день. Николай Николаевич подвез на извозчике к пароходным сходням; два босяка подхватили багаж, но чернобородый матрос, растолкав их, отнял чемодан и сам отнес на пароход — просторный, белый и чистый.

Николай Николаевич сел на палубу в плетеное кресло. В воздухе было шумно и бранно. Пароход дрожал от топота шагов; на сходням в трюм сбегали грузчики; на конторке и, двигаясь к трапу, толкались пассажиры, провожающие и ротозои. На женщинах развевались шарфы и юбки; мужчины придерживали шапки на голове. Вдоль борта вдруг пронеслась чья-то сорванная соломенная шляпа и села на воду; многие закричали и засмеялись; матрос на носу размахал свернутую чалку и бросил ее в шляпу, приподнятую волною, но промахнулся; на мостки маленькой купальни выскочил голый мальчишка, задрал голову к пароходу, указал на шляпу кривой ручонкой и, мелькнув, как рыба, в воздухе розовым телом, шлепнулся в воду и поплыл.

Николай Николаевич с недоумением глядел на всю эту жимучую суету, залитую солнцем. Лакей принес ему чай, масло и хлеб. Книгоноша пристал с открытками и книжками, потом, подмигнув, вытащил из сумки «Половой вопрос». Николай Николаевич купил и «Половой вопрос».

Вчера на вокзале, потом в поезде почувствовал он множество невидимых людей, а сегодня он увидел их наяву — живых, веселых, на ветру, под солнцем. Ему не казалось странным, что раньше он, кроме себя, кроме темной своей, как ночное небо, пустой души, ничего не замечал. Должно быть, надо было почувствовать себя лягушонком — и мир приблизился, и все, что казалось пустотой, заполнилось живыми людьми.

Капитан с мостика спросил, окончена ли погрузка; крючниками в бумазейных рубахах распояской, с открытой грудью, бегом принесли последнюю кладь. Зашипел из самого нутра, загудел пароход; побросали чалки; из-под колес повалил пар, и конторка стала отделяться вместе с народом, берегами, городом и башнями. На палубе переместились тени и солнце; пароход повернулся правым бортом к луговой стороне и побежал вниз.

В отделанной цветным деревом, кожей и зеркалами рубке у окон за столиками сидели пассажиры: пожилая дама с помятым лицом, хорошенькая барышня и студент; далее путевский инженер и его жена, они только что поженились, ели ягоды и, шушукаясь, писали открытки; напротив них — две полные дамы в кружевных платьях, одна красивая и круглолицая, другая — неслыханный урод; далее сидели в ряд три барышни купеческого происхождения, в одинаковых кофточках, румяные и скудливые, и в углу под зер-

Мом — морской офицер и с ним отставной полковник, в казакине на деревяшке.

Офицер и полковник пили водку и разговаривали.

— Не успел туман этот подняться, — рассказывал офицер, — как начинают в нас палить из двенадцатидюймовых, клещут прямо борта...

— Ад, — уверенно, с знающим видом вставил полковник, — бывал я под пулями, — и, сильно потеряв стриженую седую голову, налил еще по рюмке.

Две полные дамы ели раков, круглолицая говорила:

— Он такой несдержанный, что мне прямо стало неловко.

На что неслыханный урод ответила:

— Ну, вот пустяки, был бы страстный.

Студент горячо толковал хорошенькой барышне про молекулярную теорию.

— Вы только поймите, до чего все ясно становится, — уверял он.

Дым ходил струями по рубке; сверху из вентиляторов врвался сильный ветер; с левой стороны чесучовые шторы на окнах были залиты солнцем. Николай Николаевич сидел у среднего стола под освещающей люстрой.

Он только слушал и глядел, и пассажиры казались ему более шумными, живыми и выпуклыми, чем настоящие люди. Хорошенькая барышня, не понимая молекулярной теории, отогнула штору; солнечным светом залило ее руку, и пальцы и ладонь стали прозрачными и алыми. Николаю Николаевичу показалось, что у всех сидящих здесь течет такая же алая, солнечная, горячая кровь. И больше всего он дивился на багрового от всяких избытков полковника с деревяшкой.

— Я, знаете ли, такого мнения, — утверждал полковник, — раньше русский человек был храбрее; климат очень переменялся, в этом же беда; раньше лето — так уж пекло, зима — так трещит, таков и русский человек. Либо все ходуном у него, либо в штывы, и никаких. А теперь что за люди, что за климат! Раньше, бывало, зима — вот вы мне не поверите: еду раз по степи, снег, и ровно, как скатерть; вдруг говорю шкипу: «Стой!» Что такое? Сбоку дороги, в снегу, — дыра, и оттуда дым; гляжу, еще дыра и дым, — и так целый порядок. Оказывается — дело вчера занесло бураном. Теперь вы увидите подобное? А найдите вы мне полнокровного человека, как я, например?

При этом и он и офицер поглядели на Николая Николаевича, который наклонился и сказал:

— Я давно к вам прислушиваюсь, полковник, вы совершенно правы — не только полнокровных, живых людей не найдете.

Он усмехнулся и оглянул сидящих; две полные дамы, три купеческие девицы и хорошенькая барышня посмотрели на него с удивлением.

— Пить, есть, заниматься делами и так далее еще не значит жить, — окончил он брезгливо, — а жить, значит радоваться, вот вы этому научите?

Полковнику и офицеру сейчас же стало неловко; все глядело на них и на Стабесова с ужасным любопытством; в рубке сделалось тихо; Николай Николаевич развалился на стуле и хмурил густые брови; он вдруг обозлился на этих людей с розовой кровью и понимая, что вмешательство его в разговор неуместно, хмурился все сильнее; полковник вытер салфеткой рот, поднялся и сказал отчетливо:

— Это, знаете ли, вопрос философский; а не пойти ли нам на свежий воздух?

Выкидывая вперед деревяшку, он ушел; офицер глядел в окно и свистел, наконец бросил салфетку и вышел тоже; круглолицая дама и неслыханный урод вдруг фыркнули. Николай Николаевич оглянул остальных сидящих. «Этим-то уж во всяком случае меня дела нет», — подумал он, медленно, по-стариковски, поднялся и, не обернувшись, пошел на палубу, причем почувствовал, как в спину ему воткнулись восемнадцать глаз.

Ветер стих совсем, солнце уходило к закату; Волга была совсем гладкая, чуть трогала ее местами рябь; налево в ней отражалась облака, направо — глинистый обрыв, холмы, деревни иногда или белая церковь за кущей берез. А далеко впереди спокойное течение преграждала лиловатая полоска леса.

Николай Николаевич стоял у белого столбика борта и глядел. Покойное белесоватое небо, начавшее желтеть у закатного края, бледная зелень берегов, облака, спокойные воды и бедные селения на высоких холмах — все это было в тишине, в неярком спокойном свете угасающего дня. И, быть может, все это было прекрасно, и спокойная душа, созерцая, могла найти в этом вечный покой, но Николай Николаевич слишком узнал этот покой, доводящий до пустоты, до мертвых звезд; ему жутко было сознавать, что он не может проникнуть в ту выпуклую, солнечную жизнь; ему хотелось, чтобы дрогнула, разбилась, возмутилась эта зеркальная тишина.

В сумерках пароход привалил к небольшой конторке у песчаного берега; три тележки стояли на изволоке у кустов, но никто не сошел на берег, и они продолжали стоять неподвижно; сбоку сходил бабы зажгли фонарики у лотков; после второго свистка на песчаной дороге из-за кустов показался попик, махая рукой; он добежал до конторки, когда уже снимали мостки, и давешний чернобородый матрос весело воскликнул: «Опоздал, опоздал, ваше предобие!» — подал попику руку и помог взойти на пароход.

Николай Николаевич опустил на этой конторке письмо к отцу, писанное на вокзале. Он обошел уже много раз кругом парохода и сейчас выбрал себе место на скамейке на корме, у второго класса; вскоре появился попик, еще тяжело дыша; он был рыжеватый, худой, в веснушках; сапоги и полы ветхого его подрясника были в пыли; он сел рядом с Николаем Николаевичем, снял соломенную шляпу, склонил улыбающееся лицо к плечу и стал глядеть на закат.

Пароход шел близко к берегу; за бортом тянулись каменные обрывы, лощины, на дне которых в сумерках горели огни, белые

Плака тумана, прикрывающие местами лес; в разрывах гор открывался иногда весь закат, наверху высыпали звезды, внизу колыхались отраженные огни бакенов, и попик вдруг проговорил: «Ну что же это такое». Лицо его стало такое восторженное, будто он сам летел вдоль берега, слушая ночных птиц, вдыхая влажный запах воды и осыпанных росой деревьев.

Когда же Николай Николаевич спросил, куда он изволит ехать, попик испуганно отодвинулся и сначала отвечал коротко, а потом, взглянув на собеседника один раз мельком, другой раз внимательно, рассказал, что приезжает в эти места каждое лето на две недели, сейчас же возвращается к себе, в Оренбургскую степь.

— Весь год об этих двух неделях думаю, уж поберегу копейку, и съезжу, — твердо сказал он. — К чему я годеи, если у меня в душе радости не будет. Степь наша скучная, тяжело там жить, все силы отдашь и станешь как тряпочка. А ведь взялся за такое дело, добросовестно его надо исполнять, чтобы действительное утешение принести. Здоровому человеку мы не нужны, а вот, кому тошно, тот идет, а чем и его утешу, когда сам иной раз спросишь: «Пастырь, пастырь, веришь ли ты?» Но все это, знаете, слова. А вот тишина дорогá.

Николай Николаевич посидел еще немного. «Сказать или не сказать, — подумал он, — этот не поймет, не ответит, да и сам вперед никак все слова». Он поклонился и отошел; из ложины до парохода донесло струю степного воздуха, полынного и сухого; Николай Николаевич вдохнул его полной грудью. «Что случилось? из-за чего это ныть? Нет, спать — и баста», — быстро подумал он, плюнул в совсем уже темную воду и вошел в каютное отделение. Когда он отворял ключом каюту, дверь напротив приоткрылась, и оттуда выглянула давшая круглолицая дама. Николай Николаевич нахмурился, дама улыбнулась. Николай Николаевич вошел к себе и лег на койку. Ему казалось, что сосредоточенные его мысли разбились, как стекло, и он вновь еще более одинок, но одиночество это не темное и мертвое, как прежде, а живое и злое. Так же, как и день назад, он лежит в темноте, кусая губы, но мертвое небо над ним разбилось, как стекло, и осколки биты и колют, и жгут, и из глубины поднимается бунтовская сила.

«Этим кончится, я знаю; но только это и есть дьявольский круг — от одной женщины к другой, от одного опустошения к новому», — проворчал Николай Николаевич; потом он позвонил и сказал вошедшему лакею:

— Утром я должен вылезать, так вы мне купите билет дальше, до Астрахани, потом скажите, кто эта дама напротив; принесите вина и вообще уберите!

Глава вторая

Утром над Волгой поднялся тонкий туман; спокойное ее течение все так же преграждала лиловатая полоска леса; пароход повернул по зеркальной воде за каменный краж и скрылся в голубом тумане.

А к давно оставленной позади конторке на песчаном берегу подъехал сонный почтальон, взял мешок писем, бросил его в тележку и покатил в волость. Волостной писарь, разбирая письма, прочел: «Николаю Уваровичу Стабесову», подивился на такую фамилию, хлопнул по конверту штемпелем, и письмо было отправлено на вокзал; затем оно прокатилось по железной дороге, потом попало в руки к почтовому чиновнику, полежало в ящике стола, и, наконец, старый томилинский кучер, Иван Абрамович, уложил его бережно в сумку и на сивой паре потрусил по невысоким холмам, покрытым рожью, в томилинскую усадьбу, лежащую за парком и прудом.

Был полдень. Николай Уварович Стабесов и супруга его Мария Митрофановна сидели на крытом балконе дачного дома, стоящего на зеленом косогоре, спиной к сосновому парку, окнами на поляны.

Николай Уварович носил седую бороду на две стороны, был крепок и не очень сух, одевался кое во что и сейчас читал вслух «Русское богатство», надев очки, Мария Митрофановна, внимательно слушая, миловидно улыбалась своим посторонним мыслям. Лицо у нее было полное и спокойное, пепельные волосы зачесаны на маковке комочком, одета же была в коричневый ситцевый каюк.

— Вон Иван Абрамович едет, может быть везет письмо от Коли, — сказала она.

Николай Уварович, прекратив чтение, поднял брови, из-за очков покосился на жену и проговорил:

— Итак, кооперативное устройство можно подразделить на следующие...

— Нет, ты посмотри, Иван Абрамович к нам заворачивает, — поднимаясь, взволнованно проговорила Мария Митрофановна; она сошла по ступенькам на траву и стала махать томилинскому кучеру, повторяя:

— Да скорей же ты, Иван Абрамович, как тянешь несносно!

Когда же она, вся краснея, сияя от радости, взошла на балкон, держа в руке письмо, Николай Уварович отложил «Русское богатство» и голосом немного глухим проговорил:

— Ну дай, дай почитаем, что он пишет!

В то же время по другую сторону парка, в томилинском усадебном доме, двухэтажном, деревянном и заросшем со всех сторон, в прохладной столовой сидела Варвара Ивановна Томила, у потухающего самовара, одна.

Варвара Ивановна послала отыскивать племянницу свою Натюшу, которая «проваливалась сквозь землю» всегда, когда ее нужно было найти. Варвара Ивановна держала палец на пуговке крана и глядела на себя в самовар. Мысли ее не спеша совершали привычный хозяйственный круг; дальше него, особенно в летнее время, когда много забот, она идти не хотела и боялась. На ней была надета белая косоворотка, под юбкой высокие сапоги, худое и длин

моносое лицо было покрыто мелкими морщинами, как сеткой, и только серые глаза ее казались необычайно ясными, словно многие годы дум и страданий очистили их, и ни одно чувство не могло ужас помутить прозрачной их глубины. Ей шел пятьдесят третий год; она была младшей в семье, и теперь никого больше не осталось у нее, кроме племянницы Наташи, девушки с вихрем в голове.

Для нее-то Варвара Ивановна и приберегла родовое свое имение. На себя она тратила мало; курила дешевый табачок, ела по-мному, потому что излишество наводило только на сонливость, и, кроме шерстяной юбки с двумя карманами да нагольных сапог, имела одно только шелковое платье для выездов по делам.

Наташа так долго не шла, тишина в доме была такая печальная, что Варвара Ивановна где-то на середине хозяйственных соображений отлетела памятью в прошлое, и тотчас воспоминания поднялись и встали, как туман; глаза ее расширились и потемнели; устремив их вверх самоварной заглушки, она сидела не двигаясь, с печальной, застывшей улыбкой, убрала только палец с самоварного крана.

Когда-то томилинская семья жила и весело и шумно. Сестры Варвары Ивановны — Анна и Глафира — весьма недурные собой и большие озорницы, долго не выходили замуж; они насмешничали над женихами, влюблялись не больше как на неделю, и с осени до весны в томилинском доме толкался веселый народ, устраивая спектакли, танцы, поездки, охоты, и нередко между молодыми людьми происходили ревнивые ссоры, что подавало повод для пушей веселости обоим сестрам.

Матушка умерла очень давно, сам же старый Томилин веселился больше всех дочерей, первый заводя всяческую умору. Над женихами он посмеивался, и казалось, мысль лишиться хотя бы одной из дочерей была для него несносна. И никто, конечно, из них не считал пролетающих лет. Но однажды на Масленицу, после неудавшегося бала, на который никто из-за сильной метели не приехал, Анна и Глафира увидели вдруг, что молодость кончилась. Окончилось и веселье в томилинском доме, и вскоре обе сестры, точно спеша, вышли замуж и уехали.

Опустела усадьба; по старой памяти заезжал еще кое-кто из соседей и грустно поминал прошедшее, точно неудавшийся бал на прошлой Масленице состарил всех, лишил невозвратного, что в жизни бывает раз.

Отец скучал и писал дочерям письма. Все хозяйство лежало на руках у Варвары Ивановны. Сестры всегда называли ее Варвар Иванович, и она работала на них с большой радостью, мало принимая участия в веселье. Один только раз ее нарядили Варвар Ивановичем — надели чалму, привязали бороду и пробкой навели морщины, и с тех пор запах пробки остался в ее воспоминании, как печальный и прелестный.

Она думала, что по отъезде сестер начнется ее жизнь; но редко заезжающие соседи продолжали звать ее Варвар Ивановичем, и она все так же, надев смазные сапоги, ходила на скотные дворы,

объезжала на дрожках поля и по вечерам читала отцу вслух Щерина.

Одно время она представляла, что вот на будущий год прислу сестры и скажут отцу: «Что же ты делаешь с Варей, она уж не так молода?» Но этот будущий год всегда удалялся, когда к нему приближались, и скоро стал похожим на когда-то прочитанную повесть — так много и подробно думала о нем Варвара Ивановна.

Нераскрытая ее любовь переносилась с отца на телят, на птиц, на никогда еще не виданную племянницу Наташу, дочь Анны. Один только раз, обмеривая дальний участок, она поглядела в трубу астролябии, и землемер, показывая, как надо пользоваться прибором, коснулся усом щеки Варвары Ивановны. Землемер был молодой, загорелый, с веселыми глазами, от него пахло степью и табаком. И она не спала несколько ночей, изнемогая от стыда и непонятого волнения, и долгие еще спустя, не успевая словить себя на недостойной мысли, представляла скошенный серый глаз, загорелую щеку и пахнущие табаком длинные усы. Но и это воспоминание стерлось понемногу и угасло.

Вскоре умерла Глафира. Спустя полгода Анну и ее мужа зарезали в кавказских горах. Старик Томилин до того ослаб духом, что взял Варвару Ивановну клятву не оставлять его одного до смерти.

Однажды у Варвары Ивановны вывалился передний зуб; он долго качался, и раз поутру она вытащила его пальцами, легла на постель и плакала до сумерек. Отец не мог подняться по винтовой лестнице и звал дочь, стуча палкой о паркет. А ей было жаль пролетевшей жизни, хотелось, чтобы поскорее пришла смерть. Все таки она сошла к отцу, ничего не сказала про зуб, но и не отворачивалась. Отец спросил, здорова ли она, а выпавшего зуба не заметил. Он не замечал, что дочь уже старуха и что нельзя вернуть ни надежды, ни отошедшего веселья.

Варвара Ивановна ожесточилась, стала резкой с отцом, он же присмирел, и хотя ей было и совестно и жаль, но теплоты в своем сердце она не находила.

Она спрятала все письма и карточки — все, что напоминало прошлое; злобилась, худела и высыхала. Однажды отец начал писать сестры письмо, он назвал его: «Оправдание Томилина», и работал недели три. Поздно вечером Варвара Ивановна вошла в его кабинет, отец лежал мертвый, головой и руками на столе; на только что начатой странице было написано: «Милая дочка Варя, прости и не вини...»

Ни надежд, ни злобы, ни сожаления не осталось больше у Варвары Ивановны. Со смертью отца кончился ее век.

Она продолжала жить в старом доме, все так же работая по саду и на полях, а вечером оставалась одна, сидела сложив руки и ждала, когда придет сон. Подсохшее ее тело было очень крепко и могло работать без износа еще лет двадцать. Только по зимам в морозные, метельные вечера становилось не под силу, и она просила отошедших навестить ее в теплой зале, освещенной лампой с глубоким абажуром.

Анна, Глафира, отец и мать иногда приходили, садились за стол, и Варвара Ивановна глазами, полными слез, поглядывала на

них из-за самовара, боясь громким словом потревожить торжественную тишину. В эти часы она забывала о старости, и тихая радость наполняла весь старый дом, словно в окна вливался свет вечной тишины.

Зимой Варвара Ивановна получила письмо от Наташи, которая до этого жила с бабушкой, теперь кончила гимназию и просила тетку взять ее — погостить. Варвара Ивановна сильно заволновалась. Ей трудно было возвратиться от тихой, как тиканье часов, едва тлеющей жизни к суете, которую внесет с собой девятнадцатилетняя девушка. Но написать отказ было очень трудно; она пересмотрела все карточки Наташи, похожей на мать, и послала письмо, прося приехать.

Суетню, смех, суматоху и тысячу маленьких разговоров внесла Наташа в полутемный, теперь очищаемый от пыли и паутины дом. И Варвара Ивановна, сначала падавшая с ног от усталости и недоумения, очень скоро принялась думать и двигаться и говорить, как Наташа. Для нее начинался день, когда Наташа открывала глаза, а уложив Наташу поздно вечером, поговорив с ней о пустяках, она засыпала без снов. О зимних же своих думах и видениях она ничего не говорила, боялась даже помянуть, да и Наташа все равно пропустила бы подобные разговоры мимо ушей, вполне разумно и законно считая, что у тетки никаких иных, кроме ее — легкомысленных девичьих мыслей быть не должно.

— Ну что же она не идет, — тряхнув головой, проговорила, наконец, Варвара Ивановна и приложила ладонь к самовару, он больше не пищал и был теплый; а на балконе в это время послышались шаги и голоса.

«Батюшки, не случилось ли чего-нибудь», — подумала она. В столовую вошли Николай Уварович и Марья Митрофановна; Стабесов глядел в сторону и морщил лоб, супруга его держала в одной руке письмо, в другой платок, и по глазам было видно, что плакала.

— Ну вот, мы пришли, — сказал Николай Уварович, здороваясь. — Марья Митрофановна, покажи письмо, — он по привычке ласнул пальцы в бороду, раздвинув ее направо и налево, сел, но тут же и сгорбился, положив на скатерть кулаки, сложенные кушами, тоже по скверной привычке.

— Вот что пишет Коля, — проговорила Марья Митрофановна отчаянно и развернула письмо, — мы уж и так и этак обсуждали. Николай Уварович говорит, что Коля наш болен; как вы про это сказали, Николай Уварович?

— Мужская болезнь, — проговорил Стабесов, — вот как я сказал.

— Не угодно ли послушать, Боже мой, — продолжала Марья Митрофановна, — откуда он ее мог заполучить, да и болезней таких вовсе нет; а я говорю — тут что-то непонятное. Застрелить его хотел какой-то негодяй. Что у них там делается?.. В живых людей стреляют!..

— Постой тарантить, — перебил Стабесов, — а ты объясни, при чем у него водород. Мы в чем-то оказались повинны, вот это мне растолкуй!..

Варвара Ивановна тем временем прочла письмо и, задумавшись, стояла у края стола.

— Он пишет про страшную пустоту, — проговорила она тихо, — я это очень понимаю; он опустошил себя и чувствует, что прежним содержанием наполнить пустоту эту нельзя; вы подумайте хорошенько, что ему можно дать — одно доведет его до гибели и смерти, а другое до бесконечной радости. Что может быть прекраснее такой радости...

— Нет, уж я знаю, к чему вы подбираетесь, — сердито возразил Николай Уварович, — начнете его разными потусторонними вещами напихивать; свихнется, свихнется совсем! Коля был отлично воспитан, на здоровых и натуральных началах; в роду у них больных не было; отчего у него все выдохлось, не понимаю. Слабаяньская порода подгадила, вот! Ничто в ней не держится, да-с!

Николай Уварович замотал бородой и очень рассердился.

— Пустота, — закричал он, — для этого мы сражались? Мы обществу готовы, а они, видите ли, выдыхаются. Почитайте-ка хроникю. Что это такое? Было у нас подобное? Балаганники клоуны! Макса Линдера на руках в консерваторию внесли. Автомобилю религиозное значение придают. Манифест выпустили, что ни в чем не должно быть никакого смысла. До такой пустоты себя выжали, что уж слов у них даже нет, одними гласными буквами выражаются. Ведь это пожар, пепел один остался. А вы мне о радости толкуете. Никакого выхода не вижу и очень огорчен. Пускай Николай приезжает, я ему слова не скажу.

Николай Уварович окончательно обиделся и забарабанил пальцами. Томилина глядела на него внимательно; она подняла уже руку, чтобы возразить, но Марья Митрофановна в это время вскочила со своего стула и воскликнула взволнованно:

— Вы меня-то, меня-то послушайте. Коленька сегодня к вечеру должен приехать: посмотрите на штемпель, письмо железной дорогой шло, а он водой к нам едет.

Горничная Феклуша, посланная за Наташей, проторчала с полчаса на мельнице, куда бегали девчонки со всего хутора глядеть на нового мельника Семена, — уж очень он был чуден.

Мельник был кругломордый, бритый, с льняными волосами до плеч, носил голубую рубашку и не столько молот муку, сколько играл на трубе и баловался.

Мельница стояла с краю широкой плотины под яром; кругом росли огромные ветлы, от древности склоненные к воде, пруд был глубокий и зеленый, начинался версты за две, извиваясь уходил в парк и около плотины разливался в круглое озеро; напротив мельницы, по ту сторону, на косогоре стояла пасека о пятьдесят пеньков, обнесенных плетнем; на кольях его торчали белые конские черепа, охраняя пчел от глаза, росы и пауков. Известно, что один мудрый человек вытащил из речного омута конскую тушу; вспорол,

оттуда вылетели и с тех пор повелись на земле пчелы; поэтому вокруг пасеки всегда должны висеть конские черепа.

Феклуша, выбежав из дома, кинулась было в парк, а ноги сами занесли на мельницу. Но Феклуша не была дура: ступив на плотину, она оглянулась сначала, — под колесо бежала вода, скрипели поставы, а вокруг никого, кроме грачей на ветлах да гусей на воде, не было; став у дерева, она закричала тонким голосом:

— Мельник, Семен, барышню нашу не видел?

Никто ей не ответил, поскрипывало мокрое колесо, кричали грачи; потом из двери не спеша вышел мельник, поджав губы, посмотрел на Феклушу непонятно, сел на пенек и сказал:

— Нет, барышню я не видел. А ты зачем?

Дивно было Феклуше глядеть на мельника: по круглому лицу его ходили зайчики от воды, бесстыжие глаза он вылупил, точно глядел в самое прудовое дно, а когда Феклуша отвернулась на минутку, то заметила, что он косится прямо на нее. Она переступила босыми ногами, вздохнула и сказала:

— Семен, а что говорят — у тебя русалка на мельнице живет.

— Живет, верно, — ответил Семен.

— Батюшки, а ты не врешь?

— Как ты можешь со мной так разговаривать, дура!

Феклуше стало очень смешно; она еще раз вздохнула и спросила:

— Как же ты ее поймал?

— На удочку поймал.

Мельник вдруг привстал и наклонился над самой водой.

— Эге, — сказал он, — старик-то опять приполз.

— Ты это про кого?

— Иди, покажу.

— Ну нет, меня барышню послали искать.

— Чего, дура, боишься? — спросил мельник и посмотрел на румяную синеглазую Феклушу; стояла она на бугорке, у ветлы, и если бы он шаг шагнул, она тотчас бы убежала; тогда он напустил на себя еще пущего туману, вытянул вдруг шею и стал слушать.

— Ах, шельма, скребется, — проговорил он и быстро ушел на мельницу. И тотчас оттуда послышалась возня, и потом заиграли на трубе.

Феклуша стала подходить поближе, до того ей было любопытно, не дышала она, подкрадывалась на цыпочках, а мельник глядел на нее в щелку двери.

В это время заскрипело за деревьями, защелкало, и на плотину выскочил мужик с возом, Феклуша махнула юбкой и побежала за барышней в парк.

Над парком плыли белые облака; вчера зацвели липы, небо сквозь их листву казалось синее; высоко у вершин гудели пчелы, садясь на липовый цвет; вяла скошенная трава; земля распарилась,

стоял медвяный запах; а когда налетал ветер, весь парк шумел водяным шумом.

Феклуша брела через лужайку, прищурясь; лениво ей было и темно, и в ушах еще наигрывала мельникова труба; девушка нула раза два и, усмехаясь, не особенно торопилась.

Она добрела до таловых кустов, сквозь них блестел пруд; несли леке через лужайку пролегалла глубокая водомоина, по которой мч ной катились воды из полевых овражков в пруд; они нанесли белую песчаную косу, и за талами с этого берега на песчаную отмель нид глубоким местом было перекинуто широкое бревно, как мостик.

С мостика купалась обычно Наташа, Феклушка раздвинула т ловые ветки, проскользнула под ними и увидала на берегу платья и белье, а на мостике барышню. Широкое бревно от времени по росло зеленым мохом. Наташа лежала на нем навзничь. Она рид делась для купанья, да так и осталась, прикрыв ладонью глаза и солнца, и солнце в этой тишине, за ветром, заливало всю ес и ричим, влажным зеленоватым светом.

А внизу, где дерево бросало на воду широкую тень, стояли маленькие рыбки головами в одну сторону.

На рыбок загляделась Феклуша и на барышню. «Белая, а ху дерященькая», — подумала она и окликнула. Наташа быстро сдвинула руку с лица и приподняла голову. Феклуша даже удивилась, до чего барышня странно поглядела: маленький рот у Наташи не улыбался, был плотно сжат, брови приподняты; поглядев, она опустила опять голову и прикрылась локтем, причем тонкая рука легла на глаза и нос, а губы медленно усмехнулись, и по щекам разлился румянец; она повернулась на бок, и коса ее упала, кивнувшись воды.

— Хорошо, хорошо, приду, — сказала Наташа, — а я спали.

Потом она приподнялась на локте и наклонилась над водой, лицо ее от темных волос и отсветов воды стало бледным, подбородок дрожал от смеха.

— Смотри-ка, смотри, рыба какая, — сказала она.

Феклуша по простоте не догадалась, взошла на дерево, прислала у ног барышни и принялась глядеть на рыб, которые, как стрелки, шарахнулись и опять стали.

А Наташа незаметно высвободила руку, охватила Феклушу, вскочила, оттолкнулась и вместе с успевшей раз только визгнуть девушкой полетела в пруд.

Расплескалась глубокая вода брызгами и кругами, и обе девушки, хохоча и задыхаясь, принялись нырять, кунать друг дружку и возиться.

Потом Наташа вышла на место помельче, выжала косу, ухватила за ветку и выскочила на крутой берег. А Феклуша до того раскисла от смеха, что долго не могла вылезти и несколько раз сползала на животе по мокрой траве в воду. Кумачовая кофта прилипла к ней; захватив спереди синюю юбку, она закрутила ее, выжала и, глядя, как Наташа натягивает чулки, спросила:

— Барышня, а вы о ком думали, когда я подошла?

Наташа глянула быстро, моргнула, потом нахмурилась, подняла травы рубашку и, опустив ее через голову на себя, на минуту прикрылась батистовой тканью.

— О ком думала... а ты о ком думаешь? — ответила она.

— А вы скрываете, — продолжала Феклуша, выжимая кофту, — вы сначала испугались, а потом покраснели, я, чай, видела; а мне о ком думать, очень надо; вам, барышня, хорошо, замуж выйдете — все равно как и не выходили, только что муж будет любить; а ведь нам пока в девках живешь — только и посмеешься; вот мельник очень подъезжает. «Приходи, говорит, вечером, рубашку покажу», считает меня за дуру, а сам дурак, никто ему не всрит. Фабричным у нас очень хорошо, в Воейкове, на суконной фабрике, и живут весело, замуж никто не неволит, как в деревне, а в праздник модные платья носят, и ребята все с гармониями; я так маменьке и сказала: «Замуж неволить будете, на фабрику выйду». А я, барышня, думала, когда Георгий Петрович вас за себя возьмет, непременно хочу к вам в горничные.

— С чего ты выдумала, я и не собираюсь замуж, — сказала Наташа, вставая и одергивая юбку, — вот еще глупости; совсем не покраснела; просто показалось, что это не ты подошла, а Георгий Петрович.

— А он вас и любит же, страсть.

Наташа подняла плечи и усмехнулась; потом застегнула перламутровые пуговицы на кофточке и пошла из кустов на поляну, где, дожидаясь Феклушу, зажала между колен полотенце, подняла руки и поправила волосы, потом вместе с девушкой двинулась по тропе к дому.

— А я б вышла за Георгия Петровича, — продолжала Феклуша, — смиренный он очень, толстый, за таким, прямо, жить спокойно.

— Ты бы вышла, а я не хочу, — прикрикнула Наташа и, ведя на лоду рукой по белым и розовым головкам кашки, продолжала, словно про себя: — Ты думаешь, я все смеюсь, так я веселая; очень ошибаешься; я все знаю и никому не верю. Георгий Петрович, где я каблучком ступлю, он это место поцелует, и в глаза глядит, и голос у него крадчивый, — а мне неприятно: как отвернусь, он так и смотрит, какая грудь у меня, какие бока. У него все любовью называется: и схватить и поцеловать — любовь, и Бог знает что натворить — тоже любовь, и я вижу, он от меня просто пьян, как от ликера, — дотронулся до меня, как рюмку выпил; смотрю на него, как на пьяного или на сумасшедшего. Я сегодня ему это в глаза скажу.

— Господи, а мы-то ничего не понимаем, дуры, — подивилась Феклуша, поджимая губы. — Говорить вы, барышня, очень горазды, а чего-то я вам не верю, ей-богу.

Наташа гневно на нее глянула:

— Я с тобой как с подругой разговариваю, а ты слушай и молчи, — сказала она. — Чего ты знаешь? ничего ты не понимаешь в

этом; а я пятнадцати лет влюбилась в присяжного поверенного, как влюбилась: подойдет ко мне на катке, я чуть не плачу; взяла руку к нему и пошла, села в кабинете на диване и молчу; он со мной разговаривает, а я трясусь; он спрашивает: «Вы что? влюблены, что ли?» Я говорю: «Да!», а он как захохочет: «Я, говорит, через неделю на вашей классной даме женюсь». Тогда я решила травиться.

— Ах, батюшки, спичками? — спросила Феклуша.

— Нет, мышьяком. И решила травиться не одна, а уговорила подружку и одного гимназиста, они тоже отчаялись в жизни. Гимназист, конечно, тут же разболтал, — что вот, мол, две барышни разочаровались. Тогда явились к нам товарищи и пригласили нас троих в общество, называлось оно: «Половые проблемы», это ты все равно не поймешь. Вот тут-то я и увидела, какая была глупая. В обществе мальчишки страшно развратные, прямо никакого терпения, все зинуют и выражаются неприлично. Мне, конечно, объяснили, что нет никакой любви, а просто мужчина всегда хочет тебя схватить, а женщина хочет как можно дольше не поддаваться, — вот от этого любовь произошла, даже стихи и все искусство. Ко мне одного мальчишку приставили, чтобы просветил, все бы я узнала и поняла. А я не могу, совестино, и вспоминается, как была влюблена и точно по воле духу ходила. Мальчишка мне это растолковал: оказывается, когда любишь, отливает от головы кровь и чувствуешь, будто летишь, кружится голова. Вскочил он раз ночью из палисадника в окошко и говорит: «Ты мелкая буржуа, я тебя возьму силой». Я, конечно, подняла крик, убежала к бабушке и все ей рассказала. Общество наше закрыли. Так вот с тех пор, хоть и давно это было, я точно отравленная — не верю, что мне говорят. Только одна беда, совладать с собой иногда очень трудно, иной раз точно в воду уходишь, сил нет, сердце точно возьмут рукой и сожмут, — до чего природа наша женская.

Взойдя на ступеньки балкона, Наташа отдала полотенце Феклуше, отряхнула ладони, обсыпанные цветочной пылью, провела ими по лицу и, быстрая, тонкая, зная, что скажут сейчас про нее, какая она быстрая и тонкая, вошла в столовую.

Варвары Ивановны в комнате не было, она ушла распорядиться насчет лошадей, на которых Стабесовы через час уезжали в Энци встречать сына. Николай Уварович стоял у печки и дудел марш. Марья Митрофановна все еще силилась проникнуть в тайный смысл Коленькина письма.

— Вот и радость пришла, — проговорил Николай Уварович не весело и, взяв Наташину руку, вложил в свою, а другой похлопал сверху, — а вы знаете новость, — и он подробно рассказал о получении письма, о всех разговорах и о приезде сына. А Марья Митрофановна, усадив Наташу рядом с собой, прочла ей письмо вслух один раз и другой.

— Но ведь это все очень понятно, — проговорила Наташа, когда Стабесова, окончив чтение, надела пенсне и, склонив голову, принялась глядеть на девушку.

— Что же здесь понятного, милочка? — спросила Стабесова.

— То есть что же вы поняли? — воскликнул Николай Уварович.
И Наташа резонно и спокойно объяснила:

— Теперь все пишут такие письма. Я, например, в прошлом году поехала после экзамена к подруге в деревню, там ужасно разочаровалась и написала бабушке письмо вроде этого. Бабушка советовалась с нашим доктором, тот приказал везти меня в Швейцарию, а потом прописал гимнастику и пластические танцы; вы еще не знаете, как это помогает, — я танцую каждый день и теперь чувствую себя и весело и превосходно.

— Господи, неужели нашему Коле танцевать еще придется? — спросила Марья Митрофановна.

— Плясуны, — отчеканил Николай Уварович и стал глядеть в угол. А Наташа воскликнула:

— Уж вы его мне предоставьте, я живо вылечу. — Стабесовы странно и с удивлением уставились на нее. — Ах, вы ничего не поняли, ах, это мое дело! — окончила она, и нежный румянец залил ей щеки, уши и шею.

Вошла Варвара Ивановна.

— Лошади готовы, — сказала она. — Наташа, на балконе Георгий Петрович дожидается, не хочет идти в дом.

Заложив руку за кожаный кушак, в другой держа носовой платок, Георгий Петрович ходил по террасе, и свет сквозь плющ скользил жидкими пятнами по его чесучовой рубашке, по коричневым рйтузам и гетрам, потемневшим от конского пота. Красные губы его под небольшими усиками двигались, и он повторял стихи:

Под тенью лип ты
Стоишь одна,
Как эвкалипты,
Бела, бледна,
Любовь же наша
Горит, Наташа!

Георгий Петрович всю ночь читал Бальмонта и сам написал этот стишок. Георгий Петрович Сомов учился в Казанском университете, а по летам жил у отца в усадьбе, неподалеку от Томила. Каждый день после полудня садился он верхом на мерина и в раздувающейся рубашке скакал в томилинскую усадьбу, представляя, как встретит его Наташа; вчера он просил ее выйти за него замуж и сейчас, часа уже полтора как приехав, до того волновался, что платок его весь намок, им же он вытирал лицо, не желая представиться потным и безобразным. Он прислушивался к шагам и голосам в доме, поправлял усы и делал выразительные глаза, ожидая, что вот войдет Наташа; и, несмотря на такую предосторожность, она вошла как раз, когда он стоял к двери спиной, расставив ноги, и терся платком.

— Приехали, очень хорошо, — сказала Наташа.

Георгий Петрович повернулся, отступил, опустил руки; полное испуганное и влюбленное его лицо с кучей светлых волос на голове сразу запотело крупными каплями.

— Что же вы не здорваетеесь? Вот мило, — продолжала Наташа, жеманно поджала губы и села в плетеное кресло. — Жарко, какая, Георгий Петрович.

— Жарко, — сказал Георгий Петрович и подвинулся.

— Чего стоите, садитесь, — сказала Наташа, помахивая на шее кисти ладошами.

— Хорошо, я сяду.

— Ну, что же вы молчите?

— Вы сегодня какая-то другая.

— Вот как, неужели?

— А знаете, я опять не спал ночью.

— Что же с вами случилось?

Тогда Георгий Петрович, наклонившись в кресле и выпити губы, проговорил стихок.

— Ну, это вы, наверное, сами сочинили, — сказала Наташа, мне не нравится, а вот, — она задумалась, потом усмешкой расдвинулись и задрожали ее губы, — сочините стихи про рыбок, как они заплывают в тень и стоят.

— Да, да, это замечательно, и как девушка наклоняется и глядит на них, потом является другая, и обе они...

Георгий Петрович не окончил. Наташа, раскрыв рот, глядела на него испуганно; он медленно стал соображать, что ужасно проговорился.

— Вы с ума сошли, — прошептала Наташа, — не лгите, я видела за кустами вашу рубашку!..

Тогда он заговорил уже без всякой связи, сполз со стула на Наташиным ногам и, не смея их коснуться, согнулся, замотал головой, точно раздирало его и жгло, как в кипятке:

— Поймите меня, я с ума схожу... выходите за меня замуж... я уже переговорил... я не могу больше... вам ничего не стоит... Ну что же из того, я глядел, все равно, когда женой моей будете, так уж я и считал, что можно...

Наташа смотрела, как пониже ее колен мотался Георгий Петрович, и если бы он не так мотался или нашел бы другие слова, тогда, быть может, ей стало и стыдно и жутко, но сейчас, при подняв только руки, чтобы предупредить, если он коснется ее колена, она сидела спокойно и прямо.

— То есть после этой гадости я на вас, как на дерево смотрю, — проговорила она. — Встаньте, пожалуйста; если женщины хорошо сложена, она всегда может показаться, но отвратительно, что вы подглядывали.

Георгий Петрович поднялся и, спотыкаясь, отошел к ступенькам балкона.

— Ну и мучайте, вытерплю, а я без вас не могу, — проговорил он.

— Мучить вас больше не стану; а сегодня приезжает Николай Николаевич Стабесов, он много поинтереснее вас, — ответила Наташа. — Вечером я вас познакомлю.

Георгий Петрович повернулся, нагнул упрямо голову и проворчал:

— Я не позволю.

Тогда у Наташи быстро поднялись брови и кончик носа, задрожал подбородок, она раскрыла рот и громко засмеялась, запрокинув голову; встала было с кресла и опять повалилась:

— Ой, ой, не могу, не могу, — повторила она и, подняв платок, стиснула его между зубами.

Старики Стабесовы вернулись из города поздно вечером, одни; они послали на все пристани по нижнему плесу телеграммы, надеясь, что хоть одна из них будет доставлена по назначению. Марья Митрофановна проплакала всю дорогу и прямо легла в постель. Николай же Уварович зашел на усадьбу и долго беседовал с Варварой Ивановной, которая высказывала предположение, что Николай Николаевич заедет на обратном пути.

Перед сном Варвара Ивановна сняла сапоги и по винтовой лестнице поднялась в антресоли — поглядеть на Наташину дверь; дверь была приоткрыта, оттуда лился неяркий свет; Варвара Ивановна покачала головой и вошла вовнутрь незаметно и легко, как те привидения, которые появлялись в зимние вечера. Наташа, прикрывшись до пояса простыней, лежала лицом к стене; голые руки ее были сложены ладонями и подсунуты под щеку; на тумбочке горела свеча.

Варваре Ивановне хотелось присесть рядом, погладить темные волосы Наташи; девушка была невесела и взволнована весь этот вечер; но какие волнения, какое горе могло быть в девятнадцать лет — милые земные мысли, огорчения, похожие на сон, любовные работы. Варвара Ивановна стояла неподвижно; она словно забрела в волшебное царство, в эту белую комнату с едва заметным запахом свежей воды, разлитой на полу, духов и спящей здоровой девушки, и не двигалась, очарованная.

— Тетя, я все равно слышу; чего вы пришли? — сказала Наташа сердитым голосом.

Варвара Ивановна перепугалась.

— Ну, ну, я уйду сейчас, — прошептала она.

— Да нет же, садитесь на кровать. Мне скучно, тетка, я сама не знаю, чего хочу. Георгий Петрович мне сделал предложение, вот. А я отказала. И вовсе не потому, что он мне не нравится, а потому, что не хочу.

Наташа сжала руку в кулак, ударила им по подушке и заплакала.

Присев на кровать и глядя по голове девушку, Варвара Ивановна рассказывала, что почувствовала, когда вошла в ее комнату. Она сказала, что все огорчения — такие пустяки. Что радость, которую предстоит испытать каждой женщине и каждому человеку, много выше всех огорчений; что она, Варвара Ивановна, думала

до приезда Наташи, будто жизнь ее кончилась, а теперь, умудренная опытом, переживает второй раз чужую, но словно свою, мимолетность; что самое главное — это сознать жизнь: какая ни была, она готовит нас к любви, а уж любовь сама раскроет ворота, сама выведет на путь, которому нет конца.

— Хорошо, тетя, я постараюсь, — слабым голосом сказала Наташа, — только я хочу чего-нибудь необыкновенного, а Георгию Петровичу просто запретила больше приезжать.

Глава третья

Кто не видел деревенского хоровода, когда в праздник, наплевав на стыд, савшились на улице, на огородах и у реки, девки, бабы и ребятишки идут по зову или без спроса на барскую усадьбу, надеясь получить по стаканчику вина или серебряную мелочь.

После полудня в престольный день Варвара Ивановна сидела с расходной книжкой на балконе. Наташа лежала в качалке. Небо заволочлось полупрозрачными облаками, безветренный жар окутал мглою парк. За прудом играли на гармонике, и женский голос пел:

У меня ли черны брови,
Беспокойная я,
Одного люблю мальчишку,
Успокойте меня.

Наташа опять плохо спала ночь, под глазами ее лежала синина. Прошло две недели со времени получения письма от Николая Николаевича, и Наташа теперь думала о Стабесове постоянно. В лицо его она почти не помнила; он, конечно, не знал, что она живет в Томилине, но все-таки ей было обидно, что он где-то там развешивается, а не торопится ее увидеть.

Она представляла его на разные лады, и с каждым разом он казался ей привлекательней. Она думала, что стоит только увидеться, как его грусть снимет рукой; а что причиной его несчастий была невозможность найти настоящую любовь, в этом она не сомневалась. За две недели эти она нагляделась на себя в зеркало, изучила движения, улыбки, повороты головы, даже изменила несколько голос; она представляла, что, когда он придет, ему сейчас же расскажут о Наташе, скажут: «Она удивительная, особенно за последнее время». Она не покажется ему ни в первый день, ни во второй и, быть может, на третьи сутки медленно пройдет вдалеке с книгой в руках. Он спросит: «Это Наташа? — и подойдет взволнованный и проговорит: — Вот вы какая; хотите быть друзьями?» Но он все не ехал, и ей, наконец, стало обидно и жаль уходящей молодости.

Георгию Петровичу являться она запретила, но он все-таки съездил и, должно быть от жары и переживаний, очень худел. [Догадываясь, тогда на мостике, что он смотрел на нее из-за кустов, и потом узнав об этом, она не ощутила стыда, только жутко ей стало

от странного возбуждения, окончившегося слезами; но с каждым днем она сознавала, что тот день был лишним в ее жизни и не-порочим. словно ее сделали соучастницей в скрытном деле, и она не могла спокойно вздохнуть, ни попрежнему смеяться.]

— Вчера Георгий Петрович опять со мной толковал, — негромко молвила Варвара Ивановна, не поднимая лица от расчетной книги, — очень тебя боится; рассказывал всю свою жизнь. Была бы я на твоём месте... не знаю, впрочем... В мечтах мы представим, конечно, лучше. Ах, Боже мой, пусть муж будет не такой уж замечательный, но зато он даст тебе спокойствие, а в спокойствии раскрывается душа. На свете столько прекрасного, любовь же только начало, первое, что дается...

Наташа кивнула головой. Из-за парка донеслись хоровая песня и невеселые звуки гармоники. Песня звучала все ближе и громче, наконец из-за деревьев появились и вышли перед балконом бабы в кофтах и сарафанах, девушки, одетые по-модному — по-фабричному, босые, без шапок, ребятишки, девчонки с большими платками на голове и двое ряженых. Парни остались вдалеке, сели на канаву, поигрывая на гармонике, они были тоже по-фабричному — в начищенных сапогах, в лиловых, розовых и черных рубашках и при жилетах.

Бабы стали кругом, взяли за руки, двинулись и запели: «Ой, Дунай, мой Дунай, сын Дунаевич, Дунай». В круг вошли ряженые — Дунай, худая, веселая баба, одетая мужиком, с паклей на голове и усами, нарисованными углем, она поднимала то одну руку, то другую и притоптывала валенками. Другая — Дунаева зяноба — надела на себя грязный посконный фартук для смеху, драную кофту, а лицо обвязала вязаным платком; держа руку около щеки, она стояла неподвижно. Бабы пели, хоровод их ходил то вправо, то влево, и все, что говорилось в песне, проделывал сам Дунай. Наконец он бросил шапку, да и пошел из круга. Бабы засмеялись. Варвара Ивановна улыбалась им, стоя у балюстрады. В это время из-за кустов жасмина на садовую дорожку вышел бледный чернобородый человек, с недоумением поглядывая на хоровод. Он подошел к балкону, поклонился Варваре Ивановне и сказал:

— Я Стабесов, я думал, что мать и отец живут в усадьбе. Простите, но мы, кажется, знакомы.

Наташа побледнела и приподнялась в качалке.

Ничего, конечно, не произошло невероятного: ни ударил гром, ни налетели вихри с четырех сторон, ни провалилась усадьба, только у вставшей с качалки Наташи сердце стучало, как молоток, и возникло в сознании и повторилось одно слово — «мой!». Оно было сильнее вихря, грома и провалившейся земли.

Хоровод расступился, Николай Николаевич взошел на балкон, снял канотье и поцеловал у смущенной Варвары Ивановны руку,

выпрямился и повернулся к Наташе; Наташа присела, и глаза ее сказали — я ждала! Варвара Ивановна дотронулась до ее спины и проговорила:

— Племянница моя, Наташа; вы ее не помните, она уж взростала.

— Нет, помню, — ответил Николай Николаевич, — мы бежали с вами на пожар в деревню, под дождем; по полю и траве шла сплошная вода, такой был дождь.

Он поднял худую с отчетливыми жилами руку, провел ею по бороде, коснулся галстука, потом пальцы попали в жилетный карман, вынули, повертели и опять положили часы и без надобности повисли вдоль бока; черные же его глаза скользнули по Наташиному лицу, по деревьям, остановились на ряженой бабе; он поднял брови и сказал:

— Я бы хотел повидать моих, как это сделать?

Наташа испуганно глянула на Варвару Ивановну.

— Пойди проводи, — прошептала тетка, и девушка сейчас же сошла с балкона.

Николай Николаевич нагнал ее в аллее и зашагал рядом, широко и твердо ступая. На нем была коричневая одежда, широкие желтые башмаки; Наташа, покосившись, подумала: «Вот этот одет»; движенья его были простые и свободные, ненужных он не делал, разговаривая, двигал только губами, темные брови, глаза и обтянутые щеки с двумя морщинками, пропадающими в усах, тоже без надобности не беспокоились; должно быть, он привык, что на него постоянно глядят.

Наташа, сама не сознавая, сказала «мой» в первое мгновение; это слово было ее волей, она, не думая, подчинилась ему; но чтобы оно развернуло свою глубину, его надо было еще раскусить, как орех. Николай Николаевич шел спокойно, поглядывая на липы, на поляны за ними, отстранял концом башмака сучки на пути.

А в Наташе словно натянулись, как струны, вся ее ловкость и хитрость, вся страстность девушки в девятнадцать лет: «Нет, вы все-таки увидите, какая я такая», — подумала она. Походка ее стала легче; синева пропала; потемнели глаза и наполнились бархатным светом.

— Здесь, парком, короче пройти, а можно через плотину мимо пчельника, там дальше. Пойдемте через плотину, — проговорила Наташа.

Николай Николаевич внимательно поглядел на ее сжатые губы, потом оглядел всю, улыбнулся и ответил:

— Пойдемте через плотину.

По подорожнику они сошли к плотине; кольцо огромных ветел затянуло пруд; на темной воде лежали листья купавы, плавал белый пушок; здесь было влажно и тепло; ворота на мельницу отворены, около стояли два воза; спутанные лошади ползали невдалеке по косогору; у воды, за ветлой, молодой бородатый мужик тащил через голову рубашку; когда Наташа и Стабесов сту-

или на плотину, он позади них шлепнулся в воду. Наташа обернулась, мужик плыл к середине пруда, выкидывая белые руки, выставив бороду.

— Здесь очень славно, — сказал Николай Николаевич, — все то я видел раньше, но не замечал; были и ветлы, и озеро, и мужик, но между всем и мною не хватало связи. Как странно, мы так давно не видались, а мне хочется поговорить с вами, как раньше. Вы позволите?.. Все равно будем друзьями.

Наташа сказала:

— Я читала ваше письмо и очень много думала о вас, говорите все, — а сердце у нее дрогнуло и заликовало.

— Я хочу иметь друга, — продолжал он, — мои старики ничего не понимают, а с вами мы заключим уговор. У меня многое переменялось в жизни с тех пор, очень многое, и уж, конечно, не они, а вы поймете. Встречный на пути человек, особенно девушка, самый нежный советчик, может быть — самый верный друг, правда? Так вот. С чего начать? Я уехал из Москвы в ужасном состоянии, не дай Бог; когда-нибудь расскажу об этом. В Нижнем сел на пароход, и меня поразила необыкновенная выпуклость всего — людей и окружающую. Представьте, у вас висит картина, сто раз ее видели, и вот, после четверной ночи, взглядываете на нее и не узнаете — вода стала живой и потекла, деревья выпустили ветки за полотно, люди в настоящей мсжде, двигают глазами, смотрят на вас, вы чувствуете, в них бежит красная кровь; вам страшно и отвратительно — это уже не картина, это слишком реально; вы точно переменялись местами, вы сами стали как нарисованный, как тень. Вы возмущаетесь, вам хочется доказать, что вы тоже, как и они, — живой. Не знаю, понятно ли я говорю? Какое состояние было у меня на пароходе. Там ехала одна дама... не знаю, позволите все говорить? Мне кажется — я могу вам все сказать... Правда?

Николай Николаевич порозовел немного, движения его стали резче, невольно он взял Наташину руку и крепко сжал.

— Эта дама улыбнулась мне несколько раз. Ради Бога, я слишком много знал женщин, чтобы попадаться на такие улыбки. Я спросил вина и пил, хотел опьянеть; а поздно ночью вышел на палубу; весь пароход, выпуклости берегов, вода и небо были залиты лунным светом. На носу, у борта, на скамейке сидела эта дама, одна. Лицо у нее было круглое, голова обвязана газом, вся она залита лунным светом, поблескивали зубы и глаза. Я подошел, поклонился, стал говорить, я сказал: «Научите, как нужно вести себя в такую ночь?» На дерзость она ответила смехом, дала мне место на скамейке, спросила, далеко ли я еду. Я ответил: «Мне все равно, мне решительно все равно, что было, что будет, разве детям, животным, растениям не так ли безразлично. Я только до конца хочу почувствовать всю глубину этой минуты, вот!» Тогда дама сказала: «А вы лучше замолчите, это гораздо лучше, надо поменьше болтать, уметь быть легкомысленным!» Вот что она сказала. Я не знал ни имени ее, ни кто она. Все, что было у нее

милого, простого, легкомысленного, она отдала мне, от щедрости не думая должно быть, слишком была полна светом, розовой кровью, молодостью. Мы расстались в Царицыне; я сказал, что мне будет грустно, она только засмеялась и на конторке уже улыбалась другому. Она и не умна и не остроумна, только бесконечно весела и смешлива. Я никогда в жизни столько не ел и не смеялся, как в эти дни. Мне доставляло удовольствие сидеть на солнце и не думать. Я стал опять мальчишкой за эти дни. Скажите, разве это хорошо, да? Но что теперь делать? Здесь опять начнется старинный канитель, споры с отцом, размышления. Опять ужасная скука. И отгородился, довольно! Ну, а дальше-то, дальше что?

Он взял опять Наташину руку и заглянул в лицо.

Наташа опустила глаза. Ей стало трудно. Потом она это преодолела.

— Не знаю; надо подумать, — ответила она.

Плутину они прошли и поднимались по дороге на пригорок, и плетню с конскими черепами. Под пригорком, у воды, слышался смех. Наташа быстро выдернула руку и обернулась: за ветлой, свесив ноги к воде, сидели мельник и Феклуша; бородастый мужик стоял посреди пруда, на мели, махал им рукой и кричал:

— Толкай, толкай ее в воду, девку-то, чего она сидит!

Наташа засмеялась.

— Это наша Феклуша, вчера еще только мельника ругала ругательски, а посмотрите — уселась. — Она двинулась дальше на пригорок и продолжала уже серьезно: — Скрывать нечего, я мне очень ждала это время, вы смотрите на меня, как на провинциальную барышню, — напрасно; я не хвалюсь, и уж, конечно, и излечу вашу меланхолию, а не пароходные дамы; их теперь сколько угодно развелось, только они вам очень скоро надоедят; вы не такой, как другие.

— Ну, а какой я, какой, скажите? — спросил Николай Николаевич.

Наташа остановилась в конце горы, у пасеки; плетень в этом месте был низкий; она положила на него локоть, грудь ее поднялась высоко, капельки пота проступили на губе и висках.

— Вы очень испорченный, — ответила она, — а я очень современная, так вот вдвоем мы до чего-нибудь и договоримся.

Она прямо, умными глазами посмотрела на Николая Николаевича; он взялся за высокий кол от плетня и сказал:

— До чего же договоримся? А вдруг я просто возьму и влюблюсь?

— Вот так пошлость сказал.

— А если действительно влюблюсь до смерти?

— Ох, это может случиться, — ответила Наташа, — но нужно сдержаться; влюбиться, конечно, недолго, но только я не хочу быть пароходной дамой.

Она всунула ногу между прутьями плетня, молча оглянулась на Николая Николаевича, приподнялась и крикнула пасечнику:

— Евдоким, кому ты честь отдаешь?

Действительно, между пеньками похаживал пасечник, в очках и с подстриженной седой бородкой; он медленно оглядывал улей, проводил рукой около летка, снимая паутину, и потом подносил лядонь к щеке, словно честь отдавал, говоря: «Ну, ну, не шали, не шали, покойно лети, покойно».

На оклик Наташи Евдоким посмотрел поверх очков и сказал:

— Паука этого нонче страсть сколько, по два раза снимаю, и пчела очень играет, того и гляди клонет, — все равно как ей под козырек отдаешь.

— Берегитесь, — сказала Наташа Стабесову, — ужалят; уж очень вы смелый... Ай, ай! — крикнула она и, замахав над головой руками, побежала. Николай Николаевич с улыбкой пошел вслед.

Обогнув пчельник, они степной дорогой углубились опять в парк и вскоре вышли к зеленому косогору, на верху которого стояла стабесовская дача.

Поднимаясь, они заметили на балконе Николая Уваровича, ходившего с книгой; на ступеньках сидела Марья Митрофановна пригорюнясь и глядела на подходящих. Острые глаза Наташи различили, как лицо Стабесовой стало вдруг беспокойно, побледнело, потом покраснело страшно, она встала и, не в силах двинуться, вся затряслась.

Николай Николаевич воскликнул: «Здравствуй!» — и побежал в гору. Наташа осталась на полпути. На балконе обнимались и, кажется, плакали; она повернулась к даче спиной и, погруженная в странные, взволнованные мысли, опустила в траву; подобрала ноги, склонила голову и с улыбкой стала смотреть на суетливую жизнь в крошечном круге земли: муравьи, козявки, зеленые блохи, кузнечики, мухи, червяки, паучишки — все это торопливо и не задумываясь копошилось в траве на земле, в золотом потоке солнца.

Стабесовы вспомнили про Наташу, но ее уже не было на пригорке. Николай Уварович постоял, покричал, потом вернулся на балкон. Марья Митрофановна кормила сына яичницей, спрашивала про дела, рассказывала, какую статью интересную они прочли в «Русском богатстве», совала под руку всякую всячину, ахала на свою бестолковость; Николай Уварович похаживал, дудел марш, деловито иногда спрашивал про пустяки и переглядывался с женой; потом втроем они отправились подышать, на прогулку.

А Наташа до обеда просидела на качелях; после она взяла книжку и устроилась в кресле, на верхнем балкончике. Она никак не могла разобраться, для чего Николай Николаевич в первую же встречу ей все рассказал. Она представляла его усталым, насмешливым, недоступным, а он сам так сильно пошел навстречу, что закружилась голова.

У нее были свои и заимствованные от провинциальных опытных кокеток приемы: в первую встречу, например, притвориться непо-

нятной — глядеть широко открытыми глазами, вдруг засмеяться, вогнать человека в дрожь загадочной улыбкой, затем, когда он окончательно ничего не поймет, намекнуть на что-нибудь двусмысленное (это уже завоевание последних лет); он сразу же ободрился и перейдет границу, тогда осадить и заговорить о высоких чувствах, и так далее и так далее: завлекаемого человека надо кидать из холода в жар, не давать ему опомниться и уже совсем разбитому нанести последний удар — сказать, что любви она еще не понимает и не верит в любовь.

Но с Николаем Николаевичем отношения сразу стали так открыты, что Наташа все перепутала, и увлекательные приемы пока казались ей ненужными, глупыми, пригодными для пензенских гимназисток на катке. Она припомнила до мелочей прогулку и в смущении призналась, что если бы Николай Николаевич знал, какая она девчонка, то просто взял и поцеловал без всяких разговоров. Он не походил ни на кого из ее знакомых, таких она еще не видала; он был умный и внимательный, и злой и нежный и будто совсем не заботился о себе, а был так красив, что Наташа долго смотрела на себя в ручное зеркало, сравнивая, и на одну минуту даже пришла в отчаяние от своего лица.

В сумерки она явилась к Варваре Ивановне в кабинет, села у ее ног на скамеечку и сказала:

— Тетка, Николай Николаевич вам очень нравится? — на что Варвара Ивановна, подумав, ответила:

— Он ужасно милый, ему только не нужно есть много мясного, я пошлю побольше овощей на дачу.

— Нет, я совсем не про овощи, тетка. Вы знаете, он ужасно теплый, как муфта. Не знаю, как это сказать.

Варвара Ивановна зажгла папироску, выпустила дым и долго глядела на потолок, а Наташа, упираясь локтями в поднятые колени и подперев подбородок, глядела на тетку так же серьезно и умно, как нынче днем на плетне у пасеки.

— Он рассказал ужасные вещи про себя, не постарался узнать, хочу ли я слушать, а прямо, как самому близкому человеку... Точно для этого только и приехал, — продолжала Наташа, — он очень сокрушительный, я боюсь.

Варвара Ивановна докурила папироску, глубоко ушла в диван, лицо ее в сумерках становилось все нежнее и ласковее.

— Чего же ты боишься, девочка, — проговорила она негромко, — любви? А разве что-нибудь с нею сравнится? Вот я уж век свой прожила, сердце у меня как гриб сухой, а то, о чем мечтала в молодости, еще живет; дочка моя милая, а ты не бойся, не думай, закрой глаза, полюби, а я тебе помогу, чем умею. Мы все успокоимся, но одни к этому идут через страдание, другие через любовь. От страдания уменьешься очень, становишься пугливым, а от любви, я так думаю, много смелости прибудет у нас, как у великанов.

— Уж не знаю, о какой любви вы говорите, — молвила Наташа, опуская глаза.

Отходя ко сну, Наташа в рубашке долго сидела на постели. Она заплела косу и откинула ее через плечо на спину, и погладила «младноватые» руки от плеча до локтя, и взбила подушку, и послушала, не пищат ли комары, — а сон не шел, и ей казалось, что назавтра она войдет в туман, где ни ум, ни острый глаз не скажут, что ждет — опасность или счастье? До нынешнего дня она была разумна, а Варвара Ивановна посоветовала ей войти в туман. Такой совет был очень странен и противоположен всем понятиям Наташи, всему, чему учили. Разум ей говорил: нельзя, опасно, глупо, он видал и перевидал женщин, видит их насквозь и не свяжется с провинциальной барышней, насмеется только, погубит, уедет; а в глубине, в сердце, разгорался мягкий свет, туманил мысли, и сладкая истома, просачиваясь по капелькам, как яд, овладевала Наташей, и опасения, предчувствия, надежды и волнующая радость заслоняли ее разум; она не могла ни заснуть, ни пошевелиться.

«Ну, с ним шутки плохи, — думала она, — не оглянешься, как уж и готова, по уши. И, конечно, надеяться — глупости, замуж не возьмет. Такой разве женится! Ох, как опасно! Ну, а если женится, разве лучше будет? Ничего это не разрешит. Женится, не женится — мне все равно, такого больше не встретишь; уж я это знаю, слава тебе Господи — перевидала; еще и нарочно ему скажу, что я с Георгием Петровичем, например, обручена. Пусть подойдет без боязни — вот вся я такая, какую видишь. Так проще, и, значит, об этом думать кончено. А уж дальше, о Господи...»

Наташа села поглубже, оперлась спиной на ковер со стреляющим турком и вдруг вспомнила, как в земле копошились маленькие существа; она подумала, что, конечно, сколько ни размышляй, придется к одному, и пусть уж все, что хочется, настанет, поскорее увлечет в туман.

Она медленно улыбнулась, покачала головой, потом быстро потушила свечу, легла под простыню, поджала колени и принялась считать до ста. Но дойдя до тридцати, шумно скинула простыню, соскочила на пол и, быстро перебирая босыми ногами, побежала к Варваре Ивановне.

— Тетка, — сказала Наташа, — пошлите-ка завтра за Георгием Петровичем, от себя, конечно, пусть придет, кстати сообщите ему: может быть, я и соглашусь выйти замуж, только пусть запомнит: может быть, может быть... Не особенно пусть надеется.

Вечером Николай Николаевич сидел на крылечке дачи, отец находился направо, Марья Митрофановна левее и повыше, чтобы видеть сына и с затылка и когда он обернется. Слышно было, как о лампу, стоящую позади, на столе, стукались ночные бабочки. Из глубины лощины кричал дергач. Пахло полынью и хвоей. Приглядевшись глазам были видны все звезды на темном небе. Николай Николаевич посматривал на них, и они казались ему слишком

знакомыми, хотя теперь и далекими и почти безопасными, но мы так свежо еще было в его памяти окно мастерской, мертвые звезды и тонкий силуэт Стеши. У Стеши звезды выпили всю кровь и взамен заполнили вечной печалью. Эта печаль — не жизнь и не смерть, а небытие, ничто!

— Видишь ли, папа, — продолжал он, улыбаясь, — все то, что я хочу, — существует, если, конечно, хочу всем существом, волей, всеми чувствами. Ты должен согласиться, иначе, по-вашему, по-водородному, выходит — чушь. По-вашему — чувства, желания и мысли произошли от найденной связи между причинами и следствиями; а я говорю так: если я провижу следствие и хочу его, то сделаю наоборот, потому что и я и вся Россия иррациональны. Нет, ты попробуй — согласишься.

— Знаешь ли, я вообще отношусь ко всему скептически, проговорил Николай Уварович и поглядел на Марию Митрофановну: она сильно трясла головой и показывала глазами на сына. Ну, если тебе так хочется, я соглашусь, — окончил он и вдруг широко улыбнулся, до того был доволен, что Коля сидит между ними и все вообще хорошо.

— Согласен? — воскликнул Николай Николаевич. — Так вот, представь, я желаю, чувствую, я уверен, что останусь жить, ни когда не умру. Вот! Пока мне больше ничего не нужно. Постой, постой, да не спорь ты, ради Бога. Честное слово, этого нельзя доказать. До нынешнего дня мне почти все казалось бессмысленным. А теперь я нахожу, что это, это и вот это очень важно. Понимаешь, я не знал, что плохо и что хорошо; а плохо то, что сводит меня к отчаянию, к смертельной тоске, а хорошо то, что выводит меня к большой радости, к большой силе, к сознанию, что я не напрасно работаю. Какое мне было дело, что люди после моей смерти станут счастливее? Нет! Все люди должны освободиться от нищеты, от труда, от унижений, они увидят всю землю сияющей от радости. Через это наполняются радостью сами, а радость ведет к одному, только к одному, к одному...

Николай Николаевич вскочил, зашагал по траве мимо балкона.

— До сегодняшнего дня я еще не понимал, был в потемках, а потом — как во сне. Но когда мы с Наташей пошли на плотину, мне вдруг показалось, что и пруд, и ветлу, и мельницу, и плывущего мужика, и милую Наташу — все это я уже видел давно и мечтал именно о такой чудесной красоте; точно я где-то странствовал, пропадал в чертовых потемках — и вот вернулся. Мне стало страшно, что я вытравлен весь городской суетой и уж теперь не гожусь; я нарочно стал рассказывать очень рискованное, думал, что девушка уйдет, а пруд померкнет. И вижу, представь, что я уже не тот, я новый; мне стала понятна неизменяющаяся красота. Пустота во мне заполнилась простой, немудрой жизнью, я окунулся в нее и родился вновь. Должно быть, я не заметил, когда опустился совсем и переходил дно, а там, на дне, я зачерпнул жизнь. Я дошел до последнего отчаяния, и если бы остался жить в той

индуертвой суете, то пустота моя заполнилась бы мелочью, сволочью, всем, что вертелось вокруг в дьявольском вихре, и тогда, конечно, — погибель, пьянство, эфир, кокаин. Но я зачерпнул смнечную жизнь. Я переполнен ею, я в избытке. Но Наташа права: пароходные приключения — это хаос; я не дерево, чтобы остаться с одними глухими соками. Но именно дерево весной должно чувствовать то же, что я сейчас. Я хочу превратить мою силу... Подумать — сколько еще дела впереди, увлечений, радостей, возможного. Вот это — чудеса.

— А знаешь, Коля, Наташа просто прелесть, узнай ее побольше, — начала было Марья Митрофановна.

— Вот, вот, вот, постой, я нашел! — воскликнул Николай Николаевич. — Вся Россия валит сейчас в эту пустоту, в неверие, в темное дно. И там на дне, в пустоте, во мраке — она возродится. Истанет катастрофа. Я верю. Немногие уже зачерпнули и выбежали на ту сторону, а все еще, как солдаты, бегут и падают, и срываются, и валятся в овраг. Останови? Нет, это и нужно. Или погибель — нет России, или новый народ.

На зеленой ситцевой занавеске выступили птицы, домики и олени. Было совсем тихо, потом ухо различило вдалеке словно глухой шум воды. И под этот шум на зеленом поле олень хотел перепрыгнуть через домик, а птица слететь с круглой завитушки. И вдруг близко застучала тятка. Николай Николаевич совсем раскрыл глаза. За занавеской было солнечно, шумел лес. Тогда он вспомнил, что вчера слишком много говорил и, кажется, чересчур широко раскрылся.

И раньше накатывали на него подобные приступы словоговорения, особенно по ночам, но всегда наутро было чувство, будто он без толку и дуrom лез на глухую резиновую стену, и она всегда откидывала его назад, а наутро было только совестно и скверно, как после излишества.

Поэтому сейчас он с осторожностью и не спеша стал припоминать вчерашнее, поглядывая на занавеску. От нее в комнате стоял зеленоватый полумрак. На стенах потекла когда-то и застыла смола каплями янтаря. Николай Николаевич отколупнул одну капельку и риздавил на зубах. Такую же капельку смолы он видел вчера на жерди плетня у пасеки, — и так же потянулся, чтобы отколупнуть, но его остановил взгляд Наташи, внимательный, очень странный. И сегодня, и завтра, и, Господи, всегда он будет видеть ее серые глаза, пушистые волосы, заколотые короною на затылке, и всю ее, легко прикрытую платьем, настоящую девушку. А вчера было? Ну конечно, не словоговоренье было вчера, а бой; меч острый и поражающий входил и разрывал, а не отскакивал, как деревянный.

Николай Николаевич быстро оделся и вышел на террасу. Марья Митрофановна, в переднике и платочке, повязанном по-хохлушечьи, стучала кулаком по столу, говоря мужу громким шепотом:

— Не смей ты, пожалуйста, спорить, ты всегда прав и очень все верно, и молчи. Коленька и без тебя «Русское богатство» может прочесть.

При виде сына она широко улыбнулась; отец обиженно позировался: поднявшись очень рано, он обдумал все возражения никогда еще ряд скептических положений не развертывался у него в такую великолепную цепь, а спорить не позволили.

Николай Николаевич с удовольствием пил и ел все, что подставляла ему Марья Митрофановна: молоко и ватрушки; низенькая терраса, смеющиеся от его рассказов лица Стабесовых, и сами эти рассказы о Москве, о своих похождениях, и влажное еще небо, и зеленые бугры, и поля вдалеке, и томилинский парк, и даже компир, севший ему на папиросу, — все показалось отличным, но самым главным было впереди.

После завтрака отец взялся было провожать, но Марья Митрофановна, углядев, как Николай Уварович, берясь за шляпу, на морщил лоб, чем собирал в порядок свои мысли, попросила мужа остаться ловить петуха к обеду.

Николай Николаевич ушел один. Он сбежал с бугра, огляделся и, заметив вдалеке белые черепа на плетне, быстрым шагом отправился к пасеке, узнал место, где вчера стояли, даже капелюк смолы отыскал и, миновав плотину, вступил в парк, где услышал голоса и сквозь стволы лип забелели две быстро движущиеся фигуры.

Через круглую площадку, образуемую скрещением четырех аллей, была протянута сетка, за ней, присев на согнутых коленях и выжидая, стоял Георгий Петрович; Наташа быстро пятилась от сетки, остановилась на крайней черте, взмахнула над головой ракеткой и, с силой послав мяч, наклонилась вперед, расставив ноги; прядь волос ее выбилась, мокрый лоб, щеки и открытая шея покраснели; застыв такой на мгновение, она вдруг кинулась вперед, отбивая ногами холщовую юбку, быстро повернулась всем телом и отдала шар. Зеленые зайчики света летели по ней, ложились на землю, пропадали под мелькнувшей тенью и возникали вновь.

Николай Николаевич вышел из-за дерева и снял шляпу. Наташа вдруг стала.

— Ах, это вы, — сказала она и, бросив ракетку, подошла, все еще живая и влажная. Она глядела в глаза Николаю Николаевичу, и глаза ее так засияли, будто вся она загорелась, как куст, от света, от смеха, игры, от влюбленности.

Николай Николаевич взял ее вспотевшую ладонь и проговорил:

— Вчера я не успел вас поблагодарить, мы так и не простились. Вы думали немного о вчерашнем? Вам не показался очень значительным вчерашний день?

— Думала и решила — думать не стоит.

— Не пойму, хорошо это или плохо?

— Да, очень хорошо.

— Вы так уверены?

— Нет, не уверена. Хотя уверена. Мне все равно.

— А не думаете, что я стал другим со вчерашнего?

— Не знаю. Должно быть. Да.

Так взволнованно, вполголоса проговорили они одним им понятным словом. Георгий Петрович по ту сторону сетки стоял в расстегнутой рубашке и открыв рот; до него долетели обрывки странного разговора; Стабесов ему страшно не понравился, он почувал опасность.

— Ну, что же, Наташа, продолжаем, четыре и один, — сказал он, отводя ракетку. Наташа и Николай Николаевич быстро обернулись: у Георгия Петровича на тупом, оплывшем лице мигали ресницы. Наташа прищурилась, помолчала, потом, словно отрываясь от сладкого забытья, подняла свою ракетку и сказала:

— А, вы не знакомы... Это Георгий Петрович, мой жених...

Это последнее слово проговорила она скороговоркой, словно само оно вылетело из горла, она слишком долго повторяла его, а когда подошел Николай Николаевич, смутилась, поняла, что не стоит говорить, совсем не нужно, и, сама не зная, как оно раздалось, стояла теперь с опущенной головой, не смея взглянуть...

Георгий Петрович широко ухмыльнулся, дошел до сетки и прогнул лапу. Стабесов дотронулся до лапы, с изумлением глядя на Наташу. «Так вот в чем ваша тайна, — подумал он, — довольно несложно, ну что ж, помогай Бог такому благополучию», и, брезгливо морщась, отошел в сторону, туда, где за деревом стояла Феклуша с полотенцем через плечо. А Георгий Петрович, весело подбросив шар, послал его над самой сеткой, сказав:

— Ну-ка, огурца.

Наташа вздрогнула, поискала глазами мячик.

— Иду купаться, играйте одни, — проговорила она, досадливо махнув ракеткой, и, подойдя к Феклуше, скрылась с ней за кустами.

Николай Николаевич все еще повторял: «Так вот в чем ваша тайна». Георгий Петрович, посвистывая, прошелся по площадке.

— Погуляем, — сказал он. Николай Николаевич тотчас пошел рядом с ним по липовой аллее.

— Ухаживаю очень давно, а согласие, как видите, получил только сегодня, честное слово, не поверите, — начал говорить Георгий Петрович и описал, как познакомился в прошлом году с Наташей, тотчас решив, что она будет принадлежать ему, несмотря на ее капризный характер; дыша Стабесову в ухо, сообщил, что в Наташе привлекает его главным образом огненный темперамент; что он, как вполне современный человек, не прикрывает свое чувство разными пошлостями — вроде идеальной любви, платонической дружбы и так далее, что подобные отношения придут в свое время, под старость лет, а сейчас он только хочет обладать роскошью.

Они двигались по аллее, под ногами их перемежались полосы света и тени от стволов; покрытые мохом гладкие стволы подни-

мались, как колоннада; в конце светлым квадратом поблескивал пруд. Николай Николаевич, слушая и поддакивая, старался ступать в полосы тени. Издалека с воды донеслись женские голоса. Георгий Петрович вдруг оборвал рассказ, глаза его забегали, он вытащил платок, вытерся и, пробормотав что-то про безотлагательное, пошел на кусты, помял их и скрылся.

А Николай Николаевич, дойдя тем же шагом до скрещивания аллея, повернул направо и вскоре увидел поляну, внизу ее мельницу и пасеку на той стороне. В воротах мельницы стоял мельник и чесал голову. Николай Николаевич поглядел мимоходом в лицо ему и остановился. Лицо у мельника было бритое, сонное и круглое, нечесанные волосы висели до плеч, а в светлых глазах было столько уверенности и лени, что Стабесов спросил вдруг, крича и смехаясь:

— Ну как, мельник, насчет Феклуши?

— Какой Феклуши? — ответил мельник, ничуть не удивившись, что его спрашивают. — Их тут много, что Феклуша, что Дунька — мне все одно.

Стабесов оглянулся — пруд и ветла над ним и небо за ветвями теперь были не его. Он слишком понадеялся; просто он чужой здесь, обойдутся и без него. Он опять посмотрел мельнику в глаза и сел на жернов. Мельник поставил тут же босую ногу и спросил:

— Девочками антиресуетесь? Это кому как дано. Про мочку брательника Федора слыхали? У него своя мельница, а он постарше меня годов на пять только; да вот еще в городе я на паровой мельнице жил, товарищи некоторые то же самое в люди вышли, ну, которые, конечно, с отсечкой, эти себя алкоголем пользуют, и я, значит, прирожденный для баб, и сам их очень уважаю, и они на меня кидаются непереносно. Терплю, конечно, много черт у них — и били меня и смеются. Так что, я считаю, это природное.

«Ну конечно, куда ни сунься, у всех у вас это природное», подумал Стабесов и вдруг спросил злым голосом:

— А что, Георгий Петрович часто ездит сюда? Кто он такой?

— Этот каждый день ездит; они помещики; и вот ведь все у него есть, а баб точно никогда не видал. Как барышня купаться, он в кусты — и смотрит. Стоит, сопит. Вон на той полянке, за деревом, сейчас он обязательно там. Природа у них деликатная, посмотрит — и уж у него руки и ноги отнялись.

Николай Николаевич быстро встал с жернова, сморщился, подумал и сказал:

— А как же она? Да ты заврался, кажется.

— А как? Никак. Он через нее мокнет только, а барышни смеется; она и ругала его и приезжать не велела, а он все ездит, от такого артиста не отвяжешься, разве ему в ухо дать, чтобы уж память выскочила, а то своего добьется, очень этаких не одобряю. Электричества у них нет.

— Послушай, проводи-ка меня на ту поляну, — хмурясь, резко проговорил Николай Николаевич и пошел по берегу пруда. Темный

Синий пруд с купавами, белеющим пушком и сухими листочками то вдалеке за поворотом плескался под ударами ног; а девичьи голоса, летя над водой, потревожили утку с утятами, которая вынырнула из камыша и беспокойно покрывала.

— Вон он, вон, гляди, стоит, — прошептал мельник и сел в траву.

Николай Николаевич, быстро подойдя, увидел за разбитой толстой ветлой Георгия Петровича, он действительно, отогнув ветку, глядел, согнувшись, на то место воды, откуда слышались плеск и голоса. Затылок у него был красный, а рубашка под мышкой потная.

Николай Николаевич ничего больше не сознавал, кроме одного слова, которое и крикнул, подскочив и со всей силой дернув Георгия Петровича за плечо.

Сомов отшатнулся, в ужасе еще не разбирая, кто его накрыл. Затем они мгновение глядели друг на друга. Стабесов еще раз глухо повторил это слово. Сомов стал наглеть, смелеть и расправил плечи.

— Убирайтесь к черту, — сказал он.

И только тогда Стабесов сознал, что нельзя ни отступить, ни по-человечески окончить свой поступок. Он сжал зубы, стиснул пальцы руки, но не успел. Сомов словно мехом каким выдохнул из себя: «эх», и кулаки его пронесли над головой Николая Николаевича, опустились на плечи, холодными пальцами он обхватил шею его и опрокинул Стабесова в траву.

Белая потная рубашка, лист лопуха сбоку, ветка, кусок облака, синее небо медленно поплыли в темноту; Николай Николаевич последним усилием ударился коленками в жирный бок, хотел вдохнуть и потерял сознание.

Наташа купалась на этот раз до ознобу, до синих губ, и все же не вернулись к ней ни ясность духа, ни спокойствие, она только постукивала зубами, одеваясь, и прямо с пруда прошла к себе. Юзни в кустах она не услышала.

Расчесывая перед туалетом волосы, она рвала их гребенкой, швыряла по столу банки и пузырьки, глядя в зеркало, думала: «Дура!» Наконец, бросив гребень на пол, облокотилась, закрыла лицо и проговорила сквозь слезы:

— Зачем лягнула, кому это надо было, — жених! Хорош жених! Ох, Боже мой, конечно, теперь все кончено. Все тетка виновата. Уговорила. Кому могла глупость такая в голову прийти — позвать, объявить его женихом.

Сейчас же она решила, что из комнаты этой не выйдет больше никогда. И пускай тетка сама разговаривает с Георгием Петровичем. Сама же Наташа не только не выйдет, но ляжет еще на постель и будет реветь, пока что-нибудь не случится.

Затем она поспешно закурила волосы, заткнула их шпильками и сбежала вниз.

Ни в дому, ни на кухне Варвары Ивановны не было. Кухарка посоветовала кинуться на погребницу, и Наташа сошла с черной крыльца на заросший двор, обстроенный бревенчатыми службами. К ней подошла овчарка и стала лизаться, и, в густой до колена траве, под полуденным солнцем, решила Наташа, что упустила великое счастье, что Николай Николаевич, увидев ее такого жониха, и встречаться не станет, и уедет, и скажет, конечно, что она просто скверная, глупая, глунья.

На погребнице тетки тоже не оказалось. Проходя по заданному скотному двору, Наташа увидела вдалеке мельника и Феклушу, которая ударяла себя по бедрам, очевидно дивилась, мельник же крестился и тыкал через плечо большим пальцем на пруд; затем оба они куда-то убежали. Наташа вошла на пустой скотный двор, под поветями, подняв юбки от блох, прохаживалась Варвара Ивановна, в старой шляпке пирожком и с перышком; она оглядывала требующие починки постройки и покачивала головой, очевидно думая о постороннем.

— Тетка, я очень несчастна! — крикнула ей Наташа.

— Юбки, юбки подбери, ах, какая ты неосторожная, — сейчас же ответила Варвара Ивановна. — Ну, что еще случилось?

— А то случилось, что я ваших советов слушать не хочу, мне вязали мне толстого идиота, любите сами.

И Наташа рассказала, какое ужасное впечатление на Стабесова произвели ее слова: он в одну минуту стал чужим человеком, Георгий же Петрович до того обрадовался и обнаглел, что едва не попал ей в лицо мячиком, и вообще она его ненавидит, как только возможно.

— Да, я действительно ошиблась, плохо сообразила, — проговорила Варвара Ивановна, весело глядя на девушку, — ты умнее меня, пожалуйста, прости; ну где же мне сообразить, когда ты так меняешься, вчера еще другим человеком была; уж очень вы скоро живете, вот что; за вами не поспеешь.

И, обнадежив, что она поговорит и все устроит, тетка повернулась к забору, поковыряла палочкой прогнившие доски и сказала:

— Вот в позапрошлом году только переменяли, опять гниль, послушай, Наташа, а он тебе очень нравится?

— Кто это? кто? — всполохнулась Наташа. — Ах, не знаю, о чем спрашиваете. Я сама не своя... Откуда это вы взяли! Ну, конечно...

Николай Николаевич ощупывал голову, шею и бока, сидя в траве; все тело очень ослабло, но поломки нигде не было; он сообразил, что жив, и подумал: «Теперь добраться домой и лечь», — с трудом приподнялся, встал на ноги, сделал несколько шагов и остановился.

— Вот что вышло, — проговорил он вслух, — так, так, значит надо его найти.

Он двинулся в другую сторону; рассудок его работал быстро, почти бессознательно, он вылил еще одну фразу:

— Что же поделаться, не бежать отсюда, в самом деле.

В это время появились страшно любопытные мельник и Феклуша; Николай Николаевич круто повернул к теннису; чем дальше он шел, тем яснее становилось, что жизнь его свелась ко второй встрече с Георгием Петровичем, ни обойти ее, ни увернуться было нельзя, только перешагнуть или погибнуть.

Он заглянул на теннис, обошел цветник, качели, балкон, нижние комнаты дома, спустился во двор, — все точно провалилось на усадьбе, только за отворенными дверями конюшни, у ворот, слышались голоса и топот. Вдруг из темноты конюшни, стуча копытами по съезду, выехал верхом на рыжем мерине Георгий Петрович. Он повернулся в седле, пристально поглядел на Стабесова, ударил мерина плетью и рысью выкатил за ворота.

— Подожди! — не своим голосом закричал Николай Николаевич, кинулся было вслед, но сейчас же стал и глядел, как над плстым задом лошади подпрыгивает враг его в раздувающейся рубашке, в голубом картузе.

Если бы Георгий Петрович догадался прямо из ворот нырнуть в кусты, а Стабесов не глядел бы ему в угон, то жизнь Николая Николаевича повернула бы, может быть, с этой минуты по другой колее. Убегать, все время на виду, очень опасно, и еще опаснее глядеть убегающему в спину, — просыпаются заглохшие инстинкты, и спокойному даже человеку хочется пуститься, догнать и свалить.

Николай Николаевич вбежал в конюшню, сорвал со стены узду, кинул ее на первого от него вороного жеребца, который только что хотел пошутить — словить вошедшего губами, вывел на двор; жеребец был племенной, черный, как крыло; Стабесов вскочил верхом, жеребец дал свечу, кинул задом и вылетел за ворота; сорвало шляпу, ветер зашумел в ушах, промелькнули кусты, избушка, и навстречу понеслись, словно дребезжа, березовые стволы подъездной аллеи...

Едва удерживаясь, Николай Николаевич вылетел в поле и в полуверсте увидел во ржах подпрыгивающую белую спину.

Стабесов не робел больше, не думал; дикая радость погони, свистящего ветра, лошадиного запаха захватила дыхание. Жеребец, мерно сгибаясь и разгибаясь, настигал, опустив морду, ударяя копытами в пыль.

Георгий Петрович настолько приблизился, что стало видно его оборачивающееся, испуганное лицо. В десяти шагах жеребец наддал, Николай Николаевич поравнялся и тут только подумал: что делать дальше? Сомов молча, со страхом и недоумением поглядел в глаза. Николай Николаевич поднял руку, жеребец проскочил; Стабесов стал осаживать, опять поравнялся и, быстро вытащив из лядного кармана револьвер, зажмурился и выстрелил.

«Не то, не то, гадость, нельзя», — подумал он тотчас и увидел, как исказилось лицо Георгия Петровича на шаррахнувшемся мери-

не. Сомов казался слишком толстым и живым, чтобы его можно было убить. Да и убить кого-то в мыслях, с разбегу, не глядя — еще понятно, но поднять револьвер и, видя живое лицо, выстрелить в него и знать, что оно запрокинется, упадет в пыль и само станет пыльным и уж нечеловеческим, — было немислимо.

— Эй ты, мерзавец, — сказал Николай Николаевич, — я тебя убью!

— Нельзя, нельзя, не стреляйте, — быстро ответил Сомов.

— Молчи. Я тебе приказываю молчать.

— Что вам от меня нужно?

— Я тебе покажу, что нужно, поверни назад.

Некоторое время они скакали молча. Вдруг из-под горы появилась мельница, красные крыши, деревья и впереди всего каменные ворота сомовской усадьбы. Облака снежными темными громадами поднимались из-за края земли и прикрыли солнце. Оно выпустило из-за них три широких луча, а далеко внизу над квадратами полей опустилась косая борода дождя.

— Вот мы подъехали, заедемте к нам, поговорим, — сказал Георгий Петрович. Стабесов кивнул головой, ему вдруг показались ничтожными и обида, и месть, и предстоящий разговор; он сделал все, что требовала в нем возрожденная сила, и даже переступил грань: после выстрела он почти с удовольствием глядел, как Сомов, живой и толстый, скачет на лошади; выстрел словно опалил Николая Николаевича, сказал: стой, здесь конец, есть иное — глубже, лучше, сильней.

Рысью они проехали ворота и соскочили с коней у крыльца. Георгий Петрович вошел в дом первый, странно и внимательно оглянувшись. Николай Николаевич одернул панталоны, вздохнул и последовал за ним через просторные сени в гостиную.

У окна с кресла навстречу вошедшим поднялся багровый полковник на деревяшке.

— Ба, ба, ба, то-то я вижу знакомое лицо, вот где пришлось свидеться, — воскликнул он, раскинул руки и, выкидывая деревяшку, совсем было подошел обнять Стабесова, но Георгий Петрович, резко отстранив отца, воскликнул, задыхаясь:

— Подожди, папа. Вот этот мерзавец дал мне пощечину и сейчас в меня стрелял.

Мельник видел, как Георгий Петрович надел на Стабесова; мельник завизжал, чтобы распугать врагов, потом все это рассказал Феклуше, которая сбегала на пруд, увидела Николая Николаевича не в своем виде и оттуда кинулась к Варваре Ивановне и Наташе. Из рассказов Феклуши стало ясно, что молодые господа издушили друг дружку, переколотили в кровь, и без убийства никак не обойдется.

Наташа, прослушав все до конца, сказала: «Вот, я вам говорила», — и хлопнулась на пол. Варвара Ивановна облила ее из графина водой, отнесла на диван и укрыла пледом, а Феклушу

искал искать молодых господ. Девушку на дворе поймал кучер и велел доложить барыне, что Стабесов угнал вороного жеребца. Так все узналось. Варвара Ивановна расспросила подробно, приказала заложить тройку, надела шелковое платье и поехала в усадьбу к полковнику Сомову.

Феклуша подряд пять раз рассказала Наташе все, что слышала от мельника. Наташа пришла в неописуемое смущение и ничего не поняла; то ей казалось, что «он» нарочно, из презрения к ней и мести, избил «жениха», то было очевидно, что «он» решил силой овладеть ее любовью.

Каждую минуту она посылала Феклушу узнавать: нет ли вестей, не едут ли? Когда же солнце склонилось над парком, Наташа решила, что «он» погиб и ей ничего не остается, как только написать предсмертное письмо. Она так и сделала: села к столу, за которым тридцать лет тому назад умер старый Томилин, разыскала среди бумаг чистенький почтовый листик и написала:

«Милая тетя, я никого не виню, я одна во всем виновата, пердайте всем, что я очень хотела любить, но все надо мной смеились, говорили, что это очень несовременно и нужно трезво смотреть на вещи. Вот, милая тетя, до чего меня довел трезвый взгляд, для меня в жизни нет никакого утешения. Мой долг, — это слово она подчеркнула, — умереть вместе с ним. Я умираю, потому что внезапно, неизвестно почему, ужасно, ужасно захотела умереть от любви. Если бы вы знали, тетя, как я его сейчас люблю. Для себя я бы ничего не хотела, я бы хотела, чтоб он, милый, нежный, красивый, был счастлив. Я бы глядела ему в глаза, гладила бы волосы и руки, я была бы ему верной; пусть он не думает, что если я девчонка, такой бы и осталась, — нет, женского во мне очень много. Если бы осталась жить, я бы, я бы...»

Но дальше Наташа не могла продолжать, частые слезы закапали на письмо, и буквы его расплылись.

Варвара Ивановна тем временем подкатила к сомовской усадьбе и решительно вошла в дом, еще издали слыша странные разговоры.

Николай Николаевич сидел, откинувшись на диване, бледное лицо его на минуту вспыхнуло при виде Варвары Ивановны, затем он опять опустил глаза.

Полковник Сомов не допустил, чтобы сын искалечил Стабесова, хотя Георгий Петрович в первую же минуту, обезоружив Николая Николаевича, грозил и хотел вышибить из него дух кулаком из-за отцовской спины.

Полковник Сомов правильно рассудил, что дело это уголовное и что можно или прямо закатать Стабесова подальше, или взять с него куртаж, что вполне допустимо при теперешнем экономическом строе и подтверждается примерами западных государств, где один велосипедист, переехав на улице барыню, заплатил ей тридцать тысяч франков за одно беспокойство. Поэтому полковник послал верхового за понятыми, написал письмо приятелю своему, земскому начальнику, Борода-Капустину, и принялся за предварительный допрос.

Николай Николаевич только пожал плечами и отвечать отказался: ему сейчас было глубоко безразлично, что с ним сделают и чем все это кончится; он слишком близко подошел к убийству, к тому краю, где кончались ясные мысли, радостные желания, где захлопывалась дверь на весь свет и оставался человек один, с одной мыслью. Переход был легок и мгновенен и тем от этого страшнее; и как бы в избавление от него, в напоминание иного бытия, ему было видение солнца, неба и дождя.

Перед приходом Варвары Ивановны старик Сомов, оставив лаврешку и помахивая пальцем, говорил:

— Я еще на пароходе заметил, что с вами нужно держать ухо востро, милостивый государь; вы анархист, я вас военному суду предаю. В человека стрелять, это не в картошку, да-с. Мне все равно, что это мой сын, мне важна идея; посидите да подумайте об этом. Много таких стрелков развелось; я сам военный, сам людей убивал, но никогда не думал, что они — картошка.

Георгий Петрович сидел у стены, на стуле, курил и глядел, как кот, горящими глазами на Стабесова, иногда замечая отца.

— Брось, пожалуйста, болтать.

Варвара Ивановна прямо подошла к Николаю Николаевичу, пальцем указала на пол около себя и сказала:

— Не позволю.

Георгий Петрович вскочил. Полковник уперся в бока и начал было:

— Пстой, пстой, матушка моя.

— Я тебе не матушка, старый безобразник... ты лучше молчи. Да я твоего сына сама высеку. Да знаешь ли, зачем он к нам ездил?

— Позвольте, Варвара Ивановна, — перебил было Георгий Петрович.

— Не позволю. Я — Варвара Ивановна Томилина, я не позволю, чтобы этот щенок ездил подсматривать на мою родную племянницу! Молчать! Он этим только и занимался. И племянница моя, Наталья Юрьевна, формально ему отказывает. В обмороке лежит. Пойдем из этого дома.

Это последнее слово относилось уже к Стабесову, которого она, взяв за руку, вывела из комнаты, все еще с высоко поднятой головой, на крыльцо и сказала кучеру: «Пошел, дурак», хотя кучер был вовсе не глуп.

Николай Николаевич покорно влез в коляску, оглянулся вокруг, потом поглядел на Варвару Ивановну и вдруг засмеялся.

— Спасибо, — сказал он, — большое вам спасибо, Варвара Ивановна; правда, в какое я глупое положение попал, я теперь и сам не соображу, как все это связалось.

— Сам виноват, — ответила Варвара Ивановна отрывисто: в ней еще ходила ходуном томилинская кровь. — А зачем жеребца угнал? Напьется жеребец — пропадет. Стой! — крикнула она кучеру. — Отстегни пристяжку, скачи назад, за жеребцом.

И когда кучер поскакал верхом на пристяжке обратно в Сомово, Варвара Ивановна сама взяла вожжи, тронула лошадей и после некоторого молчания проговорила уже иным голосом:

— Бедная моя Наташа, вот что. Вся томилинская порода такая несчастная в любви; видно, и Наташе не суждено.

— Варвара Ивановна, милая, мне кажется, все эти глупости я наделал потому, что... — проговорил Николай Николаевич, глядя на облака, — потому, что... я люблю Наташу...

Варвара Ивановна живо обернулась:

— Молчите, молчите. Боже мой, как это ужасно, страшно. Нет, нет, не мне, не мне, вы ей это скажите... Такие слова нельзя произносить вслух.

— Идите, идите, она обрадуется, — прошептала Варвара Ивановна и осталась за дверью. Николай Николаевич вошел в кабинет. Наташа сидела у письменного стола, положив на него руки, а на них голову; закатное солнце сквозь пыльное окно заливало светом старый, темный кабинет, волосы девушки просвечивали и казались горячими, легкими, полными этого света. Николай Николаевич наклонился, Наташа спала, и на щеке ее еще остались следы чернил и слез. Зайчик с медной чернильницы прыгнул на глаза Стабесову, который наклонился еще ниже и прочел письмо. Потом он поглядел на палец, измазанный в чернилах, на чернильное пятно на щеке, на двигающиеся во сне ресницы, на огорченный рот и позвал: «Наташа».

Девушка пробудилась, приподняла голову, потерла глаза и только тогда оглянулась. Она сейчас же встала, все лицо ее задрожало испуганно.

— Я заснула нечаянно, — проговорила она; и видя, что Николай Николаевич продолжает улыбаться, она потянулась к нему, положила руку на его рукав и сказала: — Я вас люблю очень.

Потом, не дожидаясь ответа, засуетилась, ища платок, присела, нашла его под столом и, не глядя, вышла из комнаты.

Николай Николаевич продолжал стоять, прислушиваясь. Он не ожидал такой встречи: он вошел объяснить, что сам не знает, почему так стремительно налетели на него страсти и буйство; он хотел осторожно начать таинственный этот разговор; обернулось же так неожиданно и по-простому, что только сердце могло ответить на все. Под частым, гулким его биением возникло невидимое облако вокруг Николая Николаевича, исчезли все предметы и с невиданной силой почувствовал он, что одно прекрасно — тихий голос Наташи, глаза ее, милые изменения лица. И словно через эти простые, всегда виденные, в первый раз понятые им земные знаки — голос, глаза и лицо — вступил он в чудесные селения, где все, как на земле, но все иное. Для него селения эти были волшебными и носили имя — Наташа.

Иные — Форель, например, и гимназисты — называют их половым инстинктом, люди попроще — любовью, поэты — влюблен-

ностью. Феклуша сказала бы, что он соскучился. Для Николая Николаевича селения эти были волшебными и носили имя — Наташа.

Прошло два дня. Старики Стабесовы до того взволновались за дним числом, что у Марьи Митрофановны отнялись ноги, а у Николая Уваровича испортился желудок. Они настаивали, чтобы Николай Николаевич уехал обратно в Москву. Действительно, со стороны Сомовых известия шли не особенно приятные: полковник решил подать на Стабесова в суд, Варвару же Ивановну привлечь как соучастницу; и хотя все это были только еще разговоры, но земский начальник Борода-Капустин через письмо посоветовал молодому Стабесову скрыться от греха. К тому же пришло из Москвы известие, что только что оконченный Николаем Николаевичем ходный дом дал трещину и строительная комиссия требует перестройки. Николай Николаевич уезжал завтра утром. Варвара Ивановна обещалась в конце месяца быть с Наташей в Москве.

Варвара Ивановна словно омылась в трех росах, до того помолодела, и даже бросила курить. Словно над ее угасающей жизнью ударил колокол: она полюбила в первый раз, полюбила влюбленность Наташи и Николая Николаевича, и она и он равно были ей близки и понятны, и, даже не видя их, она знала все изменения их чувства; это было то, чего ждала всю жизнь, и уже не сухим грибом, а пылающей розой представлялось ей ее сердце.

Николай Николаевич и Наташа были словно окутаны ее чувством: через нее любовь казалась им важной, огромной, мировым событием. Остаток вечера и весь следующий день до полдника они провели в саду, на качелях, на теннисе и на пруду. Быть может, они совсем и не говорили друг с другом, только глаза их, встречаясь, проникали друг в друга, вбирали немые, оглушающие волны. И, конечно, настала в их медленном дне одна минута, которая могла оказаться роковой.

Наташа сидела, охватив колени, в густой траве под косогором, на берегу узкой речонки, бегущей издалека, из-под мельницы; Николай Николаевич лежал навзничь. Легкий ветер волновал метелки травы, а высоко в темно-синем небе, там, где кончались вершины сосен на бугре, плыли белые облака; они выплывали из-за леса и синюю высоту, и казалось, что лес, и земля, и Наташа, и сам он уносятся навстречу облакам.

— Посмотрите наверх, у вас закружится голова, — проговорил Стабесов. Наташа подняла глаза и лицо, горло на открытой ее шее задрожало от легкого напряжения; Николай Николаевич, глядя на ее горло, повернулся, и невольно ноздри его раздулись, он знал, что почувствует, если прикоснется к ее шее губами; он опустил глаза; ее ноги в черных чулках были прикрыты юбкой только до колен; из-под холщового края было видно кружево белья; на одно мгновение пропало Наташино лицо, он забыл ее всю, словно между ним и ею провели черту, сквозь которую можно только прорваться силой; и вслед за этим из какого-то завалюющего угла памяти по

«...ивился Тверской бульвар, мутный свет и в американском пальто уютный незнакомец, бежавший за тростью вокруг... и все, что было далее... «К чему это, какая мерзость», — подумал он и поднял голову. Наташа глядела на него умоляющими глазами, полными слез; он понял: она ни в чем не могла отказать, лишь просила, чтобы он не уходил из ее волшебных селений, не покидал ее... Николай Николаевич встал на колени, она соскользнула с травы, поднялась, закинула руки ему за шею и, вся вздрагивая от радости и нежности, поцеловала его в губы и глаза.

— Будь нежным, будь ласковым, будь милым, — шептала она, — сейчас еще не время, мы еще сильнее, еще глубже должны полюбить.

НАТАША

Старая тетка Варвара Ивановна решила, что Наташу, ставшую невестой, нужно строго охранять. От чего понадобилось охранять молодую девушку — тетка не знала хорошенько, но в разговоре ее появилось множество врачебных советов и практических замечаний. В этом поддержали родители жениха, старики Стабесовы, Марья Митрофановна и Николай Африканович, снимавшие у Томилиных в лесу дачу.

Так, они прочли брошюру о малярийных комарах и прибежали однажды спозаранку, крича еще с балкона:

— Ради Бога, где у вас комары?

Николай Африканович стал в зале на стул и принялся считать комаров на потолке, пока у него не закружилась голова. Тогда Варвара Ивановна завела длинную палку с навернутым на конце полотенцем и повсюду уничтожала ею вредных насекомых.

В Наташиной спальне окно забили сеткой и один раз даже прыскали особой жидкостью, чрезвычайно плохо пахнущей.

Была выписана книга — «Гигиена молодой женщины». Из чтения ее выяснилось: нельзя поднимать тяжести, сильно нагибаться, вредно есть квашеную капусту, пить в жару холодный квас и т. д. и т. д...

Купаться позволяли пять минут, — опять-таки по книге. В полдень в солнечном свете оказалось чрезмерное присутствие ультрафиолетовых лучей, действующих на органы. На закате легко было поймать крапивку. Роса, чудесная утренняя роса, по которой Наташа любила бегать босиком, была признана безусловно вредной. Когда, задумавшись над недопитой чашкой чая, прислонялась Наташа к кирпичной стене террасы, Варвара Ивановна говорила поспешно:

— Не облакачивайся, прошу тебя. Схватишь ревматизм. Подожди, придет Николай — сиди, где хочешь.

При этом она с удивительной ясностью проникала в тайны Наташина организма. И тогда как старики Стабесовы упирали исключительно на книги, тетка искала главную причину в наследственности.

Наташин желудок, например, оказался томилинский, крепкий; шючки пошли в дядьев с материнской стороны; печень же со всеми ее капризами долго оставалась загадочной. Однажды, в позднее время, тетка вошла со свечой в Наташину спальню, села на кровать и после тяжелого вздоха открылась:

— Был гусар Нащокин, твой дядя троюродный. Чрезвычайно тучный человек. Вспыльчив — чистый порох. Вот, Наташа, откуда у тебя моя раздражительность, — и строго посмотрела поверх очков.

— Что вы, тетечка, когда же я раздражаюсь?

— Ну, позволь мне об этом судить. Завтра же, мать моя, поеду в город за ящиком боржома. Я не могу сдать тебя с такой пышностью на руки жениху.

— Тетка, если вы еще раз скажете «жених», я намочу голову всю ночь просижу на окошке.

Тетка ответила:

— Фу, фу, фу! Распетушилась, горячка, — и разговор прекратила.

Наташа просила не говорить слов: «жених», «нашим молодым», «свадебка», — и просила также не слишком часто поминать имя Николая Николаевича, потому что думала о нем все время напряженно, иногда со страхом, но чаще с нежностью. Он был близко, у самого сердца, и совсем не хотелось, чтобы и его также наградили почками.

Пробовала она протестовать против «Гигиены молодой женщины», но в этом тетка оказалась как камень. И понемногу девушка начинала чувствовать себя особенно хрупкой, боялась ушибиться и перестала даже громко смеяться, не то что раньше, когда была — ничья.

Стояли в это время сильные жары и близилось полнолуние.

Наташа лежала в качалке. От солнца затеняли ее плотные кусты акации. Рассматривая свою руку, она думала лениво: «Какая странная вещь — рука. Почему пять пальцев, а не шесть, и отчего это красиво?»

И вдруг точно всю себя почувствовала со стороны, тоненькую, в белом платье, длинноногую, синеглазую, хрупкую. Над головой тихо треснул стручок акации, и на колени упал бобик, зеленый с красными жилками. Тогда Наташе стало казаться, что живет она в каком-то высоком хрустальном доме, чистая и печальная от своей чрезмерной чистоты. А очень еще недавно играла в теннис, читала с упоением современные романы и презрительно не верила в любовь. Что это было такое? Ноги и руки остались теми же, и голова, и даже сердце, а сама она — другая. И отчего грустно ей даже от таких пустяков, как упавший на колени бобик?

Наташа стала припоминать. Она гуляла с Николаем Николаевичем за парком, у пчельника на гречишном поле, цветущем желтыми кистями. Было жарко, пахло медом, и летали пчелы. Подходя к этому полю, Николай, помахивая палочкой, курил, болтал вздор. Наташа искоса поглядывала на него, думала: «Красив-то — красив, только слишком развязен». Но когда они вошли в гречиху, осы-

павшую им платье до колен желтой пылью, и Наташа наклонилась, чтобы нарвать кистей, а Николай, бросив папиросу, задумался, с этой минуты их обоих заволокло медовым запахом цветов и непросохшей после дождя земли, и казалось странным, как могли они еще пять минут тому назад болтать непринужденно. Это чувство застенчивости и легкого головокружения не прошло даже тогда, когда вернулись домой, а на следующий день только усилилось.

Затем Наташа и Николай словно одичали: встречаясь, не смотрели в глаза, говорили мало понятные вещи; уходя гулять, бродили по межам, по кошнине, мимо копен, залезали в степные овраги и не замечали, когда наступал вечер. Ноги не болели от таких прогулок, и все — сердце, ум, воля, чувства — было молчаливо и прижато.

Наконец оба они провели ночь без сна; Наташа проворочалась в постели и напугала тетку, напоившую ее гофманскими каплями, а Николай пробежал от дачи до Спасского и обратно — всего шестнадцать верст. Что думали они в эту ночь, неизвестно, но уже в восьмом часу оба явились на теннисную площадку с такими измученными лицами и блуждающими глазами, что глядеть было страшно. Николай взял мяч, внимательно осмотрел его, закинул для чего-то в пруд и сказал:

— Наташа... вот что.

У Наташи подкосились ноги, она села на скамью, спросила едва слышно:

— Что?

У обоих громко, непослушно стучало сердце. В зеленой тени лип нечем было дышать. Кусая губы, стоя почти спиной к девушке, Николай проговорил наконец:

— Я вас люблю, Наташа.

Она не ответила, — не могла. В душевной тени двигались зайчики, кружочки света. Затем у самого ее лица появились глаза, тоже зеленые, изумительные, родные. Она подняла руки на свои плечи и поцеловала полуоткрытым ртом.

Решено было скрыть от родных, что объяснились. Но к обеду Стабесовы на даче, а Варвара Ивановна на балконе у себя узнали все. И, точно по уговору, принялись мешаться не в свое дело: и тем, что спрашивали бестактно, и тем, что многозначительно молчали; но едва Наташа выходила из комнаты, усаживались в кучку и шепотом вели беседу о Наташиной красоте, о Наташиной добродетели, о том, как Николай будет с нею счастлив.

Наташе и Николаю точно опротивела за это время ходьба, и весь день просиживали они на скамейке то в липовой аллее, то в березовой, около пруда. И разговаривали только об одном, — как это удивительно и непонятно, что они встретились и полюбили друг друга и что еще никто на свете так не любил, как они.

Каждый день, на рассвете, Николай шел купаться в томилинский, дымящийся паром пруд; быстро раздевался и плыл в студеной воде, фыркая и оглядываясь на огромные осокори по берегу; они

вдвое выше в этот час. Свистали птицы, вдалеке мычало стадо. И в тумане, за вершинами осокорей, проступали водянисто-красные полосы зари.

Затем Николай сел под Наташино окно на скамеечку. Когда в окне из-за вершины клена пробивалось в самую глубь комнаты, Наташа вставала и, в белом капотике, с лохматым полотенцем, выходила на дорожку, отворачиваясь и говоря, чтобы Николай на нее не смотрел, потому что она еще заспанная.

Так начинался день — не то сон, не то сплошная мечта, — жароватый и призрачный.

Вдруг Николай получил из Москвы телеграмму: дом, строящийся под его руководством, дал трещину. Пришлось уехать немедленно. И тогда-то Варвара Ивановна и старики Стабесовы принялись Наташу оберегать.

Николай писал каждый день. Его письма в больших серых конвертах начинались приблизительно так: «Моя нежная, ласковая, прекрасная, дивная, возлюбленная, чудесная Наташа...» — и в том же роде кончались.

Там, в Москве, вместо Наташи он имел дело с кирпичами, известкой, железными балками, плутом подрядчиком и проч. Москва оказалась пыльной, душной, оглушительной. Он рвался в Томилино, где Наташа, охраняемая тремя стариками, жила как внаполовину только настоящем мире.

Но прошло две недели, у Наташи началось недовольство... Оно шло откуда-то, как сквознячок в едва заметную щелку.

«Возьмется точно с цыпленком, — думала сейчас Наташа, забившись с ногами в качалку, — откармливают, обглаживают, чтобы ему подать: пожалуйста, — только язык не проглотите! Удивляюсь, как еще не умерла от скуки». Она взяла в рот бобик и разгрызла. Он оказался кисленьким. Затем на дорожке появился Николай Африканович, коротенький, стриженный бобриком старичок в чесучовой рубашке, с поясом на животе; разглаживая на обе стороны бороду, прищуря глаз, он воскликнул:

— А у меня что-то для кого-то есть!

«Что-то» было, конечно, письмом от Николая. Но неужто понадобилось проделывать весь этот маскарад и подмигивать, чтобы передать письмо? Наташа взяла его и сейчас же ушла к пруду.

Там, вынув из головы шпильку, разорвала конверт и стала читать:

«Милая, нежная, удивительная... Мне телеграфировала тетя Варя, что ты грустишь все эти дни. Что с тобой? Я в отчаянии. Берегись простуды. Не выходи после заката. Я не хочу, чтобы ты простудила мои ножки. Боюсь, что у тебя предрасположение к малярии. Помни, ты — вся моя. Береги себя для меня, для нашей любви...»

И до последней строчки ни слова о самом главном и простом — когда придет.

— Теперь я понимаю, — сказала Наташа вслух, — вы со мной держитесь как хозяева. Я вам не обезьяна и не канарейка. Это

мои ноги, а не ваши. Я не обязана быть ни здоровой, ни красивой, ни хорошей.

Она осмотрелась, стащила длинные чулки, подобрала подол и, сев на бережок, опустила ноги в пруд. Ей стало очень грустно и жаль себя.

Пруд в этом месте был очень широк и светло-синий сегодня. В бездонной его глубине двигались белые облака. В тени берега плавали сухие листочки и отражались сосенки с крестообразными ветвями. На дальнем берегу белел песок. Не было во всем свете более грустного человека, чем Наташа у пустого, сонного пруда.

Через час она взошла на балкон, села у стола в плетеное кресло и строго сказала горничной:

— Дуня, принеси мне из погреба квасу как можно холоднее, и, опустив глаза, стала ждать.

Варвара Ивановна и Марья Митрофановна переглянулись.

— Тетка, я сидела у воды прямо на земле, — сказала Наташа.

Тогда Николай Африканович уронил пенсне в простоквашу.

— Меня кусал комар. Большой, рыжий; у него задние ноги длиннее передних, уверена — малярийный.

Старики продолжали молчать. Только тетка нечаянно локтем двинула чашку и перепугалась.

— У меня болит голова. Я нарочно простудила ноги. И почки болят и печень, — у Наташи дрожал подбородок. Она отодвинула кресло, бросила салфетку с колен и ушла к себе. Там легла на белую кружевную кровать и поклялась никогда не пудриться, не завивать волос, никого не любить и, наконец, заплакала.

Николай Африканович настаивал на докторе, Марья Митрофановна уверяла, что Наташино самочувствие «протекает нормально», а Варвара Ивановна немедленно послала телеграмму в Москву: «Невеста плоха, бросай все, выезжай».

Под вечер Наташе надоело лежать и плакать. Растрепались волосы, смялись подушка и платье. В голове было пусто. Она подошла к окну. Над парком зажигались звезды, еще не яркие, зеленоватые; из-за черных осокорей поднималась луна, как стеклянный шар, налитый огнем. Скоро свет от нее протянется по пруду, сейчас не видному за ветвями.

И парк и поля, испещренные, точно бородавками, копнами после покоса, представились Наташе дикими, как пустыня. Захотелось, чтобы и у нее в сердце не осталось ни одного теплого местечка.

Накинув кашемировый платок, она спустилась к тетке, которая в столовой на спиртовке варила малину. Варвара Ивановна испуганно взглянула на девушку и, помешивая в кастрюльке, проговорила дрогнувшим голосом:

— Я очень тебя прошу перед сном выпить малины, Наталья. В конце концов я тебе приказываю выпить. — И ложечка в ее веснушчатой худой руке задрезжала.

Наташа стояла у стола, закрывая даже рот белой шалью, и глядела на голубоватый огонь спиртовки. Все было кончено. И пусть.

— Я замуж не выйду. Так и знайте, — сказала она, — пейте сами малину, — и, повернувшись, вышла на балкон и оттуда в парк.

Луна стояла высоко в синей пустыне. Парк точно окаменел, черный, кое-где поблескивающий. Внизу, над лопухами, дымилась сырость. Лунный свет проникал в тайные мысли, точно намекал на смутную и тревожную судьбу.

Наташа миновала парк и вышла на плотину. Отсюда было видно все холмистое поле. От самого его края на полнеба надвигалась разорванным клином черная туча. Острый перст ее коснулся луны и побелел. Сейчас же стали серыми все тени, разгладились, и потемнело, как в глухую ночь. На щеку упала большая капля. Наташа упрямо кивнула головой и продолжала идти, только крепче сжалась.

Вдруг позади глухо зашумел парк, и сейчас же порыв ветра, пригибая траву, надул юбку. Еще и еще, все чаще падали капли. Туча сверху донизу осветилась серебряным светом; прошло мгновение, и затрещал гром с такою силой, точно сломился весь томиллинский лес. Наташа ахнула и пустилась бежать; ее чуть не убило ветром. Дождь уже быстро шумел неподалеку.

Наташа забежала в сторожку, где жил Никитай-пчеляк. Здесь пахло сосновыми стружками, хлебом и вошиной. Наташа ощупью отыскала дверцу, ведущую в жилую половину; на пробое висел замок. Она вспомнила, что еще утром Никитай уехал в город за центрофугой.

А дождь уже сплошной завесой лил за распахнутой наружной дверью. В свете частых молний возникали корявые осокори, части помутневшего пруда, вершины двух сосен близ террасы, и все было скрыто серой завесой дождевых струй.

Наташа села на верстак. Страх ее прошел. Она думала, как дома сейчас беспокоятся и, наверное, разослали рабочих и прислугу разыскивать ее. Обшарили весь парк, сбегали в оранжерею, и на пчельник, и на гумно. Тетка, конечно, решила, что Наташу убила молния. На поляне лежит навзничь невеста в белом своем платье, раскинув руки; синие глаза, теперь мертвые, обращены на небо. Под утро найдут ее всю мокрую, принесут, положат на турецкий диван. Приедет Николай, упадет на колени около тела. Не удалась жизнь, разбита любовь. Несчастливая Наташа. Бедный Николай. И больше всего жалко, пожалуй, тетку; старая, только ведь нами и жила.

Дождь усиливался. Растревоженная, огорченная Наташа совсем устала, разгребла ворох стружек и прилегла на верстаке. Во всяком случае, если ее не убило грозой, то она простудится. Сквозь крышу капало. Стружки пахли сыростью и скипидаром. Наташа чувствовала себя покинутой и обреченной. Это было так сладко и приятно чувствовать, что, поплакав немного, она вдруг спокойно уснула.

Горячий свет ударил в глаза. Наташа села на стружках. Сквозь дверь была видна спутанная матовая зеленая трава, полная росы.

Со свистом пронеслись стрижи. Случилось что-то необычайно радостное. Волосы полны стружек и платье измято. Удивительно, Наташа побежала по тропинке к дому. В аллеях виднелись следы ниш. Окна раскрыты настежь. У балкона на площадке валялась теткин калоша. Наташа взбежала по ступенькам и ахнула. В стеклянных дверях стоял Николай, без шапки, со спутанной бородой и волосами, в забрызганном грязью плаще. В глазах его были ужас и радость.

— Николай, милый! Любишь, любишь меня? — спросила Наташа, и губы ее задрожали не то от смеха, не то от слез.

Николай, отогнув ее голову, глядел в перетревоженное, застывшее, очаровательное лицо, и волновался ужасно, и не понимал ничего. И действительно, во всей этой истории, кроме того, что любят они оба до смерти, что лучше любви ничего на свете нет, — и понимать-то было нечего.

А в дальнюю комнату забились, как мыши, Варвара Ивановна и старики Стабесовы, охали, не смели высунуть носа и утешались

НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ

(Из городских очерков)

К деревянному с мезонином домику, хрустя снегом, подходили быстрые фигуры и пропадали за воротами, хлопая дверью на крыльце.

В нижних, запотевших, окнах горел желтый свет; наверху замерзшие темные стекла мезонина отсвечивали лунно; а еще выше, на коньком дома, за крышами, над всем городом и полями, разлилось лунное сиянье.

И все в беловатой этой мгле было неживое — и застывшие дома, и пропадающая улица, и ряд фонарей. Точно ледяной свет собрался выморозить землю.

«Но если дух мой верит в приход весны и солнца, не страшны ему ни смерть, ни мороз, ни полуночный свет...»

Весна и солнце очистят землю от ночных видений, и, сколько бы их ни носилось в лунном свете — призрачных, враждебных, уродливых, — все погибнут, как листья на огне, под оглушающим потоком солнца.

Но если забыть о приходе весны, погасить дух свой, поверить в одну лишь непременность — смерть, тогда кинутся отовсюду ночные призраки, схватят сердце ледяными пальцами, овладеют чувствами, внушат им губительные желания, и будет шататься по земле не человек и не труп, холодный и сладострастный, с неутолимим желанием и страхом смерти в глазах...»

Так думал Иван Петрович, бредя вдоль длинной мглистой улицы, в поисках деревянного дома с мезонином и освещенными окнами.

А мимо окон в это же время проходил ночной сторож, в тулупе и нестигающихся валенках.

Оглянув не спеша пустую улицу, сторож дошел до угла, где стоял заиндевевший извозчик, сел на его санки и сказал:

— Мороз нынче здоровенный.

Извозчик, навалясь грудью на выгнутый передок саней, с трудом отодвинул одно плечо, причем показался клочок белой его бороды, белый нос и хлопающие над глазами снежные ресницы, и ответил:

— Зябко.

— В чайной теперь тепло, чай пьют, — продолжал сторож.

— И вино пьют, — помолчав, ответил извозчик.

После этого оба они помолчали. Сторож думал, что если бы он был купеческий сын, то сейчас бы ни на какой мороз не вышел, а сидел на стуле, выпивши.

А извозчик думал — в какое место его наймут? Если в таком, где поблизости трактир, то свезет и подешевле.

Лошадь ничего не думала, даже ногами не переступала, а шерсть на ней была кудрявая, как у собаки.

И, кроме этих коротких мыслей, все остальное скорезжилось и застыло у сторожа и у извозчика. А на перекрестке, невдалеке, горел костер. Около тесно сидели согнутые фигуры. Позади стоял небольшого роста человек. Он потопал ногами, отвернулся от костра и не спеша подошел к извозчику.

— Мерзнете, — сказал он с трудом, но весело, — эх вы, рабчие.

— Вася, — проговорил извозчик.

Пальто на Васе было короткое, с оторванным карманом, на голове картуз, на ногах обернутые веревками валенные калоши.

— А я у огонька постоял, хуже еще прохватило; пустое занятие, жар должен быть внутренний, — продолжал он.

— А ты проходи, внутренний, проходи, — молвил сторож; и что извозчик сказал:

— Не трогай, это Вася, человек душевный.

— Так вот я за свою душевность три пятака стрельнуть хочу, — постукивая зубами и подплясывая, продолжал Вася. — Ни род-то скоро оттуда выходить будет, господин сторож?

— Которые скоро, которые не скоро, — ответил сторож, — и ворота сейчас запру, выйти им оттедова невозможно, вот по гривеннику мне и дадут. Ихняя кухарка рассказывала — придут, гонорит, пьют, едят и яблоки, и чай, и мясо, а потом читают. Огонь привернут, разлягутся и бормочут. И что ты думаешь, если кто рого похвалят — он горничной полтинник и мне двугривенный, и на морозе-то все еще про себя бормочет...

— А как же пристав не обижается? — спросил Вася.

Да разве они люди? Чего на них обижаться.

В это время подошел Иван Петрович. Отогнув задышанный инсинем воротник, он спросил, где дом сестер Головановых. Сторож показал ему рукавом на освещенные окна и, когда Иван Петрович направился к воротам, проговорил:

— Еще один — оголтелый.

Но сторож на этот раз оказался неправ. Иван Петрович служил в провинции; много читал, сам пописывал и привык издавна строить однообразные свои дни по тем законам, которые находил в книгах великих писателей.

Не один он был таким мечтателем: по всей глухой, завалюющей Руси — в городах, селах, железнодорожных станциях, засыпанных снегом хуторах — живут еще странные люди, у которых в жидкой северной крови есть капля восточной отравы; и капля эта подобна ли-

лихорадке — живет человек, здравствует, а вдруг схватит его жаром, свалит с ног, и понесет он в бреду такое, что никому и не снилось. От лихорадки — мышьяк, а от восточной отравы ничто не помогает. И вот и видишь — на поверхность сонной захоластной жизни вдруг выскочит смиренный какой-нибудь до этого обыватель и начинает ото всего отрекаться и тут же злодейство совершит или подвиг. А если выскочить не хватает силы, то хоть поплачет в кабаке, над мерзостью своей, над уходящими днями и прочтет подходящий стишок.

Но за последние годы перестал обыватель понимать — чему же его учат великие писатели? Не подвигу, не раскаянию, не поискам высокой жизни; точно забыли писатели про эту отравную капельку в северной крови, а решили только смешить читателя, ужасать, расстраивать в нем и без того расхлябанные похоти.

А некоторые прямо говорили, что русский писатель перевелся, остались одни кривляки, полоумные да неистовые сладострастники. И многие забросили книги, иные обрадовались разрешению и со спокойной совестью предалися афинским удовольствиям; а такие, как Иван Петрович, не доверяя себе, продолжали искать и ожидать нового и прекрасного.

Иван Петрович познакомился с сестрами Головановыми в Крыму, наслышался от них про новое искусство и теперь, заехав по делу в Москву, решил своими глазами посмотреть на непонятных людей, завладевших умами и чувствами.

Одно его смущало во время пути по длинной и мгlistой улице — лунный свет: ему казалось, что легче всего отчаяться, изувечиться, опустошить себя, подобно мертвому этому лунному пространству, и всего труднее быть радостным, спокойным и светлым, как солнце.

Подойдя к воротам, он поднял ногу, чтобы шагнуть за калитку, но сзади в это время подскочил Вася, кланяясь, шаркая и говоря: — С наступающим успехом; ради Бога, облегчите себя на пяточек, в настоящий мороз не имею средств поддержать жизнерадность...

Строго оглядел его Иван Петрович и сказал:

— Как ты смеешь говорить об этом... ты понимаешь ли, что значит радость жизни?..

И, фыркнув носом, опустил ногу за ворота, взошел на крыльцо и пропал в доме...

В двух низких и теплых комнатах увидел Иван Петрович сквозь табачные струи много молодых и чрезвычайно странных лиц — мужских и женских.

Прямо перед ним остановился коренастый юноша в бархатной рубашке, открывающей всю шею, с огромным бантом. Бритое лицо его было все расчерчено разноцветными закорючками и полосами. Глядя на вошедшего, он вынул изо рта окурок сигары и сказал:

— Это что за рожа?

Затем с отвращением дунул на Ивана Петровича дымом и отсвернулся.

Действительно, Иван Петрович имел совершенно голый черни толстое лицо, жесткие усы под круглым носом и одет был в изношенную судейскую форму, что, все вместе, отдавало глухим ам холустьем. Сознывая это и смущенно поеживаясь, он продвигался в глубину, стараясь не попадаться на глаза разрисованному юноше.

Он увидел на некоторых девушках платья по моде двадцатых годов, иные носили волосы, закрученные на ушах, и греческие туники. Были и гимназистки и дамы в бальных платьях. Один молодой человек, скуластый и курносый, выкрасил ухо в зеленую краску. Другой стоял в растерзанной одежде, с растрепанными волосами и диким взглядом; две потные девицы повисли у него на локтях... Третий, одетый, как попугай, пестро и в талью, глядел на себя в зеркало...

Сестры Головановы — маленькие, злые, в коротких юбках прижались к печке, заложив руки за спину. Повсюду говорили, возились, хохотали, старались перекричать. Вдруг громкий бас накрыл все голоса, воскликнув: «Тише!» Сестры Головановы опустили глаза, подобрали губы и в один голос, в один тон зачитали стихи тонкими, птичьими голосами.

Иван Петрович понял одно в их стихах: что сестрам Головановым новым изо всей силы хочется непременно умереть.

«Что же это такое? Молоденькие, какая жалость», — подумал он, подходя к ним. С кресла неподалеку поднялась полная женщина в черном; дыша и откидывая голову, она громко и с неслыханным доверием проговорила стихи, в которых уверяла, что хотела бы принадлежать всем, но только мертвый любовник, вставший из могилы, может насытить ее вулканическую страсть.

Но ни она, ни сестры не имели успеха. Отовсюду говорили:

— Старо, детский лепет, слышали про ваших покойников, этим не удивишь!.. — И девицы, в прическах, в туниках, в двадцатых годах, окружили разрисованного юношу с длинной шеей.

— Летом мы были еще молоды и стояли на ложном пути, — говорила огорченная сестра Голованова Ивану Петровичу, — мы еще не совсем дошли до нового искусства, но скоро дойдем... А вот, — она показала на разрисованного юношу, — наш учитель и предтеча нового искусства. Сейчас будет читать, послушайте, это гениально.

Длинношейей юноша молчал, сжимая кулаки, девицы дергали его, просили, складывая руки. Наконец он набрал воздуха и проговорил басом:

— Я вас презираю!

— Просим, просим, — завизжали девицы.

— Сдвиг, — проговорил он; и стало тихо...

Увыки взялись за венки
Вех путь прямит
И пу и пес алкая
Псу мор писали,
Алками в пляске
Стучали каблучки.

— Иван Петрович, это сдвиг, вы поняли? Все равно не поймете, — прошептала сестра Голованова. Слова ее были покрыты волнами восторга. С угольного дивана поднялся полный бритый молодой человек, один глаз у него был выше другого, рот перекошен, сложенным в трубочку языком он облизнул губы...

— Тише, тише, — зашептали изо всех углов...

Он совсем высунул язык, провел им право и влево, спрятал и казал:

— Мы выслушали несколько поэтических произведений, последнее из них произвело громовое впечатление... Очевидно — остальные поэты мало понимают, что такое новое искусство? Я объясню...

Стало тихо. Все уселись. Длинношейей юноша продолжал стоять, облокотясь на тумбу от цветка. У ног его на ковер опустились поклонницы. Он дымил сигарой, и усмешка остановилась на его бляхистых губах.

— Что такое новое искусство? — повторил бритый человек. — Чувство современности. Тот, кто чувствует современность, получает славу и деньги. Современность есть то, что нас волнует. А что нас волнует? Каждый день читаешь в газете о зарезанной проститутке, об угоревшей семье, взрыве газа, пожаре, опрокинутом поезде, — волнует это вас?

— Нет, нет, — закричали изо всех углов...

— А если я скажу: мне не нравится, как писал Пушкин. Я хочу уничтожить картинные галереи. Я желаю разрезать слова на части и разбрасывать их по бумаге. Я желаю, чтобы мои картины не понимал никто... Волнует это?

— Да, да, к черту старое искусство, — закричали опять.

— Мы любим катастрофы! В каждом стихе, в каждой картине мы хотим видеть намек на невероятные события, на чудовищные катастрофы. Вот что нас волнует больше всего. Каждое мгновение мы ждем и хотим новой катастрофы... Поймите это мгновение и впечатлейте, и вы модный художник, вы футурист... Сегодня гибнет нравственность и семья — пишите циничные стихи. Сегодня мы в вихре невращения, мы не можем сосредоточиться ни на мысли, ни на слове — дробите слова, разбрасывайте их по бумаге... Завтра мы захотим чуда, экстаза — войте, как хлысты...

Он сел... Все молчали... Вдруг Иван Петрович подошел к нему и, неловко разводя руками, стал говорить:

— Вот только я одно хотел спросить, вот я приехал из провинции — мы все там спутались — чем нам жить, какой мечтой, где у вас прекрасное?

— Прекрасное? — переспросил бритый, привставая. — Это что за слово? — Он поглядел по сторонам. — Какая-нибудь пошлость? Для чего вам оно?

— То есть как для чего?

— Переживайте каждую минуту остро. Вот вам ответ. А если хотите — то нет ни красоты, ни религии, ни нравственности, ничего. Есть мгновенье современности, это все.

...Когда Иван Петрович вышел опять на мороз, повторяя: «Пожи мой, что такое? С ума я сошел? Или уж это конец?» — лунка стояла так же высоко, и в морозном пространстве опускались снежные иглы.

Костер вдалеке догорал. На углу стоял извозчик, около него Вася.

— С благополучным окончанием происшествия, — сказал Вася, когда Иван Петрович, сунув ему в руку мелочь, сел на санки, запахивая полость, — смотри, извозчик, лошадь не урони!

— Ничего, она кованая, — проговорил извозчик, — ты, Вася, приходи в чайную, погреемся...

И когда кудрявая, как собака, лошадка свернула на людную улицу, Иван Петрович воскликнул:

— Это какие-то мертвецы, черти их одолели!..

В ГАВАНИ

В медленной, мертвой зыби опускался, всплескивая зеркальную воду, и тяжело вздымался большой пароход. Свистел в снастях ветер, и клубы дыма, вылетая из трубы, долго стлались над морем, где две волны расходились, как хвосты бесконечной параболы.

Пассажиров иных мучило, иные печально сидели на лавочке, обдуваемые ветром; на крышке трюма спали турки, а вдоль борта прохаживался худой и слабый человек в разлеталке; из кармана его торчал сверток рукописей.

Пароход со знаменитым поэтом, оставляя параболический след в синей воде, двигался к высокому берегу, выжженному и пустынному. Из глубины мгlistой земли поднимались скалистые вершины, голубоватые, как дым, над ними клубились такие же легкие облака белыми грудями.

Им, должно быть, и этой земле медленно кивал длинный корабельный бушприт. Знаменитому поэту было грустно.

Его послали сюда умирать, он знал, что блужданиям его настает конец. И сегодня он, как никогда, чувствовал и любил и чаек, сопровождающих пароход, и мокрых дельфинов, что появлялись из зеркальной волны на мгновение, и сморщенную бабу, задремавшую на корзине с чесноком, и величественных оборванцев турок, и страдающего грудной жабой отставного моряка, который того и ждал, чтобы опять заговорить о всяких пустяках.

Корабельный нос повернул направо, и на пустынном берегу по-прежнему открылась просторная бухта.

На скалах, буграх, по сухим оврагам рассыпался над морем белыми стенами, красными крышами древний город пологой подковой. Далеко выбежала узкая полоска мола с уютным маяком на конце. За ним стояли мачтовые корабли и океанские пароходы. Белый парус медленно уносился вдаль от маяка.

Пароход загудел, повернул и вошел в гавань. У пассажиров прошла меланхолия. Они повалили из пароходного нутра с чемоданами и корзинками. Страдающий астмой моряк, сходя с трапа, сказал поэту, задыхаясь:

— Так обещайтесь же мне непременно познакомиться с Вакхом Ивановичем. Он тоже стихи пишет. Чудак ужасный.

Вблизи город не казался таким древним: на набережной стояли цинковые амбары, похожие на верхи кибиток; вдоль них катились вагоны, парные извозчики увозили пассажиров на главный бульвар, затененный акациями и тополями. Здесь под арками домов, построенных в местном стиле, двигалась по июльскому солнцепеку пестрая толпа: прозрачные дачницы, молодые дачники с полотенцами для купанья, восточные люди с сизыми щеками, в теплых пиджаках, голенастые гимназисты в войлочных кавказских шляпах, проезжий актер и местный журналист, и всех этих людей хватили снизу за ноги греки — чистильщики сапог из Константинополя.

С бульвара узкие проулки вводили на холмы и в овраги, где дома становились и старее и меньше. На одном таком голом бугре, на виду города, стоял облупленный белый домик с чугунным кромштейном от уличного фонаря. Шесть окон во время зноя закрыты ставнями; за ними в душной и низкой комнате, освещенной лампадками, на клеенчатом диване обычно лежал Вакх Иванович, и на животе его спал кот.

Вакх Иванович ничуть не походил на денди. Голова у него была лысая, лицо круглое, с жесткими усами. Живот же, на котором грелся кот, объемистый, доставлявший много огорчений. Но все же любимым героем Вакха Ивановича был лорд Брэмель. Не имея средств и презирая свою наружность, он старался подражать ему скорее в словах, мыслях и вкусах.

Когда Вакха Ивановича звали приятели есть чебуреки, он думал: «Брэмель на моем месте ответил бы: «Хорошо, я голоден, и приду, но пусть каждый чебурек мне подадут завернутым в лист магнолии». И, сидя с друзьями посреди города, на фонтане, под фонарем, он улыбался с тонким презрением и вставлял в беседу острый парадокс несомненно английского происхождения. Того же происхождения была и обстановочка в трех низких комнатах; ее мог оценить только денди, презирающий толпу и все новое. Брэмель поступал всегда парадоксально, даже говоря с королем. Местные караимы и товарищи по чебурекам не были способны к тонкостям, поэтому Вакху Ивановичу пришлось приспособливаться, и он стал чудачком: иногда даже называл себя Брэмелем наоборот. Брэмель имел, как известно, сто пар штанов. Вакх Иванович — только одни, толстые и засаленные настолько, что после снятия они могли стоять самостоятельно, прислоненные к стене.

Все это было неспроста: Вакх Иванович писал стихи и романы и до сих пор не был еще известен. Местная акушерка и две приезжих дачницы, Додя и Нодя, часто ходили к нему, прося почитать свое, но, кто знает, они, быть может, только издевались.

Сегодня Вакх Иванович, как всегда, покоился на диване, почесывая за ухом у толстого кота. Кот этот был домашний, звался

Гирри и, когда его сажали на живот и чесали, очень громко пел песни. Были у Вакха Ивановича и другие коты — уличные; он их звал «молотобойцами» за дикий нрав и частые драки, раз в день кормил печенкой и любил послушать, как они завывают по ночам, при луне, на крышах.

В комнату едва проникал свет, зато за ставнями было знойно; солнце жарило в камни, в стены, выгоняя из-под земли скорпионов и сколопендр. В полуденном воздухе пахло пылью, пылью и пылью надалею немного. Одна из лампадок затрещала вдруг и погасла.

— Гарсон! — закричал Вакх Иванович, и когда в комнату вошел заспанный усатый мужик, босой и распоясанный, он с отвращением оглянул слугу.

— Посмотри, какие у тебя пальцы на ногах торчат! — проговорил Вакх Иванович, морщась.

— Да ведь жарко. Упрел я в ливрее, — ответил гарсон.

— Поди принеси фунт лампадного масла, две порции мороженого и кошачьей печенки.

В это время в прихожей зазвякал хриплый колокольчик.

— Кто бы это мог прийти? — спросил Вакх Иванович, спихивая с себя кота.

Гарсон побежал отворять. И в комнату ворвалась сухонькая женщина в темном платье, в шляпе с пыльными розами; поправляя пенсне, она заговорила сухо, быстро, повышено:

— Никогда не отгадаете, что случилось! Можете прочесть десяток ваших Брэмелей, но ничего подобного не ждали. Прибежала к пароходу, вижу: Кузьма Кузьмич — тот, который с астмой, неприятный тип. У него астма, а все виноваты. Машенька, его дочь, исключительно через это сошлась с дураком Галкиным. Я понимаю свободный брак, но у них ничего духовного — одно физическое. Додя и Нодя на них смотреть не могут без отвращения, хотя Нодя — это уже между нами — сама любит грех. Смотрю: Кузьма Кузьмич держит под руку личность. Ничего особенного, бороденка, наверное — чахоточный, но какая-то загадка в глазах. Я сейчас же разлетелась: «Кто?» — спрашиваю. «Знаменитый поэт Воронов».

Поленька при этом пыхнула и закуталась дымом из папироски. Вакх Иванович сейчас же застегнул пуговицы на чесучовом пиджаке и сказал не без волнения:

— Ну, что ж, я рад, милости просим!

— Придет ли он к вам — это вопрос. Вид у него такой неприятный, — продолжала Поленька. — С парохода поехал прямо в «Эксцельсиор». Взял комнату в два рубля, с окошком в сад, и сейчас же заперся. У него две жены, и с обеими не живет. Антон Чехов про него писал: гнусный сладострастник, но душа хрустальной чистоты и болезненно любит природу.

Так Поленька-акушерка смутила воображение и покой Вакха Ивановича. Ему вдруг стали несносны и коты, и дендийская обстановочка, и сам Брэмель. Здесь в каких-нибудь двухстах саженях

сидел, думал, гордился сам собой, дышал тем же воздухом знаменитый, признанный, напечатанный поэт. У Вакха Ивановича стихи были не хуже, кто знает — не гениальными ли были стихи; и все же от его присутствия не было знаменито в городе. А этот приехать не успел — все так уж и бегают и все про него знают; и каждая его строчка вроде молнии — откровение; а на самом деле стихи как стихи. Великая вещь — слава, человек скажет «и», «как» или «хочу» — Боже мой, все так и похолодеет. Уверяла же Поленька, будто сила Пушкина в краткости, — он сказал: «Зима» — и в одном этом слове дал целую картину.

Поленька ушла, от нее ничего не осталось, кроме дыма. Вакх Иванович в смятении стоял у письменного стола, провидя, что благополучию и мечтам пришел конец; невысказанно более валяться на диване, слушать котовское мурлыканье! Но как действовать? Как натянуть на себя фантастическую кожу славы? Чем заставить слушать себя? Швырнуть ли в читательскую пасть том стихов и два романа? Или начать, как все, с унижения? — он ничего не знал.

Сильно потеряв лысину, Вакх Иванович выдвинул ящик, достал рукописи и сначала перелистывал их, потом стал читать вслух. Ему хотелось *услышать* стихи свои со стороны, познать их силу и слабость, но сколько бы ни перечитывал строфы то мрачным, то завывающим, то «бытовым» голосом, они выскользывали из сознания, как намыленные. Но не только стихи — себя не мог Вакх Иванович ни оглянуть, ни пощупать. Тот из гостиницы «Эксцелсиор» все время нагло *самоутвержден* конечно. Тому не нужно ни Брэмеля, ни старья, — сидит один в номере, никого не желая видеть... Вакх Иванович подошел даже к зеркалу, стал всматриваться в толстое, покрытое потом лицо свое, но ведь и это лишь было отражением в зеркале! Что за напасть!

Вакх Иванович сделал сам себе рожу в зеркало. «Мордovorот, — подумал он, — с нынешнего дня сажусь на одни лимоны, похудею пуда на два — все дело, черт ее возьми, в интуиции».

Он рванул с полки книжку знаменитого поэта, принялся читать вслух. «Ну вот, — закричал он, — это стихи?» И швырнул книгу на диван.

В прихожей опять позвонили, и, шурша сороковых годов платьями, влетели Додя и Нодя; они были обе стриженные, круглолицы, со светлыми дерзкими глазами.

— Слыхали — вот ужас, нам нужно уезжать из города, приехал пошляк, сахарная патока, — крикнула Додя.

— Он нам отравит все лето, меня тошнит от его стихов: луна, Бог и добродетель! Извольте видеть — вонючка несчастная, — и один голос с Додей протараторила Нодя.

Они были, несмотря на стильные платья, очень современны: одна писала картины, другая сочиняла стихи; обе презирали всех людей, считали природу тургеневским пережитком, а небо — банальностью.

— Ну нельзя же так резко, — пробормотал Вакх Иванович, — он все-таки знаменитый человек.

- Мы презираем знаменитостей! — воскликнула Додя.
- Мы плюем на Пушкина! — крикнула Нодя.
- Нам ничего этого не нужно, мы молоды и хотим жить.
- Цветки, лужки, луна и звезды! Ах, ах, ах! Довольно пеленок! Мы не дети! Нам нужны экстазы и наркоз!
- Мы любим только уродливое!

Вакх Иванович слушал их разиня рот. Уж на что он был оригинален, а такого сквозняка никогда не устраивал, как эти две девочки. Они вертелись по комнате и трещали, глаза же их оставались холодными и дерзкими.

— Кого же вы в таком случае признаете? — спросил он.

— Себя и вас, — немедленно ответила Додя.

— И больше никого, — подтвердила Нодя.

Вакх Иванович переспросил, вытащил носовой платок, вытерся, сел на диван, и вдруг его губы, щеки, глаза раздвинулись, расплылись.

— Ну еще что выдумали, — проговорил он и принужден был опять вытереться.

Додя и Нодя так и наскочили, одна назвала Вакха Ивановича гнием, другая — Нероном. Ему нужно было подняться, наконец, во весь рост и сжечь ветхий, пошлый Рим, — в зареве пожара взойдет солнце нового искусства...

...Вечером Вакх Иванович вышел со двора. В голове его уже дымило; он готовился сжечь ветхий мир. Было условленно всем собраться на дворик гостиницы «Эксцельсиор», выманить туда знаменитого поэта и надругаться.

«Пусть послушает, я его оглушу! Довольно молчания! Настал час торжества! По этим камням в последний раз иду обыкновенным человеком», — думал Вакх Иванович.

Солнце опустилось за выжженные холмы; в гавани появились огни; зажгли маяк, и он стал поворачиваться то красным, то белым светом; вечерний бриз затянул город запахом водорослей и рыбы, на улицах подвалило народу; на бульваре играла военная музыка; звенели колокольчики в кинематографах.

Вакх Иванович пробирался сквозь толпу; разноцветные шары за окнами аптек освещали лица желтым, красным и синим цветом. Впереди, в кашемировых платьях, шли две мещанки, поджав губы. Из-за угла вывернулся навстречу им гарсон. Он был одет в шерстяную ливрею восемнадцатого века, купленную Вакхом Ивановичем по случаю. Сняв треугольную шляпу, гарсон поклонился девицам, спросил, куда они идут.

— Скрысь, — ответили девицы.

— Какое убожество, — прошептал Вакх Иванович, — это люди, среди которых я прозябал.

Сквозь вестибюль гостиницы «Эксцельсиор» он прошел во внутренний двор и сел у столика. Здесь, среди шпалер винограда, тор-

чали палки с разноцветными шарами, в них отражались освещенные окна, выходящие во дворик. В одном окне толстый господин надевал подтяжки; в другом пожилая дама мазала губы помадой, в третьем кто-то, подняв руки, силился вылезти из мокрой рубашки.

Четвертое окно было затянуто виноградом. Отогнув осторожно листья, Вакх Иванович испытал сильное волнение: он увидел за леную лампу, изголовье кровати и на подушке спокойное желтоватое лицо с рыжей бородкой.

«Вот он, — подумал Вакх Иванович, узнав поэта по журнальным снимкам, — вот он и я; историческая встреча».

Издаലെка слышались голоса Доди и Ноди; они вошли во дворик, громко треща.

— Тше, — прошептал Вакх Иванович, — он спит!

Тогда Нодя и Додя начали баловаться, подбрасывать ридикюль и подняли такую возню, что поэт действительно проснулся; он испуганно поднял голову с подушки, наморщил большой лоб, и желтоватых глазах его появился даже ужас, словно черти кружились за окошками, норовили ворваться; услышав свое имя, он соскочил с постели и высунулся.

Вакх Иванович сейчас же поклонился ему, вспотев и топчя виноград.

— Что вам угодно от меня? — спросил поэт. — Отчего не дайте мне спать?..

Он сердито захлопнул окно. Затем долго возился в чемодане, повязывал галстук, подсел к лампе, состриг заусенец; затем задумался, склонив голову, покивал ею печально; нахлобучил соломенную шляпу на глаза и вышел.

Вакх Иванович, девицы и подоспевшая Поленька нашли поэта на набережной у воды; он стоял, опираясь на трость, и глядел на красные и зеленые огни бакенов, на отражения звезд в черной воде.

Его спугнули с чистой постели, озаренной лампочкой, при свете которой можно было не думать, что на дворе ночь, над холодной водой недостижимые холодные звезды, что скоро такая же ночь настанет навсегда.

Стоя на краю берега, поэт слушал, как глухо разбиваются у ног его волны о скользкие плиты, о привинченные к ним волнорезы. И шум этого темного моря, казалось, проходил волна за волной сквозь его грудь, ставшую слишком тонкой и безбольной. Хотелось только одного, чтобы этот покой, и печаль, и равнодушие улеглись в нем, освободили его от всего, что еще способно сделать больно, и тогда освобожденная душа раскроет, наконец, свою таинственную несказанную глубину. Он давно ожидал этого часа, знал, что он придет, и готовился увидеть въяе немерцающий свет; он должен вспыхнуть в конце его пути в этой гавани, как факел над головой.

— Вы, как поэт, конечно, вполне понимаете чарующую красоту этой ночи, — проговорил позади его томный голос.

Поэт быстро обернулся к Поленьке; она стояла, сложив руки на животе, в сумерках стараясь придать себе сладкое выражение. Он пробормотал и отодвинулся вправо; но дорогу ему преградила Додя; он махнул рукой и натолкнулся на Нодю; обе они были в больших шляпах с длинными страусовыми перьями.

— Какая пошлость — огни на воде, — сказала Додя.

— Еще луны не хватало, — сказала Нодя.

Позади них стоял Вакх Иванович; поэт был окружен.

Из краткого разговора он понял, что неподвижный толстый мужчина — местный сочинитель и что отделаться от чтения его стихов будет трудно; сердиться и говорить грубо не хотелось, поэт вздохнул и поплелся вслед за одолевшими его людьми в татарскую кофейню.

Вакх Иванович, стоя у стола, заложив руку за лацкан, а другую на спину, подняв голову, читал поэму «Нерон»:

В яме сижу я, мерца,
И жаба, немой собеседник,
Гладит унылую спину мою
Безволосою лапкой.
Ах, отчего ж
Не рожден я, безумец, Нероном...

Он скромно опустил глаза, по щеке его поползла капля пота. Додя и Нодя с яростью закричали, что прочитанное — гениально.

— Вот еще лирическое место, — проговорил он утомленно:

Я рожден во время бури,
Тучи зачали меня,
На моей красивой шкуре
След небесного огня.
Прочь с дороги, кто я? Кто я?
Потрясется мною мир.
Я, в безлирье лиру строя, —
Богом проклятый кумир...

Поэту было грустно; он сидел, подперев ладонью лоб свой, прикрыв глаза. Иногда сквозь пальцы видел пьющую кофе акушерку, в пенсне и с папироской, и двух девиц, как пиявки прилипающих глазами то к нему, то к Вакху Ивановичу.

«Они или смеются надо мной, или очень печальные люди и щетно ищут забвения», — думал поэт...

Я жить хочу, я голоден, я жажду,
Хочу шампанского и много, много дев... —

взвыл Вакх Иванович...

— Это смело, это бешено!

— Это пощечина, bravo, bravo! — воскликнули Додя и Нодя, а Поленька проговорила:

— Как мило, когда у мужчины такие страсти.

«Какой он, должно быть, голодный, — думал поэт, — и ему немножко радостей, и этим девушкам дай, Господи, минуту тиши-

ны. Как жаль, что не могу им помочь, им нужно, чтобы я обидел и
Как бы это устроить?»

Он сидел в тихом оцепенении, точно ожидая близкий приезд
Хозяина, — вымел и убрал дом и присел у ворот на лавочке,
поглядывая, как закатывается солнце, а в пыли у ног возятся моч-
натые щенята.

Хозяин был близко, он это чувствовал, он слышал его беззвуч-
ные шаги, и сердце в испуге или чудесной радости переставило
биться. «Готов ли? Все ли чисто?» — подумал он и с удивлением
оглянул круглый стол и полуосвещенную низенькую кофейню; у
прилавка все так же клевал носом губастый армянин, в печурке
едва мерцали угольки, подогревая кофейник, а над столом стояли
все четверо, наклонившись вперед: акушерка, девицы и местный
стихотворец; с ужасным любопытством они глядели на поэта, когда
же он обвел их глазами — девицы захохотали сколь могли обидно
и высунули языки, у акушерки от веселья свалилось пенсне, Вах
же Иванович гордо выпрямился, выпятив грудь.

— Он едва не упал в обморок, — проговорила Додя сквозь
смех.

— Он не мог перенести, когда читал настоящий гений, — ски-
зала Нодя.

— Я меньше всего виноват, — пробормотал Вахх Иванович,
сегодня на одного сходит Божественный глагол, завтра — на другого

Но поэт уже не слышал, что говорили дальше; ему внезапно стало
до боли жаль этих людей; вглядываясь в их застывшие в гримасе ли-
ца, увидел он словно где-то в глубине их глаз пустынные поля, по-
крытые пеплом; там, на этих полях, ожидает каждого смерть,
придет она, и упадет человек, в отчаянии, в ужасе, без надежды...

Жалость и мука за них были так непереносимы, так сдавило гор-
ло, и сердце так забилося, словно пронзенное, что поэт промычал не-
внятное и, с трудом волоча ноги, вышел из кофейной; за спиной слы-
шав заверещал, раскатился, захрюкал смех, затопали ногами...

Он добрал до гостиницы, с трудом отыскал свой номер и без
сил повалился на постель. Над подушкой все так же горела лампа
под зеленым абажуром. Глухо, мерно издали шумело море. Точно
волны, набегая и разбиваясь, подходили все ближе, грозили зато-
пить гавань.

Ничего, кроме шума их, не слышал он, шум их был древний,
торжественный и мрачный.

— Господи, — сказал поэт, положив похолодевшие уже ладони
на грудь, — мне тяжко здесь, возьми меня.

Тогда в ногах его постели, точно придя по шумящим водам,
появился Он. Весь светлый, точно из огня. От невидимого лица
Его шли острые сияющие лучи...

НА ГОРЕ

...Сообщаю тебе радостную весть, милая Даша, — я только что мылся в бане; грек, похожий на ошипанного ворона, прыгал на мне, мял, тер, мылил, вывертывал суставы, до сих пор я весь еще красный и сижу у себя в номере; какое счастье, что мы живем во времена, когда строят гостиницы, проводят электричество, звонки, подают кофе с чистой салфеточкой, — я уже не говорю про постель: в нее можно положить ангела.

Только что приехал с позиций и завтра переваливаю на другой фронт, поближе к морю. А вот еще новость, — помылся я не только снаружи, но где-то, должно быть, внутри у меня поскреб мыльцем лупоглазый грек; иначе, милая Даша, я никак не могу объяснить, отчего нет во мне прежней сухости, «мозгового засиления»; прежнее не то что во мне пошатнулось, а промокло, мысли стали более влажными на ощупь, от них пошел мистический пар; это после пяти недель сидения в окопах.

Вот до чего мы с тобой дожили; я так и вижу, как засветились твои глаза; радуйся, милая моя жена, сходи к Иверской, поставь свечку; вернусь я уже не скептиком, и даже борода у меня будет не черная, а русая. Впрочем, прости, я не смеюсь, мне радостно.

Сегодня, под вечер, на главной улице опять встретил Петра Теркина; черт с ним, пускай живет, не такое время, чтобы ссориться. Хотя после встречи я целый час мял себе переносицу, не мог успокоиться (он прошел мимо меня, не заметив, держал под руку даму, на нем — черная черкеска и серебряный набор). Странная вещь — ненависть к человеку. Она, как любовь, — неопределима; она собирает все силы и устремляется, как острие; вся жизнь сводится к маленькому пространству. Мне никогда не хотелось рассказывать тебе о ссоре с Петром Теркиным; приключений у меня было много, и это почти не отличалось от других.

Мы столкнулись в N., в кабаке, по пьяному делу. Теркина я встречал на улице ежедневно и терпеть не мог. Почему? Может быть, за рыжие глазки, за толстый нос, закрученные усы? Все-таки, думается мне, если два человека стремятся занять одно и то же

пространство, им или слиться нужно воедино, или одному другому уничтожить. Но где и какое пространство мы будем занимать с Петром Теркиным? В земле, что ли? Не знаю. Во всяком случае, мы незнакомы, никогда не разговаривали, противоположны, кажется, во всем, но когда я увидел его в первый раз, он показался странно близким и враждебным.

Этот самый Теркин протиснулся в кабаке сквозь табачный дым, занял соседний столик и принялся на меня смотреть. Я сразу почувствовал, что пахнет скандалом, хотел, не замечая ничего, потребовать счет и вместо этого сказал ему: «Не можете ли вы лучше смотреть вон на ту блондинку». Он мне с полной готовностью ответил (точные слова): «Господин Рябушкин, вы мне надоели. Вы мне намозолили глаза за эти десять дней». Я начал вспоминать, говорил «Я здесь всего восемь суток, а не десять» (я уж потом на улице догадался, как надо было ответить). «Вы мне натерли глаза», повторил он упрямо и свирепо. После этого между нами кинулись метрдотель, блондинка; какому-то лысому молодому человеку рюмка царапала щеку. Уверяю тебя, что больше ничего не было.

Случилось это год назад. За такое время можно позабыть и то, что ссору в кабаке. Но сегодня, Дашенька, я понял, что мы с Теркиным так просто не отвяжемся друг от друга. За год — это уж шестая встреча, хотя и безмолвная. Сегодня узнал, будто мы назначены в один отряд. Отвратительно, что я думаю о нем: как и тебя в это запутал. Только, ради Бога, не выдумывай больше, чем есть, все это пустяк; это, мой милый, трансцендентальный друг Даша, влияние ваших свечек и моих отсырелых мыслей. Я начинаю во всем искать обобщения, относиться серьезно к случайностям, искать мистической связи между куском сегодняшнего мира и своей судьбой.

Как только кончится война — едем в Уфу, на сухой песок, буду жариться на солнце, играть в шахматы, а то так мне слишком сложно и хлопотливо жить. Прощай, ложусь в ангельскую кровать. Завтра чуть свет еду догонять роту. В здоровом уме и твердой памяти, помощник присяжного поверенного прапорщик Рябушкин...

Получил твой ответ на мое последнее письмо. Одного я никогда не пойму — из каких точек и запятых ты вывела, что я тебя не люблю. Прочел и, прости, скомкал твое письмо. Сейчас оно лежит разглаженное и закапанное стеарином. Здесь, в горах, в ауле, еще не проведено электричество, и местный лавочник ужасно скуп: он режет ножиком свечу на огарки и так продает, а ротная собака украла у него колбасу и сейчас же скончалась. При этом здесь так же, как и в Москве, — январь, но в долине уже цветут деревья, а в горах — снег как сахар.

Объясни мне, кроткая, умная Даша, что это у вас за таинственное существо — любовь? Я думаю о тебе, забочусь, ты мне дорога, я тебе, кажется, еще не изменял и думаю, что не изменю;

одной тебе на свете пишу письма, и меня сбивает с толку твой постоянный припев, вечное уныние: «Ты меня не любишь...»

И уже окончательно непонятна твоя радость по поводу моих отношений к Петру Теркину. Просто он мне не по вкусу. В этом нет никакого прорыва в «духовную углубленность». Кстати, Теркин сидит сейчас на позиции, на горе, со ста пластунами, говорить о нем дурно — нельзя.

Я тоже выступаю на днях. Торчать в ауле без дела, без опасностей, не слышать ружейной трескотни — в конце концов скучно. По дороге сюда купил газет, прочел все, даже о прислугах, и стало ужасно противно. Читатели в России требуют описания кровавых и геройских подвигов, сражений в воздухе и под водой. Все это — скверный романтизм. Я бы взял такого читателя, показал бы ему гнилую лошадь или турку, у которого шакалы отъели голову, напустил бы на него тысяч десять вшей, может этим отучил бы шарить по заголовкам газет, отыскивать чего пострашнее. Ущелья, лаваленные гнилыми турками, не вызывают ничего, кроме отвращения; я посмотрел на подобное местечко и пять дней затем питался одним крепким чаем. Думаю, когда-нибудь найдут иной способ разрешать трудные вопросы, более совершенный. Кровопротитие еще не решает ничего.

Не понимаю, для чего я это пишу. Все последнее время занимает меня загадка: вокруг какой точки вертится сейчас моя жизнь и вон того солдата, что стоит за окошком, стругает палочку, и жизнь всех воюющих? Мы такие же, как всегда, даже спокойнее, веселее; никто не ссорится, мелочным быть стыдно; живем, ей-богу, чище, лучше, а центр, вокруг чего все вертится, переместился: он уже не тот, он не жизнь и смерть, а что? Не знаю. Ясно одно: я из мирного обывателя стал полуфантастическим существом; каждую минуту призван или убить, или умереть. И я не приспособился и не насобачился, а есть что-то в этом, чего не могу понять. Ну и к черту! В дверях деликатно сопит денщик Павел. Он принес пакет и растроган — видит, что пишу домой. Я пишу также и его жене длинные письма; Павел тогда становится напротив, прибавляет в лампе огоньку, и его скуластая рожа умиляется, начинает мигать ресницами; неестественным голосом, вздыхая и сопя, он обращается на «вы» к своей супруге; затем мы начинаем описывать походы, битвы и наши подвиги. Павел берет письмо, идет к костру, где всегда сидят солдаты, и взводный читает вслух написанное; солдаты слушают серьезно, качают головами, вспоминают про свои деревни. Во всем этом есть какая-то тишина, мне непостижимая... Прости, в пакете — спешный приказ о выступлении...

Выступили мы в десятом часу, к полночи достигли подножья, и до рассвета два мои взвода лезли в гору, сначала через изгороди по кукурузным полям, затем пошел лес, чаща кустов и лиан. Плотное облако застряло в деревьях, заслонило лунный свет. Мы двигались как в молоке; стволы чинар в тумане казались фигурами часовых; идущий рядом со мной рядовой, взглянув нечаянно вбок,

вскрикнул и вонзил штык в дерево. Подъем все круче, в кустах уже лежал снег; скоро подул ветер, зашумели невидимые вершины, наши голоса едва были слышны; туман сгушался; должно быть, сверху сваливало сюда тучу за тучей. Мы шагали по колена в снегу; передние, самые сильные солдаты разгребали его лопатками, остальные гуськом двигались в этих узких коридорах; лес окончился, и засвистала, закрутила вьюга. Хватаясь за острые камни, мы подтягивались на отвесные выступы, вползали, едва переводя дух; снежные сугробы срывались и засыпали нас с головой... Ни конец достигли вершины — небольшой плоской площадки; сквозь несущиеся облака зеленел утренний свет, и в летящем снегу жужжали пчелки. Мы долго дивились на них, пока не поняли по диалеким раскатам, что это были турецкие пули.

Солдаты зарылись в снег, обложили камнями окопы; Павел устроил мне снежный домик — собачью будку, и сейчас у входа прилижила очаг; уверяет, что будет тепло, как в бане. Заботит одно: как будут нам доставлять провиант, если не уляжется метель и буря.

Мне хочется писать тебе часто, все время. Здесь, в снегах, ты мне гораздо ближе, милая Даша. Когда будет оказия вниз, пошли сразу все написанное...

...Мы все еще в облаках; они носятся вокруг нас, ветер из соседних ущелий гонит их обратно; иногда открывается синее небо, и тогда виден весь облачный белый хоровод.

Солдаты живут очень смиренно, полеживают на снегу, покуривают; мы не выпустили еще ни одного патрона, — смешно стрелять в прорву, белую, как молоко. Лазутчики и цепи тоже еще не видели неприятеля, хотя по звукам выстрелов он, должно быть, недалеко.

Наконец! Перед закатом ветер вдруг стих, и облака начали медленно опускаться. Сначала засинело небо, сквозь розоватые обрывки тумана загорелся закат, солнце садилось большое и красное, точно в море, в облачные волны. Из них выступила, как остров, налево от нас скалистая вершина, и затем, словно со дна, стали вырастать острия гор, лесистые гребни; снега и облака посинели и стороне заката, со стороны противоположной побагровели.

Солдаты много всему этому дивились. Мы на горе так далеко от всех и так высоко, что, право же, ничего не остается, как думать, и мысли здесь особенные. Ирония, недоверие, безнадежность гаснут в самом начале; небо, горы, облака да мои мужики, такие же вековые и первобытные, как все вокруг — ничто не дает даже кончика, чтобы уцепиться гнилым мыслям. Представь, я начал припоминать Лермонтова и теперь жалею, что не знаю его всего наизусть.

Турки оказались совсем близко. Налево скалистая вершина занята нашей частью; между нами и ею, в лесистом увале, — узкое и обрывистое ущелье; на дне его, у ручья, на камне сидит турок;

и бинокль я вижу даже, что он делает, — старается набрать воды в медный кувшин. Взводный, лежащий рядом со мной, крикает. «Ну, ну, — говорю я, — попробуй», — и он, старательно выцелив, стреляет; медный кувшин далеко отлетает в сторону, турок вскакивает и озирается; за ним встают еще несколько солдат в башлыках и фесках; а у нас уже вся гора в огне, стреляют около меня и внизу. Четверо турок падают, остальные скрылись. Они под прикрытием тумана проникли в ущелье, очевидно намереваясь окружить соседнюю скалистую гору, и наткнулись на меня. Не прошло и часа, как всю нашу гору стали засыпать пулями. Мальчик-доброволец, что увязался за нами разносить патроны, нарочно смешит всех, строит рожи и приседает перед пулей. «Лови ее, лови шапкой», — кричали солдаты.

Павел сидит на корточках у снежного домика, чистит сковородку и подмигивает, когда я к нему оборачиваюсь. Но дело обстоит гораздо серьезнее: я только что получил извещение, что нас намереваются окружить большими силами и в эту же ночь нужно ожидать обхода.

Даша, я вивонат перед тобой. Чувствую себя ужасно гадко и нечисто (знаешь, когда вынимают шубу осенью, она мятая и пахнет нафталином; ее отдают дворнику поколотить камышовой метелкой). Дело в том, что с Петром Теркиным история была гораздо посложнее и погаже... Видишь ли, я недавно вернулся снизу, где сдва не лег костями... Я спустился в ущелье с пятнадцатью стрелками, чтобы занять площадку, откуда можно обстреливать вдоль всю узкую щель и не допустить турок обойти нас справа.

Сползли мы до площадки тихонько; было светло от месяца; внизу, под обрывом, грохотал поток; его шум заглушал наши движения; перед нами невдалеке, на снегу, лежали огромные квадратные глыбы камней. Расставив стрелков, я решил дожждаться, когда месяц осветит глубину ущелья, и улегся на спину. Над головой сиял Орион с алмазным поясом из трех звезд; отставив ногу, он натягивал небесный лук. Тогда я стал думать о тебе, милочка, ты кроткая, умная и ясная. Если бы всегда было так тихо и важно на душе!

Ко мне подполз стрелок и прошептал, указывая вперед штыком: «За камнями турки, ваше благородие». Действительно, то, что я принял сначала за осколки камней между глыбами, исчезло. Затем из тени, бросаемой луной, появилась фигура и скользнула вниз в ущелье, за ней — другая, третья, — я насчитал двадцать восемь человек. Они решили зайти нам по ущелью в тыл и взять живьем. Я послал стрелка наверх с распоряжением; солдат побежал по кустам, согнувшись. На крутом и открытом месте было ясно видно, как он карабкается, срывается и вновь лезет в белом снегу. И вот близко от него, из-за одинокой чинары, блеснул огонек, хлестнул выстрел, и солдат, как мешок, покатился вниз. Мы были окружены. Каждую минуту турки могли ворваться на площадку; отступить наверх было невозможно; оставалось добежать до больших камней,

очевидно тоже занятых неприятелем, выбить его и засесть там на утра.

Мы поползли, куда могли, скрываясь за кустарником, затем поднялись и побежали. Турки сейчас же начали стрелять часто и беспорядочно; с меня слетела фуражка, царапнуло по руке; один солдат упал, но сейчас же, поднявшись, побежал, прихрамывая, мы кричали что было сил и без выстрела очутились между огромными, точно обтесанными камнями. В тени их копошились чело-веческие фигуры. Один огромного роста восточный человек прижался к камню, точно распластался, раскинув руки. Он смотрел белые глаза на дуло моего револьвера; я выстрелил ему в лицо, но промахнулся, схватил за концы башлыка и подмял его под себя, — до того он был испуган. Мои солдаты только хрипели и ахали, как дровоколы, ударяя прикладами; раздавались глухие крики, визг и стоны. Турки сбились в кучу и возлились отчаянно, только двоим удалось добежать до обрыва, прыгнуть вниз.

Сверху подошло подкрепление, очистило склон; мы укрепили за собой камни и площадку, и я вернулся на вершину к кострам.

Все это, Даша, было для меня метелкой — выколотило нафтилин; дальше стало твориться странное. Павел приготовил чайку попить после трудов, но я не мог оставаться один, — было такое же состояние, когда мучит совесть. Я пошел к костру. У огня сидели пленные, и мой турка, и наши солдаты; они все разговаривали на каком-то особом языке; при моем приближении замолчали, — я был им все-таки чужой. Казалось — вот я избежал смерти, перешел через грань, и я — один, одинок, никому не нужен; но мне слишком много гнили, иначе бы не почувствовал всего этого, а просто лег бы на живот у костра да стал калякать, прихвастнул бы и наврал, как мой взводный.

Теперь представь: с соседней вершины в это время начинали сигнализировать огнем, спрашивая, что случилось. Я вынимаю электрический фонарик и, закрывая и открывая его, рассказываю все вкратце. «Молодчина, Рябушкин», — отвечают мне с горы. «Кто говорит?» — спрашиваю я. «Петр Теркин».

Вот, Даша, я думал, что навек освободился от унижительного чувства, и опять точно иголочку впустили в сердце. Как он смеет меня назвать молодчиной? Изволишь ли видеть! И хоть сейчас пойти к нему на гору. Это — как страсть. Это черт знает что! Не имеет названия. Словом, с Теркиным у меня год назад произошла вот такая история. Все, о чем я писал тебе, было на самом деле, но по-другому.

В Н., в дождливый день, я тащился по главной улице и заглядывал под зонтики. Делать было решительно нечего. Такое состояние, когда вместо головы точно полоскательница с окурками, на языке — «железный» вкус, и не то потягота, не то похоть какая-то. В общем — мерзко. Конечно, ты этого не знаешь. Под один зонтик заглянули сразу я и этот Теркин. Под зонтиком находился «вертлявый сюжет с препикантной мордашкой». Увидев с боков две

усатые физиономии, «сюжет» проскочил дальше, а мы остались друг против друга. Теркин оглянул меня рыжими глазками, захохотал в лицо и повернулся спиной. Я повторяю: лил дождик, и была страшная слякоть. Мы одновременно зашли в кинематограф, оттуда — в кабак; не разлучаясь и не разговаривая, я таскался за Теркиным, все время намереваясь его оскорбить. Под утро попали к женщинам. Теркин пил вино, даже не глядя на меня; девицы безобразничали; я сидел в углу, ненавидел себя, и его, и всех. И нарочно остался там ночевать.

Наутро нужно было забыть все это, но когда мысли, все чувства не выше грязного тротуара, то от таких воспоминаний не отвязаться ничем, некуда уйти. Словом, бывает так, когда человек видит, что сидит в яме. Днем опять встретил Теркина у магазина, подошел и заговорил:

— Потрудитесь, пожалуйста, ответить, что вы находите во мне смешного? Я не позволю никому... — и т. д. и т. д., произнес все это с завыванием.

— А идите вы к черту, в самом деле, — ответил он.

Теркин не хотел понимать, что я — это я, что я хорош, что я не только бегая по слякоти, меня ценят и любят и прочее. Далее следовала история в кабаке, — о ней я писал. Он ударил меня при всех очень громко, шлепнул. Вот.

Внизу кончилась перестрелка, только одинокий выстрел будит иногда многоголосое эхо. Я лежу на бурке у собачьего домика. Павел сидит на корточках перед угольями, жарит котлеты, морщится и воротит лицо от чада; на зеленоватом ночном небе отчетливо видны фигуры часовых; у догорающих костров дремлют солдаты; площадка земли, где мы живем третью неделю, вся приотптана, обсижена и, по-моему, даже — уютное место для жизни. У обрыва — два креста; под ними в земле лежат семь человек, и мне не кажется страшной смерть: не умирают ни звезды, ни обдака, ни все растущее на земле, не умирает и человек.

У огонька рядовой Василий Черногрибов рассказывает ровным голосом: «Возьмешься это пахать и пойдешь за плугом, а за тобой грачи ходят; руки натрешь, спину ломит, потно, а голове легко; так оно и здесь: работа тяжелая, что и говорить, опасная, а очень просторно, и все так приноровлено, чтобы голове было легче. Ведь Вогу-то спина твоя, что ли, нужна? Он тебе в темя смотрит. Темя пуще всего береги».

Лежу и размышляю, и мне это не кажется праздным: я точно чувствую на темени твою руку. Все мое прежнее существование было безобразным. Очевидно, кроме всех книг, мыслей и прошлой жизни, нужна была еще эта гора. Отличная гора. Я люблю ее прямо на ощупь. На Большой Ордынке, конечно, безопаснее, там не посвистывают пчелки и не слышно, как из окопов ругаются турки по-русски...

Теркин сигнализирует что-то фонариком. В общем, он — важный и сильный человек... Дело очень серьезное; турки густыми колоннами обходят его гору...

Треск и грохот — точно земля валится. Внизу стреляют залпами и пачками, и мои цепи отвечают частым огнем; по всему склону горы, где сидит Теркин, точно бегают огненные искры. Вот! Взревел воздух, загрохали ущелья — наше орудие из-за реки пустило по туркам бумбу. Слышны крики — должно быть, внизу штыковой бой.

Утро. Они положили до тысячи человек и все-таки обошли Теркин — в железном кольце. Он уже отбил пять штурмовых атак. Мои цепи втянулись в гору. Сейчас доставлен приказ: держатся во что бы то ни стало.

Пять часов дня. Теркин сигнализирует флажками, — он отбил еще атаку, но положение отчаянное: провиант не был подвезен, солдаты не ели вторые сутки. Турки роятся в горе, как черви. Они подвигаются все выше, медленно и упрямо. До завтра они нас задушат в кольце. Ему можно только прорваться к ущелью, к тому месту, где был убит турок с кувшином. Дай Бог ему силы! Бой по всему фронту до самого моря. Слышны горные пушки. Помощи пока ждать нельзя. Сообщаю Теркину — пусть он прорывается; и с пятьюдесятью стрелками брошусь вниз, опрокину турецкие цепи на моей горе, достигну ущелья, свалю через пропасть два или три дерева; по ним можно перенести даже раненых.

Он — настоящий человек: «Принимаю ваш план. Всю ночь очищайте огнем склон. На рассвете сходимся внизу. Рубите сосны — те, что четыре в ряд. Они достанут до края. Раненых заберем. Чувствую превосходно. Благодарю». Он сам мне это сказал, махнул флажками. Я передал план солдатам; они стали очень серьезны.

Солнце зашло. Мы открыли частую стрельбу веером по всему склону. Со стороны Теркина — такой же огонь. Время идет страшно медленно. Еще только полночь, а уши болят, и ломит голову от грохота. Велел Павлу заварить чаю; он пролил чайник на угли и сам как муха тыркается. Сюда бы нам композитора какого на часок — вот бы послушал. Все же я ужасно волнуюсь. Кажется, легче самому умереть, чем если убьют его. Четвертый час утра; велел усилить огонь; у солдат зубы и носы — черные.

Мальчик нес жестянки с патронами, гримасничал и вдруг упал. Над бровью у него — красная дырка.

Светаёт. Пятьдесят человек уже готовы; снимали шинели, перекрестились. Перекрещусь ведь, пожалуй, и я. Дашенька, если что — я тебя очень полюбил, родная моя. Иду!

Дашенька, поздравь. Теркин и восемьдесят семь человек прибыли на мой плац-парад. Мы устроили то, что в донесении назовут «бшеной контратакой». Турки бросались на нас, как дикие. Теркин сейчас лежит у меня в снежном домике. У него забинтована голова и руки; он выпил рому и свистит из «Перикола». Ранен пуляно. Как странно, моя родная, моя чудесная Даша! (Вот опять сломался карандаш; но на душе-то, если бы знала!) Мне нравится «Перикола». Вообще музыка — самое совершенное на свете. Знаешь: ведь я спас Теркина. Мы рубили деревья и отстреливались. И вдруг, Дашенька, на той стороне вижу наконец — Теркин без оружия, рука в крови, другой машет своим. Из-под ног его выскакивает курд в башлыке, как заяц. Теркин швырнул в него картузом. Курд отбежал, нацелился и — чик! Теркин за голову схватился, но не упал. Я вырвал у солдата винтовку и всю пачку погнался в курда. Тут рухнули сосны. Кричу Теркину: «Идите же!» Он стоит, ждет, чтобы все его солдаты подоспели. Он — герой, Даша. Когда его перенесли через сосновый мост, я спросил: хочешь ли, чтобы я его поцеловал? Он отер кровь с лица, захватил меня за воротник, и мы поцеловались. У него прекрасное лицо, настоящего воина, и глаза совсем золотого цвета. Он все понял, он мне сказал потом: «Знаете что: уж это мы с вами — навек».

Даша, можно любить только думая, что навек; иначе — не любовь. Тогда все понятно, все просто, торжественно и ясно, как звезды. Сегодня ночью опять над головой взойдет небесный стрелок Орион. Прости меня за все. Я люблю тебя, моя Даша.

ДЛЯ ЧЕГО ИДЕТ СНЕГ

Кривые переулки Арбата были засыпаны снегом. Бесшумно шуршал извозчик, и толстая дама, сидя на его санках, прятала в муфту изящный нос. На белом дереве каркала ворона, осыпая ветки снежные хлопья. Снег лежал на тумбах, на каменных столбах церковной ограды, скрипел под сморщенными башмаками девочки, пробежавшей из ворот в молочную лавочку. Для гимназиста, шатаясь по тротуару, толкали друг друга на сугробы. Снежные мухи крутились у фонаря.

Николай Иванович, засунув руки в глубокие карманы шубы, медленно шел по этим местам. На носках его калош прилипло по кучечке снега. Снежинка села на шею и щекотной каплей потекла за воротник. Ширк-ширк-ширк, — мела метла за углом. Неяркое небо, надернутое ровной пеленой облаков, мягко светилось над переулком.

«Ну, вот зима, ну, снег, ну, я иду, а вон собака! Нудно, тихо, убого, — думал Николай Иванович. — Самобытное и единственное, что здесь только и возможно делать, — забраться на лежанку и задремать, слушать, как мурлычет кот».

Николай Иванович возвращался из кофейни, где ежедневно проводил некоторое время, рассматривая журналы, попивая кофе с лимончиком.

«Ничего дельного из нас никогда выйти не может. Снег, да шубы, да лень, да праздная фантазия. А ведь сейчас где-нибудь идет парад. Две прозрачные волны разлетаются перед его носом. Вода и небо. И вдалеке виден берег какой-нибудь Австралии. Какая страна!»

В воображении Николая Ивановича перевернулась страница иллюстрированного журнала и представился город, лежащий амфитеатром по краям извилистой, залитой солнцем лагуны. Высокие здания, колоннады, над колоннадами висячие сады, арки, площади и мосты наполнены прекрасной толпой австралийцев. Какие лица! Какая жизнь!

Бум, — ударил колокол у Николы на Курьих Ножках. Перед калошами Николая Ивановича появились серые ботинки. Он задержался и поднял глаза. Перед ним стояла, улыбаясь, Марья Кирилловна. От снега ее глаза казались совсем зелеными. На ней были

«оричневая шапочка и вуаль. На плечах, на бархате, лежали снеж-
ныс мухи.

Она вынула из муфты руку, обтянутую белой перчаткой, и
ярко поздоровалась. Они сказали друг другу:

— Куда идете?

— Да так, шляюсь, за дело не могу приняться.

— Опять все та же «теория федерализма», — проговорила она
трудом, и глаза ее усмехнулись лукаво.

— Да, завяз. А вы куда?

— Я тоже гуляю.

— Так пойдемте вместе.

Они перешли улицу. У Марьи Кирилловны шаг был гораздо
меньше; Николай Иванович, наконец, попал ей в ногу и спросил,
думает ли она остаться в Москве на праздники.

— Нет, не придется. Дней через десять уезжаю, — ответила
она озабоченно, углы ее рта, задрожав, чуть приподнялись пре-
ритительно. — Вчера получила письмо от мужа, очень тяжелое.

Она посмотрела прямо и ясно. Николай Иванович насупился.
Ему вдруг захотелось рассказать о себе, как ему вообще дрянно.
Вместо этого сказал:

— Ни я и никто до сих пор не понимает, зачем вам понадо-
билось выйти замуж за доктора из Харькова. Может быть, он и
прекрасный, но почему — доктор?

Она подумала и ответила спокойно:

— Он хороший человек, умный и дельный. Но в нем нет места,
где бы можно приютиться. Хотя почему он обязан быть таким, как
я хочу? Мне его бывает иногда очень жаль. Когда становится очень
скучно, я уезжаю сюда, к маме. После разлуки живем тихо и
уступаем друг другу. Он любит меня по-своему, иначе не умеет.

Она моргнула несколько раз, скользнув ресницами по вуали, и от-
вернулась. Войлочные ботики ее ровно постукивали, поскрипывали
по снегу. Профиль — нежный и тонкий, чуть-чуть заносчиво припод-
нятый угол рта, глазки и зубки какого-то зверька на ее шляпе, и го-
лос — точно у девочки — никак не вязался с представлением об ее
муже, угрюмом докторе, огромного роста волосатом человеке.

— Вообще доктор не имел права на вас жениться, — сказал
Николай Иванович. — После вашего отъезда в Москве стало пусто
и скучно, точно вдруг все во всем разочаровались. Утешается же
един только доктор. Но, оказывается, и ему не легче, — это уже
совсем глупо.

Они вышли на площадь. В неясном свете вечера висели опало-
ныс фонари. Со звоном скрещивались трамваи. Над сугробами су-
гулился в бронзовой шинели носатый Гоголь. За его спиной деревья
бульвара уходили в голубоватый сумрак.

— Мне налево, прощайте; заходите как-нибудь до отъезда, —
проговорила Марья Кирилловна.

Он со внезапной скукой поглядел под ноги на изъезженный
снег. Представилось: проститься, побрести домой, опять думать об

Австралии, — безнадежно. Николай Иванович вздохнул, подал руку, проговорил лениво:

— Ну, прощайте.

И они, как обычно, простясь, пошли рядом.

На углу, у освещенного подъезда театра, Марья Кирилловна вдруг сказала с усмешкой:

— Зайдемте.

Они вошли в высокую залу театра и сели в темноте в ложу. Перед ними о скалистый берег плескалась большая волна, издавая звуки вальса. Вдруг вальс перекатился в легкую польку, появился поезд и в замирающих звуках унесся на ледники. А музыка уже играла ноктюрн, и вот длинная, полупризрачная гондола заскользила между покосившихся свай вдоль ветхого фасада. Николай Иванович проговорил:

— Я, помню, весной возвращался от вас. Вы тогда еще ходили в гимназическом платье. Я воображал, как мы поедем в лодке. Почему-то дальше лодки, камышей и стрекоз воображение не смело залетать. — Он несколько раз повернулся в кресле, снял шляпу, когда же его плечо нечаянно коснулось ее плеча, он вдруг застыл и продолжал уже совсем тихо: — Такое чувство, будто меня придавили и какая-то давнишняя радость во мне задыхается, умирает... Мне скучно и сухо жить одному. Вы меня точно из лейки немножко полили. Спасибо и за это.

Марья Кирилловна ласково и внимательно оглядела все его лицо. Под яростный треск галопа Глупышкин улепетывал на велосипеде от разъяренных торговцев фаянсовой посудой.

— А еще труднее, когда слишком много неотданной, напрасной нежности, — проговорила Марья Кирилловна.

После «Ловли сардин в Норвегии» она прибавила:

— Хорошо, когда тоскуешь по человеку, когда по тебе тоскуют. Тогда хорошо.

Больше они не сказали ни слова. Скакали ковбои. В рояле были гроза и выстрелы. Горела железнодорожная будка. Николай Иванович отвез Марью Кирилловну домой. В подъезде осторожно поцеловал ей руку и вернулся к себе.

Николай Иванович проснулся поздно в маленькой спальне. На зеленых обоях лежал снежный свет. Снег медленно падал за трехстворчатым окном.

Куря папироску, Николай Иванович вспоминал вчерашнее. Воспоминаний было много и еще больше разбежавшихся от них невеселых мыслей. Выкурил пять папирос, и только тогда, морщась, он оделся, выпил кофе и подошел в кабинетике к письменному столу.

Книги, рукописи, начатые листы, окурки и пепел завалили весь стол. Страшно было подсесть, — не только работать в таком хаосе. Николай Иванович принялся читать газету. В три часа звонили по телефону. В четыре часа он раскрыл, наконец, том «Теории федера-

лизма». В половине пятого пришлось лезть в трамвай, ехать на Петровку обедать. Остаток дня прошел, как всегда — никак. В одиннадцать часов на Тверской к нему привязалась бабища с таким количеством перьев на голове, что сидевший в санках у тротуара личик прохрипел: «Смотри, тетка, не улети!» От бабищи Николай Иванович спасся по Леонтьевскому переулку. Вернулся домой и лег спать. Второй и третий день прошли точно так же, без изменения.

Наконец поутру Николай Иванович поглядел на тощие свои ноги, и у него сильно зашекотало в горле, — выпил воды. Он сиделся тщательно, походил по кабинету, беря в руки то газету, то книгу, затем с отвращением швырнул томом «Теории федерализма» в кучу мусора на столе и повернулся к окну.

Все так же мягко опускался с неба на землю крупный снег. Но только в сумерки Николай Иванович решил пойти на Молчановку и позвонить в третьем этаже налево. Отворившая горничная сказала шепотом:

— Марья Кирилловна очень больна, к ним нельзя.

Николай Иванович потер лоб, потом вытащил из жилета и дал горничной полтинник, спросил, можно ли оставить записку. Но записки не написал, еще потер лоб и вышел.

Стало ясно, — на улице делать нечего, у себя дома сидеть невозможно и уже совсем бессмысленно пойти к какому-нибудь приятелю. Он перешел улицу, сел на сугроб и принялся глядеть на тускло освещенное окно в третьем этаже. У Николе на Курьих Ножах благовестили к вечерне.

Пять вечеров подряд Николай Иванович заходил на Молчановку справляться о здоровье и все это время думал о том, что четвертое измерение — не чепуха: дни точно остановились, утро, день и вечер смешались в одно... Реальностью были слабо освещенное окошко в третьем этаже и сугроб, куда Николай Иванович садился, чтобы подолгу глядеть на это окошко.

На шестой вечер его впустили в просторную комнату с опущенной шторой. Он увидел синий абажур, спинку карельского дивана, клетчатый плед, несколько подушек и на них кусок щеки Марьи Кирилловны и большой ласковый глаз. Все остальное было покрыто фланелевым платком. Она выпростала из-под пледа горячую руку. Николай Иванович наклонился над ней низко, поцеловал и сел на стул.

— Спасибо, что заходили, — сказала Марья Кирилловна, — у меня была инфлуэнца и перекинулась на ухо. Думали, придется резать; вот была бы история!

Он откашлялся, но ничего не сказал. Она спросила, не хочет ли он чаю со сладким пирогом, и попросила позвонить. Принесли на подносе стакан жидкого чаю и кусочек пирога, надгрызенный зубами. С волнением, глядя на пирог, он проговорил:

— У вас так хорошо здесь, уютно.

— Ах, у нас ужасный беспорядок все эти дни, — ответила Марья Кирилловна. — Зато я досыта надумалась во время болезни. Всего

лучше думать, когда хворает. Только нужно решить вперед, что ни мрешь, решить не совсем по-настоящему, а так — загрустить, что ни умрешь, как жалко... Тогда все прошлое начнет представляться без страстей и обид. Переберешь все мелочи, давно забытые.

Она закрыла глаза. В тишине комнаты, под шкафом, царапала мышь.

— Я многое решила: не уезжать никогда больше от доктора, по ночам с ним не разговаривать... Он говорит: «На любовь нужно смотреть просто»; когда я теперь уезжала — даже назвал ее «функция». Я обиделась: «Ах, если только функция — могу и совсем к вам не приезжать!» Но мало ли что говорится со зла. Он прав. Должно быть, я просто порчу ему жизнь. А то, что меня переполняет, не знаю, — все это от безделья.

Николай Иванович завертелся, потер переносицу:

— Так все-таки нельзя.

Должно быть, она улыбнулась под платком: сморщился нос и глаз стал длинным.

— Вчера вечером наверху играли на рояле. Я задремала, и было так сладко, точно я полетела от земли. И вдруг слышу звук — однообразный, тонкий, звенящий. Он наполнил меня, и все во мне зазвенело, задрожало этим звуком, и все пространство было как звук. И показалось: умираю, люблю, жажду того, что вот-вот раскроется, распахнетя ослепительным светом. Что это? А проснулась, думаю: доктор один и терзается. Он — чужак и несчастный, и пусть ничего не понимает. Вот видите, милый друг, хорошо иногда подумать...

Она повернулась на бок, положила ладонь под щеку. И точно весь воздух в комнате, пахнувший лекарством, стал спокойным и ласково-грустным.

Из-за шкафа выбежал мышонок. Он был хром и не спеша, как ручной, закружился по паркету.

Марья Кирилловна сказала:

— Дайте ему пирога.

Николай Иванович бросил на пол кусочек. Мышонок подпрыгнул, закрутился и принялся грызть пирог, припав к нему лапками.

Марья Кирилловна засмеялась:

— Говорят, есть примета: хороший человек, если его мыши не боятся.

И совсем прикрыла лицо фланелевым платком.

— Сегодня встала после обеда, брожу, как муха, — говорила она Николаю Ивановичу, сидя с поджатыми ногами в столовой, в углу турецкого дивана. Грудь ее и шея были повязаны пуховой косынкой. Пепельные и легкие волосы прибраны заботливо. Разговаривая, она поднимала руку и поправляла гребенку. И рука ее и похудевшее лицо казались прозрачными, а мягкое темное платье — слишком свободным.

Николай Иванович сидел, положив ногу на ногу, локоть — на стол. Перед носом из стакана поднимался чайный дымок. Тикали часы, потрескивали угольки в самоваре. Матушка Марья Кирилловна с тяжелой стеной тяжело ходила, — позвякивали хрусталики на люстре.

— В прошлом году здесь на стене висели куропатки вверх ногами, — сказала Марья Кирилловна улыбаясь. — К моему приезду мама вместо куропаток, видите, повесила Дарвина и Толстого.

Николаю Ивановичу стало казаться, что точно после долгих скитаний он добрался до этого стула, чтобы всегда глядеть на маму, улыбающееся, грустное лицо. Вот у нее дрогнула верхняя губа, приподнялась забавно, и Марья Кирилловна проговорила:

— Я думала о вчерашнем. Вы правы. Я начну много читать.

Она вздохнула и поправила гребенку.

— Предположим, я прочту много, много полезных книг. На то уйдет лет десять. Михаилу Николаевичу будет пятьдесят, мне — тридцать шесть. Вот и хорошо.

Она подняла брови. За стеной громыхнул стул. У Николая Ивановича защекало в носу.

— По-вашему, так: вы мучаете себя, мучаете доктора, — ответил он, вертя ложку, — жить здесь одной также нельзя — не к чему. Ничего не понимаю.

— Любовь, не отданная людям, никому не нужна, — сказала Марья Кирилловна.

— Тогда знаете, что нужно?

— Знаю...

Николай Иванович поднялся и начал ходить вдоль стены. Наконец он взглянул на Марью Кирилловну. Она сидела, крепко зажмурив глаза, прижав щеку к диванной подушке.

— Уйдите, Николай Иванович. Приходите завтра. О том, что невозможно, говорить не будем.

Он задел по пути стул, толкнулся о буфет и вышел. Голова горела, ноги никак не могли попасть в калоши. На улице он снял шапку, распахнул шубу, и на лицо ему падал нежный, щекотный снег.

Николаю Ивановичу внезапно открылось, что в квартире его на Сивцевом-Вражке — мусорная яма. Завал хламу. Он все это утро прибирал углы, чистил обивку стареньких кресел, нашел за комодом папку с гравюрами и приладил их по стенам. Подобный прилив чистоплотности был не без умысла, конечно. Туда, где солнце в одном углу падало на синие обои, Николай Иванович придвинул столик, сбегал в цветочную лавку за веткой рябины, поставил ее на свету, в вазе на столике, отошел, прищурился, — гм, недурно...

Еще хуже обстояло с кабинетом... Пыль и мерзость! Николай Иванович разорвал несколько карточек и пачку писем. Поспешно стал выдвигать ящики, отыскал дамскую гребенку, усыпанную стекляшками, отнес на кухню и сунул в ведро. Книги, рукописи

лежали горой. Он сбросил их просто на пол, сел на подоконник, теплый от чугунной батареи, и задумался.

Не только вещи были покрыты пылью; вещи и книги — лишь покорные слуги; каков хозяин, таковы и они. А вот не заняты ли сначала приборкой самого себя? Он закурил папироску и глубоко задумался.

Как прошли эти два года на Сивцевом-Вражке? Конечно, университет, а затем что сделано хорошего? Работал? Нет. Вообще, как проводил время? Никак, — покуривал и прочее.

Николай Иванович слез с подоконника и зашагал по трем комнатам, размахивая рукой и бормоча. Точно из тучи хлынули на него суровые мысли. «Гнусно!» — крикнул он.

В это время швейцар позвонил снизу, позвал к телефону. Николай Иванович сбежал в подъезд и вошел в будку, засаленную плечами, исписанную цифрами; под лампочкой была надпись мелом: «Нюра, обожаю».

Говорила Марья Кирилловна. Ее голос немного дребезжал и телефон и казался от этого еще слабее. Она спросила, что он делает, придет ли сегодня, сказала, что больше грустить не будет.

— Марья Кирилловна, спасибо вам, — заговорил он, уткнувшись лбом в угол будки, — дело в том, что я должен вас предупредить: вы, кажется, хорошо ко мне относитесь. Я — маленький и ничтожный человек. Подождите! Я должен — до конца. Я вам болтал о том, как жить, и вы даже внимательно слушали... Какой ужас! Я не рассказывал вам раньше о себе, потому что только сейчас почувствовал: во мне даже просвета нет на что-нибудь человеческое. Я не понимаю, что плохо и что хорошо. Недавно, пьяный, ругался и дрался в кабаке и потом даже забыл об этом. Я не помню по именам женщин, которые у меня бывали. Я не любил ни людей, ни родины, ни своего дела. Я жил как во сне, не знаю — зачем. Если пришлось, мог бы украсть и убить. Подождите — я не вру, все это верно...

И он продолжал каяться в том, что было и чего не было, что представлялось только возможным... Марья Кирилловна долго молчала.

— Все? — спросила она.

— Не знаю, больше не могу.

— Вот то, что вы сказали об этом, — голос ее был странный и прерывающийся, — если положить это на одну чашку весов, и на другую все грехи... Они взлетят наверх.

— Что, что? — переспросил он в крайнем волнении.

— Вы подошли ко мне беззащитный. Что же я могу сделать, как не полюбить вас за это...

Дальше не было слышно. Николай Иванович зажмурился и вдруг глухо заплакал в трубку и не мог удержаться от муки и счастья...

— Бедный, родной... — услышал он легкий шепот...

Некоторое время Николай Иванович тыркался у себя по комнате, не соображая, что делает: хватал предметы и бросал их; затем в ван-

ний открыл кран и окатил голову и только тогда сообразил, что нужно лечь. Через полчаса он звонил на Молчановке.

Марья Кирилловна сама открыла ему. Лицо ее было серьезно, глаза сияли.

— Садитесь на сундук, — сказала она и, заперев дверь, продолжала укладывать маленький чемодан в прихожей, на столике под зеркалом.

— Не нужно ни о чем говорить, да вы и сами понимаете. Я уезжаю.

— В Харьков?

— Ну конечно, куда же еще.

— Навсегда?

— Не знаю... Не знаю...

Она тряхнула головой; скользнув, из волос ее упала гребенка. Тогда радость, трепет, свет наполнили Николая Ивановича. Он откинулся на сундуке на висящие на вешалке шубы, закрыл глаза:

— Я понимаю, — все чудесно.

Она надела шубку, сунула ему в руки чемодан; они сбежали вниз и сели на извозчика.

Санки бесшумно скользили по переулкам, узким от сугробов. Меленоватые лучи фонарей и желтый свет из окон озаряли мягкую их пелену. Вверху с крыши на крышу крутила вьюга. Валил частый крупный снег.

— А может быть, не встретимся никогда... Смотрите — какая вьюга, — сказала Марья Кирилловна.

Они вылетели на бульвары.

Деревья стояли пушистые и белые, между стволов скользили фигуры.

— Я вас люблю. Я все люблю. Я никогда не видал такой зимы, — сказал Николай Иванович.

Она сняла варежку, нагнувшись, захватила с мелькнувшего мимо сугроба снега в ладонь, откинула вуаль, откусила хрустящего снега и дала Николаю Ивановичу съесть, потом легко вздохнула.

На вокзале, глядя через стекло вагона на милое, вдруг ставшее невыразимо-печальным лицо, Николай Иванович на мгновение почувствовал острую боль.

«Что это? Верно ли все это? Разве так нужно?» — подумал он, и за стеклом Марья Кирилловна подняла палец и погрозила.

Тронулись окна. Он побежал и еще раз увидел за стеклом ее глаза, лицо под вуалькой, шапочку... Поезд нагнал, и от него остался хвост, светящийся двумя огнями, много выдавшими в пути. Николай Иванович вышел на площадь. Было тихо, и все падал снег, устилая ровный белый путь. Мимоезжий извозчик, засыпанный вместе с бородой пушистыми хлопьями, подивился, когда какой-то человек, широко размахнув руками, крикнул ему, проходя:

— Вот так зима, брат!

И одинокая фигура Николая Ивановича долго еще маячила в глубине улицы, пока его не закрыл трамвай.

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ

Дорогой друг, церковку при селе Кожухи отыскал и фрески видел. Они не Бог знает какого письма, и, пожалуй, не стоило бы о них подробно рассказывать, но вам непременно нужно, чтобы я написал. Так вот, слушайте...

Из Петрограда я выехал семнадцатого июня в прескверном настроении. Милый друг, я люблю искусство с отчаянием, как любит, должно быть, эскимосы скупое свое солнце. Голова моя была набита высшими соображениями (вы помните наш последний разговор о вырождении искусства, о растущем противоречии его с современностью и о скором конце). Словом, в вагон я сел очень озабоченным, и телеграфные столбы, будки и стрелочники, толпа на маленьких станциях, похрапывающий сосед и унылая дама с кульками и подслеповатой собачонкой казались мне вообще допустимыми с большой натяжкой.

С соседями я не разговаривал, входя в буфет — толкался, морщился от фраз, от запахов, от самого вида обывательских физиономий. После зимы, насыщенной беседами, борьбой кружков, затесаться в толпу, которая не помнит ни строчки Пушкина и пожирает пирожки, — тяжело! Я понял Петрония — и всю дорогу проспал, закрыв лицо носовым платком. Таким я и приехал в Кожухи. Но что из этого вышло?

От станции до села повез меня мужичок, который оказался настолько глуп, что на вопрос о старине принялся рассказывать про какую-то бабушку Аксиныю, будто бы заставшую еще французов: она умерла в прошлом году, упав с печки.

Кожухи — живописное местечко. Над рекой, на обрыве, стоит старинный барский дом с колоннами; на другой стороне — белая церковка и село. Крыша на дому — красная, окна наверху заколочены, штукатурка обвалилась местами. Сад зарос бурьяном. Проезжая по мосту, я видел, как из крыжовника выскочил теленок и за ним девушка, в ситцевом платье горошком, с хворостиной в руке.

«Я тебе задам!» — крикнула она сердито. Ямщик сказал, что это — здешняя барышня: живет одна, сиротски, сама хозяйничает.

Церковь «Утоли моя печали», шатровая, с пятью синими луковичками и тоже облупленная, стоит за селом на лугу; нет кругом ни ограды, ни построек, только несколько высоких берез, мохильные холмики, да лежащие пестрые коровы, да мальчишка с надранными коленками на бугре. День знойный, снеговое облако на высоте, и чуть трепещут листья берез.

Церковь оказалась запертой. Я спросил, у кого ключ и кто может показать мне фрески и архивы.

— Ключ-та, где же ключ, — сказал ямщик и поскреб ногтем над меховой шапкой, — надо быть, у дьячка.

— А где дьячок?

— А кто его знает.

Он сидел бочком на козлах; лошадь отгоняла хвостом оводов; ждали стрижи над куполами. Я рассердился и потребовал, чтобы немедленно везли меня к дьячку.

— Слышь ты, ей, Степка! — вдруг обиженным голосом закричал ямщик. — Филимоныча видел? А?

Но Степка на бугре даже не повернулся. Пестрая корова поглядела на нас печально и, мотнув на слепня мордой, снова задремала.

— Надо быть, Филимоныч чай пьет с учителем, — сказал ямщик. — Разве туда подъехать?

Четырехоконный ветхий домик с поломанными украшениями и расклеванными столбиками, бывший когда-то «Монплезиром» и перенесенный на край села из усадебного сада, стоял у самой ржи, — то и была школа.

Желтеющая высокая рожь начиналась прямо от школьного двора и залегла на много верст.

В палисаднике за непокрытым столом пили чай с вишней учитель Соломин и Филимоныч, старый дьячок, в выцветшем подряснике и без шляпы, для полного благодушия.

И я, мой дорогой друг, вместо того чтобы, не теряя времени, потребовать ключ от церкви и перенестись в XV столетие, попал на это чаепитие третьим собеседником.

По ржи ходили медленные зеленые волны, над ними пели знакомые песни нехитрые жаворонки. При виде меня Филимоныч принялся кланяться, и остроносое красное личико его изобразило величайшее умиление.

Учитель встал и заложил руку за кожаный пояс. На столе стояли корзина с вишнями и чашка, где в топленом молоке плавала муха и ложка. Из самовара шел дымок. Пока я представлялся и объяснял цель приезда, явилась мохноногая курица и тоже глядела на меня с любопытством и готовностью.

Учитель, извиняясь почему-то, что нет никаких консервов, предложил мне чаю. Филимоныч нахлобучил остатки соломенной шляпы на помазанные маслом редкие волосы и, прихрамывая, побегал за ключом.

— Не угодно ли вишни, хотя еще кисла на вкус, — сказал учитель, отодвигая от себя развернутый толстый журнал. — Зна-

чит, вы из самой столицы? Очень приятно. Говорят, хороши франски в нашей церкви. Хотя я мало в них понимаю.

Тогда я стал рассказывать о церковной живописи, о старине, о том, что если бы не эти остатки красоты, то хоть беги из России страны варварской, темной и унылой. Честное слово, я говорил увлечением. Учитель сочувственно мне кивал.

Он был в рубашке, светловолосый юноша, с суровым очертанием лба, прямых бровей и мечтательно-холодных глаз, тогда губы и едва опущенный подбородок казались женственными. Но такие лица без волнения я не могу глядеть. В их двойственном чувствуется постоянная возможность вспышки и преображения.

— Вам, я думаю, странно видеть наше убожество, — сказал он, показывая на плетень, где ижицей висели штаны из чертовой кожи да на колу торчал продранный валенок на страх воробьям, — все-таки живем, как видите; я только вот о чем хотел вас спросить, — он положил большую руку на журнал, — как у вас там в столице, совсем уж, значит, решили покончить с нашим братом?

— С каким это вашим братом? — спросил я, насторожась, потому что лицо его с опущенными глазами надменно усмехалось.

— А так, с мелкотой вроде меня да Филимоныча, — с обывателями. Я к тому хотел вас спросить, что я-то и есть настоящий читатель, про кого пишут и для кого пишут; ведь у вас не сами же для себя сочиняют романы, а для нас; для нашего душевного комфорта в худшем случае, правда? Так вот один здесь пишет: сам ты — зверь, жена твоя — самка, а любовь — инстинкт. Скажем, я согласился с таким определением. Теперь другой режет напрямки: все равно ни для чего хорошего не доживешь, пускай пулю в лоб; и тут же статьи о кооперации. Конечно, я читать ее уж не стану. А третий, совершенно непонятно для чего, уныние и скуку напускает на меня, — дышать нельзя. Помилуйте, думаю, мне и без того жить мудрено, для чего же еще мордовать. Или уж действительно мы, читатели, — в диком состоянии, или у вас в столице стало тесно. — Он вдруг весело взглянул на меня. — Вот вы стариной занимаетесь, журнал ваш хороший, старина — вещь прекрасная и полезная; и все же иногда обидно становится: неужели я не более чем случайное явление, вроде мухи, ничего не стою? Подумаешь так, поглядишь на рожь, да и закинешь книжку через забор. Вот какие здесь варвары живут.

Пуская дымком, он облокотился, и лицо его, вначале неподвижное, затем насмешливое, стало теперь задумчивым, осветилось нежностью.

Честное слово, дорогой друг, я был сбит с толку и не понимал, почему учитель Соломин с такой уверенностью решил закинуть меня через забор.

Со стороны усадьбы, по меже, не спеша двигалась женская фигура; ветер отдувал конец легкого шарфа на ее плечах. Из-за плетня появился Филимоныч, вытирая коричневым платком пот. В кулаке он держал огромный ржавый ключ от церкви; повалился на стул и сказал:

— Ох, Солома, надуди стакашку. Извините, у меня вся гортань пересохла, — и, отхлебнув чаю, подмигнул узким глазком на учителя: — Он у нас — философ. Вы с ним поговорите. Козерог. Я давно говорю — в газете надо бы о нем черкнуть, что, мол, в Кожухах такой рогатый человек живет...

— Перестань, — сказал Соломин и поднялся навстречу подходящей девушке, в которой я сейчас же узнал давешнюю барышню, рассердившуюся на теленка. Она была тонкая и высокая, чуть пониже учителя, и, подходя, глядела на него внимательно, почти строго. Пепельные ее непокрытые волосы завязаны на затылке бильшим узлом, лицо загорелое, овальное, милое, и сердитые губы.

— Когда это кончится? Теперь вы уж стащили грабли, — сказала она дрогнувшим негромким голосом.

Учитель стоял спиной ко мне, тщетно стараясь засунуть ногу между прутьями плетня.

— Честное слово, Вера Ивановна, мне они были нужны. Я принесу...

Плечи под ее ситцевым платьем поднялись и опустились, она поглядела в мою сторону и нахмурилась. Филимоныч потянул меня за рукав и, показывая ключ, настойчиво предложил пойти в церковь.

Рожь с обеих сторон межю доходила до пояса. В теплой зеленой ее чаще синели цветы и вилась повилика, раскрытая белыми и розовыми зонтиками, пахнущими миндалем. Впереди нас, по колее, бегала хохлатая птичка и вдруг нырнула в рожь.

— Грабли стащил! — сказал Филимоныч, ударив себя по бедрам. — Ах, козерог! Все у него через самолюбие, не может, чтобы просто.

Ветер отгибал разодранную его шляпу, и полы подрясника шлепали по рыжим голенищам. Казалось, на Филимоныча извели фунтов пять сливочного масла, чтобы так вымазать.

— Каждый день чего-нибудь у нее утащит; ходят друг к дружке и ссорятся.

Когда же я спросил, для чего учитель таскает у барышни грабли, Филимоныч прищурился, многозначительно повторил: «Для чего? Гм!» — и больше не промолвил ни слова до самой церкви.

Мы вошли в нее по истертым плитам через низенькое сводчатое крыльцо, где облупилась и вылиняла деревенская живопись, а два узких, как щели, окошка были затянуты паутиной. Внутри было тихо и прохладно, пахло ладаном и воском. Филимоныч указал мне на притвор и остался у двери, поправляя лампаду.

Стены и своды, соединенные железом, были покрыты грубой, потемневшей штукатуркой; пятна сырости кое-где да копоть от свечи, прилепленной у деревенского образа прямо к стене. И только в левом притворе, на широкой и плоской колонне, уходящей в сумрак под купол, сохранились древние фрески.

Пока я старался разглядеть их неясные очертания, пролился красноватый свет заката сквозь стрельчатое окно. И в этом свете выступили сражающиеся на конях фигуры в кольчугах, с длинными

копьями; над ними — хор монахов со свитками, еще выше — тонкое дерево и с боков его большеглазые, изнуренные знанием добра и зла Адам и Ева; свет скользнул левее и угасли всадники и монахи, и только Ева с ветвью в руке глядела на меня сурово. Но растаяла в темноте и она.

Мы вышли с Филимонычем на луг. В сумерках неподвижно стояла рожь, казалась сероватою, как воды. Зеленая звезда, затеплившись, вздрагивала неуверенно. Тянуло сыростью и болотными цветами. Кричал дергач. И жалобно скрипел колодец на соломе.

Филимоныч повел меня ночевать в свою избенку и накормил жареной картошкой, творогом и чаем с ситным и медом. Устраиваясь в убогом, но чистом «зальце» на сосновом диване постель, он говорил:

— Перины нет — вот горе, — я, чай, понимаю, как спать полагается, хотя до мягкого сам не охотник; а при покойной дачихе была перина. Не знаю, как вы и заснете: лимонаду-газет у нас, провалиться этому лавочнику, кроме дегтя да ситца, ничего не добьешься; электричества тоже нет; а уж петуха, подлеца, и шабрам отнесу. Я его сварю как-нибудь, дождется, — кричит мне ночь, точно его просят.

Я разделся и лег, с наслаждением вытянувшись на спине. Филимоныч стоял с коптилкой у двери, ковырял ее ногтем и мял.

— Вот вы человек столичный, объясните мне, что им надо? — внезапно громким шепотом заговорил он, заслоня коптилку, чтобы не била мне в глаза. — Молодые, отменной красоты оба и, вижу я, часу друг без друга не могут, а все топорщатся; ни он ни с места, ни она ни с места; разные дела выдумывают: грабли он у нее унесет или семенной каталог, а сам отроду репья не посадил, она к нему на другой день идет, и ссорятся, разговаривают, грабли назад тащат. Разве это хорошо? Ну, прямо плохо. Только время теряют. Скажем, книжка — святое дело? Так? Посмотрел ее, помуслил, прочел что-нибудь, вот и хорошо и тихо. Нет, из-за книжки у них ссора: он, мол, это хочет сказать, а она ему: нет, вы не правы, как раз наоборот. Ну, извините, я заболтался, очень досадно — молодые, а чистые оба козероги.

Дьячок притворил дверь и долго еще кряхтел, молился и скрипел постелью в сенях. На стене тикал маятник. И таяла иногда собака за окошком.

С утра я был уже в церкви, — решил сфотографировать и снять с фресок акварельную копию. В церкви — прохладно. Под куполом возятся голуби, и на пыльном, паутинном окне бьется залетевшая бабочка.

Филимоныч заходил меня проведать и оставил открытой входную дверь; сквозь ее четырехугольник виднелись синее небо и залитая светом желтая, горячая рожь.

Вдруг послышались шаги; я опустил кисть и обернулся; оттуда, из поля, вышли Вера Ивановна и Соломин; они остановились под куполом и не могли видеть меня, сидевшего за решеткой.

— Он здесь? — спросила она.

— Не знаю.

Она грызла соломину. Потом со вздохом опустила руки и подняла на купол глаза; от полусвета они казались еще более огромными; он, уже не отрываясь, глядел на нее.

— Смотрите, голуби, — сказала она. — Боже мой, как тихо.

Ева и Адам устремили точно обожженные огнем темные глаза вниз на истертые плиты. Он держал яблоко, она — ветвь; змей, обкрутясь вокруг дерева, уязвлял свой хвост. У меня начала кружиться голова.

Постояв, Соломин и Вера Ивановна ушли. Я поднялся на цыпочках к окошку и увидел их под тонкой, как райское дерево, березкой на холмике. Вера Ивановна сидела, бродя взглядом по облакам, по ржи; он лежал у ее ног и все так же глядел на нее не отрываясь. Я подумал: когда они встретятся глазами, прочтут в них то, чего, быть может, еще боятся, — Филимонычу не придется больше скучить. И вдруг невероятная его соломенная шляпа вылезла из-за березы. При этом, он начал что-то рассказывать, размахивая руками, гримасничая, показывая единственный желтый зуб.

Щеки Веры Ивановны покрылись румянцем, и она усмехнулась, уронив руку, ладонью вверх, на траву. Соломин сейчас же опустил плечо и — я видел — прижался к руке губами.

Мне было радостно и очень грустно, дорогой друг, глядеть через пыльное окошко на все эти вещи. Петроний в конце концов был не более как скептик. На закате я кончил работу и пошел отыскивать Филимоныча; дома его не оказалось, я побрел к школе.

На деревянном крыльчке сидела Вера Ивановна, у ног ее — учитель, а Филимоныч в полном благодушии и удовлетворении извалился на последней ступеньке.

Меня встретили радушно, попросили посумерничать, обещали накормить простоквашей. Оранжевый закат широко разлился за рожью. Гулькали еще перепела, приглашая спать: «Пать пора». Летучая мышь, отчетливо видная с ушками и курносой головкой, дрожа крыльшками, носилась около крыльца. От ржи шел медовый сухой запах. Вера Ивановна, сложив руки под подбородком, говорила:

— Когда отец был жив, мы часто ездили с ним вон по той меже, в плетушке, на рыжем Витязе. Отец был очень шутливый и рассеянный человек; я всегда причесывала его сама, иначе бы он никогда не причесался. В тот вечер его глаза казались особенно печальными. Мы ехали шагом по меже; он сказал: «Иногда мне представляется городок, старый и тихий, на берегу моря; он такой старый и тихий, что там не о чем вспоминать и нечего жалеть, и люди умирают покойно, без боли; старые корабли приплывают с товарами, никто не торопится их разгружать. Знаешь, Вера, хорошо бы в этом городке открыть нам табачную лавочку, жили бы вдвоем». Скоро после этого отец умер.

Она замолчала. Филимоныч тер глаза и покрутил головой, Соломин, поднявшись, подошел к плетню.

Простокваши я не дождался; лег спать один и остановил мант-ник, чтобы не раздражал он меня, ширкая по обоям. В темноте казалось, что высокая рожь поднимается уже за окном, обступила избушку, сквозь щели в полу вырастают колосья, и мягкая повилка с белыми и розовыми зонтиками опутывает меня, и души от медового запаха, и нет во мне сил разорвать, стряхнуть с себя это очарование.

На рассвете я решил уехать. Оставаться здесь дольше было опасно: я понимал, как учитель зашвыривает книжки через забор.

Тот же несуразный ямщик повез меня на станцию. Проезжая по мосту, я в последний раз оглянулся на село, на церковку «Утоли моя печаль», на дом с белыми колоннами, на тысячу десятин ржи. Затем нахлобучил картуз и принялся обдумывать статью в журнал. И в первый раз я почувствовал, дорогой друг, что мне скучно и не хочется возвращаться к нашим фрескам, спорам, журналам и что все фрески, споры и журналы я бы променял на одно только слово, которое скажет сегодня Вера Ивановна учителю где-нибудь во ржи.

ЛЮБОВЬ

Егор Иванович, морщась от мурашек в затекших ногах, вылез из залепленной грязью плетушки, отпустил ямщика и, придерживая отдуваемые октябрьским ветром полы верблюжьего чапана, отворил калитку, — между железными ее прутьями на ржавом завитке прилип красно-желтый мокрый кленовый лист. Эта калитка, и свистевшие непогодой и унынием голые сучья клена, и в особенности мертвый лист — снова с пронзительной остротой напомнили Егору Ивановичу то, о чем он старался не думать и о чем думал всю дорогу, три дня тащась в плетушке по уезду.

Подняв брови, Егор Иванович сказал: «Да, да», со вздохом, и пошел к дому, разъезжаясь ногами по глиняной дорожке. Сырой ветер мутил лужи и воду в человеческих следах, гнал косые холодные большие капли, рвал и мотал остатки листьев, свистел тоскливо вдоль мокрой деревянной стены дома, казавшегося пустынным. «Да, да», — иным, злым голосом повторил Егор Иванович, всходя на три ступени деревянного крыльца, поскреб сапоги о железную скобу и сильно несколько раз дернул ручку звонка.

Егор Иванович не испытывал никакого удовольствия — усталым и прозябшим войти к себе в чистый, опрятный, хорошо пахнущий дом, — вошел, заранее морщась. Сбросив чапан на руки остроносой, с необыкновенно тонкой талией горничной Соне — ненавистнице рода человеческого и жениной напернице, — он спросил, дома ли жена, Анна Ильинишна. «Дома-с, у них гости», — ответил враг рода человеческого. Егор Иванович, глядя на ее поджатый ротик, на острый, как косточка, веснушчатый носик, сказал: «Соня, от вас опять пахнет карболовым мылом», — и пошел в умывальную, потом к себе в кабинет. Здесь было светло от трех больших чистых окон, пылали дрова в обложенном дубом, резном камине. «Да, да», — уже с некоторым примирением, с остатком вздоха, в третий раз сказал Егор Иванович, сел на кожаный диван и стал трогать влажную русую кудрявую бородку.

Он видел — на письменном столе, перед мраморной чернильницей, на которой, на медных крышечках, поблескивал отблеск камина, — лежит пачка нераспечатанных писем, бумаг и газет. Егор Иванович усмехнулся и покачал головой. Эта пачка деловых бумаг — так, нераспечатанная, — лежит вот уже больше месяца, а бумаги, очевидно, есть срочные, — страшно в них заглянуть. «Взять да и бросить всю пачку в огонь — одним словом, моя личная жизнь поважнее вашей трухи бумажной, — вот и все». Вдруг он заметил отдельно одно письмо, оно стояло ребром у самой чернильницы. Он соскочил с дивана, взял письмо, — штемпель был из Петрограда, конверт написан незнакомым крупным почерком. Егор Иванович подошел к окну, на минуту закрыл глаза и разорвал конверт.

«Егор, милый, мне немыслимо тебе писать, труднее, чем и думала... Я все время лгу... Господи, прости меня... Ты пойми, ненаглядный мой: я не чистая, вся душа моя не ясная. Глядеть в глаза мужу и думать о тебе! — я больше не могу лгать. Пожалуйста меня, пойми, мне — больно... Я пишу сейчас из парнимахерской, — муж бредется, он ни на минуту не оставляет меня одну...» Письмо было подписано — «Маша». Три раза перечел Егор Иванович нацарапанные карандашом, загибающиеся книзу строчки. Боль, жалость, ревность овладели им. Из-за строк он видел ее лицо, каким оно было за стеклом вагона в минуту расставания: прикрытое сеточкой вуали, нежное, грустное, с серыми взволнованными глазами. Она улыбалась растерянно... Когда окна двинулось — она зажмурилась...

Этим летом Егор Иванович встретил у своей приятельницы, Зинаиды Федоровны (дочери старшего врача земской больницы), девушки суровой, молчаливой и очень хорошенькой, ее замужнюю сестру, Марию Федоровну, Машу. Маша приехала к отцу и сестре из Петрограда — отдохнуть, — «пожить чистенько», как она говорила. От петроградской суеты, мужниных знакомых и их жен, банкетов, ресторанного времяпрепровождения и в особенности от мужа, Михаила Петровича, профессора международного права, — у нее к весне начинались дурные настроения: точно душа, как стекло, разбивалась на кусочки; кровь — мутная, сердце — как высохший мандарин. Зато здесь, у отца, Маша вставала рано, шла гулять в городской сад, еще мокрый от росы, глядела на детей, на птиц, на облака и чувствовала себя маленькой, кроткой, грустной и счастливой. В дождливую погоду она накидывала пуховый платок, садилась на диван с книжкой, подбирала ноги под юбку и слушала, как сестра, Зюм, в круглых очках, стучит молотком по мраморной глыбе, — Зюм была очень талантлива. Ложились Маша после вечернего чая, глядела на лампадку, плакала часто перед тем, как заснуть, но не от горя, а так — сама не знала от чего.

В этот свой приезд она нашла у сестры нового знакомого, Егора Ивановича, губернского инженера. Он был большой, с близоруким, жестеным лицом, удивительно весь уютный, косолапый и какой-то — свой. Являлся он в разное время и ненадолго, потому что боялся жены. Маша выходила к нему, какая бывала — в платке или в туфлях на босу ногу. Они садились в мастерской на диване и, чтобы не мешать Зюм, разговаривали вполголоса о всевозможных вещах, ни ему, ни ей не нужных. О себе же они не говорили, точно по уговору.

Через несколько дней Маша заметила, что Егор Иванович при встрече с ней начинает моргать глазами и ни на что непохоже улыбаться. Она сразу догадалась, что это значит, и неожиданно обрадовалась; когда же поняла, что — рада, то струсила. Но Егор Иванович был так простодушен и весь на ладонке, что она тут же решила — бояться нечего.

Однажды Егор Иванович пришел взъерошенный, с оторванной пуговицей на пиджаке, сел в угол дивана, на котором сидела Маша, и надул как мышь на крупу, замолчал. Зюм ушла из комнаты. Маша положила ладонь Егору Ивановичу на руку и спросила тихо:

— Что случилось?

— Жена, — ответил он с давнишней досадой.

— Поссорились?

— Конечно, поссорились, что же там может другое случиться. Господи, Боже мой, как это все мерзко...

Маша опустила глаза, — что она могла ему ответить? Егор Иванович молча глядел на нее, и она чувствовала, что он глядит с отчаянием. Вдруг он повернулся, взял ее руки — сжал. Маша не подняла глаз. Его руки ослабели, он поднялся с дивана и остановился у окна, спиной к Маше. Она поглядывала на него и думала: «Чужой человек, а до чего близкий. Поссорился с женой, оторвал на себе пуговицу, пришел жаловаться. Люблю, честное слово... Господи, как глупо».

— Не буду я приходить сюда больше, — проговорил он, не двигаясь. (Маша, неожиданно для себя, широко улыбнулась.) Сам, никто другой — сам во всем виноват: устроил себе омерзительную жизнь. Залез по шею, сижу, как в гуще, в этой грязи... Только одно — благополучие. Будь оно проклято!

Маша соскочила с дивана и подошла к Егору Ивановичу, он с крепко зажмуренными глазами замотал головой. Маша сказала коротко:

— Егор Иванович...

— Да, я слушаю...

— Так что же нам с вами делать? Ничего, видно, не поделаешь...

Он стремительно обернулся к ней, — серьезное, страшно важное лицо его начало бледнеть. Маша стояла перед ним, подняв плечу, нежная, милая, простенько причесанная, светловолосая. Губы ее доверчиво, чуть-чуть грустно улыбались.

— Ходить-то все-таки будете ко мне, а? — сказала она; бородачок ее дрогнул, в глазах появились искорки смеха.

Так у них началось. Теперь они начали целыми часами говорить только о себе, о самом задушевном, горьком, затаенном. Маша изменилась за эти несколько дней — осунулась и помолодела, серые глаза стали больше, наполнились светом, она особенно, как-то забавно, стала морщить носик. Ей было легко дышать и легко ходить, словно земля стала пухом.

Однажды, поздно вечером, после долгого разговора в прихожей, Егор Иванович нагнулся к ней и нежно поцеловал в губы — и ушел. Маша долго стояла у стены, закрыв глаза, ни о чем не думала, — только горели щеки.

Два раза в неделю Маша писала мужу в Петроград. Неожиданно в ответ, должно быть, на одно из ее писем от него пришла телеграмма: «Безумно встревожен, схожу с ума, выезжай немедленно».

С телеграммой в сумочке Маша побежала на другой конец города, к Егору Ивановичу. Еще издали она увидела в угловом большом окне их дома, похожего на мокрый ящик, испуганным лицом Егора. Затем он, в одном пиджаке, перебежал лужайку, отворил калитку:

— Что случилось?

Она подала ему телеграмму. Он прочел, сейчас же сел на скамейку у калитки, сжал глаза рукой.

— Я, должно быть, что-то написала ему, — сказала Маша, сняла с калитки прилипший к железу мокрый мертвый кленовый лист, прижала его к губам, потом все время держала в руке, кажется, написала, что здесь мне жить легко и счастливо... Да, так и написала... Зачем бы я стала лгать.

— Да, да, — сказал Егор Иванович, — да, да...

— Егор Иванович, я должна ехать...

Маша глядела на дорогу. Милый рот ее был сжат серьезно. Глаза — строгие и серые, как облака, несущиеся над уездным городом. Егор Иванович понял, что лгать Маша не захочет, как ни он вторую неделю лжет жене, и удерживать ее нельзя. Он спросил громко:

Маша, вы вернетесь?

— Не знаю, Егор... Как все это грустно...

На следующий день она уехала. Егора Ивановича вытребовали в уезд. За три дня пути по уездным грязям и оврагам он так ничего не решил и ни в чем не разобрался. Сегодняшнее письмо потрясло его — с такой угрожающей и беспощадной силой рвануло за сердце, — что он заметался: нужно было решать. И он в первый раз строго и ясно спросил себя: «Люблю ее? Да, я люблю...»

У Анны Ильинишны в очаровательном салончике сидели гости — молодые люди Зенитов и Мухин — и пили кофе с бо-

медиктином. Анна Ильинишна вернулась поздно утром из загородного ресторана, где слушали цыган. Бессонные ночи и цыганские песни Анна Ильинишна переживала стихийно. Она была одета в бархатное малахитовое платье, с кровавой розой в крепко завитых волосах цвета вороньего крыла. В ресторане в ее честь приезжий знаменитый танцор Родригос, с невероятными бедрами, проплясал сумасшедшую тарантеллу на столе, раздавил в пыль все рюмки и бокалы и выпил полный стакан какой-то адской смеси из тринадцати ликеров. Анна Ильинишна смеялась волнуящим грудным смехом. У Родригоса глаза налились кровью. Ее поздравляли с успехом. И когда веселая ночь кончилась, было жутко и нестерпимо подумать, что завтра — снова будни... Zenитов и Мухин провожали Анну Ильинишну на лифт и остались пить «утреннее кофе», — то есть понемногу и безболезненно сводили «на нет» цыганское настроение. Костливый Zenитов, жуя сигару, рассматривал знаменитый «альбом Фрины» с фотографическими карточками Анны Ильинишны, где она была снята в смелых античных позах, обнаженная, — альбом, о котором много говорили в городе. Показывался он, разумеется, только друзьям, вот в такие минуты. Маленький Мухин, с выкаченными склерозными глазами, во фраке, засыпанным пеплом, играл на пианино и, морща глаз от дыма папироски, напевал о забытых лобзаннях.

Анна Ильинишна продолжала еще смеяться, но уже через силу. От табаку и бессонной ночи лицо ее поблекло, зубы пожелтели. Она лежала на кушетке, закинув голые локти, все в том же малахитовом платье, таком ярком сейчас, что хотелось его пожевать. На шелковую подушку облетели лепестки кровавой розы. Туфелька покачивалась на пальце ее ноги, туго обтянутой прозрачным чулком. Полузакрыв глаза, Анна Ильинишна думала о зверской физиономии Родригоса.

— Но, черт возьми вашего мужа! — сказал Zenитов.

Анна Ильинишна загадочно усмехнулась, потом сдвинула брови, лицо ее стало злым. В это время Соня доложила о приезде барина. Гости поднялись и прощались с преувеличенно смущенными лицами. Хозяйка их не удерживала.

Оставшись одна, Анна Ильинишна подошла к высокому зеркалу в простенке, привела в порядок волосы и попудрилась. Глядя на свои руки, открытые до подмышек, она подумала, что совершенна физически, — надменно усмехнулась и вышла в столовую.

Егор Иванович сидел у самовара и задумчиво жевал хлеб. Глаза у него ввалились, лицо обветрело, похудело и казалось новым.

— По крайней мере нужно быть вежливым, Егор, — сказала Анна Ильинишна. Он вскинул голову, быстро отряхнул крошки с бороды и щекой коснулся жениных поджатых губ:

— С добрым утром, Аня. Устал с дороги. Скверная дорога... Ну, а как ты?

Она, не ответив, села к столу, положила на скатерть обнаженные руки и странным взглядом глядела на мужа. От нее пахло бифштексами, табаком и ликером. Покосившись на жену, Егор Иванович подумал: «Не лги ей, не лги... А вот попробуй — скажи всю правду, начнет кричать, как торговка... Нет, не скажу».

И он повторил с ожесточением:

— Ужасно устал с дороги, прямо всего изломало... Хочу отдохнуть немного, размять ноги...

— Ты мне лжешь, Егор, — проговорила она низким голосом. Он мигнул, нахмурился, не сдался и продолжал ругать дорогу, распутицу и свою службу.

— Ты лжешь мне, Егор, — повторила она и показала зубы на самых десен, — ты даже не потрудился заметить, что я с утра в вечернем платье... Тебе неинтересно даже знать, где я провела ночь... Нет, подожди, мне теперь не нужно твоих озабоченных глаз... Отчета я тебе никакого не дам, голубчик... Мне вот хотелось бы знать — куда ты сейчас собрался идти...

— Иду гулять, я сказал...

— Врешь!..

— Аня...

— Врешь, я говорю!.. Не успел приехать, поздороваться с женой и сейчас бежишь к этим...

— Я прошу тебя не говорить так о моих...

— Ах, оказывается, говорить уже о них не смею!.. Это новость... Ну, так я тебя должна огорчить: мне рассказали, что эта твоя любезная Марья Федоровна — просто дрянь, просто...

Но Егор Иванович уже поднялся, побагровел, прядь волос сама сползла на взмокший лоб, и вдруг, — так самому показалось, — лицо стало безумным, точно пробежал по нему огонь...

— Не тебе об ней судить! — крикнул он и кулаком со всей силы ударил по столу. Анна Ильинишна с перекошенным лицом, злая, зеленая, вскочила, молчала... Он быстро вышел... Жена догнала его в прихожей, сорвала с вешалки бархатную шубку и, не попадая ногами в ботинки, бормотала вполголоса:

— Ты еще со мной ни разу так не говорил... Прощай... Прощай, голубчик...

Но Егор Иванович не спросил, куда она бежит. Анна Ильинишна обернулась в дверях и крикнула:

— Иду к одному... — И хлопнула дверью.

— Очень рад, — проворчал Егор Иванович, тоже с остервенением застегивая пальто, — очень рад, пожалуйста, хоть — и черту...

Зюм, когда неожиданно явился к ней Егор Иванович, сидела перед круглым станком и напильниками и зубилами, похожими на зубоврачебные инструменты, скоблила и чистила кусок мрамора.

Строгие глаза Зюм были прикрыты круглыми очками, волосы повязаны белой косыночкой, поверх платья надет грязный парусиновый халатик, — в карманах его находились всевозможные необходимые вещи.

Зюм работала сосредоточенно, ее мохнатые от длинных ресниц глаза казались одичавшими. На Егора Ивановича она посмотрела внимательно и опустила долото.

— Вернулись? — спросила она тихо. — Давно?

Егор Иванович пододвинул табуретку и некоторое время молчал. Так хорошо было здесь, точно на другом свете. Вот эта дверь ведет в Машину комнату, теперь пустую. Дверь и та комната, запах глины, Зюм и все вещи были из иной жизни. У него дрожали губы.

— Зюм, — сказал он, — я больше не могу... Глупо, никому не нужно, чтобы было так.

Он показал Машину письмо. Зюм сняла очки и медленно прочла. Синие глаза ее наполнились слезами. Она покраснела и сказала:

— Маша очень скрытная. Если так написала, значит — больше не под силу.

— Зачем она уехала?

— Я думала — сказать вам или нет? Ах, Егор, — Зюм всунула руки в карманы халатика, встала и опять села, — мне кажется, вы хороший человек, но некоторых вещей не понимаете.

Егор Иванович отвернулся, вынул платок и принялся вытирать лицо.

— Я люблю Машу, — сказал он глухим голосом, — милая, родная моя Зюм, как же я мог знать это раньше... Только сейчас — приезжаю домой, прочел Машину письмо, и точно в меня вошел свет... Милая моя Зюм, я не знаю, что делать, но все это страшно важно... Я чувствую — Маша взяла меня за руку, и я этой руки выпустить не могу...

Зюм была строгая, но очень нежная девушка. Из туманных слов Егора Ивановича она поняла то, что считала единственно важным на свете. Она обхватила руками его голову, запачкала мраморной пылью и несколько раз поцеловала в волосы.

— Я вас всегда осуждала, Егор, вы меня простите... Но вы бежали к нам потихоньку, дома — лгали, и разрывались между женой и Машей... И, Бог знает, что вам больше было нужно... Было все наполовину, и Маша это чувствовала. Вы не знаете, как она плакала по ночам... Этого вам она никогда не скажет...

Егор Иванович встал и ходил по комнате, набирая воздух.

— Да, да, — сказал он, — что касается меня, я решил... Пока я шел к вам — я решил... Тут и решения в сущности никакого не было, а просто — ясно... С женой, с домом, со службой — кончено... (Егор Иванович сказал не совсем точно, — лишь в эту секунду, выговаривая эти страшные слова, он услышал их, понял

и, с бьющимся от жуткой радости сердцем, решил — так и будет ни жены, ни дома, ни службы...)

Зюм глядела на него страшными глазами, у нее так дрожали руки, что она вложила пальцы в пальцы и стиснула их. Егор Иванович сказал:

— Жизнь для меня — это Маша. Вы понимаете, как это можно почувствовать в одну секунду... Сразу все, все бывшее со мной — отхлынуло, все связи порвались; как паутина... Я ни чем не жалею... Если Маша захочет жить со мной — будет хорошо... если не захочет, я буду ждать, я буду терпеть... Буду поблизости, это важно... Зинаида Федоровна, ваши глаза — мой судья, самый строгий, самый высший... Я завтра еду в Петроград... Можно?..

Зюм взяла его ледяные руки, прижала к халатику, к груди и, все так же глядя в глаза, сказала:

— Простите, что я о вас думала хуже... Егор, возьмите меня с собой... Это нужно для Маши, для вас обоих... Можно?..

Егор Иванович в волнении ничего не ответил. Зюм побежала к двери в столовую и крикнула:

— Отец, Федор Федорович, подойди сюда... Сегодня вечером мы с Егором Ивановичем едем в Петроград, к Маше... Ты слышишь?..

В мастерской появился доктор, Федор Федорович. Он только что встал после обеденного сна и был в ночной рубашке, в накинутом на широкие плечи пиджаке, седые волосы его были нечесаны. Закуривая от окурка папиросу, он сел на подоконник, сладко зевнул и спросил у Егора Ивановича:

— Ну, как дела, ничего?

— Ты слышишь или нет? — крикнула Зюм. — Мы едем к Маше...

— Слышу, не кричи....

— Ты, может быть, против этой поездки?

— Это дело не мое... В эти дела я не вмешиваюсь... Пойдемте пить чай... Ветрила-то сегодня какой, а?..

— Отец, мне нужны деньги... Раскрой рот и говори а-а-а...

Доктор раскрыл рот и начал говорить «а-а-а»... Зюм засунула руку ему в карман, вытащила кошелек, взяла сорок рублей, прибавила еще мелочи и положила кошелек обратно.

Подходя к дому, Егор Иванович замедлил шаги. На широкой улице, между палисадниками, у деревянных одноэтажных домов зажигались фонари. Фонарщик уже раз десять впереди Егора Ивановича перебежал улицу.

В черных колеях и лужах плавал желтый свет. А в конце улицы, загроможденной тучами, тускло догорала мрачно-багровая полоса осеннего заката.

Приду и скажу: «Аня, мы честные люди, мы друг друга уважаем, мы с тобой много пережили, было и хорошее и тяжелое... Расстанемся друзьями, уважая друг в друге человека». Так он думал, подходя к дому, и все-таки где-то у него дрожала жилка. В прихожей он медленно снимал калоши, пальто, разматывал шарф. Были уже сумерки.

Затем решительно одернул пиджак, устроил улыбочку и вошел в столовую.

Анна Ильинишна, закутанная в белую шелковую шаль, сидела у окна. Она повернула голову к вошедшему мужу и плотнее закуталась.

Он спросил небрежно:

— Аня, отчего у нас так темно?

Она не ответила. Он прошелся и взъерошил волосы:

— Ты что сидишь? Тебе скучно?

— Нет, не скучно.

— Сердишься? Ну, что же... Вообще, что за манера сердиться... Для этого не стоило жить вместе.

«Скверно говорю. Гнусно. Трушу», — подумал он.

Анна Ильинишна спросила сквозь зубы:

— Гулял?

— Да.

— Заходил куда-нибудь?

— Заходил к Зинаиде Федоровне.

Анна Ильинишна фыркнула. Он насторожился. И внезапно, только на секунду закрыв глаза, сказал небрежно, как можно небрежнее:

— Кстати, Аня... Нам необходимо расстаться... Я еду сегодня в Петроград... То есть я не по делу еду, ты сама можешь понять, кому я еду... Навсегда...

Анна Ильинишна повернулась, шаль соскользнула с голого ее плеча.

— Что? — спросила она. Егор Иванович крепко сел на стул, схватил зубами бороду и ждал, как сейчас ему смертельно будет плохо жене. Она поднялась, уронив шаль на пол, быстро нагнулась к мужу. Он продолжал держать зубами бороду. В сумерках всматриваясь в его лицо, Анна Ильинишна проговорила хриловато:

— Ах, так, — выпрямилась, подняла руки к лицу. — За что, за что, — прошептала она хриловато.

Егор Иванович вытянул шею, — жена казалась ему ненастоящей, неживой, будто сейчас он видит ее во сне... Теперь ему уже хотелось, чтобы было ее жаль.

— Какой мрак, — еще сказала она, заламывая пальцы у подбородка. Тогда Егор Иванович мягким, тихим голосом стал говорить ей те слова, которые приготовил для этого разговора, подходя к дому... Но она даже не пыталась слушать...

— Я ему отдала всю жизнь, — заговорила она, точно нашла тон, — всю мою молодость, все женские силы... Я превратилась в

нуль, стала никому не нужна... Берегла его честь... Я потеряли тобой всю индивидуальность...

Замотав головой, Егор Иванович перебил ее:

— Аня, ради Бога, без иностранных слов...

— Ах, тебе не нравятся мои слова, — крикнула она уже и глыво и зло, — какие мне слова прикажешь говорить, русские да?.. Дурак!.. Вот что я тебе скажу... Ты разиня и дурак!.. Я тебе изменила сегодня...

— Это твое частное дело, — Егор Иванович отшвырнул стул и вышел из столовой. Он слышал, как жена крикнула за дверью:

— Боже, какой мрак!..

Зюм и Егор Иванович ехали в переваливавшейся по грязным колеям пролетке. Ветер трепал на вязаной шапочке Зюм хохолок, как у курочки. Егор Иванович рассказывал о последнем объяснении с женой.

— Егор, — перебила Зюм, — не забудьте послать телеграмму Маше, как я придумала: «Видела ужасный сон, беспокоюсь, высказую. Зинаида». Иначе, что скажу ему, когда приеду? А сон действительно видела.

Зюм задумалась. За поворотом улицы показались высокие фонари вокзала. Мерно цокая копытами, поравнялся вороной рысью, храпя пролетел; в брызжущей грязью коляске сидела незнакомная дама в мехгах, к ней наклонилось бритое, в бачках, костлявое лицо Родригоса...

— А не лучше ли телеграфировать просто, не выдумывая... Пусть его догадывается...

— Нет, — ответила Зюм, — если догадается, зачем мы едем, — он на все решится... Страшный человек...

Яркие фонари освещали вокзальную площадь. Пролетка задрожала по булыжнику и остановилась. Носильщик взял чемоданы. В спальном вагоне оставалось только два билета — купе первого класса.

Охраняя Зюм от лезущего в поезд народа, подсаживая ее, помогая снять пальто, устраивая поудобнее на бархатной койке, Егор Иванович только теперь понял, как она для него важна. Девочка в сером клетчатом платье, с сумочкой через плечо казалась необходимой и страшно важной, точно любовь его тоже была встревоженная и тоненькая, в клеточку, с сумочкой, такая же, как Зюм.

В купе сохранился давнишний запах сигар, потрескивало отопление, с боков освещавшего шара покачивались две синих кисточки. Зюм сидела боком к окну, на столике. Егор Иванович рассказывал, обхватив колено:

— Мне тридцать семь лет. У меня два ордена и чин, собственный дом, жена и служба. Зюм, все полетело к черту! Странно? Когда я сейчас уходил из дома — было легко и свободно: вот —

«торая жизнь, — а та кончена. Кто такой я сейчас, не знаю! Меня все время холодок бьет, вот это верно.

— На этой станции мы не остановимся, — отвечала Зюм, грыз шоколад.

Мимо окна желтой лентой скользнули огни. Долго свистел паровоз, загибая на повороте. Прогрохотала стрелка, и снова за окном — темнота.

— Вам неприятно, Зюм, что я все про себя говорю?

— Говорите, только короче.

— Зюм, вы поймите: взяли человека, вывели из затхлой комнаты и встряхнули: живи сызнова... Если Маша меня разлюбит, тогда смерть. Я суетился, работал, читал, жил с женой, враждовал с людьми, и все это делалось, конечно, для чего-то. И вдруг оказалось, что только и нужно мне на свете хоть еще раз увидеть Мишу. — Егор Иванович поднялся, толкнулся по купе и опять (сл. — Сколько лишнего и мерзкого я наделал! Все было лишним, вся жизнь! Если бы вы видели, как Маша заплакала тогда, в окне вагона.

— Нехорошо вы разговариваете, — перебила Зюм, — все равно как из книжки. Это все еще прежде в вас топорщится. Разве можно знать наше назначение? Если жили так, что приходилось все время плохо поступать, значит — плохо жили.

После этого они долго молчали. Проводник постлал свежие постели. Егор Иванович курил в коридоре, затем осторожно зашел в купе, где была прикрыта половина фонаря и пахло одеколоном, и лег наверху, на спину.

Зюм была права. Он слишком много разговаривает. Будь здесь Маша, она положила бы руки на его голову и взглянула в глаза серьезно и ласково, точно самое важное на земле — взглянуть в глаза, вот так — на веки вечные, при свете вагонного фонаря. И тогда узенькое купе, летящее по степи, показалось бы им родным домом.

Егор Иванович вспомнил просторную и теплую столовую, чайный стол под керосиновой лампой, взъерошенного Федора Федоровича, пьющего восьмой стакан вперемежку с папиросами, и рядом с ним нежно улыбающуюся Машу. Из вазочки она накладывала мишневое варенье Егору. Положила столько, что оно потекло на скатерть, и все засмеялись.

Егор Иванович завертелся на койке, и понемногу им овладело ужасное беспокойство. Он кашлянул негромко и позвал:

— Зюм!

— Да, Егор, я не сплю.

— О чем вы думаете?

— Думаю, что Маша может и не поехать с нами.

Егор Иванович быстро перегнулся с койки и различил раскрытые глаза девушки.

— Подумайте, Егор, ведь вас не двое во всей этой истории, а четверо.

Тогда Егор Иванович стал думать, и опять самым важным оказалось ему вишневое варенье, пролитое с хрустального блюдечка на скатерть. Зюм тоже не спала. Он слышал, как девушка возилась, вздыхала и переворачивала подушку холодной стороной вверх. Когда она спросила, наконец, упавшим голосом, спит ли он, — Егор Иванович сказал:

— Я стараюсь быть справедливым, но у меня ничего не выходит. Должно же быть что-то, что выше жалости, выше совести...

— Егор, я вас очень люблю, — сказала Зюм.

— Я вас тоже, милочка.

Зюм долго молчала. Потом Егор Иванович слышал, как она шарила под подушкой, — должно быть, искала носовой платок, — осторожно высморкалась, сдерживая глубокие вздохи... Поворочалась и затихла.

Утром по вагону затопали мелкие шажки, зазвенели стаканы, и в двери запищали детские голоса:

— Кофе, чай! Кофе, чай!

И чей-то голос прохрипел:

— Эй ты, некрещеный дьяволенок, кофе сюда.

А другой, женский голос спросил испуганно:

— Скажите, это Любань?

Егор Иванович раскрыл глаза, еще не понимая, почему он в Любани. Зюм, уже одетая, причесывалась, держа шпильки в зубах.

Подняв к нему голову, она улыбнулась:

— Некрещеные дьяволята бегают, слышите?..

Петроград грязным облаком разостлался по земле, за путями, за тощими соснами, за кочковатыми лужами болот. Проступили фабричные трубы и очертания соборов. Начался мелкий неустанемый дождь.

Озабоченная и очень решительная Зюм завезла Егора Ивановича в гостиницу, что на Морской, приказала ждать терпеливо и на том же извозчике поехала на Каменноостровский.

В чистом и знакомом подъезде, так же как и год назад, стояла детская колясочка. Тот же сердитый швейцар, глядя в сторону, пробурчал, что в двадцать шестом номере — все дома. На третьем этаже на знакомой двери привернута тщательно вычищенная доска: «Михаил Петрович Стоянов». Зюм подышала на доску и позвонила.

Послышались ровные шаги, и дверь открыл сам Михаил Петрович, высокий бледный человек с ровным глянцеви́тым шрамом через висок, с холодными выпуклыми глазами, — словом, все той же; он отступил на шаг и воскликнул:

— Зиночка! Какими судьбами?

Затем взял холодными пальцами ее руку и усмехнулся. Блеснула золотая пломба, горбатый нос еще больше скрючился. «Сей

час клонет», — подумала Зюм; хохолок на ее шапочке вздрогнул.

— Я приехала за Машей, — сказала она твердо.

— Ах, какие мы строптивые, милая моя фантазерка, — он снял с нее шубу. — Маша арестована надолго, и к вам я ее не скоро пушу, детка.

«Посмотрим, детка», — с яростью подумала Зюм, глядя в холодные его, выпуклые глаза. Они медленно мигнули, как у птицы. С приговорочками, с тоненькими улыбочками он проводил ее в столовую, где кипело кофе и на стуле висел Машин пуховый платок.

«Одна я отсюда не уеду, пусть режут», — подумала Зюм и, строптиво фыркнув, побежала в спальню.

Маша лежала еще в постели. Из-под пышного желтого одеяла выныривали сначала ее поднятые брови и большие испуганные глаза.

— Зюм? — проговорила она. — Зюм! Ты?

Зюм осталась и ахнула: так изменилась Маша; прежде бывало, просыпалась как вымытая росой, и глаза по утрам были ясными, верхняя маленькая губа вздрагивала — вот-вот засмеется. Сейчас Маша лежала в постели похудевшая, строгая, увядшая...

— Комар, здравствуй же, — прошептала Зюм, — настоящий комар, ни кровиночки...

Она сбросила сумочку, туфли, жакетку и, нырнув под одеяло, схватила Машу, целуя в шею, в горло, за ушко.

— Зюм, радость моя, глупая, что это значит? — спрашивала Маша, сама стараясь поцеловать. Зюм зашипела ей громким шепотом в самое ухо:

— Я тебе все должна рассказать. Он изумительный человек. спросил все. И мы прискакали. Сегодня же едем с нами домой.

— Егор? Что ты говоришь? Он здесь? — Маша быстро села на кровати, схватила за руку сестру, к щекам ее хлынула кровь. — Ищем, зачем?

— Чего испугалась? Вообще почему ты такая странная, Маша? Ты не рада, что я приехала? Ты чего-то надумала... Он в гостинице. Но только он чудной какой-то сейчас. Любит, любит, Маша! А мне он — как брат. Мы все будем счастливы! И доктор его любит. Ты знаешь — Михаил едва не заклевал меня в прихожей, Иставай, едем в гостиницу сейчас же.

Отодвинув сестру, Маша в ужасе глядела на нее. Но Зюм опять схватила ее сильными руками и стала рассказывать все по порядку. Едва Маша раскрывала рот — Зюм кричала на нее, — приходилось молчать.

Понемногу смягчились Машины одичавшие за это время глаза, и даже губа дрогнула один разок прежней улыбкой, и не так уж ей стало невероятно, что приехал Егор. Сестры решили сказать Михаилу, что после завтрака идут гулять одни, без него; затем взять извозчика и ехать в гостиницу, где ждет Егор, и там все выяснить.

В это время Михаил Петрович несколько раз подходил к дверям спальни, но его гнали. Рассердясь, он объявил, что не может работать натошак, а завтра у него лекция.

Сестры вышли в столовую. Михаил Петрович, удовлетворенный комфортом, развернул салфетку, положил с левой руки газету, с правой портсигар, разобрал ложечки и вилокки и холодными глазами уставился на сига по-польски.

Маша сидела на хозяйском месте, подперев пальцем висок. На ней было черное глухое платье с полотняным воротничком, она казалась в нем девочкой, так похудела, и не смела взглянуть ни на мужа, ни на сестру, ожидая каждую минуту, что вот-вот шмырнет Михаил салфетку и загремит на всю столовую: «Ты мне лжешь, лжешь, лжешь!»

Зюм, не притрагиваясь к еде, в упор глядела точками зрачков на Михаила Петровича.

— На мне ничего не нарисовано, детка, ешь сига, — сказал он, усмехнувшись и подняв брови, и вслух стал читать передовую статью: — «Утверждают, что работа Государственной думы в предстоящую очередную сессию...»

«Если и сейчас не догадываешься — сам, сам виноват», — подумала Маша. Михаил Петрович не спеша, обстоятельно прочел статью до конца и зло и умно комментировал ее. В черном галстуке его с красными крапинками блестела острая булавка.

— Ну-с, так как же, — сказал он, отложив газету, — а я бы на вашем месте не рискнул идти гулять — погода прескверная. Посидели бы дома, девочки. — И Михаил Петрович принялся за сладкое.

— Нет, мы пойдем гулять, — ответила Зюм. У Маши больно забилось сердце, и кровь то прилиwała к щекам, то отливала. Склонясь над тарелкой, Михаил Петрович сказал:

— Уж не собираетесь ли вы на свидание, чего поди? — Золоченая ложечка с мирабелью остановилась, не донесенная им до рта.

Маша подняла голову, румянец залил все лицо, глаза налились слезами, она быстро отвернулась и мизинцем коснулась уголка глаза. А Михаил Петрович вынул золотую зубочистку, почистил зубы, не спеша всунул салфетку в кольцо, поднялся, улыбкой поблагодарил дам за совместно проведенную трапезу и, закинув голову, прямой и высокий, в наглухо застегнутом сюртуке, торжественно вышел из столовой.

Придя к себе в кабинет, Михаил Петрович взял со стола серебряный разрезной нож и, проведя по нему пальцами, задумался. Надменность и холодность понемногу сошли с его лица, глаза стали печальными.

На синем сукне стола стояли бронзовые тяжелые вещи, вдоль стен — запертые наглухо шкафы, повсюду — кожа и темное сукно, и мутный свет дня, пробиваясь сквозь кружево и шторм, едва освещал весь этот чинный холод. Только перед диваном ле-

«ил смятый носовой платок, вчера забытый Машей. Михаил Петрович взял его, сжал в кулаке, затем, постояв так довольно долго, позвонил и вошедшей горничной приказал бросить платок в урну...»

В маленькой комнате с потертой красной мебелью и пестрым ковром было жарко от пылающего камина. Егор Иванович отодвинул кресло к окну и глядел, как внизу на дворе дворники вытряхивали ковры, стреляя ими, точно из пушки, как приехавший с возом дров ломовик тяжело спрыгнул на грязный асфальт и бранился с кем-то.

В камине потрескивали поленья. В коридоре слышались звонки и шаги. Егор Иванович подходил к камину, где тикали часы, равнодушные к жизни, к смерти и к любви, видел в каминном зеркале свое изменившееся, незнакомое лицо и вновь садился — глядел на пляшущее пламя. Маша не шла и не звонила.

За дверью, в коридоре, слышались голоса: «Коридорный, что ты мне за бурду принес?» — «Кофе-с...» — «Сударыня, извиняюсь, вы который номер ищете?...» — «А вам какое дело?...» — «Там пождут, заходите ко мне, поболтаем...» — «Оставьте...» — «Коридорный, две бутылки содовой!» — «Слушайте, не орите — здесь семейные номера...»

Егор Иванович с тоской прислушивался. Сердце то колотилось, то словно скулило; был третий час, темнело, и комната, освещенная только огнем камина, будто раскалилась. Егор Иванович вышел, наконец, за дверь и повернул по низкому коридору, — глянцебитые обои на стенах и потолке поблескивали от желтых лампочек. Коридор то поднимался, то заворачивал. Идя до вестибюля и узнав у размахивающего дверями швейцара, что никто не приходил и не звонил, Егор Иванович пошел обратно.

«Или больна, или случилось ужасное, или, всего вернее, не хочет видеть», — думал он, ступая на сиреневые розаны ковровой дорожки. Вот — она кончилась у двери... Дорожка уткнулась в тупик. «Маша не любит, не придет, и — конец. Не хочет меня, тогда черт со мной». Отчаяние, как облако, заволокло его сознание, не хотелось даже передвигать ногами.

Он долго глядел на фарфоровую ручку двери. Невероятно, вся прожитая жизнь — все, все сосредоточилось и уперлось в эту отбитую с одного краешка фарфоровую ручку... Егор Иванович потер морщины на лбу... «Вроде как душевное заболевание...» Нахмурился. Толкнул дверь, вошел и увидел на диване, рядышком, в сумерках, две фигуры. Поближе к камину сидел кто-то родной, нежный, изумительный, в шубке и шапочке, в вуали.

— Маша! — проговорил Егор Иванович и, опустясь на колени на ковер, обхватил ее руками, спрятал лицо в ее коленях, в ду-

шистое платье. Зюм высморкалась, сказала что-то насчет Петербургской стороны и пяти часов и вышла.

— Егор, ты любишь меня? — спросила Маша так, точно только за этим вопросом и приехала сюда.

Он стал смотреть ей в измученное, прекрасное лицо. Вокруг глаз лежала синева. Она казалась девочкой, сидела смиренно, с грустной и нежной улыбкой, повторяя иногда:

— Егор, милый...

— Маша, на всю жизнь, — сказал он и вглядывался в ее большие глаза с дышащими темными зрачками. Приподнятая вуалька лежала на лбу, — и вуаль, шапочка на пепельных волосах, и глаза, и нежный овал лица, и улыбка — все это с каждым мгновением значило не и меримо больше, чем просто человеческое лицо.

Мерцающая, потрескивавшая угольки в камине, тикали часы, и это, казалось, было уже когда-то или точно с этой минуты, как во сне, началась и потекла в обратном порядке вся жизнь и вновь возвратилась к истоку. Прошлое было не позади, а словно разостлалось вокруг этой горячей комнатки, где остановилось время. Мысли и чувства медленно погрузились в самих себя.

Первая Маша оторвала глаза, вздохнула, повернулась к огню. Лицо ее залилось красноватым светом. Не отрываясь, Егор Иванович глядел на ее рот, она сказала негромко, точно с усилием:

— Что же будет с нами, Егор?

Тогда он присел на диванчик и принялся целовать ей глаза, щеки и нежные, припухшие еще от давешних слез губы.

— С нами ничего не случится дурного. Чего боишься? О чем думаешь?

— Голубчик ты мой, родной, — воскликнула она жалобно и, поспешно погладив его лицо и руки, поцеловала их, — мне радостно, мне грустно ужасно. Расскажи мне все по порядку, как ты надумал приехать? Неужели все, все оставил из-за меня?

Тогда Егор Иванович стал рассказывать о всех чудесах, которые произошли с ним, когда он получил ее письмо.

— Ты понимаешь, — сказал он, — оно было — как пламя.. Вся моя прежняя жизнь была сном... И вот с этой минуты...

Она перебила:

— Подожди, я ужасно хочу пить.

Стакана не оказалось, она зачерпнула из умывального кувшина воды горстью, выпила.

— Дай твой платок. Послушай, Егор, мы все-таки начинаем с того, что губим твою жену и Михаила. Я все время думаю, думаю об этом. Неужели иначе нельзя? Или мы должны мучить?

Голос ее дрожал, она вытирала руки и губы платком.

— Я к тому говорю, Егор, нужно все это сейчас выяснить. Подумай — сколько не виделась, как я тосковала по тебе, а сейчас чувствую — не могу еще любить во всю силу, как бы хотела.

Помнишь, как было хорошо у папы? Тогда было легко... А сейчас — здесь тяжесть (указала на сердце)... Прости меня, Егор, милый, не огорчайся, что я такая дурная с тобой. Я все думаю — если мы их погубим... что же будет с нами?.. (Глаза ее расширились страхом, — будто она и Егор замыслили убийство.) Неужели нельзя никак, чтобы нам было легко?..

Она опять села к нему на диван, взяла его руку и тихонько гладила.

— Как же теперь быть? — сказал он медленно. — Ты хочешь, чтобы все кончилось и я уехал... — Клубок смертельной горечи подкатился ему к горлу. — Ты можешь меня оставить, Маша? — Он встал, взял кочергу и засунул ее в угли. — А я думал так — ты и я... Ты и я. — Он с яростью ковырял угли. — Я никак не могу этих других почувствовать... Ну и пусть их страдают, гибнут... Ты и я, больше ничего нет...

Он обернулся. Маша сидела зажмурясь. С влажных ресниц ее лились слезы по щеке. Тогда стало ясно, что весь их этот разговор только оттого, что они не могут разлучиться никогда. Он обхватил ее за плечи, прижал. Она громко плакала, и вдруг слезы высохли, строгие, потемневшие глаза словно погрузились в глаза Егора Ивановича. Рухнувшее полено рассыпалось искрами, осветило комнату. Настало то, для чего не нужно ни воспоминаний, ни слов.

Не осталось ни горечи, ни сомнений. Маше трудно было различить — ее это рука или его лежит на потертом плюше. Егор Иванович повторял:

— Родная моя, дитя мое...

Иным он не мог выразить волнения и радости от того, что Маша с ним и чувствуют и дышат они согласно, как один человек. И все, что живет, и чувствует, и дышит, — способно на такую радость и полноту

Михаил Петрович строго взглядывал на часы, как будто они были виноваты в том, что Маша опоздала к обеду почти на час.

Вообще он много подозревал, еще больше не понимал, но сдерживался, полагая, что если у Маши и было какое-нибудь увлечение, то чувство нравственного долга во всяком случае перевесит у нее преступные и легкомысленные настроения.

За шестилетнюю жизнь он не раз замечал у Маши перемены в характере, но считал это законным, потому что выше всего ставил духовную свободу и нравственную эволюцию человека.

Все же, когда в прихожей затрещал звонок, Михаил Петрович сильно вздрогнул, поднялся со стула и, трогая бритый подбородок, без прежней уверенности зашагал по ковру. Он слышал, как Маша сказала сестре:

— Нет, я прошу тебя, сядь и жди — вот книга.

Затем она появилась в дверях, привычным движением поправляя высокие волосы. Взглянув в ее лицо, Михаил Петрович внезапно проговорил не то, что хотел:

— Я слушаю, Маша.

Она села на кожаный диван, сложила руки, вздохнула, собрав все мысли:

— Я люблю другого человека, Михаил. Ты меня прости. Главное за то, что не сразу сказала. (Она задыхнулась немного.) И сегодня уезжаю от тебя, навсегда, Михаил....

Он стоял, расставив ноги, держась за дрожащий подбородок.

— Вот как, не ожидал от тебя такого, — проговорил он глухо, — кто же это твой... — И когда она раскрыла рот, он крикнул: — Адюльтер! Вот это что! Мерзость! — На желтом лице его изобразилось глубочайшее отвращение. — Пошла вон, — сказал он. Вернулся к столу и низко нагнулся над рукописью. И сейчас же, едва Маша подошла к дверям, вскочил, сжал ее пальцы и крикнул, уже не сдерживаясь: — Куда! (Маша только ахнула.) Куда ты идешь? Не отпускаю. Я тебя запру. Я тебя убью... Тварь!

— Теперь я действительно уйду, — сказала Маша, —пусти мою руку!

Она вырвала ее и повернулась, но он вдруг, как слепой, стал ловить ее платье и заговорил поспешно:

— Маша, этого не может быть. Ты меня обижаешь, подумай! Ты ведь не сошла с ума. Ты не можешь меня оставить. Я хочу быть с тобой. У тебя увлечение, я понимаю. Но сделай над собой усилие. Ты обо мне сейчас подумай! Мне, мне, мне больно.

— Михаил, я его люблю; ты понимаешь: я люблю, — серьезно и отдельно проговорила она. Он закрутил головой. Волосы его были редкие, на висках седые. «От меня поседел, — подумала она, и опять, как игла, вошла в нее жалость. — Нельзя, нельзя, нужно сдержаться», — и она сказала: — Он — мне муж, а не ты. О нем я должна сейчас думать.

Тогда Михаил Петрович поднялся и, с отвиснувшей губой, не то хрипя, не то стоная, вращая глазами, принялся выкрикивать совсем уже лишние слова.

И Маше сразу все стало безразличным и ненужным. Она быстро повернулась и выбежала. В столовой, схватив Зюм за руку, сказала:

— Господи, да скоро ли поезд?

— Иди и укладывайся; и не смей больше с ним говорить, — ответила Зюм, — у меня уши болят от вашего крика.

Но крику не убавилось. Михаил Петрович выходил несколько раз из кабинета и, стуча в дверь спальни, требовал объяснений или хотя бы только обеда, — «элементарного, чего я требую»

от вас». Убегая к себе, он принимался хлопать ящиками стола. Потом разбил какое-то стекло, пробежал через столовую и крикнул: «Прощай, ухожу, не вернусь». И действительно, ушел, но вскоре вернулся и спросил через дверь, чужим, каким-то измененным голосом, навсегда ли уходит Маша, или еще думает вернуться.

— Навсегда, навсегда, — крикнула ему в ответ Зюм.

Она и сестра сидели в ванне головами в разные стороны; так с детства любили они залезать вместе в горячую воду, и самые душевные их беседы велись именно так.

Маша лежала с полузакрытыми глазами, отдыхая, набираясь сил; до поезда оставалось часа полтора; при взрыве мужниных криков она только покачивала головой. Над водой были высунуты кончики ее колен, они озябли и порозовели. Маша казалась маленькой и совсем хрупкой под водой. Зюм глядела на ее знакомые коричневые родинки — одна выше локтя, другая на том месте, где сердце, третья на боку; ей нестерпимо жалко было остроу, совсем не похожую на грешницу. Маша подняла мокрую руку и убрала прядь волос, упавшую на глаза, — на руке были синие жилки. Тогда Зюм прильнула к озябшим ее коленям и заплакала.

На вокзал Егор Иванович приехал спозаранку. Купил билеты и стоял в вестибюле, куда вваливалось и снова уходило на дождь множество народу. От касс тянулись хвосты. Здесь через несколько минут должно оборваться все старое, — отсюда Маша и он тронутся в долгую дорогу. До отхода поезда осталось десять минут. Страшная тревога овладела им... В толпе он заметил котиковую шубу, кинулся было, но это оказалась незнакомая девушка с заплаканными глазами, с коробкой конфет и сосновой веточкой в руке. Тогда он подумал, что Маша, наверное, тоже очень любит конфеты, а он никогда не позаботился, даже не спросил, чего ей хочется. Он побежал в буфет и купил апельсинов, хотел еще взять конфет, но испугался, что пропустит Машу, и вновь стал у выхода. От апельсинов и еще от чего-то совсем неясного ему было тревожно и печально и смертно жаль Машу, точно она была беззащитна, покорна всему, чего не избежать. «Не отойду всю жизнь ни на шаг от нее. Все, все — для нее. Чего бы только она ни захотела! Пусть будет ей хорошо на этом свете», — думал он, соображая, что конфеты успеет купить, пока носильщик выжится с багажом.

Наконец появился седой носильщик с чемоданами, за ним шли Зюм и Маша. В первую секунду он не узнал ее, хотя понял, что это она, и сжался от испуга, но это прошло. Сестры издали кричали и улыбались. Маша без слов поцеловала Егора Ивановича и взяла под руку. Сразу отлегла тяжесть, и он подумал, что все теперь — хорошо.

У вагона Егор Иванович сказал:

— Я ужасно беспокоился. Как вы там устроились?

— Уехали и все, — ответила Маша, — было очень тяжело.

Она глядела на него, подняв голову, и ее глаза от счастья немного косили; завитки волос на шее были еще мокрые. Она сказала, что после ванны холодно и нужно было бы пойти в вагон. Зюм тоже торопила садиться.

Заложив руки в карманы, она стояла под окном, иногда внимательно всматриваясь в толпу. Но на площадке вагона вместе с чемоданом и брюхом своим застрял толстяк в бобровой шапке и бабьим голосом ругался с кондуктором. Егор Иванович крепко держал Машу под руку. «Ты так крепко держишь, точно я убегу», — прошептала она улыбаясь. Толстяк загораживал вход. Стрелка на освещенном циферблате часов подпрыгивала, — оставалось три минуты. Егор Иванович наклонился к Маше, коснулся ее щеки и волнуясь, проговорил:

— Маша, ты никогда не оставишь меня?

— Нет, не оставлю... А что? — ответила она, побледнев.

В это время Зюм, поспешно подойдя, прошептала:

— Он ищет нас. Идите скорей в вагон.

И сейчас же они увидели Михаила Петровича. Он шел в расстегнутой шубе, в цилиндре, надвинутом на глаза. Обе руки сунуты в карманы. Глаза как стеклянные и неподвижны, точно он видел летящий призрак перед собой. Прошел он близко и не обернулся, только шея напряглась, но глаза не увидали. Через несколько шагов он круто свернул и прошел опять. На желтом лице его выдавилась усмешка. Маша, Зюм и Егор не могли двинуться. Ударил второй звонок. Толпа на минуту заслонила Михаила Петровича, затем он очутился совсем рядом. Правая рука его копошилась в кармане. Егор стал заслонять Машу, и обоим невыносимо было тошно глядеть, как он копошится, выкатив плоские побелевшие глаза. Зюм вскрикнула. Михаил Петрович вытащил руку из кармана — оттуда повалились перчатки, спички, газета — и выстрелил. Маша схватилась за то место, где были мокрые завитки. Егор Иванович раскрыл рот, рванулся, но крик его заглушили пять подряд резких выстрелов. Не разнимая рук, Егор и Маша опустились на асфальт. У ног их рассыпались апельсины из коричневого мешка. Раздались свистки, толпа окружила Михаила Петровича. Цилиндр слетел с его головы.

Зюм уехала на следующий день. Отцу она послала телеграмму: «Маша и Егор убиты, на похороны не осталась, выезжаю». Зюм сидела одна на плоской койке в купе. На ней был тот же клетчатый костюм и желтый ремешок сумочки через плечо. Зюм глядела напротив, на пустую койку, где должны были сидеть Маша и Егор... Их больше — нет... Зюм глядела на хрустальный полушар, где горел газ, — сбоку его покачивались синие кис-

шочки. Они точно так же покачивались, когда Егор говорил о любви.

Держась за ремень кожаной сумочки, Зюм глядела в окно. Она не плакала. Там, в темноте, хлестал дождь и красные искры летели мимо.

То сыплась густо, то обрываясь, длинными огненными нитями они летели теперь в глазах, в мозгу Зюм. Они рождались живые и легкие в мокрой темноте, прорезывали окно и гасли. Зюм подумала, что так же Маша и Егор вылетели из огня, пронеслись на мгновение и погасли...

И ей стало казаться, что это — не конец; они блеснули и погасли только в ее глазах. Она разминовалась с ними, только... И в каких-то пространствах они снова встретятся, примут и ее, Зюм, в свой неугасаемый костер.

Зюм развернула плед, накинула его на плечи, села на столик и, прижавшись лицом к окну, глядела на эти легкие, живые молнии. Они двоились и троились, и, чтобы лучше видеть, она плащом вытирала стекло, потом глаза, потом опять стекло...

РАССКАЗ ПРОЕЗЖЕГО ЧЕЛОВЕКА

Падали за окнами на железо капли дождя, и ветер, громыхию иногда крышей, то принимался насвистывать вокруг дома, на углах карнизов, по каким-то неприметным щелкам, то выл в печную трубу, повсюду засовывая черные, мокрые, лохматые губы.

Среди нас, утомленных суетою дня, газетными ужасами, тяглыми предчувствиями и в этот вечер забившихся в накуренной теплой комнате, сидел на жестком стуле в углу проезжий. Был он высок и костляв, одет в поношенную форму штабс-капитана и, видимо, тяготился нашей обывательской беседой. Его крупное, худое лицо с большими глазами, оттененными синевой, было сурово и неприятно. Только рот, небольшой и мягкий, улыбался иногда совсем по-детски, но улыбка не шла дальше губ, не освещала ни лица, ни глаз. Забрав под стул ноги в больших сапогах, он, казалось, мог так просидеть до утра, прямо и молча, или вдруг, ни с кем не простившись, уйти.

Беседа наша была похожа на мочалку, которую жевал каждый по очереди: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?» Один уверял, что «вырежут всех и не позже пятницы»; другой говорил: «Оставьте, батенька, зачем нас резать, чепуха, не верю, а вот продовольственными магазины громить будут»; третий сообщал из достоверного источника, что «к первому числу город начнет вымирать от голода». «Ну и умрем, — сказал четвертый, — велика беда, все равно помирать надо когда-нибудь». «Но я не хочу умереть насильственной смертью!» — восклицал пятый. И этому наивному заявлению улыбались. Затем, сморщенный и маленький, с вылезавшим воротником, газетный писатель, мгновенно возбудившись, произнес, размахивая папиросой и надвигая пенсне, следующее:

— Самое скверное то, господа, что вся эта мировая потасовка, с пятью миллионами убитых, — ни к чему! Я понимаю страдать, когда впереди светлая и ясная цель! (Он изобразил всем видом своим эту цель, причем воротник его полез на затылок.) Но какая цель во всем этом миротрясении? — я спрашиваю. Мы устали!

Дайте нам отдых! Мы не хотим ничего больше! Не верим. Истины насилуются! Идеалы заражены сифилисом! И, как некогда погибли Содом и Гоморра, так и мы провалимся в тартарары. Имя нашему времени — возмездие. Не трудитесь в нем искать ничего хорошего...

— Скуууучно... — завыл ветер в печной трубе.

И не успел маленький писатель, очень довольный словами своими, закурить новую папиросочку, влезши поглубже на диван, как внимательно слушавший его штабс-капитан сказал спокойно, не без твердости в суровом и низком голосе:

— Извините, пожалуйста, не знаю вашего имени-отчества, вы говорите ерунду.

Я не стану описывать, как после неловких этих слов начался громкий спор, где три пожилых человека принялись вылезать из себя, доказывая, что война и революция бесцельны, а другие три пожилых человека тоже вылезли из себя, доказывая, что война и революция приведут к цели, — как маленький писатель сначала обиделся, потом разгорячился, потом обессилел. Все было, как тому и быть надлежит. Наконец штабс-капитан, задетый, должно быть, дальнейшим спором, и неожиданно, когда все уже охрипли и поблуживало только лязгали друг на друга, встал со стула и, прислонясь спиной к изразцовой печи, проговорил:

— Позвольте мне рассказать случай из жизни, так, я думаю, будет понятнее...

— Прежде, до войны, я занимался живописью, был женат и проживал в Москве. У меня были средства, небольшие, почти удовлетворявшие меня, известность и привычка к постоянной праздности, душевным именинам.

Каждый день должен был приносить что-нибудь приятное, милое удовольствие, иначе день казался потерянным. Поэтому я и любил легко, без осложнений, и легко сходился с друзьями, и без труда расставался; и была у меня особая уловка лавировать между крупными неприятностями и слишком обязывающими страстями. Легкая, приятная, неглупая жизнь. Да, вспоминая, я не вижу на ней пятен, но и не вижу почти и ее саму.

Меня всегда удивляло только одно странное чувство: я никогда до конца не был ни счастлив, ни весел; точно во мне был темный угол, куда никогда не доходило ощущение счастья и веселья. Это можно сравнить с легкой астмой: невозможность до конца, до последнего дна, вдохнуть воздуха.

Иногда казалось, что непременно будет несчастье и оно близко-близко, вот-вот. Но время шло все так же гладко, и не случилось ничего тяжелого, разве только медленный и молчаливо решенный с обеих сторон разрыв с женой. Не расходились мы, в сущности говоря, только потому, что не было повода. Но и не тяготились друг другом. Выставки, дружеские попойки, издатель-

ские затеи, поездки, вечера, — как легкий безбольный вихрь унес нас в круге дней. Осталось от всего ощущение электричества, света, женского шелка, запаха духов и грусти.

Кончился сезон, последний в нашей жизни, последний шумный и блестящий сезон в столице. Знакомые потянулись за границу, в усадьбы, в Крым. Поехали в Крым и мы с женой.

Я накупил много красок, но писать не пришлось: на юге было особенно в этот год весело и шумно. Почти тревожно. Многие неожиданно разошлись — мужья с женами, другие внезапно отчаянно влюбились. Происходили странные, почти непонятные ссоры. Точно вихрь окреп и теперь бешено, невидимо, крутился между людьми, туманя сознание, распаяя чувства. Это был тоже последний сезон в Крыму.

В середине лета чувство беспокойства и неутоленности стало болезненным, как надвинувшаяся на мое сознание дурная тень. Я перестал спать. Часто ссорился. Уходил надолго в горы и сидел перед картоном, не кладя ни мазка, глядя на холмы, море, на странные, как горы и дымы, желтоватые облака, поднявшиеся и выцветшему небу. Точно все было не настоящее, не истинное, подернутое призрачной пеленой. Но что под нею? Какая земля? Какая правда? И тоска сдавливала сердце.

Жена, по-своему понимая мое настроение, торопливо, со злобой искала ту, в кого я должен быть влюблен. Однажды всю ночь мы проговорили на песке, у моря. Это давно ожидаемое, такое страшное, болезненное объяснение оказалось скучным и многословным, только между нами не нашлось ни одной ниточки, которую можно бы оторвать с кровью: все уже давно сгнило; мы наговорили лишнего, пошлого; было скучно и утомительно, как надоевшая давняя зубная боль.

Это, пожалуй, похуже острого горя. Жена плакала, сидя на песке. Я бросал в море плоские камни, и они подпрыгивали на бликах лунного света.

Мы решили расстаться на время; не хватило страсти сознать, что расстаемся совсем. Жена ушла спать, я собрал чемодан и, еще не зная, куда поеду, сел на террасу, ожидая кофе.

Утро было тихое и жаркое, от зноя выцвели и угол каменной дачи и листья на тополях; гравий, трава и даже небо — все было затянуто полупрозрачной, неподвижной мглой. За невысокой изгородью из путаного кустарника поднимались на высоких стеблях подсолнухи, пять или шесть — шапками, повернутыми к солнцу. За ними — беловатая мгла и в двадцати шагах море, неподвижное и маслянистое. С низкой террасы казалось, что оно уходит далеко и высоко, и выше его края стояли пять подсолнечных шапок с золотыми лепестками.

Это была странная, единственная минута: тихий, мгlistый зной и поднявшиеся из него, как из марева, подсолнухи, неподвижные, слепые, обращенные к солнцу. Все это было какой-то непостижимой чертой, о которую спотыкнулось мое время, непрерывный, не

достигающий сознания поток секунд, мгновений, ударов сердца. Я увидел, как от этой черты в глубину побежали печальной рекой мои прошлые дни и как в другую глубину запенился мглистый поток будущих дней.

Так вот чем было это всегдашнее предчувствие беды! Вот когда в темные тайники дошло, наконец, ощущение жизни! Вот когда стало понятно, что счастье — только слепцам, тем, кто из тумана дней поднял слепое лицо! Какое невыразимое одиночество на земле! Какое покорное созерцание смерти. Как печален человек, вдруг выросший, словно грибок, под необъятным солнцем, чтобы на закате и самому склонить головку...

Прислонясь к балюстраде, я заплакал. Все это, конечно, нельзя рассказать словами.

Я уехал в Москву. Там, один в квартире, с замазанными мелом окошками, валялся на диванах, курил, перелистывал журналы или брэнчал на пьянино. Хотелось только одного — спать как можно дольше, уткнувшись носом, не вспоминая, не ждя ничего; на все был один ответ: «К чему?»... Всё, всё, всё — только слепые лица перед солнцем, пожирающим землю. А приятель, доктор, сказал: «У тебя, брат ты мой, сильнейшее нервное переутомление, нужны ванны и статическое электричество».

Это было отвратительное время. Душа моя изныла в тоске смерти. Точно я тридцать два года вертел колесо в каторжной тюрьме, и вот вижу, что колесо лишь вделано в стену, не для чего, так. Вот какой была моя жизнь до войны! И вы спросите — с чего это и так огорчался? Почему какие-то тончайшие настроения могли повергать меня в уныние? Бесился с жиру? Да, бесился от художничья, от затхлости, — все силы души были замкнуты и гнили в темных подвалах.

Внезапно пришла война. Уж давно крутившийся вихрь теперь сильным студеным сквозняком сорвал и унес все лохмотья, все румяна, всколыхнул оголевшее, пьяное болото по всей России. Вы помните, как потянулись на запад поезда, обозы, серая бородатая опасная Русь; как запели, засвистали солдаты, проходя по перелюкам, завывали бабы; и как франты, вчера еще танцевавшие танго, напудренные молодые люди, усталые скептики и прочее, и прочее — все это перекинуло через плечи бинокли, натянуло смазные сапоги и поехало воевать.

Теперь, мне кажется, я понимаю: у всех тогда было нетерпение доказать, что, мол, и мы нация, оправдаться, снять позор. Да, да, и помню по себе — снять позор ленивой, грязной, сонной, хамской жизни. Но, видно, слишком многое нам приходится и доказывать и оправдывать, и мало еще для этого одного геройства, смерти на бранном поле...

Разумеется, я вылез на улицу, кричал и волновался вместе со всеми; встречая на Тверской царя, говорил: «Все-таки, знаете, как-никак, а сейчас это символ»; послал нежнейшее письмо жене, где просил прощения; накупил целый чемодан вещей военно-походного

обихода, записался в несколько мест добровольцем, был призван и в августе попал в Восточную Пруссию, в бои.

Первый грохот пушки! Боже, сердце готово было умчаться туда, за визжащим снарядом! А пожар станции! Какое мрачное величье в черных клубах дыма! Это мы, мы подняли огонь и дым до самого неба! Помню, из желтеющего леса (я был в разведке) бесшумно, как дикие животные, выскользнули два всадника и уланках. Передний осадил лошадь и, повернувшись в седле, ломая гроздь рябины. Мой разведчик выстрелил. Лошадь шарахнулась, поскакала по кустам, а улан, торопливо вытаскивая из кобуры карабин, завалился в седле, поднял руки, обхватил ими горло и соскользнул в траву, как мешок. Я обругал солдата (приходилось отступать, не кончив разведки), но все же как ловко свалился улан! Как все здесь ловко, и сильно, и быстро! И не нужно ни нюхиваться кокаином, ни одурять себя какими-то странными запахами, мечтами, дымом, вином, чтобы заиграли все поджилки и распахнулась, запенилась душа. Здесь мы рванулись в азартную игру, где призом была чужая смерть, а своя — битой картой. А красные лужицы, оторванные руки и головы, — черт с ними, ни до того! Став убийцами, мы, как звери, почували жизнь...

И даже потом, когда отходили из Пруссии, дрались днем и ночью, мокли под ливнями и топили в болотах; когда на свист пули только морщились, зная, что свистнувшая миновала, а ту, что вопьется, не услышишь; когда бросали умирающих и раненых; когда вся грязь казалась липкой от крови, — даже и тогда смерть была лишь неудачей, случайностью, но не тем, о чем стоило думать... Странно, ведь это все же то, перед чем все становится бессмыслицей, и я не раз вспоминал утро с подсолнечниками... Но тогда смерть была иной, тогда я умирал весь, уходил в сумерки. А сейчас я где-нибудь и шлепнусь с разбитой башкой, но это будет эпизод, не больше! Я-то останусь, как — не знаю, но я останусь, верю — не умру.

Затем наступил наш разгром, отход и отчаяние. Мы оцепенели на долгие месяцы, зализывали раны, томились, мечтали о чистоте, о красивых женщинах, о штатском платье. Собираясь, вспоминали, кто кем был в прошлой жизни, какие носил галстуки, и говорили со вздохом: «Хорошо бы теперь посидеть даже не в гостиной, а в чистом, светлом клозете». Это был упадок, тяжелый сон под мокрой, вонючей шинелью. И, как отрывки этого сна, встают воспоминания.

Помню, плюхал дождь, размывая глину, и ветер хлопал парусом на плохо сколоченной двери землянки. Мы играли в карты. Красные от коньяку, опухшие лица товарищей точно плавали в табачном дыму. Между нами был штабс-капитан Т., когда-то видный адвокат, красавец, ценитель искусства; теперь — кривой, обрюзгший человек, бородатый и почесывающий себя под рубашкой. Он выигрывал, хохотал и приговаривал с каждой картой: «Кончилось, мальчишки, кончилось сладкое житье, але марше налево!» Ни

ях он уезжал в отпуск и обещался привезти оттуда «запашок имских рубашечек».

Во время игры, прикрыв блюдечком пачку денег, он вышел на минутку. Мы бросили играть, ожидая. Минут через сорок появляется из-за парусины мокрый денщик и докладывает, что табс-капитан убит пулей в голову наповал.

Мы убрали карты и легли по койкам. Плюхало, плюхало, плюхало над головой. Доносились редкие выстрелы. Голова у меня мела, и в горле сжималось тошнотой. Повернувшись на бок, я видел: у стола, беззвучно сотрясаясь красной рожой, сидит, хочет над картами штабс-капитан, а через него виден чей-то сапог шпорой.

Слишком, должно быть, выпито было коньяку. И вот тогда-то очевидности стало ясно, что войну нужно кончать, что мы изжили войну. И предстоит нам что-то еще более огромное, страшное великое, чем война. Вся армия (мы знали это по «Солдатской зете») томилась в ожидании. Чувствовали, что Россия за нашей иной корчится, как перед смертью. Ждали, стиснув зубы. И, когда грянула революция, показалось, что налетел пьяный ветер, как лихорадка, и сразу у всех пропала охота убивать.

Заговорили все. Полки, дивизии, весь фронт, хоть волосы рви. рорвало. И говорили, и голосовали даже, когда в атаку нужно ти. Будто бессловесным дали язык, и все загорячились выговорить, выворотить все, о чем триста лет молчали. Помню — баллон наш выбил австрийцев с речки, пленных взяли и тут же, обща, устроили митинг, с резолюцией, чтобы немедленно, вот час, был всеобщий мир и братство народов, чтобы ни бедных льше, ни богатых не стало, словом — всеобщая справедливость. австрийцы же в это время начали поливать митинг шрапнелью и или председателя, но резолюцию наши все-таки вынесли и даже слали в газету напечатать.

Что это — глупо? Да. Смешно? Конечно. Но когда тысяча немотных мужиков, забрав пленных, под шрапнелью болтают елыми языками о мировой справедливости, — я не скажу: мы гибли, Россия кончилась. Здесь что-то выше моего понимания. ьть может, я слышу, как «истина глаголет устами младенцев». ьть может, истина устраивает гнуснейшую гримасу: что, мол, ели! Повернули колесо! Перемудрили историю!

В прошлом месяце явился ко мне в роту большевик — мальшка, хитроглазый, уверенный чрезвычайно — товарищ Сережа. рдаты облепили его, как мед. И не знаю — за деньги или от упости он чепуху болтал, только взяло меня зло. Протискался нему и говорю: «Собственно, какая ваша непосредственная цель, звольте спросить, и так далее»...

Он мне немедленно, с бойкостью: «Вы, товарищ, контрреволюционер, поэтому я вас формально отвожу». Я развернулся и его в бы. Заверещал он, нахлобучил шляпу и бежать. Солдаты молчат. когда я хотел выйти из круга, надвинулись, смяли меня, и, уж

не помню как, очутился я в лазарете, — весь перевязанный, лежу и плачу с отчаяния, самого горького. В палатке душно, воняет, больные храпят; и вижу — на койке сидят четыре бородатых мужика, выздоравливающие из моей роты, и вполголоса рассказывают сказки друг другу — про лес, про птиц, курочек каких-то, про светлу да милу, про шорох да шепот, про пауцьи мхи... И слышны все какие ласковые, непонятные, волнующие... И тут опять у меня в голове все повернулось. Да что же такое, наконец, происходит? Тяжко нам, неуютно, как под дождем на большой дороге, и кажется — вот-вот от России останется одна липкая лужа; и у меня сердце замерло, как в последнем часе, а час не последний, и там, в потемках, в пауциных мхах, идут шорохи да шепоты, собираются наша душа.

И я верю, что через муки, унижение и грех, — верю через свою муку и грех, — каким-то несуразным, неуютным образом, именно у нас, облечется в плоть правда, простая, ясная, Божеская справедливость. И придут нам поклониться, но, придя, увидят, что сиявшее им издали оказалось корявое и звериное, и не поймут и вновь отвернутся... А мы будем себя терзать и казнить за то, что не похожи и не милы никому, за то, что вид наш звериный...

Простите меня, господа, что слишком долго утруждал ваше внимание, но я хотел все это рассказать к тому, что увидел у нас мало веры, а если и есть она, то хотите вы не того, что настает, близится. Не будет у нас сейчас ни порядка, ни покоя. Рождается новая Россия, невидимая, единая и белая, как Китеж выходит с озерного дна... А фабрики, заводы, асфальтовые улицы — это потом придет, само собой, сейчас это не важно... И что страшно сейчас — согласен. Страшно и жадно душе. Хорошо.

Штабс-капитан сел опять на стул и закурил трубочку. Мы молчали, смущенные его рассказом. А когда вскоре я вышел на волю, ветер гулял по улице, громыхал железом и насвистывал в телеграфных проволоках, гася на углу газовый фонарь. И казалось мне — это вольный, гулкий, таинственный ветер истории шумит во всех снастях.

Штабс-капитан нагнал меня и пошел рядом, покашливая.

— Знаете, я еще никогда так не чувствовал, что с такой силой могу любить родину, — сказал он, повертываясь боком к порыву ветра.

ЧЕЛОВЕК В ПЕНСНЕ

Ранней весной на дачном поселке, разбросанном по морскому берегу, две дачи были заняты приезжими почти одновременно. К деревянному с башенкой дому, который звался в поселке «замком», подъехала нагруженная корзинами линейка. Приезжий, худой и невеселый господин, с русой бородкой, в плаще и надвинутой низко широкополой шляпе, взошел на крыльцо и ждал, покуда отворят дверь. Оглядываясь на холодное море, на низкие облака, летящие ристерзанными ключьями над серой водой, он поморщился и поправил пенсне. Плащ его надувало ветром, и голые ветви тополя свистели жалобно, как розги.

Затем он вошел в сырую и нетопленную дачу, взглянул на несколько пейзажиков с камнями и лодками, на прошлогодний календарь, пожелтевший на двадцать третьем августа, и, не снимая шляпы, сел на оттоманку, с нее сейчас же поднялась пыль. Немного погодя он сказал:

— Затопите печи!

Дворник-татарин, бухнувший в столовой на пол последнюю корзину с книгами, ответил: «Хорошо» — и ушел. Приезжий остался один. Подвернув под себя ногу, закурил и принялся глядеть в пыльное окно, за которым началось голое дерево. Моря не было видно, но глухой шум его наполнял весь дом. Наступали сумерки. Папироска между пальцами, лежащими на колене, пошла. Приезжий зевнул холодным, сдержанным зевком так, что чуть-чуть стукнули зубы.

Часами тремя раньше в соседнюю одноэтажную дачку въехала молодая женщина с няней и двумя девочками, одетыми в синие полушубки. Часа три продолжалась суэта и беготня на даче. Сейчас там был уже зажжен свет, постланы детские постели, в столовой кипело молоко; к девочкам в натопленную детскую явилась старая рыжая собака. Она подавала лапу и криво улыбалась, доказывая новоприезжим бескорыстие и преданность.

Дама, закутав голову и плечи в оренбургский платок, сидела на подветренном балконе. Перед ней за двумя столбиками, глубокими внизу, лежало море, оно было точно в театре, — такое новое, незнакомое, выразительное; дама была уверена, что и завтра, и еще много, много дней будет видеть это море, и в ненастье, и в теплые дни, когда все вокруг зацветет и волны из свинцово-синих станут лазурными.

Приезжего звали Николай Иванович Стабесов; он был мещанин, холостяк, с некоторыми средствами. Читал в университете необязательный курс. Девятьсот пятый год, недолгая ссылка, затем тревожное, бесстыдное, оголтелое десятилетие, когда, в дурмане роскоши и греха, готовился взрыв мировой ненависти, и, наконец, война — совсем распатала здоровье Николая Ивановича; он вдруг почувствовал, что бесконечно одинок, затерян, не нужен и точно крепкий, пахнувший ворванью солдатский сапог уже занесен над его теменем. Николай Иванович перестал спать, работать, видиться с друзьями. Доктора послали его в Крым.

Соседка по даче, Екатерина Васильевна Болотова, приехала в Крым из-за младшей девочки, у которой доктора нашли рахит. Госпожа Болотова докторов не любила и боялась, но детей в Крым все-таки повезла и всю дорогу мечтательно радовалась новой перемене жизни. Муж ее умер несколько лет назад. От этой потери осталась большая грусть, но жизнь все-таки не казалась ни безнадежной, ни одинокой; муж не взволновал ее любви, и она оторвалась от него без ущерба. К тому же была молодость, дети, немного денег, немного свободы и радостная способность мечтать о неопределенном и прекрасном, о море, о зеленых полях, о летней жаре, когда гудят пчелы и вся земля в избытке.

Вот этим двум людям, поселившимся вблизи друг друга почти на пустом побережье, и надлежало встретиться. И здесь, в уединении, они, вероятно, не смогут разминуться так равнодушно, как двое прохожих на улице большого города, где Стабесов и Екатерина Васильевна были, кажется, знакомы и даже разговаривали, но когда и о чем, конечно, никто из них не помнил.

Посыпанная серым гравием дорожка прямо от балкона спускалась к морю. Ниже шли ступени с перилами. Здесь, лицом к морю, надвинув шляпу и пенсне, сидел Николай Иванович с книгой, а когда «моряк» крепчал и пена, разбиваясь о подводные камни, взлетала пенными хлопьями на пригорок, — пересаживался повыше.

И чем сильнее дул ветер, чем глуше и тревожнее гудели внизу камни и выше взлетала пена, тем определеннее было чувство у

Николая Ивановича, которое он и выражал довольно неясными словами, сказанными сквозь зубы: «Дуй, дуй, голубчик, оба мы явление природы».

Затем, померзнув, Николай Иванович шел на дачу, ложился на диван, курил, брал в руки книгу, разглядывал корешок, прочитывал последние строки заключительной страницы и, пробормотав что-нибудь вроде: «Ага, вы в этом уверены, завидую, завидую вам», — бросал томик на окно. К книжкам было чистое отвращение, точно на голодный желудок жевать вату. «Да, пора, пора приступать к изданию своей книжицы», — говорил он, подойдя к окну и барабана в стекла. И эта «собственная книжица» в позу у окна были омерзительны. «Экая пошлятина», — думал Николай Иванович.

И только по ночам, лежа в сыроватой постели, подогнув худые ноги (он чувствовал — худые, нужные только мне, мне и никому больше), Стабесов испытывал, пожалуй, единственное честное чувство: жалость к себе. Это была горькая, бесплодная, упитательная жалость к пустой даче, под враждебный шум моря, плюющего пеной до самого балкона. Плевание, равнодушие и уютный шум, шум, шум — казались основой всего, законом мира.

Однажды ночью, надумавшись и нажалевшись, Николай Иванович захотел есть. Татарин с татаркой спали далеко. Стабесов, со свечой, в кальсонах, наступая на завязки, пошел к буфету, где оказались хлеб, крутые яйца и соль в бумажке. Он вернулся на постель и, сидя, уставясь на огонь свечи, принялся лупить яйцо, держа его в горстке, обмакнул в соль и медленно съел. И вдруг навернулись слезы. Николай Иванович быстро задул свечу, завернулся с головой и, кусая губы, повторял:

— Ах, черт, ах, черт возьми!

У Екатерины Васильевны всегда была слабость: гуляя, она любила заглядывать в освещенные окна. Между нею, стоящей на снежном тротуаре, и «теми» людьми была лишь тонкая пленка стекла, заглушавшая звуки, и все же «та» жизнь казалась чем-то неуловимо преображенной. Вот женщина облокотилась о кресло, подперев щеку, и даже не задумалась, а затихла, ее муж, в очках и без воротничка, помуслил палец, чтобы перевернуть страницу, и надолго устоялся на зеленый абажур лампы. Вот в полуподвале чистая комната с паркетным полом, и трое мужчин, один — у рояля, другой, зажав между колен виолончель, водит смычком, третий сидит на диванчике, и у него, у третьего, серьезное, почти вдохновенное лицо. Звуков не слышно, движения медленны, неловки, будто люди, сами того не сознавая, застывая на мгновение, прислушиваются к полету времени, уносящему минуты. Печален вид человека, когда он остается самим собой.

Екатерину Васильевну очень тянуло заглянуть в освещенное окно Стабесова, но было неловко. От татарина она узнала подробности жизни Николая Ивановича и думала, что он «страшно гордый».

Однажды, после сумерек, возвращаясь с моря, она все-таки решилась, перебежала дорожку и, поднявшись на цыпочки, заглянула. Стабесов, стоя у стола в одном жилете, пришивал перед свечкой пуговицу на пиджаке.

«Господи, вот несчастный!» — подумала Екатерина Васильевна. Гравий под ногами ее захрустел. Стабесов поднял голову и долгие еще вглядывался сквозь стекла, куда Екатерина Васильевна спешила к себе. Вернувшись, она сказала няньке:

— Вот, Марья Капитоновна, ужасно, когда мужчина беспрозорный, ничего нет грустнее на свете.

На это почтенная Марья Капитоновна, зная, как сама умяряла, мужчин «вдоль и поперек», ответила с неодобрением:

— Чего их жалеть, — жалости не хватит.

В этот вечер Екатерина Васильевна с особенной благодарностью чувствовала, что у нее есть дом, девочки и Марья Капитоновна, «преданная детям, как пес». И несколько раз невольно вздохнула, вспоминая, как Стабесов протыкал иголку вместо наперстка крышкой от чернильницы.

На склоне, между корявыми сосенками, зацвел куст рододендрона. Он покрылся за одну ночь, точно весь запылал, жесткими ненастоящими цветами. Стабесов увидел его из окна и вышел в садик. Около, на скамейке, сидела Екатерина Васильевна. Он поклонился, она подала руку и сказала, что они были знакомы; его удивил взгляд ее длинных карих глаз, — внимательный и ласковый, точно она что-то уже знала про него.

Николай Иванович понюхал куст, цветы были без запаха. Екатерина Васильевна заговорила о дурной весне и о море, нашла его прекрасным даже в пасмурную погоду. Стабесов подумал и согласился, и, обернувшись, оба некоторое время смотрели на взлохмаченную массу воды, ходившую на горизонте огромными волнами.

Встреча как встреча. Екатерину Васильевну она немного разочаровала, главное — тон Стабесова: независимый, слишком самостоятельный (а пуговицы? — подумала она). Николай же Иванович внезапно почувствовал некоторую теплоту, и наклон мыслей в этот вечер был не так безнадежен. На следующий день ему спешно понадобилась почтовая бумага, и он пошел на дачу госпожи Болотовой и, конечно, был оставлен пить чай.

Екатерина Васильевна рассказывала ему о детях, как им здесь вольно и здорово: за неделю девочки прибавились в весе каждая на полфунта, и щеки у них теперь, как персики (в ее рассказе дети казались вкусными, как персики); плоховато насчет провинции, но она думает купить козу. Похвалилась также Марьей Ка-

Капитоновной, которая в это время пришла за кипятком и, цедя чай из самовара в эмалированную кастрюлю, покосилась на бабина и достойно поджала морщинистые губы. «Злющая баба», — подумал Стабесов. В низкой штукатуренной комнате было тепло. На потолке дрожала тень от самоварного пара и бегала большая мухоловка. В детской какие-то совершенные пустяки рассказывали друг другу девочки; Марья Капитоновна, вернувшись в детскую и поварчивая, укладывала их спать. Стабесов звенел ложечкой, кивал, одобрил покупку козы, несколько раз пытался положить ногу на ногу, но мешала доска стола, и думал, что все это очень мило. Екатерина Васильевна проводила его до рододендрона, где была граница их дач; здесь некоторое время стояли, в молчании глядя в темноту земли, выразили предположение, что завтра будет хорошая погода, и разошлись. Остаток вечера и ночь (наполовину бессонная) были проведены Стабесовым недурно — немного томно, немного скучно.

Через день Екатерина Васильевна пришла к Стабесову за «какой-нибудь книжицей почитать». Стабесов пришел в отчаяние, роюсь в специальных сочинениях, оттисках, журналах.

— Вот, пожалуй, это еще так-сяк, довольно популярно, — сказал он, подавая ей серенькую брошюрку. Екатерина Васильевна свернула книжечку трубкой (видно, что мало читает книг), села на подоконник и, постукивая туфелькой о стену, принялась болтать.

На ней было синее мягкое платье. Кисти рук и шея казались удивительно нежными. В этот день солнце то закрывалось плотными облаками, то, выглянув, спешило гнать и без того улепетывающие тени, бросаясь всем своим жаром на мокрую землю, на море, застигнутое врасплах. И каждый раз, когда свет появлялся сбоку окна, волосы Екатерины Васильевны точно наливались старым золотом, и тонкая раковина уха просвечивала.

Вспоминая нашумевшую в Москве пьесу (госпожа Болотова очень любила театр), она подняла руки и долго поправляла на затылке узел волос; рукава, натянувшись, обрисовали локти. И Николай Иванович, плохо понимавший смысл слов, начал чувствовать, как мягкой ткани платья касаются изнутри то плечо, то грудь, то колено.

С каждым мгновением Екатерина Васильевна превращалась во что-то все менее понятное, вернее — она переходила в иное состояние, которое можно усвоить чем-то необычным, неповседневным. Ее улыбки, движения губ, волночки лукавства, пробегающие от углов рта на щеки, движения, голос становились (он вдруг это остро почувствовал) неповторяемыми, единственными. И все эти прелести совершались с глазу на глаз, между ними двоими только.

Это было страшновато, и веселый холодок уже наигрывал в милах какую-то странную музыку.

Екатерина Васильевна, тоже, должно быть, чувствуя неповторимость, раскраснелась и словно давала понять Николаю Ива-

новичу — вот это движение, эта улыбка, эта складочка, усмешка — только ваши, и не были ничьи, и никому больше не принадлежали.

Николай Иванович тряхнул головой и, усмехнувшись, сказал:

— Я бы мог вам рассказать довольно банальную историю... Но не знаю, быть может, вам скучно меня слушать.

Он устроил пренеприятную гримасу, но все же затаил дыхание. Екатерина Васильевна проговорила вдруг очень серьезно:

— Я слушаю вас.

— Все сплошной обман, Екатерина Васильевна, — воскликнул он и засунул пальцы в жилетные карманы, — вы поймите, как мерзко; даже самая прекрасная минута радости мгновенно отравлена: на кой мне черт эта минута, когда я все равно умру. Мне тридцать два года, значит — осталось всего еще лет двадцать, то есть двадцать минут! Разве так жить можно? Я слышу время летит, как ветер над крышей. Мне хочется — сесть в кресло, стиснуть зубы и ждать — когда конец. Мне больно от моря, от яркого неба, от цветов, от всего, что хочет притянуть меня к земле. И вот это обман, я на эти крючки не клюю. Я смотрю на свою руку, год тому назад она не была такой сморщенной. Вот это настоящая правда. А все остальное — книги, философия, искусство, гуманизм, черт его возьми, все — обман. На мне лежит целая пирамида этого мусора. Я самое несчастное, самое низкое, что есть на земле. Поэтому что я — понял. И я все еще лезу из-под этой кучи, как дождевой червяк.

Стабесов приостановился и поглядел в немигающие глаза Екатерины Васильевны. Она даже побледнела от внимания. Не жалость к этому заброшенному человеку словно напиталась его словами. Не сомневаясь, что он так именно чувствует, но ни минуты не веря в безвыходность его отчаяния, едва сдерживая слезы, она схватила Николая Ивановича за руку: его пальцы были совсем холодными; торопливо, почти шепотом она проговорила:

— Вы знаете — все это неправда. Зачем вы так говорите! Помните, у меня есть дети, не могу же я на них смотреть как на мертвых...

Он нагнулся к ее руке и поцеловал несколько раз. От прикосновения губы его становились все теплее. Последним поцелуем он прильнул к ее руке надолго.

Она видела его склоненное темя, на котором раздвоенные волосы были совсем редкими, и слишком широкий по шее воротник. «Какой же он дорогой», — подумала она и прошептала:

— Ну, вот видите.

Разумеется, этими словами она хотела сказать, что ее никакими мертвыми словами нельзя убедить, будто ее ребенок рождается для смерти, и что человек, сохнувший от смертельной тоски, — прав, и что одинокий ум, не питаемый горячими волнами чувств, не станет под конец жалким и скудным.

Но ничего этого она сказать не умела, и только в чудесном порыве, — сжав его руки, глядя в глаза и еще раз повторив: «Ну, вот видите», — она словно отдала Николаю Ивановичу весь свой избыток жалости и нежности.

Стабесов во всем этом разобрался только впоследствии, теперь же ему казалось — ужасная пустота наполняется живой и влажной прелестью. Он почувствовал такую слабость, что подошел к дивану и присел.

— Я ни перед кем еще в жизни так не высказывался, — сказал он, — и вот что странно — да, да, да, очевидно — есть какая-то другая правда. А вы — чудесная умница, вы какой-то одной фразой так верно меня опровергли, как не могли сделать тысячи томов.

(Впоследствии ни он, ни она так и не могли припомнить этой странной фразы.)

Николай Иванович закурил улыбаясь; глаза его блеснули. Екатерина Васильевна, переволнованная и смущенная, спохватилась наконец, что пора кормить детей, и ушла. Он совсем лег на диванчик и продолжал курить и улыбаться. Так началась их дружба.

Дни становились жарче и пленительнее. Зазеленели полосы виноградников на южных склонах; закурчавились клейкой зеленью изгороди; по вечерам пахло цветами и морем.

В небе поднимались из-за гор плотные груды сияющих облаков и неподвижно стояли до заката. В море отражались облака и чайки.

Стабесов и Екатерина Васильевна все время проводили вместе, то на песке, где играли девочки, то поднимались в горы, разминая дикую спаржу. Она росла на канавах, между колючими кустами; потом, лежа на разостланном пледе, глядели с высоты на огромное пространство воды, по которой бежали синеватые дорожки от встречных течений, на плотную грудку облаков за мысом.

Казалось, там, страшно далеко, стоит жертвенник и над ним клубятся огромные дымы. Это была немного ненастоящая выдумка, но они повторяли ее каждый раз, глядя на небо.

За несколько дней здоровье Николая Ивановича сильно поправилось. Он был весел, подвижен, остроумен. Рассказывая о своей скудной жизни, приводил цитаты из книг — так тесно переплелось его прошлое с книгами и образами чужих вдохновений. Теперь он говорил:

— Я был обыкновенной библиотечной крысой, «интеллигентом», и до ужаса боялся свежего воздуха. Я даже не мог представить, какое наслаждение — лежать и глядеть на облака... Что-то случилось, что-то случилось...

Екатерина Васильевна, захваченная во всю силу этой близостью, похорошела и была задумчива. Лицо ее покрылось нежным зигаром. Она думала о Стабесове все время, с нежностью, со

страхом, с недоумением. Иногда, лежа в постели, плакала. Не могла объяснить, что тревожило, какие предчувствия печалили ее, — Екатерина Васильевна не могла. И чем проще, дружественнее и веселее бывал с нею Николай Иванович, тем в большем смятении оканчивался ее длинный, сияющий, полный волнующих радостей день.

В камнях появились крабы, шустрые, как пауки. Девочки, брызгая голыми ножками, бегали за ними по ленивым волнам прибоя, но крабы не давали себя поймать.

Николай Иванович лежал на песке навзничь. Из-под надвинутой шляпы виднелись только кончик носа, рот, раздвинутый в улыбку, и борода. Екатерина Васильевна следила за девочками, сердце ее билось, — так хороши были плеск воды, запах морского ветерка, солнце, тоненькие голоса девочек, одетых в белые платья до колен.

Краба так и не удалось поймать. Девочки кричали «Мама, помоги!» Екатерина Васильевна сбросила туфли, полные песку, стянула чулки и, подобрав белое платье, вошла в воду, посмеиваясь от веселого страха. Влага нежной прохладой лизнула ее ноги. Большой краб, вытаращив трагические глаза, притаился за камнем. Она живо протянула руку, он скользнул и исчез в мути песка. Разбрызгивая воду, она пошла дальше и в увлечении охотой замочила подол и рукава. Одного краба, маленького, все-таки удалось схватить, и он топорщился, щекоча ладонь.

— Вот он, смотрите, какой страшный, — сказала она, выходя из воды.

Стабесов, приподнявшись на локте, глядел на нее пристально, как чужой. У нее упало сердце.

«Фу, как неловко, как глупо», — подумала она, поспешно отряхая платье, села на песок, раскрыла зонтик и за его защитой до слез покраснела.

Девочки с крабом убежали далеко вдоль воды. Стабесов покорчась на песке и проговорил, растягивая слова:

— Я глядел на вас и думал: когда-то поэты назвали женщину совершенным созданием природы. Это, конечно, банально, но доля истины есть (он так и выразился: «доля истины»). Когда женщина входит в пейзаж, то природа меняется мгновенно: для зрителя она из чисто созерцательной делается, я бы сказал, игривой, ударяет по нервам, возбуждает иные эмоции.

Он вдруг захохотал, показав в углу рта золотой зуб, и поспешно добавил:

— Я шучу, конечно, милая моя Екатерина Васильевна.

Не отвечая, Екатерина Васильевна с ужасом поспешно поджала под юбку голые ноги. Когда же Стабесов потянул зонтик, чтобы взглянуть на ее лицо, она воскликнула гневно:

— Оставьте меня! — подобрала чулки, башмаки и убежала. В этот вечер они не виделись. На другой день Стабесов серьезно говорил с Екатериной Васильевной, объясняя вчерашнюю шутку своей косолапостью, смущением и прочее. Кончилось все, конечно, примирением, о размолвке не поминали.

Николай Иванович сидел на лестнице, там же, где месяц тому назад с таким неудовольствием морщился от ветра и соленой воды. Теперь море чуть рябило, и гребень каждой волны отливал синеватым цветом; по всему водному пространству раздробился этот диск солнца, и казалось, в такой именно час в головокружительном восторге Икар привязал крылья, скрепленные воском, и полетел над морем к истоку жизни, к солнцу.

Сзади подошла Екатерина Васильевна и сказала:

— Смотрите, парус.

Наклонившись слегка, скользя по отблескам черным силуэтом, вынырнул к берегу баркас под косым татарским парусом. Николай Иванович сказал:

— Можно целыми часами сидеть, и в глаза, в уши, через все поры льется эта вечная жизнь. Я понимаю — «Царствие Божие на земле»: бессмертие должно осуществиться здесь на земле, — каждая минута станет вечностью в моем переживании.

Екатерина Васильевна села на ступеньку рядом и, облокотясь на колени, опустила подбородок на кулачки. За эти три дня, должно быть, после ловли крабов, у нее появилось новое выражение — строгость, точно она вся была вымыта студеной водицей. Она избегала длинных бесед с Николаем Ивановичем или слушала его рассеянно. Он долго глядел на ее изящный профиль; несколько асснушек делали ее совсем юной.

— Как это ни смешно, а я вас побаиваюсь, — проговорил он, — если бы не было во мне этого смешного страха, я бы сказал вам одну вещь.

Тогда она сердито затрясла головой, продолжая глядеть на приближающийся парус. Николай Иванович усмехнулся:

— Это находится в связи с моим ощущением всей жизни. Все равно я должен сказать, это необыкновенно важно для меня.

Екатерина Васильевна вдруг перебила его, все еще не поворачивая головы

— Вы эгоист, самый отчаянный, какого я только видела, — емлюс зазвенел, — даже не эгоист, а нелепый книжный человек.

Николай Иванович изумился, спросил, что это значит; не получив ответа, пожал плечами и сидел, притворяясь обиженным, — руки у него понемногу начали дрожать. Прошло несколько минут, Екатерина Васильевна сказала весело:

— Теперь я знаю, чья это лодка, — брата вашего караульщика, татарина Мамай-хана, хотя он никакой не хан, а просто рыбак. Поедем кататься.

Она быстро поднялась и сбежала вниз к морю. Николай Иванович следил за ее легкой походкой, за батистовым белым платком, разлетающимся на ветру; она говорила с рыбаком, потом обернулась, подняла руку и помахала. Стабесов проворчал: «Скажи пожалуйста, то эгоист, а то... Ах ты, Господи», — и полез вниз, придерживаясь за перила.

Мамай-хан ослабился, увидев его, положил доску с кормы на берег и помог обоим взойти на баркас.

Сначала нужно было идти на веслах. Отъехав от берега, поставили парус, лодка наклонилась, и волны, журча, забились о борт.

Мамай-хан, сдвинув на затылок барашковую шапочку, сидел у руля. Ватные, с курдюком, штаны его были закатаны на жилистые ногах до колен, через жилет — пущена медная цепочка с амулетами; изрытое оспой, дочерна загорелое лицо — равнодушно ко всем превратностям; когда ветер покрепче натянул парус и мачта заскрипела, он оскалил белые зубы и цикнул в воду. Говорят, во время войны Мамай-хан возил на баркасе контрабанду из Константинопольского поля — табак, шелк, оружие. Он был сыном этой скалистой, омываемой морем, сейчас цветущей и равнодушной к смерти земли, которая в последние дни открылась глазам Стабесова.

Николай Иванович потрогал бороду; было мимолетное чувство горечи, точно его не хотят принять в игру, обозвали эгоистом; но опять близость Екатерины Васильевны перевесила все эти сложности.

Она лежала ничком на носу лодки, скрестив ноги в белых чулках, подперев растрепавшуюся голову, мечтательно глядя на волны. На спине, около шеи, там, где кончался загар, две пуговицы платья расстегнулись. Стабесов подумал: «Какое же все-таки у меня распушенное воображение». Затем прилег рядом и сказал: «Ну-с?» Она, конечно, не ответила. Чувство было совершенно точное: нагнуться и поцеловать ее в губы. С величайшим напряжением он стал придумывать начало хоть какого-нибудь разговора. В голове, из уха в ухо, по свистывал ветерок. Стабесов щипал бороду, опершись о локоть. Пролетела совсем низко чайка; волна, побольше других, плеснувшись о борт, обдала свежей пылью. И казалось — это волна так нежно пахнет, и море, и парус, и ветер пахнут теплой гвоздикой, пропитавшей платье и волосы Екатерины Васильевны.

— Милая, милая женщина, — проговорил Стабесов неестественным голосом.

У Екатерины Васильевны вздрогнули плечи — и только.

Он взял ее руку и коснулся ее холодным носом, потянувшись поцеловать в щеку, тоже пахнувшую гвоздикой. Екатерина Васильевна высвободила руку и молча продолжала глядеть на волны. Он заметил, что ее глаза полны слез.

Николай Иванович зажег две свечи в подсвечниках на столе и другие две поставил наверху комода, чтобы было светлее и праздничнее. Опустил шторы и сам накрыл чайный столик свежей

простыней, потому что скатерти не оказалось. В чемодане нашлось печенье и мармелад. Татарин принес самовар и прикрыл его заглушкой.

Окинув взглядом комнату, Николай Иванович принялся шагать, останавливаясь, чтобы закурить папиросу; он мерил худыми ногами наискось некрашенные половицы, прислушивался, усмехался, откидывал пальцами прядку волос, лезшую в глаза.

На нем был надет чистый воротник и черный галстук мягким бантом. Пенсне он снял совсем и положил на чернильницу. В блиньюриках глазах огоньки свечей расплывались желтыми пятнами, как сквозь банный туман. Все же глаза, он знал, были гораздо выразительнее без пенсне.

Давеча, на лодке, после неудачного поцелуя, Стабесов позвал Екатерину Васильевну «выпить чашку чая сегодня вечером». Она ответила коротко: «Приду». И больше ничего существенного не произошло на лодке. Сейчас было уже поздно. Екатерина Васильевна, очевидно, уложила детей и с минуты на минуту должна постучать в окно.

Цель этого приглашения была: «провести вечерок в дружеской беседе», — так формулировал Николай Иванович свое приглашение, — может быть, даже допустив мысленно небольшие какие-нибудь вольности, как развитие беседы, но и только. Всякие же «дальнейшие» мысли он сознательно обрывал, потому что «пошляком не был еще никогда» и заманивать женщин при помощи чая с мармеладом считал гнусным.

И все же сейчас было немного противно от всех приготовлений, стыдно и за мармелад и в особенности за то, что снял пенсне. «Но не всегда же быть на высоте», — подумал он и вымыл руки одеколоном.

У него не было сомнения, что Екатерина Васильевна придет. Вообще Стабесов не представлял ее помимо себя; когда думал о ней, то рядом был он сам; его воображение не удалялось вместе с нею в домик с черепичной крышей; отойдя, она словно исчезала совсем; но зато ее слова, улыбки, движения, запахи, все недосказанные прелести повторялись в памяти утомительно часто, тревожили все новой и новой остротой.

Пробило девять часов. Николай Иванович круто остановился и посмотрел в темноту смежной комнаты, где тикали часы; затем отогнул штору и выглянул в окно. Слышался мягкий шум прибоя, сильно пахло цветами и морем. На ее даче все окна были темны. «Очень странно», — пробормотал он, чувствуя, как застучало и замерло сердце, надел пенсне и вышел на волю.

Короткий закат давно отгорел, а ночь еще не вся вызвездела, не окрепла. У обрыва, на лестнице, смутно белелась сидящая фигура. Николай Иванович подошел. Она быстро повернула к нему голову, точно затрепетала, или это только показалось.

— Вот вы где, — проговорил он негромко, — а я вас жду, самовар давно остыл.

Вглядываясь в его лицо, она медленно протянула руку к перилам и поднялась. Только что она горько плакала над тем, что Николай Иванович свел всю сложность и тревогу их отношений к чашке чая, и над тем, что она согласилась пойти, и пойдет, и выпьет эту горькую чашечку, и над тем еще, что сейчас сидит одна у моря, темного и вечного, которое все так же будет шуметь и после ее смерти и после смерти всех людей.

Заслышав шаги, она едва не сорвалась со ступеней, не убежала. Николай Иванович остановился совсем близко и что-то проговорил глуховатым, взволнованным голосом. У нее упало сердце. Она пронзительно вглядывалась в этого человека — его глаза были прикрыты пенсне, в стеклышках отсвечивали звезды. И вдруг ей показалось, что в этом году он умрет — худой, жалкий, одинокий; и то, что он заманивал ее к себе пить чай, показалось очевидной, жалобной хитростью. Настала та минута, когда строгий ангел отходит от дверей... Екатерина Васильевна ждала только хоть скупого слова любви к себе... Пусть только он постучится, — хоть негромко, нежно постучится, и дверь ее радостно откроется настезь.

Екатерина Васильевна думала об этом так: «Возьмет сейчас мою руку, скажет: «Милая душа моя, люблю тебя», — и я отдам все, буду верной перед ним, перед собой, перед детьми...»

Она молчала, опустив голову. Ее рука, соскользнув с перил, повисла вдоль бедра. Но Николай Иванович в это время с огромным усилием складывал в уме фразы, в которых хотел выразить чистые намерения. Язык его точно прирос. Молчание было гибелью, — он это чувствовал и не мог двинуться с места, потому что не понимал, что происходит. И минута прошла бесплодной. Внезапно Екатерина Васильевна спросила дрогнувшим, почти суровым голосом:

— Николай Иванович, вы любите меня?

Он подвинулся, задышал и взял ее за кисть руки:

— Как вы можете спрашивать! Я перестал спать, я все время думаю о вас, я болен от этого чувства, сегодня я ждал вас, как сумасшедший... Почему вы так странно держитесь со мной? Я не умел, конечно, но во мне все горит! Вы мучаете меня, не хотите понять...

Она перебила:

— А меня вы любите?

Он выпустил ее руку, упавшую, как плеть, и потер лоб. Екатерина Васильевна тихонько начала смеяться. Николай Иванович пробормотал:

— Вы способны задушить всякое чувство. От вас, точно из погреба, такой холод.

Тогда она взяла его под руку и, увлекая к даче, сказала все с тем же смехом:

— Вот видите, милый друг, трудные разговоры нужно вести всегда в темноте, когда не видно глаз и не стыдно, — тогда люди

договариваются до самого главного. Я только спросила — любите ли? Совсем невинный вопрос, а вы рассердились. Мы с вами плохие любовники, а друзья будем хорошие. Теперь пойдёмте к маме — пить чай.

Войдя в комнату, Екатерина Васильевна рассмеялась совсем уже громко; заметила и свечи на комодике и простыню, все мелочи. Затем села к самовару и принялась хозяйничать, называя Стабесова «холостяк несчастный». Он сидел с застывшей кривой улыбкой и отвечал невпопад. Он был уязвлен, растерян, обижен, взволнован...

Наконец он возмутился:

— Мне приходится понять, что вы считаете меня за ничтожнейшего пошляка, — сказал он, глядя с омерзением на свои худые руки, — так вами истолковано мое поведение... Это ложь и чушь. Вы сбили меня с толку. Так нельзя обращаться с... с... — он мотнул бородой и пришел в ярость, — с тем, кто вас любит. Да. Я вас люблю!

Екатерина Васильевна села к нему на диван, поджала ноги и прикрыла их юбкой.

— Вот так объяснение! Хорошо, если бы я не понимала по-русски, — ответила она и откинула голову на подушки, — давайте лучше молчать.

Стабесов пофыркал носом, вытащил пустую коробку спичек и сейчас же швырнул ее к стенке, одернул жилет, повозился, затих и, наконец, покосился на Екатерину Васильевну. Она сидела с откинутой головой, красивая и грустная. Ни малейшей усмешки не чудилось на ее нежных губах. После молчания она проговорила чуть слышно:

— Ну, вот и помирились.

Всматриваясь в ее лицо, он снова почувствовал теплый запах гвоздики. Тогда он потихоньку, несмело, коснулся руки Екатерины Васильевны и спросил:

— Ну, что же?

— Как все это грустно, — прошептала она.

— Что именно?

Она не ответила... Тогда он стал думать: «Ну да, я понимаю — тебе нужен красивый зверь, чтобы схватил тебя за эти руки, сломил, измучил... Тебе и грустно, что у меня нет воловьих мускулов...»

— Ах, как это все грустно, — с неожиданным вздохом повторила она, ее губы дрожали...

Тогда Стабесов приподнялся и неловко и больно поцеловал ее в губы. Взор ее изумленных длинных глаз стал вдруг диким.

— Слушай, слушай, — зашептал Стабесов сквозь зубы и обхватил ее за плечи... Ее взволнованный голос смешался с его бормотаньем. Зеленый валик дивана соскользнул и покатился по полу. Екатерина Васильевна оторвала, наконец, от себя его руки, соско-

чила, подошла к столу... Ее лицо, залитое румянцем, точно мгновенно похудело. Светлые, холодные глаза пристально и зло глядели на Стабесова... Такой прекрасной она еще не была никогда.

— Вы дурак, — сказала она звонким голосом, — вы омерзительны... Я вам этой обиды не прощу... — Она вдруг крепко зажмурилась, из-под ресниц выступили крупные капли слез... Она стремительно подошла к двери и обернулась, уже гневная, горящими

— Вы запомните, что вы обидели меня?

Стабесов глухо, не слыша себя, проговорил:

— У меня смертельная тоска. Не уходите. Пожалейте меня.

Тогда она даже платье подобрала, кивнула растрепанной гминной вой:

— Теперь я вас ненавижу. Теперь мы не увидимся больше никогда...

И ушла. Он долго слушал, как хрустит гравий. Потом он отыскал пенсне в жилетном кармане и побрел к откосу.

Созвездия пылали по всему небу студеными синими огнями. И далеко, до самого края, отражался в морской темной воде Млечный Путь.

Стабесов сел на ступени и подпер подбородок... Земли, погруженной в темноту, не было видно. Он был здесь совсем один. Земли словно улетела туда, к звездам, и от земли, от жизни, на мгновение только поманившей прелестью и теплотой, отделяло его непостижимое пространство эфира.

Из рассказов
«ИВАНА СУДАРЕВА»

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Вот они!.. Поползли гуськом — один, другой, третий — с белым кругом, как кошачий глаз, с черным крестом... Прасковья Савишна перекрестилась, стоя за спиной Петра Филипповича. Как только загромыхали танки, он подскочил на лавку к окошку, прилип к стеклу, но, когда она перекрестилась, живо обернулся, усмехнулся редкими зубами в жесткую бородку. За танками прошли по грязной сельской улице огромные грузовики, набитые ровно сидящими солдатами. Из-под глубоких шлемов — в сером влажном свете — немецкие лица глядели пустыми глазами, тоже серые, мертвенные, брюзгливые.

Шум проходящей колонны затих. И снова стали доноситься очень далекие громовые раскаты. Петр Филиппович отвалился от окна. У него смеялись все морщины у глаз, сами глаза, чуть видные за прищуренными веками, поблескивали непонятно. Прасковья Савишна сказала:

— Господи, страх-то какой... Ну что ж, Петр Филиппович, может, теперь людьми будем?

Он не ответил. Сидел, стучал ногтями по столу, — небольшой, рыжий, с широкими ноздрями, плешивый. Прасковье Савишне хотелось заговорить об ихнем доме, но рот у нее был запечатан робостью. Всю жизнь боялась мужа, с того дня, как ее в четырнадцатом году взяли из бедной семьи в богатую старообрядческую. С годами как будто и обошлось. Этой весной, когда Петр Филиппович вернулся, отбыв десятилетний срок наказания, она опять начала его бояться, и теперь ей было это очень обидно: для чего такой страх? Он не бьет ее и не ругает, но, как ни повернись, на все у него — усмешка, все у него какие-то загадки. Прежде в доме не знали, как и книги читают, теперь он приносил из сельской библиотеки газеты и жег керосин, читая книги. Для этого привез очки с севера.

Прасковья Савишна, ничего не высказав, стала собирать обедать, накрошила капусты, луку, овощей, налила в чашку жидкого квасу и сердито кликнула детей. Обедали с заплесневелыми суха-

рями, — зерно, мука, копченая гусятина и свинина — все было припрятано на всякий случай от немецких глаз. Петр Филиппович, как обычно, раньше чем взять ложку, вытянул немного руки из рукавов, согнул их в локте и пригладил волосы ладонями, — это была у него отцовская привычка. Когда он выкинул руки, Прасковья Савишна вдруг сказала с женской непоследовательностью:

— Вывеску сельсовета-то содрали, должны теперь нам вернуться домой.

Положив ложку и подтирая фартуком слезы, она без передышки засыпала словами, — излилась в длинной, сто раз слышанной, жалобе. Петр Филиппович и дети — мальчик, такой же рыжий, как отец, и двенадцатилетняя дочь, с молочно-белым угрюмым лицом — молча продолжали хлебать крошанку. Наконец Прасковья Савишна выговорила то новое, что томило ее:

— В селе Благовещенском уголовного одного, это все говорят, — бургомистром назначили, дали ему дом на кирпичном этаже и лошадь... А у тебя, слава Богу, заслуги-то выстрадавшие...

— А и дура же ты, Прасковья Савишна, всемирная, — только и ответил на это Петр Филиппович так убежденно, что она оборвала и затихла.

На другой день пришли грузовики с немцами уже не в шлемах, а в пилотках. Офицеры заняли хороший, под железной крышей, отцовский дом Петра Филипповича, что стоял через улицу, наискось от избенки, в которой он жил сейчас; солдаты разместились по избам. Еще за несколько дней до этого почти вся молодежь — девушки и пареньки-подростки — скрылись из села: кто-то их сманил. Немцам это очень не понравилось. На дверях комендатуры и у колодца они наклеили объявление, — на двух языках, на хорошей бумаге, — правила поведения для русских, с одним наказанием — смертной казнью. Потом начались повальные обыски. Перепуганная Прасковья Савишна рассказала, что есть у них один солдат — специалист по отыскиванию спрятанных поросят: тихонько зайдет на двор и начинает похрюкивать, и — не отличишь, хрюкает и слушает. Действительно, на нескольких дворах ему откликнулись поросята, а уж так-то хорошо были спрятаны на чердаке... Уж так-то эти бабы потом плакали...

Немцы отбирали все, обчищали избы догола. Прасковья Савишна изныла, таская по ночам носильные вещи из сундука в подполье, оттуда — в золу, в подпечье или еще куда-нибудь. Наконец Петр Филиппович закричал на нее, затопал ногами: «Сиди ты спокойно или уйди, умри где-нибудь, сгинь!..» Дом их был будто под запретом, его обходили. Наконец явились двое с винтовками. Петр Филиппович надвинул на глаза каракулевый, еще отцовский, картуз и спокойно пошел между солдатами. У крыльца комендатуры он остановился и посмотрел, как длинный, в очках, вполне интеллигентного вида, немец, подтащив к себе круглолицую девочку лет четырнадцати, обшаривал ее и щупал; она испуганно подставляла

докти, шептала: «Не надо, дяденька, не надо». Он притиснул ее между колен и большими красными руками сжал ей грудь. Она заплакала. Он толкнул ее в затылок, — она споткнулась, пошла; он поправил очки и взглянул на Петра Филипповича, — не в лицо, не в глаза, а выше.

— Это и есть Петр Горшков? — спросил он, несколько задыхаясь.

Вслед за длинным немцем Петр Филиппович вошел в дом, где он родился, вырос, женился, похоронил отца, мать, троих детей; дом этот всю жизнь висел на нем, как лихо одноглазое на мужике, шипевший в горб. Стены были свежо побелены, полы вымыты; в комнате — в три окна — пахло сигарами; здесь в прежние времена по большим праздникам семья Горшковых садилась за стол. Второй немец, осторожно положив перо, взглянул на вошедшего Петра Филипповича так же выше головы и сказал по-русски:

— Снять картуз и сесть на стул у двери.

Этот немец был хорошенький, с темными усиками, с блестящим пробором; на черных петлицах — серебряные молнии (которые в древнем, руническом, алфавите обозначали буквы «с» и «с», а также главные атрибуты германского бога войны — Тора).

— Ваша биография нам известна, — заговорил он после продолжительного молчания, — вы были врагом советской власти, таким, надеюсь, продолжаете оставаться. (Петр Филиппович, с картузом на коленях, выставив бороду, глядел на господина офицера блестящими точками сквозь морщинистые щелки.) Что мы хотим от вас? Мы хотим от вас: полного осведомления о населении и особенно о связи с партизанами; чтобы вы заставили население работать; русские не умеют работать; мы, немцы, этого не любим, — человек должен работать от утра и до ночи, всю жизнь, иначе его ждет смерть; на моей родине, у моего отца, есть маленькая мельница, на ней работает собака, — она день и ночь бегаёт в мельничном колесе; собака умное животное, она хочет жить, — этого я не могу сказать про русских... Итак, вы будете назначены бургомистром села Медведовки. В понедельник вы будете присутствовать при казни двух партизан. После этого вы вступите в свои обязанности...

Петр Филиппович вернулся домой. Жена кинулась к нему:

— Ну, что сказали-то тебе? Отдадут нам дом?

— Как же, как же, — ответил Петр Филиппович, устало садясь на лавку и разматывая шарф.

— Что еще сказали-то тебе?

— Велели, чтоб ты мне баню истопила.

Прасковья Савишна осеклась, поджала губы, таращась на мужа. Но переспросить побоялась... «А хотя и верно — сегодня ведь суббота, немцы порядок любят...» Надела сапоги и пошла топить баню на берегу речонки.

Петр Филиппович хорошо попарился, напился чайку и лег спать. А еще до света его уже не было дома.

Партизаны, о которых так беспокоился хорошенький немец молниями на воротнике, имели штаб — не так далеко от села Медведовки, если считать по прямой, но попасть туда было очень трудно: дорожки и едва заметные тропинки, известные только местным людям, вели через густые заросли ельника, ольхи и другой лесной путаницы к болоту; посреди его на твердом острове помещался штаб; все подходы к нему охранялись секретами; немцы не рисковали сунуть и носу в этот лес. Зайди туда чужой человек — услышал бы он, как вдруг, где-то рядом, застучал дятел, ему далеко откликнулась кукушка, и пошли по всему лесу странные звуки — постукивание и посвисты, воронье карканье, собаке потягивание... Жутко бы стало чужому человеку...

Сегодня в безветрии моросил мелкий дождичек. В штабе партизан значительных операций не предвиделось. Небольшие группы — в три, четыре человека — ушли, как обычно: один — на разведку, другие — ставить мины на большаке. Особая группа еще стемна поджидала прохода воинского поезда. Там, по обочине железнодорожного полотна, залитого известью, чтобы обнаружить следы партизан, оттопывали каждый свои два километра немецкие часовые, угрюмо и опасно поглядывая по сторонам. В десяти шагах от них, в болотце, в осоке, под заломанными ветвями лежала наблюдательница — девушка, вооруженная карабином и двумя черными гранатами величиной в гусиное яйцо; подальше, за вывороченным корневищем, сидел мальчик, — ему пришлось видеть, как всю семью — мать, бабушку, сестренку — серо-зеленые солдаты в шлемах затолкали в сарай с сеновалом и ночью сарай запылал, и среди криков слышался голос матери... Лицо у мальчика было желтое, в старческих морщинках, он тоже не спускал глаз с немца, шагающего по полотну в глубоко надвинутом шлеме.

Когда один из часовых прошел то место, которое было намечено партизанами, за его спиной проворный паренек, в туго подпоясанной стеганой куртке, одним прыжком перескочил через полотно, держа перед собой автомат, и тотчас другой паренек, так же бесшумно, кинулся из кустов и быстрыми движениями начал подкапывать под рельс сложный и страшный снаряд.

Грохоча по лесу, показался поезд, видный весь на завороте пути; попыхивающие белые клубы дыма стлались к земле, путаясь между высокими пнями и редкими тощими березками. Огромный, приподнятый над колесами, жарко дышащий паровоз приближался, — часовые сошли с полотна, показывая, что путь свободен. Перед паровозом раздался резкий взрыв, взлетел песчаный смерч, кусок рельса, свистя осколками, отскочил в сторону; паровоз всей бурно несущейся тяжестью врезался в шпалы, сзади на его занесенный зад с треском начали громоздиться вагоны, вдвигаться один в другой, поворачиваться и тяжело опрокидываться под откос. Из них с воплями посыпались серо-зеленые человечки...

Кроме таких дел, у партизан было много и другой работы в это утро. Начальник штаба, Евтюхов, тихо беседовал с гостем, начальником конной разведки, Иваном Сударевым. Сидя около заскিরованной землянки, на сваленной сосне, под морозящим дождичком, они пили из консервных жестянок трофейное французское шампанское, воспетое еще Пушкиным. В такую сырость у обоих ныли старые раны Евтюхов рассказывал о разных трудностях и неполадках, связанных с тем, что у него не хватает сведений о готовящихся операциях врага, о том, что происходит в немецких тылах.

— Нужен глубокий разведчик, где его найти? Вот мое горе.

— Твое горе основательное, — рассудительно сказал Иван Сударев и выплеснул из жестянки остатки слабого напитка. — Без глубокой разведки отважный дерется с завязанными глазами, а это есть абсурд.

Во время этого разговора заколебался седой от дождя ельник, посыпаясь каплями, и появились две девушки в потемневших, насквозь мокрых гимнастерках, в коротких юбках, в больших сапогах. Держа в руках винтовки с приткнутыми штыками, они вели Петра Филипповича Горшкова. Глаза у него были завязаны ситцевым платком, он шел, протянув перед собой руки. Девушки, перебивая одна другую и оправдываясь, рассказывали, что этот человек взят ими в трех километрах отсюда и непонятно, как он пробрался через секреты.

— Это жирный карась, — сказал Иван Сударев начальнику штаба. — В Медведовке я у него раз ночевал, умен и хитер, интересно, что он скажет.

Петру Филипповичу развязали глаза, девушки, перекинув за спину винтовки, с неохотой отошли от него. Петр Филиппович поднял голову, глядя на за туманенные вершины леса, вздохнул:

— К вам, собственно, я и шел, дело у меня к вам...

— Любопытно, какое у вас ко мне может быть дело, — ответил начальник штаба, пристально и холодно глядя на него. — Немцы, что ли, обижают?

— Наоборот, немцы меня не обижают... Я же десять лет отбывал наказание за вредительство.

— Вам известно, Горшков, что вот вы — незванный — пробрались сюда, но обратно трудно вам будет вернуться?

— Как же, известно... Я и шел на смерть...

Начальник штаба переглянулся с Иваном Сударевым и подвинулся на бревне:

— Да вы сядьте, Горшков, будет удобнее разговаривать. Зачем же вы избрали такой сложный способ для самоубийства?

Петр Филиппович сел на бревнышке, сложил руки под животом...

— Принял, принял в расчет, что вы мне не поверите... Податься было некуда — вчера вызвали меня и, видишь, предложили должность бургомистра... У немчиков — круговая порука, вот и

меня решили связать преступлением: в понедельник должен быть при казни двух ваших партизан...

Евтюхов не усидел на бревне.

— Фу ты, черт!

У него даже брови перекосило, когда, став перед Петром Филипповичем, он сверлил глазами его непроницаемые щелки.

— Сядь, это всегда успеешь, — сказал ему Иван Сударев. Продолжайте, Горшков, мы вас слушаем.

— Наперед вот что хочу вам сказать: действительно, я был вредителем и осужден правильно. Ни в какой организации не состоял, это мне пришили, но — был зол и все... Не верил, что мои дети будут жить хорошо, в достатке, в довольстве... Что я, старик, умру со светлым сердцем, простив людям, как полагается... Что похоронят меня с честью на русской земле... Не было у меня признания... Ну, там связался с одним агрономом. Дал он мне порошки... Подумал, подумал — коровы, кормилицы, лошадки, — чем же они виноваты? Эти порошки я выбросил, этого греха на меня нет. Агроном-то все-таки попался и на допросе меня оговорил... А я молчал со зла: ладно, ссылайте...

— Странная история, — все еще не успокоившись, сказал начальник штаба.

— Чем же она странная? Русский человек — не простой человек, русский человек — хитро задуманный человек. Десять лет я проработал в лагерях, — мало, что ли, передумано? Так: страдаешь ты, Петр Горшков... Ах, извините, прибавлю только насчет дома нашего, отцовского, под железной крышей, — беспокоится у нем Прасковья Савишна, но не я, это у меня давно отмерло... За какую правду ты страдаешь? В городе Пустозерске, что неподалеку от нашего лагеря, при царе Алексее Михайловиче сидел в имее протопоп Аввакум. Язык ему отрезали за то, что не хотел молчать с отрезанным языком, сидя в яме, писал послания русскому народу, моля его жить по правде и стоять за правду, даже и до смерти... Творения Аввакума прочел, — тогда была одна правда, сегодня — другая, но — правда... А правда есть — русская земля...

— Он убедительно говорит, — сказал Иван Сударев начальник штаба. — Продолжайте, Горшков, давайте короче к делу.

— Торопиться не будем, подойдем и к делу. Немчик, офицер, вчера рассказал про свою собаку, что умное и полезное животное, чего, говорит, нельзя сказать про русских. Смеются над нами немцы-то... А? — Петр Филиппович неожиданно разжал морщины и бесцветными круглыми, тяжелыми глазами взглянул на слушателей. — Смеются они над русским народом: вон, мол, идет неумытый, нечесанный, дурак дураком, — бей его до смерти!.. Вчера другой офицерик на улице, при всем народе, шупать начал девочку, Киселеву Анютку, хорошую такую, милую девочку, задрал ей юбку, задыхается сам... Как это понять? Антихрист, что ли, пришел? Русская земля кончилась? Власть советская вооружила народ и повела в бой, чтобы перестал смеяться над нами проклятый

... немец... Становое дело вы делаете, товарищи, спасибо вам... Советская власть — наша, русская мужицкая... Свой личный счет я давно закрыл и забыл...

Петр Филиппович облокотился, прикрыл ладонью лоб под козырьком каракулевого картуза.

— Теперь — решайте... Ведите меня в лес, расстреливайте... Я готов, только, ей-богу, будет обидно... Или — верьте мне. Предлагаю: давать о них все сведения, я все буду знать, в штаб армии с ним проберусь, — хитрости у меня хватит. Работать буду смело. И смерти не боюсь, пыток не испугаюсь.

Иван Сударев и начальник штаба Евтюхов спустились в землянку и там несколько поспорили. С одной стороны, трудно было поверить такому человеку, с другой — глупо не воспользоваться его предложением. Вылезли из землянки, и Евтюхов сурово сказал Петру Филипповичу, все так же сидевшему на бревнышке:

— Решили вам поверить. Обманете, — под землей найдем...

Петр Филиппович просветлел, встал, снял картуз, поклонился: — Это счастье. Большое счастье для меня. Сведения буду посылать — куда укажете — через мою девчонку... Сынишка-то в мать пошел, слабый, а дочка, Анна, в меня, ребенок злой, скрытный.

Петру Филипповичу завязали глаза, и те же девушки увели его.

В понедельник, такой же сырой и мутный, немецкие солдаты с утра стали выгонять жителей на улицу, крича им непонятное и маша рукой в сторону сельсовета. Там, на небольшой площади, где еще недавно был палисадник со статуей Ленина, снятой и разбитой немцами, стояла гимнастика — два высоких столба с перекладиной. Теперь на ней висели две тонкие веревки с петлями.

Весь народ уже знал, что будут вешать комсомольца Алексея Свиридова, — его немцы подстрелили неподалеку от села, в орешнике, — и Клавдию Ушакову, учительницу медведовской начальной школы; ее также взяли в орешнике, когда она пыталась унести на себе Алексея Свиридова.

Солдаты, взмахивая подбородками и покрикивая, как на скотину, которую гонят по пыльному шоссе в город на бойню, теснили народ ближе к гимнастике. Дождь струился по их стальным шлемам, по морщинистым женским лицам, по детским щекам. Грязь чавкала под ногами. Только и было слышно, как кто-нибудь слабо и болезненно вскрикивал, уколотый штыком.

Показался грузовик. В нем стояла учительница, простоволосая, бледная, как покойница, черное пальто расстегнуто, руки связаны за спиной. У ног ее сидел полуживой Свиридов. Был он убедительный и горячий паренек, на селе его любили, — ничего от него не осталось, замучили, — сидел, как мешок. Позади грузовика шагали оба офицера, — длинный в очках, с фотографическим аппаратом, и хорошенький. Оба солидно посмеивались, поглядывая на русских.

Грузовик подъехал, повернулся и задом вдвинулся под гимнастику. На него вскочили двое солдат. Тогда Клавдия Ушакова, раскрыв глаза, будто от непостижимого изумления, крикнула низким голосом:

— Товарищи, я умираю, уничтожайте немцев, клянитесь мне...

Солдат с размаху ладонью закрыл ей рот и сейчас же, торопливо и неловко, начал надевать петлю через затылок на ее тонкую детскую шею.

Сидящий Алексей Свиридов закричал раздирающим хрипом:

— Товарищи, убивайте немцев!..

Другой солдат ударил его по голове и тоже начал натаскивать петлю.

В толпе все громче плакали. Грузовик резко дернул. Ноги Клавдии Ушаковой поползли, тело ее наклонилось, точно падая, и выпрямилось свободно, — она первая повисла на тонкой веревке, наклонив к плечу простоволосую голову, закрыв глаза...

На месте отъехавшего грузовика стоял Петр Филиппович, бургомистр. Весь народ с ужасом увидел, как он снял картуз и перекрестился.

Начальник штаба несколько дней после казни дожидался Горшковой девочки в условленном месте, — в сумерках, в овраге, в густом дубняке. Пришел сам Горшков. Начальник штаба весь трясся, глядя на него. Он же, присев на корточки, тихим голосом начал подробно рассказывать, как происходила казнь.

— Народ так это и понял, что ушли от нас великомученики, святые-с... Наказ их предсмертный у всех в ушах... Что же касается сведений, то будут они такие...

И он стал сообщать столь важные сведения, о которых начальник штаба и мечтать не мог. Он долго глядел широко разинутыми глазами на Горшкова:

— Ну, если ты врешь...

Петр Филиппович не ответил, только развел ладошками, усмехнулся; из картуза вынул план, где крестиками были помечены немецкие склады бензина и боеприпасов.

— Ну, это ты оставь — планы чертить, — сказал ему Евтюхов, пряча бумажку в кармашек, — запрещаю тебе строжайше, должен все держать в памяти... Никаких документов! И больше сам сюда не приходи, посылай девчонку...

Сведения Горшкова оказались точные. Один за другим немецкие склады взлетали на воздух. Угрюмая белолицая девчонка Анна прокрадывалась почти каждый вечер в овраг и передавала и важное и мало важное. Однажды она сказала, как всегда, бубнящим равнодушным голосом:

— Папаша велел сказать: получены новые автоматы, ключи от склада у него теперь, — вам первым он отпустит автоматы. Приходите завтра ночью; только наказывал: в часовых никак не стрелять, а резать их беспременно...

Петр Филиппович работал смело и дерзко. Он будто издевался над немцами, доказывал им, что действительно русский человек — хитро задуманный человек и не плоскому немецкому ограниченному уму тягаться с трезвым, вдохновенным, не знающим часто даже краев возможностей своих, острым русским умом.

Оба офицера были уверены, что нашли преданного им, как собака хозяину, смышленного человека. Жили они в постоянном страхе: под носом у них горели военные склады, происходили крушения поездов, и таких именно, в которых везли солдат или особо важные грузы; им в голову не могло прийти, например, что в доброй половине полученных из Варшавы ящиков с оружием автоматов и пистолетов уже не было и со склада из Медведовки на фронт отсылались, тщательно закупоренные, ящики с песком. Офицер, с молниями бога Тора на воротнике, не мог догадаться, что странное нападение в одну из непроглядных ночей на его дом имело целью похитить на несколько часов его полевую сумку с чрезвычайно важными пометками на карте. Сам он отделался испугом, когда среди ночи зазвенело разбитое окно, что-то упало на пол и рвануло так, — не лежи он в это время на низкой койке, случилось бы непоправимое. В белье он выскочил на улицу. По селу шла трескотня, солдаты выбегали из изб, кричали: «Партизанен!» — и стреляли в темноту. У его крыльца лежали двое зарезанных часовых. Он только наутро хватился сумки, но ее вскорости принес вместе с чемоданчиком и запачканным мундиром Петр Филиппович, — он нашел эти вещи здесь же на огороде, очевидно партизаны бросили их, уходя.

Немцам дорого обошлось бургомистерство Петра Филипповича. Все же он попался, — на мелочи, вернее, от высокомерной злобы своей к немчикам. Он похитил печать и бланк, взял со склада немецкую пишущую машинку и поехал в село Старую Буду, где партизанил отряд Василия Васильевича Козубского. Директор школы написал ему по-немецки пропуск в город, в штаб армии. Но Василий Васильевич, хотя и хорошо знал по-немецки, сделал ошибку в падеже. Это и погубило Горшкова. Его задержали и вместе с поддельным пропуском вернули в Медведовку. Оба офицера, длинный и хорошенький, не хотели верить такому непостижимому русскому коварству, но потом пришли в ярость: им все теперь стало понятно...

Это случилось в те дни, когда Красная Армия прорвала на одном из участков немецкий фронт и выбила немцев из сел и деревень. Медведовка была занята, первыми туда ворвались партизаны. На улице к Евтюхову подошла Анна, — волосы у девочки были, как колтун, забиты землей, лицо обтянутое, старушечьё, нильное, платьишко изодрано на коленях.

— Вы папашку моего ищите?

— Да, да, что такое с ним?

— Нашу избу сожгли немцы, маму, брата убили. Папашку моего четыре дня пытали, он еще сейчас живой висит, идемте.

Анна, как сонная, пошла впереди Евтюхова к прежнему горшковскому дому под железной крышей. Обернулась, с трудом приоткрыла зубы:

— Вы не думайте, папашка мой ничего **им** не сказал.

В коровьем сарае под перекладной висел Горшков, в одних подштанниках, с синими опущенными ступнями; искривленное туловище его было все исполосовано, руки скручены за спиной, ребра выпячены, с правой стороны в грудь был всунут крюк, — он висел под перекладной, повешенный за ребро...

Когда Евтюхов, крикнув ребят, попытался приподнять его, чтобы облегчить муку, Петр Филиппович, видимо уже не в себе, проговорил:

— Ничего... Мы люди русские.

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других замечен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется — у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке копит огонек, трещит печурка и люди поужили. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тыфу, бестолковый! — скажет третий, — любовь — это, когда в тебе все кипит, человек ходит вроде, как

пьяный...» И так философствуют и час и другой, куда старшина вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть. Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уже если сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «В таких делах вспоминать не охота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

«...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, — кричит, — полный газ!...» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок, — брызги! Как даст еще в башню, — он и хобот задрал... Как даст в третий, — у тигра изо всех щелей повалил дым, — пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел, — они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обогнул животел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь, — другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще — и проутюжил, — остальные руки вверх — и Гитлер капут...»

Так воевал лейтенант Егор Дремов, пока не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекли кровью и дрогнули, его танк — на бугре на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, — он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев, — слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто щупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не мешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал все время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было так раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студёный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах, село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, — при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы, — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — привалился плечом к прилолке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, — приплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки: — Жив, Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, — подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопив на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за рук ах, знающая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно — зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дальше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездите на побывку. Три года его не видала, чай взрослый стал, с усам ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинчики пшеничные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрей Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и встать, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блеснули, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: — поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, — свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его иду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти, — сегодня же.

Мать напекла пшеничных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сильным голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, — пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, — эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это, — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрывать, если это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, — что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее, и так далее — на четырех страницах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, — прибегают солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по военной форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе, — все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:

«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, но одна же она такая, но лично я — не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя! — говорит он, — Катя, зачем вы приехали? Вы того общались ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

ЧУДАКИ

РОМАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыв Мазепа с давних пор.

(«Полтава». Пушкин)

Мягко зашумевшие листья осин, возня воробьев под окном и свежий ветер, залетевший в комнату, разбудили Степаниду Ивановну. Она повернулась на бок и сейчас вспомнила не только вчерашнюю ссору, но и последние слова мужа, Алексея Алексевича: «Старуха, старая старуха».

Гневно сдвинула Степанида Ивановна подведенные с вечера узкие брови и в досаде сбила все простыни из тончайшего холста.

Шелк Степанида Ивановна не употребляла на простыни и рубашки, полагая, что электричество, находящееся в телах спящих супругов, разъединяется от шелковой ткани, и слабеет любовное влечение, о котором, несмотря на свои шестьдесят лет, заботилась Степанида Ивановна, пожалуй, даже сильнее, чем в дни молодости.

Глядя в окно на мокрую зелень ветвей, думала она о жестоких мужниных словах, сказанных с хлопаньем дверьми, когда, противно всем долголетним привычкам, ушел Алексей Алексевич спать один в кабинет.

— Не смей меня ревновать! — крикнул тогда он, топорща усы и багровея. — Гадко и гнусно. Э, да что с тобой говорить! — Отшвырнул ногою стул и распахнул дверь. — Пойми, что ты старуха, старая старуха...

«О жене вспомнил, о покойнице, — думала Степанида Ивановна. — И Софью любит потому, что с ней сходство».

Она быстро повернулась на другой бок, откинула на ногах одеяло. Свежесть утра ознобила тело.

— Нет, Алексей, — воскликнула она, — одна я для тебя, не смеешь ни о ком думать... Ах, Боже мой!

Склонясь к подушке, Степанида Ивановна замерла в отчаянии. Но сухи были ее глаза и сердце ожесточенно.

Тридцать четыре года прожила Степанида Ивановна с мужем своим, теперь генералом в отставке, раньше красавцем военным, любимцем начальников, сотоварищей и женщин, проигравшим в

карты три имения, знаменитым своими любовными и нелюбовными похождениями и в особенности женитьбой на Степаниде Ивановне.

Тогда она — девица на выданье — жила в уездном городке с отцом, помещиком, которого съел банк. Городишко был небольшое, пустынный, пыльный: дрянные деревянные домишки, выгоравшие время от времени целыми кварталами, собаки, сопливые мальчишки, чухлые палисадники, мухи — вот и весь город.

Мух же особенно было много. Отец Степаниды Ивановны Иван Африканович — охотился на них, надевая даже очки, чтобы лучше прицеливаться. Салфеткой ударял по стене, убивал их сотнями и отдавал цыплятам.

Степанида Ивановна, девица на выданье, целыми днями сидела у окна и поглядывала на пыльную улицу. От мокрого удара салфетки вздрагивала она каждый раз и, сжав маленькие губы, рассматривала, как напротив у забора стоит ободранный пес, жмурясь от солнца, или по жаре бредет акцизный чиновник, ковыряя на щеке прыщ.

— Замуж хочу! — говорила Степанида Ивановна сначала тихо, потом все громче и злее и, когда Иван Африканович входил в комнату, держа в одной руке салфетку, в другой банку с набитыми мухами, кричала ему в улыбающееся лицо: — Выдай меня замуж, старый мухобой, выдай меня замуж! Хуже будет!

Худенькое ее тело выпрямлялось, глаза становились сухи и мромны. От тяжести черных волос, подрезанных на лбу челкой, болел затылок.

Однажды, услышав звон бубенцов, Степанида Ивановна выглянула в окно и увидела тройку серых лошадей, мчавшую блестящую коляску; в ней сидел молодой офицер в гвардейской фуражке набекрень.

Офицер обернул к изумленной девушке краснощекое усатое лицо, послал воздушный поцелуй, и тройка свернула за угол, где стоял дом уездного предводителя.

Степанида Ивановна побледнела, схватилась за грудь и едва не лишилась чувств — так пронзило ее предчувствие.

На следующий день предводитель устроил бал в честь приезда офицера — племянника своего, молодого вдовца Алексея Алексеевича Брагина. Степанида Ивановна надела единственное свое нарядное платье из голубой кисеи и весь вечер следила из-за весел за Алексеем Алексеевичем, лихо отбивавшим мазурку в красном с золотыми шнурами чикчирах.

Алексей Алексеевич тоже, видимо, заметил красоту Степаниды Ивановны — и оглядывался на девушку неоднократно. Под конец бала сел рядом с ней на диванчик, вынул тонкий платок, отер прекрасный лоб свой.

Степанида Ивановна опустила было глаза, но офицер взглянул на нее так открыто, простодушно и весело, что не могло быть сомнений — его нужно полюбить как можно скорее, не теряя времени, не думая.

За стеной маленькой гостиной, где они сидели, слышались музыка, шелест и шорох платьев... И Степанида Ивановна никогда

не могла вспомнить, что ей говорил тогда красавец офицер, что она отвечала... Выпуклые серые глаза его глядели и дерзко и нежно.

От мужского здорового запаха раздулись у нее ноздри, медленно наклонясь, подставила она Алексею Алексеевичу пунцовые губы, — лишь ахнула негромко.

Хотя в двери гостиной не заглядывал ни один нос, все же минут через пять все узнали с большими подробностями, что Степанида Ивановна «целовалась».

Предводительша, желая рассеять сомнительное впечатление, велела играть русскую и сама пошла плясать с платочком, причем полмая ее грудь так подпрыгивала, что пришлось ее поддерживать сверху рукой. Предводитель, щелкнув тузом козырного короля у помещика Параканова, крикнул и сказал: «Эге, племянник не дает маху!» Иван же Африканович, папенька, стоя в закуской около спиртного, только сморкался трубой и жалобно посматривал на двух клюкавших с ним помещиков, не решаясь идти объясняться с обидчиком.

На все это Алексей Алексеевич объяснил, что готов или стреляться, или жениться, как того пожелает Степаниды Ивановны отец, но не раскаивается и при удобном случае готов опять целоваться.

Иван Африканович, папенька, услышав, что приезжий офицер готов целоваться, зарыдал и, вода носом, более похожим на огурец, чем на что-либо другое, по синему мундиру красавца Брагина, шептал: «Ведь я же люблю мое дитя, сироту несчастную, сделай милость, женись на ней, благодетель».

Только долго спустя догадались, что Иван Африканович свыше всякой меры «набодался» наливками, и увели его в садовую беседку спать.

Степанида Ивановна, отклонив от себя заботы хозяйки и дам, сидела в гостиной, прямая и белая, как свеча, и, как свеча, горели ее глаза, так что страшно было взглянуть. Узнав, что Брагин не отказывается от предложения, она поднялась и вышла из дому, высоко подняв голову, сжав губы. Свадьбу сыграли через неделю. Напился весь город.

Так сменила Степанида Ивановна тоскливую девичью жизнь на новую, полную страсти, роскоши и горя.

Ревновала Степанида Ивановна мужа ко всем, но больше всего к памяти первой жены его, и если бы Алексей Алексеевич говорил о той первой, сравнивал бы их обеих, поддразнивал бы свою терпешнюю супругу, все же легче было бы Степаниде Ивановне.

Но Алексей Алексеевич никогда не вспоминал имя первой жены, и даже во время ссор, когда, побледнев, с трясущимися губами, выкрикивала Степанида Ивановна: «Ты ее любишь, ты о ней думаешь... поди ищи ее...» — только пожимал плечами, гладил задумчиво каштановые усы.

Со временем ревность к той не только не сгладилась, но «перешла в характер» Степаниды Ивановны. По ночам ей вдруг начинало казаться, что та, Вера, только что была между ней и

Алексеем: невидимая и неслышная, ложилась она в постель к Степаниде Ивановне и делала свое страшное дело с мужем... Степанида Ивановна поспешно будила Алексея Алексеевича и, когда он, большой и сонный, мычал, закрывая голову одеялом, льнула к нему, вся обожженная ревностью, страстью, злостью.

Временами наступало затишье. Алексей Алексеевич, довольный миром, сидел дома в вышитых бисером туфлях и курил трубку. Но ненадолго успокаивалась горячая голова Степаниды Ивановны. Думая ли о мужниной военной карьере или о быстро уменьшающихся средствах, — Алексей Алексеевич крупно играл в карты, шла она неуклонно в своих мыслях всегда к одному и тому же пункту: в такие-то часы муж был неизвестно где, — значит... Она опускала вязанье, начинала допрашивать, ставила колкие вопросы, и, смущенный, сбитый с толку, Алексей Алексеевич сознавал, что действительно поухаживал слегка за какой-то там Варенькой.

Степанида Ивановна швырнула вязанье, заламывала руки и лилась чувствами.

Не раз Степанида Ивановна выручала мужа из беды. Алексей Алексеевич уезжал иногда в провинцию и ежедневно с пути отправлял письма, полные уверений в любви и верности.

Однажды он уехал и замолчал. Прошло три дня. Степанида Ивановна не велела никого принимать, разогнала прислугу и день и ночь ходила по комнате, как дикая кошка. Ей представлялись Бог знает что, — непереносимые ужасы.

На четвертые сутки пришла телеграмма: «Проиграл сорок тысяч, стреляюсь. Алексей».

Степанида Ивановна спокойно приказала себя одеть, взяла драгоценности, все серебро и поехала в ломбард.

Там ей выдали двадцать пять тысяч. В Дворянском банке, где был знаком директор, выдали под перезалог тульского имения еще пять тысяч, не хватало десяти. У кого достать? Степанида Ивановна била ослепшая от огласки. В этот день была минута, когда ей изменили силы.

К вечеру она решила. Накинула шубку, подошла к зеркалу и пронзительно взглянула на себя: «Хороша, хороша».

Карета, ждавшая у подъезда, помчала ее по мокрым улицам на Гагаринскую, где жил молодой, делавший — блестящую карьеру дипломат — Ртищев. Он явно всегда ухаживал за красавицей Брагиной.

Без доклада войдя в кабинет Ртищева, Степанида Ивановна затворила дверь на ключ и молча сбросила с обнаженных плеч соболью шубку.

Что произошло в кабинете у Ртищева — Степанида Ивановна никому не рассказывала. С десятью добавочными тысячами помчалась она в той же карете на вокзал, откуда на следующее утро поезд привез ее в провинциальный городишко.

Она тотчас же отыскала гостиницу, где стоял Алексей Алексеевич. Половые немало были изумлены, увидав даму в бальном платье с кожаной сумкой в руке, бегущую, как сумасшедшая, из коридору.

Половой загородил было ей дверь, но Степанида Ивановна ударила его сумочкой и вошла в номер. На ковре, на диванах, положив ноги на кресла, дремали офицеры, валялись бутылки и карты, было сизо от табачного дыма. Пробежав меж спящими, Степанида Ивановна увидела на постели мужа, он крепко спал, зажав в руке цыганский платок с нашитыми монетами. Степанида Ивановна платочек вырвала и растоптала ногами, затем сумочкой, полной денег, принялась колотить Алексея Алексеевича по щекам. Но все же была слишком рада (или чувствовала и себя отчасти не безгрешной) чтобы долго сердиться.

Когда наступила турецкая война, Алексей Алексеевич перевелся в действующую армию, и Степанида Ивановна уехала с мужем.

В походе жила она в палатке, чинила мужнино белье, ругала денщика, который так боялся барыни, что только неестественно мычал, когда она его о чем-нибудь спрашивала, давала мужу военные советы, один раз даже собственноручно выстрелила в турка, оказавшегося бабой-маркитанткой.

В палатке в час, когда горнист играл утреннюю зорю, она родила девочку, но ребенок не прожил и трех дней. На десятые сутки после родов Степанида Ивановна переезжала верхом Дунай...

Война окончилась счастливо для Алексея Алексеевича, он быстро пошел по службе, Степанида Ивановна была принята при дворе. Но волосы ее уже стали седеть, тело подсыхать, и, несмотря на удовлетворенное честолюбие, мучилась она пуще прежнего, глядя на дородную, веселую фигуру мужа, всегда окруженного хорошенькими женщинами.

Алексей Алексеевич получил генерала, но хватил его легкий ударчик, пришлось выйти в отставку, и он переехал с женой в деревню — родовую вотчину Гнилопята на луговой стороне Днепра.

Там, успокоившись от суеты, возобновил он переписку с некоторыми друзьями, в том числе с братом первой своей жены — Ильей Леонтьевичем Репьевым, отвечавшим пространными умозрительными рассуждениями о жизни и христианской любви на melancholicные письма друга.

Начитавшись этих писем, Алексей Алексеевич решил сделать Репьеву удовольствие и попросил отпустить на лето погостить в Гнилопята дочку его Сонечку, которой сам Алексей Алексеевич доводился крестным отцом.

Степанида Ивановна отлично помнила, чья была Сонечка племянница, но без особенных споров согласилась на ее приезд оттого, что все помыслы ее заняты были новым, необыкновенным делом, о котором она никому пока еще не сообщала.

Про дело это прослышала Степанида Ивановна перед отъездом в деревню от старичка шведа (приходившегося Алексею Алексеевичу дальним родственником по бабушке шведке, урожденной Вальдштрем) и теперь на свободе обдумывала план, долженствующий имя Алексея Алексеевича внести в страницы истории.

Но для выполнения этого необычайного плана надобно было много денег, состояние Брагиных сильно поиздержалось, Гнилопята

приносили тысяч пять дохода, чего вместе с пенсией только в обрез хватало на жизнь. Степанида Ивановна решила искать клад.

По берегам Днепра, в размываемых половодьем кручах, на островах, открывались время от времени богатые клады, — зарывали их с незапамятных времен и варяги, и запорожцы, и гайдамаки, и польские паны, и булавицы, — все, кто прошли по днепровским берегам. Рассказы об этих кладах слышала Степанида Ивановна от монашенок соседнего с Гнилопятами монастыря. Монашенки толком ничего не знали, но однажды одна из них сообщила, что недавно у игуменьи появился план сокровищ украинского гетмана Мазепы, собранных им для воцарения на малороссийском престоле и покинутых во время бегства со шведским королем.

Монашенка во всем этом клялась и божилась. Степанида Ивановна собралась к игуменье, но приезд Сонечки отвлек на время ее внимание на мужа и эту девушку, так похожую на портрет покойной Веры.

Вчера произошла ссора с мужем, не первая, но особенно явная для генеральши, и Степанида Ивановна, припомнив поутру все мучения долгой своей жизни, едва не ослабела духом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Боже мой, сколько тягот! Ах, Алексей, и все, все это для тебя. Неблагодарный, жестокий!

Степанида Ивановна села в кровати, натянула на колени одеяло, поправила чепец и позвонила.

Вошла горничная Люба с чашкой шоколада и серебряным носом с печеньями. У окна закричал в клетке попугай:

— Любочка!

Люба, улыбаясь, поставила поднос на столик, подошла к клетке и просунула между прутьями палец, — попугай тотчас же стал тереться о него зеленой головкой.

— Оставь попугая, — сказала генеральша, сердито глядя на молоденькую горничную — Генерал встал?..

— Их превосходительство сюда идут, — улыбаясь, ответила краснощекая Люба. — Барышня давно в столовой.

— Поддай зеркало и пуховку. Скорее же! Люба, подняв овальное в бронзовой раме зеркало, подошла и, опершись коленом на кровать, откинулась так, чтобы Степанида Ивановна, поднимавшая руки к седым буклям, могла видеть маленькое свое, с синевой и черными глазами, смуглое лицо в мелких морщинах.

Степанида Ивановна провела пуховкой по щекам, налила из хрустального флакона на плечи и руки сладких духов и карандашом отчеркнула тонкие брови...

— Теперь хорошо, ваше превосходительство, — сказала Люба. — Только бровка левая чернее вышла...

Степанида Ивановна посмотрела на круглое с поднятым носом веселое лицо горничной, перевела взор на себя, повернулась в профиль и подрисовала бровь.

В дверь постучали. Люба поспешно прислонила зеркало к кровати и побежала отворять. Вошел генерал.

Высокую его дородную фигуру свободно охватывал китель без погон, на ногах были панталоны с лампасами и бархатные туфли. Львиное, слегка насупленное лицо розовело от здоровья, полные губы добродушно улыбались. Белые, с подусниками, усы — расчесаны.

— Проснулись, ваше превосходительство, — сказал Алексей Алексеевич и заложил руки в карманы. — А ведь я недурно выспался в кабинете. А! — и, взглянув на горничную, захохотал, довольный, что победа на его стороне...

Люба выскользнула из комнаты. Алексей Алексеевич прошелся по ковру.

— С вечера у меня, ваше превосходительство, в бок немного кольнуло, а я и думаю: пусть лучше покальвает, чем упреки твои, душа моя, слушать...

Генерал прищурил один глаз, желая, очевидно, примирения, и болтал всякий вздор. Степанида Ивановна поджимала губы, ноздри у нее вздрагивали.

— Я ответственна за Софью, — вдруг ни с того ни с сего сказала она сухим голосом. — Я не допущу, чтобы ты ее целовал и сажал на колени.

Генерал сразу остановился, вынул из карманов руки.

— Она не кровная родня, чтобы относиться к тебе, как к деду, — продолжала генеральша. — Ваше с ней поведение считаю неприличным, если не...

— Молчать! — сказал генерал.

— Вчера меня старухой назвал, — не сдерживаясь более, закричала генеральша, — находишь эту девчонку слишком молодой. Вижу, вижу — она на тебя не по-родственному посматривает...

— Что? — Алексей Алексеевич начал багроветь...

Но бес генеральшин сорвался, и чем больше раздувался генерал, тем безрассуднее, ядовитее придумывала генеральша слова...

— Ох, ох! — повторял Алексей Алексеевич, оглядываясь, чтобы найти метательный предмет. Солнце блеснуло на резьбе серебряного подноса.

— Замолчи! — воскликнул генерал, хватая поднос, поднял его над головой.

— Я ее выгоню! — взвизгнула генеральша.

— Генерал, ура! — закричал попугай...

Алексей Алексеевич, целясь так, чтобы не попасть, бросил в генеральшу подносом. Печенья рассыпались по простыне. Степанида Ивановна сейчас же затихла. Генерал вышел, ударив дверь.

Когда испуг миновал, Степанида Ивановна усмехнулась, сбросила с колен печенья и, босая подойдя к двери, повернула ключ.

Генеральша была очень довольна тем, что Алексей Алексеевич едва не убил ее подносом. Вчера, увидя нежную привязанность мужа к Сонечке, решила она выдать во что бы то ни стало девушку поскорее замуж и в уме подыскала даже жениха — молодого дипломата Смолькова.

Алексей Алексеевич терпеть его не мог, может быть потому, что Смольков приходился племянником Ртищеву, с которым у генерала были старые и особые счеты, — он наотрез отказался его видеть. Степаниде же Ивановне особенно тогда захотелось выдать Сонечку за Смолькова. Теперь представлялся удобный случай: генерал будет каяться в поступке с подносом, размякнет и напишет Смолькову.

Затворив дверь, генеральша выпила шоколад, накинула пеньюар, легла на диванчик и принялась громко вздыхать и стонать: «Боже мой, боже мой!..»

Она знала, что Алексей Алексеевич будет на цыпочках подходить к двери и прислушиваться, но решила из комнаты не выходить, пока генерал не даст нужного обещания.

Алексей Алексеевич, как только выбежал от жены, отер платком пот со лба и, выпустив из надутых щек воздух, пошел по коридору в столовую, дверь в которую была из разноцветных стекол.

— Фу, как гадко! — сказал Алексей Алексеевич. — Ведь довела же человека! Фу! — Чтобы войти в столовую веселым, он помедлил около двери.

Смотря сквозь красное стекло, увидел он столовую, обитую дубом, с резными панелями, с саксонскими блюдами на стенах, и за столом — девушку, терпеливо сложившую руки в ожидании прихода деда. Сквозь стекло все это казалось красным.

Алексей Алексеевич передвинулся налево к зеленому стеклу, и комната и девушка стали зелеными. Генерал приотворил дверь и шепотом позвал:

— Сонюшка, поди-ка сюда...

Сонечка тотчас же встала и, улыбаясь, подошла. Вдвоем они стали смотреть сквозь цветные стекла.

— Фу! — опять сказал Алексей Алексеевич. — Задала мне бабушка феферу, я в нее подносом бросил, фу. — Генерал, зажмурясь, покрутил головой...

— Зачем вы не сдерживаете себя? — сказала Сонечка и поцеловала деда в плечо.

— Ну вот поди же ты! А ты что — пила кофе?

— Я вас ждала.

— А думала о чем?

Сонечка опять улыбнулась, и они сели к столу, развернули накрахмаленные салфетки. Лакей Афанасий, курносый, рыжий и нахальный, любимец генеральши, налил кофе. Генерал, мешая ложечкой, задумался.

Глядя на ласковое, вдруг опустившееся его лицо, на поднявшиеся от печального недоумения брови, пожалела Сонечка деда. Стараясь не стучать, налила она сливок в кофе, отломил кусочек сладкого хлеба, положила в рот, но уже поднятая к губам позолоченная внутри чашка задрожала в ее руке, синие глаза заволоклись слезами.

— Поди ко мне, — взволнованно проговорил генерал, привлекая Сонечку. — Не надо плакать, бабушка тебя любит и сама знает, что говорит напрасно, — у нее характер тяжеловатый, но она добрая... А ты поменьше к сердцу принимай...

— Нет, — отвечала Сонечка, качая головой, — я знаю, что мне нужно уехать отсюда.

— Да тебя никто и не отпустит. Знаешь что — идем и помиримся с бабушкой. Хорошо?

Алексей Алексеевич бодро встал, обнял Сонечку за плечи, но, должно быть, не очень верил в это «хорошо», так как замедлял шаг, идя по коридору, и уже совсем тихо постучал в дверь.

Сонечка взглянула на деда, как бы спрашивая: а что, если?.. На стук громко застонали за дверью; Алексей Алексеевич поднял брови, прошептал: «Слышишь!» — и смелее постучал в дверь.

— Кто там? — был слабый голос.

— Это мы, бабушка, — весело крикнул Алексей Алексеевич. — Отопри, пожалуйста, — и с хитрым видом мигнул Сонечке.

Но за дверью не отозвались. Потом с шумом упало там что-то, зазвенело стекло...

— Ай! — прошептала Сонечка, как котенок, но Алексей Алексеевич погрозил ей и в третий раз постучал...

Ответа не было.

— Села в бест! — сказал генерал уныло. — Надолго.

И он пошел к себе, а Сонечка поднялась наверх в антресоли, села в кресло к окну, вздохнула и открыла томик — «Вешние воды».

«Не виновата, — подумала Сонечка, — и ничего такого не сделала».

Вздохнула еще раз, но уже легче, и наклонилась над книгой, чувствуя сладкую грусть от одного только названия повести.

Сонечке шел девятнадцатый год. Светловолосое личико ее было детское, с нежным ртом, с синими, еще мало осмысленными глазами. Все же она была очень хорошенькая девушка, среднего роста, в холстинковом платье, слегка неловкая и застенчивая, но в неловкости ее было очарование здоровой прелести девятнадцати лет.

Прочтя несколько страниц, Сонечка подняла голову и поглядела в окно на сухую ветку, на которой вот уже полчаса сидела старая ворона, вертела головой.

«Вот глупая», — подумала Сонечка и, начав новую страницу, забыла предыдущее, заглянула назад, — ах, да, — и несколько раз с наслаждением прочла любимое место.

Кончилась глава, в ушах звенело, и Сонечка, глядя перед собой, уже не видела вороны: откинувшись на спинку стула, мечтала она, ставя себя на место героини. Герой всегда был один и тот же.

На нем — доверху застегнутый черный сюртук, прядь черных волос падает на белый лоб, жгучие, честные глаза ищут кого-то. Он выходит из той вон боковой аллеи, держа шляпу в руке. Помню сюртука отдувает ветер. Он ищет — кого? Он думает — о ком?

Себя Сонечка считала недостойной его — слишком глупой. Но все же герой нашел ее жгучими своими глазами. Он подошел; он говорит о возвышенном. Сонечка обмирает. Он берет ее руку. — Идем! — Ведет в беседку...

Дальнейший ход мыслей был таков, что Сонечка вставала, на цыпочках шла к умывальнику, мочила конец полотенца в холодной воде и прикладывала к вискам. Затем бывало раскаяние в грешных мыслях, но все же они повторялись все чаще и чаще, все труднее было с ними совладать.

Сегодня Сонечка отложила книгу, вынула из рабочего столика шелк, канву, наперсток, поставила ноги на скамеечку и, сжав колени, прилежно стала вышивать.

«Как же с бабушкой? — думала она. — Может быть, обойдется, а уж я все сделаю, — постараться бы с дедушкой быть меньше вдвоем».

Сквозь окно слышался стук ножей на кухне. Где-то курица, должно быть, снеся яйцо, тихо стонала — не в силах закричать. Петух разволновался и заорал, захлопал крыльями. Плелась по двору собака, наступая лапами на обрывок веревки. В безветренном, словно полинявшем небе плавал коршун, высматривая цыплят.

Скучно и томительно в июльский зной сидеть у окна, глядя на опустевший двор усадьбы. Весь народ в поле. На усадьбе остались только стряпуха, которая с утра до ночи печет ржаные хлебы, отправляемые вместе с солью, бараньим салом и пшеном в поле, или, угорев от печи, выскакивает из людской на двор и кричит благим голосом, требуя расчета и скребя волосы на голове. Но на крики ее никто не отвечает, разве приехавший с работ приказчик лениво выругается и плюнет, и она с ревом бросится назад в пекарню.

Да еще двое белоголовых мальчиков — один в штанах, другой без штанов — возьмется на куче золы, набивая золой продранный валенок.

Жарко, безветренно и тихо. Глаза у Сонечки слипаются, игла скользит из пальцев. Пойти бы к деду, да нельзя. Искупаться бы, да вода такая теплая, что по всему телу от нее зуд. Хорошо где-нибудь в густом лесу у ручья, в траве. Вода журчит. Голова у Сонечки клонится.

В полдень не легче и Алексею Алексеевичу.

Пять раз подходил он к генеральшиной двери, говоря то шутя, то ласково:

— Полно, Степочка, отвори. Ей-богу, я раскаиваюсь. А?

Заманчиво представляется ему сидеть сейчас в генеральшиной комнате: там прохладно, не то что в обращенном на юг кабинете,

где нагрелась кожа дивана от солнца, бьющего сквозь спущенную парусиновую штору, и по мокрому лицу ползают мухи.

В генеральшиной спальне можно развалиться в кресле у окна, закурить сигарку и, попивая что-нибудь прохладительное, посмеяться над давешней историей. А теперь без Степаниды Ивановны даже квасу не добьешься.

— Ей-богу, видишь: вот я и перекрестился, никогда больше не стану подносом бросать, и вообще... — в отчаянии говорил генерал, шестой раз подойдя к двери.

— Что тебе надобно? — ответила, наконец, Степанида Ивановна ледяным голоском.

— Мириться, мириться! — Алексей Алексеевич радостно потянул дверную ручку. — Ну, полно же тебе.

— Я спрашиваю: что тебе от меня надо?

Генерал опешил.

— Как что? Я думал...

— А что ты думал, когда убивал меня подносом?

— Степочка!

— Я до сих пор дрожу от страха, — может быть, ты сейчас войдешь и зарежешь меня.

— Степочка! — воскликнул Алексей Алексеевич, тоскуя в темном коридорчике. — Прости меня, я все сделаю.

— Ах, мне ничего от тебя не нужно, я скоро умру.

— Боже мой, что же тебе нужно?

Степанида Ивановна помолчала, потом сказала тихо:

— Напиши письмо Смолькову...

— Кому? — спросил генерал, хотя ясно услышал. — Кому?

— Смолькову, — громко сказала генеральша. — Я хочу, чтобы он сюда приехал.

Алексей Алексеевич нахмурился. Степанида Ивановна громко принялась стонать и сморкаться.

«Все равно, — подумал Алексей Алексеевич. — Смольков не хуже других, черт с ним, руки не отвалятся».

Так состоялось примирение, и было отослано в Петербург княгине Лизе Тугушевой политическое письмо, где говорилось, что супруги Брагины хотели бы видеть у себя Смолькова, а в Р. S. сделана пометка: гостит у нас Сонечка Репьева, милая и прелестная девушка...

Письмо отправили на почту с нарочным, и Степанида Ивановна, приласкав, наконец, растроганного супруга, приказала заложить коляску, чтобы ехать в монастырь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Монастырь лежал под горкой в густом вишневом саду. Пирамидальные тополя росли вдоль невысоких стен, сложенных из камней когда-то бывшей здесь в давние времена крепости.

У монастырских ворот стояли заколоченные балаганы для праздничной еды во время праздников. Длинные стены, фруктовый сад, келейки уходили в дубовую рощу, откуда вытекал и по сухим листьям и веткам бежал под стену и в сад студёный ключ.

В саду на полянках, очищенных от вишенника, — под грушами или яблоней, — стояли мазанные из глины, выбеленные кельи. У каждого порога лежало по камню для отдохновения, и на двери был нарисован синей краской осьмиконечный крест. В глубине сада, там, где сходились проторенные в траве тропки, над зелеными деревьями поднимались полинявшие луковицы древнего храма с желтыми крестами.

Теперешняя игуменья, мать Голендуха, не пожелала, чтобы монашенки жили порознь в далеко одна от другой стоящих кельях. Являлось от этого великое баловство, особенно в апреле месяце, когда сокращали службы, чтобы более оставалось времени для садовых работ. Монашенки тогда ходили, как пьяные, в черных смоляных рясах, щеки их загорали, и напевы духовных стихов смущали каждого прохожего за белой стеной, а мать Голендуха только и вымывала, говоря: «Какое же это ангельское пение? — один блуд».

Поэтому, с благословения архиерея, собственным иждивением был построен деревянный дом близ церкви... В одной половине стояла трапезная, а в другой — кельи игуменьи, а в другой — кельи сестер.

— Пусть их на курей посмотрят, — говорила мать Голендуха. — Куры всегда ногой в навозе зерно найдут, значит имеют настоящую веру. А мои-то: подай им того, сего — пирогов да мученых яблоков, а сами только и норовят о скоромном шептаться.

О пастве мать Голендуха мнения была неважного:

— Тоже вот в прошлое Христово воскресение сестра Клитимья двадцать пять яиц за раз съела, — двадцать ведь пять... Собор вали. Я ее стыдить: как, говорю, с таким брюхом на тот свет полезешь? Ничего, отдышалась, — чистая корова, прости, Господи!

Росту мать Голендуха была небольшого, но сложения тучного. Вся насквозь она пропиталась кислым ладаном, что особенно углубляло веселость, которую испытывал, встречаясь с нею, каждый.

Монашенки боялись игуменьи, как огня. Бывало, в зимние вечера, собираясь у длинного стола трапезной вышивать воздушные бисерные кошельки, колпачки на ламповые стекла или скатерти, слушали они шурша работой, как мать Голендуха разговаривала, попивая грушевый квас:

— Что же вы, дуры, думаете, что вас всех и заберут в рай! Да ведь, не к ночи будь помянуто, дьявол должен чем-нибудь пропитать себя...

— Где уж нам! — отвечала самая шустрая из сестер и вздыхала прилично. — Нам-то хоть бы смирение показать.

— Закрой рот, — говорила мать Голендуха и стучала кружкой. — Разговоришься! За язык возьмут тебя черти, дура оглашенная, и станут держать во веки веков.

Монашенки, низко склоняясь, молчали. Мать Голендуха вытирала рот, складывала на животе руки.

— Нет, — продолжала она, — ты его побори сначала, зажми ему хвост, а потом смирение показывай... А то тра-та-та, тра-та-а, целый день: «Мать игуменья, дозвольте в лес добежать, сушняку принести». Сушняку!.. Знаю, какой сушняк собираете. Сушняк-то у вас в штанах ходит... Не видела я разве, как сестра Гликерья в ручье мужеские вретича полоскала...

Мать Голендуха открывала совершенно круглые глаза и, стуча костяшками по столу, ужасно шептала:

— Вот в старые времена задрали бы тебе ряску да на горячую плиту и посадили: грей проклятое место.

Душеспасительные беседы не занимали всех помыслов матери Голендухи. Хозяйство монастыря тревожило ее и беспокоило. Кроме ипполитового сада, обитель владела еще тремястами десятин пустошей да Свинными Овражками — неизвестно кем и когда перекопанным местом, полным щебня и камней, откуда вытекал монастырский прокладный ключ.

Всего этого едва хватало для пропитания тридцати душ и благолепия церкви, а о прикоплении денег или покупке земли нечего было и думать.

Поэтому мать игуменья благословила одну из сестер, испытанную мать Нонну, идти собирать пожертвования на храм.

Мать Нонна шла по деревням и городам быстрой поступью, всегда веселая и говорливая, собирая с крестьян по копеечке, с купцов по рублю. Память у Нонны была чрезвычайная: не только имена живущих, но дедов и прадедов их помнила она по всей Руси. Придя в город, тотчас же справлялась на базаре, кто умер, кто родит, кто сына женит, и стучалась из дома в дом, хозяйшечке предлагала просфору, без малого фунтов в пять, присовокупляя подарочек словами — не в бровь, а прямо в глаз. На купцов и старосветских дворян действовало это чрезвычайно. Полная сума была у матери Нонны.

Попивая чаек, любила рассказывать Нонна приветливым своим голосом, каких видела людей, да где какие святые иконы проявились, да кто на ком женится... Чертей видела она три раза. Один — маленький, хворый — был к ней даже привычный, звала она его не христианским, конечно, именем, а собачьим — Полканка, — очень жалела.

Возвращалась мать Нонна обыкновенно к Рождеству и приносила немало денег, но иногда пропадала года по два, забредя за Окиян. Тогда мать Голендуха, для поддержания средств, объявляла монастырский ключ целебным и продавала в склянках — три копейки за штуку, пятак пара — дивную воду.

Но недавно Господь воистину сжалился над монастырем. Сестра Клидинья, после того как на святой объелась яйцами, стеная и призывая скорую смерть в избавление от колик, открылась на духу священнику, а потом отдельно матери игуменьи, что помирает не

от своего аппетита, а оттого, что хранит страшную тайну — царинный клад, зарытый на крови.

Мать Голендуха выспросила все подробно — как сусек выскрала — и, отобрав у Клитиньи какой-то документ, возликовала в своем сердце, ожидая для монастыря великих милостей.

Сначала мать Голендуха думала сама копать клад, но, рассчитав, что денег на это не хватит, да, пожалуй, и бес там замешан, послала монашенку к генеральше Степаниде Ивановне.

Степанида Ивановна ехала в монастырь на паре вороных, которых звали — Геркулес и Ахиллес. В древности они были, может быть, героями, но теперь, неспешно волоча покойную коляску, старались не ставить кривые ноги куда помягче. И всегда, садясь на этих коней, генеральша говорила кучеру: «Смотри, держи, чтобы не разнеслись. На что кучер отвечал беспечно: «Помилуйте, не впервой».

По дороге Степанида Ивановна обдумывала политичный разговор с игуменьей. Когда показались над зеленью синие главы церквей, белые ворота и коляска мягко зашуршала по песку въезда, генеральша беспокойно задвигалась на подушках, вынула из ридикюля английскую соль и поднесла к носу.

Мать игуменьи встретила генеральшу на крыльце, приветливо кланяясь по уставу. Степанида Ивановна сложила зонт, кивком ответила на поклон и, подхватив лиловое шелковое, покрытое кружевной сеткой платье, вышла из коляски и поднялась на крыльцо.

— Благодетельница, — запела мать Голендуха, закрыв глаза, — все это вы порхаете, все порхаете, как птица-голубь, а я-то грешная, все сырею, все толстею, — так и думаю: выйду в лихой день на крылечко, оступлюсь и расколуюсь, как дыня.

При этих словах щеки у матери Голендухи расплылись, действительно став похожими на спелую дыню, что лежит, прикрытое листом, на бахче.

Степанида Ивановна села на крылечке и, глядя на пышный, сбегающий вниз вишенник, сказала со вздохом:

— Отдохнуть приехала в ваш рай земной. Устала от забот...

При этом она поглядела искоса на игуменью. Игуменья в свою очередь — также искоса — поглядела на генеральшу.

— И, какой у нас, благодетельница, рай, мы еще многих имен грешнее.

Обе женщины хитрили, и ни одна не начинала нужный разговор. С вишенника веял пахнувший смолой ветер, пролетали грузинские пчелы, а невдалеке, должно быть — из кельи, слышалось монотонное пение духовного стиха. Умиротворилась, казалось, душа пчелы, не дивится более ничему и поет только потому, что по всей земле, в каждом листе, во всем, что живет и дышит, бьется вечный, однообразный шум живых ключей.

На крыльцо из дома вышла монашенка, принесла стол, накрыла его вышитой ширинкой и поставила расписные чашки. Другая мо

нашенка принесла самовар и положила в трубу березовую ветку, чтобы дым отгонял мошек.

— Грешница, люблю чаек попить, — проговорила мать Голендуха, — но не такой это грех, как сумасшедшие капли. Вон у нас священник на Пасху наприкладывался сумасшедших капель, — водки то есть выпил, а пьет он, как насос, — и пошел служить молебен к доктору, а у доктора аптечный шкаф картинками обклеен разного веселого содержания. Поп-то повернулся к шкапу и давай кадилом махать. Доктор ему: «Батюшка, образ вон в том углу, а это непотребство; извините, что я его простыней не закрыл...» — «Это, — говорит поп, — мне все равно, я к этому отношусь неглижа». Видишь ты, до неглижа и довели его сумасшедшие капли.

Степанида Ивановна сделала губами звук «тсс...» Качнула кружевной косынкой и сказала:

— Варенье прекрасное у вас, мать игуменья. Из своей вишни варили?

— Из своей, для гостей держим хороших...

— А говорят, в этой местности клады всевозможные зарыты?

— Множество.

— Говорят, вы знаете один такой, интересно бы послушать.

От глаз игуменьи тотчас же побежали морщинки. Хитрейшие стали глазки. Грузно повернувшись на стуле, она сказала:

— Сестра Клитинья, подойди к нам.

Тотчас же к столу подошла в порыжевшей ватной рясе Клитинья. Сложив руки на груди, поклонилась, посмотрела на яства, уставлявшие стол, и, опустив желтое скуластое лицо, стала у притолки.

В глухих деревнях рождаются такие большеголовые дети, которые едят и не могут наестся. Чувство голода передается им по наследству, как иным талант. Так и у Клитиньи было желтое лицо и большой рот, полный жадности.

Степанида Ивановна со страхом и отвращением оглядела монашенку. Игуменья, степенно сунув пальцы в пальцы, молвила:

— Расскажи нам, сестра, все, что знаешь.

Клитинья облизнула губы и тихим голосом стала рассказывать все, что знала изустно от отца и деда о предке своем Осипе Кабане.

«Был он, Осип Кабан, мальчишкой о двенадцати годках. Позвали его на гетманский двор ночью и повели с двенадцатью молодыми казаками рыть подвалы в горе. Туда же им пищу приносили. Рыли они три месяца, а когда кончили рыть, подарил им гетман красные шаровары, белые свитки и каждому шапку и сказал: «Идите за мной, слуги мои, возьмите сундуки кованые, поставьте их в те подвалы. Когда все сделаете по моему слову — награжу по-царски».

Понесли они кованые сундуки. Шесть их было насыпано серебром, три — красным золотом, три — жемчугом, а Осип Кабан нес корону золотую, весом пять фунтов с четвертью.

Позади всех шел гетман Мазепа и держал острую саблю.

Дошли они до самого дальнего подвала, поставили сундуки, замуравили дверь, и приказал гетман казакам стать на колени,

вынул книгу и начал читать заклятые слова. Потом взял Мадонну, острую саблю и отрубил голову всем двенадцати казакам, а Осипу приказал завалить двери подвальные до самого входа и ставить приметы: *каменную голову, орла и четырехконечный крест*.

Послушался Осип и все выходы завалил, а сам думает: лежать ему здесь тринадцатому без головы. Стал он на колени и попросился перенести смертью прочесть «Отче наш...» Когда Осип сказал «аминь», гетман взмахнул саблей, а рука у него заостенела, — не опустить... Помнил злодей, что неправильно сотворил, и убежал из подземелья.

А Осип Кабан как преклонял на молитве колени, так и оставался на всю жизнь колченогим, чтобы не забыть Божьего чуда. Аминь.

Клетишня кончила рассказ и опять стала глядеть на еду, а Степанида Ивановна все еще слушала, — на щеках у нее выступили слезы, глаза были сухи.

— К тому имеются у нас документы и план, — сказала игуменья строго, — Осип Кабан, помирая, план оставил.

Степанида Ивановна вздрогнула и положила руки на грудь, но в силах молвить слова. Мать Голендуха, вынув из-под рясы ветхие листки синеватой бумаги, продолжала:

— Вот план и надпись: «Сей план снимал Осип Кабан, Господней милостью остался жив и руку приложил». Вот описание плана и приметы, и вот опись, что есть в сундуках... Уйди, Клетишня, — окончила мать Голендуха и, прикрыв полной рукой ветхие листки, сделала сладчайшее лицо. — А лежат сии подвалы, благодетельница Степанида Ивановна, на нашей монастырской земле, как раз в Свиных Овражках. Ни в одной лавре нет такого богатства, как у нас. Но мы не хотим земного, нет, не хотим, — гонимся за небесным: не земного ждем, а небесного жениха... При этом у матери Голендухи глаза укатились под лоб, рот раздвинулся, показав единственный передний зуб, а все лицо изобразило наглядно, как они ожидают жениха.

— Так продайте же мне Свиные Овражки! — необдуманно воскликнула генеральша и от волнения поднялась со стула.

Но мать Голендуха печально покачала головой и ничего не сказала, но было ясно, что на продажу склонить ее возможно...

С этой мыслью и уехала Степанида Ивановна из монастыря. За экипажем поднялась легкая пыль, золотистая от низкого солнца. Геркулес и Ахиллес степенно бежали по дороге, вспоминая былую славу.

Степанида Ивановна места себе не могла найти в коляске, раскрывала и закрывала зонтик, сбросила с колен плед и, оглядываясь на монастырь, шептала:

— *Корона там, его корона, сама судьба ведет меня. Ах, Алексей, если бы знал, как я вознесу тебя!*

Степаниде Ивановне казалось, что если так внезапно и просто дается в руки огромное богатство, не может не осуществиться заветная цель. Необходимо было пока скрыть даже от мужа существование клада; чтобы не дошли слухи и правительство не потребовало львиной доли. Затем достать денег для раскопок и выкупить место у монастыря.

ря. Можно продать гнилопятский заповедник и всю рожь. Потом скорее сбыть с рук Софью — помеху в такое важное время.

Степанида Ивановна сжимала пальцами виски и так сильно, что разболелась голова. Вспомнив о Сонечке и желая отогнать волновавшие мысли, генеральша подумала:

«В сущности не такого бы ей нужно мужа, как этот ветрогон Смольков. Но сделано — не воротить, а выходить замуж надо же когда-нибудь. Приеду, — приласкаю ее и бедного Алексея. Ах, глупый, глупый! Ведь все это для тебя, для твоего счастья».

Чуя дом, кони побежали под горку рысью. Околицу отворил мастух с котомкой на спине, снял шапку и долго смотрел на блестящий экипаж.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сонечка сильно перетрусилась, когда горничная Люба таинственным шепотом позвала ее к генеральше.

Сбежав по деревянной винтовой лестнице, мимоходом взглянула Сонечка в зеркало и, увидев, что щеки бледны, похлопала их ладонями. В это время дверь кабинета приотворилась, и генерал, просунув одну голову, прошептал:

— Не робей, Сонюрка, бабушка добрая, ты только молчи да ручку поцелуй.

— Хорошо, — сказала Сонечка улыбаясь. — И потом к вам побегу, расскажу. — И пошла на цыпочках по коридору.

Генеральша сидела боком к туалету, играя веером. Когда вошла Сонечка, она улыбнулась, привлекла девушку, усадила на скамеечку у ног своих и потрепала по щеке.

— Зачем ты так туго закручиваешь косы? — сказала генеральша. — Их нужно плести совсем легко.

— Хорошо, — ответила Сонечка, робея. — Я больше не буду.

— Я на тебя не сержусь, глупая, сядь сюда, я покажу, как нужно убирать волосы.

Быстро распустив Сонечкины косы, упавшие до полу, Степанида Ивановна принялась черепаховым гребнем медленно их расчесывать.

— Вся сила женщины в волосах — в них заключено электричество, и, смотри, никогда не надевай на ночь шелковых чепцов. Когда твой муж ляжет подле тебя, распусти волосы, чтобы они касались его лица: тебя он может забыть, но запах твоих волос никогда. Никогда не души их духами, волосы должны пахнуть тобой.

— Бабушка, — прошептала Сонечка, пряча лицо в рукав генеральши, — я не собираюсь замуж.

Степанида Ивановна медленно засмеялась, расчесала, заплела Сонечке две косы, обвила их вокруг лба и перевязала синей лентой.

— Теперь ты красива, — проговорила генеральша, держа ладонями Сонечкину голову. — Посмотри на меня. Ах, дитя мое! Ты женщина, тебя ждет все та же участь.

Она отошла от туалета и, шурша лиловым платьем, прилетела на диван у окна. Становилось сумеречно.

— Тебе нужно замуж, — сказала вдруг генеральша иным, инстинктивным голосом. — Ты совсем поспела, как плод.

Сонечка молча наклонила голову, Степанида Ивановна раскрыла и закрыла кружевной веер.

— Я нашла тебе подходящего мужа, он красив. Хорошо иметь красивого мужа. Но нужно иметь каменное сердце...

Вспомнив, должно быть, старое, генеральша вытянулась на диване. Шелк ее платья засвистел под ногами. Сонечка знала, что нужно сказать во всяком случае что-нибудь, но не могла пошевелиться. За окном тормозились воробьи перед сном. По путай нежным голосом назвал себя по имени. Генеральша сказала:

— Мне писали из Рима, — святой отец занемог. Что?

— Я не знаю, — растерянно пробормотала Сонечка.

— Такое горе для христианского мира. Что?

— Да, бабушка...

— Это возвышенно думать о Боге, мы все его дети...

И генеральша начала болтать деревянным голосом чепуху. Это была ее манера — светский, по ее мнению, тон, который генерал терпеть не мог и называл — «лущить горох».

Но Сонечка не знала еще этой особенности за генеральшей и была изумлена, сбита с толку и отвечала невпопад.

В сумерках маленькая генеральша казалась восковой, с нарумяненными щеками, левой рукой она покачивала раскрытый веер, притворно улыбалась...

— Когда Апраксину дали ленту через плечо, он сказал моему мужу: «Помилуйте, генерал, я не заслужил ее, право, не заслужил»; он был очень мил в эту минуту.

«Почему лента? — думала Сонечка. — Почему болен римский папа? Почему молодой муж и каменное сердце?.. Должно быть, и действительно глупа».

— Что же ты молчишь, ты глуха? — опять иным голосом спросила генеральша.

— Нет, бабушка.

— Ты не ответила — хочешь ли замуж.

— Я постараюсь...

— Что постараюсь?..

— Я не знаю...

— Хорошо, ступай к себе. Я все решу за тебя. Я не зла тебе хочу, но счастья.

Притворив дверь спальни, Сонечка перекрестилась — слава Богу, обошлось! — и пошла к Алексею Алексеевичу в кабинет.

Алексей Алексеевич лежал на турецком диване, держа у рта длинную трубку. Над диваном, на ковре, было в порядке развешано

невозможное оружие — кольчуги, щиты, копья, ружья, сабли, пистолеты. На окне спущена парусиновая штора.

Сонечка вошла и улыбнулась. Генерал, подняв трубку, сказал: — А я сейчас думал... Садись-ка рядом... А я сейчас думал и решил: наша русская сабля имеет преимущество против турецкого ятагана, вон видишь того — кривого.

Сонечка, аккуратно сложив руки на коленях, подняла на Алексея Алексеевича синие рассеянные глаза.

— У ятагана есть достоинства — он сам режет, саблю же надо рубить при ударе к себе. Но зато я могу колоть, а ятаганом не уколешь.

Генерал встал с дивана и показал выпад и защиту тем и другим оружием.

— Поняла? Об этом-то я, мой друг, хочу написать статейку.

Он сел опять, вытер лоб и, взяв Сонечкины руки в большие свои ладони, спросил ласково:

— Помирились с бабушкой?

— Помирились, — ответила Сонечка кротко.

Генерал покрутил ус, ему хотелось до конца высказаться.

— Вот пример: еду я близ крепостной стены, и наскакивает на меня преогромный турок с кривым ятаганом. Я выстрелил, промахнулся. Он меня — ятаганом, я его — саблей; он — рубить, я — колоть. Что же думаешь — лошадь моя Султанка выручила, схватила турка зубами за ногу, завизжал он, я в это время и проткнул его в живот.

— Вот ужас! — Сонечка вздрогнула. — Вам не было страшно?

— Страшно не было, но потом все чудилось, что я разрезал лимон.

Алексей Алексеевич, удовлетворенный, что исчерпал вопрос о саблях, похлопал Сонечкины руки.

— Ну, а теперь расскажи, как вы с бабушкой порешили. Сва- тала она тебя?

Глаза Сонечки испуганно раскрылись.

— Вы серьезно, дедушка? Но я не знаю, мне не хочется замуж.

Алексей Алексеевич привлек к себе ее светловолосую голову и говорил, поглаживая:

— Ты права, деточка, для тебя это очень серьезный шаг. И в этом и во всех движениях ты похожа на покойную Верочку. Бывало, она так же... Вспоминаешь и думаешь, — было нам хорошо. Мы нежно и свято любили. А знаешь, как венчались?.. В деревенской церкви зимой. Все окна завалило снегом, и церковка дрожала, — такая разыгралась пурга. Потом у Ильи Леонтьевича, твоего отца, был пир, а вечером нас отправили на санках ко мне в имение. Верочкин сват, Степан Налымов — тучный был старик, — стал, по обычаю, на за пятки и провожал нас все сорок верст в расстегнутой шубе, без шапки.

Алексей Алексеевич долго еще улыбался в густые усы, потом глаза его заволокло влагой.

— Тогда казалось — конца-края не хватит счастью, — оказалось замечательное что-то в жизни. А жизнь прошла, и ничего замечательного не случилось. Так-то. Ходишь и думаешь: зачем вот ходишь? Книгу возьмешь — ну что, думаешь, я в ней прочту нового, — все равно помирать надо.

— Что вы, дедушка! — воскликнула Сонечка жалобно. — Какой вы меланхолии.

— В меланхолии, в меланхолии, — ты права. Делом мне надо заняться. Вот скоро поеду рожь продавать в город. Там нет же, Сонюрка, попляшу я на твоей свадьбе. Меланхолии у меня от сумерек. А мы ее побоку. Слушай, что бабушка тебе придумала!

И он рассказал про план Степаниды Ивановны и про письмо.

— Понравится тебе Смольков — бери его в мужья, а не понравится — другого сыщем...

Сонечка ничего не сказала, только руки ее похолодели. Она представила Смолькова своим всегдашним героем...

В дверь осторожно стукнули, вошел Афанасий и, доложив, что подан ужин, зажег на письменном столе четыре свечи, соединенные вместе зеленым колпачком.

Ужин благодаря теплоте времени был накрыт на каменной террасе. Степанида Ивановна уже сидела на длинном конце стола, жеманно облокотясь на кресло.

Два канделябра тихо оплывали от легкого дуновения ночи, и множество бабочек и жучков кружилось у света, падало на белую скатерть.

Генерал тотчас же, как только сел на свое место, засунул силфетку за воротник кителя и стал есть, весело поглядывая. В подливку упал жук, Алексей Алексеевич выловил его на край тарелки.

— Солдаты говорят: в походе и жук — мясо. А ты, Степанида Ивановна, ничего не ешь?

Генеральша действительно к еде не притрагивалась. Таинственная улыбка морщила тонкие ее губы.

— Если бы ты знал, что я знаю, то и ты бы тоже не ел, — проговорила она медленно и, поставив локоть на стол, затенила ладонью лицо от света...

— Что же такое случилось?

— Алексей, мы скоро будем иметь царское богатство...

Генерал выронил вилку, открыл рот. Афанасий, поставив в это время блюдо с картофелем, отошел к двери, внимательно слушая.

— Откуда же? — спросил, наконец, Алексей Алексеевич. — Откуда же? Разве кто-нибудь умер?

— Нет, Алексей, никто не умирал. Но я нашла клад гетмана Мазепы.

Генерал сейчас же опустил в тарелку длинные усы, старался скрыть ими улыбку. Но Степанида Ивановна все-таки заметила улыбочку, сверкнула глазами и вопреки данному себе слову рассказала о кладе все, что слышала и видела в монастыре...

— Ты понимаешь теперь, Алексей, — я должна купить Свиные Овражки.

— Но это безумие, — воскликнул генерал, — покупать никому не нужные Овражки!

— Это безумие так отвечать! — крикнула генеральша.

— Что? — спросил генерал, начиная хмуриться, но Сонечка взглянула на него умоляюще, и он поспешил прибавить: — Я понимаю, ты пошутила, не будем ссориться...

— Я ничуть не шучу, — генеральша стукнула кулачком, — я должна иметь через две недели деньги для покупки. Ах, я знаю, — ты хочешь сделать меня нищей. Мало всех огорчений, которые ты мне доставил, ты вырываешь последнюю надежду.

Генерал начал пыхтеть, надуваться; быть бы ссоре, но Афанасий, почтительно наклонясь над Степанидой Ивановной, выждал многоточие в разговоре и сказал:

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, все верно, как вы изволите говорить...

— Что, как ты смеешь! — закричал генерал. — Пошел вон...

— Оставь его, Алексей. Продолжай, Афанасий...

— Когда я еще, ваше превосходительство, мальчишкой в здешних местах бегал, находили мы на Свиных Овражках монеты. Изволите посмотреть.

Афанасий вынул из жилетного кармана старинный польский мотыль и подал генеральше.

— Вот видишь, я всегда права! — воскликнула Степанида Ивановна. — Посмотри — тысяча семьсот третьего года. Спасибо, Афанасий.

Генерал сказал:

— Да, старинная. Странно!

Степанида Ивановна, воспользовавшись поворотом обстоятельств, начала мелко щебетать — «залушила горох». Передернула плечиками. «Ах, здесь сыро, на этом балконе!» И выпорхнула в дверь, поддерживаемая Афанасием под руку. Когда они ушли, генерал выпустил воздух из надутых щек: «Ерунда!» — и швырнул монету в сад.

Затем сунул руки в карманы тужурки и зашагал по веранде. Сонечка, сидя за самоваром, вглядывалась в свое изображение на изогнутой меди: подняла голову — и лоб ее вырос, сверху приставилась вторая голова; опустила — щеки раздались вширь, лицо сплющилось.

— Никакого клада нет, одна, черт знает, глупость! — закричал Алексей Алексеевич, вдруг остановившись. — А денег уйдет — фить! А попробуй, я не дать денег — все перевернет, как Мамай!

Чертыхнувшись, генерал лягнул стул и ушел попытаться разговаривать Степаниду Ивановну, пока она еще не окрепла в своем решении.

Сонечка долго сидела одна, глядя на зелененьких мошек, бабочек на скатерти, на карамору, повредившего ногу. Вздохнула, задула один из канделябров и вышла в темный сад.

В ее голове никак не укладывались разговоры и впечатления сегодняшнего дня, поэтому она и вздохнула, отгоняя не доступные ее разумению мысли. Ни звука не слышалось в липовой аллее, шелеста, только — шорох шагов по песку. Сквозь черную лип просвечивали звезды на безлунном небе. От запруженной речки Гнилопята стлался по траве еле видный туман...

«Вот идет, — думала Сонечка, — девушка в темноте; на белом платье; в саду таинственно и тихо; у девушки опущены руки и никого нет кругом; она одинока. Где же ее друг? Он не слышит. Вот скамейка. Девушка в белом садится и сжимает хрупкие пальцы. Ах, как пахнет резедой!»

Сонечка действительно села, смахнув с лица и с шеи прилипшую паутину...

«Ночной холодок пробегает по спине; девушка в заброшенном саду. Она не слышит, что он уже близко; он в шляпе, надвину на глаза. Его шаги близко... В самом деле, кто-то идет!» — искала Сонечка и прислушалась: от пруда по аллее кто-то шаг мягко ступая на всю ногу.

Шаги приближались. Испуганнее билось Сонечкино сердце, в темноте нельзя было рассмотреть идущего.

Не убежать ли? Она повернулась. Под ногой хрустнула ветка. Тот, кто шел, спросил, остановившись:

— Во имя господина Иисуса Христа дозволейте женщине беспечной ночью провести.

— Пожалуйста, — отвечала Сонечка, успокаиваясь. — Вы такая?

— А Павлина, — как будто изумясь, что ее не знают, ответила женщина и подошла ближе.

— Вы на богомолье идете?

Павлина ответила не сразу, — протянула усталым, равнодушным голосом:

— Куда нам Богу молиться, не сподобилась. Брожу все. А кто будете, — барышня?

— Барышня...

— Степаниде Ивановне внучка?

— Вы пойдете на кухню, вас покормят...

— Пойду, пойду. Спаси вас Господь...

Но Павлина не двигалась. В просвет между ветвями стала видна ее обмотанная шалью огромная голова.

Сонечке было неловко сидеть молча, она встала, но Павлина вдруг подняла руку и кликушечьим высоким голосом заговорила нараспев:

— Чую дому сему великий достаток и веселье. Понаедут ловеки, будут вино пить, песни петь, плясать, а одна голубка слетит, да вспомнянется слово мое, аминь.

Сказав «аминь», поклонилась Павлина поясным поклоном и мигнула, и она пропала в темноте; хрустнули кусты, затихли мягкие шаги.

Так в доме Степаниды Ивановны появился новый человек, существенно повлиявший на судьбу дальнейших событий.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Николай Николаевич Смольков лежал в смятой постели и долго старался сообразить, что было вчера.

Вчера было очень похоже на позавчера, а позавчера на третьего дня, но случилась какая-то, помимо обычного, неприятность, и Николай Николаевич застонал, чувствуя ломоту и тошноту, — во всем теле бродило еще шампанское, а во рту будто ночевал эскадрон.

В комнате от спущенных штор было темно, и только ночник, вделанный внутрь розовой раковины, слабо освещал край столика, окурки и увядшую розу в скане.

«Вспомнить бы по порядку, — думал Николай Николаевич. — Встал я, надел коричневый костюм и этот галстук с горошком, поехал завтракать, нет, — сначала поехал к парикмахеру, потом завтракать, потом в манеж, нет, потом с визитом... Как же я в пиджаке с визитом поехал?... Ах, да, к княгине... Вот что!..»

В волнении он приподнялся на локте, но винные пары опять ударили в голову, прервав последовательность мыслей. Уткнувшись в подушку, пролежал он довольно долго, потом позвал слабым голосом (до звонка трудно было дотянуть руку):

— Тит!

Никто не ответил... Николай Николаевич, пошарив, нашел порсигар, спички и закурил. Табачный дым еще пуще затуманил мысли, но потом все-таки прояснилось, и Николай Николаевич вспомнил о княгине, вспомнил все: как вчера, после годовой разлуки, встретил Муньку Варвара, как она обрадовалась, а он хотел удрать, но это не удалось, — не удрал. Как они обедали, потом катались, потом в «Самарканде» ужинали с цыганами; как пришли какие-то офицеры с пьяным англичанином, кричавшим почему-то «батюшки, матушки»; как на столе лежали Мунькины толстые ноги и так далее, и так далее... Цыгане, шампанское, Мунькины духи... Даже сейчас ими пахли руки... Но скверное случилось после, когда в два часа возвращались на автомобиле: на углу Кировной поравнялась с ними карета, из окна выглянула сама княгиня Лиза и устроила такую гримасу, что... фу!.. фу!..

Николай Николаевич вытер мокрый лоб, привстал и крикнул:

— Тит, осел!

Вошел мрачный мальчик-грум, по имени Тит, отдернул, звеня кольцами, штору, и дневной свет залил небольшую низкую комнату; кровать из карельской березы и желтое, длинное, измятое лицо Николая Николаевича с коротко подстриженными усиками.

Николай Николаевич зажмурил глаза от боли. Тит захватил платье, ушел и вернулся, держа в руках поднос со стаканом крепкого кофе и яйцом в серебряной рюмке.

— Вчера я очень напился, Тит?

— Обыкновенно, — отвечал Тит, глядя в сторону.

— Все-таки сильнее, чем всегда?

— Пожалуй, сильнее.

— Знаешь, Тит, сколько вчера я выпил? — И Николай Николаевич принялся мечтательно перечислять сорта и марки выпитых им вчера вин.

— Вставать надо, — перебил Тит. — Французик сейчас придет.

— Сколько раз я запрещал тебе называть его французиком.

— Ладно уж...

— Дурак!..

Тит помолчал.

— Рубль тридцать копеек всего осталось вашего капитала, сказал он, — больше нет! — И, наконец, посмотрел на барини. Так-то.

Николай Николаевич поморщился. Действительно, денег больше не было, и трудно было, как всегда, доставать... Придется у Лизы просить или у дяди... Бросив окурочек на поднос, Николай Николаевич выпил кофе, потянулся и лениво спустил на коврик худые, в рыжих волосах, ноги.

— Тит, одень.

Тит надел барину гимнастическое трико на все тело, затянул живот ремнем и, поправляя кровать, сказал:

— Сегодня эта поутру приходила, толстогубая-то ваша, пришла шлогодняя.

— Ну! — воскликнул Николай Николаевич, с испугу садясь опять. — Что же ты?

— Ну, не пустил. Только она грозила обязательно еще прийти. Я, говорит, все у него в квартире перекрошу.

Смольков долго молчал, потом сказал уныло:

— Она так и сделает... Эх, Тит!

— Портной прибежал, я прогнал! Да еще этот вертлявый насчет векселя.

В прихожей позвонили. Тит пошел отпираться.

Плохо начинался сегодняшней день. Но между всеми неприятностями главная была та, что вчера ночью Николая Николаевича с публичной женщиной встретила княгиня Лиза.

Княгиня Лиза — троюродная Николаю Николаевичу тетка — являлась главной его опорой в жизни. В министерстве иностранных дел жалованье было ничтожное. Жизненные средства главным образом он добывал, переписывая векселя и посредством букиниста, которому продавал отцовскую библиотеку — диванами, по сорока рублей за диван, то есть накладывая на кожаный диванчик фоллиантов сколько туда влезет. Но основой все-таки была княгиня Лиза.

Года два тому назад Николай Николаевич увлекся ею и зашел в изъяснении чувств так далеко, что княгине пришлось заняться спиритизмом, чтобы в потусторонних откровениях найти оправдание преступной любви.

Тогда завязалась у нее со Степанидой Ивановной — в то время ярой спириткой — переписка, в которой княгиня не открыла ни имени Смолькова, ни даже земного его происхождения, но уверяла, что смущает ее некто, имя которому Эдип...

Имя это Степаниде Ивановне показалось странным, и она проверила его спиритическим сеансом два раза. Один раз вышло действительно Эдип, другой же Един. Степанида Ивановна ответила княгине письмом, в котором просила Лизу остерегаться, так как Един и Эдип — не есть ли одно из имен Люцифера?

Странно было это имя и для Николая Николаевича забывшего давно лицейский курс мифологии, но во время свиданий он все же стал называть себя Дипой, так же и подписывался в любовных записочках.

Ревновала княгиня Лиза своего любовника ужасно: не только не позволяла думать ни о ком, кроме себя, но, когда Николай Николаевич рассказывал о скачках или других невинных развлечениях, страшно сердилась, прося замолчать. Выходило, что у него — Смолькова — ни тела, ни телесных желаний нет, одна душа, и то не его.

Поэтому, вспоминая вчерашнюю встречу, морщился Николай Николаевич, мотал головой и повторял:

— Плохо, очень скверно.

В это время вошел профессор бокса — маленький француз m-g Loustaleau — и, сделав приветствие рукой, лягнул жирной ножкой: «Начнем!»

Николай Николаевич потянулся, зевая надел толстые перчатки и ткнул француза в лицо, на что тот сказал: «Очень хорошо!» — и велел присесть три раза. Потом Смольков колотил кожаный шар, который отскакивая, преобильно ударял по голове; француз показал, как нужно лягать в живот, и Николай Николаевич лягал Лустало, дверь, позвал Тита и лягал Тита.

Наконец, взмокнув так, что щеки порозовели, сел он на кровать, отдуваясь, и Тит растер его тело мохнатым полотенцем. Француз, попросив денег, ушел. Тит подал умыванье, свежее белье, выглаженный костюм, галстуки, и Николай Николаевич, одетый, бодрый и почти веселый, вышел на подъезд. Швейцар подал письмо. Он узнал почерк княгини Лизы и, болезненно поморщившись, сунул письмо в карман.

Месячный извозчик на сером рысаке понес Николая Николаевича по Галерной, повернул направо вдоль Гвардейского экипажа и налево на Морскую, где, не спрашивая, остановился около парикмахерской.

Дома Николай Николаевич не причесывался, предоставляя делать это ловким рукам парикмахера — Жана, родом из Турции, имеющего сто двадцать секретов краски для волос. Жан во время работы рассказывал свежие новости, те, что прочел в газете, и те, что сообщали утренние посетителя... Парикмахера этого Николай Николаевич звал «мой журнал» — и давал рубль на чай, сам иногда занимая у него небольшие суммы, как думал сделать и сегодня.

— Сегодня князь Тугушев заезжал, подстригали бакенбарды, — сообщил парикмахер. — Об вас спрашивали, — он тонко улыбнулся. — Вчера князь тоже в «Самарканде» был.

Николай Николаевич обернулся к нему и нахмурился, вспомнив, что нужно перехватить денег, спросил беспечно:

— Ну что ж из этого?

— Много князь смеялись, говорили, что Варвар опять в пошла.

«Тугушев не преминет доложить обо всем Лизе, черт!» — подумал Николай Николаевич и завертелся на стуле.

Парикмахер, окончив туалет, сказал: «merci!» — и крикнул «мальчик!» бородатому человеку, стоявшему у дверей с метелкой. Расплатившись и дав рубль на чай, Николай Николаевич, уже одетый, поманил парикмахера пальцем в угол:

— Понимаете, мой друг, ужасно глупо, забыл деньги дома. Что?

Парикмахер сделал серьезное лицо, быстро сунул Николаю Николаевичу двадцать пять рублей, расшаркался и сам растворил дверь.

«Дурак, — подумал Николай Николаевич. — Завтра же ему отдам весь долг». Садясь на извозчика, он вскрыл письмо от княгини Лизы.

«M-g Smolkoff, — писала княгиня, — очень прошу Вас быть у меня сегодня между тремя и четырьмя. Княгиня Тугушева».

«Начинается, — подумал Николай Николаевич, — о Господи!»

— Дмитрий, на Литейный к князю!

Князь и княгиня Тугушевы занимали вдвоем двухэтажный особняк с таким количеством комнат, зал и галерей, что было необходимо приобрести особые привычки, чтобы наполнить собою пустой дом.

Поэтому у князя было пять кабинетов: в одном он принимал, в другом писал мемуары, в третьем ничего не делал, а два остальных были приготовлены на случай, если князь получит министерский портфель. Но правительство, к удивлению Тугушевых, не спешило дать ему портфеля.

Княгиня Лиза из всех огромных и пустых комнат особенно любила в глубине дома темный закоулок, где, входя, испытывала всегда некоторый страх.

Комната эта соединялась с остальным домом через узкий коридорчик и потайную дверь. Говорили, что там, лет сто назад, один гвардейский офицер, проникнув через тайник, убил старуху — владелицу дома — и ушел, никем не замеченный. Про эту старуху будто бы написали целую историю под названием «Пиковая дама», но княгиня брезговала русской литературой и не читала повести. Комната была обита кожей, уставлена старыми диванами и единственным окном из цветных стекол выходила в глухую стену.

В полумраке, никем не слышимая, принимала здесь княгиня Лиза своего любовника и занималась спиритизмом.

Ливрейный лакей доложил Смолькову, что княгиня в приемной, и пошел вперед, распахивая двери. Николай Николаевич бросил в глаз монокль, отличающий его как молодого дипломата, сделал скучающее лицо и, втайне довольный, что объяснению помешают гости, вошел в зал, описывая букву S, как человек светский, воспитанный и желающий нравиться.

В глубине зала на невысоком помосте, покрытом сукном, сидели е. Посредине — фрейлина и кавалерственная дама графиня Арва-Ульрихстам, родная сестра княгини Лизы, налево сидел князь ушев, слегка раскрыв рот и опустив чайного цвета длинные , направо, в низком кресле, княгиня Лиза восторженно глядела сестру.

Все трое громкими голосами говорили о политике. Графиня Арва-Ульрихстам, очень толстая дама, глядя в лорнет, произносила очень громко:

— Я рекомендую *служить* царю-батюшке. Тот, кто не служит, в враг своего отечества...

— Я согласен, надо служить и служить, — так же громко отал князь. — Но я спрашиваю — разве нельзя не служить, но в полезным... Например, музыкант? — И князь раскрыл рот.

— Музыкант увеселяет общество, но не служит; кроме того, музыкант — артист, но дворянин не может быть артистом.

— Я бы мог служить, — сказал князь, — у меня есть государственный план, он таков: сначала нужно дать плетку, а потом юрму. Так поступил Петр Первый.

Столь торжественные и странные приемы князь и княгиня усивали графине каждый раз, когда она заезжала на больших их рысаках на несколько минут к сестре. Князю нужно было влияние, чтобы получить портфель или по крайней мере консию на ловлю котиков в Тихом океане. На котиков он и начал, отрицая службу, и жаловался, что русских обкрадывают на южном Востоке. Графиня поняла и указала на входящего Николая Николаевича, как на племянника Ртищева, в руках которого было нужное князю дело.

— Котики, котики, графиня, — воскликнул Николай Николаич, кланяясь, — эти животные стоят мне много крови.

Графиня поднялась.

— Ты уходишь! — жалобно воскликнула Лиза. — Приезжай, князь, ты знаешь, как ты нам дорога.

И, привстав, она вся изогнулась, голову склонила набок и, словно в забытьи, лепетала слова, прижимая к себе руку графини и алкивая...

Графиня освободилась от сестры и вышла, сопровождаемая княгиней. Княгиня Лиза словно без сил опустилась в кресло, закрыла глаза и после молчания простонала:

— Развратник!..

— Ради Бога, Лиза, — в тоске пролепетал Николай Николаевич.

— Развратник, который обманывает на каждом шагу, ничтожный человек.

Но в это время вернулся князь, морща узкий свой лоб.

— У графини государственный ум, — сказал он. — Это дипломат и деятель. Я всегда был в ней уверен.

— Ах, — проговорила княгиня, — я ее обожаю...

— Да, ш-г Смольков, — продолжал князь, — я все забв... как называется эта проволочка, после которой я войду в свои права... Ну, вот эта — с котиками. Я решил энергично приняться за котиков.

Опустив голову, он заморгал светлыми ресницами. Николай Николаевич стал объяснять дело.

— Николай Николаевич, я вас жду, — холодно сказали княгиня и вышла, кривляясь на ходу всем телом так, что едва не споткнулась о ковер. Выйдя за дверь, она схватилась рукой за грудь и прошептала: — Боже, дай мне силы перенести еще и этот удар! — понюхала кружевной платочек, надушенный густыми духами, вынула письмо Степаниды Ивановны о Смолькове и, стараясь не шуметь платьем, поспешно прошла через среднюю залу и зимний сад в темную комнату, — оставила приотворенной за собой дверь в красный коридорчик.

Волнение и гнев княгини происходили от двух причин: письмо Степаниды Ивановны и вчерашней встречи.

Вчера, возвращаясь домой, она встретила Николая Николаевича с неприличной женщиной, у которой было лицо каторжанки, ехали они в красном автомобиле. Княгиня рассердилась так, что не могла дышать, но потом цвет автомобиля навел ее на мысль, что не замешан ли тут один из злых духов, часто путавший ее во время спиритических сеансов: дух, очевидно, ревновал и, приняв личину того, кого люди называли Смольковым, захотел поспорить с княгиней. Но сегодняшние рассказы князя о «Самарканде» и еще письмо Степаниды Ивановны убедили ее, что на автомобиле ехал Николай Николаевич, что каторжница — его любовница и что сам Смольков не Эдип, а ничтожный обманщик, человек, сделанный все: из мяса и костей, и притом развратник.

— Пусть женится, — шептала княгиня, десятый раз перечитывая письмо Степаниды Ивановны, — пусть плодит детей, обмановенный, жалкий человек.

Услышав поспешные шаги Смолькова, она подняла молитвенные глаза и не пошевелилась, когда он вошел.

— Помолись о моем грешке, — прошептал Николай Николаевич, шаловливо присев на диван.

Лиза отодвинулась.

— Прочтите, — сказала она, подавая письмо.

Он сделал вид, что не замечает ее холодного тона, прочел письмо и засмеялся:

— Они хотят женить меня на этой Репьевой. Если бы они знали, Лиза...

— Вы женитесь.

— Я?.. Но я не собирался...

— Вы соберетесь, мой друг...

— Лиза, почему ты холодна?.. — Николай Николаевич надул губы, сделав вид шаловливого ребенка. — Не шути так, мне больно за нашу любовь...

— Нашей любви больше нет, мой друг...

Бледные щеки княгини порозовели, серые ее глаза подернулись влагой, и молодое еще в сумраке комнаты лицо, с неуловимым очертанием овала, осветилось словно изнутри...

Николай Николаевич в испуге отодвинулся.

— Грубые люди, — проговорила княгиня печально, — что им нужно — кусок хлеба и крепкий сон. Живите, я не из вашей породы.

«За что ты меня лишаешь всего?» — хотел сказать Николай Николаевич, но вместо этого сделал привычную при их свиданиях надутую гримасу и прошептал:

— Поцелуй Дипа...

Княгиня покачала головой.

— В моем поцелуе смертельный яд, а вам нужно жить... Истаньте! — воскликнула она, так как Николай Николаевич припал на ковер у ее ног.

— Лиза, я пошалил, прости...

— Я запрещаю, — шептала княгиня Лиза и, заплакав, откинулась назад, скользя руками по коже дивана...

Когда затем Николай Николаевич хотел подняться, Лиза удержала его голову в своих ладонях, нежно поцеловала в глаза и шепнула сквозь слезы:

— Милый мой мальчик, отдаю тебя чужим людям, так надо. Прощай!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Николай Николаевич, полагая, что Лиза простила ему грех, жестоко ошибся: княгиня не только не простила, но со странным упрямством настояла, чтобы Смольков тотчас ушел и более не возвращался, — словно несколько минут слабости только утвердили ее решение разорвать связь.

Отстранив Смолькова, княгиня подошла к потайной двери.

— Вы забыли запереть дверь, мой друг, — дрогнувшим голосом сказала она. — Нас могли слышать.

И она почти побежала вперед. Близ входа в оранжерею сидел князь, глядя на пол, и вяло трогал себя за длинные усы.

— Я показывала нашему другу комнату, где была убита старая графиня, — очень громко, повышенно проговорила Лиза.

Князь посмотрел на нее, на Николая Николаевича, но не в глаза, а пониже, и ничего не сказал и опять стал трогать усы коленными ногтями.

— Я еду сейчас к дяде, — сказал Николай Николаевич. — Я все узнаю относительно котиков и постараюсь устроить вам, князь, это дело. До свиданья. Княгиня, я ухожу, до свиданья...

Николай Николаевич ушел и, садясь на извозчика, подумал: «Вышвырнула, как котенка, дура мистическая».

— Эй, ты, — крикнул он кучеру, — на Итальянскую к Рщеву.

Иван Семенович Ртищев, сановник, дородный, преклонных лет человек, похожий лицом на льва, сидя в розовом нижнем белье в вольтеровском кресле у пылающего камина, диктовал секретарю свои мемуары.

Занятие это было ответственное и тяжелое, так как, по мнению Ртищева, его мемуары должны были произвести впечатление и потрясения в дипломатическом мире. В мемуарах все было написано в трие. Острием был сам Иван Семенович, прошедший в свое время стаж от секретаря посольства до посланника. Европа была им и члена от дворцов до спален уличных девчонок. Но, несмотря на катастрофическую ответственность и острие, мемуары Ивана Семеновича сильно напоминали приключения Казановы, чему весьма противился. Он даже отдал распоряжение секретарю — танавливать его каждый раз, когда он начнет сбиваться.

Иван Семенович запустил пальцы в бакенбарды, седые и роскошные, которые хорошо помнила Европа, и, покачивая туфли в жару камина, говорил сочным, очень громким голосом:

— ...Дефевр передал запечатанный конверт барону Р...у. В тот день барон выехал в Трувиль. Императрица купалась. В то время приближенной, ее доверенной, ее другом была девица Ламот. Стои пересечь океан, чтобы взглянуть на купающуюся Ламот.

Секретарь кашлянул. Ртищев, сердито покосившись на него, продолжал вдохновенно:

— Грудь девицы Ламот напоминала два яблока. Точнее — две половинки разрезанного большого лимона. Грудь девицы Ламот ставила корсет того времени опуститься до талии.

— Иван Семенович, — сказал секретарь, — быть может, мы опустим.

— Вы болван! — сказал Ртищев. — Грудь девицы Ламот с ила нам Севастополя... Итак...

В это время вошел Смольков. Иван Семенович повернулся к нему всем грузным телом в кресле и глядел круглыми глазами. Смольков стал спиной к камину, раздвинул полы сюртука, чтобы согреться. Но Иван Семенович эти штуки с согреванием зада понимал насквозь.

— Ты зачем ко мне пришел? — спросил он, постукивая пальцем по креслу.

— По делу о котиках, дядя. Князь Тугушев просил меня принести справки. Он, кажется, не прочь сам взять концессию.

— Ты сколько у него взял?

Николай Николаевич поморщился. Иван Семенович сказал:

— Отойди от огня, у тебя зад дымится. Этому болвану Тугушеву скажи, что он болван. И денег я тебе не дам.

Николай Николаевич оглянулся на секретаря, пожал плечами, затем стал смотреть на свои башмаки.

— Дядюшка, вы сами не раз бывали в подобных обстоятельствах.

— Что?

— Я говорю, чертовски скучно — постоянное безденежье. Я чертовски ломаю голову. Весь расчет был перехватить у вас — до пятницы. Если нет — то чертовски.

— Хорошо, — сказал Иван Семенович и сейчас же протянул руку, чтобы племянник не кинулся к нему обнимать. — Хорошо. У тебя будут деньги. Я тебя женю.

— Дядюшка, я чертовски...

— Молчи. Я не могу содержать тебя и твоих любовниц. Мой бюджет шатается от твоих долгов. Я думал о тебе все это время. Черт возьми, у меня третий день изжога от этих забот. Ты должен жениться.

— Но я не хочу.

— Молчать!

Иван Семенович поднялся во весь огромный рост и блестяще развил мысль о предстоящей женитьбе Николая Николаевича, о всех преимуществах женатого человека. Говоря, он подталкивал племянника слегка к двери, затем обнял, больно прижав его нос, и Николай Николаевич очутился в прихожей.

Николай Николаевич стоял с минуту ошеломленный. Проворчал: «Вывернулся, старый мошенник!» Медленно сошел вниз, в голову — мутно, ноги подкашивались, и велел кучеру ехать, вообще — ехать! Черт!

Николай Николаевич все же перехватил в этот день небольшую сумму. Но ресторан поглотил и сумму и остаток энергии. Кучер шагом вез Николая Николаевича домой, на Галерную.

Дом на Галерной был старый, с темной прихожей, со скрипучим паркетом, со старомодной потертой мебелью. Большая часть комнат была закрыта.

Семья Смольковых, издавна жившая в этом мрачном доме, теперь частью вымерла, частью разбрелась по свету. И все эти ветхие диваны, темные картины, скрипучие полы наводили Николая Николаевича на грустные размышления. Дом очень походил на усыпальницу.

Николай Николаевич и сам понимал, что нужна бы ему обстановка, где не стыдно принять светскую женщину. Однажды в светлую минуту он заказал даже эскиз кокетливой мебели в модном магазине, но не было денег. Денег, денег, денег, все равно сколько, все равно откуда — только бы жить беспечно, а то хоть пулю в висок!

Так раздумывал Николай Николаевич, мрачно вылезая из пролетки у подъезда своего дома. Тит отомкнул дверь, молча принял трость, пальто и цилиндр и вдруг усмехнулся углом рта...

— Что? — спросил Николай Николаевич, прошел в столовую и сел на стул. — Был кто-нибудь?..

— Что был! — ответил Тит насмешливо. — И сейчас в спальне сидит!

— Кто? — Николай Николаевич испуганно приподнялся. Она?

Тит кивнул головой. Николай Николаевич осторожно отодвинул стул и, шепча: «Скажи ей, что я уехал надолго», на цыпочках побежал в переднюю.

Но в это время дверь с треском раскрылась, и на пороге показалась коренастая рыжая молодая женщина в шляпе, с зонтом в руке.

— Ах, ты здесь? — воскликнул Николай Николаевич сладким голосом. — Как мило!

Густые брови Муньки Варвара, изломанные у висков, сошлись, ноздри короткого и тупого носа раздулись, и челюсть выдвинулась вперед, как у волкодава.

— Здесь! — протянула Мунька, и грудь ее колыхнулась. — И сундук мой здесь, жить приехала...

Николай Николаевич подвинулся к Титу и вдруг закричал:

— Вон из моего дома! Тит, гони ее в шею...

С прошлого еще года привыкла Мунька к характеру Смолькова, поэтому сейчас ни капли не испугалась, подняла зонт и ударила китайскую вазу, которая сейчас же разбилась...

— Не то еще будет, голубчик, — и Мунька проткнула зонтом картину... Затем разбила абажур, опрокинула ногою стол и остановилась, сверкая глазами. — Что? Видел?

Николай Николаевич во все время этих действий присмирел и сел на стул у двери. Тит подбирал осколки.

Характер у Муньки был решительный, такие сцены в прошлом году повторялись нередко, и Николай Николаевич, оберегая себя, обычно затихал, садился на стул и раскрывал зонт, уверяя, что идет дождик. На Муньку, как на первобытного человека, действовало это умиротворяюще, — она принималась хохотать, взявшись за живот. Но сегодня чувствовала, что Николай Николаевич не совсем в ее власти.

— Слушай, — сказала Мунька, — ты, мозгляк, с другой связался?

Николай Николаевич, не отвечая, топнул ногой.

— Что вы пристаєте? — сказал Тит. — Мало вам набезобразничали!

— Я набезобразничала! Да я еще с ним разговариваю. — Она проворно вытащила булавки и швырнула шляпу на стол вместе с зонтом и жакетом. — Идиоты несчастные! Кончено! Остаюсь! — Она поправила волосы и села.

Николай Николаевич громко вздохнул...

— Тит, — сказала Мунька, — принеси сыру, фруктов и бутылку шампанского. Хлеба не забудь...

— Денег нет, — сказал Тит мрачно.

— Честное слово, один рубль остался, — Николай Николаевич радостно подскочил на стуле.

— В таком разе, колбасы купи и водки. Поедим и в кровать... Тит не двигался. Мунька задышала сильно.

— Сходи, Тит, купи, — поспешно сказал Николай Николаевич.

Тит убежал. Мунька сообщила, что «тело тоскует, пойти корсет снять», и, шаркая башмаками, пошла в спальню. Николай Николаевич, облокотясь на колени и сложа руки ладонями вместе, сидел не шевелясь... Все на свете ополчилось против него. Господи, где же выход? Николай Николаевич одним глазом поглядывал на темную иконку в углу, не совсем уверенный, что Бог поможет... «Жениться разве на самом деле? Сонечка Репьева, наверно, глупа, толста, влюблива, — барышня из провинции. Очень, очень плохо».

Вернулся Тит с колбасой и водкой, вышла Мунька в розовом капоте, который все время запахивала, чтобы мальчишка задаром не глядел на ее прелести, и принялась за еду. Выпивала, крикала, ела колбасу, задрав ногу на колено.

Николай Николаевич глядел на Муньку, и к ненависти его при- мешивалось странное уважение перед силой девушки и здоровьем... «Жует вкусно и твердо, так что даже щекотно в скулах, и пища, на- верно, отлично переваривается в желудке; ляжет в постель и тотчас заснет, жаркая, как печь, и будет видеть глупые сны, а наутро их расскажет... Но все-таки Мунька свиная», — подумал он.

В это время позвонили в прихожей... Тит побегал отворять и сейчас же вернулся; лицо у него было испуганное и отчаянно лю- бопытное.

— Князь Тугушев! — сказал он вполголоса.

Мунька весело подмигнула. Николай Николаевич кинулся к ней, шипя: «Уйди же, уйди», затем метнулся в прихожую. Мунька проворчала: «Вот еще, у князя глаза не лопнут на меня смотреть, не чужие, слава Богу...»

В прихожей, снимая перчатки, стоял князь. Руки он Николаю Николаевичу не подал, а, глядя на вешалку, сказал по-русски: «Мило, очень мило...»

То же самое он пробормотал, войдя в столовую... Николай Ни- колаевич пододвинул стул, князь сел и слегка раскрыл рот...

— Здравствуйте, — обиженно сказала Мунька. — Не узнаете, что ли?

— Ах, это вы, крошка, я узнал. Очень мило! — Князь вынул серебряный портсигар, осторожно, как драгоценность, взял худыми пальцами папироску, но, спохватившись, положил обратно... Затем пробормотал невнятное.

— Что? — крайне предупредительно спросил Смольков, но князь, не глядя на него, показал портсигаром на Муньку.

— Нельзя ли нам одним?

Николай Николаевич сделал испуганно-сердитые глаза. Мунька пожалала плечами и ушла в спальню.

— Я принужден... — сказал князь, одутловатые щеки его под- прыгнули, он закрыл глаза. — Одним словом, я все видел и слы- шал сегодня, я принужден бить вас по лицу.

При этом он слегка поклонился. Николай Николаевич быстро поднялся, застегивая пуговицы, и стал глядеть на перстень на руке князя.

— Но это не все. Я принужден, но я этого не сделаю: и ни хочу сплетен. Вы принуждены будете уехать и как можно скорее сделать что-нибудь, жениться, например, — этим вы спасаете честь... честь... — Князь заикнулся и встал, все еще не открывши глаз. — Я вам напишу рекомендательное письмо...

Смольков поклонился. Князь открыл глаза, и бледный рот его пополз криво вбок.

— С этими котиками вы тоже мне устройте, услуга за услугу...

Николай Николаевич сделал жест, изображающий нетерпение и бешенство.

— Имею честь. Тит, проводи князя...

Князь боком вышел из комнаты, держа в отставленной руке цилиндр и трость. Николай Николаевич оторвал пуговицу и сказал:

— Стоворились они, что ли, черт возьми! Женись! Превосходно! Назло всем женюсь!

Он присел к столу и, сжимая виски, думал о себе, о княгине Лизе, о князе...

— Ох, да, Мунька, — вспомнил он и пошел в спальню.

Мунька лежала в прозрачной рубашке на кровати и, зевая до слез, рассматривала картинки во французском романе. Николай Николаевич взял книгу и швырнул ее под кровать...

— Ты что? — спросила Мунька. — Князь ушел?

— Пошла вон отсюда! — заорал Николай Николаевич. — И женюсь!

— Вот дурак, — равнодушно ответила она и повернулась спиной к Смолькову.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По травяным межам к гнилопятскому гумну тянутся, скрипя и колыхаясь, телеги, полные снопов. На гладко убитом току гудит и пылит паровая молотилка. Бабы подхватывают снопы, летящие с телег, разрезают связла серпами и подают задатчику. У него борода и волосы полны пыли, руки в голицах ходят вправо и влево, вдвигая в хрустящую пасть машины раскинутый полотном хлеб.

Барaban, пожирая колосья, глухо и ровно гудит: заторопится вдруг, когда задатчик, остановившись, отирает рукавом пот и грязь с лица своего, ухаает от поданного вновь и, пережевав, переколотив, бросает в нутро молотилки солому, зерно и пыль.

Соломотряс дребезжит, подпрыгивая, выкидывает солому ни убитый ток, девки гонят ее граблями, конный возильщик подхватывает ее доской и рысью едет к новому омету. Зерно бежит на железные грохота, просеивается сквозь сита и сыплется золотыми струйками в мешок. Соединенный вечно бегущим ремнем, попы-

хивает длинной трубой зеленый локомотив, на колесах его и на меди блестит августовское солнце... Светит оно и на жеребят, со ржанием бегающих около возов, на пестрые рубахи и платки баб, на запачканные в дегтю шаровары веселых парней и в синие глаза Сонечки, приехавшей с Алексеем Алексеевичем на молотью.

Все — запах дегтя и хлебной пыли, заглушенные воем молотилки голоса, окрики и песни знакомы Сонечке давно. Вот подъехал конный возильщик, высокий парень, остановил лошадь и, вынув кисет, свертывает папироску; генерал погрозил ему пальцем: «Я тебя, пожар делаешь!» Парень спрятал кисет и улыбнулся; лицо у него загорелое, чернобровое, ласковое. Сонечка подошла к нему и взяла вожжи: «Дай-ка, я поеду». Парень опять усмехнулся: «Не справитесь», и хлестнул лошадь, зацепив доской большую кучу свежей соломы. Сонечка стала на доску и взяла парня за ременный пояс. Солома нажала ей колени. Лошадь, влегая в хомут, поволокла и солому, и парня, и Сонечку... Девки смеялись, генерал кричал: «Смотри, не упади!» Когда доехали до омета, парень сказал: «Берегитесь, тут валко», — и въехал на вороха. Сонечка, не успев соскочить с доски, упала в солому, нечаянно увлекая за собой и парня, но он, хрустнув мускулами, поднялся, как стальной, спросил: «Что, не ушиблись?» — и, посмеиваясь, ушел за лошадей, широко расставляя ноги в синих штанах.

Сонечка осталась лежать в пахучей соломе. Опять подъехал парень и закивал ей головой, как бы говоря: «Как мы давеча-то опрокинулись», и все так же расставлял крепкие ноги, и она увидела, что он был необычайно красив собой, ласковой, о себе не знающей красотой.

Ей показалось, что все это уже было — вороха светло-желтой соломы, бархатная травка около омета, парень и рыжая лошадь в хомуте. Засвистел локомотив, призывая рабочих к обеду. Гул молотилки замолк, и явственнее стали человеческие голоса. Народ, подбирая с земли одежду, шел к стану, где курился дымок под чугунным котлом.

Поднялась и Сонечка, оправила волосы и пошла навстречу Алексею Алексеевичу.

— Что же, попробуем каши, — сказал генерал, подмигнув.

Между бочкой с водой и телегой, полной печеного хлеба, сидели в два круга — бабы и мужики. Мужчины — на корточках или подсунув под себя кизяк или одежду — ели степенно, — сначала жижу, слитую с каши и сдобренную конопляным маслом, затем кашу, мятую с салом. Старший, царапая караваем по полушубку, резал хлеб большими ломтями.

Бабы сидели прямо на земле, подогнув одну ногу, вытянув другую, — как овцы. Каши бабы не кушали, — принесли с собой кто кислого молока, кто блинов, кто луковку. Порядка у них не было — тараторили, пересмеивались. Иная — девка — гляделась в круглое зеркальце, обитое жостью, подмазывала на лице, — чтобы не загорать, — белила, ядовитую мазь. Мужики с бабами обедать брезговали.

Генерал и Сонечка влезли на телегу, где стояла бочка с кашей, полной инфузорий. Кашевар принес в небольшой чашке каши и два ломтя хлеба, густо посоленные. Сонечка стала искать глазами давешнего парня.

Он сидел на корточках и, держа ложку, медленно жевал, крепкие желваки двигались на его загорелых скулах.

«Сильный и, наверно, добрый, — подумала Сонечка. — Счастлива будет девушка, которая выйдет за него замуж. Кого он любит? И вот ты, что отвернулась? Вот ты, с зеркальцем, сероглазую?»

Сонечка внезапно встретилась глазами с парнем, усмехнулась и сейчас же покраснела. Он, как и давеча, радостно закивал головой: «Хорошо, мол, опрокинулись...» Сонечка откусила от ломтя и нагнулась над чашкой с кашей.

— А вон и бабушка едет за нами, — сказал генерал. — А у меня, знаешь, от каши изжога началась...

Сонечка взглянула на дорогу: оставляя за собой пыльное облако, быстро приближалась коляска с покачивающимся над ней красным зонтиком Степаниды Ивановны.

— Бабушка не одна, — сказала Сонечка, — с ней кто-то и белом.

Генерал, защитив глаза ладонью, всматривался.

После примирения с женой, написав письмо княгине, Алексей Алексеевич, по совести говоря, забыл о предполагающемся приезде Смолькова и обо всем, что должно было за этим последовать. Казалось невероятно, чтобы взрослый человек прискакал за тысячу верст из-за каприза старой женщины, да еще и жениться.

Но теперь, разглядывая длинное и бледное лицо Николая Николаевича, с выдавшейся вперед нижней губой, почувствовал генерал все, что скажет этот жених, все фальшивые, трескучие, петербургские слова, нужные одной только Степаниде Ивановне, и удивлялся: как это так все вышло? И смутился, не отвечая Сонечке на вопрос: кто же едет?..

«Эге, — подумал он, — мы еще посмотрим, как она выйдет из вас замуж... погоди, Степочка, отбрею я твоего жениха». И генерал, расхрабрысь, сказал:

— По-моему, с ней Смольков...

— Смольков? — И Сонечка вдруг залилась румянцем.

Коляска остановилась. Николай Николаевич, одетый весь в белую фланель, вылез из экипажа и с учтивостью помог вылезти генеральше.

Степанида Ивановна улыбнулась и, тряся головой (что, к ужасу ее, начало делаться при встрече с молодыми людьми), подняла зонтик, ступила на землю и распустила по соломе шлейф. Генерал, подбоченясь, стоял около бочки, ожидая кривляний со стороны генеральши, но она, подойдя со Смольковым, просто представила его. Николай Николаевич выставил перед собой руку лопаткой, кланяясь, как опереточный пейзаж. Генерал даже попятился, но генеральша так посмотрела на мужа, что пришлось любезно ответить на поклон.

«Ах ты, черт, вот так — пейзаж», — подумал Алексей Алексеевич. Сонечку кинуло в жар, похолодели руки, она присела, как девочка, — «макнула свечку», не поднимая глаз. Не подняла она их и тогда, когда Смольков, задержав ее руку в своей, сказал бархатным голосом:

— Как мил на вас деревенский костюм. Вы, должно быть, работали, я помешал. Я тоже хочу надеть национальный костюм и буду грабить сено.

«Какой у меня деревенский костюм? — растерянно подумала Сонечка. — Что он говорит? Грабить сено? Какое же это сено? — рожь».

Она чуть подняла глаза и увидела сначала пиджак Николая Николаевича, из такой же материи, как ее парадная юбка — фламель в полоску, потом красный галстук с цветочками и булавкой, потом высокий, так что нельзя двигать шеей, накрахмаленный воротник и гладко выбритый подбородок. Выше Сонечка не решилась посмотреть и потупилась.

— Очаровательно, — продолжал Смольков. — Работающие крестьяне. Я этого никогда не видал...

— Да! Знаете ли, работают, — басом вдруг сказал генерал и начал было выкатывать глаза на Смолькова, но Степанида Ивановна поспешно проговорила:

— Господа, едем, у нас сегодня ботвинья. Но будете ли вы кушать ботвинью, м-г Смольков?.. Ах, Петербург! Ах, большой свет!.. А мы здесь совсем опростились... Мы чернозем... Не правда ли, что?.. Ах, нужно привыкать, привыкать к простоте.

«Что это с ней? — подумал генерал, подходя к коляске. — Что-то новое. Однако этот ферт развязан».

Смольков и Сонечка сели на переднюю скамью, напротив генерала и генеральши. Коляска покатила по мягкой дороге. На повороте, около омета, Сонечка увидела давешнего парня, — он стоял с вилами и серьезно глядел на удаляющийся экипаж... Она быстро отвернулась, стала рассматривать загорелые свои руки.

«Ручищи исцарапаны, ну и пусть!»

Николай Николаевич, обращаясь ко всем троим, рассказывал, что представлял себе раньше сельское хозяйство сохой, за которой идет мужик, а помещик стоит подле на горке, крестится и молит Бога послать дождь «Я так и думал. Что?» И он захохотал деревянным смехом.

Генерал задыхался было, но генеральша больно нажала ему каблучком на сапог.

После хозяйственного разговора Смольков перескочил на восхищение природой и продекламировал небольшое французское стихотворение. Затем спросил, знает ли генеральша Собакиных, и рассказал множество новостей о Собакиных.

Алексею Алексеевичу очень захотелось спросить про генерала Собакина, но он не хотел раскрывать рта. Смольков же, как нарочно, говорил только о знакомых Собакина и перешел было к

анекдотам. Тогда генерал, надвинув огромный козырек фуражки на глаза, воскликнул:

— Сотоварищ мой, генерал Собакин, умер, жаль!

— Что вы, и не думал! — обрадовался Смольков — и рассказал и о Собакине и еще о десяти по крайней мере генералах.

Подъехали к дому, все взошли на крыльцо. Николай Николаевич снял шляпу и, сделав постное лицо, сказал:

— Со свиданьем, генерал! — и полез троекратно целовать, чему Алексей Алексеевич был несказанно удивлен, но и на этот раз покорился.

Сегодняшний приезд Смолькова застал Степаниду Ивановну врасплох.

Афанасий встретил Николая Николаевича в одной рубашке — распояскаой, в сенях мыли полы, а сама генеральша, думая, что приехали из монастыря, вышла на крыльцо в утреннем negligé.

Словом, ни в чем не удалось выдержать светского тона, которым Степанида Ивановна хотела сразу же установить со Смольковым, и, зная, что исправлять ошибки было бы смешно, поспешила представиться опростившейся помещицей. Она прослезилась, когда Николай Николаевич, войдя в дом, стал истово креститься в пустой угол и поклонился в пояс, говоря:

— Я русский человек и люблю все русское.

Поэтому она и повезла немедленно же Смолькова на гумно и всю дорогу говорила о хозяйстве. Николай Николаевич, ожидая найти две старые песочницы, нащупывал теперь подходящий том, потому что оказалось, в деревне не кланяются друг другу в ноги, не носят на шее образов и не мажут голову коровьим маслом.

Обед еще не был готов. Генеральша, поведя всех в гостиную, начала легкий разговор... Николай Николаевич положил на колени ногу, обхватил ее у щиколотки и сделал множество остроумных замечаний, но, видя, что генерал все еще хмурится, сказал со вздохом:

— Вы меня простите за болтовню, генерал, я болтаю, как и вы, ребенок.

— Гм, — сказал Алексей Алексеевич, — пожалуй, болтайте.

Николай Николаевич поднял брови. В это время Афанасий, натянувший нитяные перчатки и серую куртку, доложил: «Кушанье подано».

Степанида Ивановна взяла Смолькова под руку и повела в столовую. Стол был накрыт старым серебром и цветами. Генеральша извинилась за простоту. Смольков, прежде чем сесть, размашисто перекрестился.

— Люблю русский обычай.

Сонечка взглянула на генерала, Алексей Алексеевич толкнул ее коленом и вдруг, откинувшись на спинку стула, захохотал, тряса животом стол.

— Что, что? — спросила Степанида Ивановна, бледная, и поспешно обратилась к Смолькову: — У нас простые обычаи, мы смеемся и плачем, когда хотим...

Все же Николай Николаевич насторожился, — очень не понравился ему генеральский смех.

Сонечка еле притрагивалась к еде. Украдкой, но внимательно следила она за всеми переменами Смолькова. То смешным он ей казался, то слишком сложным. И все время она теряла ту легкую нить, по которой сущность одного человека переходит в сердце другого. Генеральша делала сердитые глаза, приказывая разговаривать. Сонечка хотела быть послушной, но не могла преодолеть застенчивости. Николай Николаевич решил пока не запугивать «захолустного птенца» и довольствовался краткими ее ответами. От хорошего вина и еды он повеселел и насмешил даже генерала. Степанида Ивановна была в восторге.

После обеда Смольков поцеловал ручку генеральши и вдруг, рассеянно подойдя с портсигаром в руках к Алексею Алексевичу, воскликнул:

— Теперь после еды и на боковую, генерал?

— Да, уж вы меня извините, — и Алексей Алексеич, рассердясь, бросил салфетку и ушел...

Генеральша нагнала его в коридоре, — Алексей Алексеич лениво брел, ведя пальцем по обоям, — и зашептала, дергая его за рукав:

— Ты, кажется, намерен известить меня своими замечаниями!

— Степочка, он дурак, — сказал генерал. — Неужели ты не видишь? Капитальный болван.

— Да, да, он жених Софьи, и прошу тебя в мои дела не вмешиваться. Понял?..

— Понял, — ответил генерал и рассердился. — Делайте, что хотите, только, пожалуйста, чтобы он не лез ко мне со своей рожей целоваться и все там прочее...

Генеральша вернулась в столовую и, взяв Николая Николаевича под руку, повела к себе.

Сонечка осталась стоять у окна, глядя перед собой пустыми глазами.

«Боже, что-то будет?»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Вот мое скромное убежище, — сказала Степанида Ивановна, введя Смолькова в спальню. — Здесь я вспоминаю друзей, гляжу на их портреты, думаю о прошлом...

Она полулегла на канапе, прикрыв платьем ноги. Николай Николаевич оглянул комнату.

На стенах висело множество портретов и миниатюр, среди которых он многих узнал. На шифоньерах и бюро стояли всевоз-

можные шкатулочки и безделушки, трогательные воспоминания. Столы, кресла и диваны были старые, с потемневшей бронзой, хранящие за обивкой засунутое когда-то письмо или платок.

— Все это напоминает кабинет моей покойной матушки, сказал Николай Николаевич, моргнув ресницами, и склонился в руке генеральши.

— Рассказывайте, рассказывайте, — томно прошептала она, что вам передала Лиза? Как вы надумали сюда приехать?..

— Я не посмел ослушаться ваших приказаний.

— Значит, вы читали письмо?

— Да.

Генеральша помолчала.

— Это мой друг и собеседник, — вдруг сказала она, показывая на попугая. — Попочка, скажи «здравствуйте». Он спит, бедный. Я очень рада, Николай Николаевич, что здесь вам нравится, и боюсь — вы будете скучать. Как вы нашли Sophie?..

— Она очаровательна...

— Правда? Милое дитя и совсем наивна. Ее отец, Илья Леонтьевич, прекрасный воспитатель, и хотя не богат, но дает за дочерью имя по банковской описи в тридцать тысяч.

При этих словах Степанида Ивановна искоса поглядела на Смолькова; он же, заметив ее взгляд, сделал слегка оскорбленное лицо. Генеральша продолжала:

— Я люблю ясность, мой друг. Любовь в шалаше — это для греков, но мы привыкли пользоваться комфортом... Что?

Смольков сделал жест, говорящий: «Увы, мы не греки!» Генеральша приподнялась немного и, положив кончики пальцев на руку Николая Николаевича, взглянула пронизательно.

— Мы старые друзья, не правда ли? Будьте со мной откровенны.

— Степанида Ивановна, — воскликнул Смольков глухим голосом, — я приехал просить руки Софьи Ильиничны, но я не уверен.

Генеральша облегченно вздохнула.

— Я так за нее боюсь, она молода, но я люблю вас милый друг, и верю. Ах, ах! — Она подняла к глазам платочек. — Любите ее, она ангел! Вы не поверите, как женщина чувствительна к ласке, семья — вот ее жизнь, а Соня...

Генеральша уже нюхала соль. Николай Николаевич, тоже рыгнул, троганный, объяснял, как страстно жаждет он домашнего очага...

В это время Люба принесла кофе и, нагнувшись, прошептала что-то Степаниде Ивановне. Генеральша улыбнулась:

— Я хочу показать вам замечательную женщину... Люба, не лите ей войти... О том, что мы говорили, пока ни слова, постигайтесь увлечь девушку, а ваше сердце, я уверена, тотчас же будет в плену. Теперь об этой женщине... Ее послал ко мне Бог, внезапно, когда я сомневалась во всем... Она появилась ночью, вошла ко мне, поклонилась в ноги и сказала: «Мать, купи Свиные Овражки...» (Я вас посвящу в мое дело...) И представьте, на следующий день приезжает игуменья и предлагает Овражки за десять

тысяч. Я немедленно совершила купчую... — В это время дверь постучали ногом. — Вот и она. Здравствуй, Павлина. Как ты спала?

Николай Николаевич был крайне изумлен, глядя на просунувшееся в дверь рябое, ухмыляющееся, похожее на спелую тыкву, курносое лицо; затем появилась и вся баба, в теплом платке и в раске, перепоясанной фартуком. Губы у бабы были такие толстые, словно только что она поела киселя с молоком. Павлина прокралась вдоль стены к Степаниде Ивановне, поцеловала ее ножку и села на ковер.

— Спала я, кормилица моя, как в раю ангелы спят: на одно крылышко лягут, другим покроются, а голову в перышки спрячут, — так и я спала.

После этих слов Павлина уставилась совершенно круглыми глазами на Николая Николаевича.

— Здравствуйте, — сказал он и поглядел на генеральшу, которая, касаясь плеча бабы, спросила:

— Знаешь, кто приехал?

— Жених, — сказала Павлина быстро. — Хватило бы на семерых, а одной достался. Великий муж...

— Откуда вы меня знаете?

— А я всех знаю.

— Она феномен, — сказала генеральша.

— Женись, женись, — продолжала Павлина. — Сон я про тебя видела. Ох, лютой сон! Ох, мать моя, муж мне предстал, аkurat на него схожий, весь огненный, силищи мужской нечеловеческой, — так я с постели и покатила без памяти.

— Это чертовски странно! — сказал Смольков.

Обрадованная генеральша сделала значительные глаза.

— Она умна — и предвидит многое. Вы ей понравились, — это хороший знак. А теперь идите в сад и разыщите вашу погубительницу. — Когда Смольков был уже у дверей, она громко прошептала: — У него крылья на ногах.

Смольков ушел. Генеральша нагнулась к бабе.

— Ну, что — каков жених, Павлинушка?

— Жеребец, мать моя. Ты не смотри, что он тощий, — в таких жил много.

— Какие ты глупости говоришь! — Генеральша закрыла глаза и принялась смеяться, тряслась всем телом. Вытерла глаза. — Ох, Павлинушка, — только бы женился.

— Женится, лопни глаза. От сладкого еще никто не отказывался. А ты вот что послушай. — Павлина потянула генеральшу за рукав. — Жениха осмотреть надо. Может, он порченный или у него где-нибудь недочет? Я тебя научу: как ему спать ложиться, — напущу я в его постель блох. Ляжет он. Вскочит. Рубашку с себя сорвет, — тогда ты и гляди. Все увидишь.

Степанида Ивановна взглянула на бабу. Всплеснула руками и долго и много смеялась. У ног ее хихикала Павлина.

Сонечка шла любимой липовой аллеей, добегающей до пруда. и повторяла в уме все слова, сказанные Смольковым. Этот человек страшил ее и привлекал тем, что был совсем непонятен. Словными, движениями, всей внешностью он замутил Сонечкин покой, как камень, брошенный в пруд.

Сонечка дошла до пруда и глядела на тихую воду. На ней плавали листочки ветел, как лодочки, бегали паучки, в глубине плавали мушкетеры, — поднимаясь, касались поверхности щекотным ртом. Летали сцепившиеся коромысла, — сели на камыш, качнулись, опять засверкали — полетели. Из-под ног Сонечки шлепнулась в пруд лигушка, — и пошли круги, колебля листья, паучков и водоросли. Вдруг мыслями ее нечаянно завладел другой образ.

«Конечно, он нечаянно меня толкнул. Хотя чересчур уж смел. Она начала краснеть, уши ее стали пунцовыми. Она сломала ветку и ударила себя по щекам. — Скверно не он, а я поступила, — конечно, не нужно было ехать на возилке, и потом так неловко упала... Фу, как нехорошо!.. Дался же мне этот парень».

Сонечка бросила веткой в коромысло.

По берегам пруда росли старые серебряные плакучие ветлы, шумливо кидające ветви свои во время непогоды; теперь они сидели их лениво. Из тени на зацветшую воду выплывал выводок уток, оставляя позади борозды, словно скользя в зыбком мху. Грачи неумолчно кричали над гнездами.

«А этот здесь ничего не поймет, — думала Сонечка. — Гриб лишить сено. Никогда ему не скажу, как люблю все это. — Она обвела глазами пруд, мостки, плакучие ветлы. — Может быть, он увидит все это и станет моим? Нет, у моего черные глаза, черные кудри, он много думает, на него можно молиться. И вдруг взять и сказать: я вас не люблю, выйду за того, кого люблю».

Сонечка вздохнула:

«Господи, до чего я глупа! Смольков даже и не подумает делать предложение. Вот, скажет, провинциальная барышня, только глаза тарашит...»

Сонечка заложила руки за спину (привычку эту переняла от отца) и пошла назад по аллее. Мысли ее были противоречивые, и все время три человека — герой мечтаний, сегодняшний красавец парень и Николай Николаевич — вставали перед глазами, то порознь, то сливаясь в одного; нависающего над ее фантазией.

Но о Смолькове проще было думать — он был дозволен и доступен. Понемногу с остальных перенесла Сонечка все идеальные качества на Смолькова. И когда живой Николай Николаевич явился в пятнистой от солнца аллее и, морща губы, приподнял соломенную шляпочку, она не узнала его и остановилась, затрепетав ресницами.

— Здесь очаровательно, — сказал Смольков. — Мне давно хотелось пожить в старом дворянском гнезде, — очаровательно!

«Такие парниковые огурцы бывают», — подумала Сонечка.

Смольков дотронулся до ее руки, заглянул в глаза и что-то говорил слегка надтреснутым, точно непрспаным голосом, — до

Сонечки доходили лишь отдельные слова, которым она придавала свое значение...

— Я помешал вашей прогулке, Софья Ильинична, вы мечтали? «Как это мне можно помешать? — дивилась она. Да отвечай же ему, дура!..»

— Я всю жизнь мечтал ходить по парку рядом с любимым существом, но жизнь, Софья Ильинична, тяжелая вещь...

«Так вот что, он несчастный». — И сердце Сонечки вдруг стало мягче.

Они дошли до пруда.

— Какая роскошь! — воскликнул Смольков. — Здесь есть лодка? Мы покатаемся, и вы споете? Да?

— Нет, — ответила Сонечка, — лодка есть, только гнилая.

— Жаль, — Смольков сел на пень, прищурился и охватил колесо. — Я хотел, чтобы вы были со мной откровенны...

— Зачем?

Смольков сказал: «Гм!» — и слегка покачивался на пне, щурился на сияющую воду. У него были изумительные шелковые носки, изумительная рубашка, изумительный галстук. Глаза, конечно, не те, и нос — слишком велик... Но все же... Сонечка даже приоткрыла ротик — так внимательно глядявалась. Вдруг Смольков чихнул, поднял коленку и добродушно засмеялся.

— А вы не глядите на солнышко, — сказала Сонечка, — а то опять чихнете...

— Великолепно! Я буду глядеть на вас. Можно? Вы будете мое маленькое солнце, даже лучше солнца, потому что я не буду чихать. Что? — Он, смеясь, взял ее руку...

«К чему ведет?.. Знаю, к чему ведет, — отчаянно стараясь не краснеть, думала Сонечка. — Сейчас скажет: прошу вашей руки... Господи, помоги...»

— Софья Ильинична, мне нужно маленькое солнце, нежная, девичья привязанность...

«Началось... Сейчас убегу...»

— Софья Ильинична, прикосновение невинной руки целит мою измученную душу. Я одинок, я устал... Я много жил, но люди оставили во мне лишь горе... К чему я стремлюсь: чистые взгляды, невинные речи... Природа... Голубые, голубые, ваши глаза... Серебристый смех... Боже, Боже... Я знаю — между нами пропасть... Вы никогда не сможете мне дать эту милостыню — девичью дружбу...

Все же его пальцы все выше пробирались по ее руке. У Сонечки звенело в голове. Она несколько раз глотнула. Ничего уже не было видно — ни пруда, ни ветел, ни ленивых белых облаков за рощей... Она упорно глядела на красные искорки на галстуке Николая Николаевича... И так ничего ему не ответила на все слова, — в жизни еще не было у нее такой застенчивости... Когда Николай Николаевич отпустил, наконец, ее руку, она стала пятиться и ушла не сразу, и ушла не так, вообще, как люди ходят, а как-то даже подсакивая... Николай Николаевич сдвинул шляпу на затылок,

закурил папироску. «Глупа на редкость, — подумал он, — глупа, но мила, очень, очень мила. Гм... Но — глупа... И чертовски мила».

Сонечка пришла к себе, упала на постель, обхватила подушку и лежала долго, как мертвая. Затем быстро села на кровати, и пустила пальцы в волосы — все, что произошло у пруда, пересбрыли в памяти, — точно ножом себя царапала, — когда же вспомнили, как уходила вприпрыжку, легла опять ничком и заплакала, кусая губы.

Когда Сонечка нарвелась и в соленых слезах выплакала острый стыд и свою застенчивость, когда полегче стало ненавидеть себя и Смолькова, — овладело ею мрачное настроение.

«Про любовь в романах пишут, да еще такие дуры, как я, о ней мечтают. А в жизни никакой любви нет. Замуж выходят по тому, что нужно, или потому, что уважают человека. Любовь приходит после брака в виде преданности мужу. Да, да. Любовь до брака — вредная страсть. Поменьше о себе думай, очень спесиви. Можешь дать человеку счастье в жизни — вот тебе и награда. И равно — под холмик ляжешь, в землю, под деревцо... Не очень-то распрыгивайся, мать моя...»

Мрачно прошел для Сонечки этот день. Она сходила к полднику и к ужину. Старалась не встречаться глазами со Смольковым. Он был весел, острил, рассказывал анекдоты из военной жизни. Генеральшица мелко, не переставая, смеялась. Генерал тоже похохатывал...

Сонечка сослалась на головную боль и ушла наверх. Поглядела в последний раз на себя в зеркало, подумала: «Тоже рожа», с горьким вздохом разделась и, вытянувшись в прохладной постели, раскрыла глаза в темноту.

В полночь в дверь постучали. Сонечка похолодела и не ответила. Дверь без скрипа приотворилась, и вошла Степанида Ивановна в ночной кофте и в рогатом чепце. Лицо у нее было странное, точно густо, густо напудренное. Ротик кривился. Свеча прыгала в сухоньком кулачке. Генеральша подошла к постели, осветила приподнявшуюся подушек Сонечку и громким шепотом спросила:

— Замуж хочешь?

Лицо у генеральши было, как у мертвеца, глаза закатывались, сухой ротик с трудом выпускал слова.

— Замуж хочется тебе? — переспросила она, и пальчики ее вцепились в плечо Сонечки. Она откинулась к стене, пролепетала:

— Бабушка, что вы, я боюсь.

— Слушай, — генеральша наклонилась к уху девушки, — и сейчас смотрела на него, он всю рубашку на себе изорвал в клочки

— Что вы? О чем? Кто рубашку изорвал?

— Смольков. Павлина так устроила, придумала... Он настоящий мужчина. Софочка, я давно не видала таких... Будешь с ним счастлива.

И генеральша, внезапно обняв девушку за плечи, принялась рассказывать о том, что считала необходимым передать девушке, готовящейся стать женой. Говорила она с подробностями, трясла рогатым чепцом, перебирала пальцами. Угловатая, рогатая ее тень на стене качалась, кланялась, вздрагивала.

Сонечка не пропустила ни звука из ее слов и, внимая, чувствовала, что проваливается в какой-то бездонный стыд и ужас...

— Больно это и грешно, — шептала генеральша. — Самый страшный грех на свете — любовь, потому ее так и хотят, умирают, и хотят, и в гробу нет покоя человеку...

Долго еще бормотала Степанида Ивановна, под конец совсем несвязное, и не замечала, что Сонечка уже лежала ничком, не двигаясь. Тронув холодное лицо девушки, генеральша пронзительно вскрикнула и принялась звонить в колокольчик.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дней через пять Павлина увидела сон первой важности. Сны видела Павлина часто, на все случаи жизни, сама по себе и по приказанию Степаниды Ивановны.

Но эта особенность не была природной, а накатила на нее после одного случая с офицерами. До того жила она при монастыре и за свое безобразие исполняла должность привратницы.

— Через тебя, сестра, и дьявол не перескочит, — говорила ей мать Голендуха и спала спокойно. Павлина обитала в келейке у ворот, стучала по ночам гвоздем в чугунную доску.

В то время в монастыре жила чернобровая веселая монашенка, за свое пение прозванная «дудка-веселуха», имела она обязанность ухаживать за мирянами, приезжавшими во время праздников. Однажды заехали в монастырь бывшие в тех местах два офицера. Понравилась ли им тихая обитель, засыпанная снегом, или напугал буран, но только они остались ночевать в пустой келейке. Увидели чернобровую сестру «дудку-веселуху», влюбились и решили ее увести... Час побега назначен был под крещенский Сочельник, когда бесовское племя так и шмыгает по всем заповедным местам и монашенки запираются по кельям, шепча со страхом отговорные молитвы. Приготовили офицеры коней и возок, но мать Голендуха все это пронюхала, допытала красавицу и с утра заперла ее на ключ.

Ничего не ведая, прискакали на тройке офицеры в назначенный час и постучали замочным кольцом, ожидая, что, по уговору, выйдет к ним чернобровая красавица. Действительно, ворота приоткрылись, и просунулась закутанная голова Павлины, взглядываясь — кого Бог послал в такую темную ночь?

— Садись! Живей! Ходу! — крикнули офицеры, схватили привратницу, положили на возок; один вскочил рядом с ямщиком; другой застегнул полость, и помчались.

Павлина молчала. Кровь у офицера военная, не теряя времени, обнял он Павлину и, ободренный ее молчанием, не посмотрел ни на возок, ни на зимнее время. Павлина и тут смолчала. Офицер удивился.

— Хорошо ли, — спрашивает, — тебе, душенька?

— Хорошо, — ответила ему Павлина медвежьим голосом.

Офицер сейчас же зажег спичку и, увидя перед собой лишь привратницы, вскрикнул не своим голосом и на всем ходу выкинул Павлину из саней в снег. Так она и осталась лежать в снегу у дороги, пока на рассвете не прибежали монашенки... Обступили они Павлину и спрашивают:

— Что с тобой, милая?

— Бес меня искушал.

— Какой бес?

— В огненном образе.

— Что же ты не кричала, голос не подала?..

— И, милые, не всякий день бес искушает, а этот был со шпорами.

Больше ничего и не добились от глупой привратницы. Села она опять у ворот, но глянула на дорогу и затосковала.

— Уйду я, мать игуменя, пускай беса из меня лютыми ветрами выдует.

Собрала Павлина котомку и пошла по лютым ветрам, надеясь втайне — не встретит ли опять двух бесов?

И с той поры начала видеть всевозможные сны.

Бродила Павлина три года, питаюсь подаванием. Иногда заживалась у помещиков, у вдовых купчих. Иногда возвращалась в монастырь, исполняла в миру кое-какие поручения матери Големдухи.

Так попала она к Степаниде Ивановне и теперь видела сны о Свиных Овражках.

Степанида Ивановна, наладив сватовство и приведя Сонечку в крайнее возбуждение, написала Репьеву о предстоящей свадьбе и теперь снова предалась прерванному делу.

Но на первых же порах возникли затруднения: хотя Овражки и план подземелий были приобретены, но никто из монастырских не мог или не хотел указать места, откуда начать копать. Второй уж день партия землекопов, нанятая Афанасием, курила сигарки на бугре близ овражка, а генеральша в отчаянии гадала и раздумывала и раз двадцать посылала Афанасия осматривать заколдованное место.

Сегодня, наконец, Павлина увидела жданный сон и рассказала его обрадованной Степаниде Ивановне.

— Некий муж, — говорила Павлина, — явился мне в облаке и указал перстом: крутись, говорит, раба, вокруг себя десять и еще три раза; где остановишься, там и бросай камень через плечо. Где падет камень, там место сие... Сказал муж сие и подал камень.

Павлина бережно развертывала тряпицы и показывала Степаниде Ивановне камень.

— Пойми же, — говорила генеральша, — мы не знаем места, откуда крутиться начать...

— Этого мне некий муж не говорил, — вздыхала Павлина. — Надо опять поспать.

— Когда же ты? Раньше вечера не заснешь, а рабочие ждут. Ах, Павлина, всегда ты что-нибудь напутаешь...

— Разве Афанасия позвать?

— Поди позови Афанасия.

Павлина убежала и сейчас же вернулась с Афанасием.

— Придумал ты что-нибудь? — с тоской спросила генеральша.

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, весь овраг излазил.

— Нашел что-нибудь?

— Не извольте беспокоиться, все в порядке...

Афанасий подал генеральше кусок кирпича.

— Старинный, ваше превосходительство, от самого подземного места отломался, не извольте беспокоиться.

— Кирпич, — воскликнула генеральша и набожно перекрестилась. — Слава Богу! Едем!.. Веди, Афанасий, рабочих, вели мне подавать коляску.

И Степанида Ивановна, взволнованная, пошла к Алексею Алексеевичу. Генерал за эти пять дней махнул рукой на семейные дела.

Попытки «отбрить» и выжить Смолькова в самом начале были генеральшей прекращены. Сонечку, очевидно, жених волновал, а сам Смольков проявил столько веселости и добродушия в ответ на генеральские подкопы, что Алексей Алексеевич однажды за столом объявил:

— Измором меня взяли, быть по-вашему! — и занялся хозяйством, чтобы рассеять скуку.

Для начала придумал он проект особенной зерносушилки и велел кузнецу сделать железную трубу с дырочками. Трубу сделали, но погода назло стояла отличная, и хлеб не подмокал. Тогда генерал решил в трубе вялить яблоки, чтобы всю зиму кормить рабочих компотом: от такой пищи, он высчитал, производительность мужика увеличится на семь процентов. За опытом над новым проектом и застала генеральша Алексея Алексеевича: стоя у окна, палочкой перемешивал он высыхающие на солнце яблоки и отгонял мух...

— Алексей! — воскликнула генеральша. — Благослови меня, начинаю...

— Дай тебе Бог, Степочка, только трать поменьше денег, все-таки, знаешь ли...

— Ах, опять не доверяешь, — жалобно воскликнула генеральша. — Руки опускаются. Пойми, не для богатства, не из каприза ишу я этот клад, а для славы твоего имени. Сейчас ничего не скажу, но потом ты узнаешь. Тебя, Алексей, ждут не только слава и почести, но и могущество.

— Ну, куда мне его, Степочка. Вот яблоки...

— Ты рожден под счастливой звездой, Алексей. Твоя бабка Вальдштрем... Это шведская королевская кровь... Подумай об этом...

Степанида Ивановна подняла палец, чепец ее сдвинулся набок, на щеках проступили красные пятна.

Свинными Овражками называлась неглубокая котловина, поросшая шиповником и бурьяном, на перевале между Гнилопятами и монастырем.

Со стороны монастыря, откуда начиналась дубовая рощица, лежали на бугре остатки строения, из него уцелели несколько ступеней и часть рухнувшей стены, овитая плющом... Между камнями рос шиповник, и корни деревьев разрушали неизвестно кем и когда построенное это жилище. От ступеней овраг круто падал вниз и высокий бурьян и снова поднимался, уже полого, вплоть до голого выгона гнилопятских лугов. Считая развалины и угол рощи, площадь Свинных Овражков не превышала пяти десятин.

Перегнав по дороге рабочих, Степанида Ивановна оставила лошадей у края овражка и пошла пешком вниз через кусты, которые заботливо перед ней раздвигал Афанасий.

— Где же, где твое место? — повторяла генеральша задыхаясь от трудной ходьбы и волнения.

Афанасий смотрел под ноги, нагибался, лег даже на землю от расторопности и, наконец, воскликнул, ударив сапогом ветхий камень.

— Сюда становись, Павлина, начинай!..

Павлина осторожно развернула из тряпиц камень, поджала деловито губы, попросила генеральшу и Афанасия отойти и вдруг забормотала истошным голосом, закрутилась и кинула камень через плечо. Генеральша подбежала к тому месту и увидела, что вокруг Павлининого камня на земле набросан щебень.

— Кирпич сам из земли пошел, — сказала Павлина. — Копайте!

Рабочие осмотрели место, побросали в траву одежду и баклажки, поплевали на руки и стали копать, но не очень шибко. Когда же генеральша, разгневанная их ленью, обозвала мужиков бессовестными, старшой сказал:

— Без вина не наша вина, поднесешь — сами руки заходят..

Афанасий на пристяжной поскакал в Гнилопята за водкой. Рабочие быстро очистили место от корней и щебня и стали копать вглубь.

— Вы зря-то не ковыряйте, — говорил старшой. — Ты линию найди; как линию найдешь, так она и пойдет сама тебе галдареей..

— Кирпич, — сказал один рабочий.

— Верно, кирпич, — сказал другой рабочий.

— Нашли, Степанида Ивановна, — сказал старшой, — галдарея..

Степанида Ивановна сама влезла в яму и глядела по плану. Но кирпич оказался единственным, и, порыв еще немного, решили рабочие копать рядом. Скоро, однако, они утомились и сели ку-

рыть. Генеральша в отчаянии пошла на гору посмотреть, не едет ли Афанасий с водкой...

Наконец Афанасий прискакал. Мужики сняли шапки, и каждый из стаканчика медленно потянул вино, словно полагая, что встанет в жилах его богатырская сила... Выпив, поблагодарили и без шуток быстро принялись рыть. На новом месте открылись стены кирпичного колодца, идущего наклонно вниз. Степанида Ивановна всех поблагодарила и, садясь в коляску, сказала Павлине:

— Сегодня, Павлинушка, всю ночь не буду спать.

В это время Сонечка и Николай Николаевич сидели в саду на качелях, тихо покачивались. Сонечка похорошела за эти дни и похудела так, что под веками легли у нее тени, глаза блестели. Держась за веревку, она отталкивалась ногой в синем шелковом чулке — подарке бабушки — и говорила без умолку, боясь молчания, той напряженности, когда сердце громко стучит и понимаются затаенные мысли.

На поляне позади качелей на грядках росли огурцы. Сонечка очень хотела сорвать один из них и дать Николаю Николаевичу; Смольков же все время намеревался поцеловать девушку в шею, где завиваются волоски. Глядя на краснеющее от стыда это место, он вдруг спросил:

— А что, дедушка ваш целует еще бабушку или уже нет?..

Сонечка взглянула на него, ахнула и медленно засмеялась.

— Какие вы глупости говорите!

— Нет, отчего, бабушка, по-моему, еще очень красива.

— Знаете, у нее раз карандаш весь вышел, которым брови подводят, я ей обожженную пробку принесла, так вот она такие себе брови намазала...

— Вы злая.

— По-вашему, в самом деле я злая?

— Конечно, я, например, очень хочу одну вещь сделать, а вы мне не позволяете...

— Какую? — Сонечкина рука крепко сжала веревку. — Ну, вы что-нибудь мудреное попросите.

— Можно шейку поцеловать? Один раз?

Одну только минуту подумала она: «Что со мной? Все как во сне!» — но опять засмеялась, отодвигаясь. Николай Николаевич нагнулся и нежно ее поцеловал. Она приоткрыла рот.

— Съешьте огурец, я вам принесу. — Сонечка, прыгнув с качелей, нагнулась над огуречными листьями. Николай Николаевич, не отрываясь, глядел на ее спину. Сонечка подала ему огурец, с одной стороны пожелтевший, и опять села на качели близко к жениху.

На днях Смольков сделал предложение. Случилось это просто и как-то никого не удивило. Одетый в сюртук, при шляпе, он вошел к Сонечке в комнату, извинился, сел на стул и заговорил

о значении семьи для государства. Глаза его были полузакрыты, и все лицо каменное, точно перед ним у окна стояла не Сонечка, а какой-нибудь министр. Затем, кончив вступление, он подошел на три шага и, совсем закрыв глаза, предложил быть его женой. Сонечка ахнула только. Он ушел, и немедленно ворвалась генеральша, обняв девушку, поздравила, а про Смолькова выразилась, что он «идеальный муж». С этой минуты все стало как сон.

— Дни, как черепахи, ползут, — говорил Николай Николаевич, грызя огурец. — Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется конца этому не будет.

— А я так рада, что побольше времени до свадьбы останется.

— Почему же вы рады?

— Так, рада.

— Я знаю, почему — трусите.

— Чего же я буду трусить, вот тоже...

Она усмехнулась. Николай Николаевич осторожно обнял ее сначала легко, потом все крепче, отыскал губами ее рот и медленно, мучительно и бесстыдно поцеловал. Сонечка, вся пунцовая, вырвалась, закрыла лицо.

— Степанида Ивановна приехала, — с трудом выговорила Смольков. — Пойду встречать.

И, не оборачиваясь, он ушел, а Сонечка осталась сидеть на качелях. Возбуждение ее сразу упало, опустились руки. Несколько часов смеха, двусмысленностей и ставших особенно легкими кокетливых движений утомили Сонечку, и теперь ей было гадливо, и с отвращением глядела она на бессовестные свои чулки, одетые напоказ, на вымазанные с вечера кремом, по совету генеральши, руки. Даже в легоньком новом платье не было невинности.

«Откуда все это у меня взялось? — тоскливо думала она. — Как он меня не остановит? Ведь я Бог знает до чего дойду...»

Она передернула плечами и поглядела туда, где за косматыми ветлами садилось красное перед ненастьем солнце. Лиловые тучи багровели по разодранным краям, — в них было грозное, тяжелое предчувствие. В саду затихли птицы, только дикий голубь все еще тосковал, сидя на верхушке березы.

«И этому я стану чужая, — подумала Сонечка. — Он любит меня? Должно быть, любит. Надо очень строго следить за собой. Буду больше молчать, не надену больше этих чулок со стрелками. Так просто: перестану кривляться и скажу: я вас, должно быть, очень люблю, милый мой, милый Николай».

Она долго сидела, держась за веревку качелей, положив голову на руку. Когда невдалеке послышался голос Смолькова, идущего с генеральшей, выступили от умиления слезы у Сонечки на глазах, захотелось тотчас же подойти и сказать что-нибудь очень душевное.

За ужином она глядела на Смолькова «собачьими», как он определил, глазами. Генеральша, подергиваясь, рассказывала о каких-то кирпичачах. У Николая Николаевича разболелась голова от волнения и вина, и он, захватив свечку, ушел к себе.

Поставив свечу около кровати, Смольков снял пиджак, сунул руки в карманы и, наклонясь над Сонечкиной карточкой, закусил нижнюю губу.

— Больше не могу, — прошептал он, вдыхая свежий воздух. — Монастырь, черт его возьми, какой-то! Целоваться на качелях! Конечно, она может ждать хоть сто лет — птенец. А я что?

Он забежал по комнате, думая все об одном, на чем мысли сосредоточились, как в фокусе, — точка эта была страшно чувствительна, остальной мир понемногу темнел, отпадая. Стали различимы запахи старых книг, ветхой мебели, сада и неуловимых женских духов, пропитавших старую мебель, на которой Бог знает кто сидел.

Наконец Смольков остановился посреди комнаты, медленно провёл языком по высохшим губам, взмахнул рукой, точно говоря: «Ну, что же я могу тут поделать?», отворил дверь и громко прошептал:

— Афанасий.

Афанасий пришел и стал затворять окно, но Николай Николаевич, потрепав его по плечу, сказал пересмякшим голосом:

— Послушай, друг, как у вас насчет этого самого?..

— Это насчет чего?..

— Ну, этого самого, понимаешь?

— Что вы, барин, — осклабясь, ответил Афанасий, — мы этим не занимаемся.

— Где-нибудь на селе, наверно, есть эдакое?..

— На селе как девкам не быть, только вам не понравятся.

Солдатка есть, да ничего, чистая.

— Ну вот, вот, сведи меня к солдатке, голубчик. Сейчас я переоденусь... Постой... вот тебе на чай полтинник. Так ничего солдатка-то... а?

— Солдатка — ничего, мягкая.

Спустя время, осторожно, через черный ход, пробрались Смольков с Афанасием в сад, миновали сырые аллеи, плотину и побежали лугом до села.

У крайней избы в траве на пригорке сидели три девушки и негромко пели; в темноте лица их под платками казались маленькими и странно блестели глаза. Афанасий, словно мимоходом, подошел к ним, поклонился, разведя руками.

— Наше вам с кисточкой!

— Кто такие? — спросила одна недружелюбно.

— Хуторские, позвольте посидеть с вами.

Девушки переглянулись, засмеялись, и одна сказала:

— Нет уж, идите, откуда пришли.

Афанасий обиделся, влез в разговор, но Николай Николаевич потянул его за рукав, шепча:

— Пойдем, пойдем к солдатке...

— Придете на хутор, — я вам припомню, — пригрозил Афанасий девкам.

Они что-то крикнули вдогонку, затем было видно как поднялись, побежали в темноту.

К солдаткиной избе нужно было идти по задам, перелезть через плетень и насвистать собаку, которая сначала кинулась с лаем, узнав голос Афанасия, побежала вперед. Боязливо на нее поглядывая, Николай Николаевич покорно прыгал в какие-то канавы, изорвал штаны, промок, попав в навозную жижу, и, наконец, выйдя на пустой дворик, увидел стоящую на крыльце высокую бабу.

— Марина, — бойко сказал Афанасий, — принимай гостей!

— Ах, батюшки, я-то испугалась, — низким веселым голосом сказала баба. — Что же, если с добром, заходите! А это кто? — шепнула она Афанасию и после ответа еще приветливее закачала головой.

Николай Николаевич снял шляпу, поклонился и вошел на крыльцо, но в избу Марина его не ввела, а осталась в сенях, свернула кровать. Привыкшие к темноте глаза Смолькова различили постель со множеством подушек («Воображаю, — подумал он, — каковы подушки»), дойницу с молоком и зыбку, висевшую около на ремне.

— В избе сестрица больная лежит, — прошептала солдатка и весело поглядела Николаю Николаевичу в лицо.

— Ну, как же ты? — спросил Смольков, повертелся и обнял бабу.

Марина засмеялась, освободилась.

— Вино будете пить?

— Да, да, вот — рубль. Купите вина.

Афанасий взял деньги и побежал к какой-то своей куме. Николай Николаевич остался, наконец, вдвоем с женщиной и, сердясь на свою непредприимчивость, придумывал, что бы такое ей сказать, чтобы разрушить странную эту, какую-то необычайно простую действительность.

— Почему ты меня не поцелуешь? — сказал он томно и подумал: «Пахнет молоком и чем-то съестным, не то печеным».

— Чего? — совсем уже весело спросила Марина и, закрыв правую ладонью, проговорила, вся трясясь от веселости: — Что это вы, барин, ко мне пришли... ну и барин!

Затем, не выдержав, она стала смеяться так, что затряслась и заскрипела кровать.

Смольков рассердился: страсть его уменьшалась с каждой секундой; он засопел, хотел выругать глупую бабу, но живот его сам по себе начал подпрыгивать, и Николай Николаевич визгливо захохотал.

— Дура, вот дура!

— Я думала, он насчет молока, а он — вон зачем явился, плача от смеха, говорила Марина.

Николай Николаевич начал уже чувствовать к ней что-то вроде родственного добродушия и, придвинувшись ближе, ударил ее по спине. Она пхнула его под бок. Оба они покатывались со смеху. Неизвестно, долго ли бы продолжалась эта игра, но вдруг в светлом четырехугольнике двери появился Афанасий.

— Беда, барин, — проговорил он испуганной скороговоркой, — девки к нам ребят подослали... Бросайте бабу, бегите...

Действительно, на улице были уже слышны голоса, шепот. Ударил в ворота... Николай Николаевич выбежал на двор. Через ворота, через плетень лезли парни. Николай Николаевич завизжал и пустился бежать по задкам, через канавы и плетни... За ним молча, рысью летел Афанасий. А сзади, топая сапожищами, неслись парни, вскрикивая дикими голосами так страшно, что волосы у Николая Николаевича стояли дыбом...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Утром, в темной каморке за лестницей, на лежанке сидели Афанасий с Павлиной и не то чтобы разговаривали, но кряхтели больше да почесывались.

Перед ними на столе, за ветхостью отнесенном из парадных комнат в лакейскую, попискивал последнюю песню самовар, в топленом молоке плавала деревянная ложка... Особенно вздыхал и почесывался Афанасий, с утра сегодня бегавший два раза в село и на Свиные Овражки. Павлина, умильно на него поглядывая, благообразно икала после чаепития, крестила рот. Конечно, Павлина могла бы и не икать, но делала это, чтобы показать, как она вот и сыта и довольна, — а когда человек сыт и доволен, не грех ему и побаловаться.

— Полно, сокол, вздыхать, — говорила Павлина, — не ропщи, тепло тебе и сытно, куда же еще больше? А что грехов полон рот, так на том свете все равно простят, — мы неученые.

— Ерунду ты, баба, мелешь, — отвечал ей Афанасий, — отроду тебе ходить в лаптях, а мы в шевровых башмачках ходим... Скажи вот лучше, что делать? Генеральша-то наша совсем сбесилась: копайте, говорит, дальше, ничего я знать не хочу...

— Петухов купил?

— Десять рублей выдала, птиц двенадцать штук купил. Только, по-моему, петухи в этом деле ни к селу ни к городу. Что за глупость — петух! Петух — обыкновенная птица, цыпленок. Эх, дура ты, баба.

— Без петуха шагу нельзя ступить, — ты, сокол, умен, да мало понимаешь...

— Ох, а ты много знаешь!

— Как мне не знать, — наши монастырские, чай, три года в этом месте копали, да бросили, — взяться не умели...

— А ты умеешь?

Павлина опустила глаза, поджала губы, степенно вздохнула. Афанасий поглядел на нее, подумал: «Шельма баба».

— Генеральша что теперь делает? Надо бы уж ехать, — сказал он.

— Генеральша письмо читают.

Афанасий потянулся, лениво спрыгнул с лежанки.

— Вот что я тебе скажу, а ты помни: против меня не иди — плохо будет; а вместе за дело возьмемся — деньгу зашибем. —

При этих словах Афанасий трыкнул языком, ткнул бабу под мышечку и, захватив из сеней лукошко с петухами, поехал на рынок.

Степанида Ивановна действительно читала в это время письма, собрав всех у себя в комнате. Письмо было от Ильи Леонтьевича четыре страницы, исписанные мелким и четким почерком.

«Благодарю вас за ваши сердечные заботы о дочери моей, — писал Репьев. — Господь милостив, послав мне таких друзей. В лице же будущего любезного зятя я уверен встретить твердого христианина и наставника моей дочери. Так я сужу по вашему о нем отзыву и заранею радуюсь счастью Софьи. На бракосочетание приехать не могу — призывают меня к дому хозяйственные заботы. Кроме того, считая, что столь важный шаг в жизни молодых людей должен быть совершен скромно, по возможности без свидетелей. Прошу поэтому много не тратить на свадебные приготовления, а необходимые издержки я обещаю тотчас же переводом денег. Приданое Софьи давно готово. И именье ее, Сосновка, озимые засеяны и пар вспахан, — все в порядке. Приедут молодые, пускай выют себе гнездо».

Сонечка очень огорчилась отказом отца приехать на свадьбу, потому что знала: если он, увидав жениха и поговорив, одобрит, все сомнения ее улетят, как дым, и она будет спокойна и счастлива.

Пожалел и Алексей Алексеевич: давно ему хотелось повидать старого друга. Но, видно, уж до смерти не придется.

Степанида Ивановна, обняв и перекрестив Сонечку и Николая Николаевича и заставив то же проделать генерала, послала к сельскому попу приказание — оглашать молодых. Присела с веером в руках на канapé, рассказала о какой-то Симичевой, которая кому-то послала письмо, а сама внезапно вышла замуж, — причем никто о Симичевой ничего не понял, — и собралась ехать на рынок, приглашая с собой Смолькова и Сонечку.

По дороге она рассказала, что работа на Свиных Овражках до сегодняшнего дня шла успешно. Вынув изнутри кирпичного колодца землю, рабочие наткнулись на свод, полого идущий под горю, образуя собой галерею шириною в полтора аршина. Но, пройдя около трех сажень, галерея уперлась в скалу, и сколько рабочие, совместно с советами Павлины, ни бились — не могли найти дальнейшего хода. Очевидно, в этом месте и началось заклáтье, которое нужно отомкнуть. Это было вчера. Генеральша далеко за полночь совещалась с Павлиной и уснула, наконец, видя сон. Чуть свет Павлина объявила, что нужно в том месте зарезать двенадцать петухов — пролить кровь. Двенадцать потому, что Мазепа заколол двенадцать казаков, петухи же были выбраны как единственное земнородное, которого боится нечистая сила.

— Я очень надеюсь на средство это, — весьма значительно проговорила генеральша, когда коляска остановилась около раскопок.

Рабочие были все в сборе. Павлина сидела на камне, закрыла глаза, очевидно приготовляясь к заклáтию. Афанасий в обеих руках держал по шести петухов, бивших крыльями, и почтительно глядел на подъехавших.

Степанида Ивановна пересчитала птицу и приказала начинать. Павлина сняла ваточную кофту, попробовала на пальце нож, приказала поддерживать себя под мышки и так спустилась в наклонный колодезь. Афанасий бросил ей черного петуха, который бил крыльями и кричал. Степанида Ивановна в волнении глядела, как баба сначала не смогла словить птицу, потом, ухватив одного петуха за шею, поползла вниз и скрылась под землю. Слышны были только ее причитания и возня. Потом все замолкло. Павлина высунулась на свет, протягивая окровавленную руку за новым петухом.

Павлинина растрепанная голова появлялась из-под земли двенадцать раз. Генеральша чувствовала, что ее мутит. В это время один резаный, но недорезанный петух вылетел из ямы, обдал генеральшино платье кровью, побежал по траве и кувырнулся... Степанида Ивановна, побледнев, прошептала: «Это дурной знак!» — но осталась стоять, превозмогая себя. Наконец птиц всех порешили. Павлина вылезла из-под земли и, отирая о траву руки, сказала скороговоркой:

— Теперь камень, как воск. Копайте, ребята, прямо, — не вбок и не вперед. О, силушки моей нет, легла на меня кровушка... Тьфу! тьфу! тьфу!..

Рабочие, посмеиваясь, полезли под землю, и старшой, осклабясь, спросил:

— Насчет курей, Степанида Ивановна, дозвольте в обед сварить?

— Варите, варите, ничего, — отвечала Павлина, — наперед только святой водой окропите, а то поешь, да и пошел сам петухом кричать.

Сонечка и Николай Николаевич, плечом касаясь плеча, сидели все это время на бугорке среди шиповника и тихо разговаривали.

Смольков присмирел после ночного похождения, сделался тише воды, — деревня не казалась ему больше патриархальной и добродушной, как в первые дни. В ушах еще до сих пор отдавались крики парней, от которых едва тогда ушел ночью. Сонечка думала: «Боже, как я в нем ошибалась: милый, кроткий и совсем не страшный».

Солнце стояло высоко. Сонечке было жарко, лениво, приятно. Пекло руку, лежащую на колене. Медом и зноем пахла трава.

— Посмотрите, что это с бабушкой, — усмехаясь сказал Смольков, — хватается за грудь... Что-то нашли должно быть.

— Покажите какой — каменный? *католический*? донесся голос Степаниды Ивановны.

— Должно быть, нашли крест, — ответила Сонечка, — я помню, что это *первая примета* по плану; другие две — *орел и каменная голова*. Видите, как все сбывается; я знаю, что клад найдут. Один только дедушка в него не верит.

Николай Николаевич повернулся и сощурил глаза:

— А что бабушка думает с кладом сделать?

— Я не знаю, что, — наверно себе возьмет.

В это время Степанида Ивановна закричала:

— Дети, идите сюда!

И когда они сбежали с горки, подняла обеими руками до этого прижимаемый к груди каменный крест.

— Сбылось... сбылось!..

Говорить генеральша не могла, маленькое лицо ее покрывало под румянами лиловыми пятнами, шляпка сбилась, платье было испачкано петушиной кровью и землей...

Перепуганная Сонечка подхватила ее под один локоть, Смелков под другой, и повели генеральшу к коляске: усадили и повели домой. Дорогой Степанида Ивановна плакала и целовала крест.

Степанида Ивановна выпила черного кофе и приказала просить к себе генерала, но Алексея Алексеевича в кабинете не оказалось, он ушел к амбарам, где насыпали отсеянную рожь на воза.

Покупка Свиных Овражков и приготовление к свадьбе заставили генерала поторопиться продажей хлеба. Он решил сам теперь вникать во все мелочи хозяйства, присутствовал при насыпке, а вечером сегодня собирался в город, чтобы на утреннем базаре самому продать рожь.

Довольный, что нашел дело по душе, Алексей Алексеевич стыдился немного приказчика, с улыбкой выслушивавшего решительные его приказания, и, чтобы устранить всякое постороннее влияние, послал приказчика считать деревья в заповедном лесу, хотя это можно было сделать и в другое время. Приказчик обиделся, но ушел, а генерал летал от веялок к амбару, от амбара к возам и зычным голосом покрикивал на рабочих, — красный весь, одухотворенный, будто на войне.

К полднику в пять часов генерал явился в промокшем насквозь кителе и поспешно принялся есть. Очень этим недовольная, Степанида Ивановна начала обиженным тоном издали рассказ о сегодняшней находке, но генерал перебил:

— Хорошо, хорошо, Степочка, отлично... Нашла какую-то штуку... после доскажешь.

И убежал, крича Афанасию закладывать лошадей.

— Не штуку, а крест! — крикнула вдогонку генеральша. — Сумасшедший человек, бурелом!.. Чувствую, дети мои, — с этой продажей хлеба — кончится плохо.

Вечером того же дня подъезжал Алексей Алексеевич по ровной и голой степи к уездному городу. Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. Тащились навстречу телеграфные тощие столбы вдоль дороги. Впереди за канавой торчали кресты кладбища, еще далее — заборы, крыши предместья и колодезные журавли. Тихой рысью бежали лошади, поднимая пыль. У дороги валялась падаль, оскалая зубы. Становилось тусклее с каждой минутой, то скливее.

Алексей Алексеевич сначала бодрился, откинув на затылок генеральскую фуражку и подбоченясь, но тоска, наконец, и его проняла.

— Погоняй, что ли!

— Но, милые, — уныло покричал кучер, помахал vareжкой и опять сторбился, так что линиялая его рубашка надулась пузырем.

Наконец, поравнявшись с первой избой, тарантас тяжело въехал в песок улицы. У ворот поклонился генералу седой мещанин в жилетке; опустив крылья, побежала под лошадей курица; Алексей Алексеевич прочел заржавленную вывеску синими буквами: «Стрижка, бритье, также починка часов», — поморщился и сердито крикнул на мальчишку, который норовил присесть сзади тарантаса. Дома были с воротами и крашеными ставнями, но ближе к центру стали попадаться и каменные, под охру или дикого цвета. На углу переулка дремал в заплатанном кафтанишке извозчик, линейка его и сивая лошадь были до того стародавние, — казалось, со времен еще Екатерины дремал он на этом углу. В переулке появился первый керосиновый фонарь, и тарантас, громыхая, въехал на большую площадь, где стояли собор, лавки и въезжий трактир.

Алексей Алексеевич приказал здесь остановиться, на вопрос кучера, не завернуть ли лучше в «Ливерпуль», ответил, что приехал не спать, а дело делать, и крикнул отворять ворота.

Рыжий мужик, в нагольном полубубке, но босой, со скрипом отворил ворота, и лошади, чавкая по навозной жиже, въехали во двор.

— Не были еще воза из Гнилопят? — спросил генерал.

— Нет, возов из Гнилопят не было, — отвечал мужик. — А что, овес у вас свой или хозяйский?

— Хозяйский, хозяйский, — сказал кучер, — у нас господские кони, едят овес без песку.

— Зачем хаешь, у нас овес хороший, — сказал мужик.

Генерал вылез из тарантаса, разминая отекиши ноги, потянулся, через широкое, затоптанное грязью крыльцо вошел в трактир. В большой, низкой и грязной горнице у окна за самоваром сидели три человека в суконных чуйках и негромко разговаривали. Один был толстый, с висячей губой, — сопя, втягивал он в себя чай и крякал; другой — безбородый парень, круглолицый и курносый, говорил прибаутками, вытирая полотенцем скулы, которые до того были крепки: колоти по ним кулаком — мозоли набьешь; у третьего — седая борода и умные серые глаза.

На вошедшего генерала чаепийцы посмотрели равнодушно, но, когда он сел на лавку и отвернулся, перемигнулись.

«Запашок!» — подумал Алексей Алексеевич и, разглядывая липкие, ободранные обои, захарканый пол, заметил еще четвертого посетителя, — должно быть, землевладельца из мужиков, в суконном кафтане, сидевшего поодаль, подсунув под себя руки... Мужик слушал, что говорилось, на генерала же не обернулся... Говорили о прошлых ценах, об урожае и о каком-то Ниле Потапыче Емельянове.

— Вы тоже рожь привезли? — спросил генерал мужичка, пока сунувшего руки.

Мужик зевнул, ладонью провел вверх и вниз по лицу и кинул головой.

— А какие, вы думаете, цены на завтра будут?

— А кто их знает, все от Бога...

— Цены, господин генерал, плохие, — бойко сказал парень, ржи очень много навезли. Да вы подсаживайтесь, сделайте мне лость, — не угодно ли стаканчик чайку?..

«Э, да у них я все разузнаю, — подумал генерал и пересел в чайному столу. — У меня, кажется, с собой бутылка вина есть и пирожки».

— Степан! — постучав пальцем в окно, позвал он. — Принеси-ка погребец. Так вы говорите, низкие цены?

— Хлеб хоть в речку сыпай, вот какие цены, — хрипло сказал толстый человек...

— Жаль, а у меня так сошлись семейные дела, что вынь да положь сейчас деньги, — сказал генерал и спохватился. — Хотю не сойдуся в цене — отправлю за границу.

Чаепийцы уставились глазами в стол, старик сказал:

— Нет, рожь за границу не идет... Пшеничка — другое дело...

— Куда ее с базара повезешь, провоз денежки стоит, — сказал толстый человек.

— Мы уж и так горюем, — подхватил парень.

Мужик, сидевший на лавке, перебил их с сердцем:

— Горюем. Горе твое вот где у меня, — и показал себе на шею... Все трое захохотали, а мужик громко плюнул, снял кафтан и лег, ворча: — Мошенники, прасолы, осиновым вас колом...

— Так вы мои завтрашние покупатели? — спросил генерал...

— Нет, — отвечал парень, — где нам, мы для себя берем по зик или два. — И стал расспрашивать Алексея Алексеевича о хозяйстве и о том, почему сам приехал, а не послал приказчика. Генерал охотно на все это отвечал, радуясь, что ловко сумел угостить нужных ему людей...

Потом пришла босая и заспанная баба, унесла самовар и привернула лампу... Прасолы, встав из-за стола, пошли спать, должно быть, на сеновал или в телеги. Алексей Алексеевич разостлал на лавке плед, под голову положил кожаную подушку и, не думая заснуть в такой духоте и вони, скоро задремал, чувствуя, как дрожат стены и стекла, хлопает что-то, рвется, задыхаясь, будто ходит по горнице мокрый вихрь, — то похрапывал христианской своей утробой землевладелец из мужиков... Потом пришел какой-то человек, сел на пол и стал раздеваться, — оказалось, это был Смольков во фраке с графином в руке... «Дайте-ка напиток», — сказал ему генерал. «А по сорока семи копеек за пуд хочешь?» — ответил Смольков, и у него отвисла губа. «На кого он похож? — со страхом думал генерал. — Э, да это убитый турок! Ах ты!..» Но турок стал на четвереньки и вдруг ударил в барабан. В ужасе генерал проснулся, сбросил ноги и посмотрел.

За окном брезжил рассвет и кричали петухи; кто-то, выйдя из избы, ударил дверью.

«Зачем я сюда попал? — подумал генерал. — Пить как хочется... Ах, да...» — И, поспешно надев пальто, вышел во двор.

На дворе очертания крыш четко рисовались на небе, едва тронутым с востока оранжевой зарей, и было так тихо, что слышался хруст жующих сено лошадей. Кучер Степан, в армяке от утреннего холодка, подошел к Алексею Алексеевичу и не громко еще, по-вочному, сказал:

— Воза приехали, ваше превосходительство.

Алексей Алексеевич кивнул головой и, вздрагивая от дремоты, вышел через калитку на площадь.

Площадь, пустая с вечера, теперь была заставлена возами, — поднятые оглобли их торчали, как лес после пожара. Распряженные лошади жевали сено, и слышались голоса проснувшихся крестьян. Предрассветный ветер пахнул навозцем, сенной трухой и дегтем. Алексей Алексеевич, ходя меж возов, после долгих расспросов отыскал, наконец, свои сто сорок восемь телег, стоявших на дальнем конце площади, у реки.

— Что, ребята, благополучно? — спросил генерал, подходя к своим.

Трое или четверо возчиков сняли шапки, один ответил:

— Все слава Богу, Алексей Алексеевич.

— Хорошо продадим — на водку получите.

— Благодарим покорно, — ответил тот же голос.

Генерал взлез на телегу и закурил папироску. Вчерашний задор соскочил с него, и продажа хлеба вовсе не казалась простой и веселой, к тому же от душной комнаты тошнило, болела голова и хотелось пить... Но генерал пересилил себя и в трактир не пошел, а дождался, когда откроют пекарню, и послал одного из возчиков купить горячего хлеба и молока.

«Расскажу Сонюрке, — думал он, — как я на возу молоко пил. Фантастично! Что же эти дураки купцы не идут, пора бы, совсем светло... А вдруг они ко всем подойдут, а ко мне не подойдут? Гм!»

Светало быстро. Лошади ржали, хотели валяться. Задвигался, разговорился народ.

Генерал, держа в одной руке калач, оглядывался, поджидал, стараясь придать себе равнодушный вид. Вдруг между возов появилась синяя чуйка — вчерашний парень... Алексей Алексеевич сразу ободрился и помахал чуйке калачом. Но парень, как будто не замечая генерала, заглядывал в чужие воза и сошелся со вчерашним землевладельцем из мужичков, принявшись о чем-то кричать и хлопотливо рыться в его возу.

Алексей Алексеевич огорчился таким невниманием, но решил ждать терпеливо. Солнце поднялось над крышами, и многие воза снялись с площади и уехали. Торг, очевидно, шел вовсю. Слышались пьяные голоса.

«Что за дьявольщина, почему ко мне не подходят?» — думал генерал и начал уже сердиться, вертясь на возу. Вдруг позвал окликнул его деловитый голос:

— Послушайте, что продаете?..

Это говорил вчерашний парень и, морщась, пересыпал рожь из ладони в ладонь. Алексей Алексеевич опешил:

— Как что? Рожь!

— Разве это рожь, — сказал парень, бросая зерно в телегу, ржишка, прошлогоднее гнилье

— Гнилье, — закричал генерал, — сегодняшней урожай! Да вы смеетесь! Гнилье!

— Нам смеяться не время. Сорок семь копеечек от силы могу дать...

И, поправив картуз, он отошел, а генерал, дернув плечами, гневно отвернулся, прошипев:

— Нахал, мальчишка!..

Цена ржи на нынешнем базаре стояла шестьдесят три копейки за пуд (так сообщили генералу возчики, бегавшие слушать, как торгуются), отдать же по сорока семи значило потерять рубль и пятьсот, вернее — подарить их этому нахалу прасолу. Веза продолжали разъезжаться, и Алексей Алексеевич все более гневался и недоумевал. Тогда подошел к нему вчерашний толстый прасол, подал жирные пальцы лопаткой и, не хваля, не хая, предложил сорок пять копеечек за пуд...

— Шестьдесят, — сказал генерал не глядя и добавил дрогнувшим голосом: — Эх ты, бессовестный!

Прасол развел руками и лениво отошел.

Долго не мог побороть гнева Алексей Алексеевич и, насупясь и седые усы, не глядел на окружающих. Когда же поднял глаза, мимо, не замечая его, проходил третий вчерашний знакомец — старик.

— Послушай, покупаешь... рожь? — спросил генерал. — За пятьдесят девять отдам...

— Это не цена, — не останавливаясь, проговорил старик, — цена сорок три копейки за твою рожь, барин...

— Дурак! — крикнул генерал. — Болван!

Веза развезли все, и на площади, усеянной объедками сена, остались одни гнилопятские, посреди которых на телеге сидел на людское посмешище генерал, сутулясь и поводя покрасневшими глазами. Дворянская фуражка его съехала набок, и коробом торчало запачканное серое пальто. По очереди подходили прасолы и, явно издеваясь, давали сорок, даже тридцать пять; за пуд, а он не отвечал, выжидая, когда подвернется кто поближе, чтобы хоть ударишь по морде обидчика.

Возчики стояли поодаль и смеялись; смеялись приказчики, выйдя на порог лавок; под колесами вертелись босоногие мальчишки, и по всей площади полетел слух о сердитом барине, которого травит прасолы и заставят чуть не даром отдать хлеб или везти домой, что еще более накладно и обидно.

Прасолов же подговорил купец Нил Потапыч Емельянов, который теперь и шел по площади в длиннополом сюртуке, надетом на ситцевую рубаху, широко расставляя ноги и еще шире улыбаясь. Подойдя к сердитому генералу, Нил Потапыч сдернул картуз с помазанных коровьим маслом кудрей своих, отнес его вбок и сказал с широким поклоном:

— С почтением Алексею Алексеичу, поиграли дермом и за щеку, как говорится. Вели запрягать, даю пятьдесят пять копеечек с половиной...

— Вон! — вдруг побагровев, заревел генерал. — Не позволю, зарублю!.. — И, спрыгнув с телеги, трясясь и брызгая слюной, побежал к лошадям. — Мужики! мужики! негодяи! Запрягай! вали все в воду... к черту!..

— Что ты, что ты? — говорил Нил Потапыч, отступая. — Оду- рел человек!..

Алексей Алексеич сам отвязывал лошадей, за недоуздки тянул их к возам и, подставляя мужикам кулаки под самый нос, кричал: «Запрягать! запрягать! запрягать!» Воза скоро зашевелились, и генерал заметался около них, хватал вожжи, кнутом бил лошадей по мордам, и все сто сорок восемь телег, скрипя и колыхаясь, понеслись под гору к речке...

Кричал генерал сначала басом, потом пронзительно и, наконец, замолк — порвался голос, и он только шептал:

— Вали в воду, подвертывай! — сам схватился за первый воз, рванул брезент, и с шумом зерно посыпалось в тихую реку.

Мужики захохотали и с криком опрокинули телегу колесами вверх... Подвозили еще и еще и перевертывали. На горке у дома собрался народ. Нил Потапыч стоял все еще без картуза, расставя в изумлении ноги и руки. Заголосила какая-то баба. Густым золотым слоем по всей речке плыло зерно...

Долго глядел на реку Алексей Алексеич, потом повернулся к народу и показал шиш.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Уйди, Павлина, пропади с моих глаз! — в отчаянии говорила Степанида Ивановна.

Павлина, хватая ее за платье, вопила:

— Я ли не старалась! Взгляни на меня, ягодка, глазочком погляди на меня, дуру!

— Я тебе вверилась, Павлина, хорошо ты меня отблагодарила.

Павлина ударилась головой о половицу и пуще принялась стонать.

— Разум отшибло! От сладкой пищи жиром я, окаянная, заплыла, огорчила свою благодетельницу!

— Петухи ей понадобились, а зачем? Смеяться надо мной или денег выманивать? Ты бы сказала, я бы тебе просто денег дала.

— Ох, смерть пришла, ох, мочи моей нет! — причитывала баба.

— Уходи, Павлина, вон! — Генеральша повернулась на диванчике лицом к стене.

Произошел такой разговор потому, что вчера ночью обрушился не укрепленный подпорками свод и землей завалило всю галерею. Землекопы кобенились, уверяя, что это — чертова работа, и пришили расчет. Им прибавили поденную плату и поставили ведра водки, с которой они напились влоск и завалились спать на Свиных Овражках, в густом папоротнике. Афанасий ходил их будить, но добудился, сам как-то нечаянно напился и, вернувшись, побил Павлину. На глупую бабу пала вся вина.

— Что за глупости придумала — петухов! — после молчания продолжала генеральша. — Не знаешь ничего так и говори: ничего не знаю, ваше превосходительство. Наверно, и все сны твои дурацкие.

Павлина сидела на полу, пригорюнься. С покрасневшего ее лица падали слезы. Вдруг она вскочила и ударила себя по бокам.

— Догадалась! Лопни мои глаза! Петухов-то надо купить *неторгованных*.

— Как *неторгованных*? — спросила Степанида Ивановна и с живостью спустила ноги на ковер.

— *Неторгованный* петух силу имеет, благодетельница, а *торгованный* есть суповая куря. Сколько спросили за птицу, столько за нее и давай. Слава тебе, Господи, вспомнила. Пожалуйте денег, я сейчас побегу...

— Ну, нет, — сказала Степанида Ивановна твердо, — хотя я вижу, в чем была ошибка, но денег тебе не дам, сама поеду и куплю.

Генеральша подробно расспросила, каким образом покупать петухов, где и когда. В это время вошел Афанасий и, прикрыв ладонью рот от винного духа, доложил, что генерал вернулся, прошел прямо в кабинет и никого к себе не пускает.

— Вонь какая от тебя, — сказала генеральша. — Ах ты пьяница!

— Это бензин-с, — извинялся Афанасий, — для чистки его превосходительства панталон-с.

— Поди узнай, хорошо ли продали хлеб.

— Никак нет, ваше превосходительство, кучер мне говорил, что его превосходительство хлебец в воду изволил высыпать.

— Что? В воду? Ужас! Быть не может!

Генеральша побелела, как носовой платочек, ноги ее подкосились, и она села на диван, но вскоре оправилась и поспешила к Алексею Алексеевичу.

На стук в дверь он не ответил; услышав же голос жены, кашлянул, зашаркал туфлями и повернул ключ. Степанида Ивановна толкнула дверь и ахнула: перед ней стоял, сутулясь, Алексей Алексеевич, желтый, со спутанными волосами, страшный, в грязном военном пальто.

— Запах какой-то от тебя, Алексей. Что ты наделал? — закричала генеральша.

Генерал пошевелил губами и, держась за косяк, опустился на колени.

— Прости меня, Степанида Ивановна, я утопил весь хлеб. — И, подняв плечи, покрутил поникшей головой.

— Милый ты мой, — охватив его руками, торопливо заговорила Степанида Ивановна, — ты болен, совсем болен... ляг... Афанасий, воды горячей! Что за слуги ужасные! — вскрикнула она, звоня в колокольчик. — Ложись, ложись и молчи.

С трудом поднялся генерал и, поддерживаемый генеральшей, прилег на диван, вздохнул судорожно, заморгал, и слезы потекли по грязным щекам. Степанида Ивановна молча прижимала его голову к груди.

Принесли воды, омыли генерала, одели в чистое белье, спустили в кабинете шторы.

Генеральша сидела на диване, держа мужа за руку; когда же он начинал шевелиться и вздыхать, повторяла:

— Не бывает счастья без горя, вот тебе горе было и прошло, а на смену счастье придет. Верь только мне. Я найду тебе иные сокровища. Крепись, Алексей, и терпи.

— Хорошо, буду терпеть, только ты-то меня прости, — шептал генерал.

Принесли заваренной крепко малины, рому, генерал откусал, и ему полегчало. Генеральша дождалась, когда Алексей Алексеевич уснул, и велела позвать к себе кучера; он рассказал все, как было.

Генеральша ему и всем настрого запретила напоминать генералу о несчастии и, не теряя времени, поехала в село.

Теперь, когда хозяйство потерпело такой урон, было совсем необходимо скорее окончить дело с кладом. Силы генеральши возросли, и она объездила все дворы, но петухов нашла только двух; бабы уверяли, что без петухов в хозяйстве трудно, — не самим же им кур топтать, — и за птицу держались крепко.

В соседних деревнях могли тоже не продать или всучить каких-нибудь дохлых кочетов; поэтому, чтобы сыграть наверняка, решила Степанида Ивановна поехать в город и попросила Николая Николаевича сопровождать себя в пути...

Смольков надел охотничий костюм, и они поехали. Городской базар давно отошел, когда гнилопятские измокшие от быстрой езды лошади остановились на большой площади около лавки со съестным. На вопрос Степаниды Ивановны, есть ли живые петухи, расторопный приказчик принес без малого половину туши говядины; генеральша рассердилась.

— Я у тебя петухов спрашивала, а не говядину твою вонючую...

— Не извольте гневаться, — возразил приказчик, похлопывая по туше, — говядина у нас первый сорт, а вам куда петуха: естество у него лиловое, жесткое.

— Дурак ты, отец мой, — отрезала Степанида Ивановна и приказала кучеру пойти по домам спросить, не продадут ли птиц — барыня, мол, не торгуется.

Кучер, передав Смолькову вожжи, ушел. Из соседней галантерейной лавки вышел приказчик, держа картуз на отлет, и предложил только что полученного уральского балычку. Приглашали также зайти в мучной лабаз и в квасную. Какой-то лохматый мужик в бабьей кацавее привел на веревке продавать тощего теленка.

— Отъезжайте, Николай Николаевич, — воскликнула разгневанная генеральша, — вот сюда, поближе к реке, — и стала внимательно глядеть на берег, где ходило множество кур и вспархивающих голубей... — Здесь его мучили, — прошептала она, — вон следы от колес, и эти птицы! Николай Николаевич, отъезжайте подальше от ужасного места... Злые, гадкие люди...

Генеральша заплакала в платочек, не выдержав волнений сегодняшнего дня. Смольков растерялся, упустил вожжу и в утешение сказал:

— Ободритесь, побольше энергии...

Кучер явился и объявил, что бабы ломают несуразную цену — по рублю семи гривен за цыплага, а он предлагал даже восемьдесят, а гусей, мол, сколько угодно.

— Ну, не глуп ли ты? — вытирая слезы, укорила его Степанида Ивановна. — Говорила я: нельзя торговаться... Иди за мной...

У ворот двухэтажного дома генеральша вылезла и вошла во двор. Во дворе у черного крыльца стояла с решетом в руках худая мещанка в ярко-зеленом платье и звала:

— Цып, цып, тега, тега, уть, уть! — бросая из решета птицам размоченный хлеб... Вошедших Степаниду Ивановну и кучера она подозрительно оглянула: — Вам что нужно?

— Продайте мне вот этого, — сказала генеральша, с волнением глядя на голенастого красного петуха.

— Самим надобен, ищите у других.

— Я не торгуюсь. Сколько хотите?

— А вам зачем?..

— Это не ваше дело, — вспыхнула генеральша, — я спрашиваю, продадите петуха?

— Не мое дело, так на чужие дворы не шляйтесь, — с тоскливой злобой проговорила мещанка, отворачиваясь.

На следующем дворе оказалось, что петуха вчера только задавила свинья, а то бы непременно продали, в третьем месте совсем было удалось купить, но когда девчонка стала ловить попку, петух заорал и улетел через забор.

После долгих хождений Степаниде Ивановне удалось приобрести трех птиц, и кучер посоветовал поехать в слободку. В слободке, очевидно, прослышали про барыню, которая не торгуется, и бабы нанесли великое множество петухов, прося за них совсем уже несуразные цены. Наконец лукошко, привязанное к козлам, наполнилось, и генеральша приказала поскорее гнать лошадей домой,

так как солнце зашло и с запада надвигалась черная туча, усугублявшая вечернюю темноту.

Гладкая степная дорога, дойдя до пашни, испортилась: плугари, заворачивая плуги на обратную борозду, исцарапали путь; коляску стало подбрасывать так, что Николай Николаевич прикусил язык, лукошко трясло, и один из петухов, приподняв плетеную крышку, оглянулся, ударил крыльями, выпрыгнул и побежал по пашне, за ним выскочил другой и сел на траву.

— Стой, стой! Держи, держи его! — закричала генеральша, обхватив лукошко. Смольков проворно вылез из коляски и побежал за голенастым петухом, мелькая белыми панталонами по пашне. Петух заметался. Когда Смольков нацеливался, чтобы его схватить, нырнул он между ног, и Николай Николаевич, потеряв равновесие, падал. Так они далеко забежали по пашне, и, только нагнувшись, можно было видеть на вечерней заре силуэты человека и впереди бегущей птицы. Степанида Ивановна подобрала смиренного петушка, сидевшего в траве около коляски, поцеловала, посадила в лукошко и, вздернув юбки, побежала, спотыкаясь, на помощь Смолькову.

— Берегитесь, он страшно клюется, — кричал издали Николай Николаевич.

Промокший и грязный, вернулся он со Степанидой Ивановной к экипажу, — петух же удрал, где-то присев за кочкой.

Стал накрапывать дождь, подняли верх у коляски и скоро въехали в удельный лес. В лесу стало совсем темно, пропала из глаз серая полоса дороги. Только дождь стучал в кожаный верх экипажа да глухо роптали невидимые во мраке листья. Лошади шли шагом, потом остановились совсем, и кучер, нагнувшись, сказал, что придется переждать, пока прояснит, иначе можно сгубить коляску и коней, въехав на буреломное дерево или в канаву. Генеральша очень рассердилась, но делать было нечего; из саквояжа вынула она двустольный, взятый из генеральской коллекции пистолет, положила на колени и проговорила громким шепотом:

— Никому не доверяю в такое время.

— Разве есть опасность? — поспешно спросил Смольков.

— Посмотрите, какая темнота, лица вашего не вижу, а здесь по дорогам шалют...

Лошади в это время захрапели, кучер прикрикнул на них, но они продолжали пятиться: кто-то, очевидно, приближался. Вот чавкнула нога по грязи, хрустнул сук.

Степанида Ивановна, услышав, как стучат у Смолькова зубы, прошептала:

— Перестаньте же, стыдно! — и, высунувшись из-за кожуха, сказала громко: — Не подходи, я стреляю!..

— Зачем стрелять, — совсем близко ответил кроткий голос, — я не лихой человек. Видишь — темень какая засилила — и глаз не надо...

— Кто ты?

— А сторож удельный. Изба моя неподалече, заходите, если не побрезгуете.

— Нет, благодарствуй. А что? Скоро прояснит?

— Прояснит, — ответил сторож уверенно, — Бог милостив.

В голосе его было столько ласкового спокойствия, будто не человек это говорил, а шумело дерево листьями. В лесах рождаются такие голоса, в широких степях, и нет в них ни злобы, ни страсти, утром они звонкие, в сумерках вечерние. Слушая их, чувствуешь, как во всем — и в камне, и в птице, и в человеке — одна душа.

Умиротворилось сердце Степаниды Ивановны, пропал у Смолькова ночной страх, и долго еще слушали они, как, удаляясь, постукивал сторож палкой по стволам.

— Вот будто звезда проглянула, — сказал кучер негромко.

Дождь переставал; Степанида Ивановна, откинувшись в глубь коляски, улыбалась своим мыслям. Смольков вполголоса принялся декламировать французские стихи...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сегодня в двенадцать часов в монастырской церкви назначено было бракосочетание. Сонечка рано проснулась в белой своей постели и лежала, глядя на солнце, играющее на подоконнике и на полу. В окно неверным полетом влетели белые бабочки и вновь унеслись на свет. Сонечка перевела глаза и на стуле увидела приготовленное тонкое, в кружевах, подвенечное белье. Платье, заколотое в простыню, лежало около, и на нем стояла пара белых туфелек. Вечером, ложась спать, Сонечка очень боялась увидеть поутру эти белые, приготовленные для нее вещи и долго не тушила свечи, думая об ужасных подробностях, рассказанных Степанидой Ивановной тогда ночью. Думы эти растравили ее и распалили; подобрав под себя колени, зарылась она с головой и уснула только на рассвете.

Но сейчас с радостью чувствовала себя ясной и спокойной; может быть, только в страшной глубине сердца у нее была как бы натянута струна.

Сообразив, что не стоит два раза на дню переодеваться, Сонечка спустила на коврик ноги и осторожно развернула шелковые чулки.

«Пожалуй, протрутся, — подумала она, — такая тонизна»; из тумбочки вынула ножницы и, подняв к подбородку колени, стала подстригать ногти на ноге, но не коротко, как обычно, а округленно их выравнивая. Уличив себя в этом, Сонечка покраснела: «Вот глупости, кому это нужно», — и подошла к умывальнику. Здесь опять вместо ежедневного казанского мыла лежало в новой серебряной мыльнице французское... «Какое душистое», — еще подумала она и тщательно вымыла себе руки, шею и грудь.

Надела белье и остановилась в раздумье, — какое выбрать платье? Пока она так думала, вошла Люба; неся на обеих руках зеленое шелковое платье, в котором (Сонечка его сейчас же узнала) генеральша еще в молодости снималась.

— Ах, милая барышня, вы уж встали, генеральша вам этот туалет к утреннему чаю приказали надеть. Все еще спят, вы не торопитесь.

— Все равно, погуляю. — Сонечка покраснела и, с помощью Любы надев пахнущее старыми духами, шуршащее платье, вышла в сад.

Садовник поливал в клумбах георгины и отцветающие уже левкои и резеду. Сонечка ласково поздоровалась с садовником и осторожно, чтобы не оброситься, пошла по дорожке к пруду.

— Прощай, пруд; прощайте, мои липы! — сказала она громко и оглянулась — не подслушивает ли кто-нибудь. Но было совсем тихо, даже не кричали молодые и старые грачи — улетели на поля.

Сонечка села на скамейку, склонила голову немного набок и усмехнулась:

— Вы так и не пришли, а я выхожу замуж. До свиданья. Оставайтесь с вашей *высокой шляпой и черным плащом*.

Проговорив все это, она сломила соломинку и стала дразнить козявку, у которой на спине было нарисовано красными точками глупое лицо.

«Сколько этих козявок у нас дома». — И сердце Сонечки жалошь воспоминаниями милого, тихого детства.

Чай пили все по своим комнатам. Афанасий, состоя в этот день при Николае Николаевиче, суетился ужасно: чистил штиблеты, выколачивал платье; разболтал всем про какие-то необыкновенные подтяжки с колесиками у молодого барина. Несколько раз раздавался из окна голос Смолькова: «Афанасий!» — и Афанасий бежал, топая ногами так, будто без него вообще ничего не могло случиться.

Когда Сонечка вошла в генеральшину комнату Степанида Ивановна стояла посреди чудовищного беспорядка. Повсюду валялись платья, белье, пахло духами, и, цапаясь клювом о клетку, кричал попугай. Брови у генеральши были подведены от переносицы почти до ушей, лицо пятнами обсыпано пудрой, в шиньоне торчал испанский гребень.

— Одеваться, мать моя! — воскликнула она. — Фу, как все делается не по-настоящему. Снимай платье, я тебя сейчас одену...

— Разве пора? — спросила Сонечка и на одну только минуту затрепетала. — Хорошо, я сейчас. — Генеральша помогла ей раздеться, оглянула и строго сказала:

— Ну, нет, это не белье. Люба, достань из шифоньерки — ты знаешь какие — с брюссельскими... Да поворачивайся, мать моя.

Затем, поворачивая Сонечку, трогая и разглядывая, генеральша забормотала:

— Здесь родимое пятно, это хорошо, на удачном месте. Я, признаться, думала, что ты кособокая. А это что? Софья! Ты по крыжовнику, что ли, ползала? Стыдно... Загар с рук сведи рассолом.

Затем, притянув к себе пунцовую от стыда девушку, генеральша шепнула ей на ухо такое, от чего Сонечка похолодела, ахнула и замерла, чувствуя — вот рухнет все призрачное ее спокойствие.

Но она превозмогла себя и, со слезами на глазах, стала глядеть в сторону, предоставив генеральше возиться и бормотать, сколько хочет.

С этой минуты все происходящее потеряло для нее значение. Как во сне, она оделась. Пошла в кабинет, где на коврике она стилась перед Алексеем Алексеевичем на колени; приняла блинчик словенне походным образом, с надписью от полка; поцеловали дрожащую, с синими жилами руку генерала; потом проделали то же перед генеральшей; вместе с ней села в карету и поехали в монастырь, где за оградой в деревянной церковенке должен был ее повенчать заштатный поп.

По дороге, глядя в окно, замечала каждый куст близ дороги. Узнала на Свиных Овражках флаг с изображением петуха, поставленный иждивением Павлины, и улыбнулась. Ветка орешника со спелым орехом-тройчаткой задела ее по руке. У монастырских ворот поклонились две монашенки, как черные куклы. На песке, распушась, сидел глупый воробей, колесом его чуть не задело...

Сонечка сама отворила дверцу кареты, вылезла на паперть, помогла выйти генеральше и, под руку с нею, пошла по чистому половику, подбирая тяжелый шлейф. В церкви было ярко и зелено от листьев, льнущих извне к окнам. Солнце, разбитое на множество пыльных лучей, играло на золотом иконостасе. Сонечка вдыхала запах ладана и свечей и стала молиться.

Когда послышался шум в дверях, она догадалась, что прискочил Смольков, угадала его голос, но, когда он, весь в черном, с испуганным лицом, стал подле, прошептал: «Здравствуй!», не узнали его и улыбнулась.

Священник начал обряд. Сонечка верила всей душой в совершающееся таинство. Когда приказали ходить, — словно полетела, не чувствуя пола под ногами. Рука ее не ощущала чужой руки, глаза не видели ничего, кроме огня свечи, и, когда махнули кадилом, — вдыхнула грудью ароматный дым ладана. Свет свечи, все увеличиваясь, разлился по всему ее телу, и кто-то сказал: «Невесте дурно».

Но она знала, что не дурно ей, а легко. Только боясь испугать добрых людей, решила она опуститься на землю и, стукнув туфелькой о плиту, почувствовала, как все тело покрылось каплями пота, рука Смолькова поддерживает ее и наклоняются странные его глаза.

Служба не прерывалась и скоро пришла к концу. Сонечку поздравляли, а она все глядела на бледное лицо Николая Николаевича, думая: «Какой же он мне муж!»

В карете на обратном пути Смольков сказал особенным шепотом:

— Наконец-то, милая моя Соня! — и поцеловал ее в губы, и она, подняв брови, глядела, не отклоняясь, на эти такие близкие, странные и страшные сейчас, полузакрытые глаза мужа.

Генерал и генеральша, приехав первыми, встретили с образом молодых и повели к столу. Все громко старались шутить и сме-

яться. Сонечка, слушая их голоса словно издалека, чувствовала ту же легкость, как в церкви, и не притрагивалась к еде. Шампанское пригубила и выпила весь бокал и попросила еще.

— Она трусит, поэтому пьет, — уверяла генеральша слишком много смеясь. Поминутно чокалась она, проливая вино на скатерть.

Генерал сказал:

— Жаль, что музыки нет, я бы пошел трепака!

— Все равно, выходи, выходи, — воскликнула Степанида Ивановна, покачиваясь, вышла на середину комнаты и подняла платочек.

— Эх, старина! — крикнул генерал, вскочил и лихо затопал ногами.

Генеральша покачнулась и, визгливо смеясь, упала бы, если бы не поддержал Смольков. Генерал продолжал топтаться... Сонечка, подперев щеку, глядела на них, и глаза ее были полны слез.

После обеда все, с тяжелыми головами, не отдыхая, начали слоняться по дому и не знали, что начать, потому что делать обычное казалось неловким.

В саду, около веранды, собрались дворовые и парни с девушками из села, — разодетые в кумачи... По настоянию генерала Николай Николаевич вынес им четверть водки, а Сонечка поднос, полный орехов и пряников. Девушки, став полукругом, прославили молодых, захлопали в ладоши и пошли плясать, подпевая:

Ах ты, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, ду.
Била Дуня Ваню колом на леду.

Выискался музыкант на жалежке и подхватил припев; тогда из толпы выскочил парень, схватился за шапку, крикнул и, загребая тяжелыми сапогами, пустился плясать.

Сонечка, отыскав глазами в толпе своего красавца парня, теперь добродушно смеявшегося пляске, подумала с грустью: «Минуло все это, минуло, прощайте».

К вечеру народ ушел, и долго еще с плотины слышались песни и девичий визг. В саду и на веранде стало тихо. Вздохнув, генеральша принесла шкатулку фотографиями и показала портреты еще живых давно умерших. Алексей Алексеевич в молодости был красавец. О каждой карточке рассказывала генеральша долгие истории.

Генерал в свою очередь принес военную карту и описывал поход через Дунай.

Так старики делали, что могли, развлекая молодых. Когда же сошла ночь и отпили последний чай на той же веранде, Степанида Ивановна сказала:

— Дети, проститесь с нами и подите спать. Люба вас отведет в вашу новую комнату, я своими руками постлала белье и приготовила все, что нужно.

Николай Николаевич скрылся незаметно. Сонечка так смутилась, что стояла посреди террасы, словно ища помощи у людей. Степанида Ивановна обняла ее и, ласково уговаривая, повела.

Генерал остался один, — задумчиво всматриваясь в тусклую, давно отгоревшую полоску заката, курил он трубочку и думал о невеселой своей жизни. Наконец вернулась жена, села близко около него и вдруг, вся собравшись в комочек, сказала:

— Алешенька, приласкай меня, ты уж давно меня не ласкал.

Генерал бережно обнял Степаниду Ивановну, прижал к себе и стал гладить по волосам...

— Вот мы и отжили свой век, — сказал он негромко.

Генеральша покачала головой.

— Не говори так, — нам еще много, много предстоит впереди. Ах, только сердце у меня очень ноет...

В нижнем окне правого крыла дома, против веранды, зажгся свет, — это была комната молодых с особой дверью в сад — бывшая гостиная.

— Свет у них, — сказала Степанида Ивановна. — Глупые дети.

— Мне показалось, будто вскрикнули, — после долгого времени спросил генерал, — ты ничего не слышала?..

— Дай-то ей Бог, — прошептала генеральша.

Спустя немного стеклянная дверь во флигельке звякнула, от стены отделился Смольков и быстро зашагал на длинных белых ногах через клумбы к веранде говоря задыхающимся с перепугу голосом:

— Степанида Ивановна, помогите, моя жена без чувств, я, при во, не понимаю...

Степанида Ивановна поспешно поднялась, взгляделась:

— Прикройте же по крайней мере, сударь, наденьте панталоны, — воскликнула она с негодованием.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мокрые тучи заволокли небо, лишь вдали, у края степи, виднелся мутный просвет. Туда, к длинной щели под тучами, уходила черная разьеженная дорога. Пара почтовых лошадей тащила кое-как плетеный тарантас по дорожным колеям, отсвечивающим свинцовой водой. Ямщик покрикивал уныло. Кругом — мокрые жнивья, ровные поля, тоска, степь.

Николай Николаевич, закутавшись в чапан, залепленный сзади лепешками грязи, потряхивался в тарантасе и покачивался в ту сторону, куда покачивался тарантас. Нос его покраснел, душа была в глубочайшем унынии: ну и заехали! — мокрые тучи, мокрым голая степь, впереди тоскливый просвет, отражающийся в свинцовых лужах и колеях дороги, сутулая спина мужика на козлах да два лошадиных хвоста, подвязанные под самую репицу.

Рядом с Николаем Николаевичем потряхивалась на подушках Сонечка, тоже закутанная в чапан, в оренбургский платок. Молчит и думает. Молчит и ямщик, изредка подстегивая взьерошенную от мокрети, неопределенного цвета пристяжную. Молчит и Николай Николаевич, — еще бы! Не хватало еще и разговаривать среди

этой безнадежной грязищи. И понесло же их из уютных Гнилопят через всю Россию — с пересадками, вонючими вокзалами и вот теперь на почтовых — в это захоlustье к какому-то скучнейшему старику, Илье Леонтьевичу. Какая была надобность? Высказать родственные чувства? Родственные чувства обычно высказываются с гораздо большим успехом в телеграмме или в письме. Сыро, ногам холодно, от тряски болит голова, половинки отсиделись. Вот она, расплата за легкомыслие! Сейчас бы в Петербург! Господи! Посидеть бы хоть с полчаса в парикмахерской у Жана! Никогда, никогда ничего больше не будет, кроме этой дороги куда-то к черту, в щель под тучами!

— Соня, долго нам еще ехать? — спросил Николай Николаевич.

Сонечка отогнула воротник чапана, взглянула на мужа, — лицо у нее было бледное, на щеке лепешка грязи, — оглянулась на степь.

— Мы еще Марьевку не проехали, — сказала она негромко и кротко, — проедем Марьевку, направо будет Хомяковка, а налево — Коровино, оттуда уже близко.

— Доедем, — сказал мужик на козлах, не оборачиваясь.

Николай Николаевич надул щеки и по крайней мере минут пять выпускал из себя воздух, — торопиться было некуда.

Наконец проехали Марьевку, увидели направо обветренные соломенные крыши Хомяковки, налево — ометы, соломенные крыши и одинокую на юру ветряную мельницу Коровина. Сонечка начала волноваться, распахнула чапан, щеки ее порозовели: из-под горки поднимались поредевшие старые ветлы, желтые кущи сада, блеснула свинцовая вода длинных прудов, отразивших тучи.

— Репьевка, — сказала Сонечка, указывая на ветлы, на краснеющую за ними крышу деревянного дома.

Ямщик подстегнул взьерошенную пристяжную, прикрикнул: «Но, милые, выручай!» Покатали под горку, проехали мягкую плотину, где пахло вянущей листвой и сыростью пруда, встретили кучу грязных и охрипших от злости собак и остановились у крыльца, заехав колесом на цветочную клумбу.

Доштатый обветренный фасад дома с деревянными колоннами и с разбитым слуховым окошком посреди треугольного портика, замаранного голубями, был обращен к белесоватой щели в небе.

Сонечка выпрыгнула из тарантаса и, путаясь в полах чапана, взбежала на крылечко, за ней поплелся Николай Николаевич. Толстое бабье лицо метнулось за окошком, и пошли скрипеть двери. Сонечка звонко крикнула:

— Анисья, где папа?

— В саду, милая барышня, здравствуйте, с приездом...

Илья Леонтьевич с утра возился в саду. Мелкий дождь моросил на седую его бороду, на черную безрукавку, на сизую траву вокруг, на опадающие золотые листья берез. Налегая ногой на лопатку,

покряхтывая Илья Леонтьевич перекапывал розовый куст. Когда лопатка задевала за корень, он морщился, опускался на колени и пальцем отковыривал корешок, бормоча по давнишней привычке вслух:

«Терпение можно испытывать лишь до известной границы, далее — я могу впасть в раздражительность, и это дурно. Но если это дурно, все же не значит, что я не могу быть раздражителем».

Скверное настроение у Ильи Леонтьевича началось неделю тому назад по ничтожному поводу. Еще летом он послал племяннику своему Михайле Михайловичу, по его просьбе, свой, лет двадцать лежавший в сундуке, дворянский мундир с золотым шитьем, совсем новешенький. Дворянские выборы давным-давно прошли, но Михайла мундира назад не присылал. При встрече Илья Леонтьевич не мог глядеть в глаза племяннику и сердился на него и на себя за мелочность. Хотя мундир Илье Леонтьевичу был совершенно не нужен, все же неделю тому назад он послал за ним нарочного, который и прислал мундир, но не тот, что Илья Леонтьевич дал этим летом Михайле поносить, а какой-то весьма поношенный мундир с обшарканным шитьем. Тогда Илья Леонтьевич написал Михайле:

«Я оставил тебе мундир поносить, а ты прислал мне взамен какие-то скверные обноски. Мне обидно не то, что ты взял мой мундир, прислав негодный, а обидна эта манера, взгляд на вещи; также и то, особенно, что ты, обидев меня, сам же меня считаешь мелочным, что и высказывал Анне Аполлосовне, и даже смеялся, представляя в жестах, как, будто бы я, надев мундир, расхаживаю один по дому... Повторяю, что мундир мне не нужен и расхаживать в нем я не собираюсь, тем более — потешать других, но прошу тебя все же мой мундир вернуть в целости, а присланный тобой, обшарканный, отсылаю...» И так далее и так далее...

Досадовал Илья Леонтьевич на всю эту историю и не мог найти в себе ни подобающего спокойствия, ни душевной тишины. А нынче ночью к тому же и видел во сне Михайлу, — стоит будто бы он в новом мундире, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и показывает язык.

Отковыряв пальцем раздражавший его корень розы, Илья Леонтьевич, кричтя, вытащил из ямы куст, обил землю и завернул его в рогожу.

В это время в саду появилась Анисья, крича еще издали:

— Илья Леонтьевич, барышня приехали!

Это уже было ни на что не похоже: внезапно, не известим, свалиться как снег на голову.

Подходя к дому, Илья Леонтьевич увидел, как ямщицкий тарантас съезжал с цветочной клумбы и лохматая пристяжная похотливо хватила зубами ветку недавно посаженного тополя, на котором еще не осыпались желтые листья...

— Разбойник, — закричал Илья Леонтьевич, — что ты мне весь палисадник вытоптал!

Ямщик покосился на сердитого барина и, пристегнув лошадеенок, ни слова не отвечая, уехал. На лестнице, на крылечке, и

лакейской, — повсюду на чисто вымытых сосновых старых полах увидел Илья Леонтьевич лепешки грязи...

«Дом в конюшню обратили», — подумал он, еще сильнее раздражаясь на то, что вот приехала дочь с мужем, а он только и знает, что сердится на мелочи.

Илья Леонтьевич пошел к себе в спальню за занавеску, вымыл в рукомойнике руки и лицо, расчесал влажную бороду и вышел в столовую, где слышался запах дорогого табачного дыма.

Сонечка сидела на диване, — было на ней незнакомое (Илья Леонтьевич осудительно подумал: «из Парижа, чай, выписали») шелковое платье, шелковые чулочки, тоненькие башмачки копытцами, лицо похудевшее, чужое, волосы подобраны неестественно, — чистая кукла! Николай Николаевич стоял у окна, глядя через заплаканные стекла на умирающий сад. Голова у зятя была огурцом, с плешинкой, спина унылая. «Фертик», — подумал Илья Леонтьевич и сейчас же с отвратностью подавил в себе гадкую мысль. Сонечка, увидев отца в дверях, легко вскрикнула, подбежала на каблучках-копытцах. Илья Леонтьевич расцеловался с дочерью.

— Папа, мой муж, — она указала глазами и улыбкой на почетительно, почему-то даже с оттенком некоторой скорби, кланяющегося Николая Николаевича, затем, умоляюще глядя в глаза отцу, так вдруг покраснела, что выступили слезы.

Илья Леонтьевич обнял зятя, — поцеловал в висок.

— Ну, — сказал он со вздохом, — поздравляю, рад, рад. Спасибо, что приехали... Садитесь.

Он сел на старенький кожаный диванчик, Сонечка робко присела отцу под крыло, Николай Николаевич сел напротив, нагнул голову.

Сквозь заплаканные стекла едва теперь был виден сад, весь мокрый и серый в тумане, за пеленой отвесного дождичка. Полукруглые окна вверху были затянuty паутиной. Казалось, пыльная эта паутина висит во всех темных углах столовой, во всем репьевском доме.

Сонечка стала рассказывать, — вкратце и немного сбивчиво, как урок, — о свадьбе, о Гнилопятах, о генерале и генеральше, о поездке. Илья Леонтьевич кивал бородой, вынул из кармана и вертел в пальцах тавлинку с нюхательным табаком.

— Жалею, жалею, — сказал он, — хотел быть на свадьбе, но не мог: дорога тяжела, расходы большие и хозяйство не на кого было оставить. Да вы, по правде сказать, и без меня хорошо обошлись. Не сетую, не сетую, — новое поколение, новые нравы... Вчера познакомились, а сегодня уж и обвенчались, а завтра и разъехались по сторонам... В шутку это говорю, да, да, шучу. — Он захватил щепоть крупной крошки французского табачку, прищурил правый глаз и нюхнул, затем узловатыми пальцами слегка отряхнул бороду. — Шучу. Рад, что приехали. Ну, как же вы думаете начать жить?

Николай Николаевич моргнул несколько раз, затем сделал неопределенный жест... Глаза у него слипались от сумерек, от скучнейшей этой беседы, от усталости после дороги.

— Мой дядя определенно обещал мне пост в министерстве иностранных дел, — сказал Николай Николаевич. — Вот вы нас здесь побалуετε несколько дней, потом поедем.

— Что же так? Несколько дней? Я не гоню, живите, покуди можно.

— Нет, нет, мы здесь поживем, — поспешно сказала Сонечка. — Знаешь, Николай, как хорошо здесь будет осенью: заморозки, иней, хрустальный воздух. Длинные вечера, беседы... Будем вслух читать...

Николай Николаевич странно, пустыми глазами посмотрел на жену, — она опустила голову.

Илья Леонтьевич сказал после некоторого молчания:

— Жить в деревенской глуши — надо иметь привычку. Если вы, — он из-под бровей уставился на зятя, — ищете поминутных увлечений, — деревня вам покажется скучна. Здесь не найдете ни सुетливых улиц, ни гостиных с пустой болтовней, ни развращающей душу и тело ресторанов. Но вы найдете здесь тишину, мудрый укрепляющий труд, суровую справедливость действительности. Вот все мои родственники — та же Соня, тот же племянник Михаил — думают, что я все хандрю и сержусь. Неправда, — по натуре я не хандрун, у хандруна в глазах потемки, я же вижу ясно и полагаю, что глупо считать меня за ворчуна. — Борода у него затряслась, он опять нюхнул табачку. — Все мы подвержены слабости и падению. Мы не хотим, мы страшимся понять, что все окружающее, равно как и все находящееся внутри нас, дано не нам одним, но и нашим предшественникам и будущим поколениям. Мы лишь приказчики наших сокровищ. Мы лишь ответчики за большее или меньшее радение о нашем имуществе. От непонимания этой суровой истины — все наши пламенные желания, вся жажда наслаждений, для которых нужны деньги и деньги, — накопление и вновь расточение. Оттого и вечное недовольство, помрачение рассудка, слепота...

«Эге, — подумал Смольков, — старик-то вон куда гнет... Нет, брат, на эти штуки меня уже ловили, шалишь».

— Пример я беру, — продолжал Илья Леонтьевич, — скажем, есть у меня мундир с золотым шитьем, в полной сохранности. Должен я его швырнуть какому-то шалопаю на ветер, или я должен его сохранить, беречь, ибо я его временный владелец? — Илья Леонтьевич сильно запустил в нос две понюшки. — Можно, разумеется, представить, что старик выжил из ума и по вечерам разгуливает в мундире по пустым комнатам... Да, да, мне мундир не нужен, — пускай его носят на здоровье, — важен принцип...

Николай Николаевич, сморщившись, старался понять: в чем тут дело, о каком мундире говорит Репьев? Но так и не понял, — мигреновой болью вдруг разболелся затылок. А Илья Леонтьевич все продолжал говорить, путано и сложно, — сам себе отвечал на мысли, ворчал и нюхал табак.

А за окном лил и лил дождик на примятую траву, на рыхлые клумбы, — шумел в водосточных трубах.

Николай Николаевич давно уже перестал слушать. «Действительно, ничто другое здесь и не придет в голову человеку, — подумал он, — тоска, мокреть, от самого себя стошнит».

Наконец Анисья внесла самовар, стреляющий искрами из решетки, и вздула лампу над белой скатертью круглого стола. В комнате стало уютнее, — дождь и сырость ушли за окна... Илья Леонтьевич сунул тавлинку в карман и сказал, подымаясь с диванчика:

— Прошу, чем Бог послал.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вторую неделю доживали молодые Смольковы в Репьевке. А дождик, не переставая, лил и лил, — мелкий отвесный. Сырость и скука проникли во все углы репьевского дома. В штукатуренных стенах повсюду торчали гвозди; на диванах, на просторных креслах лежали пыльные связки картин, портретов и книг; под диванами, под ножками кресел стояли заколоченные ящики. В иных комнатах никогда не отворявшиеся окна были так затянуты паутиной, что едва пропускали свет. Странный был этот дом.

Лет пятнадцать тому назад, когда внезапно умерла Марья Аполосовна, Сонечкина мать, Илья Леонтьевич в безмерном отчаянии решил было навсегда покинуть усадьбу — переехать в город. Картины, книги, вещи были уже упакованы в ящики, — но как-то так вышло, что не переехали. Часть вещей снова поставили на свои места, а часть так и осталась лежать в ящиках и на диванах. Несколько раз Илья Леонтьевич заговаривал с дочерью, что хорошо бы привести дом в порядок, развязывал пачку портретов, задумывался над ними и клал их на старое место. Но сейчас, по случаю приезда молодых, все же прибрали наверху две комнаты — спальню и горенку, где супруги могли без помехи с глазу на глаз проводить время. Супруги время проводили однообразно: вставали поздно и в кроватях кушали остывший чай, спускались вниз только к завтраку, когда Илья Леонтьевич, насуетившийся спозаранку по хозяйству, уже сидел на своем месте — на кожаном диванчике — и поварчивал в бороду.

После завтрака Сонечка вместе с Анисьей занимались переборкой старых вещей — носильного платья, белья, кружев, лежавших в ящиках огромных комодов. Николай Николаевич бродил без определенного занятия по комнатам, — курил, глядел в окошки или свистал, заложив пальцы в кармашки полосатого коричневого жилета. Илья Леонтьевич уходил соснуть. Затем пили чай. Затем сидели в сумерках, — любимый час Ильи Леонтьевича, когда он, понюхивая табачок, заводил обычно длинную беседу о предметах высоких и отвлеченных. Затем — ужинали и расходились по своим комнатам до следующего утра.

Днем и ночью шумел дождь в водосточных трубах. Николай Николаевич бродил по дому, поглядывал на углы, где висела па-

утина. Такого уныния он еще не испытывал в жизни. В ожесточенной душе его зрело отчаяние.

— Коленька, может быть, ты почитать что-нибудь хочешь? Нет, я взяла у папы «Вестник Европы», — сказала Сонечка, с тревожным всматриваясь в бледное в сумерках лицо мужа, сидевшего у стола перед недопитым стаканом чая.

— Уволь, пожалуйста, от твоего чтения, — сказал Николай Николаевич. — Твой отец очень странный человек, я нахожу. Да, да, очень странный.

Сонечка положила книгу, села у стола.

— Что случилось, Коленька?

— В том то и дело, что здесь ровно ничего не случается.

Голос его как-то даже особенно зазвенел. Николай Николаевич встал со стола книгу, раскрыл, закрыл.

— Прислал «Вестник Европы»... Ха, ха... Может быть, мне там же четьи минеи надо читать? Я совершенно серьезно начинаю подумать, не заняться ли искусственным выведением цыплят или, например, поступить в сельские учителя... Из меня бы вышел достойный местный деятель...

Николай Николаевич швырнул «Вестник Европы» под диван, отошел к окну и, сунув пальцы в карманы жилета, засвистел мотивчик:

Папирочка, мой друг,
Ты меня пленяешь,
Сон навеваешь,
Люблю тебя всей душой,
Всей душой, да.

После того как песенка о папирочке была спета, Сонечка сказала чуть слышно:

— Я давно заметила, что ты сердиться на папу... Я не знаю, что у вас произошло... Но я знаю — папа нам хочет только добра.

— Папа хочет! — воскликнул Николай Николаевич, с яростным оборачиваясь. — Папа хочет, чтобы я выучился доить коров и так далее. Да-с, это он мне сам вчера заявил в виде аллегории. Папа хочет сделать из меня высокоморального человека, второго Франциска Ассизского... А денег нам на поездку в Париж давать не хочет!..

— Коля!

— Что Коля? От этих — двадцать четыре часа в сутки — рядов разговоров под дождик о душе и всемирной любви меня тошнит и рвет...

Николай Николаевич выпуклыми глазами уставился на Сонечку, — под его взглядом ей стало холодно спине, упало сердце.

— Я раздражен, да-с. Мало того, — я в крайнем возмущении. Только скупые старики и старые, истерические бабы могут разглагольствовать о величии души, о любви в шалашах, о разных Элипах и прочей омерзительной гадости... Но ты — моя жена, ты не

должна способствовать этому жалкому надувательству... Ты должна понять, что я светский человек, а не пастух... Я хочу жить, а не торчать целые дни носом в мокрых окошках... Нам нужны деньги... Мы должны успеть к началу сезона быть в Париже... У меня есть план страшно выиграть в Энгин в рулетку... В декабре мы должны вернуться в Петербург... Во всяком случае — я должен, я это сделаю, черт возьми!

Он повернулся на каблуках, фыркнул носом и выбежал из столовой. Сонечка осталась сидеть у стола, опустив на кулачок голову. Ею овладело оцепенение, истинная грусть. Твердо и ясно проговорила она те слова, о которых раньше боялась и думать:

— Не любит меня, никогда не любил.

Все это время, с первой встречи со Смольковым в Гнилопятах, жила Сонечка как бы в забытьи, — в ней все было притушено и заглушено. Генеральша — тогда ночью со свечою — нагнала на Сонечку ужас и разбудила любопытство. Смольков использовал его. Сонечка смутно чувствовала, что отношения ее с женихом — а затем с мужем — «совсем не то», но не знала, что же «то», и лишь всеми силами души стремилась наградить Николая Николаевича качествами необыкновенными, прекрасными, возвышенными, и самой быть такою, какою он хотел, чтобы она была.

Минутами ей дико казалось ощущать себя — новую: все в ней было новое, чужое, не пролюбванное — платье, белье, башмаки, движения, голос, запах волос (раньше она думала, что завиваться и душиться — дурно). Бывали минуты, когда в ней поднималось тошненькое отвращение к этому новому существу. Но она повторяла: «Так нужно, так хочет Коленька».

Правда, первая же свадебная ночь едва не окончилась катастрофой. Николай Николаевич, когда их оставили, наконец, вдвоем во флигельке в саду, не говоря ни слова, даже не лаская, только ужасно вдруг побелев, приблизил к Сонечке страшное лицо свое — выпуклые, остекленевшие глаза, трясущиеся губы, — хрустнул зубами и повалился вместе с женой на кружевную постель.

Сонечка молча слабо сопротивлялась. Было так, будто ее убивают. Упала, погасла свеча. Невидимый зверь рвал на ней кружева, зарывался зубами, холодным носом в шею. Кончился этот ужас глубоким обмороком молодой женщины.

Затем прибежала генеральша, поила Сонечку каплями, прикладывала припарки, с кривой усмешечкой, шепотком на ушко спрашивала об ужасном и стыдном.

Николай Николаевич, крайне недовольный всей этой возней с припарками, бродил в саду и громко чихал, так как в эту ночь выпала обильная роса.

В первые дни Сонечка думала, что сойдет с ума от страха и отвращения, — сама себе казалась растоптанной, как кошка, попавшая под колесо. Но вот — с ума не сошла и плакать перестала,

Николай Николаевич был весел и даже шутлив, нежны и ласковы — генеральша и генерал.

И уже Сонечка вновь корила себя за то, что глупая, за то, что — неумелая жена. Быстро мелькнула послесвадебная неделя в Гнилопятах. Николай Николаевич сам настоял на поездке к тестю. Прощанье было грустное, — генеральша расплакалась, стоя на крылечке, в тоске подняла глаза к небу, где в осенней синеве улетал клин журавлей. Алексей Алексеевич вытирал глаза малиновым платком:

«Прощайте, дети, дай Бог вам счастья, живите долго. Увидишь отца, — кланяйся ему, Сонюрка, обними. Видно, уж нам не уйти с ним. А жаль, хороший старик... Напомни ему, как мы в шахматы играли».

В дороге Николай Николаевич был несносен, — капризничал, сердился, жаловался на желудок и на сквозняки. У Сонечки точно оторвалась душа после прощанья на крылечке с генералом и генеральшей. От духоты вагона, от табачного дыма, от визгливого голоса Николая Николаевича болела голова, — это были будни, настоящая жизнь. Ах, журавли, журавли в осеннем небе над Гнилопятами!

И вот здесь, в отцовском доме, под шум дождя, в сумерках разоренных комнат, где торчали гвозди, висела паутина, Сонечка почувствовала, что далее не может притворяться и лгать себе и ему. С печалью и твердостью сказала она: «Не любит, и не любила и не люблю его».

Она вздохнула, заложила руки за спину и пошла в библиотеку, где было слышно, как чиркал спичками Николай Николаевич.

В библиотеке вдоль трех стен стояли черные высокие шкафы, полные ветхих книг. Пахло мышами и книжной плесенью. В кишининной трубе, с давних времен заткнутой вороньим гнездом, шум вывал ветер. Николай Николаевич сидел на библиотечной лестнице, зажмурив глаза от дыма папироски.

— Знаешь, здесь пять тысяч книг и все — духовнонравственного содержания, — сказал он и швырнул книжку в кучу книг на полу. — Скажи — сделай милость, — что за люди здесь жили? Отшельники? Или их всех, что ли, отсюда живыми на небо брили?

— Эту библиотеку начал собирать прадедушка, Илья Ильич, масон, — сурово ответила Сонечка. — Он был возвышенный и образованный человек, мы чтим его память. Таким же был и дедушка, такой же и отец. Николай, можно тебя отвлечь на минуту? Я бы хотела спросить об очень серьезном...

Сонечка, заложив руки за спину, смутным очертанием ходила вдоль окон, за которыми повисли тяжелые, мокрые ветви сажки. Николай Николаевич чиркнул спичкой, усмехнулся, сказал:

— Ого, это что-то новое у тебя.

— Я хочу спросить, Коленька... Мы живем вместе, целуемся, смеемся, вот теперь — скучаем. Но я не знаю — любишь ты меня? — Сонечка приостановилась, как бы прислушиваясь к этим новым для нее словам, к спокойному, твердому, тоже совсем не

вому голосу. — Я хочу сказать, — нужна ли я тебе душевно? Конечно, если бы я тебе совсем не нравилась, ты бы не был моим мужем... Нет, я хочу спросить, — любишь ли ты меня, именно меня... Есть ли у тебя хоть немного жалости ко мне?

Николай Николаевич молчал. Сонечка пронзительно всматривалась, — кажется, он опустил глаза, кажется — жалобно, жалобно у него задрожали губы... И вдруг ее самое пронзила жалость к этому в сумерках сидящему на лесенке человеку. Сонечка стремительно схватила его руку. Но он руку освободил, отошел к пыльному окну и сказал:

— Дорогая, мы не дети. Нужно жить реальностью, а не фантазиями. Подобных разговоров просил бы не возобновлять. Ты не глупа, мой друг, и отлично понимаешь, что я прискакал из Петербурга и женился на тебе лишь в крайнем отчаянии. — Он поднял руку, останавливая ее восклицание. — Я был принужден обстоятельствами, на шее у меня висела петля. Если бы ты была уродом, — и тогда бы я на тебе женился... К счастью, ты оказалась хорошенькой. Ты очень миленькая женщина... В чем же дело? Просто, в этом мне на этот раз повезло... Ты видишь перед собой человека, который совершенно искренне доволен... Что же еще тебе нужно? Чтобы я лгал о «духовном общении», «сродстве душ», влез в халат и елеиным голосом читал бы «Отцов церкви» по вечерам?.. Я не сутенер, я себя не продавал...

— Николай, ради Бога, что ты говоришь!..

— Пожалуйста, без этих «ради Бога»... Я же ведь не спрашиваю — для чего ты вышла за меня... Отлично знаешь, что у меня ломаного гроша за душой нет... Нечеловеческой красотой не блистаю... Вышла потому, что срок пришел, нужен мужчина... И вообще все, что произошло, — вполне естественно, нормально и прилично... Но уж когда мне вместо денег, на которые я имею право, обещают загробное блаженство, требуют от меня сродства души, при этом же считают меня прохвостом, — это, дорогая моя, свинство и шулерство. Этого я повторять не перестану, покуда твой отец не даст мне денег, вексель, закладную, — плевать, все равно...

Он слез с лесенки, фыркнул и вышел, но на этот раз уже не зашвырнул про папиросочку. Сонечка опять осталась одна. Безнадежное омерзение, как мрак, опустилось на ее сердце. В окна дребезжал дождик, ветер подвывал в трубе, заваленной вороньим гнездом. Ох, если бы можно было содрать с себя всю опоганенную кожу!

Смольков был мудр во всем, что касалось удовольствий, — поэтому перед сном всегда мирился с той женщиной, с которой ложился в постель.

Так намеревался он поступить и с Сонечкой в вечер разговора в библиотеке. Ужин прошел в молчании. Илья Леонтьевич дремал, намаявшись по хозяйству. Сонечка сидела как истукан, опустив глаза, — не притрагивалась к еде, щипала корочку хлеба. Николай

Николаевич покусал обильно. Наливая себе из графина воды, шум мигнул и сказал:

— А ведь чертовски вкусный напиток — вода. Еще немного — и я привыкну пить воду.

Сонечка подняла брови. Илья Леонтьевич сказал хриповито и сонно:

— Вино разрушает организм и вместе с ним духовный скелет человека, вода же полезна.

Николай Николаевич подтвердил, что действительно вода полезна, но разговор не налачился. Тогда Смольков простился с тестем, пристально посмотрел на Сонечку и пошел наверх. Разделся, надушился, лег в постель и с удовольствием закурил папиросу. Сонечка не шла. Он выкурил три папироски. Черт знает, что такое! Сидит, наверно, с отцом на диванчике и тянут мистическую резинку!

Лежа и куря, Николай Николаевич стал припоминать все несправедливости, испытанные им за эти дни в Репьевке. Возмущительно! Обращаются с ним, как с малолетним преступником! Спит — значит грех. Ходит — грех. Курит — грех. Раскряхтит рот — грех, ужасно, преступно! Тьфу! Наняли раба! Купили мужа за ломаный пятак!.. Отвратительнее всего было то, что в кошелек Николая Николаевича оставалось только три рубля тридцать копеек. «Пять тысяч томов, — подумал он. — Если бы старик вдруг сегодня ночью помер, — продать бы эту библиотеку: полгода блаженной жизни в Париже!» Николай Николаевич стал представлять, как тесть, Илья Леонтьевич, проглотит дробинку от дичи, дробинка попадет в слепую кишку, — ну, конечно, старику крышка... И вот — все перевертывается в жизни... В половине десятого — прогулка верхом по Булонскому лесу. В одиннадцать Николай Николаевич переодевается к завтраку. Идет пешком в кафе Фукец на Елисейских полях. Садится на воздухе, — пальцы между ног, шляпа на затылке, в петлице — фиалка. Гарсон наливает коктейль «Мартини». Мимо бегут девчонки. Плывут струи духов, сверкают глаза из-под огромных шляп, мелькают крепкие ножки. Он бросает мелочь гарсону, кладет трость на плечо и идет — куда? К Лярю? Нет, к Грифону. Маленький ресторан, диваны красной кожи, посредине — тележка с гигантским блюдом, покрытым серебряным колпаком, — гордость дома Грифон, единственное в мире фо-филе! Черт! А вечер! Тугая рубашка фрики, шелковый цилиндр, надвинутый глубоко! Огни, огни и пахнущая ванилью и пудрой золотая пыль Монмартра. Черт, — и все это решает ничтожная дробинка...

Послышался скрип винтовой лестницы и — шаги жены. Николай Николаевич погасил окурок и сделал сладенькое лицо. Сонечка вошла, не взглянув на мужа, присела к туалетному зеркалу и неспеша стала вынимать шпильки из волос.

— А я заждался. Где ты пропадала? — спросил Николай Николаевич и, опершись о локоть, исподволь завел разговор о мужском самолюбии, о лишних словах, сказанных в гневе, о честности

прежде всего и о вреде романтики и мистических настроений. Голос у него был бархатный.

Сонечка медленно чесала волосы перед зеркалом, — не отвечала и не слушала. Как давеча сжалось сердце, так и не отпускало, — холодная лень овладела ею. Она заплела волосы в косу, поднялась и зашла за распахнутую дверцу платяного шкафа, расстегивая платье и раздеваясь.

— Ну, детка, это глупо, — сказал, вытянув губы, Николай Николаевич, — иди же ко мне... Ты знаешь, как я люблю тебя голенькую.

Он потянулся и захлопнул дверцу шкафа. Сонечка со злобой вскрикнула, прикрылась рубашкой. Он все же поймал ее за локоть, но она резко выдернула руку и стала вдруг такой ненужной и некрасивой, что Смольков дернул на себя одеяло, повернулся спиной.

— Ну, и убирайся! Холодная лягушка! Деревяшка!.. Подумаешь — одна-единственная. Ханжа!

Он с яростью задул свечку. Сонечка легла рядом, с самого краю, вытянула руки поверх одеяла и стала глядеть в темноту. Она знала, что не заснет всю ночь, и приготовилась лежать терпеливо.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Николай Николаевич, несмотря на всю видимость, был робок, а теперь, когда денежные средства его не превышали трех рублей тридцати копеек, впал также и в нерешительность.

Чего, казалось, проще — поговорить с тестем о деньгах? Но у него сердце замирало. А вдруг под каким-нибудь предлогом старик откажет! Кошмар! Николай Николаевич подталкивал Сонечку на разговор с отцом (этим и объяснялась сцена в библиотеке). Но Сонечка была, как известно, глупа и не могла понять, что только от денег сейчас зависит и ее и его счастье. А тесть помалкивал.

Над садом, над мокрыми ветлами лежало беспросветное небо. Земля, не принимая больше влаги, взбухла и стала оползать на неровностях дорожек и клумб. Николай Николаевич продолжал слоняться по дому, барабанил ногтями в стекла, но, конечно, такая жизнь могла убить кого угодно. В крайне нервном состоянии он ждал подходящей минуты для разговора с хитрым стариком.

И вот минута эта наступила. День начался, как обычно. Сонечка встала рано и поспешила спуститься в столовую, где Илья Леонтьевич, согнувшись над своей чашкой, пил чай с горячими лепешками. Сонечка поцеловала отца в руку и в висок и села напротив.

— Анисья просила выдать сахару и крупы, — ты дашь ключи, папочка?

Илья Леонтьевич полез в карман, выбрал связку ключей, не спеша отыскал ключ от кладовой и подал его вместе со всей связкой Сонечке.

— Одну ее все-таки не оставляй в кладовой, сама запрети дегри. Сахару идет, я тебе скажу, ужасно много у нас. Не в сахару, конечно, дело, но чрезмерное употребление его вызывает в организме отложение солей и жиров. Ну, да Бог с ним, с сахаром. Как спала?

— Спасибо, хорошо.

— У вас все благополучно, значит?

— Спасибо, да...

— Ну, ну, а то я смотрю, как мыши на крупу оба надулись. Вставать нужно раньше и раньше ложиться — в этом вся сила. Скажи это мужу-то... А то — спит, как медведь.

— Скажу.

Сонечка собрала в ладонь крошки на скатерти и ссыпала их в чашку. Илья Леонтьевич, кряхтя, поднялся со стула. Он и Сонечка надели резиновые плащи, калоши и вышли на двор. Илья Леонтьевич сейчас же заметил беспорядки около каретника и пошел туда, повторяя в досаде:

— Ах, кляузники! Ах, черти окаянные!

Сонечка побрела к пруду, мутному сейчас и полноводному. Тихо, тихо шумел дождь по воде, по ветвям огромных, корявых (или корей), по вянущим листьям под ногами.

Сонечка смотрела на пруд, на еще зеленые бережки, слушала однообразный шум дождя, вдыхала запах увядания, и душа ее в этой печали словно набиралась сил для большей беды.

Возвращаясь домой, продрогшая, с капельками дождя на волосах, полуприкрытых капюшоном, Сонечка увидела у крыльца (или у ботника, гонявшего сегодня на почту, и взяла у него «Вестник Европы», газеты за три дня, бандероль — семенной каталог и на имя Н. Н. Смолькова — телеграмму и письмо.

Николай Николаевич, только что поднявшийся с постели, сидел в столовой, курил и зевал до слез.

— Тебе, — сказала Сонечка, положив перед ним телеграмму и письмо, и пошла наверх. У Смолькова собралась кожа на лбу, некоторое время бессмысленными глазами глядел он на телеграмму, затем осторожно разорвал заклею, повернулся к свету и прочел:

«Назначен Париж посольство вторым секретарем точка подражаю браком обнимаю точка Петербург не заезжай Ртищев...»

— Ура, — шепотом сказал Николай Николаевич, — ура! (или боден! Жизнь! Париж!..

Он пробежался по комнате, глубоко засунув кулаки в карманы штанов. Затем неслышно, на цыпочках, принялся лягаться ногами вбок, вернулся к столу, взял письмецо, с любопытством повертел, понюхал, — гм! — распечатал, — каракулями было написано:

«Я слышала — ты женился, — дурак. А вот мне Викторчу» шулер — выиграл в игорном доме двенадцать тысяч, — я их ментально положила на сберегательную книжку. И Викторчу» и

бросила, потому что он скотина. Люблю тебя, *прямо помираю*. Третьего дня мы в одной компании напились, в рояле устроили аквариум, налили туда пива и напустили сардинок, — вот было смеху, у Шурки Евриона — корсет лопнул. Приезжай скорей, — женатый, вот свинья! Жене письмо не показывай. Целую тебя *незабвенно*.

Мунька».

Старым, разгульным временем пахло на Смолькова от записочки Муньки Варвара. «Вот это — люди, жизнь! Вот эта женщина любит меня. Зверюга!»

Сонечка сидела на полу перед выдвинутым ящиком комода и перебирала старые платья. В комнату ворвался Николай Николаевич, потрясая телеграммой.

— Сонюшка, ура! Назначен в Париж... Смотри, читай, — вторым секретарем, через год — первый секретарь, затем советник посольства... Когда поезд? Нельзя ли нам еще сегодня отсюда уехать?

Сонечка прочла телеграмму и опять нагнулась над ящиком с прабабушкиными вещами.

— Собираться нам — полчаса. Некоторая задержка только за... папой (он впервые так назвал Илью Леонтьевича). Понимаешь, — я готов здесь хоть всю зиму прожить, но долг, долг: мы все обязаны служить государству!

Сонечка опустила на колени кружевной чепчик, подняла голову, взглянула на Николая Николаевича. Глаза у нее были синие, спокойные.

— Я не поеду с тобой, Николай...

— То есть — как?.. Ну, да, — ты хочешь сказать, чтобы я ехал вперед... Гм... Это имеет некоторый резон... Я, так сказать, скачу передовым, устраиваю дела (надо же осмотреться), меблирую квартиру... В ноябре — декабре ты приезжаешь в Париж, прямо в свое гнездышко... Но как я буду тосковать по тебе!.. Детка моя...

— Нет, Николай, я совсем не поеду в Париж...

— Почему?..

— Я не люблю тебя.

— Постой, постой! — Он замигал рыжими ресницами, вдруг изменился в лице, провел рукой по лбу. — Ну да, ты — о том разговоре в библиотеке. Чепуха, мелочи! Я люблю тебя, *прямо помираю*. У тебя прескверный характер, должен тебе сказать. Молчишь, и вдруг — бац! Сонюрочка! — Он нагнулся и поцеловал ее в пробор. — Ну, моя детка *незабвенная*. Поди поговори с папой.

Упрямым движением она освободила темя от его поцелуя.

— Я не люблю тебя. Уезжай, куда хочешь.

Николай Николаевич молча стоял за ее спиной. Сонечка глубоко засунула руки в ящик, вытащила кучу шуршащих платьев,

положила их на колени. Ее затылок с чистеньким пробором в русые волосы был упрямый и неподкупный.

— Я понимаю — у тебя настроение. Но настроение настроением, а мне нужно ехать к месту службы. Прошу тебя, Соня, поговори с отцом, — у меня три рубля тридцать копеек...

— Я не люблю тебя, Николай, — в третий раз тихоньким, но твердым голосом сказала Сонечка.

— Тьфу! — Николай Николаевич даже плюнул, подумал: «Ни родится же на свет такая дура...» Хлопнул дверью и пошел вниз.

Когда удалились шаги мужа, Сонечка уронила руки на кучу при бабушкиных робронах, пахнувших пачулей, и, не сдерживаясь больше, принялась плакать. Слезы капали часто, обильные, крупными, точно капли дождя с листьев. Она не вытирала их и не жалела.

Тесть, как и надо было ожидать, сидел в столовой на диванчике и нюхал табак. Николай Николаевич крупными шагами озабоченно подошел к нему и показал телеграмму.

Илья Леонтьевич прочел и ни особенной радости, ни изумления не выразил.

— Ну что же, очень хорошо. Когда думаете ехать?

— Я, если позволите, еду завтра — передовым... Жена думает задержаться некоторое время... Я — завтра, если...

— Вот как, — не вместе едете?

— Нет... Я — передовым... То-се... Квартиру присмотреть. Суета... То-се...

Николай Николаевич замолчал, надул щеки. Пальцы у него на руках и ногах замерзли. Тесть постукивал по лубяной табакерке.

— Ну, ну, — сказал он тихо, — это дело ваше. Новое поколение, новые нравы. Дело ваше. Вы верующий, Николай Николаевич?

— Я? — Смольков даже вздрогнул.

— Богу на ночь молитесь?

— Молюсь... Бывает, иногда манкирую...

— В церковь ходите?..

— Бывал.

— Вы простите меня, старика, давно я хотел побеседовать с вами на эту тему. Все откладывал, — грешен в нерадении... Завтра уедете, Бог знает, когда увидимся. Но вы муж моей дочери, вы духовный водитель...

У Николая Николаевича сразу же заболел низ живота, закусало во всем теле невыносимо...

— Дорогой тесть, на минуту, простите прерву вас... — Он выкрикнул это так отчаянно, что Илья Леонтьевич поднял брови и посмотрел на него. — Дорогой тесть... Я чертовски в глупом положении... Не рассчитал, были чертовские расходы. Осталось три рубля с мелочью... Глупо. Что?

— Денег вам нужно?

— Да, да... Именно, именно. Чертовски...

— Каким же образом я могу вам дать денег, — не понимаю еще.

— Сонечка говорила, вы сами писали относительно Сосновки...

— Да, я писал. Но Сосновка принадлежит Софье Ильиничне... К тому же доход с этого имения весь вложен в обсеменение полей, в запашку пара и в покупку рогатого скота... Я рассчитывал, признаться, что вы здесь заимуете. А вдруг — Париж. Денег? Надо было месяца за два предупредить. Какие же в деревне деньги?... Удивлен чрезвычайно...

Посиневшими губами Николай Николаевич пролепетал:

— А если векселек?

Илья Леонтьевич поднялся с дивана и опять сел. У Николая Николаевича ходили огненные круги перед глазами. Тесть сказал:

— Вы хотите выдать вексель Софье Ильиничне? Но у нее денег нет...

— Знаю, но если, дорогой тесть, сделать так: я дам вексель моей жене, она же в свою очередь даст на такую же сумму вексель вам... Деньги дадите, собственно, вы... Это страшно, страшно просто. Что?

Илья Леонтьевич был сбит с толку и проговорил упавшим голосом:

— Посмотрим, какова будет воля Софьи Ильиничны.

Сонечка, как и надо было ожидать, сказала мужу: «Ради Бога, все, что тебе будет угодно». Тогда Илья Леонтьевич заявил, что у него нет вексельной бумаги и поэтому придется гнать в город за бумагой, мучить по распутице лошадей и людей. Но в чемодане Николая Николаевича оказалась вексельная бумага, — возил он ее с собой на случай. Затем серьезная разноголосица с тестем вышла из-за суммы, говорили об этом до сумерек. Наконец оба векселя были подписаны (на три тысячи семьсот рублей). Илья Леонтьевич щелкал у себя в кабинете счетами, рвал какие-то бумажки. Переслюнив и отсчитав деньги, перевязав их бечевочкой крест-накрест, он пошел наверх, к молодым. Сонечка, склонясь у свечи, пришивала пуговицу к рубашке мужа. Николай Николаевич жевал папироску, шагал по комнате под низким потолком, совал в чемодан колодки от башмаков. Увидев тестя и, особенно, в руках его пачку денег, он нагнул голову, как будто говоря: «Нет, нет, не надо, не надо...» Пошел — и обнял старого Репьева:

— Так грустно, так тяжело, папа, люблю ее, как Бога, и вдруг — разлука.

Илья Леонтьевич освободился от объятий и передал деньги. Сонечка откусила нитку, расправила рубашку и, встав, положила ее в чемодан.

— Пойдем вниз, — сказала она Илье Леонтьевичу ласково беря его под руку. — Ты еще не пил чаю? Николай уложится и без нас.

В столовой Сонечка села близко к отцу, налила ему чаю и сама положила сахар, налила сливок и, обхватив его руку у плеча,

прижалась щекой. Илья Леонтьевич сидел сутулясь, чуть тряс седой головой, точно кивал преогромной чашке, на которой были написано: «Со днем ангела».

Наконец он почувствовал сквозь рубашку горячую влагу слез, обхватил Сонечку за плечи и спросил сдержанно:

— Как же это у вас вышло все?

— Слава Богу, что скоро вышло, не так больно, — отстелила Сонечка, глядя на огонь лампы, висящей над столом.

— Навсегда, что ли, расстаетесь?

— Навсегда, папочка, — не люблю его.

Неслышно в комнате появился кот, гладкий, ласковый. Подняв торчком хвост, мяукнул еле слышно, но, видя, что хозяйева мимания на это не обращают, отправился по своим тайным делишкам. Илья Леонтьевич сказал:

— Не понимаю... Нет, не могу понять таких отношений.

Тогда Сонечка принялась рассказывать ему все, что было. Пришлое в этом рассказе представилось ей отошедшим далеко, точно она передавала чужую повесть. Точно не она мечтала в гнилом парке о жгучих глазах под черными полями шляпы, точно не ее — другую — заставил жгуче покраснеть красавец парня, опрокинув вместе с возилкой в ворох соломы, точно не ее трюман и бесстыдно поцеловал на качелях Николай Николаевич.

Глаза Сонечки потемнели, лицо обтянулось, стало строгим. Илья Леонтьевич с изумлением глядел на дочь. Сонечка-дочка умерла. Перед ним сидела и печальным голосом раздумчиво рассказывала глупенькую и трогательную повесть Сонечка-женщина.

— Я, может быть, рада, что миновало девичество. Был сладкий туман, — ничего в нем не оказалось, кроме слез. Теперь — если придет новое чувство — буду любить, любить... Ах, отец, отец... Я чувствую, как могу полюбить человека... Во мне столько нежности... Не может быть, — неужели же я никому, никому не нужна?..

Она опять крепко прижалась к его плечу, и сквозь рубашку Илье Леонтьевичу снова стало горячо...

— Ну, конечно, мне тяжело, мне больно... Ты сам все видишь, отец...

— Много нужно страдать, много, — сказал Илья Леонтьевич, — человек, как зерно, прорастает — через страдание, через тягость борьбы. А что же полечку-то всю жизнь танцевать! Пригает, прыгает человек, — смотришь: от него уж одна тень прыгает... Не бойся, не беги страдания, Соня, — страдай во всю глубину и люби во всю глубину женскую... Вот также твоя мать, такая же, как ты, была... То же лицо дорогое...

— Папочка, милый, не плачь.

Рано поутру Николай Николаевич уехал. Прощаясь, он сильно задумался, — смутило его спокойное равнодушие Сонечки. Не было ли здесь какой-нибудь неожиданной ловушки? И совсем уж он

призадумался, когда оглянул жену с «птичьего полета». Он сидел в тарантасе, она стояла на крылечке, держа обеими руками под руку Илью Леонтьевича. Она показалась ему вдруг и выше ростом, и похудевшей, и прекрасной, — никогда он еще такую ее не видел: спокойная, с грустной улыбкой стояла она в беличьей шубке, в пуховом платочке. «Ах, черт, а не захватить ли ее с собой? Ох, кажется, упущу большое удовольствие», — подумал он, в нерешительности высовывая одну ногу из тарантаса. Но Сонечка сказала: — Прощай, Николай, прощай, голубчик.

Кучер, подхватив вожжи, прикрикнул уныло: «С Богом!» Лошади тронули, от колес полетели комья грязи. Белые гуси, потревоженные на лугу, где щипали траву, зашипели вслед тарантасу.

На повороте за околицей Смольков оглянулся. Крыльцо было пусто, подошедшая собака обнюхивала следы. Сжалось сердце у Николая Николаевича. «Э, пустяки, через месяц напишу письмецо, — прискачет», — и он плотнее завернулся в чапан.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Степанида Ивановна, пригорюнившись, сидела у окна, за ним опадали желтые листья. Солнце к восьми часам пригрело, и только в тени дома да кое-где под кустами синела от студенной росы трава. Много птиц улетело за моря, дом опустел. Алексей Алексеевич, шаркая туфлями, ходил по комнатам и вздыхал, Бог знает о чем. Лицо его все желтело, и гнулась спина, что очень заботило генеральшу. Утомилась ли она за это лето, или осень слишком опечалила ее думы, но только реже ездила Степанида Ивановна на раскопки, особенно с тех пор, как едва не прогнали от дела Афанасия, изолгавшегося без совести.

Афанасий однажды в присутствии генерала принес ворону и, держа ее за крыло, уверял, что это и есть вторая примета — орел, черный же он оттого, что долго лежал в земле. Генерал немедля вышвырнул Афанасия вместе с вороной за дверь. В тот же день из города был выписан немец — специалист по земляным работам.

Немец повел раскопки аккуратно; поставил солидные крепи, в слабых местах вывел свод, нанял новых рабочих, действительно нашел старые ходы под землей, идущие зигзагами, принес генеральше птичьи косточки в прозеленевшем горшке и, наконец, выкопал грубо высеченную из камня *человеческую голову*, на лбу которой был начертан план подземелий. Оказалось, что голова эта стояла на половине пути, и от нее подземелья шли в глубину горы, страшно запутанные и рухнувшие. Раньше ноября нечего было и думать добраться до клада, и генеральша была весьма этим расстроена и даже обессилена.

— Копаем, — говорил прокуренный табачищем немец, — еще три аршина прошли. Пожалуйте денег.

Не так разговаривали Афанасий и Павлина. Слова их были таинственны и волновали генеральшу. Каждое утро она ждала, бы вало, с нетерпением рассказа о Павлинином сне. Вечером Афанасий приносил ей какие-нибудь черепки и рассказывал, как едва не утянула нечистая сила под землю мальчишку-поденщика. У генеральши глаза выкатывались от ужаса и любопытства.

— Я так и знала, это очень опасно. Они охраняют, но мы победим.

Павлина жила в своей каморке за лестницей, но на глаза не казывалась редко и то для того только, чтобы наговорить на приклятого немца в пользу Афанасия, мрачно прислуживавшего у стола.

— Мне и самой надоел немец, — сказала раз генеральша, но как его прогнать, когда он честный...

Видя такое недовольство Степаниды Ивановны, Афанасий поступил решительно: выворотил шубу, ночью вошел к спящей Павлине, завалился к ней на лежанку и, скрежеща зубами, объявил, что он и есть огненный бес, всю жизнь искушавший бабу.

Павлина обмерла, а бес сказал, что если завтра же не прогонят пузатого немца и к работам не приставят раба Афанасия, то он, бес, обрушит, все вырытые ходы, а Павлину ухватит поперек живота, потащит в пекло.

— Хорошо, батюшка, все так будет, — вся дрожа, шептала в темноте Павлина.

Бес царапнул ее по спине ногтями и ушел...

Павлина все это, конечно, подробно рассказала генеральше. Степанида Ивановна тотчас рассчитала немца. Повеселевший Афанасий уехал на работы и в тот же вечер привез известие, что «гудит». Все поверили и удивились, хотя никто не знал, что гудит.

Но теперь, когда с кладом дело было налажено, началась у Степаниды Ивановны новая забота — тайная и усиленная переписка с одним старичком шведом. Это и было то главное и огромное дело, из-за которого начала она рыть клад.

С каждым днем забот становилось больше, сил уже не хватало. С трудом оканчивала генеральша свой день и засыпала тяжелым, глухим, как смерть, сном; и постоянно томило ее какое-то бесновое койство; она приписывала это усталости и суете.

С каждым днем все более волновал ее Алексей Алексеевич генерал таял, как воск, тосковал, не притрагиваясь ни к какой работе.

Началось это со злосчастной продажи хлеба. Простудился он тогда Алексей Алексеевич, или сердце его, не перенеся удара, слишком надорвалось, — неизвестно, только пышные усы его и белые волосы на голове заметно стали редеть. Ночью, лежа на подушке, генерал часто стонал во сне.

Невеселые мысли проходили сейчас перед Степанидой Ивановной. Облокотясь о подоконник, глядела она на желтый лист, повисший на паутине, и трясла головой в кружевном чепце.

По коридору, медленно шаркая ногами, шел Алексей Алексеевич. Генеральша прошептала:

— Как он ноги волочить стал, а прежде, бывало, взбежит по лестнице — не задохнется.

Генерал медленно, несколько раз нажимая скобку двери, вошел, кротко улыбнулся и, показав попугаю палец, сказал:

— Что, брат, видно, осень пришла...

— Он хворает, — поспешно ответила генеральша, — совсем не разговаривает...

Генерал постоял немного и ушел.

Степанида Ивановна, наморщив лоб, глядела на то место, где только что стоял муж, — все ей представлялась сутулая его спина и жалостливая улыбка.

«Ах, сколько раз я его огорчала, — думала она, — а он такой добрый: видеть не могу, как он улыбается; бедный мой Алешенька».

Она положила руки на подоконник и голову на руки и застыла, слушая, как бродит генерал по комнатам, будто не находит места.

«Что он все ходит, все ходит... В самом деле, у нас пусто и скучно в доме».

Когда, спустя долгое время, генерал опять вошел в ее спальню, генеральша проговорила:

— Сядь, Алексей, расскажи, что с тобой? Отчего у тебя так ноги шаркают. Болен? Или скучно тебе?

— Странная вещь, — ответил Алексей Алексеевич глухим голосом, — я нигде не могу найти мой носовой платок... Куда... — Он не окончил говорить и сел на стул позади генеральши.

После долгого молчания Степанида Ивановна услышала странные звуки, словно во рту генерала шипел и вертелся валик от игрушечного органчика.

Содрогнулась она, как бы от толчка в спину, и тупые иглы забегали по телу. Понимая, что смертельно испугалась, она взглянула: один глаз у генерала стал оловянный и выпучился, другой был закрыт; рот и все побагровевшее лицо его перекосило; из лиловых губ вылетел странный звук.

— Ай! — закричала генеральша, махая на мужа руками.

А он все клонился на правую сторону, пока не съехал на ковер.

На крик генеральши прибежали слуги, подняли огромного Алексея Алексеевича. Он двигал одной левой рукой и ногой, не говорил, а только шипел, вращая глазом. Его положили на диван.

Степанида Ивановна, пронзительно вскрикивая, билась в руках Павлины и Афанасия. Увидев, что генерал жив и шевелит пальцами по краю тужурки, она метнулась, упала подле него на колени и быстро, словно смахивая пыль, стала гладить волосы его и лицо:

— Алешенька, оправься. Друг ты мой, скажи, что тебе не больно. Скажи, что пошутил. Помнишь, бывало, я покричу на тебя, а ты ляжешь на кровать и притворишься, что умираешь... Алешенька! Алексей, где болит у тебя? Сейчас компресс положим. Афанасий, вина принеси и воды горячей. Выпей. Рот разожми. Не

можешь? Отчего не отвечаешь? Постой, я другой глаз тебе открою... Больно? Алексей, что с тобой, да ты жив ли? Жив!

Она обеими руками трясла мужа и снова бормотала:

— Не огорчай меня, сделай усилие, оправься. Посмотри, как я боюсь. Доставь мне удовольствие. Я умру от страха. Алексей! Посмотри — вот я рассердилась, уйду, буду плакать... Доктор! За доктором послать! Скорее! — вдруг закричала она, подбежала, вернулась и опять припала к Алексею Алексевичу.

Афанасий поскакал в село за земским врачом. Степанида Ивановна, увидав, что Павлина снимает с генерала туфли, оттолкнула ее, сама раздела мужа, закутала в теплый плед и села у его изголовья, поминутно наклоняясь.

Жужжать генерал перестал. В открытом его глазу исчезло изображение ужаса, веки полузакрылись. Тогда генеральша, сняв башмаки, на цыпочках подошла к образу, опустила и шептала:

— Отче наш... иже еси на небеси... — Она обернулась, с ужасной тоской взглянула на мужа и на минуту припала лбом к холодному полу. — Не так нужно просить. Ему душа надобна. Он не поймет, почему я не хочу отдавать ему Алексея... Отче наш, повremени, он не уйдет от тебя... Ах, ты меня не слышишь...

И генеральша снова припала к паркету. Такой ее нашел, шептавшая только что вымытые руки, местный доктор. Генеральша поглядела на короткие, в рыжих волосах пальцы врача, стремительно поднялась и поцеловала их. Врач смутился и занялся больным.

Глядя доктору в глаза, выслушала Степанида Ивановна, что, если не будет еще удара, генерал выживет, в противном же случае, — тут доктор тяжело вздохнул и, разведя руки, поклонился, — тогда конец.

— Конец, — твердо повторила генеральша.

Быстро сделав все, что было прописано, она затворила дверь на ключ и с решительным лицом подошла к Алексею Алексевичу, готовая на крайнее, но верное средство, которое, пробудив в генерале дух, поднимет и ослабевшее его тело.

— Алексей, — сказала Степанида Ивановна торжественно, я открываю тебе тайну. Алексей, фамилия Брагиных по женской линии есть престолонаследная ветвь *шведских королей* Бернадотов. Теперешний шведский король бездетен и скоро умрет, после него единственным наследником престола являешься ты. Для этого мне предварительное сделано, остается теперь объявить себя претендентом. Ты узнал все, и перст Всемогущего указал на тебя: Алексей, корона шведских королей, потерянная Карлом Двенадцатым, утерянная Мазепой, в моих руках. Алексей, встань!

Степанида Ивановна, сверкая глазами, подняла руку. Волнение ее, должно быть, передалось Алексею Алексевичу. Когда генеральша приказала: встань! — он здоровой рукой оперся о кровать, приподнялся до половины, вдруг икнул громко, закинул голову и

повалился с дивана на ковер. Присев около мужа, генеральша стала царапать себе лицо, потом легла на Алексея Алексеевича и застыла так на много часов.

Омытый, одетый в парадный мундир, со всеми орденами и лентами, третий день лежал Алексей Алексеевич в зале на столе, скрестив на груди большие руки.

Павлина, опухшая от слез и довольная, что сподобилась походить за таким покойничком, распоряжалась похоронами. У аналоя, между двух свечей, не переставая читали монахини. Третья свеча таинственно светила в лицо мертвому Алексею Алексеевичу. Смутно были озарены зеркала, занавешенные черным тюлем, огромный гроб и подле — маленькая генеральша, комочком сгорбленная на своем стуле.

Сложив руки на коленях, склонив голову, терпеливо ждала Степанида Ивановна, когда в столовой пробьют часы, — тогда она приподнималась и заглядывала мужу в лицо. Ей чудилось — вот Алексей Алексеевич очнется от ужасной неподвижности, улыбнется ей живыми губами, облизнет на них полоску сукровицы.

Но ни один волос генерала не шевелился, хотя сквозь желтую кожу щеки как будто проступал румянец: может быть, играл это свет свечи.

Генеральша терпеливо садилась опять и ждала, жалобно, иногда в недоумении улыбаясь.

На третьи сутки появился в комнате священник, дьяк и мужики. Отворили все двери и ставни. В душную комнату ворвался день, и от синего его света генерал сразу позеленел. Степанида Ивановна испугалась и отошла к стене. Священник облачился в бархатную с серебром ризу, дьяк кашлянул в кулак, забасил густо, все запели. Генеральша подумала, что Алексею Алексеевичу приятно слышать, как о нем скорбят и поют.

Наконец Павлина брякнулась около гроба, и все пошли прикладываться к мертвой руке. Парни, с белыми полотенцами, толкаясь, отодвинули свечи и подняли гроб на плечи. Генеральша побежала за ними, умоляя поосторожнее браться, — не толкать и не тревожить Алешеньку. Топоча, его понесли ногами вперед в раскрытую стеклянную дверь.

— Куда вы? — спросила генеральша, но ей не ответили, и все несли с крыльца на двор, через плотину, по дороге в гору, мимо Свиных Овражков — в монастырь.

Спотыкаясь, спешила генеральша за гробом и удивлялась, — чего же она не понимает? Для чего нужно ей так далеко бежать на одеревенелых ногах?

В церкви подошла к ней мать Голендуха и, поцеловав в губы, измочила слезами. После службы, опять шепотом споря и толкаясь, понесли парни Алексея Алексеевича на мирской лужок и, опустив гроб, наложили крышку, стали заколачивать гвозди.

— Тихе вы, отчаянные, — сказала генеральша и заглянула в глубокую яму... Туда на веревках опустили гроб, священник первый бросил горсть земли.

— Вы в него землей бросаете? — спросила генеральша и снова заглянула вниз, где на глинистом дне лежал Алексей Алексеевич. — Как можно, он привык спать на мягкой постели...

Она раскрыла широко глаза и часто-часто затрясла головой, поняла, наконец, то, что все эти дни было от нее скрыто. Она поспешно подобрала платье, чтобы прыгнуть вниз к мужу, не оставив его одного навсегда. Но Степаниду Ивановну схватили и повели к экипажу... Она вырвалась и опять побежала. Тогда ее руками закутали в плед, положили в коляску и погнали Ахиллеса и Геркулеса, и долго еще крестьяне, неторопливо расходясь, слышали удаляющийся по дороге тонкий крик:

— Алексей! Алексей!

Дома генеральша обеспамятела. Павлина sprыснула с угла ка, — это помогло, и Степанида Ивановна, как каменная, прижалась до вечера в неубранной постели. На закате внезапно поднялась, оправдала платье и, крикнув Павлину, пошла со свечой по комнатам, заглядывая во все углы...

Так обошли они весь низ дома, где в необитаемых покоях пыльные окна были темны и страшны, поднялись в Сонечкины белы антресоли, спустились по скрипучей лесенке обратно и остановились перед кабинетом.

— Как ты спал, хорошо? — громко вдруг сказала генеральша. — Голова не болит? А у меня, знаешь, самое темя ломит. И она, прикрывая ладонью свет, вошла в кабинет. А Павлина поползла по коридору, — не помнила, как очутилась в кухне, где сейчас же рассказала, что генеральша разговаривает с мертвым баринном.

В кабинете Степанида Ивановна поставила свечу на курительный столик и прилегла на диван.

— Знаешь, Алексей, любовь наша не угасла, нет, нет... Я, как прежде, влюблена в тебя. Я много передумала за эти дни и решила, что несправедливо тебя обижала. Я хочу сегодня просить у тебя прощения.

Она оглянулась, вздохнула коротко, посидела еще, прищурившись, и побрела к себе, в дверях обернулась, сказала:

— Спи спокойно.

У себя она затворила окно; дождь в него наплюхал лужу на ковре. Сильный ветер шумел деревьями, лепил желтые листья в стекла, подвывал в трубе.

Присев перед зеркалом, Степанида Ивановна сняла чепец, и флакона налила на плечи и грудь густых духов и, подняв свечу, стала разглядывать свое лицо.

— Ничего еще, я все-таки хороша. Нужно очень следить за собой...

Заячьей лапкой она нарумянила ярко щеки и уши, подвела дугою брови и надела парадную наколку из кружев.

— Видишь, — она жеманно улыбнулась, — это еще не все. — Вынула темно-красные кораллы, окрутила их кругом шеи, в левую руку взяла кружевной платочек, правую подняла и, погрозив пальцем, оглянула всю себя в большое зеркало. Голова у нее затряслась. Потом она зажгла два канделябра на стене, легла на постель и, повертевшись, проговорила громким шепотом:

— Что же ты не идешь?

Прошло долгое время, и генеральша зашептала:

— Знаешь, Алексей, я почему-то все вспоминаю поход на Дунай: ты приходил усталый в палатку и сейчас же засыпал. На мне было премиленькое черное платье, я садилась подле тебя и все глядела. У тебя во сне горели щеки, нельзя было не любоваться тобой. Теперь мне очень жалко, что умерла наша дочка. Она так мило перебирала пальчиками, она была похожа на тебя... Алексей, я вот уже час как разговариваю, а ты не идешь. Тебя, наверное, задерживают по этому делу. Пожалуйста, сразу не соглашайся быть королем, откажись по крайней мере один раз, потребуй, чтобы весь народ просил тебя взойти на престол. У меня много жемчуга. Ты ведь знаешь, жемчуг умирает, если его не носить, а в земле опять оживает. Мой жемчуг двести лет лежал под землей. Алексей, для тебя я добыла из земли сокровища... Что же ты медлишь?

Генеральша прислушалась. Ветер хлестал дождем в окно, обсыпалась штукатурка в печной трубе. Мрачно выл угол дома.

— Алексей, может быть, ты меня обманываешь, — привстав, сказала генеральша, — может быть, к тебе пришла *она*. Я понимаю твою комедию. Ты подстроил, чтобы тебя похоронили, и *там* хочешь встретиться с *ней*. Она всю жизнь душила меня по ночам. Теперь она смеется... Иди ко мне... Оттолкни ее... Это ты его убила!.. Алексей, Алексей!..

Генеральша соскочила с кровати, тряся головой, сжала кулачки.

— Ты воспользовался гадким случаем, чтобы обмануть... Я отомщу...

Степанида Ивановна стремительно побежала в кабинет, occupала пустой диван, кресло, углы за шкафами и остановилась, тяжело дыша.

— Они *там*, у церкви, на погосте, там встретились...

Сняв со стены двустольный пистолет, генеральша побежала в прихожую, накинула плед и отворила стеклянную дверь на веранду. Мокрый ветер подхватил ее покрывало, сорвал, иссек дождем, закрутил ее иссохшее тело. Обессиленная, упала Степанида Ивановна на каменные холодные плиты...

— Дверь будто звякнула, — прошептал Афанасий, сидя на лежанке. — Слушай-ка, крикнули, не случилось ли беды какой с нашей барыней, Павлина. Пойти посмотреть...

Взяв копилку, пошли Афанасий и Павлина, подсовывая друг друга, пугаясь скрипящих половиц, туда, где под дождем лежала обезумевшая Степанида Ивановна.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Любезнейшая дочь моя, Софья Ильинична, приключилось у нее великое горе: Алексея Алексеевича нашел Господь в возрасте сорока лет царствия Божьего, — помер. Аминь. Ревем, не переставая. Перед смертью язык у него шипел, как в шарманке, — набрались страху. Однако генерал погребен с благочестием. Старуха, Степанида Ивановна, совсем ополумела. Не знаем, что с нею и делать. Срамнота, — соблазн и грех на всю округу. Монашки мои, дуры, — все языки обтрепали. Народ не столько молиться к нам течет, сколько срамные их рассказы слушать про генеральшу. Видно, за грехи помутилась моя голова, не рада, что и связалась со Степанидой Ивановной. Увезите ее, Христа ради, от нас. В Гнилопятах — потоп и разорение, — воруют кому не лень. Простите за глупое письмо свое, примите мое благословение. Настоятельница Чернореченского женского монастыря, смиренная игуменья Голендуха».

Как громом поразило Сонечку и Илью Леонтьевича известие о внезапной смерти Алексея Алексеевича. На другой день после получения письма от Голендухи Илья Леонтьевич вместе с Сонечкой выехал в Гнилопятах, где мучилась, покинутая всеми, сумасшедшая генеральша.

Афанасий и Павлина подняли тогда ночью Степаниду Ивановну, лежавшую на проливном дожде, уложили в постель, укутали, натерли водкой. Генеральша бредила, несла несуразное и соблазнительное.

Всю ночь проскулила Павлина, сидя на своей лежанке:

— Крышка нашей благодетельнице! Ох, Афанасьюшка, прошли наши красные денечки...

Но, к удивлению всех и в особенности доктора, Степанида Ивановна через неделю «околемалась» и даже встала с постели. Маленькое ее личико, до костей иссушенное лихорадкой, огромные в глубине черепа глаза и засохшие полоски губ, не закрывающие десен, показывали, что горит еще в птичьем ее теле огонь и спокойно генеральша не уйдет в землю.

Днем Степанида Ивановна лежала, одетая, на постели, не от вечаала ни звука на слезливые словечки Павлины, не пила, не ела. Когда наступал вечер, она вставала, словно поднятая рукой, и волоча смятое и порванное лиловое платье, ходила по спальне и бормотала:

— На твою душу падет мой новый грех. Ты, ты сам довел меня до отчаяния. Знай — не успокоюсь, покада тебе не ото

мщу. — И заламывала руки. — Ах, как двери скрипят! Ах, не могу видеть эти стены!.. Ах, как пусто, пусто!

В тоске она шла по пустынным комнатам. В зале, отогнув на зеркале траурный креп, всматривалась в свое изображение и деловито охорашивалась — и была похожа на маленькую, густо накрученную девочку, с трясущейся головой, с оскаленным ртом. Ревность, злоба, неутоленные желания изглодали ее, высушили, как корешок. Вся воля ее была устремлена на одно — отомстить.

— Ты нарочно завез меня в проклятые Гнилопяты! Бросил, обманул, и там сейчас тешишься со своей первой... Погоди, погоди! Ты там утешаешься, а я здесь отомщу...

Она вынимала из ларчика драгоценности — кольцо, фермуары, браслеты, серьги, рассматривала, примеряла и вновь приходила в отчаяние: «Нет, нужны царские сокровища, — затмить в Петербурге всех, всех, чтобы забыли эти морщины, эти года».

Генеральша снова начала прерванные раскопки...

После смерти генерала были предъявлены ко взысканию несколько крупных векселей. Приказчик и главным образом Афанасий, орудовавший теперь по всему хозяйству, продали и заповедник и запашку будущего года, уплатили по векселям и сшили каждый себе по кафтану со смушками. Кроме того, оказалось множество мелких долгов. Павлина докладывала о них ежедневно. Генеральша только сердилась, требовала себе денег — золотыми монетами — и сыпала их на дно ларца. Гневалась она также на дождливую погоду, приостановившую работу по раскопкам. Действительно, вторую неделю шумели в парке и на полях несносные дожди. По дну Свиных Овражков катилась мутная река. Таких дождей не помнили старожилы.

Неожиданно генеральша потребовала у матери Голендухи двух монашенок и усадила их переделывать и обновлять многочисленные, но уже пришедшие в ветхость платья. Тут-то и начался соблазн и разговоры.

Монашенки, уходя ночевать в монастырь, рассказывали о чудесах в гнилопятском доме, о ночных прогулках Степаниды Ивановны, о раскрываемых в зале после полуночи зеркалах, в которые генеральша смотрелась, говорят, даже совсем нагишом, о странных криках в кабинете покойного генерала, о шумах и стуках, о стогах и хохоте, слышном каждую ночь на чердаке, и о многом таком, что передавалось шепотом, и волосы шевелились под платочком у черниц.

Наконец дожди кончились, настали ясные осенние дни. Степанида Ивановна сама поехала на Свиные Овражки и неподалеку от раскопок, в месте, куда все это время сильно была вода, обнаружила глубокий провал и часть обнажившейся древней кладки. Тотчас приказано было рыть. Четыре дня генеральша не отходила от работ и ночевала там в овраге, в нарочно привезенной карете.

На пятый день из-под земли послышался глухой шум голосов, и Афанасий, выскочив из ямы, заорал:

— Ваше превосходительство, нашли!

Степанида Ивановна затряслась в лихорадке, застучала истинными зубами и полезла в яму. Афанасий с фонарем повел генеральшу по узкому, уходящему вниз тоннелю... После множества заворотов тоннель окончился низкой сводчатой пещерой. Здесь было сыро, как в могиле. В глубоких нишах пещеры, под сводами, стояли глиняные горшки; два были разбиты, один валялся на полу... Афанасий, высоко держа фонарь, светил. Генеральша, путаясь в платье, взобралась, как обезьяна, в нишу, ухватилась за край горшка, заглянула, запустила руку туда и вскрикнула пронзительно:

— Пуст, пуст! Ограбили!..

Обхватив горшок, она затряслась, заплакала от злобы и отчаяния. Рабочие охали, разводили руками. Афанасий заглянул в остальные горшки, они тоже были пусты... Затем он наткнулся в углу на зарытый до половины сундук с разбитой крышкой: обшарил его и в пыли и прахе нашел камешек величиною с грецкий орех, поплевал на него, отер, и затеплилась в свете фонаря молочно-розовым светом жемчужина необычайной величины... Степанида Ивановна выхватила ее у Афанасия зажала в кулачке, хрипло, дико засмеялась.

Степанида Ивановна лежала навзничь на кровати и глядела на жемчужину, положенную около, на черной подушечке для булавонок. Под огромным абажуром неяркая лампа освещала грязные простыни и угол подушки, — все остальное было погружено в красный полумрак.

Степанида Ивановна боролась с видениями, возникающими, как ей казалось, в живом, то молочном, то алом, то зеленоватом теле жемчужины. Из видений самое страшное было одно, постоянно повторяющееся мучительное. Видела генеральша мокрое истоптанное поле; в конце его тусклая, вечная полоса заката. Холмики, кресты, холмики и вдруг яма. Ноги скользят, сыплются комья. Нужно прильнуть к земле, чтобы не скатиться. Там, на дне ямы, лежит усатый огромный человек. «Алешенька, — зовет генеральша, — я тебя вот так нашла. Холодно тебе одному? Что ты какой мерзлый». Кружится, нет ничего, нечем согреться, все мокрое, все холодное. А прыгнуть туда, прильнуть — страшно. Тогда вкрадчивым сладким голосом начинает она вспоминать прежние ласки, обольщает его, шурит. И вдруг из-под генерала заструился дымок и вылизнули красные, ослепительные язычки... Генерал розовеет, скрещенные руки его трепещут. Он шевелится на огне, хочет разлепить глаза, привстать... «Ведь это муки адские», — думает генеральша. И силится оторваться от зловещего видения, и не может. Генерал подплясывает на пламени, раскрывает глаза. «Алешенька, — шепчет она, — взгляни на меня, мучаюсь». Он глядит на нее и не видит. И чувствует она — нет той силы, которая могла бы соединить их глаза... Уже вся яма в огне, по всему полу танцует огонь, не жаркий, ледяной. И в глубокую яму к веселому мерному нералу стремительно сходит тень... Это та, *другая*, Вера...

Мечется генеральша по постели, вскрикивает.

— Что, матушка, благодетельница, или головка болит? — медовым голоском спрашивает Павлина.

— Боюсь я смерти, Павлина! Боже мой, как боюсь! Ведь потом будут только муки, муки, муки!.. Нам раз дано жить, насладиться. А потом темнота, холод, ужас!..

У Павлины из головы не шел недавний разговор с генеральшей, которая все повторяла в исступлении и бреде о том, как она ослепит золотом и кокетством какого-то нечеловеческой красоты желтого кирасира и предастся с ним таким излишествами, что Алексею Алексеевичу станет тошно на том свете. Даже сейчас, истерзанная неудачей с сокровищами Мазепы, не отказалась Степанида Ивановна от мысли — отомстить. Она судорожно цеплялась за уходящие часы жизни, ее беспокойство и муки возрастали.

Павлина узнала, что найденная в пещере жемчужина одна стоит много тысяч, и, вынимая ночью для генеральши драгоценности из ларца, прикинула и ахнула: если продать все эти броши, серьги и браслеты да прибавить к ним червонцы на дне ларца — навек можно стать богатейшей барыней... А попадет все это какому-нибудь пьянице офицеру.

Всю ночь проворочалась Павлина на лежанке и утром подъехала к Афанасию, пившему в столовой кофе. (Генеральша просыпалась только вечером, и весь день прислуга в доме делала, что хотела.)

Павлина стала за его стулом, вытерла губы и сказала умильно: — Счастья твоего желаю, Афанасьюшка, бездельные мы с тобой, безродные... Умрет наша благодетельница — куда пойдём?

— Не знаю, как ты, баба, — сказал Афанасий, закуривая генеральскую сигару и развалясь, — я ничего себе живу, хорошо. А старуха умрет — открою трактир при монастыре. Ты же пошла от меня прочь, видишь, я сигару курю.

— Да я уйду, Афанасьюшка, уйду, коли гонишь. А быть бы тебе барином, не то что в трактире тарелки мыть. В двести тысяч могла бы тебя произвести.

Афанасий посмотрел на Павлину. «Ох, рожа хитрющая у бабы, ну и рожа!»

— Рассказывай, слушаю.

— У благодетельницы нашей деньгами и брошками акурат эта сумма лежит. Без меня не видать тебе ломаного пятака. Женись на мне — счастье найдешь, не хочешь — другого отыщу... Вашего брата много тут бегают, — давеча приказчик ко мне подъезжал.

— Ты не грабить ли задумала? Ой, донесу.

Но тут Павлина, присев рядышком, подробно и толково принялась рассказывать все, что надумала за эту ночь. Афанасий, слушая, бросил сигару, потом начал отплевываться и, наконец, хватив бабу по спине, заржал на весь дом.

— Не люблю, сударь, такого обращения, — сказала Павлина. — У меня спина женская. Даю тебе день сроку, подумай и сам решай. Рожа-то я рожа, а ума ни у кого не займу.

К утру Афанасий действительно додумался и поехал в горы, где взял себе у парикмахера фрачную пару, парик и накладные усы.

Павлина за это время не отходила от Степаниды Ивановны и, едва генеральша переставала бредить, заводила разговор о каком-то господине Фиалкине, писаном, говорят, красавце мужчине, которого собирается заехать в Гнилопята — познакомиться с генеральшей: прослышал, так и рвется повидать.

— О каком Фиалкине говоришь? О каком Фиалкине? Не знаешь такого, — с тоской спрашивала Степанида Ивановна, — разве и могу сейчас принять молодого человека? Дай поправлюсь, пополнею немножко... Отстань от меня!

— Красивый, сытый, на слова бойкий, — шептала Павлина, увидит женщину — так весь на нее и прыгает, как жеребец... Редкий мужчина... Уж сама не знаю, благодетельница, допустить ли его до вас?

Генеральша промолчала. Затем потребовала зеркало и долго огромными глазами всматривалась в ужасное лицо свое. Без сил уронила руки и сказала, едва слышно, с отчаянием:

— Не вижу ничего, Павлина, — темно. Скажи, не слишком ли я стара?... Скажи правду.

— И, благодетельница, нечего душой кривить, — не восемнадцати лет... Червоточинка есть, но самую малость, — припудрится, хоть кого в дрожь вгоните. А я еще и лампу приверну, — чистый ангел небесный! В ваши-то года — баба-ягода. С ума его сведем, нашего Фиалкина-то.

— Какого Фиалкина? Ничего я не пойму... Путаешь ты меня, глупая баба.

В тот же вечер в спальне Степаниды Ивановны появился странный господин. У него были черные, густые, как баранья шерсть, волосы и необыкновенно длинные усы. На нем был фрак, красный галстук и скрипящие сапожки. Он прошел из дверей до середины комнаты, снял фуражку с кокардой, поклонился генеральше и раза три топнул ногой, как жеребец, — только что не заржал.

Она приподнялась на локте. «Что это — опять бред? Какой гнусный!» Но поскрипывают сапожки, — ближе, ближе бараньи усы. Господин говорит басоватым голоском:

— Я Фиалкин... Ехал по частным делам, но — вот так штука! — сломался тарантас. Нельзя ли, ваше превосходительство, переночевать у вас?..

С ужасом глядела Степанида Ивановна на господина Фиалкина, не понимала — бред это или сам черт за ней явился?

Он сел на постель, расправив фалды, — впереди всего торчали у него черные усы.

— Так как же насчет ночевки? А кроме того, большой я любитель насчет проклятого... Хи-хи... Насчет этого самого... Хо-хо... Сладкого... Ги-го-го...

Он, как дьявол, зашевелил усами, закрутил носом. Генеральша едва слышно проговорила:

— Кто вы такой? О чем вы говорите? Что вы так странно смотрите?

— Лют я до вашего пола. Ни одной не пропущу. Я мастак. Хо-хо!

— Какой вы страшный.

— Это хорошо, что я страшный. Я до баб, как черт, лютый.

— Так я же старая, что вы...

— Это мы посмотрим. А мне по вкусу.

— Уйдите...

— Нет, грешить — так грешить.

Фиалкин ткнул пальцем Степаниду Ивановну под ребро. Она ахнула и хихикнула. Он ткнул с другой стороны. Тогда она начала смеяться, отмахиваться. Слезы потекли по сморщенному ее личику. Теплая, тягучая паутина поползла по всему телу, затягивала лицо, застилала глаза.

А Фиалкин гудел, ржал, шекотал пальцами. Черные усы шевелились, вставали дыбом. Басок все гудел о каких-то брошках, червонцах... Генеральша ежилась, собиралась в комочек... Не сводила глаз с этого человека. Но он уже расплылся в глазах. Быстро-быстро наматывалась вокруг нее паутина. Это он, огромный червяк, обматывал ее, душил...

— Пустите... Мне душно... — простонала Степанида Ивановна. Фиалкин исчез...

— Старуха-то помирает.

— Врешь!

— Посинела вся.

— Зачем ты ее сразу-то облапил, надо бы легче.

— Я думал, сразу надо.

Афанасий, стоя за дверью, вытирал потное лицо. Один ус отстал у него, не приклеивался. Павлина, таращась, шептала:

— А помрет — деньги сейчас же брать надо да вещи с брильянтами. Закопаем их в землю — и знать ничего не знаем.

— А власти наедут?

— Ну что ж! И — отопремся. И посидим — выпустят... Деньги-то большие... Ну, иди опять к ней, наскакивай.

— Ой, не могу, противно. С души воротит.

— Иди, говорю, напугай ее хорошенько. Один конец...

Афанасий зашевелил усами, втянул голову, растопырил пальцы и пошел к постели. Но генеральша уже не видела его. Лежа на бочку, она только часто-часто стонала. Крошечное тело ее потрясали мелкие судороги.

— Кончается? — зашептала Павлина; просовываясь в дверь. Афанасий и Павлина сели на кровать, глядели на генеральшу, ждали. Павлина вынула из кармана юбки два пятака — прикрыть глаза покойнице. В это время на дворе усадьбы малиново, всею залился колокольчик.

Афанасий сорвал с себя усы и побежал на крыльцо. Павлина грохнулась около генеральшиной постели и заголосила на три голоса сразу. К дому подкатила коляска, в ней сидели Сонечка и Илья Леонтьевич.

Степаниду Ивановну похоронили. В ларчике ее, среди других ценностей, было найдено завещание Алексея Алексеевича. По его воле все движимое и недвижимое имущество Гнилопят, в случае его и генеральшиной смерти, переходило Сонечке Смольковой.

Сонечка сказала, что не хочет жить в Гнилопятах. Она просила все в доме оставить стоять на своих местах, как было при генерале и генеральше, и дом закрыть наглухо. С утра до ночи рабочие стучали молотками, заколачивая досками двери и окна. Гулко раздавались удары по пустым комнатам.

В один из этих печальных часов Сонечка сидела у пруда, под осенним синего и прозрачного. Осыпались последние листья. Сонечка думала:

«Промчится жизнь. Приду когда-нибудь осенью и сяду на скамью. Пруд будет таким же ясным. Наклонюсь и увижу себя, седые волосы, потухшие глаза. Будут стучать молотки, заколачивая за мною дверь. Как прожить мимолетную жизнь? Как остановить из этого потока хотя бы одну минутку, — не дать ей утечь?»

Сонечка подумала о недолгой женской жизни, о муже, вздохнула и покачала головой: муж припомнился ей, словно вычитанный из какой-то пыльной книжки.

Долетел из-за роши удар колокола, — в монастыре звонили и в вечерне. Сонечка обернулась и долго слушала и снова опустила голову.

«Нет, этот зов не для меня. Успокоение? Нет!» Тревожно билось сердце, — молило: «Хоть гибели, хоть горьких слез, но жить! жить! жить! Не бродить в сладком тумане, в очаровании, как прежде, но жить! Гореть, как куст, раскинув огненные руки к этому синему небу, к этой печальной земле... Прими, вот я вся взвилась огнями перед тобой!»

СКАЗКИ





РУСАЛОЧЬИ СКАЗКИ

Русалка

Во льду дед Семен бьет прорубь — рыбку ловить. Прорубь не простая — налажена с умом.

Дед обчертил пешней круг на льду, проколупал яму, посередине наладил изо льда же кольцо, а внутри его ударил пешней.

Хлынула спертая, студеная вода, до краев наполнила прорубь.

С водой вошли рыбки — снеток, малявка, плотва.

Вошли, поплавали, а назад нет ходу — не пускает кольцо.

Посмеялся своей хитрости дед Семен, приладил сбоку к проруби канавку — сачок заводит и пошел домой, ждать ночи — когда и большая рыбина в прорубь заходит.

Убрал дед Семен лошадь и овцу — все свое хозяйство — и полез на печь.

А жил он вдвоем со старым котом на краю села в мазанке.

Кот у деда под мышкой песни запел, тыкался мокрым носом в шею.

— Что ты, неугомонный, — спрашивал дед, — или мышей давно не нюхал?

Кот ворочался, старался выговорить на кошачьем языке не понять что.

«Пустяки», — думает дед, а сна нет как нет.

Проворочался до полуночи, взял железный фонарь, сачок, ведро и пошел на речку.

Поставил у проруби железный фонарь, стал черенком постукивать по льду.

— Ну-ка, рыбка, плыви на свет.

Потом разбил тонкий ледок, завел сачок и вытянул его полный серебряной рыбешки.

«Что за диво, — думает дед, — никогда столько рыбы не лавливал. Да смиренная какая, не плещется».

Завел и еще столько же вытянул. Глазам не верит: «Нам с котом на неделю едева не проесть».

Посветил фонарем в прорубь — и видит на дне около кольца лежит темная рыбина.

Распоясался дед Семен, снял полушубок, рукава засучил, наловчился да руками под водой и ухватил рыбину.

А она хвостом не бьет, — смиренная.
Завернул дед рыбу в полу, подхватил ведро с малявками, и
домой...

— Ну, — говорит, — котище, поедим на старости до отвали,
смотри...

И вывалил из полы на стол.
И на столе вытянула зеленый плес, руки сложила, спит русал
ка, личико — спокойное, детское...

Дед — к двери, ведро уронил, а дверь забухла, — не отворяется.
Русалка спит...

Обошелся дед понемногу; пододвинулся поближе, потрогал
не кусается, и грудь у нее дышит, как у человека.

Старый кот рыбу рассыпанную не ест, на русалку смотрит,
горят котовские глаза.

Набрал дед тряпья, в углу на печке гнездо устроил, в головник
шапку старую положил, отнес туда русалку, а чтобы тараканы не
кушали, — прикрыл решетом.

И сам на печку залез, да не спится.
Кот ходит, на решето глядит...

Всю ночь проворочался старый дед; поутру скотину убрал да
опять к печке: русалка спит; кот от решета не отходит.

Задумался дед; стал щи из сметков варить, горшок валится,
чаду напустил...

Вдруг чихнуло...

— Кот, это ты? — спрашивает дед.

Глянул под решето, а у русалки открытые глаза, — светятся.
Пошевелила губами:

— Что это ты, дед, как чадишь, не люблю я чаду.

— А я сейчас, — заторопился дед, окно поднял, а горшок с
недоваренными щами вынес за дверь.

— Проснулась? А я тебя было за щуку опознал.

Половина дня прошла, сидят дед и кот голодные.

Русалка говорит:

— Дед Семен, я есть хочу.

— А я сейчас, вот только, — дед помялся, — хлебец ржаной
у меня, больше ничего нет.

— Я леденцов хочу.

— Сейчас я, сейчас... — Вышел дед на двор и думает: «Продам
овцу, — куда мне овца? Куплю леденцов...»

Сел на лошадь, овцу через шею перекинул, поскакал в село.
К вечеру вернулся с леденцами.

Русалка схватила в горсть леденцов — да в рот, так все и
съела, а наевшись, заснула...

Кот сидел на краю печки, злой, урчал.

Приходит к деду внучонок Федька, говорит:

— Сплети, дед, мочальный кнут...

Отказать нельзя. Принялся дед кнут вить, хоть и не забавно,
как раньше бывало.

Глаза старые, за всем не углядишь, а Федька на печку да к решету.

— Деда, а деда, что это? — кричит Федька и тянет русалку за хвост... Она кричит, руками хватается за кирпичи.

— Ах ты озорник! — никогда так не сердился дед Семен; отнял русалку, погладил, а Федьку мочальным кнудом: — Не балуй, не балуй...

Басом ревел Федька:

— Никогда к тебе не приду...

— И не надо.

Замкнулся дед, никого в избу не пускал, ходил мрачный. А мрачнее деда — старый рыжий кот...

— Ох, недоброе, кот, задумал, — говорил дед.

Кот молчал.

А русалка просыпалась, клянчила то леденцов, то янтарную нитку. Или еще выдумала:

— Хочу самоцветных камушков, хочу наряжаться.

Нечего делать — продал дед лошадь, принес из города сундучок камушков и янтарную нитку.

— Поиграй, поиграй, золотая, посмейся.

Утром солнце на печь глядело, сидела русалка, свесив зеленый плес с печи, пересыпала камушки из ладони в ладонь, смеялась.

Дед улыбался в густые усы, думал: «Век бы на нее просмотрел».

А кот ходил по пустому хлеву и мяукал хриплым мявом, словно детей хоронил. Потом прокрался в избу. Шерсть дыбом, глаза дикие.

Дед лавку мыл; солнце поднималось, уходило из избы...

— Дед, дед! — закричала русалка. — Разбери крышу, чтобы солнце весь день на меня светило.

Не успел дед повернуться, а кот боком махнул на печь, повалил русалку, искал усатой мордой тонкое горло.

Забилась русалка, вывертывается. Дед на печь, оттащил кота.

— Удуши кота, удуши кота, — плачет русалка.

— Кота-то удушить? — говорит дед. — Старого!..

— Он меня съест.

Скрутил дед тонкую бечевку, помазал салом, взял кота, пошел в хлев.

Бечевку через балку перекинул, надел на кота петлю.

— Прощай, старичок...

Кот молчал, зажмурил глаза.

Ключ от хлева дед бросил в колодезь.

А русалка долго на этот раз спала: должно быть, с перепугу.

Прошла зима. Река разломала лед, два раза прорывала плотину, насили успокоилась.

Зазеленела на буграх куриная слепота, запахло березами, и девушки у реки играли в горелки, пели песни.

Дед Семен окно раскрыл; пахучий, звонкий от песен ветер ворвался в низкую избу.

Молча соскочила с печки русалка, поднялась на руках.

Глядит в окно, не сморгнет, высоко дышит грудь.

— Дед, дед, возьми меня: я к девушкам хочу.

— Как же мы пойдем, засмеют они нас.

— Я хочу, возьми меня. — Натерла глаза и заплакала.

Дед смекнул.

Положил русалку за пазуху, пошел на выгон, где девушки коровод водили.

— Посмотрите-ка, — закричали девушки, — старый приплелся!..

Дед было барахтаться... Ничего не помогло — кричат, смеются, за бороду тянут. От песней, от смеха закружилась стариковская голова.

А солнышко золотое, ветер степной...

И за самое сердце укусила зубами русалка старого деда, — впиалась...

Замотал дед головой да — к речке бегом бежать...

А русалка просунула пальцы под ребра, раздвинула, вцепилась зубами еще раз. Заревел дед и пал с крутого берега в омут.

С тех пор по ночам выходит из омута, стоит над водой седая его голова, мучаясь, открывает рот.

Да мало что наплести можно про старого деда!

Иван да Марья

Десятая неделя после Пасхи — купальские дни.

Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная Полюнь трава. В озера, на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли глядит огненное солнце.

Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера да в лунные ночи уходят они из вод озерных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древяницами.

Это присказка, а сказка вот такая.

Жили-были брат Иван да сестра Марья в избенке на берегу озера.

Озеро тихое, а слава о нем дурная: водяной шалит.

Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышинных заводях, захлопают по воде словно вальками, и выкатит из камышей на дубовой коряге водяной, на голове колпак, тиной обмотан. Увидишь, прячься — под воду утянет.

Строго брат Иван наказывал сестре Марье:

— Отлучусь я, так ты после сумерек из хаты — ни ногой, песни не пой над озерной водой, сиди смирно, тихо, как мыши сидят...

— Слушаю, братец! — говорит Марья.

Ушел Иван в лес. Скучно стало Марье одной за станком сидеть; облокотилась она и запела:

Где ты, месяц золотой? —
Ходит месяц над водой, —
В глыбко озеро взглянул,
В темных водах утонул...

Вдруг стукнуло в ставню.

— Кто тут?

— Выдь к нам, выдь к нам, — говорят за ставней тонкие голоса.
Выбежала Марья и ахнула.

От озера до хаты — хороводы русалочки.

Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют.

Всплеснула Марья ладошами. Куда тут! — обступили ее мавки, венок надели...

— К нам, к нам в хоровод, ты краше всех, будь наша царица. — Взяли Марью за руки и закружились.

Вдруг из камыша вылезла синяя, раздутая голова в колпаке.

— Здравствуй, Марья, — захрипел водяной, — давно я тебя поджидал... — И потянулся к ней лапами...

Поздним утром пришел Иван. Туда, сюда, — нет сестрицы. И видит — на берегу башмаки ее лежат и поясок.

Сел Иван и заплакал.

А дни идут, солнце ближе к земле надвигается.

Настала купальская неделя.

«Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать, вот только лапти новые справлю».

Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям.

Шел, шел, видит — стоит голая липка, с которой он лыки драл.

«Ишь ты, назад завернул», — подумал Иван и пошел в другую сторону.

Кружил по лесу и опять видит голую липку.

— Наваждение, — испугался Иван, побежал рысью.

А лапти сами на старое место загибают...

Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом:

— Не руби меня, милый братец...

У Ивана и топор вывалился.

— Сестрица, ты ли?

— Я, братец; царь водяной меня в жены взял, теперь я древяница, а с весны опять русалкой буду... Когда ты с меня лыки драл, наговаривала я, чтобы не уходил отсюда далеко.

— А нельзя тебе от водяного уйти?

— Можно, найти нужно Полынь-траву на зыбком месте и мне в лицо бросить.

И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу.

Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются, и вверх в черную тучу мчится Иван.

«Не упасть бы», — подумал и зацепился за серую тучу — липкое место.

Пошел по туче — ни куста кругом, ни травинки.

Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток, красная шапочка.

— Зачем сюда пришел? — заревел мужичок, как бык, откуда голос взялся.

— Я за Полынь-травую, — поклонился Иван.

— Дам тебе Полынь-траву, только побори меня цыганской ухваткой.

Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули.

Силен мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают.

Стал Иван перетягивать.

— Счастье твое, — рычит мужичок, — быть бы тебе на ссломом небе, много я закинул туда вашего брата. Получай Полынь-траву. — И бросил ему пучок.

Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток как заревет, как загрохочет и язык красный из тучи то метнет, то втянет.

Добежал до липки Иван и видит — сидит на земле страшный дед, водит усами...

— Пусти, — кричит Иван, — знаю, кто ты, не хочешь ли этого? — И ткнул водяному в лицо Полынь-травую.

Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро.

А Иван в липку бросил Полынь-траву, вышла из липки сестрица Марья, обняла брата, заплакала, засмеялась.

Избушку у озера бросили они и ушли за темный лес — ни чистом поле жить, не разлучаться.

И живут неразлучно до сих пор и кличут их всегда вместе Иван да Марья, Иван да Марья.

Ведьмак

На пне сидит ведьмак, звезды считает когтем — раз, два, три, четыре... Голова у ведьмака собачья и хвост здоровенный, голый.

...Пять, шесть, семь... И гаснут звезды, а вместо них на небе оказываются черные дырки. Их-то и нужно ведьмаку — через дырки с неба дождик льется.

А дождик с неба — хмара и темень на земле.

Рад тогда ведьмак: идет на деревню людям вредить.

Долго ведьмак считал, уж и мозоль на когте села.

Вдруг заметил его пьяненький портной: «Ах ты, говорит, гад!» — И побежал за кусты к месяцу — жаловаться. Вылетел из-за сосен круглый месяц, запрыгал над ведьмаком — не даст ему звезд тушить. Нацелится ведьмак когтем на звезду, а месяц, тут как тут, и заслонит.

Рассердился ведьмак, хвостом закрутил — месяц норовит зацепить и клыки оскалил.

Притихло в лесу. А месяц нацелился — да как хватит ведьмака по зубам...

Щелкнул собачьей пастью ведьмак, откусил половину у месяца и проглотил.

Взвился месяц ущербый, свету невзвидел, укрылся за облако.

А ведьмак жалобно завыл, и посыпались с деревьев листочки.

У ведьмака в животе прыгает отгрызанный месяц, жжет; вертится юлой ведьмак, и так и сяк — нет покоя...

Побежал к речке и бултыхнулся в воду... Расплескалась серебряная вода. Лег ведьмак на прохладном дне. Корчится. Подплывают русалки стайкой, как пескари, маленькие... Уставились, шарахнулись, подплыли опять и говорят:

— Выплюнь, выплюнь месяц-то.

Понатужился ведьмак, выплюнул, повыл немножко и подох.

А русалки ухватили голубой месяц и потащили в самую пучину.

На дне речки стало светло, ясно и весело.

А месяц, что за тучей сидел, вырастил новый бок, пригладился и поплыл между звезд по синему небу.

Не впервые ясному бока выращивать.

Водяной

Лежит на возу мужик, трубочку посасывает — продает черного козла. А народу на ярмарке — труба нетолченная.

Подходит к мужику седой старец, кафтан на нем новый, а полы мокрешеньки.

— Ишь угораздило тебя на сухом месте измочиться, — сказал мужик.

Поглядел старец из-под косматых бровей и спрашивает:

— А ты пустяки не говори; продажный козел-то?

— Не для себя же я козла привел; продажный.

Сторговались за три рубля, старик увел козла, а мужик принялся в кисет деньги совать и видит — вместо трешницы лягушиная шкурка.

— Держите его, православные! — закричал мужик. — Водяной по ярмарке ходит!

Собрался народ: стали шуметь, рукавицами махать; мужика в волостную избу повели; продержали весь день и выпустили; и пошел он в сумерки домой, а дорога — лесом. Вдруг видит мужик: идет его козел, крутые рога опустил, топает ножками, а на нем верхом чучело сидит зеленое, рачьи усы растопыркой, глаза плоскими.

Проехало чучело, — ухватило лапой мужика, посадило с собой рядом; помчались к озеру да с кручи вместе — прыг в воду, очутились на зеленом дне.

— Ну, — говорит ему чучело, — народ мутить, меня ловить будешь али нет?

— Нет, уж теперь мне, батюшка водяной, не до смеху.

— А чем ты себя можешь оправдать, чтобы я тебя сейчас не съел?

— Мы народ рабочий, — отвечает мужик, — поработаю на тебя.

— А что делать умеешь?

— Не ученые мы, батюшка водяной, только баклуши и бьем.

— Хорошо, — говорит водяной, — бей баклуши... — и ушел.

Стал мужик из осиновых чурбанов баклуши бить, сам плачет, рыдает. Много набил, целую кучу.

Пришел водяной и удивился:

— Ты что это вытворяешь?

— Баклуши бью, как вы приказали.

— А на что мне баклуши?

Почесал мужик спину:

— Ложки из них делать.

— А на что мне ложки?

— Горячее хлебать.

— Ах ты дурень, ведь я одну сырую рыбу ем. Ни к чему ты, мужик, не годишься. Держись.

Щелкнул водяной мужика по маковке и обернул его в ерши.

Потом усы раздвинул, рот раскрыл и стал ерша заглатывать.

А мужик, хоть и в ерша перевернулся, и тут угодить не мог; уперся водяному поперек горла щетиной. Закашлял водяной, не давился, вытащил ерша и выкинул его из воды на берег. От дышался мужик, встал на ноги, в своем виде, почесался и сказал:

— Ну да, оно ведь это тоже нелегко, с крестьянством-то.

Кикимора

Над глиняным яром — избушка, в избушке старушка живет и две внучки: старшую зовут Моря, младшую Дуничка.

Один раз — ночью — лежит Моря на печи, — не спится. Смысла голову и видит.

Отворилась дверь, вошла какая-то лохматая баба, вынула Дуничку из люльки и — в дверь — и была такова.

Закричала Моря:

— Бабынька, бабынька, Дуньку страшная баба унесла...

А была та баба — кикимора, что крадет детей, а в люльку подкладывает вместо них полено.

Бабушка — искать-поискать, да, знать, кикимора под яр ушла в омут зеленый. Вот слез-то что было!

Тоскует бабушка день и ночь. И говорит ей Моря:

— Не плачь, бабушка, я сестрицу отыщу.

— Куда тебе, ягодка, сама только пропадешь.

— Отыщу да отыщу, — твердит Моря. И раз, когда звезды высыпали над яром, Моря выбежала крадучись из избы и пошла куда глаза глядят.

Идет, попрыгивает с ноги на ногу и видит — стоит над яром дуб, а ветки у дуба ходуном ходят. Подошла ближе, а из дуба торчит борода и горят два зеленых глаза...

— Помоги мне, девочка, — кричит дуб, — никак не могу нынче в лешего обратиться, опояшь меня пояском.

Сняла с себя Моря пояс, опоясала дуб. Запыхтело под корой, завозилось, и встал перед Морей старый леший.

— Спасибо, девка, теперь проси чего хочешь.

— Научи, дедушка, где сестрицу отыскать, ее злая кикимора унесла.

Начал леший чесать затылок...

А как начесался — придумал.

Вскинул Морю на плечи и побежал под яр, вперед пятками.

— Садись за куст, жди, — сказал леший и на берегу омута обратился в корягу, а Моря спряталась за его ветки.

Долго ли так, коротко ли, замутился зеленый омут, поднялась над водой косматая голова, фыркнула, поплыла и вылезла на берег кикимора. На каждой руке ее по пяти большеголовых младенцев — игошей — и еще один за пазухой.

Села кикимора на корягу, кормит игошей волчьими ягодами. Младенцы едят, ничего, — не давятся.

— Теперь твоя очередь, — густым голосом сказала кикимора и вынула из-за пазухи ребеночка.

— Дуничка! — едва не закричала Моря.

Смотрит на звезды, улыбается Дуничка, сосет лохматую кикиморину грудь.

А леший высунул сучок корявый да за ногу кикимору и схватил...

Хотела кинуться кикимора в воду — никак не может.

Игоши рассыпались по траве, ревут поросычьими голосами, дрыгаются. Вот пакость!

Моря схватила Дуничку — и давай Бог ноги.

— Пусти — я девчонку догоню, — взмолилась к лешему кикимора.

Стучит сердце. Как ветер летит Моря. Дуничка ее ручками за шею держит...

Уже избушка видна... Добежать бы...

А сзади — погоня: вырвалась кикимора, мчится вдогонку, визжит, на сажень кверху подсигивает...

— Бабушка! — закричала Моря.

Вот-вот схватит ее кикимора.

И запел петух: «Кукареку, уползай, ночь, пропади, нечисть!»

Осунулась кикимора, остановилась и разлилась туманом, подхватил ее утренний ветер, унес за овраг.

Бабушка подбежала. Обняла Морю, взяла Дуничку на руки. Вот радости-то было.

А из яра хлопал деревянными ладошами, хохотал старый дед леший. Смешливый был старичок.

Дикий кур

В лесу по талому снегу идет мужик, а за мужиком крадется дикий кур.

«Ну, — думает кур, — ухвачу я его».

Мужик спотыкается, за пазухой булькает склянка с вином.

— Теперь, — говорит мужик, — самое время выпить, верно?

— Верно! — отвечает ему кур за орешником...

— Кто это еще разговаривает? — спросил мужик и остановился.

— Я.

— Кто я?

— Кур.

— Дикий?

— Дикий...

— К чему же ты в лесу?

Кур опешил:

— Ну, это мое дело, почему я в лесу, а ты чего шляешься, меня беспокоишь?

— Я сам по себе, иду дорогой...

— А погляди-ка под ноги.

Глянул мужик, — вместо дороги — ничего нет, а из ничего нет торчит хвост петушиный и лапа — кур глаза отвел.

— Так, — сказал мужик, — значит, приходится мне пропасть.

Сел и начал разуваться, снял полушубок.

Кур подскочил, кричит:

— Как же я тебя, дурака, загублю? Очень ты покорный.

— Покорный, — засмеялся мужик, — страсть, что хочешь делай.

Кур убежал, пошептался с кем-то, прибегает и говорит:

— Давай разговляться, подставляй шапку, — повернулся к мужику и снес в шапку яйцо.

— Отлично, — сказал мужик, — давно бы так.

Стали яйцо делить. Мужик говорит:

— Ты бери нутро, — голодно, чай, тебе в лесу-то, а я шелуку пожую.

Ухватил кур яйцо и разом сглотнул.

— Теперь, — говорит кур, — давай вино пить.

— Вино у меня на донышке, пей один.

Кур выпил вино, а мужик снеговой водицы хлебнул.

Охмелел кур, песню завел — орет без толку...

Сигать стал с ноги на ногу, шум поднял по лесу, трескотню.

— Пляши и ты, мужик...

Завертел его кур, поддает крылом, под крылом сосной пахнет.

И очутился мужик у себя в хлеву на теплом назме...

Пришла баба от заутрени...

— Это ты так, мужик, за вином ходил...

— Ни-ни, — говорит мужик, — маковой росинки во рту не было, кур дикий меня путал.

— Хорошо, — говорит баба и пошла за кочергой. Принесла кочергу да вдруг и спрашивает: — Ну-ка повернись, что это под тобой?

Посмотрела, а под мужиком лежат червонцы.

— Откуда это у тебя?

Стал мужик думать.

— Вот это что, — говорит, — кур это меня шелухой кормил...

Дай Бог ему здоровья...

И поклонились мужик да баба лесу и сказали дикому куру — спасибо.

Полевик

На току, где рожь молотят, — ворох; ворох покрыт пологом, на пологу — роса. А под пологом девки спят...

Пахнет мышами, и на небе стоит месяц.

По току шагает длинный Полевик, весь соломенный, ноги тонкие...

— Ну, ну, — ворчит Полевик, — рожь не домолотили, а спят.

Подошел к вороху, потянул за полог:

— Эй, вы, разоспались, заря скоро!

Девки из-под полога высовывают головы, шепчут:

— Кто это, девоньки, или приснилось? Никак светает скоро.

Дрожат с холоду, просыпаются.

На хуторе за прудом кричат петухи.

К молотилке шагает Полевик; под молотилкой, накрывшись полушубками, спят парни.

Постаскал с них Полевик полушубки:

— Вставайте, рожь не домолочена.

Парни глаза протирают...

— Свежо, ребята, ай вставать пора...

На току ворошится народ, натягивают полушубки да кацавейки, ищут: кто вилы, кто грабли...

Холодеет месяц.

А Полевик уж в поле шагает.

— Голо, голо, — ворчит Полевик, — скучно.

Ляжет он с тоски в канаву, придет зима, занесет его снегом.

Иван-царевич и Алая-Алица

Скучно стало Ивану-царевичу, взял он у матушки благословение и пошел на охоту. А идти ему старым лесом.

Настала зимняя ночь.

В лесу то светло, то темно; по спелому снегу мороз потрескивает. Откуда ни возьмись выскочил заяц; наложил Иван-царевич стрелу, а заяц обернулся клубком и покатился. Иван-царевич за ним следом побежал.

Летит клубок, хрустит снежок, и расступились сосны, открылась поляна, на поляне стоит белый терем, на двенадцати башнях — двенадцать голов медвежьих... Сверху месяц горит, переливаются стрельчатые окна.

Клубок докатился, лунь-птицей обернулся: сел на воротах. Испугался Иван-царевич, — вещью птицу застрелить хотел, — снял шапку.

— Прости глупость мою, лунь-птица, невдомек мне, когда ты зайцем бежал.

— Меня Алая-Алица, ясная красавица, жижова пленница, за тобой послала, — отвечает ему лунь-птица, — давно стережет ее старый жиж.

— Войди, Иван-царевич, — жалобно прозвенел из терема голос. По ледяному мосту пробежал, распахнул ворота Иван-царевич — оскалились медвежьи головы. Вышиб ногой дверь в светлицу: видит — на нетопленной печурке сидит жиж, голова у него медная, глазами ворочает.

— Ты зачем объявился? Или две головы на плечах? — зарычал жиж.

Прицелился Иван-царевич и вогнал золотую стрелу между глазами старому жижу.

Упал жиж, дым повалил у него изо рта, вылетело красное пламя и поняло терем. Иван-царевич побежал в светлицу. У окна, серебряными цепями прикована, сидит Алая-Алица, плачет... Разрубил цепи, взял Иван-царевич на руки царевну и выскочил с ней в окошко.

Рухнул зимний терем и облаком поднялся к синему небу. Сбежал снег с поляны, на земле поднялись, зацвели цветы. Распустились по деревьям клейкие листья.

Откуда ни возьмись прибежали тоненькие, синие еще от зимнего недоеда, русалки-мавки, закачались на деревьях; пришел журавль на одной ноге; закуковала кукушка; лешие захлопали в деревянные ладоши; позык аукался.

Шум, гам, пение птичье...

И по синему небу раскатился, загрохотал апрельский гром.

И узнали все на свете, что Иван-царевич справляет свадьбу с Алой-Алицей, весенней царевной.

Соломенный жених

Внизу овина, где зажигают теплыны, в углу темного подвала лежит, засунув морду в земляную нору, черный кот.

Не кот это, а овинник.

Лежит, хвостом не вильнет — пригрелся. А на воле — студено.

Прибежали в овин девушки, ногами потопали.

— Идемте в подлаз греться.

Полегли в подлазе, где дымом пахнет, близко друг к дружке, и завели такие разговоры, что — стар овинник, а чихнул и землей себе глаза запорошил.

— Что это, подружки, никак чихнуло? — спрашивают девушки.

Овинник рассердился, что глаза ему запорошило, протер их лапой и говорит:

— Ну-ка, иди сюда, которая нехорошие слова говорила!

Каждая девушка на себя подумала, и ни одна ни с места.

— Ну, что же, — говорит овинник, — или мне самому вылезать?

И стал из норы пятиться...

Тут одна, догадливая да бедная, сирота Василиса, взяла ржаной сноп, прикрыла его платком и поставила впереди всех.

— Вот тебе!..

Выскочил из норы овинник, пыхнул зелеными глазами и стал сноп рвать, а девушки из овина выбежали и — на деревню, а та, что подогадливее — Василиса, — схоронилась за ворох соломы и говорит оттуда:

— Черный кот, старый овинник, что со мной делаешь, — все тело мое изорвал.

Фыркнул овинник, отскочил и кричит:

— Очень я злой, погоди — отойду, тогда разговаривай.

Подождала Василиса и говорит опять:

— Отошел?

— Отхожу, сейчас, только усы вылижу... Ну, что тебе надо?

— Залечи мне раны...

Фыркнул кот в землю, лапой пыль подхватил и мазнул по снопу.

А сноп так и остался снопом...

— Так ты меня обманула? — говорит кот, а самому уж смешно.

— Обманула, батюшка, — отвечает ему Василиса, — прости, батюшка, да смилуйся — найди мне жениха, чтобы краше его на свете не было.

— Уж больно я сам-то урод, — говорит овинник. — Ну да ладно. — И ударился о землю и стал из черного кота — кот белый и хвостом Василису пощекотал...

— Чем тебе не жених?

— Нет, — говорит Василиса, — за кота замуж не пойду; дай мне жениха настоящего.

Подумал овинник, походил по овину, — мыша походя сожрал. Вдруг подскочил к ржаному снопу, заурчал, облизал его, чихнул три раза и сделался из снопа — человек.

— Получай жениха, — говорит Василисе овинник. — Смотри — от сырости береги, а то прорастет.

Василиса взяла человека за руку и вывела его из подлаза, и овина на лунный свет. И встал перед ней молодой жених в золотом кафтане, в шапке с пером. Глядит на Василису и смеется. Василиса поклонилась ему в пояс — и они пошли в избу.

Прошло с той поры много дней. Лег снег на мерзлую землю, завывли студёные ветра, поднялись вьюги.

Соломенный жених живет у Василисы, похаживает по горнице, поглядывает в окошечко и все приговаривает:

— Скучно мне, темно, холодно...

И стала Василиса замечать, что жених ее портится, позеленело у него на кафтане и на сапожках золото, ночью стал кашлять, стонать во сне. Раз утром слез с кровати, подпоясался и говорит:

— Уйду, Василиса, искать теплого места.

— А я-то как же?..

— Ты меня жди.

И ушел, только снег скрипнул за воротами.

Жених идет, весь от инея белый. Кругом него мороз молотом ками постукивает — крепко ли закована земля, не взломан ли синий лед на реке; по деревьям попрыгивает, морозит зайцам уши.

Хочет жених от мороза уйти, а молоточки все чаще, все больше постукивают, — по жилам, по костям. Остудился жених, а степь бела кругом, ровна.

И повисло над степью, над самым краем солнце, красное и студёное. Жених к солнцу бежит, колпаком машет:

— Погоди, погоди, возьми меня в зеленые луга.

И добежал было. Вдруг выскочил из-под снега большой, ком матый, крепколобый волк, доскакал большим махом до солнца, обхватил его лапами, прижался пузом, — с одной стороны, с другой приловчился и вонзил клыки в алое солнце.

Завизжали, застучали ледяные молотки, потемнела степь, завыл мертвый лес. Соломенный жених бежать пустился, упал в снег и не помнит, что дальше было.

Василиса, когда одна осталась, пораскинула бабьим умом и пошла к старому овиннику. А чтобы он не очень, сердился, сунули под нос ему пирог с творогом и говорит:

— Жених от меня убежал, должно быть, замерз, очень жалко его.

— Ничего, — отвечает ей овинник, — жених твой в озимом пошел.

— А я-то как же?

— Найдешь ты жениха в чистом поле, ляг с ним рядом, а что дальше будет — сама увидишь.

Пошла Василиса в поле, долго шла, не день и не два. Видит — большой сугроб. Разрыла его руками, видит: лежит под снегом жених.

Упала на него Василиса, омочила лицо его слезами; жених не шевелится.

Тогда легла она с ним рядом и стала глядеть в зимнее белое небо.

Снег Василису порошит, молоточки в сердце бьют, обручи набивают на тело, и говорит Василиса:

— Желанный мой.

И чудится ей — голубеет, синее небо, и из самой его глубины летит к земле, раскаляясь, близится молодое, снова рожденное солнце.

Заухали снега, загудели овраги, ручьи побежали, обнажая черную землю, над буграми поднялись жаворонки, засвистели серые скворцы, грач пришел важной походкой, и соломенный жених открыл сонные синие глаза и привстал.

Проходили мимо добрые люди, сели на меже отдохнуть и сказали:

— Смотри, как рожь всколосилась, а с ней переплелись васьильки цветы...

Душисто...

Странник и змей

Багряное солнце садилось над мерзлым бурьяном, скрипели журавли колодцев, вдова Акулина пела у окошка горемычную песню, а по деревне проходил странник. Полушубок на нем древний, из дыр овчина торчит, лыковая котомка за плечами.

Ни молод странник, ни стар, а взглянешь на него — под усами умильная улыбка, глаза серые, ласковые, смешливые.

Подходит он к Акулининому двору, шапку снял и говорит ласково:

— Скучно тебе, милая?

Увидала странника Акулина, кинулась за ворота.

— Странник Божий, взойди, сделай милость.

Взошел странник, сел на лавку. Угощает его вдова, а сама пытается — откуда да куда, не слыхал ли про счастье: лежит, говорят, оно в океане, под горячим камнем.

Странник наелся, напился, ложку положил и спрашивает:

— Ну, а ты, милая, все — маешься?

Забилась Акулина на лавке.

— Такая маета — сказать не можно: сушит змей белое мое тело, сосет сердце, ночи до утра глаз не смыкаю, а в полночь свистнет над крышей, рассыплется искрами и встанет на дворе — не зверь, не человек...

Улыбается странник, светятся глаза его.

— Силен враг, Акулина, трудно тебе, трудно. А ведь свистнет — опять побежишь?

Заголосила Акулина:

— Страшно мне, ночь придет, сама ко врагу потянусь, а днем руки бы на себя наложила.

Погладил ее по голове странник, и затихла молодая баба.

— Тетенька Акулина, — позвал в окно девичий голосок, — на посиделки тебя кличут, пойдешь?

А потом поглубже заглянул любопытный глаз.

— Ты и странника приводи, сказку скажет!

Рассмеялась и убежала, а странник говорит:

— Что же, Акулина, пойдем, куда зовут.

Акулина ушла за перегородку прибираться, а странник у окна запел:

Ходила во синем море,
Ходила белая рыба,
Ходила, била плесом
По тому ли синю морю:
Ты раздайся, синее море,
На две волны, на два берега.
Ты выплесни, выкини
Алатырь, горюч камень.

Слушает, вздыхает Акулина за перегородкой; прибралась, нышла, — красивая, глаза мрачные.

— Ну, пойдем, странник.

Пришли на посиделки.

А там народу набилось, как грибов в лукошко; тренькают им балалайке, подплясывают, подпевают, шутки шутят, и в сенях, и на лавках, и на печи — понабились.

Странника обступили, просят.

— Спой нам, скажи сказку.

Странник сел у двери и запел опять про то же:

Ходила во синем море,
Ходила белая рыба.

Пригорюнились девицы, подсели к парням. Кто с печи голову свесил, кто с полатей. Расселись парами — стало тихо. Одна Акулина без друга, как куст обкошенный. Сдвинула брови, белая кипень, стоит посреди избы, под сарафаном грудь ходуном ходит.

— Акулина, Акулина, обойдись, — говорит странник.

А у нее глаза уж как озеро. Дрожит дрожью.

В это время просвистел за окном змеинный свист.

Дрогнула Акулина и — к двери.

— Не ходи, Акулина!

— Пусти!

Выскочила на улицу; странник за ней и схоронился в сенях. Акулина стала посреди двора и шепчет:

— Лети... лети.

И со свистом, как от тысячи птиц, закружился над двором черный змей, раскинул крылья, опустился на снег.

Встал на лапы, лебединую голову протянул к Акулине и языком — облизнул ей белое лицо.

А странник подкрался, оттолкнул Акулину да змея по голове лестовкой и ударил.

Взметнулся змей и рассыпался просом, а странник петухом обернулся — зерна клевать.

Не дала ему, упала на петуха Акулина, ухватила за крылья и в избу поволокла.

— Оборотень, — закричала Акулина, — рубите ему голову!

Петух вырвался — да под лавку, крыльями бьет, в руки не дается.

Заметался народ по избе, петуха ловят. Поймали, у Акулины и топор в руках.

— Клади его на порог!

Вытянули за голову, за ноги петуха. Размахнулась Акулина топором... Да так и застыла у нее рука.

Пропали стены. Вместо девушек — березы в инее, парни — ели, а Акулина — ива плакучая, вся в сосульках.

На пне сидит странник. Улыбается, сияют серые глаза. Возле на снегу лежит петушиное перо.

Поднял странник перо, пустил по ветру, сказал:

— Лети, перышко, где сядешь, туда и я скоро приду; много еще мне исходить осталось, увертлив змей, не пришло его время.

Звериный царь

У соседа за печкой жил мужичок с локоток.

Помогал соседу кое-чем, понемножку. Плохое житье на чужих хлебах.

Взяла мужика тоска, пошел в клеть; сидит, плачет. Вдруг видит — из норы в углу высунулась мордочка и повела поросычьим носом.

«Анчутка беспятый», — подумал мужичок и обмер.

Вылез анчутка, ухо наставил и говорит;

— Здравствуй, кум!

«Какой я ему кум», — подумал мужичок и на случай поклонился.

— Окажи, кум, услугу, — говорит анчутка, — достань золы из-под печки; мне через порог перейти нельзя, а золы надо — тещу лечить, — плоха, объелась мышами.

Мужичок сбегал, принес золы, анчутка его благодарит:

— За службу всыплю я тебе казны, сколько в шапку влезет.

— На что мне казна, — отвечает мужичок, — вот бы силой поправиться!

— Это дело пустое, попроси звериного царя...

И научил анчутка, как к звериному царю попасть и что говорить нужно.

Мужичок подумал — все равно так-то пропадать, и полез в крысиную нору, как его учили.

Там темно, сыро, мышами пахнет. Полз, полз — конца не видно, и вдруг полетел вниз, в тартарары. Встал, почесался и видит: вода бежит, и привязана у берега лодочка, — с малое корытце.

Сел мужичок в лодочку, отпихнулся и завертелся, помчался — держи шапку.

Над головой совы и мыши летают, из воды высовываются такие хари — во сне не увидишь.

Наконец загорелся свет, мужичок пригреб к берегу выпрыгнул на траву и пошел на ясное место. Видит — высоченное дерево шумит, и под ним, на семи шкурах, сидит звериный царь.

Вместо рук у царя — лопухи, ноги вросли в землю, на красной морде — тысяча глаз.

А кругом — звери, птицы и все, что есть на земле живого — сидят и на царя посматривают. Увидал мужичка звериный царь и закричал:

— Ты кто такой? Тебе чего надо?

Подошел мужичок, кланяется:

— Силешки бы мне, батюшка, звериный царь...

— Силу или половину?

— Осьмухи хватит.

— Полезай ко мне в брюхо!

И разинул царь рот, без малого — с лушко.

Влез мужичок в звериный живот, притулился, пуповину нашел, посасывает.

Три дня сосал.

— Теперь вылезай, — зовет зверь, — чай, уж насосался.

Вылез мужичок, да уж не с локоток, а косая сажень в плечах, собольи брови, черная борода.

— Доволен? — спрашивает царь. — Выйдешь на волю, поклонись чистому полю, солнцу красному, всякому жуку и скотине.

И дунул. И подхватили мужика четыре ветра, вынесли к мосту, что у родного села.

Солнце за горку садится, стадо гонят, идут девки...

Подбоченился мужик и крикнул:

— Эй, Дунька, Акулина, Марья, Василиса, аль не признали?

Девки переглядываются.

А мужик потрянул кудрями.

— Теперь, — говорит, — пир горой, посылай за свахой. Я те перь самого звериного царя меньшей сын.

Девки так и сели. А мужик выбрал из них самую румяную да на ней и женился.

СОРОЧЬИ СКАЗКИ

Сорока

За калиновым мостом, на малиновом кусту калачи медовые росли да пряники с начинкой. Каждое утро прилетала сорока-белобока и ела пряники.

Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить. Раз спрашивает сороку синичка-птичка:

— Откуда, тетенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место.

— А у черта на куличках, — отвечала сорока-белобока, обманула синичку.

— Неправду ты говоришь, тетенька, — пискнула синичка-птичка, — у черта на куличках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи — все равно выслежу.

Испугалась сорока-белобока, пожадничала. Полетела к малиновому кусту и съела и калачи медовые, и пряники с начинкой, все дочиста.

И заболел у сороки живот. Насилу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает...

— Что с тобой, тетенька? — спрашивает синичка-птичка. — Или болит чего?

— Трудилась я, — охает сорока, — истомилась, кости болят.

— Ну, то-то, а я думала другое что, от другого чего я средство знаю: трава Сандрит, от всех болезней целит.

— А где Сандрит-трава растет? — взмолилась сорока-белобока.

— А у черта на куличках, — ответила синичка-птичка, крыльшками детей закрыла и заснула.

«У черта на куличке одни сосновые шишки, — подумала сорока, — да и те пустые», — и затосковала: очень живот болел у белобокой.

И с боли да тоски на животе сорочьем перья все повылезли, и стала сорока — голобока.

От жадности.

Мышка

По чистому снегу бежит мышка, за мышкой дорожка, где в снегу лапки ступали.

Мышка ничего не думает, потому что в голове у нее мозгу — меньше горошины.

Увидала мышка на снегу сосновую шишку, ухватила зубом, скребет и все черным глазом поглядывает — нет ли хоря.

А злой хорь по мышиным следам ползет, красным хвостом смет метет.

Рот разинул — вот-вот на мышку кинется...

Вдруг мышка царапнула нос о шишку, да с перепугу — нырь в снег, только хвостом вильнула. И нет ее.

Хорь даже зубами скрипнул — вот досада. И побрел, побрел хорь по белому снегу. Злющий, голодный — лучше не попадайся.

А мышка так ничего и не подумала об этом случае, потому что в голове мышинной мозгу меньше горошины. Так-то.

Козел

В поле — тын, под тыном — собачья голова, в голове толстый жук сидит с одним рогом посреди лба.

Шел мимо козел, увидел тын, — разбежался да как хватит в тын головой, — тын закрихтел, рог у козла отлетел.

— То-то, — жук сказал, — с одним-то рогом сподручнее, или ко мне жить.

Полез козел в собачью голову, только морду ободрал.

— Ты и лазить-то не умеешь, — сказал жук, крылья раскрыл и полетел.

Прыгнул козел за ним на тын, сорвался и повис на тыну.

Шли бабы мимо тына — белье полоскать, сняли козла и вальками отлупили.

Пошел козел домой без рога, с драной мордой, с помятыми боками.

Шел — молчал.

Смехота, да и только.

Еж

Теленок увидел ежа и говорит:

— Я тебя съем!

Еж не знал, что теленок ежей не ест, испугался, клубком свернулся и фыркнул:

— Попробуй...

Задрав хвост, запрыгал глупый теленок, боднуть норовит, потом растопырил передние ноги и лизнул ежа.

— Ой, ой, ой! — заревел теленок и побежал к корове-матери, жалуется:

— Еж меня за язык укусил.

Корова подняла голову, поглядела задумчиво и опять принялась траву рвать.

А еж покотился в темную нору под рябиновый корень и сказал ежихе:

— Я огромного зверя победил, должно быть, льва!

И пошла слава про храбрость ежову за синее озеро, за темный лес.

— У нас еж — богатырь, — шепотом со страху говорили звери.

Лиса

Под осиною спала лиса и видела воровские сны.

Спит лиса, не спит ли — все равно нет от нее житья зверям.

И ополчились на лису — еж, дятел да ворона.

Дятел и ворона вперед полетели, а еж следом покотился.

Дятел да ворона сели на осину...

— Тук... тук... тук... — застучал дятел клювом по коре.

И лиса увидела сон — будто страшный мужик топором машет, к ней подбирается.

Еж к осине подбегает, и кричит ему ворона:

— Карр еж!.. Карр еж!..

«Кур ешь, — думает лиса, — догадался проклятый мужик».

А за ежом ежиха да ежата катятся, пыхтят, переваливаются...

— Карр ежи! — заорала ворона.

«Караул, вяжи!» — подумала лиса, да как спросонок вскочит, а ежи ее иголками в нос...

— Отрубили мой нос, смерть пришла, — ахнула лиса и — бежать.

Прыгнул на нее дятел и давай долбить лисе голову.

А ворона вдогонку: «Карр».

С тех пор лиса больше в лес не ходила, не воровала.

Выжили душегуба.

Заяц

Летит по снегу поземка, метет сугроб на сугроб... На кургане поскрипывает сосна:

— Ох, ох, кости мои старые, ноченька-то разыгралась, ох, ох...

Под сосной, насторожив уши, сидит заяц.

— Что ты сидишь, — стонет сосна, — съест тебя волк, — убежал бы.

— Куда мне бежать, кругом бело, все кустики заело, есть нечего..

— А ты порой, поскреби.

— Нечего искать, — сказал заяц и опустил уши.

— Ох, старые глаза мои, — закричала сосна, — бежит кто-то, должно быть, волк, — волк и есть.

Заяц заметался.

— Спрячь меня, бабушка...

— Ох, ох, ну, прыгай в дупло, косой.

Прыгнул заяц в дупло, а волк подбегает и кричит сосне:

— Сказывай, старуха, где косой?

— Почему я знаю, разбойник, не стерегу я зайца, вон ветер как разгулялся, ох, ох...

Метнул волк серым хвостом, лег у корней, голову на лани положил. А ветер свистит в сучьях, крепчает...

— Не вытерплю, не вытерплю, — скрипит сосна.

Снег гуще повалил, налетел лохматый буран, подхватил белые сугробы, кинул их на сосну.

Напряжилась сосна, крикнула и сломалась...

Серого волка, падая, до смерти зашибла...

Замело их бураном обоих.

А заяц из дупла выскочил и запрыгал куда глаза глядят.

«Сирота я, — думал заяц, — была у меня бабушка-сосна, ли и ту замело...»

И капали в снег пустяковые заячьи слезы.

Кот Васька

У Васьки-кота поломались от старости зубы, а ловить мышк(и) большой был охотник Васька-кот.

Лежит целые дни на теплой печурке и думает — как бы зубы поправить...

И. надумал, а надумавши, пошел к старой колдунье.

— Баушка, — замурлыкал кот, — приставь мне зубы, да (и) трыс, железные, костяные-то я давно обломал.

— Ладно, — говорит колдунья, — за это отдашь мне то, что поймашь в первый раз.

Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой.

Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает

Вдруг будто мелькнуло что-то, бросился кот, да, видно, пр(и) махнулся.

Пошел — опять метнулось.

«Погоди же!» — думает кот Васька, остановился, глаза скошил и поворачивается, да вдруг как прыгнет, завертелся волчком и схватил железными зубами свой хвост.

Откуда ни возьмись явилась старая колдунья.

— Давай, — говорит, — хвост по уговору. Заурлыкал кот, замаякал, слезами облился. Делать нечего. Отдал хвост. И стал кот — куций. Лежит целые дни на печурке и думает: «Пропади они, железные зубы, пропадом!»

Сова и кот

В дубовом дупле жила белая сова — лунь-птица, у совы было семь детенышей, семь родных сыновей.

Раз ночью улетела она, — мышей половить и яиц napиться.

А мимо дуба шел дикий, лесной кот. Услыхал кот, как совята пищат, залез в дупло и поел их — всех семь.

Наевшись, тут же, в теплом гнезде, свернулся и заснул.

Прилетела сова, глянула круглыми глазами, видит — кот спит. Все поняла.

— Котик лесной, — запела сова сладким голосом, — пусти переночевать, студено в лесу-то.

Кот спросонок не разобрал и пустил сову.

Легли они в дупле рядышком. Сова и говорит:

— Отчего у тебя, кот, усы в крови?

— Ушибся, кума, рану лизал.

— А отчего у тебя, кот, рыльце в пуху?

— Сокол меня трепал, насилу ушел я от него.

— А отчего у тебя, кот, глаза горят?

Обняла сова кота лапами и выпила глаза его.

Клюв о шерсть вытерла и закричала:

Совят!
Семь, семь.
Совят!
Кот съел.

Мудрец

По зеленой траве-мураве ходят куры, на колесе белый петух стоит и думает: пойдет дождь или не пойдет?

Склонив голову, одним глазом на тучу посмотрит и опять думает.

Чешется о забор свинья.

— Черт знает, — ворчит свинья, — сегодня арбузные корки опять отдали корове.

— Мы всегда довольны! — хором сказали куры.

— Дуры! — хрюкнула свинья. — Сегодня я слышала, как божилась хозяйка накормить гостей курятиной.

— Как, как, как, как, что такое? — затараторили куры.

— Поотвертят вам головы — вот и «как что такое», — проворчала свинья и легла в лужу.

Сверху вниз задумчиво посмотрел петух и молвил:

— Куры, не бойтесь, от судьбы не уйдешь. А я думаю, что дождь будет. Как вы, свинья?

— А мне все равно.

— Боже мой, — заговорили куры, — вы, петух, предаетесь праздным разговорам, а между тем из нас могут сварить суп.

Петуха это насмешило, он хлопнул крыльями и кукарекнул.

— Меня, петуха, в суп — никогда!

Куры волновались.

В это время на порог избы вышла с огромным ножом хозяйки и сказала:

— Все равно, — он старый, его и сварим.

И пошла к петуху.

Петух взглянул на нее, но гордо продолжал стоять на колесе. Но хозяйка подходила, протянула руку...

Тогда почувствовал он зуд в ногах и побежал очень быстро, чем дальше, тем шибче.

Куры разлетелись, а свинья притворилась спящей.

«Пойдет дождь или не пойдет?» — думал петух, когда его, пойманного, несли на порог, чтобы рубить голову.

И, как жил он, так и умер, — мудрецом.

Гусак

Идут с речки по мерзлой траве белые гуси, впереди злой гусак шею вытягивает, шипит:

— Попадись мне кто, — зашиплю.

Вдруг низко пролетела лохматая галка и крикнула:

— Что, поплавали! Вода-то замерзла.

— Шушура! — шипит гусак.

За гусакom переваливаются гусенята, а позади — старая гусыня. Гусыне хочется снести яйцо, и она уныло думает: «Куда мне, на зиму глядя, яйцо нести?»

А гусенята вправо шейки нагнут и пощиплют щавель и влево шейки нагнут и пощиплют.

Лохматая галка боком по траве назад летит, кричит:

— Уходите, гуси, скорей, у погребницы ножи точат, свиней колют и до вас, гусей, доберутся.

Гусак на лету, с шипом, выхватил галке перо из хвоста, и гусыня расколыхалась:

— Вертихвостка, орешь — детей моих пугаешь.

— Щавель, щавель, — шепчут гусенята, — померз, померз.

Миновали гуси плотину, идут мимо сада, и вдруг по дороге им навстречу бежит голая свинья, ушами трясет, а за ней бежит риботник, засучивает рукава.

Наловчился работник, ухватил свинью за задние ноги и поволок по мерзлым кочкам. А гусак работника за икры, с вывертом, щипом шипал, хватом хватал.

Гусенята отбежали, смотрят, нагнув головы.

Гусыня, охая, засеменила к мерзлому болоту.

— Го, го, — закричал гусак, — все за мной!

И помчались гуси полуволетом на двор. На птичьем дворе стряпуха точила ножи, гусак к корыту подбежал, отогнал кур да уток, сам наелся, детей накормил и, зайдя сзади, ушипнул стряпуху.

— Ах, ты! — ахнула стряпуха, а гусак отбежал и закричал:

— Гуси, утки, куры, все за мной!

Взбежал гусак на пригорок, белым крылом махнул и крикнул:

— Птицы, все, сколько ни есть, летим за море! Летим!

— Под облака! — закричали гусенята.

— Высоко, высоко! — кокали куры.

Подул ветерок.

Гусак посмотрел на тучку, разбежался и полетел.

За ним прыгнули гусенята и тут же попадали — уж очень зобы понабили. Индюк замотал сизым носом, куры со страху разбежались, утки, приседая, кричали, а гусыня расстроилась, расплакалась — вся вспухла.

— Как же я, как же я с яйцом полечу!

Подбежала стряпуха, погнала птиц на двор.

А гусак долетел до облака. Мимо треугольником дикие гуси плыли. Взяли дикие гуси гусака с собой за море. И гусак кричал:

— Гуси, куры, утки, не поминайте лихом...

Грибы

Братца звали Иван, а сестрицу — Косичка. Мамка была у них сердитая: посадит на лавку и велит молчать. Сидеть скучно, мухи кусаются или Косичка шипнет — и пошла возня, а мамка рубашонку задерет да — шлеп...

В лес бы уйти, там хоть на голове ходи — никто слова не скажет...

Подумали об этом Иван да Косичка да в темный лес и удрали.

Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве, — никогда визга такого в лесу не было слышно.

К полудню ребятишки утомонились, устали, захотели есть.

— Поесть бы, — захныкала Косичка.

Иван начал живот чесать — догадываться.

— Мы гриб найдем и съедем, — сказал Иван. — Пойдем, не хнычь.

Нашли они под дубом боровика и только сорвать его нацелились, Косичка зашептала:

— А может, грибу больно, если его есть?

Иван стал думать. И спрашивает:

— Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?

Отвечает боровик хрипучим голосом:

— Больно.

Пошли Иван да Косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивают у него:

— А тебе, подберезовик, если тебя есть, больно?

— Ужасно больно, — отвечает подберезовик.

Спросили Иван да Косичка под осиной подосинника, под со-
сной — белого, на лугу — рыжика, груздя сухого да груздя мок-
рого, синявку-малявку, опенку тощую, масленника, лисичку и
сыроежку.

— Больно, больно, — пищат грибы.

А груздь мокрый даже губами зашлепал:

— Што вы ко мне приштали, ну ваш к лешему...

— Ну, — говорит Иван, — у меня живот подвело.

А Косичка дала реву.

Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб, словно
мукой сладкой обсыпан — плотный, красивый.

Ахнули Иван да Косичка:

— Миленький гриб, можно тебя съесть?

— Можно, детки, можно, с удовольствием, — приятным голо-
сом отвечает им красный гриб, так сам в рот и лезет.

Присели над ним Иван да Косичка и только разинули рты, —
вдруг откуда ни возьмись налетают грибы: боровик и подберезовик,
подосинник и белый, опенка тощая и синявка-малявка, мокрый
груздь да груздь сухой, масленник, лисички и сыроежки, и давай
красного гриба колотить — колошматить:

— Ах ты, яд, Мухомор, чтобы тебе лопнуть, ребятишек травить
удумал...

С Мухомора только мука летит.

— Посмеяться я хотел, — вопит Мухомор...

— Мы тебе посмеемся! — кричат грибы и так навалились, что
осталось от Мухомора мокрое место — лопнул.

И где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего
яда...

— Ну, теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему, —
сказали грибы.

И все грибы до единого к Ивану да Косичке, один за другим,
скок в рот — и проглотились.

Наслись до отвалу Иван да Косичка и тут же заснули.

А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой.

Увидела мамка Ивана да Косичку, обрадовалась, всего по од-
ному шлепку отпустила, да и то любя, а зайцу дала капустный
лист:

— Ешь, барабанщик!

Рачья свадьба

Грачонок сидит на ветке у пруда. По воде плывет сухой листок, в нем — улитка.

— Куда ты, тетенька, плывешь? — кричит ей грачонок.

— На тот берег, милый, к раку на свадьбу.

— Ну, ладно, плыви.

Бежит по воде паучок на длинных ножках, станет, огребнется и дальше пролетит.

— А ты куда?

Увидел паучок у грачонка желтый рот, испугался.

— Не трогай меня, я — колдун, бегу к раку на свадьбу.

Из воды головастик высунул рот, шевелит губами.

— А ты куда, головастик?

— Дышу, чай, видишь, сейчас в лягушку хочу обратиться, покачу к раку на свадьбу.

Трещит, летит над водой зеленая стрекоза.

— А ты куда, стрекоза?

— Плясать лечу, грачонок, к раку на свадьбу...

«Ах ты, штука какая, — думает грачонок, — все туда торопятся».

Жужжит пчела

— И ты, пчела, к раку?

— К раку, — ворчит пчела, — пить мед да брагу.

Плывет красноперый окунь, и взмолился ему грачонок:

— Возьми меня к раку, красноперый, летать я еще не мастер, возьми меня на спину.

— Да ведь тебя не звали, дуралей.

— Все равно, глазком поглядеть...

— Ладно, — сказал окунь, высунул из воды крутую спину, грачонок прыгнул на него, — поплыли.

А у того берега на кочке справлял свадьбу старый рак. Рачиха и рачата шевелили усищами, глядели глазищами, щелкали клешнями, как ножницами.

Ползала по кочке улитка, со всеми шепталась — сплетничала.

Паучок забавлялся — лапкой сено косил.

Радужными крылышками трещала стрекоза, радовалась, что она такая красивая, что все ее любят.

Лягушка надула живот, пела песни. Плясали три пескаррика и ерш.

Рак-жених держал невесту за усище, кормил ее мухой.

— Скушай, — говорил жених.

— Не смею, — отвечала невеста, — дяденьки моего жду, окуня...

Стрекоза закричала:

— Окунь, окунь плывет, да какой он страшный, с крыльями.

Обернулись гости...

По зеленой воде что есть духу мчался окунь, а на нем сидело чудище черное и крылатое с желтым ртом.

Что тут началось... Жених бросил невесту, да — в воду; за ним — раки, лягушка, ерш да пескарики; паучок обмер, лег на спинку; затрещала стрекоза, насилу улетела.

Подплывает окунь — пусто на кочке, один паучок лежит и тот, как мертвый...

Скинул окунь грачонка на кочку, ругается:

— Ну, что ты, дуралей, наделал... Недаром тебя, дуралея, и звать-то не хотели...

Еще шире разинул грачонок желтый рот, да так и остался — дурак дураком на весь век.

Порточки

Жили-были три бедовых внучонка: Лешка, Фомка и Нил. Ни всех троих одни только порточки приходились, синенькие, да и те были с трухлявой шириной.

Поделить их — не поделишь и надеть неудобно — из ширинки рубашка заячьим ухом торчит.

Без порточек горе: либо муха под коленку укусит, либо ребятишки стегнут хворостинкой, да так ловко, — до вечера не отчешешь битое место.

Сидят на лавке Лешка, Фомка и Нил и плачут, а порточки у двери на гвоздике висят.

Приходит черный таракан и говорит мальчишкам:

— Мы, тараканы, всегда без порточек ходим, идите жить с нами.

Отвечает ему старший — Нил:

— У вас, тараканов, зато усы есть, а у нас нет, не пойдем жить с вами.

Прибегает мышка.

— Мы, — говорит, — то же самое без порточек обходимся, идите с нами жить, с мышами.

Отвечает ей средний — Фомка:

— Вас, мышей, кот ест, не пойдем к мышам.

Приходит рыжий бык; рогатую голову в окно всунул и говорит:

— И я без порток хожу, идите жить со мной.

— Тебя, бык, сеном кормят — разве это еда? Не пойдем к тебе жить, — отвечает младший — Лешка.

Сидят они трое, Лешка, Фомка и Нил, кулаками трут глаза и ревут. А порточки соскочили с гвоздика и сказали с поклоном:

— Нам, трухлявым, с такими привередниками водиться не приходится, — да шмыг в сени, а из сеней за ворота, а из ворот ни гумно, да через речку — поминай как звали.

Покаялись тогда Лешка, Фомка и Нил, стали прощенья у таракана, у мыша да у быка просить.

Бык простил, дал им старый хвост — мух отгонять.

Мышь простила, сахару принесла — ребятишкам давать, чтоб не очень больно хворостиной стегали. А черный таракан долго не прощал, потом все-таки отмяк и научил тараканьей мудрости:

— Хоть одни и трухлявые, а все-таки порточки.

Муравей

Ползет муравей, волокет соломинку.

А ползти муравью через грязь, топь да мохнатые кочки; где вброд, где соломинку с края на край переметнет да по ней и переберется.

Устал муравей, на ногах грязища — пудовики, усы измочил. А над болотом туман стелется, густой, непролазный — зги не видно.

Сбился муравей с дороги и стал из стороны в сторону метаться — светляка искать...

— Светлячок, светлячок, зажги фонарик.

А светляку самому впору ложись — помирай, — ног-то нет, на брюхе ползти не спорно.

— Не успею я за тобой, — охает светлячок, — мне бы в колокольчик залезть, ты уж без меня обойдись.

Нашел колокольчик, заполз в него светлячок, зажег фонарик, колокольчик просвечивает, светлячок очень доволен.

Рассердился муравей, стал у колокольчика стебель грызть.

А светлячок перегнулся через край, посмотрел и принялся звонить в колокольчик.

И сбежались на звон да на свет звери: жуки водяные, ужишки, комары да мышки, бабочки-полуношницы. Повели топить муравья в непролазные грязи.

Муравей плачет, упрашивает:

— Не топите меня, я вам муравьиного вина дам.

— Ладно.

Достали звери сухой лист, нацедил муравей туда вина; пьют звери, похваляют.

Охмелели, вприсядку пустились.

А муравей — бежать.

Подняли звери пискотню, шум да звон и разбудили старую летучую мышь. Спала она под балконной крышей, кверху ногами. Вытянула ухо, сорвалась, нырнула из темени к светлому колокольчику, прикрыла зверей крыльями да всех и съела.

Вот что случилось темною ночью, после дождя, в топучих болотах, посреди клумбы, около балкона.

Петушки

На избушке бабы-яги, на деревянной ставне, вырезаны девять петушков. Красные головки, крылышки золотые.

Настанет ночь, проснутся в лесу древяницы и кикиморы, примутся ухать да возиться, и захочется петушкам тоже ноги поразмять.

Соскочат со ставни в сырую траву, нагнут шейки и забегают. Щиплют траву, дикие ягоды. Леший попадетса, и лешего за пятку ушипнут.

Шорох, беготня по лесу.

А на заре вихрем примчится баба-яга на ступе с трещиной и крикнет петушкам:

— На место, бездельники!

Не смеют послушаться петушки и, хоть не хочется, — прыгают в ставню и делаются деревянными, как были.

Но раз на заре не явилась баба-яга — ступа дорогой в болоте завязла.

Радехоньки петушки; побежали на чистую кулижку, взлетели на сосну. Взлетели и ахнули.

Дивное диво! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается; бегаёт ветер по листикам; садится роса.

А красная полоса разливается, яснеет. И вот выкатило огненное солнце.

В лесу светло, птицы поют, и шумят, шумят листья на деревьях.

У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками и запели — кукареку! С радости.

А потом полетели за дремучий лес на чистое поле, подальше от бабы-яги.

И с тех пор на заре просыпаются петушки и кукуречут.

— Кукуреку, пропала баба-яга, солнце идет!

Мерин

Жил у старика на дворе сивый мерин, хороший, толстый, губи нижняя лопатой, а хвост лучше и не надо, как труба, во всей деревне такого хвоста не было.

Не наглядится старик на сивого, все похваливает. Раз ночью пронюхал мерин, что овес на гумне молотили, пошел туда, и напали на мерина десять волков, поймали, хвост ему отъели, — мерин брыкался, брыкался, отбрыкался, ускакал домой без хвоста.

Увидел старик поутру мерина куцего и загоревал — без хвоста все равно что без головы — глядеть противно. Что делать?

Подумал старик да мочальный хвост мерину и пришил.

А мерин — вороват, опять ночью на гумно за овсом полез.

Десять волков тут как тут; опять поймали мерина, ухватили за мочальный хвост, оторвали, жрут и давятся — не лезет мочала в горло волчье.

А мерин отпрыкался, к старику ускакал и кричит:

— Беги на гумно скорей, волки мочалкой давятся.

Ухватил старик кол, побежал.

Глядит — на току десять серых волков сидят и кашляют.

Старик — колом, мерин — копытом и приударили на волков.

Взвыли серые, прощения стали просить.

— Хорошо, — говорит старик, — прощу, пришейте только мерину хвост. Взвыли еще раз волки и пришили.

На другой день вышел старик из избы, дай, думает, на сивого посмотрю; глянул, а хвост у мерина крючком — волчий.

Ахнул старик, да поздно: на заборе ребятишки сидят, покатываются, гогочут.

— Дедка-то — лошадям волчьи хвосты выращивает.

И прозвали с тех пор старика — хвостырь.

Верблюд

Вошел верблюд на скотный двор и охает:

— Ну, уж и работничка нового наняли, только и норовит палкой по горбу ожечь — должно быть, цыган.

— Так тебе, долговязому, и надо, — ответил карий мерин, — глядеть на тебя тошно.

— Ничего не тошно, чай у меня тоже четыре ноги.

— Вон у собаки четыре ноги, а разве она скотина? — сказала корова уныло. — Лает да кусается.

— А ты не лезь к собаке с рожцами, — ответил мерин, а потом махнул хвостом и крикнул верблюду:

— Ну, ты, долговязый, убирайся от колоды!

А в колоде завалено было вкусное месиво.

Посмотрел верблюд на мерина грустными глазами, отошел к забору и принялся пустую жвачку есть. Корова опять сказала:

— Плюется очень верблюд-то, хоть бы издох...

— Издох! — ахнули овцы все сразу.

А верблюд стоял и думал, как устроить, чтобы уважать его на скотном дворе стали.

В это время пролетал в гнездо воробей и пискнул мимолетом:

— Какой ты, верблюд, страшный, право!

— Ага! — догадался верблюд и заревел, словно доску где сломали.

— Что это ты, — сказала корова, — спятил?

Верблюд шею вытянул, потрепал губами, замотал тощими шишками:

— А посмотрите-ка, какой я страшный... — и подпрыгнул.

Уставились на него мерин, корова и овцы... Потом как шарахнутся, корова замычала, мерин, оттопырив хвост, ускакал в дальний угол, овцы в кучу сбились.

Верблюд губами трепал, кричал:

— Ну-ка, погляди!

Тут все, даже жук навозный, с перепугу со двора устрекнули.

Засмеялся верблюд, подошел к месиву и сказал:

— Давно бы так. Без ума-то оно ничего не делается. А теперь поедим вволю...

Горшок

К ночи стряпуха умаялась, заснула на полу около печи и так захрапела — тараканы обмирали со страха, шлепались, куда ни попало, с потолка да со стен.

В лампе над столом пованивал голубой огонек.

И вот в печке сама собой отодвинулась заслонка, вылез пузатый горшок со шами и снял крышку.

— Здравствуй, честной народ.

— Здравствуй, — важно ответила квашня.

— Хи, хи, — залебезил глиняный противень, — здравствуй-те! — и клюнул носиком.

На противень покосилась скалка.

— Не люблю подлых бесед, — сказала она громко, — ох, чем шутся чьи-то бока.

Противень нырнул в печурку на шестке.

— Не трогай его, — сказал горшок.

Грязный нос вытерла худая кочерга и зашмыгала:

— Опять ругаетесь, нет на вас Угомону; мотаешься, мотаешься целый день, а ночью поспать не дадут.

— Кто меня звал? — шибыршнул Угомон под печкой.

— Это не я, а кочерга, это она сегодня по спине стряпуху съездила, — сказала скалка.

Кочерга метнулась:

— И не я, а ухват, сам хозяин ухватом съездил стряпуху.

Ухват, расставив рога, дремал в углу, ухмылялся.

Горшок надул щеки и сказал:

— Объявляю вам, что варить щей больше не желаю, у меня в боку трещина.

— Ах, батюшки! — разохалась кочерга.

— Не больно надо, — ответила скалка.

Противень выскочил из печурки и заюлил:

— Трещина, замозочкой бы, тестом тоже помогает.

— Помажь тестом, — сказала квашня.

Грызёная ложка соскочила с полки, зачерпнула тесто и помчала горшок.

— Все равно, — сказал горшок, — надоело, лопну я и замаянный.

Квашня стала пучиться и пузырями шелкать — смеялась.

— Так вот, — говорил горшок, — хочу я, честной народ, шлепнуться на пол и расколоться.

— Поживите, дяденька, — вопил противень, — не во мне же ши варить.

— Хам! — гаркнула скалка и кинулась. Едва отскочил противень, только носок отшибла ему скалка.

— Батюшки, драка! — заметалась кочерга.

Из печурки выкатилась солоница и запикала:

Не нужно ли кого посолить?

— Успеешь, успеешь насолить, — грустно ответил горшок: он был стар и мудр.

Стряпуха стала причитать во сне:

— Родненькие мои горшочки!

Горшок заторопился, снял крышку.

— Прощай, честной народ, сейчас разобьюсь.

И совсем уже с шестка сигануть хотел, как вдруг, спросонок, ухватил его рогами дурень ухват и махнул в печь.

Противень прыгнул за горшком, заслонка закрылась сама собой, а скалка скатилась с шестка и ударила по голове стряпуху.

— Чур меня, чур... — залопотала стряпуха. Кинулась к печке — все на месте, как было.

В окошке брезжил, словно молоко снятое, утренник.

— Затоплять пора, — сказала стряпуха и зевнула, вся даже выворотилась.

А когда открыла заслонку — в печи лежал горшок, расколотый на две половинки, ши пролились, и шел по избе дух крепкий и кислый.

Стряпуха только руками всплеснула. И попало же ей за завтраком!

Куриный бог

Мужик пахал и сошником выворотил круглый камень, посреди камня дыра.

— Эге, — сказал мужик, — да это куриный бог.

Принес его домой и говорит хозяйке:

— Я куриного бога нашел, повесь его в курятнике, куры целее будут.

Баба послушалась и повесила за мочалку камень в курятнике, около насеста.

Пришли куры ночевать, камень увидели, поклонились все сразу и закудахтали:

— Батюшка Перун, охрани нас молотом твоим, камнем грозным от ночи, от немочи, от росы, от лисиной слезы.

Покудахтали, белой перепонкой глаза закрыли и заснули. Ночью в курятник вошла куриная слепота, хочет измором кур взять.

Камень раскачался и стукнул куриную слепоту, — на месте осталась.

За куриной слепотой следом вползла лиса, сама, от притворства, слезы точит, приловчилась петуха за шейку схватить, — ударил камень лису по носу, покатила лиса кверху лапками.

К утру налетела черная гроза, трещит гром, полыхают молнии — вот-вот ударят в курятник.

А камень на мочалке как хватит по насесту, попадали куры, разбежались спроенок кто куда.

Молния пала в курятник, да никого не ушибла — никого там и не было.

Утром мужик да баба заглянули в курятник и подивились:

— Вот так куриный бог — куры-то целехоньки.

Картина

Захотела свинья ландшафт писать. Подошла к забору, в грязь обвалилась, потерлась потом грязным боком о забор — картина и готова.

Свинья отошла, прищурилась и хрюкнула.

Тут скворец подскочил, попрыгал, попикал и говорит:

— Плохо, скучно!

— Как? — сказала свинья и насупилась — прогнала скворца.

Пришли индюшки, шейками покивали, сказали:

— Так мило, так мило!

А индюк шаркнул крыльями, надулся, даже покраснел и гаркнул:

— Какое великое произведение!..

Прибежал тощий пес, обнюхал картину, сказал:

— Недурно, с чувством, продолжайте, — и поднял заднюю ногу.

Но свинья даже и глядеть на него не захотела.

Лежала свинья на боку, слушала похвалы и похрюкивала.

В это время пришел маляр, пхнул ногой свинью и стал забор красной краской мазать.

Завизжала свинья, на скотный двор побежала:

— Пропала моя картина, замазал ее маляр краской... Я не переживу горя!..

— Варвары... варвары... — закурлыкал голубь.

Все на скотном дворе охали, ахали, утешали свинью, а старый бык сказал:

— Врет она... переживет.

Маша и мышки

— Спи, Маша, — говорит нянюшка, — глаза во сне не открывай, а то на глаза кот прыгнет.

— Какой кот?

— Черный, с когтями.

Маша сейчас же глаза и зажмурила. А нянька залезла на сундук, покряхтела, повозилась и носом сонные песни завела. Маша думала, что нянька из носа в лампадку масла наливает.

Подумала и заснула.

Тогда за окном выпали частые, частые звезды, вылез из-за крыши месяц и сел на трубу...

— Здравствуйте, звезды, — сказала Маша.

Звезды закружились, закружились, закружились. Смотрит Маша — хвосты у них и лапки. — Не звезды это, а белые мыши бегают кругом месяца.

Вдруг под месяцем задымилась труба, ухо вылезло, потом вся голова — черная, усатая.

Мыши метнулись и спрятались все сразу.

Голова уползла, и в окно мягко прыгнул черный кот; волоча хвост, заходил большими шагами, все ближе, ближе к кровати, из шерсти сыпались искры.

«Глаза бы только не открыть», — думает Маша.

А кот прыгнул ей на грудь, сел, лапами уперся, шею вытянул, глядит.

У Маши глаза сами разлепляются

— Нянюшка, — шепчет она, — нянюшка.

— Я няньку съел, — говорит кот, — я и сундук съел.

Вот-вот откроет Маша глаза, кот и уши прижал...

Да как чихнет.

Крикнула Маша, и все звезды-мыши появились откуда ни возьмись, окружили кота; хочет кот прыгнуть на Машины глаза — мышь во рту, жрет кот мышей, давится, и сам месяц с трубы сполз, поплыл к кровати, на месяце нянькин платок и нос толстый...

— Нянюшка, — плачет Маша, — тебя кот съел... — И села.

Нет ни кота, ни мышей, а месяц далеко за тучками плывет.

На сундуке толстая нянька выводит носом сонные песни.

«Кот няньку выплюнул и сундук выплюнул», — подумала Маша и сказала:

— Спасибо тебе, месяц, и вам, ясные звезды.

Синица

Утром рано, на заре, до птиц, пробудилась княгиня Наталья. Не прибираясь, — только накинута белый опашень, — отомкнула дверь из светлицы и вышла на мокрое от росы крыльцо.

Ничего не жалел для Натальи, для милой своей хоти, князь Чурил: выстроил терем посреди городища, на бугре между старых кленов; поставил на витых столбах высокое крыльцо, где сидеть было не скучно, украсил его золотой маковкой, чтобы издалеки горела она, как звезда, над княгининой светлицей.

В тереме зачала Наталья и родила хозяину сына Заряслава. Было ему ныне три зимы и три лунных месяца. Любил князь жену и сына и шумного слова им не сказал во всю бытность.

Городище стояло на речном берегу, обнесенное тыном, рвом и раскатами. Внутри, дым к дыму — срублены высокие избы. И выше всех — восьмишатровый красный княгинин терем. Бывало, плывут по реке в дубах торговые люди, или так — молодцы пограбить, завалятся у гребцов колпаки, глядят: город не город — диво, — пестро и красно, и терем, и шатры, и башни отражаются в зеленой воде днепровской, — и начнут пригребаться поближе, куда не выйдет на раскат князь Чурил, погрозит кулаком. Ему кричат:

— Ты, рвана шкура, слезай с раската, давай биться! И пошлют смеха ради стрелу или две.

Далеко шла слава про князя: сорок воинов стоит у его стремени; одни — сивые, в рубцах, вислоусые руссы, северные наемники, побывавшие не раз и под Цареградом; другие — свои, поднепровские, молодец к молодцу, охотники и зверобои. Богат, хорошо нагорожен город его Крутояр.

Ныне князь отъехал по зверя. В городище бабы остались с ребятами да старики. Шуму нет, тихо. Княгиня Наталья прислонилась непокрытой головой к столбу, сидит и слушает. Внизу журавель заскрипел — сонная девка тянет из колодца воду; собрались воробьи на огороде, зачирикали — собираются по ягоду; идет поперек улицы собака с мочалой на шее, стала и давай зевать; птицы и птички пробуждаются, не смеют еще петь до солнца, голоса пробуют, голос подают; заиграл рожок у северных ворот, замычали коровы, потянуло дымком. И заря за речкой обозначилась сквозь речные туманы бледными, алыми, водянистыми полосами. Сильная сегодня роса! А уж кукушка из лесу — ку-ку.

Княгине охоты нет пошевельнуться, точно сон оковал ее. Поднялась рано, сама не знает зачем, и все ей грустно — и глядеть и слушать. Так бы вот и заплакала. А с чего? Князя ли заждалась? Третий день по лесам скачет. Сына ли жалко — уж очень беленький мальчик. Мило ей все и жалко.

Княгиня в углу крыльца нагнула каменный рукомойник, омыла лицо, взглянула еще раз на кровли и башенки Крутояра, на реку, проступающую синей, синей водой из-под тумана, и вошла назад в сонную, теплую светелку.

В колыбели спал княжич, выпростал руки поверх одеяла, дышал ровно, хорошо, так весь и заливался румянцем.

Княгиня присела на лавку, опустила голову на колыбель, и слезы полились у нее. Плачет, и сама шепчет:

— Вот уж с большого-то ума.

И такую жалостью залюбила сына, что душа ее поднялась, окутала колыбель, прильнула к спящему, а тело оцепенело. На молодую княгиню напал глубокий, непробудный сон.

И не услышала она, как вдруг начали кричать птицы, садясь на крышу: «Проснись, проснись», как завыли, заскулили собаки по всему городищу, захлопали ставни, побежал куда-то народ, как у всех четырех ворот забили в медные доски, и пошла тревога: «На стены, на стены!»

Большое, тусклое, красное солнце поднялось в клубах тумана, и народ со стен, дети, старики, — увидели великую силу людей, малых ростом, с рыжими космами, в шкурах: Чудь белоглазую. Пробиралась Чудь от дерева к дереву, окружала городище, махала дубинками и с того берега плыла через реку, как собаки.

— На стены, на стены! — звали старики, тащили на раскаты бревна, камни, в колодах горячую воду.

— Чудь идет, Чудь идет! — выли бабы, мечась, хороня ребят в клетки, в погреба, зарывали в солому.

А Чудь уже лезла через тын, карабкалась на раскаты, визжала. В замковую башню-детинец кидала стрелы, камни, паклю горящую. И задымился угол у башни, и закричали:

— Огонь! Лихо нам!

Били с раскатов Чудь, долбили по башкам, порошили песком в глаза, обливали варом, пыряли шестами. А те только оралы шибче. Лезли, падали, опять лезли, как черви. Да и где было справиться с белоглазыми одним старикам да малолеткам. Одолел враг, добрался до раскатов. Покидали защитников, и разбежалась Чудь по городу, и начался другой клич — бабий и детский.

Потоптали в ту пору, побили много народа, остальных погнали за стены на луг. Рвали на бабах рубахи. Было горе.

С четырех концов пылал Крутояр, брошенный на поток. Из огня тащили одежду, птиц, поросят, малых детей. Ярилась Чудь. Многие сами погорели, волоса попалили. И добрались до княжьего терема.

Но высок был тын кругом и ворота крепки. Ударили в них бревном — не поддались. А головни, искры, солому так и крутило, обдавало жарким дымом. И занялся терем, задымил.

Тогда с долгим столом пробудилась княгиня Наталья, повела очами, дико ей стало, кинулась к окну — дым в лицо пахнул, глаза выел. Схватила княжича, прикрыла его платком: «Заряслав, сын милый, спи, спи, батюшка», — и выбежала на крыльцо и обмерла.

Внизу трещало, било пламя, дымили крыльца, занимался огонь под крышей. А кругом все маковки, крыши, избы, шатры — в огне. Дым бьет высоко и стелется над Днепром. И еще видит кня-

гиня — над тыном поднялись плоские рыла, кажут на нее, скляются.

И было ей тошно от смертного часа.

Заряслав забился на руках, заплакал, рвет с лица покрывало. В спину дунуло жаром. И у княгини захватило дух, стало горячо на душе. Подняла она сына, положила руки его на одно плечо свое, на другое ноги, вдохнула в последний раз запах милый и человеческий и кинулась с высокого терема. И убилась! И мертвыми руками все еще держала Заряслава, не дала ему коснуться земли. Наскочили чудинцы, вырвали княжича, понесли на луг, пялили zenки на мальчика, кукиши совали ему, и не тронули, чтобы живым отнести к жрецу своему в Чудь, ни озеро.

Легкою бабочкою вылетела душа княгини Натальи из разбитого тела. И раскрытые ее глаза, еще подернутые мукой, озираясь, видели голубой свет, переливающийся, живой и животворящий. Радостней, радостней, выше становилось душе. Чаше, зорче глядели глаза. И вот слышимы стали звуки, звоны, шумы, звенения, глухие раскаты, грохоты. Трепетал весь свет в бездне бездн. Роились в нем водянистые пузыри, отсвечивали радужно и, звуча и звснн, сливались в вихри, бродили столпами.

И вот уже трепещет душа. Нестерпимо глазам от сияния, от радостного ужаса: покрывая все звуки, весь свет, по всей широте шумит весенним громом голос: «Да будет жизнь во ими мое».

Так мчитя к Господу светлая душа княгини Натальи. Но чем ближе ей, слаще, радостней — тем пронзительней боль, как жало невынутое. Зачем боль? О чем память? И глубже входит жало, и тяжелеет душа, гложет, слепнет, и глаза снова подергиваются смертной любовной пеленой. На землю опускается душа княгини, на пепелище. Как жернов — любовь. Где Заряслав? Где сын милый?

Белоглазая Чудь возвращалась на свое озеро без троп и следов, — скорее бы только ноги унести. Волокли добычу. Гнали полонянок с детьми. Княжича тащили в плетеном пещуре. Шли день, и ночь, и еще день, и настала вторая ночь — темная. Погони теперь не страшно, и Чудь полегла во мху, запалила костры от диких собак, что, учуяв поживу, подвывали по зарослям.

Колдун, старикашка гнусный, залез в горелый пень, бормотал заклятья. Кишмя здесь кишела нежить и нечисть, хоронилась ни стволы, кидалась в траву, попискивала, поерзывала. То чиркнет глазом, то лапой тронет, а то уйдет колом в землю, а вынырнет в омуте, посреди болота, состроит пакость и начнет хмыкать, хихикать.

Не любила Чудь смеха и шуток таких. Молчали, мясо вяленое ели, остерегались. Полонянки давно уж плакать перестали, вволю приняли горя. Один Заряслав спал спокойно в пещуре: тепло укрывала его княгиня Наталья сладким сном.

Укрыла, а сама понеслась клочком тумана по лесу над мхами и омутами, сквозь тяжелые от влаги деревья. Вверху за сучьями вывездило, скоро и заря. Из-под вывороченной коряги высунул нечесаную морду леший и спрятался; на бугорке у норы лиса с лисятами увидела летящее облако, сморщила нос и зевнула, завильяла хвостом.

А вот и стреноженные кони фыркают, щиплют траву. Вповалку, завернутые с головой в попоны, спят воины. Князь Чурил лежит, опершись локтем о седло; суровые глаза его открыты, думает; проснулся перед зарей, отер усы от росы и раздумался о славе своей, о былых сечах, о том, что нет ни у кого ни города такого, ни жены такой, ни сына. От этих дум заворочался Чурил: «Все ли ладно дома?»

И видит — стелется у ног облачко. «Сыро, — думает, — кольчуга проржавеет, — и потянул на себя попону. А сон летит с глаз: «От двора далеко отъехали, как бы не было чего злого?» Мочи нет. Поднялся Чурил, подтянул ремень на животе:

— Эй, ребята, заспались, заря скоро!

Зачесались воины, поскидали попоны, разбрелись за конями. Оседлали. Тронулись.

Чурил едет впереди, шагом. Совестно перед ребятами: заладились охотиться недели на две, а сейчас глаза бы не глядели на зверя. Сесть бы в княгининой светелке, Заряслава на руки взять... Милее жизни жена, милая Наталья.

Воины ворчат: едет князь дуром, сучья дерут лицо, лунь-птица из-под коня шаракнула, запуталась в кустах, застучала клювом. «Эй, князь, спишь, что ли?»

Плывет, стелется облаком перед Чурилой княгиня Наталья, манит, мается. Рвут кусты легкое тело. Нет, не слышит князь, не чувствует. Усы закрутил. Осадил коня, оперся рукой о круп, говорит дружинникам, чтобы шли в заезд на тура, что давеча навалил густо валежнику у озера.

И княгиня отлетела от Чурила, понеслась по лесу, окинула взором чащобы, видит — лежит олень рогатый, морду опустил в мох, дремлет. И вошла в него, в сонного, похитила его тело, подняла на легкие ноги и оленем помчалась навстречу охотникам.

— Стой, — говорит Чурил, — большой зверь идет. — Подался с конем в кусты, отыскал в колчане стрелу поострее, вложил в самострел и, упершись в стремяна, натянул тетиву.

С шумом раздвигая кусты, выскочил олень. Стал, дрожа дрожью. Крупный самец! Рога как ветви. Эх, жаль, темно, — не промахнуться бы. И князь чувствует глядит на него олень в ужасе, в тоске смертной.

И только начал поднимать самострел — шаракнул олень, побежал нешибким бегом, не мечась, только голову иногда обернет к погоне. Умный зверь.

И сорок рогов затрубило по лесу. Го-го-го, — отозвалось далеко. Затрещал от топота валежник. Закричали сонные птицы. Воронье поднялось, закаркало. Стало светать.

Скакали долго. Кони вспенились. Княгиня Наталья видит — близко, близко, вон там за оврагом, залегла Чудь, может, уж и снялась со стана, слышав рога. Не погубили бы Заряслава. Поспеть бы. И повернула к оврагу. И заметалась: впереди, пересекая путь, выскочили всадники, окружили, машут копытами. Чурил поднял самострел, приложил к ложу худое, свирепое, любимое лицо.

«Остановись, остановись!» — так бы и крикнула Наталья. И резкий, звериный вопль сам вылетел из груди. Запела стрела и впиалась под лопатку у сердца. Олень осел на колени. Засмеялся князь. Вынул нож, лезет с седла, чтобы пороть зверя. Идет по мху. Споткнулся. Княгиня глядит на мужа глазами, полными слез. Чурил взял ее за рога, пригнул голову.

И чуда не было еще такого за всю бытность: олень, пронзенный стрелой, до самых перьев ушедшей в сердце, поднялся, разбросал рогами охотников, побежал, шатаясь, шибче, шибче, спустился в овраг, скачками поднялся на ту сторону, стал и глядит опять. Смотрит.

Усмехнулись в усы старые воины.

— Легка твоя стрела, князь, уйдет зверь.

Лихая досада! И опять поскакала охота.

Олень тяжелым уже скоком выбежал на поляну. Повсюду дымятся костры, раскиданы кости, тряпье. И за красные сосновые стволы хоронятся какие-то людишки, удирают.

— Чудь, Чудь! — закричали воины.

Здесь олень зашатался, опустил рога в мох и рухнул. Черная кровь хлынула из морды. И вылетела душа княгини, замученная второю смертью.

Чурил глядит на зверя. Дико ему на душе. Подскакал старый воин.

— Князь, князь, — говорит, — не твоей ли княгини эта кика? — и поднял копьем с земли рогатую, шитую золотом кичу, что сняли чудинцы с волос Натальи.

Зашатался князь в седле. Кровь кинулась в голову, помutilи ум. Сорвал рог с плеча, затрубил, швырнул его далече и сам впереди, а за ним сорок дружинников кинулись в угон за обидчиками. Порубили отсталых и настигли всю бегущую кучей Чудь, окружившую полонянок и добычу.

Много Чуди желтоволосой. Большая будет битва. Стали воины ругаться с врагами, кричат:

— Выходи, белые глаза! Подтягивай портки!.. Молись свосму паршивому богу!..

Ихний колдун, став на камень, поднял на руках Заряслава, погрозился, что живым не отдаст, если князьки начнут драку. Тогда Чурил прыгнул с коня и, прикрываясь локтем кольчужным от стрел, пошел биться. Наскочила на него Чудь. Завизжала Чудь. На выручку кинулись дружинники, пешие и конные. Запели стрелы. Начались крики. Лязгало железо. Хватались грудь о грудь. Была великая сеча.

С ножом, поворачиваясь, стряхивая наседающих, весь, испорченный, исколотый, лез князь, как тур, добирался до колдуна.

Три раза отбрасывали Чурилу. Колдун, выставив бороду, бормотал, плевался, запакостился от страха. Все же князь достал его рукой и умертвил на месте. И стоял идиолом каменным над сыном. Выдергивал из себя стрелы. Убивал каждого, кто совался.

До полудня шла битва. Десять дружинников легло в ней смертью, а врагов не считали, и Чудь побежала, но немногие ушли через болота.

Дружинники стали кликать, собирать полонянок. Стали узнавать, кто жену, кто сына. Качали головами, хмурились. И вернулись все — воины, женщины, дети — гурьбой, на поле сечи, где бродили кони, торчали стрелы, шлемы валялись, люди убитые.

Князь Чурил лежал мертвым, с лицом суровым и спокойным, в руке жажат меч. Около него был мальчик, Заряслав. Над ним летала малая птица. Кружилась, попискивала, садилась на ветвь, трясла перьями, разевала клюв.

Княжич, глядя на птицу, улыбался, ручкой норовил ее схватить. На ресницах Заряслава, на щеках его горели, как роса, слезы большими каплями.

Старейший из воинов взял княжича на руки и понес. Павших положили на коней, тронулись в обратный путь к Днепру, на пепелище. Впереди несли Заряслава, и птица, синяя синица, увязалась вслед. Ее не отпугивали — пусть тешится молодой князь. Шли долго.

У пепелища погребли усопших и замученных. Над водою, на высоком бугре, в дубовой, крытой шатром, домовине легли рядом князь Чурил с княгиней Натальей. Далеко под ногами их расстился ясный, синий Днепр, широко раскинулись луга, лесистое, озерное понизовье.

Близ могил стали строить новое городище, где быть князем Заряславу. Зазывали на подмогу вольных людей да пропивших животишки варягов. Осенью бегали за золотом к хазарам в степи.

Заряславу разбили лучший шатер, покуда к заморозкам дыму не срубят. Мальчик глядел, как строили город, как пищу варили, как вечером большие люди садились над рекою, пели песни.

Женщины жалели мальчика, дружинники говорили: славный будет воин. Да что в том? Чужой лаской горечи не избудешь.

И одною утехою была Заряславу синяя синица. Совсем ручная. Ест ли мальчик, она — скок и клонет из чашки. Играет ли, бродит ли по лугу — птица порхает около, на плечо сядет или падет перед Заряславом в траву, распушит крылья и глядит, глядит черными глазами в глаза. А то и надоест, — отмахнется от нее: ну, что пристала?

И не знает Заряслав, что в малой, робкой птице, в горячем сердце птичьем — душа княгини Натальи, родной матушки.

Прошла зима, снова зазеленели бугры и пуши, разлился Днепр, поплыли по нему, надувая паруса, корабли с заморскими гостями. Затрубили рога в лесах. Зашумели грозы.

Заряслав рос, крепкий становился мальчик. Играл уже отцовским мечом и приставал к дружинникам, чтобы рассказывали про битву, про охоты, про славу князя.

А когда женщины гладили его по светлой голове, жалея, что растет без матушки, — отталкивал руку.

— Уйди, — говорил, — уйди, а то побью, я сам мужик.

Однажды он побился с товарищами и сидел на крыльце сердитый, измазанный. Подлетела синица, покружилась и, чтобы заметить ее мальчик, вдруг прилегла к его груди, прижалась к тельцу.

— Ну, вот нашла время!

Взял Заряслав птицу и держал в кулаке и думал, как бы ему подраться еще с обидчиками, а когда разжал пальцы — в руке лежала птичка мертвая, задушенная.

Богатырская будет сила у молодого князя.

Так в третий раз умерла княгиня Наталья светлой и легкой смертью.

Все было исполнено на земле.

СКАЗКИ И РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОЛКАН

На весеннем солнышке греется пес Полкан.

Морду положил на лапы, пошевеливает ушами — отгоняет мух. Дремлет пес Полкан, зато ночью, когда на цепь посадят, — не до сна.

Ночь темна, и кажется все — крадется кто-то вдоль забора.

Кинешься, твякнешь, — нет никого.

Или хвостом по земле застучает, по-собачьи; нет никого, а стучает...

Ну, с тоски и завоешь, и подтянет вон там, за амбаром, зальется чей-то тонкий голос.

Или над повестью глазом подмигивать начнет, глаз круглый и желтый.

А потом запахнет под носом волчьей шерстью.

Пятишься в будку, рычишь.

А уж жулики — всегда за воротами стоят, всю ночь.

Жулика не страшно, а досадно — зачем стоит.

Чего-чего не перевидишь ночью-то... охо, хо...

Пес долго и сладко зевнул и по пути щелкнул муху.

Поспать бы.

Закрыв глаза, и представилась псу светлая ночь.

Над воротами стоит круглый месяц — лапой достать можно. Страшно. Ворота желтые.

И вдруг из подворотни высунулись три волчьих головы, облизнулись и спрятались.

«Беда», — думает пес, хочет завывать и не может.

Потом три головы над воротами поднялись, облизнулись и спрятались.

«Пропаду», — думает пес.

Медленно отворились ворота, и вошли три жулика с волчьими головами.

Прошлись кругом по двору и начали все воровать.

— Украдем телегу, — сказали жулики, схватили, украли.

— И колодец украдем, — схватили, и пропал и журавль и колодец.

А пес ни твякнуть, ни бежать не может.

— Ну, — говорят жулики, — теперь самое главное!

«Что самое главное?» — подумал пес и в тоске упал на землю.

— Вон он, вон он, — зашептали жулики.

Крадутся жулики ко псу, приседают, в глаза глядят.

Со всею силою собрался пес и помчался вдоль забора, кругом по двору.

Два жулика за ним, а третий забежал, присел и рот разинул. Пес с налета в зубастую пасть и махнул.

— Уф, аф, тяф, тяф...

Проснулся пес... на боку лежит и часто, часто перебирает ногами.

Вскочил, залаял, побежал к телеге, понюхал, к колодцу подбежал, понюхал — все на месте.

И со стыда поджал пес Полкан хвост да боком в конуру и полез.

Рычал.

ТОПОР

Пошел топор по дрова.

Постукивает по горелым пням, посмеивается:

— Моя воля: хочу, — зарублю, хочу — мимо пройду, я здесь хозяин.

А в лесу березка росла, веселенькая, кудрявая, старым деревьям на радость. И звали ее Люлинькой.

Увидал топор березку и стал куражиться:

— Кудрявая, я тебе покудрявлю, начну рубить, только щепки полетят...

Испугалась березка.

— Не руби меня, топор, мне больно будет.

— А ну-ка, поплачь!

Золотыми слезками заплакала березка, веточки опустила.

— Меня дождик в невесты сватал, мне жить хочется.

Захохотал железный топор, наскочил на березку, — только белые щепки полетели.

Заугрюмились деревья, и пошло шептать про злое дело по всему лесу темному, вплоть до калинового моста.

Срубил топор, повалилась березка и, как была, легла, кудрявая, в зеленую траву, в цветы голубые.

Ухватил ее топор, домой поволок.

А идти топору через калиновый мост.

Мост ему и говорит:

— Ты это зачем в лесу озорничаетшь, сестер моих рубишь?

— Молчи, дурак, — огрызнулся топор, — рассержусь и тебя зарублю.

Не пожалел спины, крикнул, и сломался калиновый мост. Топор шлепнулся в воду и потонул.

А березка Люлинька поплыла по реке в океан-море.

ВОРОБЕЙ

На кусту сидели серые воробьи и спорили — кто из зверей страшнее.

А спорили они для того, чтобы можно было погромче кричать и суесться. Не может воробей спокойно сидеть: одолевает его тоска.

— Нет страшнее рыжего кота, — сказал кривой воробей, которого цапнул раз кот в прошлом году лапой.

— Мальчишки много хуже, — ответила воробиха, — постоянно яйца воруют.

— Я уж на них жаловалась, — пискнула другая, — быку Семену, обещался пободать.

— Что мальчишки, — крикнул худой воробей, — от них улетишь, а вот коршуну только попадись на язык, беда как его боюсь! — и принялся воробей чистить нос о сучок.

— А я никого не боюсь, — вдруг чирикнул совсем еще молодой воробьеныш, — ни кота, ни мальчишек. И коршуна не боюсь, и сам всех съем.

И пока он так говорил, большая птица низко пролетела над кустом и громко вскрикнула.

Воробьи, как горох, попадали, и кто улетел, а кто притулился, храбрый же воробьеныш, опустив крылья, побежал по траве. Большая птица щелкнула клювом и упала на воробьеныша, а он, вывернувшись, без памяти, нырнул в хомячью нору.

В конце норы, в пещерке, спал, свернувшись, старый пестрый хомяк. Под носом лежала у него кучка наворованного зерна и мышинные лапки, а позади висела зимняя, теплая шуба.

«Попался, — подумал воробьеныш, — я погиб...»

И зная, что если не он, так его съедят, распушился и, подскокив, клюнул хомяка в нос.

— Что это щекочет? — сказал хомяк, приоткрыв один глаз, и зевнул. — А, это ты. Голодно, видно, тебе, малый, на — поклюй зернышек.

Воробьенышу стало очень стыдно, он скосил черные свои глаза и принялся жаловаться, что хочет его пожрать черный коршун.

— Гм, — сказал хомяк, — ах он, разбойник! Ну, да идем, он мне кум, вместе мышей ловить, — и полез вперед из норы, а воробьеныш, прыгая позади, думал, какой он, воробьеныш, маленький и несчастный, и не надо бы ему было совсем храбриться.

— Иди-ка сюда, иди, — строго сказал хомяк, вылезая на волю.

Высунул воробьеныш вертлявую головку из норы и обмер: перед ним на двух лапах сидела черная птица, открыв рот. Воробьеныш зажмурился и упал, думая, что он уже проглочен. А черная птица весело каркнула, и все воробьи кругом нее попадали на спины от смеха — то был не коршун, а старая тетка ворона...

— Что, похвальбишка, — сказал хомяк воробьенышу, — надо бы тебя посечь, ну да ладно, поди принеси шубу да зерен побольше.

Надел хомяк шубу, сел и принялся песенки насвистывать, а воробьи да вороны плясали перед норой на полянке.

А воробьеныш ушел от них в густую траву и со стыда да досады грыз когти, по дурной привычке.

ЖАР-ПТИЦА

У царевны Марьяны была нянька Дарья.

Пошла Дарья на базар, купила кенаресечную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает:

— Нянька, а как птицу зовут?

— Кенаресечная.

— А почему?

— Потому что конопляное семя ест.

— А где ее дом?

— На солнышке.

— А зачем она ко мне прилетела?

— Чтобы тебе песни петь, чтобы ты не плакала.

— А если заплачу?

— Птичка хвостом тряхнет и улетит.

Жалко стало царевне с птичкой расстаться, глаза Марьяна потерла и заплакала.

А птичка хвостом тряхнула, открыла клетку, шмыг за окно и улетела.

Принялась Дарья царевне Марьяне глаза фартуком вытирать и говорит:

— Не плачь, я сбегая, великана Веньку позову, он птичку нам поймает.

Пришел высокий великан Венька, о четырех глазах — два глаза видно, а два не видно.

Постоял Венька и говорит:

— Я есть хочу.

Принесла ему Дарья горшок каши.

Великан кашу съел и горшок съел, нашел нянькины башмаки и башмаки съел — такой был голодный, — рот вытер и убежал.

Прибегает великан в Марьянин сад, а в саду на яблоне кенаресечная птичка сидит и клюет красные яблоки. Великан и думает: что ему сначала схватить — яблоко или птичку?

И пока думал, явился лютый медведь и говорит:
— Ты зачем кенареечную птицу ловишь? Я тебя съем.

И стал медведь лапой землю скрести.

Великан испугался, сел на дом и ноги поджал, а птичка шмыг в кусты и улетела за озеро.

Огорчился великан и принялся думать, как ему медведя перехитрить; придумал, — нарочно испугался и закричал:

— Ой, рыжий бык бежит, ой, боюсь!

Медведь одного только рыжего быка и боялся на свете, сейчас же лег на бок и морду в кусты засунул — спрятался.

А великан с крыши слез и к озеру побежал.

Озеро было длинное — не перейти, а на той стороне на ветке птичка сидит.

Великан был догадливый, сейчас же лег на берег и стал озеро пить.

Пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил и выпил все озеро вместе с лягушками.

Встал на четвереньки и побежал за птичкой по сухому дну.

А птичка дальше в темный лес улетела.

Неудобно великану по лесу идти, деревья за подмышки задевают, озеро в животе с лягушками плещется, и настает темный вечер.

По вечерам лягушки квакать привыкли, и принялись они в животе у великана громко квакать.

Великан испугался, стал аиста звать.

Проснулся белый аист; стоял он на одной ноге на сухом пеньке; глаза протер, подождал, пока луна взойдет, чтобы виднее было, подлетел к великану и говорит:

— Раскрой рот.

Великан раскрыл рот, аист туда голову сунул, поймал лягушонка и проглотил.

Тогда кричит из живота лягушинный царь:

— Прогони белого аиста, я тебе сундучок подарю, без него птички не поймашь.

Великан знал, что лягушинный царь — честный, рот закрыл и говорит:

— Уходи, белый аист, чай, уж наелся.

А лягушинный царь вылез в великанов рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил:

— В сундуке туча, в туче с одного краю молния, с другого — дождик, сначала погрозись, потом открывай, птица сама поймается.

Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за кенареечной птичкой.

А птичка через темный овраг летит и через высокую гору, и великан через овраг лезет, и на гору бежит, пыхтит, до того устал — и язык высунул, и птичка язык высунула.

Великан и кричит птичке:

— Царевна Марьяна приказала тебя поймать, остановись, а то сундучок открою...

Не послушалась птичка великана, только ногой по ветке топнула.

Тогда великан открыл сундучок.

Вылетела из сундучка сизая туча, кинулась к птичке и заворчала.

Испугалась птичка, закричала жалобно и метнулась в кусты.

И туча в кусты полезла.

Птичка под корень, и туча под корень.

Взвилась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом и ударила в птичку молнией — трах!

Перевернулась птичка, посыпались с нее кенареечные перья, и вдруг выросли у птицы шесть золотых крыльев и павлиний хвост.

Пошел от птицы яркий свет по всему лесу.

Зашумели деревья, проснулись птицы.

Ночные русалки с берега в воду попрыгали.

И закричали звери на разные голоса:

— Жар-птица, Жар-птица!!!

А туча напыжилась и облила Жар-птицу мокрым дождем.

Замочил дождик золотые крылья Жар-птице и павлиний хвост, сложила она мокрые крылья и упала в густую траву.

И стало темно, ничего не видно. Великан в траве пошарил, схватил Жар-птицу, сунул за пазуху и побежал к царевне Марьяне. Царевна Марьяна привередничала, губы надула сковородником, пальцы растопырила и хныкала:

— Я, нянька, без кенареечной птички спать не хочу.

Вдруг прибежал великан и на окно посадил Жар-птицу.

И в комнате светло, как днем.

Жар-птица за пазухой у великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела:

Я медведя не боюсь,
От лисы я скоронюсь,
Улечу и от орла,
Не догонит в два крыла.
А боюсь я только слез,
Ночью дождика и рос,
И от них умчуся я
За леса и за моря.
Свету-Солнцу я сестрица,
И зовут меня Жар-птица.

Спела Жар-птица, потом сделала страшные глаза и говорит:

— Вот что, никогда, Марьяна, не хныкай, слушайся няньку Дарью, тогда я каждую ночь буду к тебе прилетать, петь песни, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки.

Затрещала крыльями Жар-птица и улетела.

Кинулась Дарья опять за великаном, а великан спал в саду — одна нога в пруду, другая на крыше, и в животе лягушки квакали.

Царевна же Марьяна больше плакать не стала, глазки закрыла и заснула.

Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней Жар-птица, садиться на кровать и рассказывать сказки.

ПРОЖОРЛИВЫЙ БАШМАК

В детский за сундуком лежал медведюшка, — его туда закинули, он и жил.

В столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес.

В углу в ящике жили куклы, старый паровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая да собачка, которая потерялась, — полон ящик.

А под кроватью валялся старый нянькин башмак и просил каши.

Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила: «ох, грехи» и валилась на сундук, слетал тогда с карниза зазимовавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана к носу:

— На войну, на войну!

И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский генерал на белом коне и две пушки.

Из-за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы.

С ящика в углу соскакивала крышка, выезжал оттуда паровоз и на нем две куклы — Танька и Манька, пожарный катил бочку, собачка резиновая нажимала живот и лаяла, собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами, лошадь без головы ржала, что ничего не видит, и вместо головы у нее торчал чулок.

А после всех вылезал из-под кровати нянькин башмак и кланчил:

— Каши, каши, каши!

Но его никто не слушал, потому что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперед к пузатому комоду.

А под комодом лежала страшная картинка. На картинке были нарисована рожа с одними руками.

Все смотрели под комод, куклы трусили, но под комодом никто не шевелился, и куклы сказали:

— Только напрасно нас напугали, мы пойдем чай пить.

И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа при- таилась за ножкой комода.

Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увез их под кровать, лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги, и из шеи у нее вывалился чулок, собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся — так ему стало страшно, и скомандовал остаткам войска:

— В штыки!

Храбрые солдаты кинулись вперед, а рожа выползла навстречу и сделала страшное лицо: волосы у нее стали дыбом, красные глаза завертелись, рот пополз до ушей, и щелкнули в нем желтые зубы.

Солдаты разом воткнули в рожу тридцать штыков, генерал сверху ударил саблей, а сзади хватили в рожу бомбами две пушки.

В дыму ничего не стало видно.

Когда же белое облако поднялось к потолку — на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал. А рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами.

Видя это, собачки упали кверху лапами, прося прощения, лошадь брыкалась, нянькин башмак стоял дурак дураком, разиня рот, только пожарный с бочкой ничего не испугался, он был «Красный Крест» — и его не трогали.

— Ну, теперь мой черед, — сказал медведь; сидел он позади всех на полу, а теперь вскочил, разинул рот и на мягких лапах побежал за рожей.

Рожа кинулась под кровать — и медведь под кровать, рожа за горшок — и медведь за горшок.

Рожа выкатилась на середину комнаты, присела, а когда медведь подбежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу.

Завыл медведь и улез за сундук.

Осталась рожа одна; на левую руку оперлась, правой погрозилась и сказала:

— Ну, теперь я примусь и за ребятишек, или уж с няньки начать?

И стала рожа к няньке подкрадываться, но видит — свет на полу, обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный, и, не смигнув, глядел на рожу.

И рожа от страха стала пятиться, пятиться прямо на нянькин башмак, а башмак разевал рот все шире и шире.

И когда рожа допятилась, башмак чмокнул и проглотил рожу.

Увидев это, пожарный с бочкой подкатился ко всем раненым и убитым и стал поливать их водой.

От пожарной воды ожили генерал, и солдаты, и пушки, и собаки, и куклы, у медведя зажила лапа, дикая лошадь перестала брыкаться и опять проглотила чулок, а комар слетел с карниза и затрубил отбой.

И все живо прыгнули по местам.

А башмак тоже попросил водицы, но и это не помогло. Башмак потащился к комоду и сказал:

— Уж больно ты, рожа, невкусная.

Понатужился, сплющился, выплюнул рожу и шмыгнул под кровать.

А рожа насилу в картинку влезла и больше из-под комода ни ногой, только иногда по ночам, когда мимо комода медведюшка пробегает или едут на паровозе куклы, — ворочает глазами, пугает.

СНЕЖНЫЙ ДОМ

Дует ветер, крутится белый снег и наносит его высокими сугробами у каждой избы.

И с каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают; повсюду можно кататься мальчишкам, и вниз к речке на ледянке турманом лететь, и скувыркиваться с ометов соломы, — нельзя только заходить за Аверьянову избу, что посередине села.

У Аверьяновой избы намело высоченный сугроб, а на нем кончанские мальчишки стоят и грозятся выпустить красные слюни.

Аверьянову же сыну — Петечке хуже всех: кончанские мальчишки грозятся, а свои кричат: ты кончанский, мы тебе скулы на четыре части расколем, и никто его не принимает играть.

Скучно стало Петечке, и принялся он в сугробе нору копать, чтобы туда залезть одному и сидеть. Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, а как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает.

Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает, тихо в нем и хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет.

Досиделся Петечка, пока мать ужинать позвала, вылез, вход комьями завалил, а после ужина лег на печку под полушубок, серого кота за лапу подтащил и говорит ему на ухо:

— Тебе я вот чего, Вась, расскажу — у меня дом лучше всех, хочешь со мной жить?

Но кот Вась ничего не ответил и, помурлыкав для вида, вывернулся и шмыг под печку — мышей вынюхивать и в подполье — шептаться с домовым.

Наутро Петечка только залез в снежный дом, как слышит — хрустнул снег, потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки небольшого роста мужичок в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около Петечки и сделал ему козу.

Засмеялся Петечка, просит еще сделать.

— Не могу, — отвечает мужичок, — я домовый, боюсь тебя напугать очень.

— Так я теперь все равно тебя забоялся, — отвечает Петечка.

— Чего меня бояться: я ребятешек жалею; только у вас в избе столько народу, да еще теленок, и дух такой тяжелый — не могу там жить, все время в снегу сижу; а кот Вась давеча мне говорит: Петечка, мол, дом-то какой построил.

— Как же играть будем? — спросил Петечка.

— Я уж не знаю; мне бы поспать охота; я дочку свою кликну, она поиграет, а я вздремну.

Домовой прижал ноздрю да как свистнет... Тогда выскочила из снега румяная девочка, в мышинной шубке, чернобровая, голубоглазая, косичка торчит, мочалкой повязана; засмеялась девочка и за руку поздоровалась.

Домовой на лежанку лег, побряхтел, говорит:

«Играйте, ребятешки, только меня в бок не толкайте», — и тут же захрапел, а домовова дочка говорит шепотом:

— Давай в представленьи играть.

Давай, — отвечает Петечка. — А это как? Чего-то боязно.

— А ты, Петечка, представляй, будто на тебе красная шелковая рубашка, ты на лавке сидишь и около крендель.

— Вижу, — говорит Петечка и потянулся за кренделем.

— И сидишь ты, — продолжает домовова дочка и сама зажмурилась, — а я избу мету, кот Вась о печку трется, чисто у нас, и солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали, босиком по траве. Дождик как припустится и впереди нас всю траву вымочил, и опять солнышко проглянуло... до леса добежали, а грибов там видимо-невидимо...

— Сколько их, — сказал Петечка и рот разинул, — красные, а вон боровик, а есть — можно? Они не поганые, представленные-то грибы?

— Есть можно; теперь купаться пойдем; катись на боку с когора; смотри, в реке вода ясная, и на дне рыбу видно.

— А у тебя булавки нет? — спросил Петечка. — Я бы сейчас пескаря на муху поймал...

Но тут домовой проснулся, поблагодарил Петечку и вместе с дочкой обедать улез.

Назавтра опять прибежала домовова дочка, и с Петечкой они придумывали невесть что, где только не побывали, и так играли каждый день.

Но вот преломилась зима, нагнало с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега, почернел навоз на задворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом.

Насилу влез туда Петечка, промок даже весь, а домовова дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза; тогда домовова дочка выглянула из дыры в стенке, пальцы растопырила и говорит:

— Мокрота, ни до чего дотронуться нельзя; теперь мне, Петечка, играть некогда: столько дела — руки отваливаются; да и дом все равно пропал.

Басом заревел Петечка, а домовова дочка плеснула в ладоши и говорит:

— Глупый ты, — вот кто. Весна идет; она лучше всяких представленьшей. — Да и кричит домовому: иди, мол, сюда.

— Петечка орет, не унимается.

Домовой сейчас же явился с деревянной лопатой и весь дом раскидал, — от него, говорит, одна сырость, — Петечку за руки взял, побежал на задворки, а там уж рыжий конь стоит; вскочил на коня домовой, Петечку спереди присунул, дочку позади, коня лопатой хлоп, конь скок, и под горку по талому снегу живо до леса домчал. А в лесу из-под снега студенья ручьи бегут, лезет на волю зеленая трава, раздвигает талые листья; ухают овраги, шумят, как вода, голые еще березы почками покрываются; прибежали зайцы, зимнюю шерсть лапами соскребают, кувыркаются; в синем небе гуси летят...

Домовой Петечку с дочкой ссадил, сам дальше поскакал, а домовова дочка сплела желтенький веночек, ладони ко рту приложила и крикнула:

— Ау, русалки, ау, сестрицы-мавки, полно вам спать!

Аукнулось по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись русалочки голоса.

— Побежим к мавкам, — говорит домовова дочка, — они тебе красную рубашку дадут, настоящую, не то что в снежном доме.

— Кота бы нам взять, — говорит Петечка.

Смотрит, и кот явился, хвост трубой и глаза воровские горят.

И побежали они втроем в густую чащу к русалкам играть, только не в представленьши, а в настоящие весенние игры: качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей — ежей, барсуков и медведя — и под солнцем на крутом берегу водить веселые хороводы.

ФОФКА

Детскую оклеили новыми обоями. Обои были очень хороши, с пестрыми цветочками.

Но никто недосмотрел, — ни приказчик, который продавал обои, ни мама, которая их купила, ни нянька Анна, ни горничная Варя, ни кухарка Паша, словом никто, ни один человек, недосмотрел вот чего.

Маляр приклеил на самом верху, вдоль всего карниза, широкую бумажную полосу. На полосе были нарисованы пять сидящих собак и посредине их — желтый цыпленок с пумпушкой на хвосте. Рядом опять сидящие кружком пять собачек и цыпленок. Рядом опять собачки и цыпленок с пумпушкой. И так вдоль всей комнаты под потолком сидели пять собачек и цыпленок, пять собачек и цыпленок...

Маляр наклеил полосу, слез с лестницы и сказал:

— Ну-ну!

Но сказал это так, что это было не просто «ну-ну», а что-то похуже. Да и маляр был необыкновенный маляр, до того замазанный мелом и разными красками, что трудно было разобрать — молодой он или старый, хороший он человек или плохой человек.

Маляр взял лестницу, протопал тяжелыми сапогами по коридору и пропал через черный ход, — только его и видели.

А потом и оказалось: мама никогда такой полосы с собаками и цыплятами не покупала.

Но — делать нечего. Мама пришла в детскую и сказала:

— Ну, что же, очень мило — собачки и цыпленок, — и велела детям ложиться спать.

Нас, детей, было двое у нашей мамы, я и Зина. Легли мы спать. Зина мне и говорит:

— Знаешь что? А цыпленка зовут Фофка.

Я спрашиваю:

— Как Фофка?

— А вот так, сам увидишь.

Мы долго не могли заснуть. Вдруг Зина шепчет:

— У тебя глаза открытые?

— Нет, зажмуренные.

— Ты ничего не слышишь?

Я навострил оба уха, слышу — потрескивает где-то, попискивает. Открыл в одном глазу щелку, смотрю — лампадка мигает, а по стене бегают тени, как мячики. В это время лампадка затрещала и погасла.

Зина сейчас же залезла ко мне под одеяло, закрылись мы с головой. Она и говорит:

— Фофка все масло в лампадке выпил.

Я спрашиваю:

— А шарики зачем по стене прыгали?

— Это Фофка от собак убежал, слава Богу они его поймали.

Наутро проснулись мы, смотрим — лампадка совсем пустая, а наверху, в одном месте, около Фофкиного клюва — масляная капля.

Мы сейчас же все это рассказали маме, она ничему не поверила, засмеялась. Кухарка Домна засмеялась, горничная Маша засмеялась тоже, одна нянька Анна покачала головой.

Вечером Зина мне опять говорит.

— Ты видел, как нянька покачала головой?

— Видел.

— Что-то будет? Нянька не такой человек, чтобы напрасно головой качать. Ты знаешь, зачем у нас Фофка появился? В наказание за наши с тобой шалости. Вот почему нянька головой качала. Давай-ка лучше припомним все шалости, а то будет еще хуже.

Начали мы припоминать. Припоминали, припоминали, припоминали и запутались. Я говорю:

— А помнишь, как мы на даче взяли гнилую доску и положили через ручей? Шел портной в очках, мы кричим: «Идите, пожалуйста, через доску, здесь ближе». Доска сломалась, и портной упал в воду. А потом Домна ему живот утюгом гладила, потому что он чихал.

Зина отвечает:

— Неправда, этого не было, это мы читали, это сделали Макс и Мориц.

Я говорю:

— Ни в одной книжке про такую гадкую шалость не напишут. Это мы сами сделали.

Тогда Зина села ко мне на кровать, поджала губы и сказала противным голосом:

— А я говорю: напишут, а я говорю: в книжке, а я говорю: ты по ночам рыбу ловишь.

Этого, конечно, я снести не мог. Мы сейчас же поссорились. Вдруг кто-то цапнул страшно больно меня за нос. Смотрю, и Зина за нос держится.

— Ты что? — спрашиваю Зину. И она отвечает мне шепотом:

— Фофка. Это он клюнул.

Тогда мы поняли, что нам не будет от Фофки житья.

Зина сейчас же заревела. Я подождал и тоже заревел. Пришла нянька, развела нас по постелям, сказала, что если мы не заснем сию же минуту, то Фофка отключит нам весь нос до самой щеки.

На другой день мы забрались в коридоре за шкаф. Зина говорит: — С Фофкой нужно прикончить.

Стали думать, как нам избавиться от Фофки. У Зины были деньги — на переводные картинки. Решили купить кнопок. Отпросились гулять и прямо побежали в магазин «Пчела». Там двое гимназистов приготовительного класса покупали картинки для наклеиванья. Целая куча этих замечательных картинок лежала на прилавке, и сама госпожа «Пчела», с подвязанной щекой, любовалась, жалея с ними расстаться. И все-таки мы спросили у госпожи «Пчелы» кнопок на все тридцать копеек.

Потом вернулись домой, подождали, когда отец и мама уйдут со двора, прокрались в кабинет, где стояла деревянная лакированная лестница от библиотеки, и притащили лестницу в детскую.

Зина взяла коробочку с кнопками, залезла на лестницу под самый потолок и сказала:

— Повторяй за мной: я с моим братом Никитой даем честное слово никогда не шалить, а если мы будем шалить, то не очень, а если даже очень будем шалить, то сами потребуем, чтобы нам не давали сладкого ни за обедом, ни за ужином, ни в четыре часа. А ты, Фофка, сгинь, чур, чур, пропади!

И когда мы сказали это оба громко в один голос, Зина приколола Фофку кнопкой к стене. И так приколола быстро и ловко, — не пикнул, ногой не дрыгнул. Всех было шестнадцать Фофок, и всех приколола кнопками Зина, а собачкам — каждой — носик помазала вареньем.

С тех пор Фофка нам больше не страшен. Хотя вчера поздно вечером на потолке началась было возня, писк и царапанье, но мы с Зиной спокойно заснули, потому что кнопки были не кое-какие кнопки, а куплены у госпожи «Пчелы».

КОТ СМЕТАННЫЙ РОТ

Кот на печке. Кот, ты спишь?
Кот устал, не слышит.
Из-под печки лезетмышь,
Трусит — еле дышит.
Видит кот приятный сон:
На скамейке, у окон —
Из большого чана
Льет сметана...
Тут и сливки, — целый пруд...
Лижет кот и там и тут,
Съесть все это хочет,
Лапы мочит.
Мышь смекнула: дремлет вор,
Будет нам раздолье!
«Эй, скорей, из темных нор,
Мыши, из подполья!»
На разбой идут ночной, —
Шмыг да шмыг по лавке.
Лапу маленькой одной
Отдавили в давке.
Месяц светит сквозь стекло.
Кот храпит беззубый.
Мыши кутаны тепло
В серенькие шубы.
Утащили под кровать,
Обглодали свечку.
Говорят: «Пойдем кусать
Нос коту на печку».
А уж кот в приятном сне
Лижет ус сметанный.
Вдруг он видит —мышь на дне —
Случай очень странный!
Прыгнул кот что было сил,

Слюни даже проглотил:
«Вот такой-то ужин
Нам, котам, и нужен!»
Облизнулся,
Потянулся...
Мышь кота за морду — хватъ,
И в сметану — прыг опять...
Вздрогнул кот, проснулся...
Дыбом шерсть, глаза горят, —
Ни сметаны, ни мышат.
Свет в избе потушен,
Нос горит, укушен.
Верно, — думает, — блоха...
А в подполье: «Ха-ха-ха!
Будешь помнить, котофей,
Как ловить во сне мышей,
Пропадет охота,
То-то...»

КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО

Два брата

Жили два брата — Никита и Митя.

Никита был не совсем еще большой, но и не маленький. Он читал книги с приключениями.

Когда он читал эти книги с приключениями, то садился под стол, поджимал ноги по-турецки и затыкал уши указательными пальцами. Или он забирался в другие места, где обыкновенному человеку не понравилось бы читать книги с приключениями.

Он находил, что так ему удобнее.

Иногда он собирал спичечные коробки и делал из них автомобили и лодки. К несчастью, эти лодки скоро раскисали в воде, и это было главным недостатком лодок из спичечных коробок.

Иногда он бегал страшно быстро по коридору, вероятно, со скоростью сорока пяти километров в час. Бывало, кухарка несет блюдо с котлетами, вдруг мимо нее что-то пролетает, как ветер. Кухарка не успеет моргнуть, — ай, ах! — и блюдо и котлеты летят на пол.

Никиту часто и громко ругали за беганье по коридору.

Но так как голова у него была полна прочитанными приключениями, то он не обижался на мелочи, говоря страшно быстро:

— Прости, прости, мамочка, я не буду.

И продолжал бегать со скоростью сорока пяти километров в час.

У Никиты были горохового цвета брови и ресницы, стриженная голова и уши такие тонкие, что после мытья их горячей водой они некоторое время висели, как тряпочки.

Второй брат. Митя, был еще малыш и карапуз.

Он жил тоже самостоятельной жизнью, что бы там про него ни говорили.

Когда он хотел пить, он говорил:

— Дигн, дигн.

Пауков, которые попадали в квартиру вместе с дровами, он называл:

— Носсе.

Это вовсе не значило, что он не умел говорить. Он разговаривал очень, очень хорошо. Но только деревянную лошадь на-

звал «вевит», собаку — «авава», а плюшевого медведя — «па-тапум».

Так Митя лучше понимал, и лошадь, собака, медведь, пауки лучше понимали.

Митя был очень работающий. Он всегда что-нибудь делал. Или молча и старательно размазывал себе по лицу черничный кисель, или вымазывался молочными пенками.

Или, взяв стул, он возил его по всем комнатам, отчего происходил страшный шум. Но Митя не обращал внимания на страдания взрослых.

Он любил подметать пол веником. Или на кухне брал котлетную колотушку и колотил ею в медный таз, что также производило большой шум.

Он очень любил рисовать, и у него был несомненный талант к живописи.

Он рисовал догадки и напрямки. Это были очень интересные вещи. Например:

Это была догадка.

А это:

напрямка.

Они рисовались в разных местах на листе бумаги. Но если быстро посмотреть на догадку, а потом быстро посмотреть на напрямку, то получался обыкновенный человек.

Никита и Митя очень любили друг друга и часто возились, как щенята, на полу среди игрушек.

Отец и мать

Отец Никиты и Мити каждый день уходил на службу. Мать тоже часто уходила по делам. Ростом отец и мать были с буфет, и оттого, что оба так высоко выросли, многое интересное шло у них мимо носа.

Сколько раз им предлагали — лечь на пол и смотреть под шкаф.

Дело в том, что под шкафом жили: козявка с пятнышками, две мокрицы и голодный паучок Носсе — скучноватое животное.

Временно под шкафом появлялись: черный таракан и веселый мышонок, который грыз сахар и катал шахмату.

Там же водились: обыкновенная пробка, дохлые мухи, пыль, похожая на вату, и оловянный солдат, которого никак нельзя было достать оттуда.

На предложение, лечь на пол и глядеть на эти прекрасные вещи, мать отвечала с досадой:

— Отстань, пожалуйста, со своим шкафом, у меня и без того руки отваливаются.

Митя, услышав эти слова, испугался и долго ходил за матерью, ждал — когда у нее начнут отваливаться руки.

На отца Никита и Митя давно махнули рукой. Отец был добрый человек, но не умел играть ни во что. Разве — посадит Митю на колени:

— Ну, давай, малыш, поскачем. Хоп, хоп...

Мите было тряско на жесткой коленке. Того и гляди упадешь, и совсем не похоже на лошадь.

А если играть по-настоящему:

Никита на щетке, Митька на венике, — галопом по коридору, да кругом стола, да брыкать, заржать, завизжать — «инининогогогогогогого!»

Отец швырнет газету, зажмет уши, закрутит головой:

— Пощадите мои уши, я уйду из этого дома...

В свободное от службы время родители занимались воспитанием.

Во время обеда каждый раз говорилось одно и то же:

— Никита, изволь есть лапшу, иначе ты уйдешь в темную комнату!

— Митя, перестань стучать ложкой по тарелке!

— Дети, не чавкайте, вы не поросята!

— Дети, перестаньте надуваться водой, когда на столе молоко!

Никита делал старое лицо, потому что лапша не лезла в живот. Темной комнаты он не боялся, — ее в квартире даже и не было. Но попробуйте-ка не есть лапши, когда два человека, каждый ростом с буфет, глядят тебе в рот и повторяют:

— Ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь!

В это время Митька вдруг хватал ложкой по кувшину так, что отец и мать подскакивали.

Митю сейчас же шлепали по рукам. Он сопел, молчал. А Никита, будто бы доев лапшу, бежал с тарелкой на кухню со скоростью сорока пяти километров в час.

Однажды Никите здорово попало.

Он прочел похождения Макса и Морица. Он сразу понял, что это замечательная книга. Он рассказал Митьке об этой книге. Митя слушал, сопел и на все согласился. Рано утром Никита налил воды во все калоши. Он вымазался сажей и вымазал Митьку. Они на четвереньках побежали на кухню и страшно напугали кухарку.

Они протянули веревочки поперек коридора, чтобы все спотыкались. Они наложили в чайник, который уже стоял на самоваре, картофельной шелухи. В это утро они сделали много удивительных шалостей.

Да, да, Митька был наказан легче, Никита был наказан серьезнее, как зачинщик. Да, да, в это утро обоим попало. После того как им попало и мать и отец ушли на службу, Никита сказал Мите:

— На родителей-то много не рассчитывай, Митька: надо самому себя воспитывать.

Братья отправляются навстречу приключениям

— Скажи ты мне, малыш и карапуз...

Так однажды сказал Никита, бросив на пол книгу с приключениями. Он засунул руки в карманы. Он прищурился, что совершенно необходимо, когда человек решается на какой-либо отважный поступок...

— Скажи мне, малыш и карапуз, — ты мужчина, или ты какая-нибудь сластена, плакса, девчонка?

— Я мужчина, — не задумываясь, ответил Митя.

Он сидел на полу и ремонтировал паровоз, который почему-то сломался.

Дети! Если у вас есть паровоз, — не чините его до тех пор, покуда он не сломается. Если же он будет сломан, то ремонтируйте его умело. Не нужно совать внутрь паровоза посторонних вещей, нельзя приклеивать трубу слюнями, потому что слюни клеят не прочно. И, главное, берегите колеса, не делайте их четырехугольными...

Такой паровоз называется сломанным паровозом.

После Митино ответа Никита пошевелил кожей на голове.

— Молодец! — сказал он. — Другого ответа я от тебя и не ждал: сразу видно, что ты мой брат. Знаешь что, надоело сидеть дома. Едем путешествовать!

— Мы куда поедem путешествовать? В зоологический сад? — спросил Митя.

— Нет, я терпеть не могу зверей в клетках. С тигром, с бешеным слоном, с разъяренным носорогом и с голодным удавом нужно встречаться на свободе.

Так сказал Никита и выпятил челюсть.

Митя задышал и тоже выпятил челюсть. Им обоим представились дикие животные в диких лесах.

Вот то, что им представилось. Но это не имеет никакого значения: будем думать, что они по-настоящему попали в какой-то огромный лес, населенный удавами, львами, носорогами, крокодилами, пауками и множеством маленьких обезьян...

Никита очень быстро совершил несколько мужественных подвигов.

Он ловко увернулся от носорога, который вонзил нос в баобаба и так и остался.

Он ловко засунул крокодилу палку в рот поперек, и крокодил так и остался.

Он ловко связал целой куче обезьян хвосты в один узел, — вот была потеха!

Льву он набил полны глаза песком, а удаву дал проглотить вместо себя старое, драное кресло, которым удав сразу же подавился.

Митя для борьбы с чудовищами был мал. Он струсил и сейчас же очутился у себя в комнате. Никита, покончив в это время с бешеным слоном, выскочил из фантастических лесов и тоже очутился в комнате рядом с Митей...

— Значит, едем, Митька! — сказал он. — Подымай паруса!

Митя оглянулся: про какие паруса говорит Никита? И спросил:

— Мы поедем на лодке?

— Не глупо сказано, малыш, — поедем на лодке. Собирайся. Ничего лишнего. Возьмешь с собою одеяло, оружие и бутылку молока.

— А мячик взять можно? — спросил Митя.

— Нельзя.

— А лопатку и ведро можно взять?

— Нельзя.

— А человека с тачкой, который заводится, — тоже нельзя?

— Нельзя. Молчи, не спрашивай, иначе останешься дома.

— А медведя мы возьмем? Он плюшевый, — спросил Митя.

Но Никита уже не отвечал на глупые вопросы. Не теряя времени, он готовился к отъезду. Он похитил из кухни сумку для провизии. Он положил туда два байковых одеяла.

Всем известно, что путешественники и северо-американские индейцы шагу не ступят без байкового одеяла.

Он положил в сумку английский ключ от двери, два яблока, соли в бумажке, кусок ситного хлеба, Митькину бутылку с молоком, запас пистонов для ружья, пучок стрел, умело отравленных при помощи макания в грязное ведро на кухне, два запасных меча и много, много сахара, насыпанного из сахарницы в чулок.

Никита стащил со своей постели простыню. Вывернул палку из половой щетки. Привязал к этой палке, к двум концам, простыню, — получился превосходный парус.

Затем Никита и Митя вооружились с головы до ног.

Никита взял сумку, Митя парус, и, крадучись, припадая к полу при каждом подозрительном шуме, они пробрались на лестницу, захлопнули за собой дверь на английский замок и горохом скатились вниз.

Они выбежали на набережную реки Ждановки, где у Тучкова моста стояла маленькая лодочная пристань. В это время к ним подошел цыган.

Цыган

Этот цыган был не настоящий цыган, — черный, бородатый, с серьгами в ушах, с медным котлом за плечами.

Этот Цыган была собака. Он сунул Мите в щеку холодный нос. Поднял лапу и подал ее Никите, после чего вежливо улыбнулся.

Цыган была серая, худая и очень добрая собака, большой друг Никиты и Мити, и такая умная, что про нее один мальчик со Ждановки рассказывал, будто она умеет даже говорить по-русски, но не всегда, а когда захочет.

Однажды вечером Цыган сидел с этим мальчиком на берегу реки Ждановки и вдруг взял да и рассказал историю своей жизни.

«Я родился на Крестовском острове, рано лишился матери, и детство мое было очень плачевно.

Мальчишки таскали меня за хвост, драли за уши и кидали в пруд, чтобы я научился плавать. Кошки фыркали мне в морду и царапали когтями. Куры ужасно больно клевали меня, когда, бывало, подберешься ухватить из куриного корыта кусочек.

Но я рос, и характер мой от этих испытаний закалялся. Одно время попал я на плохую дорожку: Бровка, дрянная собачонка, подговорила заняться налетами на лавки с продуктами питания.

Слов нет, — стащишь с прилавка баранинки или вареную колбасу и так плотно покушаешь — хвостом лень муху отогнать. Но в одном кооперативе угостили меня гирей, в другом — мясники-приказчики отрубили часть хвоста и грозились в другой раз поймать — смолоть меня на краковскую колбасу. Нет, хлебнул я горя с этими налетами.

Спустили на нас на одном дворе собаку, ростом с теленка. От Бровки только шерсть полетела. Я с разодранными ушами кое-как унес ноги. «Довольно грабежей», — сказал я сам себе. И поступил в батраки к одному хозяину — бегать, гавкать по ночам на цепи. Сидишь около будки: «Э-хе-хе, скука, зря жизнь проходит, продал Цыган себя за ведро помоев... А провались, думаю, этот хозяин со своим добром, пускай сам сидит в будке...»

Ушел я от него и заголодал. Неорганизованная наша жизнь собачья, пробиваемся в одиночку. Лежу я однажды на солнышке в саду, даже тошнит — есть хочется. Вдруг подходят ко мне Никита и Митя, жалеют меня, гладят, дают булочку. Не забуду этой минуты. Булочку я проглотил не жуя и в благодарность походил перед мальчиками на задних лапах. С тех пор я — счастливый бродяга. Промышляю искусством среди детского населения: с доброй мордой подбегаю к детям, лаю, перекувыркиваюсь, верчусь, ловлю свой хвост. Даже самому смешно. А увижу няньку — начинаю глядеть на нее грустно, со слезой, куда она не поймет, что собака голодная.

Вот и все мое скромное жизнеописание».

Итак, это знаменитый Цыган подбежал к Никите и Мите в то время, когда они присматривали — какую им выбрать лодку для путешествия.

Из домика на плоту вышел караульщик лодок, старый водяной человек с густой бородой и в ватном жилете.

Его звали Панкрат Иванович Ершов-Карасев. Он был хороший знакомый Никиты.

— Лодку хотите? А вот я вам лодку дам, а вы возьмете и потонете, и лодка моя пропадет, — сказал Панкрат Иванович Ершов-Карасев таким простуженным басом, что Митя попятился и сел на траву, а Цыган зарычал.

Но Никита не растерялся. Он вынул из спичечной коробки 65 копеек и протянул их лодочнику, обещаясь под честным словом не тонуть и лодки не терять.

Панкрат Иванович долго сопел трубкой, чесал бороду, чесал себе под ватным жилетом, наконец согласился и вынес из домика на плоту два весла.

Лодочка, на которую он указал Никите, была внутри желтая, снаружи зеленая, с красной каймой. Звалась она «Воробей».

В лодку погрузили пледы, оружие, парус и провизию, Никита сел на весла, Митя на корму за руль. Панкрат Иванович Ершов-Карасев вынул трубку изо рта и закричал басом:

— Отчаливай, команда!

В это время в лодку прыгнул Цыган и сел посередине, улыбаясь во всю свою собачью морду.

— Молодец, Цыган! — сказал Никита. — Едем с нами.

Он ударил в весла. «Воробей» отделился от пристани и поплыл с тремя путешественниками вниз по тихой реке Ждановке мимо зеленых и низких берегов.

Битва с дикарями

По левому берегу Ждановки тянется высокий липовый парк, называемый Петровским. У самой воды растут старые, тенистые ивы.

«Воробей» тихо скользил по течению. Солнце взошло уже на полдень. Было жарко, и Никита держал курс ближе к левому берегу, под тенью ив.

Позади остались: строящийся огромный стадион для олимпийских игр, белые палатки лагерей военной школы и старенькая усадьба сторожа, где бродили куры и поросенок терся о корыто.

Вот к озеру, в глубь парка, рысью провели купать двух дюжих лошадей.

Вот паслась коза на веревке, и беленький козленок, поднявшись передними ножками на дерево, силился ущипнуть листочек.

Вот прошли со знаменем и барабаном, голые по пояс, маленькие пионеры.

Вот высоко на дерево взобрался коричневый человек, болтнул ногами в воздухе, бухнулся в Ждановку и поплыл.

Вот между деревьями появились мальчишки. Они кривлялись, высовывали языки, размахивали палками и дико приплясывали.

Никита сразу понял, что это дикари. Цыган зарычал, Митя выпятил челюсть.

— Эй, вы, в лодке! подчаливай к берегу, уши вам надерем! — закричали дикари, чернокожие черти.

Всем известно, что лучше вступить в смертный бой с дикими, чем отдаться им живьем. Так говорят и пишут все знаменитые путешественники.

— Подъезжайте, мы вас бить будем! — кричали они, кучей подбегая к берегу.

— Козявки, пузыри несчастные! От земли не видно, а туда же — на лодке! Подгребай к берегу! — наводя ужас, визжали дикари.

Цыган ошетинился и залаял. Митя все дальше выпячивал нижнюю губу, — дальше уже было некуда, оставалось только зареветь.

Трое, четверо, пятеро дикарей вошли в воду но пояс, стараясь зацепить лодку палками. Положение путешественников казалось отчаянным и почти безнадежным.

Тогда Никита бросил весла и схватил старый, испытанный лук.

Боевой лук делать нужно так: срежьте ивовый прут. Очистите его от коры. Высушите. На концах надрежьте перочинным ножом зарубки. Согнув прут, привяжите к концам тетиву, то есть прочную бечевку, а лучше бычью струну. Вот и все.

Из такого лука первый человек убил первого мамонта.

Хитрый грек Парис выстрелил с троянской башни Ахиллему в Ахиллесову пятю.

Илья Муромец поразил знаменитого бандита и налетчика Соловья Разбойника, сидевшего на семи дубах.

Веселые англичане вдребезги разбили веселых французов в битве под Кресси, пронзая рыцарей сквозь латы вместе с конем.

Итак, Никита схватил это страшное оружие, выдернул из-за пояса отравленную стрелу, наложил на тетиву, откинулся, чтобы изо всей силы растянуть лук, и выстрелил в дикаря, подбиравшегося к самой лодке.

Отравленная в кухонном ведре стрела попала дикарю прямо в живот.

— Эх ты, леший! — крикнул дикарь и сейчас же повернул к берегу.

Митька в то же время пронзительно-нестерпимо завизжал...

Он один умел так визжать и не раз бывал за этот ухвертанный визг наказан.

Цыган бешено лаял, раскачивая лапами лодку.

Никита схватил вторую стрелу и, нацелившись в дикаря, который как раз собирался лезть в воду, — попал ему в незащищенное место, находящееся ниже спины.

— Ай, ай! — закричал несчастный дикарь.

Третья, четвертая и пятая стрелы, полетели в кучу кривляющихся на берегу диких чертей. Они завyli и под тучей стрел стали отступать.

Один из них, самый маленький и без штанов, лег на живот и заревел:

— Мааааааа!

Лодку в это время отнесло течением от места битвы. Никита положил лук. Уши у него были все еще красные, как ломтики помидора.

Путешественники были спасены.

Нужно твердо помнить, что путешественники всегда от одной опасности переходят к другой. Нет ничего приятнее, как преодолевать опасность и смело плыть навстречу новым приключениям.

Парус

Торопиться было некуда. Никита положил весла, и «Воробей» все плыл да плыл вниз по Ждановке мимо лесопильных заводов, заборов и рыбаков.

Рыбаки стояли кто на мосту, кто пристроился на сваях, кто уселся — носом в коленки — на траве.

Наденут червяка на крючок, поплюют, чтобы червяку было бодрее, закинут удочку и глядят на поплавок.

А ерш, или окунь, или плотва глядят на рыбака из-под воды. Вся хитрость рыбы удить в том — кто кого пересидит: рыбак рыбу или рыба рыбака.

Иной окунь глядит, глядит на червяка, — слюни текут, а схватить — опасно: попадешь на крючок. Но голод не тетка: «Авось как-нибудь сорву», — подумает окунь, цап! — и попался.

А иной ерш, старый, бывалый, самая хитрая рыба, — начнет рыбака мучить. Схватит губами червяка за хвост и дергает. Рыбак: нака, — думает, — клюнь еще, клюнь, голубчик, клюнь, сердешный...

А ерш, подлец, возьмет да и заведет крючок на дне речки за какой-нибудь старый башмак, или калошу, или дохлую кошку.

И вытаскивает рыбак, вместо рыбы, такую мокрую гадость, что все кругом покатываются от смеха.

Один Митя в лодке находил, что рыбу удить приятно. Никита и Цыган относились с презрением к этому занятию. Но Митя, как уже известно, любил посидеть спокойно, подумать не спеша, поспеть носом.

Он просил Никиту пристать к берегу, половить рыбу. В лодке произошел спор между путешественниками. Никита кричал морские проклятия:

— Ты, Митька, старый, гнилой кашалот, замолчи, иначе я заткну тебе горло бутылкой от рома.

Митя уже выпячивал до последней возможности нижнюю губу. Но в это время подул ветерок, зарябил воду, и Никита стал наживать парус.

Никита вставил в гнездо под передней скамейкой небольшую мачту. На верху мачты находилось колесико, — на морском языке оно называется *шкив*. Через шкив он перекинул веревку, — на морском языке она называется фал.

Помните раз и навсегда — в морском деле не было и не существует слово «веревка». На корабле есть *ванты*, есть *фалы*, есть *шкоты*, есть канаты якорные и причальные. Самая обыкновенная веревочка на корабле называется конец.

Но если вы в открытом море скажете «веревка» — вас молча выбросят за борт, как безнадежно сухопутного человека.

К фалу был привязан парус, сделанный из простыни и щеточной палки, — все же на морском языке такой парус называется *марсель*. А палка от половой щетки — *рея*.

Другой конец фала, называемый *шкот*, Никита держал в руке. — Выбирай фалы, подымай марселя, ложись на правый галс, крепи шкоты! — закричал Никита морским, соленым голосом.

Парус поднялся. Ветер наполнил его. «Воробей» накренился и все быстрее и быстрее заскользил мимо рыбаков, заборов, лодок к устью Ждановки, впадающей у лесопильного завода в Малую Невку.

Здесь началась качка. Волна била в борт. «Воробей» стал нырять, зарываться носом и, как стрела, полетел через Малую Невку к Крестовскому острову.

В лицо било брызгами, посвистывал ветер. Митя тихо шипел от восторга.

У самого острова, у камышей, Никита сделал поворот. Парус плеснуло.

И вдруг — сильный толчок, раздался треск, — лодка ударилась носом в зеленую сваю.

Митины ноги болтнулись в воздухе, и он клубочком перелетел за борт лодки в воду.

Цыган показывает свой главный фокус

У себя в детской можно смело и безопасно переживать самые страшные кораблекрушения. Единственная неприятность — это: растворяется дверь и вбегают отец с газетой и мать, схватившаяся за голову:

— Тише, дети!

Но в настоящей лодке на настоящей воде плавать не так просто. Вода опасна и коварна. Моряк должен быть всегда настороже, начеку.

От моряка прежде всего требуется:

мужество
быстрота соображения
и хладнокровие.

Итак, авария на «Воробье» произошла мгновенно. Вы не успели бы сосчитать до трех, — лодка с налета ударилась в сваю, Митя упал за борт. Перед Никитой мелькнули испуганные глаза, Митины руки, ноги, светлые волосы, — все это кубарем полетело в воду.

У Никиты остановилось дыхание. В ту же секунду он вскочил. Никита был смелый мальчик.

Из него вышел бы неплохой моряк. У него было мужество, быстрота соображения и хладнокровие.

Он увидел Митю в пяти шагах от лодки. При падении Митя погрузился, но затем, барахтаясь, вынырнул на поверхность. Его уносило течением.

— Никита! — долетел его слабый голос.

Никита большим прыжком кинулся в речку.

Он также ушел под воду и сейчас же вынырнул. Митю снова отнесло шагов на пять. Никита хорошо держался, но плавал не быстро. Он не знал еще приема — плыть саженками, когда работают все мускулы, вынося тело пловца почти на поверхность. Напрягая силы, он закричал:

— Держись, держись... Еще немножко...

А Митя барахтался все слабее. Вот голова его ушла под воду. Опять показалась.

И в это время мимо Никиты, фыркая и шлепая лапами, проплыл Цыган.

Он плыл так, точно в нем работал мотор. Митина голова опять исчезла, над водой показались одни его растопыренные пальцы. И тогда Цыган, нырнув, схватил Митю за шею, за рубашку и поплыл с ним к берегу.

Вот он уже у камышей. Вот он с трудом вылезает на берег, таща в зубах Митю. Вытащил, положил на траву и, болтая ушами, отряхнулся, — брызги полетели с него во все стороны.

Отряхнувшись, Цыган снова вошел в реку и поплыл к Никите. Это было сделано вовремя. Никита начал слабеть. Цыган, подплывая, глядел ему в глаза умным, серьезным взглядом, — будто хотел сказать:

«Не робей, не теряйся, не делай лишних движений, хватайся крепче за меня...»

Никита понял. Когда Цыган подплыл, он схватился ему за кожу на шее. Сразу стало легче держаться, и мальчик и собака повер-

нули к берегу, где сидел Митька, несчастный и мокрый, выплевывая воду.

Так Цыган показал свой самый лучший в жизни фокус.

Нападение зверей

Митя понимал, что плакать сейчас было бы неуместно, но сами губы у него складывались сковородником. Он страшно сопел.

У Никиты гудело во всем теле от усталости. Не было силы даже расшнуровать башмаки.

Раньше всех пришел в хорошее настроение Цыган. Он основательно вытряхнулся и сейчас ползал то на одном боку, то на другом, вытираясь о траву досуха.

За особыми выражениями благодарности Цыган, видимо, не गयाся.

Вдруг Никита вскочил и крикнул отчаянно:

— Лодка!!!

Лодки не было ни у берега, ни на реке. У Никиты стало сразу старое лицо.

«Погибло оружие, провизия, плоды... А что скажет Панкрат Иваныч Ершов-Карасев?»

Никита побежал вдоль берега. Завернул за лесок. «Воробей» исчез бесследно.

Да, да — приходилось утешаться тем, что с путешественниками бывают приключения и похуже этого.

Как вам понравится, например, после кораблекрушения попасть на коралловый остров, где вы шесть месяцев будете питаться одними склизкими ракушками? Брррр!

Или вы на обломке мачты несетесь по морю, кишашему акулами. В руке у вас кинжал, которым вы распарываете брюхо дерзким чудовищам.

Я уже не буду напоминать о всех надоевших случаях, когда путешественника привязывают к раскрашенному столбу и скачут у него перед носом, отвратительно размахивая ножами и томагавками...

Подобные воспоминания вернули Никите мужество, быстроту соображения и хладнокровие. Он повернул обратно, к своим. И в это время услышал злобный лай Цыгана и крик Мити:

— Ай, ай, беда, беда!..

Никита выбежал из леска и увидел картину, от которой у него уши вспыхнули, как ломтики помидора.

Митя стоял и махал руками так, точно его облепили мошки. Около него, оцетинившись, лаял Цыган.

Справа на них набегало стадо гусей. Они вытягивали шеи и зловеще шипели. Слева рысью подходил пегий теленок, весь вид его не предвещал ничего доброго. А в лоб наступал старый, грязный, бородатый козел.

Враги подавляли численностью. Положение путешественников становилось отчаянным.

У Никиты покраснели уши. Но это было не от страха, нет, — у храбрых мальчиков уши краснеют от желания подраться. Никита схватил попавшийся под ноги сучок. Никита крикнул страшный боевой клич:

— Даешь козла, даешь пегого теленка, даешь гусей!..

И, размахивая сучком, побежал с тылу на зверей.

Под этим натиском гуси подались, шипя еще более зловеще. Пегий теленок остановился и, в недоумении размахивая хвостом, глядел глазами в разные стороны.

Но хитрый козел, бородатый бездельник, — не такое было животное, чтобы легко отказаться от удовольствия забодать маленького мальчишку. Козлиные бока выдвигали сучки и крепче Никитино.

Козел живо повернулся на задних копытцах, нагнул рога и бросился на Никиту.

Никита отскочил, увернулся и ударил козла так, что сучок разлетелся на куски. Козел снова пошел в атаку, и вертелся, и крутился около Никиты, справа и слева, грозил рогами, и наконец с наскоку боднул его под зад.

Никита упал. Козлу только того и было нужно. Он стал в двух шагах, бороду опустил до земли, — глаза белые, в точках, — и закричал гнусно, издевательски:

— Побббээээээээээээда!

В то же время гуси снова начали наступать на Митю а теленок, скача и бодаясь, занялся Цыганом.

Не отделались бы дешево путешественники от этой беды. Но вдруг раздался резкий, дробный треск. И на поле битвы появился барабанщик.

Барабанщик

Это был стройный мальчик, голый до пояса, коричневого цвета, через плечо у него на широком ремне висел барабан.

Барабанщик бил тревогу. Губы у него были поджаты. Лицо выражало решимость. Гуси изумились и снова стали отступать. Теленок вдруг невероятно глупо замычал, взмахнул хвостом и поскакал телячьим галопом кругом поля битвы.

Козел оставил Никиту и пошел на барабанщика. Но барабанщик продолжал все так же спокойно и резко бить тревогу. Из леса, бегом через поле, подходила подмога — трое таких же, как он, загорелых мальчиков.

Они схватили козла за рога и всыпали ему по бокам ременным поясом:

— Не бодайся.

Затем они отогнали гусей, а теленок сам ускакал, задирая хвост, на чужие огороды.

Покончив со зверями, мальчики подошли к Никите и Мите. Барабанщик спросил:

— Вы откуда, товарищи?

— Мы со Ждановки, — ответил Никита, — мы путешественники.

— Э, да вы оба славно искупались. Это не ваша ли лодка плыла сейчас к Петровскому мосту?

— Зеленая? с красной каймой? «Воробей», — самая наша лодка!

— Ладно, — сказал барабанщик, — идемте с нами в лагерь.

И все — барабанщик и трое мальчиков, Никита с Митей за руку и сзади Цыган — пошли через поле в лагерь пионеров. По дороге Никита рассказал подробно все приключения.

Никита и Митя сушатся у костра

Лагерь на лесной поляне был почти пуст. Около палатки на траве сидел мальчик, поджав ноги, и читал книгу. Другой мальчик — караульный, — неподвижно стоял у красного знамени под деревом. Третий возился у костра, где над огнем на треноге висел котел. Шумели деревья в синем небе над поляной.

Барабанщик объяснил, что пионеры сейчас разбрелись, — кто на земляных работах, кто купается, кто занимается тренировкой в беге, прыганье и бросанье диска. Скоро они станут подтягиваться в лагерь есть картошку.

Барабанщик указал Никите и Мите место у огня и посоветовал раздеться донага и высушить одежду и обувь. Так и было сделано.

У костра было очень славно сидеть, — пахивало дымком и варевом из котла.

После всего пережитого у Никиты сосал голодный червячок в животе. Митька молча глотал слюни. Цыган, положив морду на лапы, глядел на котел.

Мальчик, хлопотавший у костра, вытащил из золы три большие картофелины. Две из них разломил, дуя на пальцы, густо посолил и подал Мите и Никите.

— Такой картошки вы сроду не едали, — сказал мальчик с уверенностью. Третью картофелину он бросил Цыгану.

Нет слов для описания удивительного вкуса картошки, которую Никита, Митя и Цыган ели у костра пионеров. У Мити выпятился живот в виде горбушки.

Попробуйте сами, тогда поймете, что это за картошка.

Наконец барабанщик сказал:

— Одежда просохла, одевайтесь, а то домой запоздаете, — вам отец, мать всыпят.

И он сказал двум мальчикам:

— Малышей надо проводить.

Оба мальчика вскочили, и каждый из них ответил:

— Готов!

Барабанщик опять надел через плечо барабан, и все пошли быстрым шагом к Петровскому мосту.

По пути Никита видел, как один пионер прыгал с высоким шестом.

Трое бежали вперегонки.

Другие тренировались футбольным мячом, кувыряясь в траву и хохоча.

А еще другие лазали по деревьям, раскачиваясь на сучках, старались друг друга стащить за ноги.

Всюду между стволами в этом веселом, зеленом лесу мелькали полуголые мальчишки. Даже хладнокровный Митя, которого трудно было чем-нибудь удивить, молча пошел к березе и полез на нее, но шлепнулся и крикнул.

У Петровского моста Никита увидел привязанного к сваям «Воробья». Маленький сердитый пионер караулил лодку. Никита, Митя и Цыган закричали:

— Ура!

У Цыгана это вышло так:

— Ууууу rrrrrrrr ау ау ау...

Никита, Митя и Цыган влезли в лодку, где все было в целости; один пионер сел на весла, другой на руль, барабанщик на берегу ударил в барабан, маленький сердитый мальчик запустил камнем пятьдесят пять блинов по воде, и «Воробей» с путешественниками поплыл в обратный путь.

Как ни в чем не бывало

На обратном пути подул свежий ветерок. У Митьки не попадал зуб на зуб, и тут-то игодились одеяла, предусмотрительно взятые в путешествие.

Митьку завернули в них, дали в руку бутылку молока, он вытянул ее всю и сейчас же заснул в мягко покачивающейся лодке.

Никита достал чулок с сахаром и угостил им пионеров и грыз сам. Сахар съели весь. А запасы хлеба, не жуя, были проглочены Цыганом.

Когда проплывали мимо знаменитого теперь места битвы с дикими, Никита и двое пионеров, которым уже все было известно, громко крикнули все разом:

— Дашь, краснокожие черти!

Никита потрясал мечом и луком. Цыган рычал, как пещерный медведь. А на берегу, между липами, угрюмо кривляясь, трусили подходить близко остатки разбитых дикарей.

В пятом часу дня «Воробей» подошел к пристани.

На мостках стоял с трубкой Панкрат Иванович Ершов-Карасев все в том же ватном жилете и с бородой, где, как говорили на Ждановке, водились у него даже тараканы.

Солнце ослепительно горело в тихой воде между низким левым берегом и высокими домами на правом берегу. Панкрат Иванович шурился, шурился и вдруг...

Чихнул:

Ап-ап-ап-апчъхииии!!!

Да так чихнул, что закачались мостки, заскрипели лодки, ворона, присевшая почистить нос на крышу домика на мостках, взъерошилась, сорвалась и полетела, каркая и долго еще оборачиваясь на Ершова-Карасева:

— Дуррррак!.. Дуррррак!!

Вот как здорово чихнул Панкрат Иванович Ершов-Карасев.

На мостках пионеры простились с Никитой и Митей, стали в затылок, поджали локти и бегом пошли через дамбу, через деревянный мостик, что ведет с Тучкова моста на стадион, — и дальше через Петровский остров к лагерю.

Никита и Митя захватили оружие, парус и багаж и тоже побежали к дому.

У ворот они простились с Цыганом:

— До завтра, собака!

Цыган вежливо посмотрел путешественникам в глаза, помотал хвостом и отправился по своим частным делам.

Никита открыл дверь английским ключом. Никита и Митя на цыпочках прокрались в детскую. Быстро разобрали все вещи по местам — пледы на кровати, оружие под кровать, простыню под подушку, щеточную палку воткнули в щетку и выставили в коридор.

Никита сел к окну и раскрыл книгу с приключениями. Митька сел на пол и продолжал ремонт паровоза.

Сидели как ни в чем не бывало, как будто ничего и не случилось.

Через несколько минут раздался звонок — это пришли со службы отец и мать.

Дети вышли их встречать как ни в чем не бывало.

За обедом Никита и Митя приналегли на лапшу. Подали мясо с хреном, — они приналегли и на мясо. Наелись. Попросили молока, напились. Никита толкнул Митьку, и оба фыркнули в тарелки.

Фыркнули они потому, что родители, которые в начале обеда, как обычно, принялись за воспитание, — теперь замолчали и с удивлением поглядывали на детей.

— Папа, а тебя никогда не бодал козел? — спросил Митя.

— Не бодал, отстань, — ответил отец, — скажите, пожалуйста, что с вами такое случилось? Я ничего не понимаю.

Тогда Никита сказал равнодушно:

— Мы путешествовали на парусном корабле «Воробей». На реке Ждановке, около сломанной ивы, мы разбили племя краснокожих дикарей. После этого потерпели кораблекрушение и подверглись нападению зверей, но нас спас храбрый барабанщик. Мы гостили в лагере у одного очень дружелюбного народа и благополучно вернулись.

— Панкрат Иваныч вот так чихает! Папа, а ты умеешь так чихать? — спросил Митя.

Отец сделал обиженное лицо.

— Вы оба несете чепуху! Я замечаю, что вы с каждым днем все более дичаете. Хотя хороший аппетит меня радует, но посмотрите — на что вы похожи: носы ободраны... А руки... А платье... Вы стали похожи на разбойников, налетчиков, только не на наших детей...

— А барабанщик сказал, что мы славные ребята, — проговорил Никита.

Митя сейчас же спросил:

— Папа, а ты умеешь барабанить в барабан?

Отец махнул рукой, взял газету и ушел читать ее на балкон. Мать, собирая со стола, задумчиво улыбалась и покачивала головой.

Ей было немного грустно оттого, что нельзя уже теперь взять, как бывало, крошечного Никиту или крошечного Митю на руки, целовать и тискать. И было смешно оттого, что они, такие все маленькие и такие независимые, ходят с отравленными стрелами, носы у них исцарапаны и глаза дикие.

В детской Никита сказал Мите:

— Родители так и не поверили, что мы путешествовали по-настоящему. Знаешь что, — напишу-ка я рассказ про это путешествие, а ты нарисуй к нему картинки. Мы издадим книжку — тогда поверят.

Никита сейчас же принялся писать этот рассказ, а Митя рисовать тысячи догадок и напярмок.

РАССКАЗ О КАПИТАНЕ ГАТТЕРАСЕ, О МИТЕ СТРЕЛЬНИКОВЕ, О ХУЛИГАНЕ ВАСЬКЕ ТАБУРЕТКИНЕ И ЗЛОМ КОТЕ ХАМЕ

Солнце светило в глубокий двор. Точнее говоря, солнце освещало одну из стен многоэтажного дома, где из раскрытых окон были высунуты для проветривания детские матрасики, подушки и ватные одеяла.

На пятом этаже в одном из окон виднелась стриженная круглая голова мальчика десяти лет. Он сидел у стола и читал «Капитана Гаттераса» — роман Жюль Верна. Нельзя удивляться тому, что в будний день он сидел и читал «Капитана Гаттераса», — школа была распущена по случаю scarлатины.

Противоположная стена дома находилась в тени. Там в первом этаже у окна стоял отвратительный молодой человек лет шестнадцати, курносый, с желтыми от табаку толстыми губами и припухшими глазками. На низенький лоб его свисал вихор. Это был — гроза всех детей, горе для всего населения дома, хулиган Васька Табуреткин.

Он совершенно ничем не занимался, отнимал у матери деньги и только и думал о том, какую бы ему устроить бузу или где раздобыть два полтинника на пиво и на дорогие папиросы «Самородок».

Сейчас, например, Васька думал, что хорошо бы раздобыть резинку и крупной дробы и запустить в окно, в стриженую голову Мите Стрельникову, — вот-то подскочит! Кроме того, он ждал часа, когда начнется радиопередача: ему это нужно было для одной хулиганской выходки, которая уже несколько недель выводила из терпения всех в доме, у кого были ламповые приемники.

Митя Стрельников читал «Капитана Гаттераса». Он до того замечтался над приключениями этого отважного и благородного капитана, что не замечал ни матрасов в окнах, ни Васькина вихра и вздернутого носа внизу, ни кухонного чада, струившегося со всего двора к весеннему небу.

Перед Митиными глазами по зелено-синим волнам плыл чудный корабль среди льдин или айсбергов. На капитанском мостике стоял мужественный капитан Гаттерас, с открытой головой, с черной бородой, в тюленьих сапогах.

Он плыл к таинственному Северному полюсу. Он думал, что, пробившись сквозь льды и снега, он увидит на полюсе теплое море и остров, согреваемый вулканами. Там — высокие леса, сверкающие водопады, лебеди и пингвины, там живет неизвестная человеческая раса, люди с белыми волосами и розовыми глазами.

Капитан Гаттерас глядел с капитанского мостика вдаль, где поднимались снежные вьюги, льдины, бродили белые медведи, и шерсть их светилась от северного сияния. С шелестом и тихим потрескиванием северное сияние развевалась и спадало с неба в виде розовых, голубых и зеленоватых лент!

Корабль летел все вперед, и сердце капитана Гаттераса отважно стучало: вперед, вперед!

Над Митиным окошком раздался хриплый и зловещий вой. Митя оторвал от книги уставшие глаза. Это кричало второе отвратительное существо на дворе — рыжий кривой кот, по прозвищу Хам. Он был длиною в аршин, с оторванным хвостом, с глубоким шрамом на морде. Он был свиреп и так силен, что его трусили даже фокстерьеры, которые, как известно, никого не боятся.

Хам недаром дико кричал на крыше. Он намеревался, так или иначе, через чердачное окно и черную лестницу пробраться на кухню. Ему был нужен белый сибирский кот Снежок, чтобы избить его до смерти.

Снежок был красивый пушистый кот. Когда он садился на подоконнике и синими глазами глядел вниз, — все кошки сладенько мяукали. Хам кровожадно ненавидел его, подкарауливал повсюду и вступал в бой. Один раз Снежка едва спасли от Хамовых зубов и когтей и с тех пор не выпускали из квартиры. Но стоило кухарке приотворить дверь, Хам врывается на кухню, — шерсть торчком, горящие глаза, — выл и шипел на весь дом. Приходилось гнать его щеткой, которую он грыз и кусал. Таков был Хам.

Сейчас он как-то особенно угрожающе кричал на крыше. Митя представил себе, что так именно завывали белые медведи в ту ночь, когда капитан Гаттерас, стоя около саней, запряженных собаками, увидел далеко на горизонте огромный столб огня и дыма, — это в полярное небо взлетели обломки коварно взорванного его корабля. Медведи выли тогда и царапали когтями лед, чувствуя, что капитан Гаттерас не уйдет от них.

Но, конечно, Митя не слушал бы так спокойно Хамовы вопли, если бы знал, что кухарка ушла в сарай, дверь на кухне оставила приоткрытой и Снежок удрал на лестницу.

Но вот настал час радиопередачи. Васьки Табуреткина уже не было у окна. Он сидел за сломанным шкафом в углу и настраивал двухламповый приемник. Странно предположить, что такой бездельник завел себе отличный аппарат с лампочками. Странно, но это так. Откуда он раздобыл деньги на это и почему, раздобыв, не истратил их на дорогие папиросы «Самородок» и на пиво, — тоже не выяснено. Мы сейчас увидим, для чего понадобился приемник.

Передавалась очень интересная лекция: «История открытия Северного полюса». Вот уже все наушники проговорили: «Слушайте, слушайте, слушайте...» Митя Стрельников, не выпуская из рук книжки, сел с другой стороны стола у детекторного приемника, устроенного в пенале, с тем, чтобы одновременно читать и слушать.

Ученый голос начал говорить:

«Уже давно пытливый человеческий ум стремился разгадать тайну Северного полюса. Жюль Верн в своем замечательном романе «Капитан Гаттерас» изобразил одну из таких отважных попыток...»

«Гы, гы, Гаттерас, Матерас, наплевал я на вас», — перебил профессора хулиганский голос Васьки Табуреткина, и во все наушники во всем доме начало получаться так:

«Первая попытка достичь Северного полюса... Черти полосатые, носы конопатые, дураки сопатые... Но отважный мореплаватель погиб вместе с кораблем, затертый льдами севернее Гренландии... Мордандии, чепухандии, всех вас вместе с Гаттерасом облить кислотой...» И тут Васька начал так ругаться, что всякий уважающий себя мальчик бросил бы радионаушники.

Объяснялось все очень просто: Васька Табуреткин, сидя в углу за шкафом, кричал и ругался в ламповый приемник. А, как известно, катодный аппарат принимает звуковые волны, которые образуют слабые индуктивные токи, и посылает магнитные волны на небольшое пространство — на несколько десятков метров. Во всяком случае, все антенны на дворе принимали Васькину ругань, и во всех наушниках получалась невероятная чепуха... Этого Ваське только и нужно было...

Митя Стрельников сорвал наушники, швырнул книжку. От злости стриженные волосы на его голове стали торчком. Кончено! Митя был председателем санитарной комиссии в «Г» классе, членом учкома и секретарем стенгазеты. Он долго не задумывался над тем, как нужно действовать.

Он побежал на лестницу и стал звонить во все квартиры, где были радиолюбители. «Товарищ, — говорил он каждому, — приглашаю вас на двор, на общее собрание по поводу хулиганства Табуреткина...»

Радиолюбители, кто постарше, — отказались, кто помоложе, — пошли на двор к деревянному сараю. Собралось двенадцать мальчиков и девочек. И тут выяснилось — сколько непоправимого зла буквально всем причинил Табуреткин. Все жаловались, все предлагали Ваську заклеить. Но когда дошло дело — как клеймить? — никто ничего путного не предложил.

А Табуреткин, высунувшись из окошка, издевался и плевал на шестнадцать шагов в сторону собрания.

Тогда выступил возмущенный Митя Стрельников.

— Товарищи, — сказал он, — наука изобрела аэропланы, радио, говорящее кино и еще многое. Изобретатель Циолковский скоро полетит на луну. Товарищи, перед нами близкий пример человека, которого не могли остановить никакие препятствия в

мире, — это капитан Гаттерас. А мы даже не можем придумать, как обуздать Табуреткина. Позор!

Тогда все почувствовали позор и опустили головы.

— Товарищи, — продолжал Митя, — я предлагаю не выбирать никаких комиссий, а тут же, не сходя с места, решить, — как обуздать хулигана...

Опустив головы, все молчали. Одни боялись Васьки, у других просто ничего не придумывалось. А Васька Табуреткин кривлялся в окно: пронзительно свистал, хохотал, высовывал язык с бородавками.

Позор, позор!

— Эй, вы, мелочь, — кричал он, — разбегайтесь кто куда, всем сейчас уши пооторву!

И он стал перелезать через окно. Мальчики и девочки с необыкновенной поспешностью разбежались кто куда. Остался один Митя Стрельников. Он сжал кулаки и смело, как капитан Гаттерас, глядел на Табуреткина.

Очевидно, что Мите пришлось бы очень плохо, но в это время произошло следующее: весь двор огласился воплями двух котов. Все, кто был на дворе, подняли головы, люди высунулись из окошек. По крыше, по самому краю, шел Хам, волоча огрызок хвоста.

Там, куда он шел, на крыше, также на самом краю, стоял Снежок, выгнув спину, шеvelя опущенным хвостом. Вся шерсть у него поднялась дыбом. Он шипел.

Хам полз, — волоча брюхо, прижимал уши. Он приближался все медленнее. У Снежка изо рта раздалось шипение, как из паровоза, когда выпускают пар. Вот Хам приблизился — совсем носом к носу. Он орал хриплым мявом, забирая все выше и выше, — крики его не были похожи ни на что в природе.

Васька Табуреткин забыл про Митю. «Вали, вали, вали, — кричал он котам, — бей его, бей его, Хам!...»

Снежок плюнул Хаму в нос: «Пфф, пфф, пфф...» Хам поднял лапу. Снежок ударил его по морде, разорвал ухо. Мгновенно Хам нанес ему две пощечины.

— Уау! — взвыл Снежок. — Пфф, пфф, пфф...

Он приподнялся и заколотил лапами по Хамовой морде. Хам кинулся вперед. Коты сцепились, покатались клубком по краю крыши. Васька Табуреткин заржал от удовольствия. Снежок отскочил. Хам отскочил.

Оба кота тихо выли, усы и уши совсем спрятали под шерсть. Поджимали лапки для прыжка. Кинулись. Подскочили оба на аршин, сцепились в воздухе. Клочками летела белая и рыжая шерсть.

Несомненно, Хам был сильнее, но, должно быть, Снежок повредил ему единственный глаз. Хам прыгнул и промахнулся. Снежок увертывался, норовя сесть верхом. Но каждый раз Хам подскакивал — вверх, в сторону, секунду передыхал и снова кидался в драку. Вот он еще раз промахнулся, и Снежок так ударил его, что Хам лег на спину, но и тут справился. Хам не такой был кот, чтобы дешево продать жизнь.

Он что-то задумал... Он пятился к самому краю крыши, отбиваясь и фыркая. Снежок глядел ему в глаза, не понимая опасности. И вот на самом краю Хам поднялся на задние лапы, передними обхватил Снежка, взвыл и кинулся вместе с ним с высоты пятого этажа. Сидя сверху, он крепко сжимал лапами несчастного Снежка.

Под самым окном Васьки Табуреткина коты тяжело ударились об асфальт: Снежок — спиной, Хам — верхом на нем. Васька загоготал:

— Молодец, Хам, знай наших! — и махнул вихрем в сторону Мити Стрельникова. — Ну-ка, ты теперь ко мне подходи...

Митя Стрельников подошел. Он увидел, что Снежок не шевелится. Хам, оглушенный падением, все еще сидит на нем.

— Думаешь, я тебя боюсь? — сказал Митя. — Ты сильнее, а не боюсь. Ты хулиган, а мы организованные.

— Ах, ты вот как? — сказал Васька, засучивая рукав.

Тогда Митя вспомнил находчивость в борьбе с медведями капитана Гаттераса, вспомнил, что ему, как председателю санитарной комиссии, члену учкома и секретарю стенгазеты, пятиться нельзя. Он схватил Хама за шиворот, не обращая внимания на вой и на острые когти, оттащил от Снежка и швырнул его в окно, в Ваську.

Обезумевший от злости кот вцепился Ваське в голову и оба они кубарем покатались в глубину комнаты. Васька старался отодрать кота. Но не тут-то было. Хам царапался и кусался, плевал в лицо, рвал на Ваське рубашку.

И тогда весь двор с удивлением узнал, что непобедимый хулиган Табуреткин просто — жалкий трус. Он метался и катался вместе с котом по комнате и орал громче Хама.

— Ой-ооОой, спасиИИИтеееееЕЕЕ, бешшШШШенный кооО-От!..

Двенадцать мальчиков и девочек появились изо всех дверей, побежали к Васькину окну. В это время с грохотом повалился старый комод, и под его обломками погиб двухламповый приемник.

— Мамкааа, ууу, — завопил Табуреткин...

Неизвестно, чем бы все это кончилось. Но вот появился дворник Константин, бывший красноармеец, выдавший битвы пострашнее, он налил ведро воды и, подойдя к окну, плеснул на Ваську и на кота.

Тогда только Ваське удалось отодрать от себя разъяренное животное. Плача, с распухшими губами и расцарапанными щеками, он швырнул Хама на двор.

— Так тебе и надо за твое хулиганство, — сказал Константин.

Из окон высовывались люди и говорили:

— И поделом, так и надо, и давно бы так.

А Васька только и мог, что злобно косился припухшими глазками из окна на детей. Радиоприемник его был сломан, хулиганская слава навек погибла.

Хам молча, прыжками унесся за дровяной сарай. Там он начал вылизываться, что, как известно, у кошек заменяет медицину. Сне-

жок тоже отошел понемногу после падения и, прихрамывая, ползая на кухню — жалобно мяукать у кухаркиной юбки.

Митя Стрельников сказал мальчикам и девочкам, что «повестка дня исчерпана», и пошел к себе на пятый этаж дочитывать приключения капитана Гаттераса, который взбирался с невероятными трудностями на ледяную гору, откуда он должен был увидеть наконец открытое море. Там солнце не заходило, — только касалось снежных пустынь, и снова начинался день. По следам Гаттераса гуськом шли голодные медведи...

В доме все радиолюбители сидели за радиоприемниками и ловили волны то из Берлина, то из Стокгольма, то из Лондона, то из Москвы.

ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ
ЛЮДМИЛЕ ИЛЬНИЧНЕ ТОЛСТОЙ

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда я был маленький, — очень, очень давно, — я читал одну книжку; она называлась «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы» (деревянная кукла по-итальянски — буратино).

Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было.

Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого деревянного человечка.

Алексей Толстой

Столяру Джузеппе попало под руку полено, которое пищало человеческим голосом

Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе, по прозвищу Сизый Нос.

Однажды ему попало под руку полено, обыкновенное полено для топки очага в зимнее время.

— Неплохая вещь, — сказал сам себе Джузеппе, — можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола.

Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, — так как очки были тоже старые, — повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал:

— Ой-ой, потише, пожалуйста!

Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую, — никого...

Он заглянул под верстак, — никого...

Он посмотрел в корзине со стружками, — никого...

Он высунул голову за дверь, — никого на улице...

«Неужели мне почудилось? — подумал Джузеппе. — Кто бы это мог пищать?..»

Он опять взял топорик и опять, — только ударил по полену...

— Ой, больно же, говорю! — завыл тоненький голосок.

На этот раз Джузеппе испугался не на шутку, у него даже вспотели очки... Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу.

— Нет никого...

«Может быть, я выпил чего-нибудь неподходящего и у меня звенит в ушах?» — размышлял про себя Джузеппе.

Нет, сегодня он ничего неподходящего не пил... Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру, — не слишком много и не слишком мало, — вылезло лезвие, положил полено на верстак и — только повел стружку...

— Ой, ой, ой, ой, слушайте, чего вы щиплетесь? — отчаянно запищал тоненький голосок...

Джузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел прямо на пол: он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена.

Джузеппе дарит говорящее полено своему другу Карло

В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик, по имени Карло.

Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городам и пением и музыкой добывал себе на хлеб.

Сейчас Карло был уже стар и болен, и шарманка его давно сломалась.

— Здравствуй, Джузеппе, — сказал он, зайдя в мастерскую. — Что ты сидишь на полу?

— А я, видишь ли, потерял маленький винтик... Да ну его! — ответил Джузеппе и покосился на полено. — Ну, а ты как живешь, старина?

— Плохо, — ответил Карло. — Все думаю — чем бы мне заработать на хлеб... Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы, что ли...

— Чего проще, — сказал весело Джузеппе и подумал про себя: «Отделаюсь-ка я сейчас от этого проклятого полена». — Чего проще: видишь — лежит на верстаке превосходное полено, возьми-ка ты это полено, Карло, и отнеси домой...

— Эх-хе-хе, — уныло ответил Карло, — что же дальше-то? Принесу я домой полено, а у меня даже и очага в каморке нет.

— Я тебе дело говорю, Карло... Возьми ножик, вырежь из этого полена куклу, научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина.

В это время на верстаке, где лежало полено, пискнул веселый голосок:

— Браво, прекрасно придумано, Сизый Нос!

Джузеппе опять затрясся от страха, а Карло только удивленно оглядывался, — откуда голос?

— Ну, спасибо, Джузеппе, что посоветовал, давай, пожалуй, твое полено.

Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его другу. Но то ли он неловко сунул, то ли оно само подскочило и стукнуло Карло по голове.

— Ах, вот какие твои подарки! — обиженно крикнул Карло.

— Прости, дружище, это не я тебя стукнул.

— Значит, я сам себя стукнул по голове?

— Нет, дружище, — должно быть, само полено тебя стукнуло.

— Врешь, ты стукнул...

— Нет, не я...

— Я знал, что ты пьяница, Сизый Нос, — сказал Карло, — а ты еще и лгун.

— Ах, ты — ругаться! — крикнул Джузеппе. — Ну-ка, походи ближе!..

— Сам подойди ближе, я тебя схвачу за нос!..

Оба старика надулись и начали наскакивать друг на друга. Карло схватил Джузеппе за сизый нос. Джузеппе схватил Карло за седые волосы, росшие около ушей.

После этого они начали здорово тузить друг друга под микитки. Пронзительный голосок на верстаке в это время пищал и поднаживал:

— Вали, вали хорошенько!

Наконец старики устали и запыхались. Джузеппе сказал:

— Давай помиримся, что ли...

Карло ответил:

— Ну что ж, давай помиримся...

Старики поцеловались. Карло взял полено под мышку и пошел домой.

Карло мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино

Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага — в стене против двери.

Но красивый очаг, и огонь, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие — нарисованы на куске старого холста.

Карло вошел в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так и этак полено, начал ножом вырезать из него куклу.

«Как бы мне ее назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство, — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино, дети — тоже Буратино... Все они жили весело и беспечно...»

Первым делом он вырезал на полене волосы, потом — лоб, потом — глаза...

Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него...

Карло и виду не подал что испугался, только ласково спросил:

— Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня?

Но кукла молчала, — должно быть потому, что у нее еще не было рта. Карло выстругал щеки, потом выстругал нос — обыкновенный...

Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный, острый нос, что Карло даже крикнул:

— Нехорошо, длинен...

И начал срезать у носа кончик. Не тут-то было. Нос вертелся, вывертывался, так и остался — длинным-длинным, любопытным, острым носом.

Карло принялся за рот. Но только успел вырезать губы, — рот сразу открылся:

— Хи-хи-хи, ха-ха-ха!

И высунулся из него, дразнясь, узенький красный язык.

Карло, уже не обращая внимания на эти проделки, продолжал строгать, вырезывать, ковырять... Сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки...

Но едва окончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карло по лысине, щипаться и щеко-таться.

— Послушай, — сказал Карло строго, — ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться... Что же дальше-то будет... А?

И он строго поглядел на Буратино. И Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карло.

Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями. На этом окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить.

Буратино покачался, покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок, скок, — прямо к двери, через порог и — на улицу.

Карло, беспокоясь, пошел за ним.

— Эй, плутишка, вернись!..

Куда там! Буратино бежал по улице, как заяц, только деревянные подошвы его — туки-тук, туки-тук — постукивали по камням...

— Держите его! — закричал Карло.

Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе.

Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. Буратино хотел проскочить у него между ног, но полицейский схватил его за нос и так держал, пока не подоспел папа Карло...

— Ну, погоди ж ты, я с тобой уже расправлюсь, — отпыхиваясь, проговорил Карло и хотел засунуть Буратино в карман куртки...

Буратино совсем не хотелось в такой веселый день при всем народе торчать ногами кверху из кармана куртки, — он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым...

— Ай, ай, — сказал полицейский, — дело, кажется, скверное.

Стали собираться прохожие. Глядя на лежащего Буратино, качали головами.

— Бедняжка, — говорили одни, — должно быть, с голоду...

— Карло его до смерти заколотил, — говорили другие, — этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком, он дурной, он злой человек...

Слыша все это, усатый полицейский схватил несчастного Карло за воротник и потащил в полицейское отделение.

Карло пылил башмаками и громко стонал:

— Ох, ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку!

Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и вприпрыжку побежал домой...

Говорящий Сверчок дает Буратино мудрый совет

Прибежав в каморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула.

— Чего бы еще такое придумать?

Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые.

В это время послышалось:

— Крри-кри, крри-кри, крри-кри.

Буратино завертел головой, оглядывая каморку.

— Эй, кто здесь?

— Здесь я, — крри-кри...

Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на сцене над очагом и тихо потрескивало, — крри-кри, — глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками.

— Эй, ты кто такой?

— Я — Говорящий Сверчок, — ответило существо, — живу в этой комнате больше ста лет.

— Здесь я хозяин, убирайся отсюда.

— Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет, — ответил Говорящий Сверчок, — но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет.

— Очччень мне нужны советы старого сверчка...

— Ах, Буратино, Буратино, — проговорил сверчок, — брось баловство, слушайся Карло, без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи.

— Почччему? — спросил Буратино.

— А вот увидишь — почччему, — ответил Говорящий Сверчок.

— Ах ты, столетняя букашка-таракашка! — крикнул Буратино. — Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома — лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек... Я еще не то придумую!..

— Жаль мне тебя, жаль, Буратино, прольешь ты горькие слезы.

— Почччему? — опять спросил Буратино.

— Потому что у тебя глупая деревянная голова.

Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол, схватил молоток и запустил его в голову Говорящему Сверчку.

Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг, — навсегда из этой комнаты.

*Буратино едва не погибает
по собственному легкомыслию.*

*Папа Карло клеит ему одежду из цветной
бумаги и покупает азбуку*

После случая с Говорящим Сверчком в каморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратино тоже было скучновато.

Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке.

Живо открыл глаза, — курица на тарелке исчезла.

Он опять закрыл глаза, — увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем.

Открыл глаза, — нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем.

Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть.

Он подбежал к очагу и сунул нос в кипящий на огне котелок. Но длинный нос Буратино проткнул насквозь котелок, потому что, как мы знаем, и очаг, и огонь, и дым, и котелок были нарисованы бедным Карло на куске старого холста.

Буратино вытащил нос и поглядел в дырку, — за холстом в стене было что-то похожее на небольшую дверцу, но там было так затянута паутиной, что ничего не разобрать.

Буратино пошел шарить по всем углам, — не найдется ли крошки хлеба или куриной косточки, обглоданной кошкой.

Ах, ничего-то, ничего-то не было у бедного Карло запасено на ужин!

Вдруг он увидел в корзинке со стружками куриное яйцо. Схватил его, поставил на подоконник и носом — тук-тук — разбил скорлупу.

Внутри яйца пискнул голосок:

— Спасибо, деревянный человечек.

Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста и с веселыми глазами.

— До свиданья! Мама Кура давно меня ждет на дворе.

И цыпленок выскочил в окно, — только его и видели.

— Ой, ой, — закричал Буратино, — есть хочу!..

День наконец кончил тянуться. В комнате стало сумеречно.

Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку икал.

Он увидел: из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Высунулось, понюхало и вылезло серое животное на низких лапах.

Не спеша оно пошло к корзине со стружками влезло туда, нюхая и шаря, — сердито зашуршало стружками.

Должно быть, оно искало яйцо, которое разбил Буратино.

Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино. Понюхало его, крутя черным носом с четырьмя длинными волосками с каждой стороны. От Буратино съестным не пахло, — оно пошло мимо, таща за собой длинный тонкий хвост.

Ну, как его было не схватить за хвост! Буратино сейчас же и схватил.

Это оказалась старая злая крыса Шушара.

С испугу она, как тень, кинулась было под лестницу, волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка, — обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло.

Теперь уже Буратино испугался, отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. Крыса — за ним.

Он со стула перескочил на подоконник. Крыса — за ним.

С подоконника он через всю каморку перелетел на стол. Крыса — за ним... И тут на столе она схватила Буратино за горло, повалила, держа его в зубах, соскочила на пол и поволокла под лестницу, в подполье.

— Папа Карло! — успел только пискнуть Буратино.

— Я здесь! — ответил громкий голос.

Дверь распахнулась, вошел папа Карло. Стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу.

Шушара, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась.

— Вот до чего доводит баловство! — проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, все ли у него цело. Посадил его на колени, вынул из кармана луковку, очистил.

— На, ешь!..

Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щеку папы Карло.

— Я буду умненький-благоразумненький, папа Карло... Говорящий Сверчок велел мне ходить в школу.

— Славно придумано, малыш...

— Папа Карло, но ведь я — голенький, деревянненький, — мальчишки в школе меня засмеют.

— Эге, — сказал Карло и почесал щетинистый подбородок. — Ты прав, малыш!

Он зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги. Вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку — колпачком с кисточкой — из старого носка.

Все это надел на Буратино.

— Носи на здоровье!

— Папа Карло, — сказал Буратино, — а как же я пойду в школу без азбуки?

— Эге, ты прав, малыш...

Папа Карло почесал в затылке. Накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу.

Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками.

— Вот тебе азбука. Учись на здоровье.

— Папа Карло, а где твоя куртка?

— Куртку-то я продал... Ничего, обойдусь и так... Только ты живи на здоровье.

Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло.

— Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток...

Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его Говорящий Сверчок.

Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный театр

Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и вприпрыжку побегал в школу.

По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках, — маковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку.

Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажный змей...

Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить за хвост. Но Буратино удержался и от этого.

Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку, на берегу Средиземного моря, играла веселая музыка.

— Пи-пи-пи, — пищала флейта.

— Ла-ла-ла-ла, — пела скрипка.

— Дзинь-дзинь, — звякали медные тарелки.

— Бум! — бил барабан.

В школу нужно поворачивать направо, музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где:

— Пи-ни, пиинии...

— Дзин-лала, дзин-ла-ла...

— Бум!

— Школа же никуда же не уйдет же, — сам себе громко начал говорить Буратино, — я только взгляну, послушаю и бегом — в школу.

Что есть духу он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра.

Наверху балагана, приплясывая, играли четыре музыканта.

Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты.

Около входа стояла большая толпа — мальчики и девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны, — все, все читали большую афишу:

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
ТОЛЬКО ОДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ТОРОПИТЕСЬ!
ТОРОПИТЕСЬ!
ТОРОПИТЕСЬ!

Буратино дернул за рукав одного мальчишку.

— Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?

Мальчик ответил сквозь зубы, не спеша:

— Четыре сольдо, деревянный человечек.

— Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек... Вы не можете мне дать займы четыре сольдо?..

Мальчик презрительно свистнул:

— Нашел дурака?..

— Мне ужжжжжжасно хочется посмотреть кукольный театр! — сквозь слезы сказал Буратино. — Купите у меня за четыре сольдо мою чудную курточку...

— Бумажную куртку за четыре сольдо? Ищи дурака.

— Ну, тогда мой хорошенький колпачок...

— Твоим колпачком только ловить головастика... Ищи дурака.

У Буратино даже похолодел нос — так ему хотелось попасть в театр.

— Мальчик, в таком случае возьмите за четыре сольдо мою новую азбуку...

— С картинками?

— С ччччччудными картинками и большими буквами.

— Давай, пожалуй, — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре сольдо.

Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал:

— Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра.

***Во время представления комедии
куклы узнают Буратино***

Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес.

На занавесе были нарисованы танцующие человечки, девочки в черных масках, страшные бородатые люди в колпаках со звездами, солнце, похожее на блин с носом и глазами, и другие занимательные картинки.

Три раза ударили в колокол, и занавес поднялся.

На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты, с золотыми носами.

Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок.

Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно:

— Здравствуйте, меня зовут Пьеро... Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием: «Девочка с голубыми волосами, или Тридцать три подзатыльника». Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия...

Из-за другого картонного дерева выскочил другой человек, весь клетчатый, как шахматная доска.

Он поклонился почтеннейшей публике:

— Здравствуйте, я — Арлекин!

После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему две пощечины, такие звонкие, что у того со щек посыпалась пудра.

— Ты чего хнычешь, дуралей?

— Я грустный потому, что я хочу жениться, — ответил Пьеро.

— А почему ты не женился?

— Потому что моя невеста от меня убежала...

— Ха-ха-ха, — покатился со смеху Арлекин, — видели дуралея!..

Он схватил палку и отколотил Пьеро.

— Как зовут твою невесту!

— А ты не будешь больше драться?

— Ну нет, я еще только начал.

— В таком случае ее зовут Мальвина, или девочка с голубыми волосами.

— Ха-ха-ха, — опять покатился Арлекин и отпустил Пьеро три подзатыльника. — Послушайте, почтеннейшая публика... Да разве бывают девочки с голубыми волосами?

Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на передней скамейке деревянного мальчишку со ртом до ушей, с длинным носом, в колпачке с кисточкой...

— Смотрите, это Буратино! — закричал Арлекин, указывая на него пальцем.

— Живой Буратино! — завопил Пьеро, взмахивая длинными рукавами.

Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол — девочки в черных масках, страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, горбуны с носами, похожими на огурец...

Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы, и, вглядываясь, затараторили:

— Это Буратино! Это Буратино! К нам, к нам, веселый плутишка Буратино!

Тогда он с лавки прыгнул на суфлерскую будку, а с нее на сцену.

Куклы схватили его, начали обнимать, целовать, щипать... Потом все куклы запели «Польку-птичку»:

Птичка польку танцевала
На лужайке в ранний час.

Нос налево, хвост направо, —
Это полька «Карабас».
Два жука — на барабане,
Дует жаба в контрабас.
Нос налево, хвост направо, —
Это полька «Барабас».
Птичка польку танцевала,
Потому что — весела.
Нос налево, хвост направо
Вот так полечка была...

Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыд.

Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами:

— Довольно лизаться, не маленькие, продолжайте представление!

Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него.

Густая нечесаная борода его волочилась по полу, выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку.

Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук синьор Карабас Барабас.

— Га-га-га, гу-гу-гу! — заревел он на Буратино. — Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии?

Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление.

Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись.

Доктор кукольных наук синьор Карабас Барабас пошел на кухню ужинать.

Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешала, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка.

Помуслив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым.

В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши. Вбежали Арлекин и Пьеро.

— Принесите-ка мне этого бездельника Буратино, — сказал синьор Карабас Барабас. — Он сделан из сухого дерева, я его подкину в огонь, мое жаркое живо зажарится.

Арлекин и Пьеро упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратино.

— А где моя плетка? — зарычал Карабас Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя Буратино и приволокли на кухню.

***Синьор Карабас Барабас, вместо того чтобы
сжечь Буратино, дает ему пять золотых монет
и отпускает домой***

Когда куклы приволокли Буратино и бросили на пол у решетки очага, синьор Карабас Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли.

Вдруг глаза его налились кровью, нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля.

— Аап... аап... аап... — завыл Карабас Барабас, закатывая глаза, — аап-чхи!..

И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге.

Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уже не мог остановиться и чихал пятьдесят, а иногда и сто раз подряд.

От такого необыкновенного чихания он обессилевал и становился добрее.

Пыро украдкой шепнул Буратино:

— Попробуй с ним заговорить между чиханьем...

— Аап-чхи! Аап-чхи! — Карабас Барабас забирал разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами.

На кухне все тряслось, дребезжали стекла, качались сковороды и кастрюли на гвоздях.

Между этими чиханьями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском:

— Бедный я, несчастный, никому-то меня не жалко.

— Перестань реветь! — крикнул Карабас Барабас. — Ты мне мешаешь... Аап-чхи!

— Будьте здоровы, синьор, — всхлипнул Буратино.

— Спасибо... А что — родители у тебя живы? Аап-чхи!

— У меня никогда, никогда не было мамы, синьор. Ах я несчастный! — И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах у Карабаса Барабаса стало колоть, как иголкой.

Он затопал подошвами:

— Перестань визжать, говорю тебе! Аап-чхи! А что, отец у тебя жив?

— Мой бедный отец еще жив, синьор.

— Восображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят. Аап-чхи!

— Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня, синьор.

— Десять тысяч чертей! — заорал Карабас Барабас. — Ни о какой жалости не может быть и речи. Кролик и цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг.

— Синьор, я не могу этого сделать.

— Почему? — спросил Карабас Барабас только для того, чтобы Буратино продолжал разговаривать, а не визжал в уши.

— Синьор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку.

— Что за вздор! — удивился Карабас Барабас. — Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку?

— Потому, синьор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста.

— Аап-чхи! — чихнул Карабас Барабас с таким шумом, что Пьеро отлетел налево, Арлекин — направо, а Буратино завертелся волчком.

— Где ты видел очаг, и огонь, и котелок нарисованными на куске холста?

— В каморке моего папы Карло.

— Твой отец — Карло! — Карабас Барабас вскочил со стула, взмахнул руками, борода его разлетелась. — Так, значит, это в каморке старого Карло находится потайная...

Но тут Карабас Барабас, видимо не желая проговориться о какой-то тайне, обоими кулаками заткнул себе рот. И так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь.

— Хорошо, — сказал он наконец, — я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я тебе дарю жизнь, Буратино. Мало того...

Он залез под бороду в жилетный карман, вытащил пять золотых монет и протянул их Буратино.

— Мало того... Возьми эти деньги и отнеси их Карло. Клянись и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода и самое главное — не уезжать из его каморки, где находится очаг, нарисованный на куске старого холста. Ступай, выспишься и утром пораньше беги домой.

Буратино положил пять золотых монет в карман и ответил с вежливым поклоном:

— Благодарю вас, синьор. Вы не могли доверить деньги в более надежные руки...

Арлекин и Пьеро отвели Буратино в кукольную спальню, где куклы опять начали обнимать, целовать, толкать, щипать и опять обнимать Буратино, так непонятно избежавшего страшной гибели в очаге.

Он шепотом говорил куклам:

— Здесь какая-то тайна.

По дороге домой Буратино встречает двух нищих — кота Базилио и лису Алису

Рано утром Буратино пересчитал деньги, — золотых монет было столько, сколько пальцев на руке, — пять.

Зажав золотые в кулаке, он вприпрыжку побежал домой и напевал:

— Куплю папе Карло новую куртку, куплю много маковых треугольничков, леденцовых петухов на палочках.

Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развевающиеся флаги, он увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге: лису Алису, ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио.

Это был не тот кот, которого Буратино встретил вчера на улице, но другой, — тоже Базилио и тоже полосатый.

Буратино хотел пройти мимо, но лиса Алиса сказала ему умильно:

— Здравствуй, добренький Буратино. Куда так спешишь?

— Домой, к папе Карло.

Лиса вздохнула еще умильнее:

— Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карло, он совсем плох от голода и холода...

— А ты это видела? — Буратино разжал кулак и показал пять золотых.

Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как два зеленых фонаря.

Но Буратино ничего этого не заметил.

— Добренький, хорошенький Буратино, что же ты будешь делать с этими деньгами?

— Куплю куртку для папы Карло... Куплю новую азбуку...

— Азбуку, ох, ох! — сказала лиса Алиса, качая головой. — Не доведет тебя до добра это ученье... Вот я училась, училась, а — гляди — хожу на трех лапах.

— Азбуку, — проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы. — Через это проклятое ученье я глаз лишился...

На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. Слушала, слушала и каркнула:

— Врут, врут!..

Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб ворону с ветки, выдрал ей полхвоста, — едва она улетела. И опять представился, будто он слепой.

— Вы за что так ее, кот Базилио? — удивленно спросил Буратино.

— Глаза-то слепые, — ответил кот, — показалось — это собачонка на дереве...

Пошли они втроем по пыльной дороге. Лиса сказала:

— Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в десять раз больше?

— Конечно, хочу! А как это делается?

— Проще простого. Пойдем с нами.

— Куда?

— В Страну Дураков.

Буратино немного подумал.

— Нет, уж я, пожалуй, сейчас домой пойду.

— Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем, — сказала лиса, — тем хуже для тебя.

— Тем хуже для тебя, — проворчал кот.

— Ты сам себе враг, — сказала лиса.

— Ты сам себе враг, — проворчал кот.

— А то бы твои пять золотых превратились в кучу денег...

Буратино остановился, разинул рот...

— Врешь!

Лиса села на хвост, облизнулась:

— Я тебе сейчас объясню. В Стране Дураков есть волшебное поле, — называется Поле Чудес... На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, фекс, пекс», положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревцо, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно?

Буратино даже подпрыгнул.

— Врешь!

— Идем, Базилио, — обиженно свернув нос, сказала лиса, — нам не верят — и не надо...

— Нет, нет, — закричал Буратино, — верю, верю!.. Идемте скорее в Страну Дураков!..

В харчевне «Трех пескарей»

Буратино, лиса Алиса и кот Базилио спустились под гору и шли, шли — через поля, виноградники, через сосновую рощу, вышли к морю и опять повернули от моря, через ту же рощу, виноградники...

Городок на холме и солнце над ними виднелись то справа, то слева...

Лиса Алиса говорила, вздыхая:

— Ах, не так-то легко попасть в Страну Дураков, все лапы сотрешь...

Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с вывеской над входом:

ХАРЧЕВНЯ «ТРЕХ ПЕСКАРЕЙ»

Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и низко кланялся, прося зайти.

— Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой, — сказала лиса.

— Хоть коркой хлеба угостили бы, — повторил кот.

Зашли в харчевню, сели около очага, где на вертелах и сковородках жарилась всякая всячина.

Лиса поминутно облизывалась, кот Базилио положил лапы на стол, усатую морду — на лапы, уставился на пищу.

— Эй, хозяин, — важно сказал Буратино, — дайте нам три корочки хлеба...

Хозяин едва не упал навзничь от удивления, что такие почтенные гости так мало спрашивают.

— Веселенький, остроумненький Буратино шутит с вами, хозяин, — захихикала лиса.

— Он шутит, — буркнул кот.

— Дайте три корочки хлеба и к ним — вон того чудно зажаренного барашка, — сказала лиса, — и еще того гусенка, да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, еще печеночки...

— Шесть штук самых жирных карасей, — приказал кот, — и мелкой рыбы сырой на закуску.

Короче говоря, они взяли все, что было на очаге; для Буратино осталась одна корочка хлеба.

Лиса Алиса и кот Базилио съели все вместе с костями. Животы у них раздулись, морды залоснились.

— Отдохнем часок, — сказала лиса, — а ровно в полночь выйдем. Не забудьте нас разбудить, хозяин...

Лиса и кот завалились на двух мягких кроватях, захрапели и засвистели. Буратино прикорнул в углу на собачьей подстилке...

Ему снилось дерево с кругленькими золотыми листьями... Только он протянул руку...

— Эй, синьор Буратино, пора, уже полночь...

В дверь стучали. Буратино вскочил, протер глаза. На кровати — ни кота, ни лисы, — пусто.

Хозяин объяснил ему:

— Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться, подкрепились холодным пирогом и ушли...

— Мне ничего не велели передать?

— Очень даже велели, — чтобы вы, синьор Буратино, не теряя ни минуты, бежали по дороге к лесу...

Буратино кинулся к двери, но хозяин стал на пороге, прищурился, руки упер в бока:

— А за ужин кто будет платить?

— Ой, — пискнул Буратино, — сколько?

— Ровно один золотой...

Буратино сейчас же хотел прошмыгнуть мимо его ног, но хозяин схватил вертел, — щетинистые усы, даже волосы над ушами у него встали дыбом.

— Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука!

Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмыгивая от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню.

Ночь была темна, — этого мало — черна, как сажа. Все кругом спало. Только над головой Буратино неслышно летала ночная птица Сплюшка.

Задевая мягким крылом за его нос, Сплюшка повторяла:

— Не верь, не верь, не верь!

Он с досадой остановился:

— Чего тебе?

— Не верь коту и лисе...

— А ну тебя!..

Он побежал дальше и слышал, как Сплюшка верещала вдогонку:

— Бойся разбойников на этой дороге...

На Буратино нападают разбойники

На краю неба появился зеленоватый свет, — восходила луна. Впереди стал виден черный лес.

Буратино пошел быстрее. Кто-то позади него тоже пошел быстрее.

Он припустился бегом. Кто-то бежал за ним вслед бесшумными скачками.

Он обернулся.

Его догоняли двое, — на головах у них были надеты мешки с прорезанными дырками для глаз.

Один, пониже ростом, размахивал ножом, другой, повыше, держал пистолет, у которого дуло расширилось, как воронка...

— Ай-ай! — завизжал Буратино и, как заяц, припустился к черному лесу.

— Стой, стой! — кричали разбойники.

Буратино, хотя и был отчаянно перепуган, все же догадался, — сунул в рот четыре золотых и свернул с дороги к изгороди, заросшей ежевикой... Но тут двое разбойников схватили его...

— Кошелек или жизнь!

Буратино, будто бы не понимая, чего от него хотят, только часто-часто дышал носом. Разбойники трясли его за шиворот, один грозил пистолетом, другой обшаривал карманы.

— Где твои деньги? — рычал высокий.

— Деньги, паршшшивец! — шипел низенький.

— Разорву в клочки!

— Голову отъем!

Тут Буратино от страха так затрясся, что золотые монеты зазвенели у него во рту.

— Вот где у него деньги! — завyli разбойники. — Во рту у него деньги...

Один схватил Буратино за голову, другой — за ноги. Начали его подбрасывать. Но он только крепче сжимал зубы.

Перевернув его кверху ногами, разбойники стукали его головой об землю. Но и это ему было нипочем.

Разбойник, тот, что пониже, принялся широким ножом разжимать ему зубы. Вот-вот уже и разжал... Буратино изловчился — изо всей силы укусил его за руку... Но это оказалась не рука, а кошачья лапа. Разбойник дико взвыл. Буратино в это время вывернулся, как ящерица, кинулся к изгороди, нырнул в колючую ежевику, оставив на колючках клочки штанишек и курточки, перелез на ту сторону и помчался к лесу.

У лесной опушки разбойники опять нагнали его. Он подпрыгнул, схватился за качающуюся ветку и полез на дерево. Разбойники — за ним. Но им мешали мешки на головах.

Вскарабкавшись на вершину, Буратино раскачался и перепрыгнул на соседнее дерево. Разбойники — за ним...

Но она тут же сорвалась и шлепнулась на землю.

Пока они кричали и почесывались, Буратино соскользнул с дерева и припустился бежать, так быстро перебирая ногами, что их даже не было видно.

От луны деревья отбрасывали длинные тени. Весь лес был полосатый...

Буратино то пропадал в тени, то белый колпачок его мелькал в лунном свете.

Так он добрался до озера. Над зеркальной водой висела луна, как в кукольном театре.

Буратино кинулся направо — топко. Налево — топко... А позади опять затрещали сучья...

— Держи, держи его!..

Разбойники уже подбегали, они высоко подскакивали из мокрой травы, чтобы увидеть Буратино.

— Вот он!

Ему оставалось только броситься в воду. В это время он увидел белого лебедя, спавшего близ берега, засунув голову под крыло.

Буратино кинулся в озеро, нырнул и схватил лебедя за лапы.

— Го-го, — гоготнул лебедь, пробуждаясь, — что за неприличные шутки! Оставьте мои лапы в покое!

Лебедь раскрыл огромные крылья, и в то время, когда разбойники уже хватали Буратино за ноги, торчащие из воды, лебедь важно полетел через озеро.

На том берегу Буратино выпустил его лапы, шлепнулся, вскочил и по моховым кочкам, через камыши пустился бежать прямо к большой луне — над холмами.

Разбойники вешают Буратино на дерево

От усталости Буратино едва перебирал ногами, как муха осенью на подоконнике.

Вдруг сквозь ветки орешника он увидел красивую лужайку и посреди ее — маленький, освещенный луной домик в четыре окошка. На ставнях нарисованы солнце, луна и звезды.

Вокруг росли большие лазоревые цветы.

Дорожки посыпаны чистым песочком. Из фонтана била тоненькая струя воды, в ней подплясывал полосатый мячик.

Буратино на четвереньках влез на крыльцо. Постучал в дверь. В домике было тихо. Он постучал сильнее, — должно быть, там крепко спали.

В это время из леса опять выскочили разбойники. Они переплыли озеро, вода лила с них ручьями. Увидев Буратино, низенький разбойник гнусно зашипел по-кошачьи, высокий затыкал по-лисичьи...

Буратино колотил в дверь руками и ногами.

— Помогите, помогите, добрые люди!..

Тогда в окошко высунулась кудрявая хорошенькая девочка с хорошеньким приподнятым носиком.

Глаза у нее были закрыты.

— Девочка, откройте дверь, за мной гонятся разбойники!

— Ах, какая чушь! — сказала девочка, зевая хорошеньким ртом. — Я хочу спать, я не могу открыть глаза...

Она подняла руки, сонно потянулась и скрылась в окошке.

Буратино в отчаянии упал носом в песок и притворился мертвым.

Разбойники подскочили:

— Ага, теперь от нас не уйдешь!..

Трудно вообразить, чего только они не выделявали, чтобы заставить Буратино раскрыть рот.

Если бы во время погони они не обронили ножа и пистолета, — на этом месте и можно было бы окончить рассказ про несчастного Буратино.

Наконец разбойники решили его повесить вниз головой. Привязали к ногам веревку, и Буратино повис на дубовой ветке... Они сели под дубом, протянув мокрые хвосты, и ждали, когда у него вывалятся из рта золотые...

На рассвете поднялся ветер, зашумели на дубу листья. Буратино качался, как деревяшка. Разбойникам наскучило сидеть на мокрых хвостах...

— Повиси, дружок, до вечера, — сказали они зловеще и пошли искать какую-нибудь придорожную харчевню.

Девочка с голубыми волосами возвращает Буратино к жизни

За ветвями дуба, где висел Буратино, разлилась утренняя заря. Трава на поляне стала сизой, лазоревые цветы покрылись капельками росы.

Девочка с кудрявыми голубыми волосами опять высунулась в окошко, протерла и широко открыла заспанные хорошенькие глаза.

Эта девочка была самой красивой куклой из кукольного театра синьора Карабаса Барабаса.

Не в силах выносить грубых выходок хозяина, она убежала из театра и поселилась в уединенном домике на сизой поляне.

Звери, птицы и некоторые из насекомых очень полюбили ее, — должно быть, потому, что она была воспитанная и кроткая девочка.

Звери снабжали ее всем необходимым для жизни.

Крот приносил питательные коренья.

Мыши — сахар, сыр и кусочки колбасы.

Благородная собака — пудель Артемон — приносил булки.

Сорока воровала для нее на базаре шоколадные конфеты в серебряных бумажках.

Лягушки приносили в ореховых скорлупах лимонад.

Ястреб — жареную дичь.

Майские жуки — разные ягоды.

Бабочки — пыльцу с цветов — пудриться.

Гусеницы выдавливали из себя пасту для чистки зубов и смазывания скрипящих дверей.

Ласточки уничтожали вблизи дома ос и комаров...

Итак, открыв глаза, девочка с голубыми волосами сейчас же увидела Буратино, висящего вниз головой.

Она приложила ладони к щекам и вскрикнула:

— Ах, ах, ах!

Под окном, трепля ушами, появился благородный пудель Артемон. Он только что выстриг себе заднюю половину туловища, что делал каждый день. Кудрявая шерсть на передней половине туловища была расчесана, кисточка на конце хвоста перевязана черным бантом. На передней лапе — серебряные часы.

— Я готов!

Артемон свернул в сторону нос и приподнял верхнюю губу над белыми зубами.

— Позови кого-нибудь, Артемон! — сказала девочка. — Надо снять бедняжку Буратино, отнести в дом и пригласить доктора...

— Готов!

Артемон от готовности так завертелся, что сырой песок полетел от его задних лап...

Он кинулся к муравейнику, лаем разбудил все население и послал четыреста муравьев — перегрызть веревку, на которой висел Буратино.

Четыреста серьезных муравьев поползли гуськом по узенькой тропинке, влезли на дуб и перегрызли веревку.

Артемон подхватил передними лапами падающего Буратино и отнес его в дом...

Положив Буратино на кровать, собачьим галопом помчался в лесную заросль и тотчас привел оттуда знаменитого доктора Сову, фельдшерицу Жабу и народного знахаря Богомола, похожего на сухой сучок.

Сова приложила ухо к груди Буратино.

— Пациент скорее мертв, чем жив, — прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов.

Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны.

Пролепетала большим ртом:

— Пациент скорее жив, чем мертв...

Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.

Ее лицо было свежо вымыто, на вздернутом носике и щеках — цветочная пыльца.

Ожидая Буратино, она с досадой отмахивалась от надоевших бабочек:

— Да ну вас, в самом деле...

Оглянула деревянного мальчишку с головы до ног, поморщилась. Велела ему сесть за стол и налила в крошечную чашечку какао.

Буратино сел за стол, подвернул под себя ногу. Миндальные пирожные он запихивал в рот целиком и глотал не жуя.

В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал.

Когда девочка отвернулась, чтобы бросить несколько крошек пожилой жужелице, он схватил кофейник и выпил все какао из носика.

Поперхнулся, пролил какао на скатерть.

Тогда девочка сказала ему строго:

— Вытащите из-под себя ногу и опустите ее под стол. Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки.

От возмущения она хлопала ресницами.

— Кто вас воспитывает, скажите, пожалуйста?

— Когда папа Карло воспитывает, а когда никто.

— Теперь я займусь вашим воспитанием, будьте покойны.

«Вот так влип!» — подумал Буратино.

На траве вокруг дома носился пудель Артемон за маленькими птичками. Когда они садились на деревья, он задира голову, подпрыгивал и лалял с подвыванием.

«Здорово птиц гоняет», — с завистью подумал Буратино.

От приличного сиденья за столом у него по всему телу ползли мурашки.

Наконец мучительный завтрак окончился. Девочка велела ему вытереть с носа какао. Оправила складочки и бантики на платье, взяла Буратино за руку и повела в дом — заниматься воспитанием.

А веселый пудель Артемон носился по траве и лалял, птицы, несколько не боясь его, весело свистали, ветерок весело летал над деревьями.

— Снимите ваши лохмотья, вам дадут приличную куртку и штанишки, — сказала девочка.

Четверо портных: мастер-одиночка, угрюмый рак Шепталло, серый Дятел с хохолком, большой жук Рогач и мышь Лизетта — шили из старых девочкиных платьев красивый мальчишеский костюм. Шепталло кроил, Дятел клювом протыкал дырки и шил. Рогач задними ногами сучил нитки, Лизетта их перегрызала.

Буратино было стыдно надевать девчонкины обноски, но пришлось все-таки переодеться. Сопя носом, он спрятал в карман новой куртки четыре золотые монеты.

— Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, — сказала девочка и взяла кусочек мела. — Мы займемся арифметикой... У вас в кармане два яблока...

Буратино хитро подмигнул.

— Врете, ни одного...

— Я говорю, — терпеливо повторила девочка, — предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок?

— Два.

— Подумайте хорошенько.

Буратино сморщился, — так здорово подумал.

— Два...

— Почему?

— Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись!

— У вас нет никаких способностей к математике, — с огорчением сказала девочка. — Займемся диктантом.

Она подняла к потолку хорошенькие глаза.

— Пишите: «А роза упала на лапу Азора». Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот.

Нам уже известно, что Буратино никогда даже не видел пера и чернильницы.

Девочка сказала: «Пишите», — и он сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с носа на бумагу упала чернильная клякса.

Девочка всплеснула руками, у нее даже брызнули слезы.

— Вы гадкий шалун, вы должны быть наказаны!

Она высунулась в окошко.

— Артемон, отведи Буратино в темный чулан!

Благородный Артемон появился в дверях, показывая белые зубы. Схватил Буратино за курточку и, пятясь, потащил в чулан, где по углам в паутине висели большие пауки. Запер его там, порычал, чтобы хорошенько напугать, и опять умчался за птичками.

Девочка, бросившись на кукольную кружевную кровать, зарыдала оттого, что ей пришлось поступить так жестоко с деревянным мальчиком. Но если уж взялась за воспитание, дело нужно довести до конца.

Буратино ворчал в темном чулане.

— Вот дура девчонка... Нашлась воспитательница, подумаешь... У самой фарфоровая голова, туловище ватой набитое...

В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрежетал мелкими зубами:

— Слушай, слушай...

Буратино поднял испачканный в чернилах нос и в темноте различил висящую под потолком вниз головой летучую мышь.

— Тебе чего?

— Дождись ночи, Буратино.

— Тише, тише, — шуршали пауки по углам, — не качайте наших сетей, не отпугивайте наших мушек...

Буратино сел на сломанный горшок, подпер щеку. Он был в переделках и похуже этой, но возмущала несправедливость.

— Разве так воспитывают детей?.. Это мученье, а не воспитание... Так не сиди да так не ешь... Ребенок, может, еще букваря не освоил, — она сразу за чернильницу хватается... А кобель небось гоняет за птицами, — ему ничего...

Летучая мышь опять пискнула:

— Дождись ночи, Буратино, я тебя поведу в Страну Дураков, там ждут тебя друзья — кот и лиса, счастье и веселье. Жди ночи.

Буратино попадает в Страну Дураков

Девочка с голубыми волосами подошла к двери чулана.

— Буратино, мой друг, вы раскаиваетесь наконец?

Он был очень сердит, к тому же у него совсем другое было на уме.

— Очень нужно мне раскаиваться! Не дождетесь...

— Тогда вам придется просидеть в чулане до утра...

Девочка горько вздохнула и ушла.

Настала ночь. Сова захохотала на чердаке. Жаба выползла из подполья, чтобы шлепать животом по отражениям луны в лужах.

Девочка легла спать в кружевную кроватку и долго огорченно всхлипывала, засыпая.

Артемон, уткнув нос под хвост, спал у дверей ее спальни.

В домике часы с маятником пробили полночь.

Летучая мышь сорвалась с потолка.

— Пора, Буратино, беги! — пискнула ему над ухом. — В углу чулана есть крысиный ход — в подполье... Жду тебя на лужайке.

Она вылетела в слуховое окно. Буратино кинулся в угол чулана, путаясь в паутиновых сетях. Вслед ему злобно шипели пауки.

Он пополз крысиным ходом в подполье. Ход был все уже и уже. Буратино теперь едва протискивался под землей... И вдруг вниз головой полетел в подполье.

Там он едва не попал в крысоловку, наступил на хвост ужу, только что напившемуся молока из кувшина в столовой, и через кошачий лаз выскочил на лужайку.

Над лазоревыми цветами бесшумно летала мышь.

— За мной, Буратино, в Страну Дураков!

У летучих мышей нет хвоста, поэтому мышь летает не прямо, как птица, а вверх и вниз — на перепончатых крыльях, вверх и вниз, похожая на чертика; рот у нее всегда открыт, чтобы, не теряя времени, по пути ловить, кусать, глотать живьем комаров и ночных бабочек.

Буратино бежал за ней по шею в траве, мокрые кашки клестали его по щекам.

Вдруг мышь высоко метнулась к круглой луне и оттуда крикнула кому-то:

— Привела!

Буратино сейчас же кубарем полетел вниз с крутого обрыва. Катился, катился и шлепнулся в лопухи.

Исцарапанный, полон рот песку, с вытаращенными глазами сел.

— Ух, ты!..

Перед ним стояли кот Базилио и лиса Алиса.

— Храбренький, отваженький Буратино, должно быть, свалился с луны, — сказала лиса.

— Странно, как он жив остался, — мрачно сказал кот.

Буратино обрадовался старым знакомым, хотя ему показалось подозрительным, что у кота перевязана тряпкой правая лапа, а у лисы весь хвост испачкан в болотной тине.

— Нет худа без добра, — сказала лиса, — зато ты попал в Страну Дураков...

И она лапой указала на сломанный мост через высохший ручей. По ту сторону ручья среди куч мусора виднелись полуразвалившиеся домишки, чахлые деревья с обломанными ветвями и колокольни, покосившиеся в разные стороны...

— В этом городе продаются знаменитые куртки на заячьем меху для папы Карло, — облизываясь, пела лиса, — азбуки с раскрашенными картинками... Ах, какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках! Ты ведь не потерял еще твои денежки, чудненький Буратино?

Лиса Алиса помогла ему встать на ноги; помуслив лапу, почистила ему курточку и повела через сломанный мост.

Кот Базилио угрюмо ковылял сзади.

Была уже середина ночи, но в Городе Дураков никто не спал. По кривой грязной улице бродили тощие собаки в репьях, зевали от голода:

— Э-хе-хе...

Козы с драной шерстью на боках щипали пыльную траву у тротуара, трясли огрызками хвостов.

— Б-э-э-э-э-да.

Повесив голову, стояла корова; у нее кости торчали сквозь кожу...

— Мууучение... — повторяла она задумчиво.

На кочках грязи сидели общипанные воробьи, — они не улетали — хоть дави их ногами...

Шатались от истощения куры с выдранными хвостами.

Зато на перекрестках стояли навытяжку свирепые бульдоги-полицейские в треугольных шляпах и в колючих ошейниках.

Они кричали на голодных и шелудивых жителей:

— Прррроходи! Дерржи прррраво! Не задерррживайся!..

Лиса тащила Буратино дальше по улице. Они увидели гуляющих под луной по тротуару сытых котов в золотых очках, под руку с кошками в чепчиках.

Гулял толстый Лис — губернатор этого города, важно подняв нос, и с ним — спесивая лисица, державшая в лапе цветок ночной фиалки.

Лиса Алиса шепнула:

— Это гуляют те, кто посеял деньги на Поле Чудес... Сегодня последняя ночь, когда можно сеять. К утру соберешь кучу денег и купишь всякой всячины... Идем скорее...

Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки... Перебивая друг друга, затараторили:

— Рой ямку.

— Клади золотые.

— Посыпь солью.

— Зачерпни из лужи, полей хорошенько.

— Да не забудь сказать «крекс, фекс, пекс».

Буратино почесал нос, испачканный в чернилах.

— А вы уйдите все-таки подальше...

— Боже мой, да мы и смотреть не хотим, где ты зароешь деньги, — сказала лиса.

— Боже сохрани, — сказал кот.

Они отошли немного и спрятались за кучей мусора.

Буратино выкопал ямку. Сказал три раза шепотом: «Крекс, фекс, пекс», положил в ямку четыре золотые монеты, засыпал, из кармана вынул щепотку соли, насыпал сверху. Набрал из лужи пригоршню воды, полил.

И сел ждать, когда вырастет дерево...

Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в свое оправдание

Лиса Алиса думала, что Буратино уйдет спать, а он все сидел на мусорной куче, терпеливо вытянув нос.

Тогда Алиса велела коту остаться караулить, а сама побежала в ближайшее полицейское отделение.

Там, в накуренной комнате, за столом, закапанным чернилами, густо храпел дежурный бульдог.

Лиса самым благонамеренным голоском сказала ему:

— Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного беспризорного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтенненьким гражданам этого города.

Спросонок дежурный бульдог так рывкнул, что под лисой со страха оказалась лужа.

— Ворришка! Гам!

Лиса объяснила, что опасный воришка — Буратино — обнаружен на пустыре.

Дежурный, все еще рыча, позвонил. Ворвались два добермана-пинчера, сыщики, которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя подозревали в преступных намерениях.

Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мертвым в отделение.

Сыщики ответили коротко:

— Тяф!

И помчались на пустырь особым хитрым галопом, заноса задние ноги вбок.

Последние сто шагов они ползли на животах и враз кинулись на Буратино, схватили его под мышки и потащили в отделение.

Буратино болтал ногами, умолял сказать — за что? за что? Сыщики отвечали:

— Там разберут...

Лиса и кот, не теряя времени, выкопали четыре золотые монеты. Лиса так ловко начала делить деньги, что у кота оказалась одна монета, у нее — три.

Кот молча вцепился когтями ей в рожу.

Лиса плотно обхватила его лапами. И они оба некоторое время катались клубком по пустырю. Кошачья и лисья шерсть летела кочками в лунном свете.

Ободрав друг другу бока, они разделили монеты поровну и в ту же ночь скрылись из города.

Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог вылез из-за стола и сам обыскал его карманы.

Не обнаружив ничего, кроме кусочка сахара и крошек миндального пирожного, дежурный кровожадно засопел на Буратино:

— Ты совершил три преступления, негодяй: ты — беспризорный, беспаспортный и безработный. Отвести его за город и утопить в пруду.

Сыщики ответили:

— Тяф!

Буратино пытался рассказать про папу Карло, про свои приключения. Все напрасно! Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд, полный лягушек, пиявок и личинок водяного жука.

Буратино шлепнулся в воду, и зеленая ряска сомкнулась над ним.

***Буратино знакомится с обитателями пруда,
узнает о пропаже четырех золотых монет
и получает от черепахи Тортилы
золотой ключик***

Не нужно забывать, что Буратино был деревянный и поэтому не мог утонуть.

Все же он до того испугался, что долго лежал на воде, весь облепленный зеленой ряской.

Вокруг него собрались обитатели пруда: всем известные своей глупостью черные пузатые головастики, водяные жуки с задними

лапами, похожими на весла, пиявки, личинки, которые кушали все, что попадалось, вплоть до самих себя, и наконец разные мелкие инфузории.

Головастики щекотали его жесткими губами и с удовольствием жевали кисточку на колпаке. Пиявки заползли в карман курточки. Один водяной жук несколько раз влезал на его нос, высоко торчавший из воды, и оттуда бросался в воду — ласточкой.

Мелкие инфузории, извиваясь и торопливо дрожа волосками, заменявшими им руки и ноги, пытались подхватить что-нибудь съедобное, но сами попадали в рот к личинкам водяного жука.

Буратино это наконец надоело, он зашлепал пятками по воде: — Пошли прочь! Я вам не дохлая кошка.

Обитатели шарахнулись кто куда. Он перевернулся на живот и поплыл.

На круглых листьях водяных лилий под луной сидели больше-ротые лягушки, выпученными глазами глядели на Буратино.

— Какая-то каракатица плывет, — квакнула одна.

— Нос, как у аиста, — квакнула другая.

— Это морская лягушка, — квакнула третья.

Буратино, чтобы передохнуть, вылез на большой лист водяной лилии. Сел на нем, плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами:

— Все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках, один я сижу на мокром листе... Дайте поесть чего-нибудь, лягушки.

Лягушки, как известно, очень хладнокровны. Но напрасно думать, что у них нет сердца. Когда Буратино, мелко стуча зубами, начал рассказывать про свои несчастные приключения, лягушки одна за другой подскочили, мелькнули задними ногами и нырнули на дно пруда.

Они принесли оттуда дохлого жука, стрекозиное крылышко, кусочек тины, зернышко рачьей икры и несколько гнилых корешков.

Положив все эти съедобные вещи перед Буратино, лягушки опять вспрыгнули на листья водяных лилий и сидели, как каменные, подняв большеротые головы с выпученными глазами.

Буратино понюхал, попробовал лягушиное угощение.

— Меня стошнило, — сказал он, — какая гадость!..

Тогда лягушки опять — все враз — бултыхнулись в воду...

Зеленая ряска на поверхности пруда заколебалась, и появилась большая, страшная змеиная голова. Она поплыла к листу, где сидел Буратино.

У него дыбом встала кисточка на колпаке. Он едва не свалился в воду от страха.

Но это была не змея. Это была никому не страшная, пожилая черепаха Тортила с подслеповатыми глазами.

— Ах ты безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями! — сказала Тортила. — Сидеть бы тебе дома да прилежно учиться! Занесло тебя в Страну Дураков.

— Так я же хотел же добыть побольше золотых монет для папы Карло... Я оччень хороший и благоразумный мальчик...

— Деньги твои украли кот и лиса, — сказала черепаха. — Они пробежали мимо пруда, остановились попить, и я слышала, как они хвастались, что выкопали твои деньги, и как подрались из-за них... Ох ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями...

— Не ругаться надо, — проворчал Буратино, — тут помочь надо человеку... Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой!.. Как я вернусь к папе Карло? Ай-ай-ай!..

Он тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все враз вздохнули:

— Ух-ух... Тортила, помоги человеку.

Черепаха долго глядела на луну, что-то вспоминала...

— Однажды я вот так же помогла одному человеку, а он потом из моей бабушки и моего дедушки наделал черепаховых гробенок, — сказала она. И опять долго глядела на луну. — Что ж, посиди тут, человечек, а я поползаю по дну, — может быть, найду одну полезную вещьцу.

Она втянула змеиную голову и медленно опустилась под воду.

Лягушки прошептали:

— Черепаха Тортила знает великую тайну.

Прошло долгое, долгое время. Луна уже клонилась за холмы... Снова заколебалась зеленая ряска, появилась черепаха, держа во рту маленький золотой ключик.

Она положила его на лист у ног Буратино.

— Безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями, — сказала Тортила, — не горюй, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я даю тебе этот ключик. Его обронил на дно пруда человек с бородой такой длины, что он ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить. Ах, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик...

Тортила вздохнула, помолчала и опять вздохнула так, что из воды пошли пузыри.

— Но я не помогла ему, я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и моего дедушку, из которых наделали черепаховых гробенок. Бородатый человек много рассказывал про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что нужно отворить им какую-то дверь, и это принесет счастье...

У Буратино забилося сердце, загорелись глаза. Он сразу забыл все свои несчастья. Вытащил из кармана курточки пиявок, положил туда ключик, вежливо поблагодарил черепаху Тортилу и лягушек, бросился в воду и поплыл к берегу. Когда он черненькой тенью показался на краю берега, лягушки ухнули ему вслед:

— Буратино, не потеряй ключик!

Буратино бежит из Страны Дураков и встречает товарища по несчастью

Черепаша Тортила не указала дороги из Страны Дураков.

Буратино бежал куда глаза глядят. За черными деревьями блеснули звезды. Над дорогой свешивались скалы. В ущелье лежало облако тумана.

Вдруг впереди Буратино запрыгал серый комочек. Сейчас же послышался собачий лай.

Буратино прижался к скале. Мимо него, свирепо сопя носами, промчались два полицейских бульдога из Города Дураков.

Серый комочек метнулся с дороги вбок — на откос. Бульдоги за ним.

Когда топот и лай ушли далеко, Буратино припустился бежать так быстро, что звезды быстро-быстро поплыли за черными ветвями.

Вдруг серый комочек опять перескочил дорогу. Буратино успел разглядеть, что это заяц, а на нем верхом, держа его за уши, сидел бледный маленький человечек.

С откоса посыпались камешки, — бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу, и опять все стихло.

Буратино бежал так быстро, что звезды теперь как бешеные неслись за черными ветвями.

В третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек, задев головой за ветку, свалился с его спины и шлепнулся прямо под ноги Буратино.

— Ррр-гаф! Держи его! — проскакали вслед за зайцем полицейские бульдоги: глаза их были так налиты злостью, что не заметили ни Буратино, ни бледного человечка.

— Прощай, Мальвина, прощай навсегда! — плаксивым голосом пропищал человечек.

Буратино наклонился над ним и с удивлением увидел, что это был Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами.

Он лежал головой вниз в колесной борозде и, очевидно, считал себя уже мертвым и пропищал загадочную фразу: «Прощай, Мальвина, прощай навсегда!» — расставаясь с жизнью.

Буратино начал его тормошить, потянул за ногу, — Пьеро не шевелился. Тогда Буратино отыскал завалившуюся в кармане пиявку и приставил ее к носу бездыханного человечка.

Пиявка, недолго думая, цапнула его за нос, Пьеро быстро сел, замотал головой, отодрал пиявку и простонал:

— Ах, я еще жив, оказывается!

Буратино схватил его за щеки, белые, как зубной порошок, целовал, спрашивал:

— Как ты сюда попал? Почему ты скакал верхом на сером зайце?

— Буратино, Буратино, — ответил Пьеро, пугливо оглядываясь, — спрячь меня поскорее... Ведь собаки гнались не за серым

зайцем, они гнались за мной... Синьор Карабас Барабас преследует меня день и ночь. Он нанял в Городе Дураков полицейских собак и поклялся схватить меня живым или мертвым.

Вдали опять затыкали псы. Буратино схватил Пьеро за рукав и потащил его в заросли мимозы, покрытой цветами в виде круглых желтых пахучих пупырышков.

Там, лежа на прелых листьях, Пьеро шепотом начал рассказывать ему:

— Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь как из ведра...

Пьеро рассказывает, каким образом он, верхом на зайце, попал в Страну Дураков

— Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь как из ведра. Синьор Карабас Барабас сидел около очага и курил трубку. Все куклы уже спали. Я один не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами...

— Нашел о ком думать, вот дурень, — перебил Буратино. — Я вчера вечером убежал от этой девчонки — из чулана с пауками...

— Как! Ты видел девочку с голубыми волосами? Ты видел мою Мальвину?

— Подумаешь — невидаль! Плакса и приставала...

Пьеро вскочил, размахивая руками.

— Веди меня к ней... Если ты мне поможешь отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика...

— Как! — закричал Буратино радостно. — Ты знаешь тайну золотого ключика?

— Знаю, где ключик лежит, как его достать, знаю, что им нужно открыть одну дверцу... Я подслушал тайну, и поэтому синьор Карабас Барабас разыскивает меня с полицейскими собаками...

Буратино ужасно захотелось сейчас же похвастаться, что таинственный ключик лежит у него в кармане. Чтобы не проговориться, он стащил с головы колпачок и запихал его в рот.

Пьеро умолял вести его к Мальвине. Буратино при помощи пальцев объяснил этому дуралею, что сейчас темно и опасно, а вот когда рассветет — они побегут к девчонке.

Заставив Пьеро опять спрятаться под кусты мимозы, Буратино проговорил шерстяным голосом, так как рот его был заткнут колпачком:

— Шашкаживай...

— Так вот, — однажды ночью шумел ветер...

— Про это ты уже шашкаживал...

— Так вот, — продолжал Пьеро, — я, понимаешь, не сплю и вдруг слышу: в окно кто-то громко постучался.

Синьор Карабас Барабас заворчал: «Кого это принесло в такую собачью погоду?»

— Это я — Дуремар, — ответили за окном, — продавец лечебных пиявок. Позвольте мне обсушиться у огня.

Мне, понимаешь, очень захотелось посмотреть, какие бывают продавцы лечебных пиявок. Я потихоньку отогнул угол занавески и просунул голову в комнату. И — вижу:

Синьор Карабас Барабас поднялся с кресла, наступил, как всегда, на бороду, выругался и открыл дверь.

Вошел длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким лицом, таким сморщенным, как гриб сморчок. На нем было старое зеленое пальто, на поясе болтались щипцы, крючки и шпильки. В руках он держал жестяную банку и сачок.

— Если у вас болит живот, — сказал он, кланяясь, будто спина у него была сломана посередине, — если у вас сильная головная боль или стучит в ушах, я могу вам приставить за уши полдюжины превосходных пиявок.

Синьор Карабас Барабас проворчал:

— К черту — дьяволу, никаких пиявок! Можете сушиться у огня сколько влезет.

Дуремар стал спиной к очагу.

Сейчас же от его зеленого пальто пошел пар и запахло тинной.

— Плохо идет торговля пиявками, — сказал он опять. — За кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам приставить к ляжке дюжину прекраснейших пиявочек, если у вас ломотья в костях...

— К черту — дьяволу, никаких пиявок! — закричал Карабас Барабас. — Ешьте свинину и пейте вино.

Дуремар начал есть свинину, лицо у него сжималось и растягивалось, как резиновое. Поев и выпив, он попросил щепотку табаку.

— Синьор, я сыт и согрет, — сказал он. — Чтобы отплатить за ваше гостеприимство, я вам открою тайну.

Синьор Карабас Барабас посопел трубкой и ответил:

— Есть только одна тайна на свете, которую я хочу знать. На все остальное я плевал и чихал.

— Синьор, — опять сказал Дуремар, — я знаю великую тайну, ее сообщила мне черепаха Тортила.

При этих словах Карабас Барабас выпучил глаза, вскочил, запутался в бороде, полетел прямо на испуганного Дуремара, прижал его к животу и заревел как бык:

— Любезнейший Дуремар, драгоценнейший Дуремар, говори, говори скорее, что тебе сообщила черепаха Тортила!

Тогда Дуремар рассказал ему следующую историю:

«Я ловил пиявок в одном грязном пруду около Города Дураков. За четыре сольдо в день я нанимал одного бедного человека, — он раздевался, заходил в пруд по шею и стоял там, покуда к его голому телу не присасывались пиявки.

Тогда он выходил на берег, я обирал с него пиявок и опять посылал его в пруд.

Когда мы выловили таким образом достаточное количество, из воды вдруг показалась змеиная голова.

— Послушай, Дуремар, — сказала голова, — ты перепугал все население нашего прекрасного пруда, ты мутишь воду, ты не даешь мне спокойно отдыхать после завтрака... Когда кончится это безобразие?..

Я увидел, что это обыкновенная черепаха, и, нисколько не боясь, ответил:

— Покуда не выловлю всех пиявок в вашей грязной луже...

— Я готова откупиться от тебя, Дуремар, чтобы ты оставил в покое наш пруд и больше никогда не приходил.

Тогда я стал издеваться над черепахой:

— Ах ты, старый плавучий чемодан, глупая тетка Тортила, чем ты можешь от меня откупиться? Разве своей костяной крышкой, куда прячешь лапы и голову... Я бы продал твою крышку на гребешки...

Черепаха позеленела от злости и сказала мне:

— На дне пруда лежит волшебный ключик... Я знаю одного человека, — он готов сделать все на свете, чтобы получить этот ключик...»

Не успел Дуремар произнести эти слова, как Карабас Барабас завопил что есть мочи:

— Этот человек — я! я! я! Любезнейший Дуремар, так отчего же ты не взял у черепахи ключик?

— Вот еще! — ответил Дуремар и собрал морщинами все лицо, так что оно стало похоже на вареный сморчок. — Вот еще! Променять превосходнейших пиявок на какой-то ключик... Короче говоря, мы разругались с черепахой, и она, подняв из воды лапу, сказала:

« — Клянусь — ни ты и никто другой не получают волшебного ключика. Клянусь — его получит только тот человек, кто заставит все население пруда просить меня об этом...»

С поднятой лапой черепаха погрузилась в воду.

— Не теряя секунды, бежать в Страну Дураков! — закричал Карабас Барабас, торопливо засовывая конец бороды в карман, хватая шапку и фонарь. — Я сяду на берег пруда. Я буду умильно улыбаться. Я буду умолять лягушек, головастиков, водяных жуков, чтобы они просили черепаху... Я обещаю им полтора миллиона самых жирных мух... Я буду рыдать, как одинокая корова, стонать, как больная курица, плакать, как крокодил. Я стану на колени перед самым маленьким лягушонком... Ключик должен быть у меня! Я пойду в город, я войду в один дом, я проникну в комнату под лестницей... Я отыщу маленькую дверцу, — мимо нее все ходят, и никто не замечает ее. Всуну ключик в замочную скважину...

— В это время, понимаешь, Буратино, — рассказывал Пьеро, сидя под мимозой на прелых листьях, — мне так стало интересно, что я весь высунулся из-за занавески.

Синьор Карабас Барабас увидел меня.

— Ты подслушиваешь, негодяй! — И он кинулся, чтобы схватить меня и бросить в огонь, но опять запутался в бороде и со страшным грохотом, опрокидывая стулья, растянулся на полу.

Не понимаю, как я очутился за окном, как перелез через изгородь. В темноте шумел ветер и хлестал дождь.

Над моей головой черная туча осветилась молнией, и в десяти шагах позади я увидел бегущих Карабаса Барабаса и продавца пиваков... Я подумал: «Погиб», — споткнулся, упал на что-то мягкое и теплое, схватился за чьи-то уши...

Это был серый заяц. Он со страху заверещал, высоко подскочил, но я крепко держал его за уши, и мы поскакали в темноте через поля, виноградники, огороды.

Когда заяц устал и сядился, обиженно жуя раздвоенной губой, я целовал его в лобик.

— Ну, пожалуйста, ну еще немножко поскачем, серенький...

Заяц вздохнул, и опять мы мчались неизвестно куда — то вправо, то влево...

Когда тучи разнесло и взошла луна, я увидел под горой городишко с покосившимися в разные стороны колокольнями.

По дороге к городу бежали Карабас Барабас и продавец пиваков.

Заяц сказал: «Эхе-хе, вот оно, заячье счастье! Они идут в Город Дураков, чтобы нанять полицейских собак. Готово, мы пропали».

Заяц упал духом. Уткнулся носом в лапки и повесил уши. Я просил, я плакал, я даже кланялся ему в ноги. Заяц не шевелился.

Но когда из города выскочили галопом два курносых бульдога с черными повязками на правых лапах, заяц мелко задрожал всей кожей, — я едва успел вскочить на него верхом, и он дал отчаянного стрекача по лесу...

Остальное ты сам видел, Буратино.

Пьеро окончил рассказ, и Буратино спросил его осторожно:

— А в каком доме, в какой комнате под лестницей находится дверца, которую отпирает ключик?

— Карабас Барабас не успел рассказать об этом... Ах, не все ли нам равно, — ключик на дне озера... Мы никогда не увидим счастья...

— А это ты видел? — крикнул ему в ухо Буратино. И, вытащив из кармана ключик, повертел им перед носом Пьеро. — Вот он!

*Буратино и Пьеро приходят к Мальвине,
но им сейчас же приходится бежать вместе
с Мальвиной и пуделем Артемоном*

Когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали через поле, по которому вчера ночью летучая мышь увела Буратино из дома девочки с голубыми волосами в Страну Дураков.

На Пьеро смешно было смотреть, — так он спешил поскорее увидеть Мальвину.

— Послушай, — спрашивал он через каждые пятнадцать секунд, — Буратино, а что, она мне обрадуется?

— А я почему знаю...

Через пятнадцать секунд опять:

— Послушай, Буратино, а вдруг она не обрадуется?

— А я почему знаю.

Наконец они увидели белый домик с нарисованными на ставнях солнцем, луной и звездами.

Из трубы поднимался дымок. Выше его плыло небольшое облако, похожее на кошачью голову.

Пудель Артемон сидел на крыльце и время от времени рычал на это облако.

Буратино не очень хотелось возвращаться к девочке с голубыми волосами. Но он был голоден и еще издали потянул носом запах кипяченого молока.

— Если девочка опять надумает нас воспитывать, напьемся молока, — и нипочем я здесь не останусь.

В это время Мальвина вышла из домика. В одной руке она держала фарфоровый кофейник, в другой — корзиночку с печеньем.

Глаза у нее все еще были заплаканные, — она была уверена, что крысы утащили Буратино из чулана и съели.

Только она уселась за кукольный стол на песчаной дорожке, — лазоревые цветы заколебались, бабочки поднялись над ними, как белые и желтые листья, и появились Буратино и Пьеро.

Мальвина так широко раскрыла глаза, что оба деревянных мальчика могли бы свободно туда прыгнуть.

Пьеро при виде Мальвины начал бормотать слова — столь бессвязные и глупые, что мы их здесь не приводим.

Буратино сказал как ни в чем не бывало:

— Вот я его привел, — воспитывайте...

Мальвина наконец поняла, что это не сон.

— Ах, какое счастье! — прошептала она, но сейчас же прибавила взрослым голосом: — Мальчики, ступайте немедленно мыться и чистить зубы. Артемон, проводи мальчиков к колодцу.

— Ты видел, — проворчал Буратино, — у нее бзик в голове — мыться, чистить зубы. Кого угодно со света сживет чистотой...

Все же они помылись. Артемон кисточкой на конце хвоста почистил им курточки...

Сели за стол. Буратино набивал еду за обе щеки. Пьеро даже не надкусил ни кусочка пирожного; он глядел на Мальвину так, будто она была сделана из миндального теста.

Ей это наконец надоело.

— Ну, — сказала она ему, — что вы такое увидели у меня на лице? Завтракайте, пожалуйста, спокойно.

— Мальвина, — ответил Пьеро, — я давно уже ничего не ем, я сочиняю стихи...

Буратино затрясся от смеха.

Мальвина удивилась и опять широко раскрыла глаза.

— В таком случае — почитайте ваши стишки.

Хорошенькой рукой она подперла щеку и подняла хорошенькие глаза к облаку, похожему на кошачью голову.

Пьеро начал читать стишки с таким завываньем, будто он сидел на дне глубокого колодца:

Мальвина бежала в чужие края,

Мальвина пропала, невеста моя...

Рыдаю, не знаю — куда мне деваться...

Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?

Не успел Пьеро прочитать, не успела Мальвина похвалить стишки, которые ей очень понравились, как на песчаной дорожке появилась жаба.

Страшно выпучив глаза, она проговорила:

— Сегодня ночью выжившая из ума черепаха Тортила рассказала Карабасу Барабасу все про золотой ключик...

Мальвина испуганно вскрикнула, хотя ничего не поняла. Пьеро, рассеянный, как все поэты, произнес несколько бестолковых восклицаний, которые мы здесь не приводим. Зато Буратино сразу вскочил и начал засовывать в карманы печенье, сахар и конфеты.

— Бежим как можно скорее. Если полицейские собаки приведут сюда Карабаса Барабаса — мы погибли.

Мальвина побледнела, как крыло белой бабочки. Пьеро, подумав, что она умирает, опрокинул на нее кофейник, и хорошенькое платье Мальвины оказалось залитым какао.

Подскочивший с громким лаем Артемон, — а ему-то приходилось стирать Мальвинины платья, — схватил Пьеро за шиворот и начал трясти, покуда Пьеро не проговорил, заикаясь:

— Довольно, пожалуйста...

Жаба глядела выпученными глазами на эту суету и опять сказала:

— Карабас Барабас с полицейскими собаками будет здесь через четверть часа...

Мальвина побежала переодеваться. Пьеро отчаянно заламывал руки и пробовал даже бросаться навзничь на песчаную дорожку. Артемон тащил узлы с домашними вещами. Двери хлопали. Воробьи отчаянно тараторили на кусте. Ласточки проносились над самой землей. Сова для увеличения паники дико захохотала на чердаке.

Один Буратино не растерялся. Он навьючил на Артемона два узла с самыми необходимыми вещами. На узлы посадил Мальвину, одетую в хорошенькое дорожное платье. Пьеро он велел держаться за собачий хвост. Сам стал впереди:

— Никакой паники! Бежим!

Когда они, — то есть Буратино, мужественно шагающий впереди собаки, Мальвина, подпрыгивающая на узлах, и позади Пьеро, начиненный вместо здравого смысла глупыми стихами, — когда они вышли из густой травы на гладкое поле, — из леса высунулась всклокоченная борода Карабаса Барабаса. Он ладонью защитил глаза от солнца и оглядывал окрестность.

Страшный бой на опушке леса

Синьор Карабас Барабас держал на привязи двух полицейских собак. Увидев на ровном поле беглецов, он разинул зубастый рот.

— Ага! — закричал он и спустил собак.

Свирепые псы сначала стали кидать задними лапами землю. Они даже не рычали, они даже глядели в другую сторону, а не на беглецов, — так гордились своей силой.

Потом псы медленно пошли к тому месту, где в ужасе остановились Буратино, Артемон, Пьеро и Мальвина.

Казалось, все погибло. Карабас Барабас косолапо шел вслед за полицейскими псами. Борода его поминутно вылезала из кармана куртки и путалась под ногами.

Артемон поджал хвост и злобно рычал. Мальвина трясла руками:

— Боюсь, боюсь!

Пьеро опустил рукава и глядел на Мальвину, уверенный, что все кончено.

Первым опомнился Буратино.

— Пьеро, — закричал он, — бери за руку девчонку, бегите к озеру, где лебеди!.. Артемон, скидывай тюки, снимай часы, — будешь драться!..

Мальвина, едва только услышала это мужественное распоряжение, соскочила с Артемона и, подобрав платье, побежала к озеру. Пьеро — за ней.

Артемон сбросил тюки, снял с лапы часы и бант с кончика хвоста. Оскалил белые зубы и прыгнул влево, прыгнул вправо, расправляя мускулы, и тоже стал с оттяжкой кидать задними ногами землю.

Буратино взобрался по смолистому стволу на вершину итальянской сосны, одиноко стоявшей на поле, и оттуда закричал, завыл, запищал во всю глотку:

— Звери, птицы, насекомые! наших бьют! Спасайте ни в чем не виноватых деревянных человечков!..

Полицейские бульдоги будто бы только сейчас увидели Артемона и разом кинулись на него. Ловкий пудель увернулся и зубами тяпнул одного пса за огрызок хвоста, другого за ляжку.

Бульдоги неуклюже повернулись и снова кинулись на пуделя. Он высоко подскочил, пропустив их под собой, и опять успел ободрать одному бок, другому — спину.

В третий раз бросились на него бульдоги. Тогда Артемон, опустив хвост по траве, помчался кругами по полю, то подпуская близко полицейских псов, то кидаясь в сторону перед самым их носом...

Курносые бульдоги теперь по-настоящему обозлились, засопели, бежали за Артемоном не спеша, упрямо, готовые лучше сдохнуть, но добраться до горла суетливого пуделя.

Тем временем Карабас Барабас подошел к итальянской сосне, схватился за ствол и начал трясти.

— Слезай, слезай!

Буратино руками, ногами, зубами уцепился за ветку. Карабас Барабас затряс дерево так, что закачались все шишки на ветвях.

На итальянской сосне шишки — колючие и тяжелые, величиной с небольшую дыню. Наладить такой шишкой по голове — так ой-ой!

Буратино едва держался на качающейся ветке. Он видел, что Артемон уже высунул язык красной тряпкой и скачет все медленнее.

— Отдавай ключик! — заорал Карабас Барабас, разинув пасть.

Буратино пополз по ветке, добрался до здоровенной шишки и начал перекусывать стебель, на котором она висела. Карабас Барабас тряхнул сильнее, и тяжелая шишка полетела вниз, — бах! — прямо ему в зубастую пасть.

Карабас Барабас даже присел.

Буратино отодрал вторую шишку, и она — бах! Карабасу Барабасу прямо в темя, как в барабан.

— Наших бьют! — опять закричал Буратино. — На помощь ни в чем не виноватым деревянным человечкам!

Первыми на помощь прилетели стрижи, — бреющим полетом начали стричь воздух перед носом у бульдогов. Псы напрасно щелкали зубами, — стриж не муха: как серая молния — ж-жик мимо носа!

Из облака, похожего на кошачью голову, упал черный коршун — тот, что обыкновенно приносил Мальвине дичь; он вонзил когти в спину полицейской собаки, взмыл на великолепных крыльях, поднял пса и выпустил его...

Пес, визжа, шлепнулся кверху лапами.

Артемон сбоку налетел на другого пса, ударил его грудью, повалил, укусил, отскочил...

И опять помчались по полю вокруг одинокой сосны Артемон и за ним помятые и покусанные полицейские псы.

На помощь Артемону шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости. Ужам все равно нужно было помирать — либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью.

Благородный Артемон решил теперь вступить в открытый бой. Сел на хвост, оскалил клыки.

Бульдоги налетели на него, и все втроем покатались клубком.

Артемон щелкал челюстями, драл когтями. Бульдоги, не обращая внимания на укусы и царапины, ждали одного: добраться до Артемонова горла — мертвой хваткой. Визг и вой стояли по всему полю.

На помощь Артемону шло семейство ежей: сам еж, ежиха, ежова теща, две ежовые незамужние тетки и маленькие еженята.

Летели, гудели толстые черно-бархатные шмели в золотых плащах, шипели крыльями свирепые шершни. Ползли жужелицы и кусачие жуки с длинными усами.

Все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак.

Еж, ежиха, ежова теща, две ежовые незамужние тетки и маленькие еженята сворачивались клубком и со скоростью крокетного шара ударяли иголками бульдогов в морду.

Шмели, шершни с налета жалили их отравленными жалами. Серьезные муравьи не спеша залезали в ноздри и там пускали ядовитую муравьиную кислоту.

Жужелицы и жуки кусали за пупок.

Коршун клевал то одного пса, то другого кривым клювом в череп.

Бабочки и мухи плотным облачком толкались перед их глазами, застилая свет.

Жабы держали наготове двух ужей, готовых умереть геройской смертью.

И вот, когда один из бульдогов широко разинул пасть, чтобы вычихнуть ядовитую муравьиную кислоту, старый слепой уж бросился головой вперед ему в глотку и винтом пролез в пищевод.

То же случилось и с другим бульдогом: второй слепой уж кинулся ему в пасть.

Оба пса, исколотые, изжаленные, исцарапанные, — задыхаясь, начали беспомощно кататься по земле.

Благородный Артемон вышел из боя победителем.

Тем временем Карабас Барабас вытащил наконец из огромного рта колючую шишку.

От удара по темени у него выпучились глаза. Пошатываясь, он опять схватился за ствол итальянской сосны. Ветер развеивал его бороду.

Буратино заметил, сидя на самой верхушке, что конец бороды Карабаса Барабаса, приподнятой ветром, приклеился к смолистому стволу.

Буратино повис на суку и, дразнясь, запищал:

— Дяденька, не догонишь, дяденька, не догонишь!..

Спрыгнул на землю и начал бегать кругом сосны. Карабас Барабас, протянув руки, чтобы схватить мальчишку, побежал за ним, пошатываясь, кругом дерева.

Обежал раз, вот-вот уж, кажется, и схватил скрюченными пальцами удирающего мальчишку, обежал другой, обежал в третий раз...

Борода его обматывалась вокруг ствола, плотно приклеивалась к смоле.

Когда борода окончилась и Карабас Барабас уперся носом в дерево, Буратино показал ему длинный язык и побежал к Лебединому озеру — искать Мальвину и Пьеро.

Потрепанный Артемон на трех лапах, поджав четвертую, ковылял за ним хромой собачьей рысью.

На поле остались два полицейских пса, за жизнь которых, по-видимому, нельзя было дать и дохлой сухой мухи, и растерянный доктор кукольных наук синьор Карабас Барабас, плотно приклеенный бородой к итальянской сосне.

В пещере

Мальвина и Пьеро сидели на сырой теплой кочке в камышах. Сверху их прикрывала паутиновая сеть, замусоренная стрекозиными крыльями и высосанными комарами.

Маленькие голубые птички, перелетая с камышины на камышину, с веселым изумлением поглядывали на горько плачущую девочку.

Издалека доносились отчаянные вопли и визг, — это Артемон и Буратино, очевидно, дорого продавали свою жизнь.

— Боюсь, боюсь! — повторяла Мальвина и листочком лопуха в отчаянии закрывала мокрое лицо.

Пьеро пытался утешать ее стихами:

Мы сидим на кочке,
Где растут цветочки, —
Желтые, приятные,
Очень ароматные.
Будем жить все лето
Мы на кочке этой,
Ах, — в уединении,
Всем на удивление...

Мальвина затопала на него ногами.

— Вы мне надоели, надоели, мальчик!.. Сорвите свежий лопух, — видите же — этот весь промок и в дырках.

Внезапно шум и визг вдали затихли. Мальвина медленно всплеснула руками:

— Артемон и Буратино погибли...

И бросилась лицом на кочку, в зеленый мох.

Пьеро бестолково затоптался около нее. Ветер тихо посвистывал метелками камыша.

Наконец послышались шаги. Несомненно, это шел Карабас Барабас, чтобы грубо схватить и засунуть в свои бездонные карманы

Мальвину и Пьеро. Камыш раздвинулся, — и появился Буратино: нос — торчком, рот до ушей. За ним прихрамывал ободранный Артемон, навьюченный двумя тюками...

— Тоже — захотели со мной драться! — сказал Буратино, не обращая внимания на радость Мальвины и Пьеро. — Что мне кот, что мне лиса, что мне полицейские собаки, что мне сам Карабас Барабас — тьфу! Девчонка, полезай на собаку, мальчишка, держись за хвост. Пошли...

И он мужественно зашагал по кочкам, локтями раздвигая камыш, — кругом озера на ту сторону...

Мальвина и Пьеро не смели даже спросить его, чем кончился бой с полицейскими собаками и почему их не преследует Карабас Барабас.

Когда добрались до того берега озера, благородный Артемон начал скулить и хромать на все лапы. Надо было сделать привал, чтобы перевязать ему раны. Под огромными корнями сосны, растущей на каменистом пригорке, увидели пещеру. Туда втащили тюки, и туда же вполз Артемон.

Благородная собака сначала облизывала каждую лапу, потом протягивала ее Мальвине. Буратино рвал Мальвинину старую рубашку на бинты, Пьеро их держал, Мальвина перевязывала лапы.

После перевязки Артемон поставили градусник, и собака спокойно заснула.

Буратино сказал:

— Пьеро, катись к озеру, принеси воды.

Пьеро послушно поплелся, бормоча стихи и спотыкаясь, по дороге потерял крышку, едва принес воды на дне чайника.

Буратино сказал:

— Мальвина, слетай-ка, набери веток для костра.

Мальвина с укоризной взглянула на Буратино, пожалала плечиком, — и принесла несколько сухих стебельков...

Буратино сказал:

— Вот наказание с этими хорошо воспитанными...

Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру костер, такой шумный, что закачались ветви на высокой сосне... Сам сварил какао на воде.

— Живо! Садись завтракать...

Мальвина все это время молчала, поджав губы. Но теперь она сказала — очень твердо, взрослым голосом:

— Не думайте, Буратино, что если вы дрались с собаками и победили, спасли нас от Карабаса Барабаса и в дальнейшем вели себя мужественно, то вас это избавляет от необходимости мыть руки и чистить зубы перед едой...

Буратино так и сел: вот тебе раз! — выпучил глаза на девчонку с железным характером.

Мальвина вышла из пещеры и хлопнула в ладоши:

— Бабочки, гусеницы, жуки, жабы...

Не прошло минуты — прилетели большие бабочки испачканные цветочной пылью. Приползли гусеницы и угрюмые навозные жуки.

На животах приклепали жабы...

Бабочки, вздыхая крыльями, сели на стены пещеры, чтобы внутри было красиво и обсыпавшаяся земля не попадала в кушанье.

Навозные жуки скатывали в шарики весь мусор на полу пещеры и выкидывали их прочь.

Жирная белая гусеница вползла на голову Буратино и, свесившись с его носа, выдавила немного пасты ему на зубы. Хочешь не хочешь, пришлось их почистить.

Другая гусеница почистила зубы Пьеро.

Появился заспанный барсук, похожий на мохнатого поросенка... Он брал лапой коричневых гусениц, выдавливал из них коричневую пасту на обувь и хвостом отлично вычистил все три пары башмаков — у Мальвины, Буратино и Пьеро.

Почистив, зевнул: а-ха-ха, — и ушел вперевалку.

Влетел суетливый, пестрый, веселый удод с красным хохолком, который вставал дыбом, когда он чему-нибудь удивлялся.

— Кого причесать?

— Меня, — сказала Мальвина. — Завейте и причешите, я растрепана...

— А где же зеркало? Послушайте, душечка...

Тогда пучеглазые жабы сказали:

— Мы принесем...

Десять жаб зашлепали животами к озеру. Вместо зеркала они приволокли зеркального карпа, такого жирного и сонного, что ему было все равно, куда его тащат под плавники.

Карпа поставили на хвост перед Мальвиной. Чтобы он не задыхался, ему в рот лили из чайника воду.

Суетливый удод завил и причесал Мальвину. Осторожно взял со стены одну из бабочек и припудрил ею девчонкин нос.

— Готово, душечка...

И — ффрр! — пестрым клубком вылетел из пещеры.

Жабы утащили зеркального карпа обратно в озеро. Буратино и Пьеро — хочешь не хочешь — вымыли руки и даже шею.

Мальвина разрешила сесть завтракать.

После завтрака, смахнув крошки с колен, она сказала:

— Буратино, мой друг, в прошлый раз мы с вами остановились на диктанте. Продолжим урок...

Буратино захотелось выскочить из пещеры — куда глаза глядят. Но нельзя же было бросить беспомощных товарищей и большую собаку! Он проворчал:

— Письменных принадлежностей не взяли...

— Неправда, взяли — простонал Артемон. Дополз до узла, зубами развязал его и вытащил пузырек с чернилами, пенал, тетрадь и даже маленький глобус.

— Не держите вставочку судорожно и слишком близко к перу, иначе вы испачкаете пальцы в чернилах, — сказала

Мальвина. Подняла хорошенькие глаза к потолку пещеры на бабочек и...

В это время послышался хруст веток, грубые голоса, — мимо пещеры прошли продавец лечебных пиявок Дуремар и волочащий ноги Карабас Барабас.

На лбу у директора кукольного театра багровела огромная шишка, нос распух, борода — в клочьях и вымазана в смоле.

Охая и отплеываясь, он говорил:

— Они далеко не могли убежать. Они где-нибудь здесь, в лесу.

Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика

Карабас Барабас и Дуремар медленно прошли мимо пещеры.

Во время боя на равнине продавец лечебных пиявок в страхе сидел за кустом. Когда все кончилось, он подождал, покуда Артемон и Буратино не скроются в густой траве, и тогда только с большими трудностями отодрал от ствола итальянской сосны бороду Карабаса Барабаса.

— Ну и отделал же вас мальчишка, — сказал Дуремар. — Придется вам приставить к затылку две дюжины самых лучших пиявок...

Карабас Барабас заревел:

— Сто тысяч чертей! Живо в погоню за негодьями!..

Карабас Барабас и Дуремар пошли по следам беглецов. Они раздвигали руками траву, осматривали каждый куст, обшаривали каждую кочку.

Они видели дымок костра у корней старой сосны, но им и в голову не пришло, что в этой пещере скрывались деревянные человечки да еще зажгли костер.

— Этого негодяя Буратино разрежу перочинным ножом на кусочки, — ворчал Карабас Барабас.

Беглецы притаились в пещере.

Что теперь делать? Бежать? Но Артемон, весь забинтованный, крепко спал. Пес должен был спать двадцать четыре часа, чтобы зажили раны.

Неужели же бросить благородную собаку одну в пещере?

Нет, нет, спастись — так всем вместе, погибать — так всем вместе...

Буратино, Пьеро и Мальвина, в глубине пещеры, уткнувшись носами, долго совещались. Решили: прождать здесь до утра, вход в пещеру замаскировать ветками и для скорейшего выздоровления Артемону сделать питательную клизму.

Буратино сказал:

— Я все-таки хочу во что бы то ни стало узнать у Карабаса Барабаса, где эта дверца, которую открывает золотой ключик. За

дверцей хранится что-нибудь замечательное... удивительное. И оно должно принести нам счастье...

— Боюсь без вас оставаться, боюсь, — простионала Мальвина.

— А Пьеро вам на что?

— Ах, он только читает стишки...

— Я буду защищать Мальвину, как лев, — проговорил Пьеро хриплым голосом, каким разговаривают крупные хищники, — вы меня еще не знаете...

— Молодчина Пьеро, давно бы так!

И Буратино пустился бежать по следам Карабаса Барабаса и Дуремара.

Он их вскоре увидел. Директор кукольного театра сидел на берегу ручья, Дуремар ставил ему на шишку компресс из листьев конского щавеля. Издалека было слышно свирепое урчанье в пустом желудке у Карабаса Барабаса и скучное попискивание в пустом желудке у продавца лечебных пиявок.

— Синьор, нам необходимо подкрепиться, — говорил Дуремар, — поиски негодяев могут затянуться до глубокой ночи.

— Я бы съел сейчас целого поросеночка да парочку уток, — мрачно ответил Карабас Барабас.

Приятели побрели к харчевне «Трех пескарей» — ее вывеска виднелась на пригорке. Но скорее, чем Карабас Барабас и Дуремар, припустился туда Буратино, пригибаясь к траве, чтобы его не заметили.

Около дверей харчевни Буратино подкрался к большому петуху, который, найдя зернышко или кусочек цыплячьей кишки, гордо встряхивал красным гребешком, шаркал когтями и с тревогою звал кур на угощенье:

— Ко-ко-ко!

Буратино протянул ему на ладони крошки миндального пирожного.

— Угощайтесь, синьор главнокомандующий.

Петух строго взглянул на деревянного мальчишку, но не удержался и клюнул его в ладонь.

— Ко-ко-ко!..

— Синьор главнокомандующий, мне нужно бы пройти в харчевню, но так, чтобы хозяин меня не заметил. Я спрячусь за ваш великолепный разноцветный хвост, и вы доведете меня до самого очага. Ладно?

— Ко-ко! — еще более гордо произнес петух.

Он ничего не понял, но чтобы не показать, что ничего не понял, важно пошел к открытой двери харчевни. Буратино схватил его под крылья за бока, прикрылся его хвостом и на корточках пробрался на кухню, к самому очагу, где сутился плешивый хозяин харчевни, крутя на огне вертела и сковороды.

— Пошло прочь, старое бульонное мясо! — крикнул на петуха хозяин и так поддал ногой, что петух — ку-дах-тах-тах! — с отчаянным криком вылетел на улицу к перепуганным курам.

Буратино, незамеченный, шмыгнул мимо ног хозяина и присел за большим глиняным кувшином.

В это время послышались голоса Карабаса Барабаса и Дуремара.

Хозяин, низко кланяясь, вышел им навстречу.

Буратино влез внутрь глиняного кувшина и там притаился.

Буратино узнает тайну золотого ключика

Карабас Барабас и Дуремар подкреплялись жареным поросеночком. Хозяин подливал вина в стаканы.

Карабас Барабас, обсасывая поросячью ногу, сказал хозяину:

— Дрянь у тебя вино, налей-ка мне вон из того кувшина! — И указал костью на кувшин, где сидел Буратино.

— Синьор, этот кувшин пуст, — ответил хозяин.

— Врешь, покажи.

Тогда хозяин поднял кувшин и перевернул его. Буратино изо всей силы уперся локтями в бока кувшина, чтобы не вывалиться.

— Там что-то чернеется, — прохрипел Карабас Барабас.

— Там что-то белеется, — подтвердил Дуремар.

— Синьоры, чирей мне на язык, прострел мне в поясницу, — кувшин пуст!

— В таком случае ставь его на стол — мы будем кидать туда кости.

Кувшин, где сидел Буратино, поставили между директором кукольного театра и продавцом лечебных пивков. На голову Буратино посыпались обглоданные кости и корки.

Карабас Барабас, выпив много вина, протянул к огню очага бороду, чтобы с нее капала налипшая смола.

— Положу Буратино на ладонь, — хвастливо говорил он, — другой ладонью прихлопну, — мокрое место от него останется.

— Негодяй вполне этого заслуживает, — подтверждал Дуремар, — но сначала к нему хорошо бы приставить пивков, чтобы они высосали всю кровь...

— Нет! — стучал кулаком Карабас Барабас. — Сначала я отниму у него золотой ключик...

В разговор вмешался хозяин, — он уже знал про бегство деревянных человечков.

— Синьор, вам нечего утомлять себя поисками. Сейчас я позову двух расторопных ребят, — покуда вы подкрепляетесь вином, они живо обыщут весь лес и притащат сюда Буратино.

— Ладно. Посылай ребят, — сказал Карабас Барабас, подставляя к огню огромные подошвы. И так как он был уже пьян, то во всю глотку запел песню:

Мой народец странный,
Глупый, деревянный.

Кукольный владыка,
Вот я кто, поди-ка...
Грозный Карабас,
Славный Барабас...
Куклы предо мною
Стелются травую.
Будь ты хоть красотка —
У меня есть плетка,
Плетка в семь хвостов,
Плетка в семь хвостов.
Погрожу лишь плеткой —
Мой народец кроткий
Песни распевает,
Денежки собирает
В мой большой карман,
В мой большой карман...

Тогда Буратино завывающим голосом проговорил из глубины кувшина:

— Открой тайну, несчастный, открой тайну!..

Карабас Барабас от неожиданности громко щелкнул челюстями и выпучился на Дуремара.

— Это ты?

— Нет, это не я...

— Кто же сказал, чтобы я открыл тайну?

Дуремар был суеверен; кроме того, он тоже выпил много вина. Лицо у него посинело и сморщилось от страха, как гриб сморчок.

Глядя на него, и Карабас Барабас застучал зубами.

— Открой тайну, — опять завыл таинственный голос из глубины кувшина, — иначе не сойдешь с этого стула, несчастный!

Карабас Барабас попытался вскочить, но не мог даже и приподняться.

— Как-ка-какую та-та-тайну? — спросил он, заикаясь.

Голос ответил:

— Тайну черепахи Тортилы.

От ужаса Дуремар медленно полез под стол. У Карабаса Барабаса отвалилась челюсть.

— Где находится дверь, где находится дверь? — будто ветер в трубе в осеннюю ночь, провыл голос...

— Отвечу, отвечу, замолчи, замолчи, — прошептал Карабас Барабас. — Дверь — у старого Карло в каморке, за нарисованным очагом...

Едва он произнес эти слова, со двора вошел хозяин.

— Вот надежные ребята, за деньги они приведут к вам, синьор, хоть самого черта...

И он указал на стоящих на пороге лису Алису и кота Базилио. Лиса почтительно сняла старую шляпу.

— Синьор Карабас Барабас подарит нам на бедность десять золотых монет, и мы отдадим вам в руки негодяя Буратино, не сходя с этого места.

Карабас Барабас залез под бороду в жилетный карман, вынул десять золотых.

— Вот деньги, а где Буратино?

Лиса несколько раз пересчитала монеты, вздохнула, отдавая половину коту, и указала лапой:

— Он в этом кувшине, синьор, у вас под носом...

Карабас Барабас схватил со стола кувшин и бешено швырнул его о каменный пол. Из осколков и кучи обглоданных костей выскочил Буратино. Пока все стояли, разинув рты, он, как стрела, кинулся из харчевни на двор — прямо к петуху, который гордо рассматривал то одним глазом, то другим дохлого червячка.

— Это ты меня предал, старый котлетный фарш! — свирепо вытянув нос, сказал ему Буратино. — Ну, теперь лупи что есть духу...

И он плотно вцепился в его генеральский хвост. Петух, ничего не понимая, растопырил крылья и пустился бежать на голенастых ногах. Буратино — в вихре — за ним, — под гору, через дорогу, по полю, к лесу.

Карабас Барабас, Дуремар и хозяин харчевни опомнились наконец от удивления и выбежали вслед за Буратино. Но сколько они ни оглядывались, его нигде не было видно, только вдалеке по полю лупил что есть духу петух. Но так как всем было известно, что он дурак, то на этого петуха никто не обратил внимания.

Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но все кончается благополучно

Глупый петух умирался, едва бежал, разинув клюв. Буратино отпустил наконец его помятый хвост.

— Ступай, генерал, к своим курам...

И один пошел туда, где сквозь листву ярко блестело Лебединое озеро.

Вот и сосна на каменистом пригорке, вот и пещера. Вокруг разбросаны наломанные ветки. Трава примята следами колес.

У Буратино отчаянно забилось сердце. Он соскочил с пригорка, заглянул под корявые корни...

Пещера была пуста!!!

Ни Мальвины, ни Пьеро, ни Артемона.

Только валялись две тряпочки. Он их поднял, — это были оторванные рукава от рубашки Пьеро.

Друзья кем-то похищены! Они погибли! Буратино упал ничком, — нос его глубоко воткнулся в землю.

Он только теперь понял, как дороги ему друзья. Пусть Мальвина занимается воспитанием, пусть Пьеро хоть тысячу раз подряд читает стишки, — Буратино отдал бы даже золотой ключик, чтобы увидеть снова друзей.

Около его головы бесшумно поднялся рыхлый бугорок земли, вылез бархатный крот с розовыми ладонями, пискляво чихнул три раза и сказал:

— Я слеп, но я отлично слышу. Сюда подъезжала тележка, запряженная овцами. В ней сидел Лис, губернатор Города Дураков, и сыщики. Губернатор приказал:

«Взять негодяев, которые поколотили моих лучших полицейских при исполнении обязанностей! Взять!»

Сыщики ответили:

«Тяф!»

Бросились в пещеру, и там началась отчаянная возня. Твоих друзей связали, кинули в тележку вместе с узлами и уехали.

Что за польза была лежать, завязив нос в земле! Буратино вскочил и побежал по следам колес. Обогнул озеро, вышел на поле с густой травой.

Шел, шел... У него не было никакого плана в голове. Надо спасти товарищей, — вот и все...

Дошел до обрыва, откуда позпрошлой ночью сорвался в лопухи. Внизу увидел грязный пруд, где жила черепаха Тортила. По дороге к пруду спускалась тележка; ее тащили две худые, как скелеты, овцы с ободранной шерстью.

На козлах сидел жирный кот, с надутыми щеками, в золотых очках, — он служил при губернаторе тайным нашептывателем в ухо. Позади него — важный Лис, губернатор... На узлах лежали Мальвина, Пьеро и весь забинтованный Артемон, — всегда такой расчесанный хвост его волочился кисточкой по пыли.

Позади тележки шли два сыщика — добермана-пинчера.

Вдруг сыщики подняли собачьи морды и увидели наверху обрыва белый колпачок Буратино.

Сильными прыжками пинчеры начали взбираться по крутому косогору. Но прежде чем они доскакали до верха, Буратино, — а ему уже никуда не скрыться, не убежать, — сложил руки над головой и — ласточкой — с самого крутого места кинулся вниз, в грязный пруд, затянутый зеленой ряской.

Он описал в воздухе кривую и, конечно, угодил бы в пруд под защиту тетки Тортилы, если бы не сильный порыв ветра.

Ветер подхватил легонького деревянного Буратино, закружил, завертел его «двойным штопором», швырнул в сторону, и он, падая, шлепнулся прямо в тележку, на голову губернатора Лиса.

Жирный кот в золотых очках от неожиданности свалился с козел, и так как он был подлец и трус, то притворился, что упал в обморок.

Губернатор Лис, тоже отчаянный трус, с визгом кинулся удирать по косогору и тут же залез в барсучью нору. Там ему пришлось не сладко: барсуки сурово расправляются с такими гостями.

Овцы шарахнулись, тележка опрокинулась. Мальвина, Пьеро и Артемон вместе с узлами покатались в лопухи.

Все это произошло так быстро, что вы, дорогие читатели, не успели бы сосчитать всех пальцев на руке.

Доберманы-пинчеры огромными прыжками кинулись вниз с обрыва. Подскочив к опрокинутой тележке, увидели жирного кота в обмороке. Увидели в лопухах валяющихся деревянных человечков и забинтованного пуделя. Но нигде не было видно губернатора Лиса.

Он исчез, — будто сквозь землю провалился тот, кого сыщики должны охранять, как зеницу ока.

Первый сыщик, подняв морду, издал собачий вопль отчаяния.

Второй сыщик сделал то же самое:

— Ай, ай, ай, ай-у-у-у!

Они кинулись и обыскали весь косогор. Снова тоскливо взвыли, потому что им уже мерещились плетка и железная решетка.

Униженно виляя задами, они побежали в Город Дураков, чтобы наврать в полицейском отделении, будто губернатор был взят на небо живым, — так по дороге они придумали в свое оправданье.

Буратино потихоньку ощупал себя, — ноги, руки были целы. Он пополз в лопухи и освободил от веревок Мальвину и Пьеро.

Мальвина, не говоря ни слова, обхватила Буратино за шею, но поцеловать не могла — помешал его длинный нос.

У Пьеро по локоть были оторваны рукава, белая пудра осыпалась со щек, и оказалось, что щеки у него обыкновенные — румяные, несмотря на его любовь к стихам.

— Я здорово дрался, — грубым голосом сказал он. — Кабы мне не дали под ножку — нипочем бы меня не взяли.

Мальвина подтвердила:

— Он дрался, как лев.

Она обхватила Пьеро за шею и поцеловала в обе щеки.

— Довольно, довольно лизаться, — проворчал Буратино, — бежимте. Артемона потащим за хвост.

Они ухватились все трое за хвост несчастной собаки и потащили ее по косогору наверх.

— Пустите, я сам пойду, мне так унизительно, — стонал забинтованный пудель.

— Нет, нет, ты слишком слаб.

Но едва они взобрались до половины косогора, наверху показали Карабас Барабас и Дуремар. Лиса Алиса показывала лапой на беглецов, кот Базилио щетинил усы и отвратительно шипел.

— Ха-ха-ха, вот так ловко! — захохотал Карабас Барабас. — Сам золотой ключик идет мне в руки!

Буратино торопливо придумывал, как выпутаться из новой беды. Пьеро прижал к себе Мальвину, намереваясь дорого продать жизнь. На этот раз не было никакой надежды на спасение.

Дуремар хихикал наверху косогора.

— Больную собачку-пуделя, синьор Карабас Барабас, вы мне отдайте, я ее брошу в пруд пиявочкам, чтобы мои пиявочки разжирели...

Толстому Карабасу Барабасу лень было спускаться вниз, он манил беглецов пальцем, похожим на сардельку:

— Идите, идите ко мне, деточки...

— Ни с места! — приказал Буратино. — Погибать — так весело! Пьеро, говори какие-нибудь свои самые гадкие стишки. Мальвина, хохочи во всю глотку...

Мальвина, несмотря на некоторые недостатки, была хорошим товарищем. Она вытерла слезы и засмеялась очень обидно для тех, кто стоял наверху косогора.

Пьеро сейчас же сочинил стихи и завыл неприятным голосом:

Лису Алису жалко —
Плачет по ней палка.
Кот Базилио нищий —
Вор, гнусный котище.
Дуремар, наш дурачок,
Безобразнейший сморчок.
Карабас ты Барабас,
Не боимся очень вас...

В то же время Буратино кривлялся и дразнился:

— Эй ты, директор кукольного театра, старый пивной бочонок, жирный мешок, набитый глупостью, спустись, спустись к нам, — я тебе наплюю в драную бороду!

В ответ Карабас Барабас страшно зарычал, Дуремар поднял тощие руки к небу.

Лиса Алиса криво усмехнулась:

— Разрешите свернуть шеи этим нахалам?

Еще минута, и все было бы кончено... Вдруг со свистом промчались стрижи:

— Здесь, здесь, здесь!..

Над головой Карабаса Барабаса пролетела сорока, громко тараторя:

— Скорее, скорее, скорее!..

И наверху косогора появился старый папа Карло. Рукава у него были засучены, в руке сучковатая палка, брови нахмурены...

Он плечом толкнул Карабаса Барабаса, локтем — Дуремара, дубинкой вытянул по спине лису Алису, сапогом швырнул в сторуку кота Базилио...

После этого, нагнувшись и глядя с косогора вниз, где стояли деревянные человечки, сказал радостно:

— Сын мой, Буратино, плутишка, ты жив и здоров, — иди же скорее ко мне!

Буратино наконец возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном

Неожиданное появление Карло, его дубинка и нахмуренные брови навели ужас на негодяев.

Лиса Алиса уползла в густую траву и там дала стрекача, иногда лишь останавливаясь, чтобы поежиться после удара дубинкой.

Кот Базилио, отлетев шагов на десять, шипел от злости, как проткнутая велосипедная шина.

Дуремар подобрал полы зеленого пальто и полез с косогора вниз, повторяя:

— Я ни при чем, я ни при чем...

Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлепнулся в пруд.

Карабас Барабас остался стоять, где стоял. Он только втянул всю голову до макушки в плечи; борода его висела, как пакля.

Буратино, Пьеро и Мальвина взобрались наверх. Папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем:

— Вот я вас ужо, баловники!

И клал за пазуху.

Потом он спустился на несколько шагов с косогора и присел над несчастной собакой. Верный Артемон поднял морду и лизнул Карло в нос. Буратино тотчас высунулся из-за пазухи.

— Папа Карло, мы без собаки домой не пойдем.

— Э-хе-хе, — ответил Карло, — тяжеленько будет, ну да уж как-нибудь донесу вашего песика.

Он взвалил Артемона на плечо и, отдуваясь от тяжелого груза, полез наверх, где, все так же втянув голову, выпучив глаза, стоял Карабас Барабас.

— Куклы мои... — проворчал он.

Папа Карло ответил ему сурово:

— Эх ты! С кем на старости лет связался, — с известными всему свету жуликами, с Дуремаром, с котом, с лисой. Маленьких обижаете! стыдно, доктор!

И Карло пошел по дороге в город.

Карабас Барабас со втянутой головой шел за ним следом.

— Куклы мои, отдай!..

— Нипочем не отдавай! — завопил Буратино, высовываясь из-за пазухи.

Так шли, шли. Миновали харчевню «Трех пескарей», где в дверях кланялся плешивый хозяин, показывая обеими руками на шипящие сковородки. Около дверей взад и вперед, взад и вперед расхаживал петух с выдраным хвостом и возмущенно рассказывал о хулиганском поступке Буратино. Куры сочувственно поддакивали:

— Ах-ах, какой страх! Ух-ух, наш петух!..

Карло поднялся на холм, откуда было видно море, кое-где покрытое матовыми полосками от веяния ветерка, у берега — старый городок песочного цвета под знойным солнцем и полотняная крыша кукольного театра.

Карабас Барабас, стоя в трех шагах позади Карло, проворчал:

— Я тебе дам за куклы сто золотых монет, продай.

Буратино, Мальвина и Пьеро перестали дышать — ждали, что скажет Карло.

Он ответил:

— Нет! Если бы ты был добрым, хорошим директором театра, я бы тебе, так и быть, отдал маленьких человечков. А ты — хуже всякого крокодила. Не отдам и не продам, убирайся.

Карло спустился с холма и, уже более не обращая внимания на Карабаса Барабаса, вошел в городок.

Там на пустой площади неподвижно стоял полицейский. От жары и скуки у него повисли усы, веки слиплись, над треугольной шляпой кружились мухи.

Карабас Барабас вдруг засунул бороду в карман, схватил Карло за рубашку и заорал на всю площадь:

— Держите вора, он украл у меня куклы!..

Но полицейский, которому было жарко и скучно, даже и не пошевелился. Карабас Барабас подскочил к нему, требуя арестовать Карло.

— А ты кто такой? — лениво спросил полицейский.

— Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра, кавалер высших орденов, ближайший друг Тарабарского короля, сынор Карабас Барабас...

— А ты не кричи на меня, — ответил полицейский.

Покуда Карабас Барабас с ним препирался, папа Карло, торопливо стуча палкой по плитам мостовой, подошел к дому, где он жил. Отпер дверь в полутемную каморку под лестницей, снял с плеча Артемона, положил на койку, из-за пазухи вынул Буратино, Мальвину и Пьеро и посадил их рядышком на стол.

Мальвина сейчас же сказала:

— Папа Карло, прежде всего займитесь больной собакой. Мальчики, немедленно мыться...

Вдруг она в отчаянии всплеснула руками:

— А мои платья! Мои новенькие туфельки, мои хорошенькие ленточки остались на дне оврага, в лопухах!..

— Ничего, не горюй, — сказал Карло, — вечером я схожу, принесу твои узлы.

Он заботливо разбинтовал Артемоновы лапы. Оказалось, что раны почти уже зажили и собака не могла пошевелиться только потому, что была голодна.

— Тарелочку овсяной болтушки да косточку с мозгом, — простонал Артемон, — и я готов драться со всеми собаками в городе.

— Ай-ай-ай, — сокрушался Карло, — а у меня дома ни крошки, и в кармане ни сольдо...

Мальвина жалобно всхлипнула. Пьеро тер кулаком лоб, соображая.

— Я пойду на улицу читать стихи, прохожие надают мне кучу сольдо.

Карло покачал головой.

— И будешь ты ночевать, сынок, за бродяжничество в полицейском отделении.

Все, кроме Буратино, приуныли. Он же хитро улыбался, вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевернутой кнопке.

— Ребята, довольно хныкать! — Он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана. — Папа Карло, возьми молоток, отдери от стены дырявый холст.

И он задранным носом указал на очаг, и на котелок над очагом, и на дым, нарисованные на куске старого холста.

Карло удивился.

— Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь и в котелке настоящая баранья похлебка с чесноком, и мне становится немного теплее.

— Папа Карло, даю честное кукольное слово, — у тебя будет настоящий огонь в очаге, настоящий чугунный котелок и горячая похлебка. Сдери холст!

Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал в затылке, покачал головой, покряхтел, покряхтел, — взял клещи и молоток и начал отдирать холст. За ним, как мы уже знаем, все было затянато паутиной и висели дохлые пауки.

Карло старательно обмел паутину. Тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. На четырех углах на ней были вырезаны смеющиеся рожицы, а посередине — пляшущий человечек с длинным носом.

Когда с него смахнули пыль, Мальвина, Пьеро, папа Карло, даже голодный Артемон воскликнули в один голос:

— Это портрет самого Буратино!

— Я так и думал, — сказал Буратино, хотя он ничего такого не думал и сам удивился. — А вот и ключ от дверцы. Папа Карло, открой...

— Эта дверца и этот золотой ключик, — проговорил Карло, — сделаны очень давно каким-то искусным мастером. Посмотрим, что спрятано за дверцей.

Он вложил ключик в замочную скважину и повернул... Раздалась негромкая, очень приятная музыка, будто заиграл органчик в музыкальном ящике.

Папа Карло толкнул дверцу. Со скрипом она начала открываться.

В это время раздались торопливые шаги за окном и голос Карабаса Барабаса проревел:

— Именем Тарабарского короля — арестуйте старого плута Карло!

Карабас Барабас врывается в каморку под лестницей

Карабас Барабас, как мы знаем, тщетно старался уговорить сонного полицейского, чтобы он арестовал Карло. Ничего не добившись, Карабас Барабас побежал по улице.

Развевающаяся борода его цеплялась за пуговицы и зонтики прохожих. Он толкался и лязгал зубами. Вслед ему пронзи-

тельно свистели мальчишки, запуская в спину ему гнилыми яблоками.

Карабас Барабас вбежал к начальнику города. В этот жаркий час начальник сидел в саду, около фонтана, в одних трусиках и пил лимонад.

У начальника было шесть подбородков, нос его утонул в розовых щеках. За спиной его, под липой, четверо мрачных полицейских то и дело откупоривали бутылки с лимонадом.

Карабас Барабас бросился перед начальником на колени и, бордой размазывая слезы по лицу, завопил:

— Я несчастный сирота, меня обидели, обокрали, избили...

— Кто тебя, сироту, обидел? — отдуваясь, спросил начальник.

— Злейший враг, старый шарманщик Карло. Он украл у меня три самые лучшие куклы, он хочет сжечь мой знаменитый театр, он подождет и ограбит весь город, если его сейчас же не арестовать.

В подкрепление своих слов Карабас Барабас вытащил горсть золотых монет и положил в туфлю начальника.

Короче говоря, он такое наплел и наврал, что испуганный начальник приказал четверем полицейским под липой:

— Идите за почтенным сиротой и сделайте все нужное именем закона.

Карабас Барабас побежал с четверьмя полицейскими к камере Карло и крикнул:

— Именем Тарабарского короля — арестуйте вора и негодяя!

Но двери были закрыты. В камере никто не отозвался. Карабас Барабас приказал:

— Именем Тарабарского короля — ломайте дверь!

Полицейские нажали, гнилые половинки дверей сорвались с петель, и четыре храбрых полицейских, гремя саблями, с грохотом свалились в камеру под лестницей.

Это было в ту самую минуту, когда в потайную дверцу в стене, нагнувшись, уходил Карло.

Он скрылся последним. Дверца —

Дзынь!.. —

захлопнулась. Тихая музыка перестала играть. В камере под лестницей валялись только грязные бинты и рваный холст с нарисованным очагом...

Карабас Барабас подскочил к потайной дверце, заколотил в нее кулаками и каблуками:

Тра-та-та-та!

Но дверца была прочна.

Карабас Барабас разбежался и ударил в дверцу задом.

Дверца не поддалась.

Он затопал на полицейских:

— Ломайте проклятую дверь именем Тарабарского короля!..

Полицейские ощупывали друг у друга — кто нашлепку на носу, кто шишку на голове.

— Нет, здесь работа очень тяжелая, — ответили они и пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону, но старому шарманщику, видимо, помогает сам дьявол, потому что он ушел сквозь стену.

Карабас Барабас рванул себя за бороду, повалился на пол и начал реветь, выть и кататься, как бешеный, по пустой каморке под лестницей.

Что они нашли за потайной дверью

Пока Карабас Барабас катался, как бешеный, и рвал на себе бороду, Буратино впереди, а за ним Мальвина, Пьеро, Артемон и — последним — папа Карло спускались по крутой каменной лестнице в подземелье.

Папа Карло держал огарок свечи. Ее колеблющийся огонек отбрасывал от Артемоновой лохматой головы или от протянутой руки Пьеро большие тени, но не мог осветить темноты, куда спускалась лестница.

Мальвина, чтобы не зареветь от страха, щипала себя за уши. Пьеро — как всегда, ни к селу ни к городу — бормотал стишки:

Пляшут тени на стене, —
Ничего не страшно мне.
Лестница пускай крута,
Пусть опасна темнота, —
Все равно подземный путь
Приведет куда-нибудь...

Буратино опередил товарищей, — его белый колпачок едва был виден глубоко внизу.

Вдруг там что-то зашипело, упало, покатилося, и донесся его жалобный голос:

— Ко мне, на помощь!

Мгновенно Артемон, забыв раны и голод, опрокинул Мальвину и Пьеро, черным вихрем кинулся вниз по ступенькам.

Лязгнули его зубы. Гнусно взвизгнуло какое-то существо.

Все затихло. Только у Мальвины громко, как в будильнике, стучало сердце.

Широкий луч света снизу ударил по лестнице. Огонек свечи, которую держал папа Карло, стал желтым.

— Глядите, глядите скорее! — громко позвал Буратино.

Мальвина — задом наперед — торопливо начала слезать со ступеньки на ступеньку, за ней запрыгал Пьеро. Последним, нагнувшись, сходил Карло, то и дело теряя деревянные башмаки.

Внизу, там, где кончалась крутая лестница, на каменной площадке сидел Артемон. Он облизывался. У его ног валялась задущенная крыса Шушара.

Буратино обеими руками приподнимал истлевший войлок, — им было занавешено отверстие в каменной стене. Оттуда лился голубой свет.

Первое, что они увидели, когда пролезли в отверстие, — это расходящиеся лучи солнца. Они падали со сводчатого потолка сквозь круглое окно.

Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии.

С боков занавеса поднимались две квадратные башни, раскрашенные так, будто они были сложены из маленьких кирпичиков. Высокие крыши из зеленой жести ярко блестели.

На левой башне были часы с бронзовыми стрелками. На циферблате против каждой цифры нарисованы смеющиеся рожицы мальчика и девочки.

На правой башне — круглое окошко из разноцветных стекол.

Над этим окошком, на крыше из зеленой жести, сидел Говорящий Сверчок. Когда все, разинув рты, остановились перед чудным театром, сверчок проговорил медленно и ясно:

— Я предупреждал, что тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения, Буратино. Хорошо, что все кончилось благополучно, а могло кончиться и неблагополучно... Так-то...

Голос у Сверчка был старый и слегка обиженный, потому что Говорящему Сверчку в свое время все же попало по голове молотком, и, несмотря на столетний возраст и природную доброту, он не мог забыть незаслуженной обиды. Поэтому он больше ничего не прибавил, — дернул усиками, точно смахивая с них пыль, и медленно уполз куда-то в одинокую щель — подальше от суеты.

Тогда папа Карло проговорил:

— А я-то думал, мы тут по крайней мере найдем кучу золота и серебра, а нашли всего-навсего старую игрушку.

Он подошел к часам, вделанным в башенку, постучал ногтем по циферблату, и так как сбоку часов на медном гвоздике висел ключик, он взял его и завел часы...

Раздалось громкое тиканье. Стрелки двинулись. Большая стрелка подошла к двенадцати, маленькая — к шести. Внутри башни загудело и зашипело. Часы звонко пробили шесть...

Тотчас на правой башне раскрылось окошко из разноцветных стекол, выскочила заводная пестрая птица и, затрепетав крыльями, пропела шесть раз:

— К нам — к нам, к нам — к нам, к нам — к нам...

Птица скрылась, окошко захлопнулось, заиграла шарманочная музыка. И занавес поднялся...

Никто, даже папа Карло, никогда не видывал такой красивой декорации.

На сцене был сад. На маленьких деревьях с золотыми и серебряными листьями пели заводные скворцы величиной с ноготь. На одном дереве висели яблоки, каждое из них не больше гречишного зерна. Под деревьями прохаживались павлины и, при-

поднимаясь на цыпочках, клевали яблоки. На лужайке прыгали и бодались два козленка, а в воздухе летали бабочки, едва заметные глазу.

Так прошла минута. Скворцы замолкли, павлины и козлята потянулись за боковые кулисы. Деревья провалились в потайные люки под пол сцены.

На задней декорации начали расходиться тюлевые облака. Показалось красное солнце над песчаной пустыней. Справа и слева, из боковых кулис выкинулись ветки лиан, похожие на змей, — на одной действительно висела змея удав, на другой раскачивалось, схватившись хвостами, семейство обезьян.

Это была Африка.

По песку пустыни под красным солнцем проходили звери.

В три скачка промчался гривастый лев, — хотя был он не больше котенка, но страшен.

Переваливаясь, проковылял на задних лапах плюшевый медведь с зонтиком.

Прополз отвратительный крокодил, — его маленькие дрянные глазки притворялись добренькими. Но все же Артемон не поверил и зарычал на него.

Проскакал носорог, — для безопасности на его острый рог был надет резиновый мячик.

Пробежал жираф, похожий на полосатого, рогатого верблюда, изо всей силы вытянувшего шею.

Потом шел слон, друг детей, — умный, добродушный, — помахивал хоботом, в котором держал соевую конфету.

Последней протрусила бочком страшно грязная дикая собака — шакал. Артемон с лаем кинулся на нее, — папе Карло с трудом удалось оттащить его за хвост от сцены.

Звери прошли. Солнце вдруг погасло. В темноте какие-то вещи опустились сверху, какие-то вещи выдвинулись с боков. Раздался звук, будто провели смычком по струнам.

Вспыхнули матовые уличные фонарики. На сцене была городская площадь. Двери в домах раскрылись, выбежали маленькие человечки, полезли в игрушечный трамвай. Кондуктор зазвонил, вагоновожатый завертел ручку, мальчишка живо прицепился к колбасе, милиционер засвистел, — трамвай укатился в боковую улицу между высокими домами.

Проехал велосипедист на колесах, — не больше блюдечка для варенья. Пробежал газетчик, — четверо сложенные листки отрывного календаря — вот какой величины были у него газеты.

Мороженщик прокатил через площадку тележку с мороженым. На балкончики домов выбежали девочки и замахали ему, а мороженщик развел руками и сказал:

— Все съели, приходите в другой раз.

Тут занавес упал, и на нем опять заблестел золотой зигзаг молнии.

Папа Карло, Мальвина, Пьеро не могли опомниться от восхищения. Буратино, засунув руки в карманы, задрал нос, сказал хвастливо:

— Что — видели? Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортилы... В этом театре мы поставим комедию — знаете какую? — «Золотой Ключик, или Необыкновенные приключения Буратино и его друзей». Карабас Барабас лопнет с досады.

Пьеро потер кулаками наморщенный лоб:

— Я напишу эту комедию роскошными стихами.

— Я буду продавать мороженое и билеты, — сказала Мальвина. — Если вы найдете у меня талант, попробую играть роли хорошеньких девочек...

— Пойдите, ребята, а учиться когда же? — спросил папа Карло.

Все враз ответили:

— Учиться будем утром... А вечером играть в театре...

— Ну, то-то, деточки, — сказал папа Карло, — а уж я, деточки, буду играть на шарманке для увеселения почтенной публики, а если станем разъезжать по Италии из города в город, буду править лошадей да варить баранью похлебку с чесноком...

Артемон слушал, задрал ухо, вертел головой, глядел блестящими глазами на друзей, спрашивал: а ему что делать?

Буратино сказал:

— Артемон будет заведовать бутафорией и театральными костюмами, ему дадим ключи от кладовой. Во время представления он может изображать за кулисами рычание льва, топот носорога, скрип крокодиловых зубов, вой ветра — посредством быстрого вращения хвоста — и другие необходимые звуки.

— Ну, а ты, ну, а ты, Буратино? — спрашивали все. — Чем хочешь быть при театре?

— Чудаки, в комедии я буду играть самого себя и прославлюсь на весь свет!

Новый кукольный театр дает первое представление

Карабас Барабас сидел перед очагом в отвратительном настроении. Сырые дрова едва тлели. На улице лил дождь. Дырявая крыша кукольного театра протекала. У кукол отсырели руки и ноги, на репетициях никто не хотел работать, даже под угрозой плетки в семь хвостов. Куклы уже третий день ничего не ели и зловеще перешептывались в кладовой, вися на гвоздях.

С утра не было продано ни одного билета в театр. Да и кто пошел бы смотреть у Карабаса Барабаса скучные пьесы и голодных, оборванных актеров.

На городской башне часы пробили шесть. Карабас Барабас мрачно побрел в зрительный зал, — пусто.

— Черт бы побрал всех почтеннейших зрителей, — проворчал он и вышел на улицу. Выйдя, взглянул, моргнул и разинул рот так, что туда без труда могла бы влететь ворона.

Напротив его театра перед большой новой полотняной палаткой стояла толпа, не обращая внимания на сырой ветер с моря.

Над входом в палатку на помосте стоял длинноносый человечек в колпачке, трубил в хрипучую трубу и что-то кричал.

Публика смеялась, хлопала в ладоши, и многие заходили внутрь палатки.

К Карабасу Барабасу подошел Дуремар; от него, как никогда, пахло тинной.

— Э-хе-хе, — сказал он, собирая все лицо в кислые морщины, — никуда дела с лечебными пиявками. Вот хочу пойти к ним, — Дуремар указал на новую палатку, — хочу попроситься у них свечи зажигать или мести пол.

— Чей этот проклятый театр? Откуда он взялся? — прорычал Карабас Барабас.

— Это сами куклы открыли кукольный театр «Молния», они сами пишут пьесы в стихах, сами играют.

Карабас Барабас заскрипел зубами, рванул себя за бороду и зашагал к новой полотняной палатке.

Над входом в нее Буратино выкрикивал:

— Первое представление занимательной, увлекательной комедии из жизни деревянных человечков. Истинное происшествие о том, как мы победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа...

У входа в кукольный театр в стеклянной будочке сидела Мальвина с красивым бантом в голубых волосах не поспевала раздавать билеты желающим посмотреть веселую комедию из кукольной жизни.

Папа Карло в новой бархатной куртке вертел шарманку и весело подмигивал почтеннейшей публике.

Артемон тащил за хвост из палатки лису Алису, которая прошла без билета.

Кот Базилио, тоже безбилетный, успел удрать и сидел под дождем на дереве, глядя вниз злыми глазами.

Буратино, надув щеки, затрубил в хрипучую трубу:

— Представление начинается.

И сбежал по лесенке, чтобы играть первую сцену комедии, в которой изображалось, как бедный папа Карло выстрегивает из полена деревянного человечка, не предполагая, что это принесет ему счастье.

Последней приползла в театр черепаха Тортила, держа во рту почетный билет на пергаментной бумаге с золотыми уголками.

Представление началось. Карабас Барабас мрачно вернулся в свой пустой театр. Взял плетку в семь хвостов. Отпер дверь в кладовую.

— Я вас, паршивцы, отучу лениться! — свирепо зарычал он. — Я вас научу заманивать ко мне публику!

Он щелкнул плеткой. Но никто не ответил. Кладовая была пуста. Только на гвоздях висели обрывки веревочек.

Все куклы — и Арлекин, и девочки в черных масках, и колдуны в остроконечных шапках со звездами, и горбуны с носами как огурец, и арапы, и собачки — все, все, все куклы удрали от Карабаса Барабаса.

Со страшным воем он выскочил из театра на улицу. Он увидел, как последние из его актеров удирали через лужи в новый театр, где весело играла музыка, раздавался хохот, хлопанье в ладоши.

Карабас Барабас успел только схватить бумазейную собачку с пуговицами вместо глаз. Но на него откуда ни возьмись налетел Артемон, повалил, выхватил собачку и умчался с ней в палатку, где за кулисами для голодных актеров была приготовлена горячая баранья похлебка с чесноком.

Карабас Барабас так и остался сидеть в луже под дождем.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Много было попыток переделывать русские народные сказки. Дело в том, что записывались они на протяжении ста лет — записываются и до сих пор — от разных сказителей. Каждый сказитель рассказывает сказку посвоему: один — кратко, другой — пространно, с подробностями; у одного бывает хорошо начало, у другого хорош конец, а у третьего — середина; один сказитель знаменит балагурством, словечками, другой — интересными подробностями рассказа; есть сказители — творцы, истинные поэты, а есть и малодаровитые — простые пересказчики.

Поэтому при составлении сборника сказок для широкого читателя всегда возникала необходимость выбирать из многих вариантов сказок один, наиболее интересный. Но выбрать просто — нельзя, потому что в каждом из вариантов есть что-нибудь ценное, что жалко упустить. Составители таких сборников обычно брались за обработку сказок, причем пересказывали их не народным языком, не народными приемами, а «литературно», то есть тем условным, книжным языком, который ничего общего не имеет с народным.

Пересказанные таким образом сказки теряли всякий смысл — в них от великолепного народного творчества оставался один сюжет, а главное: народный язык, остроумие, свежесть, своеобразие, сама манера рассказа-беседы, иными словами, народный стиль — пропадали так же, как дивный и хрупкий рисунок крыльев бабочки исчезает при неуклюжем прикосновении человеческих пальцев.

Моя задача была другая: сохранить при составлении сборника всю свежесть и непосредственность народного рассказа. Для этого я поступаю так: из многочисленных вариантов народной сказки выбираю наиболее интересный, коренной, и обогащаю его из других вариантов яркими языковыми оборотами и сюжетными подробностями. Разумеется, мне приходится при таком собирании сказки из отдельных частей, или «реставрации» ее, дописывать кое-что самому, кое-что видоизменять, дополнять недостающее, но делаю я это в том же стиле — и со всей уверенностью предлагаю читателю подлинно народную сказку, народное творчество со всем богатством языка и особенностями рассказа.

Алексей Толстой

БОБОВОЕ ЗЕРНЫШКО

Жили-были петушок да курочка. Рылся петушок и вырыл бок.

— Ко-ко-ко, курочка, ешь бобовое зернышко!

— Ко-ко-ко, петушок, ешь сам!

Съел петушок зернышко и подавился. Позвал курочку:

— Сходи, курочка, к речке, попроси водицы напиться.

Побежала курочка к речке:

— Речка, речка, дай мне водицы: петушок подавился бобовым зернышком!

Речка говорит:

— Сходи к липке, попроси листок, тогда дам водицы.

Побежала курочка к липке:

— Липка, липка, дай мне листок! Отнесу листок речке, речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Липка говорит:

— Сходи к девушке, попроси нитку.

Побежала курочка:

— Девушка, девушка, дай нитку! Отнесу нитку липке, липка даст листок, отнесу листок речке, речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Девушка отвечает:

— Сходи к гребенщикам, попроси гребень, тогда дам нитку.

Курочка прибежала к гребенщикам:

— Гребенщики, гребенщики, дайте мне гребень! Отнесу гребень девушке, девушка даст нитку, отнесу нитку липке, липка даст листок, отнесу листок речке, речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Гребенщики говорят:

— Сходи к калашникам, пусть дадут нам калачей.

Побежала курочка к калашникам:

— Калашники, калашники, дайте калачей! Калачи отнесу гребенщикам, гребенщики дадут гребень, отнесу гребень девушке, де-

вушка даст нитку, нитку отнесу липке, липка даст листок, листок отнесу речке, речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Калашники говорят:

— Сходи к дровосекам, пусть нам дров дадут.

Пошла курочка к дровосекам:

— Дровосеки, дровосеки, дайте дров! Отнесу дрова калашникам, калашники дадут калачей, калачи отнесу гребенщикам, гребенщики дадут гребень, гребень отнесу девушке, девушка даст нитку, нитку отдам липке, липка даст листок, листок отнесу речке, речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком.

Дровосеки дали курочке дров.

Отнесла курочка дрова калашникам, калашники дали ей калачей, калачи отдала гребенщикам, гребенщики дали ей гребень, отнесла гребень девушке, девушка дала ей нитку, нитку отнесла липке, липка дала листок, отнесла листок речке, речка дала водицы.

Петушок напился, и проскочило зернышко.

Запел петушок:

— Ку-ка-ре-куу!

МЕДВЕДЬ И СОБАКА

Жили-были мужик да баба. Была у них собака верная. Смолоду сторожила она дом, а как пришла старость, так и брехать перестала.

Надоела она мужику. Вот он взял веревку, зацепил собаку за шею и повел в лес. Привел к осине и хотел было удавить, да как увидел, что у старого пса текут горькие слезы, стало ему жалко.

Отпустил мужик собаку, а сам отправился домой.

Остался пес в лесу. Лежит под деревом голодный и проклинает собачью долю.

Вдруг идет медведь:

— Что ты, пес, здесь улегся?

— Хозяин меня прогнал.

— А что, пес, хочется тебе есть?

— Еще как хочется-то!

— Ну, пойдем со мной, я тебя накормлю.

Вот они и пошли. Попадается им навстречу жеребец.

Медведь схватил жеребца. Жеребец упал. Медведь разорвал его и говорит собаке:

— На, ешь, сколько хочешь, а как съешь все, приходи ко мне.

Живет собака, ни о чем не тужит. А как все съела да опять проголодалась, побежала к медведю.

— Ну что, брат, съел жеребца?

— Съел, опять приходится голодать.

— Зачем голодать! Знаешь ли, где ваши бабы жнут?

— Знаю!

— Тогда пойдем, я подкрадусь к твоей хозяйке и ухвачу ребенка, а ты догоняй меня да отнимай. Как отнимешь, отнеси хозяйке. Она за то станет тебя по-старому кормить.

Вот прибежал медведь на ниву, где бабы жнут, и унес ребенка.

Ребенок закричал, бабы бросились за медведем, догоняли, догоняли, не могли догнать, так и воротились.

Мать плачет, бабы тужат.

Откуда ни возьмись прибежал пес, догнал медведя, отнял ребенка и несет его назад.

— Смотрите, — говорят бабы, — пес-то отнял ребенка!
Мать уж так рада-радешенька.

— Теперь, — говорит, — я этого пса ни за что не покину!
Привела собаку домой, налила молока, накрошила хлеба:

— На, покушай!

А мужику говорит:

— Вот, муженек, эту собаку надо беречь да кормить: она нашего ребенка у медведя отняла.

Поправился пес, отъелся и живет припеваючи. Стал он медведю первый друг.

Один раз у мужика была вечеринка. На ту пору медведь пришел к собаке в гости.

— Здорово, пес! Ну, как поживаешь — хлеб поедаеть?

— Слава Богу, — отвечает пес, — не житье, а Масленица!
Чем же тебя потчевать? Пойдем в избу, хозяева загуляли, не увидят. Только ты войдешь — поскорее лезь под печку. Вот я что добуду, тем и стану тебя потчевать.

Ладно, забрался медведь в избу — под печку.

Собака видит, что гости и хозяева порядком развеселились, — и ну таскать со стола, угощать приятеля.

Медведь выпил стакан, выпил другой — и разобрало его. Гости затянули песни. И медведь стал свою песню заводить.

Собака его уговаривает:

— Не пой, а то беда будет.

Куда! Медведь не утихает, а все громче заводит песню.

Гости услышали вой под печью, схватили колья и давай медведя по бокам охаживать.

Насилу медведь вырвался, убежал.

Вот тебе и сходил в гости!

ГЛИНЯНЫЙ ПАРЕНЬ

Жили-были старик да старуха. Не было у них детей. Старуха и говорит:

— Старик, вылепи из глины паренька, будто и сын будет.

Старик вылепил из глины паренька. Положили его на печку сушить. Высох парень и стал просить есть:

— Дай, бабука, молока кадушечку да хлеба мякушечку.

Принесла ему старуха это, а он съел все и опять просит:

— Есть хочу! Есть хочу!

И съел он у старика со старухой весь хлеб, выпил все молоко и опять кричит:

— Есть хочу! Есть хочу!

Нечего ему больше дать. Глиняный парень соскочил с печки и съел бабуку с прялкой, дедуку с клюшкой — и пошел на улицу.

Идет навстречу бык. Глиняный парень говорит ему:

— Съел я хлеба пять мякушек, молока пять кадушек, бабуку с прялкой, дедуку с клюшкой — и тебя, бык, съем!

Да и съел быка.

Идет дальше. Навстречу дроворубы с топорами. Глиняный парень и говорит:

— Съел я хлеба пять мякушек, молока пять кадушек, бабуку с прялкой, дедуку с клюшкой, быка с рогами — и вас всех съем!

И съел дроворубов с топорами.

Идет дальше. Навстречу ему мужики с косами да бабы с граблями. Глиняный парень им говорит:

— Съел я хлеба пять мякушек, молока пять кадушек, бабуку с прялкой, дедуку с клюшкой, быка с рогами, дроворубов с топорами — и вас всех съем!

Съел мужиков с косами да баб с граблями и дальше пошел. Встретил глиняный парень козла и говорит:

— Съел я хлеба пять мякушек, молока пять кадушек, бабуку с прялкой, дедуку с клюшкой, быка с рогами, дроворубов с топорами, мужиков с косами, баб с граблями — и тебя, козел, съем!

А козел ему говорит:

— Да ты не трудись, стань под горку, а я стану на горку, разбежусь, да тебе в рот и прыгну.

Стал глиняный парень под горку, а козел разбежался с горы да рогами в брюхо как ударит! Тут и рассыпался глиняный парень.

И вышли из брюха бабка с прялкой, дедка с клюшкой, бык с рогами, дроворубы с топорами, мужики с косами да бабы с граблями.

Всех козел избавил.

ЛЕВ, ЩУКА И ЧЕЛОВЕК

Раз на реке лев со щукой разговаривал, а человек стоял поодаль и слушал.

Только щука увидела человека, сейчас же ушла в воду.

Лев ее после спрашивает:

— Чего ты ушла в воду?

— Человека увидела.

— Ну так что же?

— Да он хитрый.

— Что за человек? — спрашивает лев. — Подай мне его, я его съем.

Пошел лев человека искать. Идет навстречу мальчик.

— Ты человек?

— Нет, я еще не человек. Я мальчик. Еще когда буду человеком-то!

Лев его не тронул, прошел мимо. Идет навстречу старик.

— Ты человек?

— Нет, батюшка лев! Какой я теперь человек! Был когда-то человеком.

И этого лев не тронул.

— Что за диковина! Не найдешь человека нигде!

Шел, шел лев, встретил солдата с ружьем и с саблей.

— Ты человек?

— Человек.

— Ну, я тебя съем!

— А ты погоди, — говорит ему солдат. — Отойди от меня, я сам тебе в пасть кинусь. Разинь пасть пошире!

Лев отошел, разинул пасть. Солдат наметился да как бабахнет из ружья! Потом подбежал да саблей ухо у льва отсек. Лев — бежать.

Прибегает к реке. Выплывает щука, спрашивает:

— Ну что, видел человека?

— Да что, — говорит лев, — хитер человек! Сразу-то я его не нашел: то говорит, что был человеком, то говорит, что еще будет человеком, а как нашел человека — так я и не обрадовался. Он мне велел отойти да раскрыть пасть, потом как плюнет мне в пасть и сейчас еще жжет, а потом как высунет язык, да ухо мне и слизнул!

— То-то же, я тебе говорила, что хитер человек...

ТЕРЁШЕЧКА

У старика со старухой не было детей. Век прожили, а детей не нажили.

Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, стали качать да прибаюкивать:

— Спи-тко, усни, дитя Терёшечка, —

Все ласточки спят,
И касатки спят,
И куницы спят,
И лисицы спят,
Нашему Терёшечке
Спать велят!

Качали так, качали да прибаюкивали, и вместо колодочки стал расти сыночек Терёшечка — настоящая ягодка.

Мальчик рос-подрастал, в разум приходил. Старик сделал ему челнок, выкрасил его белой краской, а весельцы — красной.

Вот Терёшечка сел в челнок и говорит:

— Челнок, челнок, плыви далече.
Челнок, челнок, плыви далече.

Челнок и поплыл далеко-далеко. Терёшечка стал рыбку ловить, а мать ему молочко и творожок стала носить.

Придет на берег и зовет:

— Терёшечка, мой сыночек,
Приплывь, приплывь на бережок,
Я тебе есть-пить принесла.

Терёшечка издалека услышит матушкин голос и подплывет к бережку. Мать возьмет рыбку, накормит, напоит Терёшечку, переменит ему рубашечку и поясок и отпустит опять ловить рыбку.

Узнала про то ведьма. Пришла на бережок и зовет страшным голосом:

— Терёшечка, мой сыночек,
Приплынь, приплынь на бережок,
Я тебе есть-пить принесла.

Терёшечка распознал, что не матушкин это голос, и говорит:

— Челнок, челнок, плыви далече,
То не матушка меня зовет.

Тогда ведьма побежала в кузницу и велит кузнецу перековать себе горло, чтобы голос стал как у Терёшечкиной матери.

Кузнец перековал ей горло. Ведьма опять пришла на бережок и запела голосом точь-в-точь родимой матушки:

— Терёшечка, мой сыночек,
Приплынь, приплынь на бережок,
Я тебе есть-пить принесла.

Терёшечка обознался и подплыл к бережку. Ведьма его схватила, в мешок посадила и побежала.

Принесла его в избушку на курьих ножках и велит своей дочери Аленке затопить печь пожарче и Терёшечку зажарить.

А сама опять пошла на раздобытки.

Вот Аленка истопила печь жарко-жарко и говорит Терёшечке:

— Ложись на лопату.

Он сел на лопату, руки, ноги раскинул и не пролезает в печь.

А она ему:

— Не так лег.

— Да я не умею — покажи как...

— А как кошки спят, как собаки спят, так и ты ложись.

— А ты ляг сама да поучи меня.

Аленка села на лопату, а Терёшечка ее в печку и пихнул и заслонкой закрыл. А сам вышел из избушки и влез на высокий дуб.

Прибежала ведьма, открыла печку, вытащила свою дочь Аленку, съела, кости обглодала.

Потом вышла на двор и стала кататься-валяться по траве.

Катается-валяется и приговаривает:

— Покатаюсь я, поваляюсь я, Терёшечкина мясца наевшись.

А Терёшечка ей с дуба отвечает:

— Покатайся-поваляйся, Аленкина мясца наевшись!

А ведьма:

— Не листья ли это шумят?

И сама — опять:

— Покатаюсь я, поваляюсь я, Терёшечкина мясца наевшись!

А Терёшечка все свое:

— Покатайся-поваляйся, Аленкина мясца наевшись!

Ведьма глянула и увидела его на высоком дубу. Кинула грызть дуб. Грызла, грызла — два передних зуба выломала, пожала в кузницу:

— Кузнец, кузнец! Скуй мне два железных зуба.

Кузнец сковал ей два зуба.

Вернулась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла, грызла и выломала два нижних зуба. Побежала к кузнецу:

— Кузнец, кузнец! Скуй мне еще два железных зуба.

Кузнец сковал ей еще два зуба.

Вернулась ведьма и опять стала грызть дуб. Грызет — только щепки летят. А дуб уже трещит, шатается.

Что тут делать? Терёшечка видит: летят гуси-лебеди.

Он их просит:

— Гуси мои, лебедята!
Возьмите меня на крылья,
Унесите к батюшке, к матушке!

А гуси-лебеди отвечают:

— Га-га, за нами еще летят — поголоднее нас, они тебя возьмут.

А ведьма погрызет-погрызет, взглянет на Терёшечку, облизнется — и опять за дело...

Летит другое стадо. Терёшечка просит...

— Гуси мои, лебедята!
Возьмите меня на крылья,
Унесите к батюшке, к матушке!

А гуси-лебеди отвечают:

— Га-га, за нами летит зашипанный гусенок, он тебя возьмет-донесет.

А ведьме уже немного осталось. Вот-вот повалится дуб.

Летит зашипанный гусенок. Терёшечка его просит:

— Гусь-лебедь ты мой! Возьми меня, посади на крылышки, унеси меня к батюшке, к матушке.

Сжалился зашипанный гусенок, посадил Терёшечку на крылья, вострепнулся и полетел, понес его домой.

Прилетели они к избе и сели на травке.

А старуха напекла блинов — поминать Терёшечку — и говорит:

— Это тебе, старичок, блин, а это мне блин.

А Терёшечка под окном:

— А мне блин?

Старуха услышала и говорит:

— Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?

Старик вышел, увидел Терёшечку, привел к старухе — пошло обниманье!

А зашипанного гусенка откормили, отпоили, на волю пустили, и стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди стада летать да Терёшечку вспоминать.

КУЗЬМА СКОРОБОГАТЫЙ

Жил-проживал Кузьма один-одинешенек в темном лесу. Ни скинуть, ни надеть у него ничего не было, а постлать — и не заводил.

Вот поставил он капкан. Утром пошел посмотреть — попала лисица.

— Ну, лисицу теперь продам, деньги возьму, на то и жениться буду.

Лисица ему говорит:

— Кузьма, отпусти меня, я тебе великое добро доспею, сделаю тебя Кузьмой Скоробогатым, только ты изжарь мне одну курочку с масличком — пожирнее.

Кузьма согласился. Изжарил курочку. Лиса наелась мяса, побежала в царские заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься.

— У-у-у! У царя была в гостях, чего хотела — пила и ела, завтра звали, опять пойду.

Бежит волк и спрашивает:

— Чего, кума, катаешься, лаешь?

— Как мне не кататься, не лаять! У царя была в гостях, чего хотела — пила и ела, завтра звали, опять пойду.

Волк и просит:

— Лисанька, не сведешь ли меня к царю на обед?

— Станет царь из-за одного тебя беспокоиться. Собирайтесь вы — сорок волков, тогда поведу вас в гости к царю.

Волк стал по лесу бегать, волков собирать. Собрал сорок волков, привел их к лисице, и лиса повела их к царю.

Пришли к царю, лиса забежала вперед и говорит:

— Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе сорока волками.

Царь обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду, запереть накрепко и сам думает: «Богатый человек Кузьма!»

А лисица побежала к Кузьме. Велела изжарить еще одну курочку с масличком — пожирнее, пообедала сытно и пустилась на царские заповедные луга.

Катается, валяется по заповедным лугам. Бежит медведь мимо, увидел лису и говорит:

— Эх ведь, проклятая хвостомеля, как обтрескалась!

А лиса ему:

— У-у-у! У царя была в гостях, чего хотела — пила и ела, завтра звали, опять пойду...

Медведь стал просить:

— Лиса, не сведешь ли меня к царю на обед?

— Для одного тебя царь и беспокоиться не захочет. Собери сорок черных медведей — поведу вас в гости к царю.

Медведь побежал в дуброву, собрал сорок черных медведей, привел их к лисе, и лисица привела их к царю. Сама забежала вперед и говорит:

— Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе сорока медведями.

Царь весьма тому обрадовался, приказал загнать медведей и запереть накрепко. Сам думает: «Вот какой богатый человек Кузьма!»

А лисица опять прибежала к Кузьме. И велела зажарить курочку с петушком, с масличком — пожирнее. Скушала на здоровье — и давай кататься в царских заповедных лесах.

Бежит мимо соболь с куницею:

— Эх, лукавая лиса, где так жирно накушалась?

— У-у-у! У царя была в гостях, чего хотела — пила и ела, завтра звали, опять пойду...

Соболь и куница стали упрашивать лису:

— Кумушка, своди нас к царю. Мы хоть посмотрим, как пируют.

Лиса им говорит:

— Соберите сорок сороков соболей да куниц — поведу вас к царю.

Согнали соболь и куница сорок сороков соболей и куниц. Лиса привела их к царю, сама забежала вперед:

— Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе сорока сороками соболей да куниц.

Царь не может надивиться богатству Кузьмы Скоробогатого. Велел и этих зверей загнать, запереть накрепко.

«Вот, думает, беда, какой богач Кузьма!»

На другой день лисица опять прибегает к царю:

— Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый приказал тебе кланяться и просит ведро с обручами — мерять серебряные деньги. Свои-то ведра у него золотом заняты.

Царь без отказа дал лисе ведро с обручами. Лиса прибежала к Кузьме и велела мерять ведрами песок, чтобы высветлить у ведра бочок.

Как высветлило у ведра бочок, лиса заткнула за обруча сколько-то мелких денежек и понесла назад царю. Принесла и стала сватать у него прекрасную царевну за Кузьму Скоробогатого.

Царь видит — денег много у Кузьмы: за обруча западали, он и не заметил. Царь не отказывает, велит Кузьме изготовиться и приезжать.

Поехал Кузьма к царю. А лисица вперед забежала и подговорила работников подпилить мостик.

Кузьма только что въехал на мостик — он вместе с ним и рушился в воду.

Лисица стала кричать:

— Ахти! Пропал Кузьма Скоробогатый!

Царь услышал и тотчас послал людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, а лиса кричит:

— Ахти! Надо Кузьме одежду дать — какую получше.

Царь дал Кузьме свою одежду праздничную.

Приехал Кузьма к царю. А у царя ни пива варить, ни вина курить — все готово.

Обвенчался Кузьма с царевной и живет у царя неделю, живет другую.

— Ну, — говорит царь, — поедем теперь, любезный зять, к тебе в гости.

Кузьме делать нечего, надо собираться. Запрягли лошадей и поехали. А лисица отправилась вперед. Видит — пастухи стерегут стадо овец, — она их спрашивает:

— Пастухи, пастухи! Чье стадо пасете?

— Змея Горыныча.

— Сказывайте, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица Молоньца: коли не скажете им, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, они вас всех и с овцами-то сожгут и спалят!

Пастухи видят, что дело неминуемое, и обещали сказывать про Кузьму Скоробогатого, как лиса научила.

А лиса пустилась вперед. Видит — другие пастухи стерегут коров.

— Пастухи, пастухи! Чье стадо пасете?

— Змея Горыныча.

— Сказывайте, что стадо это Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица Молоньца: они вас всех с коровами сожгут и спалят, коли станете поминать Змея Горыныча!

Пастухи согласились. Лиса опять побежала вперед. Добегает до конского табуна Змея Горыныча, велит пастухам сказывать, что этот табун Кузьмы Скоробогатого.

— А то едут царь Огонь да царица Молоньца: они всех вас с конями сожрут и спалят!

И эти пастухи согласились.

Лиса бежит вперед. Прибегает к Змею Горынычу прямо в белокаменные палаты:

— Здравствуй, Змей Горыныч!

— Что скажешь, лисанька?

— Ну, Змей Горыныч, теперь тебе надо скоро-наскоро прятаться. Едет грозный царь Огонь да царица Молоньца, все жгут и

палат. Стада твои с пастухами прижгли и спалили. Я не стала мешкать — пустилась к тебе сказать, что сама чуть от дыма не задохлась.

Змей Горыныч закручинился:

— Ах, лисанька, куда же я подеваюсь?

— Есть в твоём саду старый заповедный дуб, середина вся по-выгнила; беги, схоронись в дупле, пока царь Огонь с царицей Мольницей мимо не проедут.

Змей Горыныч со страху спрятался в это дупло, как лиса научила.

Кузьма Скоробогатый едет себе да едет с царем да с женой-царевной. Доезжают они до овечьего стада. Царевна спрашивает:

— Пастушки, чье стадо пасете?

— Кузьмы Скоробогатого.

Царь тому и рад:

— Ну, любезный зять, много же у тебя овец!

Едут дальше, доезжают до коровьего стада.

— Пастушки, чье стадо пасете?

— Кузьмы Скоробогатого.

— Ну, любезный зять, много же у тебя коров!

Едут они дальше; пастухи лошадей пасут.

— Чей табун?

— Кузьмы Скоробогатого.

— Ну, любезный зятюшка, много же у тебя коней!

Вот приехали ко дворцу Змея Горыныча.

Лиса встречает гостей, низко кланяется, вводит их в палаты белокаменные, сажает их за столы дубовые, за скатерти браные...

Стали они пировать, пить-есть и веселиться. Пируют день, пируют другой, пируют они неделю.

Лиса и говорит Кузьме:

— Ну, Кузьма! Перестань гулять — надо дело исправлять. Ступай с царем в зеленый сад; в том саду стоит старый дуб, а в том дубе сидит Змей Горыныч, он от вас спрятался. Расстреляй дуб на мелкие части.

Кузьма пошел с царем в зеленый сад. Увидели они старый заповедный дуб, и стали они в тот дуб стрелять. Тут Змею Горынычу и смерть пришла.

Кузьма Скоробогатый стал жить-поживать с женой-царевной в палатах белокаменных и лисаньку всякий день угощать курочкой.

СКАЗКА О МОЛОДИЛЬНЫХ ЯБЛОКАХ И ЖИВОЙ ВОДЕ

В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, и было у него три сына: старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном.

Царь очень устарел и глазами обнищал, а слышал он, что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Если съест старику это яблоко — помолодеет, а водой этой умыть глаза слепцу — будет видеть.

Царь собирает пир на весь мир, зовет на пир князей и бояр и говорит им:

— Кто бы, ребяташки, выбрался из избранников, выбрался из охотников, съездил за тридевять земель, в тридесятое царство, привез бы молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.

Тут бóльший стал хорониться за среднего, а средний за меньшого, а от меньшого ответу нет.

Выходит царевич Федор и говорит:

— Неохота нам в люди царство отдавать. Я поеду в эту дорожку, привезу тебе, царю-батюшке, молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец.

Пошел Федор-царевич на конюший двор, выбирает себе коня неезженного, уздает узду неузданную, берет плетку нехлестанную, кладет двенадцать подпруг с подпругою — не ради красы, а ради крепости... Отправился Федор-царевич в дорожку. Видели, что сядился, а не видели, в кою сторону укатился...

Ехал он близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, ехал день до вечеру — красна солнышка до заката. И доезжает до росстаней, до трех дорог. Лежит на росстанях плита-камень, на ней надпись написана:

«Направо поедешь — себя спасать, коня потерять. Налево поедешь — коня спасать, себя потерять. Прямо поедешь — женату быть».

Поразмыслил Федор-царевич: «Давай поеду — где женату быть».

И повернул на ту дорожку, где женатому быть. Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой крышей. Тут выбегает прекрасная девица и говорит ему:

— Царский сын, я тебя из седла выну, иди со мной хлеба-соли откушать и спать-почивать.

— Нет, девица, хлеба-соли я не хочу, а сном мне дороги не скоротать. Мне надо вперед двигаться.

— Царский сын, не торопись ехать, а торопись делать, что тебе любо-дорого.

Тут прекрасная девица его из седла вынула и в терем повела. Накормила его, напоила и спать на кровать положила.

Только лег Федор-царевич к стенке, эта девица живо кровать повернула, он и полетел в подполье, в яму глубокую...

Долго ли, коротко ли, — царь опять собирает пир, зовет князей и бояр и говорит им:

— Вот, ребяташки, кто бы выбрался из охотников — привезти мне молодильных яблоч и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.

Тут опять бóльший хоронится за среднего, а средний за меньшого, а от меньшого ответу нет.

Выходит второй сын, Василий-царевич:

— Батюшка, неохота мне царство в чужие руки отдавать. Я поеду в дорожку, привезу эти вещи, сдам тебе в руки.

Идет Василий-царевич на конюший двор, выбирает коня неезженного, уздает узду неузданную, берет плетку нехлестанную, кладет двенадцать подпруг с подпругою.

Поехал Василий-царевич. Видели, как садился, а не видели, в кою сторону укатился... Вот он доезжает до росстаней, где лежит плита-камень, и видит:

«Направо поедешь — себя спасти, коня потерять. Налево поедешь — коня спасти, себя потерять. Прямо поедешь — женату быть».

Думал, думал Василий-царевич и поехал дорогой, где женатому быть. Доехал до терема с золотой крышей. Выбегает к нему прекрасная девица и просит его откушать хлеба-соли и лечь опочивать.

— Царский сын, не торопись ехать, а торопись делать, что тебе любо-дорого.

Тут она его из седла вынула, в терем повела, накормила, напоила и спать положила.

Только Василий-царевич лег к стенке, она опять повернула кровать, и он полетел в подполье.

А там спрашивают:

— Кто летит?

— Василий-царевич. А кто сидит?

— Федор-царевич.

— Вот, братан, попали!

Долго ли, коротко ли, — в третий раз царь собирает пир, зовет князей и бояр:

— Кто бы выбрался из охотников привезти молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.

Тут опять бóльший хоронится за среднего, средний за меньшого, а от меньшого ответу нет.

Выходит Иван-царевич и говорит:

— Дай мне, батюшка, благословеньице, с буйной головы до резвых ног, ехать в тридцатое царство — поискать тебе молодильных яблок и живой воды, да поискать еще моих братьевцев.

Дал ему царь благословеньице. Пошел Иван-царевич в конюший двор — выбрать себе коня по разуму. На которого коня ни взглянет, тот дрожит, на которого руку положит — тот с ног валится...

Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идет, повесил буйну голову. Навстречу ему бабушка-задворенка.

— Здравствуй, дитятко, Иван-царевич! Что ходишь кручинен-печален?

— Как же мне, бабушка, не печалиться — не могу найти коня по разуму.

— Давно бы ты меня спросил. Добрый конь стоит закованный в погребу, на цепи железной. Сможешь его взять — будет тебе конь по разуму.

Приходит Иван-царевич к погребу, пнул плиту железную, свернулась плита с погребца. Вскочил ко добру коню, стал ему конь своими передними ногами на плечи. Стоит Иван-царевич — не шелохнется. Сорвал конь железную цепь, выскочил из погребца и Ивана-царевича вытащил. И тут Иван-царевич его обуздал уздою неузданной, оседлал седельцем неезженным, наложил двенадцать подпруг с подпругою — не ради красы, ради славушки молодецкой.

Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился... Доехал он до расстаней и поразмыслил:

«Направо ехать — коня потерять, — куда мне без коня-то? Прямо ехать — женату быть, — не за тем я в путь-дорогу выехал. Налево ехать — коня спасти, — эта дорога самая лучшая для меня».

И поворотил он по той дороге, где коня спасти — себя потерять. Ехал он долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, по зеленым лугам, по каменным горам, ехал день до вечера — красна солнышка до заката — и наезжает на избушку.

Стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке.

— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Как мне в тебя зайти, так и выйти.

Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее, а там сидит баба-яга, старых лет. Шелковый кудель мечет, а нитки через грядки бросает.

— Фу, фу, — говорит, — русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.

А Иван-царевич ей:

— Ах ты, баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу — те-ребишь, не узнавши молодца — хулишь. Ты бы сейчас вскочила да меня, добра молодца, дорожного человека, накормила, напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся, ты бы села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать — чей да откуда.

Вот баба-яга это дело все справила — Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Села к изголовью и стала спрашивать:

— Чей ты, дорожный человек, добрый молодец, да откуда? Какой ты земли? Какого отца, матери сын?

— Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Еду за тридевять земель, за тридевять озер, в тридесятое царство за живой водой и молодильными яблоками.

— Ну, дитя мое милое, далеко же тебе ехать: живая вода и молодильные яблоки — у сильной богатырки, девицы Синеглазки, она мне родная племянница. Не знаю, получишь ли ты добро...

— А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам, направь меня на ум-разум.

— Много молодцев проезживало, да не много вежливо говаривало. Возьми, дитятко, моего коня. Мой конь будет бойчее, довезет он тебя до моей средней сестры, она тебя научит.

Иван-царевич поутру встает ранехонько, умывается белешенько. Благодарит бабу-ягу за ночлег и поехал на ее коне.

Вдруг он и говорит коню:

— Стой! Перчатку обронил.

А конь отвечает:

— В кою пору ты говорил, я уже двести верст проскакал...

Едет Иван-царевич близко ли, далеко ли. День до ночи коротается. И завидел он впереди избушку на курьей ножке, об одном окошке.

— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Как мне в тебя зайти, так и выйти.

Избушка повернулась к лесу задом, к нему передом.

Вдруг слышно — конь заржал, и конь под Иваном-царевичем откликнулся.

Кони-то были одностадные.

Услышала это баба-яга — еще старее той — и говорит:

— Приехала ко мне, видно, сестрица в гости.

И выходит на крыльцо:

— Фу-фу, русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.

А Иван-царевич ей:

— Ах ты, баба-яга, костяная нога, встречай гостя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня убрала, меня бы, добра молодца, дорожного человека, накормила, напоила и спать уложила...

Баба-яга это дело все справила — коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила, на постелю уложила и стала спрашивать, кто он да откуда и куда путь держит.

— Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой водой и молодильными яблоками к сильной богатырке, девице Синеглазке...

— Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты добро. Мудро тебе, мудро добраться до девицы Синеглазки!

— А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам, направь меня на ум-разум.

— Много молодцев проезживало, да не много вежливо говаривало. Возьми, дитяtko, моего коня, поезжай к моей старшей сестре. Она лучше меня научит, что делать.

Вот Иван-царевич заночевал у этой старухи, поутру встает ранехонько, умывается белешенько. Благодарит бабу-ягу за ночлег и поехал на ее коне. А этот конь еще бойчей того.

Вдруг Иван-царевич говорит:

— Стой! Перчатку обронил.

А конь отвечает:

— В кою пору ты говорил, я уж триста верст проскакал.

Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Едет Иван-царевич день до вечера — красна солнышка до заката. Наезжает на избушку на курьей ножке, об одном окошке.

— Избушка, избушка, обернись к лесу задом, ко мне передом! Мне не век вековать, а одну ночь ночевать.

Вдруг заржал конь, и под Иваном-царевичем конь откликнулся. Выходит на крыльцо баба-яга, старых лет, еще старее той. Поглядела — конь ее сестры, а седок чужестранный, молодец прекрасный...

Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ночевать попросился. Делать нечего! Ночлега с собой не возят — ночлег каждому: и пешему и конному, и бедному и богатому.

Баба-яга все дело справила — коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила и стала спрашивать, кто он да откуда и куда путь держит.

— Я, бабушка, такого-то царства, такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей младшей сестры, она послала к средней, а средняя сестра к тебе послала. Дай свою голову моим могутным плечам, направь меня на ум-разум, как мне добыть у девицы Синеглазки живой воды и молодильных яблок.

— Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Девица Синеглазка, моя племянница, — сильная и могучая богатырка. Вокруг ее царства — стена три сажени вышины, сажень толщины, у ворот стража — тридцать богатырей. Тебя и в ворота не пропустят. Надо тебе ехать в середине ночи, ехать на моем добром коне. Доедешь до стены — и бей коня по бокам плетью нахлестанной. Конь через стену перескочит. Ты коня привяжи и иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками, а под яблоней колодец. Три яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды кувшинец о двенадцати рылец. Девица Синеглазка будет спать, ты в терем к ней не заходи, а садись на коня и бей его по крутым бокам. Он тебя через стену перенесет.

Иван-царевич не стал ночевать у этой старухи, а сел на ее доброго коня и поехал в ночное время. Этот конь поскакивает, мхи-болота перескакивает, реки, озера хвостом заметает.

Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, доезжает Иван-царевич в середине ночи до высокой стены. У ворот стража спит — тридцать могучих богатырей. Прижимает он своего доброго коня, бьет его плетью нехлестанной. Конь осерчал и перемахнул через стену. Слез Иван-царевич с коня, входит в сад и видит — стоит яблоня с серебряными листьями, золотыми яблоками, а под яблоней колодец. Иван-царевич сорвал три яблока, а больше не стал брать да зачерпнул из колодца живой воды кувшинец о двенадцати рылец. И захотелось ему самою увидеть, сильную, могучую богатырку, девицу Синеглазку.

Входит Иван-царевич в терем, а там спят — по одну сторону шесть полениц¹ — девиц-богатырок и по другую сторону шесть, а посредине разметалась девица Синеглазка, спит, как сильный речной порог шумит.

Не стерпел Иван-царевич, приложился, поцеловал ее и вышел... Сел на доброго коня, а конь говорит ему человеческим голосом:

— Не послушался ты, Иван-царевич, вошел в терем к девице Синеглазке! Теперь мне стены не перескочить.

Иван-царевич бьет коня плетью нехлестанной.

— Ах ты, конь, волчья съть, травяной мешок, нам здесь не ночь ночевать, а голову потерять!

Осерчал конь пуще прежнего и перемахнул через стену, да задел об нее одной подковой — на стене струны запели и колокола зазвонили.

Девица Синеглазка проснулась да увидела покражу:

— Вставайте, у нас покража большая!

Велела она оседлать своего богатырского коня и кинулась с двенадцатью поленицами в погоню за Иваном-царевичем.

Гонит Иван-царевич во всю прыть лошадиную, а девица Синеглазка гонит за ним. Доезжает он до старшей бабы-яги, а у нее

¹ Поленица — богатырка.

уже конь выведенный, готовый. Он — со своего коня да на этого и опять вперед погнался... Иван-то царевич за дверь, а девица Синеглазка — в дверь и спрашивает у бабы-яги:

— Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли?

— Нет, дитятко.

— Бабушка, здесь молодец не проезживал ли?

— Нет, дитятко. А ты с пути-дороги поешь молочка.

— Поела бы я, бабушка, да долго корову доить.

— Что ты, дитятко, живо справлюсь...

Пошла баба-яга доить корову — доит, не торопится. Поела девица Синеглазка молочка и опять погнала за Иваном-царевичем.

Доезжает Иван-царевич до средней бабы-яги, коня сменил и опять погнался. Он — за дверь, а девица Синеглазка — в дверь:

— Бабушка, не прорыскивал ли зверь, не проезжал ли добрый молодец?

— Нет, дитятко. А ты бы с пути-дороги поела блинков.

— Да ты долго печь будешь.

— Что ты, дитятко, живо справлю...

Напекла баба-яга блинков — печет, не торопится. Девица Синеглазка поела и опять погнала за Иваном-царевичем.

Он доезжает до младшей бабы-яги, слез с коня, сел на своего коня богатырского и опять погнался. Он — за дверь, девица Синеглазка — в дверь и спрашивает у бабы-яги, не проезжал ли добрый молодец.

— Нет, дитятко. А ты бы с пути-дороги в баньке попарилась.

— Да ты долго топить будешь.

— Что ты, дитятко, живо справлю...

Истопила баба-яга баньку, все изготовила. Девица Синеглазка попарилась, обкатилась и опять погнала в сугон¹. Конь ее с горки на горку поскакивает, реки, озера хвостом замечает. Стала она Ивана-царевича настигать.

Он видит за собой погоню: двенадцать богатырок с тринадцатой — девицей Синеглазкой — ладят на него наехать, с плеч голову снять. Стал он коня приостанавливать, девица Синеглазка наскокивает и кричит ему:

— Что ж ты, вор, без спросу из моего колодца пил да колодец не прикрыл!

А он ей:

— Что ж, давай разъедемся на три прыска лошадиных, давай силу пробовать.

Тут Иван-царевич и девица Синеглазка заскакали на три прыска лошадиных, брали палицы боевые, копыя долгомерные, сабельки острые. И съезжались три раза, палицы поломали, копыя-сабли исцербили — не могли друг друга с коня сбить. Незачем стало

¹ Сугон — погоня.

им на добрых конях разъезжаться, соскочили они с коней и схватились в охапочку.

Боролись с утра до вечера — красна солнышка до заката. У Ивана-царевича резва ножка подвернулась, упал он на сыру землю. Девица Синеглазка стала коленкой на его белу грудь и вытаскивает кинжалище булатный — пороть ему белу грудь. Иван-царевич и говорит ей:

— Не губи ты меня, девица Синеглазка, лучше возьми за белые руки, подними со сырой земли, поцелуй в уста сахарные.

Тут девица Синеглазка подняла Ивана-царевича со сырой земли и поцеловала в уста сахарные. И раскинули они шатер в чистом поле, на широком раздолье, на зеленых лугах. Тут они гуляли три дня и три ночи. Здесь они и обручились и перстнями обменялись.

Девица Синеглазка ему говорит:

— Я поеду домой — и ты поезжай домой, да смотри никуда не сворачивай... Через три года жди меня в своем царстве.

Сели они на коней и разъехались... Долго ли, коротко ли, не скоро дело делается, скоро сказка сказывается, — доезжает Иван-царевич до росстаней, до трех дорог, где плита-камень, и думает:

«Вот хорошо! Домой еду, а братья мои пропадают без вести».

И не послушался он девицы Синеглазки, своротил на ту дорогу, где женатому быть... И наезжает на терем под золотой крышей. Тут под Иваном-царевичем конь заржал, и братьевы кони откликнулись. Кони-то были одностадные...

Иван-царевич взошел на крыльцо, стукнул кольцом — маковки на тереме зашатались, оконницы покривились. Выбегает прекрасная девица.

— Ах, Иван-царевич, давно я тебя поджидаю! Иди со мной хлеба-соли откусать и спать-почивать.

Повела его в терем и стала потчевать. Иван-царевич не столько ест, сколько под стол кидает, не столько пьет, сколько под стол льет. Повела его прекрасная девица в спальню:

— Ложись, Иван-царевич, спать-почивать.

А Иван-царевич столкнул ее на кровать, живо кровать повернул, девица и полетела в подполье, в яму глубокую.

Иван-царевич наклонился над ямой и кричит:

— Кто там живой?

А из ямы отвечают:

— Федор-царевич да Василий-царевич.

Он их из ямы вынул — они лицом черны, землей уж стали порастать. Иван-царевич умыл братьев живой водой — стали они опять прежними.

Сели они на коней и поехали... Долго ли, коротко ли, доехали до росстаней. Иван-царевич и говорит братьям:

— Покарауйте моего коня, а я лягу отдохну.

Лег он на шелковую траву и богатырским сном заснул. А Федор-царевич и говорит Василию-царевичу.

— Вернемся мы без живой воды, без молодильных яблок — будет нам мало чести, нас отец пошлет гусей пасти...

Василий-царевич отвечает:

— Давай Ивана-царевича в пропасть спустим, а эти вещи возьмем и отцу в руки отдадим.

Вот они у него из-за пазухи вынули молодильные яблоки и кувшин с живой водой, а его взяли и бросили в пропасть. Иван-царевич летел туда три дня и три ночи.

Упал Иван-царевич на самое взморье, опамятовался и видит — только небо и вода, и под старым дубом у моря птенцы пищат — бьет их погода.

Иван-царевич снял с себя кафтан и птенцов покрыл, а сам укрылся под дуб.

Унялась погода, летит большая птица Нагай. Прилетела, под дуб села и спрашивает птенцов:

— Детушки мои милые, не убила ли вас погодушка-ненастье?

— Не кричи, мать, нас сберег русский человек, своим кафтаном укрыл.

Птица Нагай спрашивает Ивана-царевича:

— Для чего ты сюда попал, милый человек?

— Меня родные братья в пропасть бросили за молодильные яблоки да за живую воду.

— Ты моих детей сберег, спрашивай у меня, чего хочешь: злата ли, серебра ли, камня ли драгоценного.

— Ничего, Нагай-птица, мне не надо: ни злата, ни серебра, ни камня драгоценного. А нельзя ли мне попасть в родную сторону?

Нагай-птица ему отвечает:

— Достань мне два чана — пудов по двенадцати — мяса.

Вот Иван-царевич настрелял на взморье гусей, лебедей, в два чана поклат, поставил один чан Нагай-птице на правое плечо, а другой чан — на левое, сам сел ей на хребет. Стал птицу Нагай кормить, она поднялась и летит ввышину.

Она летит, а он ей подает да подает... Долго ли, коротко ли так летели, скормил Иван-царевич оба чана. А птица Нагай опять оборачивается. Он взял нож, отрезал у себя кусок с ноги и Нагай-птице подал. Она летит, летит и опять оборачивается. Он с другой ноги срезал мясо и подал. Вот уже недалеко лететь осталось. Нагай-птица опять оборачивается. Он с груди у себя мясо срезал и ей подал.

Тут Нагай-птица донесла Ивана-царевича до родной стороны.

— Хорошо ты кормил меня всю дорогу, но слаще последнего кусочка отродясь не едала.

Иван-царевич ей и показывает раны. Нагай-птица рыгнула, три куса вырыгнула:

— Приставь на место.

Иван-царевич приставил — мясо и приросло к костям.

— Теперь слезай с меня, Иван-царевич, я домой полечу.

Поднялась Нагай-птица в высоту, а Иван-царевич пошел путем-дорогой на родную сторону.

Пришел он в столицу и узнает, что Федор-царевич и Василий-царевич привезли отцу живой воды и молодильных яблок и царь исцелился: по-прежнему стал здоровьем крепок и глазами зорок.

Не пошел Иван-царевич к отцу, к матери, а собрал он пьяниц, кабацкой голи и давай гулять по кабакам.

В ту пору за тридевять земель, в тридесятом царстве сильная богатырка Синеглазка родила двух сыновей. Они растут не по дням, а по часам. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается — прошло три года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича.

Пришла она в его царство и в чистом поле, в широком раздолье, на зеленых лугах раскинула шатер белополотняный. От шатра дорогу устелила сукнами цветными. И посылает в столицу царю сказать:

— Царь, отдай царевича. Не отдашь, — все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму.

Царь испугался и посылает старшего — Федора-царевича. Идет Федор-царевич по цветным сукнам, подходит к шатру белополотняному. Выбегают два мальчика:

— Матушка, матушка, это не наш ли батюшка идет?

— Нет, детушки, это ваш дяденька.

— А что прикажешь с ним делать?

— А вы, детушки, угостите его хорошенько.

Тут эти двое пареньков взяли трости и давай хлестать Федора-царевича пониже спины. Били, били, он едва ноги унес.

А Синеглазка опять посылает к царю:

— Отдай царевича...

Пуще испугался царь и посылает среднего — Василия-царевича. Он приходит к шатру. Выбегают два мальчика:

— Матушка, матушка, это не наш ли батюшка идет?

— Нет, детушки, это ваш дяденька. Угостите его хорошенько.

Двое пареньков опять давай дядю тростями чесать. Били, били, Василий-царевич едва ноги унес.

А Синеглазка в третий раз посылает к царю:

— Ступайте, ищите третьего сына, Ивана-царевича. Не найдете — все царство потопчу, пожгу.

Царь еще пуще испугался, посылает за Федором-царевичем и Василием-царевичем, велит им найти брата, Ивана-царевича. Тут братья упали отцу в ноги и во всем повинились: как у сонного Ивана-царевича взяли живую воду и молодильные яблоки, а самого бросили в пропасть.

Услышал это царь и залился слезами. А в ту пору Иван-царевич сам идет к Синеглазке, и с ним идет голь кабацкая. Они под ногами сукна рвут и в стороны мечут.

Подходит он к белополотняному шатру. Выбегают два мальчика:
— Матушка, матушка, к нам какой-то пьяница идет с голью кабацкой!

А Синеглазка им:

— Возьмите его за белые руки, ведите в шатер. Это ваш родной батюшка. Он безвинно три года страдал.

Тут Ивана-царевича взяли за белые руки, ввели в шатер. Синеглазка его умыла и причесала, одежду на нем сменила и спать уложила. А голи кабацкой по стаканчику поднесла, и они домой отправились.

На другой день Синеглазка и Иван-царевич приехали во дворец. Тут начался пир на весь мир — честным пирком да и за свадебку. Федору-царевичу и Василию-царевичу мало было чести, прогнали их со двора — ночевать где ночь, где две, а третью и ночевать негде...

Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в ее девичье царство.

Тут и сказке конец.

ИВАН — КОРОВИЙ СЫН

В некотором царстве жил царь с царицей, и не было у них детей. Сколько ни горевали, сколько знахарей ни звали — нет и нет у них детей.

Раз приходит к ним бабушка-задворенка.

— Пустите, — говорит, — невода в море, выловится рыбка — золотое перо. Сварите ее в семи водах, пусть царица поест, тогда и понесет.

Царь велел сплести невода, спустить в море, выловить рыбку — золотое перо. Рыбаки опустили невода в синее море — в первый раз ничего не попало; опустили в другой раз — опять ничего не попало; опустили в третий и выловили рыбку — золотое перо.

Взяли ее и принесли к царю. Он наградил рыбаков и приказал рыбку отнести в поварню, сварить в семи водах и подать царице. Повара рыбку вычистили, вымыли, сварили, а помои на двор выплеснули. Проходила мимо корова, помои полизала. Девка-чернавка положила рыбку на блюдо — отнести царице — да дорогой оторвала золотое перышко и попробовала. А царица рыбку съела.

И все три понесли в один день, в один час: корова, девка-чернавка и царица. И разрешились они в одно время тремя сыновьями: у царицы родился Иван-царевич, у девки-чернавки Иван — девкин сын; и корова родила человека, назвали его Иван — коровий сын.

Ребята уродились в одно лицо, голос в голос, волос в волос. Растут они не по дням, а по часам; как тесто на опаре поднимается, так и они растут.

Долго ли, коротко ли, стало им годков по десяти. Стали они с ребятами гулять, шутить шутки нехорошие. Какого парня возьмут за руку — рука прочь, возьмут за голову — голова прочь. Стал добрый народ на них жаловаться.

Вот Иван — коровий сын и говорит братьям:

— Чем нам у батюшки-царя жить, народ смущать, поедем лучше в чужие края.

Иван-царевич, Иван — девкин сын и Иван — коровий сын пришли к царю и просят, чтобы велел он сковать им три железные

палицы и дал бы им благословеньице — ехать в чужие края, искать себе поединщиков.

Царь приказал сковать три железные палицы. Кузнецы неделю ковали, сделали три палицы; никто их за один конец приподнять не может, а Иван-царевич, Иван — девкин сын и Иван — коровий сын их между пальцами поворачивают, словно перо гусиное.

Вышли братья на широкий двор.

— Ну, братаны, — говорит Иван-царевич, — давайте силу пробовать, кому быть набольшим. Кто выше палицу забросит, тот и больший брат.

— Ладно, бросай ты первый.

Иван-царевич бросил, улетела палица высоко, едва видать, через час только назад упала. После него бросил Иван — девкин сын, улетела палица еще выше, совсем не видать, через два часа назад упала. А Иван — коровий сын стал бросать палицу, улетела она за облако, назад упала через три часа.

— Ну, Иван — коровий сын, быть тебе большим братом.

Оседлали братья коней, попросили у батюшки благословеньице и поехали в чистое поле — куда глаза глядят.

Ехали они по горам, по долам, по зеленым лугам, долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — подъезжают они к реке Смородине. Через реку стоит калиновый мост, по берегам кости человеческие валяются, по колено будет навалено.

Увидали братья избушку, вошли в нее — пустехонька, и вздумали тут остановиться. Коней расседлали, сами поели, попили. Пришло дело к вечеру, Иван — коровий сын говорит братьям:

— Давайте каждую ночь поочередно ходить в дозор, не будет ли кто проезжать по этому мосту.

Бросили жребий: в первую ночь досталось идти в дозор Ивану-царевичу, во вторую ночь Ивану — девкину сыну, в третью Ивану — коровьему сыну.

Иван-царевич обулся, оделся и пошел в дозор на реку Смородину, на калиновый мост. Походил, походил, да и заснул. А Ивану — коровьему сыну в избушке не спится, в головах подушечка вертится. Встал он, обулся, оделся, взял палицу и пошел на мост. А там Иван-царевич спит. Взял его Иван — коровий сын под плечи и снес под мост, а сам стал караулить.

Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались, мост загудел — выезжает чудо-юдо змей шестиглавый; под ним конь споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, позади хорт¹ ошетинился.

Говорит им чудо-юдо:

— Что ты, волчья съть, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешься? А ты, песья шерсть, ошетинилась? Слышите друга аль недруга?

— Слышим недруга.

¹ Хорт — борзая собака.

— Врешь! Нет мне во всем свете ни спорщика, ни наговорщика, есть один только Иван — коровий сын. Так его костей сюда и ворон не занашивал, не только ему самому быть.

Тут Иван — коровий сын выскочил из-под моста:

— Я здесь!

Чудо-юдо его спрашивает:

— Зачем приехал, Иван — коровий сын? Сватать моих сестер али дочерей?

— Ох ты, чудо-юдо змей шестиглавый, в поле съезжаться — родней не считается. Давай поспорим!

Вот они сошлись, поравнялись, жестоко ударились. Чуду-юду не посчастливилось: Иван — коровий сын с одного размаху снес ему три головы.

— Стой, Иван — коровий сын, дай мне роздыху.

— Нет тебе роздыху, чудо-юдо! По-нашему: бей да руби, себя не береги.

Тут они снова сошлись. Чудо-юдо ударил, вогнал Ивана — коровьего сына по колена в сырую землю, а Иван — коровий сын ударил, снес ему остальные три головы; туловище разрубил и в речку побросал, а шесть голов сложил под калиновый мост. Сам вернулся в избушку и лег спать.

Поутру возвращается Иван-царевич.

— Что, брат, не видал ли: кто ходил, кто ездил по калиновому мосту? — спрашивают братья.

— Никто, братцы, не ходил, не ездил. Мимо меня и муха не пролетывала.

На другую ночь пошел в дозор Иван — девкин сын. Походил, походил, забрался в кусты и заснул.

А Ивану — коровьему сыну не спится, в головах подушечка вертится. Как пошло время за полночь, он обулся, оделся, взял палицу, вышел и стал под калиновый мост.

На реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались, мост загудел — выезжает чудо-юдо змей девятиглавый. У коня дым из ушей валит, из ноздрей пламя пышет.

Вдруг конь под ним споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ошетинился.

— Что ты, волчья сыть, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешься? А ты, песья шерсть, ошетибилась? Слышите друга аль недруга?

— Слышим недруга. Не Иван ли здесь — коровий сын?

— Его костей сюда и ворон не занашивал, не только ему самому быть.

Тут Иван — коровий сын выскочил из-под моста:

— Врешь ты! Я здесь.

Чудо-юдо говорит ему:

— Зачем приехал? Сватать моих сестер али дочерей?

— Ох ты, чудо-юдо девятиглавое, в поле съезжаться — родней не считается. Давай биться!

Вот они сошлись, поравнялись, жестоко ударились, кругом земля простонала. Иван — коровий сын размахнулся палицей — три головы чудо-юдо, как кочки, снес; в другой раз размахнулся — еще три головы снес. А чудо-юдо ударил — по пояс вогнал его в сырую землю.

Иван — коровий сын захватил земли горсть и бросил ему в очи. Чудо-юдо схватился протирать глазища, Иван — коровий сын сбил ему остальные головы, туловище рассек на части, покидал в реку Смородину, а девять голов сложил под калиновый мост. Сам пошел в избушку и лег спать.

Наутро возвращается Иван — девкин сын.

— Что, брат, не видал ли: кто ходил, кто ездил по калиновому мосту?

— Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетывала и комар не пропискивал.

Иван — коровий сын повел братьев под калиновый мост, показал змеевы головы и давай стыдить:

— Эх вы, богатыри! Где вам воевать — вам дома на печи лежать!

На третью ночь собирается Иван — коровий сын идти на дозор. Воткнул он нож в стену, повесил на него белое полотенце, а под ним на полу миску поставил.

— Я на страшный бой иду. А вы, братья, всю ночь не спите, присматривайте, как будет с полотенца кровь течь: если половина миски набежит — ладно дело, если полная миска набежит — все ничего, а если через край польется — тогда спешите мне на помощь.

Вот стоит Иван — коровий сын под калиновым мостом; пошло время за полночь. На реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались, мост загудел — выезжает чудо-юдо змей двенадцатиглавый. У коня его дым из ушей валит, из ноздрей пламя пышет, из-под копыт ископоть по копне летит.

Вдруг конь под ним споткнулся, на плече ворон встрепенулся, позади хорт ошетинился.

— Что ты, волчья сыть, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешься? А ты, песья шерсть, ошетинилась? Слышите друга аль недруга?

— Слышим недруга: здесь Иван — коровий сын.

— Врешь! Его костей сюда и ворон не занасивал.

— Ах ты, чудо-юдо двенадцатиглавое! — Иван — коровий сын отозвался, из-под моста выскочил. — Ворон моих костей не занасивал, я сам здесь погуливаю.

— Зачем пришел?

— Пришел на тебя, нечистая сила, поглядеть, твоей крепости испробовать.

— Так ты моих братьев убил? И меня думаешь победить? Я дуну только — от тебя и праху не останется.

— Я пришел с тобой не сказки сказывать, давай биться насмерть!

Иван — коровий сын размахнулся палицей, сбил чуду-юду три головы. Чудо-юдо подхватил эти головы, чиркнул по ним огненным пальцем — головы приросли, будто и с плеч не падали. Да в свой черед ударил Ивана — коровьего сына и вбил его по колена в сырую землю.

Тут ему плохо пришлось.

— Стой, нечистая сила, дай мне роздыху!

Чудо-юдо дал ему роздыху. Иван — коровий сын снял правую рукавицу и кинул в избушку. Рукавица двери-окна вышибла, а братья его спят, ничего не слышат.

Иван — коровий сын размахнулся в другой раз, сильнее прежнего, снес чуду-юду шесть голов. Чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем — и опять все головы на местах; ударил в свой черед и вбил Ивана — коровьего сына по пояс в сырую землю.

— Стой, нечистая сила, дай мне роздыху!

Иван — коровий сын снял левую рукавицу, кинул — рукавица крышу у избушки снесла, а братья все спят, ничего не слышат.

Размахнулся он палицей в третий раз, еще сильнее того, и сбил чуду-юду девять голов. Чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем — головы опять приросли; а Ивана — коровьего сына вбил на этот раз по плечи в сырую землю.

— Стой, нечистая сила, дай мне третий раз роздыху!

Снял Иван — коровий сын шапку и кинул в избушку; от того удара избушка развалилась, вся по бревнам раскатилась.

Тут братья проснулись, глянули — все полотенце в крови, из миски кровь через край льется.

Испугались они, палицы взяли, поспешили на помощь старшему брату. А он тем временем приловчился и отсек чуду-юду огненный палец. Да вместе с братьями давай сбивать ему головы... Бились они день до вечера и одолели чудо-юдо змея двенадцатиглавого, посшибали ему головы все до единой, туловище на части разрубили, побросали в реку Смородину.

Утром ранешенько братья оседлали коней и поехали в путь-дорогу. Вдруг Иван — коровий сын говорит:

— Стой, рукавицы забыл! Поезжайте, братья, шажком, я вас скоро догоню.

Он отъехал от них, слез с коня, пустил его в зеленые луга, сам обернулся воробушкой и полетел через калиновый мост, через реку Смородину к белокаменным палатам; сел у открытого окошка и слушает.

А в палатах белокаменных сидела старая змеиха и три ее снохи, чудо-юдовы жены, и говорили между собой, как бы им злодея Ивана — коровьего сына с братьями погубить.

— Я напушу на них голод, — младшая сноха говорит, — а сама обернусь яблоней с наливными яблоками. Они съедят по яблочку — их на части разорвет.

Средняя сноха говорит:

— Я напушу на них жажду, сама обернусь колодцем, — пусть попробуют из меня выпить.

А старшая сноха:

— Я напушу на них сон, сама перекинусь мягкой постелью. Кто на меня ляжет — огнем сгорит.

А старая змеиха, чудо-юдова мать, говорит:

— Я обернусь свиньей, разину пасть от земли до неба, всех троих сожру.

Иван — коровий сын выслушал эти речи, полетел назад в зеленые луга, ударился об землю и стал по-прежнему добрым молодцем. Догнал братьев, и едут они дальше путем-дорогой. Ехали долго ли, коротко ли, стал их мучить голод, а есть нечего. Глядят, у дороги стоит яблоня, на ветвях — наливные яблоки. Иван-царевич и Иван — девкин сын пустились было яблоки рвать, а Иван — коровий сын вперед их заскакал и давай рубить яблоню крест-накрест, из нее только кровь брызжет.

— Видите, братья, какая это яблоня!

Едут они дальше по степям, по лугам, а день все жарче, терпения нет. Стала их мучить жажда. Вдруг видят — колодец, холодный ключ. Младшие братья кинулись к нему, а Иван — коровий сын вперед их соскочил с коня и давай этот колодец рубить, только кровь брызжет.

— Видите, братья, какой это колодец!

Вдруг день затуманился, жара спала, и пить не хочется. Поехали они дальше путем-дорогой. Настигает их темная ночь, стал их одолевать сон — мочи нет. Видят они — избенка, свет в окошке; в избенке стоит тесовая кровать, пуховая постель.

— Иван — коровий сын, давай здесь заночуем.

Он выскочил вперед братьев и давай рубить кровать вдоль и поперек, только кровь брызжет.

— Видели, братья, какая это пуховая постель!

Тут у них и сон прошел.

Едут они дальше путем-дорогой и слышат — за ними погоня: летит старая змеиха, разинула рот от земли до неба. Иван — коровий сын видит, что им коротко приходится. Как спастись? И бросил он ей в пасть три пуда соли. Змеиха сожрала, пить захотела и побежала к синему морю.

Покуда она пила, братья далеко уехали; змеиха напилась и опять кинулась за ними. Они припустили коней и наезжают в лесу на кузницу. Иван — коровий сын с братьями зашел туда.

— Кузнецы, кузнецы, скуйте двенадцать прутьев железных да накалите клещи докрасна. Прибежит большая свинья и скажет: «Отдайте виноватого». А вы ей говорите: «Пролижи языком двенадцать железных дверей да бери сама».

Вдруг прибегает старая змеиха, обернулась большой свиньей и кричит:

— Кузнецы, кузнецы, отдайте виноватого!

Кузнецы ей ответили, как научил их Иван — коровий сын:

— Пролужи языком двенадцать железных дверей да бери сама. Змеиха начала лизать железные двери, пролизала все двенадцать дверей, язык просунула. Иван — коровий сын ухватил ее калеными щипцами за язык, а братья начали бить ее железными прутьями, пробили шкуру до костей. Убили змеиху, сожгли и пепел по ветру развеяли.

И поехали Иван — коровий сын, Иван — девкин сын и Иван-царевич домой.

Стали жить да поживать, гулять да пировать. На том пиру и я был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Тут меня угощали: отняли лоханку от быка да налили молока. Я не пил, не ел, вздумал упираться, стали со мной драться. Я надел колпак, стали в шею толкать...

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

В старые годы у одного царя было три сына. Вот, когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит:

— Сынки мои любезные, покуда я еще не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат.

Сыновья отцу отвечают:

— Так что ж, батюшка, благослови. На ком тебе желательно нас женить?

— Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте: куда стрелы упадут, там и судьба ваша.

Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили.

У старшего сына стрела упала на боярский двор, подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий двор, подняла ее купеческая дочь.

А у младшего сына, Ивана-царевича, стрела поднялась и улетела, сам не знает куда. Вот он шел, шел, дошел до болота, видит — сидит лягушка, подхватила его стрелу. Иван-царевич говорит ей:

— Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу.

А лягушка ему отвечает:

— Возьми меня замуж!

— Что ты, как я возьму себе в жены лягушку?

— Бери, знать судьба твоя такая.

Закручинился Иван-царевич. Делать нечего, взял лягушку, принес домой. Царь сыграл три свадьбы: старшего сына женил на боярской дочери, среднего — на купеческой, а несчастного Ивана-царевича — на лягушке.

Вот царь позвал сыновей:

— Хочу посмотреть, которая из ваших жен лучшая рукодельница. Пускай сошьют мне к завтраму по рубашке.

Сыновья поклонились отцу и пошли.

Иван-царевич приходит домой, сел и голову повесил. Лягушка по полу скачет, спрашивает его:

— Что, Иван-царевич, голову повесил? Или горе какое?

— Батюшка велел тебе к завтраму рубашку ему сшить.

Лягушка отвечает:

— Не тужи, Иван-царевич, ложись лучше спать, утро вечера мудренее.

Иван-царевич лег спать, а лягушка прыгнула на крыльцо, сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке не расскажешь.

Василиса Премудрая ударила в ладоши и крикнула:

— Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Сшейте мне к утру такую рубашку, какую видела я у моего родного батюшки.

Иван-царевич утром проснулся, лягушка опять по полу скачет, а уж рубашка лежит на столе, завернута в полотенце. Обрадовался Иван-царевич, взял рубашку, понес к отцу. Царь в это время принимал дары от больших сыновей. Старший сын развернул рубашку, царь принял ее и сказал:

— Эту рубашку в черной избе носить.

Средний сын развернул рубашку, царь сказал:

— В ней только в баню ходить.

Иван-царевич развернул рубашку, изукрашенную золотом-серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул:

— Ну, вот это рубашка — в праздник ее надевать.

Пошли братья по домам — те двое — и судят между собой:

— Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича: она не лягушка, а какая-нибудь хитра¹...

Царь опять позвал сыновей:

— Пускай ваши жены испекут мне к завтраму хлеб. Хочу узнать, которая лучше стряпает.

Иван-царевич голову повесил, пришел домой. Лягушка его спрашивает:

— Что закручинился?

Он отвечает:

— Надо к завтраму испечь царю хлеб.

— Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера мудренее.

А те невестки сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабушку-задворенку посмотреть, как лягушка будет печь хлеб.

Лягушка хитра, она это смекнула. Замесила квашню, печь сверху разломала да прямо туда, в дыру, всю квашню и опрокинула. Бабушка-задворенка прибежала к царским невесткам, все рассказала, и те так же стали делать.

А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой Премудрой, ударила в ладоши:

— Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Испеките, мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного батюшки ела.

¹ Хитра — колдунья.

Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями: по бокам узоры печатные, сверху города с заставами.

Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб в ширинку, понес к отцу. А царь в то время принимал хлебы от больших сыновей. Их жены-то попускали тесто в печь, как им бабушка-задворенка сказала, и вышла у них одна горелая грязь. Царь принял хлеб от старшего сына, посмотрел и отослал в людскую. Принял от среднего сына и туда же отослал. А как подал Иван-царевич, царь сказал:

— Вот это хлеб, только в праздник его есть.

И приказал царь трем своим сыновьям, чтобы завтра явились к нему на пир вместе с женами.

Опять воротился Иван царевич домой не весел, ниже плеч голову повесил. Лягушка по полу скачет:

— Ква, ква, Иван-царевич, что закручинился? Или услышал от батюшки слово неприветливое?

— Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир, а как я тебя людям покажу?

Лягушка отвечает:

— Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи: «Это моя лягушонка в коробчонке едет».

Иван-царевич и пошел один. Вот старшие братья приехали с женами, разодетыми, разубранными, нарумяненными, насурмленными. Стоят да над Иваном-царевичем смеются:

— Что же ты без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес. Где ты такую красавицу выискал? Чай, все болота исходил.

Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за столы дубовые, за скатерти браные — пировать. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрещал. Гости напугались, повскакали с мест, а Иван-царевич говорит:

— Не бойтесь, честные гости: это моя лягушонка в коробчонке приехала.

Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая: на лазоревом платье — частые звезды, на голове — месяц ясный, такая красавица — ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет за столы дубовые, за скатерти браные.

Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем да косточки за правый рукав бросила.

Жены больших-то царевичей увидели ее хитрости и давай то же делать.

Попили, поели, настал черед плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась — всем на диво. Махнула левым рукавом —

вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом — поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались.

А старшие невестки пошли плясать: махнули рукавом — только гостей забрызгали, махнули другим — только кости разлетелись, одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал обеих невесток.

В ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал домой, нашел там лягушечью кожу и бросил ее в печь, сжег на огне.

Василиса Премудрая возвращается домой, хватилась — нет лягушечьей кожи. Села она на лавку, запечалилась, приуныла и говорит Ивану-царевичу:

— Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты еще только три дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь прощай. Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, у Кошечья Бессмертного...

Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и улетела в окно. Иван-царевич заплакал, заплакал, поклонился на четыре стороны и пошел куда глаза глядят — искать жену, Василису Премудрую. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтан истер, шапчонку дождик иссек. Попадает ему навстречу старый старичок.

— Здравствуй, добрый молодец! Что ищешь, куда путь держишь?

Иван-царевич рассказал ему про свое несчастье. Старый старичок говорит ему:

— Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушечью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее было снимать. Василиса Премудрая хитрей, мудреней своего отца уродилась. Он за то осерчал на нее и велел ей три года быть лягушкой. Ну, делать нечего, вот тебе клубок: куда он покатится, туда и ты ступай за ним смело.

Иван-царевич поблагодарил старого старичка и пошел за клубочком. Клубок катится, он за ним идет. В чистом поле попадает ему медведь. Иван-царевич нацелился, хочет убить зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом:

— Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь тебе пригожусь.

Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять, пошел дальше. Глядь, летит над ним селезень. Он нацелился, а селезень говорит ему человеческим голосом:

— Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь.

Он пожалел селезня и пошел дальше. Бежит косой заяц. Иван-царевич опять спохватился, хочет в него стрелять, а заяц говорит человеческим голосом:

— Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь.

Пожалел он зайца, пошел дальше. Подходит к синему морю и видит — на берегу, на песке, лежит щука, едва дышит и говорит ему:

— Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море!

Он бросил щуку в море, пошел дальше берегом. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается.

— Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила: к лесу задом, ко мне передом.

Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. Иван-царевич взошел в нее и видит: на печи, на девятом кирпиче, лежит баба-яга, костяная нога, зубы — на полке, а нос в потолок врос.

— Зачем, добрый молодец, ко мне пожаловал? — говорит ему баба-яга. — Дело пытаешь или от дела лытаешь?

Иван-царевич ей отвечает:

— Ах ты, старая хрычовка, ты бы меня прежде напоила, накормила, в бане выпарила, тогда бы и спрашивала.

Баба-яга его в бане выпарила, напоила, накормила, в постель уложила, и Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую.

— Знаю, знаю, — говорит ему баба-яга, — твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее будет достать, нелегко с Кощеем сладить: его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кощей Бессмертный, как свой глаз, бережет.

Иван-царевич у бабы-яги переночевал, и наутро она ему указала, где растет высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошел туда Иван-царевич, видит — стоит, шумит высокий дуб, на нем каменный сундук, а достать его трудно.

Вдруг, откуда ни взялся, прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц — и наутек во всю прыть. А за ним другой заяц гонится, нагнал и в клочки разорвал. А из зайца вылетела утка, поднялась высоко, под самое небо. Глядь, на нее селезень кинулся, как ударит ее — утка яйцо выронила, упало яйцо в синее море...

Тут Иван-царевич залился горькими слезами — где же в море яйцо найти! Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у нее конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы конец, пришлось Кощею помереть.

Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала его в сахарные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.

СИВКА-БУРКА

Жил-был старик, у него было три сына. Старшие занимались хозяйством, были тароваты и щеголеваты, а младший, Иван-дурак, был так себе — любил в лес ходить по грибы, а дома все больше на печи сидел.

Пришло время старику умирать, вот он и наказывает сыновьям:

— Когда помру, вы три ночи подряд ходите ко мне на могилу, приносите мне хлеба.

Старика этого схоронили. Приходит ночь, надо большому брату идти на могилу, а ему не то лень, не то боится, — он и говорит младшему брату:

— Ваня, замени меня в эту ночь, сходи к отцу на могилу. Я тебе пряник куплю.

Иван согласился, взял хлеба, пошел к отцу на могилу. Сел, дожидается. В полночь земля расступилась, отец поднимается из могилы и говорит:

— Кто тут? Ты ли, мой больший сын? Скажи, что делается на Руси: собаки ли лают, волки ли воют, или чадо мое плачет?

Иван отвечает:

— Это я, твой сын. А на Руси все спокойно.

Отец наелся хлеба и лег в могилу. А Иван направился домой, дорогой набрал грибов. Приходит — старший сын его спрашивает:

— Видел отца?

— Видел.

— Ел он хлеб?

— Ел. Досыта наелся.

Настала вторая ночь. Надо идти среднему брату, а ему не то лень, не то боится, — он и говорит:

— Ваня, сходи за меня к отцу. Я тебе лапти сплету.

— Ладно.

Взял Иван хлеба, пошел к отцу на могилу, сел, дожидается. В полночь земля расступилась, отец поднялся и спрашивает:

— Кто тут? Ты ли, мой середний сын? Скажи, что делается на Руси: собаки ли лают, волки ли воют, или мое чадо плачет?

Иван отвечает:

— Это я, твой сын. А на Руси все спокойно.

Отец наелся хлеба и лег в могилу. А Иван пошел домой, дорогой опять набрал грибов. Средний брат его спрашивает:

— Отец ел хлеб?

— Ел. Досыта наелся.

На третью ночь настала очередь идти Ивану. Он говорит братьям:

— Я две ночи ходил. Ступайте теперь вы к отцу на могилу, а я отдохну.

Братья ему отвечают:

— Что ты, Ваня, тебе стало там знакомо, иди лучше ты.

— Ну ладно.

Иван взял хлеба, пошел. В полночь земля расступается, отец поднялся из могилы:

— Кто тут? Ты ли, мой младший сын Ваня? Скажи, что делается на Руси: собаки ли лают, волки ли воют, или чадо мое плачет?

Иван отвечает:

— Здесь твой сын Ваня. А на Руси все спокойно.

Отец наелся хлеба и говорит ему:

— Один ты исполнил мой наказ, не побоялся три ночи ходить ко мне на могилу. Выдь в чистое поле и крикни: «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Конь к тебе прибежит, ты залезь ему в правое ухо, а вылезь в левое. Станешь куда какой молодец. Садись на коня и поезжай.

Приезжает Иван на царский двор, а там народу видимо-невидимо. В высоком тереме о двенадцати столбах, о двенадцати венцах на самом верху в окошке сидит царевна Несравненная Красота.

Царь вышел на крыльцо и говорит:

— Кто из вас, молодцы, с разлету на коне доскочит до окошка да поцелует мою дочь в губы, за того отдам ее замуж и полцарства в придачу.

Тогда добрые молодцы начали скакать. Куда там — высоко, не достать! Попытались Ивановы братья, до середины не доскочили. Дошла очередь до Ивана.

Он разогнал Сивку-бурку, гикнул, ахнул, скакнул — двух венцов только не достал. Взвился опять, разлетелся в другой раз — одного венца не достал. Еще завертелся, закружился, разгорячил коня и дал рыскача — как огонь, пролетел мимо окошка, поцеловал царевну Несравненную Красоту в сахар-

ные уста, а царевна ударила его кольцом в лоб, приложила печать.

Тут весь народ закричал:

— Держи, держи его!

А его и след простыл.

Прискакал Иван в чистое поле, влез Сивке-бурке в левое ухо, а из правого вылез и сделался опять Иваном-дураком. Коня пустил, а сам пошел домой, по дороге набрал грибов. Обвязал лоб тряпицей, залез на печь и полеживает.

Приезжают его братья, рассказывают, где были и что видели.

— Были хороши молодцы, а один лучше всех — с разлету на коне царевну в уста поцеловал. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал.

Иван сидит за трубой и говорит:

— Да не я ли это был?

Братья на него рассердились:

— Дурак — дурацкое и орет! Сиди на печи да ешь свои грибы.

Иван потихоньку развязал тряпицу на лбу, где его царевна кольцом ударила, — избу огнем осветило. Братья испугались, закричали:

— Что ты, дурак, делаешь? Избу сожжешь!

На другой день царь зовет к себе на пир всех бояр и князей, и простых людей, и богатых и нищих, и старых и малых.

Ивановы братья стали собираться к царю на пир. Иван им говорит:

— Возьмите меня с собой!

— Куда тебе, дураку, людей смешить! Сиди на печи да ешь свои грибы.

Братья сели на добрых коней и поехали, а Иван пошел пешком. Приходит к царю на пир и сел в дальний угол. Царевна Несравненная Красота начала гостей обходить. Подносит чашу с медом и смотрит, у кого на лбу печать.

Обошла она всех гостей, подходит к Ивану, и у самой сердце так и защемило. Взглянула на него — он весь в саже, волосы дыбом.

Царевна Несравненная Красота стала его спрашивать:

— Чей ты? Откуда? Для чего лоб завязал?

— Ушибся.

Царевна ему лоб развязала — вдруг свет по всему дворцу. Она и вскрикнула:

— Это моя печать! Вот где мой суженый!

Царь подходит и говорит:

— Какой это суженый! Он дурной, весь в саже.

Иван говорит царю:

— Дозволь мне умыться.

Царь дозволил. Иван вышел на двор и крикнул, как его отец учил:

— Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!

Откуда ни возьмись конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит. Иван ему в правое ухо влез, из левого вылез и сделался опять таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать. Весь народ так и ахнул.

Разговоры тут были коротки: веселым пирком да за свадебку.

КОММЕНТАРИИ

Нынешнее Собрание сочинений А.Н.Толстого выходит через пятьдесят лет после смерти автора (умер 23 февраля 1945 года). Эти полвека включают в себя и минувшее десятилетие крутых общественных переломов, перемен в духовных ориентациях и объективного процесса переосмысления культурного наследия страны. Уже по одному этому нынешнее издание должно иметь свои отличия и особенности.

Самоочевидная всеобщая почитаемость литературных авторитетов явно уходит в прошлое. В литературных собраниях сочинений первейшую роль обретают признаки ч и т а е м о с т и, привлекательности издания для разных общественных слоев.

Отбором и расположением материала прежде всего и показано, что А.Толстой остается крупнейшим мыслящим художником, интересным для самого широкого читательского круга. Наряду с современными критериями отбора, этому служит жанрово-тематическое построение пятитомника.

Названными чертами нынешнее Собрание отличается от ряда собраний сочинений А.Н.Толстого, начиная с Полного собрания сочинений в 15 томах, осуществленного вскоре после смерти писателя (1946—1953) и последующих за ним. В них обычным стало сугубо хронологическое расположение материала и, за изъятием редких очевидностей, пиететно-апологетическое отношение чуть ли не ко всему, напечатанному классиком советской литературы.

Вместе с тем в настоящем Собрании сочинений внутри жанровотематических «блоков» соответствующих томов произведения располагаются в хронологической последовательности их издания. Это сохраняет возможность проследить творческое развитие и эволюцию художника.

Источники. Если источник отдельно не оговорен, — материал дается по текстологически наиболее точному и выверенному с оригиналами изданию — А л е к с е й Т о л с т о й. Собрание сочинений в десяти томах. ГИХЛ, М., 1958—1961, подготовленному долголетним секретарем писателя и знатоком рукописного наследия Ю.А.Крестинским. Из комментариев Ю.А.Крестинского к этому изданию почерпнуты в таких случаях и библиографические сведения о времени и месте первопубликаций, так или иначе воспроизводимые в справочном комментарии.

В пятитомнике использованы также еще два источника:

Сборник «А.Н.Толстой о литературе и искусстве» (Составители — Ю.М.Оклянский и Н.В.Лихова, вступительная статья Ю.М.Оклянского, комментарии Ю.А.Крестинского и Ю.М.Оклянского), М., «Советский писатель», 1984. Условное обозначение — Сборник.

И в одном случае — А.Н.Толстой. Собрание сочинений в десяти томах, М., «Художественная литература», 1986 (Условное обозначение: ГИХЛ, 1986, т.10).

Против каждого произведения указывается соответственно том и страницы основного источника или условные обозначения и страницы дополнительных источников.

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Составлена в 1942 году для отдела кадров Академии наук СССР, действительным членом которой с 1939 года являлся А.Н.Толстой. Под названием «Мой путь» впервые — журнал «Новый мир», 1943, № 1, январь. Оконча-

тельный текст, содержащий дополнения и авторскую правку, помещен в сборнике А.Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», М., изд-во «Советский писатель», 1944.

СТАРАЯ БАШНЯ

Впервые — журнал «Нива», 1908, № 21, май. Этот рассказ — печатный прозаический дебют молодого писателя.

АРХИП

Впервые — в «Новом журнале для всех», 1909, № 12, октябрь.

СМЕРТЬ НАЛЫМОВЫХ

Впервые — газета «Утро России», 1909, № 40, 24 ноября.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Впервые — «Общедоступный литературно-художественный альманах», М., 1911, книга первая.

ПЕТУШОК. НЕДЕЛЯ В ТУРЕНЕВЕ

Впервые под заглавием «Неделя в Туренева» — художественно-литературный ежемесячник «Аполлон», 1910, № 4, январь. Первая по времени написания повесть из числа нескольких произведений, составивших затем сборник «Повести и рассказы» (1910), которым открывается серия книг заволжского цикла.

МЕЧТАТЕЛЬ (*Аггей Коровин*)

Впервые под названием «Аггей Коровин», с иллюстрациями художника Б.М.Кустодиева — журнал «Аполлон», 1910, № 8, май-июнь.

МИШУКА НАЛЫМОВ (*Заволжье*)

Впервые под названием «Заволжье» — альманах «Шиповник», 1910, книга 12. Повесть открывала сборник «Повестей и рассказов» (1910), который и сам автор, и критика именовали нередко «Заволжье». В сборник входили также повесть «Неделя в Туренева» и рассказы «Аггей Коровин», «Два друга» и «Сватовство».

АКТРИСА

Впервые под названием «Два друга» — в «Альманахе для всех», С.Петербург, 1910, № 1.

СВАТОВСТВО

Впервые — Альманах «Шиповник», 1910, книга 13.

РОДНЫЕ МЕСТА

Впервые — ежемесячный «Новый журнал для всех», 1911, № 27 (январь).

В ЛЕСУ

Впервые — журнал «Огонек», 1911, № 15, апрель.

ПРОГУЛКА

Впервые — газета «Речь», 1911, № 102, 16 апреля.

САМОРОДОК

Впервые — газета «Русское слово», 1910, № 89, 18 апреля. Автором рассказ не переиздавался.

НОЧЬ В СТЕПИ

Впервые — в газете «Речь», 1911, № 228, 21 августа.

ХАРИТОНОВСКОЕ ЗОЛОТО

Авторская датировка — «Петербург, декабрь 1911 г.». Рассказ сохранился в вырезке из газеты, название которой не установлено.

ТЕРЕНТИЙ ГЕНЕРАЛОВ

Впервые — журнал «Огонек», 1911, № 52, 25 декабря.

КЛЯКСА

Впервые — журнал «Солнце России», 1912, № 2 (январь).

ФАВН

Впервые под заглавием «Сатир» — журнал «Солнце России», 1912, № 17 (май).

БАРОН

Впервые — газета «Речь», 1912, № 249, 11 сентября.

ОВРАЖКИ

Впервые — в литературно-художественном сборнике «Слово», М., 1913, книга 1.

ДЕВУШКИ

Впервые — журнал «Живое слово», 1913, № 2 (январь).

ТРАГИК

Впервые — газета «Русские ведомости», 1913, № 98, 23 апреля.

МИССИОНЕР

Впервые под заглавием «И на старуху бывает проруха» — газета «Русские ведомости», 1913, № 109, 12 мая.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАССТЕГИНА

Впервые под названием «За стилем» с продолжениями и долгими перерывами — в газете «Русские ведомости», 1913, октябрь, №№ 208, 219, 230, 242 и 1914, январь, №№ 4, 9, 15.

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Впервые в сборнике «Слово», «Книгоиздательство писателей» в Москве», 1914, № 3. Повесть является самостоятельной частью более обширного, но неосуществленного писательского замысла.

НАТАША

Впервые — газета «Киевская мысль», 1914, № 355, 25 декабря (Рождественский номер). Рассказ примыкает к тому же неосуществленному прозаическому замыслу, что и повесть «Большие неприятности».

НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ *(Из городских очерков)*

Судя по всему, датируется 1914 годом. Один из первых подступов А.Толстого к критическому изображению салонной интеллигенции, тешащей свою пустоту экстравагантными вывертами так называемого «экспериментального» бездуховного искусства. Тема получила широкое развитие в романе «Егор Абозов» и в первой части трилогии «Хождение по мукам» (гл. 5, 7 и др. романа «Сестры»). Рассказ сохранился в недатированной газетной вырезке. В авторских изданиях не перепечатывался.

В ГАВАНИ

Впервые — газета «Русские ведомости», 1915, № 26, 1 февраля. В этой газете с августа 1914 года (когда началась мировая война) в качестве постоянного военного корреспондента работал А.Толстой. По теме рассказ примыкает к предыдущему.

НА ГОРЕ

Впервые — «Русские ведомости», 1915, № 67, 22 марта.

ДЛЯ ЧЕГО ИДЕТ СНЕГ

Впервые — «Русские ведомости», 1915, № 221, 27 сентября.

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ

Впервые под названием «Рожь» — «Русские ведомости», 1915, № 280, 6 декабря.

ЛЮБОВЬ

Впервые под названием «Искры» — в литературно-художественном сборнике «Слово», «Книгоиздательство писателей в Москве», 1916, книга шестая.

РАССКАЗ ПРОЕЗЖЕГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые — в журнале «Народоправство», 1917, № 11.

ЧЕЛОВЕК В ПЕНСНЕ

Впервые под названием «Пасынок» — в альманахе «Творчество», 1918, книга 2.

ИЗ «РАССКАЗОВ ИВАНА СУДАРЕВА»

Цикл под этим названием включает в себя шесть рассказов, из которых для настоящего издания отобрано два. Пять рассказов были написаны А.Толстым в августе 1942 года и рассказ «Русский характер» — в апреле 1944 года.

«Русский характер» — одно из самых популярных произведений периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Это последний рассказ, вышедший из-под пера писателя.

«Странная история» — впервые в газете «Красная Звезда», 1942, 28 августа.

«Русский характер» — впервые в газете «Красная Звезда», 1944, 7 мая.

ЧУДАКИ. РОМАН

Впервые под названием «Две жизни» — в литературно-художественном альманахе «Шиповник», С.-П., 1911, книги 14 и 15.

Это первый роман молодого прозаика, продолжающий тему «заволжского цикла».

СКАЗКИ

Интерес А.Толстого к обработке фольклорных мотивов проявился уже в начале литературного пути. После сборника символистских подражательных стихов «Лирика» (1907) первой прозаической книгой молодого писателя был сборник «Сорочьи сказки» (СПб, 1910), в котором он, по собственному признанию, «пытался в сказочной форме выразить свои детские впечатления». Сборник включал сорок одну миниатюру.

Впоследствии эти произведения подвергались неоднократной переработке. И были разделены автором на два цикла — «Русалочки сказки» и «Сорочьи сказки», частично публикуемых в нынешнем издании.

Большинство сказок обоих будущих циклов впервые напечатано в уже названном сборнике «Сорочьи сказки», изд-во «Общественная польза», СПб, 1910.

Первые публикации остальных произведений указываются ниже.

Русалочки сказки

ПОЛЕВИК

Впервые — литературный альманах «Колосья», кн.1, изд. журнала «Театр и искусство», 1909.

ХОЗЯИН

Впервые — в «Новом журнале для всех», 1909, № 7.

Сорочьи сказки

СОРОКА, МЫШКА

Впервые — в детском журнале «Тропинка», 1909, № 15

КОЗЕЛ

Впервые — журнал «Сатирикон», 1909, № 16.

ЕЖ

Впервые под заглавием «Еж-богатырь» — детский журнал «Тропинка», 1909, № 1.

ЗАЯЦ

Впервые — альманах «Колосья», кн.1, изд. журнала «Театр и искусство», 1909.

МУДРЕЦ

Впервые — журнал «Тропинка», 1909, № 1.

ГРИБЫ

Впервые — журнал «Тропинка», 1909, № 18.

ВЕРБЛЮД

Впервые — литературный сборник в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине — «Италия», изд-во «Шиповник», 1909.

ГОРШОК

Впервые под названием «Маленький фельетон» — газета «Луч света», 1909, 22 января.

КАРТИНА

Впервые — литературный альманах «Колосья», кн.1, 1909.

СИНИЦА

Впервые — альманах «Эпоха», кн. 1, М., 1918.

Сказки и рассказы для детей

ПОЛКАН

Впервые — детский журнал «Тропинка», 1909, № 9.

ТОПОР

Впервые — журнал «Тропинка», 1909, № 1.

ВОРОБЕЙ

Впервые — журнал «Тропинка», 1911, № 9.

ЖАР-ПТИЦА

Впервые — в книге «Жар-птица», Детские сборники, изд-во «Шиповник», книга 1, СПб, 1911.

ПРОЖОРЛИВЫЙ БАШМАК

Впервые — журнал «Галчонок», 1911, № 2.

СНЕЖНЫЙ ДОМ

Впервые — журнал «Галчонок», 1911, № 7.

ФОФКА

Впервые — в сборнике «Елка», Книжка для маленьких детей, изд-во «Парус», П., 1918.

КОТ СМЕТАННЫЙ РОТ

Впервые — изд-во Брокгауз-Эфрон, Л., 1924.

КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО

Впервые — изд-во «Время», Л., 1925.

РАССКАЗ О КАПИТАНЕ ГАТТЕРАСЕ, О МИТЕ СТРЕЛЬНИКОВЕ, О ХУЛИГАНЕ ВАСЬКЕ ТАБУРЕТКИНЕ И О ЗЛОМ КОТЕ ХАМЕ

Первая публикация не установлена. Под названием «Радиовредитель» — изд-во «Красная газета», Л. 1929.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

Впервые — Детиздат, Л., 1936.

Русские народные сказки

В конце 30-х годов А.Н.Толстой выдвинул смелую идею издания *свода русского фольклора* (см. об этом одноименную публикацию в разделе «Статьи об искусстве» — Том пятый наст. изд.). «К редактированию записей народного творчества, — отмечал А.Толстой, — необходимо привлечь и лучших фольклористов и лучших писателей, которые должны художественно реставрировать русские сказки, песни, былины, чтобы они заблестели (как сказки Шехерезады) и в таком виде были возвращены народу».

Сам писатель тогда же с увлечением занялся пересказом русских народных сказок. Тщательно взвешенную методику тонкой художественной работы по «реставрации» сказочных сюжетов и стилистики повествования А.Толстой изложил в *Предисловии* к первой своей книге русских народных сказок, которым открывается нынешняя публикация.

По призыву А.Толстого или параллельно с ним литературной обработкой русских народных сказок занимались и другие выдающиеся мастера слова. Пожалуй, плодотворней других — Андрей Платонов, выпустивший сборник «Волшебное кольцо. Русские сказки» (1950).

При жизни А.Толстого вышли две книги его пересказов русских народных сказок: Алексей Толстой. Русские сказки, т. 1, Детиздат, М. — Л., 1940 и «Русские народные сказки в обработке А.Толстого», Детгиз, М. — Л., 1944.

Сказки, помещенные в настоящем томе, впервые опубликованы в этих изданиях.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ	5
КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ	23
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ	
СТАРАЯ БАШНЯ	33
АРХИП	41
СМЕРТЬ НАЛЫМОВЫХ	57
ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ	61
ПЕТУШОК <i>Неделя в Туренева</i>	65
МЕЧТАТЕЛЬ (<i>Аггей Коровин</i>)	95
МИШУКА НАЛЫМОВ (<i>Заволжье</i>)	119
АКТРИСА	151
СВАТОВСТВО	161
РОДНЫЕ МЕСТА	177
В ЛЕСУ	195
ПРОГУЛКА	204
САМОРОДОК	211
НОЧЬ В СТЕПИ	216
ХАРИТОНОВСКОЕ ЗОЛОТО	224
ТЕРЕНТИЙ ГЕНЕРАЛОВ	230
КЛЯКСА	239
ФАВН	245
БАРОН	251
ОВРАЖКИ	258
ДЕВУШКИ	277
ТРАГИК	283
МИССИОНЕР	290
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕГИНА	296
БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ	332

НАТАША	378
НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ (<i>Из городских очерков</i>)	385
В ГАВАНИ	391
НА ГОРЕ	399
ДЛЯ ЧЕГО ИДЕТ СНЕГ	408
УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ	416
ЛЮБОВЬ	423
РАССКАЗ ПРОЕЗЖЕГО ЧЕЛОВЕКА	444
ЧЕЛОВЕК В ПЕНСНЕ	451
ИЗ РАССКАЗОВ «ИВАНА СУДАРЕВА»	
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ	465
РУССКИЙ ХАРАКТЕР	475
ЧУДАКИ, <i>Роман</i>	481
СКАЗКИ	
РУСАЛОЧЬИ СКАЗКИ	585
СОРОЧЬИ СКАЗКИ	603
СКАЗКИ И РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ	627
ПОЛКАН	627
ТОПОР	629
ВОРОБЕЙ	630
ЖАР-ПТИЦА	632
ПРОЖОРЛИВЫЙ БАШМАК	636
СНЕЖНЫЙ ДОМ	639
ФОФКА	642
КОТ СМЕТАННЫЙ РОТ	645
КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО	647
РАССКАЗ О КАПИТАНЕ ГАТТЕРАСЕ, О МИТЕ СТРЕЛЬНИКОВЕ, О ХУЛИГАНЕ ВАСЬКЕ ТАБУРЕТКИНЕ И ЗЛОМ КОТЕ ХАМЕ	664
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО	670
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ	731
ПРЕДИСЛОВИЕ	731
БОБОВОЕ ЗЕРНЫШКО	732
МЕДВЕДЬ И СОБАКА	734

ГЛИНЯНЫЙ ПАРЕНЬ	736
ЛЕВ, ЩУКА И ЧЕЛОВЕК	738
ТЕРЁШЕЧКА	739
КУЗЬМА СКОРОБОГАТЫЙ	742
СКАЗКА О МОЛОДИЛЬНЫХ ЯБЛОКАХ И ЖИВОЙ ВОДЕ	746
ИВАН — КОРОВИЙ СЫН	757
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА	764
СИВКА-БУРКА	769
КОММЕНТАРИИ	773

Алексей Николаевич
ТОЛСТОЙ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ**

ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор *И. Шурыгина*
Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *Н. Привезенцева*
Корректоры *В. Антонова,*
М. Александрова, В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 18.09.95. Уч.-изд. л. 54,72.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО
«Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.



«TEPPA» - «TERRA»